ДБ
350
С79

Стеклов, Ю.М.
Н.Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность
М.-Л., 1928 г.

Т. 2

DB
350
C79

Ю. М. СТЕКЛОВ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

*

1828—1889

ТОМ II

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ
ИСПРАВЛЕННОЕ
И ДОПОЛНЕННОЕ

1928

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Пятницкая, 71.
лавл. А-20042. С. 52. Гиз 27168.
Заказ № 1987. Тираж 3000.

Государств. публичная
Историческая
библиотека РСФСР
125330

БИБЛИОТЕКА
№ 125330

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ТОГО ВРЕМЕНИ

Глава первая

АБСОЛЮТИЗМ — ВОТ ВРАГ

Что человек с такими взглядами, какие имел Чернышевский, должен был крайне враждебно относиться к положению вещей в тогдашней России, слишком понятно. И, действительно, Чернышевский занял место на крайнем фланге тогдашней оппозиции. Во всех бедствиях, угнетавших русский народ, во всем варварстве, позорившем русскую жизнь, он обвинял господствовавший политический режим, т. е. царское самодержавие. Говорит ли он о взяточничестве по поводу «Губернских очерков» Щедрина, он доказывает, что в нем виновато центральное правительство, которое разрешало своим чиновникам обирать народ, лишь бы они были верны ему и точно исполняли его приказания[1]. В пьянстве русского народа виноват опять-таки политический режим. «Скажем прямо: пьянство, составляющее главный порок нашего народа, производится не откупом... Все порядочные люди принимают одни и те же причины этого порока: бедность, невежество, унизительное положение известного человека среди общества и вследствие того упадок в нем самом уважения к себе, безнадежность на поправление своих обстоятельств, безнадежность на получение правды в случае обиды». И далее он приводит пример ирландцев, которые, переселившись в Америку и освободившись от социального и политического гнета со стороны англичан, перестают пьянствовать и становятся трудолюбивыми земледельцами. Устраните причину, говорит Чернышевский, и исчезнет следствие. Откуп — только часть нашего политического устройства: оно-то и подлежит уничтожению[2].

К этому лейт-мотиву Чернышевский возвращается при каждом удобном случае. «Надобно отыскать причины, на которых основывается неприятное нам явление общественного быта, и против них обратить свою ревность. Основное правило медицины: отстраните причину, то-

[1] «Соч.», т. III, стр. 206 и сл. (1857 г.).

[2] «Откупная система». «Соч.», т. IV, стр. 250 и сл. (1858 г.).

гда пройдет и болезнь, — sublata causa tollitur morbus» [1]. Какова же эта основная причина всех бедствий русского народа? Быть может, крепостное право? Конечно, — говорит Чернышевский, — крепостное право — один из основных источников нашей отсталости во всех отношениях; но не одному ему следует приписывать страшный упадок народной энергии: оно само есть результат и создание самодержавия [2].

Чтобы поставить точку над i, Чернышевский сравнивает положение русского народа с положением вещей в Испании, Неаполе, Папской области и Турции. «Итак, найден нами ключ к об'яснению всего, о чем толковали мы с подробностями, которые теперь оказываются не нужны. Азиатская обстановка жизни, азиатское устройство общества, азиатский порядок дел, — этими словами сказано все, и нечего прибавлять к ним». Обозначая термином «азиатство» совокупность исторических условий, мешающих прогрессу русского народа, Чернышевский иронизирует по поводу свойств русского языка, на котором никак нельзя выразить некоторых понятий. Дело ясно: он говорил о самодержавии, но к иносказательным оборотам принуждали его цензурные условия. И он заключает: «не только слабость успехов нашего земледелия, но и медленность в развитии нашего населения вообще, нашего городского населения в частности, неудовлетворительное состояние наших путей сообщения, торговли, промышленности, недостаток оборотного капитала в земледелии, — все это и не только это, но также и крепостное право, и упадок народной энергии, и умственная наша неразвитость, — все эти факты, подобно всем другим плохим фактам нашего быта, коренную, сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти» (ibid., стр. 559—562).

Против такой органической болезни, — говорит Чернышевский в конце своей статьи, — никакие «местные припарки» не помогут; необходимы коренные и общие меры, направленные против основного зла и источника болезни.

Абсолютистская администрация оставалась верна себе на всем протяжении русской истории. Резюмируя книгу Чичерина об «Областных учреждениях», Чернышевский приходит к следующей формуле: «Что делала администрация в XIII веке? — Грабила. Что делала она в XV веке? — Грабила. Что делала она в XVII веке? — Грабила» [3]. Грабила и угнетала, служила сильнейшим препятствием общественному прогрессу, искажала все, до чего ни дотрагивалась. Так, она исказила

[1] «Соч.», т. III, стр. 210.

[2] «Суеверие и правила логики». «Соч.», т. IV, стр. 556 (1859 г.).

[3] «Г. Чичерин как публицист». «Соч.», т. IV, стр. 485.

крестьянскую реформу, поручивши проведение ее бюрократии и дворянству и отстранивши общественные силы и самый народ от всякого участия в этом деле. В результате, как утверждает Чернышевский, реформа не улучшила, а ухудшила положение крестьянства [1].

Да это и неизбежно. Самодержавная система портит все, до чего ни коснется. Земское самоуправление, суд присяжных, экономические или финансовые преобразования, — словом, никакая серьезная реформа при ней невозможна. Лишенный возможности открыто говорить об этом в применении к России, Чернышевский иллюстрировал свою мысль на примере Австрии, Неаполя и др. Никакие соглашения, никакие компромиссы с этой системой немыслимы и недопустимы: с ней необходимо вести войну на истребление, на истребление в буквальном смысле этого слова, т. е. вплоть до физического истребления представителей династии и ее главных агентов. Эту мысль Чернышевский в довольно прозрачных выражениях систематически развивал в своих статьях, особенно же в своих замечательных политических обозрениях, о которых мы достаточно говорили в первом томе этой работы. И ко всем, кто проявлял по отношению к абсолютизму слабость, половинчатость, готовность итти с ним на сделки, Чернышевский питал в лучшем случае чувство презрения, а по общему правилу такую же ненависть, как и к самим представителям царизма, ибо, по его мнению, именно эти соглашательские элементы являются вернейшей поддержкой существующего строя, именно они парализуют активную борьбу с ним. И потому беспощадное разоблачение этих соглашателей, борьбу с рассеиваемыми ими иллюзиями он считал одной из главнейших задач «честной», т. е. последовательно революционной журналистики.

Чернышевский прекрасно сознавал, что самодержавие есть политическая система крупного землевладения, военная диктатура помещичьего дворянства и служащих им наиболее хищнических и эксплоататорских групп. Поэтому, как идеолог трудящихся масс, Чернышевский и относился к абсолютизму с непримиримой, неукротимой ненавистью, которую распространял на вольных и невольных (по бесхарактерности) его пособников [2].

---

[1] «Письма без адреса». «Соч.», т. X, ч. II, стр. 316 (1862 г.).

[2] С какой глубокой, можно сказать, органической ненавистью и отвращением Чернышевский относился к представителям царизма, видно из набросанного им в «Прологе» портрета графа Чаплина, под которым выведен тогдашний министр государственных имуществ, а позже усмиритель Литвы, известный Муравьев-вешатель. Он изображает его не в виде человека, а в виде какого-то животного, «человекоподобной массы», которая не движется, а валит со стуком, сопом и храпом, физически противной твари с отвислыми

Эту неутолимую ненависть к самодержавию, как эманации и верхушке дворянской аристократии, враги Чернышевского — не только из реакционного, но и из либерального лагеря — об'ясняли его сословным происхождением. По случаю толков, возбужденных смертью Чернышевского, кн. Мещерский с отличавшим этого махрового реакционера классовым чутьем отметил в своем «Дневнике» («Гражданин», 1889, № 308), что «семинарист ненавидит дворянство». Задетый в своем семинарском достоинстве, другой махровый реакционер, не раз цитированный нами одесский архиепископ Никанор, пытался оспорить это утверждение, дабы очистить православное духовенство от подозрения в политической неблагонадежности. Поэтому в противовес кн. Мещерскому он выдвигает другое положение: «дворянин ненавидит семинариста» («Странник», 1890, май, стр. 47—49), не замечая, что это — лишь другая сторона той же самой медали. В тогдашней России выходец из низших слоев духовенства, какими по общему правилу и были те «семинаристы», которые примкнули к радикальному лагерю, представлял

брылами до плеч, с полуоткрытым слюнявым ртом, с оловянными, заплывшими салом, крошечными глазками, в виде надышавшегося крови разжиревшего мясника. «Без малейшего сомнения, это был переодетый мясник. По лицу нельзя было не угадать. Не то, чтобы оно имело выражение кровожадности или хоть жестокости; но оно не имело никакого человеческого выражения, — ни даже идиотского, потому что и на лице идиота есть какой-нибудь, хоть очень слабый и искаженный остаток человеческого смысла; а на этом лице было полнейшее бессмыслие, коровье бессмыслие, нимало не жестокое, ничуть не злое, только совершенно бесчувственное. Ни лавочник, ни трактирщик, ни разбогатевший мужик, превращающиеся иногда в таких толстяков, не утрачивают смысла до такой степени: они видят людей или природу, это поддерживает следы смысла на их лице. Только мясник, человек, не смотревший ни на людей, ни на природу, смотревший все лишь на скотов и на скотов, мог приобрести такое скотское выражение лица. И такой кровяной цвет лица! Мясник — не кровопийца. Нет, он не пьет крови. Он только дышит запахом ее — спокойно, беззлобно и с пользою своему здоровью: дышать запахом крови — это очень здорово. Благодаря этому, как бы ни заплыл жиром мясник, его лицо пышет цветущею кровяною свежестью. У всякого другого толстяка, так ожиревшего, лицо имеет сальный цвет, желтовато-тусклый; у этого сало пропитано свежею кровью, которою надышался он. Нет сомнения, это — мясник» и т. д. («Соч.», т. X, ч. I, стр. 145 и сл.). Из этого и дальнейшего изображения гнусного сатрапа проклятой памяти так и слышится припев популярной в 1905 году песенки: «Борцы за свободу, убейте его!». В изображении ненавистных царских лакеев, с одной стороны, и революционных деятелей, с другой, Чернышевский, якобы совершенно лишенный беллетристического таланта, поднимается до вершин художественного пафоса. Страницы романа, посвященные описанию гр. Чаплина и его жертвы, Соколовского (Сераковского), принадлежат к сильнейшим местам в литературе, и не только русской.

по отношению к господствующему классу демократию. А такие семинаристы, как Чернышевский, выступали даже в качестве представителей подавленных масс, в частности крестьянства. Отсюда — их пламенная ненависть к дворянству и к его коронованному главе. Находясь сами в униженном положении, стоя ближе других сословий к порабощенному крестьянству, они, выбившись «в люди», достигнув образования, еще больнее чувствовали унизительность своего личного положения в государстве дворянской диктатуры, еще яснее понимали насильнический и грубо-эксплоататорский характер самодержавия и потому проникались такой непримиримой враждой к господствовавшему политическому строю и ко всем его проявлениям, в том числе и идеологическим.

И в этом отношении прав Никанор, когда говорит: «Ренегаты из семинаристов бывали пламенны в отрицании, бывали фанатичны в нигилизме, бывали упорны в стремлении к преступным целям... Ренегаты из семинаристов в эпоху всеобщего в интеллигентной светской дворянской среде возбуждения всяких отрицаний... оказались в первых рядах застрельщиками в борьбе разрушения старых идей, не только Чернышевский, но и Добролюбов, Помяловский, Щапов и другие рыцари печальной памяти» (цит. ст., стр. 46).

Это обстоятельство отметили и дворянские либералы, на которых Чернышевский и руководимая им группа направили особенно чувствительные удары за их политическую дряблость и за их отказ от решительной борьбы с абсолютизмом. В устах И. Тургенева и подобных ему «семинарист» был такой же бранной кличкой, как и в устах определенных реакционеров и принципиальных защитников царского самодержавия.

Глава вторая

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И ДВОРЯНСКО-БУРЖУАЗНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

1. Разоблачение либеральных иллюзий

Уже одно последовательно социалистическое миросозерцание должно было настраивать Чернышевского враждебно и недоверчиво по отношению к буржуазному, а особенно дворянскому либерализму. Из анализа исторического развития более передовых стран Чернышевский знал, что либерализм преследует не цели народного блага, а интересы капиталистического класса. Но и европейских либералов Чернышевский, как мы знаем, преследовал не только за их буржуазный характер, но и за непоследовательность их буржуазного демократизма, за их неспособность и нежелание вырвать основы старого дворянского режима с корнем, за их постоянную готовность войти в сделку с классом крупных землевладельцев, за их уступки абсолютизму и за отказ от борьбы с ним до конца.

Естественно, что по отношению к российскому либерализму, еще более бесхарактерному, чем западно-европейский, еще менее способному на решительную борьбу с абсолютизмом, еще более проникнутому дворянскими элементами и еще менее революционному, Чернышевский питал чувство, в котором презрение перевешивало даже ненависть. Он прекрасно понимал, что российский либерализм заботится не о народном благосостоянии, не о прекращении эксплоатации человека человеком, а о создании нормальных условий для капиталистического развития. Но будучи не только убежденным социалистом, но и ярым демократом, считая царизм главным препятствием к организации народных сил для борьбы за коммунистический строй, признавая необходимость политического освобождения и демократических вольностей, Чернышевский простил бы русским либералам много исторических грехов, присущих этому течению, если бы они проявили хоть сколько-нибудь решимости и настойчивости даже в преследовании своих классовых целей, если бы они поняли, что никакие реформы не имеют

никакого значения в России до тех пор, пока остаются в целости основные черты старого режима.

Даже психологический склад российского либерального интеллигента возбуждал презрение Чернышевского. С грустью и негодованием констатирует он отсутствие энергии и серьезных стремлений в русском обществе, «самый общий недостаток в котором — не какие-нибудь ошибочные понятия, а отсутствие всяких понятий, не какие-нибудь ложные увлечения, а слабость всяких умственных и нравственных влечений,.. каких-либо общественных интересов». В герое тургеневской «Аси» он видит символическую фигуру, в которой воплотились отличительные черты наших «лучших людей», представителей образованного общества; его пошлое поведение он признает «симптомом эпидемической болезни, укоренившейся в нашем обществе» [1].

Статью о тургеневской «Асе» Чернышевский написал для разоблачения «либеральных иллюзий». С этими же иллюзиями он систематически боролся во всех своих писаниях, попутно разоблачая в них узость и классовый характер либеральных стремлений. Само собою разумеется, либералы платили ему за его кампанию глубокой ненавистью, сравнивали его с Гречем, Булгариным, Сенковским. Но Чернышевский и его кружок не смущались либеральной клеветой и продолжали беспощадно разоблачать либеральное прекраснодушие, торжественно-напыщенное разглагольствование о русском прогрессе; они доказывали, что ладья русского прогресса не только не пошла полным ходом вперед, но продолжает преблагополучно торчать в старом историческом болоте. А в сатирическом приложении к «Современнику», в знаменитом «Свистке», в котором сам Чернышевский писал мало (там работал главным образом Добролюбов), но на направление и содержание которого он имел огромное влияние, безжалостно вышучивалась либеральная восторженность, умеренность, аккуратность и любезная либеральному сердцу «гласность» [2], бичевалось самодовольное сидение в самодержавном навозе и бессилие на какой-либо действительно серьезный и глубокий протест против растления, вносимого царизмом в русскую жизнь.

Отношение Чернышевского к русским либералам прекрасно выясняется из романа «Пролог». О либеральных бюрократах нечего и

---

[1] «Русский человек на rendez-vous». «Соч.», т. I, стр. 90—91 (1858 г.).

[2] По поводу этой «гласности», с которой либералы носились тогда как с писаной торбой, Чернышевский в «Письмах без адреса» говорит: «Так называемая гласность — это бюрократическое выражение, придуманное для замены выражения «свобода слова», и придуманное по догадке, что выражение «свобода слова» может показаться неприятным или резким кому-нибудь», т. е. царскому правительству («Соч.», т. X, ч. II, стр. 306).

говорить: их Чернышевский презирал и ненавидел от всей души, быть может еще больше, чем открытых и убежденных реакционеров. На всем протяжении романа он безжалостно казнит либеральничающего сановника-лицемера (Савелова), издевается над ним и описывает его в самых черных красках [1]. Но с таким же почти презрением относится он и к либералам из так называемого образованного общества. Он рисует их умственно ограниченными, морально-пошлыми, политически недальновидными и трусливыми. Он смеется над их торжественными заявлениями о том, что «пробудилось сознание в целом обществе». В резко-насмешливом тоне описывает он лидера тогдашних петероургских либералов Рязанцева, в котором изображен, повидимому, Кавелин, впоследствии злорадствовавший по поводу ареста Чернышевского. С нескрываемым презрением говорит он о господах «просвещателях» русской публики, у которых «чепуха в голове; пишут ахинею, сбивают с последнего толку русское общество, которое и без того находится в полупомешательстве». Либералы, о которых Чернышевский иначе не выражается, как о дурачье, слепых дураках и невинных младенцах, теряются как дети при первом наступлении реакции, но когда интриги внутри камарильи неожиданно приводят к замене одного сановника явно-реакционного другим либеральничающим, они задирают носы и ходят по Петербургу «победителями и завоевателями».

Чернышевский и Добролюбов ставили крест на так называемых культурных слоях русского либерального общества. И они имели на это полное право, ибо если наши либералы и проявили в чем энергию, то только в борьбе с революционерами, с радикалами.

2. Характер конфликта

Борьба между обоими лагерями, сначала глухая, а затем все более явная, закончилась полным разрывом, наиболее громкими и известными проявлениями которого были: открытие кампании против левых со стороны Герцена и выход Тургенева из состава сотрудников «Современника». Начавшись уже с 1856 года, т. е. с первых же крупных литературных выступлений Чернышевского, она вполне назрела к 1859—1860 годам, когда и разразились указанные события. Присоединение Добролюбова к радикальному лагерю только ускорило взрыв, наступление которого и без того было, впрочем, раньше или позже неминуемо

[1] Под именем Савелова выведен, очевидно, Н. Милютин, товарищ министра внутренних дел, возвеличенный либеральной легендой как защитник крестьянских интересов. Этот Милютин одно время подмазывался к влиятельным литераторам, в частности к Чернышевскому, но особенно близок был к Кавелину.

Что лежало в основе этого конфликта? Некоторые готовы были об'яснять его чисто индивидуальными причинами, личной неприязнью между Тургеневым и Добролюбовым, резкостью характера Чернышевского и особенно Добролюбова и т. п. Что личные счеты играли здесь свою роль, в этом нет сомнения, но ведь без этого не обходится никакая политическая борьба.

Но сводить весь конфликт к личным препирательствам и соперничествам было бы слишком наивно, чтобы не сказать больше.

Было ли это столкновением двух поколений? До известной степени да, но только до известной степени. Сами участники этого исторического спора так именно и смотрели на него: они видели в нем конфликт между отцами и детьми, между людьми 40-х и 60-х годов. Но это была видимость, форма, случайная оболочка. Конечно, в лагере Герцена и Тургенева преобладали сравнительно пожилые люди, получившие духовную закваску в 40-х годах, а в лагере Чернышевского числилась главным образом молодежь; но в то же время среди сторонников Герцена имелись и сравнительно молодые люди, а среди его противников были люди не моложе его самого. Елисеев [1] был моложе Кавелина [2] всего на три года, а Бакунин, вскоре (с 1864 г.) тоже выступивший против дворянского либерализма, был моложе самого Герцена всего на два года. В действительности дело шло не столько о столкновении двух поколений, сколько о конфликте двух течений социально-политической мысли, соответствующих противоположным классовым интересам. Конфликт между Герценом и Чернышевским был литературным выражением борьбы между умеренно-либеральным дворянством и революционною разночинною демократиею, выступившею в защиту интересов трудящихся масс.

Д. Григорович, принимавший некоторое участие в этом конфликте и даже пытавшийся отразить его в одном произведении клеветнического характера, в своих весьма слабо написанных воспоминаниях говорит по поводу выхода Тургенева из журнала следующее: «Разрыв с Некрасовым и «Современником» об'яснялся публике редакцией как результат исключительно идейных разногласий и убеждений; инициатива разногласия приписывалась самой редакции. Из переписки Тургенева с Герценом видно между тем, что разрыву способствовал Герцен, а ини-

[1] Елисеев, Григорий Захарович (1821—1891) — известный журналист радикально-демократического направления.

[2] Кавелин, К. Д. (1818—1885) — профессор юриспруденции и литератор; был преподавателем наследника-цесаревича Николая Александровича.

циатива разрыва принадлежала самому Тургеневу... Авторское самолюбие вряд ли играло здесь какую-нибудь роль; имя Тургенева стояло тогда на главном плане, и желание оскорбить его, поставив его имя в конце об'явления, не достигало цели, не могло оскорбить его [1]. Наконец, все это произошло уже после разрыва. Поводом к нему должна была служить более важная причина» [2]. Но какая это была причина, Григорович так и не об'ясняет, возможно потому, что сам не отдает себе в этом отчета.

Столь же мало света проливают на причины конфликта воспоминания и рассуждения другого современника этих разногласий, стоявшего от них, впрочем, еще дальше, чем Григорович, хотя и связанного родственными узами с одним из главных деятелей эпохи. Мы говорим об А. Н. Пыпине. Готовый считать все столкновение результатом плачевного недоразумения между хорошими людьми, Пыпин пускается для об'яснения его в философию истории, которая могла бы показаться пародией, если бы не нашла себе места в «серьезной» книге о Некрасове, а затем в посмертных записках автора.

Итак, все началось с добродушной шутки Чернышевского, которая не была понята заинтересованными беллетристами. Именно в третьей книжке «Современника» за 1855 год была помещена рецензия Чернышевского на «Новые повести. Рассказы для детей», в которой высмеивался характер тогдашней беллетристики, посвященной мелким любовным темам («Соч.», т. I, стр. 337—343). Григорович, Тургенев и К° почувствовали себя задетыми шуткой, за которою скрывалась, впрочем, серьезная мысль. Уже с этого момента начинается вражда старых литераторов против Чернышевского и Добролюбова. И через несколько страниц Пыпин продолжает: «Это столкновение, вызванное шуткой и которое, повидимому, могло бы ограничиться личной неприязнью, простиралось однако гораздо дальше, именно на самый склад литературных и общественных взглядов. Та и другая сторона имели одну основу своих стремлений — идеи сороковых годов, которые для обеих, без сомнения, сторон совмещались в предании Белинского. Но одна, повидимому поглощенная художественными интересами, раз намеченными, относилась как будто равнодушно к дальнейшему развитию заветов Белинского. Другая, напротив, видела в этом дальнейшем развитии прямую задачу литературы... Писатели старого кружка воз-

[1] Речь идет об об'явлении о подписке на «Современник», где имя Тургенева было поставлено в конце.

[2] Д. Григорович — «Литературные воспоминания» в полном собрании сочинений, прилож. к «Ниве» 1896 г., том XII, стр. 331.

намерились именно поддерживать «пушкинское» направление против «гоголевского». Это было, конечно, весьма прискорбное недоразумение» [1].

Итак, все дело было в эстетических разногласиях. Допустим. Но как же историк литературы не считает нужным поставить себе вопроса: а чем же об'яснялись эти эстетические разногласия? В «Моих заметках» он уже готов искать более глубокой причины озадачившего его столкновения, но и здесь его об'яснения не возвышаются над тем уровнем, который мы видели в предыдущей цитате.

«В другом месте, — пишет он, явно имея в виду эту цитату, — я упомянул о том, как раздражился Григорович, который порядочно грубо и весьма неумно «вывел» Н. Г. в повестушке, которую тогда же напечатал в «Отечественных Записках». Только после он познакомился с ним ближе и, сколько помню, пожалел, что написал эту пошлость [2]. Должен был, вероятно, узнать себя и Дружинин: он был умнее Григоровича и не отвечал на шутку; но, как видно из переписки Тургенева, изданной впоследствии, друзья были единодушны во враждебном отношении к

---

[1] А. Пыпин — «Н. А. Некрасов», Спб. 1905, стр. 24—29.

[2] По поводу этого пасквиля, обходимого у Пыпина общими фразами, сам Чернышевский в письме из крепости к кн. Суворову от 20 ноября 1862 г. (Лемке — «Политические процессы», Петр. 1923, стр. 228) выражается следующим образом. Напомнив, что до ареста о нем распространялись всякие сплетнические слухи, он продолжает: «Другой слух — даже не слух, а печатное показание: есть повесть известного писателя Григоровича «Школа гостеприимства»; я в ней выведен под именем Черневского, которому даны мои ухватки и ужимки, мои поговорки, мой голос, всё; это лицо, то есть я, выставлен гастрономом и кутилой, напрашивающимся на чужие богатые обеды. Я не напрашиваюсь на изящные обеды уже и по одному тому, что встаю из-за них голодный: я не ем почти ни одного блюда французской кухни; а вина не люблю просто потому, что не люблю». Чернышевскому приходилось защищаться и от таких сплетен! Увы, ничто не ново под луною, а клеветники всегда пользуются одинаковым оружием. — Кстати, в этом пасквиле, повидимому, совместно сочинявшемся Григоровичем, Дружининым и Тургеневым, Чернышевский выведен не под фамилией Черневского, как ошибочно пишет Н. Г., а под фамилией Чернушкина, причем сказано, что этот зловредный критик, не признающий искусства, пахнет «пережженным ромом», т. е. клопами, — острота сомнительного свойства, которая затем пошла в ход среди барских эстетов. См. мою статью «Н. Г. Чернышевский в изображении наших беллетристов» («На литературном посту», 1927, № 23—24), где я подробно говорю как об этой повести Григоровича, так и о других беллетристических произведениях, в которых выводится Чернышевский («Профессор Ратмиров» Мордовцева, «Всякие» Боборовского-А. Суворина, «Николай Негорев» Кущевского, «Болото» М. Воронова и пр.)

«новому направлению», и вскоре оппозиция этому «направлению» [1] должна была найти место в «Библиотеке для Чтения», которой Дружинин вскоре сделался редактором. Тургенев именно думал, что их старый круг должен выставить и защищать «пушкинское» направление п р о т и в «гоголевского». Из этого противоположения можно заключать о вкусах (!!), а также о том, как в ту минуту странно (!) представлялись друзьям общественные отношения литературы: они не чувствовали, что оба «направления» были тесно и органически связаны друг с другом, и что в этой органической связи и был именно залог дальнейшего развития литературы».

После столь глубокомысленных рассуждений нас уже не удивит об'яснение конфликта различием темпераментов и наклонностей действующих лиц. Итак, послушаем последнее показание очевидца и специалиста по истории литературы.

«Люди старшего поколения были часто люди лично хорошие, питали взгляды наиболее (?) просвещенных людей того времени, видели недостатки настоящего, ожидали и надеялись благотворной (?) реформы в будущем, но большею частью люди пассивные, потому что они с своей стороны бывали уже утомлены испытаниями (!), которые выпадали и на их долю, но в настоящее время не помышлявшие о борьбе, люди более или менее благополучные и благодушные (!), встречавшие те или другие явления современности, — хотя бы в них сказывался иногда серьезный общественный смысл, — как любопытный анекдот... Но то, к чему равнодушно (?) относились они, нередко могло поднимать в душе Добролюбова желчное негодование. Повидимому, с первых встреч обнаружилось взаимное непонимание» [2].

А ларчик просто открывался: за личными неудовольствиями, конфликтами самолюбий и эстетических воззрений скрывалось глубокое социальное различие, столкновение двух классов с противоположной программой и тактикой. Это был конфликт по существу политический, в основе которого лежали классовые противоречия. Такая борьба мо-

---

[1] Что означают эти кавычки Пыпина при слове «направление», составляет его секрет. Ему хочется отрицать даже наличность особого направления у радикалов из «Современника»!

[2] «Мои заметки», «Вестн. Европы», 1905, март, стр. 24 и 28.—Интересно, какое чувство возбудили бы в душе Добролюбова эти строки, замазывающие истинный смысл конфликта и сводящие его к развитию вкусов и к личным достоинствам столкнувшихся сторон! Мы уже не говорим о «благодушии» людей, открывших систематический поход против Чернышевского в печати, письмах и беседах, накликавших своими сплетнями и доносами гонение на радикалов, а затем торжествовавших по поводу закрытия левых журналов и оправдывавших аресты своих противников (см. ниже).

жет происходить и в пределах единой общественной группы, отдельные члены которой, сами занимая все одинаковое положение, выступают в качестве выразителей интересов различных классов (например, борьба между народнической и марксистской интеллигенцией). Но в данном случае борьба носила еще более ярко выраженный характер, ибо здесь столкнулись личности, сами принадлежавшие к различным общественным классам. Радикалы вербовались в большинстве из разночинцев, мелкого служилого люда, выходцев из низших, непривилегированных сословий (враги окрестили их кличкой «семинаристы»), тогда как противники их принадлежали почти сплошь к помещикам (иногда очень богатым), как Дружинин, Л. Толстой, Герцен, Фет, И. Тургенев, и в редких случаях к богатой торговой буржуазии, как В. Боткин, лебезивший перед титулованным дворянством. Естественно, что когда русская жизнь выдвинула на очередь ряд практических вопросов, в том числе таких, как вопросы о раскрепощении крестьян, об освобождении народа от гнета самодержавия и господствующих классов и т. п., пути этих столь глубоко различных социальных элементов, как крепостники Дружинин и Фет, либеральные помещики Тургенев и Герцен, богатый купец Боткин и т. п., с одной стороны, и служилая интеллигенция, учителя, литераторы, лесничие, приказчики и т. п. — с другой, должны были круто разойтись по всем пунктам. А так как «Современник» в лице Чернышевского и Добролюбова был идейным центром разночинной интеллигенции, откуда давались самые крайние и решительные лозунги, то неудивительно, что против него обратился гнев всех тех, кто был связан с господствующими классами и сознательно или бессознательно был пропитан их идеологией.

«По мере того, — пишет В. Евгеньев, — как возрастало влияние Чернышевского и Добролюбова на направление «Современника», и сообразно с этим усиливался радикализм проповедуемого им политического и социального credo, все определеннее и определеннее начинала сказываться рознь между ними и поколением «отцов» [1].

То же говорит и Е. Колбасин, бывший современником и очевидцем описываемых событий. «Консерваторы и умеренные либералы, — пишет он, — становились все более недовольны окраской «Современника». Помню, как однажды Е. П. Ковалевский, внушительно потряхивая своими генеральскими эполетами, высказывал Некрасову, что он рискует репутацией «Современника» в глазах серьезных людей. Некрасов

[1] В. Евгеньев — «Черты редакторской деятельности Н. А. Некрасова» («Голос Мин.», 1915, № 9, стр. 59).

вышел из себя и заключил свое гневное возражение словами: «лучше быть последним между молодыми, чем первым среди старья» [1].

В действительности первый конфликт произошел даже до того, как физиономия «Современника» под руководством Чернышевского окончательно определилась, и даже до того, как в журнал вошел в качестве сотрудника Добролюбов. Охранительная сторона проявила здесь большую проницательность, своего рода социальное предвидение: классовый инстинкт указал ей на врага прежде, чем он успел демаскировать свои главные батареи.

3. Первые раздоры

В первом томе мы уже рассказывали о том, что после вступления Чернышевского в «Современник» оттуда с протестом ушел тоже числившийся в либералах и передовых людях, но в сущности настроенный реакционно критик Дружинин (выступавший иногда за подписью Чернокнижникова). Этот крепостник, кажется, раньше других «либеральных» литераторов почувствовал в Чернышевском классового врага, хотя в то время тот не успел ничего еще опубликовать кроме диссертации, рецензий и критических статей. Уйдя из «Современника», Дружинин по совещании с своими единомышленниками задумал создать центр сплочения враждебных радикализму (или, как тогда выражались, «отрицательному направлению») литературных сил. В этом духе и поведена была соответствующая агитация. Предполагалось об'единить все консервативные течения, от определенных реакционеров до либералов, включая, разумеется, и просто обывательские элементы, всегда и везде служащие пособниками реакции. В этом отношении весьма характерно следующее место из письма Дружинина к Льву Толстому, относящегося к началу 1856 года.

«Спешу поговорить с вами о деле, которое нас занимало при последнем нашем свидании, и которое теперь занимает собой многих наших читателей в Петербурге. Потребность в чисто литературном журнале с критикой, энергически противодействующего всем теперешним неистовствам и безобразиям, чувствуется в сильной степени. Гончаров, Ермин, Анненков, Майков, Михайлов, Авдеев и много еще встретили эту мысль с высшим одобрением. Если к этому сборищу присоединитесь вы, Островский, Тургенев и, пожалуй, наш юродивый Григорович (хотя без него можно и обойтись), то можно решительно сказать, что вся изящная словесность, наконец, соединится в одном журнале. Какой будет этот орган, новый ли журнал или «Библиотека для Чте-

[1] «Тени старого Современника» («Современник», 1911, № 8, стр. 240).

ния», взятая компанией на аренду, придумайте и сообщите ваше предложение... Я с своей стороны... предлагаю себя всего к услугам чисто литературного журнала, на каких бы основаниях он ни составился.

«По ученой части можно считать усердными сотрудниками или просто участниками профессоров: Горлова, Устрялова, Благовещенского... и теперешних сотрудников (я называю самых даровитых) Лаврова... Водовозова... Тургенев, хотя работник ненадежный, будет драгоценным человеком по своей хлопотливости и вообще по положению в литературе» [1].

Дружинин знал, к кому обращался. Несмотря на то, что Л. Толстой начал свою литературную карьеру именно в «Современнике», что Чернышевский в частности очень тепло встретил его первые шаги на писательском поприще, хотя отмечал уже тогда присущие ему чудачества (особенно в личных беседах), Толстой уже в то время был реакционером на ханжеско-моральной почве. Отсюда и его ненависть к революционному направлению и к его главному представителю в литературе, Н. Чернышевскому, сквозящая в письме его к Некрасову от 2 июля 1856 года, видимо, под влиянием приведенного выше письма Дружинина [2]. Вот что там говорит Толстой.

«Статья о «Русской Беседе» (в 6-й книжке «Современника». — *Ю. С.*), к[оторую] писали вы [3], ужасно мне не понравилась. Хотя совершенно согласен с мыслью статьи, выраженной однако неясно и неловко, — за что скверно-матерно (?) обругали Филиппова, да и всех, да еще говорят: Мы хотим, чтобы спор был благородный?.. И потом я совершенно игнорирую и желаю игнорировать вечно, что такое постуляты и категорические императивы. Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружин[ина] из нашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в «Совр.», а теперь срам с этим клоповоняющим [4] господином (т. е. Чернышевским! — *Ю. С.*). Его так

---

[1] И. Бирюков — «Биография Л. Н. Толстого», т. I. ГИЗ, 1923, стр. 134—135.

[2] «Письмо Л. Н. Толстого к Н. А. Некрасову» опубликовано в «Современнике», 1913, № 1, стр. 239—241.

[3] Ее написал Чернышевский. Толстой сразу почуял в ней враждебный дух.

[4] Это слово выпущено в печати! — Стиль, достойный гулящего армейского офицера, каким тогда был Л. Толстой. Господа аристократы, воспитанные и тонкие в «своем» кругу, становились грубыми хамами, когда заговаривали с «низшими» или о «низших» по общественному положению. — Впрочем, Толстой был здесь не оригинален: еще за год до того это словечко было пущено по адресу Чернышевского Григоровичем в повести «Школа гостеприимства» в затушеванном виде и Тургеневым открыто. А именно

и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более оттого, что говорить он умеет и голос скверный. Все это Белинский! Он-то говорил во всеуслышание, и говорил возмутительным тоном, потому что бывал возмущен, а этот думает, что для того, чтобы говорить хорошо, надо говорить дерзко, а для этого надо возмутиться. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза... Б[елинский] породил подражателей, которые отвратительны. У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень мило. А я нахожу, что очень скверно... Хотя это не может быть, чтобы я не узнал автора статьи о «Р. Б.», но мне приходит в мысль, что ежели вы ее [не] писали наверно, то пополняли и были очень довольны».

Слухи о том, что подготовляется концентрация сторонников охранительного или «положительного» направления против «отрицательного», распространились довольно широко и дошли даже до пребывавших за границей россиян. Вот что, напр., писал 27 октября 1857 года известный реакционный критик-эстет Ап. Григорьев М. П. Погодину, мечтавшему об издании своего журнала: «Насчет «Москвитянина» — вот что-с. Если вы серьезно думаете о нем, то имейте в виду, что коалиция «Современника» расстраивается, что Островский, Толстой и Тургенев могут быть нашими». А 18 ноября 1857 года он сообщал ему же: «Недавно Евгений Эдельсон писал мне, что Писемский стал соредактором Дружинина в «Библиотеке», и, стало быть, наши перейдут туда» [1].

И. Тургенев, игравший в этом деле двойственную роль, повидимому, держал Некрасова в курсе этой затеи. И вот по поводу отрицательного направления, на которое нападали махровые реакционеры и бледнорозовые либералы, сгруппировавшиеся вокруг Дружинина, Некрасов в связи со слухами о переходе Л. Толстого в «Библиотеку для чтения» в

---

12 июля 1855 года Тургенев в письме к Дружинину и Григоровичу кается в прежнем мягком отношении к Чернышевскому и говорит: «Я имел неоднократно несчастье заступаться перед вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) — примите мое раскаяние и клятву — отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами... Я прочел его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину, которую «Современник» не устыдился разбирать серьезно... Raca! Raca! Raca! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете» («Первое собрание писем И. Тургенева», стр. 12—14). Таким образом, словечко «клоповоняющий», употребленное в 1856 г. и Л. Толстым в применении к Чернышевскому, было пущено в ход Тургеневым или Григоровичем. Такова была дворянская эстетика.

[1] Барсуков — «Жизнь и труды Погодина», том XV, стр. 348 и 352.

письме к Тургеневу от 30 декабря 1856 года говорил: «Какого *нового* направления он (Л. Толстой. — *Ю. С.*) хочет? Есть ли другое — живое и честное — кроме обличения и протеста? Его создал не Белинский, а среда: оттого оно и пережило Белинского, а совсем не потому, что «Современник» в лице Чернышевского будто бы подражает Белинскому. Иное дело — может быть, Чернышевский недостаточно хорошо ведет дело, — так дайте нам человека или пишите сами. Больно видеть, что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружининым и Григоровичем, переносит на направление, которому сам доныне служил, и которому служит каждый честный человек в России» [1].

Первая попытка общего похода против радикалов не удалась. Оторвать Тургенева, Островского и других от «Современника» реакция тогда не сумела. Напротив, на время они еще более сблизились с «Современником» и даже обещали только в нем печатать свои новые произведения. Попытка Дружинина оказалась преждевременной. Нужно было, чтобы с ходом событий политические разногласия углубились и обострились. Это и случилось через несколько лет, когда в связи с крестьянским вопросом в обществе начало определенно назревать революционное течение, для отпора которому либералы поспешили протянуть руку реакционерам.

4. И. С. Тургенев и радикальная молодежь

Мы уже знаем, что взгляды, высказанные в диссертации Чернышевского, не понравились Тургеневу, который смутно почувствовал в них нечто враждебное старым эстетическим воззрениям. Однако сначала отношение Тургенева к молодому писателю, с такой уверенной силой вступившему в литературу, проникнуто было некоторой двойственностью, столь присущей характеру Тургенева вообще. С одной стороны, общее направление литературной деятельности Чернышевского ему претило, а с другой — он невольно поддавался обаянию его таланта и особенно благородному прогрессивному направлению, сказывавшемуся в работах Чернышевского, революционный характер которых не успел еще проявиться настолько, чтобы окончательно оттолкнуть умеренного дворянского либерала. И вот мы видим, что в первое время отзывы Тургенева о Чернышевском колеблются, переходя от восхваления

[1] А. Пыпин — «Н. А. Некрасов», стр. 156. — Пыпин по свойственной ему манере затушевывать и сглаживать острые углы напечатал это письмо в искаженном виде. Мы восстановили действительный текст по статье В. Евгеньева — «Некрасов и люди 40-х годов». «Голос Мин.», 1916, № 5—6, стр. 48—49.

(правда, с оговорками) к огульному отрицанию — в зависимости от адресата, к которому обращается неустойчивый романист.

21 сентября — 3 октября 1856 года Тургенев пишет Панаеву: «Кланяйся Чернышевскому — я уверен, что вы вместе можете очень хорошо вести журнал». 10 ноября н. ст. 1856 года он пишет ему же: «Статья Чернышевского (глава «Очерков гоголевского периода», где говорится о Белинском. — *Ю. С.*) меня искренно порадовала. Только я нахожу, что он несколько бесцеремонно обходится с живыми людьми, рассматривая их частную жизнь с исторической точки зрения. Иные, пожалуй, рассердятся, а иные струсят и закричат. Сознаюсь, что при выбранном им предмете трудно было совершенно избегнуть это неудобство, но все-таки считаю своей обязанностью это заметить. А статья прекрасна, и иные страницы меня истинно тронули» [1].

Интересно, что Тургенев, которому в чуткости нельзя было отказать, сразу обратил внимание на первое же выступление Добролюбова; о нем он писал Панаеву: «Статья Лайбова («Собеседник любителей российского слова». — *Ю. С.*) весьма дельна (кто этот Лайбов?)».

Тургенев в первое время готов был даже — правда, условно — защищать Чернышевского от Дружинина. Так, в письме к Дружинину из Парижа от 30 октября 1856 года Тургенев по поводу статей Чернышевского («Очерки гоголевского периода») писал: «Я досадую на него за его сухость и черствый вкус, а также и за его нецеремонное обращение с живыми людьми (как, напр., в сентябрьской книжке С — а); но «мертвечины» я в нем не нахожу — напротив, я чувствую в нем струю живую, хотя и не ту, которую вы желали бы встретить в критике. Он плохо понимает поэзию; знаете ли, это еще не великая беда: критика не делает поэтов и не убивает их; но он понимает — как это выразить? — потребности действительной современной жизни, и в нем это не есть проявление расстройства печени, как говорил некогда милейший Григорович, а самый корень всего его существования. Впрочем, довольно об этом. Я почитаю Ч-го полезным; время покажет, был ли я прав. Притом в противовесие ему будете вы и ваш журнал: оттого-то я ему заранее радуюсь. Вы помните, что я, поклонник и малейший последователь Гоголя, толковал вам когда-то о необходимости возвращения пушкинского элемента в противовесие гоголевскому. Стремление к бес-

[1] И. И. Панаев — «Литературные воспоминания», Спб. 1888, стр. 402 и 404. — Характерно, что другой эстет из бывших друзей Белинского, В. П. Боткин, тоже писал Панаеву 19 августа 1856 года: «Я боюсь, чтобы Чернышевский не надоел читателям своими иеремиадами. Он имеет благороднейшую основу, но с ними нужно обращаться осторожно и не употреблять имена часто всуе» (ibid., стр. 414).

пристрастию и к истине всецелой есть одно из немногих добрых качеств, за которое я благодарен природе, давшей мне их».

16 ноября того же года Тургенев (повидимому, в связи все с той же агитацией Дружинина) писал Л. Толстому: «Теперь о статьях Ч[ернышев]ского. Мне в них не нравится их бесцеремонный и сухой тон, выражение черствой души(!!). Но я радуюсь возможности их появления, радуюсь воспоминаниям о Б[елинском], выпискам из его статей, радуюсь тому, что, наконец, произносится с уважением это имя». Но меньше чем через месяц, 8 декабря 1856 г., Тургенев уже писал тому же Л. Толстому: «А что «Современник» в плохих руках, это несомненно» [1].

Мы видим таким образом, что агитация, предпринятая группой консервативных эстетов, делала успехи. Пусть в первый момент затея Дружинина и К⁰ не удалась, но элементы разрыва подготовлялись и со временем должны были принести свои плоды, особенно когда от эстетических вопросов спор перешел к вопросам более конкретным, более явно задевавшим классовые интересы собственнического либерализма, вопросам социальным и политическим. Впрочем, и за эстетическими разногласиями, на первый взгляд как будто абстрактными, скрывались уже разногласия социальных интересов, облекавшиеся в то время политической реакции в отвлеченно-идеологическую форму философского и эстетического разномыслия. Когда противники Чернышевского пытались противопоставить выдвигаемому им «гоголевскому» началу начало «пушкинское», это означало, что принципам революционного отрицания они противополагали принципы политического и социального консерватизма, которые — правильно ли или нет, это другой вопрос — связывались в их умах с характером последнего периода литературной деятельности Пушкина. Этой стороны вопроса не понял А. Пыпин, считавший противопоставление пушкинского и гоголевского начал простым недоразумением.

Но если двоедушный Тургенев, воздавая должное Чернышевскому, держал против него в то же время камень за пазухой, то прямой Чернышевский, не знавший закулисной дипломатии, относился в это время к Тургеневу с искренней симпатией и уважением. До вступления Чернышевского в «Современник» голос Тургенева имел в редакции журнала решающее значение. Чернышевский, и до того глубоко уважавший автора «Записок охотника», сначала также проникся этим настроением по отношению к литературному генералу, авторитет которого был тогда бесспорен. Об этом свидетельствует письмо Чернышевского к

[1] «Первое собрание писем И. С. Тургенева», Спб. 1885, стр. 25—26, 28, 33.

Тургеневу, относящееся к концу 1856 года. Поблагодарив Тургенева за доброе мнение о нем (видимо, сообщенное ему Панаевым), Чернышевский переходит затем к литературным сплетням эстетов, отрицавших значение последних произведений Тургенева и этим приводивших чувствительного романиста в грустное настроение.

«Неужели, — пишет Чернышевский,—мнения нескольких глупцов... могут изменить Ваше мнение о Ваших произведениях? Вы, по доброте Вашей, слишком снисходительно слушаете всех этих господ Боткиных с братиею. Они были хороши, когда их держал в ежовых рукавицах Белинский, умны, пока он набивал им головы своими мыслями. Теперь они выдохлись и, начав «глаголати от похотей чрева своего», оказались тупицами. Они не скверные люди, но в делах искусства или в другом чем-нибудь не смыслят ни на грош». И далее Чернышевский приводит в пример их резкий отзыв о поэзии Некрасова, в чем был не безгрешен и сам Тургенев (был ли это намек?). Кончается письмо Чернышевского следующими словами: «Но Вы, быть может, не знаете того, какое положение Вы занимаете в литературе... Как Вы о себе ни думайте, но согласитесь, что они действительно не способны создать таких великих произведений. Я не говорю, когда из мальчишки Толстой сделается человеком, быть может, он напишет что-нибудь вроде «Записок охотника» или «Двух приятелей», или «Затишья», или чего-нибудь подобного, но «старуха еще на-двое сказала». И Вам не грех слушать глупцов?.. В настоящее время русская литература, кроме Вас и Некрасова, не имеет никого» [1].

А когда распространился слух, что Тургенев отложил печатание написанного им романа «Два поколения» (видимо, «Дворянского гнезда») в виду неблагоприятного отзыва «какого-то аристарха», возможно, того же Боткина, Чернышевский в письме от 7 января 1857 года писал ему:

«Вам грех слушать суждения какого бы то ни было аристарха, — Вы поставлены силою своего таланта выше всех подобных оценок... Мнение публики — это так, им должен дорожить писатель: публика и в заблуждениях своих все-таки бывает близка к истине, по крайней мере к какой-нибудь стороне истины, — но Вам слушаться какого-нибудь аристарха? Да что такое эти аристархи перед Вами?..

«Вы должны знать, что по натуре своего таланта и другим качествам Вы не можете написать вещи, которая не была бы выше всего, что пишется другими, не исключая и Вашего protégé Толстого, который будет писать пошлости и глупости, если не бросит своей манеры ко-

[1] Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский в редакции Современника». «Совр. Мир», 1911, № 9, стр. 187—188.

паться в дрязгах и не перестанет быть мальчишкою по взгляду на жизнь...

«У нас нужна еще в литературе железная диктатура, перед которою бы все трепетало, как перед диктатурою Белинского.

«Флюгера, флюгера, и Ваш Боткин — первый и самый вертлявый из этих флюгеров; он хуже Панаева — трус и больше нежели трус — жалчайшая баба. Они боятся Каткова...

«Оскорбить Вас! Да это значит оскорбить нашу литературу... Кто поднимает оружие против автора «Записок охотника», «Муму», «Рудина», «Двух приятелей», «Постоялого двора» и т. д., и т. д., тот лично оскорбляет каждого порядочного человека в России».

Этот тон обращения Чернышевского к Тургеневу показывает, что последний тщательно скрывал от первого действительное свое отношение к его литературной деятельности. Чернышевский, от которого отрицательные отзывы Тургенева в письмах к своим единомышленникам оставались тайной, мог искренно воображать, что в общем Тургенев солидарен с его направлением, продолжавшим традицию Белинского, а ведь Тургенев охотно выступал в роли хранителя этой традиции. Чернышевский, столь ценивший гоголевское начало, т. е. художественное разоблачение отрицательных сторон русской жизни, смотрел на Тургенева как на лучшего преемника Гоголя, как на писателя, в котором крупный беллетристический талант гармонически сочетался с критическим отношением к проклятым сторонам российской действительности. И он высоко ценил литературную деятельность Тургенева, находившегося в расцвете своего таланта и не успевшего еще идейно порвать с принципами революции.

Но это согласие столь разнородных элементов не могло продолжаться долго. Разрыв между либералами и радикалами назревал, и достаточно было мелочи, пустячного на первый взгляд личного столкновения, для того, чтобы систематически подготовлявшийся конфликт разразился с неудержимой силой.

5. Либералы и радикалы

Обыкновенно дело излагалось так: либералы, в качестве европейцев и западников, высоко ценили достижения цивилизации, которые шестидесятниками-демократами игнорировались. Первые были конституционалистами, вторые—политическими индиферентистами. Либералы придавали важное значение политической свободе и готовы были бороться за нее, тогда как радикалы относились к ней в лучшем случае пренебрежительно и переносили центр тяжести своих интересов в об-

ласть экономических вопросов, которые они по наивности и неопытности надеялись разрешить без предварительной политической реформы. В этом-то и лежал корень разногласий и вражды между двумя крыльями «прогрессивного» лагеря.

В этой картине нет ни одной верной черты. Дело обстояло как раз наоборот. Если либералы и дорожили западной цивилизацией, то симпатии их к ней ограничивались желанием пересадить к нам капиталистическое производство и принципы буржуазной частной собственности. Этого они хотели достигнуть мирным путем, без революционных потрясений, т. е. путем сделки с господствующей группой помещичьего класса, к которому в большинстве сами принадлежали, и с выдвинутым этою группою крупных землевладельцев-аристократов самодержавным правительством. Уже одно это обстоятельство заставляет критически отнестись к легенде о конституционных стремлениях либералов. И действительно, эти стремления были развиты в них слабо; во всяком случае об активной борьбе за политическую свободу, завоевание которой без революции было немыслимо, они и не думали. Этого-то как раз и требовала радикальная партия, якобы стоявшая на позиции политического индиферентизма, а в действительности горячо стремившаяся к завоеванию демократического строя, но при этом готовая поддержать всякое серьезное, хотя и умеренно-либеральное движение, направленное к борьбе за политическую свободу. Либералы же именно этого и не хотели. Даже те из них, кто не возражал против политического преобразования по классовым мотивам, заставлявшим подавляющее большинство дворянства отстаивать самодержавие, предпочитали отказываться от своих вольнолюбивых мечтаний, раз осуществление их сопряжено было с борьбой, которая могла разбудить широкие массы и этим подвергнуть опасности социальные привилегии собственников. Поведение таких столпов тогдашнего либерализма, как Кавелин и Тургенев, свидетельствует об этом с непререкаемой ясностью. Когда в 1861—1862 годах началось конституционное движение, Кавелин выступил против него под предлогом, что оно носит олигархический характер, а Тургенев тоже под благовидным предлогом уклонился от подписания конституционного адреса, составленного Огаревым [1].

Но разумеется, что если бы наши либералы-конституционалисты даже выказали тогда больше мужества и готовности активно бороться за полное проведение своей программы, разногласия между ними и радикальной группой, стремившейся к экспроприации помещиков, насиль-

[1] Убийственный портрет Кавелина дал Чернышевский в романе «Пролог», где Кавелин выведен под фамилией Рязанцева.

ственному низвержению абсолютизма и установлению мужицкой демократии, идущей к социализму, все равно вспыхнули бы ввиду того, что либеральная программа не удовлетворяла демократов, а демократическая пугала и отталкивала либералов. К этому политическому конфликту, в основе которого лежало противоречие классовых интересов, естественно присоединялось и взаимное психологическое отталкивание. Сложились две социальные группировки, расходившиеся не только в политическом отношении, но и во всех других—в мировоззрении, быте, культуре, житейских привычках и ухватках. Тонкому барскому эстетизму, взрощенному на крепостных хлебах, либеральной умеренности и аккуратности, наигранной учтивости и внешнему лоску органически претили все взгляды и выражения разночинной демократии, весь ее жизненный обиход, столь резко противоречивший дворянской традиции, временами прорывавшаяся у нее «грубость» и «неотесанность», за которою буржуазно-дворянские либералы не замечали глубокой любви к угнетенным массам и героической готовности на всякие жертвы в интересах народного освобождения, вдобавок мало трогавшего сытых и обеспеченных носителей либерализма.

Для таких самовлюбленных и боящихся всего резкого людей, как Тургенев, как раз пустые на первый взгляд мелочи, вроде недостаточно уважительного обращения или строгой оценки присущей ему и людям его круга моральной неустойчивости, и могли послужить ближайшим поводом к конфликту. Не забудем, однако, что политическая бесхарактерность обоих прославленных корифеев российского либерализма, Кавелина и Тургенева, несколько позже заставила порвать с ними старую дружбу даже такого человека, как Герцен, который и по воспитанию, и по культуре, и по социальному происхождению, и по стремлениям стоял близко к ним, не будучи для них представителем чуждого, непонятного и враждебного класса, как радикалы из «Современника». Что же удивительного в том, что для этих «неумытых семинаристов», как в похвалу называл их Бакунин, барская пустота и обывательская бесхребетность тогдашних либералов была действительно непереносной? Тем более замечательно, что инициатива разрыва исходила не от демократов, а от либералов, несомненно испугавшихся и за свою личную безопасность, и за свои благоприобретенные имущества.

Какую роль играло в конфликте то обстоятельство, что Тургенев, пользовавшийся до появления Чернышевского и Добролюбова непререкаемым авторитетом в «Современнике», отошел на второй план перед этими людьми, гораздо более образованными, чем он, и лучше разбиравшимися в явлениях литературы, мы говорить не станем. В конце концов это — мелочи, сопутствовавшие главному источнику конфликта,

но его не обусловившие. Гораздо важнее была непримиримость двух психологических типов, столкнувшихся на общей почве [1], а еще важнее была инстинктивная классовая неприязнь, лежавшая в основе всех столкновений между двумя столь различными группами.

Тургенев, который почему-то был недоволен отзывом Чернышевского об «Асе», начал с этого времени открыто проявлять вражду к радикальной молодежи (вероятно, он узнал самого себя и своих единомышленников в том портрете безвольного российского обывателя, который Чернышевский с такой злостью нарисовал в своей статье «Русский человек на rendez-vous) [2]. Он начал говорить, что «Современник» перешел в руки «кутейников» и «семинаристов». Однажды за обедом у Панаева Тургенев сказал: «Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом; что ни статья, то семинарист оказывается автором». — «Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная?» — проговорил Некрасов.— «Да, да! Откуда и каким образом семинаристы появились в литературе?» — спросил Анненков.— «Вините, господа, Белинского: это он причиной, что ваше дворянское до-

[1] А. Головачова-Панаева, жена издателя «Современника», имевшая возможность лично наблюдать назревавший конфликт, оставила нам любопытное описание участвовавших в нем лиц. В то время как старшая, умеренная группа (Тургенев, Боткин и пр.) интересовалась главным образом вопросами личного благополучия, вела светский рассеянный образ жизни, занималась бесконечными сплетнями и т. п., молодые радикалы были поглощены общественными интересами, были просты в обращении, вели спартанский образ жизни и т. д. (А. Головачова-Панаева — «Русские писатели и артисты», Спб. 1890, стр. 290—313). Неудивительно, что в конце концов они начали не выносить друг друга. Более сдержанный Чернышевский не проявлял своих чувств, но пылкий и более юный Добролюбов был подчас несдержан и реагировал на выходки Тургенева более резко.

[2] Между Тургеневым и Чернышевским внешне отношения были приличными. В воспоминаниях о Добролюбове Чернышевский пишет по этому поводу: «Горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное расположение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых однакож и всякому желанию расходиться между собой». Но Добролюбова Тургенев не выносил, особенно после неудачной попытки сблизиться с ним. Вскоре после появления добролюбовской рецензии на роман Тургенева «Накануне» Некрасов сказал Чернышевскому: «Да неужели же вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова». И Чернышевский, передавая о нежелании Добролюбова разговаривать с Тургеневым «по душе», прибавляет: «Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем... Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собой. Добролюбов был об этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники» (Е. Л я ц к и й — цит. ст., «Совр. Мир», 1911, № 11, стр. 167—169).

стоинство оскорблено, и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, — заметила я. — Как видите, не бесследна была деятельность Белинского, проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества». Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, иронически улыбаясь, произнес: «Вот какого мнения о нас, господа!» [1].

В разговоре с Панаевым Тургенев пугал его, что он скоро подпадет под влияние «семинарской сферы» и начнет ходить «в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках».

«Мы все, твои давнишние друзья, не допустим тебя сделаться семинаристом; мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни. Им завидно, что их выростили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это — литературные Робеспьеры; тот ведь даже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье».

В виду того, что такой разговор в другом месте мог бы сыграть роль простого доноса, Панаев просил Тургенева «не делать этих сравнений в другом обществе», на что Тургенев ответил: «Ты наивен; неужели ты думаешь, что статьи этих семинаристов читают в порядочном обществе?». И дальше он заметил: «Меня удивляет, как Некрасов с его практичностью не видит, что семинаристы топят журнал в грязной луже» [2].

Дальше мы увидим, что Тургенев и братия вели такие же разговоры и в других местах (вплоть до сфер, причастных к III Отделению).

---

[1] Головачова-Панаева, цит. соч., стр. 290. Имевший возможность собственными глазами наблюдать эту публику, Е. Колбасин говорит про либеральную группу: «это были не граждане, а просто баре». Он же (цит. ст., стр. 234) рассказывает о том, что многие из крупных сотрудников «Современника» (даже соиздатель журнала Панаев) долго не знали про сотрудничество Добролюбова. «Один раз Боткин настойчиво стал допрашивать поэта (Некрасова) и сказал: «Признайся, Некрасов, ты, говорят, выкопал своего критика из петербургской семинарии?» — «Выкопал, — отвечал Некрасов. — Это мое дело». — А ведь Боткин не был дворянином; он был только мещанином во дворянстве, богатым купчиком. лезшим в высший свет. Это не мешало ему презрительно третировать «семинаристов».

[1] Головачова-Панаева, цит. соч., стр. 304—306.

Из всех «семинаристов», присутствие которых претило барскому чувству либералов, Тургенев особенно ненавидел Добролюбова. Убедившись, что Добролюбов не поддается на его любезные подходы, Тургенев обиделся и начал говорить, что «в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием осмеять, загрязнить всякое увлечение, все благородные порывы души писателя, что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзией; что никогда русская литература, до вторжения в нее семинаристов, не потворствовала мальчишкам из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов!» (Головачова-Панаева, цит. соч., стр. 312).

Либералы пустили в ход испытанное оружие — сплетню, которая при тогдашних политических условиях должна была рано или поздно повлечь за собою печальные последствия для об'ектов сплетни. Одною из таких — и наименее зловредных — сплетен было утверждение, будто Чернышевский и Добролюбов заискивают у молодежи.

Сплетни задевали не только демократов, но и Некрасова, который в этом споре принял сторону молодых [1]. Когда Некрасов волновался по поводу распространяемых на его счет сплетен, а Головачова-Панаева советовала ему брать пример с Добролюбова и Чернышевского, которые относились к клевете на свой счет с полнейшим презрением, Некрасов отвечал: «Между ними и нами огромная разница. Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголочки, а под нашу можно бревна подложить. Они в своих нравственных принципах тверды как сталь, а мы, расшатанные люди, не умеем даже в пустяках сдерживать себя» (ibid., стр. 362).

6. Разрыв Тургенева с «Современником»

При очерченных выше взаимоотношениях между «стариками» и «молодыми» разрыв был неизбежен. Он и разразился в связи с тургеневским романом «Накануне». Добролюбов написал по поводу этого романа знаменитую статью «Когда же придет настоящий день?» [2], которая привела Тургенева в негодование. Обида Тургенева об'яснялась, может быть, тем, что критик отрицал за романистом способность дать героическую эпопею, а не только любовную историю.

---

[1] «Некрасов, — пишет Ленин («Соч.», т. XII, ч. I, стр. 294), — колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского».

[2] В № 3 «Современника» за 1860 год; «Соч.», т. IV, стр. 37 и сл.

Цензор Бекетов совершил крупную некорректность: он сообщил Тургеневу корректурные листы статьи Добролюбова (до ее напечатания). Тургенев, как сообщает Головачова-Панаева (стр. 316 сл.), найдя некоторые места статьи для себя оскорбительными, потребовал их устранения. Добролюбов отказался. Попытка Некрасова об'ясниться с Тургеневым ни к чему не привела. Тургенев ответил запиской, состоявшей из одной фразы: «Выбирай: я или Добролюбов». «Некрасов, — говорит мемуаристка, — был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не дал для «Современника». Принявшись за повесть «Накануне», он уверял, что пишет ее для «Современника», а между тем отдал эту повесть в другой журнал» (т. е. в «Русский Вестник», который просто платил ему больше. — *Ю. С.*).

15 января 1861 года Некрасов писал Тургеневу: «Не могу думать, чтобы ты сердился на м е н я за то, что в «Современнике» появлялись вещи, которые могли тебе не нравиться. То есть, не то, что относится там лично к тебе — уверен, что тебя не развели бы с «Современником» и вещи более резкие о т е б е с о б с т в е н н о. Но ты мог рассердиться за приятелей и, может быть, иногда за принцип — и это чувство, скажу откровенно, могло быть несколько поддержано и усилено иными из друзей, — что ж, ты, может быть, и прав. Но я тут не виноват; поставь себя на мое место: ты увидишь, что с такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов (людьми честными и самостоятельными, что бы ты ни думал и как бы сами они иногда ни промахивались), сам бы ты так же действовал, т. е. давал бы им свободу высказываться на их собственный страх».

Но Тургенев, давно искавший повода порвать с Некрасовым, если тот не откажется от поддержки радикальных «семинаристов», остался при своем решении. Он разорвал с «Современником», и с этого момента, как рассказывает Головачова-Панаева, сплетни насчет журнала и его сотрудников приняли небывалые размеры. «Когда увидели, — пишет она (стр. 324), — что предсказания исполнились, и «Современник» с уходом из него Тургенева не только не погибает, а, напротив, подписка на него значительно увеличивается, тогда преследования Добролюбова перешли все границы: стали распространять слухи, что в «Современнике» свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и водворить один грубый материализм, а под видом женского вопроса проповедуют мормонство. В это же время появилась в «Колоколе» не-

лепая статья о Добролюбове, в которой он был выставлен как самая скверная личность [1].

«Нетрудно было догадаться, как была доставлена статья в лондонскую газету. Один из сотрудников «Современника» нарочно поехал в Лондон [2], чтобы поговорить с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии, и только четыре лица в редакции знали об этой поездке».

Головачова-Панаева передает разговор Панаева с генералом Т., которого он встретил в театре. Тот занимал в это время видный и влиятельный пост [3]. Выразив свое неудовольствие по поводу того, что Панаев решился расстаться со своим давнишним приятелем и «бескорыстным сотрудником», как Тургенев, в угоду каким-то «темным личностям», генерал по старому знакомству дал Панаеву совет «очистить свой журнал от таких сотрудников, как Добролюбов и Ч[ернышевский], и всей их шайки». А когда Панаев начал защищать их, то генерал ему сказал: «Ваш... бывший приятель (т. е. Тургенев.— *Ю. С.*) хорошо познакомил меня с этими ужасными личностями» (ibid., стр. 325).

Разрыв Тургенева с «Современником» дал толчок к усилению кампании против радикалов, скоро перешедшей и на столбцы газет и журналов.

Возможно, что сам Тургенев не отдавал себе отчета в том, что разрыв его с «Современником» вызван по существу разногласиями политического характера, и готов был сводить его к личным недоразумениям. По крайней мере, когда Чернышевский в «Полемических красотах» заявил, что Тургенев разошелся с журналом вследствие несогласия в убеждениях, сам Тургенев счел нужным протестовать против этого утверждения. Вот что писал Чернышевский, возражая на гнусные инсинуации Каткова, уверявшего в «Русском Вестнике», что раньше «Современник» по низкому расчету льстил Тургеневу, а затем, после его ухода из журнала, начал по низкому же расчету ругать его: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не

---

[1] Речь идет о статье Герцена «Very dangerous!!!», о которой см. дальше.

[2] Речь идет об известной поездке Чернышевского; о ней см. ниже.

[3] Речь идет о Тимашеве, управляющем Третьего Отделения, т. е. о шефе всесильной тогда политической полиции. Итак, если верить этому рассказу, Тургенев не стеснялся доносить на своих литературных противников начальнику политического шпионажа! Недурно для просвещенного эстета и культурного либерала из «порядочного» общества...

были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого г. Тургенева». Отвергая наличие как лести, так и оскорблений по адресу Тургенева в «Современнике», Чернышевский протестует против неприличной выходки «Русского Вестника», пытавшегося примешать к спору денежные расчеты.

По поводу указания Чернышевского, что разрыв Тургенева с «Современником» вызван различием убеждений, Тургенев в письме к Достоевскому от 3 октября 1861 года писал: «Современник» плюется и сознательно лжет, но ведь это не в первый раз; у меня письмо от Некрасова, писанное в начале этого года, в котором он мне делает самые блестящие предложения. Я ему ответил, что сотрудником «Современника» более не буду, ну и выходит, что надо сказать публике, что меня прогнали» [1]. Приблизительно то же Тургенев писал в письме от 10 декабря 1862 г., напечатанном в № 334 «Северной пчелы» [2].

Мы видим, таким образом, что сам Тургенев пытался принизить смысл своего разрыва с «Современником» и дать ему довольно пошлое обывательское об'яснение. Неудивительно, что и другие «либералы» из бывшего окружения Белинского не поднимались выше этих обывательских сплетен. Так, П. Анненков в своих «Воспоминаниях» утверждает, что «не разность мнений была первой причиной разрыва (Тургенева) с «Современником», а отказ Тургенева отдать в журнал новую свою повесть и [решение?] прекратить вообще свои вклады в него». Речь идет о злополучном «Накануне», послужившем поводом к разрыву.

Чернышевский утверждал прямо противоположное, подчеркивая, что причиной разрыва явились различия в убеждениях и в частности изменившаяся оценка редакцией «Современника» литературных произведений Тургенева. Некоторой иллюстрацией к последнему указанию Чернышевского может служить появившийся около того же времени (в июньской книжке «Современника» за 1860 г.) отзыв его о романе Тургенева «Рудин». Почему Чернышевский счел нужным именно в тот момент вспомнить о «Рудине», который впервые вышел в свет в 1855 году? Мы склонны об'яснить это не только тем, что Чернышевский признал необходимым в разгар журнальной клеветы привести наглядное доказательство изменившегося отношения «Современника» к повестям Тургенева, но и тем, что после разрыва в публике распространились слухи о подготовке Тургеневым нового романа, направленного против радикалов и в частности против Добролюбова (будущие «Отцы и дети»). Таким образом к пасквилю, написанному в свое время на Бакунина,

[1] «Первое собрание писем Тургенева», стр. 96.

[2] Н. Гутьяр — «И. С. Тургенев и Н. А. Некрасов». «Р. Старина» 1903 № 1, стр. 84 и 88.

должен был теперь прибавиться новый пасквиль на молодое поколение. И возможно, что Чернышевский счел уместным заблаговременно поднять голос протеста против такого использования литературы и сделать предупреждение писателям, прибегающим к подобным способам расправы с своими политическими противниками. Этим, быть может, об'ясняется и резкость заметки Чернышевского.

Так или иначе, но, воспользовавшись случайным поводом, а именно рецензией на книгу американского писателя Н. Готорна («Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии», Спб. 1860), Чернышевский, основываясь на сведениях, сообщенных ему в прежнее время В. Боткиным и Некрасовым [1], указал на тенденциозный характер знаменитого тургеневского романа.

По цензурным условиям того времени, не называя ни Бакунина, ни Рудина, ни Тургенева, Чернышевский тем не менее довольно ясными намеками дал понять, о чем и о ком он говорит. Вот что в этой рецензии сказано по поводу «Рудина» и Бакунина:

«Иные люди могут иметь свой расчет, когда утаивают и искажают факты, как Готорн искажает греческие мифы: но какая надобность может заставить художника искажать психологическую истину в своих произведениях? Ведь ему от этого нет никакой выгоды, он тут поступает чисто по слепому предубеждению. Мы припомним один пример, не называя имен. Есть одна прекрасная повесть, героем которой, как по всему видно, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски, но имевшему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных понятий, затмевавшему величайших ораторов блеском красноречия, — человеку, не бесславными чертами вписавшему свое имя в истории, сделавшемуся предметом эпических народных сказаний. Кажется, такой человек мог быть изображен как человек серьезный. Автор повести, кажется, и хотел так сделать; но вдруг ему вздумалось: «а что же скажут мои литературные советники, люди такие рассуди-

[1] Подробно Чернышевский излагает свою беседу с Боткиным и Некрасовым, имевшую, видимо, место в 1856 г., в своих воспоминаниях о Добролюбове, частично использованных Е. Ляцким в статье «Н. Г. Чернышевский в редакции Современника» («Совр. Мир» 1911, № 11, стр. 178—181) и приведенных нами в томе IV нашей книги о Бакунине, стр. 458—461. Сущность рассказа Боткина и Некрасова заключается в том, что Тургенев под влиянием некоторых приятелей превратил первоначальный панегирик Бакунину в пасквиль, а когда другие приятели указали ему, что опубликованием произведения в таком виде он опозорит не Бакунина, а себя, Тургенев снова начал переделывать роман, в результате чего появилась мозаика противоположных тенденций, так что в конце концов получился портрет, мало похожий на действительного Бакунина и сотканный из противоречий.

тельные, умеющие так хорошо упрочивать свое состояние, если получили его в наследство, или, по крайней мере, с таким достоинством держать себя в кругу людей с состоянием, если сами не получили большого наследства? Человек, который так расстроил свои семейные отношения, что остался без всего при существовании значительного родового имения, который занимал деньги у богатых приятелей, чтобы раздавать их бедным приятелям, — нет, такой человек не может считаться серьезным по суду моих благоразумных советников». И вот автор стал переделывать избранный им тип, вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, как будто лев годится для карикатуры. Разумеется, такое странное искажение не удалось, да и самому автору по временам, кажется, было совестно представлять пустым человеком исторического деятеля. Повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее шиллерова Дон-Кихота, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей...

«Неужели мы так просты, что думаем своими замечаниями исправить высоко стоящих в литературе людей, недостатки которых указываем? Нет, им поздно исправляться: в них уже слишком в'елась привычка фальшивости и пустословия... Пусть они (новые писатели.— *Ю. С.*) знают, что будут отвергнуты нами, если вздумают лгать и пустословить» [1].

Этот отзыв, по существу совершенно справедливый, глубоко возмутил Тургенева, умудрившегося вычитать из него обвинения, которых там вовсе не содержалось. В письме к Е. Колбасину от 12 ноября 1860 года Тургенев говорил: «В одном № он («Современник». — *Ю. С.*) намекает прямо(?) на то, что если я представил Рудина с критической точки зрения, так это потому, что мне за это заплатили, — или что-то подобное (зри июньский №, Современное обозрение, стр. 240). Тут важно не то, что меня ругают, а то, с какою легкостью себе позволяют сознательные клеветы» [2]. Несколько раньше, а именно 1/13 октября того же года Тургенев сообщил Панаеву, что ничего для «Современника» дать не может, и в тот же день в письме к П. Анненкову мотивировал свое нежелание продолжать сотрудничество в «Современнике» отзывом о романе «Рудин» (который он приписывал ненавистному для него Добролюбову), причем истолковывал упомянутую рецензию так: «Добролюбов обвиняет меня, что я преднамеренно из «Рудина» сделал карикатуру для того, чтобы понравиться моим б о г а т ы м литературным

[1] «Соч.», т. VI, стр. 274 сл.

[2] «Первое собрание писем Тургенева», стр. 83.

друзьям, в глазах которых всякий бедняк — мерзавец. Это уж слишком, и быть участником в подобном журнале уже не приходится порядочному человеку» [1]. А насколько этот отзыв его задел, видно из того, что и несколько лет спустя, когда автор рецензии был уже из'ят из списка живущих и томился в сибирской каторге, Тургенев в письме к Я. П. Полонскому из Бадена от 6 марта 1868 года говорил: «Чернышевский печатно заявил, что меня подкупили деньгами, чтобы изменить к худшему характер Рудина» [2].

Итак, жалуясь на мнимую клевету Чернышевского, Тургенев сам действительно клеветал на своего противника, который ничего подобного не говорил и лишен был возможности защищаться от взводимых на него поклепов.

7. „Отцы и дети"

Скоро Тургенев выполнил свою угрозу и метнул в ненавистных «семинаристов» парфянской стрелой. Этой стрелой был знаменитый роман «Отцы и дети».

До сих пор насчет этого романа единого мнения не установилось. И это естественно. Что по замыслу Тургенева этот роман должен был явиться обличением молодого демократического поколения 60-х годов, в этом не может быть сомнения. Уже до появления романа в литературных кругах циркулировали слухи о булыжнике, который раздраженный Тургенев собирался метнуть в радикальный лагерь. Между прочим редакция «Современника» была оповещена, что Тургенев уезжает за границу для того, чтобы на свободе писать повесть под заглавием «Нигилист», героем которой будет Добролюбов» [3].

---

[1] Н. Гутьяр, цит. ст., стр. 83.

[2] «Первое собрание писем Тургенева», стр. 136.

[3] Головачова-Панаева, стр. 326. — На точность сообщаемых Головачовой-Панаевой сведений трудно положиться. Но в данном случае память ей не изменила, ибо словечко «нигилист», сделавшееся столь популярным после напечатания романа, было уже пущено в ход до его выхода в свет. Так, Панаев в № 11 «Современника» за 1861 год (стр. 76), т. е. за три месяца до появления романа Тургенева, писал: «Мы решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, — поколение сухое, холодное, черствое, бессердечное, все отрицающее, вдавшееся в ужасную доктрину — в нигилизм! Если мы не решились заклеймить этим страшным именем все поколение, то, по крайней мере, уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов». Ясно, что Панаев имеет здесь в виду «отцов» из породы либералов и охранителей, придумавших это «страшное» словечко, как видим, до напечатания «Отцов и детей», появившихся в № 2 «Русского Вестника» за 1862 год.

Таким образом пасквильный характер «Отцов и детей» со стороны суб'ективных намерений автора не подлежит сомнению. Так его понял, разумеется, и Катков, взявший этот роман для «Русского Вестника»; так его поняла и вся тогдашняя журналистика, как консервативная и либеральная, так и радикальная, напр., тот же «Современник», поместивший по поводу романа статью Антоновича «Асмодей нашего времени» [1]. Исключение составлял Писарев, усмотревший в главном герое романа, Базарове, законченный и верный тип, чуть ли не идеал, молодого поколения [2]. Но такие крупные художники, как И. С. Тургенев, не могут оставаться глухими к голосу жизни даже тогда, когда приступают к работе с предвзятой тенденцией. Намеренно надетые шоры не в состоянии наглухо закрыть от их взора типичных явлений действительности, обладающих реальной силой и длительным значением. Уста их глаголют от избытка чувств и вопреки их суб'ективным предубеждениям. И часто они уподобляются библейскому Валааму, который, прийдя проклясть Израиля, невольно благословил его. Даже в «Рудине» Тургенев не сумел скрыть от читателя ряда симпатичных черт своего героя. Еще менее удалось это ему в «Отцах и детях», где сильная личность представителя разночинной демократии насильно покоряет себе чуткого автора и заставляет его открывать в ней черты, которые не могли не поразить глаз художника. Вот почему и этот роман оказался в конечном итоге еще более двойственным, чем «Рудин», и мог вызывать одинаково благоприятные оценки в совершенно противоположных лагерях. И вот почему Тургенев мог давать своему произведению различное толкование, смотря по тому, к кому он адресовался — выпячивать его памфлетные стороны, когда говорил с врагами демократии, и подчеркивать положительные стороны главного героя, когда обращался к людям, подозреваемым в симпатии к прогрессивному лагерю.

Чернышевский, который в качестве современника и человека, замешанного в конфликт, мог судить об этом вопросе с полным знанием

[1] Тургенев, разумеется, предвидел, что «Современник», против которого роман и был направлен, отнесется к «Отцам и детям» отрицательно. Так, 8 августа 1861 года он писал Е. Колбасину из Спасского: «Роман я свой кончил и отдал его Каткову в Москве. «Современник» сильно его бранить будет, — не знаю, будут ли хвалить другие» («Первое собрание писем Тургенева», стр. 95).

[2] Мелкобуржуазный демократ Писарев, идеолог технической интеллигенции, имел некоторые психологические основания отнестись так к герою тургеневского романа. См. интересную, но далеко не во всем верную статью В. Переверзева «Нигилизм Писарева в социалистическом освещении» («Красная Новь» 1926, июнь) неосновательно усматривающую в Писареве, а не в Чернышевском, предшественника русского марксизма.

дела, считал роман «Отцы и дети» пасквилем на Добролюбова. Чернышевский очень хорошо знал, что Тургенев терпеть не мог гениального юношу, особенно резко бичевавшего все недостатки барского половинчатого либерализма. По этому поводу Чернышевский рассказал в печати анекдот, который в более определенной форме повторил и в своих воспоминаниях о Добролюбове. Однажды Тургенев, который, как и Чернышевский, был членом комитета «Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым» в первый год его существования (1860 г.), стал на литературном чтении в пользу Общества в Пассаже жаловаться на Добролюбова за статью о «Накануне» и при этом с чисто барской галантностью сказал Чернышевскому: «Вы — простая змея, а Добролюбов — очковая». Острота эта так ему понравилась, что он тут же повторил ее перед несколькими членами комитета [1]. Упомянув об этом случае, Чернышевский продолжает: «Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети». Мне случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать об'яснения по вопросу об отношениях этого романа к лицу Добролюбова; попадались на глаза и кое-какие отрывки из этих об'яснений. Но это были только отрывки, и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были об'яснения, взятые все вместе. Мне самому случилось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал, — рассказ какого-то из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович о разговоре ее с Тургеневым. Она жила тогда за границей... Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отомстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его. Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается: ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова [2]. Это, действительно, портрет действительного лица, но совершенно иного! Это — медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл ей фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило ее. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного

[1] См. «В из'явление признательности», «Соч.», т. IX, стр. 103, а также цит. ст. Ляцкого, стр. 177.

[2] Как увидим ниже, Герцен упрекал Тургенева именно в том, что при писании романа он слишком много думал о Чернышевском и его единомышленниках. И это было, разумеется, верно.

врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания. Госпожа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев сознался, наконец, что, действительно, он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман».

И Чернышевский прибавляет, что его личное мнение об этом деле основано на фактах, известных ему в связи с разговорами о Рудине, где Тургенев представил карикатуру Бакунина.

Как же сам Тургенев смотрел на свой роман? Уже один тот факт, что он отдал его Каткову для «Русского Вестника» после открытого последним похода на радикалов (см. ниже) и ждал осуждения от «Современника», показывает, что он прекрасно сознавал контрреволюционные тенденции своего произведения. Это же отчасти видно из письма его к П. Анненкову, сообщившему ему о слухах относительно привлечения его правительством к ответственности за сношения с лондонскими изгнанниками: «Вызвать меня теперь, после «Отцов и детей», после бранчивых статей молодого поколения, именно теперь, когда я окончательно, чуть ли не публично разошелся с лондонскими изгнанниками, — это совершенно непонятный факт»[1].

Но перед другими Тургенев по двойственности свой натуры и положения считал нужным приписывать роману иной характер и стремления. Так, в письме к К. Случевскому от 14 апреля 1862 года из Парижа, он говорил:

«Если он (Базаров) называется нигилистом, то надо читать: революционером... Меня не поняли. Вся моя повесть направлена против дворянства, как передового класса... Все истинные отрицатели, которых я знал, без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.) происходили от сравнительно добрых и честных родителей,— и в этом заключается великий смысл: это отнимает у деятелей, у отрицателей всякую тень личного негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что были чутки к требованиям народной жизни...

«Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная и все-таки обреченная на погибель, потому что она все-таки стоит еще в преддверии буду-

[1] Барсуков — «Жизнь и труды Погодина», т. XIX, стр. 246. — Тургенев действительно был привлечен к этому делу (Н. Серно-Соловьевича и др.), вел себя позорно, отрекся от близких отношений и солидарности с Герценом, представил по начальству его письма и был оправдан (а затем пытался отрицать эти факты перед Герценом).

щего, — мне мечтался какой-то странный pendant с Пугачевым и т. д... До сих пор Базарова совершенно поняли, т. е. поняли мои намерения, только два человека: Достоевский и Боткин, В. П. (!)» [1].

Герцен, как мы увидим, игравший в этом конфликте либералов с радикалами огромную, до известной степени инициативную роль, должен был бы обрадоваться роману, в котором шельмовались несимпатичные ему «свистуны». Но и он испытал от романа двойственное впечатление. Это видно по первому его отклику на «Отцов и детей». 21 апреля 1862 года он писал Тургеневу: «Ты сильно сердился на Базарова, с сердцов карикировал его, заставлял говорить нелепости... а он все-таки подавил собой и пустейшего человека с душистыми усами, и размазню-отца, и бламанже Аркадия». Герцен отмечает, что Тургенев чувствует себя оскорбленным дерзкой и желчной внешностью, плебейством Базарова, что он несправедливо отнесся к «серьезному, реалистическому, опытному воззрению», смешав его с «каким-то грубым, хвастливым материализмом», а в заключительных замечаниях он правильно подчеркивает тенденциозность романа и указывает даже ту группу, против которой Тургенев направил свое произведение: «Мне кажется, что великая сила твоего таланта — не в Tendenz-Schrift'ах. Если б, писавши сверх того ты забыл о всех Чернышевских в мире, было бы для Базарова лучше» [2].

Ответ Тургенева составлен приблизительно в том же духе, что и письмо к Случевскому. «Немедленно отвечаю на твое письмо, — пишет он Герцену 28 апреля 1862 г. из Парижа, — не для того, чтобы защищаться, а чтобы благодарить тебя и в то же время заявить, что при сочинении Базарова я не только не сердился на него, но чувствовал к нему «влеченье, род недуга» [3], так что Катков на первых

---

[1] «Первое собрание писем Тургенева», стр. 104 сл. — Боткин «понял» его в том смысле, что собирался писать в журнал Каткова доносительную статью на нигилистов как на разрушителей общественного порядка (см. ниже). Так роман поняло большинство.

[2] Герцен — «Сочинения», т. XV, стр. 109. — Позже Герцен, порвав с революционной молодежью, более мягко отнесся к тенденциозности тургеневского романа.

[3] Для характеристики двуличия или, если угодно, беспринципности Тургенева интересно сопоставить с этими словами следующую выдержку из письма его к Фету, относящегося приблизительно к тому же времени (6 апреля 1862 г.): «Какая тенденция в Отцах и детях, позвольте спросить? Я этого сам не знаю, ибо не знаю, люблю ли я его или ненавижу... Я всех этих лиц рисовал как бы рисовал грибы, деревья; намозолил мне глаза — я и принялся чертить» (А. Фет — «Мои воспоминания», ч. I, М. 1890, стр. 396).

порах ужаснулся и увидал в нем апофеозу «Современника» и вследствие этого уговорил меня выбросить немало смягчающих черт, в чем я раскаиваюсь [1]. Еще бы он не подавил собою «человека с душистыми усами» и других! Это — торжество демократизма над аристократией. Положа руку на сердце, я не чувствую себя виновным перед Базаровым и не мог придать ему ненужной сладости. Если его не полюбят, как он есть, со всем его безобразием, значит я виноват и не сумел сладить с избранным мною типом. Штука была бы не важная представить его идеалом; а сделать его волком и все-таки оправдать его — это было трудно; и в этом я, вероятно, не успел; но я хочу только отклонить нарекание в раздражении против него. Мне напротив сдается, что противное раздражению чувство светится во всем, в его смерти и т. д.» [2].

Но в общем и реакционеры, и умеренные либералы были довольны романом Тургенева, в котором они правильно усмотрели литературную расправу с радикальными элементами (в предвидении ожидавшейся со дня на день полицейской расправы с ними). Известный мракобес Аскоченский назвал «Отцы и дети» «превосходнейшим романом» и признавал его «одной из величайших заслуг Тургенева» («Домашняя Беседа», 1862, № 19, стр. 447—454). А в умеренно-либеральной «Библиотеке для чтения» (1862, т. CL, стр. 21—24) критик приветствовал Тургенева за то, что он «дал возможность обществу оглядеться, опознаться и назвать незаконных претендентов на название общественных вождей их настоящими и далеко не столь лестными именами» [3].

Однако крестный отец романа, Катков, более проницательный и более злобный, недоволен был двойственностью тургеневского произведения, в котором «нигилисты», с одной стороны, клеймились, но с другой — даже в пристрастном изображении обличителя оказывались головою выше носителей дворянской культуры, «отцов». Свое недовольство Катков выразил в письме к Тургеневу. «Если и не в апофеозу возведен Базаров, — писал он, — то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет все окружающее... В повести чувствуется, что автор хотел характеризовать начало, мало ему сочувственное, но как будто колебался

[1] Это характерное признание Тургенева необходимо отметить. Значит, он и здесь поступил так же, как при сочинении «Рудина», т. е. в угоду реакционерам усугублял отрицательные черты выводимых в романе лиц.

[2] «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену», стр. 146.

[3] См. Барсуков, т. XIX, стр. 163, 165 и сл.

в выборе тона и бессознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное в отношениях автора к герою повести, какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется и не любит, а еще пуще боится его» [1].

Единомышленник Тургенева, тоже «либерал» из бывшего окружения Белинского, П. В. Анненков, передает свой разговор с Катковым по поводу романа «Отцы и дети» («Вестник Европы», 1895, апрель). «Он не восхищался романом, а напротив, с первых же слов заметил: «Как не стыдно Тургеневу было спускать флаг перед радикалом и отдать ему честь как перед заслуженным воином?» — «Но, Михаил Никифорович, — возражал я, — этого не видно в романе. Базаров возбуждает там ужас и отвращение». — «Это правда, — отвечал он, — но в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, и опытный глаз узнает птицу в этой форме»... — «Неужели вы думали, Михаил Никифорович, — воскликнул я, — что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умственной и нравственной распущенности?» — «Я этого не говорил, — отвечал Катков, — а выходит похоже на то. Подумайте только, молодец этот Базаров господствует безусловно над всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора... Тут кроме искусства существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии» [2].

Катков прекрасно понимал, что «Отцы и дети» представляют произведение, направленное к обличению нарождавшейся тогда в России революционной, крайней демократической партии, и, опасаясь ее будущей роли в стране, требовал от Тургенева более решительного и всестороннего осуждения революционных элементов, чем какое дал и мог дать художник, сидевший между двух стульев и, с одной стороны, послушный голосу классового чувства, а с другой — направляемый своим художественным талантом. В общем, однако, реакция могла быть довольна романом, которым Тургенев закончил и зафиксировал свой разрыв с радикальным течением русской общественной мысли.

---

[1] С. Неведенский — «Катков и его время», Спб. 1888, стр. 151—152. Мы не знаем даты этого письма, но некоторые выражения его совпадают с тем, что говорил Тургенев в приведенном выше ответе его Герцену; следовательно, оно, вероятно, написано до 28 апреля 1862 года.

[2] См. Барсуков, цит. соч., т. XVIII, стр. 484—485.

8. Герцен как инициатор либерального похода на революционную демократию

Но Тургенев не проявил бы такой решимости в деле разрыва с радикалами, если бы задолго до того на них не сделано было открытого нападения со стороны человека, который пользовался признанною славою революционера и вместе с тем являлся в тот момент кумиром либеральной публики. Этим человеком был Герцен, а первое нападение на «Современник» было произведено им еще летом 1859 года.

В то время Герцен, потерявший всякую веру в революционные пути и поставивший себе задачу играть роль государственного мужа in partibus infidelium, давая с чужбины практические советы русскому правительству, стоял в сущности на позиции довольно умеренного либерализма. Сознательно отказавшись от борьбы за низвержение самодержавия, Герцен в своем «Колоколе» с 1855 года выставил чрезвычайно умеренную либеральную программу, не включавшую даже требования политической свободы, не говоря уже о конституции. Он требовал освобождения крестьян от крепостной зависимости, но не революционной самодеятельностью народа, которой он боялся, а с помощью правительственных и дворянских мероприятий; свободы печати, неизвестно чем огражденной; гласного суда и отмены телесных наказаний. Публика его состояла в тот период из либеральных помещиков и либеральничающих бюрократов, к предрассудкам которых он подлаживался, избегая резко задевать их классовые интересы. В общем он выступал в качестве какого-то добровольного министра без портфеля, который, сидя в Лондоне, считал себя призванным направлять по реформаторскому пути действия царизма, признавал его проникнутым стремлениями к народному благу и писал дружеские письма с советами и увещаниями Александру II [1].

---

[1] Подробно об этом см. мою книгу «Борцы за социализм», т. I, стр. 127 сл. — Повидимому, именно этот характер «Колокола» заставил революционера Чернышевского изменить свое отношение к Герцену, которого он в конце 40-х годов глубоко уважал. По крайней мере, уже летом 1856 года он относился к Герцену отрицательно. Это видно из письма Добролюбова к Турчанинову от 1 августа 1856 года, напечатанного в изданных Чернышевским «Материалах для биографии Н. А. Добролюбова» (изд. К. Солдатенкова, М. 1890, стр. 319). Добролюбов достал Чернышевскому вышедшую тогда на французском языке брошюру Герцена «О развитии революционных идей в России». Прочитав эту брошюру и второй номер издававшейся Герценом «Полярной Звезды», Чернышевский сказал Добролюбову, что «он приходит к мысли, что действительно автор — человек весьма замечательный, независимо от того, что мы его любим за идеи его». «Этот отзыв, — прибавляет

Неудивительно, что в конфликте между либералами и радикалами Герцен очутился с той стороны баррикады, где подвизались умеренные элементы. Не забудем, что он, особенно в то время, стоял гораздо ближе к либералам, чем к революционерам [1]. В его «Колоколе» сотрудничали тогда Тургенев и Кавелин, т. е. люди того круга, против которого и направлена была обличительная кампания Чернышевского и Добролюбова. Герцен, проводивший в «Колоколе» умеренно-либеральную программу дворянского меньшинства, почувствовал себя лично задетым той резкой критикой, которую Чернышевский и Добролюбов обратили против дворянского либерализма, и в возгоревшейся борьбе выступил на защиту «отцов» против «детей», людей 40-х годов, к которым он сам принадлежал, против шестидесятников. Более того,

---

Добролюбов, — меня, конечно, чрезвычайно порадовал, потому что оба эти человека — для меня авторитеты». Для понимания этих слов нужно знать, что в тот момент Добролюбов еще преклонялся перед Герценом и, следовательно, не очень-то разбирался в политических программах (это кстати опровергает утверждения тех кто — в том числе и сам Чернышевский, но последний по понятным соображениям, — пытался отрицать огромное влияние Н. Г. на своего молодого друга). Критические замечания Чернышевского насчет Герцена естественно огорчили его юного поклонника и деликатный Чернышевский старался смягчить свои отрицательные отзывы признанием некоторых частичных достоинств Герцена. В примечании к этому месту письма Добролюбова сам Чернышевский поясняет, что в то время он уже «имел образ мыслей, несовсем одинаковый с понятиями Герцена, и сохраняя уважение к нему, уже не интересовался его новыми произведениями». Но, видя, что его отзывы о Герцене огорчают Добролюбова, Чернышевский, наряду с выяснением своему младшему товарищу причин отрицательного своего отношения ко взглядам издателя «Колокола», указал на то, что находил в нем достойным похвалы, и между прочим на его блестящий литературный талант, равного по которому ему нет публициста в Европе. Отсюда, кстати, видно, насколько неправы те кто полагает, что к революционным взглядам Чернышевский склонился только в конце 50-х годов, когда выяснилась неудача предстоявшей крестьянской реформы. Не взгляды его изменились в это время, а только возросла надежда на возможность радикальной революции в России.

[1] Это понимает даже такой умеренный либерал, как А. Корнилов. «Будучи вполне свободен от всяких цензурных стеснений, — говорит он, — «Колокол» не был еще тогда органом революционным и отнюдь не стремился быть представителем крайних направлений; по существу он был гораздо умереннее «Современника». В 1858—1859 гг. «Колокол» был бесцензурным органом не радикального, а либерального движения в России... Когда Чернышевский и Добролюбов стали систематически высмеивать либералов и обличать дряблость и половинчатость дворянских либеральных стремлений, Герцен не только не поддержал их в этом но резко напал на них за эти слишком жестокие и, по его мнению несвоевременные и неуместные выходки» (А. Корнилов — «Крестьянская реформа», Спб. 1905, стр. 119—121).

именно Герцен первый бросил перчатку «свистунам» и открыто, со злобой, не брезгая инсинуациями, напал на революционных демократов.

Здесь несомненно играло роль и некоторое политическое соперничество. До выступления радикальной группы Герцен был признанным главою русской оппозиции. Но он совершил колоссальный промах, просмотрев нарождение новой общественной группы — разночинной демократии. В результате, добившись известного, хотя и весьма неустойчивого, влияния на передовые круги высших классов, Герцен не приобрел серьезного влияния на демократические элементы. Дворянский либерализм оказался непрочной опорой, и скоро Герцен почувствовал, что его влияние на русскую жизнь ослабевает. Кампания, которую радикалы вели против барского либерализма, подрывала одновременно и политическую позицию Герцена, через головы Кавелина, Тургенева и пр. била и по «Колоколу». Еще до того, как «Молодая Россия» в 1862 году признала отсталость Герцена, а молодая эмиграция (в середине 60-х годов) решительно выступила против него, он почувствовал, что влияние на демократические группы от него ускользает [1]. Но вместо признания своей ошибки он предпочел обрушиться на левую радикальную группу, естественно ставшую во главе нарождавшегося революционного движения, и в первую очередь на кружок «Современника».

В 44 № «Колокола» от 1 июня 1859 года появилась статья Герцена «Very dangerous!!!» («Весьма опасно»), прямо направленная против кружка Чернышевского. «В последнее время, — писал Герцен, — в нашем журнализме стало повевать какой-то тлетворной струей, каким-то р а з в р а т о м мысли». Герцен отказывается принять взгляды Чернышевского и Добролюбова за выражение общественного мнения, а высказывает предположение, что их статьи внушены им правительством. «Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими, катаются со смеху над о б л и ч и т е л ь н о й литературой, над неудачными опытами г л а с н о с т и. И это не то, чтобы случайно, но при большом театре ставят особые балаганчики для освистывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не заросли волосы на полголове, так она недавно сидела в остроге» [2].

---

[1] С. Неведенский отмечает, что дирижерская палочка от Герцена перешла к Чернышевскому («Катков и его время», стр. 146).

[2] Балаганчик при театре — это, конечно, «Свисток», выходивший в виде приложения к «Современнику». Ниже мы увидим, что во время крестового похода дворянско-буржуазной печати против Чернышевского участники этой кампании особенно охотно повторяли это и другие словечки Герцена.

Герцен дальше возмущается насмешками радикалов над либералами-мечтателями, напоминает «свистунам», как сурово общественное мнение казнило «за гражданские измены или шаткости», приводит пример Гоголя и Сенковского и утверждает, что в смехе Чернышевского и Добролюбова нет «того вечно тревожащего демона любви и негодования», который в избытке замечался у Белинского и Грановского. Теперь, дескать, наступила эпоха серьезных общественных начинаний. «Вот потому-то в такое время, — заключает Герцен, — пустое балагурство скучно, неуместно; но оно делается отвратительно и гадко, когда привешивает свои ослиные бубенчики не к той тройке из царских конюшен, которая называется Адлерберг, Тимашев и Муханов [1], а к той, которая, в поту и выбиваясь из сил, вытаскивает — может, иной раз оступаясь — нашу телегу из грязи! Не лучше ли в сто раз, господа, вместо освистывания неловких опытов вывести на торную дорогу, самим на деле помочь и показать, как надо пользоваться гласностью? Мало ли на что вам есть точить желчь, — от цензурной троицы до покровительства кабаков, от плантаторских комитетов до полицейских побоев. Истощая свой смех на обличительную литературу, милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до Станислава на шею» [2].

Таким образом Герцен прибег к обычному приему уличенных либералов: вместо разбора аргументации радикалов-революционеров по существу, он обвинял своих противников в служении интересам реакции. При этом он становился как раз на ту позицию прекраснодушного либерализма, которая возбуждала особенно сильное негодование и презрение в кружке Чернышевского: теперь, дескать, в России — не прежнее время; наступила эпоха реформ, и только люди, неспособные к практической работе, могут отделываться огульным отрицанием. Своим выступлением Герцен определенно приобщался к стану Кавелиных и пр., либеральные иллюзии которого Чернышевский и считал одной из главных опор самодержавия.

Скандальная статья Герцена, в которой Чернышевский и Добролюбов об'являлись чуть ли не наемниками царизма, и в которой будущим жертвам самодержавного произвола сулился Станислав на шею, произвела крайне тяжелое впечатление на кружок «Современника».

[1] Из этих трех лиц составлен был 24 января 1859 года «Комитет по делам книгопечатания», тот самый «цензурный триумвират», под «наитием» которого, как инсинуировал Герцен, якобы действовали радикалы из «Современника» и «Свистка».

[2] Герцен — «Сочинения», т. X, стр. 11 сл.

Правда, в рассматриваемый момент и Чернышевский, и Добролюбов уже не считали Герцена человеком своего лагеря, знали об его отказе от революционной борьбы и о его либеральном уклоне, но все-таки они по старой памяти относились к нему с личным уважением и симпатией. Для них выступление Герцена явилось крайне неприятным сюрпризом. Пороча и шельмуя вождей демократического крыла, статья Герцена угрожала внести смуту и в радикальный лагерь, в котором было еще немало людей, прислушивавшихся к голосу лондонской эмиграции и чтивших в Герцене и Огареве пионеров борьбы с самодержавием. К Герцену нельзя было отнестись с таким холодным пренебрежением, как к обычным представителям тогдашнего российского либерализма.

Как видно по записи в дневнике Добролюбова, он 5 июня узнал об этой статье Герцена от Некрасова (повидимому, о ней уже говорили в великосветском клубе, откуда Некрасов и принес эту новость). По словам Некрасова, в статье имелся намек на то, что «Современник» подкуплен триумвирным бюро (это в статье действительно было сказано). «Если это правда, — говорит Добролюбов, — то Герцен — человек вовсе не серьезный: так легкомысленно судить о людях в печати ужасно дико». Добролюбов склоняется к мысли, что этого быть не могло, что Некрасов ошибся; во всяком случае он считает нужным послать Герцену письмо с об'яснениями. «Меня сегодня целый день преследовала мысль об этом, и мне все было как-то неловко: как будто у меня в кармане нашлись чужие деньги, бог знает как туда попавшие... Однако хороши наши передовые люди! Успели уж пришибить в себе чутье, которым прежде чуяли призыв к революции, где бы он ни слышался и в каких бы формах ни являлся[1]. Теперь уж у них на уме мирный прогресс при инициативе сверху, под покровом законности!.. Я лично не очень убит неблаговолением Герцена, с которым могу померяться, если на то пойдет; но Некрасов обеспокоен, что это обстоятельство свяжет нам руки, так как значение Герцена для лучшей части нашего общества очень сильно. В особенности намек на бюро («Бюро прессы», т. е. упомянутый выше цензурный триумвират. — *Ю. С.*) оскорбляет его, так что он чуть не решается ехать

[1] В этих и следующих словах Добролюбов раскрывает действительный смысл литературной деятельности своей и Чернышевского. Но разве Герцен всерьез не замечал этого смысла? Даже благожелательно настроенный к нему редактор и комментатор его сочинений М. Лемке указывает, что Герцен действовал с полным сознанием дела и выражал свою антипатию к радикализму, с которым его собственный путь не совпадал (Герцен — «Соч.», т. X, стр. 16).

в Лондон для об'яснений, говоря, что этакое дело может кончиться и дуэлью. Ничего этого я не понимаю и не одобряю, но необходимость об'яснения сам чувствую и для этого готов был бы сам ехать. Действительно, если намек есть, чтобы Герцен печатно же от него отказался и взял назад свои слова». Дальше Добролюбов подсчитывает силы революционеров и находит их очень немногочисленными, но выражает уверенность, что «нас скоро прибудет» (ib., стр. 17—18).

Повидимому, Добролюбов написал Герцену какое-то письмо, но содержание его нам неизвестно [1]. Точно так же не установлено, действительно ли встречались Герцен и Добролюбов во время пребывания последнего в Италии, о чем сообщает Батуринский [2]. Но в Лондон для об'яснения с Герценом выехал сам Чернышевский.

Какое значение придавалось тогда неожиданному нападению Герцена, и как сильно его инсинуация подействовала на кружок «Современника», видно из того, что известие о его статье получено было редакцией 5 июня, а 10-го Чернышевский, бросив все дела, выехал уже за границу [3]. Свидание это держалось в величайшем секрете, так что в свое время русская полиция о нем не узнала [4].

---

[1] В. Богучарский — «Из прошлого русского общества», Спб. 1904, стр. 253; об этом письме говорит и А. Серно-Соловьевич в своей направленной против Герцена брошюре «Наши домашние дела», Женева 1867, стр. 29.

[2] В. П. Батуринский — «Герцен, его друзья и знакомые», Спб. 1904, стр. 103.

[3] В «Канве биографии Герцена», составленной М. Лемке («Сочинения» Герцена, т. XXII, стр. 300), указывается, что Чернышевский был в Лондоне 26—30 июня 1859 года, повидимому, по новому стилю.

[4] Третье Отделение узнало об этой поездке с опозданием, вероятно, не ранее конца 1861 года, когда занялось основательно Чернышевским и начало собирать всякие слухи и сплетни для его обвинения. Так, в «Записке из частных сведений о титулярном советнике Чернышевском», внесенной Потаповым в следственную комиссию 1 августа 1862 г., говорится: «Известно, что в июне месяце 1859 года Чернышевский ездил за границу, был в Лондоне у Герцена, который до того по денежным делам Огарева с Панаевым, бывшим редактором «Современника», был враждебен этому журналу, с поездки же Чернышевского за границу со стороны лондонской русской прессы стало проявляться сочувствие к оному» (Дело следственной комиссии о Чернышевском, л. л. 48—53; у Лемке «Политические процессы», стр. 202). Разумеется, жандарм все переврал, основываясь на болтовне либеральных кумушек, подхваченной малограмотными агентами. Намек на эту поездку имеется в «Материалах для биографии Добролюбова», М. 1890, стр. 521, где в письме, относящемся к концу июня 1859 года, сказано: «Чернышевский уехал за границу». — Как видно из воспоминаний Стахевича, некоторые прикосновенные к революции лица в конце 1861 или в начале 1862 г. об этой поездке знали.

Н. А. Тучкова-Огарева передает об этом свидании следующее: «Некоторое время спустя (после посещения Герцена Бахметьевым. — *Ю. С.*) явился в Лондон человек, о котором говорила чуть не вся Россия, о котором мы постоянно слышали, который много писал, о котором постоянно упоминали в печати, которого не только хотелось видеть, но хотелось узнать... Это был Николай Гаврилович Чернышевский... [1]. Как теперь, вижу этого человека: я шла в сад через зал, неся на руках свою маленькую дочь, которой было немного более года; Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил с своим собеседником. Чернышевский был среднего роста, лицо его было некрасиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе. Он погладил ребенка по голове и проговорил тихо: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу». Кажется, Герцен и Чернышевский виделись не более двух раз. Герцену думалось, что в Чернышевском недостает откровенности, что он не высказывается вполне [2]; эта мысль помешала их сближению, хотя они понимали обоюдную силу, обоюдное влияние на русское общество... Вести, привезенные Чернышевским, были неутешительны, исполнены печальных ожиданий» [3].

И это все, что поверхностная мемуаристка могла сообщить об этом свидании двух столь замечательных людей. Вообще то, что существует в литературе по этому вопросу, не дает точного представления о содержании бесед между идейными вождями обоих крыльев тогдашнего русского прогрессивного лагеря.

О свидании с Чернышевским Герцен рассказал в статье «Лишние люди и желчевики» [4] чрезвычайно пристрастно и односторонне. По-

[1] Дальше Тучкова рассказывает, будто Чернышевский приехал к Герцену для переговоров об издании «Современника» за границей в случае его запрещения в России, «чего ожидали тогда». Это в 1859-то году! И ниже она сообщает, что «насчет издания «Современника» они столковались в несколько слов». Не потому ли исследователи (кроме М. Лемке) до сих пор вообще не использовали рассказ Тучковой о посещении Лондона Чернышевским, что она так напутала в передаче происходивших между ним и Герценом переговоров?

[2] То же сообщает и Николай Ге, которому Герцен в 1864 году во Флоренции рассказывал о своей встрече с Чернышевским: «Он его не полюбил; ему показался он неискренним, «себе на уме», как он выразился» (Николай Ге — «Встречи». «Северный Вестник» 1894, № 3, стр. 240).

[3] Н. А. Огарева-Тучкова — «Воспоминания», М. 1903, стр. 163—164.

[4] «Колокол», № 83 от 15 октября 1860 года; в «Сочинениях», т. X, стр. 412—423. — М. Лемке в своих комментариях к этой статье высказывает пред-

слушать его, так весь разговор представителей двух направлений русской общественной мысли вертелся якобы вокруг исторических экскурсий в 30-е и 40-е годы.

На самом деле не может подлежать сомнению, что спор Чернышевского с Герценом должен был итти об отношении к тогдашнему русскому либерализму и к реформам 60-х годов; исторические справки могли служить для того и другого собеседника лишь иллюстрацией их отношения к текущим злободневным вопросам. Не забудем, что полемика-то между ними завязалась именно по поводу насмешек «Современника» и «Свистка» над буржуазным либерализмом вообще и над тогдашними российскими «прогрессистами», в частности.

Лишние люди — это «отцы», люди 40-х годов, и либералы 60-х годов, на которых нападал «Современник»; «желчевики» — это революционеры 60-х годов, Чернышевский и его единомышленники, на которых нападал Герцен. Но единственный упрек, который Герцен мог поставить желчевикам, это их тон, беспокойный тон, язык saccadé (т. е. отрывистый. — *Ю. С.*) и вдруг расплывающийся в бюрократическое празднословие, уклончивое смирение и надменные выговоры, намеренная сухость и готовность по первому поводу осыпать ругательствами, оскорбительное принятие вперед всех обвинений и беспокойная нетерпимость директора департамента.

«Этот fion (т. е. ухватка. — *Ю. С.*) директорского распекательного слога, презрительный и с прищуренными глазами, для нас противнее генеральского сиплого крика, напоминающего густой лай остепенившейся собаки, ворчащей больше по общественному положению».

С. Стахевич, на каторге слыхавший рассказ об этом свидании от самого Чернышевского, передает его так: «Николай Гаврилович нападал на Герцена за чисто обличительный характер «Колокола» [1]: «Если

положение, что под «Даниилом» выведен не Чернышевский, а А. Слепцов, видавшийся с Герценом несколько позже. Но эта гипотеза опровергается весьма ясными словами Герцена: «говорил нам недавно один желчевик sehr ausgezeichnet in seinem Fache» (очень выдающийся в своей области). Очевидно, что эти слова могли относиться только к Чернышевскому, но никак не к А. Слепцову, тогда (в 1860 г.) молодому чиновнику, совершенно неизвестному и ничем не замечательному. Далее, возмутительная выходка против Некрасова, которою кончается статья и которая, по словам Герцена, была сделана им в разговоре с «Даниилом», имела смысл только в беседе с Чернышевским, но не с А. Слепцовым, не имевшим к «Современнику» да и вообще к литературе никакого отношения.

[1]. Здесь Стахевич плохо излагает ясную мысль Чернышевского. Последний, как увидим ниже, упрекал Герцена не за «обличительный», а за

бы наше правительство было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде, в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным. А суть-то дела — именно в строе, а не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу, скажем — конституционную или республиканскую или социалистическую, и затем всякое обличение являлось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое «Carthaginem esse delendam». Смысл тирады Н. Ч. я передал верно; за точность выражений не ручаюсь; именем Карфагена означалось в данном случае, очевидно, самодержавие» [1].

Но надо полагать, что Чернышевский, изложив Герцену сущность программы революционного направления, коего он уже тогда был признанным вождем в России, вместе с тем раскритиковал умеренно-соглашательский тон герценовского «Колокола», охарактеризованный и в приведенной выше выдержке из дневника Добролюбова (видимо, друзья и до конфликта с Герценом говорили между собою о проявленном редактором «Колокола» крайнем политическом оппортунизме, в частности о неприличии его обращений к царю). Следом беседы с Герценом явилась статья «Письмо из провинции», подписанная «Русский человек» и напечатанная с характерным предисловием от редакции в № 64 «Колокола» от 1 марта 1860 года [2]. В бумагах А. Слепцова М. Лемке нашел копию этой статьи с пометкою, свидетельствующею о принадлежности ее Чернышевскому. Это более чем вероятно по общему тону и содержанию статьи, точно отвечающей действитель-

---

мелко-обличительный характер его газеты. Он считал смешным разоблачать преступления отдельных агентов власти, умалчивая о самодержавии и не выставляя требования его низвержения (и притом революционного) в качестве первого пункта программы. Это отчасти выясняется из дальнейших слов Стахевича.

[1] «Материалы для биографии Чернышевского», «Закасп. Обозрение». 1905, № 243, и сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан. стр. 103.

[2] Перепечатана в «Сочинениях» Герцена, т. X, стр. 224—229; предисловие Герцена к ней, стр. 218—224.—В названной выше брошюре А. Серно-Соловьевича Герцену давался совет перечитать письмо к нему Добролюбова. По этому поводу Ветринский («Герцен», стр. 356) высказывает предположение, не является ли статья «Русского человека» этим письмом. Но статья эта и по слогу, и по содержанию больше похожа на произведение Чернышевского.

ным взглядам Чернышевского, которые в подцензурной печати он мог выражать лишь туманными намеками [1].

Автор начинает с указания на те радужные надежды, которые овладели передовыми русскими людьми, когда до них дошла весть о предпринятом Герценом издании «Колокола», который, как они предполагали, будет носить определенно революционный характер. «Все ждали, что вы станете обличителем царского гнета, что вы раскроете перед Россией источник ее вековых бедствий [2], — это несчастное идолопоклонство перед царским ликом, обнаружите всю гнусность верноподданнического раболепия». Вместо того «с берегов Темзы несутся к нам гимны Александру II, его супруге (столь пекущейся о любезном вам православии с отцом Бажановым)». Пробуждение народа приближается. Но какую роль играет русский либерализм? И здесь Чернышевский раскрывает смысл той критической кампании против барского либерализма, которую он при помощи Добролюбова вел в «Современнике» и «Свистке» и которая вызвала гнев задетого Герцена. Он со злобой нападает на либеральные иллюзии, борьбу с которыми об'явил одной из своих главнейших задач.

«Помещики-либералы, либералы-профессора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на прогрессивные стремления нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками». Сделав этот намек на влияние Кавелина, Тургенева и К°, которому, дескать, поддается Герцен, Чернышевский выдвигает свою теорию «чем хуже, тем лучше» — в данном случае в применении к вопросу о низвержении самодержавия [3]. «К концу царствования Николая, — говорит он, — все люди, искренно и глубоко любящие Россию, пришли к убеждению, что только силою можно вырвать у царской власти человеческие права для народа, что только те права прочны, которые завоеваны, и что то, что дается, то легко и отнимается. Николай умер, все обрадовались и энергические мысли заменились сладостными надеждами, и поэтому теперь становится жаль Николая... Он скорее довел бы дело до конца».

Дальше автор протестует против слов Герцена в первой книге «Полярной Звезды», будто народ шел в Крымской войне вместе с царем, и потому царь будет зависеть от народа. Это неправда, говорит автор

[1] Это правильно отмечает Ветринский («Герцен», стр. 347), но при этом сообщает явно неверные факты, вроде того, что Чернышевский по цензурным условиям не мог выразить в печати свою действительную точку зрения.

[2] Курсив мой. Теперь становится понятен рассказ Стахевича.

[3] Ниже мы увидим ее в применении к решению крестьянского вопроса.

статьи, указывая, что он во время войны жил в глухой провинции [1] и наблюдал народные настроения. Народ ждал от англо-французов освобождения: крепостные — от помещичьей неволи, а староверы и сектанты — от религиозных гонений. В то время все были настроены враждебно против царизма. Теперь же, когда Александр II слегка распустил ошейник, туго стянутый Николаем I, обществом овладел какой-то угар. «Все очутились в чаду, как будто дело было кончено, крестьяне свободны и с землей. Все заговорили об умеренности, о мирном [2] прогрессе, забывши, что дело крестьян вручено помещикам». Народ надеется получить землю, а либеральные профессора и литераторы «пустили тотчас же в ход эстляндские, прусские и всякие положения, которые отнимали у крестьян землю». «Одним словом, — заключает автор статьи, — крестьяне и либералы идут в разные стороны» (курсив мой). Крестьяне готовы с отчаяния взяться за топоры, а либералы проповедуют умеренность, постепенный прогресс и пр.

Что же выйдет из этого? Или народ, оставшись без руководителей, будет разбит, и восстание его пойдет только на пользу царизма, или же оно удастся, но вместе с Собакевичами и Ноздревыми погибнут и либералы. И автор статьи ничуть этим не огорчается. «Что жалеть об этих франтах в желтых перчатках, толкующих о «демократии» в Америке и не знающих, что делать дома; об этих франтах, проникнутых презрением к народу, уверенных, что из русского народа ничего не выйдет, хотя в сущности не выйдет из них-то ничего!» И дальше автор упрекает Герцена в том, что он сделался подголоском помещичьего либерализма. «Вы, смущенные голосами либералов-бар, вы после первых номеров «Колокола» переменили тон. Вы заговорили благосклонно об августейшей фамилии... зато с особенною яростью напали на Орловых, Паниных, Закревских: в них — беда, они мешают Александру II!.. Он желает России добра, но злодеи окружающие мешают ему! И вот вы, вы, автор «С того берега» и «Писем об Италии», поете ту же песню, которая сотни лет губит Россию. Вы не должны ни минуты забывать, что он — самодержавный царь, что от его воли зависит прогнать всех этих господ, как он прогнал Клейнмихеля» [3].

---

[1] Это указание сделано с целью сбить с толку полицию, ибо Чернышевский жил в это время в Петербурге.

[2] В «Сочинениях» Герцена напечатано: «обширном» вместо «о мирном», но это — явная опечатка.

[3] Ср. приведенную в первом томе цитату из «Пролога», где Волгин (Чернышевский) высказывает ту же мысль о «писарях, которые пишут, что велят им писать» («Соч.», т. X, ч. I, стр. 149).

Автор статьи издевается над верою Герцена в то, что Александр II слушается «Колокола». Но он подчеркивает опасность пути, на который стал Герцен. Напомнив, что сближение с двором погубило Пушкина, он продолжает: «Как ни чисты ваши побуждения, но, я уверен, придет время — вы пожалеете о своем снисхождении к августейшему дому. Посмотрите, Александр II скоро покажет николаевские зубы. Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания, безыменную гласность [1]; но чуть дело коснется дела — тут и прихлопнут. Так и теперь господин Галилеянин [2] запретил писать о духовенстве и об откупах. Нет, не обманывайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других, не отнимайте энергии, когда она многим пригодилась бы... Наше положение ужасно, невыносимо, и ничто кроме топора не поможет!.. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К топору зовите Русь. Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать» [3].

Дело ясно. Вот о чем спорили Герцен с Чернышевским во время свидания в Лондоне, а не о характеристиках Онегиных, Печориных и т. д. Что же отвечал Герцен на эту беспощадную критику либеральных иллюзий и либерального соглашательства с царизмом? Об этом говорит предпосланная статье «Русского человека» заметка «От редакции». От гнусной инсинуации статьи «Very dangerous!!!», выставлявшей революционеров в виде наемников Третьего Отделения, здесь уже не осталось и следа. Революционеры теперь об'являются «друзьями», левым флангом прогрессивной партии. Впрочем, уже непосредственно после свидания с Чернышевским, в № 49 «Колокола» от 1 августа 1859 года,

[1] Над этой «безыменной гласностью», допускавшей упоминание о нарушениях закона без приведения имени виновников особенно зло потешался «Свисток». См., напр., стихотворения (Добролюбова) «Наш демон» и «Безрассудные слезы» в № 2 «Свистка» («Сочинения» Добролюбова, Спб. 1911, изд. Панафидиной, стр. 116—117 и 130).

[2] Насмешка над восторженной статьей Герцена, в которой он, обращаясь к Александру II, воскликнул: «Ты победил, Галилеянин!» (См. дальше.)

[3] Говоря об упреках, делавшихся радикалами Герцену за его апелляцию к верхам, Ленин в статье «Памяти Герцена» («Соц.-Демократ», 1912; перепечатано в «Сочинениях», т. XII, ч. I, стр. 98) замечает: «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму». Но, спешит прибавить Ленин, демократ все же брал в Герцене верх, как показывает конфликт его с Кавелиным (это, впрочем, произошло несколько позже).

Герцен принужден был напечатать заявление, в котором бил отбой [1]. «В 44 листе, — писал он, — мы предупреждали наших русских собратий, слишком нападавших на изобличительную литературу, что они этим путем, сознательно или бессознательно, помогут наставительному комитету [2]. Нами бы чрезвычайно было больно, если бы ирония (?), употребленная нами, была принята за оскорбительный намек. Мы уверяем честным словом, что этого не было в уме нашем; если б оно было, мы иначе бы стали обличать... Нельзя же manière de dire, образ выражений, особенно иронических, брать в прямом смысле... [3]. Мы не имели в виду ни одного литератора, мы вовсе не знаем, кто писал статьи, против которых мы сочли себя вправе сказать несколько слов, искренно желая, чтобы наш совет обратил на себя внимание» [4].

Теперь, в ответе на статью «Русского человека», он уже пишет: «Мы расходимся не в идее, а в средствах, не в началах, а в образе действования. Вы представляете одно из крайних выражений нашего направления; ваша односторонность понятна нам, она близка нашему сердцу; у нас негодование так же молодо, как у вас, и любовь к народу русскому так же жива теперь, как в юношеские лета». Итак, в молодых действует уже не влияние Третьего Отделения, а любовь к русскому народу. Этим признанием Герцен совершенно отошел от своей первоначальной инсинуаторской позиции.

Но что же он возражает революционерам по существу? Увы, он не приводит в ответ им ничего кроме жалких фраз, изобличающих его страх перед народными движениями и готовность к соглашение с царизмом. «Но к топору, — продолжает он, — к этому ultima ratio (последнему доводу. — *Ю. С.*) притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора». Заявив о своем отвращении к кро-

---

[1] В письме Чернышевского к издателю К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888 г. («Лит. наследие», т. III) по поводу свидания его с Герценом сказано: «Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра... Я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова), он вертелся передо мною как школьник» (сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан, стр. 57).

[2] Здесь Герцен смягчает свои прежние слова. На самом деле он писал в «Very dangerous!!!»: «Мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за наитие направительного и назидательного цензурного триумвирата».

[3] А почему же он так упрекал за «тон», за «манеру» выражения и пр. своих противников-раликалов?!

[4] Герцен — «Соч.», т. X, стр. 61.

вавым переворотам, Герцен поясняет, что в России (самодержавной и крепостнической!) нет, дескать, тех стихий, — «старых болезней, задушающих наростов,.. вековых ошибок,.. пламенной ненависти», — которые на Западе оправдывали насильственные революции. Дворянство и правительство в России не тождественны; они даже «поссорились на вопросе об освобождении крестьян». Дворянство может приобрести гражданское значение только выходом из правительственной касты в неопределенное сословие, называемое образованным; для этого у него одна дорога: итти в деле освобождения крестьян с землею дальше самого правительства. И Герцен наивно вопрошает: «Где же у нас та среда, которую надо вырубать топором?». Неверие в собственные силы — вот наша беда; «мы» сами не заметили, что у «нас» развязаны руки. «К метлам!» надо кричать, а не «к топорам!». В заключение Герцен по поводу своих «гимнов» Александру II просит верить в чистоту его убеждений и действий, хотя допускает, что и он мог ошибаться; но тут же берет это признание обратно, прибавляя: «Да полно, ошибся ли я? Кто же в последнее время сделал что-нибудь путное для России кроме государя? Отдадимте и тут кесарю кесарево!».

Таким образом, как и следовало ожидать, об'яснение ни к чему не привело: в тот момент оба собеседника стояли на противоположных полюсах.

Чернышевский из всех споров с Герценом и, повидимому, также с Огаревым сделал самые неблагоприятные выводы о своих лондонских оппонентах. Какое впечатление произвела на него встреча с издателями «Колокола», видно из написанного тогда же письма его к Добролюбову. «Оставаться здесь долее было бы с к у ч н о, — писал Чернышевский. — Разумеется, я ездил не понапрасну, но если б знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него... Боже мой, по делу надобно вести какие разговоры! Не хочу писать, чтобы не огорчить Пыпина, через руки которого пойдет это письмо, но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича (Некрасова. — *Ю. С.*), чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках, и поверьте тому, что он скажет; он ошибется разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все» [1].

[1] «Переписка Чернышевского», изд. «Моск. Раб.», 1925, стр. 68—69. — Московский литератор Павлов в книжке «Из пережитого», стр. 36—37, передает следующий рассказ Благосветлова об этом свидании: «Удивительно умный человек, — сказал Герцен о Чернышевском, — и тем более при таком уме поразительно его самомнение. Ведь он уверен, что «Современник» представляет из себя пуп России. Нас, грешных, они совсем похоронили. Ну,

Таково было впечатление, вынесенное Чернышевским из личного знакомства с Герценом. «Кавелин в квадрате» — к этой убийственной характеристике нечего прибавить. Зная, как Чернышевский относился к Кавелину, этому типичному представителю дворянского либерализма, неисправимому сеятелю либеральных иллюзий и принципиальному противнику всякой революционной борьбы, в том числе и с самодержавием, мы поймем все значение злой характеристики, данной им Герцену. После поездки в Лондон отношение его к Герцену стало еще более отрицательным, чем прежде [1], и с особенной резкостью сказалось оно в знаменитой статье «О причинах падения Рима», где Чернышевский решительно напал на славянофильские мечтания Герцена и на его разглагольствования о предстоящем возрождении разлагающегося Запада под влиянием русской общины [2].

только кажется, уж очень они торопятся с нашей отходной, — мы еще поживем».

«Какой умница! Какой умница! — воскликнул в свою очередь Чернышевский. — И как отстал!.. Ведь он до сих пор думает, что он продолжает остроумничать в московских салонах и препирается с Хомяковым. А время идет теперь с страшной быстротой: один месяц стоит прежних десяти лет. Присмотришься: у него все еще в нутре московский барин сидит». (См. В. Б[атуринский] — «Герцен и Тургенев» в «Вестнике Всемирной Истории», 1901, № 3, стр. 140).

[1] Повидимому, во время беседы в Лондоне Герцен, пытаясь оправдаться от допущенной им инсинуации по адресу радикалов, указывал Чернышевскому на то, что его критика либеральной половинчатости, выражаемая по цензурным условиям в слишком закутанной форме, рискует остаться непонятой читателями и быть ими истолкованной не в революционном, а в реакционном духе. Ответ на такой упрек мы находим в политическом обзоре за май 1860 года, где сказано: «Мы оставались равнодушны даже тогда, когда слышали укоризны себе от людей, которых уважаем более, чем кого-нибудь; надеемся остаться равнодушными к порицаниям против нас и вперед, пока будем сами чувствовать, что хотели говорить правду и, может быть, успели достичь того, чтобы в наших словах была хоть тень ее, хотя какое-нибудь самое неполное и слабое указание на нее, которое будет понято хотя одним из десяти между нашими читателями, понято хотя не в ту минуту, когда он читает наши попытки говорить ее, а хотя когда-нибудь; этого для нас уже довольно, чтобы чувствовать, что мы исполняем свой долг» («Соч.», т. VI, стр. 517).

[2] В отобранном при обыске у Чернышевского письме Огарева к Н. Н. Обручеву критика славянофильских мечтаний насчет общины названа «битьем по своим» и «продажей Христа», а в приписке Герцена сказано: «Мы никогда бы не догадались, что Черныш., à la baron Vidil, ехавши дружески возле, вытянул меня арапником. Это я обязан «Спб. Ведомостям» — они указали. Впрочем, Огарев слишком серьезно это понимает. Я... больше всего дивлюсь ненужной запальчивости выражений; ругаться — слишком простое средство и не есть патент на особую эстетичность» (Герцен —

После об'яснения с Чернышевским Герцен, как мы видели, принужден был отказаться от своих инсинуаций по адресу радикалов, действующих якобы по внушениям правительства. В статье «Лишние люди и желчевики» он признает, что они — люди добрейшие по сердцу и благороднейшие по направлению, но прибавляет, что тоном своим они могут довести ангела до драки и святого до проклятия. К тому же они, по его словам, с таким апломбом преувеличивают все на свете и не для шутки, а для огорчения, что выводят добродушных людей из терпения. На всякое «бутылками и пребольшими» у них готово мрачное «нет-с, бочками сороковыми!». Герцен утешается надеждой, что тип желчевиков недолговечен. Жизнь, говорит он, долго не может выносить наводящие уныние лица невских Даниилов, мрачно упрекающих людей, зачем они обедают без скрежета зубов и, восхищаясь картиной или музыкой, забывают о всех несчастьях мира сего. На смену этим беспощадным отрицателям, которых снедает раздражительное и «свернувшееся» самолюбие, на смену этим ипохондрикам, неразвившимся талантам и неудавшимся гениям должно притти новое жизнерадостное и здоровое поколение, которым старики à la Герцен протянут, быть может, руку через головы физически и морально больного поколения желчевиков.

Как мы видим, даже такой искренний и просвещенный представитель либерализма, как Герцен, органически не мог понять первого поколения русских революционных демократов [1]. Из-за тона он не раз-

---

«Соч.», т. XI, стр. 212, и Лемке — «Политические процессы», стр. 186—190). Ну, а об'явить своих противников агентами III Отделения эстетично? — Кстати, статья Герцена «Repetitio est mater studiorum»» («Колокол», № 107 от 15 сентября 1861 г., в «Соч.». т. XI, стр. 227—232) представляет замаскированный ответ Чернышевскому по вопросу о судьбах русской общины.

[1] Г. Богучарский в своей книге «Из прошлого русского общества» (стр. 250), изложивши этот конфликт двух направлений, заключает: «совершенно ясно, что Чернышевский был по существу дела неправ». Правда, он спохватывается и вспоминает, что «мы имеем показание по этому поводу (разговор в Лондоне) только одной стороны», но, во-первых, об этом нужно было вспомнить прежде, чем делать столь решительный вывод, а, во-вторых, показаниями по этому поводу является вся литературная и общественная деятельность обоих великих писателей. Чернышевский до конца остался верен своим взглядам — и история доказала справедливость его отношения к русскому либерализму; а вот Герцену пришлось скоро отказаться от своего прекраснодушия и во многом стать на точку зрения Чернышевского. Почему же г. Богучарский все-таки считает Чернышевского «по существу дела неправым»? По какому существу и какого дела? В его отношения к российским либералам, что ли? или к либеральничающей бюрократии? Вот что значит пройти освобожденско-кадетскую школу!

глядел сущности их стремлений, из-за деревьев он не заметил леса. Настолько органически либералы и демократы были уже тогда чужды друг другу. Ибо здесь дело шло не о столкновении двух поколений или, вернее, не столько о столкновении двух поколений, сколько о конфликте двух общественных течений, двух партий, представляющих существенно различные и враждебные классовые интересы [1]. Либералы представляли интересы буржуазии и прогрессивного дворянства, Чернышевский и его кружок отстаивали интересы трудящихся или, говоря его слогом, простонародья, в котором по тогдашним социальным условиям смешивались воедино рабочий класс и крестьянство [2]. Не следует при этом упускать из виду, что крестьянство составляло тогда почти единственную массу трудящихся, из которой пролетариат не успел еще выделиться настолько, чтобы входить в расчеты демократов в качестве серьезного исторического фактора. И вот почему в расчетах тогдашних социалистов вообще и Чернышевского в частности главную роль играет крестьянство.

Нужно, впрочем, заметить, что лично на Герцена конфликт и об'яснение с радикалами не остались без некоторого положительного влияния, сказавшегося, правда, не сразу. Как представитель барской культуры, он до конца так и не примирился с психологическим складом и житейским обликом молодого революционного поколения. Но он на-

[1] Это правильно отметил и Ленин, когда в статье «Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция» («Соц.-Демократ» 1911; перепечатано в «Сочинениях», т. XI, ч. II, стр. 262) писал: «Либералы 60-х годов и Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исторических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют исход борьбы за новую Россию».

[2] Поэтому в либеральных иллюзиях и либеральном соглашательстве Чернышевский правильно усматривал безразличное или враждебное отношение к интересам крестьянских масс. В № 8 «Свистка», приложенном к январской книжке «Современника» за 1862 год, Чернышевский иронически писал: «В пять лет литература наша не подвинулась ни на один шаг; а так как литература служит отражением жизни, то значит, что ни на шаг не подвинулась и наша жизнь. Но едва мелькнула эта мысль в моей голове, как застыла кровь в моих жилах от ужаса: что скажет о таком бездушном скептицизме пламенный т. Громека! Да еще хорошо бы, если бы вознегодовал только г. Громека! Есть публицист несравненно более знаменитый и гораздо более пылкий, который так и крикнет: «very dangerous!» и назовет меня «окаменелым титулярным советником» или «ископаемым кандидатом». В самом деле, какая безрассудная забывчивость бездушного скептицизма! Как мог я забыть, что в эти пять лет совершено освобождение крестьян!» («Соч.», т. IX, стр. 65). Крестьянскую реформу в том виде, в каком она вышла из рук самодержавной бюрократии, Чернышевский считал наглым обманом и разорением крестьянства.

чал более внимательно присматриваться к своим либеральным друзьям и скоро получил возможность убедиться, сколько правды заключалось в суровой критике, направленной против них Чернышевским и Добролюбовым. Через несколько лет он принужден был порвать и с Кавелиным, и с Тургеневым, и с бывшими московскими друзьями. Постепенно он берет все более резкий тон по отношению к правительству, высказывается за конституцию и даже соглашается принять участие в организации тайного общества «Земля и Воля», против чего прежде решительно возражал. Конечно, здесь кроме личных влияний (в том числе со стороны Огарева и Бакунина) действовали уроки русской жизни, где торжество реакции оправдало самые пессимистические предсказания Чернышевского. Но окончательно стать на революционный путь Герцену так и не удалось.[1]

9. После объяснения

В Герцене жило две души. Одною он прилеплялся к старому миру, другою рвался к новому. И в отношении своем к молодому революционному поколению он проявлял значительные колебания до тех пор, пока с середины 60-х годов окончательно не порвал с ним и не об'явил ему войну на истребление. Так и после первой атаки на радикалов, подхваченной всею либеральною и реакционною прессою, у Герцена в течение нескольких лет замечались революционные рецидивы, попытки об'ективно отнестись к радикальному течению, хотя и претившему всей унаследованной им барской культуре, временами даже открытые выражения симпатии и почтения — особенно в такие моменты, когда революционный лагерь постигало какое-нибудь крупное несчастье вроде смерти, полицейской расправы и т. п.

После смерти Добролюбова в № 116 «Колокола» от 15 декабря 1861 года появилась сочувственная заметка, в которой Добролюбов об'являлся преемником Белинского и «энергическим писателем, неутолимым (неутомимым? — *Ю. С.*) диалектиком и одним из замечательнейших публицистов русских»[2]. А в № 119—120 «Колокола» от 15 ян-

[1] «Расходясь с московскими друзьями, резко порывая с Кавелиным и потом Тургеневым, Герцен не становился тем ближе и роднее новому разночинному радикальному умственному течению, которое в лице Чернышевского получило в это время решительное и определенное преобладание в освободительно-настроенных кругах» (Ветринский — «Герцен», стр. 353).

[2] Эта коротенькая, в несколько строк, заметка глубоко возмутила Чернышевского. Ведь всяким славянофилам и подобным реакционерам Герцен посвящал более теплые и многоречивые статьи. Вдобавок даже в некрологе Добролюбова Герцен не счел нужным взять обратно свою клевету по адресу

варя 1862 года напечатано было известное стихотворение «Памяти Добролюбова», начинающееся словами: «Вот и твой смолк голос честный», впоследствии очень популярное среди российской радикальной публики.

«Нигилизм раздора и раздражительности», как Герцен характеризовал направление Чернышевского и Добролюбова [1], не мог ему быть симпатичен по всему складу его характера и особенно его тогдашних политических воззрений. Но когда на представителей этого, хотя лично ему несимпатичного течения, обрушивались репрессии правительства, Герцен, в отличие от либералов типа Кавелина, торжествовавших по поводу ареста Чернышевского, выступал в защиту гонимых и, забывая о разделявших их разногласиях, подчеркивал исторические заслуги и личные достоинства своих противников. В статье «Новая фаза русской литературы» [2] Герцен, говоря об аресте Чернышевского, называет его «замечательным писателем и самым талантливым из преемников Белинского». Здесь он правильно указывает, что нигилизм начался еще в 40-х годах, с Белинского и даже с Гоголя, и высказывается против тенден-

---

покойного, допущенную в статье «Very dangerous!!!». Повидимому, этим негодованием Чернышевского против Герцена подсказан выпад, допущенный Николаем Гавриловичем по адресу издателя «Колокола» в № 8 «Свистка» от января 1862 года (мы привели его в конце § 8 главы II, части IV). Конечно, к показаниям, которые Чернышевский давал своим непримиримым врагам в царском сенате, надлежит относиться с большой осторожностью, но приводимые ниже слова Чернышевского очень похожи на правду. Доказывая нелепость обвинения его в сношениях с Герценом, он указывает на причины, отчуждавшие его от Герцена, и говорит: «Первая из них — моя чрезвычайно сильная привязанность к покойному Н. А. Добролюбову и дурные отзывы о нем Герцена, начинающиеся с весны 1859 года, когда в № 45 или 47 (ошибка: в № 44.—*Ю. С.*) «Колокола» была напечатана обидная для Добролюбова (и для меня, но о себе я не говорю) статья Герцена «Very dangerous!!!». Этих отзывов о Добролюбове я не мог извинить Герцену никогда, а тем более после смерти Добролюбова. Когда я потерял Добролюбова... неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики, не дозволяющей бранить того, кого не мог бы похвалить, если бы захотел». И дальше он, правда, с фактической ошибкой указывает на выпад против Герцена в «Свистке», который, по словам Чернышевского, «наделал тогда довольно шума в нашей литературе» (Сенатское Дело о Чернышевском, листы 16—27; ср. М. Лемке — «Политические процессы», 1923, стр. 346).

[1] В письмах к И. Тургеневу от 29 ноября 1862 г. («Соч.», т. XV, стр. 552).

[2] Напечатана по-французски в №№ 44 и 45 «La Cloche» от 25 мая и 1 июня 1864 года, а затем отдельной брошюрой в Брюсселе 1864 г., в русском переводе в №№ 3 и 4 «Русского Богатства» за 1912 г. и «Соч.», т. XVII, стр. 217 сл.

циозного изображения новых людей в тургеневских «Отцах и детях» [1]. После осуждения Чернышевского на каторгу Герцен печатает в «Колоколе» сильную заметку «Н. Г. Чернышевский», о которой мы говорим ниже. В статье «VII лет», напечатанной в № 187 «Колокола» от 15 июля 1864 г. (по-французски в № 48 «La Cloche») он называет Чернышевского представителем «новой», т. е. революционной России, которую «Россия подлая показывала народу, выставляя Чернышевского на позор» (ib., стр. 299). В заметке «Чернышевскому, Михайлову и всем друзьям нашим, стоявшим у позорного столба, носящим цепи, работающим на каторге», напечатанной в № 188 «Колокола» от августа 1864 г., Герцен не только солидаризуется с революционерами, но и сравнивает их с итальянским национальным героем Пизакане, погибшим в 1857 году во время вооруженной экспедиции в Неаполь (ib., стр. 328). В «Письме к императору Александру II» (от этой скверной привычки Герцен так и не мог отделаться!) от 2 мая 1865 г. [2] Герцен называет Чернышевского «единственным замечательным публицистом, явившимся в ваше время» [3]. В письме к Г. Вырубову от 12 ноября 1865 года Герцен упрекал молодого позитивиста в том, что в своей (и Е. В. де-Роберти) брошюре «Несколько слов о положительной философии» тот, похвалив Добролюбова, забыл о Чернышевском [4].

В статье «Порядок торжествует!» [5] Герцен дает интересную характеристику Чернышевского и его среды, приведенную нами в конце второй части первого тома этой работы. Здесь, говоря с врагами, с самодержавием и его носителями, Герцен заявляет, что «нигилизм в серьезном значении — наука и сомнение, исследование вместо веры, понимание вместо послушания»; здесь он, не солидаризуясь полностью с социализмом Чернышевского, заявляет, что они «служили взаимным дополнением друг друга».

Вышеприведенными заявлениями и особенно этой статьей Герцен признал, что в конфликте, происшедшем между ним и Чернышевским за семь лет до того, правда была на стороне его оппонента, который

---

[1] «Соч.», т. XV, стр. 241—242 и 256—258.

[2] Напечатано в № 197 «Колокола» от 25 мая 1865 г. («Соч.», т. XVIII, стр. 96 сл.).

[3] Дальше Герцен выражает сомнение в знакомстве царя с тем, что писал Чернышевский. Это, конечно, наивно. Александр-то II очень хорошо знал, за что он убил великого мыслителя.

[4] Об этом рассказал Вырубов в своих «Революционных воспоминаниях» («Вестник Европы», 1913, № 1). Ср. «Соч.» Герцена, т. XVIII, стр. 247)

[5] Напечатана в № 230 «Колокола» (от 1 декабря 1866 г.), № 231—232 (от 1 января 1867 г.) и № 233—234 (от 1 февраля 1867 г.); в «Соч.», т. XIX, стр. 104 сл.

сумел разглядеть действительный характер либеральничающей, «слегка бюрократической и слегка крепостнической» России, только «прикидывавшейся» прогрессивною, в то время как он сам возлагал на нее надежды, доверял ей дело освобождения крестьян и в угоду ей урезывал свою программу. Вышеприведенными строками, а также горячим протестом по поводу осуждения Чернышевского на каторгу Герцен отчасти загладил свою вину перед Чернышевским лично. Но ему не удалось примириться с молодым поколением, которого он органически не мог понять, и которое с суровой принципиальностью чистой юности не хотело простить ему его бестактностей и тактических колебаний.

Отношение молодой эмиграции к Герцену с особенной резкостью выразилось в брошюре А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (1867). Автор ее, брат Н. Серно-Соловьевича, впоследствии известный пропагандист и деятель швейцарского Интернационала, говоря от имени молодого поколения, особенно последователей и учеников Чернышевского, утверждает, что молодое поколение давно поняло Герцена и отвернулось от него. Безжалостною рукою и с некоторыми преувеличениями он перебирает «измены», «промахи», политические «бестактности» Герцена. Дальше он проводит параллель между Герценом и Чернышевским и издевается над утверждением Герцена, что он не только не был с Чернышевским в антагонизме, но что, напротив, они служили взаимным дополнением друг другу. «Между вами и Чернышевским, — говорит Серно-Соловьевич, — нет, не было, да и не могло быть ничего общего. Вы — два противоположные элемента, которые не могут существовать рядом друг возле друга; вы — представители двух враждебных натур, не дополняющих, а истребляющих одна другую; до того расходитесь вы во всем — от миросозерцания до отношения к самим себе и людям, от общих вопросов до малейших проявлений частной жизни....

«Чернышевский — человек по преимуществу логической, сдержанной, строго продуманной мысли, вы — специалист по энтузиазму; Чернышевский — человек науки, популяризовавший все последние выводы ее, между вами и наукой столько же общего, сколько между Валуевым и свободою; Чернышевский — человек об'ективной истины, вы — суб'ективных ощущений и восторгов; Чернышевский шел неуклонно одним верным путем к цели, — вы сами сознаетесь, что беспрестанно меняете мундиры, путаетесь, сбиваетесь с пути; Чернышевский учил: не верьте ни одному правительству, хотя оно бы состояло из ангелов, и в тот день, когда я сделался бы правительством, перестаньте верить мне, вы умилялись перед идейкой земского царя и восклицали: «Ты победил, Галилеянин!». Чернышевский ненавидел декорации, роли, громкие фразы, вы — олицетворение эффекта, театральных подмостков, крика...

Чернышевский говорил: «И сойдут эти люди со сцены, гордые, но скромные, суровые, но добрые, как всегда; они сделали свое дело, люди получили от них пользу, с них этого и довольно», вы чеканите медали с своим портретом и формально требуете себе исторической благодарности; Чернышевский со скромностью всех великих людей признавал умственное превосходство над собою юноши Добролюбова, вы со скромностью, свойственной вам, заявляете себя основателем школы; Чернышевского идеалом была истина, ваши идеалы изменяются по настроению духа: сегодня это — Прудон, завтра — Мацини, послезавтра — Виктор Гюго, сам Виктор Гюго! Чернышевский, этот холодный, недоступный Чернышевский, радовался как ребенок всякому проявлению жизни в России, всякому поступку, выражавшему сознание, энергию, вы — до того только поэт свободы, что вас поразил и грубо оскорбил даже свободный язык молодой эмиграции, и вы совсем растерялись, найдя в Женеве не толпу хамов, а свободных людей, говорящих с вами таким же языком, как со всеми, и применяющих к вам тот же критерий, что и ко всем смертным; Чернышевский основал действительную школу, он воспитывал людей, он образовал целую фалангу людей; где ваши последователи, не знаю».

При всей резкости тона и при отдельных ошибках А. Серно-Соловьевича, по существу он был безусловно прав. В глубине души Герцен ненавидел молодое революционное поколение и его лучших представителей — Чернышевского и Добролюбова. Выступая публично (после 1860 года), он старался выражаться прилично и даже отмечать положительные стороны враждебного ему направления. Это делает честь его политическому такту, который было изменил ему вначале, но который с обозначением правительственной реакции вновь к нему вернулся. Однако в произведениях, не предназначенных для непосредственного опубликования (напр., в «Общем фонде»), а особенно в частной переписке Герцен давал волю своей неприязни к радикалам. В «Общем фонде», который наследники Герцена имели развязность напечатать вскоре после его смерти (в 1870 году), молодежь из школы Чернышевского, с которой встречался за границей Герцен, была об'явлена «Собакевичами и Ноздревыми нигилизма», людьми, лишенными воспитания, щеголявшими цинизмом, гулявшими в чем мать родила, «наследниками дурной и нездоровой жизни низших петербургских слоев». Отмечая, что между ними было мало выходцев из народа, Герцен прямо не указывает, откуда они вербовались, но следующей фразой: «передняя (?), казарма, семинария, мелкопоместная господская усадьба, перегнувшись в противоположное, сохранились в крови и мозгу, не теряя отличительных черт своих», он не только устанавливает слишком тен-

денциозную генеалогию «новых людей», но и приписывает им психологию столь же неблаговонную, сколь и произвольную (одно словечко «передняя» чего стоит!). Если бы культурный барин, писавший эти строки, был откровеннее, он произнес бы по адресу несимпатичных ему радикалов то слово «хамы», которое наверно вертелось у него в голове, когда он набрасывал эти несправедливые и злостные строки, равно как дальнейшие, в которых сказано, что в манере этих людей, «дантистов нигилизма и базаровской беспардонной вольницы», очень много общего «с приемами под'ческого круга, торгового прилавка и лакейской (!) помещичьего дома» [1].

Поэтому со стороны Герцена было некоторым лицемерием или, если угодно, робостью, непоследовательностью, проявлением двойственности, когда он пытался уверить Вырубова, что он с Чернышевским вовсе не расходился. Говоря о нападках А. Серно-Соловьевича и других, Герцен в письме от 17 мая 1867 года заявляет: «Они (женевские эмигранты. — *Ю. С.)* себе поставили целью обругивать меня, печатать брошюры, лгут, напр., о моей розни и ссоре с Чернышевским, словом, «демолируют» (изничтожают. — *Ю. С.)* меня да и только» [2]. В печати он мог говорить о Чернышевском с уважением, считаясь с постигшей его участью; но действительное его отношение к Чернышевскому, поскольку оно сказалось без прикрас и без условностей в частной переписке, осталось попрежнему враждебным. Герцен его органически не переносил и не переваривал. Это враждебное отношение к Чернышевскому было вновь подогрето и еще усугублено полным разрывом Герцена с молодой революционной эмиграцией в 1867 году. В это время Герцен, повидимому, пожелавший проследить первоисточники того настроения молодой эмиграции, которое так больно его задело, начал перечитывать сочинения Чернышевского. Впечатление, которое разочарованный питомец барской культуры вынес из этого чтения, было безотрадным. Герцен еще живее почувствовал, что между его психологией и настроением революционной молодежи залегла глубокая пропасть.

29 июля 1867 года он пишет Огареву: «Читаю роман Черныш[евского]. Господи, как гнусно написано, сколько кривлянья... (одно слово неразобрано. — *Ю. С.),* что за слог! Какое дрянное поколенье, которого эстетика этим удовлетворена. И ты, хваливший,—куртизан! Мысли есть прекрасные, даже положения, и все полито из семинарски-петербургски-мещанского урильника à la Niederhuber» [3].

---

[1] «Соч.», т. XIV, стр. 419—421.

[2] «Соч.», т. XIX, стр. 316.

[3] «Соч.», т. XIX, стр. 409. — Герцен намекает на известную драку двух австрийских эмигрантов, Нидергубера и Таузенау, из которых первый подо-

Правда, в следующем письме от 30 июля Герцен пытается несколько смягчить свой резкий отзыв о «Что делать?», но и на сей раз он говорит: «Какая жалость, что роман Чернышевского писан языком ученой передней (!), — в нем бездна хорошего (ib., стр. 410). Замечательно, как упорно Герцен возвращается к этому образу «передней», «лакейской» и пр. Это кстати показывает, что его резкий отзыв о Собакевичах и Ноздревых нигилизма, которых он в «Общем фонде» выводил между прочим из «передней», относился и к Чернышевскому. Перед лицом «взбунтовавшихся рабов» культурный барин невольно вспоминал о лакейской.

К роману Чернышевского, очевидно, сильно поразившему его воображение, Герцен возвращается неоднократно. В письме к Огареву от 4 августа 1867 года он снова говорит о нем: «Чернышевского роман читай, — много хорошего. Он похож на Бакста: урод и мил [1]. А вред он должен принести немалый» (ib., стр. 425). Видимо, Герцен полагал, что его письма к царю и царице приносили молодежи больше пользы...

8 августа он возвращается к той же теме, положительно овладевшей его воображением. «Когда ты начнешь роман Черныш.? — спрашивает он Огарева. — Это — очень замечательная вещь. В нем — бездна отгадок и хорошей, и дурной стороны ультра-нигилистов: их жаргон, их аляповатая грубость, презрение форм, натянутость, комедия простоты, а с другой стороны — много хорошего, здорового, воспитательного. Он оканчивает фаланстером, борделью [2]. Смело. Но, боже мой, что за слог, что за проза в поэзии (сны Веры Пав.), что за представитель семинарии и Васильевского острова! Как он льстит(!?) нигилистам! Да, и это, как гебертизм в 1794 году, — фаза, но и она должна пройти» (Id., стр. 427) [3].

зревался в провокации, а второй вылил ему на голову содержимое ночного горшка. Это сравнение, употребленное по отношению к Чернышевскому и его произведению, которым зачитывалась более чуткая, чем Герцен, революционная молодежь, не делает чести его автору.

[1] Бакст был горбуном.

[2] Увы, здесь Герцен опускается до уровня профессора Цитовича (см. ниже). Правда, это сказано в частном письме, а не публично, но все же какой позор!

[3] Отчасти тут у Герцена замешаны были личные мотивы, в частности его история с Тучковой-Огаревой, увлечение которой разбило жизнь и ему, и его старому другу. У Чернышевского он думал найти ответ на такие коллизии чувства. Чернышевский дает этот ответ, но Герцена он не удовлетворил. «Ни ты, ни Чернышевский в романе, — пишет он Огареву 10 августа (ib., стр. 429). — вы ничего не разрешили в этом вопросе».

Чернышевский и его «Что делать?» становятся у Герцена какой-то idée fixe. 14 августа он снова пишет Огареву: «А что роман Чернышевского?» (ib., стр. 434). Он собирался даже написать статью против романа, но не решился, опасаясь вызвать новый взрыв полемики со стороны революционной молодежи, отлично понимая, что она — создание Чернышевского. «Я хотел, — сообщает он Огареву 27 августа (ib., стр. 445), — писать статью о «Что делать?», но оставил, чтобы не раздражать его стаю. В нем много хорошего. Это — удивительный комментарий ко всему, что было в 1866—67, и зачатки зла также тут. Прочти же его».

Мысль о Чернышевском уже не оставляет озлобленного и разочарованного Герцена. Чем дальше заходит его разрыв с революцией и с революционной молодежью, тем с более пристально-болезненным вниманием присматривается он к человеку, которого считает родоначальником «нигилизма», т. е. крайнего революционного течения в России, создателем и воспитателем той молодежи, которая и в России, и за границей отрекается от него, Герцена (т. е. от его либеральных шатаний), и, как ему кажется, презрительно относится к его заветным переживаниям, к прекрасному в жизни, ко всему, что ему, Герцену, было дорого. Чернышевский превращается для него в какой-то кошмар, в манию. Читает он дочери «Юмор» Огарева и, сообщая об этом старому другу, ни с того, ни с сего прибавляет: «Нет, господа Tschernichewsky et école, вы не вырвете эту полосу поэтического пробуждения, этот юный размах и пр.» [1].

Но Огарев, под старость начавший, в отличие от Герцена, леветь и подпавший под влияние Бакунина, не разделял враждебного отношения Герцена к революционной молодежи и к ее идейному вождю Чернышевскому. Он, повидимому, отмалчивался на ругательства своего друга по адресу автора «Что делать?». Проходит год, но idée fixe попрежнему твердо сидит в голове Герцена, и 29 апреля 1868 года он снова заговаривает все на ту же, для него вечно живую, тему: «Какое же впечатление на тебя делает перечитывание Чернышевского? Я год и день умолял тебя перечитать «Что делать?». Ты все прочел, — Достоевского и Ергунова, но «Что делать?» не развернул. Это не даром: мне кажется, что ты боишься разочарования» [2].

Тем временем эмигрант по делу Казанского заговора 1863 года, М. Элпидин, начал издавать в Женеве сочинения Н. Г. Чернышевского [3].

[1] Письмо к Огареву от 11 сентября 1867 г. («Соч.», т. XX, стр. 8).

[2] «Соч.», т. XX, стр. 263—264.

[3] Всего с 1868 по 1870 год было выпущено 5 томов: 1) Научная и литературная критика 1853—1855; 2) Литературная критика и полемические кра-

Для этого за границей собирались деньги, но богач Герцен, разумеется, в этом деле участия не принял. Возможно, что именно на это обстоятельство намекает анонимное предисловие к тому I сочинений Чернышевского, выпущенного Элпидиным в марте 1868 года.

Без того или иного (и обыкновенно отрицательного) отзыва о Чернышевском не обходится за этот период почти ни одно письмо Герцена к Огареву.

В письме от 17 мая 1868 года (ib., стр. 288) сказано: «Черныш[евского] 2-ой том одолел (кроме диссертации). Одна первая статья хороша, да и то вздор о науке как о дойной корове... Ведь это — скудный утилитаризм. Остальное плохо». Эти слова, кстати, производят впечатление, что этих статей Чернышевского в «Современнике» Герцен в свое время не читал.

В это именно время (летом 1868 г.) Герцен писал свою статью «Еще раз Базаров» [1], в которой в последний раз, не называя его, коснулся Чернышевского. Здесь, снова избегая постановки вопроса о политических и тактических разногласиях, Герцен налегает на т о н революционного поколения. Приведя слова Д. Писарева, что найдутся наверное люди, которые будут восхищаться грубыми манерами Базарова и будут подражать им, видя в них не недостаток, а достоинство, Герцен прибавляет: «Предсказание сбылось... Русские молодые люди, приезжавшие после 1862, почти все были из «Что делать?» с прибавлением нескольких базаровских черт». Герцен отказывается признать себя в Кирсановых и приводит в доказательство работу русской вольной типографии, основанной им и Огаревым. Протестуя против метанья камнями в своих предшественников (о с о в р е м е н н и к а х он как будто забывает), Герцен надеется, что Базаровы скоро пройдут, и что с детьми Базарова его поколение встретится симпатично. Нужно, говорит он, не стравлять Базарова с Рудиным, а рассмотреть, в чем заключается связующая их красная нить. Нигилизм, признает он, зародился еще в 40-е годы в лице Белинского и Бакунина и сложился окончательно в годы реакции, наступившей в России после 1848 года до смерти Николая. «Но новых начал, принципов он не внес», заключает Герцен,

---

соты; 3) Примечания и дополнения к политической экономии Милля; 4) Очерки из политической экономии по Миллю; 5) Сборник статей об общинном землевладении (последний вышел в 1879 году вторым изданием). Кроме того отдельно был выпущен роман «Что делать?». См. Ч е р н ы ш е в с к и й — «Соч.», т. X, ч. II, стр. 140.

[1] Напечатана в кн. VIII «Полярной Звезды», вышедшей в конце ноября 1868 г.; в «Соч.», т. XXI, стр. 224 сл.

так до конца, видимо, не разобравшийся в основной причине той распри, в которой сам принимал активное и инициативное участие, не понявший классового характера этого конфликта или, вернее, закрывавший на него глаза, ибо правда была слишком горька и печальна для него лично [1].

---

[1] Даже такой умеренный писатель, как Д. Н. Овсянико-Куликовский, принужден признать «крупной ошибкой» Герцена, что «он не понял и не оценил того великого движения русской общественной мысли, которое зачиналось в конце 50-х годов (в самый разгар политической деятельности Герцена) и было связано с великими именами Чернышевского и Добролюбова» («Собрание сочинений», Гиз, М. 1923. т. V, стр. 8). А то, что г. профессор тут же хвалит «превосходные» работы В. Богучарского, посильно искажавшего в кадетском духе относящиеся сюда факты, показывает только, как низко стояла у нас старая университетская наука.

Глава третья

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС [1]

1. Против крепостного права

Для Чернышевского русский народ того времени — это было крестьянство; национальное чувство — это было сознание крестьянства [2]. Вот почему он с таким жгучим интересом относился к отмене крепостного права, которая должна была освободить народ от вековых цепей и дать выход дремлющим в нем гигантским силам. Как мы знаем, он вел энергичную кампанию в пользу сохранения общины, но гораздо более важным он считал личное освобождение крестьян, без выкупа и с передачей им всей земли. «Еще несравненно больше дорожили мы тем, чтобы русский поселянин стал из человека, подлежащего обязательному труду, работником действительно свободным» [3].

Именно потому, что в основе режима, от которого задыхалось все честное и живое на Руси, лежало крепостное право, — именно потому передовые русские люди того времени с таким восторгом встретили первые акты, коими правительство возвещало свою решимость приступить к раскрепощению крестьянства. И даже Чернышевский на момент как бы поддался общему увлечению и, в параллель герценовскому: «Ты победил, Галилеянин!», предпослал своей статье «О новых условиях сельского быта» («Совр.», 1858, № 2) эпиграф, обращенный к Александру II: «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза тя бог твой (Псал. XIV, стих. 8)» [4].

Почему же демократ, революционер и социалист Чернышевский мог обратиться с такими словами к императору? Как мы показываем ниже, в основе этих слов лежал сознательный политический расчет — отре-

---

[1] См. мою статью «Н. Г. Чернышевский и крестьянский вопрос» в журнале «На аграрном фронте» 1928, №№ 5 и 6—7.

[2] «Устройство быта помещичьих крестьян» (сент. 1859). «Соч.», т. IV, стр. 544.

[3] «Соч.», т. VI, стр. 244 (1860 г.).

[4] «Соч.», т. IV, стр. 50 и сл.

зать правительству путь к отступлению. Но самое чувство восторга, овладевшее на время даже революционно настроенными людьми при виде приступа к крестьянской реформе, было искренним, особенно в первый момент, когда они надеялись на возможность ее проведения в интересах трудящихся масс.

По мнению Чернышевского реформа, к которой Александр II приступил рескриптами 20 ноября и 24 декабря 1857 года, имела всемирно-историческое значение; с нею «по своему величию и благотворности может быть сравнена только реформа, совершенная Петром Великим». Если мы вспомним, как Чернышевский одно время смотрел на преобразования Петра I, согласно стародавней традиции вырвавшие Россию из мрака средневекового варварства и приобщившие ее к историческому развитию европейских народов, то мы поймем, какие чувства и надежды должно было возбудить в нем начало крестьянской реформы, которой, как казалось, суждено было основательно европеизировать отсталую, погрязшую в рабстве и тьме азиатскую страну. Тем более, что с этим первым приступом к раскрепощению народа естественно связаны были преувеличенные надежды. Казалось, что если завязшая в крепостном болоте телега русского прогресса только сдвинется с места, удержать ее будет нелегко, и она быстро покатится дальше к новым культурным, политическим и социальным завоеваниям.

Главнейший источник всех недостатков русской жизни — крепостное право [1]. «С уничтожением этого основного зла нашей жизни, каждое другое зло ее потеряет девять десятых своей силы». Крепостным правом парализовались «все работы правительства, все усилия частных людей на благо России». При нем невозможны были ни правосудие, ни нормальное функционирование государственного механизма, ни порядочная администрация, ни рациональный бюджет, ни развитие производительных сил. Подневольный труд крестьян в первую голову невыгоден был для самих помещиков. Отмена крепостного права принесет пользу всему народу, всей стране, но больше всего и прежде всего выиграет от нее помещичий класс, а затем купцы и промышленники: вот почему расходы по освобождению крестьян должна нести вся нация [2]. Но все эти положительные стороны скажутся только в том случае, если реформа будет проведена глубоко и серьезно, если крестьянам будет пре-

[1] Впоследствии, как мы знаем, Чернышевский несколько изменил свой взгляд; неудача крестьянской реформы заставила его искать этой основной причины глубже — и он нашел ее в политическом устройстве России, одним из проявлений которого он и признал крепостное право.

[2] «Соч.», т. IV, стр. 62, 66, 67, 94, 99, 112, 387.

доставлена вся нужная им земля и притом за небольшой выкуп [1]. А в случае рационального разрешения крестьянского вопроса Россия быстрыми шагами пойдет вперед, причем, при благоприятных внутренних и внешних условиях (т. е. при захвате власти в России крайней революционной партией и при победе социальной революции на Западе), общинное землевладение поможет ей постепенно и безболезненно перейти к высшим формам организованного труда.

Вот почему приступ к крестьянской реформе привел Чернышевского в такой восторг и окрылил его такими радужными надеждами. И вот почему из-под пера его вырвалось славословие Александру II, столь не идущее к общему мировоззрению этого писателя. «Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастием, каким не был увенчан еще никто из государей Европы — счастием одному начать и совершить освобождение своих подданных». Но скоро, еще в том же 1858 г., Чернышевский открыто взял резкий тон по отношению к правительству, когда увидел, что оно искажает великую реформу в интересах помещиков. И теперь он казнил себя за то, что хоть на минуту мог поддаться иллюзии, будто без предварительного низвержения самодержавия возможна какая-либо серьезная реформа в пользу масс [2].

2. Кампания в пользу крестьянства

Для неискушенного политического взгляда могло казаться, что в первый момент вокруг вопроса об отмене крепостного права создалось нечто вроде «священного единения», вроде если не союза, то принципиальной солидарности самых различных общественных направлений. Так, А. Корнилов отмечает, что Кавелин 3 ноября 1855 года писал Погодину о необходимости всем «честным и благомыслящим людям в России» отбросить мелкие разногласия и об'единиться на существенных вопросах. «Чернышевский старался установить в это время возможно дружественное отношение между «Современником» и славянофилами» (Корнилов при этом ссылается на «Заметки о журналах» за 1856 г., № 6). Славянофилы с своей стороны придавали большое значение дружественным отзывам «Современника» об их журнале и очень желали

[1] В сущности Чернышевский стоял за полную экспроприацию помещиков и за передачу крестьянам земли без всякого выкупа; но открыто говорить об этом в своих статьях он не мог по цензурным условиям. Ср. приводимые ниже в тексте выдержки из его статей и из романа «Пролог» (разговор с Соколовским).

[2] Знаменитая статья «Критика философских предубеждений против общинного землевладения», в которой Чернышевский смеется над собой за временно овладевшие им оптимистические надежды, напечатана была в № 12 «Современника» за 1858 год.

поддержать эти мирные отношения. Столь же дружелюбно было в это время отношение «Современника» к «Русскому Вестнику» Каткова, к «Библиотеке для Чтения» Дружинина и даже к Погодину и его «Москвитянину». С. Т. и К. С. Аксаковы (не говоря уже об И. С. Аксакове) согласились тогда, забыв вражду к западникам, участвовать в «Русском Вестнике» Каткова, а Погодин собирался даже передать редактирование своего «Москвитянина» от'явленному западнику Е. Ф. Коршу, другу Грановского и Герцена [1].

Но, разумеется, за этой обманчивой внешностью скрывалось глубочайшее расхождение интересов отдельных классов и даже отдельных групп одного и того же класса. Не только буржуазия и землевладельцы неодинаково относились к вопросу об упразднении крепостного права и об условиях этой реформы, но и среди отдельных групп помещичьего класса в зависимости от размеров землевладения, от хозяйственного характера районов, от преобладания барщины или оброка, от свойств и ценности земли и т. д. наблюдалось совершенно различное отношение к этому вопросу. Этим об'яснялось и различие проектов и «записок», выдвигавшихся представителями различных групп, как то: Кавелиным, Самариным, Кошелевым, Унковским, кн. Черкасским и пр., и ходивших по рукам, заменяя обсуждение вопроса в печати, которое в первое время правительством не разрешалось.

Особенно резко сказывалось противоречие интересов между помещиками черноземных и нечерноземных губерний. Первые, земля которых представляла самостоятельную ценность и в имениях которых преобладала барщина, готовы были отпустить крестьян на волю, но без земли, в расчете, что, с одной стороны, они сумеют наладить хозяйство с помощью вольнонаемного труда, а с другой — будут сдавать в аренду незанятую собственным посевом часть земли нуждающимся в ней крестьянам по высокой цене. Вторые, у которых большинство крестьян состояло на оброке, почти не ведя своего земледельческого хозяйства, стояли за наделение крестьян не только усадебной, но и полевой землею, разумеется, за приличный выкуп, в который должна была войти не только цена земли (ничтожная по местным условиям), но и скрытый выкуп за личность крестьянина. Последнего, впрочем, добивалась и первая категория рабовладельцев, но без наделения крестьян полевыми угодьями, которые она хотела удержать целиком за собой. В политическом отношении первая группа была консервативной и яро отстаивала принцип самодержавия, т. е. диктатуры крупных землевладельцев, тогда как вторая стояла на либеральной позиции и частью высказывалась за

[1]. А. Корнилов — «Крестьянская реформа», Спб. 1905, стр. 32 сл.

конституцию. Впрочем, и среди первой группы крупных помещиков черноземных губерний с течением времени проявилось стремление к «конституции», но не демократической, а олигархической, которая обеспечила бы этим лэндлордам господство в политической области, принадлежавшее им в области экономической. Естественно, что с точки зрения интересов трудящихся Чернышевский высказывался и против тех, и против других представителей дворянских воззрений [1].

С опубликованием рескриптов на имя виленского ген.-губ. Назимова и петербургского ген.-губ. Игнатьева в конце 1857 года крестьянский вопрос сдвинулся с мертвой точки. Вместе с тем лед молчания был сломан, и вопрос начал обсуждаться гласно. В то же время дозволено было обсуждать его в печати. До тех пор суждения по этому вопросу проводились в печати лишь контрабандным путем. Получив в начале 1858 года разрешение высказаться по крестьянскому вопросу, печать с восторгом приветствовала рескрипт 20 ноября 1857 г., причем в этих приветствиях сошлись и заграничный «Колокол» Герцена, и «Современник» Некрасова-Чернышевского, и славянофилы И. С. Аксаков, А. Кошелев и пр.

Сущность рескриптов, намечавших основные начала предстоявшей реформы, заключалась в том, что за помещиками сохранялось право собственности на всю землю, но крестьянам оставлялась их усадебная оседлость, которую они должны были выкупить, и сверх того предоставлялось в пользование известное количество земли «для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком», за каковую землю крестьяне должны были или платить оброк, или отбывать барщину в пользу помещика (впоследствии установлен был принцип выкупа и этой надельной земли); вотчинная полиция предоставлялась помещикам; должны были быть приняты меры для надлежащего обеспечения исправной уплаты крестьянами государственных и земских податей и денежных сборов [2].

Когда вопрос об освобождении помещичьих крестьян от рабства поставлен был наконец на практическую почву, Чернышевский ожил. Почти забросив все другие вопросы, он сосредоточил всю свою энергию на защите крестьянских интересов от ясных для него классовых вожделений землевладельцев. Проведение реформы отдано было в руки рабовладельцев, что естественно и явно угрожало интересам трудящихся масс. Последние в то время как бы отсутствовали на арене истории.

---

[1] См. А. Корнилов — «Чернышевский и крестьянская реформа». «Русск. Мысль» 1910, № 1, стр. 16.

[2] Рескрипт Назимову напечатан у И. Иванюкова («Падение крепостного права в России», изд. 2-е, Спб. 1903, стр. 22—24).

Они молча и покорно дожидались решения своей участи от монарха, в которого еще верили. Начальники губерний во время работ губернских комитетов доносили отовсюду, что крестьяне держат себя тише и спокойнее, чем когда-либо [1]. И вот Чернышевский взял на себя задачу выступить в литературе защитником интересов великого молчальника-народа, быть рупором безгласного крестьянства [2], по мере сил разоблачать своекорыстие помещиков и замыслы правительства, собрать под знамена революции все, что было честного и живого в стране, подготовить активное выступление масс, берущих решение своей судьбы в собственные руки.

Чернышевский был единственным революционером, систематически писавшим тогда о крестьянском вопросе. При этом он выказал способность связывать самые отвлеченные вопросы с злободневной практикой и проводить революционную точку зрения при рассмотрении самых, казалось бы, мелких вопросов обсуждавшейся реформы. По этому поводу Н. Анненский замечает: «Среди писателей, работавших над крестьянским вопросом, Чернышевский принадлежал к «крайней левой»...

[1] Это же констатирует и Чернышевский в «Материалах для решения крестьянского вопроса» («Современник» 1859, № 10): «Они держат себя так спокойно, как никогда еще не держали» («Соч.», т. IV, стр. 526). Правда, Чернышевский намекает на то, что спокойствие крестьян обусловлено их надеждой на разрешение вопроса в их пользу.

[2] В осторожной форме он сам об этом заявлял. Так, в «Материалах для решения крестьянского вопроса» Чернышевский, указывая на основной недостаток губернских комитетов, а именно, на их классовый состав, пишет: «Они были представителями исключительно только одной стороны, интересов которых касается крестьянский вопрос. Было бы напрасно доказывать, что для удовлетворительного решения надобно ближе узнать мысли и интересы другой стороны, именно самих поселян. В статьях, ряд которых мы теперь начинаем, мы хотим самым умеренным и спокойным образом обозначить, какое решение вопроса могло бы, хотя до некоторой степени, соответствовать идеям, с незапамятных времен существующим в поселянах» («Соч.», т. IV, стр. 528; ср. Н. Анненский — «Н. Г. Чернышевский и крестьянская реформа» в работе «Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем». Изд. Сытина, М. 1911, т. IV, стр. 229 и 234). А в статье «Труден ли выкуп земли?» Чернышевский прямо пишет: «Не знаем, на каких основаниях стали бы вести счет по этому делу крестьяне: они еще не излагали своих оснований... Представляла счеты до сих пор исключительно одна сторона — помещики». И в примечании к этому месту Чернышевский прибавляет: «Из числа писавших о крестьянском вопросе некоторые, правда, и не были помещики, но и те почти все основывались на соображениях и расчетах, представленных помещиками, да и вообще по всему образу мыслей и всем интересам тесно были связаны с этою стороною» («Соч.», т. IV, стр. 337). Вот почему Чернышевский и взял на себя изложение точки зрения безгласного крестьянства.

О Чернышевском сложилось ходячее представление как о кабинетном теоретике, склонном прямолинейно прилагать к мало знакомой и мало интересующей его русской действительности отвлеченные формулы западной социалистической мысли... Но никак нельзя сказать, чтобы оно имело фактические основания. И менее всего приложима приведенная характеристика именно к статьям Чернышевского по крестьянскому вопросу. Программа практических требований, развиваемая в этих статьях, при всей своей строгой принципиальности, отличалась большой умеренностью и, так сказать, деловитою трезвостью... Идеалы Чернышевского были бесконечно далеки от тогдашней русской действительности... Но данный исторический момент он рассматривал как таковой, в который мыслимы хотя некоторые практические шаги в направлении достижения этих идеалов. Экономический и духовный под'ем крестьянской массы, возможный в результате широко проведенной реформы, несомненно имел в этом отношении громадное значение, и Чернышевский с головой ушел в работу по крестьянскому вопросу... Чтобы сделать «неорганизованное общественное мнение» силою, с которою необходимо считаться, нужно было выдвинуть такие лозунги, которые могли бы собрать около себя широкие общественные круги, и поставить их ясно и твердо. Чернышевский так именно и понимал свою задачу. Он пытался отыскать такие решения разных сторон крестьянского вопроса, которые отвечали бы «национальному чувству» и об'единяли всех, кто искренно стоял за дело освобождения. Общею работою всей нации должны были быть осуществлены эти общие требования» [1].

Впрочем, Н. Анненский по нашему мнению неправильно толкует практический подход Чернышевского к крестьянской реформе. Вообще сомнительно, чтобы Чернышевский при его известных нам взглядах хоть на одну минуту всерьез повéрил в готовность и способность помещичьего правительства провести реформу в интересах трудящихся масс. Хвалебные места его первой статьи мы готовы скорей рассматривать как известный прием для усыпления цензуры, чтобы затем под покровом его проводить свои взгляды. И действительно, как мы знаем, этот прием не помог автору, статья которого сразу обратила на себя внимание правительства и повлекла за собою принятие новых направленных против печати мер. Далее, эти похвалы по адресу Александра II, рескриптом которого крепостническая, наиболее влиятельная, часть дворянства была недовольна, должны были означать предупреждение по адресу противников освобождения крестьян, должны были показать им, что в этом вопросе возможен раскол среди дворянства, при котором

[1] Н. Анненский, цит. ст., стр. 224.

радикалы поддержат ту его часть, которая стоит за уничтожение крепостного права. Наконец, в этих похвалах был еще один элемент — политической хитрости: хваля Александра II за решительный, как в первый момент показалось, приступ к реформе, Чернышевский этим как бы намекал, что демократическая часть русского общества поняла рескрипт Назимову как принципиальный отказ правительства от крепостного права, что на этом пути для него нет возврата, и что похвалы за такую решимость равнозначущи порицанию за какие бы то ни было попытки сохранить старый порядок [1]. Во всяком случае у Чернышевского больше таких похвальных выражений по адресу правительства не встречалось, а уже одно это заставляет нас истолковывать указанные слова Чернышевского не в том смысле, какой им обычно приписывают. Повторяем, Чернышевский вряд ли хоть на одну минуту мог увлечься наивной верой в реформаторские поползновения и способности царизма. Во всяком случае ставить знак равенства между этой его статьей и тактикой Герцена, систематически сеявшего либеральные иллюзии, совершенно невозможно [2].

Первым же выступлением Чернышевского в печати по крестьянскому вопросу, сразу поставившим его в первый ранг борцов за народные интересы, была его известная статья «О новых условиях сельского быта», напечатанная в февральской книжке «Современника» за 1858 год («Соч.», т. IV). Затем последовал ряд статей, в которых непосредственные интересы крестьянской массы более или менее определенно приведены в связь с интересами демократического и социалистического пе-

[1] Именно этим мы и об'ясняем места, отмеченные А. Корниловым в первой статье Чернышевского из начатой им серии «Устройство быта помещичьих крестьян» («Современник» 1858, № 6; «Соч.», т. IV, стр. 112). «В первой статье своей о рескриптах, — пишет Корнилов («Крестьянская реформа», стр. 54—55), — Н. Г. Чернышевский не обратил никакого внимания на то, что вотчинная полиция оставлялась по рескрипту помещикам; первый же пункт рескрипта о том, что крестьянам отводится в пользование «необходимое для выполнения их обязанностей перед правительством и перед помещиками количество земли», он истолковал в смысле последователя Фурье (?), не отдавая, повидимому, себе ясного отчета в том, что за эту землю крестьяне обязывались по смыслу рескрипта попрежнему отбывать барщину в тех местах, где она не заменена оброком, и платить оброк во всех остальных». Все это Чернышевский видел, но для него в тот момент важно было отрезать правительству пути к отступлению.

[2] Наше толкование первой статьи Чернышевского подтверждается и цитированным выше письмом «Русского человека», в котором он издевается над верою Герцена в реформаторские стремления Александра II и над данным ему Герценом эпитетом «галилеянин» (дело не меняется, если признать письмо принадлежащим Добролюбову).

реустройства страны. В «Современнике» открыт был особый отдел «Устройство быта помещичьих крестьян», почти целиком заполнявшийся Чернышевским [1]. После неудачи, постигшей первую попытку Чернышевского заговорить об условиях и размерах выкупа, ему пришлось на несколько месяцев замолчать. В ноябрьской книжке «Современника» Чернышевский имел возможность говорить лишь о выкупе усадебной земли в статье «О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб» («Соч.», т. IV, стр. 290 сл.). Но, когда в 1859 году журналам вновь разрешено было писать о выкупе не только усадебных, но и других земель, Чернышевский в январской книжке «Современника» за этот год поместил большую статью «Труден ли выкуп земли?» («Соч.», т. IV, стр. 334—392), в которой не только доказал легкую выполнимость выкупной операции, но и представил целых восемь планов ее практического проведения. Эта замечательная статья, в которой Чернышевский открыто бросил перчатку помещичьей партии и которая сыграла в его судьбе значительную роль, заслуживает более подробного изложения [2].

---

[1] Между прочим, Чернышевский под носом у цензора опубликовал извлечение из составленной в 1856 году и ходившей по рукам записки Кавелина (целиком эта «Записка К. Д. Кавелина об освобождении крестьян в России» напечатана в «Русской Старине» 1886, янв. и февр.). Записка эта, предлагавшая освободить крестьян со всем фактически находившимся в их руках наделом, но зато выдать помещикам выкуп не только за землю, но и за личность крепостного крестьянина, была составлена в умеренно-помещичьем духе, но и это считалось тогда чем-то революционным! Появление записки в печати вызвало бурю: Кавелин принужден был оставить место преподавателя наследника, а на печать наложена была новая узда в виде циркуляра, запрещавшего газетам и журналам касаться вопроса о выкупе земель и об уничтожении вотчинной власти помещиков. Циркуляр этот оставался в силе до конца 1858 года. См. К о р н и л о в — «Крестьянская реформа», стр. 60, и «Чернышевский и крестьянская реформа», стр. 11—14.

[2] Плеханов, совершенно неправильно понявший смысл статей Чернышевского по крестьянскому вопросу и восбразивший, что в них он намеревался давать правительству практические указания (à la Герцен), замечает: «Когда Чернышевский еще верил (?) в то, что правительство может последовать его указаниям, его публицистические статьи имели совершенно другой (не абстрактный. — *Ю. С.*) характер. Тогда ему нужно было раз'яснять не общие принципы, а известные практические возможности. И он внимательно, почти педантично, рассматривал эти возможности. Так было, например, когда он обсуждал крестьянский вопрос и когда он взвешивал на практике условия выкупа наделов. Тут он сразу предлагал иногда по нескольку до мелочей разработанных планов выкупа. Относящиеся сюда статьи его очень важны для характеристики приемов его мысли, напоминающих в этом случае приемы мысли Р. Оуэна, который тоже любил до мелочей разрабатывать свои практические планы» («Соч.», т. VI, стр. 329). При чем тут

Эпиграфом к первой главе этой статьи Чернышевский взял слова Мальтуса: «Когда палка искривлена в одну сторону, чтобы исправить ее, надобно перегнуть на другую сторону» [1]. И упомянув, что до сих пор говорили одни помещики, а крестьяне своего мнения не высказывали (это место мы привели выше), Чернышевский берет на себя формулирование крестьянской точки зрения и защиту интересов крепостного крестьянства. При этом, разумеется, он не щадит интересов ненавистных ему владельцев «крещеной собственности».

Указав на то, что оттягивание выкупа выгодно только для помещиков, так как земля с каждым годом дорожает, заработная плата падает и т. д., Чернышевский требует немедленного решения вопроса о выкупе земли. «По нашему, — говорит он, — лучше уж и не говорить о предоставлении его будущему, если не делать его в настоящем; лучше уж прямо сказать, что о нем нечего и думать, что масса крестьян должна остаться по материальным условиям в прежнем положении или даже превратиться в сословие батраков» [2]. И далее Чернышевский переходит к исчислению размеров выкупа. Основываясь на статистических данных Журавского для Киевской губ. и Соловьева для Смоленской губ.

Р. Оуэн с его фантастическими проектами, неизвестно. Смысл статей Чернышевского вполне ясен. Радикалам говорили: «Вы можете только критиковать. Покажите, что у вас есть осуществимые планы, более отвечающие действительности, чем дворянские и правительственные». И вот Чернышевский дает восемь планов выкупа, вполне правильных теоретически, но при этом питает заднюю мысль, которую он не может по цензурным условиям высказать открыто, но которая хорошо понятна читателю-другу, а именно: планы-то практические и осуществимые, но они невыгодны для помещиков, а потому царским правительством проведены не будут; следовательно, долой самодержавие и да здравствует революция! Вот что говорил Чернышевский, обращаясь вовсе не к правительству, как воображает Плеханов (ведь за обращения к правительству Чернышевский зло издевался над Герценом), а к революционерам. Статьи его имели не характер советов царизму, а преследовали агитационную цель — разоблачить правительство как агента помещиков. Как этого не заметил Плеханов, просто уму непостижимо.

[1] По мнению Корнилова (цит. ст., стр. 20), этот эпиграф показывает, что Чернышевский допускал выкуп за личность крестьянина в нечерноземных губерниях! Можно было бы еще сказать, что Чернышевский понимал и констатировал такое намерение помещиков и правительства; но указанный эпиграф, как об этом свидетельствует содержание статьи, означает нечто совершенно другое, а именно, что ввиду явно преувеличенных цифровых выкладок помещичьей партии необходимо, для установления истины, преуменьшить их настолько, чтобы из плюса получился минус.

[2] Чернышевский, как мы увидим дальше, даже предпочитал такое решение вопроса, уверенный, что оно вызовет крестьянское восстание, при котором помещичий строй будет вырван с корнем.

и ловя на слове правительство, заявившее, что выкупу подлежит только земля, а не личность крестьянина (на деле это было наглой ложью), Чернышевский, в результате кропотливого вычисления, приходит к тому выводу, что в черноземных наделах стоимость надела в барщинных имениях составит 29 р. 74 к., а принимая во внимание необходимость увеличить существующее крестьянское землепользование примерно на треть — 39 р. 24 к., в оброчных имениях — 68 р. 67 к., в среднем же (из расчета 100 оброчных крестьян на 200 барщинных) — 49 р. 5 к.; что же касается губерний нечерноземных, то в них стоимость надела составит 29 р. 95 к. Общую сумму выкупа по всей России, исходя из цифры 49 р. 5 к., Чернышевский определяет в 531.940.000 руб. — и это при условии значительной прирезки к существующему крестьянскому землепользованию. И дальше он доказывает, что расходы по выкупной операции должно нести не одно раскрепощаемое крестьянство, но вся нация в целом.

«Спрашивается, — говорит Чернышевский, — одни ли освобождаемые крестьяне выиграют от того, что уничтожается крепостное право? Нет, возродится от этого все государство, выиграют все — от правительства до последнего солдата, от финляндца, не знавшего о крепостном праве между своих скал, до сибиряка, забывшего о нем между своих тундр. Увеличатся государственные доходы, облегчится администрация, возникнет правосудие, разовьется промышленность и торговля, приобретет небывалую доселе безопасность собственность и личность каждого, смягчатся нравы, ослабеют пороки, все государство и каждый человек в государстве через несколько лет будет и богаче, и лучше, и счастливее, чем теперь. А кто выигрывает от какого-нибудь дела, тот должен платить и расходы по этому делу. Выигрывает вся нация, следовательно, и расходы должна нести вся нация» («Соч.», т. IV, стр. 387).

В этой замечательной статье, где Чернышевский, в противовес стремлениям правительства и помещиков уменьшить при освобождении фактический размер крестьянских наделов (знаменитые «отрезки», впоследствии проведенные в жизнь и закабалившие крестьян), требовал наоборот крупных прирезок, которые должны были увеличить крестьянское землепользование приблизительно на одну треть, он как будто стоит на почве признания выкупа. Это, разумеется, не значит, что он хоть в какой-либо степени признавал п р а в о помещиков на выкуп (или даже на остававшуюся за ними часть земли), но он исходил из тогдашнего соотношения сил, при котором выкуп вообще казался неизбежным, стараясь только ударить по загребущим помещичьим лапам и укоротить непомерные помещичьи аппетиты. Но замечательно, что в нескольких местах этой статьи он в чрезвычайно закутанной форме,

вызывавшейся цензурными условиями, намекал на несправедливость какого бы то ни было выкупа в пользу помещиков. Под видом ошибочного расчета, который он сам спешит назвать «нелепым», он приходит к выводу, что не крестьянин должен был бы платить помещику, а наоборот, помещик, даже отдав крестьянам даром всю землю, все-таки остался бы еще у них в долгу (ibid., стр. 344). Это как будто шутка, но весьма знаменательная и для кого нужно — понятная. Далее, закончив свои подсчеты и предвидя негодующие возражения помещичьих идеологов, предполагавших получить по 150—200 р. за душу и говорящих: «Мы основывались на юридических претензиях. Мы разбирали, во сколько должен ценить крепостное право и крепостную землю помещик», — Чернышевский восклицает с обычно несвойственной ему горячностью: «Ах, вы держались юридической стороны вопроса! Это прекрасно. Но ведь и мы держались ее, и даже строже, нежели вы». И далее он приводит рассказ о купце, имевшем сына и пасынка. Во время болезни купца сын заставил сводного брата служить себе и таскать для него по целым дням воду в решете. Но вот купец пришел в себя и велел прекратить это дикое безобразие. Однако недовольный сын потребовал от пасынка выкупа, исходя из того расчета, что пасынок, если бы возил воду в бочке, должен был бы навозить в год на 360 р., а при капитализации из 7½% это давало выкуп в 4.800 р. На это пасынок отвечал, что ценность воды, которую он таскал в решете (намек на непроизводительность труда при крепостном праве), равняется нулю: «получи же его, и ты не останешься в убытке» (ib., стр. 369—370). Действительная мысль Чернышевского из этой притчи выясняется полностью [1].

Эта мысль сводится к тому, что ни на какой выкуп помещики претендовать не вправе. В этом отношении поразительна по смелости статья «Материалы для решения крестьянского вопроса», напечатанная в № 10 «Современника» за 1859 год. Здесь подчеркивается, что при продаже имений считается только стоимость земли, находящейся в пользовании помещика, «а крестьянский надел в цену поместья вовсе и не идет... Точно так же и усадьбы в барщинных имениях не дают помещику ни гроша дохода, следовательно, ни на один рубль не входят в ценность поместья. Уже по одному этому не следует класть за них выкупа, не говоря о том, что они построены вообще самими крестьянами» (ib., стр. 534 и 535). Оброчная же система вообще является нарушением

[1] В другой статье (ib., стр. 502) Чернышевский подчеркивает тот факт, что «при крепостном состоянии крестьяне, даже в хорошо управляемых имениях, давали работою несомненно более ценности (т. е. больше, цем ценность. — *Ю. С.*) отведенных им угодий». Вывод тот же: крестьянин ничего не должен помещику; скорее наоборот.

закона. После длинного исследования Чернышевский приходит к такому выводу: «В именьях, состоящих на барщине, ценность поместья определялась исключительно тою частью поместья, которая оставалась в личном пользовании помещика. Земля, бывшая в крестьянском наделе, нимало не увеличивала продажной ценности имений; следовательно, с отделением крестьянской части от поместья, ценность поместья не уменьшается. От вознаграждения за право на личность помещики сами отказались и поступили справедливо, потому что в барщинных имениях это право было для них источником не выгод, а убытков. В оброчных поместьях почти весь оброк или даже и весь оброк вытекал из нарушения законных оснований крепостного права». И дальше он, чтобы обезоружить цензора, но вместе с тем провести свой взгляд на недопустимость выкупа, продолжает: «Зачем мы делали этот вывод? Неужели затем, чтобы отказывать помещикам в вознаграждении? Вовсе нет. Мы хотели только(!) показать, что юридических оснований для вознаграждения нет (курсив мой), и что если идет о нем речь, то должна итти на основании государственной пользы и житейской справедливости» (ib., стр. 542—543). Яснее в тогдашней подцензурной печати выразиться было трудно [1]. Последние слова Чернышевского означают лишь то, что хотя помещики не вправе претендовать на выкуп, но так как сила на их стороне, то они его возьмут. Но если бы удалось сломить их силу, то ломаного гроша им не следовало бы давать, а еще взыскать с них за все прошлые беззакония и насилия.

Эта статья была лебединой песнью Чернышевского в области крестьянского вопроса: больше ни он, ни «Современник» вообще о нем не говорили. Даже акт об отмене крепостного права был обойден в «Современнике» молчанием. Но и того, что он сказал в этой статье и в статье «Труден ли выкуп земли?», было достаточно для того, чтобы окончательно погубить его в глазах помещичьей партии. В анонимном письме, угрожавшем Чернышевскому расправой, автор его, злобный крепостник, напоминает писателю его великое преступление: «вспомните, в какую цену вы оценили наши имения»! [2]. И за это «преступление» Чернышевский был жестоко наказан.

---

[1] На это место до сих пор (в том числе и я в первом издании этой книги) как-то не обращали внимания. Повидимому, его имел в виду Л. Пантелеев, когда в своей статье «Памяти Н. Г. Чернышевского» («Голос Минувшего», 1915, № 1, стр. 198) писал: «Насколько позволяли цензурные рамки, Чернышевский проводил мысль о бесплатном наделе крестьян землею». И дальше Пантелеев ссылался именно на цитируемую статью, не указывая, впрочем, точно ни места, ни страницы.

[2] Об этом письме мы говорим ниже.

3. Реформа или революция?

«С Чернышевского, — пишет А. Корнилов, — быстро слетели те розовые очки, через которые он смотрел до этого времени (т. е. до первых признаков правительственной реакции в 1858 г.) на действия правительства и на настроение образованного общества. Еще в апреле 1858 года он писал... настоящие панегирики императору Александру II и расточал похвалы либеральным помещикам, а к концу 1858 года он делается уже бесповоротно непримиримым радикалом и озлобленным врагом «лишних людей»... Органическим реальным основанием для выделения русского радикализма из общего либерального течения послужил несомненно всего больше самый ход крестьянской реформы» [1].

Что различное отношение к вопросам крестьянской реформы и связанному с нею вопросу о борьбе с самодержавием лежало в основе разрыва между радикалами и либералами, это несомненно. Но весьма спорно, чтобы Чернышевский когда-либо смотрел на действия правительства и на настроения образованного общества через розовые очки. Смысл его «панегириков» по адресу Александра II мы пытались выяснить выше. В основе их лежало самое интенсивное революционное чувство, надежда на то, что народ сумеет отстоять свои интересы, и что с момента приступа к реформе Россия пойдет к социалистическому преобразованию. Тем более болезненным должно было быть его разочарование, тем более острым должно было оказаться его негодование против правительства помещиков и тех половинчатых либералов, которые фактически поддерживали дворянский абсолютизм в его стремлении провести реформу в ущерб народным интересам. И Чернышевский начинает склоняться к самым революционным мыслям.

С тоской и бессильным гневом смотрел Чернышевский на то, как крестьянская реформа, попавшая в руки бюрократов и крепостников, систематически искажается и проводится во вред народным интересам [2]. Так как мнения народа никто не спрашивал, то Чернышевский, как мы видели, взял на себя выразить крестьянскую точку зрения. Народ, — говорил он, — ждет от реформы земли и воли, т. е. не только

[1] А. Корнилов — «Крестьянская реформа», стр. 113.

[2] По поводу выяснившегося к началу 80-х годов разорения крестьянства в результате реформы 1861 года Плеханов замечает: «Вдумываясь в эти отдельные цифры и общие выводы, невольно вспоминаешь Н. Г. Чернышевского... Заслуживает величайшего удивления и уважения проницательность нашего великого публициста, уже в конце 1858 г. хорошо понявшего, как неблагоприятны были те условия, при которых русский крестьянин становится „освобожденным землевладельцем"» (статья «Освобождение крестьян» в «Сочинениях» Плеханова, т. XXIV, стр. 16).

личного освобождения, но и передачи всех находящихся в его пользовании земель за умеренный выкуп (об освобождении без выкупа по тогдашним цензурным условиям, как мы указывали, ему приходилось говорить чрезвычайно туманными намеками). Он предостерегал правительство, что временное сохранение обязательных отношений и тяжелый выкуп внушат народу мысль о том, что он обманут, а в таком случае стране предстоят самые тяжелые испытания[1]. Под влиянием чувства негодования, охватившего Чернышевского при виде искажения крестьянской реформы, он начинает склоняться к той мысли, что лучше бы не было никаких реформ. «Я не желаю, — говорит Волгин, — чтобы делались реформы, когда нет условий, необходимых для того, чтобы реформы производились удовлетворительным образом»[2].

«Толкуют: освободим крестьян, — замечает он в другом месте. — Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет. Станут освобождать. Что выйдет? Сами посудите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально что: испортишь дело, выйдет мерзость... — Волгин замолчал, нахмурил брови и стал качать головой. — Эх, наши господа эмансипаторы, все эти ваши Рязанцевы с компанией! вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то! — Он опять замотал головою». Убеждая революционера Соколовского (Сераковский) не верить нашим либералам и скептически относиться к пустым толкам о затеваемых серьезных реформах, Волгин утверждает, что по его мнению беды не будет, если дело освобождения крестьян будет передано в руки крайней помещичьей партии. Разница не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа (вот где Чернышевский полностью раскрывает свои карты: в романе, написанном в Сибири; в статьях, писавшихся с разрешения цензуры, он об этом не мог так прямо говорить). План помещичьей партии отличается от плана прогрессистов только тем, что проще и короче, поэтому он даже лучше. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли[3]. «Вопрос поставлен так, что

[1] «Устройство быта». «Соч.», т. IV, стр. 545—547.

[2] «Пролог», loc. cit., стр. 91, 116, 120, 121.

[3] Повидимому, Чернышевский пытался высказать эту мысль и в легальной печати, но это ему не удалось. В 1858 г. «Современник» принял к печати статью кн. П. В. Долгорукова, снабженную примечаниями Чернышевского. В этих примечаниях было, между прочим, сказано: «Нет, лучше уж вовсе не давать ничего, ни земли полевой, ни усадеб, нежели давать землю в таком урезанном, ни на что не годном количестве. Тогда, по крайней мере, он (крестьянин) хотя будет прямо знать, какая судьба ему готовится»

я не нахожу причин горячиться, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их — либералы или помещики. По моему, все равно. Или помещики даже лучше» [1].

Почему же Чернышевский полагал, что освобождение крестьян без земли лучше? Потому что, по его мнению, это было единственное средство расшевелить косную народную массу и возбудить в ней движение, которое смело бы старый режим целиком и дало бы народу настоящую землю и волю. Все это время он колебался между полным унынием и надеждой на предстоящий взрыв крестьянской революции. На либеральном банкете Волгин грозит реакционным помещикам на-

---

(С. Чернов — «К истории борьбы Н. Г. Чернышевского за крестьянские интересы накануне «воли». «Каторга и Ссылка», 1928, № 7/44, стр. 19). Статья напечатана не была.

[1] Ibid., стр. 163—164. — Плеханов, не понявший этого места, указывает («Соч.», т. V, стр. 81), что рассуждения Волгина о преждевременности крестьянского освобождения относятся как раз ко времени появления статей Чернышевского о выкупе. «Но в таком случае самый выход этих статей был бы необ'ясним: кто станет отстаивать такие проекты, которые считает сам несбыточными при данных условиях?» Поэтому Плеханов высказывает предположение, что когда Чернышевский писал роман «Пролог», он незаметно для себя приурочил свои позднейшие взгляды к более раннему времени. Но в такой гипотезе нет никакой необходимости. Она имела бы основание, если бы Чернышевский смотрел на свою деятельность, как Герцен, т. е. хотел бы давать практические рецепты и указания правительству (Плеханов так и думал). Но этого не было. Статьи Чернышевского имели агитационное назначение. Они направлены были к разоблачению правительства, к доказательству, что оно не хочет и не может осуществить проекты, выгодные для массы, и что поэтому его нужно уничтожить.

Ленин, психологически стоявший ближе к Чернышевскому, лучше понял его. В своей первой крупной работе «Что такое „друзья народа"?» («Соч.», изд. 1924 г., т. I, стр. 194—195) он по поводу этих слов Чернышевского замечает: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы (когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе), понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер, чтобы понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприацию крестьянства. И при этом Чернышевский понимал, что существование правительства, прикрывающего наши антагонистические общественные отношения, является страшным злом, особенно ухудшающим положение трудящихся». И дальше Ленин говорит: «Чернышевский понимал, что русское крепостническое бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, т. е. ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести «мерзость», жалкий компромисс интересов либералов и помещиков,—компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой поме-

родной революцией; но через минуту сам смеется над собою. Грозить крестьянским восстанием, крестьянской революцией! «Не было ли бы это смешно? Кто же поверил бы, кто не расхохотался бы? Да и не совсем честно грозить тем, во что сам же первый веришь меньше всех» (ibid., стр. 181).

Народ спит, народ темен, — говорит Чернышевский, — но можно ли надеяться на его пробуждение? При известных условиях, пожалуй, можно. «Люди довольно скоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало поумнеть», пишет он в «Что делать?». В своей общественной деятельности отдельные лица могут руководиться идейными или моральными мотивами; массы же, — говорит Чернышевский, — приходят в движение только под давлением своих материальных интересов. Русский народ всей своей историей приучен к мысли, что он не должен ждать для себя ничего хорошего от высших классов, а когда народ дошел до такой мысли, то он «непременно и скоро сделает вывод, что ему самому надобно взяться за ведение своих дел» [1]. Обманутое реформою крестьянство ждет другой, «настоящей» воли, несмотря на все репрессии правительства. Поэтому крестьянское движение неизбежно. А если к этому крестьянскому недовольству присоединится недовольство других классов общим политическим режимом, то произойдет революция, направленная против существующего строя в целом. Чернышевский ссылается на смуту в Польше, на крестьянские волнения внутри России, на появление революционных прокламаций («Великорусс», «К молодому поколению»), на брожение среди университетской молодежи в Петербурге и на конституционное движение среди дворян (ibid., стр. 304).

Итак, при всем своем пессимистическом отношении к сознательности и активности русского народа Чернышевский к концу 1861 г. начал, повидимому, допускать возможность широкого крестьянского движения. В этом отношении чрезвычайно характерна его статья «Не

щикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов».

Будучи сам последовательным революционером, Ленин оценил Чернышевского гораздо правильнее, чем Плеханов, который как раз по поводу «Пролога» сделал тот вывод, что Чернышевский не предпочитал революционный путь мирному, и что «по тогдашнему мнению Чернышевского было бы гораздо лучше, если бы все обошлось у нас „тихо-мирно"» («Соч.», т. VI, стр. 324—325; ср. стр. 328).

Это называется попасть пальцем в небо!

[1] «Письма без адреса». «Соч.», т. X, ч. 2, стр. 294—295 (1862 год).

начало ли перемены?», написанная по поводу рассказов Н. В. Успенского и помещенная в XI книжке «Современника» 1861 г. Указывая на то, что Н. Успенский пишет о народе правду без всяких прикрас, и что его рассказы свободны от слащавой идеализации народной жизни, Чернышевский об'ясняет это обстоятельство тем, что в психике русского крестьянства произошла перемена к лучшему. Пока положение русского народа представлялось безнадежным, пока о нем можно было только сожалеть, до тех пор писатели идеализировали его жизнь и изображали его исключительно «несчастным, несчастным, несчастным». Такое отношение к народу по мнению Чернышевского никуда не годится; во всяком случае оно об'яснялось исключительно безысходностью его положения.

Теперь дело очевидно изменилось, и очерки Н. Успенского — очень хороший признак.

«Решимость г. Успенского описывать народ в столь мало лестном для народа духе свидетельствует о значительной перемене в обстоятельствах, о большой разности нынешних времен от недавней поры, когда ни у кого не поднялась бы рука изобличать народ. Мы замечали, что резко говорить о недостатках известного человека или класса, находящегося в дурном положении, можно только тогда, когда дурное положение представляется продолжающимся только по его собственной вине и для своего улучшения нуждается только в его собственном желании изменить свою судьбу. В этом смысле надобно назвать очень отрадным явлением рассказы г. Успенского, в содержании которых нет ничего отрадного».

То обстоятельство, что в рассказах Успенского народная масса представляется как бы лишенной умственного развития и сознания человеческого достоинства, ничего не говорит. Разве крестьяне других наций стоят выше наших мужиков по умственному развитию? О немецком крестьянстве все говорят то же самое, о французском — то же, а английский — едва ли не стоит ниже их. Французские крестьяне заслужили всесветную репутацию дикою неповоротливостью ума; итальянские крестьяне прославились полным равнодушием к делу национального освобождения. «Но что же говорить о каких бы то ни было поселянах, — замечает Чернышевский, — ведь они невежды, им натурально играть в истории дикую роль, когда они не вышли из того исторического периода, от которого сохранились Гомеровы поэмы, Эдда и наши богатырские песни». Точно так же дело обстоит и с другими сословиями. Везде господствует рутина, тупоумие и пошлость; на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость. Но, предостерегает Чернышевский, не спешите выводить из этого никаких заключений о

состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа. В великие исторические моменты, когда задеты насущные интересы и стремления масс, народ преображается. «Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается в истории каждого народа».

И Чернышевский кончает свою статью призывом к революционной интеллигенции итти в народ, для сближения с которым не нужно никаких фантастических фокус-покусов в славянофильском духе, а достаточно простого и непринужденного разговора о его интересах [1].

Плеханов, работы которого о Чернышевском исполнены вопиющих противоречий (в частности, как мы видели, он приписывал ему предпочтение мирного пути революционному), делает в одном месте верное замечание: «Он, — пишет Плеханов («Соч.», т. V, стр. 81), — питал, как кажется, некоторую надежду на крестьянские восстания, а в то же самое время он, повидимому, считал возможным очень быстрый рост крайней партии, всецело стоявшей на стороне крестьянства... Что революционное движение в тогдашней России представлялось ему вполне возможным, на это есть совершенно ясные намеки в его статьях».

Между прочим Плеханов в совершенно другой связи выше (loc. cit., стр. 65) цитировал статью Чернышевского о «Studien» Гакстгаузена («Соч.» Чернышевского, т. III, стр. 279), где говорится следующее: «Земледельческий класс хотя и всегда пользовался у нас землею по общинному порядку, не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, каковой воображает видеть в нем Тенгоборский, слишком доверившись обычной фразе о неподвижности, свойственной земледельцу в Западной Европе, и применив эту бездоказательную фразу к русскому поселянину. Нам нет здесь нужды толковать о том, каков характер западного европейского поселянина. Напомним только о том, что казаки были большею частью из поселян, и что с начала XVII века почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергиею земледельческого населения» [2].

---

[1] «Не начало ли перемены?». «Соч.», т. VIII, стр. 339—359.

[2] Плеханов в этом случае несправедливо относится к Чернышевскому. Приведя эти слова нашего писателя, Плеханов замечает: «Здесь крестьянские войны ставятся, как видим (?), по своему значению на одну доску с рево-

Таким образом в этой замечательной статье, написанной кстати в 1857 г., т. е. задолго до разочарования Чернышевского в ходе крестьянской реформы и потому выражающей не его временные, а постоянные взгляды, Чернышевский не только отвергает мысль о роковой якобы неподвижности и консерватизме европейского крестьянства, но и определенно выражает уверенность в возможности революционных движений русского крестьянства. Для этого, по убеждению Чернышевского, необходима была глубокая встряска, которая решительно задела бы материальные интересы и заветные чаяния масс. Крестьянская реформа 1861 г. в том виде, в каком она вышла из рук помещичьего правительства, давала, казалось, все основания ждать революционного протеста со стороны обманутого крестьянства. Даже Герцен и Огарев, настроенные гораздо более умеренно, чем кружок Чернышевского (особенно в тот момент), начали питать некоторые надежды на революционное движение среди крестьян [1].

Положение 19 февраля 1861 г., которое даже И. С. Аксаков называл «дурацким» [2], народным сознанием было воспринято как обман крестьян помещиками. И, действительно, ожидания крестьянства были жестоко обмануты. Крестьянство не только не получило всей помещичьей земли, как оно надеялось, но и из фактического крестьянского землепользования были произведены отрезки в пользу помещиков, причем эти отрезки были скомбинированы так, что крестьяне очутились в кабале у помещиков и принуждены были арендовать эти отрезки по большой цене. За поступившую в надел крестьянам землю назначены были высокие выкупные платежи, значительно превышавшие действительную стоимость наделов и скрывавшие выкуп за личность бывших крепостных, от чего правительство на словах якобы отказалось. Далее, крепостное право фактически сохранялось под видом временных обязательных отношений впредь до выработки соглашений между крестьянами и помещиками о выкупе. Барщинные крестьяне

люционными движениями новейшего пролетариата, — смешение совершенно невозможное для социалиста настоящего времени». Но, во-первых, мы этого вовсе не видим, а, во-вторых, только социалисты Второго Интернационала не оценивали крестьянских движений. Опыт же нашей эпохи показал, что в соединении с движениями пролетариата, значение которых Чернышевский прекрасно понимал, крестьянское движение обеспечивает успех социальной революции. Особенно в таких странах, как Россия, которую Чернышевский в приведенной цитате и имел в виду.

[1] Герцен — «Соч.», т. XI, стр. 59—60, 67, 94, 106—108. Ср. Б. Глинский — «Революционный период русской истории». Спб. 1913, т. I, стр. 30.

[2] Барсуков, цит. соч., том XVIII, стр. 15—16.

принуждены были в течение двух лет попрежнему отбывать барщину, а дворовые — два года нести рабскую службу господам [1].

Неудивительно, что правительство и помещичьи круги, хорошо сознавая грабеж и насилие, учиненные ими над крестьянами, опасались серьезных революционных потрясений. Подписанный Александром II манифест скрывался от народа. Царь подписал манифест, указ сенату и положения 19 февраля, а об'явлена была воля в столицах лишь 5 марта; в провинции же манифест об'являлся 9, 10, 11 и 12 марта, а положения дошли по назначению лишь через несколько недель [2]. Повсюду были приняты самые широкие предупредительные меры, сконцентрированы войска, подготовлена полиция, разосланы на места генералы с чрезвычайными полномочиями. Петербург был приведен в военное положение, царский дворец тщательно охранялся [3]. Но в общем опасения правительства и надежды революционеров, к сожалению, не оправдались. «Земля», как выразился Тургенев в письме к Герцену, приняла Положение, хотя недоумевала, а частично и возмущалась [4].

Частных крестьянских бунтов было немало [5], но, не об'единенные и не руководимые, они закончились поражением. Согласно всеподданнейшему отчету министра внутренних дел случаев крестьянских волнений в 1861 г. было с апреля по июль 647, а затем до конца года

---

[1] Поэтому бывшие крепостные крестьяне по Положению об'явлены были «временно-обязанными». Первоначально принятый термин «срочно-обязанные» был правительством отброшен, потому что никакого срока для выкупа тогда установлено не было. Это необходимо запомнить; так как с смешением этих терминов мы встретимся ниже при рассказе о процессе Чернышевского в связи с воззванием «К барским крестьянам».

[2] Корнилов — «Крестьянская реформа», стр. 167.

[3] Паника, овладевшая тогда правящими кругами, хорошо описана в записках современника-очевидца Э. П. Перцова (см. «Записки современника о 1861 г.». «Красный Архив» 1926, том XVI, стр. 124 и сл.).

[4] Какое впечатление манифест произвел кое-где на крестьян, видно из следующего рассказа поэта и крепостника А. Фета-Шеншина. По возвращении из церкви, где читали манифест, спрашивают у ключника, который слушал чтение: «Ну, что, Семен, слышали манифест?» — «Слышали, батюшка»... — «Ну, что же вам читал священник?» — «Да читал, чтобы еще больше супротив прежнего слухаться. Только и всего» («Мои воспоминания», часть I; стр. 365). А Погодин писал о реформе (Барсуков, цит. соч., т. XI) следующее: «Народ вдруг не понял, не выразумел, не взял в толк, что он манифестом получает. Не выразумели еще порядочно и мы, грамотные. Недоумение — вот слово, которое характеризует настоящее положение в воскресенье» (5 марта 1861 г. — *Ю. С.*).

[5] Но «твердой стачки», решимости не работать и не слушаться — мы не встретили нигде», писал Самарин Кошелеву 29 июля 1861 г. (Корнилов, цит. соч., стр. 169).

еще 137; в 1862 году в первой половине — 300, а во второй — 87. Все эти волнения охватили 2 607 селений. При этом «порядок» был восстановлен в 1861 г. с применением военной силы в 499 случаях (в 1 666 селениях) и без такового — в 285 случаях (в 368 селениях); в 1862 г. — с применением военной силы — в 298 случаях (449 селений), без нее — в 90 случаях (124 селения) [1]. Словом, это было довольно широкое движение, охватившее значительный район, но не освещенное никакой политической идеей и протекавшее без всякого участия революционных кружков. Первая волна крестьянского протеста схлынула бесследно.

Либералы и консерваторы, упиваясь «великой реформой», могли торжествовать. Но в более радикальных сферах, группировавшихся в то время в Петербурге вокруг Чернышевского, уже не было того светлого настроения, которым эти сферы были захвачены после рескрипта 20 ноября 1857 г... Взгляд этих кругов был выражен совершенно свободно в июне 1861 г. в брошюре Н. А. Серно-Соловьевича, напечатанной в Берлине за полной подписью автора под заглавием «Окончательное решение крестьянского вопроса». Здесь опубликован проект выкупной операции со следующим пояснением: «Я публикую проект потому, что крестьянский вопрос, не разрешенный или, правильнее, искаженный Положениями 19 февраля, разрешим только двумя способами: или общею выкупною мерою, или топорами; третьего исхода нет»... Значительная часть брошюры была посвящена описанию волнений, которыми сопровождалось введение в действие Положения [2].

Из этих волнений наиболее нашумевшим в то время был так называемый «бунт» в Бездне, Спасского уезда, Казанской губернии, во главе которого стоял старообрядческий начетчик Антон Петров. Крестьяне, считая Положение 19 февраля поддельным, требовали «настоящей воли». Хотя в общем толпа вела себя мирно и только не хотела выдавать Антона Петрова, войска дали по ней несколько залпов, убив и переранив множество людей; сам Петров был схвачен и по приказу царя расстрелян 17 апреля. Царь поздравлял ген. Апраксина с победой, одержанной как раз на Пасху. Казанское студенчество отслужило демонстративную панихиду по жертвам царской расправы, а проф. А. Щапов произнес с амвона сильную речь по поводу обрушившейся на темных людей драмы. Это ничем не вызванное кровопролитие, учиненное сознательно, для «примера» и острастки крестьянам, сильно взбудоражило радикально настроенные круги и несомненно сыграло

[1] Комментарии М. Лемке к т. XI «Соч.» Герцена, стр. 110.
[2] Корнилов, цит. соч., стр. 164—165.

свою роль в обострении их настроения. Оно подействовало даже на столь умеренно настроенных людей, как Герцен.

Можно представить себе, как на него должны были реагировать такие люди, как Чернышевский и его окружение. Точка зрения Чернышевского, сводившаяся к тому, что самодержавие является главным и непримиримым врагом народных интересов, получала теперь наглядное подтверждение. Он уже и раньше решил, что от царского правительства нельзя ждать никакой серьезной реформы в пользу крестьян (вспомним его разговор с Некрасовым по обнародовании Положения 19 февраля, приведенный нами в первом томе, стр. 175—176). Теперь его убеждение в необходимости испробовать революционный путь, как бы мало шансов ни было на успех, могло только укрепиться. Правда, критиковать Положение в печати было запрещено, и потому среди всеобщего излияния либеральных восторгов по поводу крестьянской реформы «Современник» принужден был хранить красноречивое молчание. Но тем более решительные разговоры пошли в частных беседах среди революционно настроенной публики, подготовленной к правильной оценке положения статьями Чернышевского по крестьянскому вопросу и по истории классовой борьбы в Европе [1]. К крестьянскому вопросу Чернышевский попытался в легальной печати снова вернуться в 1862 г. в знаменитых «Письмах без адреса», но они не были пропущены цензурой.

Но хотя проведение реформы в общем прошло для правительства довольно гладко, взволнованное состояние крестьянства в первые годы еще держалось, и революционеры расчитывали, что с окончанием обязательных отношений бывших крепостных к помещикам весною 1863 г. волнения начнутся с новой силой. Дело в том, что крестьяне, об'ясняя по своему сроки, назначенные в законе для прекращения барщины и обязательной службы дворовых, надеялись во многих местах, что через два года после опубликования манифеста 19 февраля об'явлена будет «чистая воля», причем не только прекратятся всякие повинности и платежи в пользу помещиков за отведенные крестьянам наделы, но от помещиков будет отобрана и поделена между крестьянами и вся остальная надельная земля, а самих помещиков царь возьмет «на жалованье» [2].

---

[1] Характерно, что статья Чернышевского о Сперанском («Русский реформатор»), где недвусмысленно доказывалась невозможность каких-либо серьезных реформ в России при существовании самодержавия, появилась в № 10 «Современника» за 1861 год.

[2] Как известно, на этом же строил свои расчеты и М. А. Бакунин, который в своей брошюре «Народное дело» заявляет, что в 1863 году произой-

Какое настроение господствовало тогда среди радикальной интеллигенции, отражавшей это неустойчивое равновесие крестьянской психики, показывает рассказ Н. Шелгунова о спорах в редакции журнала «Век», приобретенного артелью писателей у П. Вейнберга. Елисеев, по словам Шелгунова, хотел сделать «Век» подголоском «Современника», другие же хотели итти дальше (?) «Современника» и сделать «Век» органом крайних (??). Во главе этих «других» стоял Н. Серно-Соловьевич [1]. И вот, когда Елисеев не принял какой-то статьи Энгельгардта [2] и, кажется, статьи Н. Серно-Соловьевича, то страсти разгорелись. «Наша партия, — пишет Шелгунов, — зашевелилась. В ближайшее заседание мы явились с перунами, и буря разразилась. Когда Елисеев спросил, для чего нам нужен свой орган, Серно-Соловьевич ответил, что он нужен нам «на случай восстания». Может быть, Соловьевич ответил и не этими словами, но смысл их был тот. Мы серьезно считали себя «накануне». Этот маленький эпизод из эпохи 60-х годов случился после распространения прокламации «К молодому поколению», в то время, когда судился Михайлов [3]. То было время самого славного возбуждения» [4].

Этому настроению и этим надеждам способствовал рост правительственной реакции, особенно усилившейся после вырванной у правительства крестьянской реформы. Крупные реакционные помещики взяли верх и об'явили войну не только трудящимся массам, но и среднему дворянству, настроенному более либерально.

Жертвами наступившей реакции оказались между прочим и те люди, которые в свое время подготовляли крестьянскую реформу и потому были крепостниками об'явлены врагами дворянства, хотя посильно отстаивали помещичьи интересы. Ланской и Милютин получили отставку, которой сами не просили. Министром внутренних дел назначен был

дет крестьянская революция, и что единственным средством предупредить ее является созыв земского собора. Тургенев в письме к Герцену, напротив, утверждал, что 1863 год пройдет «преувеличенно тихо», и даже предлагал по этому поводу пари Бакунину.

[1] Здесь Шелгунов что-то напутал. Серно-Соловьевич (как и другие сотрудники «Века») вовсе не был левее Чернышевского, а наоборот. Но в данном случае это неважно.

[2] Речь идет о проф. А. Н. Энгельгардте. Неужели и его нужно признать более крайним, чем Чернышевский?! Елисеев действительно был слишком осторожен и нерешителен.

[3] М. И. Михайлов был арестован 14 сентября 1861 года, а приговор ему был подписан царем 23 ноября. Следовательно, дело происходило осенью 1861 года.

[4] Н. Шелгунов — «Воспоминания», Петр. 1923, стр. 34.

П. А. Валуев, представитель плантаторской партии, писавший в 1860 году по заказу М. Н. Муравьева и кн. В. А. Долгорукова критику на проект редакционных комиссий и охотно поддерживавший в 1859 году своими советами представителей дворянской аристократической партии в их оппозиции Я. И. Ростовцеву.

Борьба шла не только в центре, но и на местах, где реакционеры пытались свести на-нет и без того куцую реформу. Те губернаторы, которые считали новый валуевский курс вредным для государства (т. е. для сохранения помещичьего класса), осыпались клеветой и изгонялись. Достаточно указать на то, что калужские дворяне-крепостники провозгласили местного губернатора Арцимовича атаманом банды, а набранный им состав мировых посредников — шайкою разбойников. С мировыми посредниками, которые в общем защищали интересы помещиков, но которые, стоя близко к крестьянству, понимали, насколько опасно слишком натягивать струну, министерство внутренних дел вступило в ожесточенную борьбу, требуя от них беспрекословного служения помещичьим вожделениям. В результате даже часть среднего дворянства перешла в оппозицию правительству.

Среди части дворянства начали проявляться конституционные стремления. Дворянское конституционное движение, выросшее из оппозиционных адресов и заявлений 1859 года, говорит Корнилов [1], с самого же начала разделилось на две струи, из которых одна выражала собою олигархическо-крепостнические тенденции дворян-аристократов, представителями которых являлись Безобразовы, Орловы-Давыдовы, Мальцевы, Шуваловы и им подобные; а другая отражала либерально-демократические стремления, выразителями которых явились наиболее образованные представители среднего помещичьего круга, главным образом нечерноземных губерний. Главными деятелями этого направления оказались тверские помещики, имевшие в своей среде таких представителей, как Унковский, Европеус, Головачов, братья Бакунины и др. К ним примыкали многие лица и в других нечерноземных губерниях (Владимирской, Новгородской, Калужской).

Требования этого либерального дворянского меньшинства были сформулированы тверским дворянским собранием в феврале 1862 года. Дворянство других губерний прямо не поддержало конституционных заявлений тверского дворянства, но конституционное движение вообще получило в 1862 году довольно широкое распространение в дворянской среде. По рукам в то время ходило множество проектов адресов и за-

[1] Корнилов, цит. соч., стр. 180 и сл.; ср. Н. Иорданский — «Конституционное движение 60-х годов», Спб. 1906, стр. 96 и сл.

явлений, составленных самыми разнообразными по своим стремлениям группами и людьми. В числе их был адрес, составленный Н. Серно-Соловьевичем с программой, похожей на программу «Великорусса», и адрес, составленный в Лондоне Н. И. Огаревым. Как известно, К. Д. Кавелин и И. С. Тургенев восстали против конституционных стремлений дворянства, что вызвало разрыв их с Герценом.

Напротив Чернышевский, демократ, революционер, социалист, отнесся сочувственно к этому конституционному движению дворянского меньшинства, несмотря на то, что он очень хорошо понимал его классовую подоплеку. В «Письмах без адреса», обращенных к Александру II [1], Чернышевский указывает, что конституционное движение среди дворянства об'ясняется желанием либерального меньшинства самостоятельно защитить свои классовые интересы ввиду неумелого проведения крупно-помещичьим правительством крестьянской реформы. В этих конституционных стремлениях либеральных дворян готовы поддержать и другие сословия, интересы которых нарушаются самодержавием, ведущим страну к глубоким революционным потрясениям (здесь Чернышевский подметил любопытную черту буржуазии, которая иногда готова выступить против самодержавия, т. е. по существу революционно, из-за страха перед социальной революцией масс). Таким образом либеральное дворянство неожиданно получило более широкую социальную опору: «оно сделалось представителем стремления к реформам, нужным для всех сословий». И если либеральное дворянство в своих конституционных требованиях выступило в качестве представителя всех других сословий, то не потому, чтобы в нем говорила обида за отмену крепостного права, или чтобы в нем сильнее были либеральные стремления, а лишь потому, что из всех сословий российского государства оно одно обладает организацией; и если спросить мнения других сословий, то они еще более резко выскажутся в пользу политической реформы.

Согласно с этим основное содержание «Писем без адреса» сводится к критике абсолютизма, к разоблачению его органической неспособности к прогрессивным реформам и к доказательству того, что крестьянская реформа не улучшила, а ухудшила положение трудящихся масс, революционное выступление которых поэтому неминуемо. Указав на то, что в результате реформы крестьянство очутилось в более тяжелом положении, чем при крепостном праве, что оно получило меньшие наделы и более высокие платежи, напомнив о кровавых столкно-

[1] Они предназначались для второй книжки «Современника» 1862 года и не были пропущены цензурою. Впервые опубликованы в 1874 году журналом «Вперед» в Цюрихе; перепечатаны во второй части т. X «Полного собрания сочинений» Н. Г. Чернышевского, Спб. 1906, стр. 293—318.

вениях, которыми сопровождалось введение Положения, Чернышевский говорит: «Крепостные крестьяне, несмотря на все внушения и меры усмирения, остались в уверенности, что надобно ждать им другой, настоящей воли. От этого их расположения должны будут произойти новые столкновения, если надежда их не исполнится».

Таким образом Чернышевский выражает надежду на предстоящее революционное движение крестьянства. Ниже мы увидим, что он не только призывал его всеми силами своей души, но и сделал все от него зависящее, чтобы возбудить это крестьянское восстание и направить его к цели радикальной революции. Именно Чернышевский был п е р в ы м из русских революционных социалистов, который в интересах политического и социального освобождения трудящихся масс обратился с призывом к революционной самодеятельности самих этих масс. И не его вина, что призыв этот в то время до масс не дошел и не встретил отклика [1]. Ожидаемое всеобщее военно-крестьянское восстание не произошло; не увенчалось успехом и конституционное движение. То и другое было сорвано польской инсуррекцией, ловко использованной правительством для борьбы с оппозицией внутри страны.

4. Вопрос о судьбах общинного землевладения

Итак, к концу своей литературной деятельности Чернышевский, при всем своем отрицательном отношении к русскому обществу и недоверии к активности народных масс, начал допускать возможность широкого революционного движения, вызванного разочарованием крестьянства в реформе 1861 года. С другой стороны, он мог констатировать наличность новых людей, революционеров из интеллигенции, готовых стать во главе народа в его борьбе с царством эксплоатации и угнетения. До последнего момента он то верил, то сомневался в возможности такого движения и в вероятности его счастливого исхода. Но так как другого выхода из исторического тупика не было, то Чернышевский должен был допустить хоть некоторую веру в активность

[1] В начале «Писем без адреса» Чернышевский, указав на то, что крестьянство, приученное историей к недоверию, не откликается на призывы, исходящие от привилегированных классов, приходит к тому заключению, что теперь крестьянство станет добиваться освобождения собственными силами. «Когда,— пишет он,— люди дойдут до мысли: «ни от кого другого не могу я ждать пользы для своих дел», они непременно и скоро сделают вывод, что им самим надобно взяться за ведение своих дел. Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки». И дальше он доказывает, что такая развязка, т. е. революционное восстание обманутого крестьянства, неизбежна.

народа и способность его руководителей. По какому же пути должно было пойти в России революционное движение с точки зрения Чернышевского?

Мы уже знаем, что по общим своим политическим взглядам Чернышевский стоял близко к бланкизму — к бланкизму не в том смысле, какой это слово получило впоследствии и доныне употребляется в разговорном языке [1], а скорее в том смысле, в каком понимал его Маркс, когда признавал бланкистов истинными представителями революционного пролетариата. Бланкисты впервые во Франции более или менее точно сформулировали требования рабочего класса и сделали ряд попыток к практическому их осуществлению. То, что эти попытки выразились преимущественно в виде организации боевых тайных обществ и вылились в форму небольших вооруженных восстаний, было совершенно естественно по тогдашним условиям и вполне соответствовало неустойчивому равновесию тогдашней цензитарной Франции и слабой организованности французского пролетариата того времени. Эти же обстоятельства обусловили и другие черты бланкизма, в частности характерное для него преувеличение роли сознательного организованного меньшинства и веру в решающее значение государственной власти, к захвату которой они систематически стремились. Но бланкисты держались той точки зрения, что меньшинство сильно лишь постольку, поскольку оно верно выражает если не стремления, то, по крайней мере, интересы трудящегося большинства.

На этой же точке зрения, единственно возможной для эпох, характеризующихся пассивностью народной массы, повидимому, стоял и

[1] Образчиком такого поверхностного понимания бланкизма являются рассуждения г. Николаева о политических взглядах Чернышевского. Рассказавши о своем разговоре с Чернышевским на каторге, во время которого Николай Гаврилович высказал ту мысль, что было бы гораздо лучше, если бы во время крестьянской реформы победила откровенно-крепостническая партия дворянства, и крестьяне были бы освобождены без земли, ибо тогда немедленно произошла бы катастрофа, г. Николаев заключает: «Тут, как видите, чистый бланкизм: чем хуже, тем лучше (!). Это совсем не напоминает позднейших теорий наших доморощенных марксистов (которым, к слову сказать, господа Николаевы в свое время именно и приписывали принцип «чем хуже, тем лучше», и которых эти господа именно и обвиняли в сочувствии обезземелению крестьянства. — *Ю. С.*). Не эволюция, не постепенное освобождение крестьян от средств производства, не вываривание мужика в фабричном котле, не постепенное его превращение в батрака, а полное и сразу произведенное обезземеление. Не эволюция, к которой, повторяю, Н. Г. относился с негодованием (?), а катастрофа. Не марксизм, а бланкизм» («Личные воспоминания», стр. 21—22). — Нечего сказать, хорошее представление о взглядах Чернышевского можно получить из такой тирады!

Чернышевский. Он определенно подчеркивал, что без участия народных масс нельзя достигнуть серьезных практических результатов; он говорил, что только сочувствие широких масс способно обеспечить успех той или иной политической программы, и что без возбуждения энтузиазма в массах революционные попытки неминуемо обречены на плачевное фиаско. В активность масс при обычных условиях, в способность их к широкой политической инициативе он, как мы знаем, мало верил. Но он полагал, что в те исторические периоды, когда задеты насущные интересы этих масс — главным образом интересы экономические, особенно для них близкие, чувствительные и понятные, — они способны приходить в движение и во всяком случае послужить опорой для сознательного меньшинства, склонного к решительной инициативе. Это меньшинство, слившее свое дело с делом народа, должно при благоприятных условиях захватить государственную власть, учредить революционную диктатуру и использовать могучий государственный механизм в интересах народных масс. Законодательные акты, направленные к изменению социальных отношений и опирающиеся на сочувствие большинства, способны видоизменить всю народную психику. А в таких отсталых странах, как Россия (не забудем: тогдашняя Россия, только начинавшая становиться на путь капиталистического развития), переход государственной власти в руки социалистов может помочь народу, быстро пройдя промежуточные этапы, перейти от низших ступеней к высшим, целиком или отчасти минуя стадию капитализма.

Именно этот взгляд Чернышевский проводил в своих первых статьях, посвященных защите общинного принципа. Прекрасно сознавая, что сохранение общинного землевладения свидетельствует о нашей социально-экономической отсталости, что современная ему община далеко не может являться идеалом, он тем не менее полагал, что раз эта форма экономического быта по тем или иным причинам донесена русским народом до эпохи индустриализма, ею необходимо воспользоваться для того, чтобы при благоприятных условиях дать ей дальнейшее развитие в социалистическом направлении.

Никто не сделал столько для популяризации идеи общинного землевладения в широких кругах русской публики, как Чернышевский, и никто не сделал столько для того, чтобы превратить крестьянскую общину в один из членов символа веры русских революционеров на долгие годы, как он. В этом смысле он несомненно сыграл роль инициатора, ибо идеи Герцена, изложенные в заграничных изданиях, недоступных широкому кругу русских читателей, и притом представленные в окружении панславистских и либерально-дворянских воззрений, несимпатичных подавляющему большинству тогдашней революционной молодежи,

не могли проложить себе дорогу в ее среду и оказать на нее какое-либо длительное и прочное влияние. Совершенно другое дело было, когда вера в способность крестьянской общины сыграть при известных условиях великую обновительную роль в русской жизни была преподнесена этой молодежи в статьях ее любимого писателя, выражавшего ее заветные чаяния и инстинктивные порывы и признанного ею своим бесспорным политическим руководителем. Из спора с либеральными экономистами о технических достоинствах или недостатках общинной формы землевладения и землепользования Чернышевский сумел сделать великий политический и социальный вопрос, вопрос о грядущих судьбах русского крестьянства и о путях исторического развития России

В ряде блестящих статей, посвященных защите общинного принципа от нападок буржуазных экономистов [1], Чернышевский развил все те аргументы, которые впоследствии составили арсенал народников, усвоивших букву, но не дух великого писателя. Обнаруженная им при этой мастерской защите общины сила логики и глубина чувства прямо поражают читателя и до сих пор придают статьям блестящего полемиста живой интерес. Правда, при этом Чернышевский иногда договаривался до несовсем основательных утверждений, вроде того, что община не только не препятствует прогрессу сельского хозяйства, но напротив именно она благоприятствует этому прогрессу [2]. Но для него центр тяжести вопроса лежал не в этой плоскости. Даже если допустить, гово-

[1] Назовем главнейшие из этих статей: 1) Рецензия на «Обзор исторического развития сельской общины в России» Чичерина. «Совр.» 1856, № 4; 2) «Славянофилы и вопрос об общине». «Совр.» 1857, № 5; 3) «Studien Гакстгаузена». «Совр.» 1857, № 7; 4) «О поземельной собственности». «Совр.» 1857, №№ 9 и 11; 5) «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». «Совр.» 1858, № 12; 6) «Суеверие и правила логики». «Совр.» 1859, № 10.

[2] «Соч.», т. III, стр. 192 и сл.; стр. 465 и сл., стр. 472, 478. — «Взгляд на сельскохозяйственную, так сказать, реакционность общины, — пишет Качоровский, — ведет начало еще от либеральных оппонентов Чернышевского... Против этого взгляда, основанного исключительно на «простом здравом смысле» и «личном опыте» его авторов, стоит, начиная с Чернышевского, продолжая Посниковым и другими и кончая целым рядом работ земских и сибирских исследователей, — целая литература, категорически его отвергающая и противополагающая «здравому смыслу» прямое исследование действительности и «личному опыту» — массы об'ективно собранных фактов и цифр» («Русская община», т. I, Спб. 1900, стр. 28). Факт тот, что вся последующая народническая литература об общине пережевывала и повторяла основные положения Чернышевского, большею частью устранив их революционное жало.

рил он, что община задерживает развитие производительных сил, она все-таки выгоднее для нации в целом [1].

Но главное достоинство общины заключается в том, что она при известных условиях может облегчить переход России к социалистическому строю. На Западе осуществление социализма затруднено психикой и навыками крестьянства, хотя и бедствующего на своей парцелле, но цепко держащегося за частную собственность; там для организации национального хозяйства на началах коллективизма приходится «перевоспитать целые народы». У нас в России лишь $^1/_{15}$ или $^1/_{20}$ часть земель обрабатываются на правах «полновластной собственности»; подавляющая же масса земель или распределяется для обработки и пользования по общинному началу, или же принадлежит государству, т. е. всей нации. Масса народа до сих пор смотрит на землю как на общинное достояние. «Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта» [2].

Чернышевский отстаивал общину потому, что она представлялась ему «единственным средством сохранить каждого поселянина-хозяина в звании поземельного собственника». Но не только по тому одному. «Через 30 или 25 лет общинное владение будет доставлять нашим поселянам другую, еще более важную выгоду, открывая им чрезвычайно легкую возможность к составлению земледельческих товариществ для обработки земли» [3]. Высшая стадия сельского хозяйства, как Черны-

---

[1] Ibid., стр. 190—191. Здесь приводится известный пример: сравниваются два участка, один с фермерским хозяйством и с высшей производительностью, другой с общим пользованием и с производительностью на 40% меньшею; по примерному расчету оказывается, что на втором участке масса населения пользуется почти вдвое большим благосостоянием, хотя масса производимых ценностей почти вдвое больше на первом участке (ибо здесь землевладелец и фермеры-капиталисты присваивают себе всю прибавочную стоимость). Вот почему Чернышевский «считает выгодным для нации сохранить общинное пользование на втором участке даже во время того периода, когда оно задерживает успехи производства». Но тут же он спешит оговориться, что в действительности общинное землевладение не служит препятствием прогрессу земледелия, а в частности в России вовсе не община является причиной отсталости сельского хозяйства.

[2] «Соч.», т. III, стр. 184. Дальше Чернышевский показывает, что Россия начинает вступать в стадию капиталистического развития, при котором община вряд ли удержится (см. том I, стр. 579 и сл.). Но отсюда его последователи и делали тот вывод, что необходимо как можно скорее совершить переворот, чтобы предотвратить дальнейшее разложение общины.

[3] «Не можем сказать,—прибавляет он,—чтобы это соображение не оказывало сильного влияния на нашу приверженность к общинному владению»

шевскому прекрасно было известно, достигается путем применения машин к земледелию. Вопрос этот в его время стоял на очереди. Обычный путь такого преобразования — приложение капитала к земледелию, как это наш автор прекрасно выяснил в своих примечаниях к Миллю. Но этот путь вводит и укрепляет в сельском хозяйстве «трехчленную систему». А между тем имеется или, по крайней мере, может иметься и другой путь: это — непосредственный переход общины в высшую стадию, в стадию коллективной обработки земли с применением машин [1].

Анализу теоретической возможности этого перехода посвящена одна из самых блестящих статей Чернышевского, а именно «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». Собственно говоря, Чернышевский, когда писал эту статью, сильно уже разочаровался в возможности осуществить этот переход на практике — в виду того оборота, который приняла крестьянская реформа. Начинается статья цитатой из Фауста: «wie weh', wie weh', wie wehe!», а дальше Чернышевский пишет: «Я стыжусь самого себя. Мне совестно вспоминать о той самоуверенности, с которою поднял я вопрос об общинном владении. Этим делом я стал безрассуден, — скажу, прямо, стал глуп в своих собственных глазах» [2].

(«Соч.», т. IV, стр. 95). Еще бы! В этом-то и заключалась главная причина той горячности, с которой Чернышевский боролся за общинный принцип.

[1] «Studien Гакстгаузена», l. c., стр. 274. — «Если уральцы доживут в нынешнем своем устройстве до того времени, когда введены будут в хлебопашество машины... то уральцы будут тогда очень рады, что сохранилось у них устройство, допускающее употребление таких машин, требующих хозяйства в огромных размерах на сотнях десятин» (ibid., стр. 307). Основная мысль Чернышевского заключается в том, что разрозненное крестьянское хозяйство придет к социализму путем кооперации, т. е. об'единения индивидуальных хозяйств в товарищества, допускающие применение машин и высшей техники. Община казалась ему готовыми рамками для этой будущей сельскохозяйственной кооперации. Интересно было бы проверить на фактах советской действительности, способствует ли сохранение общинных традиций развитию с.-х. кооперации в нашей деревне.

[2] «Соч.», т. IV, стр. 304 и сл. — По существу эта же мысль выражена в статье «Суеверие и правила логики», напечатанной в № 10 «Современника» 1859 года. В этой статье Чернышевский, говоря о крепостном праве как об «о д н о м из основных источников нашей отсталости во всех отношениях», замечает: «Неуместно было бы здесь распространяться об этом предмете, — о нем довольно наговорено в последнее время бесчисленными писателями, которые вдруг обнаружили благороднейшее негодование против бедствия, имевшего привилегию столь долго не вызывать никаких порицаний. Мы сами грешили этими внезапными вспышками благородства

В те дни, когда нам было ново
Значенье правды и добра,

Почему же наш автор стал так отрицательно относиться к блестяще начатой им кампании в пользу общины? Не возражения противников повлияли на него; напротив, с этой стороны он прекрасно сознавал свою правоту и неуязвимость. Но он убедился, что предпринял свою кампанию без достаточного внимания к исторической обстановке, без надлежащей оценки реальных отношений и сил, враждебных общинному принципу и народным интересам вообще. «Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного владения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора». Такими гарантиями Чернышевский (кроме полной политической свободы, разумеется) считает: принадлежность ренты трудящимся, т. е. передачу всей земли народу, и незначительность кредитных обязательств, вытекающих из самого получения ренты, т. е. небольшой размер выкупа за переданную народу землю (на самом деле, как мы знаем, он стоял за безвозмездную передачу всей земли трудящимся). «На предположении этих двух условий была основана та горячность, с какою я выставлял общинное владение необходимым довершением гарантий благосостояния».

Но когда Чернышевский убедился, что ни одна из «низших» гарантий, которые он считал необходимыми предпосылками для дальнейшего развития общинного принципа, не осуществлена, когда он увидел, что старый политический режим остался в полной неприкосновенности, что проведение крестьянской реформы передано в руки бюрократии и дворянства, что народ не только не получит всей земли, но даже рискует потерять значительную часть прежних своих угодий, а за предоставленную в его распоряжение землю на него предполагается наложить высокий выкуп, — одним словом, когда он понял, что «великая реформа» грозит скорее ухудшить, чем улучшить положение народных масс, не раскрепостить их, не предоставить полный простор их твор-

---

и теперь не можем, не краснея, вспоминать о тогдашних наших подвигах» («Соч.», т. IV, стр. 555). И дальше он переходит к развитию той мысли, что основное зло русской жизни заключается в самодержавии, в азиатчине. С него, с самодержавия, и нужно начинать, и вот почему Чернышевский с краскою стыда вспоминает о тех своих писаниях, в которых он не выдвигал на первый план необходимость низвержения царизма, а рассуждал о крестьянской реформе независимо от политического переворота. Именно так и нужно понимать его насмешку над своими былыми «подвигами» и «благородным негодованием».

ческим силам, а сковать их еще более тяжелыми цепями, тогда он признал, что его надежды были неосновательны, его построения абстрактны, а вся кампания в пользу общины как возможного зародыша социалистического строя при данных политических условиях была сплошным недоразумением. И по своей честности он поспешил открыто признать это [1].

«Предположим, — говорит он с помощью своего «любимого способа об'яснений», — что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это сделал из расположения собственно к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам, и что приготовленный из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия

[1] Плеханов («Соч.», т. VI, стр. 34) высказывает мнение, что Чернышевский писал свою статью в то время, когда он «уже совершенно махнул рукой на русскую общину». Но точнее было бы сказать, что он махнул рукой не столько на общину, сколько на свою защиту ее без предварительного политического переворота. Иванов-Разумник, используя этот промах Плеханова, указывает, что и после статьи «Критика философских предубеждений» Чернышевский продолжал выступать в защиту общинного землевладения, напр., в №№ 7 и 10 «Современника» за 1859 год, в Примечаниях к Миллю и т. д. (Иванов-Разумник — «Литература и общественность», изд. «Прометей, 1911, стр. 157). И тут же Иванов-Разумник ссылается в доказательство своей мысли на письмо Чернышевского к Герцену от конца 1858 года, которое было вызвано нападками Б. Чичерина на Герцена и напечатано в № 32—33 «Колокола» от 1 января 1859 года. Письмо кончалось следующим обращением к русской молодежи: «Умрите, если будет нужно, за сохранение равного права каждого крестьянина на землю, умрите за общинное начало!». Ту же ссылку Иванов-Разумник повторяет на стр. 162, опять-таки приписывая это письмо Чернышевскому и находясь под властью ошибочной традиции. Дело в том, что Драгоманов, перепечатав это и несколько других писем к Герцену по случаю его конфликта с Чичериным, приписал их Кавелину («Письма Кавелина и Тургенева к Герцену», стр. 29 и сл.), и с его легкой руки за либеральным профессором утвердилась слава автора этого письма. Но в 1910 году Барсуков в 15-й книге своей работы «Жизнь и труды М. П. Погодина» (стр. 259—261) приписал это письмо «по слогу, манере и содержанию» Н. Г. Чернышевскому. На самом деле письмо это принадлежит В. А. Панаеву, либеральному бюрократу и сотруднику «Современника», который в своих воспоминаниях («Русская Старина» 1901, № 9, стр. 506—507) наивно приписывал себе инициативу возбуждения вопроса о роли общины (см. комментарий М. Лемке к сочинениям Герцена, т. IX, стр. 484—495).

С своей стороны другой народник, Н. Русанов, по поводу приведенных выше слов Плеханова замечает: «Идейная неприязнь к неудобному явлению заставила г. Плеханова создать задним числом свою утопию. Она подска-

вовсе не принадлежит вам, и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? «Человек самолюбив», и первая мысль, рождающаяся во мне, относится ко мне самому. «Как был я глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто кроме глупца может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?». Вторая моя мысль о вас, предмете моих забот, и о том деле, одним из обстоятельств которого я так интересовался: «лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! лучше пропадай все дело, приносящее вам только разорение!» Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства!» [1].

зала ему попытку конструировать фантастического, никогда не существовавшего в действительности Чернышевского, который будто бы чуть ли не при самом начале спора об общине уже умывал руки относительно ее судьбы... А настоящий, а действительный Чернышевский, хотя и не был народником на манер Герцена, не переставал еще в течение нескольких лет горячо защищать общинное владение в литературе, горячо отстаивать его в жизни, пропагандировать общину без выкупа в инспирируемой им подпольной печати, пока злобная поместно-бюрократическая реакция не сломала перо и не замкнула уста этому величайшему из русских социалистов. Когда после 19 февраля 1861 г. Чернышевский решительно становится на путь революционной политической деятельности, он поступает именно не как утопист, а как самый настоящий политик. Он расчитывает, конечно, не на пролетариат, который в то время еще не играл роли, а на существовавшие в то время реальные элементы: на организацию революционной интеллигенции, на общее недовольство страны, на движение крестьянства и прежде всего типичного мужика-общинника» («Ученики Маркса о Чернышевском». «Русск. Богатство» 1909, № 11, стр. 49).

[1] Смысл этой притчи ясен: выгодное для массы решение аграрного вопроса предполагает предварительное совершение политического переворота и безвозмездную передачу всей земли народу. После реформы 1861 года эта мысль сделалась общим достоянием всех революционно настроенных элементов. — По поводу этого места Ленин, духовно родственный Чернышевскому и относившийся к нему с глубоким почтением, замечает: «Я подчеркиваю те места, которые рельефнее показывают глубокое и превосходное понимание Чернышевским современной ему действительности, понимание того, что такое крестьянские платежи, понимание антагонистичности русских общественных классов. Важно отметить также, что подобные чисто революционные идеи он умел излагать в подцензурной печати. В нелегальных своих произведениях он писал то же самое, но только без обиняков» («Что такое „друзья народа"?» в «Соч.», изд. 1924, т. I, стр. 193).

Но на прощание Чернышевский концентрирует свои аргументы в пользу того утверждения, что русская община может при благоприятных условиях послужить исходным пунктом социалистического развития. Этим он как бы старается внушить своим сторонникам ту мысль, что если бы им удалось побороть темные силы, стоящие поперек пути русскому народу и препятствующие свободному его творчеству, дело трудящихся, быть может, не было бы проиграно бесповоротно.

Прежде всего Чернышевский отводит то возражение противников, что община, некогда составлявшая принадлежность всех народов в течение известного исторического периода, должна была уступить место частной собственности на землю, а потому первая представляет низшую стадию развития, вторая — высшую. Чернышевский этого не отрицает [1], но он напоминает своим противникам, что частная собственность на землю отнюдь не составляет еще последнего слова исторической эволюции, и что дальнейшее экономическое развитие устранит ее и заменит третьей, еще более высокой формой, в которой соединятся положительные стороны обоих предшествовавших форм.

Какова же будет эта третья форма? Коллективизм, — отвечает уверенно наш автор, — община с обогащенным содержанием. На помощь он призывает диалектическую философию, гегелевскую триаду. По форме, — говорит он, — высшая степень развития сходна с нача-

[1] Он признавал это еще в первой своей заметке, в которой коснулся вопроса об общинном землевладении, а именно в рецензии на «Архив» Н. Калачова («Совр.», 1855, № 9). Здесь он прямо указывает на то, что общинное землевладение свойственно всем народам на примитивной ступени экономики, что с развитием земледелия оно уступает место частной собственности, и прибавляет: «Идеалы будущего осуществляются развитием цивилизации, а не бесплодным хвастовством остатками исчезающего давнопрошедшего» («Соч.», т. I, стр. 428—430). По этому поводу Пажитнов («Развитие социалистических идей в России», т. I, Петр. 1924, стр. 95—96) замечает: «При первом выступлении своем по данному вопросу, а именно в рецензии на «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России», издаваемый Н. Калачовым (см. «Современник», № 9 за 1855 г.), Чернышевский высказывается всецело в западническом духе... Но очень скоро уже и, по всей вероятности также под влиянием книги Гакстгаузена, как это было с Герценом, взгляды Чернышевского изменились, и скептическое отношение к общине уступило место убеждению, что в ней заключается залог светлого будущего России». На самом деле никакого противоречия между первоначальными и последующими взглядами Чернышевского по этому вопросу не было, и догадка Пажитнова о влиянии Гакстгаузена ни на чем не основана. Как мы знаем, под влиянием петрашевца Ханыкова Чернышевский уже в студенческую пору начал смотреть на общинное землевладение как на один из факторов социальной революции в России (см. том I, стр. 29).

лом, от которого она отправляется; но при сходстве формы содержание в конце безмерно богаче и выше. Далее он на ряде остроумных примеров показывает «всеобщее господство этого закона» во всех проявлениях жизни как материальных, так и духовных. Повсюду высшая степень развития представляется по форме возвращением к первобытной форме, которая заменялась противоположною на средней стадии развития; повсюду очень сильное развитие содержания ведет к восстановлению той самой формы, которая была отвергаема развитием содержания не очень сильным.

Но при этом естественно возникает вопрос: должно ли каждое отдельное проявление общего процесса проходить в действительности все логические моменты с полной их силой, или же обстоятельства, благоприятные ходу процесса в данное время и в данном месте, могут в действительности приводить его к высокой степени развития, совершенно минуя средние моменты или, по крайней мере, чрезвычайно сокращая их продолжительность и лишая их всякой ощутительной интенсивности? Другими словами, может ли русская община при известных условиях прямо перейти в высшую стадию, минуя промежуточную стадию капитализма? Таков был «проклятый вопрос» тогдашней русской жизни, мучительно интересовавший Чернышевского и современное ему поколение социалистов и демократов [1].

Чернышевский приводит пример горения. Куча упавших деревьев под влиянием сырости начинает гнить, т. е. разлагаться с поглощением кислорода; от этого процесса температура внутри кучи начинает повышаться, гниение усиливается и достигает той степени окисления, которая называется брожением. Брожение усиливается, температура все возвышается; наконец, из средины кучи начинает итти гнилой пар, затем появляется дым, — центр кучи начал обугливаться. Мало по малу из черного угля образуется раскаленный красный уголь, и наконец в прилежащих частях вспыхивает пламя.

Таков естественный ход явлений, распадающийся на целый ряд степеней, каждая из которых составляет логический момент в процессе горения дерева. Но отсюда вовсе не следует, чтобы всякое разведение огня требовало этой смены всех процессов, тянущихся долгое время. Прикладывая к куче дров зажженную спичку, мы заставляем ее быстро пройти эти стадии окисления и загореться. А отсюда Чернышевский делает следующие выводы: 1) Когда

[1] Ср. слова Ленина: «Та пора общественного развития России, — когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, нераз'единимое целое (как это было, напр., в эпоху Чернышевского)». См. «Что такое „друзья народа"?». «Соч.», т. I, стр. 185).

в одном теле известный процесс достиг высокой степени развития, то при помощи этого тела он может быть доведен до той же степени развития в другом теле гораздо скорее, чем без помощи этого опередившего пособника; 2) это ускорение совершается посредством соприкосновения; 3) это ускорение состоит в том, что процесс прямо с первой степени пробегает к последней, не останавливаясь на средних; 4) средние степени, чрез которые быстро пробегает процесс, вообще могут быть замечены только теоретическим наблюдением, а не практическим чувством; на философском языке это отношение выражается так: «не достигая реального осуществления (т. е. имеющего практическую осязаемость), эти логические мотивы [1] развития не переходят за границы идеального или логического бытия»; 5) если же из быстро пробегаемых моментов некоторые и замечаются практическим ощущением, то они в общем итоге процесса составляют лишь самую ничтожную часть.

Далее Чернышевский показывает, что добывание огня, на усовершенствование которого человечество потратило 7 345 лет, достигается теперь каждым человеком без всякой выучки, с помощью фосфорной спички. «Когда известный процесс достиг в известном человеке известной степени развития, достижение этой степени может быть чрезвычайно ускорено в других людях... Это ускорение совершается через сближение человека, которому нужно достичь высшей степени процесса, с человеком, уже достигшим ее (именно из Парижа человек с фосфорными спичками приезжает в центральную Африку, или дикарь из центральной Африки — в одно из селений, где уже есть фосфорные спички)» и т. д. Если это верно относительно индивидуальной жизни, то нет никакого резона, почему бы это не было столь же верно относительно социального развития, ибо «общественная жизнь есть сумма индивидуальных жизней». Дикие племена могут от дубины прямо перейти к штуцерам; народ, погрязший в грубом фетишизме, может усвоить христианство без инквизиции; первобытное племя может принять европейскую цивилизацию без бюрократии и абсолютизма и т. д.

По отношению к целым народам Чернышевский формулирует свои выводы следующим образом: 1) Когда известное общественное явление в известном народе достигло высокой степени развития, ход его до этой степени в другом, отставшем народе может совершиться гораздо быстрее, чем он совершался у передового народа. 2) Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым. 3) Это ускорение состоит в том, что у отставшего народа развитие обще-

[1] Вероятно, опечатка: должно бы быть «моменты».

ственного явления, благодаря влиянию передового народа, прямо с низшей степени перескакивает на высшую, минуя средние степени. 4) При таком ускоренном ходе развития средние степени, пропускаемые жизнью народа, бывшего отсталым и пользующегося опытностью и наукою передового народа, достигают только теоретического бытия, как логические моменты, не осуществляясь фактами действительности. 5) Если же эти средние степени достигают и реального осуществления, то разве только самого ничтожного по размеру и еще более по отношению к важности для практической жизни.

Отсюда вытекает два основные заключения: 1) Высшая степень развития по форме совпадает с его началом. 2) Под влиянием высокого развития, которого известное явление общественной жизни достигло у передовых народов, это явление может у других народов развиваться очень быстро, подниматься с низшей степени прямо на высшую, минуя средние логические моменты.

Одним словом, «все, чего добились другие, — готовое наследие нам», и «история, как бабушка, страшно любит младших внучат. Tarde venientibus дает она не ossa, а medulam ossium [1], разбивая которые Западная Европа больно ошибала себе пальцы».

Расшифровывая эти нарочито абстрактные формулировки, к которым Чернышевский был вынужден условиями тогдашней цензуры, мы получаем следующую простую и ясную схему.

Россия является отсталой страной, которую в статье «Суеверие и правила логики», относящейся к тому же периоду, Чернышевский сравнивает с Турцией. Ее экономика только начинает развиваться, при чем все вероятия говорят за то, что это развитие пойдет по обычному капиталистическому пути. Но от прежнего своего быта, она, благодаря именно своей отсталости, сохранила одно учреждение, общинное землевладение, которое при известных условиях может сыграть благотворную роль при переходе России к высшим формам общественного устройства, к социализму. Для Западной Европы, вопреки мнению Герцена, этот институт не имеет никакого значения: более передовая Европа пойдет к социализму путем пролетарской революции и захвата власти социалистической партией, путем революционной диктатуры рабочего класса. В России дело обстоит иначе: ей придется еще много ждать и страдать, пока в ней выработаются новые формы жизни и сложится рабочий класс. Но если общинное землевладение сохранится в ней до того момента, сравнительно недалекого, когда в передовых странах осуще-

[1] «Поздно приходящим дает она не кости, а костный мозг».

ствится социальный переворот, то при условии сближения русского народа с победоносной европейской революцией и под ее влиянием община может оказаться опорным пунктом для ускорения перехода России к социалистическому строю, минуя или сильно сокращая переходную фазу капитализма.

Таким образом в отличие от Герцена, у которого вопрос о грядущих судьбах и роли русской поземельной общины укладывался в какую-то национальную конструкцию, изолировавшую развитие России от эволюции Запада, у Чернышевского наоборот вся конструкция носит интернационалистический характер, предполагая прямую зависимость судеб нашей страны от влияния (идейного, технического и политического) более передовых стран, от связи ее с победоносной социалистической революцией в более развитых капиталистических государствах. Построение Чернышевского, как мы уже подробно указывали в первом томе этой работы (стр. 581—582), стоит довольно близко к рассуждениям Маркса и Энгельса в тех случаях, когда они касались того же вопроса о возможной роли русской поземельной общины в деле ускорения социалистического переустройства нашего отечества и всего мира.

В настоящее время представляется совершенно излишним критиковать это логическое построение, доказывать его абстрактный характер и слабые стороны. Эту критику дала сама история, наилучший и безапеляционный судья в подобных вопросах. Действительное историческое развитие пошло не так, как предполагалось или, лучше сказать, допускалось схемой Чернышевского, а если угодно, и Маркса и Энгельса. В деле социальной революции в России главную роль сыграл пролетариат, созданный капитализмом. Россия, выражаясь известными словами Маркса, превратила значительную часть своего населения в пролетариев и этим создала могильщиков как для самодержавия, так и для буржуазии. Но мы не должны забывать, что Чернышевский, рисуя изложенную выше схему, вместе с тем в работах, относящихся к тому же времени, допускал также возможность того, что Россия пойдет по капиталистическому пути и вовсе не считал свою схему единственно возможной и безусловно осуществимой. Напротив, как мы видели, Чернышевский, допуская теоретическую возможность прямого перехода от общины к социализму, указывал на определенные условия, которые делали эту возможность вероятной: это — наличность стран, достигших высокой степени развития, и наличность «опередившего пособника».

Но кто же будет этим опередившим пособником? В первом издании нашей книги (стр. 377) мы высказали предположение, что Чернышевский имел ввиду революционную интеллигенцию, соприкосновение и сближение которой с народом должно было ускорить естественный процесс эволюции и помочь ему быстро пробежать посредствующие моменты. «Таким образом, — писали мы, — пред интеллигенцией ставилась великая задача, не имеющая, быть может, примеров в истории. Но, во-первых, как мы знаем, Чернышевский считал возможным для интеллигенции выполнить эту задачу лишь при условии серьезного движения в массах, а, во-вторых, в рассматриваемый исторический момент эта программа казалась не столь утопической, как в последующее время» [1].

Выдвигая эту гипотезу, мы основывались на том, что Чернышевский говорит об опередившем пособнике в том разделе своей статьи, который трактует о взаимном индивидуальном воздействии и приводит этот термин непосредственно после примера спички, поджигающей охапку дров. Но внимательно вчитываясь в замечательную статью нашего великого мыслителя, мы теперь приходим к другому выводу и полагаем, что под опередившим пособником Чернышевский разумел пролетариат передовых стран, успевший захватить власть и приступить

---

[1] Плеханов в своем ошибочном толковании кампании Чернышевского в пользу общины идет гораздо дальше и приписывает нашему автору намерения, каких у него вовсе не было. Он находит, что в с е свои надежды на перевод общины в высшую стадию Чернышевский возлагал на интеллигенцию, которую он якобы признавал «единственной действующей армией человеческого прогресса, которая изучает историю и пользуется ее уроками» (опровержение этого утверждения Плеханова см. в первом томе этой работы). «Но, — продолжает Плеханов, — русская интеллигенция не имеет власти. Как же может она воспользоваться примером Запада? Она может воспользоваться им, е с л и ей удастся повлиять на людей, власть имеющих. Поэтому Чернышевский и старается показать этим людям (?), какие большие выгоды извлечет Россия из сохранения поземельной общины». И Плеханов победоносно заключает: «Это — уже совсем идеалистический взгляд на вещи» («Соч.», т. VI, стр. 33).

Еще бы! Но если бы даже признать, что Чернышевский возлагал все свои надежды на интеллигенцию, а не на самодеятельность масс, как это было в действительности, то почему бы не допустить, что по его мысли интеллигенция может воспользоваться примером Запада вовсе не в том случае, если ей удастся повлиять на людей, власть имеющих, а если ей удастся, опираясь на революционное восстание крестьян и солдат, захватить власть и установить революционную диктатуру в целях социалистического переустройства? А ведь именно так и думал Чернышевский, и при том еще в студенческие годы. Эти-то мысли он и проводил в своих статьях под носом царской цензуры.

к социальному переустройству. В этом нас убеждает то в первый раз недостаточно оцененное нами обстоятельство, что примеры индивидуального взаимодействия приводятся Чернышевским в начале статьи, когда он только приступает к развитию своей мысли. Но дальше, когда он определенно заговаривает об изменении общественных форм, он делает свои выводы уже применительно к целым странам и народам. Он говорит о народах более передовых, уже достигших высших ступеней развития (подразумевается социальная революция), и народах отсталых, о сближении отставшего народа с передовым и проистекающем из этого сближения ускорении общественного развития первого из этих народов, об использовании отсталым народом «опытности и науки» передового народа и о влиянии последнего, благодаря которому у отставшего народа «развитие известного общественного явления», в данном случае общинного землевладения, этого примитивного зародыша более высокой общественной формации, т. е. социалистического строя, получает более ускоренный ход, непосредственно или убыстренным темпом переходя от низших стадий социального развития к высшим. Все это показывает, что под опередившим пособником Чернышевский понимал пролетариат передовых капиталистических стран, который по его мнению должен был начать мировую социальную революцию и который своим опытом, а может быть, и прямой поддержкой поможет русским трудящимся массам, живущим при более отсталой технике и более отсталых общественных отношениях, догнать своих более счастливых братьев, используя при этом институт, завещанный русскому народу первобытной экономикой, но при данных условиях способный сыграть прогрессивную роль.

При таком понимании статьи Чернышевского (а оно совершенно правильно, в чем легко может убедиться всякий, прочитавший ее без предубеждения) его схема представляется вовсе не такой утопической, как принято на нее смотреть. Более того, можно сказать, что при тогдашней русской политической и общественной обстановке революционные социалисты, понимавшие гибельное для масс значение вторгавшегося в русскую жизнь капитализма и желавшие принять активное участие в борьбе за интересы трудящихся, вряд ли и могли выдвинуть какую-либо иную, качественно отличную конструкцию. Если Маркс и Энгельс могли еще в конце 70-х и в начале 80-х годов, когда капитализм достиг уже в России довольно высокого развития, говорить условно о судьбах русской общины и допускать при известных условиях, весьма близко напоминающих условия, предполагавшиеся Черны-

шевским, ее возможную роль в смысле облегчения социального переустройства, то тем больше основания имел для этого наш автор, при котором капитализм только начинал в России делать свои первые шаги.

«Если принять во внимание, — писали мы в брошюре «Историческое подготовление русской социал-демократии» [1], — под влиянием каких исторических условий сложился этот русский социализм, при каких политических и общественно-экономических условиях приходилось ему развиваться, на какие социальные силы приходилось ему расчитывать, то мы без труда поймем, что он и не мог вылиться ни в какую иную форму, кроме той, в какой он нам известен. На тогдашней ступени экономического развития страны, при подавляющем преобладании земледельчески-крестьянских масс, в большинстве случаев неграмотных, оторванных не только от всемирной истории, но и от движения русской общественной жизни; при полном почти отсутствии пролетариата; при зародышевом состоянии промышленной и городской жизни; при полной неспособности рабочих масс не только выставить собственную политическую программу или программу общественных реформ, но и бороться за программу, выставленную другими общественными элементами, — одним словом, при полном почти отсутствии тех условий, которые в цивилизованных странах вызывали и облегчали рост социалистического движения, каков мог быть по своей форме и по содержанию русский социализм начала 60-х годов, которому приходилось к тому же итти своим собственным путем, ощупью и часто без теоретической опоры?

«Эти об'ективные условия русской действительности заставили русских социалистов выработать особые формы теоретического обоснования своей деятельности. Тот вопрос, который для западно-европейских социалистов того времени был просто теоретически-абстрактным вопросом историко-философского свойства, а именно вопрос о том, может ли страна, сохранившая остатки первобытного коммунизма, перейти к социалистическому укладу, минуя капиталистическую фазу, вопрос, который Маркс, напр., ставит [2] как чисто отвлеченный и теоретический, вроде вопроса о различных исторических формах ренты, для русских социалистов получает значение жгучей действительности, практически-насущного вопроса, от решения которого в ту или иную сторону зависит все направление и смысл их непосредственной дея-

[1] Перепечатано в книге «Борцы за социализм», 2-е изд., Гиз, М. 1923, том II.

[2] В третьем томе «Капитала».

тельности... Кружок «Современника», задававший тон тогдашним революционерам и отражавший их настроение, этот кружок в статьях незабвенного Чернышевского отвечает на этот вопрос утвердительно. Во всяком случае, если такое решение не высказывалось всеми положительно, то оно всеми чувствовалось, да иначе и быть не могло. В реальной жизни совершенно не существовало элементов, которые могли бы лечь в основание иной постановки вопроса и обусловить его решение в ином смысле. Принужденные строить свое теоретическое здание из тех материалов и на том фундаменте, которые предлагались им тогдашней действительностью, шестидесятники-социалисты в своих стремлениях и надеждах на предстоящее крестьянское восстание в сущности отражали смутные стремления и чаяния многомиллионной крестьянской массы и давали им только, так сказать, обобщенное выражение.

«Так сложилась окончательно национальная форма русского социализма, которая красной нитью проходит через все последующие теоретические построения русских социалистов и, осложняясь различными побочными влияниями, получая каждый раз новые дополнения и поправки под влиянием развивающейся жизни, дает различные теоретические формулировки, в которых все-таки ясно проглядывает основное зерно русского социализма, т. е. надежда на близкое всеобщее восстание крестьянства, одним разом устраняющее и гнет абсолютизма, и зачатки капитализма» [1].

---

[1] По словам Плеханова («Соч.», т. VI, стр. 39) разговоры Волгина об отсутствии сил для надлежащего проведения крестьянской реформы и статья «Критика философских предубеждений» дают «драгоценный материал для суждения о том, как отвечал Чернышевский самому себе на вопросы: были ли налицо в тогдашней России конкретные условия, необходимые для того, чтобы поземельная община могла сразу перейти в социалистическую форму производства? Их не было, и Чернышевский увидел это уже к концу 1858 года... Но все таки позволительно удивиться тому, что Чернышевский мог втечение некоторого времени питать иллюзии насчет вероятной судьбы общины». Но ведь ничего другого об'ективно в тот момент не было, и при том Чернышевский ставил вопрос о возможной социалистической роли общины весьма условно. Эту условность отчасти заметил и такой ярый народник, как К. Качоровский, который говорит: «Точка зрения Чернышевского и его последователей была очень далека от безусловности: a priori и принципиально сохранение общины считалось желательным, лишь постольку она представляет социальный плюс как возможная первая ступень обобществления земледельческого производства, как форма, теоретически совместимая с прогрессом земледелия, и т. д., а priori и принципиально сохранение общины считалось возможным (как возможно и ее разложение) в зависимости от тех реальных условий, которые на нее будут

В этом смысле Чернышевского, пожалуй можно признать одним из родоначальников народничества, поскольку последнее характеризуется между прочим верой в то, что Россия минует стадию капитализма. Но с этой стороны народничество можно возводить и к Герцену, и еще выше. Следует однако вспомнить, что широкий и трезвый ум Чернышевского был чужд герценовской исключительности, что наш автор и не думал ставить крест над европейской культурой, якобы насквозь пропахшей «мещанством», и что он признавал переход от общины к социализму лишь одною из возможностей, да и то мало вероятной и требующей для своего осуществления стечения особенно благоприятных внутренних и внешних обстоятельств [1]. С другой стороны, Чернышевский в силу присущего ему скептицизма мало верил в революционную активность русского народа (в частности крестьянства), хотя признавал, что в исключительные моменты трудящиеся массы способны проявить достаточно активности и героизма.

У Чернышевского скорее были все задатки к тому, чтобы сделаться в России первым провозвестником критического или научного социализма; но его трагедия в том и заключается, что, когда настало время его понять и оценить, он уже устарел и в значительной степени оказался лишь материалом для исторического исследования. Для своего времени он действительно был «чужой своему народу», как говорит персонаж одной из его повестей, написанных в Сибири.

Но сам Чернышевский народником—в том смысле, какой этот термин получил впоследствии, — никогда не был. Это признает и Плеханов, который говорит, что «Чернышевский, никогда не бывший народником, был одним из тех писателей, у которых народники заимствовали силь-

---

действовать. Понятно, что эта точка зрения совершенно исключала всякие философские и не-философские «предрассудки», всякие априорные формулы, она всецело переносила решение вопроса в непосредственное исследование самой общины, ее условий и следствий. Она не замедлила привести к такому исследованию и в действительности» («Русская община», т. I, стр. 18).

[1] Замечательно, что условный характер защиты общины Чернышевским вызвал у простодушного Огарева обвинение нашего автора в измене делу социализма. Так в письме к Н. Обручеву, найденному у Чернышевского при обыске, Огарев писал по поводу статьи о причинах падения Рима: «По случаю какой-то истории Рима встречаем мы в «Совр.»... статью прямо против нас, т. е. что напрасно мол говорить, что в России есть возродительное общинное начало, которого в Европе нет, что общинное начало — вздор, что Европа не умирает, и что те, кто это говорит, — дураки и лжецы, с намеком, что речь идет о нас, и забывая, что до сих пор сами держались этим (?) знаменем... Зачем это битье по своим (?), да еще действительно с преднамеренной ложью?.. Горе, когда личное самолюбие поднимает голову, зави-

нейшие свои доводы» («Соч.», т. VI, стр. 34). Это верно, но Чернышевский-то тут ни при чем. Ведь заимствовали же народники свои аргументы и у Маркса. В. В[оронцов] всю свою теорию о невозможности капиталистического развития в нашей стране («Судьбы капитализма в России») построил на своеобразно истолкованных положениях марксова «Капитала». Да и другой столп народничества, бывший даже лично в хороших отношениях с Марксом и Энгельсом, Николай — он (Даниельсон), не только пытался в «Очерках нашего пореформенного хозяйства» дать народничеству «научное» обоснование в марксистском духе, но даже долго щеголял в звании «истинного марксиста».

Что Чернышевский не был народником в позднейшем смысле этого слова, признает не только марксист Плеханов, но и народник Н. Ф. Анненский. «Демократическая струя шестидесятых годов,—пишет он,—особенно яркое, полное и глубокое выражение нашла в журналистике того времени. На первом плане здесь стоял «Современник». В первую половину эпохи 60-х годов этот журнал был властителем дум поколения. Здесь, главным образом в статьях Чернышевского (являвшегося, быть может, наиболее типичною фигурою для передовой мысли шестидесятых годов), развивалась целая стройная система общественных воззрений, построенных на демократическом начале. Я характеризую эту систему названием «демократической», избегая позднейшего термина «народничество», так как, во-первых, так называл ее сам Чернышевский, а, во-вторых, и потому, что воззрениям Чернышевского совершенно чужды были некоторые типические черты народничества позднейшего времени. В центре его общественного мировоззрения лежали и н т е р е с ы народа — и прежде всего интересы крестьянской массы,

---

дуя или в отместку за неуважение к воровству какого-нибудь патрона (намек на Некрасова.—*Ю. С.*)... Скажите, что это стыдно, что так продавать христа, т. е. правду и дело, непозволительно. Это то, что христиане называли преступлением против духа» (Л е м к е — «Политические процессы», стр. 186—187). По этому поводу Чернышевскому пришлось давать об'яснение в следственной комиссии. На допросе 14 марта 1863 года он показывал: «„Знамя", о котором упоминается в письме, — наше обычное общинное землевладение, которое я постоянно защищал, но относительно которого все-таки выражал сомнение, удержится ли оно против расположения к потомственному землевладению (так в оригинале; у Лемке по ошибке напечатано: «распоряжения»), — это об'ясняется в статье «Современника» (моей), которою Герцен остался недоволен; выражение «ехали вместе» относится к тому, что я подобно Герцену защищал обычное наше общинное землевладение» (Дело выс. учр. следственной комиссии о Чернышевском, л. 359; Лемке, цит. соч., стр. 312).

составлявшей главную часть народа; около этих интересов в перспективе располагались все остальные общественные вопросы; но Чернышевский, рационалист до мозга костей, совершенно не склонен был к идеализации тех или иных бытовых форм народной жизни, отличавшей позднейших народников» [1].

---

[1] Н. Ф. Анненский — «Сорок лет назад», в сборнике «На славном посту», Спб. 1906, стр. 449. — В таком же духе выражается и Пажитнов («Развитие социалистических идей в России», т. I, стр. 92), который говорит: «Считать его (Чернышевского) типичным народником, как это делает, напр., г. Иванов-Разумник в своей «Истории русской общественной мысли», можно только по недоразумению». По мнению Овсянико-Куликовского («Собрание сочинений», т. VII. История русской интеллигенции, ч. I. Изд. «Общ. Пользы», Спб. 1910, стр. 296) народолюбие Чернышевского и К° было не народничеством, а особой формой европейского демократизма. Если бы он сказал «социализма», он был бы прав.

Глава четвертая

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОЛОДЕЖЬ

1. О роли интеллигенции

Существует мнение, будто Чернышевский возлагал все свои надежды на интеллигенцию, что он считал ее солью земли, призванной осуществить правду в общественных отношениях, и все свои революционные расчеты строил на интеллигентной молодежи, которая, усвоив опыт истории человечества, своей инициативой заменяет отсутствующие на арене истории трудящиеся массы и собственной силой благодетельствует их свыше. Несмотря на распространенность такого мнения, оно совершенно неверно и вовсе не отвечает действительным взглядам нашего автора.

Чернышевский прекрасно знал, что основательность исторического действия прямо пропорциональна размеру масс, творящих это действие. Только на самостоятельное движение масс он возлагал надежды, к самодеятельности масс апелировал, поскольку это позволяли ему цензурные условия, и всячески старался выяснить своим последователям, что без активного участия масс нельзя не только добиться социалистической революции, но и политического переворота, что поэтому все попытки немногочисленных групп, не сумевших обеспечить себе поддержку масс, заранее обречены на жалкое поражение и грозят лишь бесплодной гибелью своим неразумным инициаторам. Доказательству этих мыслей посвящены его главные работы, в частности его политические обозрения, в которых он старался развить перед своими сторонниками основные начала правильной политической стратегии и тактики, как в этом могли убедиться наши читатели из всего предшествовавшего нашего изложения.

Но некоторые надежды Чернышевский на интеллигенцию несомненно возлагал. Однако, прежде чем перейти к выяснению этого вопроса, необходимо во избежание недоразумений ответить на вопрос: какую именно интеллигенцию Чернышевский имел ввиду, когда связывал ее с предстоящим революционным движением масс? Никто не

бичевал так беспощадно либеральную, цензовую, помещичье-буржуазную интеллигенцию, как Чернышевский. Мы знаем, что на этой почве между ним и Герценом вспыхнул даже жестокий конфликт. Отсюда ясно, что Чернышевский расчитывал не на интеллигенцию вообще, а на демократическую или, употребляя современный термин, на мелкобуржуазную интеллигенцию и на тех выходцев из привилегированных групп, которые духовно порвали с своим классом и восприняли дело угнетенных и порабощенных классов, словом, на ту социальную группу, которая везде, особенно на первых ступенях политического и социального движения, играла роль будирующего фактора, инициативного, будящего и организующего элемента, которая шла к массам, делясь с ними своими знаниями и опытом, и зачастую придавала их стихийным порывам и вспышкам планомерность и сознательность. О таких интеллигентах говорит и «Коммунистический Манифест», когда указывает, что в периоды обострения классовой борьбы и разложения старого общества часть господствующего класса отделяется от него и примыкает к революционному классу, водружающему знамя грядущего, когда он упоминает о «буржуа-идеологах» (по нашему интеллигентах), которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического движения. Эти элементы имел ввиду и Ленин, когда в «Что делать?» указывал на роль интеллигенции, приносящей пролетариату, еще не успевшему выработать последовательное коммунистическое миросозерцание и стоящему вначале на почве защиты своих профессиональных интересов, сознание его исторического призвания.

Приблизительно так смотрел на дело и Чернышевский. Очень хорошо понимая слабость сил самой интеллигенции, постоянно подчеркивая, что без масс она не в силах чего-либо добиться, он все же признавал за нею роль бродила, инициативного начала, социальной группы, которая благодаря своему знакомству с историей умеет связывать борьбу за экономические интересы с борьбою политической, тогда как трудящиеся массы в начальные периоды своего развития не всегда способны установить такую связь и потому не в состоянии добиться победы. И если Ленин мог развивать свои мысли о роли революционной интеллигенции в начале XX века, когда пролетариат в России прошел уже известную выучку и успел выработать известные кадры своей собственной рабочей интеллигенции, то кольми паче имел на это право и основание Чернышевский, действовавший в обществе, только приступавшем к отмене крепостного права и не имевшем не только рабочей интеллигенции, но и рабочего класса в настоящем смысле этого слова!

В политическом обозрении, напечатанном в № 8 «Современника» за 1859 год, Чернышевский, требуя от революционеров строгой логи-

ческой последовательности, между прочим пишет: «Бывают на свете люди, служащие исключением из общего правила, — люди, которым чужое горе щемит сердце так же мучительно, как свое личное горе; люди, которые не могут чувствовать себя счастливыми, когда знают, что другие несчастны.

«Есть люди, в которых умственное и нравственное развитие достигает такой силы, что вид несправедливости и беззакония мучит их; они желают преобразований, но потребность эта, ощущаемая и массою народа только в материальном применении к вопросу распределения продуктов труда и средств к производительному труду (земля, капитал), сознается ими в размере более обширном. Они находят, что для поддержки справедливых отношений по имуществу нужны разные гарантии в гражданских правах. Само собою разумеется, что сами по себе такие люди не очень сильны: их мало; но они желают того, что нужно для благосостояния массы, и естественно стараются опереться на нее, растолковать ей, каким образом может он приобрести то, чего ищет» [1]

В этих словах намечен взгляд Чернышевского на возможную роль революционной интеллигенции, с соответствующими эпохе поправками весьма напоминающий положения Ленина в брошюре «Что делать?». Чернышевский констатирует, что и трудящиеся массы недовольны существующим положением вещей и стремятся к его изменению. Но первоначально масса обычно стоит на почве экономических требований; она тоже стремится к социализму, хочет передачи земли и капитала, т. е. орудий производства, трудящимся. Но она не всегда сознает, что удовлетворение ее экономических стремлений связано с политикой, с политическим переворотом, с тем, что Чернышевский по цензурным соображениям называет «гарантиями в гражданских правах», и под чем он разумел не буржуазную демократию, а демократию трудовую, правительство рабочих, крестьян и батраков, как он выражался еще в студенческую пору.

И для своего времени (да только ли для своего?) Чернышевский был совершенно прав. Наблюдая события, развертывавшиеся на его глазах, он повсюду замечал недовольство масс, кое-где стихийные их порывы (не забудем, что он действовал в самое глухое время европейской реакции, которая только к концу 50-х годов начала сменяться некоторым политическим оживлением), но везде он констатировал в лучшем случае, если можно так выразиться, наличность революционного, а иногда и далеко не революционного, «экономизма», но не видел сознательного политического движения трудящихся, сочетающего экономические

[1] «Соч.», т. V, стр. 336—337. — Абзацы нами переставлены.

требования и стремления с политическими. Как мы знаем, даже среди передовых пролетариев того времени, а именно французских, Чернышевский с грустью констатировал политический индиферентизм или политическое недомыслие. И это было в значительной степени верно. Не забудем, что деятельность Первого Интернационала, который ставил себе задачей борьбу с этим политическим индиферентизмом масс и распространение среди них мысли о необходимости захвата власти рабочим классом, началась через несколько лет после того, как Чернышевским были написаны цитированные выше строки, когда автор их уже был из'ят из списка живущих. И не только в эпоху Первого, но и в эпоху Второго Интернационала, несмотря на колоссальный рост крупной промышленности, создающей и организующей пролетариат, да и до наших дней не удалось раз'яснить всем трудящимся массам органическую связь экономики и политики, без понимания которой успешная борьба за освобождение пролетариата немыслима.

С этой точки зрения надежды Чернышевского на революционную интеллигенцию и возлагаемая им на нее задача перестают иметь тот привкус утопизма, который несновательно приписывался родоначальнику русского коммунизма.

2. „Новые люди" и роман „Что делать?"

Приобщить народ к идеям демократии и социализма, — эту великую историческую задачу должно было выполнить новое молодое поколение, выступившее на сцену после разгрома старого режима во время Крымской войны. На это бодрое и смелое поколение возлагал Чернышевский свои надежды, для него он и Добролюбов писали свои статьи, к нему они обращались с призывами итти в народ. Изображению этих новых людей посвящен роман Чернышевского «Что делать?», написанный в Петропавловской крепости [1].

Этот знаменитый роман, сыгравший такую выдающуюся роль в истории русского революционного движения, был написан Чернышевским в Алексеевском равелине в течение четырех месяцев с 4 декабря 1862 года по 4 апреля 1863 года. По мере изготовления рукописи она просматривалась каким-либо членом следственной комиссии кн. Голицына, при чем следователи интересовались только вопросом о том, имеет ли рукопись отношение к «делу» Чернышевского, а затем про-

[1] Много сведений, относящихся к составлению и содержанию этого произведения, собрано в статье А. Скафтымова — «Роман „Что делать?" (его идеологический состав и общественное воздействие)» в саратовском сборнике «Н. Г. Чернышевский», Саратов 1926, стр. 92—140.

смотренные части рукописи пересылались через обер-полицеймейстера А. Н. Пыпину с напоминанием, что печатание романа должно происходить на основании общих цензурных правил. Но цензор, видя на рукописи печать и шнуры всемогущей следственной комиссии и полагая, что ее грозной цензуры достаточно, пропускал рукопись в печать [1]. Только впоследствии цензура спохватилась и внесла роман в список запрещенных произведений.

Существует мнение (в частности его разделял сын Н. Г., М. Н. Чернышевский, и некоторые члены семьи Пыпиных), что роман «Что делать?» был начат автором еще в 50-х годах в Саратове. Но это — недоразумение. Что идея романа, поскольку она касалась тогдашнего положения женщины в семье и обществе, занимала Чернышевского еще на студенческой скамье, и что он уже в то время, т. е. даже в конце 40-х годов, делал первые попытки придать ей художественное оформление, об этом мы говорили в первом томе нашей работы. Там же мы указывали, что целый ряд событий из личной жизни Чернышевского получил отражение в романе (достаточно напомнить разговоры Чернышевского с своей невестой, ход его умственного развития, способ чтения книг, которые он в романе приписал Рахметову, взаимоотношения между мужем и женой, отдельные комнаты и пр., о которых он говорил с невестой, и которые затем встречаются в жизни Лопухова и Веры Павловны, и т. д.), так что во многих отношениях роман несомненно имеет автобиографический характер. И тем не менее не подлежит сомнению, что по общему своему содержанию роман представляет новое произведение, которое могло быть создано только в результате всей литературной и общественной деятельности Чернышевского, и что он отвечает на вопросы, поставленные русской жизнью в конце 50-х и в начале 60-х годов, в частности на вопрос о предстоящей революции и о программе революционной партии, каковые явно не существовали в таком виде для автора в саратовский период его работы.

Наконец, о том же говорят и личности, изображенные Чернышевским в романе. О героях «Что делать?» до сих пор существуют только догадки, хотя многие из этих догадок имеют уже очень давнее происхождение и высказаны были сразу по появлении романа в печати. В литературе личности, с которых Чернышевский по предположению писал портреты своих героев, долгое время не назывались, но в частных беседах о них говорили, и в революционных кружках эти имена передавались по традиции. Общее мнение сводилось к тому, что под именем

[1] См. воспоминания цензора О. А. Пржецлавского в «Русской Старине» 1875, № 9. стр. 154, М. Лемке, цит. соч., стр. 235, и А. Скафтымова, цит. ст., стр. 96—97.

Лопухова в романе выведен доктор Петр Иванович Боков [1], семейный врач Чернышевских с 1858 года; под именем Кирсанова, его друга и счастливого соперника, выведен известный ученый физиолог И. М. Сеченов; под именем Веры Павловны — жена автора, Ольга Сократовна, разумеется, идеализированная и прикрашенная, с прибавлением черт появившихся тогда женщин-общественниц, и наконец под именем Рахметова — некий саратовский помещик Пав. Алекс. Бахметев.

По этому поводу существует показание самой жены Чернышевского, которая позже в Саратове сообщила Духовникову следующие сведения, приведенные А. Лебедевым: «Знакомые сослужили ему службу, — рассказывала жена Чернышевского; — он с них взял некоторые черты, которыми наделил действующих лиц в романе «Что делать?». Турчанинов, Боков, один офицер и я послужили Николаю Гавриловичу материалом для изображения лиц в романе. Черты моего характера рассеяны на нескольких действующих лицах «Что делать?». Верочка — я, Лопухов взят с Бокова, офицер — с Кирсанова (обмолвка: Кирсанов с офицера. — *Ю. С.*). После меня спрашивали: «Кто этот Кирсанов? Правда ли, вы с ним живете?» [2]. Под каким именем выведен в романе Турчанинов (студент, через которого Чернышевский познакомился с Добролюбовым), О. С. не сообщает; возможно, что это — один из студентов, выступающих в последней части романа.

По поводу того, что Ольга Сократовна назвала Кирсанова офицером, А. Скафтымов в цитированной статье (стр. 115) указывает, что хотя Сеченов по окончании инженерного училища и был офицером-сапером в Киеве, но это происходило еще в 40-х годах, к шестидесятым же годам, когда он сделался профессором медицинской Академии в Петербурге, всякие отношения к военному миру были им давно забыты.

---

[1] О д-ре Бокове см. заметку А. Н. Витмера — «Святой человек (Бессистемные воспоминания)» в «Истор. Вестнике» 1915, № 12, стр. 819—828. Заметка в общем бессодержательная и обывательская. О революционной деятельности Бокова, который привлекался к делу «Великорусса» и был членом «Земли и Воли» 60-х годов (в воспоминаниях Л. Пантелеева он выведен под именем «господина à la Вирхов»), Витмер ничего не говорит, хотя считает долгом сообщить, что знамени своего он никогда не менял, и как был «либералом-шестидесятником», таким и остался до конца. К интересующему нас вопросу относятся следующие слова Витмера: «Все называли имена героев романа Лопухова и Кирсанова их настоящими именами: под псевдонимом Лопухова был изображен доктор Боков,... а Кирсанова — известный физиолог, даровитый ученый Сеченов». И дальше Витмер прибавляет, что с Сеченовым Боков и после семейной истории остался в приятельских отношениях.

[2] А. А. Лебедев — «Н. Г. Чернышевский. (Наброски по неизданным материалам)». «Русск. Старина» 1912, № 5, стр. 303.

Но тут же Скафтымов прибавляет, что Сеченов по службе в Военно-Медицинской Академии носил военную форму, что и могло побудить Ольгу Сократовну назвать его офицером. Впрочем, Скафтымов вообще склоняется, повидимому, к тому, что Сеченов не мог послужить прототипом для Кирсанова, в чем по нашему мнению он ошибается [1].

В частности Скафтымов полагает, что вряд ли в истории Лопухова—Кирсанова — Веры Павловны описана семейная история Боковых. Как известно, Боков был учителем М. А. Обручевой (сестры «великорусца» В. А. Обручева) и ради освобождения ее из-под родительской опеки вступил с нею в фиктивный брак, который затем превратился в действительный, а после четырех лет совместной жизни М. А. Обручева полюбила Сеченова, за которого потом и вышла. Скафтымов ссылается на слова М. Н. Чернышевского, что Боков женился на Обручевой в 1861 г., а развелись они в 70-х годах. Но развелись не значит разошлись: последнее могло произойти гораздо раньше. А. Измайлов в своей заметке о Бокове [2] говорит, что они развелись после 4-летней совместной жизни, т. е. в 1865 г., если только верно, что поженились они только в 1861 г., а сам Сеченов в своих «Автобиографических записках» указывает на свое сближение с своей будущей женой уже в 1863 году, а может быть, и раньше (так, по крайней мере, можно понять его приводимые Скафтымовым слова). Во всяком случае первая половина романа Бокова—Обручевой могла легко быть позаимствована Чернышевским для своего произведения из действительности, чего не отрицает и Скафтымов. Очень возможно, что к тому моменту, когда Чернышевский писал «Что делать?», достаточно ясно наметилась и вторая половина этой романтической истории, и если даже допустить, что автор, изображая второй брак Веры Павловны, несколько предвосхитил события, то это только делает честь его психологической проницательности, помогшей ему предвидеть ход событий [3].

---

[1] Намеки на заграничную научную поездку Сеченова с 1856 по 1860 год мы находим у Чернышевского в описании консилиума у Полозовой, где говорится о Клоде Бернаре и пр. («Что делать?». «Соч.», том IX, стр. 274 и сл.).

[2] А. Измайлов — «Петр Иванович Боков», «Утро России» 1914 от 7 и 8 марта (цит. у Скафтымова).

[3] В. А. Пыпина, хорошо знакомая с семейными традициями и семейным архивом Пыпиных-Чернышевских, в своей книге «Любовь в жизни Чернышевского», Петр. 1923, стр. 53, определенно говорит: «Боков и Сеченов изображены Чернышевским в его романе «Что делать?» под именем Лопухова и Кирсанова; жена Бокова, Мария Александровна, врач-окулист (сестра В. А. Обручева), разошедшись с ним, стала женой Сеченова». Кстати М. А. Обручева-Сеченова здравствует до сих пор (см. «Герои и героини романа „Что делать?"». Очерк С. Кара-Мурза в № 30 «Красной Нивы» за 1928 год).

Но в свидетельстве Ольги Сократовны, приведенном нами выше, имеется другая характерная черточка, на которой Скафтымов по нашему мнению остановился недостаточно внимательно. А между тем ее показания, как очевидицы и даже участницы изображаемых в романе событий, заслуживают самого внимательного к себе отношения. Мы имеем в виду ее указание на то, что фигура Кирсанова списана с какого-то офицера (у нее, в передаче А. Лебедева, сказано наоборот, но это несущественно). Скафтымов об'ясняет ее ошибку тем, что Сеченов по роду своей службы носил военный мундир, что и могло ввести ее в заблуждение. Это, конечно, возможно, хотя для Скафтымова, подвергающего, как мы его поняли, сомнению версию о Сеченове как прототипе для Кирсанова, эта поправка не представляет особенного значения. Но мы полагаем, что если Ольга Сократовна здесь ошиблась, то в совершенно другом: какой-то офицер служил прототипом для одной из фигур «Что делать?», но только не для Кирсанова, а для Рахметова. И этим офицером мог быть только В. Обручев, тот самый, который привлекался по делу «Великорусса», был большим приятелем Чернышевского и описан им и в другом произведении, а именно в незаконченной повести «Алферьев», на что до сих пор, кажется, никем не было обращено внимания [1].

---

[1] Эту повесть Чернышевский начал писать немедленно вслед за окончанием «Что делать?» (начало ее помечено 5 апреля 1863 г.). Ей предпослано предисловие в виде письма к герою повести, явно указывающее его личность: «Мы шли по одной дороге. Под вами оборвалась крутизна; я продолжал итти, гордясь тем, что цел; и отчасти стыдясь того, что цел, — не очень долго; и подо мною оборвалась крутизна. И вот мы оба лежим разбитые. Это ничего, мы оба выздоровеем, опять пойдем своею дорогою, одною дорогой» (кстати, если не считать дневника, относящегося к концу 40-х и к началу 50-х годов, то это, кажется, единственное открытое признание Чернышевским своей активной революционной работы). Под Ильей Никитичем выведен в повести Н. Н. Обручев, другой революционный офицер и приятель Чернышевского. О них обоих и об их отношениях к Чернышевскому мы будем говорить ниже. Сейчас укажем только на то, что Алферьева, т. е. В. Обручева, Чернышевский наделяет в повести многими (но не всеми) чертами, которые в романе приписаны Рахметову. Это заставляет нас внести поправку в то толкование фигуры Рахметова, которое мы дали в первом издании этой книги, в том смысле, что в сборную фигуру Рахметова вошли и некоторые черты В. Обручева, того молодого Обручева, которого знал и любил Чернышевский (не говоря уже о чертах самого Чернышевского, чего мы также не указали в первом издании). В повести Алферьев изображается в виде чистого и свежего молодого человека, прямиком идущего к цели и не знающего колебаний в отстаивании того, что он считает истиной. Кстати, и здесь Чернышевский не удержался от своей манеры вносить в изображение своих героев черты и

Согласно той же старинной традиции в лице Рахметова, сурового революционного деятеля, служившего впоследствии образцом для подражания радикальной молодежи, выведен некий Бахметев. Этот Бахметев был саратовским помещиком, с которым Чернышевский познакомился, повидимому, еще в Саратове и с которым поддерживал связи и в Петербурге [1] до его от'езда за границу и бесследного исчезновения. Об этом говорит и В. А. Пыпина в своей цитированной нами книге [2]; об этом же, что гораздо важнее, говорит в своих письмах, относящихся к тому времени, и Евгения Николаевна Пыпина, лично знавшая Бахметева, но не подозревавшая до появления романа о его революционности [3].

По всей вероятности этот Бахметев есть то самое лицо, которое описано у Герцена как основатель «общего (революционного) фонда», впоследствии сыгравшего такую роль в деле Нечаева. Но только у Герцена Бахметев изображен совершенно не так, как у Чернышевского [4]

события из своей личной жизни: так, в главе III излагается в измененном виде саратовская история с ритуальным наветом, в котором такую позорную роль сыграл Н. Костомаров, а в главе VIII опять-таки в несколько измененном виде передается эпизод юношеской любви Чернышевского к жене своего друга В. Лободовского. Повесть напечатана в томе X, ч. II, «Сочинений» Чернышевского.

[1] Что Чернышевский встречался с Бахметевым в Петербурге в 1850 г., видно из его дневника («Лит. Наследие», т. I, стр. 539).

[2] «Бахметьев под именем Рахметова изображен Чернышевским в романе «Что делать»? О том, как Бахметев был у Герцена, рассказала в своих воспоминаниях Огарева-Тучкова» (стр. 23). Об этом рассказал и сам Герцен. Бахметев был земляком Чернышевского.

[3] Так, в письме от 16 марта 1863 года, сообщая родным о получении от Н. Г. продолжения романа, она замечает: «Там между прочим выведен Бахметев — помните?» Вторично она пишет об этом в письме от 23 апреля 1863 года: «С большим интересом прочтете вы роман Николи. Рахметов это— Бахметев Пав. Алекс., помните вы его? Здесь, впрочем, мы об этом не говорим. Ник. Гавр. знал о нем много такого, чего мы и не подозревали». Другой член семьи Пыпиных, Екатерина Николаевна, вспоминает, что Бахметев был помещиком Саратовской губернии и славился своими странностями: «оригинальная особа: богатый человек и вдруг аскет» — все на него удивлялись. Бахметев путешествовал по Волге, по разным городам и распространял идеи, схожие с рахметовскими. Все это со слов Нины Михайловны Чернышевской-Быстровой сообщает А. Скафтымов (цит. ст. стр. 116).

[4] Герцен — «Общий фонд» в «Сборнике посмертных статей». Женева. 1874, страница 181 и следующие; перепечатано в «Сочинениях», том XIV, страница 441 и следующие.

Между прочим М. Лемке в комментариях к этому месту Герцена делает следующее примечание: «При всем желании установить личность Бахметева мне это не удалось. По некоторым данным можно предполагать, что это был Николай Федорович, тверской помещик, переведший в 1856 году своих 44

Герцен встретился с ним в Лондоне в 1858 г.: приблизительно в это время у Чернышевского Рахметов уезжает за границу. У нашего автора Рахметов за границей является к Фейербаху, чтобы предложить ему деньги на издание его сочинений (кстати, это лишний раз показывает, как высоко Чернышевский ставил Фейербаха, «величайшего из европейских мыслителей XIX века, отца новой философии». «Что делать?», l. c., 194); Бахметев же приехал в Лондон к Герцену, чтобы предложить ему часть своего капитала на дела русской пропаганды. Сам он собирался уехать на Маркизские острова, чтобы там «завести колонию на совершенно социальных основаниях».[1]

Из имевшихся у него 50.000 франков Бахметев 30 тысяч взял с собой на Маркизские острова, завязавши их в платке «так, как завязывают фунт крыжовнику или орехов», а 20 тысяч оставил Герцену на дела пропаганды: это и был «общий фонд», впоследствии вызвавший столько раздоров среди русской эмиграции. Дальнейшая судьба Бахметева совершенно неизвестна; он исчез бесследно. В изображении Герцена он выходит каким-то развинченным, чуть не полоумным чудаком, очень мало напоминающим грозную и суровую фигуру Рахметова [2]. Но и то сказать: Герцен органически неспособен был понять русских рево-

душ крестьян в государственные и выехавший из России в 1857 г., но я не могу утверждать, что это был именно описанный жертвователь. Был еще Бахметев, пензенский помещик, родственник Огарева, но сказанное Герценом этому противоречит» (ib., стр. 641—642). Напрасно Лемке не обратил внимания на третью гипотезу, связывающую по традиции Бахметева с Рахметовым, саратовским помещиком. Намек на его саратовское происхождение можно усмотреть в словах Герцена о происхождении Бахметева от степных помещиков.

[1] Этот план Бахметева, вполне, впрочем, отвечающий духу эпохи, был, повидимому, известен Чернышевскому. По крайней мере, в третьей части написанного им в Сибири романа «Рассказы из Белого Зала», в неполном виде напечатанного в первой части тома X его «Сочинений», деятели мировой социальной революции после постигшей их неудачи решают отправиться на Маркизские острова, чтобы основать там новую Утопию (у Бахметева — «колония на совершенно социальных основаниях»). См. «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. XXXIV.

[2] Приблизительно так же описывает Бахметева и Огарева-Тучкова, смотревшая, впрочем, на мир глазами Герцена. По ее словам, это был некрасивый, робкий, молчаливый человек, казавшийся жалким, одиноким, заброшенным. Говорил он резко и в то же время плачущим голосом, как ребенок. Бахметев рассказал Герцену, что он уехал навсегда из России, что все там безотрадно, безнадежно (такие нотки отчаяния вырывались иногда и у самого Чернышевского, как видно из «Пролога»), а, главное, он уехал от родных; он не мог вспомнить о них спокойно и говорил: «Только желаю уехать подальше, подальше от родных» (Огарева-Тучкова — «Воспоминания». Москва 1903, стр. 127 и сл.).

люционеров того времени; на этой почве и произошли все те недоразумения, которые отравили последние годы его жизни. Уж если Герцен мог так ложно понять писателей Чернышевского и Добролюбова, что ж удивительного, если он совершенно не понял угловатого и сурового представителя революционной молодежи? Но с другой стороны очень возможно одно из двух иных предположений: или Бахметев вовсе не послужил прототипом для Рахметова [1], или же Чернышевский сильно его идеализировал, создавши образ, имеющий мало общего с оригиналом, и сочетавши в нем черты из характера Добролюбова (суровое чувство гражданского долга), Бакунина (об'езд славянских земель, ср. также Кельсиева), Сераковского (сближение со всеми классами), себя самого, В. Обручева и т. д. Последнее предложение наиболее вероятно.

Но хотя Чернышевский и идеализировал своих героев, приписывая им, быть может, отсутствовавшие у них качества, а достоинства их рисовал в гомерических размерах, тем не менее не подлежит сомнению, что он многое списывал с действительности. Новое революционное поколение уже народилось, а отчасти и воспиталось на статьях самого Чернышевского, Добролюбова и пр. Об этом свидетельствовало и студенческое движение, разразившееся еще до ареста Чернышевского, и начало революционной пропаганды среди рабочих (в воскресных школах), и первое появление подпольных прокламаций, и образование революционных кружков и даже целых обществ вроде «Земли и Воли», к которым сам Чернышевский имел кое-какое отношение. На эту революционную молодежь, на этих «новых людей», с такой любовью изображенных им в своем романе, Чернышевский и возлагал надежды в том смысле, что они сумеют возглавить неминуемое восстание трудящихся масс и внести в стихийное их движение элемент политической сознательности. «Добрые и сильные, честные и умеющие, — обращается к ним Чернышевский в предисловии к роману, — недавно вы начали возникать между нами, но вас уже немало и быстро становится все больше». А когда их станет совсем много, тогда будет очень хорошо. Кто же эти новые люди? Разночинцы. Отец Лопухова — рязанский мещанин, с трудом содержавший сына в гимназии, с 15 лет юноша должен был сам заботиться о своем пропитании. Он пробивает себе дорогу в жизни упорным трудом и усердными занятиями. Другой

[1] Стахевич в своих воспоминаниях (l. c., стр. 104) приводит слова Чернышевского, что своего героя он назвал Рахметовым в честь именно этого Бахметева. Стахевич тоже определенно называет его саратовским помещиком и говорит, что Герцен во время свидания с Чернышевским в Лондоне рассказал ему о появлении там Бахметева и о внесении им значительной суммы на дело русской революции.

герой романа Кирсанов — сын писца уездного суда, с 12 лет помогающий отцу в переписывании бумаг, а с четвертого класса гимназии тоже дающий уроки для поддержания своего существования. Оба грудью, без связей, без знакомств пробивали себе дорогу. Благодаря обстоятельствам жизни в этих людях развивается энергия, упорство, честность, чувство самоуважения и вместе с тем чувство презрения к баловням судьбы, вялым и испорченным, и чувство ненависти к общественному строю, основанному на эксплоатации и угнетении.

«Недавно зародился у нас этот тип, — говорит Чернышевский, — прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными и от этого бездействовали или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, т. е. не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности... Славные люди! Недавно родился этот тип и быстро распложается. Он рожден временем, он — знамение времени и — сказать ли? — он исчезнет вместе с своим временем и недолгим временем... Шесть лет тому назад этих людей не видели; три года тому назад презирали [1]; теперь... но все равно, что думают о них теперь; через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: «спасите нас!» — и что будут они говорить, будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены ошиканные, срамимые. Так что же, шикайте и срамите, гоните и проклинайте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под громом проклятий они сойдут со сцены, гордые и скромные, суровые и добрые, как были. И не останется их на сцене? — Нет. Как же будет без них? — Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: «после них стало лучше, но все-таки осталось плохо». И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде. И так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «Ну, теперь нам хорошо», тогда уже не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа, и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурою всех людей?» [2].

---

[1] Вероятно, намек на статьи Герцена 1859—1860 гг. против радикалов.

[2] Таким образом Чернышевский предвидел, что революция в России пройдет несколько фаз прилива и отлива, победы и поражения, пока не восторжествует окончательно.

У этих людей стремление к социализму, к установлению царства труда есть естественное человеческое стремление. Их невеста, царица свободы и равенства, подсказывает им магические слова, привлекающие к ним всякое огорченное и оскорбленное существо. Они воздействуют на окружающих, «развивают» их, т. е. внушают им чувства человеческого достоинства и любовь к страждущим (характерно для Чернышевского, что Лопухов, развивая Веру Павловну, дает ей читать сочинения В. Консидерана и Фейербаха). С либералами они расходятся органически; они — пропагандисты новых демократических и социалистических идей: Оуэн для них — «святой старик». Они внимательно следят за наукой, интересуются антропологической философией, химическими теориями Либиха, законами исторического прогресса и вопросами текущей политики, организуют кружок, куда входят пара ремесленников и мелких торговцев, пара офицеров, учителя и студенты; устраивают швейные мастерские на коммунистических началах. Но в сущности их идеал — мещанское счастье; их деятельность носит преимущественно культурнический характер; от прямой политической борьбы, от участия в революционных предприятиях они пока воздерживаются и даже боятся ее.

Истинным представителем новых людей и предтечею народных борцов является Рахметов, «особенный человек», как называет его Чернышевский. В Рахметове соединяется беспощадная логика самого Чернышевского с жилкой настоящего революционного агитатора, которой Чернышевский, повидимому, был лишен. В этом отношении Рахметов напоминает друга Чернышевского, знаменитого польского революционера Сераковского, которого Николай Гаврилович вывел в «Прологе» под именем Соколовского; но только Рахметов свободен от либеральных увлечений Соколовского. «Агитаторы мне смешны», говорит Волгин, но в действительности он преклоняется перед ними, чувствует, что в них имеется инстинкт истинных политических деятелей и практическая энергия борцов за народное дело [1].

[1] Сераковский был близким человеком в кружке «Современника»; биографические сведения о нем помещены отчасти в романе «Пролог», отчасти в брошюре Шаганова «Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке» со слов Николая Гавриловича. В 1848 году Сераковский, бывший тогда студентом, приехал на рождественские каникулы на свою родину в Подольскую губернию. В это время среди местной польской шляхты готовилось восстание благодаря слухам о начавшемся движении в Галиции. Сераковский предложил увлекающимся горячим головам не спешить с решительными выступлениями, пока он сам не с'ездит на границу и не разузнает, в чем дело. По дороге его схватили и «по подозрению в намерении уехать за границу» сослали рядовым в Оренбургские линейные батальоны—главным образом за откро-

Рахметов вышел из богатой помещичьей семьи. Это чуть ли не первый тип «кающегося дворянина»-революционера в нашей литературе. Хотел ли Чернышевский показать, что выходец из рядов класса, столь согрешившего перед народной массой, окажется самым решительным борцом против господства этого класса, мы утверждать не беремся; но так или иначе замысел Чернышевского чрезвычайно интересен. Во всяком случае в Рахметове мы не замечаем тех душевных черт, которые привыкли связывать с фигурой кающегося дворянина: мягкости, дряблости и нерешительности в нем не видно ни одного грана; напротив, это человек, как бы вылитый из одного куска, суровый, убежденный и непреклонный, не останавливающийся ни перед чем и прежде всего не жалеющий самого себя, знающий одну лишь пламенную страсть, одной лишь мысли вдохновенье, — мысль об освобождении народа от всех видов политического и социального угнетения. Убежденный ригорист и аскет, он отказывал себе решительно во всем, ел лишь то, что ест народ, не пил вина и не прикасался к женщинам, несмотря на свою кипучую натуру. «Так нужно, — говорил он, — мы требуем для людей полного наслаждения жизнью, — мы должны своею жизнью свидетельствовать, что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию, по убеждению, а не по личной надобности». Он отказывается от любви к достойной его женщине, находя, что революционеры не имеют права связывать чьей-нибудь судьбы с своею (ср. дневник Чернышевского). Несколько лет он бродит

венные и смелые разговоры с военными следователями. В начале нового царствования он был произведен в офицеры, уехал в Петербург и поступил в военную академию, которую и окончил с отличием, а затем был отправлен правительством за границу с какими-то военно-техническими поручениями, в частности для изучения вопроса об отмене телесных наказаний в армии, за каковую он много ратовал. В Англии он познакомился с Пальмерстоном, который представил его королеве Виктории. В 1863 году он примкнул к польскому восстанию, был начальником ковенского революционного отряда, взят в плен и повешен Муравьевым. Этого замечательного человека и вывел Чернышевский под именем Соколовского в «Прологе». Беспощадный к самому себе, он в романе несколько добродушно посмеивается и над пылким Соколовским за его оптимизм: «мы с Болеславом Ивановичем забавны... ждем бури в болоте», — говорит он. Но по всему видно, что он горячо любил и уважал этого бледного энтузиаста с пламенным, впивающимся в душу взглядом, рыцаря без страха и упрека, агитатора с практической жилкой, горячим сердцем, но холодной головой, не теряющегося в самые опасные минуты и всегда готового пожертвовать своей жизнью для дела народного освобождения. Страницы, посвященные описанию Соколовского, — лучшие в романе и отличаются поразительной художественной силой. В романе Вол-

по всей России, сближаясь с народом, изучая его быт и психологию. Свои революционные дела он держит втайне от кружка Веры Павловны. Но что он занимается революционными делами и считает возможным свой арест, видно из того, что он заблаговременно приучается к перенесению физических страданий в ожидании пыток. Решивши, что в Петербурге ему делать больше нечего, что здесь он сделал все, что мог, и что больше можно будет сделать только года через три, Рахметов исчезает из Петербурга. Затем он попадает за границу, об'езжает славянские земли, везде сближается со всеми классами и собирается в Соединенные Штаты, где останется долго, может быть, навсегда, если он там найдет себе дело, но года через три-четыре он надеется все-таки вернуться в Россию, где к тому времени, по его мнению, должны произойти великие события.

Как признается сам Чернышевский, Рахметов введен им в роман для того, чтобы оттенить, если так можно выразиться, о б ы к н о в е н н о с т ь остальных описываемых им новых людей. Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна—обыкновенные порядочные люди нового поколения. Они не делают ничего особенного, имеют обыкновенные честные убеждения и стараются действовать по ним, но это — не исторические герои. И вот Чернышевский на той же картине рисует маленький уголок дворца; по этому наброску читатель может убедиться, что «дворец — это, должно быть, штука совсем уже не того масштаба, как строение, изображенное на картинке». Если Лопуховы и Кирсановы — тип новый, то Рахметов — тип, так сказать новейший, последнее слово русского общественного развития. Таких людей по словам Чернышевского мало; до сих

гин отказывается от сближения с Соколовским ввиду того, что последний, как человек энергический и самоотверженный, не долго будет оставаться во власти либеральных иллюзий и обязательно ввяжется в какие-нибудь революционные предприятия; вести знакомство с таким человеком небезопасно. В действительности дело обстояло, конечно, не так. Но для Чернышевского характерно, что он конспирирует даже в романе, написанном в далекой ссылке спустя долгое время после изображаемых в нем событий. Вероятно, это указание, совершенно им не понятое, сбило с толку легкомысленного и по профессорски невежественного С. Аничкова, который в своей статье о Добролюбове, напечатанной в № 8 «Современного Мира» за 1911 год, сделал великое открытие, что в лице Соколовского Чернышевский вывел известного предателя Вс. Костомарова, погубившего его своими показаниями и подлогами. Вдобавок и В. Костомаров, и Соколовский были кавалерийскими офицерами. Следовательно...

Интересно сравнить с описанием свиданий Чернышевского с Соколовским в «Прологе» рассказ о знакомстве его с Рахметовым в «Что делать?» (l. c., стр. 189). Это, между прочим, доказывает, что, рисуя фигуру Рахметова, Чернышевский вносил в нее черты и Сераковского.

пор он встретил только восемь образцов этой породы, в том числе двух женщин [1]. «Мало их, — заключает Чернышевский свое описание Рахметова, — но ими процветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это — цвет лучших людей, это — двигатели двигателей, это — соль соли земли».

В романе «Что делать?» имеются три основные темы: вопрос о положении женщины (в частности вопрос о свободе чувства), устройство производительных ассоциаций (в данном случае швейных мастерских) и подготовка революции путем пропаганды и, видимо, тайной организации, на каковую в романе, естественно, встречаются только глухие намеки. Обыкновенно больше всего внимания обращали на первые две темы, особенно на первую, что довольно понятно, если принять в соображение, что она интересовала более широкие круги. Фиктивные браки для освобождения девушек от родительского гнета или с революционными целями одно время даже сделались довольно частыми. Подражание вызвали также швейные мастерские и аналогичные предприятия. Но все же для Чернышевского центр тяжести заключался не в этом, а в третьей теме о подготовке революции: именно к этому подгоняется весь ход действия в романе, который заканчивается победой восстания. Таинственный вождь революции, которого ожидает дама в черном и окружающая ее молодежь (повидимому, Рахметов), возвращается не то из Сибири, не то, вернее, из-за границы и становится во главе движения, которое должно вспыхнуть в 1865 г. [2]. Именно эта тема является центральной в романе, равно как центральной является и фигура Рахмето-

[1] Очень возможно, что это — цифра выдуманная. Но если она имеет за собою какие-либо фактические основания, то, насколько мы знаем окружение Чернышевского, этими шестью революционерами могли быть Добролюбов, В. Обручев, М. Михайлов, Бахметев и С. Сераковский. Шестым можно считать или самого Чернышевского, или, если предположить, что по присущей ему скромности он себя из этого числа исключал, то Н. А. Серно-Соловьевича, одного из основателей общества «Земля и Воля», или его брата Александра. На каких женщин-Рахметовых он намекает, мы не знаем.

[2] По этому поводу произошел даже следующий курьез. Так как окончание романа помечено датой 4 апреля 1863 года, а покушение Каракозова на Александра II состоялось как раз 4 апреля 1866 года, то руководивший следствием по делу каракозовцев Муравьев-Вешатель решил, что Чернышевский заранее знал о подготовлявшемся террористическом акте. А так как вдобавок каракозовцы мечтали об освобождении Чернышевского, то Муравьев хотел установить связь между ними и опальным писателем и требо-

ва, несмотря на то, что именно о ней автор по цензурным условиям принужден говорить мало и притом туманными намеками. И как раз эта сторона сделала произведение Чернышевского наиболее любимой из всех его работ для молодежи. И чуть ли не вплоть до начала XX в. на всех студенческих вечеринках распевалась известная песня с куплетом:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал.
За героев его,
За его идеал!

Семидесятник Н. А. Чарушин [1], говоря о революционизирующем и облагораживающем действии романа, также отмечает центральное значение фигуры Рахметова. «В поисках художественного изображения типов новых людей, указующих пути жизни, едва ли не самое сильное влияние имел на нас мало художественный роман «Что делать?» Чернышевского. Новые люди этого романа с их новыми и человечными взаимоотношениями, в особенности в такой интимной и щекотливой области, как брачная, не могли не увлекать нас. Устраивая совсем по хорошему свою личную жизнь, они — что особенно было ценно для нас — в то же время радостно уходили и в общественную жизнь, останавливая там свое внимание на обездоленном люде, которому они несли свет и знание и новые основы трудовой жизни. Но все эти несомненно хорошие люди, заслуживающие подражания, в наших глазах совершенно стушевывались перед таинственным и едва обрисованным Рахметовым, которого Чернышевский показывал нам как бы из-под полы, не дерзая открыть его во всей его целокупности. Этим своим образом, таинственным и смутным, заставлявшим усиленно работать наше воображение, Чернышевский, уже из'ятый из обращения и обреченный на полное молчание, из своего сурового заточения как бы говорил нам: «вот подлинный человек, который особенно нужен теперь России, берите с него пример и, кто может и в силах, следуйте по его пути, ибо это есть единственный для вас путь, который может привести нас к желаемой цели». И образ Рахметова врезался в нашу память, он властно стал перед нашими глазами и тогда, когда мы и сами страстно искали лучших и верных путей жизни, помогая нам, поощряя нас на решительный шаг» [2].

вал доставки Чернышевского из Сибири в Петербург. Однако, как говорят, Александр II на это не согласился. Сгоряча ретивые следователи не заметили, что Чернышевский предсказал революцию на весну 1865, а не 1866 года.

[1] Н. А. Чарушин — «О далеком прошлом». Москва, 1926, стр. 31—32.

[2] Головин, хотя и реакционер, но человек неглупый, правильно замечает по этому поводу: «Заурядная молодежь прельстилась заманчивой кар-

О колоссальном успехе романа и о глубине произведенного им впечатления единодушно говорят все современники. Каракозовец П. Николаев пишет:

«Головачова в своих воспоминаниях говорит, что роман Чернышевского «Что делать?» имел громадный успех. Так это и было; мы, жившие в то время, помним этот успех, но надо сознаться, что до значительной степени это был succés du scandale» [1].

Но это неверно. Об успехе скандала можно говорить здесь лишь в том смысле, что в романе затронута запретная и скользкая тема об отношении полов, но затронута не в обычном духе сентиментализма или клубнички дворянской литературы, колебавшейся между этими двумя аспектами «половой проблемы», а с точки зрения нового здорового класса, ценящего радости жизни, но признающего равенство и свободу обоих полов. Вообще же половой момент, по крайней мере, в глазах революционной молодежи не играл существенной роли в ее восторженном отношении к роману. Она слышала звучавшую с его страниц проповедь новой морали, согласно которой для честных людей не может быть личного счастья без общего счастья, без освобождения угнетенных, без уничтожения эксплоатации человека человеком. И вот почему роман на долгие годы сделался евангелием для молодежи, вот почему мы не найдем почти ни одного революционера 60-х, 70-х, 80-х и даже 90-х годов, который не был бы знаком с этим замечательным произведением и на которого оно не оказало бы глубокого, очищающего и обновляющего влияния.

«Для русской молодежи, — говорит Кропоткин, — повесть была своего рода откровением и превратилась в программу... Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо

тиной свободной и легкой жизни, где все устраивается как по писаному, и незачем бороться с естественными наклонностями природы, лишь бы следовать во всем указаниям здравого рассудка. Молодые люди толпою пошли за Лопуховым и Кирсановым, молодые девушки заразились примером Веры Павловны. Более восторженно настроенное меньшинство, наоборот, не удовлетворяясь этим дешевым соблазном, нашло себе идеал в другом герое Чернышевского, в Рахметове, правда, мало участвующем в ходе рассказа, но зато нарисованном такими яркими штрихами, что в молодом поколении он оставил едва ли не более глубокий след, чем главные действующие лица романа. И мало-по-малу, когда движение перешло от слов к делу, Рахметов стал находить себе все большее число подражателей, и его суровый аскетизм затмил собою приманку эпикурейского счастья, представителями которого были Кирсанов и Лопухов» (К. Ф. Головин-Орловский — «Русский роман и русское общество», изд. 3-е, стр. 202).

[1] «Личные воспоминания», стр. 36.

другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского: она сделалась своего рода знаменем для русской молодежи» [1].

Что на молодежь действовала вовсе не смело трактуемая в романе половая тема («скандальной» стороной его она ничуть не интересовалась), что она искала в нем политических указаний и восторгалась его социальной стороной, видно из слов другого современника: «Мы искали в романе программы своей деятельности. Мы читали роман чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на уста, с каким читают богослужебные книги. Влияние романа было колоссально на наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм сделался таким образом обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилища и пр.» [2].

И дышащий злобой к Чернышевскому реакционер П. Цитович в своей знаменитой брошюре «Что делали в романе „Что делать?"» принужден со скрежетом зубовным признать, что в смысле популярности среди молодежи ни один из классиков русской литературы не мог сравняться с романом Чернышевского [3]. «За 16 лет пребывания в универ-

---

[1] П. Кропоткин — «Идеалы и действительность в русской литературе». Спб., 1907, стр. 307.

[2] Н. Л. Бродский — «Н. Г. Чернышевский и читатели 60-х годов». «Вестник Воспитания» 1914, № 9, стр. 177—178. См. Скафтымов, цит. ст., стр. 134 и сл.

[3] Влияние Чернышевского на молодежь особенно раздражало и пугало охранителей. В этом отношении характерна эпиграмма известного поэта-реакционера Щербины на Чернышевского:

Значенье недорослям придал
И детским мыслям торжество,
Он — офицеров всяких идол
И гимназистов божество.
Всей глубиною отрицаний
Он даже «Искру» превзошел
И желчью доблестной писаний
Доход и славу приобрел.
Излишне с эпиграммой дерзкой
Итти гиганту на задор,
Ведь что кумир он офицерский, —
Ему последний приговор.

См. Лемке — «Эпоха цензурных реформ», стр. 461.

ситете, — пишет он, — мне не удавалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии; а гимназистка 5—6 класса считалась бы дурой, еслиб не ознакомилась с похождениями Веры Павловны». Но дело заключалось, разумеется, не в «похождениях» Веры Павловны, как ехидно намекает черносотенный развратник (да и никаких «похождений» Веры Павловны в романе нет, кроме вторичного выхода замуж по любви), а в общем революционном духе романа, в намеках на предстоящий политический переворот в России и в светлых картинах будущей жизни человечества при коммунистическом строе в известных снах Веры Павловны, наконец, в горячих призывах к честному труду.

Даже среди некоторых консервативных кругов роман в первое время встретил не совсем враждебный прием [1]. Так, в № 142 «Северной Пчелы» за подписью «Николай Горохов» напечатана была статья Н. Лескова «Н. Г. Чернышевский в его романе: „Что делать?"» В этой статье между прочим говорилось: «Героев романа г. Чернышевского называют нигилистами. Однако, между ними и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего. Люди г. Чернышевского — совсем другие, а это — фразеры; в людях г. Чернышевского прежде всего — стремление дать благосостояние возможно большему числу людей; в нигилистах наших — общность интересов только на языке, а на деле жестокосердие. Г. Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрых людей, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало» [2].

А пресловутый «борец с нигилизмом» Н. Страхов, писавший под псевдонимом Косица, поместил в № 7—8 «Библиотеки для чтения» за 1865 г. статью: «Счастливые люди. Один из наших типов», где он

---

[1] Но не у Н. Костомарова, который и здесь не упустил случая отличиться. Сообщив об аресте Чернышевского и о том, что в крепости его содержали сначала очень «льготно» (до того льготно, что он пытался там уморить себя голодом!), Костомаров рассказывает басню о том, что к Чернышевскому начали относиться строже после напечатания романа «Что делать?». «Эта повесть, — говорит Костомаров, — как художественное произведение была ниже критики, но по тем идеям, которые в ней проводились, пришлась до нельзя по сердцу молодому либеральному (?) поколению. Ее так хвалили, что даже нельзя было говорить с поклонниками ее автора. Но правительство увидело в ней новый несомненный довод зловредности направления Чернышевского» («Автобиография Н. И. Костомарова», стр. 333—334).

[2] См. Р. Сементковский — «Русское общество и литература», стр. 352—353.

по поводу произведения Чернышевского писал: «Роман «Что делать?» по моему мнению останется в литературе. Ибо он вовсе не производит смешного впечатления. Как бы кто ни был расположен смеяться, он потеряет свое расположение к смеху, перечитывая эти тридцать печатных листов. Роман написан с таким воодушевлением, что к нему невозможно отнестись хладнокровно и об'ективно, как это требуется для благодушного и искреннего смеха... Положительно, у нас не было в последние годы ни одного произведения, в котором было бы слышно такое напряжение вдохновения... Источником этого воодушевления, главною его причиною был известный взгляд на мир, известное учение. Этот роман представляет наилучшее выражение того направления, в котором он писан; он выражает это направление гораздо полнее, яснее, отчетливее, чем все бесчисленные стихотворения, политико-экономические, философские, критические и всякие другие статьи, писанные в том же духе» [1].

Либерализм разных оттенков, начиная от левого и кончая крайним правым, сливавшимся с реакцией, принял роман Чернышевского в штыки. Герцен, моральная связь которого с революционной молодежью к тому времени сильно ослабела, умудрился и здесь взять неверную ноту. Выше мы видели, как отрицательно отнесся он к роману Чернышевского, заговорив по его поводу об урильнике, лакейской и пр. Столь же враждебно отнесся к роману и другой либерал, И. Тургенев. 7 апреля 1863 г. он писал В. Боткину из Парижа: «А, кстати, каков романчик Чернышевского в «Современнике»! Вот прелесть-то!». А в письме от 1 октября 1863 г. Тургенев зло прохаживается насчет «вздора» и «дичи» Чернышевского [2]. Уже в те времена либералы и реакционеры чувствовали одинаково.

Быть может, вдохновенный этими посланиями Тургенева, а возможно и по собственному почину, В. Боткин, давно уже ничего не писавший, решил схватиться за перо, чтобы срубить голову гидре анархии. «Зашли мы с Боткиным как-то к Каткову, — рассказывает Фет [3], — и, конечно, разговор закипел по поводу польского восстания и вообще того разлагающего элемента, который наши враги так обильно вливали в нашу жизнь, чему блистательным образчиком мог служить произведший такое впечатление роман Чернышевского «Что делать?» Мы с Катковым не могли притти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более — цинической ли нелепости всего

[1] Перепечатано в книге Н. Страхов — «Из истории литературного нигилизма». Спб. 1890, стр. 313—315.

[2] А. Фет — «Мои воспоминания», Москва, 1890, стр. 417 и 438.

[3] Ibid., стр. 429—430, и часть II, стр. 82—87.

романа или явному сообщничеству существующей цензуры с проповедью двоеженства, фальшивых паспортов, преднамеренной проповедью атеизма и анархии со стороны духовного законоучителя, которому такая пропаганда в казенных заведениях тем сподручнее, что он — профессор и щит [1]. Катков просил меня написать рецензию на «Что делать?», а Боткин... обещал свое сотрудничество в этом деле». И действительно, Боткин помогал Фету писать для Каткова эту статью, иллюстрируя ее своими парижскими воспоминаниями 1848 г. Но Каткову статья Фета не понравилась, и, несмотря на все хлопоты Боткина, он ее не поместил. В 1866 г. она была передана Дудышкину, редактору «Библиотеки для Чтения», но и тот статью возвратил, находя ее несвоевременной, ввиду того, что тенденция романа давно уже «разоблачена».

Крупный промах совершил в то время М. Салтыков-Щедрин, который вел тогда общественную хронику в «Современнике» под заглавием «Наша общественная жизнь». Как известно, группа «Современника» отнеслась отрицательно к роману Тургенева «Отцы и дети», усматривая в нем пасквиль на молодое поколение (достаточно вспомнить статью М. Антоновича «Асмодей нашего времени»). Но иначе взглянула на роман Тургенева группа молодых радикалов неопределенного политического направления, группировавшаяся вокруг журнала «Русское Слово» (Н. Соколов, В. Зайцев, Д. Писарев и др.). Особенную горячность проявил в этом вопросе юный Писарев, который признал Базарова образцом всех добродетелей и точным представителем молодого поколения. На этой почве между «Современником» и «Русским Словом» вспыхнула полемика, в которую вмешался и Салтыков. Собственно говоря, Салтыков всегда был совершенно чужд всякой революции и социализму. Буржуазный либерал или демократ, а прежде всего сатирик, он для красного словца готов был не пожалеть и близких ему течений. Так и на сей раз, задумав пробрать юных прозелитов измышленного Тургеневым «нигилизма», Салтыков по дороге довольно грубо и глупо зацепил и Чернышевского [2].

---

[1] Речь идет о выведенном в романе либеральном священнике Мерцалове, которому Чернышевский, вероятно, придал некоторые черты своего отца.

[2] Верный своему обыкновению не замечать и сглаживать все острые углы, А. Пыпин в статье «Журнальная деятельность М. Е. Салтыкова» («Вестник Европы», 1889, ноябрь, стр. 222—227) излагает этот инцидент в затушеванной форме, обходя молчанием идиотскую выходку Салтыкова против «Что делать?». Но зато ее в свое время подметил и раскричал Страхов, обрадовавшись драке в радикальном лагере (см. его «Из истории литератур-

В январской книжке «Современника» за 1864 г. Салтыков в свойственной ему резкой манере обрушился на сотрудников «Русского слова» (не называя, впрочем, имен), победоносно размахивавших «нигилистическим» знаменем Базарова и по мнению Щедрина компрометировавших молодое поколение. «Всего более, — писал он, — содействуют заблуждению публики некоторые вислоухие и юродствующие, которые с ухарскою развязностью прикомандировывают себя к делу, делаемому молодым поколением, и, схватив одни наружные признаки этого дела, совершенно искренно исповедуют, что в них-то вся и сила. Эти люди считают себя какими-то сугубыми представителями молодого поколения, забывая, что дрянь есть явление общее всем векам и странам, и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколению».

Но в той же хронике сказано было следующее:

«Когда я вспомню, например, что «со-временем» дети будут рождать отцов, а яйца будут учить курицу, что «со-временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со-временем» милые нигилисты будут бесстрастной рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и напевать: «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со-временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста».

В этом присущем иногда Щедрину беспредметном зубоскальстве справедливо усмотрена была бестактная выходка против романа Чернышевского, дожидавшегося тогда в крепости каторжного приговора, и в частности против описанных в романе снов Веры Павловны, — выходка, особенно странная в журнале, напечатавшем «Что делать?» и до известной степени созданном автором глупо вышученного произведения. Разумеется, «Русское Слово» не упустило столь благоприятного случая и, отметив все неприличие этой выходки и вскрыв ее действительный смысл, резко напало на Щедрина. Пойманный с поличным, Щедрин в мартовской книжке «Современника» попытался увернуться. На упрек противников, что он всегда был чужд революции, что «он всегда был такой», а теперь только обнаружил свою истинную суть, Щедрин отвечает: «Да, я всегда был такой. Вислоухие никогда не прельщали меня» и пр. По поводу же обвинения в вышучивании

ного нигилизма», стр. 316 и сл.). По поводу полемики между обоими радикальными журналами см. статью Б. П. Козьмина «Раскол в нигилистах» в № 2 «Литературы и марксизма» за 1928 год.

Чернышевского он говорил: «В прошлом году вышел роман «Что делать?», — роман серьезный, проводивший мысль о необходимости новых жизненных основ и даже указывавший на эти основы. Автор этого романа без сомнения обладал своею мыслью вполне, но именно потому-то, что он страстно относился к ней, что он представлял ее себе живою и воплощенною, он и не мог избежать некоторой произвольной регламентации подробностей, и именно тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных. Для всякого разумного человека это — факт совершенно ясный, и всякий разумный человек, читая упомянутый выше роман, сумеет отличить живую и разумную его идею от сочиненных и только портящих дело подробностей. Но вислоухие понимают дело иначе; они обходят (?) существенное содержание романа и приударяют насчет подробностей, а из этих подробностей всего более соблазняет их перспектива работать с пением и плясками. Точно так же, например, в сочинениях Фурье их увлекла бы не теория страстей, положенная в основание его универсальной ассоциации, не плодотворная концепция гармонического воспитания и пр., а какие-нибудь anti-lions и anti-requins и какие-нибудь когорты мальчиков, с самоотвержением предающихся очищению отхожих мест и т. п.... И когда такие их (?) пошлые проделки останавливают чье-нибудь насмешливое внимание, то они на того человека указывают пальцами и восклицают: «Эге! да вы, кажется, уже над Чернышевским глумитесь!». И, таким образом, сваливая с больной головы на здоровую, думают прикрыть свое неистовое нравственное убожество».

Попытка самооправдания опростоволосившегося сатирика была до жалости слаба. Как к ней отнеслись члены редакции «Современника», прозевавшие эту недостойную выходку не в меру смешливого человека, неизвестно, но с тех пор Щедрин в журнале Чернышевского общественной хроники уже не вел...

Правительство, спохватившись, открыло гонение на роман Чернышевского[1]. Но молодежь умела находить его. Несмотря на то, что

[1] Казенная оценка романа дана в изданном министерством внутренних дел в 1865 году «Собрании материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие». В той части этого издания, которая была посвящена разбору прозы за 1854—1864 годы и написана гр. П. И. Капнистом, о романе Чернышевского сказано: «Пока представители нашего журнального нигилизма недоумевали и спорили по поводу повести г. Тургенева («Отцы и дети». — *Ю. С.*), пока они излагали в разных руководящих статьях «Современника» и «Русского Слова» свои основания в виде о т р и ц а н и я, — глава и первый авторитет этого направления г. Чернышевский в романе «Что делать?» попытался выразить коммунистические и

роман не перепечатывался, поклонники его в течение десятилетий умудрялись доставать редкие экземпляры из старых книжек «Современника» или заграничного издания. Доходили до того, что переписывали его целиком от руки. Но читали его все, и во всех он возбуждал самые благородные чувства и будил решимость к борьбе. Направленные против него реакционные брошюры, вроде упомянутой выше пасквильной книжонки проф. Цитовича, только усиливали интерес к запретному плоду [1]. Лучшей тактикой для реакции было бы молчание, но и оно не помогало: Чернышевского знали и помнили все, как ни старалось царское правительство изгладить из общественной памяти воспоминание о великом мученике русского коммунизма.

Но, несмотря на злобу и брань врагов, роман сыграл свою роль, быть может, даже в большей степени, чем предвидел его автор. Среди серии политических и социальных романов, которыми зачитывалась молодежь в 60-х, 70-х, 80-х и 90-х годах прошлого века, как переводных (Шпильгагена «Один в поле не воин», Швейцера «Эмма», Золя

социалистические идеалы свои положительно». Изложив по-своему содержание романа, казенный критик продолжает: «Несмотря на все «белые нитки», этот роман имел большой успех между поверхностно-образованною нашею молодежью обоего пола, которой у нас огромное большинство, а это значит — у большинства читающей публики. Несмотря также на всю бедность своего практического идеала и на отсутствие всяких художественных достоинств, роман г. Чернышевского имел большое влияние даже на внешнюю жизнь некоторых недалеких и нетвердых в понятии о нравственности людей, как в столицах, так и в провинциях» (цит. по М. Лемке — «Эпоха цензурных реформ», Спб., 1903, стр. 487). См. также заметку Н. А. Бухбиндера «Цензура о «Что делать?» Н. Г. Чернышевского» в № 7/44 «Каторги и Ссылки» за 1928 год (здесь напечатан отзыв цензора О. А. Пржецлавского о романе).

[1] Брошюра Цитовича побудила литературного жандарма М. Каткова разразиться передовой статьей в № 153 «Московских Ведомостей» за 1879 год. В духе Цитовича составлены также замечания о романе в «Истории социальных систем» Д. Щеглова, бывшего товарища Добролюбова по институту и личного знакомого Чернышевского, в молодости радикала, а затем жалкого реакционера (т. II, Спб., 1889, стр. 213—214 и 655 и сл.).

«Из всех этого рода романов (построенных на теории Фурье.—*Ю. С.*),— говорит Щеглов, — наиболее влияния имел роман «Что делать?». Изложив по своему сны Веры Павловны, с устремлением преимущественного внимания на «половой вопрос», Щеглов заключает: «Вот что выйдет в конце концов из деятельности Лопуховых, Рахметовых, Мерцаловых и пр. Вот последний идеал общественной жизни, который автор показал своим читателям, оставляя журнальное поприще». И дальше он пишет: «Г. Чернышевский не удовольствовался тем, чтобы изложить «свою» социальную теорию догматическим образом, а еще представил ее в образах в романе или, лучше сказать, в дидактической поэме «Что делать?». В ней представлена в посте-

«Жерминаль», Джованноли «Спартак», Францоза «Борьба за право», а позже Беллами «Через сто лет»), так и оригинальных (Омулевского «Светлов», Слепцова «Трудное время», Мордовцева «Знамение времени», Кущевского «Николай Негорев»), ни один и в отдаленной степени не может сравняться с «Что делать?» по глубине и прочности влияния, по силе впечатления и по революционизирующему действию на читателей. Этому, разумеется, способствовало и славное имя автора, который всеми признавался основоположником коммунизма в России, его трагическая судьба, твердость, с которою он переносил выпавшие на его долю испытания, и пример, который он подал своей личной жизнью и деятельностью следовавшим за ним поколениям. Являясь в известном смысле политическим завещанием опального писателя, другие произведения которого естественно не пользовались таким широким распространением, роман «Что делать?» пробудил к сознательной жизни тысячи и тысячи людей, внушил им горячий порыв к общественной работе и поселил в них стремление и готовность отдать все свои силы, а если нужно, то и самую жизнь за освобождение трудящихся и угнетенных, за создание социалистического общества. С этой точки зрения в истории литературы нельзя найти произведения, которое по своему значению могло бы сравняться с «Что делать?» Чернышевского.

пенном развитии мастерская, устроенная г-жею Лопуховой; устроена она была, как сообщает автор, на основании книг, написанных д о б р ы м и и у м н ы м и л ю д ь м и о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо... Мастерская Лопуховой верна системе Л. Блана только со стороны ее промышленной деятельности; а отношения между полами в ней устроены уже в духе Фурье, так что она служит переходом от системы Л. Блана к системе Фурье, в которой автор теперь (!) видит идеал общественного устройства... Где, кроме России, можно было разыграть всю эту пустую и глупую шутку, какая среда, кроме нашей «интеллигенции», допустила бы это? И в какой стране, европейской или даже азиатской, можно найти юношество, которое могло бы увлечься почти поголовно всем этим литературным шарлатанством?»

Следует ссылка на Прудона, который «называл систему Фурье стоком нечистот ума человеческого»!

Глава пятая

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕССИМИЗМА

Революционером Чернышевский был давно. Он, как мы знаем, сделался им еще на школьной скамье. Уже тогда он разглядел хитрую механику самодержавной России и понял коренную причину отсталости и бедствий русского народа. Но вплоть до появления активных революционных сил в начале 60-х годов он с болью ставил себе вопрос: кто же возьмет на себя борьбу с царско-помещичьей властью, кто устранит ее и чем заменит? И глубокая безнадежность овладевала его душой.

На современное ему русское общество Чернышевский смотрел крайне пессимистически; он не видел в нем ни стремления к решительной борьбе, ни сил, способных довести эту борьбу до конца. «Переделать по нашим убеждениям жизнь русского общества! — говорит герой повести «Тихий голос»: — в молодости натурально думать о всяческих химерах. Но в мои лета было бы стыдно сохранить наивность... Я давно стал совершеннолетним, давно увидел, в каком обществе я живу, какой страны, какой нации сын я. Хлопотать над применением моих убеждений к ее жизни значило бы трудиться над внушением волу моих понятий о ярме» [1]. Ему казалось, что он живет в эпоху «безнадежной летаргии общества» (ibid., стр. 70). Другой герой Чернышевского говорит: «Я люблю мой родной народ, но я — чужой ему» («Вечера у княгини Старобельской») [2].

Вы помните замечательную сцену в «Прологе», когда Волгин, приглашенный на банкет к знакомому либералу, воочию убеждается в бессилии и беспомощности дворянства, испуганного приближающейся отменой крепостного права. Он не любил дворянства, но бывали минуты, когда он не имел вражды к нему: можно ли ненавидеть жалких рабов? И теперь на него нашло такое настроение. «Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов, — снизу до верху все сплошь рабы», думал он и хмурил брови. «У русского народа не могло быть борцов, по мнению

---

[1] «Тихий голос». «Соч.», т. X, ч. I, стр. 63.

[2] «Соч.», т. X, ч. 2, стр. 306.

Волгина, оттого, что русский народ не способен поддерживать вступающихся за него; какому же человеку в здравом смысле бывает охота пропадать задаром?» Вопрос о земле и о вознаграждении помещиков по настоящему должен был решиться волею народа. Должен и, разумеется, не будет, — злобно замечает Волгин. При мысли о бессилии русского общества и о ничтожестве его руководителей, о безнадежности положения русского народа Волгин плачет. Впрочем, нельзя понять, плачет ли он о народе или о Левицком (Добролюбове), гибель которого он предчувствует. Про Добролюбова, основной отличительной чертой которого, и как писателя, и как человека, Чернышевский признавал «глубокое чувство гражданского долга», он говорил: «не в России бы ему родиться». Ибо «такова уже судьба русского народа: неживучи его лучшие деятели» [1].

На почве этого пессимистического отношения к русскому народу между скептиком Чернышевским и энтузиастом Добролюбовым происходили горячие столкновения, о которых повествует «Дневник Левицкого». Если верить всему тому, что сообщается в этом беллетристическом произведении, написанном Чернышевским уже на каторге, то выходит, что в конце 50-х годов Николай Гаврилович был — по крайней мере, моментами — настроен весьма скептически. Своей проповедью радикальных и социалистических идей он возбуждал в таких пылких слушателях, как Добролюбов, стремление осуществить эти идеи на практике, а тогда Чернышевский начинал скептически отзываться о возможности практического осуществления этих стремлений ввиду отсталости и бессилия русского народа и русского общества. Левицкий так передает впечатление от бесед с Волгиным (Чернышевским) [2].

Из того, что он говорил, многое казалось слишком мрачно, слишком безнадежно. Его слова возбуждали в слушателе глубокое презрение к настоящему и ко всякой деятельности в настоящем. Искреннему демократу не стоит горячиться потому, что все наши общественные дела — мелочь и вздор. Наше общество не занимается ничем кроме пустяков. Теперь [3], например, оно горячится исключительно из-за отмены крепостного права. Что такое крепостное право? Мелочь. В Америке невольничество — не мелочь: разница между правами и

---

[1] Публичное чтение о Добролюбове, 2 янв. 1862 г. «Соч.», т. IX, стр. 43.

[2] «Дневник Левицкого» (вторая, неоконченная часть «Пролога»). «Соч.», т. X, ч. 1, стр. 210 и сл. — Не забудем, что это написано самим Чернышевским, который любил подтрунивать над собою и зачастую приписывать себе несуществующие недостатки.

[3] Т. е. в конце 50-х годов.

благосостоянием черного работника в южных штатах и белого работника в северных неизмеримо велика; сравнять невольника с северным работником великая польза. У нас не то. Многим ли лучше крепостных живут вольные мужики? Многим ли выше их общественное значение? Разница настолько микроскопическая, что не стоит и говорить об ней. Отмена крепостного права — мелочь, раз земля останется во владении дворянства. От реформы одна сотая доля крестьян выиграет, остальная может только проиграть. В сущности все это — мелочь и вздор. Все вздор перед общим характером национального устройства. Допустим, что эта частичная реформа будет осуществлена. Что дальше на очереди? Суд присяжных? «Тоже важная вещь, когда находится не под влиянием такого общего национального устройства, при котором никакие судебные формы не могут действовать много хуже суда присяжных». Две мелочи — вот вся программа хлопот и восторгов русского общества на довольно долгое время, если не случится ничего особенного; а ничего особенного пока еще не предвидится.

А потому нечего соваться, чтобы не погибнуть бесплодно. Придет серьезное время. Когда? Неизвестно, но вряд ли скоро. Как придет? Как пришла маленькая передряга Крымской войны: без наших забот и хлопот; никакими хлопотами не оттянешь и не ускоришь вскрытие Невы. Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? Не все ли равно? Наиболее вероятен следующий: разочарование общества и от разочарования новое либеральничанье в новом вкусе, попрежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мыслей; для умного радикала такое же отвратительное, как и для умного консерватора, пустое, сплетническое, трусливое, подлое и глупое, и будет развиваться, развиваться, все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе, вероятнее всего во Франции, не подымется буря, и не пойдет по остальной Европе, как было в 1848 году. В 1830 году буря прошумела только по западной Германии, в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз она захватит Петербург и Москву.

Верно ли это? Верного тут ничего нет, только вероятно. Отрадна ли такая вероятность? Хорошего тут нет ровно ничего. «Чем ровнее и спокойнее ход улучшений, тем лучше; действие толчками и скачками менее экономно» [1]. Но так или иначе придет серьезное время. Почему это несомненно? Потому, что связи наши с Европою становятся все теснее, а мы слишком отстали от нее. Так или иначе она подтянет нас

[1] Разумеется, действительные взгляды Чернышевского, излагавшиеся им в своих произведениях, были не таковы. Здесь, в романе, он изображает себя в момент припадка пессимизма.

вперед к себе. Придет серьезное время. Пойдут вопросы о благе народа. Нужно будет кому-нибудь говорить во имя народа. Молодежь должна приберечь себя к этому времени.

Левицкий (Добролюбов) не мог согласиться с этими мрачными выводами Волгина (Чернышевского), хотя во время бесед поддавался могучему влиянию этого огромного и последовательного ума. Он признает Волгина человеком, преданным всей душой народным интересам, но он так же ясно видит его недостатки: он не верит в народ. «По его мнению, народ так же подл и пошл, как общество. Понятно, почему он так думает: ему не хотелось бы террора; он и старается убедить себя, что террор невозможен [1]. Он слишком холодно советует терпеть. Это — явная логическая ошибка... Народу не так легко терпеть, как нам». Левицкий ставит себе вопрос: действительно ли в русском обществе нет серьезных стремлений и даже нельзя внушить их ему? Скептицизм и равнодушие Волгина давали ему перевес над пылким и увлекающимся энтузиастом, верившим в разум и энергию людей. Но в этих спорах у Левицкого была сильная сторона: его активность. Он говорит: «Но в одном я был правее Волгина: никакое положение дел не оправдывает бездействия; всегда можно делать что-нибудь не совершенно бесполезное; всегда надобно делать все, что можно. Об это разбивались все его насмешки над его собственною деятельностью, которая кажется ему пустою, и над моими стремлениями к такой работе, — положим, и действительно мелкой, жалкой».

Приводим из этого глубоко интересного дневника (не забудем, сочиненного Чернышевским) еще один разговор, хотя мы далеко не уверены в том, что он точно передает действительное настроение нашего автора в момент острого разочарования (примерно в 1858 году, когда была написана «Критика философских предубеждений»). Проживая в глухой провинции, Левицкий вспоминает беседы со своим учителем. «В голове Петербург, журналистика, наши либералы и Волгин, с вялою насмешкой говорящий: «Эх, вы! Ну, какое пиво сваришь с этой сволочью?». И возражаешь Волгину: «Где же, когда же общество не было толпою сволочи? А между тем порядочные люди всегда и везде работали». — «Натурально, по глупости; всегда и везде умные люди были глупы, Владимир Алексеевич. Что за радость толочь воду? — продолжал Волгин свои вялые сарказмы: — История движется не тем, не мыслями и работою умных людей, а глупостями ду-

[1] На самом деле Чернышевский высказывался за самую решительную тактику и в частности за красный террор (см. том I, стр. 472 сл.). Принимать буквально все разговоры Волгина за выражение обычных и постоянных взглядов Чернышевского не приходится.

раков и невежд. Умным людям не для чего тут мешаться; глупо мешаться не в свое дело, поверьте!». Отвечаешь ему и на это: «Вопрос не в том, умно ли мешаться, а в том, можешь ли не мешаться. Умно ли моему телу дрожать от холода, умно ли моей груди чувствовать стеснение в удушающем газе? Глупо. Лучше бы для меня, если бы иначе; но такова моя природа: дрожу от холода, негодую на подлость, и если нечем пробить стену душной тюрьмы, буду биться в нее лбом, — пусть она не пошатнется, так хоть он разобьется — все-таки я в выигрыше». Вижу вялую улыбку, вижу покачивание головы: «Эх, Владимир Алексеевич, натурально, в этом смысле вы говорите справедливо, но поверьте, не стоит иметь такие чувства». — «Не в том дело, стоит ли иметь, а в том, что имеешь их» (ibid., стр. 239).

Работать для людей, которые не понимают тех, кто работает для них, это очень неудобно для работающих и невыгодно для успеха работы, — говорил Чернышевский в «Письмах без адреса». Вот трагедия Чернышевского и его современников. При данном в то время соотношении общественных сил ход событий совершался с роковой неуклонностью, направляясь против народных интересов. Те социальные элементы, в руках которых была сила и власть, отстаивали интересы эксплоататоров и угнетателей; у демократов, которым дороги были народные интересы, не было сил, способных направить ход истории по иному руслу. «Одни хотели бы, но не имеют средств; у других есть средства, но не может быть желания» [1]. Народ темен и бессилен, и на беспомощном теле этого великана кучка хищников разыгрывает свою оргию. Немногие смелые безумцы, решающиеся открыто выступить против царящей неправды, бесплодно погибают, не поддерживаемые народной массой.

Впрочем, сочинениями Чернышевского автобиографического характера приходится пользоваться с некоторой осторожностью ввиду присущей нашему автору склонности, с одной стороны, к мистификации, а с другой — к самообличениям. Чернышевский сплошь и рядом не только не спешил раскрывать свои карты перед мало знакомым ему собеседником, но нарочито излагал совершенно несвойственные ему взгляды, чтобы лучше прощупать партнера. Отчасти эта манера вызывалась его крайней осторожностью, которая, увы, в конце-концов не спасла его от предателя. Хорошо знавший его М. Антонович рассказывает, что своим обращением и приемами при сношениях с другими людьми Чернышевский подавал даже повод к неблагоприятным суждениям о своей личности и производил внешнее впечатление, совершенно

[1] «Письма без адреса». «Соч.», т. X, ч. II, стр. 295.

не соответствовавшее действительности. «Обыкновенно, — вспоминает Антонович, — речь его пересыпалась шутками, прибаутками, остротами, анекдотами и все время сопровождалась смехом, даже хохотом. Люди близкие знали эту манеру, привыкли к ней, терпеливо ожидали того момента, когда он серьезно и как бы мимоходом скажет, обыкновенно в немногих словах, то, о чем его спросили или что он хотел сообщить. Но на свежих посторонних людей эта манера производила странное, неприятное впечатление; от Чернышевского они такой манеры не ожидали. В то время еще не было моды на интервьюирования, но к Н. Г. являлись многие именно с целью интервьюировать его, узнать его мысли и чувства по поводу какого-нибудь случая или события — и страшно разочаровывались. Иногда к нему являлись очень серьезные люди и с очень серьезными вопросами или предложениями. Но и в этих случаях он изменял, смягчал и прикрашивал свою манеру ровно настолько, чтобы она не казалась невежливой и обидной. Это был какой-то странный каприз, нежелание переходить сразу на серьезный тон. Известный русский офицер и польский деятель Сераковский просто был возмущен и взбешен приемом Н. Г., когда он явился к нему в первый раз. Конечно, потом, узнавши поближе Н. Г., он стал приятелем его [1].

«Но помимо этого и вообще Н. Г. был человек в высшей степени необщительный, раскрывавший свою душу, свои интимные задушевные мысли и чувства только перед самыми близкими к нему людьми, да и то очень редко. В числе немногих и я имел счастье видеть и слышать Н. Г. в редкие минуты его откровенности, когда являлась во всей полноте и неприкровенно его гармоничная увлекательная натура». Несмотря на то, что первая встреча с Чернышевским произвела на Антоновича неблагоприятное впечатление, он, по его словам, «впоследствии всегда чувствовал, что его влечет и приковывает больше к Н. Г., чем к Добролюбову» [2].

Со слов того же М. Антоновича А. Тверитинов [3] передает следующий анекдот. Чернышевский никогда не был экспансивен, откровенен в разговорах с мало знакомыми ему людьми, а иногда любил своих собеседников помистифицировать. Однажды в редакцию «Современника» зашел Щапов и застал там незнакомого ему человека. Во время завя-

[1] Эта встреча, под видом встречи с Рахметовым, описана самим Чернышевским в «Что делать?» (loc. cit., стр. 189), а в несколько измененном виде в «Прологе» (встреча Волгина с Соколовским).

[2] М. Антонович — «Из воспоминаний о Чернышевском» на вечере 17 октября 1909 года, посвященном его памяти. См. «Труды В. Эк. Общества», 1910, № 1. Приложение, стр. 17—18.

[3] Алексей Тверитинов — «Об об'явлении приговора Н. Г. Чернышевскому», стр. 99

завшегося разговора незнакомец высказал самые реакционные убеждения. Возмущенный Щапов перешел в другую комнату, где нашел известных ему членов редакции. На вопрос: «Что это за реакционер там сидит?» — ему ответили: «Чернышевский». И дело раз'яснилось при всеобщем хохоте.

Возможно, впрочем, что этот рассказ несовсем отвечает действительности. По словам Аристова [1] Чернышевскому сильно хотелось привлечь на свою сторону Щапова, но с тем, чтоб он изменил хотя отчасти свои исторические взгляды; «с этой целью он устроил с ним свидание, вечером, на масленице 1862 года, в квартире одного из литераторов, жившего у Пяти Углов. Целый вечер продолжался горячий спор между ними о коренных воззрениях на русскую историческую жизнь и современное состояние народов; Щапов узнал только при прощании, с кем он вел долгий и дельный спор, — и однако ни на шаг не уступил из своих выработанных убеждений. С той поры участие его в «Современнике» сделалось сомнительным, хотя он приготовлял туда статью летом 1863 года, но самый журнал скоро был запрещен».

По этому поводу Плеханов [2] указывает, что разногласие между Чернышевским и Щаповым заключалось не в отношении к общине, а в различном отношении к государству и его роли в социальном развитии. Чернышевский не просто «придавал огромное значение созданию свободных политических учреждений», как говорит Плеханов, но стоял за захват власти революционной партией для ускорения социального преобразования централизованными силами государства. Щапов же стоял на полуславянофильской, полуанархической точке зрения государственного невмешательства, считая роль государства только вредоносной. По верному замечанию Плеханова, Щапов стоит к Чернышевскому в таком же отношении, как современный демократ к социал-демократу (мы бы сказали теперь не к социал-демократу, а к коммунисту, каким себя и считал Чернышевский). «В то время как русский демократ стремится лишь как можно более ограничить сферу государственного вмешательства, родоначальник русской социальной демократии ставит этому вмешательству ясные цели, определяемые экономическими задачами рабочего класса» [3].

---

[1] Н. А. Аристов — «А. П. Щапов», Спб., 1883, стр. 91—92.

[2] Г. Плеханов — «А. П. Щапов» в «Соч.», т. II, стр. 17 и сл.

[3] Заметим кстати, что Плеханов, признающий здесь Чернышевского родоначальником русской социал-демократии (точнее, коммунизма), впоследствии изменил свой правильный взгляд на него (статья о Щапове относится к 1883 году; позже Плеханов, увлеченный своей яростной борьбой с народниками, заставил Чернышевского отвечать за чужие грехи).

М. Н. Покровский в статье «А. П. Щапов» («Историк-марксист», том III, 1927 г., стр. 9 сл.) называет Щапова «типичным крестьянским историком». Присоединяясь в общем к оценке Плеханова, Покровский указывает, что в этом споре «Чернышевский был уже зародышем социал-демократии, т. е. представителем городского рабочего движения, Щапов и тут остается настоящим мужичком, — он стоял на своей мужицкой позиции... Столкнувшись с социал-демократом-горожанином, Щапов не сдал своих позиций... Он, как пришел мужичком к Чернышевскому, так и ушел».

Таким образом разговор у Чернышевского с Щаповым был серьезный. Но это ничуть не исключает возможности мистификаторских приемов со стороны Чернышевского. Об этой черте его говорит и он сам, говорят и многие хорошо знавшие его люди. Мы не сомневаемся, что помимо всего прочего эта манера Чернышевского, которая естественно способна была производить на подвергающихся ей людей неприятное впечатление, об'яснялась полицейскими опасениями. Чернышевский знал, что за каждым шагом его следят, что ждут только случая расправиться с ним, и в сношениях с незнакомыми людьми пускал иногда в ход суворовские приемы.

Что же касается склонности к самобичеванию, то о ней мы уже достаточно знаем из писаний Чернышевского, в частности из его юношеского дневника. Об этой же черте его свидетельствуют и близкие к нему люди. Таким образом это самобичевание не является каким-либо литературным приемом или шуткой. Видимо, Чернышевский глубоко страдал от сознания несоответствия своих личных сил и задатков грандиозности той задачи, которую история перед ним поставила. Не в том смысле, чтобы Чернышевский дорожил условиями благополучного обывательского существования и хотя бы на одну минуту страшился ждавшей его участи (а на этот счет он, как мы знаем, уже не сомневался с молодых лет, зная, что он — человек обреченный). Но он боялся, что его сил не хватит для выполнения великого дела, служить которому он собирался. При глубине его революционных воззрений требовались, как он чувствовал, гигантские силы народного трибуна и боевого вождя, а он, повидимому, не находил в себе этих свойств, и сознание этого несоответствия причиняло ему глубокие страдания. Вот откуда, по нашему мнению, проистекала эта склонность к насмешкам над самим собою, к приписыванию себе несуществующих недостатков и т. д.

Послушать Чернышевского, так он был преисполнен всяческой скверны: он и слаб, и бесхарактерен, и труслив, и рассеян, и несообразителен и пр. На самом деле эта мрачная картина далеко не соответствовала действительности. Чернышевский был в высшей степени умен, про-

ницателен, решителен и отважен. Но что ему вместе с тем присущи были и иные черты, что он колебался, не верил иногда в собственные силы, а особенно в силы и решимость других, что он считал себя по преимуществу теоретиком, а не практиком революции, что временами он от уверенности в своих силах переходил к полному сомнению в них, это, кажется, не подлежит спору, и это служило для него источником тяжелых душевных переживаний.

Об этой оригинальной черте Чернышевского рассказывает имевший возможность наблюдать его М. Антонович. «После короткого разговора или об обыкновенных житейских, или о журнальных делах он — человек якобы необычайного самомнения — раздражался самообличениями: что у него бездна недостатков, нет твердости в характере, что он очень податлив, что ему недостает мужества, что он делает много глупостей... Эти самообличения обыкновенно пересыпались панегириками Добролюбову, у которого-де нет этих недостатков, он всегда тверд и непоколебим как скала, что у него завидные и обширные познания и т. д. Однажды я попробовал было возразить ему и сказал, что ему нет оснований завидовать обширности познаний Добролюбова, потому что у него самого еще больше этого добра и притом из разных областей, тогда как Добролюбов силен только в одной области. Он просто вскипел и горячо, почти с криком заговорил: «Что вы? Что вы это говорите? Ведь Добролюбов только что со школьной скамейки, а дайте ему дожить до моих лет, так вы увидите, что из него будет. Еще на школьной скамейке он уже окончательно сформировался и установился, а я... а я...». И опять полились самообличения. Здесь мимоходом замечу, что я ни одного раза не слышал от Добролюбова ни одного слова, ни единого звука для выражения его суждений как о личности Н. Г., так и об его статьях, точно это — такой сюжет, что говорить о нем значит профанировать его» (ibid., стр. 19).

И это неудивительно: Добролюбов, ближе всех стоявший к Чернышевскому по воззрениям и пользовавшийся его наибольшим доверием, знал, что такое представляет собою Чернышевский, и благоговел перед ним [1]. Кроме того не подлежит сомнению, что беседы Чернышевского

[1] Уже незадолго до своей смерти Добролюбов в письме из Мессины от 12/24 июня 1861 года писал Чернышевскому: «Вы для меня слишком чисты, слишком безукоризненны как-то» («Переписка Чернышевского», стр. 108). Головачова-Панаева в своих цитированных нами воспоминаниях, которым в данном случае вряд ли можно отказать в точности, много рассказывает о взаимных отношениях обоих друзей. Особенно поражали ее равенство и простота, царившие в их отношениях, их серьезность и глубокие общественные интересы, стоявшие в резком контрасте с пустотой и на-

с Добролюбовым сводились не к одному расхолаживанию более старым и опытным товарищем пылкого юного энтузиаста, если только такое расхолаживание вообще имело место. По крайней мере, сам Добролюбов с восторгом отзывался о своих беседах с Чернышевским в письмах к своему товарищу по институту Турчанинову, через которого он и познакомился с Николаем Гавриловичем.

Так, в письме от 1 августа 1856 года Добролюбов пишет приятелю: «С Ник. Гавр. я сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов бы был исписать несколько листов похвалами ему, если бы не знал, что ты столько же, как и я (более нельзя), уважаешь его достоинства, зная их, конечно, еще лучше моего. Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему кроме него не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек может помирить с человечеством людей, самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях, и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но не предполагал найти» (Бумаги Литературного фонда; цит. у Лемке в «Первом полном собрании сочинений Н. А. Добролюбова», Спб. 1911, том I, стр. LXX). И далее: «Я до сих пор не могу различить время, когда сижу у него. Два раза должен был ночевать у него: до того досиделся. Один раз, зашедши к нему в одиннадцать часов утра, досидел до обеда; обедал и потом опять сидел до 7 часов и ушел только потому, что он сказал, что к нему придут сейчас Пекарский и Шишкины, с которыми можно толковать разве о скандальных анекдотах. С Николаем Гавриловичем толкуем не только о литературе, но и о философии, и я вспоминаю при этом, как

тянутостью, замечавшимися в поведении более старых сотрудников «Современника», вроде Тургенева и пр. «Их (Чернышевского и Добролюбова) отношения, — пишет она, — удивляли меня тем, что не были ни в чем решительно схожи с взаимными отношениями других окружавших меня лиц. Ч. был гораздо старше Добролюбова, но держал себя с ним как товарищ... Мне было странно видеть, что когда соберутся вместе Ч[ернышевский], Добролюбов, Антонович и Пыпин, то они никого не бранят, и никто из них не интересуется литературными дрязгами и сплетнями... Чернышевский и Добролюбов никогда не говорили друг другу, подобно многим литераторам, о своей взаимной привязанности, но нельзя было не видеть, насколько они искренно любят и уважают друг друга. Они никогда не расточали в глаза похвал статьям один другого, но откровенно высказывали о них свое мнение». Во время своей болезни Добролюбов просил Головачову-Панаеву не пускать к нему никого кроме Чернышевского. Последний аккуратно каждый вечер приходил посидеть с Добролюбовым («Русские писатели и артисты», стр. 296, 312—313, 341).

Станкевич и Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п. Для меня, конечно, сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут сравнивать себя с кем-нибудь, но в моем смысле вся честь сравнения относится к Н. Г. Я бы тебе передал, конечно, все, что мы говорили, но ты сам знаешь, что в письме это не так удобно» [1].

Последние слова Добролюбова показывают, что разговоры шли между ними о судьбах русской революции. Весьма возможно, что, зная пылкий темперамент Добролюбова [2], его более пожилой товарищ (он был старше его на 8 лет) несколько сдерживал его, чтобы уберечь от ранней и непроизводительной гибели. Мы знаем, как высоко Чернышевский ценил своего молодого друга, которого он и по уму, и по характеру, и по кристальной честности считал единственно достойным возглавить предстоявшее по его мнению революционное восстание.

---

[1] «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», М. 1890, стр. 318—319. — Сам Чернышевский в некрологе Добролюбова («Соч.», т. VII, стр. 361) указывает, что познакомился с Добролюбовым летом 1856 года. В письме к А. Н. Пыпину, относящемся к осени 1886 года, Чернышевский подтверждает, что знакомство состоялось через Турчанинова, который сначала принес Чернышевскому статью Добролюбова о «Собеседнике любителей русского слова», а затем по просьбе Чернышевского, заинтересовавшегося написанной в духе «Современника» статьей, прислал к нему и ее автора. «Просидели мы с ним вдвоем, — пишет Чернышевский, — по крайней мере, до часу; мне кажется, часов до двух; и толковали мы с ним о его понятиях». Убедившись в том, что взгляды Добролюбова отвечают принципам «Современника», Чернышевский предложил ему сделаться постоянным сотрудником журнала. Но узнав, что перед тем у Добролюбова найдены были заграничные издания Герцена. Чернышевский убедил его прежде кончить курс в Институте, а затем уже начать постоянное сотрудничество в «Современнике» во избежание неприятностей для молодого писателя. Впрочем, это решение не было вполне выдержано. Статья Добролюбова об «Описании Главного Педагогического Института» была напечатана в «Современнике» без подписи и приписана Чернышевскому (Е. Л я ц к и й — «Чернышевский в редакции С о в р е м е н н и к а». «Совр. Мир» 1911, № 11, стр. 185—188).— Описание встречи с Добролюбовым и разговоров с ним Чернышевский дал в «Прологе» (цит. м., стр. 36—37 и 210—211). Чернышевский считал Добролюбова «единственным человеком, который правильно судит о положении нашего общества», а Добролюбов смотрел на Чернышевского как на своего учителя.

[2] «Особенно высоко ценил Ч. в Д. удивительную силу убеждения и страстную, непоколебимую решимость действовать всегда и везде согласно с этими убеждениями, не стесняясь ничем и невзирая ни на что. «Вот, — говаривал он, — настоящий человек дела, жаждущий дела. У него — полная гармония между мыслью, словом и делом... И как он во всем строг, непоколебим и непреклонен! Никогда он не пойдет на малейший компромисс:

Несомненно, что именно такой смысл имели приведенные выше их беседы, переданные Чернышевским в духе самобичевания. С своей стороны Добролюбов полагал (и в этом он был, разумеется, прав), что только Чернышевский мог и должен был стать во главе будущего революционного правительства, которое с неуклонной последовательностью и железной энергией провело бы ряд мероприятий, направленных к уничтожению старого общества и к заложению основ коммунистического строя.

В этом отношении я признаю правильными возражения Н. Русанова против тех страниц первого издания моей книги, где я преувеличивал скептицизм Чернышевского к тайным обществам и военным восстаниям (напр., стр. 187) и, вслед за самим Чернышевским, говорил о его «нерешительном и вялом характере» (стр. 391). По поводу этих моих последних слов Русанов указывает, что Чернышевский «обладал не только необыкновенным умом, но и исключительной твердостью характера. Пусть это — не та энергия, которая поражает нас в вожаках масс или даже прирожденных конспираторах: «непрактичность», «книжность» (да и это нуждается, как мне кажется, в оговорках) не исключают великой нравственной силы духа. Есть люди, у которых великие импульсы непосредственно реагируют на факты действительности: это — по преимуществу практические политики. Но есть люди, которым реакцию на известное внешнее явление нужно продержать в холодильнике логического аппарата, чтобы она вышла оттуда в виде непреклонного, обдуманного во всех деталях решения. Таким был Чернышевский» [1].

Да, таким он был, и когда обстоятельства стали складываться в благоприятную сторону, когда реакционные мероприятия правительства и в первую голову неудачное проведение крестьянской реформы вызвали брожение не только среди части привилегированных слоев, но и среди

никому и ни в чем он не сделает ни малейшей уступки. Ко всему он относится серьезно, осмысленно, прочувствовано и страстно». Далее Ч. удивлялся в Д. непреклонной строгости, неподкупности и нелицеприятию в сношениях со всеми, кто бы они ни были» и т. д. (М. Антонович — «Из воспоминаний о Добролюбове». «Журнал для всех», 1902, № 1, стр. 84).

Маркс, знавший Добролюбова только по его печатным произведениям, был также высокого мнения о безвременно погибшем юном даровании. В письме к Николаю—ону от 9 ноября 1871 года Маркс говорил: «С сочинениями Добролюбова я отчасти уже знаком. Я сравниваю его, как писателя, с Лессингом и Дидро» («Письма Маркса и Энгельса к Николаю —ону». «Минувшие Годы», 1908, № 1, стр. 54). Сравнение, особенно в устах Маркса, чрезвычайно лестное.

[1] Н. Русанов — «Ученики Маркса о Чернышевском», «Русское Богатство» 1909, № 11, стр. 77.

широких народных масс, когда словом появились некоторые симптомы возможной революции в России, — Чернышевский, отложив в сторону свой скептицизм и преодолев свой пессимизм, решил, что приближается время решительной схватки между трудящимися и их эксплоататорами с некоторыми шансами на победу народа.

«По мере того, как поднимается общественная волна, — говорит М. Туган-Барановский, — Ч-ский сходит с... безнадежной позиции и начинает относиться более доверчиво к революционности крестьянства. Правда, и в апогее своего увлечения он не разделял всех надежд на крестьянство, которые питались другими; возможно думать, что Ч. никогда полной веры в возможность вполне успешного движения не разделял. Он был наиболее скептически настроен по сравнению с другими, но все же он был революционером; сочувствие его революционным организациям не подлежит ни малейшему сомнению. Он склонялся к той мысли, что крестьянская масса не безнадежна, что масса простолюдинов, т. е. русское крестьянство, благодаря своей общине, способна совершить огромный переворот...

«Переворот, по мысли Ч., должен быть совершен крестьянами; но не одними крестьянами: Ч. имеет ввиду еще и другую общественную группу, которая сформировалась на его глазах. Эту группу составляют «новые люди», разночинцы, интеллигенция, которая группировалась вокруг самого Ч-ского» [1].

Приблизительно то же свидетельствует и современник событий, лично знавший Чернышевского, Л. Пантелеев. Под влиянием неудачи крестьянской реформы, с одной стороны, и оживления на Западе — с другой (итальянская борьба за освобождение, брожение в Польше и пр.), настроение русских передовых кругов изменилось в революционную сторону и приняло резко политический характер. «Вместо прежних оживленных разговоров о тех или других готовящихся реформах стали раздаваться совсем другие речи: довольно хороших слов, пора перейти к делу. А под делом понималась подготовка общества к революционным выступлениям. Эта перемена была подмечена кружком, группировавшимся около Чернышевского (Михайлов, Шелгунов, братья Серно-Соловьевичи, В. А. Обручев и др.). И вот начинают появляться прокламации, делается попытка к тайной организации...

«Но особенно ярко сказалось новое настроение в студенческих волнениях осени 1861 года» [2].

---

[1] Речь на вечере, посвященная памяти Чернышевского. «Труды В. Эк. Общ.», 1910, № 1. Приложение, стр. 11—12.

[2] Л. Пантелеев — «Памяти Н. Г. Чернышевского», «Голос Минувшего» 1915, № 1, стр. 198.

Теперь Чернышевский уже не подчеркивает пассивности и индифферентизма придавленных трудовых масс к общественным интересам, теперь он уже не говорит об их неспособности к борьбе, выходящей за рамки их непосредственных экономических нужд. Начавшееся в Европе политическое оживление окрыляет и его надеждами, разбивает его застарелый скептицизм, вспоенный годами реакции. Особенно сильно действует на него пример героической борьбы итальянского народа за свое национальное освобождение. А пример итальянцев наводит его на мысль о том, что при подходящих условиях и русский народ, не всегда ведь безропотно влачивший жалкое существование под помещичьим и царским ярмом, проявит такую же энергию и волю к борьбе. И из-под пера его вырываются следующие характерные строки.

«Попробуйте заглянуть в какую угодно книгу или статью об итальянцах, писанную до очень недавнего времени: повсюду вы найдете одно и то же: «итальянцы за исключением одних сардинцев — народ отживший или, по крайней мере, надолго утративший способность действовать энергически или настойчиво; они обленились, изнежились, испортились; какое сравнение с англичанами или хотя бы французами, немцами! Француз, немец, англичанин — мужчина в полном смысле слова; итальянец — существо женоподобное, быть может доступное горячим минутным порывам, но лишенное всякой инициативы, всякой способности к настойчивому труду, всякого доверия к своим силам; он годен быть только оперным певцом, кардиналом или лаццарони, он не в силах быть гражданином»... Теперь, вероятно, ни один из писавших или говоривших подобные вещи, не может без стыда вспомнить, какую чепуху писал или говорил он. Итальянцы изумляют своею гражданскою деятельностью всю либеральную Европу, печалят всех консерваторов. Обстоятельства сложились так, что самым ярким образом выставилась в итальянском характере именно та самая черта, которую в нем отрицали, выказалась с такою силою и настойчивостью, какой могли бы позавидовать и англичане, не говоря уже о французах и немцах, и выказалась именно как черта всего народа, целой массы населения, а не каких-нибудь немногих руководителей. Нет, руководителей не было у итальянцев в тех делах, которыми удивили они Европу, — напротив, люди, поставленные так, чтобы служить им руководителями, делали все для подавления национальной энергии» [1].

Эти слова мы вправе рассматривать как поправку к безнадежно пессимистическим замечаниям о характере русского общества и народа,

[1] Политическое обозрение за май 1860 года («Соч.», т. VI. стр. 514).

высказанным в статье «Русский человек на rendez-vous» и в романе «Пролог» и относящимся к 1858 году. Совершенно очевидно, что Чернышевский писал об итальянцах, а думал о русских. Именно от русского народа, доведенного до отчаяния и разочаровавшегося в бесконечном терпении, он ждет теперь проявления гражданской деятельности, призванной изумить мир и посрамить тех, кто готов был еще недавно ставить на этом народе крест. Революционеры надеялись, что если реформа будет проведена во вред крестьянству, то массы восстанут и в неудержимом порыве снесут до основания все здание царизма. Строки эти были написаны Чернышевским до об'явления Положения 19 февраля 1861 года. Характер этого законодательного акта оправдывал худшие предвидения радикальных элементов и усилил их надежды на предстоящую крестьянскую революцию [1].

К концу 1861 года восстание крестьянской массы считалось вероятным; особенно на него расчитывали к 1863 году, ко времени прекращения временно-обязательных отношений. И такие надежды питали не одни горячие молодые головы. Условия, при которых состоялось освобождение крепостных, создавали, повидимому, благоприятную почву для такого стихийного взрыва, и по свидетельству современников всеобщее восстание крестьянства против тогдашнего государственного порядка и господствующих классов допускалось тогда всеми, начиная от правительства и кончая революционерами. Герцен пишет: «Б. (Бакунин) верил в возможность военно-крестьянского восстания в России, верили отчасти и мы; да верило и само правительство, как оказалось впоследствии рядом мер, статей по казенному заказу и казней по казенному приказу. Напряжение умов, брожение умов было неоспоримо, и никто не предвидел тогда, что его свернут на свирепый патриотизм» [2]. Об этом же настроении свидетельствует и участник тогдашнего революционного движения Л. Пантелеев: «Настроение общества (в конце 1861 г.) было крайне приподнятое, куда ни придешь,

[1] Повидимому, к этому времени относится следующее сообщение Н. Николадзе, познакомившегося с Чернышевским в конце 1861 года: «И еще был у него фетиш — народ. Раз в него попало зерно истины, оно не может не пасть на добрую почву: оно всенепременно взойдет и принесет обильные плоды, неизменно полезные. Несколько раз я видел его спорящим на эту тему: куда тогда девалась его ирония! В эти редкие моменты он имел вид уже проповедника, фанатика» («Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 42).

[2] «Сборник посмертных статей», стр. 212; «Соч.», т. XIV, стр. 436. — Герцен имеет ввиду взрыв шовинизма, охвативший русское общество во время польского восстания, вследствие попыток европейской дипломатии вмешаться в это дело

везде шум, говор, оживленные споры, а главное — всеобщее ожидание чего-то крупного и даже в ближайшем будущем» [1].

И здесь действовали даже не чисто русские условия. Во всей Европе воздух был насыщен электричеством. Гарибальди, кумир тогдашних русских радикалов, готовился к своему крестовому походу на Рим. В Пруссии происходил конституционный конфликт, который, как казалось, должен был привести к революционному взрыву. В Австрии абсолютизм после своего поражения во время итальянской войны 1859 года не успел еще притти в себя, а тут снова начиналось революционное брожение в Венгрии. В самой Франции, которую Чернышевский называл «вулканом Европы», правительство принуждено было ослабить вожжи, усилилась либеральная партия, и появились первые симптомы возрождающейся республиканской агитации. Польша волновалась, готовясь снова восстать за свое национальное бытие. Одним словом, казалось, что тяжелая ночь реакции, опустившаяся над Европой после подавления революции 1848 г., начинает уступать место новому рассвету.

При всем своем скептицизме Чернышевский отличался слишком здоровым революционным чувством, чтобы не допустить возможность освежительной грозы, которая на этот раз должна была захватить и Россию. Если все прежние европейские революции разбивались о русскую границу и только вели к усилению реакции внутри России, то теперь, когда в самой России появились некоторые активные революционные элементы, и — главное — когда самая толща народных низов начала, повидимому, обнаруживать недовольство своим положением, — дело должно было измениться. С уверенностью этого нельзя было сказать, но некоторая вероятность тут была [2]. Налицо имелись: сильное и нежелавшее ни с кем делиться властью правительство, воспитанное на традициях николаевской эпохи — с одной стороны; всеобщее брожение на Западе, глухое недовольство крестьянской массы и либерального общества в России, наконец, первые зародыши русской революционной партии — с другой. Ввиду таких условий необходимо было сделать попытку. Исход ее в значительной мере будет зависеть «от различной

[1] «Из воспоминаний прошлого», ч. I. Спб. 1905, стр. 188, 228.

[2] П. Николаев пытается охарактеризовать тогдашнее настроение Чернышевского в следующих выражениях: «Катастрофа вскоре немыслима (точнее было бы сказать: мало вероятна. — *Ю. С.*), но долг мыслящего и последовательного человека — стремиться к ней и делать все возможное для ее приближения. Поменьше фраз и теорий и побольше д е й с т в и я» (l. c., 23). — Вот только насчет «теорий» мы несколько сомневаемся: теоретик Чернышевский вряд ли относился к «теориям» с таким пренебрежением, как П. Николаев. Но энергию он действительно рекомендовал, раз нужно приступать к делу.

группировки элементов власти» [1]. Если революционной партии удастся воспользоваться замешательством правительства и недовольством широких масс, то при общеевропейской революции, которая в большей или меньшей степени будет окрашена социалистическим цветом, и при наличности общинного землевладения России удастся, быть может, сильно приблизиться к социализму. Если же революционная партия и не успеет добиться своей цели, если результатом революции будет только завоевание политической свободы, то и в таком случае выигрыш будет большой [2].

---

[1] Шаганов — «Чернышевский на каторге и в ссылке», стр. 8.

[2] В конце 1871 года Чернышевский, прощаясь с молодыми товарищами по каторге, изложил им нечто вроде своей политической profession de foi, которую Шаганов передает так: «Он говорил нам, что со времени Руссо во Франции, а затем и в других европейских странах демократические партии привыкли идеализировать народ, — возлагать на него такие надежды, которые никогда не осуществлялись, а приводили еще к горшему разочарованию. Самодержавие народа вело только к передаче этого самодержавия хотя Наполеону I и, не исправленное этой ошибкой, многократно передавало его плебисцитами Наполеону III. Всякая партия, на стороне которой есть военная сила, может монополизировать в свою пользу верховные права народа и, благодаря ловкой передержке, стать якобы исключительно представительницей и защитницей нужд народа, — партией преимущественных народников. Он, Чернышевский, знает, что центр тяжести лежит именно в народе, в его нуждах, от игнорирования которых погибает и сам народ, как нация или как государство. Но только ни один народ до сих пор не спасал сам себя (такую же мысль незадолго до смерти высказал и Белинский. — *Ю. С.*) и даже, в счастливых случаях приобретая себе самодержавие, передавал его первому пройдохе. Это — переданное или непереданное, а древлеприобретенное — самодержавие уже не так-то легко переходит к кому-либо другому. Становясь душеприказчиком своего народа, оно именно распоряжается им, как мертвым, и с имуществом народа поступает по своему благоусмотрению. И тогда горе тому, кто захотел бы будить этого мнимоумершего, вмешиваться в его хозяйственные дела! По пути душится и слово, и совесть, ибо из этих вещей выходят разные пакости для власти... И как заключенному в тюрьме обойти своего тюремщика? Не прежде ли всего он единственно с ним должен иметь дело? Какой тюремщик по доброй воле позволит заключенному делать воззвание к разрушению тюрьмы? Конечно, формы — вещь ненадежная. Можно при всяких формах выстроить крепкий острог для трудолюбивого земледельца. С другой стороны, быть может, и хорошо, что формы ненадежны. При них всегда возможна борьба партий и победа одной партии другою, — и на практике победа всегда прогрессивная. Страшнее всего — бесформенное чудовище, всепоглощающий Левиафан. Чернышевский еще прежде говорил, что не так бы пошла история нашей родины, если бы при воцарении Анны партия верховников восторжествовала. Ни одна партия не может не делиться властью ради своего же собственного спасения... При власти партий все же

Итак, народное движение возможно; лозунг его — земля и воля; путь — захват власти революционерами при активной поддержке и сочувствии народных масс; результат — трудовая республика, а в случае поражения революционеров — во всяком случае значительное улучшение положения народа. Вот программа, которую Чернышевский развивал перед своими современниками; вот путь, на который он приглашал их вступить или, вернее, на который он толкал их своими сочинениями [1].

более вероятности сделать что-нибудь в пользу народа, чем при отсутствии всяких политических форм, а, следовательно, и всякой возможности предпринять что-либо в указанном направлении» (Шаганов, loc. cit., стр. 28—29).— Это совсем не похоже на народничество с его политическим индиферентизмом и с презрением к государственным «формам».

[1] Н. Николадзе, встречавшийся с Чернышевским в начале 1862 года, следующим образом излагает его тогдашние взгляды:

«К несчастью, большею частью все его разговоры, по крайней мере, при мне, носили иронический характер; он отделывался шутками или аллегориями или давал такие ответы, которые можно понять и так, и этак, а иной раз и вовсе понять нельзя. Все же таки из его отзывов и мнений, которые мне приходилось слышать или прямо от него, или от его ближних, я составил себе представление, что он был крайне неважного мнения о царе и его министрах и убежден был, что им не справиться с повоенной разрухой, с недовольством крестьян Положением об их освобождении, с предстоящими внутренними реформами, а в особенности с начинавшимся польским восстанием. Перед тем весною при об'явлении манифеста об освобождении крестьян было несколько якобы «восстаний крестьян». В сел. Бездна, Казанской губ., расстрелян был кр. Антон Петров. Чернышевский придавал преувеличенное значение и этому, и студенческим волнениям в том смысле, что расчитывал на безостановочность пропаганды студентов в среде, в которую они попадают по окончании или перерыве курса. Он отлично понимал силу народной инерции и знал, что победа прогресса придет не сразу, что будет несколько — и довольно много — волн прилива и отлива. В конечном итоге, несомненно, победит правда и разум, но это будет не скоро, и не одно поколение, — этого он не скрывал от нас, молодежи, — положит свои кости в борьбе за воцарение добра. Но в чем он не сомневался, это в том, что уныние, овладевшее высшими сферами после крымского разгрома, логически неизбежно приведет к революции, торжество которой будет непродолжительно и сменится жестокой расправой реакции с передовыми элементами. О себе он знал, что погибнет, но не подозревал, что это случится так скоро» (Н. Николадзе — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Кат. и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 42).

Глава шестая

КАМПАНИЯ ПРОТИВ ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ПРЕССЕ

1. Поход Каткова в „Русском Вестнике"

Господствующие классы хорошо видели, к чему ведет литературная деятельность радикалов, разоблачающая политику правящих кругов и мобилизующая против существующего строя широкие демократические круги. Опасность была в том, что эта пропаганда могла проникнуть в народные массы, настроение которых пугало всех тех, кому жилось тогда вольготно и весело на святой Руси. Но в первое время, когда правительство не успело еще оправиться после поражения, понесенного им в Крымской войне, когда общественное мнение буржуазии выступало против обанкротившейся николаевской системы единой стеной, приходилось терпеть и революционную пропаганду, которую радикалы, а в особенности Чернышевский, умели вести с таким искусством даже в тогдашних узких цензурных рамках. Но когда лагерь оппозиции к началу 60-х годов распался, когда все оттенки буржуазии начали сознавать, что подготовляемая радикалами революция народных масс одинаково угрожает всем их интересам, реакция стала поднимать голову, а в печати открыт был поход против радикалов и в первую голову против признанного их идейного вождя, Чернышевского.

Впрочем, не только умеренные либералы, но даже такой господин, как Катков, не решились бы с таким легким сердцем начать травлю ненавистного радикализма, если бы дорога для них не была расчищена инициативой Герцена. Разумеется, суб'ективно Герцен, с одной стороны, и Катков, Краевский и пр., с другой, преследовали совершенно различные цели в своей кампании против демократов. Но хорошими намерениями устлана дорога в ад, и, открыв эру нападок на «свистунов», Герцен невольно приобщился к той отвратительной кампании, которая вскоре выродилась в серию самых вульгарных доносов и в конце концов привела к гибели тех людей, которым Герцен так легкомысленно сулил Станислава на шею. И не только приобщился, но и оказался ее зачинателем, дал ей направление и лозунги, которые, как мы увидим, сразу подхва-

чены были всеми участниками травли и усердно повторялись ими вплоть до отдельных выражений.

Как мы знаем, первая попытка мобилизации буржуазно-дворянского общественного мнения против радикальной группы, сделанная Дружининым еще в 1856 году, не увенчалась успехом. Нужно было, чтобы против радикалов выступил сначала такой пользовавшийся уважением в либеральных кругах писатель, как Герцен, для того чтобы злобная свора газетных и журнальных писак осмелела и с яростным лаем выскочила из своих подворотен. И только после того, как эмигрант Герцен в заграничном «Колоколе» подал сигнал трубным звуком, дошедшим до российского захолустья, можно было безнаказанно, не рискуя навлечь на себя обвинения в полицейском доносе, наброситься толпою на ненавистных радикалов и гнать их до тех пор, пока поджидавший в стороне третьеотделенский доезжачий не схватит намеченную жертву за шиворот.

В России первый по стопам Герцена пошел М. Н. Катков в своем «Русском Вестнике». Защищая под флагом симпатии к английскому общественному устройству (в его самых дурных, аристократических, застойных, средневековых формах) интересы крупных дворян-землевладельцев и в первое время упорно скрывая свои политические симпатии под фальшивым покровом какого-то умеренного лже-конституционализма, Катков уже в тот момент был тем законченным образчиком реакционера, душителя, поклонника силы, защитника привилегий и ненавистника свободы и демократии, каким он открыто выступил с 1863 года. Подготовляя уже тогда свой близкий переход в стан откровенных поборников византийского самодержавия, ставя свою кандидатуру на пост идейного глашатая принципов царизма, неограниченного авторитета в материальной и духовной области, Катков начал с того, что, опираясь на Герцена, об'явил непримиримую войну крайнему левому флангу русской общественности, а затем через какой-нибудь год перешел и к расправе с умеренным либерализмом самого Герцена. И нужно отдать Каткову справедливость: он умел ненавидеть и разить врага, вцепляться в него мертвой хваткой и не выпускать из пасти до последнего его издыхания. Недаром он выступал в виде поклонника английской культуры, из которой он, впрочем, сумел позаимствовать одни лишь черты бульдожьей свирепости и упорства. Втечение целого года он не переставал травить, язвить и шпынять «Современник» и преимущественно Чернышевского, пока не решил, что теперь дело журналиста сделано, и отныне дело уже за жандармами. Только тогда он повернулся в другую сторону и принялся за Герцена, в свое время давшего ему оружие против Чернышевского.

Уже в первой книжке «Русского Вестника» за 1861 год в статье «Несколько слов вместо «Современной Летописи» [1] начинается кампания против «Современника», сначала как будто приличная, но с каждой новой книжкой все больше раскрывающая свои истинные цели.

Осуждая литературную полемику между журналами, начинавшуюся, по его словам, обыкновенно перед подпиской, и приписав себе честь временного ее прекращения, Катков, прямо нападая на «Современник», говорит: «Брань возвратилась, только уже не литературная: сброшенную маску литературных об'яснений поднять было совестно, и раздались об'яснения более откровенные, прямее идущие к делу, открылись балаганы с песнями и без песен [2], со свистом и даже с визгом, как выразился недавно один из этих свистунов».

Далее Катков пытается оправдаться от упрека в отсутствии собственного мнения, но при этом старается сохранить позицию нападающего.

«Нам ставили в укор отсутствие литературных рассуждений в нашем издании именно те журналы, где с тупым доктринерством или с мальчишеским ребячеством проповедывалась теория, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью все литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на название национального поэта, а Гоголю оказывалось снисхождение только за его сомнительное свойство обличителя; где современные писатели, отличающиеся каким-либо художественным достоинством, потому только осыпались льстивыми похвалами, что успех их в публике был выгоден для этих журналов, помещавших у себя их произведения, но где немедленно изменялся тон отзывов с прекращением расчетов на сотрудничество». Этот гнусный намек расшифровывается тут же в примечании: «Так изменился тон Современника о некоторых писателях, в честь которых еще так недавно пламенели жертвенники в этом журнале. В последнем номере его напечатано между прочим элегическое стихотворение, в котором изливаются скорбные сетования на дороговизну произведений г. Тургенева» [3].

---

[1] Катков вел в журнале отдел «Современная Летопись», которая затем начала выходить отдельно. Все цитируемые ниже статьи его появились без подписи.

[2] Курсив мой. Уже здесь Катков начинает опираться на статью Герцена «Very dangerous!!!» и делает попытку прикрыться герценовским авторитетом, пока не называя его.

[3] «Русский Вестник» 1861, № 1, стр. 479, 480—481. — Вообще, как видно из третьей книжки «Русского Вестника» (стр. 154—155), Катков был в курсе всех сплетен, связанных с уходом Тургенева из «Современника». Это видно из его возражений Чернышевскому, указания которого на причины разрыва

Ссылка на Герцена (без упоминания его имени) в первом случае, а затем на Тургенева — во втором показывает, что реакционеры в своей войне с радикальной демократией ловко использовали нападки на нее со стороны умеренных либералов. Чувствуя за собою моральную поддержку всей буржуазии, всех собственнических групп против ненавистных разрушителей, Катков с каждой книжкой усиливает свою атаку. В № 2 «Русского Вестника» он открыто переходит в наступление против материалистической философии Чернышевского, правильно усматривая в ней основу общего радикального мировоззрения. Об этой неслыханно-наглой статье Каткова «Старые боги и новые боги» мы говорили в той главе первого тома, которая посвящена изложению философских взглядов нашего автора. Но нужно заметить, что Катков не удержался в рамках чисто философского спора, да и не для того он его затеял. Он в полуприкрытых, полупрозрачных выражениях намекнул на революционные замыслы кружка Чернышевского, об'явив последнего вождем этой революционной группы («Чернышевский, повидимому, главный вождь этой группы»).

В январской книжке «Современника» Чернышевский поместил рецензию на «Политико-экономические письма к президенту Американских Соединенных Штатов» Кэри. По своей манере он использовал эту рецензию для своей обычной пропаганды в пользу решительной демократической революции с применением красного террора, но все это, разумеется, в крайне неясной и закутанной форме, передав содержание драмы «Юдифь», которая в то время ставилась на петербургской сцене. Рассказав историю самопожертвования Юдифи, которая для спасения народа не остановилась перед поступками, не одобряемыми обычной обывательской моралью, совершила убийство и не пожалела даже своей репутации, раз дело шло об общей пользе, Чернышевский делает вывод: «Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя» [1].

Катков сразу понял, что́ означает под пером Чернышевского эта библейская притча. Сначала он нападает на Чернышевского за его раз-

«Современника» с Тургеневым он об'являет «неверными», утверждая, что «С о в р е м е н н и к домогался приобрести последнюю повесть г. Тургенева». Осведомлял его, повидимому, и сам Тургенев, и его друзья. Речь идет об «Отцах и детях». Еще бы Катков этого не знал: ведь именно ему Тургенев имел бесстыдство дать для напечатания в «Русском Вестнике» это произведение, которое и автором, и редактором журнала рассматривалось как памфлет на кружок Чернышевского!

[1] «Соч.», т. VIII, стр. 37—38. — Об этой статье в связи с политическими взглядами Чернышевского мы говорим в первом томе, стр. 474.

вязное обращение с экономическими авторитетами. Он указывает на то, что в его (заметьте, неподписанных) статьях «тоном шарлатанской иронии говорится о великих русских экономистах, г.г. Вернадском, Бунге, Ржевском, Безобразове, к которым причисляется г. де-Молинари, а, наконец, Каре (или, как у нас пишут, Кэри) и Бастиа». А затем он переходит к лобовой атаке. Цитируя упомянутое место из рецензии Чернышевского на книгу Кэри относительно подвига Юдифи, не остановившейся ни перед чем для спасения своего народа, Катков восклицает: «О, новые Юдифи! поведайте нам, ради каких великих благ пятнаете вы свою непорочную чистоту?.. О, господа, не пятнайте себя понапрасну! Не приносите ненужных жертв! Не оправдывайте себя подвигом: никакого подвига не имеется. Вы и себя обольщаете, и обманываете других. Вы сами не знаете, вы сами не чувствуете, какая вы вредная задержка посреди этого общества с неустановившимися силами, с неокрепшею жизнью. Тем хуже, если вы люди способные. Современем, может быть, вы откажетесь от шарлатанства... После вы хватитесь, но будет поздно. С презрением оглянетесь вы на свое прошедшее и, может быть, глубоко пожалеете о шутовской роли, которую вы играете теперь» [1].

Притворяясь, что он не верит в возможность активных революционных выступлений со стороны радикальной «дружины» и ее «вождя», Катков вместе с тем ставит точки над i, давая понять кому надлежит, каков действительный смысл статьи Чернышевского.

Атака не прекращается и в мартовской книжке. На этот раз статья Каткова озаглавлена «Наш язык и что такое свистуны». Опять-таки, самый беглый просмотр статьи убеждает нас в том, что Катков лишь перефразирует и размазывает Герцена, снова не называя его.

«Свисток при Современнике, — пишет Катков, — издается два или три года, и ни разу не было у нас помину о нем, хотя выходки против Русского Вестника, против лиц и предметов, которыми дорожит он, встречались в «Свистке» чуть ли не на каждой странице... Конечно, свист без смысла или с дурным смыслом не мог нам нравиться, к кому бы он ни относился... Но если живая мысль не должна и не может обходиться без юмора, то с другой стороны юмор только тогда может заслуживать это название, когда он связан с серьезными интересами, когда он есть явление честное... Что, например, сделал дурного г. Громека, чтобы возбудить против себя стихоплетные и прозаические глумления в литературе?.. Он мог встретить на своем

[1] «Русский Вестник» 1861, № 2, стр. 903—904.

пути разные неудобства [1]; но литературе ли было из'являть в этом случае злорадование?.. Он встретил сильных противников, которые не лазили в карман за словом... Мы не решаем, на чьей стороне должен был находиться «Современник» или другие органы нашей литературы, но мы знаем только то, что они не с м е л и, еслиб и хотели, о с в и с т а т ь п р о т и в н и к о в г. Громеки... Мы привели один пример, что в нем достаточно обнаруживается инстинкт этих свистунов» [2].

Неправда-ли, благородно? Радикалы упрекаются за насмешки над либералом, который выступил со статьями о русской полиции, возбудившими, дескать, неудовольствие правящих сфер. Издеваться над обличительными статьями Громеки свистуны, мол, посмели [3], а вот посмеяться над правительством, которое якобы было «противником г. Громеки», у них храбрости не хватило! Катков отлично знает, что над Громекой свистуны смеялись именно потому, что этот бывший жандарм и будущий губернатор в покоренной Польше дурачил невоспитанных людей своей «кампанией» против полиции с обходом вопроса о самодержавии и о коренной политической реформе, что их насмешки над Громекой и были по тогдашним цензурным условиям, поддерживаемым господами Катковыми, единственно возможной формой насмешки над мнимыми «противниками г. Громеки», т. е. над правящими кругами, что эти насмешки звали к борьбе против царского режима, без низвержения которого все разговоры о реформе полиции — пустой звук, что такая реформа, способная только усилить самодержавие и сделать его менее ненавистным, на взгляд Чернышевского была бы даже нежелательна, — все это Катков хорошо знал, но именно потому он с такой злобой и напал на радикальных «свистунов». Однако, идя по пути Герцена (с тем отличием от него, что тот действовал по ошибке, он же сам лицемерил сознательно), Катков притворялся, будто он нападает на радикалов за то, что они своей критикой либеральной половинчатости поддерживают реакцию! В устах Герцена это обвинение еще имело какой-нибудь смысл, но в устах Каткова это было чистейшим иезуитством [4]. Правда, Герцен, искренно попавший пальцем в небо, обещал еще «свис-

[1] Катков намекает на статьи Громеки о полиции.

[2] «Русский Вестник» 1861, № 3, стр. 19—20.

[3] Добролюбов иронически говорил о нем в «Свистке»:

Когда Громека с силой адской
Все о полиции писал...

[4] Каков действительно был сокровенный смысл статей Кваткова, видно, напр., из его выходок по поводу женской эмансипации. «Права женщины! — восклицает он. — Но кто же отнимал у нее эти права?.. Каких же это прав ей еще нужно?» и т. д.

тунам» награды от правительства за их обличения либерализма, но скоро мы увидим, что и в этом пункте Катков счел уместным повторить выходку Герцена.

В апрельской и майской книжках «Русского Вестника» Катков дал обширную перепечатку направленной против Чернышевского статьи Юркевича «Из науки о человеческом духе» с злобными комментариями, которые мы привели в первом томе.

В июне — новая статья «По поводу «Полемических красот» в Современнике» (частью тоже изложенная нами в первом томе). Об'явив Чернышевского невеждой, шарлатаном, беспардонным ругателем, хвастуном, вождем разрушительной дружины и пр., Катков вдруг принимает вид Рейнеке-лиса, собирающегося постричься в монахи, и, напустив на себя христианское смирение, столь несвойственное этому грубому матадору, скромно вещает:

«Нам давно уже предлагали этюды о литературной деятельности г. Чернышевского... Мы не принимали их предложения: добро бы здесь шло об одной какой-нибудь статье или мысли, подкараулённой во-время, а то брать целого человека, всю его деятельность, все его развитие, производить вивисекции — дело крайне неприятное».

Какая деликатность! Человек производит вивисекцию своего противника из месяца в месяц, все более заостряя полемический тон, не останавливаясь перед доносами, лжет, клевещет и поносит систематически, планомерно, бесстыдно — и вдруг такое геройское самоотречение... до следующей очередной книжки своего журнала!

И кончает Катков елейно лицемерной выходкой, стремящейся замазать тот факт, что именно «Русский Вестник» начал эту полемику. «Мы думаем, что и при совершенном разногласии тенденций можно обходиться без такого рода об'яснений, к которым бываем мы, к сожалению, вынуждены» [1].

В следующей книжке мы, разумеется, находим новую полемическую статью нашего христианского смиренника под знаменательным заглавием «Виды на Entente cordiale с Современником». Здесь Катков выступает в защиту обиженных Чернышевским либеральных журналистов, Альбертини и К-о. Помилуйте, Чернышевский намекает, что «г. Альбертини был прежде окружен благородными людьми (т. е. вертелся в Лондоне около Герцена и Огарева. — *Ю. С.*), а потому и действовал хорошо; теперь г. Альбертини поступает нехорошо, он окружен теперь людьми совсем другого сорта». А чем же сотрудники «Современника» лучше? — ехидно вопрошает Катков и продолжает: «Или вы думаете,

[1] «Русский Вестник» 1861, № 6, стр. 143, 158.

что Россия вскочит как один человек, послышав имена г. г. Чернышевского, Некрасова и др., и воскликнет: «благородные люди!?».

Далее Катков, слегка приоткрывая карты, переходит к защите гр. Кавура от «Современника». «Вы, — пишет он, — уж говорите то, чего и итальянские враги Кавура не говорили; вы, петербургский враг Кавура, перещеголяли и кардинала Антонелли, и Маццини, и французских легитимистов, и австрийских абсолютистов... Г. Альбертини не догадался, что вы занимаетесь искусством для искусства, что вы играете aux petits jeux, что вы сочинили игру в Кавура и Гарибальди, водевиль, имеющий своим сюжетом прогрессистов крайних и прогрессистов умеренных» (курсив мой). И дальше Катков переходит к критике политического радикализма и к восхвалению «здорового» либерализма, умеющего де сочетать прогресс с консерватизмом.

«Тот и другой интерес (охранения старого и движения к новому. — *Ю. С.*), — поучает Катков Чернышевского, — равно необходимы для исторической жизни... Что, например, толку в тех людях, которые переливают наилегчайшим манером из бутылки в бутылку, из пустого в порожнее?.. Что это — прогрессисты или консерваторы? Ни то, ни другое: они — пустоцветы и свидетельствуют только об отсутствии реальных основ в той жизни, среди которой являются... Один и тот же человек может быть в одном случае консерватором, в другом — прогрессистом... Но где нет политической жизни и нет политических партий, там эти термины «консерваторы» и «прогрессисты» звучат невыразимою пошлостью. Так звучат они в нашей маленькой публицистике, когда она от созерцания итальянских и других дел обращается к своим домашним обстоятельствам, к своим кружкам, к своим героям и подводит их под рубрики консерваторов и прогрессистов, еще прогрессистов умеренных и неумеренных. Что такое, например, г. Чернышевский? Консерватор или прогрессист? Должно быть, прогрессист. Но г. Чернышевский всегда горой стоял за общинное владение. Превращение общинного владения в собственность есть прогресс, и однако г. Чернышевский в этом пункте всегда показывал себя неумеренным консерватором, хотя сама жизнь требует в этом пункте реформы».

Издеваясь над замечаниями «Отечественных Записок», что «Современник», глумясь над всем, не глумится только над свободою женщины и простолюдином, Катков переходит к маленькому доносцу на «Современник», глумящийся, дескать, над религией. «Да кто же глумится над простолюдином вообще? — восклицает он с деланой наивностью.— Еще бы над этим глумиться! Однако, беседуя с г. Буслаевым, редактор «Современника» считает долгом поплевать на многое такое, что составляет драгоценность для простолюдина, и потешается над г. Буслаевым за то,

что тот напротив считает своим долгом изучать проявления народного чувства».

И дальше следует место, весьма напоминающее упреки Герцена по адресу «Современника». «Что может быть пошлее и бесмысленнее этих глумлений одного из русских журналов, так хорошо известного редактору, над говорильнями, над литературой, искусством, наукой? Журнал этот может в оправдание себе сказать, что из возвышенной сферы идеалов, где он пребывает, ему действительно кажутся мизерными все эти мелкие заботы о лучшем судоустройстве, о правильной администрации; он знает, что через полтораста лет везде само собою разольется полнейшее довольство, люди будут самым сладостным образом сокращать свои мышцы; мозги во всех головах будут в наилучшем порядке; не будет надобности ни в судах, ни в администрации; жареные утки сами собой будут влезать в рот. Упившись созерцанием этого будущего блаженства, можем ли мы, скажет этот журнал, смотреть иначе, как с презрением, на тот муравейник, где действуют Пальмерстоны и Кавуры? Можем ли мы не освистать и г. Громеку, который вздумал горячиться о лучшем устройстве полиции?»

Упомянув об одном обещании Громеки (послать Чернышевскому свой прежний жандармский мундир), Катков продолжает: «Но один ли г. Громека находил вас достойным некоторых подарочков? Вспомните, что подобного рода подарочки сулились вам и печатью, и не только вблизи, но и вдали (явный намек на статью Герцена. — *Ю. С.*). Что-нибудь было же в ваших мнениях или в вашем образе действий, почему люди разных мнений, не знавшие вас лично, не имевшие с вами никаких столкновений, обещали вам некоторого рода подарки?.. А ваши мнения, ваш образ действий в литературе были такого свойства, что порядочные люди, не зная вас лично, имели некоторое основание обещать вам подарочки. Доказательства представить нетрудно, и когда-нибудь вы дождетесь их».

Увы, «доказательства» явились скоро: Чернышевский получил в виде «подарочка» не орден на шею, а веревку на шею. Катков же, фальшиво пытавшийся подпевать опростоволосившемуся Герцену, действительно получил ряд «подарочков» от дворянского самодержавия, которое он защищал, в виде разных синекур, субсидий, аренды «Московских Ведомостей», университетской типографии и т. д.

Дальше Катков прямо показывает, по каким мотивам он защищает Кавура от критики «Современника», определенно нападая на его противников — итальянских «демагогов» и «республиканцев». Кавура он называет «главным виновником того положения дел в Италии, которое отнимает у демагогов основы для существования», словом, он готов хва-

лить буржуазный либерализм за то, что тот по существу консервативен, за то, что при известных условиях он является вернейшим противоядием против революции. Впрочем, скоро Катков, выполняя поручение своего заказчика — царизма, отказался от этого мнения, найдя, что еще более верным противоядием против революции является виселица, и об'явив самих либералов родоначальниками и зачинателями революции. Но временно, в тяжелый для абсолютизма момент, Катков по примеру других государственных мужей не прочь был использовать либерализм против революционной демократии, благо тот легко поддавался такому использованию.

Итак, точка над і поставлена. После многих околичностей и лицемерного блудословия Катков об'являет Чернышевского и его сторонников «крайними прогрессистами» и «демагогами», т. е. революционерами. «Вы говорите, — восклицает он, — что у вас есть друзья, есть поклонники, которые видят в вас героев» [1]. Но он хочет уверить себя, что это — неправда, и бесцеремонно смеется над бессилием демократической партии. «Пора, наконец, бросить грубую и недостойную нашего времени мысль действовать на людей насильственными средствами; если в обществе есть предрассудки, в народе есть суеверия, то надобно заботиться не о том, чтобы жечь книги, которые покажутся нам вредными, или преследовать людей, которые имеют ложные, по нашему мнению, убеждения, а о том, чтобы давать ход лучшему [2]... Вы не бьете, не жжете: еще бы! вам бы руки связали. Никто с вами спорить не станет, что вы — явление маленькое и эфемерное, возникшее благодаря только некоторым смутным обстоятельствам нашего образования. Но законы природы — одни и те же в большом и малом. Вы не колотите, не жжете; но в пределах вашей возможности вы делаете то, что вполне соответствует вашим актам; в вас — те же инстинкты, которые при других размерах, на другом поприще, если бы вы стояли на другой стороне (вот то-то «если бы»! — *Ю. С.*), выражались бы во всякого рода насильственных действиях».

«Пусть будут ваши намерения честны и искренни, цели возвышенны, — для вас все-таки общий закон не изменится: систематическое употребление дурных средств не может вести к добрым целям и есть положительное зло».

---

[1] Разумеется, ничего подобного Чернышевский никогда не говорил. Это злостно-тенденциозное перетолкование притчи о Юдифи есть просто маленький донос в Третье Отделение.

[2] Итак, по Каткову выходит, что жгли неугодные им книги и преследовали неугодных им людей Чернышевский и его товарищи, а не царское правительство и его слуги вроде того же Каткова!!

И протестуя против «нетерпимости, нелепого и бессмысленного фанатизма» радикалов, Катков заключает: «Кто свои незрелые мнения хочет навязывать другим насильно, оскорбляя всеми способами тех, кто с ним несогласен, — тот имеет ли какое-нибудь право жаловаться, что его не щадят?» И кончает Катков свою заметку словами: «Пока довольно. Очень жалеем, что на этот раз наблюдения над нашим союзником(!) привели нас... к результатам не весьма благонадежным для нашей entente cordiale» [1].

Собственно говоря, после этой статьи Катков мог бы поставить точку. Указав пальцем на демократическую партию и ее вождя, разоблачив ее стремление к насильственной революции и к установлению красного террора против защитников старого строя, — Катков добился той цели, какую он ставил себе, начиная эту одностороннюю полемику (ибо противники лишены были возможности ему отвечать). Он обратил внимание властей предержащих на революционную гидру. Остальное, т. е. ликвидация радикалов, было уже делом полицейской техники. И действительно, с этого момента поднятая Катковым кампания начинает в «Русском Вестнике» затихать. Но распалившийся человеконенавистник не мог сразу оставить свою жертву, отныне уже обреченную. Злобные корчи реакционного публициста прекратились не сразу. Некоторое время судороги его продолжались, и в августовской книжке появилась его очередная статья «Элегическая заметка», в которой опричник с песьей головой продолжал выметать измену со святой Руси.

В этой статье Катков, по свойственной ему манере, не называя прямо противника, не приводя никаких доказательств, с грубой резкостью обрушивается на философское и социалистическое учение того же Чернышевского. У нас толкуют о прогрессе, о мысли, о жизни, говорит Катков, но все это — пустая шумиха. «В действительности ничего нет, и весь этот процесс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития — не более как мыльные пузыри... В этих доктринах, которые пекутся для жизни и величают себя жизненными, часто нет ни одного слова, годного для дела, ничего годного для жизни... Чему учат пустозвоны наших дней?.. Не возводят ли они в теорию то, что у нас так долго было на практике? Не являются ли они достойными толкователями и выразителями того духа презрения и недоверия к высшим дарам человеческой природы, который господствовал у нас в жизни?»

«У нас нет общества, но есть к р у ж к и, фальшивые подобия общества. В этих-то кружках с их спертым воздухом, в этих маленьких,

[1] «Русский Вестник» 1861. № 7, стр. 62—63, 64, 69, 70—74, 78—80, 85—86, 95.

ничтожных подобиях общества, в этих кружках с их ребяческим самодовольством, разобщенных с жизнью, лишенных всякой почвы, осужденных на умственную и практическую праздность, развиваются все те чудеса прогресса, о которых мы упомянули выше; здесь-то совершаются эти быстрые развития, — быстрые, потому что пустые, — здесь-то на словах передвигаются горы, и на фразах перевертывается мир; здесь-то месяцами и неделями переживаются целые века, сменяются философские системы, общественные доктрины, великие гении, передающие друг другу светоч прогресса... Наши esprits forts, наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего; все это — одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой... Все эти размашистые порождения фантазии, все это множество новых миров, создаваемых для человечества, все эти утопии, которые творятся из ничего, — все это принадлежит к одному роду явлений со множеством теорий, строивших по-своему один и тот же божий мир. Один и тот же дух положительного знания упраздняет и эти утопии, и эти теории, создаваемые из ничего.

«Великий процесс совершится у нас тогда, когда мы перестанем с беспощадною пошлостью болтать о прогрессе. Мы будем на пути к лучшему не прежде, как откажемся от притязаний перестраивать общество по чистому разуму и предадимся отчетливому, всестороннему и сознательному изучению действительной жизни. А когда наступит эта пора, тогда сама собой исчезнет эта гниль разложения, которая завладела теперь нашим бедным словом» [1].

Жандармские цели и жандармский тон катковских писаний против радикалов слишком бросались в глаза. Привилегированное положение литературного сыщика, который имел возможность безнаказанно обличать своих противников, но которому последние не могли отвечать, и та форма, в которой этот бандит охранительной журналистики использовал свое выгодное положение, возмущали даже людей, далеко не сочувствовавших «нигилистам». Такое нарушение литературных приличий, такое бесцеремонное битье лежачего, какое допустил Катков в своих статьях против радикалов, такое обращение журналистики на службу политической полиции были тогда еще чем-то неслыханным. Полностью развернуться и показать свои таланты Катков мог только после начатия польского восстания, когда реакция разоблачилась окончательно. Но в 1861 году, когда Катков только начинал заслуживать свои жандармские шпоры, такой бесстыдный цинизм был еще новостью в русской

[1] «Русский Вестник» 1861, № 8, стр. 162—166.

журналистике, и Каткову пришлось оправдываться в допущенных им доносительских приемах полемики, которая для обличаемой им группы писателей могла кончиться только суровой полицейской расправой.

В октябрьской книжке «Русского Вестника» появилась его заметка «Кое-что о прогрессе», в которой содержится как бы попытка такого самооправдания. «Наши свистуны очень обиделись, — писал Катков, — когда мы назвали их гнилью... Один журнал заметил даже, что мы оправдали наконец его всегдашнее мнение о нас и очутились на т о р н о й и б е з о п а с н о й дорожке, давая тем разуметь, что сам он пробирается необходимыми трущобами и борется с великими опасностями».

Что же, Катков пытается опровергнуть обвинение, что он, стоя на торной и безопасной дороге, подводит своих противников под опасные удары политической полиции? Ничуть. Он старается только об'яснить причину своей ненависти к радикалам и апеляцией к интересам господствующих классов, которым угрожает программа радикалов, оправдать свой бесстыдный поход против них.

«(Неприязненное) чувство, — говорит он, — ... воникает само собою, когда видишь, как эти жалкие явления гордятся и любуются своим нигилизмом и в то же время выдают себя — и хотят, чтобы все признавали их — за людей прогресса, творческого движения вперед...

«Отрицание ради отрицания, — разрушение и разложение, — это дело смерти, а не жизни... Наши так называемые прогрессисты воображают, что чем больше будет поломано, побито и уничтожено, тем больше окажется и прогресса. Увы, они ошибаются! В разрушении ищите чего хотите, только не прогресса... Народная жизнь тем прогрессивнее и тем богаче, чем менее совершалось в ней действительных разрушений, чем менее, наконец, забывала она свое прошедшее... Но что сказать об этих ничтожествах, которые с скаканием и песнями величаются тем, что в них все разрушается и гниет, и именно за то самое, что в них все гниет, претендуют на звание обновителей жизни и героев прогресса?» [1].

Дело было ясно. Если бы действительно все гнило и разрушалось в самих нигилистах, Катков был бы спокоен и не вооружился бы с таким шумом на брань (в прямом и переносном смысле этого слова). Но именно потому, что он прекрасно сознавал их здоровое нутро и внутреннюю гнилость милого ему дворянского режима, именно потому, что он правильно признавал их представителями нового класса, широких демократических слоев, интересы и симпатии которых шли вразрез со всем тем, что дорого было Катковым в старом мире, он и восстал на них с такою резкостью, разоблачая разрушительность их тенденций в области фи-

[1] «Русский Вестник» 1861, № 10, стр. 107—109.

лософской и политической. В высшей степени замечательно, что именно около того времени, когда полемика Каткова и подпевавших ему (и Герцену) либеральных журналистов против Чернышевского достигла апогея, правительство решило расправиться с великим писателем, и Третье Отделение, как мы увидим ниже, приступило к преступной махинации, которая должна была погубить выдающегося проповедника материализма и коммунизма. В этом отношении Катков вправе был похвастать полным успехом. И считая, что радикалам он уже нанес смертельный удар, он мог свободно обратиться против либерализма и в частности против того же Герцена, ошибки которого он сумел так ловко использовать в борьбе с крайнею левою тогдашнего оппозиционного лагеря [1].

Герцен, абсолютно не реагировавший на гнусную кампанию Каткова против радикалов (и по-делом! ибо она продолжала начатое им дело), почувствовал себя задетым выходками разохотившегося охранителя, на сей раз направленными против либералов. В № 130 «Колокола» от 22 апреля 1862 года он поместил статью «Сенаторам и тайным советникам журнализма», в которой — довольно, впрочем, мягко — напал на Каткова. Началась полемика. В № 20 «Современной Летописи», выходившей при «Русском Вестнике», от 16 мая 1862 года Катков грубо напал на Герцена, который ответил статьею «Дурные оружия» в № 137 «Колокола» от 22 июня. В № 23 «Современной Летописи» Катков поместил против эмигрантов резкую статью, которая обратила на себя внимание самого царя. Последний, похвалив ее автора, запросил об его имени. С этого момента карьера Каткова была сделана. Дальнейшей полемики его с Герценом мы здесь не касаемся. Замечательно, что Тургенев преспокойнейшим образом продолжал сотрудничать в «Русском Вестнике», оправдываясь тем, что там ему больше платят.

2. Либеральное злопыхательство „Отечественных Записок"

Если о «разбойнике пера» Каткове еще можно было бы сказать, что он не нуждался в почине Герцена, чтобы открыть свой злобный поход против разрушителей из «Современника», то про смиренномудрые «Отечественные Записки», издававшиеся в бесцветно умеренном духе

[1] В февральской книжке «Русского Вестника» за 1862 год, в той самой книжке, в которой напечатан был роман Тургенева «Отцы и дети» (должен же был случиться такой неприятный для двуличного беллетриста пассаж!), Катков в статье «К какой принадлежим мы партии?» (стр. 833—844) и в мартовской книжке в заметке «Несколько слов» и пр. (стр. 446) вышутил и умеренных либералов

литературным пристанодержателем А. Краевским (как его несколько позже назвал сам Герцен), этого сказать уже нельзя. Не подлежит сомнению, что без инициативы Герцена, пользовавшегося тогда величайшим почтением среди либералов, «приличные» господа из «Отечественных Записок» не посмели бы высунуться из своей подворотни и принять участие в травле радикалов просто из страха перед общественным мнением либеральной Марьи Алексеевны, которая могла бы, пожалуй, обвинить их в прислуживаньи Третьему Отделению, в чем она была бы безусловно права. Но когда сам Герцен, эмигрант, революционер, хранитель лучших заветов людей 40-х годов, издатель всесильного «Колокола», поднял карающий арапник и хлопнул им по «свистунам» с энергией неменьшей, чем та, с которой он стегал министров Николая Палкина и его «благодушного» сына, дело изменилось. Сам первосвященник либерализма, не какой-нибудь журналист, пишущий из-под палки Третьего Отделения, а создатель «русского вольного слова» за границей, благословлял таким образом оружие новых крестоносцев. И тогда у всех этих Альбертини, Краевских, Дудышкиных и Громек сразу явилась необычайная храбрость, и они ринулись в бой с гидрой отрицания, размахивая знаменем Герцена и повторяя данный им в статье «Very dangerous!!!» пароль.

Почин Каткова нашел подражателей во всей тогдашней русской печати. Но, конечно, не будь инициативы авторитетного Искандера, Каткову не удалось бы так легко увлечь за собою либеральных шавок. Теперь же это произошло, и среди общего хора хулы на радикалов особенной резвостью отличались пухло-худосочные «Отечественные Записки». Началось якобы с философского спора, а затем, после ответа Чернышевского в «Полемических красотах», бой закипел по всей линии социальных, политических и эстетических воззрений.

Уже в июльской книжке «Отеч. Записок» за 1861 год положено начало кампании, которая полностью развертывается в № 8, где мы находим целых шесть статей и заметок, содержащих те или иные выпады против «Современника» (в «Политическом Обозрении», в «Критике», в «Русской Литературе», в «Современной хронике России» и в «Заметках праздношатающегося»). Приведенные в ярость насмешками Чернышевского во второй серии его «Полемических красот», заимствованных из «Отеч. Записок», издатель и сотрудники малопочтенного журнала утратили чувство меры. Против Чернышевского мобилизован был весь арсенал критики, публицистики, науки, фельетона, и что всего замечательнее, — и здесь атака в значительной мере велась под лозунгами, данными Герценом в своей знаменитой статье «Very dangerous!!!».

В августовской книжке «Отеч. Записок» в отделе «Политическое Обозрение» атака начинается статьею Н. Альбертини «Автору «Полемических красот». Альбертини, вертевшийся некоторое время в Лондоне около Герцена и Огарева, являлся в глазах Краевского истинным истолкователем взглядов просвещенного либерализма в его лондонской интерпретации. Сообразно с этим он и взял сначала приличную и сдержанную ноту, сожалея о расколе в «прогрессивном» лагере и пытаясь намекнуть на то, что в сущности у либералов и радикалов имеются одинаковые задачи. Нужны ли в таком случае раздоры? Но дальше идет чисто герценовская нота: резкая критика буржуазного либерализма граничит, мол, с реакционностью и незаметно в нее переходит. «В г. Т—нове (Добролюбове, авторе статьи о Кавуре. — *Ю. С.*) я видел именно такой либерализм, граничащий с полным обскурантизмом. Признаюсь вам откровенно, не более истинного либерализма, не более серьезного знания фактов, не более зрелости суждений нашел я и в том, что вы сами так поучительно стараетесь мне внушить по поводу неправильности моих мнений о графе Кавуре... Я вижу слова, одни пустые слова в том, что вы так поучительно говорите мне об умеренных и крайних прогрессистах, о нежном, кротком характере последних, об их благородной готовности на всякого рода уступки» [1].

Н. Альбертини защищает «умеренных» либералов от крайних прогрессистов, демократов, радикалов. Яснее этого вопрос поставлен в следующих статьях той же книжки «Отеч. Записок». Так в отделе «Критика» там же напечатана статейка того же Альбертини «Политические идеи Токвиля и отзыв о нем в Современнике» (стр. 79—97).

«Мы, — говорит Альбертини, — покажем только, чего Современник не любит, а что он любит, об этом пусть судят сами читатели. Об этом пункте можно только предполагать, можно только гадать так или иначе, потому что до сих пор «Современник» ни разу не заикнулся (!) о том, что он особенно любит» (стр. 81—82).

Далее Альбертини, указав, что «Современник» не любит Токвиля, берет на себя защиту этого либерального консерватора от нападок со стороны радикалов. Публика, видите ли, не знает, «каким возвышенным благородством в своих убеждениях и поступках отличался этот замечательный человек, делающий честь своему времени и своему народу... Личность Токвиля, как гражданина, безупречна... О чем бы ни говорил он, о чем бы ни думал, его никогда не оставляла горячая любовь к родине, забота о ее судьбах» и т. д. (стр. 82—83). Чернышевский больше

[1] «Отечественные Записки» 1861, № 8, стр. 75—76.

сочувствовал пролетариям, расстреливаемым в июньские дни 1848 года в Париже господами Токвилями, чем этим патентованным охранителям буржуазного господства. Он и Альбертини говорили на разных языках, но у Чернышевского руки были связаны, на уста его наложена была печать, и либеральные брехуны вроде Альбертини могли свободно упражняться на тему о том, что Чернышевский якобы «ни разу не заикнулся» о предмете своих симпатий.

Да, он ненавидел либеральных консерваторов и консервативных либералов, всех этих столпов буржуазного порядка, являвшихся в то же время более или менее откровенными защитниками реакционных сил старого монархического режима [1]. В этом смысле прав Альбертини, когда для «компрометации» Чернышевского пускается в перечисление исторических деятелей, составляющих об'ект его ненависти. «Припомним,— восклицает он (стр. 88),— на кого из замечательнейших европейских деятелей на различных поприщах восставал и постоянно восстает г. Чернышевский, против кого он не щадит своего остроумия, цинизма и даже клеветы. Вот эти имена: Маколей, Гизо, граф Кавур, Токвиль. Удивительное дело! Как ни разнообразна сфера их деятельности, как ни отличаются они друг от друга родом, силою и степенью своих талантов, но есть одна общая идея, проходящая через деятельность всех названных нами людей. Каждый из них в своей сфере, в своем обществе, своим способом, работал все для одного и того же дела», — ну да, для дела закабаления трудящихся, увековечения эксплоатации масс! За это и относился к ним враждебно Чернышевский, проявлявший в этом отношении постоянство и последовательность, поражавшие даже его противников. И тот же Альбертини принужден сознаться: «В самой его ненависти есть — нельзя не заметить — удивительная последовательность, за что мы и воздаем ему должную честь».

Казалось бы, причина этой ненависти Чернышевского к буржуазному либерализму и его патентованным глашатаям была совершенно ясна: он критиковал их с точки зрения социалиста, под углом интересов трудящихся масс. Однако г. Альбертини, вслед за Герценом, при-

[1] С этой стороны характерны слова Чернышевского о либерализме Чичерина, применимые в сущности ко всему буржуазному либерализму: «Демократия, готовая скорее согласиться на оправдание феодализма, нежели на его порицание, либерализм, состоящий в пристрастии к бюрократии, публицистика, равнодушная к вопросам, ею излагаемым, ученость, не знающая характера событий и людей, известных каждому, — каким образом об'яснить эти сочетания каждого качества с признаками, решительно неуместными в нем, эту холодность жара, обскурантизм просвещения, реактивность прогресса, бессмыслие мысли?» («Чичерин как публицист». «Соч.», т. IV, стр. 483).

творяется непонимающим этого и делает попытку провести знак равенства между враждою крайнего демократа Чернышевского к либерализму и враждебным отношением к тому же либерализму со стороны защитников до-капиталистического строя, партизанов неограниченной дворянски-феодальной монархии. «Для каждого будет ясно, — говорит Альбертини (стр. 88—89), — что вы их (либералов) не любите за то же самое (!), за что их ненавидят и боятся те люди, которые боятся света и правды. Об'яснитесь! — восклицает он, прекрасно зная, что об'ясниться по этому вопросу на-чистоту Чернышевский под властью царской цензуры не может. — А пока вы не об'яснитесь, вас легко можно считать одного поля ягодою с этими самыми людьми».

В том же отделе «Критика», наряду с легкой кавалерией в лице Альбертини, против Чернышевского выдвинута была тяжелая артиллерия в лице «ученого» К. Бестужева-Рюмина с его статьей «Французские софизмы в параллель с русскими» (стр. 109—124). Сопоставляя статью Чернышевского «О причинах падения Рима» с книгой французского прокурора Дюбуа «Тацит и его век», написанной для оправдания и возвеличения бонапартовского цезаризма, Бестужев-Рюмин снова делает вывод о реакционном направлении «Современника». Извращая указание Чернышевского на то, что римская цивилизация процветала до германского нашествия, и что падение Рима было не чем-то закономерным, а случайным результатом нападения варваров (верна эта мысль или неверна, это, разумеется, другой вопрос), Бестужев-Рюмин неожиданно делает тот вывод, что в сущности Чернышевский и бонапартист Дюбуа стоят на одинаковой точке зрения и преследуют одну и ту же цель возвеличения императорства. «Они сходятся в той мысли, что Рим благоденствовал при императорах, что общее отвращение от этого периода — только исторический предрассудок, риторическое преувеличение». Царские холопы, упрекающие Чернышевского в возвеличении императорства, разве это — не зрелище богов?!

Но тут же Бестужев-Рюмин устанавливает второе преступление Чернышевского, а именно его материалистический взгляд на историю, который он намеренно или по недомыслию приравнивает к восхвалению грубо-материальных стремлений и к отрицанию идеалистических порывов. «Статья г. Чернышевского, — пишет он (стр. 123), — столько же вредна для русского развития, как и книга нантского прокурора, только в другом отношении: ее последнее слово — преобладание материальных интересов надо всеми другими условиями существования общества, т. е. именно то, что так долго старались втолковать нам и, кажется, не без успеха, но от чего пора нам и

излечиваться: общества чисто материальные создают «движимый кредит», книгу Дюбуа и цезаризм. Все это — неминуемые плоды преобладания материальных интересов... Конечно, кто спорит — экономические условия страны значат много, но и нравственное ее состояние значит не менее: без нравственных условий правомерное распределение богатств совершенно невозможно... Бокль прав (!), когда считает, что нравственность зависит от степени образования; но образование-то не должно ограничиваться одними естественными науками. Вот в чем весь вопрос» [1].

Следующий залп по Чернышевскому дан был в той же книжке в отделе «Русская литература» (стр. 139—167; возможно, что автором статьи был Дудышкин). Интересна эта статья тем, что в ней представлена сводка разногласий, разделявших либеральную и радикальную группы.

Чернышевский представляется автору статьи в виде «траписта, аскета, посланного в мир проповедывать истину». Отсюда и характер его литературной деятельности. «Видеть человека, которого убеждения дошли до такой выработки и определенности, что не допускают никакого сомнения и превращаются в одну сплошную проповедь, — это такая находка в наш век, что право дивишься... Вера в себя и свои убеждения — вот, по нашему мнению, главные рычаги этого наставительного тона». Правда, тут же следует по примеру Каткова инсинуация насчет того, что к нападкам «Современника» на противников примешиваются какие-то «денежные расчеты», в частности уловление подписчиков, но в иронической оценке проповеднического характера литературной деятельности Чернышевского слышатся все-таки признание его значения и мелкая злоба людишек, не могущих похвастать ни наличием твердых убеждений, ни готовностью постоять за них до конца. Во все времена хамелеоны ненавидели людей последовательных

[1] Забегая несколько вперед, укажем, что и автор следующей статьи в той же книжке «Отеч. Записок» обвиняет Чернышевского в «экономическом материализме» (удивительно, что современники заметили то, что позже ускользнуло от внимания потомков). «Ваше видимое единство направления,— говорит он (ibid., стр. 154), — есть не что иное, как перенесение экономического вопроса в историю, в литературу, в право, в фельетон... Такое единство несовсем трудно достается; оно происходит оттого, что одним началам дается исключительно господство, а все остальные уничтожаются. Конечно, с этим вместе исчезают и все трудности». Впоследствии марксистам приходилось выслушивать не менее глупые возражения. История повторяется. — По поводу экономического материализма Чернышевского иронизировал и Ф. Достоевский (см. Н. Ф. Бельчиков — «Чернышевский и Достоевский». «Печать и революция» 1928, книга V, стр. 39, 44, 52).

и верных своим принцигам, об'являя их «сектантами», «фанатиками» и т. д.

«Вы должны нападать на то, что составляет корень зла в нашем отечестве, что мешает его преуспеянию», — поучает автор Чернышевского, проводя все ту же герценовскую линию, по которой нападение на либералов отождествлялось с прислужничеством самодержавию. И далее от имени всей редакции (Альбертини, Бестужева-Рюмина, С. Громеки и Дудышкина) автор статьи пытается установить наличность принципиальных разногласий между «Современником» и «Отечественными Записками» и довольно точно усматривает их в различии между умеренным буржуазным либерализмом и радикальным демократизмом, не обходясь, по уже принятому со времен герценовской статьи трафарету, без инсинуаторского уподобления радикальной критики принципиальной защите старого строя.

«Отечественные Записки» порвали, мол, с Чернышевским, который раньше в них сотрудничал, из-за взглядов, изложенных в его книге «Эстетические отношения». «На этой вашей знаменитой диссертации мы разошлись; она сделалась новою пиитикою «Современника», а «Отечественные Записки» не последовали за нею в эстетическую область».

Расходятся оба журнала по всем основным вопросам. Что касается вопросов экономической жизни, то «ни у одного из наших сотрудников постоянных, не только редакторов, никогда вы не нашли сочувствия к тем вашим экономическим статьям, которыми вы больше всего дорожите... Если вы припомните, что у нас писали Бунге, Бабст и люди, которые разделяют их убеждения, с оговорками или без оговорок, что мы хвалили Кери, Милля, Бастиа, то вы легко поймете, почему именно мы не сочувствовали вашим статьям... Мы знаем, что ваши статьи идут из желания доказать прекрасные истины; только, к сожалению, ваши примечания к Миллю не доказывают этих истин. Ваш противник остается все-таки сильнее вас: он остается практичен, а вы знаете, что в политической экономии это — первое условие (!). В ваших статьях есть общие идеи, которые нельзя не похвалить; но вы их доказываете общими же местами». Итак, «Отечественные Записки» определенно указывали, что в противность коммунисту Чернышевскому они стоят на почве буржуазной политической экономии в ее апологетической, «вульгарной» разновидности. Это была святая истина.

«Другая сторона — политическая. Вы верно заметили, что мы во всех отделах хвалим Кавура, Маколея, Токвиля, Гизо,... всех тех, кого вы порицаете. Мы хвалим на том основании, что они —

люди теории, близкой к делу, что они высоко ценили и высоко поставили закон постепенности исторической. Мы хвалим Кавура, как политика, создавшего Италию во имя той теории постепенности, которую мы уважаем (разрядка моя. — *Ю. С.*). Вы находите политические убеждения таких людей, как Кавур, мизерными — мы их находим практичными. Вот видите, какая разница!» И в области политической «Отечественные Записки» определенно подчеркивали свои симпатии к постепенному буржуазному прогрессу в противность Чернышевскому, проповедывавшему необходимость крутой ломки и радикального преобразования общества [1].

«Третья сторона: по вопросам литературным мы с вами радикально расходимся. Для нас область искусства и литературы никогда не была суррогатом географии, истории и политической экономии. Для нас она тесно связана с народной жизнью и ее лучшими духовными проявлениями. Для нас она есть высшее проявление всего великого и прекрасного в человеке. Для вас она невозможна в этом значении (?). Поэзия может быть подражанием природе или помощью для изучения экономических вопросов, но ничем самостоятельным быть не может, по вашей теории; для нас она тесно связана с русскою историею и народностью и должна быть лучшим их проявлением. Для вас литература и поэзия — главы политической экономии, переложенные в стихи» [2].

За сим автор статьи подводит итоги разногласиям между либеральным и радикальным лагерями. «И так как мы идем от совершенно противоположных начал, то нам трудно и сойтись. Для вас прежде всего существует известное положение политической экономии, из которого вы выводите всю систему мира от философии до сельского хозяйства и которому в жертву приносите личность отдельного человека, народ, общество и государство; для нас,

---

[1] До какой степени развенчивание столпов либерализма и вообще беспощадная критика либеральной буржуазии на страницах «Современника» озлобляли наших либералов, видно из того, что и 40 лет спустя обида на радикальных «свистунов» была жива в сердцах либеральных обывателей (см. А. Волынский — «Русские критики», стр. 306—307).

[2] Дальше идет маленькая провокация. «А позвольте узнать ваше мнение о русской истории? Мы что-то его не слыхали (!) и не знаем, в чем оно заключается... Ведь история есть почва, на которой растут корни политические и экономические. Знаем одно, что история, кажется, есть хлам» (ib., стр. 154). — На этот вопрос Чернышевский открыто не мог, разумеется, отвечать, ибо его прямого ответа цензура просто бы не пропустила. Как видим, «свирепо-умеренные» и «приличные» либералы немногим отличались от такого «мошенника печати», как Катков.

наоборот, личность имеет капитальное значение, народ существует как данное, для которого изобретены всевозможные теории, от вашей до теории Аскоченского. Для вас не существует препятствий духовных, нравственных, сложившихся в историческую жизнь народа, — не существует их для приведения в исполнение вашей экономической идеи, если вы ее имеете; для нас невозможно применение никакой идеи без предварительного уважения к тому, что выработал и усвоил себе народ. Мы признаем только самостоятельное, разнообразное развитие народа, не в силу предписаний и завоеваний, не в силу теорий, принесенных извне, а в силу естественного хода вещей. А так как народ и общество указывают нам на существование не одного экономического мира, доказывают, что экономическим истинам не подчиняются, а свободно живут с ними и действуют другие начала жизни, то ваше единство направления нам очень не нравится... Отсюда выведите наше экономическое положение о свободе труда,... наше уважение к истории и закону постепенности,... наше отвращение к регламентации экономической и административной, которая из него следует,— и вы, г. Чернышевский, увидите, что и у нас есть кой-какая теория экономическая и политическая».

Трудно было яснее выразить исповедание веры буржуазного либерализма, чем это сделано в предыдущих строках. Да, у «Отечественных Записок» была своя экономическая и политическая теория, но именно ей-то Чернышевский и об'явил войну не на живот, а на смерть. Он хорошо знал, что́ делал, когда критиковал и нападал, но по полицейским условиям не мог только выразить это достаточно ясно, чтобы не оставлять места ни для каких нарочито туманных разглагольствований своих противников [1].

Далее важно выступал С. С. Громека, бывший жандарм, будущий губернатор в Польше, а в рассматриваемый момент — великий поборник либерализма в литературном притоне журнального барышника Краевского. В отделе «Современная хроника России», который он вел, он уже в июльской книжке задел Чернышевского (и Писарева), но в августовской книжке он разразился настоящими громами против главы

[1] Если бы историки, писавшие о расколе между либералами и социалистами в 60-х годах, читали документы эпохи, вроде цитированной сейчас статьи, им не пришлось бы придумывать самых нелепых об'яснений (вроде «печального недоразумения», «тона», «борьбы пушкинского и гоголевского начал» и тому подобных благоглупостей) для истолкования этого естественного и неизбежного явления. Впрочем, читать еще мало; надо и понимать. А без «классовой» точки зрения здесь ничего не поймешь, особенно если вдобавок стремишься (вроде В. Богучарского) исказить историю в интересах буржуазного либерализма, «кадетизма» тож.

ненавистных свистунов, подстегнутый, быть может, похвальным отзывом заступившегося за него в мартовской книжке «Русского Вестника» Каткова.

В этой статье грозного «обличителя» полиции слышится старая песня — сознательное смешение крайнего радикализма с реакцией. По поводу статьи Чернышевского о Поэрио Громека, бывший жандармский полковник, обещал прислать Чернышевскому свой старый жандармский мундир. Со стороны бывшего полицианта — развязность слишком смелая. Чернышевский, пошутив в «Полемических красотах» над горячностью бывшего жандарма, добродушно спрашивал его, продолжает ли он держаться прежнего мнения об инкриминируемой статье. На это Громека, ничтоже сумняшеся, отвечает: «Остаюсь при том же мнении теперь. Недостойною она была потому, что чрезмерная тонкость этой проделки ускользала от большинства читателей; остававшаяся затем чрезмерная грубость статьи давала повод людям нехорошим потирать руки от удовольствия и видеть в ней подпору своим принципам». Другими словами, Громека дает понять, что насмешки Чернышевского над наивными либералами, спасшими неаполитанского короля, когда ему грозила гибель от революции, а затем посаженными этим подлым тираном на десять лет в крепость, были поняты большинством как восхваление абсолютизма и выражение сочувствия палачу!! Какой дурак этому поверит?

Затем Громека переходит к разоблачению «противоречий» радикалов и говорит: «„Современник", думал я часто, любит свою родину и желает ей добра... Почему же «Современник» вопреки собственным чувствам провозглашает эгоизм единственным двигателем прогресса, материальные интересы — единственными интересами, заслуживающими серьезного внимания?.. В таком случае зачем же он так сильно ненавидит тех, которые давно уже не хотят знать никаких других интересов, кроме собственных? За что же он называет этих людей от'явленными, неисправимыми злодеями?

«„Современник" любит истину и верит в торжество ее в будущем... Зачем же «Современник» провозглашает себя единственным журналом, обладающим полною, суровою истиною?.. Зачем он говорит, что ему все равно, что он знает наперед, что где нет «Современника», там не может быть истины?

«„Современник" любит свободу, не любит насилия, вооружается против деспотизма, отвергает авторитеты... Но почему же он так презрительно обращается со всяким, кто не безусловно предан его партии?..

«Я пришел к тому заключению, что «Современник» не столько любит истину, свободу и человека, сколько свою теорию, для осуществления которой не расположен щадить никого и ничего. Он употребил для этой цели свисток — орудие действительно острое, которое могло бы принести пользу, если бы находилось в руках людей, способных любить л ю д е й больше, чем отвлеченную теорию».

Далее Громека расшаркивается перед теорией «Современника», которая «разрабатывает великие вопросы, которым нельзя не сочувствовать». Как осуществится эта теория на практике, пока никому неизвестно. «Один только «Современник» знает,... но, к сожалению, не может открыть его (настоящего способа); он только намекает, что где-то, там, далеко за горами и долами есть таинственные книги, никому кроме «Современника» неведомые и недоступные, в которых заключено последнее слово науки жизни, и что это слово, насколько известно «Современнику», воплотится в жизнь не ранее 150 лет или около того».

Но на Чернышевском свет не клином сошелся. Есть другие люди, тоже интересующиеся этими вопросами, и они решают их не так и делают не те выводы, что Чернышевский. «Мне, — рассказывает Громека (стр. 80—81), — посчастливилось недавно прочесть отзыв человека, читавшего эти книги еще прежде «Современника» и долго изучавшего их смысл. В «Современнике» была напечатана когда-то статья о жизни и учении Роберта Оуэна. Справляясь с этой статьей, я напал на источник более свежий и глубокий, чем тот, из которого черпал свои сведения «Современник». Там, в этом источнике, как в светлом зеркале, я увидел все достоинства и недостатки теории, усвоенной «Современником». Читая эту статью, я испытывал такое наслаждение, какое испытывают люди, встречающиеся лицом к лицу с нелицеприятной правдой, и какого я никогда не испытываю, читая философские и полемические статьи «Современника». Я видел в этом источнике отблеск живой истины, исполненной любви к человеческой личности, а не суровую теорию, которая мертва для похвал и для порицания, почему я усомнился в верности философских показаний «Современника» и в их искренности».

Что же это за источник живой воды, который доставил такое глубокое удовольствие Громеке и убедил его в неправильности теорий «Современника»? Ясно, что это — Герцен и в частности его статья о Роберте Оуэне [1]. Мы видим таким образом, что Герцен давал нашей

[1] Напечатана в шестой книжке «Полярной Звезды», вышедшей в начале марта 1861 года; перепечатана в «Соч.», т. XIV, стр. 466—510. Здесь

буржуазной журналистике материал не только для обличения «ложности» политической линии радикалов, но и для обличения неправильности их коммунистической проповеди. Хотел ли этого Герцен или нет, это другой вопрос; но его тогдашняя либеральная позиция, его скептическое настроение, его неверие в революционные пути — все это сближало его с правым крылом тогдашней российской общественности и делало его союзником буржуазного либерализма и даже консерватизма в их борьбе с радикально-демократическими элементами [1].

Повторяя основанную на игре слов благоглупость Каткова насчет отсутствия в тогдашней России политических партий, либеральный жандарм изрекает: «О политических теориях не может быть и речи в нашем отечестве. Политических партий у нас не существует. Благодарение богу, у нас нет ни бонапартистов, ни орлеанистов, ни других каких-либо подобных партий (!). Все (!!) у нас желают одного — распространения просвещения, устранения невежества и произвола, водворения законности и правильного развития. К этой благородной цели одинаково стремятся все наши журналы. Споров здесь никаких существовать не может и не должно. Споры могут быть только относительно тех или других средств, той или другой формы распространения просвещения... Что же до форм этого развития, то они должны быть предоставлены историческому развитию народного духа, а не заранее сочиненным теориям, как бы близки ни были они нашему сердцу». Разумеется, для своей «заранее сочиненной» теории постепенности и приспособления к таинственному «народному духу» Громека и подобные ему делали исключение.

Либералы хорошо понимали, что партия Чернышевского стремится к захвату власти и к установлению революционной диктатуры

Герцен резко высказывается против революционного коммунизма и отдает Р. Оуэну преимущество перед Бабэфом.

[1] Замечательно, что Громека состоял в числе корреспондентов Герцена, осведомлявших его о русских настроениях, а еще более замечательно, что Герцен по его внушению сеял глупейшие либеральные иллюзии. Так, 1 апреля 1861 года Громека сообщал Герцену, что Тимашев ушел с своего поста, находя III Отделение ненужным после крестьянской реформы, и что П. А. Шувалов был назначен на его место против своей воли, и просил Герцена «беречь до времени Шувалова, пока он подает надежды» (!!). И Герцен в этом духе поместил заметку в № 98—99 «Колокола» от 15 мая, где писал: «Если Шувалов дорожит своим именем, то приняв, как говорят, à contre-coeur место (непростительная слабость!), пусть же он сделает его ненужным» («Соч.», т. XI, стр. 100). Да, всякий человек имеет право быть наивным, но Герцен злоупотреблял этим правом.

для проведения своей программы. И Громека выражает страхи либеральной буржуазии перед такой неприятной для нее перспективой. «Кто будет заправлять ходом нашего учения? — спрашивает он, беря быка за рога, и отвечает: — Людей просвещенных и п р о н и ц а т е л ь н ы х [1], кроме сотрудников «Современника», у нас положительно нет. Кому же, значит, как не им, взяться за дело? Кому, как не г. Чернышевскому, быть директором народного просвещения? Но кто же поручится нам, что тогда он будет действовать иначе, чем действует теперь, что он не оскорбит ни одной личности, не пошлет своих свистящих легионов против дерзких оскорбителей его ученейшей особы, не станет казнить и миловать своих противников, по-добру, по-здорову, так для собственного развлечения? Кто, наконец, поручится нам, что он бросит свои кавуровские привычки [2] и, чего доброго, в минуты скуки не положит ноги на стол?»

Этими словами бывший жандарм сигнализировал опасность радикализма другим жандармам, не снявшим мундира и продолжавшим «против своей воли» охранять царский режим от покушений крамольников. Видеть Чернышевского во главе революционного правительства они естественно не захотели и вскоре избавили Громеку и ему подобных от опасения диктаторской власти Чернышевского.

Беззубому издевательству над Чернышевским посвящены и «Заметки праздношатающегося» (М. П. Розенгейма) в той же августовской книжке «Отечественных Записок». Здесь тоже имеется между прочим замаскированная ссылка на Герцена (стр. 92—93). Указывая на одинаково отрицательное отношение «Современника» к либералам и консерваторам, хроникер уверяет, что бичуемые радикалами «ошибки» либералов происходят «не по принципу, а по недоразумению», и продолжает: «Указывайте им эти ошибки, опровергайте их ошибочные воззрения, помогайте им, если вы лучше понимаете дело, но не оскорбляйте их, не переставайте уважать в них святость и благородство их целей и стремлений. Действуя иначе, вы, может быть, и не подозреваете, что угождаете мракобесию. Должно же быть какое-нибудь различие, когда вы говорите о Н. И. Пирогове и о г. Козлянинове! При всем уважении к вам иной честный, мыслящий человек, оскор-

[1] Любимое словечко, употреблявшееся Чернышевским для насмешки над «либеральными» обывателями. Подчеркивая здесь это слово, Громека давал понять, что он-то разгадал затаенные стремления Чернышевского и компании.

[2] Кавур отличался своей бесцеремонностью по отношению к противникам. В готовности положить ноги на стол его обвинял именно «Современник».

бленный вашим безразличным глумлением, словесным бреттёрством, может иногда поневоле подумать, т о л ь к о в п р о з е (разрядка моя):

Все ему смешки, забава,
Все ругает, все бранит,
Словно вправду Станислава
Досвистаться норовит.

«Если уж вам непременно нужно отвести душу на личностях, то посмотрите только кругом: мало ли у нас этих столбообразных личностей, которые камнями лежат на дороге к лучшему, загражи-вая всякое движение!..».

Как видим, это — б у к в а л ь н о е п о в т о р е н и е того, что сказано было в статье Герцена «Very dangerous!!!»

Августовская книжка «Отечественных Записок» за 1861 год была апогеем полемики этого журнала с Чернышевским. После этого пароксизм бешенства у бледно-жёлтых либералов прошел, быть может, потому, что «Современник», считая, вероятно, вопрос для своей публики ясным и не имея возможности так же свободно поставить все точки над i, как это могли позволить себе господа умеренные «прогрессисты», отвечал на все их залпы из легких и тяжелых орудий презрительным молчанием [1]. После этого полемика или, вернее, вылазки «Отечественных Записок» против «Современника» и в частности против Чернышевского время от времени еще продолжались, но ни разу уже не достигали такой запальчивости, как в августовской книжке 1861 года. Иногда какая-нибудь особенно горячая растрепанная шавка выскакивала из либеральной подворотни и заливалась оглушительным лаем, но видя, что об'ект этого лая проходит мимо, не обращая на усердствующего наймита г. Краевского никакого внимания, сконфуженно умолкала и, понурив голову, отправлялась обратно в свою конуру за преподносимою ей в награду миской помоев, сиречь за авторским гонораром.

Мы упомянем лишь еще об одной вылазке против Чернышевского в «Отечественных Записках», да и то потому, что и здесь автор явно вдохновлялся Герценом и недвусмысленно ссылался на него, подтверждая этим наш тезис о том, что именно Герцен послужил источником литературной кампании против Чернышевского и радикалов вообще [2]. Мы

[1] Если не считать нескольких мимоходом брошенных слов Добролюбова в № 8 «Свистка», вышедшем уже после его смерти (в январе 1862 г.).

[2] Эта сторона вопроса упорно замалчивалась нашими буржуазными историками во славу либерализма, и тщетно мы стали бы искать в их работах указаний на этот бесспорный факт, увы, невыгодный для репутации Герцена.

имеем в виду «Письма об изучении безобразия» за подписью П. Прогрессистова, помещенные в февральской книжке журнала за 1862 год.

Начинается письмо с явной ссылки на Герцена, причем, как мы сейчас увидим, сей подозрительный Прогрессистов оперирует не только первой статьей Герцена «Very dangerous», но и второй (о лишних людях и желчевиках). Завидуя успеху «Современника», подручный Краевского об'ясняет этот успех не направлением критикуемого журнала, а его якобы вульгарным «тоном», приспособленным к низменным вкусам толпы. «Не в направлении дело, когда речь идет о «Современнике», «Искре», «Гудке» и тому подобных увеселительных изданиях. Спору нет, в «Современнике» есть направление... Спору также нет, что многие честные люди, горячо сочувствуя научным стремлениям «Современника», сильно не одобряют его балаганного тона и кривлянья; но большинству, но публике всего более нравится именно этот тон. Балаган есть народное увеселение. «Современник» пользуется народною почвою, на которую стал твердою ногою — в этом его сила».

Другой источник силы Чернышевского это — та железная диктатура, которую он установил в своем лагере. Террор по отношению к своим и террор по отношению к инакомыслящим — вот дескать средства, применяемые Чернышевским, вот секрет его силы. Так, в январской книжке «Современника» за 1862 год Чернышевский об'явил тупоумными глупцами и дрянными пошляками тех людей, которые называли Добролюбова человеком без души и сердца. По этому поводу «Отеч. Записки», правильно принявшие слова Чернышевского и на свой счет, замечают: «Кто же эти д р я н н ы е п о ш л я к и — те ли писатели, которые называли людьми без сердца не Добролюбова, а свистунов вообще и, следовательно, г. Чернышевского в особенности, или же те, которые называли их просто ж е л ч е в и к а м и?». Новая попытка прикрыться авторитетом Герцена и приобщиться к его стану [1].

И как бы для того, чтобы источник его атаки не остался секретом для читателей, Прогрессистов, переходя к разрушению Чернышевским

[1] Дальше следует в высшей степени странный намек, который мы затрудняемся об'яснить. Говоря о литературных спорах, автор статейки вдруг бросает следующие слова (цит. ст., стр. 45): «Пусть г. Катков подаст руку г. Чичерину, г. Страхов — г. Писареву, «День» — «Зрителю», г. Чернышевский — Всеволоду К—рову». Вс. Костомаров (а только его и может иметь ввиду автор этих строк) был заурядным стихоплетом и никаких литературных конфликтов с Чернышевским не имел. Но в рассматриваемое время он уже сидел в крепости и выдавал своих знакомых, в том числе — Чернышевского. П о с л е д н и й а р е с т о в а н е щ е н е б ы л. Что сие значит? Не имела ли редакция «Отеч. Записок» или г. Прогрессистов связей с Третьим Отделением?

авторитетов всяких либеральных и консервативных идеологов, разражается следующей тирадой: «Писателишки вроде Маколея какого-нибудь или Токвиля становятся в моих глазах просто жалкими идиотами. А такие, например, как Катков, Леонтьев, Аксаков, Скарятин, кажутся мне смеха достойны. И не только эти маленькие доморощенные писатели, но самые знаменитые, почтенные всею Европою публицисты представляются мне смешными с своею пылкостью, когда вздумают кричать, указывая на свистунов: „Uery dangerous!"».

Здесь на Герцена, можно сказать, прямо указано пальцем.

Там же напечатано большое юмористическое стихотворение «Последнее новоселье славы» — беззубое подражание «Свистку», который все журналы ругали, но за которым все потащились ввиду его успеха у публики.

Заимствуем из этого стихотворения строки, относящиеся к Чернышевскому, против которого и направлена была вся эта гнусная кампания наемных беспринципных писак.

Негодованию дав волю на свободе,
Припомнив славу «Полемических красот»,
Мне хочется сказать литературной моде:
Ты — жалкая, пустейшая из мод!
Жалка ты потому, что лучший русский гений,
Наш первый публицист и соль родной земли,
Тобою опрокинут в вихре увлечений,
Лежит в забвения пыли...
Из Благосветлова ты сделала героя
Из графа Кушелева — силача,
И философские подонки и помои
Ты в их журнал лила, лила с плеча... [1]
А помнишь ли, как Он явился с смелым взором,
Отмеченный Вернадского перстом,
И признан был всеобщим приговором
Движенья нового вождем?
И «Современник» вновь, в тени его державы,
Окреп и радостно, в безмолвии, считал
Число подписчиков и прибыль свежей славы,
Которой всех Он одевал...
Один, Он был везде и с виду, и на деле —
Отец лихих дружин, изобретатель штук —
В политике, в свистке, в критическом отделе,
В истолкованьи всех наук...
А вы что делали, скажите, все журналы,
Когда литературой так Он заправлял?

[1] Благосветлов — редактор, а гр. Кушелев-Безбородко — издатель журнала «Русское Слово», в котором подвизались Д. Писарев, В. Зайцев, Н. Соколов и пр., и который якобы начал оттеснять на задний план «Современник».

Вы с тайной завистью смотрели на скандалы,
Сам «Русский Вестник» все молчал...
И вдруг, напрягши разом поздние усилья,
С досады, не прозрев позора своего,
Ему вы вздумали обрезать крылья
И как шута ошикали Его!
Лишенный прав и званья исполина,
Измятый свой венок он снял и сбросил сам,
И Антоновича вам завещал как сына —
Вы Антоновича отдали свистунам!
Тогда, отяготив себя изданьем Милля,
Он стал уж мертв для порицаний и похвал
И в душном зное полемического штиля,
Забытый всеми, угасал...
Угас! — замученный забвением холодным,
Безмолвною и гордою тоской,
И, как простой Свисток, он перестал быть модным,
Явился гений уж другой...

(Дальше идет строфа, посвященная популярности Писарева).

И грустно мне, когда подумаю, что ныне
Пресеклась шумная известность вдруг
Того, кто в «Современника» пустыне,
Увы, остался с Антоновичем сам-друг!
Но если взор вождя примчится на свиданье
С той философией, где дух его лежит,
Какое в нем очарованье
При этом виде закипит!
Как будет он хвалить журнал — приют родимый
Всех начинающих карьеру свистунов,
Журнал, где царствует, как он непроходимый,
Как он, великий философ! [1]

3. Кампания переходит в доносы

В первый период либеральной полемики против Чернышевского «Библиотека для Чтения», к удивлению, не приобщилась к общему злобному хору, несмотря на то, что в свое время именно ее предполагалось сделать центром борьбы с радикальными разрушителями. Возможно, что здесь действовало именно недовольство тем, что ее опередили, украли, так сказать, из-под носа ее собственную давнишнюю идею. Возможно также, что здесь играли некоторую роль и соображения конкуренции, ибо с «Современником» у «Библиотеки для Чтения» делить

[1] «Отеч. Записки» 1862, № 2, стр. 36, 41, 46, 48. — В мартовской книжке журнала было помещено второе письмо, в конце которого (стр. 137—138) имеются две стихотворные пародии на Некрасова по поводу инцидента 2 марта в зале Руадзе (см. ниже).

было нечего, тогда как с «Отечественными Записками» у нее была общая аудитория обывательской, политически отсталой и буржуазно настроенной публики. «Современник» для «Библиотеки» не был конкурентом, тогда как «Отечественные Записки» были, и очень счастливым. Одно это обстоятельство могло настраивать «Библиотеку» на примирительный лад по отношению к «Современнику» и на критический по отношению к журналу Краевского. Но, разумеется, далеко заходить в проявлении симпатии к радикалам «Библиотека» не смела. И здесь она могла, самое большее, держаться золотой середины.

И, действительно, статья «По поводу журнальной полемики. — Повальное недоразумение», напечатанная в № 8 «Библиотеки для Чтения» за 1861 год (т. е. до генерального залпа по Чернышевскому в № 8 «Отечественных Записок»), написана сравнительно прилично, хотя трудно разобрать, является ли признание литературных заслуг и достоинств Чернышевского искренним или лицемерным. Но всем своим тоном статья резко отличается от злобных и доносительных выпадов Каткова, который даже определенно осуждается в ней за допущенные им в полемике неприличные приемы.

Автор статьи нападает на тех людей, которые обвиняют Чернышевского в несамостоятельности и в копировании «давно известных французских книжек». «Если, — говорит он, — г. Чернышевский живет чужим умом, и умом не одного человека, а целой фаланги людей, то странно видеть при этом, что у г. Чернышевского постоянно проявляется совершенно стройное и систематическое мировоззрение, так что его философские убеждения и его понятия о человеческой природе нисколько не противоречат его политическим убеждениям и его социальным понятиям, а его политические убеждения и его социальные понятия как нельзя лучше об'ясняют его взгляд на литературу и искусство» (стр. 24—26).

Дальше автор статьи переходит к перечислению достоинств Чернышевского. Он усматривает их в необыкновенном мастерстве и простоте этого писателя, заставившего и других литераторов перейти к общепонятному изложению своих мыслей; в умножении количества мыслей, пущенных в общий оборот. Если даже допустить, что Чернышевский иногда просто популяризирует чужие идеи, то и это составляет огромную заслугу перед русским обществом, незнакомым с результатами общечеловеческой мысли. Но Чернышевский вместе с тем не только прекрасный популяризатор прогрессивных идей, но и оригинальный писатель — как со стороны формы, так и со стороны содержания. «Если мы обратимся к г. Чернышевскому, — говорит автор заметки, — и укажем на ту общеизвестную вещь, что статьи его постоянно узнают-

ся даже и в том случае, когда под ними не поставлены озлобляющие буквы Н. Чернышевский, — узнаются до такой степени, что из многочисленных случаев такого рода еще ни один не был ошибочен, — то из этого мы должны будем заключить, что статьи г. Чернышевского отличаются именно тою индивидуальною манерою, которую мы называем оригинальностью и которая дается только людям, способным производить новые мысли, и что по этому самому литературные недруги г. Чернышевского, попрекающие его французскими книжками, а между тем подвергающие критике его статьи без подписи, опровергают сами себя и, конечно, делают это гораздо лучше, чем можно было бы сделать каким-нибудь другим способом».

Что касается направления Чернышевского, то оно не пугает автора заметки (может быть потому, что он сначала просто плохо разобрался в нем). «Направление это, — говорит он — если его пополнить тем кругом понятий, который остается недоступным г. Чернышевскому, а между тем никогда не переставал заключаться в общем об'еме наших умственных приобретений, есть господствующее направление всей русской литературы и составляет в ней прогрессивно развивающуюся традицию».

Враги Чернышевского (автор, повидимому, имеет ввиду «либералов»), нападая на него, не ведают, что творят. «Недальновидны были те люди, которые сначала — и очень долго — хотели совершенно игнорировать г. Чернышевского, хотя и не могли не чувствовать его пришествия в русскую литературу; которые потом, когда почувствовали в нем силу, почли ее почему-то (!) для себя враждебной; а когда почли ее враждебною, то, к своему собственному стыду, начали придираться к опечаткам в статьях г. Чернышевского и уличать его» (в невежестве).

Более того, вразрез с общим либеральным лозунгом, идущим от Герцена и проводящим знак равенства между критикой либерализма слева и справа, между радикальной демократией и полицейской реакцией, автор статьи в «Библиотеке для Чтения» правильно указывает, что как раз либералы, нападая на радикалов, солидаризуются с реакционерами.

«Пусть, — пишет он, — подумают и все, кому г. Чернышевский стал поперек дороги, куда они идут и кого они тешат. Они тешат людей, от которых г. Чернышевскому без сомнения достается всех более, но достается между прочим и им самим; они тешат людей, о которых всего менее думают в то время, когда упражняют всю силу своего соображения в преследовании опечаток г. Чернышевского, — да, именно в преследовании опечаток, потому что о массе оригинальных мнений г. Чер-

нышевского до сих пор, за двумя-тремя исключениями, обыкновенно говорили, что их опровергать не стоит труда».

И дальше: «А про то и не догадываются благородные мыслители и благонамеренные граждане, что в своей вражде к г. Чернышевскому они наживают себе таких единомышленников, против которых и должна бы на это время быть устремлена вся их деятельность... Не видеть того, что сделал г. Чернышевский для русской литературы, а через нее и для общественного смысла, можно только при одном условии, именно: нарочно отворачивая лицо, чтобы не видеть того, что неприятно».

Но, разумеется, долго обывательская «Библиотека» не могла удержаться на этой «внефракционной» позиции. «Недоразумением» была не полемика либералов против Чернышевского, а преходящий «сверхпартийный» об'ективизм «Библиотеки для Чтения». Скоро она почуяла, куда ветер дует, и не только сравнялась в своей обличительной прыти с «Отечественными Записками», но и далеко оставила их за собою. Достаточно взглянуть на статейку М. К.[1] — «Учиться или не учиться? — Заметка относительно того важного влияния, которое г. Чернышевский имеет в литературе», напечатанную в майской книжке «Библиотеки для Чтения» за 1862 г., чтобы увидеть, как скоро этот презренный журнал нашел свое истинное место в хоре охранителей и охранников.

Автор статейки пытается доказать, что своими крайностями Чернышевский не способствовал общественному прогрессу, а компрометировал его. «Нужно было, — пишет он, — чтобы требования его (общества) были действительными требованиями здравого смысла. Что же сделал для всего этого г. Чернышевский, как представитель «Современника» и людей, сочувствующих ему?.. Например, начался вопрос об эмансипации женщины... «Современник» занялся этими вопросами и решил их так, что пришел к проституции, которую он и представляет идеальным положением женщин (!)[2]. Прогрессивнее этого, разумеется, быть нельзя. Начался вопрос о том, как поднять научное образование нашего современного и будущих поколений... «Современник» нашел, что это совсем ненужно, и доказывал, что об этом думать не стоит, а надобно дать не только возможность учиться, но и другие студенческие права тем, которые совсем не приготовлены к серьезному занятию

[1] Не был ли автором этого гнусного доноса проф. М. И. Касторский, сотрудник м-ва внутр. дел, писавший для него конфиденциальные докладные записки, а впоследствии составивший для Третьего Отделения записку о литературной деятельности Чернышевского? (См. ниже).

[2] Замечательно, что это писалось еще до выхода романа «Что делать?», который охранители пытались истолковать в таком именно духе.

науками. В результате был бы окончательный упадок науки в России... Поднялся вопрос о самоуправлении. «Современник», разумеется, — за самоуправление; но на простом самоуправлении он не остановился: это было бы не довольно прогрессивно, он пошел до федерального начала...

«Но специальность «Современника» составляет политическая экономия, а в политической экономии, как известно, есть две школы: экономическая и социальная; более прогрессивная школа есть социальная; кроме «Современника» у нас ей следуют некоторые другие журналы, равно как некоторые ученые, чуждые журналистике. Но разумный социализм не довольно прогрессивен, и «Современника» он удовлетворить не может; и вот «Современник» развивает теории, которые компрометировали социализм на Западе и компрометируют его в России... [1].

«Потом начинаются вопросы философские; известно, что в философии существует вечный антагонизм между идеализмом и тою школою, которую мы здесь назовем реализмом... И вот «Современник» сделался партизаном реализма, тем более что и самые передовые люди Западной Европы, как например, Шопен-Гауер (sic!), тоже не долюбливают идеализм. Но и сам Шопен-Гауер в своем реализме ушел очень недалеко, и он, так или иначе, еще поддерживает связи с идеализмом, что показалось «Современнику» опять-таки недовольно прогрессивным; и он пошел дальше и ушел так далеко, что даже знаменитый философ «Русского Слова» дальше его пойти не мог, а только ограничился подробностями, и все-таки славу передового человека у г. Чернышевского не отбил.

«И в других вопросах то же самое: самый крайний прогресс, — не разбирая ни потребностей общества, ни средств, не придерживаясь ни законов здравого смысла, ни требований нравственности, короче — ничего; прогресс, так уж прогресс!..»

Кто же идет за Чернышевским? Одно отребье общества. «Пусть обернется г. Чернышевский около самого себя, — восклицает доносчик, — и посмотрит, на кого имеет он влияние, и какое это влияние. «Современнику» не понравились «Отцы и дети», потому что там Базаров представлен в дурном свете. Положим, и пусть Базаров, представитель молодого поколения, не имеет недостатков, а имеет только одни добродетели. На таких ли людей г. Чернышевский имел влияние? Нет. Кто знает наше молодое поколение, тот знает и то, что не только идеалы всех добродетелей, но и настоящие тургеневские Базаровы от влияния г. Чернышевского свободны. От него же свободны такие мо-

[1] Здесь доносчик по существу был прав: Чернышевский был сторонником не мирного салонного «социализма», а революционного коммунизма, столь же ненавистного для западной буржуазии, как и для российской.

лодые люди, как Аркадий Кирсанов; они — далеко не реалисты в смысле г. Чернышевского. Влиянию г. Чернышевского подверглись Ситниковы в полном значении этого слова, т. е. действительные откупщицкие детки, которые, жуируя самым разнообразным способом с помощью капиталов, нажитых чадолюбивыми папеньками, между прочим разнообразят свои наслаждения удовольствием делания прогресса, но так, что их прогресс компрометирует целое молодое поколение [1]. Кроме откупщицких сынков тут, разумеется, найдется и еще довольно господ, подобным образом понимающих прогресс, между прочим такие обличительные поэты, которые в видах прогресса делают свое обличительное служение и в то же время, предаваясь различного рода наслаждениям, в случае споров, возникающих между ними и трактирными слугами, из своего обличительного служения делают угрозу для подобных противников, например, обещаясь сжечь их одною искрою и т. п.»... [2].

Было время, — элегически замечает автор, — когда к Чернышевскому и к «Современнику» относились с сочувствием лучшие люди нашей литературы. «В предпоследние годы статьи, помещаемые в «Современнике», были подписаны именами, принадлежащими людям, наиболее уважаемым в литературе. Между прочим там были Тургенев, граф Толстой и другие. Где они теперь, все эти люди? Они пошли своими сочинениями усиливать противоположные лагери; другого им ничего не оставалось. Быть сотрудниками «Современника» они не могли, если уважали самих себя. Прогресс «Современника», дело рук г. Чернышевского, получал все более и более такой колорит, которого честные люди принять на себя не могли. Образ действий редакции все больше и больше обнаруживался — до того, что «Русский Вестник» имел возможность по случаю поминок, которые редакция «Современника» устроила над могилою Добролюбова, бросить ей печатно в лицо известную характеристику, и не получить никакой реплики. Бедное молодое поколение, каких же представителей имело ты до сих пор!»

Дальше М. К., повторяя все ходившие тогда в «либеральных» журналистских кругах сплетни, впадает в такой тон, который и Каткову

---

[1] Явный намек на Н. Утина, игравшего видную роль в студенческих волнениях 1861 года. Ср. фигуру Ситникова в «Отцах и детях».

[2] Намек на сотрудников сатирического журнала «Искра», в частности на В. Курочкина. Последний любил выпивать. Когда Николадзе однажды упрекнул его в этом, указав на Чернышевского, который не пьет, то Курочкин возразил: «Чернышевский! Вздумали кого ставить в образец: да он гений, святой. Разве он человек? Мы же — простые смертные» (Н. Николадзе — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 45).

в то время еще не снился. «А наше молодое поколение, — вопрошает он, — как оно явилось на суд общества благодаря людям, которые называют себя его представителями, то есть каковы эти представители? Одним говорят в лицо, что они обкрадывают своих друзей [1], другим говорят, что и их друзья терпели их только по неопытности, потому что не хорошо раскусили их; иные делают фальшивые подписи, для некоторых журнальная деятельность есть средство напиться в публичном месте и не заплатить за это денег и т. п. Еще раз повторим: бедное молодое поколение!.. Г. Чернышевский и г. Некрасов со своими сотрудниками, г.г. В. и Н. Курочкины со своими представляют ту часть молодого поколения, которую г. Тургенев действительно очень верно олицетворил в своем Ситникове, который по справедливости пользуется презрением со стороны Базарова, каков бы он ни был сам»...

Ниспровергая буржуазные авторитеты, Чернышевский, видите ли, выступал против науки!

«И пусть г. Чернышевский не трудится теперь доказывать, что он не расходился с наукою, не писал статей против нее; теперь это поздно; об этом надобно было думать сначала, а этого-то он и не делал, когда он писал свои отзывы о Маколее, Гизо или Токвиле. И Токвиль, и Маколей, и еще больше Гизо имеют свои недостатки, только не так надобно относиться к их недостаткам, как относился к ним г. Чернышевский. Его манера была бы очень хороша для осмеяния общепризнаваемых общественных пороков; но она совсем не годится там, где дело идет о научной критике, о спорном вопросе; шиканьем и свистом научные или общественные вопросы не решаются... И не прав ли был г. Павлов [2], уверяя, что некоторые влиятельные люди в литературе отвлекали юношество от науки?»

Имея, повидимому, связи с полицией и зная, что в скором времени предстоит «ликвидация» Чернышевского, автор статейки начинает смело пророчествовать: «О своем важном влиянии, о своей известности г. Чернышевский тоже нашел случай заявить перед публикой. Все это мы признаем вполне; но повторим при этом словами, не раз сказанными прежде в других более суровых обстоятельствах: вы имели важное влияние, вы имели успех; но это было тогда, когда народ потерял голову, когда он отшатнулся от здравого смысла. А когда народ возьмется за ум, когда он начнет придерживаться здравого смысла, тогда вы потеряете и ваше влияние, и ваш успех. Пожалуй, можно сюда прибавить еще и то, что это время уже началось.

---

[1] Намек на обвинения Герцена и Огарева против Некрасова.

[2] Т. е. московская рептилия. Н. Ф. Павлов, издатель «Нашего Времени».

«И ему давно пора начаться; компрометировать наш прогресс, успехи нашей общественной жизни больше, нежели компрометировали их представители нашего молодого поколения, нельзя. Этого мало, что они не хотели знать ни здравого смысла, ни серьезной науки, они вооружились против всего, что есть в нашем обществе наиболее честного, благородного, самоотверженно служащего общей пользе; они преследовали и продолжают преследовать всякого честного общественного деятеля, как Пирогова, Тургенева, Л. Толстого и т. д., и в то же время свои собственные дела принуждены об'яснять историею Юдифи; но это об'яснение не удается»[1].

Эта статья уже выходит за пределы литературной полемики и напоминает скорее полицейский рапорт по начальству[2]. Об'яснить появление таких статей, равно как и писаний Каткова, одними соображениями торгашеской конкуренции невозможно. Конечно, успех «Современника» и особенно «Свистка» выводил из себя издателей других журналов, которые оттеснялись «Современником», и пустота которых бросалась в глаза наряду с блестящим журналом Некрасова-Чернышевского. Живость, увлекательность и интерес, какие Добролюбов придал «Свистку», не давали спать журналистской братии. «Свисток» не только разоблачал их пошлость, но и дразнил их аппетиты. И вот, браня «Свисток», понося его на всех перекрестках, об'являя его вслед за Герценом гаерством и балаганным шутовством, все другие журналы начали посильно ему подражать.

«Русское Слово» завело у себя отдел «Заметки Темного Человека» (Д. Д. Минаева), «Отечественные Записки» — «Записки Праздношатающегося» (М. П. Розенгейма), «Библиотека для Чтения» — «Воззрения, чувства и наблюдения статского советника Салатушки» (А. Ф. Писем-

---

[1] «Библиотека для Чтения» 1862, № 5, стр. 187—195.

[2] 21 декабря 1861 года Н. А. Мельгунов писал Шевыреву: «Положение нашей литературы, как общества, довольно печально... Представь, есть люди, которые печатно перещеголяли Чернышевского. Он теперь уже чуть не о т с т а л ы й. Все это в Петербурге. У нас (в Москве.— *Ю С*)— вещь удивительная. Корш, Кетчер (!!) и другие сражаются под знаменами Бориса Чичерина, Соловьева и Дмитриева за самодержавие (beaucoup), православие (un peu) и народность (в придачу), но с фанатизмом, ожесточением, и вызывают бури в университете. Словом, Петербург это — крайняя левая сторона, гора (которая, разумеется, родит мышь), а Москва — крайняя правая. Середину занимают здесь Катков, в Питере — Дудышкин («Отечественные Записки»)». См. Б а р с у к о в — «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн. XVIII, стр. 485—486.

В сравнении с такими «статьями», как заметка М. К., и тогдашние статьи-доносы Каткова могли казаться «умеренными».

ского), «Время» — «Записки ненужного человека» (А. Григорьева) и т. д. Но по сравнению с «Свистком» все это было беззубо, бесталанно и вульгарно, ибо сила «Свистка» заключалась не в одних дарованиях и остроумии его сотрудников, но и в их направлении, в их духе, в их общественном энтузиазме, которым подражатели оставались чужды.

Этот-то дух, это-то направление и были основной причиной того, что вся журналистика без исключения обрушилась на «Современник» и в особенности на его идейного руководителя Чернышевского, ненавистного проповедника материализма и коммунизма. Характерно, что «Время» Достоевского сначала смеялось над походом Каткова (в заметке «Свисток и Русский Вестник», 1861, № 3). Но уже в той же книжке А. Григорьев тоже напал на редакцию «Современника» за ее «поучающий тон» (о распекательном тоне «желчевиков», как мы помним, говорил и Герцен), а скоро Косица (Н. Страхов) открыл в журнале систематическую кампанию против нигилизма. Как позже вспоминал сам Страхов, «нигилизм сделался некоторого рода специальностью «Времени»: оно постоянно следило за ним и анализировало его с различных сторон». И при этом он делает интересное указание: «Начало борьбы с нигилистическим направлением положил сам Федор Михайлович (Достоевский) в своей статье « — бов [1] и вопрос об искусстве» («Время», 1861 г., февраль»). Даже такие, казалось бы, аполитические издания, как «Светоч» Д. И. Калиновского, сочли нужным так или иначе вмешаться в полемику, становясь, разумеется, не на сторону Чернышевского [2].

На кампанию журналов слегка откликнулся умиравший Добролюбов в № 8 «Свистка», вышедшем при январской книжке «Современника» за 1862 год, т. е. когда Добролюбов уже лежал в могиле. Потому ли, что он был очень болен, или потому, что считал ответ по существу невозможным по цензурным условиям, Добролюбов ограничился несколькими насмешливыми и презрительными словами по поводу крестового похода против радикалов. Указав на то, что «все журналы, не исключая и тех, которые наиболее стараются походить на «Revue des deux Mondes», признали необходимым открыть балаганные отделы, отделы со свистом и пляскою» и перечислив их, Добролюбов продолжал: «Наконец по поводу появления летом прошедшего года «Полемических красот» в «Современнике» некоторые журналы, забыв и ученые цели, которым

[1] Один из псевдонимов Добролюбова. — «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», Спб. 1883, стр. 234—235.

[2] См. заметку «Прогресс скандала» в № 8 «Светоча» за 1861 год (стр. 46—48).

постоянно служат, и многолетние ученые привычки, обратили положительно все отделы в балаганные. Вообще же свист сделался столь пронзительным и резким, что стал похож на визжание, раздавался непрерывно, неумолчно во всех журналах, газетах, газетках, так что в нескончаемости его в отечественной литературе не могло оставаться более никакого сомнения».

Но тут же Добролюбов отмечает принципиальную разницу между обличениями «Свистка», проникнутыми духом гражданской скорби, и действительно балаганным шутовством его пошлых подражателей. Намекнув на положение революционной сатиры, принужденной выражаться эзоповским языком, и на горькое чувство негодования, скрытое под маской веселой насмешки, Добролюбов слабеющей рукой выводит свои последние строки.

А, впрочем, читатель ко мне благосклонен,
И в сердце моем он прекрасно читает:
Он знает, к какому я роду наклонен,
И лучше ученых мой свист понимает.
Он знает: плясать бы заставил я дубы,
Совсем изменил бы их нравы и доли,
Когда б на морозе не трескались губы,
И свист мой порою не стоил мне боли...[1]

Но характеристика кампании либеральных и консервативных журналов против «Современника» как балаганной была слишком мягка. На самом деле классовая злоба вылилась здесь в самой отвратительной форме: начавшись с литературной полемики, она быстро перешла к доносам, которые в те времена грозили жертве таких «разоблачений» самыми тяжелыми последствиями. И эта кампания, развязывавшая руки Третьему Отделению, которое давно уже точило зубы на Чернышевского[2], продолжалась вплоть до его ареста.

Во «Внутреннем обозрении» «Современника» в апрельской книжке 1862 года сделана была попытка дать некоторый отпор доноси-

[1] «Сочинения» Добролюбова, т. IV, стр. 941—946.

[2] В этом отношении характерны следующие слова из донесения следившего за Чернышевским агента от 5 марта 1862 года, т. е. после знаменитого вечера в зале Руадзе: «Чернышевский все более и более утрачивает расположения к себе; еще один-два промаха, и он станет на одной ступени с Писемским. Статьи, помещенные противу него в «С.-Петербургских Ведомостях» и «Северной Пчеле», и разбор его биографии Добролюбова, помещенный в журнале «Время», сильно подорвали его кредит. Он сильно восстановил всех своими ругательствами» («Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III Отделения». «Красный Архив», т. XIV, стр. 112). Полиция слушала и мотала на ус.

тельской кампании реакционной и либеральной печати против Чернышевского. Там говорится: «Разработка [1] г. Чернышевского производится литературою уже довольно долгое время. В особенности ревностно этим делом занята «Северная Пчела». Поговаривали, что там предполагается даже учредить особый отдел под названием Чернышевщина... Все зла, какие только содеваются в мире, непременно содеваются по злоумышлению Чернышевского или при его несомненном участии, видимом или невидимом содействии, влиянии и т. п...

«В 67 № «Северной Пчелы» неизвестный... сочинитель, говоря о русской беллетристике в статье «Наши журналы», вставил о Чернышевском между прочим такое замечание: «редко случается, чтобы можно было сказать: эта повесть или эта драма соответствует направлению такого-то журнала, хотя у нас есть известного рода литературные цветочки, выросшие на журнальной почве, например, рассказы и повести г. Успенского [2]; вероятно, и ягодок на почве, возделанной г. Чернышевским с братией, дождемся»... Кажется, ничего ясного и определенного. А между тем именно в этой неясности, неопределенности замечания и заключается его сила. Какая это почва, какие цветочки, какие ягодки, — как хотите, понимайте!.. С особенною ревностью подвизается „Пчелка"».

В качестве участников травли статья называет «Северную Почту», «Наше Время», «Северную Пчелу», «Санкт-Петербургские Ведомости», «Отечественные Записки» и «Русский Мир» [3].

До каких геркулесовых столпов доносительства доходила реакционная пресса, видно из того, что «Северная Пчела» П. Усова в передовице от 30 мая 1862 г., посвященной статье Чернышевского «Научились ли?», ставила Чернышевского за одну скобку с вышедшей тогда крайней революционной подпольной прокламацией «Молодая Россия». А состоявшее на содержании мин. вн. дел «Наше Время» Н. Павлова

---

[1] Специальный термин охранников, намекающий в данном случае на специфический доносительный характер этой газетной кампании.

[2] Речь идет о Н. Успенском, авторе рассказов из народного быта, весьма высоко ценимых Чернышевским и вызвавших его известную статью «Не начало ли перемены?».

[3] См. Ветринский — «Н. Г. Чернышевский», стр. 150—151. — В № 45 «Северной Почты» за 1862 год помещена была статья Василия Заочного (т. е. катковского подручного В. Ржевского) «Обозрение литературных журналов за январь 1862 г.», в № 70 «Северной Пчелы» — «Петербургское обозрение» (все по поводу вечера 2 марта, о котором ниже); в «С.-Петербургских Ведомостях» подвизался пресловутый Скарятин, поместивший в № 58 статейку «Образцы самоновейшего красноречия». О выходках «Отеч. Записок» и «Библиотеки для Чтения» говорится в своем месте.

в № 107 от 22 мая 1862 года по поводу той же статьи Чернышевского писало: «Наконец он становится успокоителем и обещает, что насколько делание или неделание демонстраций зависит от воли студентов, демонстраций не будет. Мы вполне полагаемся на его слова. Кому, как не камергеру, знать, что делается при дворе!» [1]. Яснее намекнуть на руководящую роль Чернышевского в революционном движении было трудно.

Н. Николадзе, очевидец и современник этой травли, говорит по этому поводу: «Другая полемика, обращавшая тогда на себя всеобщее внимание молодежи, была травля «Современника», особенно же лично Чернышевского, в газете «Северная Пчела», перешедшей после смерти в 1859 г. Ф. Булгарина в руки Павла Усова и принявшей умеренно-либеральное направление. Мотивом этой травли служила мысль, что не будь того журнала и писателя, не было бы в молодежи никакого волнения. Хоть в газете эта травля практиковалась молодыми писателями, Н. С. Лесковым и родившимся в России англичанином Артуром Бенни, слывшим «эмиссаром Герцена», но Стопакевич [2] и его знакомые убеждены были, что ею руководит III Отделение собственной его величества канцелярии, заведывавшее тогда высшею политикой правительства и политическою полициею... Была ли эта травля внушена III Отделением или нет, все равно, она отражала убеждение последнего, что Чернышевский — главный з а ч и н щ и к всех беспорядков и всего движения. Не будь его, ничего бы не было. Особенно усилилось это настроение после колоссального успеха в публике статьи «Научились ли?» [3].

Дело естественно не ограничивалось газетными и журнальными статьями и доносами. Кампания против радикалов и особенно против Чернышевского шла и в разговорах, и в частной переписке. Настоящую вакханалию бешеной брани враги Чернышевского учинили по поводу его выступления на литературном вечере, имевшем место 2 марта 1862 года в зале Руадзе в пользу недостаточных студентов Петербургского университета (на самом деле в пользу политических заключенных, в частности М. Михайлова и В. Обручева).

---

[1] См. Л е м к е — «Эпоха цензурных реформ», стр. 152 и 157.

[2] Старший корректор «Современника».

[3] Н. Н и к о л а д з е — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 36—38. — Николадзе отмечает, что статья «Научились ли?» была лебединой песнью Чернышевского. Статьи для следующей книжки «Современника» (майской) были почти все задержаны цензурой, а затем журнал был закрыт на восемь месяцев, после чего вскоре последовал арест Чернышевского.

Существует несколько описаний этого вечера, также, повидимому, сыгравшего некоторую роль в судьбе Чернышевского. Присутствовавший на нем В. Сорокин [1] в своих воспоминаниях так рассказывает об этом вечере: «В пользу его [2] тотчас же был устроен большой литературно-музыкальный вечер в зале Кононова, замаскированный об'явлением, что он дается в пользу недостаточных студентов. И самая программа этого вечера была составлена крайне тенденциозно, и исполнение ее было в высшей степени возбуждающего свойства. Так, например, Рубинштейном был исполнен чрезвычайно эффектный марш «Les ruines d'Athènes», тема которого, как известно, заключается в изображения восстания угнетенных греков; В. С. Курочкин прочитал свой перевод стихотворения Беранже «Птичка», в котором воспеваются томления несчастной узницы в клетке и затем ликование ее, когда она вырвалась на свободу; Н. Г. Чернышевский сделал устное сообщение о жизни и значении литературной деятельности Добролюбова в тоне и характере, как нельзя более соответствовавшем тогдашнему возбужденному настроению публики; профессор Павлов произнес речь по поводу праздновавшегося в тот год тысячелетия России... и кончил следующими словами: „если правительство остановится на этом первом шаге (освобождении крестьян), то оно остановится на краю пропасти... Имеющий уши слышати, да слышит!"».

Несколько отличное описание дает и присутствовавший на вечере Н. Николадзе. «Дебют Чернышевского, — пишет он, — несмотря на такое (восторженное. — *Ю. С.*) настроение публики, а может быть, и вследствие того, не удался. Он был встречен такою овацией, какой при мне едва ли кто удостоивался. Он не читал, а рассказывал, скромно, тихо, точно разговаривал с приятелем, о своем знакомстве с Добролюбовым, об его отношениях к родным, об его добросовестности в работе и т. п. Ни малейшей театральности, никакого желания привлечь внимания слушателей, а тем более увлечь их не было и следа. Он даже ни разу не повысил голоса, не сделал жеста. Все было просто. Иногда он трогал свою цепочку от часов. Но что больше всего дивило нас, это то, что никаких жалоб на гнет власти Чернышевский не высказывал.

---

[1] В. Сорокин — «Воспоминания старого студента». «Рус. Старина», 1906, № XI, стр. 465.

[2] Сорокин путает, уверяя, что вечер был устроен в пользу арестованного (на самом деле лежавшего уже тогда в могиле) Добролюбова. Он, видимо, смешал его с М. Михайловым, незадолго до того сосланным на каторгу. В его сообщении интересно указание на революционный характер выступления Чернышевского. П. В. Павлов был за свою речь арестован через три дня и выслан в Ветлугу, что наделало тогда много шуму.

Ничего бесцензурного, никаких заключений он и не старался пускать в ход, и так же просто встал и ушел, как говорил. Зал так и ахнул от разочарования. Не верилось, что это был в самом деле Чернышевский, тот самый, который так бесцеремонно крушит в печати первоклассных писателей. Ретивейшим из его поклонников показалось, что нам его просто подменили, пользуясь тем, что он почти никогда нигде не показывался, да и портрета его нигде нельзя было достать. Дамы, страстно желавшие его видеть и слышать, нашли, что он вовсе не интересен. Через день «Северная Пчела», все время критиковавшая «Современник», с восторгом об'явила, что публика немилосердно освистала Чернышевского за то, что он неприлично держал себя перед нею, развалился на кафедре, играл цепочкою и т. д. Нас это обидело тем более, что никаких свистков в тот вечер мы ни по адресу Чернышевского, ни вообще не слыхали.

«Несколько дней спустя стало известно, что П. В. Павлов по высочайшему повелению выслан из столицы в одну из наиболее отдаленных губерний за свои продерзости на вечере. Только тогда мы простили Чернышевскому его осторожность и поняли, что благодаря сдержанности своей он избег той же участи» [1].

С внешней стороны выступление Чернышевского было, повидимому, неудачным. Оратор он был вообще плохой, публично выступал чуть ли не впервые, взял сильно волновавшую его тему и т. д. Даже такой дружественно расположенный к нему человек, как Л. Пантелеев, говорит: «Теперь вообще не может быть спора, что чтение Чернышевского, воспоминание о Добролюбове, было неудачно. Это был его первый да и единственный выход перед публикой; он был видимо ажитирован, хотя и старался показать противное. Экспромтом говорить он, видимо, был не мастер, а между тем к чтению не подготовился» [2].

---

[1] Н. Николадзе — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и Ссылка», 1927, № 5/34, стр. 33—34.

[2] Л. Пантелеев — «Из воспоминаний прошлого», ч. I, Спб. 1905, стр. 156 — Пресловутый Пьер Боборыкин (Бобо) тоже оставил нам описание этого вечера. «Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне не понравилась. Я перед тем нигде его не встречал и не видал его портрета. Он тогда брился, носил волосы à la mougik (есть такие его карточки) и казался неопределенных лет, одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах, не во фраке, а в пиджаке и цветном галстухе. И как он держал себя у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким тоном стал говорить с публикой, и даже то, что он говорил, — все это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запанибратство во всем, что он тут говорил о Добролюбове, — не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто напоминавшее те обращения к читателю, которыми испещрен был два-три года спустя его роман «Что

Но все это не об'ясняет той пляски каннибалов, которую охранительная пресса устроила по поводу этого выступления, тех злостных и злобных сплетен, которые сопровождали это выступление и даже предшествовали ему. По этому поводу Головачова-Панаева пишет: «В начале 1862 года давался литературный вечер в пользу Литературного фонда. Когда было об'явлено, что на этом вечере Некрасов будет читать некоторые стихотворения Добролюбова, а Чернышевский — его характеристику, то в литературной среде разнеслись слухи, что оба они будут ошиканы. Накануне вечера Некрасов получил анонимное письмо, в котором ему советовалось сказаться больным, чтобы избежать скандала, так как публика уже заранее возмущена тем, что Чернышевский хочет, наперекор общему мнению, придавать значение такой личности, литературную деятельность которой, хотя к счастью и кратковременную, всякий образованный и порядочный человек считает позорною. Однако скандала не произошло никакого. Напротив, при появлении Некрасова и Чернышевского на эстраде и уходе с нее раздавались шумные аплодисменты. Но все-таки нашлись люди, уверявшие тех, кто не был на этом вечере, будто Некрасову шикали, а Чернышевскому публика даже не дала окончить чтение, так как он держал себя крайне неприлично» [1].

5 марта 1862 года П. И. Мельников писал Погодину [2]: «Чернышевский ошикан... Трудно представить себе что-нибудь более наглое, более неприличное, чем чтение Чернышевского (в первый раз перед публикою)... Безобразие в высшей степени. И вас помянул (диспут

делать?». Главная его тема состояла в том, чтобы выставить вперед Добролюбова и показать, что он, Чернышевский, нимало не претендует считать себя руководителем Добролюбова, что тот сразу сделался в журнале величиною первого ранга. В сущности это было симпатично, но тон все портил. Может быть, на меня его манера держать себя и бесцеремонность этой импровизированной беседы подействовали слишком сильно; а я по своим тогдашним знакомствам и связям не был достаточно революционно настроен, чтобы все это сразу простить и смотреть на Чернышевского только как на учителя, на бойца за самые крайние идеи в радикальном социализме, на человека, который подготовляет нечто революционное... Сколько помню, публика на том вечере не сделала Чернышевскому особенно громкой овации, и профессор Павлов имел гораздо более горячий прием, что его и загубило» (П. Д. Боборыкин — «За полвека». «Минувшие Годы», 1908, ноябрь, стр. 143).

[1] «Русские писатели и артисты», стр. 355—356. — Факты здесь переданы несколько неточно (вечер был в марте, а не в начале года и т. п.), но настроение схвачено верно.

[2] Мельников-Печерский—писатель и чиновник, жестоко преследовавший старообрядцев и сектантов.

с Костомаровым). Нет, далеко уже зашел — кажется, скоро в Обуховскую свезут. Мы уже начали против него говорить!» И в том же письме он сообщает: «Скоро будет статья, где называют сего сильного человека просто шарлатаном. Он положительно вреден, отрицая науку (!), искусство, все, все, кроме своего я» [1].

Озлобление охранителей несомненно вызвано было именно фактом публичного выступления ненавистного писателя. Это психологически понятно и случалось в истории неоднократно. Пока знакомство их с проповедником материализма и коммунизма ограничивалось чтением его статей, он представлялся им чем-то отвлеченным, далеким, существующим теоретически; ненависть к нему была поэтому у большинства обывательской публики чем-то платоническим, нереальным (разумеется, не у таких сознательных политиканов и матерых охранителей, как Катков). Но когда они увидали его перед собой во плоти, живым, с сардонической усмешкой и презрительными словами, ожесточение их против этого человека, рисовавшегося им (по выражению приводимого ниже письма одного крепостника к нему) не иначе как ввиде вождя новой пугачевщины, с руками в крови по локоть, вспыхнуло с небывалой силой. Теперь он стал им ненавистен не как абстракция, а как реальный человек, злодей, посягающий на их привилегии и их благополучие, кующий в тиши преступные ковы против общественного порядка, при котором им так тепло и уютно жилось, призывающий мужиков «к топорам», к резне собственников, «порядочных», «культурных», «образованных» людей, словом, как изверг человеческого рода, достойный самой лютой казни (аналогичное отношение вызвали среди буржуазии первые публичные выступления Ленина в 1917 году). И кампания против Чернышевского в прессе, в частных письмах, в разговорах, в помещичьей и буржуазной среде, в правительственных учреждениях вспыхнула с удвоенной силой. Его увидали воочию и поклялись погубить его во что бы то ни стало [2].

---

[1] Барсуков — «Жизнь и труды М. П. Погодина», книга XIX, стр. 102—103 и 387. — Возможно, что Мельников имеет здесь ввиду цитированную выше статью М. К. «Учиться или не учиться?», появившуюся в майской книжке «Библиотеки для Чтения». Если она, как мы предполагаем, принадлежит перу проф. М. И. Касторского, то Мельников мог заранее знать о ее появлении от самого автора, так как оба они служили в министерстве внутренних дел. Последнее вообще было одним из центров (если не главным центром), откуда вдохновлялась кампания против Чернышевского. А ослепленный Герцен намекал, что из этого министерства подсказывается «желчевикам» и «свистунам» кампания радикалов против либералов!!

[2] А с какой неутолимой злобой относилась к нему собственническая часть «общества», видно между прочим из частной переписки московских

И действительно, в деле борьбы с «разрушительной» пропагандой радикалов и особенно Чернышевского правительство и «общество» работали рука об руку. Кому из них принадлежала здесь инициатива, принимало ли правительство свои «меры» по подстрекательству литературных загонщиков, или же мошенники пера орудовали по нарушению казенных канцелярий, это неважно. Скорее верно было то и другое: травля в печати и мероприятия правительства шли из единого источника — классового испуга и классовой злобы. И потому в этой области царило полное согласие между «обществом» и правительством; и хотя последнее рекрутировалось из более узких групп правящего класса, из его верхушки, тогда как первое обнимало более широкие круги дворянства и буржуазии, но оба они выражали и защищали интересы собственников и потому были солидарны в борьбе с революционными тенденциями, посягавшими на священный принцип частной собственности.

Вот почему мы в правительственных актах и реляциях встречаем те же оценки, даже те же термины и выражения, как и в статьях консервативных и либеральных публицистов, ополчившихся на брань с материализмом и коммунизмом. Так, например, в введении к изданному в 1865 году м. в. д. «Собранию материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие» по поводу критики, находившейся преимущественно в руках радикальных преемников Белинского (Чернышевского, Добролюбова, Писарева и пр.), между прочим говорится: «Из обозрения всей совокупности различных литературных направлений за минувшие десять лет, нетрудно усмотреть, что главным, но в то же время, так сказать закулисным двигателем в этом деле была наша критика. Не многие, но талантливые деятели создали из критики силу, которая, как суд и как авторитет, отяготела, с одной стороны, над литературой, увлекая писателей к нелитературным целям, с другой стороны, эта сила подчинила своему влиянию слепое большинство читателей, развивая в них ложный вкус и желание видеть в литературе орудие агитации или протеста; наконец, эта же критика приобрела власть над понятиями и даже над нравами общества, потому что под предлогом критических разборов и рецензий

охранителей, опубликованной Барсуковым. Уже после ареста Чернышевского реакционная писательница Кохановская (Соханская) писала И. С. Аксакову: «Чернышевский, говорят, слаб и малодушен в заключении как девочка. Плачет и жалуется, дерзкий, вопиявший невежа... Современнику не воскреснуть более» (И. С. Аксаков — «Соч.», Спб. 1896, т. IV, стр. 224—225). Она же сообщала Аксакову, будто князь Суворов, призвавши к себе Чернышевского, сказал ему: «Хороший вы человек, г. Чернышевский. А повернитесь-ка... И какая у вас славная шея для петли» (Барсуков, loc. cit.).

все принципы и отправления семейной и общественной жизни были низвергаемы и направляемы в известную сторону, смотря по надобности. Такое-то важное значение получила у нас критика со времени Белинского и не утрачивала его до Добролюбова и Чернышевского включительно, то-есть почти до настоящего года» [1].

Но разве это не то же самое, что мы слышали и от Боткина, Тургенева, Дружинина, Дудышкина, Каткова и прочих рыцарей «постепеновства» и застоя, боровшихся в печати с гидрой нигилизма? И неудивительно, что когда кампания против «свистунов» дошла до своих логических последствий, т. е. до физической расправы с ними полицейских органов, господа литераторы и иные идеологи «либерального» общества потирали руки от удовольствия.

В третьей части того же «Собрания материалов» говорится, что «Современник в отделе серьезных статей начал впадать в целый ряд утопий, в отделе современной летописи и политики он наполнялся статьями дилетантического, космополитического и нигилистического свойства, а в отделе легкой, шутливой литературы относился очень легкомысленно и цинически ко всем сторонам общественного организма нашего (повидимому, имеется ввиду «Свисток», выходивший в виде приложения к «Современнику». — *Ю. С.*). Направление это в 1862 году под редакцией г. Чернышевского при сотрудничестве г. Добролюбова и других достигло той степени, что журнал «Современник» был приостановлен по распоряжению правительства на восемь месяцев» (ibid., стр. 511).

В «Кратком обозрении направления периодических изданий и газет» за 1862 год, изданном министерством народного просвещения, с удовлетворением указывалось, что в этом году «в журналах совершенно прекратились: 1) статьи, проповедующие материализм, безверие и вообще всякие нападки на православие и христианскую веру; 2) статьи, в которых колебалось бы монархическое начало и самодержавие; 3) раздражительная полемика по крестьянскому вопросу, оскорбительная для помещиков и бесполезная для крестьян; 4) статьи, проповедующие коммунизм, и в особенности те, в которых доказывалось право собственности крестьян на помещичьи земли, и 5) все те статьи, в которых без всякой пользы для дела и вопреки видам правительства рассуждалось об утратившемся значении дворянства и об уничтожении сего сословия» (ibid., стр. 233—234).

Как правильно замечает Лемке, первые четыре пункта характеризуют литературную деятельность Чернышевского. Естественно, что с

[1] Цит. у Лемке — «Эпоха цензурных реформ», стр. 452—453.

устранением этого виднейшего представителя радикального направления правительство и общество вправе были праздновать победу, ибо русская журналистика после ареста Чернышевского, смерти Добролюбова и отчасти ареста Писарева (впрочем, не игравшего такой роли, как первые два) действительно сразу обесцветилась и замерла.

И действительно, казенный обозреватель цитированной выше третьей части «Собрания материалов», после указания на приостановку «Современника» и арест Чернышевского в 1862 году, начинает торжествовать. «С удалением одного из главных деятелей, дававшего тон известному эксцентрическому направлению журнала, успех этого издания заметно поколебался, а в прошлом и в предпрошлом году (1863 и 1864.— *Ю. С.*) «Современник» не только утратил прежнее влияние и значение, но и в общем литературном значении уступил место другим. Он стал пуст, вял и не привлекает более массы читателей, как прежде». Об'ясняя это явление поворотом в общественном настроении, гр. Капнист добавляет: «А отсутствие серьезных дарований довершило падение журнала» (Лемке, цит. соч., стр. 512).

Торжествовали не только чиновники министерства внутренних дел. Моральное удовлетворение испытывали и все «благомыслящие» люди из «общества», реакционеры и «либералы», особенно же зачинщики и участники травли в печати. Но не все решились открыто выразить свое торжество, предпочитая радоваться втихомолку и благословлять попечительную руку начальства, избавившего наконец «порядочных людей» от давившего их кошмара [1].

---

[1] См. письма Боткина от 1862 и 1866 гг. к А. Фету, в которых он радуется закрытию радикальных журналов (А. Фет — «Мои воспоминания», ч. I, стр. 407, и ч. II, стр. 86—87, 92; ср. А. Пыпин — «Н. А. Некрасов», Спб. 1905, стр. 74—75). Боткин, впрочем, был не единственным человеком из «общества», который в борьбе революции с царской реакцией сочувствовал последней. Ниже мы увидим, как патентованные «либералы» вроде И. Тургенева и К. Кавелина отнеслись к преследованию революционеров в связи с петербургскими пожарами и в частности к аресту Чернышевского. Предательство революции стояло у колыбели российского либерализма.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Глава первая

О ВЛИЯНИИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Что Чернышевский пользовался в начале 60-х годов громадным влиянием, это согласно признают все современники. И влияние это распространялось не только на молодежь и на сознательно революционные элементы, но и на довольно широкие общественные круги, недовольные политическим режимом и инстинктивно тянувшиеся к чему-то другому, новому. Студенты, семинаристы, учителя, литераторы, даже офицеры и чиновники — вся эта разночинная публика находилась тогда под тем или иным, глубоким или поверхностным, влиянием великого писателя [1]. Создалась даже некоторая мода — подражание Чернышевскому в его ухватках, стиле и пр. [2].

---

[1] «На его журфиксах, — говорит А. Плещеев, — собирались не одни сотрудники «Современника», но либеральные люди всяких оттенков, люди, может быть, и не вполне разделявшие воззрения «Современника», но охваченные общим движением возрождавшегося общества. Бывало там много военных, так как Н. Г. заведывал в это время (?) редакцией «Военного Сборника». Мне случалось встречать там много людей, которые теперь, достигнув «степеней известных», вероятно, благоразумно помалкивают о своем знакомстве с ним» («Письмо Плещеева к А. Пыпину» в саратовском сборнике о Чернышевском, 1926, стр. 155—156). А М. Сажин в своих воспоминаниях (стр. 27) рассказывает про помощника правителя канцелярии вологодского губернатора и заведывавшего столом ссыльно-политических, Н. В. Кедровского: «Это был самый ярый последователь Н. Г. Чернышевского. Надо заметить, что влияние Чернышевского вообще было в те времена очень сильно. Отразилось оно, конечно, и на Вологде. Кедровский незадолго до своей службы был воспитанником вологодской духовной семинарии. Здесь он совместно с семинаристами Одинцовым, Соловьевым и Добросцевым основал кружок «чернышевцев», который пользовался большим влиянием среди вологодской молодежи. Даже некоторые лица из вологодского духовенства увлекались тогда Чернышевским. Один иеромонах, принадлежавший к администрации вологодской семинарии, наряду с Чернышевским увлекался страшно Людвигом Фейербахом». В те времена это было нередким явлением.

[2] «Тогда, — пишет Л. Пантелеев («Из воспоминаний прошлого», ч. I, стр. 149), — вообще замечалась несколько наивная подражательность; напр.

Благодаря своему литературному таланту, глубоким и разносторонним знаниям, а главное — революционному направлению, отражавшему стремления новой социальной группы, в которой воплощалось будущее страны, Чернышевский стал именно тем, что выражается словами «властитель дум» своего поколения. Отчасти эту славу делил с ним его юный последователь, рано умерший Добролюбов. «Чернышевский и Добролюбов, — правильно замечает Флеровский, — были тогда первыми из писателей, которые владели и сердцами, и умами в России» [1]. Приблизительно то же говорит и другой современник Л. Пантелеев, который сообщает, что прежде, раскрывая книгу «Современника», читатель раньше всего брался за статью Добролюбова, а с появлением политических обозрений Чернышевского они начали привлекать не меньший интерес [2].

Влияние это доходило до самых глухих уголков страны, всюду пробуждая волю к знанию и к борьбе. М. Красноперов, впоследствии участник «Казанского заговора» 1863 года, а еще позже известный земский статистик, рассказывает в своих воспоминаниях, что воспитанники Вятской семинарии в конце 50-х и начале 60-х годов с величайшим интересом прочитывали от корки до корки книжки «Современника». Статьи Добролюбова просто проглатывались, а серьезные статьи «Современника» (Н. Г. Чернышевского и других) читали совместно с учителем А. А. Красовским. За чтением этим семинаристы просиживали почти всю ночь. Этот учитель ездил часто в Петербург. Там он познакомился с Добролюбовым, Чернышевским, Пыпиным и В. Курочкиным. «Его рассказы, — говорит Красноперов, — о Добролюбове и Чернышевском дышали такою глубокою любовью и уважением к этим личностям, что эту любовь и уважение он передал и нам. Все статьи Добролюбова и

многие говорили à la Чернышевский, с постоянным «ну-с», «да-с», однообразной интонацией, как зачастую говорил Чернышевский, когда, вероятно, думал о чем-нибудь совершенно стороннем». Как увидим, отчасти эта подражательность впоследствии сбила с толку некоторых историков, допускавших мысль об участии Чернышевского в «Великоруссе».

[1] В. В. Берви (Флеровский) — «Воспоминания», «Голос Минувшего» 1915, № 4, стр. 151. — Он же правильно отмечает, что влияние Чернышевского обусловливалось столько же его литературным талантом, как и революционным направлением, когда, говоря о 1861—1862 гг., замечает: «В Петербурге в это время самыми популярными людьми были Чернышевский и [Н. И.] Костомаров. Популярность Чернышевского сильно возросла от того, что он энергически примкнул к революционному движению, а популярность Костомарова пострадала от того, что он не хотел этого сделать» (ibid., стр. 161).

[2] «Памяти Н. Г. Чернышевского». «Голос Минувшего» 1915. № 1, стр. 196.

Чернышевского в «Современнике» мы читали тогда вместе с Александром Александровичем и кроме того перечитывали еще у себя в нумерах. Это чтение просветляло наши умы и наполняло наши сердца высоким восторгом... Бывало всякий раз, приезжая из Петербурга, Александр Александрович передавал нам поклоны от Добролюбова и Чернышевского, и когда мы его спрашивали: «ведь они нас не знают?», он пресерьезно отвечал: «Я говорил им, что вы — страстные поклонники их, любите читать их статьи».

Влияние Чернышевского, не прекратившееся с его арестом, сказывалось и на Украине [1], и на Кавказе, позже даже в Польше и на Балканах, всюду, где понимался русский язык.

О влиянии Чернышевского на кружок студентов-кавказцев рассказывает Г. Туманов со слов Я. П. Исарлова, бывшего в 60-х годах студентом петербургского университета [2].

«Кружок грузин-студентов, среди которых были лица, сыгравшие немного позже весьма крупную роль в создании периодической печати на Кавказе и внесшие вообще в общественную жизнь Кавказа большое оживление, сильно тяготел к редакции «Современника». Некоторых из нас общительность и радушие, которые мы встречали в семье Чернышевских, сильно привлекали на вечера, экспромтом устраивавшиеся в этом доме»... Вечера не носили политического характера. «Сам Чернышевский очень редко выходил к нам. Он сидел в своем кабинете и занимался. Только один раз, накануне нового года, мы во главе с Ольгой Сократовной ворвались в его кабинет и вытащили его на наш импровизированный костюмированный вечер. На него Ольга Сократовна накинула дамский костюм и усиленно привлекала к танцам. И муж, и жена были очень внимательны и иногда заезжали к нам, чтобы пригласить нас куда-нибудь... Инициатива во всем принадлежала живой и подвижной Ольге Сократовне...

«В числе посещавших дом Чернышевского кавказцев я помню Н. Я. Николадзе (впоследствии известный публицист), Г. Е. Церетели и Н. В. Гогоберидзе (впоследствии они основали в Тифлисе первую грузинскую газету «Дрозба» и вообще сыграли выдающуюся роль в истории грузинской журналистики), Д. В. Гогоберидзе (впоследствии член

[1] Об этом между прочим свидетельствует в своих воспоминаниях И. Ясинский: «Чернышевский влиял на всю русскую интеллигенцию, в том числе и на малорусскую, своими статьями и на молодежь в особенности упомянутым романом», т. е. «Что делать?» («Роман моей жизни», Гиз, Лен., 1926, стр. 56).

[2] Этот Исарлов дважды подвергался аресту: в 1861 г., во время студенческих волнений, и в 1864 г.

бакинского окружного суда), Еджубова (впоследствии мировой судья в Поти) и др. Там нередко мы встречали молодых сотрудников «Современника»: Н. А. Добролюбова, Пиотровского, Пантелеева и др.

«По делам, связанным со студенческим движением, из кавказцев В. Л. Гогоберидзе (впоследствии директор народных училищ Тифлисской губ. и крупный общественный деятель) нередко совещался с Чернышевским, Антоновичем и Елисеевым. Под сильным влиянием кружка «Современника» находился также грузин-студент, кн. Кир. Беж. Лордкипанидзе (впоследствии известный грузинский журналист и поэт)».

Юные поклонники Чернышевского, возвратившись на родину, горячо популяризировали в обществе и печати его идеи. Н. Николадзе проводил идеи Чернышевского и Добролюбова. В первой книжке издававшегося им вместе с Г. Е. Церетели журнала «Кребули» («Сборник») в 1871 году в фельетоне «На новый год» он привел обширные цитаты из «Что делать?», по условиям времени не называя ни автора, ни заглавия его произведения. В издаваемой им позже тифлисской газете «Обзор» Николадзе также цитировал Чернышевского. В 1880 году в своем грузинском альманахе «На новый год» Николадзе поместил воспоминания о своих студенческих годах, причем упоминает, что он читал «Современник» взасос.

Под сильным влиянием «Современника» и Чернышевского находилась также армянская журналистика 60-х годов. Профессор Лазаревского Института восточных языков Ст. Назарян в то время издавал в Москве журнал «Северное Сияние», открывший в армянской журналистике новую эру. Главным сотрудником этого журнала был М. Налбандян, приятель Герцена, Огарева и Бакунина, впоследствии пострадавший за сношения с лондонскими пропагандистами. Он поместил в журнале ряд статей по вопросам об устройстве быта сельского населения и об общинном землевладении, в которых нетрудно усмотреть влияние Чернышевского. В предисловии к сборнику стихотворений Налбандяна, изданному в 1903 г., указывается, что властителями его дум были Белинский, Чернышевский и Добролюбов.

Но и долго спустя после ссылки Чернышевского последний оставался любимцем молодого поколения на Кавказе, как и в других местностях России. Туманов рассказывает, что первой книгой, прочитанной в образовавшемся при его участии гимназическом кружке в 70-х годах, был роман «Что делать?» и статьи Писарева об этом романе. «В бытность мою студентом Новороссийского университета у студентов-кавказцев была собственная библиотека... В библиотеке имелся только один портрет, большой, висевший в раме на стене, и это был портрет Чернышевского. В то время (в 70-х годах) было довольно опасно иметь студентам

у себя портрет Чернышевского, тем не менее он открыто висел в студенческой библиотеке».

Характерно, что Туманов из своего скромного заработка не пожалел заплатить 100 рублей за старые экземпляры «Современника», лишь бы иметь сочинения Чернышевского. «Так высоко ценился великий русский публицист даже в отдаленнейших уголках России. И это в то время, когда реакция оторвала его от всего мира и обрекла на заключение, как какого-то очень тяжкого преступника» [1].

И если Кавказ в последующие годы занимал такое почетное место в рядах революции, то в первую голову это следует признать заслугой Чернышевского, посеявшего там щедрой рукой семена социализма.

Даже в Польше, интеллигенция которой во времена Чернышевского пропитана была националистическими чувствами, развивалась в стороне от русского общественного движения и жила не будущим, а прошлым, даже в этой стране, с тех пор, как в ее общественных настроениях с развитием капитализма появились новые социальные стремления, социализм проложил себе дорогу как отражение русской радикальной литературы 60-х годов и ее преемников. С конца 70-х годов XIX века в духовных интересах части польской молодежи намечается перелом. Под влиянием русской молодежи, с которой сближаются молодые поляки, последние начинают знакомиться с русской радикальной и социалистической литературой, с сочинениями Белинского, Добролюбова, Писарева, Герцена, Чернышевского и др., не говоря о нелегальной литературе [2]. И здесь, через посредство русской молодежи, воспитывавшейся главным образом на Чернышевском, первые семена революционного социализма были брошены автором «Что делать?» и «Примечаний к Миллю», а уж затем пришло влияние Маркса, упавшее на подготовленную почву.

Влияние Чернышевского вышло за пределы Российской империи. И на Балканах первые социалисты развивались под воздействием его писаний. Так, про Христо Ботева, первого болгарского революционера с коммунистической окраской, тов. Г. Бакалов говорит: «Революционно настроенный еще в Болгарии, Ботев (переселившийся в 1863 г. в Одессу. — *Ю. С.)* быстро нашел подходящую идейную пищу в передовой русской литературе шестидесятых годов. Духовно он вырос на сочинениях Чернышевского и посвятил идеям социализма свою жизнь». То же

[1] Г. Туманов — «Н. Г. Чернышевский и кавказцы». «Совр.» 1913, № 5, стр 258—261. — См. также Н. Николадзе — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и Ссылка», 1927, №№ 4 и 5.

[2] Госткевич — «Записки пролетариатца». «Каторга и Ссылка» 1926, № 6/27, стр. 124.

подтверждает и Н. Судзиловский, хорошо знавший Ботева в свое время, в письме к Бакалову от 8 сентября 1911 года, где он говорит: «Ботева духовно создала, как и всех нас, русская литература 60 —70-х годов, как оригинальная, особенно публицистическая (Добролюбов, Чернышевский, Писарев), так и переводная» [1].

Вот как далеко простиралось влияние нашего писателя. Неудивительно, что в своем непосредственном окружении этот крупнейший идеолог 60-х годов пользовался авторитетом неотразимым. Среди шестидесятников этот авторитет был исключительным, но и в 70-е годы, когда на сцену появились новые формулировки революционных задач в России, Чернышевский продолжал оставаться учителем жизни. Под идейным влиянием Чернышевского находилась и первая «Земля и Воля», и «Молодая Россия», и отдельные пропагандисты и агитаторы того времени, и первая крупная революционная организация середины 60-х годов, связанная с именами Ишутина, Худякова и Каракозова [2].

Глава кружка Ишутин был последователем Чернышевского и говорил, что знает лишь трех великих людей: Христа, ап. Павла и Чернышевского [3]. На запрос Ветринского каракозовец П. Ф. Николаев в ноябре 1909 года ответил следующее:

«Находились ли так называемые каракозовцы в связи — конечно, идейной — с Н. Г. (Чернышевским)? — Да, в самой близкой. Собственно говоря, они могут считаться непосредственными его учениками и последователями — даже в философском отношении. Мне помнится, как в одной частной кухмистерской велись оживленные прения между Хлебниковым (позже профессором, а тогда вольнослушателем), приверженцем Чичерина и горячим фихтеанцем, с одной стороны, и нами, т. е. Ишутиным, Юрасовым и мною, как материалистами или, лучше ска-

[1] Г. Бакалов — «Русские друзья Христо Ботева». «Летопись марксизма», 1926, № 2, стр. 43 и 53.

[2] О влиянии идей Чернышевского на каракозовцев (вернее, ишутинцев или худяковцев) см. В. Евгеньев — «Редакция «Современника» в 1866 году». «Голос Минувшего» 1915, № 1, стр. 16—18; Б. Николаевского — «Варлаам Николаевич Черкезов». «Каторга и Ссылка» 1926, № 4/25, стр. 223: «Этот любопытный, совсем еще не изученный историками кружок (ишутинский. — *С. Ю.*) складывался, как известно, под влиянием идей Чернышевского». Ср. также разные статьи о деле каракозовцев. Влияние Чернышевского на каракозовцев констатировано и в приговоре, напечатанном в первом томе «Государственных преступлений в России» под ред. Базилевского (Богучарского).

[3] «Покушение Каракозова 4 апреля 1866 г.», с предисловием А. Шилова. «Красный Архив», т. XVII, стр. 93; ср. брошюру А. Шилова о деле Каракозова, а также книгу «Покушение Каракозова», изд. Центрархива, М. 1928, т. I, стр. VIII сл.

зать, фейербахианцами... Мы не только не были поклонниками Писарева, но даже его ярыми врагами, так как в его деятельности видели значительное отклонение от основных идей Чернышевского о службе народу и главным образом крестьянству. В этом отношении между нами и нашими питерскими товарищами Никольским и Худяковым была целая пропасть. Позже, при развитии группы, нам, конечно, пришлось иметь и в Москве дело с целыми массами писаревцев и с этим считаться; тем не менее наше ядро оставалось в этом направлении очень прочным и последовательным.

«Один из случайно притянутых к нашему делу, известный впоследствии Леонид Оболенский, в своих воспоминаниях о каракозовцах упоминает, будто в этой кампании подражали Рахметову, чуть ли даже не на гвоздях спали. Это, разумеется, чепуха [1]. Но бесспорно то, что сближение с мастеровыми, странствование по разным кабакам и притонам, суровая дисциплина в личной жизни, плавание на волжских пароходах Ишутина и Каракозова в качестве водоливов были до значительной степени навеяны Рахметовым. Эти двое, каждый некоторыми отдельными черточками, безусловно напоминали Рахметова. Каракозов был очень похож на Никитушку Ломова» [2].

И нечаевцы, и деятели 70-х годов развивались под влиянием Чернышевского, а также Добролюбова.

Активный семидесятник, известный член кружка чайковцев, Н. А. Чарушин, говоря о влияниях, под которыми в конце 60-х годов скла-

---

[1] Что тогдашние революционеры посильно подражали Рахметову, это общеизвестно. Так, М. П. Сажин, заявив, что он в начале 60-х годов «развивался исключительно на Чернышевском», дальше прибавляет: «я воспитывался на Чернышевском, и один из героев его романа «Что делать?» Рахметов был идеалом. Конечно, я не решался спать на гвоздях, но на голых досках спал год. Мало того, я старался есть как можно меньше и пищу выбирал самую простую» («Воспоминания», М. 1925, стр. 13 и 118). Такое подражание Рахметову наблюдалось еще в 90-х годах.

[2] Упомянув о программе кружка, включавшей все виды революционной работы, от устройства ассоциаций и артельных заводов до политического переворота, Николаев несколько непоследовательно прибавляет: «Это, как видите, чистый бланкизм, составлявший душу учений Николая Гавриловича. Казалось, что великий учитель при посредстве этой безвестной и бесплодно погибшей группы учеников протягивал руку через семидесятников... людям конца семидесятых годов» (т. е. народовольцам). Впрочем, Николаев спешит прибавить, что «террор (он имеет ввиду индивидуальный) присоединился к методам действия несколько позднее, и только немногие из каракозовцев были его сторонниками... Это, пожалуй, было единственным отступлением от общего направления мысли Чернышевского» (Ветринский — «Н. Г. Чернышевский», 1923, стр. 176—178).

дывались взгляды и стремления прогрессивной молодежи, будущих участников «хождения в народ», на первый план ставит влияние Чернышевского. «Живя в это бурное в идейном смысле время, — пишет он, — когда происходила переоценка всех ценностей, мы, когда пришло и наше время, не могли остаться в стороне от идейного воздействия того времени и усердно следили за текущей литературой и литературой предшествующего периода, возглавляемой Чернышевским и Добролюбовым. Чернышевский, восприявший уже к тому времени мученический венец и переносивший его с стоической твердостью и достоинством, становился преимущественным нашим учителем жизни, трагическая судьба которого лишь усиливала обаяние его личности, а вместе с тем и повышала в наших глазах ценность проводимых им идей. Чернышевского мы читали и перечитывали, а иногда и писали по нему рефераты. Преимущественно внимание наше приковывалось к его статьям по крестьянскому вопросу, этому основному вопросу русской жизни, и к его знаменитым примечаниям к «Политической экономии» Милля». И дальше Чарушин отмечает, что статьи Чернышевского возбуждали в молодежи критическое отношение к крестьянской реформе 1861 года, как разорительной для массы, и приобщали ее к социалистическим идеям [1]. Неудивительно, что кружок чайковцев ставил одной из своих задач распространение запрещенной или из'ятой литературы и преимущественно сочинений Чернышевского, а когда обзавелся за границей собственной типографией, то приступил к изданию его сочинений, «особенно чтимых чайковцами» (ibid., стр. 88 и 90).

Другой участник движения 70-х годов, О. Аптекман, также отмечает влияние этих двух великих шестидесятников, Чернышевского и Добролюбова, на революционеров народнического периода. «Обаяние этих двух «учителей жизни» на известные слои нашей интеллигенции, — говорит он, — было неотразимо. Оно чувствовалось еще и в течение 70-х годов. Беспощадная критика капиталистического строя Чернышевского, страстная, почти революционная проповедь народнических идей Добролюбова действовали захватывающим образом». И дальше он прибавляет: «„Азбука социальных наук" (Флеровского) вместе с «Историческими письмами» Миртова (Лаврова) и «Примечаниями к политической экономии» Чернышевского сделались одною из самых любимых книг учащейся молодежи, всей передовой интеллигенции того времени. С этих книг начинались занятия по общественным вопросам. Вокруг них сосредоточивались наиболее горячие споры «утилитаристов» и «альтруистов» семидесятых годов» (Н. А. Малиновский — «Не пора ли вспом-

[1] Н. А. Чарушин — «О далеком прошлом». М. 1926, стр. 47—48.

нить?». «Рус. Мысль» 1905, апрель, стр. 130)» [1]. А Вера Фигнер рассказывает, что когда кружок «Фричей», состоявший из русских студенток в Цюрихе в 1872 году (впоследствии многие из них судились по «Процессу 50-ти» в Москве в 1877 году), решил приступить к изучению социального вопроса, то они начали с политической экономии — разумеется, по Миллю с примечаниями Чернышевского, а затем уже «участницы распределили между собой творения социалистических теоретиков для реферирования в историческом порядке: одна взяла Томаса Моруса, другие — Кампанеллу, Роберта Оуэна, Фурье, Кабэ, Сен-Симона, Прудона, Луи Блана, Лассаля» [2].

Замечательно, что еще во второй половине 80-х годов, когда в Россию начинало уже вторгаться влияние Маркса, когда появились уже первые произведения Плеханова, — сочинения Чернышевского продолжали оказывать революционизирующее влияние на молодежь. Об этом свидетельствует тот факт, что участники покушения на Александра III в марте 1887 года также развивались под влиянием Чернышевского. Кружок С. А. Никонова, в котором участвовали А. И. Ульянов, М. Т. Елизаров и другие, начал свои занятия по политической экономии с изучения Милля с примечаниями Чернышевского, а метальщик Осипанов еще в гимназии увлекался романом «Что делать?» и, закаляя себя для будущей борьбы, спал на досках, подбитых гвоздями [3].

Мы никогда не кончили бы, если бы вздумали приводить все имеющиеся в литературе свидетельства о длительном и глубоком влиянии Чернышевского на развитие революционного движения в России и в других странах [4]. Об одной только стороне этого влияния мы хотим

---

[1] Аптекман — «Общество «Земля и Воля» 70-х годов». Петр., изд. «Колос», 1924, стр. 32 и 76.

[2] Вера Фигнер — «Студенческие годы», изд. «Голос Труда», М. 1924, стр. 32—33.

[3] «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г.», Гиз, 1927, стр. 137, 186, 243.

[4] В виде курьеза укажем, что основатель французского коммунизма Жюль Гэд, бывший до середины 70-х годов анархистом, впоследствии уверял, что к марксизму он пришел через Чернышевского, в частности через его примечания к Миллю. — А. Тверитинов, издавший на французском языке перевод «Примечаний к Миллю», рассказывает, что когда Бенуа Малон и г-жа Андрэ Лео узнали от него, что русские студентки в Швейцарии (В. Н. Фигнер и др.) собираются переводить «Систему экономических противоречий», то в один голос сказали: «Avoir Tchernychevsky et traduire Proudhon, c'est insensé!» («иметь Чернышевского и переводить Прудона нелепо!»). Когда Тверитинов в последний раз в 1889 году виделся с Депапом, тот его убедительно просил перевести ему по французски критику Чернышевского на Маркса (тогда ходил слух, что такая критика существует) и после, за не-

сказать еще несколько слов, именно о влиянии Чернышевского на военных. Л. Пантелеев сообщает, что особенным распространением «Современник» пользовался среди военной молодежи [1]. Это была, разумеется,

---

сколько дней до своей смерти, просил об этом письменно. Во время свидания в 1889 году Депап рассказал Тверитинову, что «как на публичных лекциях, так и в газетных статьях и брошюрах он в течение пятнадцати лет пропагандировал идеи Чернышевского; между прочим он указывал на свое предисловие к французскому переводу «Капитала и труда» Лассаля, где он сравнивает Чернышевского с Лассалем». В 1890 году Тверитинов по просьбе Депапа перевел статью Чернышевского о дарвинизме, напечатанную в кн. IX «Русской Мысли» за 1888 год. По этому поводу Депап, за несколько дней до своей смерти, 16 сентября 1890 года писал Тверитинову: «Спасибо тебе, дорогой друг, большое спасибо за присылку этого перевода. Ты знаешь, как глубоко я уважаю вашего русского писателя Андреева (тогдащний псевдоним Чернышевского. — *Ю. С.*), как я горжусь тем, что некогда ты привлек меня к сделанному тобою переводу главного экономического произведения этого автора. Я всегда с величайшей охотой буду способствовать распространению на Западе перевода сочинений этого выдающегося писателя. Говорят, что после него осталось еще несколько других непереведенных статей, даже посмертных, в том числе критический разбор «Капитала» Маркса. Это было бы превосходным материалом для того или иного из наших французских журналов». Статья Чернышевского о дарвинизме была напечатана в сентябрьском номере выходившего в Брюсселе ежемесячного журнала «La Société Nouvelle» за 1890 год. Издание французского перевода «Примечаний к Миллю» успеха не имело. Книга не пошла, и впоследствии ее продавали по 50 сантимов рабочим (издана она была в 2 000 экз.). Весь завод перевода романа «Что делать?», сделанного Тверитиновым в 1875 году, был продан одному итальянскому книготорговцу за 100 лир. Когда в 1890 году Тверитинов, снова попавший в Милан, справился о судьбе издания, то оказалось, что оно полностью разошлось, причем книготорговец, продававший каждый экземпляр по 5 лир, получил на 100 лир 4 900 лир прибыли. В начале 1875 г. в «Le Rappel» Луи Шассен поместил по поводу перевода Тверитинова статью о Чернышевском. Около того же времени В. Либкнехтом в иллюстрированном журнале «Die Neue Welt» была напечатана чья-то статья («друга» А. Тверитинова) «Der lebendig begrabene» («Заживо погребенный»). Там же был помещен и портрет Чернышевского. В Италии Э. Камерони, приятель Б. Малона, а впоследствии друг Степняка, поместил статью о Ч. «в миланской «Il Sole», лодийской «La Plebe», в римской «La Capitale» и в какой-то неаполитанской газете. В Соединенных Штатах вышло два английских перевода «Что делать?», один с русского — плохой, а другой с французского — хороший. Когда телеграф принес в Нью-Йорк известие о смерти Чернышевского, там созван был митинг, на котором особенно горячо выступал какой-то пастор. Постановлено было открыть в Америке памятник Чернышевскому, и начат даже с этой целью сбор денег (А. Тверитинов — «Об об'явлении приговора Н. Г. Чернышевскому», стр. 36—37, 75—76, 94—96).

[1]. Цит. статья, стр. 197.

та офицерская молодежь, которая тоже вербовалась по преимуществу из среды разночинцев или бедного дворянства и во многом разделяла идеологию разночинной демократии. С одной стороны, в эту группу входили бедные армейцы, тянувшие лямку вместе с солдатом, а с другой — военная интеллигенция, штабные офицеры, горбом пробивавшие себе дорогу, наталкиваясь при этом на привилегии высших аристократических семей, и вместе с тем ясно видевшие основную причину слабости русской армии, проникнутой снизу доверху крепостническими началами.

В этом отношении характерно сообщение М. Ю. Ашенбреннера, в то время воспитанника военной школы, а в начале 80-х годов одного из виднейших деятелей военной организации партии «Народной Воли». Вот что рассказывает Ашенбреннер: «От (учителя) М. мы впервые (в конце 50-х годов. — *Ю. С.)* услышали о Белинском, Чернышевском и Добролюбове. Он указал нам на «Современник»... Первая серьезная статья, которую я прочел сознательно, с увлечением, это — «Литературные мелочи за прошлый год» Добролюбова. Добролюбова мы читали и читали, но Чернышевский имел на нас более сильное и прямое влияние. Его мы знали наизусть, его именем клялись, как правоверный магометанин клянется Магометом, пророком Аллаха; так что Тургенев ошибался, когда называл «Чернышевского простой змеей, а Добролюбова очковой». Лучше сказать наоборот» [1].

Сажин в своих воспоминаниях рассказывает, что в середине 60-х годов, когда он был студентом Технологического Института, влияние Чернышевского было очень сильно и среди военных. В Петербурге составился тогда среди офицеров, по преимуществу артиллеристов, кружок «чернышевцев», куда входил и рассказчик. «Из членов этого кружка, — говорит Сажин, — я сейчас припоминаю офицеров-артиллеристов: Богданова, братьев Черновых, Альтфатера, Юдина, полковника Колесова и офицера генерального штаба Гейнса. Впоследствии один из Черновых погиб геройскою смертью во время турецкой войны на судне «Веста». Юдин, другой брат Чернова и Альтфатер живы и по сию пору и дослужились уже до генеральских чинов, а последний из них состоит даже членом Государственного Совета. Что касается Гейнса, то он впоследствии уехал в Америку, где под именем Вильяма Фрея занялся

[1] М. Ю. Ашенбреннер — «Военная организация Народной Воли и другие воспоминания». Москва 1924, страница 5. Это влияние распространялось даже на таких карьеристски настроенных людей, как будущий военный министр Куропаткин; смотри письмо его к Ашенбреннеру от 2 декабря 1923 года, напечатанное в № 3/32 «Каторги и Ссылки» 1927, страница 203.

религиозными исканиями и созданием так называемой позитивной религии человечества» [1].

И если молодое офицерство принимало тогда довольно активное участие в революционном движении, если часть его приняла сторону восставшей Польши и кровью засвидетельствовала свою вражду к царизму, то наряду с влиянием «Колокола» еще большую роль играло в этом полевении части офицерства влияние русского радикализма и в первую голову его признанного вождя, Н. Г. Чернышевского.

---

[1]. М. П. Сажин — «Воспоминания», стр. 25. Как радикально были настроены тогда офицеры, с которыми встречался Сажин, видно из его сообщения, что они выражали сожаление по поводу того, что такой способный человек, как П. Лавров, не примыкает к Чернышевскому, а числится в рядах либералов и имеет дело с Краевским и Дудышкиным (о знакомстве его с Чернышевским они не знали). Ср. П. Витязев — «П. Л. Лавров в воспоминаниях современников». «Голос Мин.» 1915, № 10, стр. 112.

Глава вторая

ОТКРЫТАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Главную массу своих сил и времени Чернышевский естественно отдавал литературе. Но, как живой человек, он, конечно, не мог ограничиться одним писательством. Однако публичная жизнь тогдашней России была настолько бедной, что особенно много отдаваться общественной деятельности Чернышевский не мог, тем более, что ему, как разночинцу, не принадлежавшему к привилегированному сословию, которое единственно обладало в то время общественной и политической организацией, общественная работа в большинстве случаев была недоступна. Тем не менее иногда он отрывался от своего письменного стола, чтобы принять участие в том или ином публичном выступлении. Впрочем, об этой стороне его работы, которой он, разумеется, не придавал большого значения, нам известно очень мало (вероятно, потому, что и выступлений таких было немного).

Пантелеев [1] рассказывает, что в 1859 году по поводу обвинений, выдвинутых неким Перозио против Общества русского пароходства и торговли, стороны решили прибегнуть к публичному третейскому разбирательству. В числе судей, кажется, со стороны Перозио были Чернышевский и Н. Серно-Соловьевич. Диспут, происходивший в Пассаже, не был доведен до конца вследствие шумливости публики, состоявшей по большей части из акционеров, и супер-арбитр Е. И. Ламанский поспешил закрыть его со словами: «Мы еще не созрели до публичных прений» [2].

Кроме журфиксов, которые Чернышевский или, вернее, его жена устраивали у себя на дому, и кроме встреч в редакции «Современника» и у Панаева или Некрасова, Николай Гаврилович посещал иногда собрания интеллигентной публики, в частности у издателя Н. Тиблена. У последнего, как сообщает Пантелеев (ib., стр. 148), собиралось крайне

---

[1] Л. Пантелеев — «Из воспоминаний прошлого», ч. I, стр. 165.

[2] Этой фразой Ламанского впоследствии воспользовался Добролюбов для насмешек над ним и Погодиным в «Свистке».

разнообразное общество, но преимущественно профессора и литераторы, а также много университетской молодежи. На этих вечерах бывали Чернышевский, Н. Костомаров, П. Лавров, Н. Страхов, химик Н. Н. Соколов, А. Н. Бекетов, журналист и переводчик Бибиков, А. Энгельгардт, Н. Соколов (сотрудник «Русского Слова»), М. М. Достоевский (ред. изд. журнала «Время», брат романиста), Кулиш и пр.

Как известно, Чернышевский был одним из учредителей Литературного фонда и вначале даже аккуратно участвовал в работах Комитета. Весной 1861 года Чернышевский собирался прочесть четыре лекции по политической экономии в пользу Литературного фонда. 6 апреля Дружинин подал министру народного просвещения заявление об этих лекциях, приложив к нему их программу, а также французский перевод книги Д. С. Милля в качестве материала, которому будет следовать лектор. Несмотря на то, что юридический факультет петербургского университета, на заключение которого министерство передало эту программу, ее одобрил, попечитель учебного округа выдал просимое разрешение только 23 июня, сделав таким образом чтение лекций невозможным [1].

Через год, в то время, когда по закрытии университета профессора читали желающим студентам лекции в здании Городской Думы, Чернышевский снова сделал попытку прочесть предположенный им курс по политической экономии. Он обратился с соответствующим ходатайством к «либеральному» министру народного просвещения Головнину, который 23 января 1862 года положил на прошении следующую многознаменательную резолюцию: «На основании § 6 Положения 7 мая 1841 года о публичных лекциях в Петербурге я не могу согласиться на чтение лекций г. Чернышевским». Ясно, что в это время правительство уже решило расправиться с главою крамолы, который был к этому моменту на самом дурном счету у III Отделения и реакционных кругов [2].

Об этой второй попытке Чернышевского выступить с публичными чтениями интересные сведения сообщает Л. Пантелеев. По его рассказу студенческий комитет при организации вольного университета решил обратиться к ряду лиц, не принадлежавших к числу профессоров петербургского университета; были намечены К. Победоносцев, Лавров, Берви,

---

[1] Это «свидетельство» интересно тем, что в нем Чернышевский официально именуется магистром С.-Петербургского университета.

[2] Ветринский, цит. соч., стр. 148—155. Там же напечатана программа лекций по политической экономии, представленная Чернышевским 14 апреля 1861 года; прошение Чернышевского о разрешении ему читать лекции по политической экономии и отказ министра напечатаны у Барсукова — «Жизнь и труды Погодина», книга 19, стр. 101—102.

А. Лохвицкий, И. Сеченов, Чернышевский, который должен был читать финансы (?) и др. Когда студенческая делегация (Пантелеев и Неклюдов) явилась к Победоносцеву, тот заявил: «Я не хочу читать в одной компании с Чернышевским: это — шарлатан, гаер; если он не будет читать, то извольте: я готов». Комитет, выслушав отчет делегации, предпочел отказаться от Победоносцева, чем от Чернышевского. Но Чернышевскому читать не пришлось: он не получил разрешения. По той же причине не состоялись лекции Лаврова, а Берви был арестован [1].

Тот же Пантелеев рассказывает еще об одной попытке привлечь Чернышевского к участию в общественных делах. Когда в 1862 году, после студенческих волнений, решено было устроить Общество вспоможения учащейся молодежи, то инициаторы этой мысли, зная, что отдельного общества им не разрешат, задумали провести его под флагом Литературного фонда, учредив для этого при нем II отделение. И вот, когда после 8 марта руководители студенческого движения на квартире Н. Утина обсуждали вопрос о подаче прошения министру, неожиданно явился Чернышевский, который на этих собраниях до тех пор не бывал и из руководителей движения знал только Утина. Пошутив над «ужасной революционностью» студентов и признав величайшим революционером Е. И. Ламанского (директора Госуд. Банка), Чернышевский стал отговаривать студентов от подачи адреса, уверяя их, что, во-первых, министр адреса и не примет, а, во-вторых, что без подачи адреса II отделение скорее будет разрешено. «Перед авторитетом Чернышевского скоро умолкли даже самые горячие протестанты. И действительно, через короткое время отделение было разрешено».

Учредители решили избрать в Комитет Чернышевского. Узнав об этом, он сказал: «Я прошу вас этого не делать; пользы от меня никакой не может быть, я даже не имею времени, чтобы исправно посещать заседания комитета фонда. Между тем, выбор меня в ваш комитет может привлечь ненужное внимание начальства к отделению». Так и было сделано, и Чернышевского в Комитет не провели [2].

Некоторое отношение имел Чернышевский и к обсуждению проектировавшейся тогда цензурной реформы. В начале 1861 года петербургская группа журналистов составила проект мер к улучшению положения печати и передала его для обсуждения в Москву. Москвичи, соглашаясь с основами проекта, представили возражения по поводу практической его части. Для переговоров по этому поводу посланы были в Москву

[1] «Из воспоминаний прошлого», ч. I, стр. 207 сл.

[2] Ibid., стр. 224 сл. — В секретной записке, посланной м. н. пр. Головниным 5 мая шефу жандармов, в числе членов комитета указан ошибочно и Чернышевский; см. Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 325—326.

Чернышевский и Елисеев [1]. В результате совещаний Каткову поручено было составить подробную записку на принятых единогласно основаниях. Записку эту Катков представил м. в. д. Валуеву. Но как Валуев, так и комитет по делам печати, образованный в 1861 г., не обратили на нее никакого внимания [2].

Разумеется, никакого серьезного значения Чернышевский такой общественной деятельности не придавал. В частности ничего хорошего не ждал он от готовившегося нового закона о печати и, поскольку возможно было, высказывал это в своих статьях. Если же он, скрепя сердце, все-таки иногда поддавался уговорам друзей и выходил «в люди», то или для того, чтобы отвязаться от приставаний, или для заведения новых знакомств, могущих быть использованными в ином направлении. Что касается поездки в Москву, то здесь он, вероятно, преследовал совершенно другие цели: в это время в Москве должна была набираться его прокламация «К барским крестьянам», и он, повидимому, хотел справиться, в каком положении находится дело (впоследствии эта поездка принесла ему большой вред).

Чернышевский принимал также участие в основании Шахматного клуба, которому учредители намеревались, видимо, придать политический характер. М. Михайлов рассказывает, что Шахматный клуб или, как его называли, «Шах-клуб», открытый в январе 1862 года и закрытый в июне того же года в связи с петербургскими пожарами, был своеобразным литературно-политическим клубом, в котором встречались и обменивались мнениями писатели, имевшие отношение к общественной жизни. Близкое участие в нем принимали Н. Г. Чернышевский и П. Л. Лавров; последний, вместе с Гр. З. Елисеевым, был старшиною этого клуба [3]. Приблизительно то же рассказывает о Шахматном клубе и Л. Пантелеев. По его словам, под флагом шахмат была сделана попытка

---

[1] Тогда-то Чернышевский познакомился с Катковым и побывал у Вс. Костомарова.

[2] М. Лемке — «Эпоха цензурных реформ». Спб. 1903, стр. 57; записка напечатана там же, стр. 59—82. — Надо заметить, что среди различных «записок», подававшихся м. н. пр. Головнину в 1862 году, имеется и записка «Современника», неизвестно кем составленная. Большая часть ее между прочим посвящена не основной теме о цензуре, а доказательству той мысли, что «редакция этого журнала всегда желала располагать общественное мнение в пользу реформ, совершаемых правительством», и что «Современник» постоянно проводил в разных статьях «мысль о правительственной инициативе в делах общественного прогресса». Лемке правильно замечает, что от имени всего «Современника» представлять такую записку было странно (ib., стр. 113).

[3] М. Михайлов — «Записки». Петр. 1922, стр. 25.

устроить литературный клуб (в доме Руадзе). Чтобы поддержать новое детище, Чернышевский в известные дни весьма усердно посещал его и всегда имел перед собою столик с шахматами; к нему подсаживались два-три человека, и обыкновенно Чернышевский рассказывал какие-нибудь невинные анекдоты. Приходил Н. А. Серно-Соловьевич, только что перед тем открывший книжный магазин и начавший издательство. В то же время он со всей страстью отдался «Земле и Воле», одним из основателей которой и был. Серно-Соловьевич за столик не усаживался, а, обойдя все комнаты, находил нужное лицо и погружался с ним в уединенный разговор... В Шахматном клубе вечно царила пустота; только в буфете иногда раздавались возбужденные голоса В. Курочкина, Кроля, Помяловского, Воронова и тому подобной, любившей выпить, братии. Клуб был на волосок от естественной смерти, как вдруг после пожаров удостоился чести быть закрытым.

О Шахматном клубе кое-какой материал содержится и в донесениях агентов, следивших за Чернышевским. Он изображается там в виде политического клуба, где обсуждаются вопросы о цензуре, об устройстве университетов, о конституции и т. п. «Главенствует в клубе Благосветлов, а Чернышевский часто там ораторствует» [1]. Между прочим, по словам шпионов, в клубе собирались подписи под адресом царю о созыве Земской Думы, составленным проф. Е. И. Утиным, причем агент III Отделения, чтобы не выдать себя, принужден был также дать свою подпись! [2].

Правительство сразу обратило внимание на это зловредное учреждение, основанное, как оно было уверено, в целях создания центра сплочения для оппозиционных литераторов и иных крамольников. 11 января 1862 г., т. е. на следующий же день после открытия клуба, III Отделение получило донесение своего агента, б. студента Семена Волокитина, такого содержания: «Вчера вечером, в 8 часов, пришли к нему (Чернышевскому) какой-то военный, совершенно закутанный в шубе, и один статский, худощавый, с светлорусыми усами. Пробыв у него до ½ 10, они вместе с ним поехали на одном извощике в Шахмат-

[1] М. Антонович передает следующий факт. В № 2 «Дня» за 1861 год Аксаков напечатал воззвание к полякам по поводу их притязаний на северо-западную и юго-западную Русь, начинавшееся словами: «Безумные поляки». На одном из общих обедов в тогдашнем литературном клубе, который назывался Шахматным, Чернышевский с особенным ударением прочел эту статью, обращаясь к литераторам-полякам, Спасовичу и др. Но в «Современнике» не отозвался на нее. Еще бы! (М. Антонович — «Редакция «Современника» в 1866 году». «Гол. Мин.», 1915, № 2, стр. 199).

[2] «Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III Отделения». «Кр. Архив», том XIV, стр. 107 сл.

ный клуб, коего вчера было открытие, у Полицейского моста, в доме Елисеева, по канаве. Там собралось вчера человек до 100, почти исключительно литераторы, ибо по прочтении наскоро имен записавшихся у швейцара в книге встретились следующие: граф Кушелев-Безбородко, Вернадский, Лавров, Краевский, Панаев, Некрасов, оба Курочкины, Степанов, Толбин, Крестовский, Писарев, Писемский, Благосветлов, Чернышевский, Апухтин, Рычков и Утин».

Третье Отделение сейчас же отрядило туда шпиона (Вельяшева или еще одного сверх него) [1].

Шпионы всячески раздували значение клуба, стараясь представить его в виде какого-то гнезда заговорщиков и центра всех революционных злоумышлений. В этом отношении чрезвычайно характерен цитируемый М. Лемке [2] донос студента Волгина (Волокитина?) петербургскому обер-полицеймейстеру Анненкову (брату литератора П. Анненкова). Донос на $^{9}/_{10}$ содержит сущий вздор. Члены клуба, во-первых, далеко не все были революционно настроены (это только шпики могли выдавать Гиероглифова, Гербеля и т. п. за опасных крамольников), а, во-вторых, прекрасно знали, что за ними следят, и потому вели себя чрезвычайно осторожно. Но составляемые в таком духе донесения естественно окружали клуб ореолом революционного центра. И когда, после майских пожаров, правительство решило перейти в наступление, одною из первых его жертв оказался злополучный клуб, мозоливший полиции глаза. Он был закрыт.

Следует упомянуть еще про хлопоты Чернышевского по делу А. Щапова, который, как мы знаем, был вытребован в Петербург после речи, произнесенной им в Казани по поводу трагической истории в селе Бездне. Чернышевский вел агитацию за сбор подписей под запиской, предназначенной для передачи м. н. пр. Головнину. Записка составлена была в связи с решением правительства выслать Щапова, уже лишенного профессорской кафедры, в один из монастырей. Судя по слогу записки, она была написана самим Чернышевским (опубликована в «Былом», 1906, № 1, стр. 172—173). Предполагалось послать к министру депутацию в составе Краевского, Некрасова, Тиблена и Чернышевского. Это происходило в конце 1861 и начале 1862 года [3]. Депутация почему-то послана не была, а записка и листы с подписями остались на руках у составителей. При аресте Н. Серно-

[1] «Материалы для биографии П. Л. Лаврова» под ред. П. Витязева. Вып. I, Петр., изд. «Колос», 1921, стр. 77.

[2] Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 324—325.

[3] Письма Чернышевского к А. А. Краевскому. «Былое», 1906, № 1, стр. 171—173.

Соловьевича был взят один лист, на котором имеется 72 подписи, в том числе: А. Захарьин, Н. и А. Серно-Соловьевичи, П. Аристов, С. Пыпин, В. Лугинин, П. Бибиков, Н. Потехин, К. Арсеньев, А. Ничипоренко, Н. Помяловский, Н. Степанов, В. Белов, А. Черкесов [1].

Но наиболее громким из публичных выступлений Чернышевского (не считая его участия в студенческой истории, о чем смотри ниже) была его речь, произнесенная во время похорон Добролюбова. Об отношении его к своему молодому другу мы говорили достаточно, и читатель понимает, как на Чернышевского должна была подействовать безвременная смерть гениального юноши, на которого он возлагал столько надежд [2]. Она временно выбила его из колеи и даже заставила его забыть обычную осторожность. В речи над гробом Добролюбова Чернышевский открыто высказал то, что думал. Это был в полном смысле слова вопль души.

Добролюбова хоронили 20 ноября 1861 года. По словам Головачовой-Панаевой [3], «вся улица была запружена народом, хотя для любителей торжественных похорон не на что было поглазеть, потому что не было никаких депутаций, ни венков». На самом деле народа собралось немного, что также не могло не раздражить Чернышевского, ожидавшего, повидимому, большого наплыва провожающих [4], и не пробудить в его сердце горечи.

Согласно рассказу Рейнгардта, после речи Некрасова «вышел из кучки и подошел к гробу гладко выбритый господин и громким, энер-

---

[1] «К протесту по делу А. П. Щапова». «Былое» 1906, № 9, стр. 208.

[2] «Редкий раз, — пишет Пантелеев («Из воспоминаний», ч. II, стр. 179 сл.), — чтобы так или иначе не заводил Н. Г. разговор о Добролюбове (Н. Г. в то время выпускал полное собрание сочинений Добролюбова и собирал материалы для его биографии). Как самое ценное в нем он выдвигал характер, неспособный итти на какие-нибудь компромиссы. «И этого человека не стало в то время, когда он был бы всего нужнее!» — говорил Н. Г.». О том, как подействовала смерть Добролюбова на Николая Гавриловича, видно из того, что этот сдержанный человек писал бывшей сожительнице покойного, Терезе Гринвальд, 10 февраля 1862 года, т. е. почти через три месяца после его погребения: «Когда увидимся с Вами, поцелуемся и поплачем вместе о нашем друге... Вот уже редкий день проходит у меня без слез... Я — тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» («Переписка Чернышевского», стр. 112).

[3] «Русские писатели и артисты», стр. 350.

[4] «На похороны Добролюбова, — говорит И. И. Панаев («Литературные воспоминания», Спб. 1888, стр. 324), — 20 ноября собралось человек до 200, в числе которых были профессора университета, журналисты и литераторы».

гическим голосом произнес: «Так как смерть Николая Александровича последовала неожиданно для публики, то ей интересно будет знать, какие причины ускорили ее». Сказав эти слова, он стал читать отрывки из дневника Добролюбова, отрывки, общий смысл которых приводил к заключению, что неблагоприятные внешние условия тяжело отражались на болезненной натуре покойного, чем ускорили приближение окончательной трагической развязки. Прочитав отрывки из дневника, означенный господин с большим чувством прочел затем некоторые стихотворения, между прочим: «Я ваш, друзья, хочу быть вашим» и «Пускай умру, печали мало»; когда дошел до того места, где Добролюбов говорит: «чтоб бескорыстною толпою за ним не шли мои друзья», то при этих словах с грустной иронией заметил: «кажется, опасения покойного были напрасны: немного нас тут собралось». Охарактеризовав, после всего сказанного им, в общих чертах литературную деятельность Добролюбова, оратор затем с необыкновенным чувством произнес: «какого мы человека потеряли, ведь это был талант. А в каких молодых летах он кончил свою деятельность, ведь ему было всего 26 лет, в это время другие только учиться начинают».

«Стоявший рядом со мной какой-то неизвестный мне господин заметил: «ну, даром ему это не пройдет, достанется же ему».

« — Скажите, пожалуйста, — обратился я к этому господину, — кто этот оратор, верно студент?

« — Нет, это Чернышевский, — отвечал тот. Таким образом в первый раз только на похоронах Добролюбова мне пришлось увидеть Чернышевского, статьями которого, как и значительная часть молодежи того времени, я сильно увлекался».

Затем выступали еще Антонович, Тиблен и какой-то студент.

«Похороны Добролюбова прошли без всяких последствий. Чернышевскому ничего не досталось, но студента, говорившего на могиле, как носились слухи, будто бы разыскивали, усмотрев в речи неблагонамеренные мысли, хотя таковых в ней не было. Агенты полиции, значит, извратили то, что слышали»[1].

Но если верить рассказу Рейнгардта, то агенты полиции извратили дело не очень сильно. В донесении от 20 ноября 1861 года агент так излагает речь Чернышевского: «Начав с того, что необходимо об'явить собравшейся публике о причине смерти Добролюбова, Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: «вот, господа, дневник покойного, найденный мною в числе его бумаг; он разделяется на две части...

[1] Н. В. Рейнгардт — «Н. Г. Чернышевский (по воспоминаниям и рассказам разных лиц)». «Рус. Старина» 1905, № 3, стр. 452—453.

Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти»... Тут Чернышевский начал читать статей восемь приблизительно следующего содержания: «Такого-то числа пришел ко мне N и об'явил мне, что в моей статье сделано много помарок. Такого-то числа явился ко мне NN и передал, что за мою статью, которая была напечатана там-то, он получил выговор. (Подобного содержания было несколько параграфов). Такого-то числа получено известие, что в Харьковском университете были беспорядки. — Получено уведомление, что беспорядки были в Киеве. Дошли сведения, что некоторые из «наших» сосланы в Вятку; другие же, бог знает что с ними стало. Получено сведение из Москвы, что в одной из тамошних гимназий удавился воспитанник за то, что его хотели заставить подчиниться начальству». — «Но главная причина его ранней кончины, — присовокупил Чернышевский, — состоит в том, что его лучший друг — вы знаете, господа, кто! — находится в заточении» [1].

«В заключение Чернышевский прочитал два довольно длинные стихотворения Добролюбова, в весьма либеральном духе написанные... Вообще вся речь Чернышевского, а также и Некрасова клонилась, видимо, к тому, чтобы все считали Добролюбова жертвой правительственных распоряжений, и чтобы его выставляли как мученика, убитого нравственно, одним словом, что правительство уморило его». И дальше шпион, делая практический вывод из своего доноса, приводит слова, якобы произнесенные двумя военными, присутствовавшими на похоронах (хотя произнести их мог только один, а не оба сразу): «Какие сильные слова! Чего доброго, его завтра или послезавтра арестуют» [2]. Высшее начальство решило, что так быстро действовать не годится. Но во всяком случае сочло нужным принять меры к тому, чтобы не дать намеченной жертве уйти от предназначенной ей расправы.

Через три дня после похорон Добролюбова правительство уже приступило к подготовительным мероприятиям против Чернышевского. Признано было необходимым сделать распоряжение о невыдаче заграничного паспорта «литератору Николаю Чернышевскому»; 23 ноября 1861 года министерство внутренних дел сообщило об этом постановлении секретным печатным циркуляром всем генерал-губернаторам, гу-

[1] Повидимому, шпион имеет ввиду М. Михайлова, но вряд ли Чернышевский говорил это.

[2] «Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов». «Кр. Архив», т. XIV, стр. 91—92.

бернаторам и градоначальникам, а 29 ноября уведомило о сделанном распоряжении Третье Отделение [1].

Речь Чернышевского наделала шума не только в полицейских сферах, но и в кругах «общества», близко соприкасавшихся с этими сферами. Так, известный проф. А. Никитенко, дневник которого был стоком всех бюрократических сплетен и вздохов, записал 22 ноября 1861 года: «Мне рассказывали, что третьего дня на похоронах Добролюбова, сотрудника «Современника», Чернышевский сказал на Волковом кладбище удивительную речь. Темою было, что Добролюбов умер жертвою цензуры, которая обрезывала его статьи и тем довела до болезни почек, а затем и до смерти. Он неоднократно возглашал к собравшейся толпе: „А мы что делаем? Ничего, ничего, только болтаем"» [2].

Это выступление несомненно сыграло известную роль в судьбе Чернышевского. И еще много лет спустя, когда Чернышевский изнывал в далекой Сибири, III Отделение не могло простить ему этой речи и в записке, составленной для оправдания нового беззакония (оставления его в тюремном заключении после отбытия законного срока каторги), в числе прочих тяжких его преступлений упомянуло и про речь, произнесенную им над гробом Добролюбова.

---

[1] Лемке, в комментариях к «Соч.» Герцена, т. XI, стр. 367. — Ср. сообщение М. Михайлова в его «Записках» (Петр. 1922, стр. 139). 7 февраля 1862 года Михайлов, следуя на нерчинскую каторгу, прибыл в Красноярск. «И тут, — пишет он, — я узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам от 2-го декабря (1861 года. — *Ю. С.*) не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт».

[2] А. Никитенко — «Дневник», 2-е изд., т. II, стр. 58.

Глава третья

ЗНАКОМСТВА И СВЯЗИ

Круг знакомств Чернышевского или, вернее, дома Чернышевских был довольно обширен. Но не следует забывать, что большинство людей, посещавших их дом, ходило не столько к Николаю Гавриловичу, сколько к его жене, любившей шумное общество. Это обстоятельство между прочим сбивало с толку следивших за домом шпионов. А так как среди этой публики было много студентов и офицеров, то агенты и их начальство естественно волновались, думая, что дом Чернышевских является настоящим революционным гнездом.

На самом деле Чернышевский мало общался с шумными и жизнерадостными, но иногда довольно пустыми гостями, посещавшими его супругу, устраивавшими для ее развлечения музыкальные вечера, катанья на тройках (живо описанные в конце романа «Что делать?») и т. п. Он, разумеется, иногда выходил к ним, говорил несколько слов, но в удобный момент спешил удалиться в свой небольшой кабинет, где предавался усидчивой работе. Об этом говорят и Н. Рейнгардт (цит. ст., стр. 456), и Н. Николадзе, по словам которого (цит. ст., «Каторга и Ссылка» 1927, № 5, стр. 30) Николай Гаврилович редко показывался гостям жены, а все время сидел в кабинете, куда редкий из них заходил. У себя в кабинете Чернышевский принимал посетителей с некоторым разбором. По словам Пантелеева («Воспоминания прошлого», ч. II, стр. 177), то была небольшая комната во двор, крайне просто меблированная, заваленная книгами, корректурами и т. п.; втроем в ней не без труда можно было разместиться. По тогдашнему обычаю Н. Г. всегда был в халате. В этой-то комнате по целым дням, а нередко и за полночь, диктовал он свои статьи А. О. Студенскому, кажется, бывшему семинаристу из Саратова, фанатически ему преданному.

По поводу тона бесед, которые велись в кабинете Чернышевского с обыкновенными, хотя и симпатичными ему, но не вполне близкими посетителями, Пантелеев (цит. соч., стр. 178 сл.) по личному опыту

сообщает следующее: «Несмотря на крайнюю простоту в обращении Н. Г., многие, вероятно, испытывали своего рода жуткость в беседе с ним. Метко раз выразился мой тогдашний приятель В. Ю. Хорошевский: «Когда говоришь с Н. Г., чувствуешь, что он не только знает, что у тебя во лбу, но и что скрывается под затылком». В обществе, когда мне доводилось видеть Н. Г., он вел самый обыкновенный разговор о каких-нибудь текущих пустяках или рассказывал незатейливые анекдоты; но совсем другим Н. Г. являлся мне в своем кабинете. Тут речь его всегда была серьезна, осмотрительна, чужда двусмысленности и вместе с тем далека от какого-нибудь подстрекательства. Напротив, он пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть, с какими трудностями приходится бороться всякому начинающемуся освободительному движению, как сильны враждебные силы, как они изощряются в борьбе... Внимательно следя за движением среди молодежи, хорошо осведомленный, всей душой ей сочувствуя, Н. Г. был однако далек от преувеличенной оценки молодого поколения; и даже в его горячей защите молодежи («Научились ли?») совсем не видно и тени того сентиментализма, который тогда широко сказывался в некоторых кругах в суждении о молодежи».

Конечно, иной тон царил в его интимных беседах с людьми, которые были близки ему по революционному настроению, в характер и энергию которых он верил. Но таких людей было не очень много. К ним (не считая, разумеется, Добролюбова) нужно отнести: поэта М. И. Михайлова, старого знакомого Чернышевского еще по университету; братьев Николая и Александра Серно-Соловьевичей, из которых первый недавно еще находился в стадии либеральных иллюзий, надеялся на «благородство» Александра II, подавая ему записки, и только после неудачи крестьянской реформы стал более или менее определенно на революционный путь (младший был настроен более революционно и впоследствии в эмиграции играл активную роль в швейцарском Интернационале); Н. В. Шелгунова, П. Н. Обручева, блестящего офицера генерального штаба, а также его молодого племянника — В. А. Обручева, вышедшего в отставку, чтобы заняться литературной деятельностью; А. Слепцова и П. И. Бокова [1]; С. Сераковского; М. Антоновича; среди молодежи Н. Утина и А. Студенского. Революционные конспирации Чернышевский вел преимущественно с этими людьми [2].

---

[1] Пантелеев, — по нашему мнению, бездоказательно, — отрицает близость Бокова к Чернышевскому.

[2] Впрочем, относительно А. Студенского мы не беремся утверждать это положительно. Сомнительно также, чтобы в революционные дела Чернышевского был посвящен Г. Елисеев.

Менее близок был Чернышевский с П. Лавровым, от которого его отдаляли, с одной стороны, философские разногласия, а с другой — общая умеренность и неопределенность тогдашних взглядов будущего редактора «Вперед». Но позже, вероятно с 1861 года, натянутые отношения между Лавровым и Чернышевским начали уступать место некоторому сближению. Из личного знакомства с Лавровым Чернышевский убедился, что тот эволюционирует влево и настроен довольно демократически [1]. Об этом, несомненно со слов самого Лаврова, рассказывает и Русанов. «По мере того, — пишет он, — как деспотизм все больше и больше снимал с себя либеральную маску, Лавров все далее и далее передвигался влево. В 1862 году он был введен А. Н. Энгельгардтом в революционное общество «Земля и Воля», а за несколько месяцев до ареста Чернышевского сблизился с этим последним и был приглашен им в качестве секунданта на одну из «словесных дуэлей» с одним из представителей консервативного лагеря. Этот литературный поединок состоялся, впрочем, без участия Лаврова» [2].

Лавров начал бывать в доме у Николая Гавриловича. Там в конце 1861 года с ним познакомился и М. Антонович. По его словам, Лавров был довольно хорошо знаком с Чернышевским, и если не был его другом, то во всяком случае числился в рядах довольно близких знакомых, для которых дом Н. Г. был всегда радушно открыт. Однажды после беседы с Лавровым Чернышевский, по его уходе, заметил Антоновичу: «Вот видите, он — почти наш приятель. А вы вообразили о нем бог знает что, считая его чуть ли не нашим врагом». Чернышевский очень хорошо относился к Лаврову, который пользовался его глубоким

---

[1] Как сообщает Пантелеев (цит. соч., ч. I, стр. 167—168), в 1889 году в Астрахани Чернышевский рассказывал ему следующее: «Как вы, может быть, помните, в «Современнике» несколько прохаживались насчет Петра Лавровича; в обществе, хотя и редко, мы встречались, но, конечно, держались друг от друга в стороне; но вот как-то довелось мне выходить с ним вместе из заседаний Комитета (Литературного) фонда; извозчик сразу не подвернулся; идем мы с ним в одном направлении, разговорились; да и проходили мы по улицам Петербурга до рассвета; все друг друга до квартиры провожали, а разговор никак не кончается; наконец зашли ко мне и еще часа два проговорили. Да, — подумавши, прибавил Чернышевский, — глубочайшее уважение имею к Петру Лавровичу». — Не забудем, что рассказ этот относится к 1889 году, когда Лавров успел уже побывать в ссылке, в эмиграции, в редакции «Вперед», «Вестника Народной Воли» и пр.

[2] Н. С. Русанов — «П. Л. Лавров». «Былое» 1907, № 2, стр. 258. Дальше (стр. 261) Русанов прибавляет, что в области политической экономии Лавров тогда признавал себя учеником Чернышевского. — О «словесной дуэли» с Эвальдом мы говорим ниже.

уважением и доверием. Более того, Чернышевский смотрел даже на Лаврова, как на человека своего лагеря в широком смысле слова, несмотря на известное расхождение во взглядах. В подтверждение своих слов Антонович также приводит тот факт, что в суде с Эвальдом Чернышевский в качестве одного из двух своих свидетелей выбрал именно Лаврова, который, впрочем, на разбирательство не попал [1].

Конечно, вполне своим Чернышевский Лаврова не мог считать, но он видел в нем честного человека с прогрессивными и демократическими склонностями, все более заостряющимися влево. В частности он мог дорожить знакомством с Лавровым ввиду его связей в военных кругах, что в ожидании предстоявшей революции имело большое значение. Лавров был тогда полковником и профессором артиллерийской академии. В 1861 году по вторникам у него еженедельно собирался кружок офицеров-артиллеристов; между прочим во время студенческих волнений этот кружок по совету Лаврова 27 сентября направил к зданию университета нескольких своих членов, чтобы их присутствием и вмешательством предотвратить ожидавшееся избиение студентов полицией и войсками (один из них, артиллерийский поручик Энгельгардт, был при этом даже арестован) [2]. Лавров обвинялся даже в участии в студенческих сходках и подстрекательстве студентов, за что получил выговор от начальства. Возможно, что если бы в то время произошло какое-нибудь серьезное революционное выступление, то Лавров и некоторые другие офицеры приняли бы в нем участие. В этом отношении показателен следующий рассказ Пантелеева (цит. соч., ч. 1-я, стр. 328): «П. Л. Лавров раз крайне удивил меня; это было, как припоминаю, в начале осени 1862 г. «Странно, — говорил он, — еще недавно казалось, что в обществе начинало что-то выделяться в виде как бы организованной группы с активными задатками, и вдруг все стушевалось, не видно никаких проявлений». Я молчал (сколько припоминаю, в это самое время приготовлялся № 1 «Земли и Воли»), а Петр Лаврович продолжал: «Был день, который мог быть чреват последствиями, но он пропущен: я разумею несостоявшуюся сходку (студенческую) у Казанского собора (в октябре 1861 г.). Я тогда долго оставался вблизи Казанского собора; все было переполнено публикой,

---

[1] Витязев — «П. Л. Лавров в воспоминаниях современников». «Голос Мин.» 1915, № 9, стр. 132.

[2] См. Воспоминания Н. Шелгунова в «Юбилейном сборнике Литературного Фонда», Спб. 1910, стр. 404—405, и отдельное издание, стр. 129—130 и 219. Ср. «Материалы для биографии П. Л. Лаврова» под ред. Н. Витязева, вып. I, Петр., изд. «Колос», 1921, стр. 84—85.

особенно много было офицеров, и видно было, что собрались не ради праздного любопытства» [1].

Гораздо более близкими были отношения Чернышевского к некоторым другим офицерам, а именно к обоим Обручевым и к С. Сераковскому. Что тогдашние радикалы в предвидении крестьянского восстания старались сблизиться с прогрессивно-настроенными офицерами, это было более чем понятно. Естественно, что и кружок Чернышевского стремился к тому же, что облегчалось для него теми связями, которые Чернышевский успел завязать в военной среде во время редактирования им «Военного сборника». Н. Николадзе рассказывает, что в доме Чернышевского его «особенное внимание обращали военные, офицеры генерального штаба, между которыми было много полковников, но бывали и генералы». Из них сильнейшее впечатление произвел на него Сераковский [2].

---

[1] Замечательно, что приват-доцент М. В. Клочков в своей статье «Процесс Н. Г. Чернышевского» («Ист. Вестник» 1913, №№ 9 и 10), в которой он пытается реабилитировать правительство Александра II от обвинения в подлогах, совершенных во время этого процесса, использует это сообщение Пантелеева для того, чтобы доказать подлинность сочиненного предателем В. Костомаровым «письма к А. Плещееву», утверждая, что под таинственным «Л. со своими офицерами» скрывается П. Лавров. А между тем Лавров не только был тогда весьма далек от революционной практики, но и еще с десяток лет после того не думал сходить с легальной почвы. Комитет «Земли и Воли», которому Пантелеев поспешил передать свой разговор с Лавровым, не усмотрел в его словах ничего кроме «интересного суждения, высказанного без всякой задней практической мысли», а член комитета Боков даже резко выступил против П. Лаврова, видимо, отражая прежнее отношение к нему Чернышевского. Все это показывает, насколько натянуто толкование г. Клочкова, который, разумеется, у м о л ч а л о продолжении рассказа Пантелеева. — В соображениях г. Клочкова вероятно только одно: III Отделение, зная, что Лавров бывал у Чернышевского, сознательно вставило букву Л. в составленное Вс. Костомаровым письмо, чтобы придать некоторый оттенок правдоподобия этому беззастенчивому подлогу. Однако, Лаврова к делу Чернышевского не привлекли, и это было вполне естественно, ибо тогда обман мгновенно бы обнаружился.

[2] Н. Н и к о л а д з е — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Каторга и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 30—31. — Вероятно, через Чернышевского с офицерами познакомился и Добролюбов. Лемке в биографическом очерке Добролюбова сообщает, что в начале 1859 года Добролюбов сходится с двумя военными кружками. Один из них состоял из офицеров, слушателей Академии генерального штаба, а другой — из ее профессоров. Среди них выдавались Н. Н. Обручев, С. Сераковский, Добровольский, Н. Д. Новицкий, Степанов, Станевич, В. М. Аничков и пр. («Сочинения» Добролюбова, т. I, стр. CXXIII).

С. П. Зыков, кончивший тогда Академию генерального штаба, а впоследствии сделавший карьеру на усмирении Польши, также посещал дом Чернышевского, хотя к последнему близок не был. «Кроме меня, — рассказывает он, — бывали почти еженедельно у Чернышевского из офицеров генерального штаба Н. Н. Обручев, впоследствии начальник главного штаба и член Государственного совета, В. М. Аничков, А. И. Беренс, С. С. Рехневский и Сераковский; из лиц невоенных бывали А. Д. Галахов и Добролюбов. На этих вечерах не было ничего сколько-нибудь похожего на политический кружок. Более всего нас привлекала прекрасная хозяйка, Ольга Сократовна, всегда веселая, гостеприимная и радушная. Конечно, были разговоры на злобы дня и, конечно, не обходилось без того, чтобы не осуждали тогдашние действия правительства. Но все это было далеко от того, чтобы обсуждать какие-нибудь революционные планы... Сам Чернышевский недолго оставался среди своих гостей; бо́льшую часть вечера он просиживал в кабинете за своею срочною работою в „Современнике"» [1].

Выше мы уже рассказывали о том, как относился к Сераковскому Чернышевский, который дважды вывел его в своих беллетристических произведениях (в «Что делать?», где он наделяет многими чертами Сераковского своего главного героя Рахметова, и в «Прологе», где Сераковский изображен под именем Соколовского). Даже на таких черствых и ограниченных людей, как историк Н. И. Костомаров, эта обаятельная личность производила глубокое впечатление. «Сераковский, — говорит Костомаров [2], — по приемам и манерам своим был совершенный огонь... Сераковский, поступив в военную академию, произвел там фурор необыкновенными своими способностями... Его политические убеждения приводили меня в совершенный восторг. Он казался врагом польско-шляхетских патриотических тенденций; сознательно говорил, что Польша может быть восстановлена только в славянской федерации, и притом радикально изменившись, поставивши своею задачею пользу не одного какого-нибудь класса, как прежде было, а целой массы народной. Он казался пламенным поборником демократических идей, стремления даровать простому народу свободу и возвышать его умственный и материальный уровень путем правильного просвещения... Но вспыхнуло польское восстание 1863 года, и Сераковский неожиданно для меня явился совсем в другом (?) свете».

Для таких «прогрессистов», как Н. И. Костомаров, активное участие, которое Сераковский принял в польском восстании, могло

[1] С. П. Зыков — «Наброски из моей жизни». «Рус. Старина» 1910, апрель, стр. 146—147.

[2] «Автобиография Н. И. Костомарова», стр. 321—322.

казаться чем-то неожиданным и даже предосудительным. Недалеко от этого взгляда ушел и А. Н. Пыпин, который в своем наивном стремлении «очистить» память Чернышевского от «несправедливых обвинений» договаривался порою до величайших пошлостей. В частности, желая опровергнуть утверждения реакционной печати о влиянии «польской интриги» на русскую радикальную журналистику, Пыпин пускается в рассуждения, совершенно извращающие действительное отношение Чернышевского и к Сераковскому, и к польскому восстанию. Вот что он рассказывает:

«В числе возвращенных (по амнистии. — *Ю. С.)* поляков был и очень известный впоследствии Сераковский, [а также?] мистический поэт, писавший под псевдонимом Антоний Сова [1]. Познакомились они с Чернышевским очень просто, через кого-то из общих знакомых... Сераковский был уже немолодой человек, начитанный во французской литературе; по характеру это был как будто человек восторженный, но и фантаст... (он немало работал потом по вопросам об уничтожении телесных наказаний в армии). Помню, что ему была доставлена раз или два литературная работа в «Современнике» ради получения гонорара... В данном случае дело было очень просто: отношение, например, к Сераковскому было простое внимание, несколько близкое к состраданию; никакого влияния на Н. Г. он иметь не мог и разве только мог служить примером политико-исторической фантастики, владевшей польскими умами» [2].

Между тем, люди, лично слыхавшие отзывы Чернышевского о Сераковском, рассказывают нечто совершенно иное. Так, В. Шаганов [3], бывший с Чернышевским вместе на каторге, сообщает (несомненно, со слов самого Н. Г.), что «Сераковский был самым близким человеком в кружке «Современника», хорошим другом Добролюбова и разделял все убеждения последнего» (ясно, что Чернышевский из скромности говорит здесь об убеждениях Добролюбова, а не своих). П. Николаев [4], тоже живший на каторге с Чернышевским, передает, что «Чернышевский знал и, видимо, любил Сераковского, считая его дельным человеком. Он много рассказывал о нем». Сераковский был одним

[1] Мы вставили в рассказ Пыпина слова «а также», потому что поэт Сова с Сераковским ничего общего не имел.

[2] А. Пыпин — «Мои заметки». «В. Европы» 1905, февраль, стр. 24—25; отдельное издание, стр. 92—93.

[3] В. Н. Шаганов — «Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке». Спб., 1907, стр. 23.

[4] П. Николаев — «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге». М. 1906, стр. 43. — Много сведений о Сераковском см. в комментариях Лемке к т. XVI «Сочинений» Герцена, стр. 409 сл.

из тех немногих людей, которые имели постоянный свободный доступ к Чернышевскому. Жена Чернышевского рассказывала Н. Николадзе, что Н. Г. очень ценил Сераковского за ум и многостороннее образование. Он «свободно заходил к Чернышевскому в кабинет, — рассказывает Николадзе, — и подолгу там оставался. Когда они выходили оттуда вместе, меня удивляли знаки глубокого уважения, с которым Сераковский относился к нашему писателю» [1]. Совершенно очевидно, что об'единяло этих, столь различных по душевному складу, но столь схожих по симпатиям и революционным стремлениям, людей. С Сераковским Чернышевский познакомился еще в середине 50-х годов, когда молодой прапорщик попал из Оренбургских батальонов в Петербург. Как видно из письма Чернышевского к Некрасову от 5 ноября 1856 года, Сераковский одно время вел в «Современнике» иностранное обозрение [2]. Чем дальше, тем близость между ними все более росла. И, судя по словам Чернышевского Шаганову, они были солидарны не только по вопросу о польской революции, но и по всем основным вопросам русской и международной жизни. Сераковский не был исключительным националистом; напротив, судя по тому, что мы о нем знаем, он был, подобно Чернышевскому, интернационалистом. Большую часть своих сил он отдал на борьбу за отмену телесных наказаний в русской армии. Разумеется, когда долг чести позвал его, он пошел под знамена польского восстания и там скоро обрел мученическую смерть. Но подобно другим лево-настроенным полякам ему одинаково близки были интересы всех угнетенных и эксплоатируемых, что естественно делало его своим человеком в кружке Чернышевского.

Сераковский был не единственным из польских революционеров, с которыми связан был Чернышевский. Польский историк Болеслав Лимановский указывает, что из окружения Чернышевского вышли: Яр. Домбровский, С. Сераковский, Гейденрейх (Крук), Зверздовский (Топор), впоследствии бывшие начальниками повстанческих польских отрядов [3]. Здесь не назван Падлевский, тоже бывший офицером в Петербурге и затем игравший видную роль в восстании, но мы уверены, что и он не мог не быть знакомым с Чернышевским, хотя бы через

---

[1] Николадзе, цит. ст., стр. 31.

[2] «Переписка Чернышевского», стр. 35. — Чернышевский называет там Сераковского человеком «неглупым и образованным».

[3] Limanowsky — «Historya powstania narodu Polskiego», Lwów, 1909, стр. 109. — По словам Зыкова («Наброски из моей жизни», «Рус. Старина», 1910, апрель, стр. 146) Зверздовский никогда не бывал у Чернышевского, а Сераковский бывал почти еженедельно.

того же Сераковского. Эта группа польских офицеров способствовала созданию русской военной организации в Царстве Польском, примкнувшей позже к «Земле и Воле». Таким образом на образование русского военного комитета в Польше Чернышевский влиял двояко: непосредственно своими писаниями и посредственно через близких к нему польских революционеров, взявших на себя инициативу этой организации (известную роль играл здесь и «Колокол» Герцена).

Кроме того, Чернышевский был знаком и с Иосафатом Огрызко, который был в то время центральным руководителем польской организации в Петербурге. Внешне эта связь установлена агентурными наблюдениями, но внутренняя сторона ее осталась неизвестной благодаря необычайной конспиративности Чернышевского. Каприз истории захотел связать Чернышевского с Огрызко еще иначе: по окончании каторги Чернышевский был заключен в Вилюйске в тот самый острог, в котором до того томился И. Огрызко, бывший таким же предметом ненависти для царского правительства.

Но о чем говорил Чернышевский с этими (и другими, вероятно) людьми, какие планы они строили, что делали, — об этом мы можем только догадываться. За исключением приводимых ниже сообщений Н. Шелгунова и А. Слепцова, мы в литературе, равно как и в документах процесса Чернышевского, не находим определенных указаний на эту сторону дела. В чем именно выразилась революционная деятельность Чернышевского, до сих пор полностью не установлено. А в его время и даже вплоть до опубликования в 1918 году неизданной части воспоминаний Н. Шелгунова, а затем записей А. Слепцова, самый факт личного участия Чернышевского в революционных предприятиях оставался спорным [1]. Чернышевский бесспорно был великим конспиратором и тайну своих действий унес в могилу (если не считать приведенного нами выше туманного намека его в повести «Альферьев») [2]. Только через 20 лет после его смерти в записках Н. Шелгу-

[1] Этим об'ясняется и то обстоятельство, что в первом издании моей книги (стр. 383 сл.) я, желая оставаться на почве строго установленных фактов, не решился ответить на этот вопрос утвердительно, считаясь с указаниями лиц, которые, как Пантелеев и др., стояли довольно близко к Чернышевскому и категорически отрицали его прямое участие в революционных делах.

[2] Чернышевский был также против каких-либо признаний на допросах и вообще откровенных разговоров с агентами правительства, которых рассматривал как непримиримых врагов. Николадзе рассказывает, что когда один студент за столом у Чернышевского восторгался смелым поведением на суде М. Михайлова, якобы открыто изложившего свои убеждения перед сенатом, то Ольга Сократовна прервала его восторги замечанием, что Ни-

нова определенно было указано на принадлежность ему воззвания «К барским крестьянам».

Во всяком случае и до того ясно было одно: если Чернышевский сам и не принимал активного участия в различных проявлениях начинавшегося тогда революционного движения, то он всеми ими живо интересовался, о многих знал [1], а некоторыми даже идейно руководил. Что он знал о всех существенных проявлениях тогдашнего революционного движения, что многие из непосредственных участников последнего совещались с ним и считались с его указаниями, что, во всяком случае, они почерпали из бесед с ним и из его сочинений убеждение в необходимости практических попыток, к которым сам Чернышевский по складу своего характера, быть может, не всегда был способен, — это вряд ли подлежит сомнению. Чернышевский был знаком с большинством тогдашних революционных деятелей; он пользовался огромным влиянием на демократические элементы русского общества и был кумиром революционной молодежи. К каждому слову его прислушивались с величайшим вниманием, почерпая из его статей практические указания и ненависть к социальной эксплоатации и политическому угнетению. С нетерпением ожидали выхода очередной книжки «Современника», тираж которого благодаря сотрудничеству Чернышевского и Добролюбова дошел в 1860—1861 году до 6½ тысяч экземпляров, — цифра по тому времени огромная [2]. Хотел ли этого Чернышевский или нет, воздерживался ли он от какого-либо подстрекательства,

---

колай Гаврилович очень сожалеет о таком поведении Михайлова. Ему вовсе не следовало сознаваться, а нужно было сделать все, что только возможно, чтобы спастись. Нас уже не так много, чтобы самим лезть в петлю. В это время в столовую вошел сам Чернышевский, подтвердивший последние слова жены и скороговоркой произнесший две-три фразы в том смысле, что глупо откровенничать с начальством, которого все равно словами не вразумишь («Воспоминания о шестидесятых годах», «Кат. и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 29—30).

[1] О широкой осведомленности Чернышевского в этой области свидетельствует следующий сам по себе мелкий факт, сообщаемый Пантелеевым: «Меня раз крайне поразило, как, должно быть, в апреле (1862 г.) он обратился ко мне с вопросом: по каким соображениям я возражал в сентябре 1861 г. в студенческом комитете против некоторых слишком резких предложений?» («Из восп.», ч. 2, стр. 179).

[2] О влиянии Чернышевского на молодежь мы говорили выше. О влиянии его на таких писателей, как Решетников, Помяловский, отчасти даже Некрасов, достаточно известно. Биограф Помяловского, Н. Благовещенский, сообщает, что автор «Бурсы» почти воспитался на «Современнике», и т. д., и т. п. Впрочем, это — тема, которая заслуживала бы, пожалуй, специального рассмотрения со стороны историков литературы.

как рассказывает Пантелеев, и пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть трудности, ожидающие революционеров, и силу и хитрость врагов, его сочинения будили совесть и властно толкали к борьбе за народное освобождение. В этом смысле можно сказать, что Чернышевский был идейным вождем и вдохновителем тогдашнего революционного движения. Правительство могло бы, пожалуй, еще обвинить его в знании и недонесении. Но фактов, которые доказывали бы непосредственное участие Чернышевского в революционных делах, у правительства не было: вот почему оно и прибегло к подлогам, чтобы убить своего опасного врага.

Не было таких фактов и в распоряжении людей, сочувствовавших Чернышевскому. Так, А. Плещеев в письме к А. Пыпину от октября 1889 года уверенно заявляет: «Я, равно как все его знавшие, убеждены, что он не был причастен к революционной агитации» [1]. Правда, Плещеев не стоял близко к Чернышевскому и вообще не был посвящен в его интимные дела. Но вот Пантелеев, участник «Земли и Воли», вхожий в дом Чернышевского и находившийся с ним в довольно тесных отношениях, также принужден признать: «В то время у меня не было никаких веских данных относительно участия Н. Г. в нелегальных проявлениях тогдашнего общественного движения; имелись только некоторые намеки, догадки и ничего более» («Восп.», ч. 2-я, стр. 180). И, даже попав уже на каторгу, Чернышевский продолжал держаться той же конспираторской тактики, какую применял на свободе [2], так

[1] Саратовский сборник о Чернышевском, стр. 158.

[2] Об этом можно судить по воспоминаниям находившегося вместе с ним на каторге Стахевича. «Сам Николай Гаврилович о своей политической деятельности выразился однажды со смехом и с шутками приблизительно так: «Мы, т. е. я, Салтыков и еще кто-то, составляли план преобразования России; ха-ха-ха! Ну вот, мы еще не решили, что для нас лучше — монархия или республика; больше к тому склонялись, чтобы утвердить монархию, обставленную демократическими учреждениями. Гм!.. Легко сказать. А ежели монархию, то ведь надо же иметь, согласитесь сами, своего кандидата на престол. Решили: великую княгиню Елену Павловну. Вот ведь мы каковы! С нами не шутите! Ха-ха-ха!». Он любил говорить шутливо и о пустяковых предметах, и о важных... Я про себя подумал: шутки шутками, а какие-то политические планы, должно быть, действительно составлялись, и для осуществления их кое-что, должно быть, действительно предпринималось». При этом Стахевич ссылается на разговор свой с Зайчневским, имевшим место за 3 года до того. Во время этого разговора Зайчневский по поводу Чернышевского буркнул сердито: «Вот, тоже хорош! Берется не за свое дело. Человек кабинетный, — ну, и сиди при своих книгах. А он людей в комитет выбирает. Мастер, нечего сказать; вот все равно, как жену себе выбрал. Нашел, кого: Пантелеева. Жука»... Вот эти-то слова о выборе Нико-

что его товарищи по тюрьме не знали точно об его практическом участии в революционных делах и остались при убеждении, что он в них замешан не был. В этом отношении чрезвычайно характерна следующая выдержка из записок П. Д. Баллода (осужденного на каторгу по делу «Карманной типографии»), сообщенная Ветринским:

«Никаких доказательств революционной деятельности против Чернышевского правительство не имело. Да и вовлекать Чернышевского в прямую непосредственную работу против правительства едва ли кто стал бы. Для этого нужны были более подходящие, и их было немало. Мог он высказывать то или иное мнение о деятельности агитаторов и, конечно, высказывал, и, вероятно, его мнения доходили до сведения агитаторов, и, может быть, они принимали их к сведению. А кто же не высказывал своих мнений по поводу текущих событий?

«Но прямого участия [в деятельности] против правительства Чернышевский не принимал. Я знаю случаи, когда людей, которых почему-либо нужно было особенно приберегать, удерживали от деятельности, где бы они могли быть заметны. Да и если бы Чернышевский вступил в организацию, то это могло [бы] быть скорее на руку правительству (?!), так как он, имея значительно больший запас знаний, мог действовать часто на молодежь, из которой больше и состояли кружки, сдерживающим, охлаждающим образом. А это могло привести к разрыву Чернышевского с молодежью. Его бы стали упрекать в отсталости, в излишней осторожности, пожалуй — трусости. Молодежь всегда нетерпелива и потому часто подвергается без нужды опасности» [1]...

Верно то, что тогдашние революционеры, сознавая великое значение Чернышевского, щадили его и остерегались вовлекать его в рискованные операции, видимо, приберегая этого выдающегося человека

лаем Гавриловичем членов комитета (само собою понятно — революционного) я и вспомнил, слушая в Александровском заводе его шутливую тираду о его собственной политической деятельности. Зайчневский не мог говорить с ветру, с бухты-барахты: не такой человек. Я и тогда так думал, а впоследствии, узнавши о дальнейших судьбах Зайчневского, еще больше убедился, что он всегда был хорошо осведомлен о личном составе наших политических организаций» (Сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан, стр. 115—116). Судя по этим именам, речь в данном случае могла итти о комитете общества «Земля и Воля», с которым Чернышевский был связан. Правда, в словах Зайчневского содержится фактическая ошибка, ибо вряд ли Пантелеева в члены общества предложил Чернышевский, но они показывают, что о прикосновенности Н. Г. к «Земле и Воле» в некоторых революционных кругах было известно.

[1] Ветринский — «Н. Г. Чернышевский», стр. 157—158.

к моменту торжества революции, когда его глубокий ум и обширные познания могли бы принести трудящимся массам огромную пользу. Но тем не менее Чернышевский не стоял в стороне от революционных предприятий того времени. Каких? На этот вопрос и теперь трудно отвечать с положительностью. При скудости наших сведений о движении той поры здесь остается еще слишком много места для догадок и для произвольных построений.

В следующих главах мы попытаемся разобрать отдельные вопросы о революционных выступлениях того периода и приблизительно выяснить, каково было или могло быть действительное участие в них Чернышевского.

Глава четвертая

„ВЕЛИКОРУСС"

Утверждение, что Чернышевский был прикосновенен к «Великоруссу» или даже является его автором, благодаря тому, что это мнение поддерживается авторитетными историками, грозит превратиться в общественный предрассудок. Между тем оно основывается на догадках, игнорирует общеизвестные факты и решительно противоречит психологической правдоподобности.

«Великорусс» — это листок тайного общества того же названия. Вышло его три номера: в июне, августе и октябре 1861 г. (четвертый номер был подделкой) [1]. Состав общества «Великорусс» до сих пор не установлен. По сообщению А. Слепцова, опубликованному М. Лемке в комментариях к тому XVI сочинений Герцена (стр. 72), членами общества «Великорусс» были: Н. Н. Обручев, его племянник В. А. Обручев, В. Ф. Лугинин, а также ад'ютант герцога Мекленбургского, затем эмигрант кн. Н. П. Трубецкой. Что касается В. Обручева, взявшегося распространять «Великорусс» только со 2-го номера и сразу на этом провалившегося, то сообщение Слепцова весьма сомнительно. Какое-то отношение к «Великоруссу» имели еще А. В. Захарьин и П. И. Боков — оба хорошие знакомые Чернышевского. К таковым же следует отнести обоих Обручевых и Лугинина (был ли знаком с Чернышевским кн. Трубецкой, мы не знаем). Между прочим на основании этих знакомств строились догадки о прикосновенности Н. Г. к «Великоруссу».

Первый листок «Великорусса», отмечая неудачу крестьянской реформы и указывая, что стране грозят жестокие смуты, ставил вопрос,

---

[1] Листки перепечатывались неоднократно: в № 107, № 109 и 115 «Колокола» за 1861 г.; во 2-м приложении к сборникам Базилевского (Богучарского) — «Государственные преступления в России», под заглавием «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг.»; в книге М. Лемке — «Очерки освободительного движения в 60-х гг.», Петр. 1909; наконец в книжке «Прокламации шестидесятых годов» под ред. Ф. Раскольникова, изд. «Моск. Раб.», М. 1926.

способны ли образованные классы обуздать правительство и заменить произвольное управление законностью. Второй номер «Великорусса» выдвигал программу, сводившуюся к «хорошему разрешению крепостного дела, освобождению Польши и конституции». Из двух способов решения крестьянского вопроса — передачи народу всей земли и оставления за крестьянами их прежнего фактического землепользования — листок высказывается за более умеренный, т. е. за второй, но выкуп отвергается им в том и другом случае. Дальше листок высказывается и за предоставление «населению южной Руси полной свободы располагать своей судьбой по собственной воле». «Великорусс» требует не октроированной конституции, а созыва депутатов для свободного ее составления, т. е. учредительного собрания. Третий номер ставит вопрос о судьбе династии. Считаясь с тем, что часть «друзей свободы» считает возможным осуществить законность при сохранении дома Романовых, листок предлагает проверить это мнение и в виде опыта подать царю адрес с требованием созвать представителей русской нации в Москве или Петербурге, а польской нации — в Варшаве, причем проект адреса прилагается. На этом деятельность «Великорусса» закончилась.

Теперь спрашивается: какое отношение имел и мог иметь Чернышевский к этим листкам? Сторонники того взгляда, что Чернышевский участвовал в их составлении, приводят аргументы троякого рода: во-первых, близость большинства лиц, замешанных в дело «Великорусса», к Чернышевскому; во-вторых, стиль листков, сильно напоминающий манеру нашего автора; в-третьих, совпадение выраженных в нем мыслей и требований с взглядами и программой Чернышевского. Все — доказательства, как видим, не прямые, а косвенные, причем наиболее важным из них является третье (программное сходство).

Лемке в статье «Процесс великоруссцев» («Былое» 1906, № 7), а также в своей книге «Очерки освободительного движения» (стр. 381) уверял, будто «есть серьезное основание предполагать, что «Великорусс» был отчасти делом рук Чернышевского». При этом он ссылался на свидетельство Стахевича. «Я заметил, — сообщает Стахевич («Закаспийское Обозрение» 1905, № 143), — что Чернышевский с явственным сочувствием относится к листкам, выходившим в неопределенные сроки под заглавием «Великорусс». Слушая разговоры Николая Гавриловича, я иногда замечал, что и содержание мыслей, и способ их выражения сильнейшим образом напоминают мне листок «Великорусс», и я про себя решил, что он был или автором или, по меньшей мере, соавтором этих листков, проповедывавших необходимость конституционных преобразований». Далее Стахевич говорит.

будто Чернышевскому, по его словам, не было пред'явлено обвинение в авторстве «Великорусса» лишь потому, что почерк рукописей (?) «Великорусса» не походил на почерк Чернышевского [1]. «Передавая об этом нам, обитателям «полиции», — продолжает Стахевич, — Николай Гаврилович сказал особенным тоном, каким говорят актеры по ремарке «в сторону»: «я умел писать несколькими почерками» [2]. Из этих, мимоходом брошенных слов я понял, что некоторые листки были написаны действительно им (да, но какие? — *Ю. С.*), но почерк был им умышленно употреблен другой, не тот, каким он писал для цензуры» [3].

Пантелеев на этот счет выражается довольно осторожно. Упоминая об А. В. Захарьине (служащем пароходного общества «Кавказ и Меркурий»), который «по некоторым указаниям принимал непосредственное участие, кажется, в Великоруссе», он прибавляет в примечании: «Близость Захарьина с Чернышевским дает мне основание думать, что Ник. Гавр. был, может быть, не совсем чужд делу «Великорусса». К тому же манера говорить с публикой, стиль «Великорусса» очень напоминают Н. Г. В 90-х годах покойный А. А. Рихтер говорил мне, что, по его сведениям, одним из главных членов кружка, выпустившего «Великорусс», был давно умерший Лугинин. Кажется, он выведен Чернышевским в «Прологе Пролога» под именем Нивельзина» («Из воспоминаний», часть 1-я, страница 327).

Далее, при обыске у В. Обручева, арестованного за распространение второго номера «Великорусса», найден был конверт с печатью «J. A.» (буквы стерлись, так что утверждать, что это было именно J. A., трудно), каковою были запечатаны и многие из разбрасывавшихся конвертов с «Великоруссом». В конверте оказалось письмо Чернышевского к Обручеву (как сотруднику «Современника») с припиской доктора Бокова. Надо заметить, что Боков был женат на сестре В. Обручева. Боков был арестован и на допросе показал: что касается печати на конверте его письма к Обручеву, то он, вероятно, воспользовался печаткой одного из своих многочисленных пациентов. Находившееся в конверте письмо Чернышевского к Обручеву было чисто делового характера. По делу «Великорусса» Боков был оправ-

---

[1] Но имелись ли в распоряжении III Отделения рукописи «Великорусса»? Это неизвестно. Насколько мы знаем, манускриптов «Великорусса» в распоряжении правительства не было, и это одно подрывает веру в рассказ Стахевича.

[2] Указание весьма важное, если только оно точно.

[3] Сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан, стр. 110 и 114.

дан; но возможно, что кое-какое отношение к нему он все же имел [1].

Наконец, имеется и еще одна косвенная улика. В письме В. Обручева к гр. Шувалову от 6 августа 1868 г. (оно приведено у Лемке в «Очерках», стр. 395—396) есть подозрительное место, как будто приоткрывающее краешек завесы, а именно: говоря о том, что уже в 1861 г. он, Обручев, не сочувствовал революционной борьбе, он прибавляет: «Но я тогда был начинающий человек, чернорабочий в литературной передней, и не смел выражать свое мнение, боялся, что назовут трусом». Но если даже предположить, что это есть намек на какого-либо генерала от литературы, то это может быть намеком и на Чернышевского, и на Н. Серно-Соловьевича, и на Г. Елисеева, и вообще на всякого другого из тогдашних видных радикальных журналистов.

Но если предыдущие писатели все же выражаются насчет участия Чернышевского в «Великоруссе» осторожно, то автор весьма легковесной «Истории русского революционного движения» Л. Кульчицкий не знает сомнений. «В настоящее время,— говорит он по поводу участия Чернышевского в «Великоруссе» [2], — можно делать лишь догадки. Что касается нас, то мы не сомневаемся в том, что инициатором, редактором и руководителем «Великорусса» был не кто иной, как Чер-

[1] Об этом можно отчасти судить по приводимым ниже словам М. Михайлова. Кстати, именно Михайлова Шаганов почему-то называет автором «Великорусса» (цит. брош., стр. 5). По его словам, Михайлов «формулировал в своем «Великоруссе» самые задушевные стремления тогдашнего русского общества — федеральную конституцию со свободой Польши». А ведь Шаганов сидел в тюрьме вместе с Чернышевским, который наверно знал действительных авторов «Великорусса». Это лишний раз показывает, как конспиративно держал себя Чернышевский и на каторге. Так вот Михайлов в своих «Записках» (стр. 48) говорит: «Я забыл сказать и скажу теперь кстати, что меня не раз спрашивали, не известно ли мне, откуда идет «Великорусс». На отрицательный ответ мне замечали: «знаете, да сказать не хотите». Но и только». Это сказано в связи с упоминанием Бокова и Обручева; а именно непосредственно перед этим сказано: «Раза два-три проходил по двору Б[оков]. Он смотрел на мои окна и, вероятно, узнал меня. Я нарочно становился ближе и смотрел в открытую форточку. Однажды он поднял руку ко рту и сделал как будто три воздушных поцелуя. Может быть, они относились к Обручеву, а может быть, и к обоим нам». Но и это только догадка.

[2] «История русского революционного движения». Спб. 1908, т. I, стр. 256—257. Там же он заявляет, что в составлении «Великорусса», вероятно, участвовали братья Серно-Соловьевичи, а на стр. 264 сообщает, что М. Михайлов поместил в «Колоколе» возражение «Великоруссу» (в действительности оно принадлежит Н. Серно-Соловьевичу). Так пишется история!

нышевский. Некоторые исследователи допускали уже подобное предположение, нам оно кажется неподлежащим сомнению». Доказывает он это ссылкой на свидетельства Стахевича и Пантелеева (как мы видели, далеко не категорические), близостью В. Обручева к Чернышевскому, наконец тем, что Чернышевскому не понравилась «Молодая Россия» (об этом см. ниже): «следует, стало быть, допустить, что он одобрял направление „Великорусса"» (?!). Легкомыслие этого скоропалительного вывода необыкновенно даже для Л. Кульчицкого.

Не менее легковесный историк русского революционного движения, на сей раз принадлежащий к охранительному лагерю, Б. Глинский, также признает причастность Чернышевского к изданию «Великорусса», Приведя все те же свидетельства Стахевича [1] и Пантелеева и сопоставив в духе Кульчицкого стиль «Великорусса» с писаниями Чернышевского («сходство авторских манер изложения мысли явно бросается в глаза и вызывает предположение о тождестве литературного пера»), Глинский продолжает: «Если единоличное авторство Чернышевского в интересующей нас прокламации остается фактически бездоказательным, то во всяком случае несомненным остается то положение, что «Великорусс» вышел из недр близких редакции «Современника», был ею одобрен и с ее благословения пущен по белому свету. Недаром же сотрудник «Современника» и лицо, находившееся под покровительством Чернышевского, В. А. Обручев, оказался виновным в распространении этой прокламации, и недаром целый ряд имен, согласно воспоминаниям деятелей того времени, как-то связан прямо или косвенно как с редакцией этого влиятельнейшего и передового политического органа оппозиционного характера, так и с легендами и смутными слухами, сохранившимися от того периода нашей общественной жизни, о происхождении и деятельности общества Великорусс».

И дальше он дает список имен, стоящих «в исторический связи» с появлением «Великорусса»: Чернышевский, В. А. Обручев, братья А. и Н. Серно-Соловьевичи, Лугинин (у него «Лучинин»!), Жук, Захарьин, А. Слепцов (и некоторые офицеры, вышедшие из академии Генерального штаба и артиллерийской академии) [2].

---

[1] Нужно заметить, что сам Стахевич далеко не был уверен в справедливости своей гипотезы. «Я вполне понимаю, — говорит он (цит. ст., стр. 114), — что мое мнение об авторстве (или соавторстве) Николая Гавриловича в листках «Великорусса» обосновано слабо и очень возможно, что со временем оно будет опровергнуто убедительными доказательствами».

[2] Б. Глинский — «Революционный период русской истории», Спб. 1913, т. I, стр. 103. — Кстати. Зыков (цит. ст., стр. 146) опровергает утвер-

Последней из работ этого цикла, пытающихся на основании некоторого сходства стиля и содержания «Великорусса» и некоторых произведений, бесспорно принадлежащих Чернышевскому, доказать тождество их авторов, т. е. признать «Великорусс» продуктом творчества Чернышевского, является большая статья А. И. Хоментовской «Н. Г. Чернышевский и подпольная литература начала 60-х гг.» [1]. Наиболее обстоятельная и подробная аргументация в пользу этого тезиса только разоблачает здесь свое бессилие и беспочвенность.

Применяемый Хоментовской метод сводится к установлению сходства, а то даже и тождества между стилем и содержанием «Великорусса», с одной стороны, и воззвания «К барским крестьянам», «Писем без адреса» и статей Чернышевского по крестьянскому вопросу — с другой. Если оставить пока в стороне воззвание «К барским крестьянам», то мы несомненно найдем нечто общее в «Великоруссе» и в некоторых работах Чернышевского, но это общее мы найдем и в писаниях Герцена, и в других революционных прокламациях и легальных литературных произведениях той поры. Это, впрочем, признает и Хоментовская, когда констатирует «много точек соприкосновения между «Колоколом» этой поры и отмеченной группой прокламаций: одни и те же критерии, та же оценка момента, те же приемы врачевания — основные пункты совпадают» (стр. 385). Почему же она приписывает «Великорусс» не Герцену или кому-либо из лиц политически с ним солидарных, а Чернышевскому? Мы утверждаем, что если произвести работу, аналогичную той, какую произвела Хоментовская, но при этом только сопоставлять «Великорусс» не с некоторыми писаниями Чернышевского, а со всем «Колоколом» Герцена, то между ними окажется гораздо больше точек соприкосновения. И это вполне естественно: по общему характеру, по программе и тактике «Великорусс» стоит неизмеримо ближе к Герцену той поры, чем к Чернышевскому. Но и этот вывод был бы столь же неубедителен [2].

ждение Б. Глинского, будто «Великорусс» печатался в типографии Академии генерального штаба, так как при этой академии никакой типографии не существовало. Это утверждение повторяли, впрочем, и более серьезные историки.

[1] Напечатана в первой книге «Исторического Архива, издаваемого Главным Управлением Архивным делом», Петр. 1919 г., стр. 324—413.

[2] Весьма вероятно, что в составлении «Великорусса» принимал активное участие Н. Обручев, сотрудничавший с Огаревым в составлении воззвания «Что нужно народу?», к которому кстати «Великорусс» по общему своему характеру стоял ближе, чем к взглядам Чернышевского. Этим обстоятельством, т. е. вероятной принадлежностью статей «Великорусса»

Некоторое сходство стиля «Великорусса» и писаний Чернышевского отрицать невозможно. Но само по себе это ничего не доказывает. Кстати, с этой стороны статья Хоментовской дает очень мало: анализ стилистических совпадений можно было бы расширить и углубить. Но ведь известно, что в то время Чернышевскому подражали во многом, подражали и в слоге [1]. При том установление тождества авторов двух произведений на основании сходства их стиля — дело чрезвычайно трудное и рискованное, даже если оно производится более тщательно и осторожно, чем это делает Хоментовская [2]. Наконец не нужно забывать, что существуют специфические стили национальные, партийные, а в особенности стили эпохи. Нам теперь кажется, что писатели карамзинского периода писали на один манер, что у энциклопедистов схожий слог, что деятели французской революции выражались одинаковым манером, но это несомненно ошибка, вытекающая из дальности расстояния. В действительности и тогда люди говорили и писали далеко не одинаково, но нам в настоящее время трудно уловить различия в стиле, если они не выражены особенно резко. Точно так же существует и особый стиль шестидесятых годов, оттенки которого, за-

Н. Обручеву, человеку, хорошо знакомому с Чернышевским, часто у него бывавшему, с уважением к нему относившемуся и преклонявшемуся перед его литературной деятельностью, легко может быть об'яснено и сходство стиля «Великорусса» с стилем статей Николая Гавриловича. Это, разумеется, только предположение.

[1] Выше мы привели по этому поводу свидетельство Пантелеева. Ветринский (цит. соч., стр. 156) правильно замечает: «Однако «стиль» — вещь мало надежная. Есть указания, что даже в наружности и в манере говорить многие подражали в те годы Чернышевскому; тем легче об'яснить заимствованность литературной манеры того лица, которое редактировало «Великорусса».

[2] Вот некоторые примеры делаемых ею сопоставлений. В прокламации «К барским крестьянам» сказано: «Надо только единодушие иметь между собою мужикам... Надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет», а в «Великоруссе» сказано: «Всего важнее, чтобы друзья свободы действовали заодно» — разве это не доказательство, что оба документа принадлежат одному перу?! В прокламации говорится: «А мы все — люди русские и промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем... А когда пора будет за доброе приняться, тогда откроемся», а в «Великоруссе» написано: «Спрашивают, кто мы. Когда явится надобность, наши скромные имена будут открыты тем, кому будет нужно знать их для пользы дела» — ну, разве такое совпадение можно считать случайным? (стр. 357—358). Но ведь подобные приемы мы можем встретить во всех решительно прокламациях всех эпох и направлений, ибо они об'ясняются не единством авторов, а сходством подпольного положения и вызванной этим необходимости в конспирации. Неужели это неясно?

метные для современников, от нашего внимания естественно ускользают, ибо наша эпоха имеет свой собственный стиль.

Точно так же неубедительно и установление сходства программ. Мы уже не говорим о том, что между программой и тактикой «Великорусса», с одной стороны, и Чернышевского — с другой, очень мало общего, что первая является начальной формулировкой либеральных стремлений, тогда как вторая представляла течение революционно-социалистическое. И поэтому Хоментовская совершила крупный промах в том отношении, что до формулировки своих выводов не попыталась проанализировать общее политическое и социальное мировоззрение Чернышевского на основании всех его произведений и этим заранее обесплодила всю свою работу. Кое-что общее между «Великоруссом» и Чернышевским несомненно есть: например, требование учредительного собрания (хотя и здесь можно установить принципиальное различие, ибо Чернышевский стоял скорее за захват власти революционной партией), признание права на самоопределение за Польшей и Украиной. Но это об'ясняется просто: кружок «Великорусса» находился под влиянием многих идей Чернышевского, но не всех, разделял вместе с другими передовыми элементами того времени его взгляды, но не все — и прежде всего по основному вопросу о крестьянской реформе. Но, повторяем, если бы совпадение было и полным, оно само по себе не доказывало бы, что автором «Великорусса» является именно Чернышевский [1].

Хоментовская усматривает «новую связующую нить» между Чернышевским и «Великоруссом» в том, что Чернышевский в «Письмах без адреса» намекает на появление этого листка среди других знаменательных событий момента. «Такое упоминание его, — говорит Хоментовская, — есть признание его как явления положительного» (стр. 395). Допустим, но что же это доказывает? Только то, что Чернышевский не был политическим индиферентистом, и что для подрыва самодержавия он считал полезною и конституционную агитацию «Ве-

[1] Насколько опасны такие сопоставления, видно из примера А. Корнилова, который в своей «Крестьянской реформе» (стр. 164—166) категорически признал автором «Великорусса» Н. Серно-Соловьевича (что, впрочем, было бы более правдоподобно). Хоментовская сразу замечает неосновательность чужой гипотезы и опровергает ее рядом доводов. Жаль, что Хоментовская не применила такого же критического метода к своей собственной гипотезе о Чернышевском. А кстати, она могла бы привести против Корнилова еще один, даже более сильный аргумент, а именно, что автором возражения «Великоруссу» в «Колоколе» был не кто иной, как Серно-Соловьевич. Но она по традиции приписывает это возражение М. Михайлову (стр. 375).

ликорусса». Ведь в «Письмах без адреса» он также отмечает и конституционное движение среди дворянства. Что же, неужели отсюда можно сделать тот вывод, что он был и автором конституционных адресов или даже что авторы их вышли из его окружения?!

Но главный недостаток аргументации Хоментовской заключается в том, что она берет за скобки столь разнородные по духу и содержанию документы, как «Великорусс» и воззвание «К барским крестьянам», и, сопоставляя их как произведения одного автора, делает отсюда свои выводы. По ее словам между обоими документами существует «тесная связь». Авторы «Великорусса» угрожали де, в случае неуспеха их обращения к образованным классам, обратиться к народу, а воззвание к крестьянам и есть выполнение этой угрозы. Ясно, что это — дело одних и тех же рук. Воззвание к барским крестьянам и является продолжением «Великорусса» (стр. 355 и 379). Неудивительно, что оба они связаны с политическими воззрениями Чернышевского, и Хоментовская отваживается даже утверждать, что «все (!), написанное им и известное о нем, и по содержанию, и по форме, без всякого насилия, без противоречий может быть поставлено в одну линию с этими анонимными листками» (стр. 388). Увы, это смелое утверждение только показывает, что Хоментовской не «всё» известно о Чернышевском, и что даже опубликованные его сочинения она не поняла как следует. Мы не говорим уже о нелепости приема, заключающегося в сопоставлении воззрений Чернышевского сразу с д в у м я документами, столь различными по духу, программе, тактике и т. д.

Положение, что воззвание к барским крестьянам представляет продолжение «Великорусса», является центральным пунктом в аргументации Хоментовской. Но чем же она это доказывает? Тем, видите ли, что в «Великоруссе» сказано было, что если его апеляция «к образованным классам» не увенчается успехом, то он обратится к народу. Но вот вопрос: откуда известно, что великоруссцы убедились в неудаче своего обращения к высшим классам? Правда, они проектировали подать адрес царю. Такие адреса подавались, но ни к чему не привели. Но было ли это д о составления прокламации к крестьянам? Далее, допустим, что великоруссцы признали неудачу этих адресов достаточным поводом для апеляции к народу. Но ведь нужно еще доказать, что воззвание к барским крестьянам исходило действительно из и х среды, было результатом и х разочарования. Хоментовская так и думает, но ведь она впадает при этом в ошибку, известную в логике под названием petitio principii: она предполагает доказанным то, чего ищет, т. е. не только допускает, что воззвание явилось результатом разочарования великоруссцев и выполнением и х угрозы,

но и признает Чернышевского членом их общества, выполняющим их директиву и для этого составляющим свою прокламацию.

Произвольность этого построения бросается в глаза.

Далее, Хоментовская исходит из допущения, что программа «Великорусса» и воззвания — одна и та же, и что оба они принадлежат Чернышевскому, соответствуя его взглядам. Между тем в действительности дело обстоит как раз наоборот. По двум основным вопросам великорусссцы и Чернышевский радикально расходились. В области крестьянского вопроса Чернышевский стоял за экспроприацию помещиков и передачу крестьянам всей земли, тогда как великорусссцы согласно с левыми либералами высказывались за предоставление крестьянам только той земли, какая до реформы была в их фактическом пользовании, т. е. были, правда, против произведенных у крестьян отрезков, но готовы были оставить в руках помещиков те земли, какие и прежде находились в их непосредственном пользовании. Их программа была, если так можно выразиться, «ка-детской», а не революционно-социалистической. Что же касается вопроса о борьбе за политическую свободу, то, не говоря уже о том, что программа Чернышевского не исчерпывалась ограничением самодержавия и сохранением монархии, хотя бы с придачею ей конституционного характера, а сводилась к полному уничтожению монархии, что она требовала захвата власти революционной партией с введением красного террора против защитников старого режима, а вовсе не созыва учредительного собрания при сохранении династии Романовых, каковое Чернышевский считал и в своих статьях довольно недвусмысленно называл величайшей глупостью и преступлением со стороны революционеров, уже не говоря обо всем этом, если даже признать, что Чернышевский готов был на время удовольствоваться созывом такого учредительного собрания, он никогда не стал бы советовать добиваться его созыва путем обращения к монарху из дома Романовых. Это мог делать Герцен, но не Чернышевский. И нужно совершенно не понимать его воззрений, для того чтобы приписать ему такую тактику, которую он всегда об'являл сеянием вредных иллюзий и за которую клеймил либералов, в том числе и Герцена. Вопреки Хоментовской, всюду ставящей знак равенства между программой «Великорусса» и программой воззвания к крестьянам и признающей автором того и другого одно и то же лицо, мы утверждаем, что стремления воззвания резко противоречат стремлениям «Великорусса», и что эти два исторические документа ни в каком случае не могли иметь одного автора. А так как автором воззвания был Чернышевский, то ясно, что он ни-

как не мог быть автором или соавтором «Великорусса». Когда Чернышевский решил выступить с революционным призывом, он обратился для этого не к «образованным классам» с предложением подавать прошение о конституции царю, а к крестьянам с призывом готовиться к всеобщему восстанию для радикального уничтожения старого строя.

Но главное, чего не заметила Хоментовская и те, кто готов признать правильной ее точку зрения, так это то, что все ее построение рушится бесследно от одного прикосновения хронологической критики. По ее мнению воззвание к крестьянам было результатом разочарования великоруссцев в практичности давления на правительство через образованные классы и выполнением их обещания, в случае неуспеха первоначально выбранного пути, обратиться непосредственно к народным массам. Но вот в чем штука: «Великорусс» выходил в промежуток между июнем и октябрем 1861 года. Разочарование великоруссцев могло наступить во всяком случае не раньше октября, фактически даже позже, ибо нужно же было время на пропаганду идеи адреса, приложенного к третьему номеру «Великорусса». Но допустим, что великоруссцы разочаровались, даже не дождавшись выяснения вопроса об успехе или неуспехе своего адреса, допустим даже, что они разочаровались по выходе первого же номера, т. е. в июле 1861 года (что было бы несовсем логично, но мы готовы дать опровергаемой нами гипотезе все шансы), — и в таком случае они могли приступить к выполнению своей угрозы не раньше июля 1861 года. Но, к несчастью для Хоментовской и ее кабинетной выдумки, прокламация к барским крестьянам была составлена Чернышевским зимой 1860—1861 года, по-видимому, даже до опубликования манифеста 19 февраля и во всяком случае весною этого года находилось уже в Москве в наборе. Таким образом воззвание к крестьянам не только не является «продолжением» «Великорусса», но является его предшественником и вообще ни в какой связи с ним не стоит.

Если Стахевич высказал предположение о прикосновенности Чернышевского к «Великоруссу», то другой современник Н. Г., тоже бывший с ним на каторге, держится на этот счет совершенно противоположного мнения. Мы имеем ввиду Баллода, который в заметках, сообщенных Ветринскому, заявляет следующее: «Недавно мне предложили вопрос: какое отношение имел Чернышевский к «Великоруссу», который выступил в начале [18]62 года? [1]. Хотя меня уверяли, что Черны-

[1] Ошибка: летом и в начале осени 1861 года.

шевский принимал участие в издании «Великорусса», я утверждаю, что он никакого участия в «Великоруссе» не принимал, и участники «Великорусса» относились к Чернышевскому далеко не симпатично. Я спросил однажды, кого они имеют ввиду как руководителя, и к ужасу узнал, что у них имеет быть главарем генер.-губ. Суворов (?) [1]. Я не знал, смеяться ли мне, или эти г.г. смеются. Но они (кто? — *Ю. С.*) совершенно серьезно находили, что это — единственный человек, и при этом не замедлили бросить грязью в Чернышевского, находя очевидно, что будут люди, которые будут стоять за Чернышевского» [2].

Указав на некоторые подвиги Суворова, говорящие против легенды о его либерализме, Баллод продолжает: «В Петербурге Суворов позволял себе иногда полиберальничать, особенно с литераторами, за что среди полицейских он прослыл даже за красного, хотя красного у него только были одни штаны. Либерализм Суворова сделал его несколько популярным. Даже Чернышевский относился к Суво́рову несколько лучше, чем к Потапову и другим, хотя тот же Суворов, когда Вс. Костомарову предстояло побывать в Петропавловской крепости, приезжал к коменданту крепости и просил его отвести Костомарову каземат получше [3].

«Знал ли Суворов, что «Великорусс» наметил его своим главарем, не знаю. Суворову несомненно хотелось играть роль... Но «Великорусс» только начал формироваться и не представлял из себя что-нибудь цельное.

«В это время вышла «Молодая Россия», и... о «Великоруссе» перестали даже говорить...

«Правительство с особым усердием напустилось на розыски источника «Молодой России», и Суворов, говорили, предлагал даже ввести пытки. Голицынская комиссия была уверена, что «Молодая Россия» — дело Чернышевского, Серно-Соловьевича и Белозерского (?), но это были только догадки, без каких бы то ни было указаний откуда бы то ни было».

---

[1] Не над этим ли проектом издевался Чернышевский, когда, по словам Стахевича, шутя рассказывал, что он и Салтыков (одно соединение этих имен чего стоит!) намечали на престол кандидатуру Елены Павловны?

[2] К сожалению, это место рассказа Баллода неясно. — Стахевич делает отсюда тот вывод, что среди великоруссцев имелось правое и левое крыло, при чем первое стояло за Суворова, а второе — за Чернышевского (цит. ст., стр. 114). Но и при таком предположении ясно, что сам Чернышевский стоял от «Великорусса» в стороне.

[3] О подозрительном поведении Суворова в деле Чернышевского и о связи его с Вс. Костомаровым мы говорим дальше.

Лемке, который в свое время немало способствовал упрочению легенды о причастности Чернышевского к «Великоруссу», впоследствии отказался от своей гипотезы. На него в этом отношении подействовал тот факт, что он узнал от А. Слепцова о принадлежности перу Чернышевского статьи в «Колоколе» за подписью «Русский Человек», которая решительно бичевала конституционные иллюзии либералов и выдвигала программу решительной крестьянской революции (см. выше, стр. 151 сл.) [1]. Возможно, что на него подействовали также воспоминания В. Обручева, напечатанные в 1907 году и определенно отвергающие причастность Чернышевского к «Великоруссу». Во втором издании своей книги «Политические процессы» (стр. 167) Лемке уже пишет: «Всякий, кто действительно знает Н. Г. (именно! — *Ю. С.*),... прочитав этот документ (т. е. статью «Русского человека». — *Ю. С.*), увидит, что иного автора и быть не могло». Перепечатывая далее эту статью «Русского человека», Лемке прибавляет: «Привожу это весьма важное выражение мыслей Чернышевского полностью еще и для того, чтобы прекратить в нашей литературе неверные указания на идеологическую близость Н. Г. к «Великоруссу» в середине 1861 г. Может быть, зная, что до «Великорусса» он написал это свое знаменитое «письмо», а п о с л е него, в начале 1862 г., «Письма без адреса», историки нашего революционного движения поймут, что пришло время отделить Чернышевского от Борисов Чичериных, Кавелиных, Иванов Тургеневых и пр.». К этому месту Лемке делает следующее примечание: «Особенно желательно видеть исправление этой ошибки в «Истории» М. Н. Покровского».

Это звучит наивно. Сомнительность участия Чернышевского в «Великоруссе» доказывается вовсе не письмом «Русского человека», о принадлежности которого Чернышевскому ведь можно спорить [2], и не «Письмами без адреса», в которых Чернышевский не развернул всей своей точки зрения по самому характеру этой статьи, а общих духом и содержанием его писаний с 1855 года. Вот почему уже в первом издании моей книги, в 1909 году, когда я еще не знал о том, что автором письма «Русского человека» был Чернышевский, я все-таки, на

[1] Странно, что на Лемке так подействовала о д н а эта статья Чернышевского (авторство которой для некоторых еще спорно). Если бы он, когда писал свою статью о процессе В. Обручева, знал сочинения Чернышевского вообще и понимал дух этого писателя, он не впал бы в свою ошибку. Поэтому к нему вполне применим тот самый упрек, который он в 1923 году делал другим историкам, упорствующим в приписывании Чернышевскому авторства «Великорусса».

[2] Лично я не сомневаюсь в принадлежности его именно Чернышевскому.

основании анализа совокупности его произведений, оспаривал причастность его к «Великоруссу» (стр. 385—387).

Неудивительно, что призыв Лемке оказался бесплодным. М. Н. Покровский в «Очерках по истории революционного движения в России XIX и XX вв.» остался по этому вопросу на своей старой позиции. «Чернышевский, — говорит он, — который... в экономической области обнаружил такую изумительную проницательность [1], в политической области держался довольно наивной точки зрения, воображая (где? когда? — *Ю. С.*), что «образованные классы», т. е. интеллигенция, имеет какую-то самостоятельную силу и значение, и что ее движение может добиться известных политических результатов [2]. Несмотря на то, что Лемке это оспаривал, я держусь все-таки той точки зрения, что «Великорусс» если не прямо написан Чернышевским, — ибо стиль на него похож, — то во всяком случае лицом, вышедшим из кружка, к которому принадлежал Чернышевский, и который Чернышевским вдохновлялся» [3].

И дальше т. Покровский переходит к оценке воззвания к крестьянам, о чем мы скажем ниже.

А между тем уже в 1907 году В. Обручев, единственный, оставшийся к тому времени в живых участник этих событий, определенно отверг причастность Чернышевского к «Великоруссу». Дослужившись, после отбытия каторги, до генеральского чина, В. Обручев до своего выхода в отставку отказывался сообщить что-либо по поводу дела «Великорусса». Но в 1907 году в «Вестнике Европы» появились его воспоминания, в которых легенде о Чернышевском как авторе этих листков нанесен решительный удар.

---

[1] А Ленин полагал, что Чернышевский обнаружил изумительную проницательность как раз в политической области (см. том I, стр. 605—606).

[2] Вся моя книга служит опровержением этого неверного взгляда на Чернышевского, пущенного в обращение Плехановым.

[3] «Очерки» и пр., М. 1924, изд. «Красной Нови», стр. 58. — Это — уже частичная сдача позиции. Повидимому, в настоящее время, после дискуссии в Комакадемии и после моей статьи «Н. Г. Чернышевский и революционное движение 60-х годов», напечатанной в «Вестнике Ком. Академии» 1928, № 27 (3), М. Н. Покровский уже не настаивает на своей прежней точке зрения. По крайней мере, в своей статье «Николай Гаврилович Чернышевский», помещенной в № 170 (4002) «Правды» от 24 июля 1928 г., он говорит: «Чернышевский в это время (в 1861 году. — *Ю. С.*) стоял уже гораздо левее не только «Великорусса» и Герцена. Он был уже автором самого яркого антимонархического воззвания к народным массам, какое до этого времени было только известно русской истории». Это заявление т. Покровского мы вправе рассматривать, как отказ от признания прикосновенности Чернышевского к «Великоруссу».

Будучи обижен тем, что по окончании курса в Николаевской академии он не попал, как ему полагалось, в гвардейский штаб, Обручев решил выйти в отставку и заняться литературной работой. Это и привело его к знакомству с Чернышевским, к которому его направил Панаев. В разговоре с Чернышевским Обручев уже не ссылался на личную обиду, а говорил о нежелании оставаться на военной службе, чтобы не пришлось стрелять в народ, и т. п.

О «Великоруссе» Обручев узнал лишь по выходе 1-го номера. «Добролюбов мне сказал, — пишет он, — что по впечатлению, вынесенному Некрасовым за время бытности в деревне, „ничего не будет"». Однако Обручев пошел на распространение второго номера «Великорусса». Кто передал ему пакет с номерами листка, Обручев так и не открыл, даже в своих воспоминаниях, опубликованных чуть ли не через полвека. «Даже теперь, — говорит он, — по прошествии сорока пяти лет, я не назову лицо, через которое это предложение последовало. Я очень мало знал его, и его имя заглохло в полной безвестности. По крайней мере, я лично никогда и ничего о нем не слыхал. Но я жив — стало быть, и он может еще здравствовать. Затем возможны дети, внуки, — и разоблачение имени было бы без сомнения неприятно им всем» [1].

Жандармы полагали, что В. Обручев близок к «первоисточнику «Великорусса», и потому энергично наседали на него. Царь даже присылал к нему принца Ольденбургского, чтобы выведать имя лица, передавшего ему экземпляры воззвания [2]. Но Обручев так никого и не назвал. Новый начальник III Отделения, ген. Потапов, тоже хотел выпытать что-либо от Обручева насчет прикосновенности «Современника» к «Великоруссу». Однажды, приехав к нему в Алексеевский равелин, Потапов сразу задал ему вопрос, знал ли он Добролюбова, и на утвердительный ответ Обручева, прибавил: «Умер он-с». Далее жандарм стал расспрашивать Обручева о существовавших между ними отношениях, но ничего интересного для себя не добился, и «в дальнейших допросах имя Добролюбова больше не упоминалось».

Что охранка как будто допускала прикосновенность Чернышевского к «Великоруссу», видно из вопроса, неожиданно заданного Обручеву на допросе гр. Шуваловым. «Между прочим, смотря в окно, граф пренебрежительным тоном заметил, что ведь у меня есть брат или двоюродный брат, который участвовал в «Военном Сборнике» с Черны-

[1] Эти слова наводят на предположение, что означенное лицо принадлежало не к демократическому, а к «высшему кругу».

[2] Между прочим в разговоре принц сказал: «Печать свободна: пишут, что хотят. Вон г. Чернышевский не стесняется».

шевским. Где он теперь?» Впрочем, это место можно скорее толковать как догадку жандармов о причастности к «Великоруссу» Н. Обручева, что соответствовало действительности.

Заявив, что он не берется судить о том, был ли Чернышевский вообще прикосновенен к каким-либо нелегальным делам, В. Обручев продолжает: «Но я считаю своею обязанностью энергически возразить против намеков на что-либо подобное, насколько оно касается лично меня». Наконец, вот главное интересующее нас место из его воспоминаний. «Своему участию в деле я не придаю никакого значения и отнюдь не думаю, чтобы оно представляло какой-либо общественный интерес: но на мне лежит обязанность выяснить мои отношения к Н. Г. Чернышевскому, в надежде, что это положит предел странной настойчивости, с которой архивные искатели стараются связать ничтожное мое имя и листок, прежде всего школьнический, повторявший давно сказанное другими, с светлым именем глубокого мыслителя, руководителя современного ему общественного движения (курсив мой). Даже следственная и сенатская прокуратуры не нашли возможным вести атаку с этой стороны: у них были ввиду наглядные обстоятельства, отношения, живые речи, явно обличавшие несообразность подобного обвинения. А теперь, когда все это умерло, не оставив следа ни в одной бумажонке, добрые люди считают удобным предаваться произвольным, ни на чем не основанным догадкам. Поразительнее всего то, что обвинение, от которого отказалась прокуратура, не отступившая перед лжесвидетельством и подлогом [1], пред'является доброжелателями не для унижения, а как бы в похвалу личности. Как будто прикосновенность к ничтожному нелегальному делу могла прибавить желательную черту к облику безвинно подвергнутого двадцатилетнему жесточайшему заточению и вынесшему это испытание с таким поразительным достоинством, с такой неослабной добротой и участливостью к бедным темным людям, которым ему представлялся случай помочь» [2].

Разумеется, свидетельство В. Обручева само по себе не решает окончательно вопроса. Ведь он мог просто не знать о причастности Чернышевского к «Великоруссу». Но при всех прочих доказательствах показание В. Обручева приобретает немалый вес.

---

[1] Имеется ввиду процесс Чернышевского.

[2] В. Обручев — «Из пережитого». «В. Европы» 1907, № 5, стр. 123 сл. Продолжение этих воспоминаний печаталось в № 6 «В. Европы» за 1907 г. и в № 10 за 1908 г., но там нет ничего для нас интересного.

Скажут, как говорил т. Покровский: но если Чернышевский не был автором «Великорусса», то последний все-таки мог быть составлен лицом или лицами, входившими в его кружок и им направляемыми. Но что можно называть кружком Чернышевского? Разумеется, не просто добрых знакомых, к числу которых могли принадлежать и некоторые участники общества «Великорусс» (как, например, оба Обручевы, Захарьин, быть может, и другие). Если иметь ввиду людей политически с ним во всем солидарных, то таких, к сожалению, в его непосредственном окружении, кроме Добролюбова, вовсе не имелось [1]. В окружении Чернышевского были люди правее его, но левее не было. И вот что замечательно: даже эти более право настроенные друзья Чернышевского не были солидарны с «Великоруссом» ввиду его нереволюционного характера.

Что «Великорусс» не только не составлялся Чернышевским, но и не отвечал взглядам его окружения, видно из того, что даже Н. Серно-Соловьевич, бывший гораздо умереннее Чернышевского, не соглашался с направлением этого листка. Об этом говорит статья его в № 107 «Колокола» от 15 сентября 1861 года [2]. В ней автор приветствует «Великорусс» за то, что тот признал необходимость борьбы с самодержавием, но указывает, что для этого надлежит обращаться не к обществу, а к народу, ибо общество никогда открыто против правительства не выступит и не даст народу того, что ему нужно. Поэтому автор статьи рекомендует лучшим элементам общества об'единиться в тайную революционную организацию, чтобы действовать вместе с народом и чтобы добиваться не просто конституции, а «полного освобождения крестьян», установления народовластия и федерализма. И если к «Великоруссу» так относился Н. Серно-Соловьевич, то нетрудно представить себе, как к нему должен был относиться Чернышевский. Когда последний счел момент назревшим для перехода к делу,

[1] Они имелись в Москве, как, напр., авторы «Молодой России». Может быть, среди молодежи таковые были и в Петербурге, но мы их не знаем, если не считать Н. Утина и некоторых других членов «Земли и Воли».

[2] Перепечатана в «Материалах для истории революционного движения в России в 60-х гг.» В. Базилевского, Париж, 1905, стр. 37—38. — Принадлежность этой статьи Н. Серно-Соловьевичу устанавливается письмом Герцена к Огареву от 1 сентября 1861 г., в котором сказано: «Статьи Сер.-Сол. я никогда бы не напечатал... Смотри, у меня есть инстинкт, и до сих пор всякий раз я, уступая, делал беду» («Сочинения», том XI, страница 226). Естественно, что умеренный Герцен сочувствовал «Великоруссу» больше, чем его критикам; особенно же его смущал призыв к созданию тайной организации.

то он и обратился с революционным воззванием прямо к народу и написал свою прокламацию «Барским крестьянам» [1].

Враждебное отношение Чернышевского к буржуазному либерализму нам уже известно. На этой почве у него произошел и разрыв с Герценом, которого Чернышевский упрекал именно за направление, близкое к «Великоруссу». Недоверие его ко всему, что исходило от проникнутого либеральными иллюзиями Лондона, было так велико, что даже когда до него дошли слухи о каких-то попытках лондонских эмигрантов приступить к революционной организации в России (вероятно, речь шла о плане создания тайного общества, которое впоследствии образовалось под названием «Земля и Воля»), то Чернышевский высказался против этого.

Рейнгардт передает следующий якобы разговор свой с Чернышевским, относящийся ко времени пребывания Н. Г. в Астрахани. «Когда по какому-то поводу я заговорил о Герцене, то Николай Гаврилович с некоторым раздражением заметил: «С этим человеком в последнее время я совершенно разошелся во взглядах. Посудите сами, сидит себе барином в Лондоне и составляет заговоры, в которые увлекает нашу молодежь. Через Михаила Ларионовича (Михайлова) я советовал ему не трогать молодежь и даже печатно высказывался против него, немножко, пожалуй, резко, но он, впрочем, не сердился, простил» [2].

В высшей степени сомнительно, чтобы Чернышевский мог говорить Рейнгардту что-либо подобное; вернее всего, что тот передает здесь слышанный от кого-то рассказ. Под этим рассказом есть некоторое фактическое основание, но по существу он искажает действительно имевшее место происшествие. Во время обыска при аресте Чернышевского у него найдено было письмо Огарева к неизвестному (на самом деле к Н. Н. Обручеву), в котором между прочим говорилось: «Вы спра-

---

[1] «Между прочим, — пишет т. Раскольников во вступительной статье к «Прокламациям шестидесятых годов», стр. 18, — в литературе долгое время держалось убеждение о принадлежности воззваний «Великоруссо» перу Н. Г. Чернышевского. Однако стоит сравнить конституционный либерализм «Великорусса» с демократическим радикализмом выдающегося русского критика, чтобы решительно отвергнуть его участие в составлении листков «Великорусса». М. К. Лемке в своих примечаниях к сочинениям А. И. Герцена немало потрудился для опровержения этой легенды». Тов. Раскольников забыл, что Лемке был одним из тех, кто в свое время особенно способствовал утверждению этой легенды. Но хорошо то, что у него хватило смелости отказаться от ошибочного взгляда, ибо литераторам часто свойственно из самолюбия отстаивать свои прежние заблуждения.

[2] Н. В. Рейнгардт — «Н. Г. Чернышевский (по воспоминаниям и рассказам разных лиц)». «Рус. Старина» 1905, № 3, стр. 470.

ливаете, что такое, что больно было слышать. Да то, что Чернышевский поручил тому господину, который в Лондон не попал, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет». И дальше Огарев об'ясняет этот совет преувеличенным скептицизмом Чернышевского [1].

Сообщение Рейнгардта как будто подтверждается. Более того, толкование этого поручения, данное Огаревым, санкционируется самим Чернышевским во время допроса, учиненного ему следственной комиссией 14 марта 1863 года. «Лицо, — показывал Чернышевский, — которому я поручил передать Герцену, чтобы он не завлекал молодежь в политические дела, — г. М. И. Михайлов, ездивший за границу летом 1861 года... Поручение М. И. Михайлову отклонять Герцена от вовлечения молодежи в политические дела основывал я на общеизвестных слухах о том, что Герцен желает производить политическую агитацию, — я поручал Михайлову сказать Герцену, что из этого не может выйти ничего хорошего ни с какой точки зрения, что это повело бы только к несчастью самих агитаторов» [2].

Вот, казалось бы, автентичный материал для тех, кто склонен отыскивать в Чернышевском признаки «умеренности», «меньшевизма» и т. п. Но смешно принимать без критики показания, данные на допросах перед лицом политических врагов, ищущих материала для обвинения своей жертвы. Чернышевскому казалось, что единственное серьезное обвинение против него, повод к которому подал Герцен своим неосторожным письмом к Н. Серно-Соловьевичу и публикацией в «Колоколе» (см. ниже), сводится к сношениям с «лондонскими пропагандистами». Недоразумение, в которое впал Огарев, неправильно истолковав совет, переданный ему и Герцену через М. Михайлова, только лило воду на мельницу Чернышевского и помогало ему одурачить жандармов, придав этому совету самое мирное и невинное об'яснение. Замечательно, что и в письме к царю от 20 ноября 1862 года Чернышевский ловко и прилично пытается использовать письмо Огарева в выгодном для себя смысле (Лемке, цит. соч., стр. 227). Но ведь все это — явные пустяки. Что Чернышевский дурачил своих следователей, это вполне понятно. Но что он передавал Герцену нечто совершенно иное, это тоже совершенно ясно.

Как отрицательно относился Чернышевский к Герцену и к солидарному с последним тогда Огареву, известно: он находил их «Кавели-

[1] Письмо напечатано у Лемке — «Политические процессы», стр. 186 и сл.

[2] Дело следственной комиссии о Чернышевском, л.л. 357—359; ср. Лемке, стр. 312.

ными в квадрате», т. е. либералами и постепеновцами. Будучи в курсе всех революционных событий, Чернышевский через Н. Обручева и Н. Серно-Соловьевича наверно услышал о мысли издателей «Колокола» (вернее, Огарева, так как Герцен смотрел на это дело скептически) приступить к созданию тайного общества в России. Не ожидая от них ничего кроме новой либеральной затеи, Чернышевский естественно был против вовлечения революционной молодежи в такое, с его точки зрения никчемное, предприятие. Только это он и мог поручить Михайлову передать в Лондон. Плохо ли было выполнено его поручение, или Огарев просто не уразумел его смысла, мы не знаем. Но что дело обстояло именно так, в этом мы на основании всего, что мы знаем о Чернышевском, не сомневаемся [1].

[1] М. Лемке (цит. соч., стр. 312) держится того же мнения. «Разумеется,— говорит он, — Михайлову было поручено несколько иное: убедить Герцена, что действенная радикально настроенная молодежь не пойдет за «Колоколом», и потому на нее не следует рассчитывать в планах построения Земского Собора». Агитация в пользу Земского Собора относится, впрочем, к несколько более позднему времени. Мы думаем поэтому, что речь шла о проекте создания тайного общества, вылившегося позже в форму первой «Земли и Воли». Но в этом деле главную роль играл не Герцен, скептически относившийся к тайным обществам, а Огарев. И Пантелеев совершенно прав, когда замечает: «В деле Чернышевского есть фраза из чьего-то письма, у него найденного: «Чернышевский просит передать Герцену, чтоб он не подстрекал молодежь», — фраза совсем непонятная, так как нельзя привести сколько-нибудь достоверные факты, свидетельствующие, что Герцен не прочь был толкнуть молодежь на агитационную работу» («Из воспоминаний прошлого», ч. I, стр. 333). Пантелеев, хотя и был членом «Земли и Воли», не знал, что Огарев имел к этому делу кое-какое отношение.

Глава пятая

ОБЩЕСТВО „ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ"

Общество «Земля и Воля» было бесспорно самым крупным из тайных обществ и кружков, возникших в начале 60-х годов. Подобно другим подпольным организациям того времени о нем также известно очень мало, так что и здесь приходится сплошь и рядом пускаться в догадки. Воспоминания Пантелеева сообщают мало точного материала. Записки А. Слепцова, частично опубликованные Лемке, хотя по некоторым вопросам дают больше конкретных указаний, также оставляют неосвещенными много сторон и вдобавок вызывают сомнения в связи с личностью их автора, рано отошедшего от революции, писавшего свои воспоминания на старости лет, много перезабывшего, а кое-чего и просто не знавшего. В результате мы до сих пор не знаем и, может быть, никогда не узнаем, ни каков был устав общества и его программа, ни кто был его инициатором и т. п.

Если верить рассказу Слепцова, то инициатива основания общества принадлежит чуть ли не Огареву, а название его — Герцену. В этом позволительно усумниться. Даже Лемке, принимающий рассказ Слепцова на веру, приводит слова Слепцова о том, что в конце июня 1861 года, когда статья-прокламация Огарева «Что нужно народу?», которую участники будущей «Земли и Воли» якобы считали потом своей программой, была уже окончательно готова, «мысль об основании тайного общества, если и сложилась, то только у самого Огарева, державшего ее про себя, — Герцен, как известно, не одобрял вообще никаких тайных обществ, в чем и был последователен до начала 1863 г.; другим же она не была Огаревым высказана: он ее вынашивал и продумывал, не торопясь»[1]. Тот же Слепцов сообщает, что мысль эта одновременно возникла и у Н. Серно-Соловьевича, которому не понравилось направление «Великорусса», и который задумал тогда основать другое тайное общество, — надо понимать, более радикальное.

---

[1] Герцен — «Соч.», т. XVI, стр. 73.

Относительно Герцена вопрос ясен: он и до основания «Земли и Воли» относился к ней отрицательно, такое же отношение он сохранил к ней и после ее основания, даже когда приехавший в 1863 году за границу Слепцов (после ареста Чернышевского и Серно-Соловьевича) предложил Герцену быть ее заграничным представителем. Переписка его с Огаревым за 1862 и 1863 годы явно об этом свидетельствует. Иначе обстояло дело с Огаревым. Более живой и более чуткий к запросам русской действительности, он ближе принимал к сердцу интересы реального движения. Но считать его инициатором «Земли и Воли» мы все же не решаемся. Для этого он слишком тесно связан был тогда с Герценом, слишком поддавался его влиянию. Что Огарев отнесся более сочувственно к «Земле и Воле», чем Герцен, когда друзья узнали о ее существовании, что он, несмотря на систематические насмешки Герцена, продолжал верить в ее силу дольше своего приятеля, — это бесспорно, но это не дает еще основания признавать его зачинателем общества. Идея его возникла в самой России. Возможно, что первая мысль об его организации принадлежала Н. Серно-Соловьевичу. Но кто натолкнул его на эту мысль? Вряд ли Герцен и находившийся тогда под его влиянием Огарев. Серно-Соловьевич начал с конституционных иллюзий; он подавал записки в руки Александра II и наивно надеялся повлиять в прогрессивном и народолюбивом духе на царя. Герцен только мог поддерживать его в этом направлении, ибо не только в это время, но и много лет спустя продолжал переписываться с царем, царицей и т. п., не получая, впрочем, от них ответа. Один лишь человек мог повлиять революционизирующим образом на Н. Серно-Соловьевича, и этим человеком был Чернышевский. Повидимому, сначала кружок Чернышевского относился к Серно насмешливо, чтобы не сказать враждебно, очевидно ввиду его либеральных иллюзий. Об этом мы можем судить по письму Чернышевского к Добролюбову от 7/19 февраля 1861 года, в котором Н. Г. сообщает своему другу о своем сближении с Серно-Соловьевичем и просит Добролюбова переменить гнев на милость к нему [1]. Письмо это относится к тому моменту, когда неудача крестьянской реформы окончательно выяснилась, а вместе с тем усилились крайние революционные стремления. Это значит, что к этому времени Серно стал на точку зрения Чернышевского и признал необходимость насильственного низвержения политического строя. На этой почве и могло состояться его сближение с Чернышевским. И если верно, что идея основания «Земли и Воли» принадлежала Н. Серно-Соловьевичу, — а возникнуть она могла именно весною

[1] «Переписка Чернышевского». М. 1925, стр. 87—88.

1861 года, — то придется признать, что у колыбели этой идеи стояло влияние Чернышевского, в данном случае проявившееся через Н. Серно-Соловьевича.

Что Чернышевский влиял на подходящих по его мнению людей именно в этом направлении, показывает пример А. Слепцова.

Первое знакомство Чернышевского с А. Слепцовым состоялось в июле 1861 года. Слепцов явился к нему с рекомендательным письмом Н. Обручева. За год до того Слепцов побывал в Лондоне у Герцена, и Чернышевскому понравилось, что в рассказе Слепцова о встрече с Герценом звучала нотка критического отношения к вождю либерального течения. Разговор Чернышевского с Слепцовым сводился к тому, что Н. Г. старался прощупать своего собеседника, спрашивал его, намерен ли он приступать к основанию тайного общества, мог ли бы он написать прокламацию и т. п. Эти вопросы сами по себе весьма характерны. Слепцов в тот момент не имел еще определенных планов и давал уклончивые ответы. И получается такое впечатление, что на мысль о создании тайного общества очень осторожно и тактично навел его именно Чернышевский[1].

Согласно рассказу А. Слепцова, приводимому у Лемке в комментариях к сочинениям Герцена (том XVI, стр. 72 сл.), начальная организация общества предпринята была братьями Н. и А. Серно-Соловьевичами. Ими были привлечены Н. Обручев и А. Слепцов, личный приятель братьев. Общество связалось с московской организацией «Библиотека казанских студентов», существовавшей с 1859 года и насчитывавшей в своих рядах Ю. Мосолова, Н. Шатилова, нескольких офицеров (в конце 1861 года к ней принадлежали А. Щапов и Н. Булич). В основу своей программы общество решило взять статью-прокламацию Огарева «Что нужно народу?». Из первых слов этой статьи взято, по совету Герцена, и название общества «Земля и Воля». В состав нового общества решено было привлечь молодежь, желавшую после студенческих волнений 1861 года ехать доучиваться за границу, а также литературную публику. Из первых привлечены были В. И. Бакст, Н. Утин, Л. Пантелеев, М. Гулевич, А. Жук, В. Лобанов, Рымаренко, Бекман, из вторых — В. и Н. Курочкины, Благосветлов, Н. Ф. Бунаков, А. Ф. Погосский (!). П. Лавров и Г. Елисеев, по словам Слепцова, в общество не вступили, став как бы его членами-соревнователями[2]. Близко к обществу стоял и

[1] Герцен — «Соч.», т. X, стр. 425 сл.

[2] Русанов категорически утверждает, что П. Лавров был членом «Земли и Воли», куда он был введен членом общества А. Н. Энгельгардтом. Но Слепцов это указание отвергает. Повидимому, строгой организации и твердых формальностей при вступлении в общество не было.

Н. Шелгунов. Деятельным членом его был А. И. Ничипоренко, впоследствии дававший откровенные показания по делу сношений с лондонскими пропагандистами. Членом общества был также П. И. Боков [1]. За границей членами общества были Герцен (относившийся ко всей затее, впрочем, насмешливо), Н. П. Огарев, М. А. Бакунин, Н. И. Жуковский, который, кажется, стоял близко к «Земле и Воле» еще в России. Общество имело ряд провинциальных комитетов или отделов, из которых самыми сильными были московский и казанский (в 1863 году ряд его членов оказался замешан в дело «Казанского заговора», попытку военно-крестьянского восстания на Волге). В центральный комитет общества входили Н. Обручев, А. Слепцов, братья Серно-Соловьевичи и В. Курочкин; позже туда были введены Рымаренко, Н. Утин и Благосветлов, причем в качестве заместителей были намечены Н. Курочкин и Г. Елисеев. Общество имело связи и среди офицеров, особенно в воинских частях, расположенных в Царстве Польском: из последних особенно выдавался А. Потебня, впоследствии принявший активное участие в польском восстании и погибший в бою. Общество выпустило несколько прокламаций и два номера листка «Свобода» (в феврале и в июле 1863 года) [2]. К 1864 году в результате арестов отдельных членов, а также вследствие охватившей страну реакции, в особенности же вследствие неоправдавшихся расчетов на всеобщее крестьянское восстание весною 1863 года, «Земля и Воля» незаметно сошла на-нет, хотя организация общества в целом осталась нераскрытой.

Определенной программы общество не имело, по крайней мере, нигде она не была ясно выражена. Бакунин в своей стокгольмской речи 28 мая 1863 года, вероятно, на основании бесед со Слепцовым в Лондоне, формулировал эту программу в следующих выражениях: «1) передача земли крестьянам без выкупа с вознаграждением помещиков за счет нации; 2) замена императорской централизации федерацией независимых и свободных провинций, с признанием общины за исходный пункт организации; 3) отмена рекрутчины и замена постоянной армии

[1] В воспоминаниях Л. Пантелеева, точность которых Слепцов, а за ним и Лемке решительно отрицают, Слепцов фигурирует под именем «господина в пенснэ», а Боков под именем «господина à la Вирхов». Пантелеев («Из воспоминаний», ч. I, стр. 319) называет легендой слухи о Бокове, как «близком человеке к Чернышевскому» и «друге Добролюбова». Такой же, «уж совсем неправдоподобной» легендой он считает мнение, что Боков выведен в лице Лопухова. По его словам членом «Земли и Воли» был еще некий Михалевский, «чуть ли не товарищ Чернышевского по университету»; впоследствии он при Т. И. Филиппове дослужился до поста генерал-контролера (ibid., стр. 325—326).

[2] Все это вышло уже после ареста Чернышевского.

милицией (вооружением народа); 4) а для осуществления этих требований — созыв Земского Собора из депутатов, избранных во всех областях и городах России без различия классов, состояния и общественного положения» [1].

В первом номере органа «Земли и Воли», небольшом листке под названием «Свобода», мы точной формулировки программы не находим [2]. Там говорится о том, что «единственным источником всех бедствий, терзающих Россию, есть (sic) самодержавный деспотизм», который неспособен ни к каким серьезным реформам, а потому остается один только выход — неуклонная борьба с врагом русского народа, с императорским правительством. Признавая революцию неизбежной, Русский Центральный Народный Комитет ставит себе одною из задач привлечение образованных классов на сторону интересов народа, а значит — их собственных, и призывает всех русских граждан на служение великому делу народного освобождения. Победа над самодержавием прежде всего должна выразиться в созыве Народного Собрания из выборных представителей свободного народа, которое само определит будущий общественный строй освобожденной страны, причем последним моментом деятельности общества «Земля и Воля» будет обеспечение свободных выборов в Народное Собрание.

В каком же отношении стоял к «Земле и Воле» Чернышевский? Мы уже знаем, что уже летом 1861 года, когда Слепцов еще не помышлял о создании тайного общества, именно Чернышевский осторожно навел его на эту мысль. А ведь Слепцова он видел тогда в первый раз. Отсюда мы вправе заключить, что с более близкими и лучше знакомыми ему людьми он говорил на эту тему более откровенно и более решительно, в частности с теми же братьями Серно-Соловьевичами и Н. Обручевым, которые вовсе не нуждались в советах лондонцев и особенно Герцена, — отрицательно относившегося ко всяким революциям и всяким тайным обществам, — для того чтобы приступить к собиранию накопившихся в России революционных сил. И на основании всего, что нам известно о взглядах и симпатиях Чернышевского, мы вправе предположить, что если уж искать идейного инициатора «Земли и Воли», то им скорее мог быть Чернышевский, чем Огарев (хотя, ввиду тогдашнего настроения передовых элементов, они и не нуждались в этом отношении ни в каких личных инициативах, ибо мысль об этом носилась

[1] См. мою книгу «Бакунин», т. II, стр. 99 сл.

[2] «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг.», изд. Базилевского, Париж, стр. 89 сл. — Второй номер «Свободы», перепечатанный в августовской книжке «Былого» за 1906 г. (стр. 189 сл.), содержит еще меньше программных положений.

в воздухе, и сплочение происходило тогда в разных местах самостоятельно). Во всяком случае трудно допустить мысль, чтобы Чернышевский стоял совершенно в стороне от «Земля и Воли», этого первого более или менее широкого сплочения революционных сил.

Как нам уже известно, Чернышевский к рассматриваемому моменту начал склоняться к тому мнению, что в ближайшем будущем шансы на глубокую революцию с участием широких трудящихся масс в России сильно возросли. А раз так, то естественно необходима была сплоченная революционная организация, которая способна была бы возглавить предстоящее движение или даже восстание и не дать ему выродиться в стихийную вспышку или быть использованным враждебными народу силами. Одним словом, по всем своим данным и воззрениям Чернышевский представлялся единственным законным главою, если не инициатором, «Земли и Воли». Между тем, если верить рассказу Слепцова (а других, более достоверных и полных, к сожалению, не существует), то выходит, что Чернышевский в «Земле и Воле» не участвовал и имел к ней довольно отдаленное касательство.

Вот что рассказывает по этому поводу Слепцов [1]. Сообщив о приглашении ряда писателей, выше нами перечисленных, он продолжает: «Иначе обстояло с Чернышевским. Николай Гаврилович беседовал с

---

[1] Скажем прямо: Слепцов как свидетель возбуждает в нас некоторые сомнения. К «Земле и Воле» он примкнул, будучи чиновником (он служил во 2-ом Кодификационном отделении собственной е. и. в. канцелярии и пользовался доверием начальства). В ней он одно время играл видную роль. После ареста Н. Серно-Соловьевича он фактически очутился чуть ли не во главе общества, что превышало его силы. В начале 1863 г. он выехал за границу, побывал проездом в Польше, затем поехал в Лондон, оттуда в Швейцарию и скоро отстал от движения, сделавшись жертвой какой-то шпикомании. Характерно для него, что он, якобы уже в 1860 г. считавший Герцена отсталым человеком, был за границей близок с ним и с Огаревым. А насколько он был несерьезен как организатор, видно из того, что, назначив Бакунина заграничным представителем «Земли и Воли», сейчас же после этого назначил на тот же пост и сына Герцена, пустого юнца, имевшего очень мало общего и с Россией, и особенно с революцией. По возвращении в Россию Слепцов никакими революциями больше не занимался, а начал делать чиновничью карьеру, в чем и преуспел. Свои воспоминания, до сих пор полностью не опубликованные, он писал в начале нынешнего века, т. е. в глубокой старости. Доверие к запискам Слепцова подрывается их характером: с одной стороны, они имеют целью возвеличить самого автора, а с другой — преуменьшить значение других участников общества, в частности Бокова и особенно Пантелеева, воспоминания которого он силится всячески опорочить (часто, впрочем, не без основания). Во всяком случае при всей ценности записок Слепцова, являющихся пока документом единственным в своем роде, абсолютно полагаться на его свидетельство не приходится.

А. и Н. Серно-Соловьевичами, выслушал их очень внимательно, с горевшими глазами и неослабевающим интересом, а когда они кончили свое сообщение [1], сказал: «За меня дело должны решать болезнь Николая Александровича (Добролюбова) и неспособность Некрасова вести теперешний журнал одному. Работать же, как сейчас, в «Современнике» и у вас — извините с вами — я не вижу физической возможности [2]. Обождемте, что окажется с нашим больным. Когда я увижу, что он в состоянии работать по прежнему, то через месяц — другой я с вами, но все-таки и с «Современником»: он мне дорог как кафедра, которой не должно лишиться ни для меня, ни для вас, поскольку вы разделяете общий его тон». Добролюбов вскоре после того умер, и, поскольку мы понимаем рассказ Слепцова в извлечениях, приведенных Лемке, Чернышевский формально в общество не вступил.

Однако из дальнейшего рассказа Слепцова следует, что, не войдя в общество формально (да и какие были тогда формальности?), Чернышевский некоторое, и притом идейно-руководящее, участие в нем принимал. «Чернышевский, — говорит Слепцов, — интересовался работой нарождавшегося общества (тогда еще не имевшего названия) и при свиданиях с бывшими у него братьями (Серно-Соловьевичами. — *Ю. С.*) и со мной, всегда притом в отсутствии своей жены, то подвергал критике наши очередные проекты, то давал советы. Так, ему принадлежит совершенно правильная мысль разделить Россию на округа: северный, где была своя историческая традиция, в атавизм которой он верил при некоторых поправках времени и наших условий [3]; южный,

---

[1] Т. е. сообщение об уже организовавшемся тайном обществе и об уже созданном временном его центре, в который входил между прочим и Н. Обручев, благоговевший перед Н. Г. и часто с ним встречавшийся. Неужели бы братья Серно-Соловьевичи, относившиеся к Н. Г. с неменьшим уважением, и Н. Обручев стали бы держать от Чернышевского в секрете всю подготовительную работу, неужели бы они с ним не посоветовались, перед тем как приступить к столь ответственному делу (если даже предположить, что не он был его идейным инициатором)? Все это маловероятно. Возможно, что сам Слепцов не был посвящен во все секреты, и что, дорожа таким человеком, как Н. Г., братья С.-Соловьевичи и Обручев не считали допустимым говорить кому бы то ни было о действительном отношении его к обществу.

[2] Почему? Почему Слепцов мог сочетать с работой в обществе свою службу в канцелярии, Н. Серно-Соловьевич свои многочисленные дела, в том числе коммерческие, Н. Обручев свою офицерскую и профессорскую службу, а Чернышевский, находивший время для переводов и пустяковых рецензий, не мог? Это странно.

[3] Судя по воспоминаниям Пантелеева (ч. I, стр. 255), речь шла о вечевых традициях.

но не украинский, где работа должна была вестись, как мы и сами решили в самом начале, в стороне от нарождавшегося украинского движения мысли; северный и южный поволжские, приуральский и московский, понимая его в широком смысле всего торгово-промышленного района. На Сибирь мы не надеялись и ее не трогали, в чем были также одобрены Чернышевским, зная, как там трудна работа в условиях тогдашнего времени, почти без всяких путей сообщения, телеграфа и т. п.». Сибирь должен был осветить Н. Шелгунов, собиравшийся туда ввиду ссылки его друга М. Михайлова.

Мы видим таким образом, что Чернышевский был в курсе главных дел общества и принимал даже участие в обсуждении организационных планов, причем по такому основному вопросу, как деление на районы, ему принадлежала инициатива [1]. Но характерно, что одновременно руководители общества ориентировались на Лондон, который они собирались даже сделать центром всего общества (этот план позже и был осуществлен во время поездки Слепцова за границу в 1863 г., правда, уже после ареста Чернышевского). Нам кажется, что одного этого факта, который не мог же оставаться для Чернышевского секретом, было для него вполне достаточно, чтобы формально не примыкать к этому обществу, не считать его идейно-политически близким к своему направлению, не отказываясь, впрочем, при случае оказывать ему посильную помощь в революционной работе.

Во всяком случае до своего ареста Чернышевский, повидимому, был одним из идейных руководителей если не самого общества, то людей, стоявших в его центре. Другим руководителем общества был Н. Серно-Соловьевич, в отличие от Чернышевского принимавший более активное участие в его повседневной практической работе. Но оба они были арестованы в июле 1862 года, и во главе общества неожиданно очутился А. Слепцов, к такому положению, видимо, совершенно неподготовленный да и вообще на такую ответственную роль неспособный. Пока на свободе был Н. Г., Слепцов мог вдохновляться беседами с ним и затем на собраниях развивать взгляды Чернышевского от своего имени (как, напр., по вопросу о делении России на районы). Впрочем, Слепцов по словам Пантелеева часто говорил о Чернышевском и в известных случаях ссылался на его авторитет для подкрепления своих

[1] Рассказывая о совершенных спервоначалу по неопытности ошибках, Слепцов прибавляет, что Николай Гаврилович дружески посмеивался над ними, трепля рассказчика по плечу. Возможно, что он относился к ним как к начинающим молодым людям, которым желал всякого успеха, которым помогал советами, но которых не считал еще созревшими для роли руководителей революции.

положений и предложений. Так или иначе, но с арестом обоих руководителей общества, идейного и фактического, Слепцов почувствовал себя неудобно и вскоре выехал за границу, чтобы там в лице редакции «Колокола» обрести новый идейно-политический центр для «Земли и Воли». Это ему не удалось, и он скоро отошел от движения, а предоставленное самому себе тайное общество, лишенное действительного центра сплочения, рассыпалось на более или менее самостоятельные кружки, а затем через короткое время и совсем сошло со сцены.

Какова бы ни была прикосновенность Н. Г. к «Земле и Воле», она тщательно скрывалась от всех, в том числе и от активных участников организации. Таким образом даже такие деятельные члены общества, как Н. Утин и Л. Пантелеев, вдобавок лично знакомые с Чернышевским, до конца так и не узнали об отношениях его к «Земле и Воле», хотя о ней подозревали и даже готовы были считать его членом центрального комитета или даже главным руководителем общества. Так, после собрания на квартире Утина весною 1862 г., на котором Слепцов сообщил об образовании центрального комитета, Утин по окончании собрания задал Пантелееву вопрос: «Как ты полагаешь, Николай Гаврилович — член комитета?», — на что Пантелеев без колебаний ответил: «Не думаю, он — слишком кабинетный человек». Через некоторое время оба юные прозелита революции решили позондировать самого Чернышевского. Не об'являя ему открыто о своем вступлении в общество, они вели речь разными обиняками, говорили о необходимости устраивать кружки между молодежью, и притом кружки с общественным направлением. Но Чернышевский, хотя и высказывал одобрение этим планам, оставался однако непроницаем, при этом хорошо отозвался о «господине в пенснэ», т. е. А. Слепцове, и рассказал басню Эзопа о медведе, который порвал дружбу с человеком за то, что тот в одном случае дул на огонь, чтобы он хорошенько разгорался, а в другом — с целью погасить его.

Во всяком случае, хотя мысль о возможной руководящей роли Чернышевского в «Земле и Воле» очень «анкуражировала» ее молодых сочленов, но ни в то время, ни в последующее Пантелеев, один из самых активных членов общества, не имел никаких данных для того, чтобы с уверенностью допустить участие в этой организации Николая Гавриловича [1].

---

[1] Слепцов, — рассказывает Пантелеев (цит. соч., стр. 286), — «часто любил говорить о Чернышевском, ссылался в известных случаях на его авторитет; это дало нам повод думать, что, может быть, Чернышевский играл роль верховного руководителя. Это нас очень анкуражировало».

Глава шестая

„МОЛОДАЯ РОССИЯ"

Из всех произведений подпольной литературы начала 60-х годов единственным, выражавшим действительные взгляды Чернышевского, была прокламация «Молодая Россия», вышедшая в мае 1862 г. в Москве. Прокламация эта, выпущенная от имени Центрального Революционного Комитета кружком московских якобинцев, в который входили Зайчневский, Аргиропуло, Гольц-Миллер и пр., была написана П. Г. Зайчневским, молодым студентом, сидевшим в то время в Тверской части в Москве по делу о печатном распространении запрещенных сочинений [1]. По этому делу и был привлечен впервые В. Костомаров, позже сыгравший такую роковую роль в жизни Чернышевского.

«Молодая Россия» проникнута истинно революционным духом. Она решительно осуждает Герцена, великоруссцев и других представителей умеренности и сеятелей либерально-конституционных иллюзий. Утверждая, что Россия вступила в революционный период, прокламация делит все русское общество на два непримиримо враждебные лагеря: императорскую партию, состоящую из всех собственников, и народ, ограбляемый, оскорбляемый и эксплоатируемый. Выход из создавшегося тяжелого положения один: это — «революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». В частности, вполне в духе Чернышевского прокламация обрекает на поголовное истребление преступную династию: «как очистительная жертва, сложит головы весь дом Романовых».

Впервые выступая в России в виде республиканской партии, «Молодая Россия» выдвигает радикальную политическую и экономическую программу, построенную на основе федерализма. Она требует полной

---

[1] Прокламация эта перепечатывалась неоднократно. Точное ее воспроизведение дано в «Политических процессах» под ред. Козьмина, стр. 259—269, и в «Прокламациях шестидесятых годов» под ред. Раскольникова, стр. 59—69.

независимости Польши и Литвы и признания за всеми областями права на самоопределение и на решение вопроса, желают ли они войти в состав будущей русской федеративной республики. Земля социализируется, заводятся общественные фабрики и общественные лавки, постоянная армия по мере возможности заменяется национальной гвардией, а временно срок военной службы сокращается, монастыри закрываются, женщины уравниваются в правах с мужчинами, вводится общественное воспитание детей, а также содержание на общественный счет стариков, нетрудоспособных и безработных, налоговая система изменяется в смысле усиленного обложения имущих и т. д.

Для осуществления этой программы прокламация признает необходимым захват власти революционной партией и установление революционной диктатуры, которая временно сохраняет централизацию и использует ее для упрочения основ нового строя и, в частности, для обеспечения преобладания в Национальном Собрании сторонников революции и устранения из его состава партизанов старины, если таковые случайно останутся в живых после переворота. Авторы прокламации надеются, что народ, и в частности раскольники, будут с ними, но главные надежды они в общем духе того времени возлагают на войско и революционную молодежь, которая должна стать во главе народного движения. Поэтому они предлагают ей готовиться к выполнению этой роли, а для этого организовываться и образовать тайные общества, с которыми Центральный Революционный Комитет сам постарается установить сношения.

Революция должна была по предположению «Молодой России» начаться весною 1863 г. И в заключение авторы прокламации выражают надежду, что скоро они развернут красное знамя и с кличем: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» двинутся на Зимний дворец истреблять живущих там. А так как в защиту династии встанет вся императорская партия, все группы собственников, как бы временно иные из них ни либеральничали, то война на истребление будет об'явлена всей этой партии. Если же восстание не удастся, то революционеры смело сложат головы под тот же боевой клич: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!».

Самое беглое ознакомление с этой прокламацией убеждает в том, что она является не чем иным, как открытым провозглашением принципов, постоянно развивавшихся Чернышевским в своих статьях. Разница только в том, что ему приходилось выражаться осторожно, полусловами, намеками, часто не в виде изложения своих положительных принципов, а в виде критики других, враждебных, реакционных и либе-

ральных, начал; авторы же прокламации подпольной, свободные от царской цензуры, могли говорить полным голосом, ставить все точки над i, доводить до конца логику своих исходных пунктов и открыто называть вещи их собственными именами [1]. И если бы мы не знали достоверно, что прокламация принадлежит перу Зайчневского, то мы имели бы все основания предположить, что никто другой, кроме Чернышевского да еще, пожалуй, Добролюбова (но он был уже в могиле), не мог написать воззвания такого содержания.

Неудивительно, что многие из современников так и решили. Мы уже знаем, что реакционная пресса об'явила Чернышевского автором «Молодой России» [2]. Как свидетельствует Баллод (см. выше), так же думала и следственная комиссия Голицына. Но гораздо знаменательнее тот факт, что и среди революционеров появилась такая мысль. По свидетельству В. Черкезова, бывшего тогда членом революционного студенческого кружка, члены этого кружка приписывали «Молодую Россию», в которой они усматривали формулировку своей программы, перу Н. Г. Чернышевского. Как сообщает Б. Николаевский, «веру в принадлежность этой прокламации Чернышевскому Ч[еркезов] донес и до наших дней и настойчиво убеждал пишущего эти строки, что Чернышевский, несомненно, имел отношение к составлению этого первого политического документа русских якобинцев» [3].

---

[1] В письме к какому-то Андрею Михайловичу от 1889 года Зайчневский говорит: «Хотелось, наконец, сказать ту правду, которую кто боялся, кто не мог, а кто и не хотел выкрикнуть. Фальшивили, врали, ожидали блага сверху; так было противно, так было гнусно, что если бы не мы, так за нами то же самое сделали [бы] другие» (Л е м к е — «Политические процессы», стр. 521).

[2] В своих воспоминаниях о 60-х годах (цит. ст., стр. 37) Николадзе, упомянув о том, что после выхода этой прокламации начался белый террор, прибавляет: «И в это самое время в «Северной Пчеле» появился фельетон, приписывавшийся Лескову (писавшему тогда под псевдонимом Стебницкого), в котором ясно как день намекалось, что «Молодая Россия» — произведение Чернышевского. Один-де он находит Герцена отсталым, один он с ним препирается! Нас всех... этот д о н о с возмутил до глубины души. Были юноши, собиравшиеся за это убить кого-либо из членов редакции «Северной Пчелы», другие — побить их. Но благоразумие взяло верх, и все ограничилось презрением. На память Лескова, однако, этот эпизод наложил неизгладимый след: он всю жизнь потом об'яснялся по этому поводу, отрицая свое участие в том доносе. Но ему мало кто в этом верил».

[3] В. Н и к о л а е в с к и й — «Варлаам Николаевич Черкезов». «Кат. и Ссылка», 1926, № 4/25, стр. 223. — К этим словам Б. Николаевский делает такое примечание: «Любопытно, что рассказы каракозовцев, сидевших на каторге вместе с Чернышевским, также сближают взгляды последнего со взглядами будущих русских якобинцев (см., напр., Н. С. Тютчев — «В ссылке

По существу Черкезов был совершенно прав: «Молодая Россия» была изложением взглядов Чернышевского. Читая эту прокламацию, Чернышевский должен был узнавать собственные идеи, наиболее дорогие ему мысли, которые он вынашивал в себе с 1848 г. и которым стремился дать посильное выражение в подцензурной печати. Видно было, что авторы воззвания хорошо изучили сочинения Чернышевского и усвоили их основной дух, решительное отвержение не только реакционно-помещичьих, но и буржуазно-либеральных начал, признание коммунизма единственным средством к прекращению эксплоатации человека человеком, насильственное ниспровержение царизма для замены его не буржуазным парламентаризмом, а социалистической республикой, построенной на принципе самоопределения наций, захват власти и установление революционной диктатуры для парализования реакции и для скорейшего построения коммунистического общества [1].

Принципиально Чернышевский не только не мог ничего возразить против «Молодой России», но и должен был, несомненно, признать ее адекватным выражением собственных мыслей и программы. Сомнение могли лишь возбуждать в нем соображения тактические. Однако и в данном случае мы ничего не знаем о впечатлении, произведенном на Чернышевского воззванием, от него самого. Снова мы принуждены довольствоваться сообщениями третьих лиц, далеко не всегда достоверными и надежными. Если верить этим сообщениям, то Чернышевский отнесся к «Молодой России» скорее отрицательно. Несмотря на антибуржуазное содержание этой прокламации, наделавшей в свое время столько шума, на разоблачение ею либеральных иллюзий Герцена и «Великорусса», на отказ от каких бы то ни было компромиссов с существующим политическим и экономическим строем, на определенно революционный и даже социалистический ее характер, Чернышевскому она, якобы, не понравилась. Надо понимать дело так, что он был недоволен ее слишком большой откровенностью, декламаторским и кро-

---

и др. воспоминания», стр. 78); конечно, это сближение очень условно, и о нем можно говорить лишь в отношении самых общих вопросов; тем не менее характерна уже самая возможность его».

[1] Был ли Чернышевский лично знаком с членами московского кружка, неизвестно. Николадзе рассказывает, что, познакомившись с Зайчневским, Агрипопуло и Саблиным (старшим) у главного корректора «Современника» Е. Стопакевича, он затем иной раз встречал их и в доме Чернышевского (цит. ст. «Кат. и Ссылка» 1927, № 5, стр. 35 сл.). Но относительно первых двух названных лиц это невероятно, ибо они были арестованы летом 1861 г., а Николадзе начал бывать в доме Чернышевских только с конца этого года.

вожадным тоном, тем более, что, появившись одновременно с петербургскими пожарами, она подала врагам демократии повод обвинять революционеров в учинении поджогов с целью вызвать смуту. Чернышевский, по рассказу Пантелеева, сухо принял приехавшего к нему делегата от московского кружка и отказался взять доставленные ему для распространения экземпляры прокламации. Но затем он как будто стал сожалеть о том, что оттолкнул от себя людей, быть может, чересчур экспансивных и увлекающихся, но горячо преданных народным интересам, решительных и в идейном отношении близко к нему стоящих [1]. Он решил выпустить прокламацию «К нашим лучшим друзьям» [2], которая должна была рассеять недоразумения между ним и москвичами; но скорый арест помешал ему выполнить это намерение [3]. Так рассказывает Пантелеев со слов Н. Утина [4]. А Лемке со слов С. Южакова, слышавшего этот рассказ от И. Гольц-Миллера, члена московского кружка, сообщает, что Чернышевский отчасти осуществил свое намерение, послав в Москву А. А. Слепцова, с тем, чтобы уговорить комитет как-нибудь сгладить крайне неблагоприятное впечатление, произведенное на общество «Молодой Россией» [5]. Успел ли посланец

---

[1] Легковесный Кульчицкий и здесь спешит сделать сенсационные открытия, свидетельствующие о его полном незнакомстве с предметом, о котором он так уверенно берется писать. «Политика Зайчневского, — уверяет он (цит. соч., стр. 305), — не совпадала с таковой Чернышевского. Последний, стремясь прежде всего (?) к политической свободе, не пренебрегал либерально-демократическими элементами, а равно не верил в ближайшую возможность народной политическо-социальной революции. Кроме того Чернышевский был, вероятно, обижен (!) отзывом прокламации о Великорусс е»!! Почему также не о Герцене?

[2] А кстати, кого он еще называл так? Никого!

[3] «Если, — замечает Кульчицкий (цит. соч., стр. 306), — по поводу прокламации чуждого ему Центрального Революционного Комитета, с содержанием которой (он) не соглашался, он намеревался сам выпустить другую, а затем, изменив свой план, старался повлиять на Комитет посредством близкого к себе человека, то это значит, что Чернышевский входил даже в частные стороны революционного движения и был тем более готов принимать участие в организации, выразившей его собственные взгляды». Это — единственное верное замечание Кульчицкого.

[4] «Из воспоминаний прошлого», ч. I, стр. 269—270.

[5] Об этом впечатлении можно судить по тому, что не только Герцен, но и Бакунин (правда, в тот момент поддавшийся влиянию Герцена) отнеслись к прокламации с осуждением. Некоторые даже в первое время приписывали ее полиции. Так, Николадзе (цит. ст., стр. 37) рассказывает, что сначала он принял прокламацию «Молодая Россия» за продукт творчества III Отделения, имевший целью «напугать общество и подкосить в нем симпатии к молодежи». Действительно, таким тоном революционеры не го-

в своей миссии, с точностью неизвестно, но возможно, что убеждения Чернышевского повлияли на москвичей [1]. По крайней мере, при обыске у Баллода найдена была рукопись прокламации, под заглавием «Предостережение», являющейся как бы удовлетворением желания Чернышевского. Но принадлежала ли эта прокламация действительно деятелям Центрального Революционного Комитета, до сих пор с точностью установить нельзя.

Отвергая полицейскую клевету, будто революционеры жгут Петербург, авторы «Предостережения» замечают: «Несколько пылких людей написали и напечатали публикацию, резкие выражения которой послужили предлогом для нелепых обвинений». Но издатели «Молодой России» — «люди экзальтированные и уже по тому самому неспособные иметь никаких низких намерений». Они сказали «несколько опрометчивых слов», но не придавали им того смысла, который хотят вложить в них полиция и публика. «Думать, что облегчение судьбы простого народа не будет слишком дорого куплено ценою революции, — вовсе не то, что поджигать жилища и лавки бедняков... История свидетельствует, что демократы никогда не действовали ни поджигательствами, ни другими подобными средствами. Она обличила, что если много раз винили их в этом, то обвинение всегда было клеветою, которую порождало легковерие, и которою пользовались деспотические правительства, всегда склонные к реакционным мерам».

Далее следует фраза, свидетельствующая если не о том, что она была внушена авторам «Предостережения» самим Чернышевским, то о том, что они внимательно изучали его произведения: «Революционная партия никогда не бывает в силах сама по себе совершить государственный переворот. Пример тому — многочисленные попытки парижских республиканцев и коммунистов, которые всегда так легко

ворили не только до того, но и долго после того. Смелый и резкий язык, выдвигание центрального вопроса радикальной социально-политической революции одних привели в ужас, а других в бешенство. Только немногочисленные группы молодых последователей Чернышевского сочувствовали этой прокламации.

[1] Москвичи еще до того пытались сговориться с питерцами. Повидавшись в одной из московских частей с арестованным Зайчневским, Пантелеев узнал от него, что «Молодая Россия», согласная, в случае солидарности программ, об'единиться с «Землей и Волей», послала своего делегата (С.) в Петербург, который «должен прямо явиться к Чернышевскому» и повидать также Утина. Значит, и в революционных кругах были убеждены, что Чернышевский возглавляет революционное движение. Это — тот самый делегат, которому Чернышевский, если верить Пантелееву, оказал сухой прием (Пантелеев, цит. соч., т. I, стр. 269).

подавлялись несколькими батальонами солдат. Перевороты совершаются народами». Русский народ — накануне восстания. Правительственная реакция, подогреваемая сплетнями и паникою обывателей, только придаст народному восстанию более жестокий характер и помешает революционерам смягчить его. А потому публике рекомендуется не поощрять правительство в его революционных мерах. Предупреждая правительство, что ему никогда не удастся наложить руку на революционный центр, авторы «Предостережения» заканчивают словами: «Нас узнают только тогда, когда мы явимся сами в рядах народа» [1].

На основании последних слов «Предостережения» Кульчицкий (цит. соч., стр. 308) готов признать его автором Чернышевского, который, согласно приведенному выше сообщению Н. Утина, собирался это сделать. «В пользу этого предположения, — пишет Кульчицкий, — говорит то место в конце прокламации, где сказано, что «мы», т. е. революционеры или авторы прокламации, откроем себя в минуту революционного выступления. Очень сходное место можно найти в одном из номеров Великорусса».

Для такого вывода мы не видим оснований. Но мы считаем весьма вероятным, что это «Предостережение» явилось в результате переговоров А. Слепцова с москвичами, которые признали настояния Чернышевского правильными и подлежащими удовлетворению. Возможно, что текст документа был согласован ими с Чернышевским или его представителями. Во всяком случае это показывает, что Чернышевский и группа «Молодой России» рассматривали друг друга как элементы союзные и политически близкие, а по существу солидарные, и что временное разногласие между ними, вызванное соображениями тактического свойства, было разрешено в направлении, которое рекомендовал Чернышевский. Поэтому сообщение о недовольстве Чернышевского прокламацией «Молодая Россия» не следует толковать в том смысле, что он усмотрел в ней нечто расходившееся с его взглядами и программой, а лишь в том, что он возражал против некоторых тактических приемов ее молодых авторов, против некоторых допущенных ими неосторожных выражений, которые были ловко использованы реакцией и затруднили положение революционеров. Повидимому, это признали и сами издатели «Молодой России», появление которой одновременно с петербургскими пожарами оказалось роковым, и сочли полезным для дела пойти навстречу Чернышевскому, своему уважаемому учителю и идейному вдохновителю.

---

[1] Воззвание, отобранное в рукописи при аресте Баллода, напечатано у Лемке, цит. соч., стр. 527—530.

Глава седьмая

СЕРИЯ ПРОКЛАМАЦИЙ

Из всех прокламаций того периода только одна может быть с уверенностью приписана Чернышевскому. Это — воззвание к барским крестьянам. Прежде и этот факт подвергался сомнению, несмотря на то, что сенат на основании показаний предателя В. Костомарова именно за составление названной прокламации приговорил Чернышевского к каторге. И только после того, как в «Голосе Минувшего» 1918, № 4—6, напечатана была неопубликованная до тех пор часть воспоминаний Н. Шелгунова, в которой «Воззвание к барским крестьянам» определенно приписано было Чернышевскому, всякие сомнения на этот счет исчезли.

Вот что рассказывает Шелгунов. Сообщив о приезде в Петербург В. Костомарова, предложившего к услугам питерцев свой нелегальный печатный станок, и о появившейся у них после этого предложения готовности писать, Шелгунов продолжает: «В ту же зиму, т. е. в 1861 г., я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский — прокламацию «К народу» и вручил их (?) для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком и, [так] как все переговоры велись с Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву. В ту же зиму я написал прокламацию «К молодому поколению», но мы решили печатать ее в Лондоне, в «русской печатне». Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня» [1].

Это лаконическое сообщение Шелгунова не отличается точностью и ясностью. Начать с того, что из его рассказа непонятно, кто и какую прокламацию [2] вручил для печатания Костомарову. Выходит как будто

---

[1] Шелгунов — «Воспоминания», стр. 33.

[2] Шелгунов даже говорит «их», т. е. обе прокламации, что окончательно сбивает с толку.

что речь идет о непосредственной передаче Костомарову Чернышевским своего воззвания к крестьянам, ибо дальше Шелгунов о своей прокламации к солдатам говорит, что он передал ее Михайлову, а уж от того она попала к Костомарову. Но это совершенно невероятно: при своей крайней осторожности Чернышевский никогда не сделал бы такого опрометчивого шага, особенно в сношениях с мало знакомым ему человеком, как Костомаров. На самом деле, как мы знаем, Костомаров не только не получил воззвания прямо из рук Чернышевского, как можно было думать по рассказу Шелгунова, но в течение долгого времени даже не подозревал о том, что оно принадлежит Чернышевскому, и приписывал его Михайлову, от которого оно к нему попало, да и то, видимо, не непосредственно, а через студента Сороко.

Из рассказа Шелгунова (а это, к сожалению, — единственный достоверный источник по этому делу) нельзя понять, кто собственно был инициатором мысли о выпуске прокламаций, существовала ли г р у п п а, обсуждавшая этот вопрос, были ли эти предполагавшиеся прокламации связаны между собою единством идеи и цели, имелась ли какая-нибудь редакция намеченных листков и пр. Более того, по его словам выходит, что прокламация «К молодому поколению» стояла совсем особняком, в общий план не входила, была задумана и выполнена Шелгуновым и Михайловым без ведома остальных товарищей Так ли это, трудно судить, но существует другой рассказ, несколько иначе освещающий это дело и служащий дополнением, уточнением, а в некотором смысле и исправлением рассказа Шелгунова. Мы имеем ввиду рассказ известного уже читателю Слепцова.

В рукописи А. Слепцова, которая имелась в руках М. Лемке, сообщение Шелгунова подтверждается и расширяется. «План был составлен очень удачно, — пишет Слепцов, — имелось ввиду обратиться последовательно ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники (на которых тогда вообще возлагали большие и весьма, конечно, ошибочные революционные надежды) — здесь три страдающих группы. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом: Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса,.. должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню по каким обстоятельствам передали тоже Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и его выполнении мне сказал в начале (?) 1861 г. сам Чернышевский, знал о нем и Н. Н. Об-

ручев, потом из боязни быть расшифрованным уклонившийся от участия в общем деле» [1].

И в рассказе Слепцова не все ясно. Кто задумал план серии прокламаций, связанных общей идеей, кто распределял работу между отдельными участниками этого плана, кто поручал тому или иному лицу составление того или иного воззвания; была ли при этом какая-либо общая редакция или хотя бы общие принципы, обязательные для авторов прокламаций, долженствовавших по рассказу Слепцова составить единую серию; каким образом в эту компанию попал Щапов, в действительности стоявший в стороне от нее? На все эти вопросы мы не находим ответа. Но кое-что к рассказу Шелгунова Слепцов все-таки прибавляет.

Наиболее существенная сторона свидетельства Слепцова заключается в указании на существовавший план, об'единявший целый ряд намеченных воззваний в комбинированную серию, долженствовавшую охватить все те социальные группы, которые, как тогда предполагалось, должны были принять активное участие в ожидавшемся восстании. Это — крестьяне, солдаты, раскольники (точнее, старообрядцы и сектанты) и интеллигенция. Характерно, что эти же четыре группы имеет ввиду и «Молодая Россия», и это вполне понятно, ибо соответствовало тогдашним общественным отношениям. Пролетариат в качестве особого класса в построениях революционеров еще не фигурировал и входил в общую массу крестьянства, «простого народа». Сообщение Слепцова о проектировавшемся особом воззвании к раскольникам подтверждает и показание предателя В. Костомарова, заявившего, что Чернышевский однажды продиктовал ему такое воззвание в номере Знаменской гостиницы в Петербурге. Это, вероятно, вздор. Вряд ли Чернышевский стал бы прибегать к таким ребяческим приемам, как таинственное уединение с малознакомым ему человеком в гостиницу (что вдобавок вовлекало в дело ряд новых людей вроде швейцара, номерных, коридорных и пр.), да и вообще сомнительно, чтобы он стал диктовать Костомарову революционное воззвание, отдавая себя таким образом в руки человека, интимно ему не близкого. Проще предположить, что Костомаров каким-либо путем узнал, что кроме двух переданных ему для печатания воззваний предполагается еще третье — к

[1] М. Лемке — «Политические процессы», стр. 318. — Здесь в рассказе Лемке или Слепцова концы с концами не связаны: ведь по словам самого Слепцова он познакомился с Чернышевским только в июле 1861 г.; каким же образом мог Чернышевский сообщать ему об этом в начале того же года? Возможно, что здесь описка, и что передаваемый разговор с Чернышевским относится к началу 1862 года.

раскольникам, и когда стал выдавать, то выложил и это важное для следователей сведение.

Как же обстояло дело с прокламацией «К молодому поколению»? Мы думаем, что показание Слепцова в данном случае более правдоподобно, чем сообщение Шелгунова. Не может быть, чтобы при составлении плана воззваний, связанных единством мысли о подготовке народной революции, и при распределении тем упущена была такая тема, как обращение к молодежи, которая в построениях тогдашних революционеров играла столь выдающуюся роль. Конечно, как раз Чернышевский в данном пункте отличался в выгодную сторону от других современников, придавая решающее значение движениям масс. Но все же и он не мог игнорировать молодежи, являвшейся в тот период первого общественного пробуждения фактором первостепенного политического значения. Что же может в таком случае скрываться за странным сообщением Шелгунова? Мы не решаемся категорически ответить на этот вопрос, но у нас получается такое впечатление, что в этом случае Михайлов с Шелгуновым совершили какое-то нарушение кружковой дисциплины, проявили какую-то склонность к самочинным сепаратным действиям, не согласованным с остальными участниками плана, напечатали и распространили прокламацию, выражающую только их личные, а не групповые взгляды, и или уклонились от общей редакции, или отказались подчиниться указаниям других участников общего предприятия, в частности и в первую очередь Чернышевского, который в этой компании естественно являлся наиболее сильной головой, пользовался общепризнанным авторитетом и, вероятно, был редактором намеченной серии воззваний. Не потому ли они и решили напечатать эту прокламацию, в отличие от других, не в России, а в Лондоне? И не потому ли Шелгунов в своих воспоминаниях выделяет эту прокламацию из общего плана, в который она входила по словам Слепцова, слышавшего об этом от самого Чернышевского?

Повторяем, все это, разумеется, — типотеза, но она помогает многое об'яснить, что без того остается непонятным. Кроме приведенных выше фактов можно сослаться еще на следующие.

Прокламация «К молодому поколению» может быть признана первой формулировкой идей революционного народничества. Конечно, Чернышевский не мог не сочувствовать той демократической программе ближайших требований, какую выдвигала прокламация (установление выборной и ограниченной власти, введение местного самоуправления, уничтожение сословий, полиции, телесных наказаний; финансовый контроль, гласный суд, национализация земли, полное уничтожение следов крепостного права, освобождение общинного землевла-

дения от посягательств администрации, сокращение расходов на армию, сокращение срока военной службы, сокращение расходов на правительство, политическая амнистия, изменение основных законов и т. п.). Но предпосланные этой программе-минимум теоретические соображения, весь тон и дух воззвания не могли не претить Чернышевскому. Правда, на первый взгляд кажется, что авторы его опираются на статьи Чернышевского и на данную им критику буржуазной политической экономии, но в действительности общее содержание прокламации гораздо больше соответствовало писаниям Герцена, его русскому мессианизму, его мыслям об оригинальном историческом развитии России, у которой — свои особые пути, словом, той системе воззрений, над которой Чернышевский так зло иронизировал, чем взглядам самого Чернышевского. Совершенно очевидно, что он бы такой прокламации не написал, и что если бы она была представлена ему на редакцию, то он радикально бы ее переделал.

Таким образом прокламация «К молодому поколению» была почему-то задумана и составлена, видимо, тайком от группы, намечавшей серию воззваний, в частности от Чернышевского. Она была написана Шелгуновым, дополнена и исправлена Михайловым и напечатана в Лондоне в герценовской типографии, после чего Михайлов провез ее в Россию заделанной в дно чемодана. Правда, Пантелеев сообщает (ч. 1-я, стр. 330—331), что однажды в присутствии Михайлова к Чернышевскому пришел один из сотрудников «Современника», пользовавшийся доверием Николая Гавриловича. Пришедший между прочим высказал мысль, что следовало бы печатать за границей подпольные издания, а затем доставлять их в Россию. Когда Михайлов ушел, Чернышевский сказал гостю: «Да ведь вы попали не в бровь, а прямо в глаз. Михайлов именно это и сделал».

Однако это не говорит о том, чтобы Чернышевский заранее был в курсе затеи Шелгунова и Михайлова. Это значит только, что по доставке прокламации в Петербург он был посвящен в это дело. Добролюбов же, например, совершенно о ней не знал [1].

В высшей степени странно, что Чернышевский с этого времени начинает как будто плохо относиться к Михайлову. На каторге они встретились очень холодно. До сих пор это об'ясняли или бережным отношением Чернышевского к больному поэту, или негодованием Чер-

[1] По крайней мере, в первое время по возвращении своем из-за границы. Об этом свидетельствует его письмо к Некрасову от 9 сентября 1861 года, в котором он говорит, что арестовать Михайлова не за что. См. А. Шилов — «Арест и суд над Михайловым» в сборнике «Русское прошлое», 1923, кн. 2. стр. 146—147.

нышевского на то, что своей легкомысленной рекомендацией В. Костомарова Михайлов погубил и себя, и его [1].

Мы не отрицаем, что в холодном отношении Чернышевского к Михайлову могли и даже должны были играть известную роль обстоятельства ареста и осуждения Н. Г. по оговору предателя, введенного к нему увлекающимся Михайловым. Но источник этого отношения коренился, однако, не в этом. Дело в том, что еще до своего ареста Чернышевский стал обнаруживать к Михайлову неприязненное отношение. Об этом мы узнаем от Пантелеева, который сообщает (ч. II, стр. 181), что Чернышевский после ареста Михайлова никогда сам не заводил о нем разговора, тогда как о В. Обручеве часто вспоминал и отзывался о нем с величайшей симпатией. На Пантелеева все это производило такое впечатление, будто Николай Гаврилович после ареста Михайлова как бы замалчивал его, точно безучастно относился к постигшей его участи. Вот почему нас не удовлетворяет то об'яснение, которое тот же Пантелеев дает отношению Чернышевского к Михайлову в каторжной тюрьме. «Взаимные отношения Н. Г. и Михайлова, — передает Пантелеев со слов одного поляка, находившегося на заводе в одно время с Чернышевским, — поражали не то холодностью, не то какой-то натянутостью. Несомненно, это была политика, усвоенная Н. Г.: и на каторге показывать вид, что с Михайловым у него никогда не было никаких близких, а тем более интимных отношений, как он это утверждал на следствии и в сенате, отвергая показания Костомарова, обличавшие Н. Г., что через Михайлова начались переговоры о печатании прокламаций».

Нам все-таки кажется, что перемена в отношениях Чернышевского к Михайлову до сих пор об'яснялась неправильно. Если дело было в предательстве Костомарова или в желании конспирировать до конца, то почему же эта перемена сказалась еще до ареста Чернышевского, т. е. до его процесса, на котором выяснилось предательство В. Костомарова? (Мы уже не говорим о натянутости второго об'яснения, ибо после того, как оба они были приговорены к каторге, такая конспирация утрачивала всякий смысл и во всяком случае не должна была сопровождаться демонстративной холодностью). Сопоставляя приведенные нами выше факты, мы все-таки думаем, что основная причина заключалась здесь в обстоятельствах, при которых появилась прокламация «К молодому поколению». Если верить показанию Слепцова, то эта прокламация входила в состав целой, намеченной группою или Чер-

[1] См. предисловие к первому выпуску книги «Чернышевский в Сибири» (стр. XIV); В. В. Маяковский — «М. Л. Михайлов». «Голос Минувшего» 1915, № 9, стр. 33—34.

нышевским, серии. Как мы предполагаем, при предварительном обсуждении содержания проектировавшихся воззваний выяснилось, что мысли Шелгунова и Михайлова не соответствуют тому, что разделялось большинством группы или, как мы предполагаем, редактором всей серии, каковым мог быть только Чернышевский. И тогда Михайлов с Шелгуновым решили нарушить групповую дисциплину и составить порученную им прокламацию в таком духе, какой им лично хотелось ей придать [1]. Это должно было возбудить недовольство Чернышевского, которое впоследствии, когда вдобавок обнаружилась роль В. Костомарова, введенного в их круг Михайловым, могло еще усилиться и перейти в ту холодную натянутость, о которой повествуют все свидетели.

Итак, дело представляется нам в следующем виде. Когда стало ясно, что крестьянская реформа будет проведена в ущерб народным интересам, и начали обнаруживаться признаки наступающей реакции, группа — в составе Чернышевского, Шелгунова, Михайлова, Н. Обручева и неизвестно еще кого [2] — задумала приступить к подготовке восстания и в частности наметила серию революционных воззваний, которые в своей совокупности должны были охватить все те социальные элементы, на активное участие которых в предстоявшей революции члены группы расчитывали. Из этих четырех намеченных прокламаций увидала свет только одна: «К молодому поколению», сепаратно составленная и напечатанная Шелгуновым и Михайловым без совещания с другими членами этой, повидимому, неоформленной группы. Другие две — Чернышевского «К барским крестьянам» и Шелгунова «К солдатам», переданные для печатания В. Костомарову, — были им в рукописи сообщены полиции и в свет не появлялись [3]. Была ли написана четвертая «К раскольникам», тоже принадлежавшая как будто Чернышевскому, неизвестно.

---

[1] Не этим ли об'ясняются странные слова Шелгунова: «разговоров вообще было у нас мало, а тем более о прокламациях»? Здесь Шелгунов как будто оправдывается от какого-то невысказанного им обвинения. При нашей гипотезе эти слова становятся понятны. Разговоры были, но авторы прокламации «К молодому поколению» не приняли их во внимание; это вызвало затем трения в группе, и вот является запоздалое оправдание, что если и получилось недоразумение, то потому, что предварительно прокламации тщательно не обсуждались.

[2] Н. Серно-Соловьевич примкнул к этой компании позже, а Добролюбов находился за границей.

[3] Впрочем, впоследствии Шелгунов изменил текст своей прокламации «К солдатам», и в таком измененном виде она была напечатана и распространена. Она перепечатана в «Соч.» Герцена, т. XI, стр. 321—323.

Совершенно очевидно, что в этой группе, если о таковой можно говорить, руководящая роль принадлежала Чернышевскому. Не говоря уже о том, что ему поручена была главная прокламация к крестьянам, он же затем взял на себя и прокламацию к раскольникам и, повидимому, должен был редактировать и остальные. В частности прокламация к солдатам была составлена Шелгуновым по проекту Чернышевского [1]. Можно полагать, что им же было намечено и примерное содержание прокламации «К молодому поколению», каковое позже, как мы предполагаем, было самовольно изменено ее авторами. Да и кто же другой кроме Чернышевского мог претендовать на идейно-политическое руководство в этой группе? Кто из участников ее мог сравняться с ним по знаниям, твердости политической линии, последовательности мировоззрения, наконец по влиянию и авторитетности? Вот почему мы вправе рассматривать этот план как дело рук Чернышевского, как его широкий замысел, долженствовавший положить начало планомерной и систематической идейной подготовке радикального политического переворота, который при благоприятных условиях должен был перейти в социалистическую революцию.

Воззвание к барским, т. е. крепостным, крестьянам было написано Чернышевским или непосредственно после выхода манифеста 19 февраля, опубликованного 5 марта 1861 г., или даже до него. Ибо, хотя автор и ссылается на манифест, но употребляет термин «срочно-обязанные», как первоначально предполагалось называть крестьян втечение переходного времени, вместо окончательно принятого термина «временно-обязанные», употребляемого в манифесте. Необходимо заметить, что воззвание в том виде, в каком оно вышло из-под пера Чернышевского, нам неизвестно. Оно было переписано Михайловым, который и передал его студенту Сороко для вручения В. Костомарову, уже уехавшему в Москву. Судя по показаниям Михайлова, он вносил в него какие-то поправки: вот почему рисковано было бы возлагать на Чернышевского ответственность за эти поправки, если бы в них и оказалось нечто предосудительное с революционной точки зрения (хотя, как мы увидим ниже, таких мест в воззвании нет) [2]. Но и в том виде, в каком воззвание дошло до нас, оно

[1] См. «Записки» М. Михайлова, стр. 10 — По этому поводу А. Шилов замечает: «Сходство начал обоих прокламаций позволяет предполагать идейное руководительство Чернышевского» (там же).

[2] В письме к Соколову, составленном В. Костомаровым вместе с Третьим Отделением для изобличения Чернышевского (см. ниже), говорится о том, что Чернышевский в присутствии Михайлова будто бы читал Костомарову первую редакцию воззвания, которая поразила Костомарова своим

представляет уникум в прокламационной литературе не только того периода, но и последующего времени по основательному знакомству с предметом, по мастерству изложения, по умелости подхода к неразвитому массовому читателю и по непреклонной убедительности доводов [1].

Начинается она обращением: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» [2]. Далее идет сдержанная по форме, но резкая по существу характеристика Положения 19 февраля и вредных для крестьянства ее сторон. В этом разделе особенно замечательно указание на гибельное значение для крестьянства произведенных у него помещиками отрезков. Вывод из анализа: «просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу» — звучит чрезвычайно убеди-

---

кровожадным тоном: «это было какое-то странное, опьяняющее впечатление. Словно кровавый туман застилал глаза; казалось, он входил в самый мозг... страшно и мерзко становилось мне, и вместе с тем зарождалось какое-то безотчетное удальство; так и подмывало схватить топор или нож, так и хотелось рубить и резать, не разбирая кого и за что». Но затем Костомаров якобы опомнился и отказался печатать прокламацию в таком виде. В результате Чернышевский принужден был изменить текст, но «остался при своем убеждении, что мужикам не толковать следует, не вразумлять их, а только кричать почаще: «в топоры, ребята!», что в таком дряблом виде, какой по нашему убеждению приняло воззвание к б. к., „из него ничего не выйдет"». По словам Костомарова, Михайлов тоже стоял за смягчение воззвания, один Шелгунов был от него в восторге. Все это несомненно выдумано предателем или подсказано ему III Отделением. Совершенно невероятно, чтобы Чернышевский стал менять текст воззвания по требованию первого встречного юнца. Да никогда он не стал бы так разоблачать своей тайны перед мало знакомым человеком. Никакого чтения прокламации в присутствии Костомарова быть не могло. Это ясно уже из того, что Костомаров даже не знал, кто был автором воззвания, и в первое время приписывал его Михайлову. Только впоследствии он стал называть автором его Чернышевского. Это кстати заставляет сомневаться и в принадлежности Чернышевскому записки об исправлении слов «срочно-обязанные» на «временно-обязанные», позже представленной Костомаровым в III Отделение. Если бы такая записка действительно существовала и была подлинной, то Костомаров с самого начала знал бы о том, что автором воззвания к барским крестьянам является Чернышевский. Это — пункт чрезвычайно темный. Когда и каким образом Костомаров узнал или догадался о том, что воззвание принадлежит перу Чернышевского, мы не знаем.

[1] Прокламация «К барским крестьянам» публиковалась неоднократно. Последние полные и точные перепечатки с рукописи даны в «Политических процессах» под ред. Б. Козьмина (стр. 188—189) и в «Прокламациях шестидесятых годов» под ред. Ф. Раскольникова (стр. 70—79).

[2] Прокламация Шелгунова к солдатам имеет такое же начало: «Русским солдатам от их доброжелателей поклон».

тельно. «Не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней». Знал ли царь, что он делает? Конечно, знал. Ведь он — сам помещик и глава всех помещиков. Поэтому ждать от него воли крестьянам не приходится. При самодержавии настоящей воли и не может быть. Следует характеристика положения вещей в других странах, где правительство в той или иной мере подотчетно народу. Описав в популярных выражениях конституционную монархию и республику, автор отдает преимущество последней и заключает: «Так вот она какая в исправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был правдивый и ровный всем был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, чтобы пачпортов не было, и подушного оклада не было, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит и воли нет, а все одно обольщение в словах».

Затем воззвание переходит к вопросу, как же добиться настоящей воли. «Можно это дело обработать, — говорит оно, — и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись». Для этого воззвание рекомендует помещичьим крестьянам столковаться с государственными и удельными, у которых тоже воли нет, и с солдатами, на которых все держится, но которые в сохранении существующих порядков не заинтересованы. Крестьянству нужно готовиться к восстанию, «а покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку-то, если в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. А когда все готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай... Мы знаем, что покудова нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое об'явление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов будет, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовка у тебя идет». И кончается прокламация обещанием, что, когда наступит момент выступления, революционеры откроются народу.

Казалось бы, воззвание не оставляет места ни для каких недоразумений. Неопровержимо доказав враждебность помещичьего правительства народу и пагубность крестьянской реформы для масс, оно строго

логически подводит читателя к признанию необходимости революционного переворота. Но констатируя неподготовленность массы к вооруженному восстанию и гибельность разрозненных выступлений, оно рекомендует ей готовиться к нему, ведя тайную агитацию среди крестьянства и солдат и планомерно организуя народные силы. Назначение момента восстания воззвание предоставляет революционной партии, которая, основываясь на получаемых ею с разных сторон сведениях, решит, наступил ли удобный момент, и подаст сигнал к выступлению. Совершенно очевидно, что иначе серьезные революционеры, а не легкомысленные вспышкопускатели действовать не могут и не вправе. Примеры отдельных бунтов, легко подавленных воинскою силою, были еще слишком памятны и ясно говорили о необходимости известного периода предварительной подготовки. Как известно, тогдашние революционеры не считали этого периода особенно длительным и были уверены, что восстание начнется весною 1863 года.

Но в воззвании было еще одно место, оказавшееся в рукописи вычеркнутым. Оно гласило: «А вот еще о чем, братцы, солдат просите, чтобы они вас учили, как в военном деле порядок держать. Муштровки большой вам не надо, чтобы там в ногу итти по-солдатски да носок бытягивать, — без этого обойтись можно; а тому надо учиться вам, чтобы плечом к плечу плотнее держаться да команды слушаться, пустого страха не бояться, а мужество иметь во всяком деле да рассудок спокойный, значит хладнокровие. Что вам надо узнать, что покуда вперед прешь да плотно держишься, да команды слушаешься, тут мало вреда терпишь; только тогда и опасность большая бывает, когда дрогнешь да мяться начнешь да еще коли побежишь назад, — ну, тут уже плохо дело. А покуда вперед идешь, мало тебе пушка вреда делает. Ведь из сотни-то ядер разве одно в человека попадет, а другие все мимо летят. И о пулях то же надо сказать. Тут грому много, а вреда мало. А кроме того ружьями запасайтесь, кто может, да всяким оружием».

Были ли эти строки в первоначальном тексте воззвания, кем они были вычеркнуты, когда и по каким соображениям, — этого мы никогда не узнаем. Если они и имелись в оригинальном тексте Чернышевского, то позже вычеркнуть их мог и он сам, и Михайлов, который вносил какие-то поправки в текст Николая Гавриловича, и наконец В. Костомаров, у которого рукопись в последнее время и находилась. Можно даже a priori сказать, что вычеркивал эти строки не Чернышевский: ведь он давал переписывать рукопись Михайлову, и если бы он сам вычеркнул эти строки (предполагая, что они принадлежали именно ему и находились в оригинальном манускрипте), то Михайлов не стал бы их переписывать, и они не попали бы в ту копию, какая

затем через Сороко была вручена Костомарову для печатания. Поэтому дозволительно предположить, что они были вычеркнуты Михайловым, который, быть может, сам их и вставил, или Костомаровым. Последний мог сделать это еще в то время, когда он не собирался предавать, а думал печатать переданные ему воззвания. Но по трусливости своей натуры он мог счесть эти строки, более открыто говорящие о вооруженном восстании, особенно рискованными и влекущими за собою особенно строгую ответственность. А еще возможно, что тот шантаж над Чернышевским, который Костомаров относил якобы к первому свиданию с Н. Г., требуя от него изменения особенно опасных мест прокламации и угрожая в противном случае отказаться от ее печатания, в действительности имел место позже, когда воззвание уже находилось в его руках, и когда он угрозами похоронить прокламацию принудил Чернышевского во время его визита в Москву или Михайлова, с которым он больше сносился, выбросить это место.

Все это, конечно, предположения, на которых мы не настаиваем. Мы говорим все это для того, чтобы показать, что у нас нет никаких оснований возлагать ответственность за из'ятие этих строк именно на Чернышевского. Но стоит ли вообще об этом говорить? Мало ли по каким причинам автор изменяет то или иное место в своем произведении? Не следует ли из факта нахождения известного места в первоначальной редакции воззвания умозаключить как раз к тому, что это место и выражает мнение автора, но затем устранено по причинам, от его воли не зависящим, например, по требованию товарищей и т. п.? А в данном случае вся соль в том, что выбросить указанное место следовало просто по соображениям архитектоники: оно действительно нарушает общее построение прокламации, которая сознательно не дает нигде конкретных указаний, оставаясь все время на почве общих рассуждений и, видимо, предоставляя пропагандистам конкретизировать и облекать в плоть ее общие положения во время устных бесед и раз'яснений.

А между тем на основании этого голого факта, совершенно не выясненного ни со стороны своего виновника, ни со стороны мотивов, т. Покровский делает ряд выводов, крайне неблагоприятных для Чернышевского и выставляющих его действительную физиономию в неверном свете. Процитировав вышеприведенное место относительно недопустимости разрозненных выступлений отдельных деревень, Покровский замечает: «Характерно, что это осталось в тексте прокламации, а раньше было вот что, и это вычеркнуто (следует место относительно военного обучения у солдат)... Маленький рецепт военной подготовки. Это было в прокламации Чернышевского и вычеркнуто им (?) как

вещь опасная (?), а вот эти строки: «надо спокойствие сохранять и вида никакого не показывать» — остались. Это — другая характерная пророческая черта, но уже с другого конца. Чернышевский был не только родоначальником нашей аграрной программы,.. но он несомненно был родоначальником и меньшевистской тактики, которая в том и состояла: «зачем булгу поднимать, и что из этого выйдет, нужно спокойствие сохранять», и потихоньку да полегоньку, опираясь на буржуазию («образованные классы» у Чернышевского), постепенно, путем мирного давления этих «образованных классов», в которых царское правительство не может стрелять, постепенно добиваться от царя всяких уступок». И дальше т. Покровский противопоставляет меньшевизму Чернышевского образчик большевистского настроения в лице «Молодой России» [1].

Поистине наш великий предтеча заслуживает более бережного и внимательного к себе отношения. В свое время его постигла жестокая участь от руки правительства. Но для него без сомнения в тысячу раз тяжелее была бы мысль, что потомство неправильно его поймет и припишет ему оппортунистические стремления, которые он так безжалостно бичевал в других. Оценка, которую т. Покровский дает прокламации к барским крестьянам, поражает нас своею неправильностью, а еще больше несправедливостью. Если бы такие слова написал о Чернышевском кто-нибудь другой, мы прошли бы мимо них или ограничились простым указанием на них. Но т. Покровский в качестве марксистского историка пользуется слишком большим авторитетом в подобных вопросах, и потому на его словах приходится остановиться подробнее.

В чем собственно Покровский обвиняет Чернышевского? В том, что он выбросил директиву революционного характера (рецепт военной подготовки) и оставил директиву оппортунистического свойства (сидеть смирно и не бунтовать). Мы не станем повторять того, что нет абсолютно никаких данных для того, чтобы приписывать из'ятие инкриминируемого места именно Чернышевскому. Допустим, что это сделал он. Но разве это хоть в малейшей степени позволяет нам заключать отсюда, что он сделал это по каким-либо оппортунистическим соображениям? Какой смысл имела военная подготовка? Она нужна была для восстания. Но разве все содержание воззвания не говорит о подготовке народа к восстанию? Говорит, и ни о чем другом кроме этого не говорит. Но как же быть с советом Чернышевского сидеть смирно, который т. Покровский

[1] «Очерки по истории революционного движения», стр. 59.

приводит даже в кавычках? Но здесь т. Покровский впал в досадное недоразумение: ничего подобного у Чернышевского нет. Он цитирует слова Чернышевского так: «зачем булгу поднимать, и что из этого выйдет, нужно спокойствие сохранять». А у Чернышевского сказано: «Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять?» и т. д. (см. выше), т. е. Чернышевский высказывается против разрозненных неподготовленных вспышек, выгодных только для господствующих классов и пагубных для интересов революции, к систематической подготовке которой он и призывает крестьян. Неужели т. Покровский думает на этот счет иначе? Разве это не азбука большевистской, да и вообще разумной революционной тактики? Ведь только анархисты, да и то из самых оголтелых, способны рекомендовать бунты без подготовки, без предварительной пропаганды и организации. Разве в планомерной подготовке — признак меньшевизма?

Да, но выброшено место о военной подготовке. Ну, так что же? Прежде всего нужно знать, по каким мотивам оно выброшено (повторяю, если предположить, что сделано это именно Чернышевским). Прокламация была написана зимою 1861 года. При тогдашних условиях появиться на свет она могла не раньше конца года. Следовательно, до ожидавшегося весною 1863 года восстания оставалось около года. Могла ли при тогдашних российских условиях военная подготовка крестьян пойти далеко? Ясно, что нет. А что она способна была обратить на себя внимание властей предержащих до времени, это очевидно. И потому из'ятие указанного места могло быть продиктовано соображениями целесообразности и элементарной конспирации. Пользы от такой подготовки было бы очень мало, а вред она могла причинить большой, провалив все дело.

Тем более, что все тогдашние революционеры были уверены в неминуемом присоединении солдат и даже части офицеров к восстанию. Об этом говорит и рассматриваемая прокламация, и все документы эпохи. А присоединение воинских частей давало восстанию достаточную, чтобы не сказать непобедимую, силу. Но можно ли полагаться исключительно на солдатскую массу? Разве большевики перед Октябрьской революцией не подчеркивали необходимость наряду с привлечением солдат к восстанию организовать и вооруженные силы пролетариата, не строили красную гвардию, не добивались вооружения рабочих? Верно. Но не следует забывать, что большевики подготовляли социалистическую революцию, во время которой руководящую роль должен был играть пролетариат, проникнутый коммунистическими стре-

млениями, тогда как крестьянская в большинстве армия могла при всем своем демократическом радикализме оказаться ненадежной в смысле коммунизма. Здесь налицо было сотрудничество двух классов, которые при случае могли в своих основных социальных стремлениях и разойтись. Ничего подобного не было во времена Чернышевского. Тогда предполагалась крестьянская революция, с основными стремлениями и лозунгами которой крестьянская же армия разойтись никак не могла. Солдаты, примыкая к восстанию крестьян, не только не становились с ними в противоречие, не только не могли выставить какую-либо отдельную от них программу требований, но и полностью слились бы с ними. А при таких условиях надобности в отдельной вооруженной силе, стоящей на страже другой программы, не было. Воинские части, примыкающие к движению крестьян, составили бы естественные кадры, в которые вливались бы сельские повстанцы, отличающиеся от старых солдат не по духу и не по устремлениям, а лишь по военной выучке и технической сноровке.

Таким образом исключение указанного места ни на иоту не отнимает у воззвания его основного революционного и боевого характера. С этим местом и без него оно остается документом, призывающим крестьян к восстанию и подготовляющим это восстание. Слова же относительно «булги» и пр. означают не отказ от восстания (при допущении такого отказа воззвание теряет всякий смысл), а правильное стремление удержать народ от стихийных и разрозненных вспышек, способных сорвать массовое восстание, в неизбежность которого автор воззвания, как и другие революционеры того времени, глубоко верил.

Но как же быть с «потихоньку да полегоньку», которые якобы рекомендовал Чернышевский, с его надеждами на «образованные классы», которые мирным давлением на правительство постепенно вынудят у него уступки, и в которых оно не посмеет стрелять?

Да, это было бы крупным промахом со стороны Чернышевского, которого в таком случае следовало бы обвинить не просто в меньшевизме, а в наивном, чтобы не сказать резче, либерализме. Но в том-то и дело, что никогда ничего подобного Чернышевский не говорил. Слова Чернышевского насчет «булги» т. Покровский, игнорируя общий смысл воззвания, неправильно истолковал, эти же наивные либеральные иллюзии он Чернышевскому без всякого основания приписал. Ни в одном из сочинений Чернышевского мы не встретим ничего, даже в отдаленной степени напоминающего столь дикие либеральные иллюзии, с которыми он напротив всегда боролся, таких смешных надежд на правительство, против которых он всегда

протестовал и из-за которых порвал с Герценом и его единомышленниками. Эти слова т. Покровский нашел не в сочинениях Чернышевского, а в «Великоруссе» и, приписав их Чернышевскому, получил портрет, ни в какой мере не похожий на действительного Чернышевского, этого непримиримого революционера, которого т. Ленин так хвалил именно за разоблачение либеральных иллюзий и за возбуждение непримиримой ненависти и систематического недоверия к правительству.

Итак, от мнимого меньшевизма Чернышевского не остается и следа. А когда т. Покровский пытается противопоставить ему воззвание «Молодая Россия», то и здесь мы не видим ничего кроме недоразумения. Во-первых, «Молодая Россия», как мы выше показали, целиком составлена в духе основных положений, развивавшихся Чернышевским в продолжение всей его литературной деятельности, составлена в их духе настолько, что многие современники, принадлежавшие к противоположным лагерям, прямо считали ее делом его рук. А, во-вторых, какие тактические советы дает эта, невпример «меньшевику» Чернышевскому, «большевистская» прокламация? Что же, она советует немедленно поднимать «булгу», не взирая на обстоятельства и не считаясь с подготовленностью? Ничего подобного. При всем своем радикализме она кончается следующим практическим советом молодежи: «Готовься, а для этого собирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайные общества, с которыми Центральный Революционный Комитет сам постарается войти в сообщение, рассуждайте больше о политике, уясняйте себе современное положение общества, а для большего успеха приглашайте к себе на собрания людей, действительно революционных и на которых вы можете вполне положиться». А когда придет день, комитет подаст сигнал. То есть то же самое, что у Чернышевского, но с той только разницей, что он обращается не к бессильной молодежи, которой «Молодая Россия» придает такое преувеличенное значение, а к крестьянской массе и через нее к солдатской массе, что было и более разумным, и более революционным [1].

---

[1] Ошибка т. Покровского произошла не только от того, что он приписал Чернышевскому авторство «Великорусса», но и от того, что для характеристики его воззрений он выхватил отдельное произведение, игнорируя общий контекст его писаний. «В моем изложении, — говорит он (цит. соч., стр. 56—57), — ...Чернышевскому приходится фигурировать не как автору знаменитых статей об общине и «Примечаний к Миллю» и т. д., а как автору прокламации к барским крестьянам». Для выводов о политической тактике Чернышевского этого маловато, особенно если и этот единственный документ истолкован неправильно.

Почему же он — меньшевик, а авторы «Молодой России» — большевики? Нет, если кого можно и должно признать родоначальником большевистской тактики, так это именно Чернышевского, который, впрочем, проводил эту тактику всегда и даже, как мы это доказали, в своих подцензурных писаниях. И как раз за это Ленин так перед ним преклонялся, чувствуя в нем родственную натуру и настроение [1].

---

[1] В настоящее время т. Покровский иначе оценивает воззвание к барским крестьянам. В своей цитированной выше (стр. 259) статье о Чернышевском он по поводу него говорит: «Чернышевский первый попытался бросить эти два спаянных лозунга: «Долой царя, всю землю крестьянам» в самую крестьянскую массу. До массы прокламация не дошла... Но за Чернышевским остается неувядаемая слава человека, который первый в России попытался крестьянскую революцию поднять не при помощи обмана и игры на традиционной идеологии,... а пустив в дело для революционной цели настоящие революционные средства. Не его личная вина, а вина его эпохи, вина недозрелости русских общественных отношений, что в 1861 г. дальше попытки ничего не вышло».

Нужно кроме того прибавить, что во время моего доклада о политических воззрениях Чернышевского в Комакадемии 4 мая 1928 года т. Покровский отказался и от обвинения Чернышевского в меньшевизме, заявив, что эти случайно вырвавшиеся слова не соответствуют его действительной мысли. А так как сейчас т. Покровский уже, повидимому, не считает Чернышевского и автором «Великорусса», то можно сказать, что его прежняя оценка Чернышевского как революционера полностью взята им обратно.

Глава восьмая

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

Первым открытым проявлением накопившихся в обществе протестующих сил были студенческие волнения, разразившиеся осенью 1861 года в ряде русских городов.

О брожении среди петербургских студентов Шелгунов говорит: «В университете тогда пенилось очень сильно пиво; он был, так сказать, газометром, указывавшим высоту и давление паров; Чернышевский, Добролюбов были пророками университетской молодежи, приходившей в неистовый восторг от того, что они находили в строках, а еще больше от того, что читали потом между строками. Чем крайнее и смелее были статьи, тем они сильнее действовали на студентов» [1].

Подготовка студенческих волнений 1861 года началась с 1857 года. За 1857—1861 гг. происходит ряд студенческих выступлений в различных университетах (в Казани, Москве, Харькове, Киеве, Петербурге). Правительство с своей стороны принимает ряд репрессивных мер, направленных против учащейся молодежи, венцом которых явились правила 31 мая 1861 г., выработанные особой комиссией, состоявшей из гр. С. Г. Строганова, гр. Панина и кн. Долгорукова. Взамен либерального Ковалевского министром народного просвещения назначен был адмирал Путятин, который и должен был провести эти правила в жизнь. Одновременно с этими правилами было издано высочайшее повеление, имевшее целью прекратить доступ в университет бедной и мало обеспеченной молодежи.

Ответом на правила, сопровождавшиеся введением матрикул, были студенческие волнения, начавшиеся в Петербурге, а затем перекинувшиеся в Москву, Киев и Казань. Беспорядки выразились как в пассивном сопротивлении (отказ брать матрикулы), так и в сходках и даже в демонстрациях (вроде шествий в Петербурге к дому попечителя ген. Филипсона, а в Москве — к ген.-губ. Тучкову), сопровождавшихся в Петербурге арестом сначала депутатов, а затем 300 студентов, а

[1] Шелгунов — «Воспоминания», стр. 36.

в Москве — избиением студентов полицией перед домом генерал-губернатора [1].

Студенческие волнения были новым явлением в царской России. Чтобы понять их происхождение, необходимо иметь ввиду не только общее брожение, отголоском которого они служили, но и то изменение состава студенческой массы, которое произошло со времени Крымской войны. Прежний студент-барич, сын помещика, домовладельца, крупного чиновника, начал уступать место новому студенту-разночинцу, выходцу из мелкого чиновничества, духовенства, бедного дворянства и т. п. Параллельно с вторжением разночинцев на арену общественной жизни шел и наплыв разночинной массы в высшие учебные заведения. Особенно много пошло в университет семинаристов, настроенных тогда весьма радикально. Эта масса материально крайне нуждалась и жила в бедной, подчас прямо нищенской обстановке, питаясь всухомятку и нередко не имея пристанища. Для нее вопросы о студенческой автономии, о праве студентов иметь общества взаимопомощи, кассы, свободно собираться на сходки для обсуждения и устройства своих дел были вопросами не отвлеченными, а самыми конкретными и злободневными, как для рабочих крупной промышленности вопрос о праве коалиции. Неудивительно, что те постановления новых правил, которые отнимали у университетского начальства право освобождать нуждающихся студентов от взноса платы за слушание лекций и воспрещали студенческие сходки, особенно возбудили учащуюся молодежь, усмотревшую в них покушение на самые насущные свои интересы [2].

Это новое студенчество, как и вообще новая интеллигенция, получившая тогда, довольно удачно выражавшее ее положение, название «мыслящий пролетариат», было настроено весьма радикально. Естественно составляя авангард своего класса, нарождавшейся мелкой буржуазии, оно вместе с тем отражало и настроение крестьянской массы, к которой многие его представители, особенно из среды семинаристов, стояли довольно близко. Таким образом в нем политический и социальный протест выражались особенно ярко, ибо оно не только недовольно было собственным положением, не только само страдало от полицейского государства, с которым сталкивалось в качестве студенчества, но и служило рупором настроений широких угнетенных масс, переживавших

---

[1] Сватиков — «Студенческое движение 1869 года». Сб. «Наша страна», Спб. 1907, стр. 167 сл.

[2] Этот вопрос прекрасно выяснен в последней статье Чернышевского «Научились ли?», напечатанной в апрельской книжке «Современника» за 1862 год. См. «Соч.», т. IX, стр. 176 сл. Ср. М. Балабанов — «История революционного движения в России», Киев, 1925, стр. 91 сл.

в тот момент период глубокого брожения. Вот почему оно с такою же живостью реагировало на репрессивные меры, применявшиеся правительством по отношению к учащейся молодежи, как и на жестокое усмирение обманутых реформой и по своему протестовавших крестьян. Из среды этого мыслящего пролетариата и вышли первые пропагандисты среди народа (в частности в воскресных школах) и первые участники тайных обществ, да и впоследствии, вплоть до революции 1905 года, она не переставала поставлять борцов за освобождение страны.

В течение лета 1861 года особая комиссия от университетского совета составляла правила для упорядочения университетской жизни на началах проекта правил 31-го мая. Эти правила изложены были в особой книжке, получившей название матрикул, которая должна была выдаваться каждому студенту. К моменту начала занятий матрикулы не были еще готовы, и 18 сентября лекции начались без правил. 23 сентября 1861 года студенты, узнав о содержании матрикул, уничтожавших все их старые вольности, решили собрать сходку для обсуждения вопроса. Но все пустые аудитории по распоряжению попечителя были заблаговременно заперты. Тогда студенты насильно открыли дверь университетской залы и собрались в ней в числе около 500 человек, при чем один из них огласил протест против новых распоряжений. С этого начались студенческие волнения, спровоцированные правительством и в частности лично царем.

На следующий день, 24 сентября, правительство решило на время закрыть петербургский университет. 25 сентября студенты, собравшись к университету и прочтя об'явление о прекращении лекций, направились толпою через Невский проспект на Колокольную улицу к квартире попечителя Филипсона. Явились полицейские и жандармские команды. Во избежание столкновения попечитель согласился явиться в университет, чтобы выслушать там от студенческих депутатов цель их обращения к нему. Студенты двинулись обратно к университету, где через троих избранных депутатов просили попечителя об'яснить им, почему закрыт университет, и на каком основании их не допускают в студенческую библиотеку. Получив от него надлежащее об'яснение, студенты спокойно разошлись, добившись обещания от попечителя, что никто из них не подвергнется преследованию. Тем не менее ночью начались аресты студентов, которые на основании имевшихся у полиции сведений признаны были «зачинщиками» движения. Это только подлило масла в огонь. 27 сентября студенты собрались подле университета с целью составить просьбу об освобождении арестованных товарищей. Тогда вызвано было несколько рот финляндского полка, и студенты были разогнаны силою оружия. 2 октября перед зданием уни-

верситета собралась новая толпа студентов, из которых 33 человека было арестовано и отправлено в крепость.

После этого начальство опубликовало об'явление, согласно которому студенты, желающие взять матрикулы и подчиняться изложенным в них правилам, приглашались подавать об этом прошения (но письменно, по почте!), при чем неподавшие прошения будут считаться уволенными из университета. К вечеру 7 октября от 552 студентов и 101 вольнослушателя поступили заявления о допущении их в университет для продолжения курса, вследствие чего университет 11 октября был открыт. Но 12 октября перед университетом состоялась новая сходка студентов, которая была окружена городовыми с целью не допустить их соединения с студентами, выходившими из здания университета. Вызваны были жандармские и пехотные части, толпа под их конвоем введена была в университетский двор, где и была переписана. Когда арестованную группу выводили под конвоем на улицу, собравшаяся к этому времени толпа студентов, вышедших из университета, шумно приветствовала их и пыталась с ними соединиться. Тогда жандармы и солдаты были двинуты на студенческую толпу, среди которой произвели жестокое избиение. Все студенты были арестованы и отправлены в крепость. Учреждена была особая комиссия для рассмотрения дела о студенческих беспорядках.

Отголоском петербургских событий явились волнения в Москве 27—28 сентября, закончившиеся избиением студентов войсками и полицией, к которой присоединились лавочники, мясники и подобная охотнорядческая публика, так наз. «Дрезденское сражение» по имени гостиницы «Дрезден», находившейся на Тверской площади.

Ввиду всеобщего недовольства, вызванного грубой расправой со студентами, правительство решило пойти на некоторые видимые уступки, дабы внести раскол в лагерь либеральной оппозиции. На место Игнатьева, руководившего избиением петербургских студентов, петербургским генерал-губернатором назначен был 4 ноября 1861 года личный друг царя, князь А. А. Суворов. Он прославился тем, что в бытность Прибалтийским ген.-губернатором, выступал в роли покровителя местных немецких баронов против латышских и эстонских крестьян, но тем не менее пользовался репутацией человека мягкого и даже либерального сановника. По отношению к студенческой массе он сумел взять «отеческий» тон и противился суровой расправе с нею. На место Путятина министром нар. просв. назначен был 25 декабря 1861 года А. К. Головнин, тоже имевший репутацию либерала.

Пантелеев рассказывает, что едва университет был открыт, как сейчас же сформировался негласный студенческий комитет, который

решил вести энергичную борьбу против новых правил. Реакционеры утверждали, что студенческое движение муссируется со стороны. Винили профессоров, несмотря на то, что даже либеральные из них, как Кавелин, Б. Утин, Стасюлевич, Спасович, старались удержать студентов от всякого активного сопротивления. Винили поляков. «Наконец, притягивалась к ответу та группа, которая как бы олицетворялась в «Современнике». Чернышевского как раз не было в Петербурге, когда разыгралась студенческая история: он находился в Саратове [1]; Добролюбов, вернувшийся из-за границы, умирал, да и связей между студентами не имел. В руководящем кружке был студент М[ихаэлис], находившийся в близких отношениях к Н. В. Шелгунову [2]; этот студент действительно поддерживал в комитете все более резкие предложения; но ведь один М., если даже допустить, что им руководил Шелгунов, не мог всех увлечь, при том же он был в числе первых арестован» [3].

Правительство считало Чернышевского одним из главных вдохновителей студенческих волнений (как, впрочем, и всего оппозиционного движения), но об'ясняло невозможность уличить его свойственной ему осторожностью и конспиративностью. Внесенная Потаповым 1 августа 1862 года в следственную комиссию Голицына «Записка из частных сведений» (т. е. из шпионских донесений) о Чернышевском, указав на его идейное влияние на молодое поколение, прибавляет: «Внимание правительства обращено (было) на Чернышевского после беспорядков, происходивших в С.-Петербургском университете осенью 1861 г., когда получено было сведение, что появившаяся между студентами прокламация, возбуждавшая молодежь к сопротивлению властям, была составлена Чернышевским [4]. С тех пор за ним учреждено было постоянное наблюдение» [5].

Это постоянное наблюдение за Чернышевским установлено было, повидимому, с конца октября 1861 года (первое упоминание о нем в донесениях агентов встречается 24 октября); таким образом о событиях, имевших место до этого времени, шпионам приходилось судить

---

[1] Во всяком случае во время шествия студентов к дому Филипсона Чернышевский находился, повидимому, в Петербурге. См. ниже донесение шпиона.

[2] Шелгунов был женат на сестре Михаэлиса.

[3] Пантелеев — «Из воспоминаний», ч. 1, стр. 184 сл.

[4] Как увидим ниже, Потапов самым наглым образом перевирает донесение агента, превращая высказанное тем подозрение в категорическое утверждение.

[5] Лемке — «Политические процессы», стр. 198 — 199. — Последние слова Потапова означают, что за Чернышевским следили и раньше, но не так назойливо и систематически, как с этого времени.

по слухам и сплетням, которые ими усердно собирались и представлялись по начальству. Так, в донесении от 18 ноября 1861 года сообщается: «Когда 26 сентября к квартире попечителя Филипсона собрались студенты, то к Чернышевскому прибегал впопыхах один из них и, переговорив с ним короткое время, удалился. Вслед за ним вышел и Чернышевский, направив свои шаги к студенческому сборищу. Жена его несколько раз выходила после его ухода на улицу и смотрела на происходившее на Колокольной улице» [1].

В этом донесении прежде всего бросается в глаза его запоздалость. Оно датировано 18 ноября, тогда как шествие студентов к квартире попечителя происходило почти за два месяца до того. Ясно, что передает не очевидец, а человек, рассказывающий на основании слухов. Это донесение поступило уже после того, как за Чернышевским был установлен тайный надзор, т. е. когда полиция приступила к собиранию материалов против него. Идя навстречу желаниям начальства, услужливый агент подобрал где-то слух и сообщил его по назначению (без указания источника своего осведомления).

Далее, что собственно докладывает агент? Какой-то студент забегал на минутку к Чернышевскому, чтобы сообщить ему о подходе студентов к квартире попечителя. Это мог быть его знакомый, например, Студенский, живший даже у него, его родственник и отчасти секретарь. После его ухода Чернышевский вышел на улицу и направился к студенческому сборищу. Что значит «направился»? Дошел ли он до него, и если дошел, то что там делал? Говорил, подстрекал, давал советы и т. п.? Об этом донесение не говорит ни слова и своим молчанием по этому основному пункту явно свидетельствует о том, что или Чернышевский вовсе не подходил к студенческой демонстрации, или присутствовал при ней в качестве обыкновенно любопытствующего зрителя, каких было много: ведь в те времена такая уличная демонстрация нескольких сот студентов была чем-то невиданным в русской столице. Что это так, видно из дальнейшего сообщения агента, что и Ольга Сократовна, весьма далеко стоявшая от всякой политики, тоже вышла на улицу посмотреть на демонстрацию. А главное, не следует забывать, что все это происходило в нескольких шагах от квартиры Чернышевских.

Зная осторожность Чернышевского, о которой с негодованием говорят и сами шпионы, мы ни на минуту не можем допустить, чтобы он выходил к демонстрировавшей студенческой толпе с целью открытого активного вмешательства в демонстрацию, дальнейшее течение

[1] «Красный Архив», т. XIV, стр. 90. — Как же примирить с этим донесением сообщение Пантелеева о том, что Чернышевского в разгар студенческого движения не было в Петербурге?

которой было совершенно неясно. Мы сомневаемся и в самом факте выхода его на улицу по направлению к толпе, но если этот факт и имел место, то можно с уверенностью утверждать, что он вышел только посмотреть на невиданное, хотя, разумеется, ему и симпатичное зрелище. С другой стороны, зная, как бережно революционные элементы относились к своему идейному вождю, нельзя допустить, чтобы какой-либо отдельный, а значит знакомый Чернышевскому студент явился звать его на демонстрацию, или чтобы толпа отрядила с такою целью своего делегата. Это значило подводить его под немедленный арест и бесплодную гибель.

Вот почему мы этому запоздалому донесению, лучше сказать, сочинению агента не придаем никакого серьезного значения в смысле установления исторического факта. Если Чернышевский и имел какое-либо прикосновение к студенческим волнениям, то он во всяком случае не стал бы выражать его в такой неосторожной форме, как выход к массовому шествию, окруженному полицией и привлекавшему всеобщее внимание. А между тем этим донесением III Отделение впоследствии неоднократно подтверждало активное участие Чернышевского в студенческих волнениях. И каждый раз, когда в высших сферах всплывал вопрос о Чернышевском, то наряду с другими, столь же неосновательными, обвинениями обязательно приводился и изложенный в вышецитированном донесении факт или, точнее, слух [1].

Особенно старались агенты установить прикосновенность Чернышевского к начавшим тогда появляться прокламациям. Еще бы, по этому пункту легче всего было «закопать» ненавистного писателя! Так, когда подкупленная кухарка доставила несколько выброшенных Чернышевским ненужных бумаг, агент обращает внимание на то, что почерк некоторых из них «как будто имеет некоторое сходство с почерком рассылавшихся в апреле месяце по городской почте воззваний по крестьянскому делу» (донесение от 13 декабря). А когда 15 марта появилась прокламация по поводу высылки проф. Павлова, то агент в донесении, составленном 16 марта, приписывает авторство этой прокламации Н. Утину, причем подчеркивает, что тот «еще третьего дня вечером на полчаса посетил Чернышевского», т. е. намекает на причастность Н. Г. к этому делу [2]. Наконец в донесении от

[1] Даже в 1883 году, когда решался вопрос о разрешении ему вернуться из Сибири в Европейскую Россию.

[2] Повидимому, именно это сообщение шпиона, приписывавшего составление этой прокламации собственно даже не Чернышевскому, а Утину, бессовестный лжец Потапов превратил в категорическое утверждение, что автором прокламации был Чернышевский (см. выше).

24 марта агент рассказывает, что 22 марта Студенский сказал якобы на лестнице уходившему Утину: «У нас все идет отлично, мы уже более половины для солдат сдали»; а когда Утин шепнул «тс!» и указал на комнату швейцара, приложив палец к губам, Студенский возразил: «это ничего». Снова явный намек на причастность дома Чернышевского к прокламации «К солдатам». Нужно при этом заметить, что к рассматриваемому моменту В. Костомаров успел уже, как кажется, донести на Чернышевского и Шелгунова, об'явив их причастными к прокламациям «К барским крестьянам» и «К солдатам».

Лживость полицейских измышлений устанавливается и дошедшими до нас свидетельствами современников описываемых событий. Так, Н. Николадзе, бывший активным участником студенческих волнений, при подробном описании студенческой демонстрации 25 сентября (шествие к дому попечителя) ни словом не упоминает о Чернышевском, а между тем появление популярного вождя радикалов в студенческой толпе не могло бы не обратить на себя всеобщего внимания и не вызвать многочисленных толков в среде молодежи. Более того, рассказывая о том, что на следующий день 26 сентября у здания университета собрались многие тогдашние знаменитости литературного и общественного мира, и назвав несколько фамилий (Лаврова, Шелгунова, Альбертини, Тиблена, А. Энгельгардта), Николадзе и здесь ни звуком не заикается о Чернышевском, присутствие которого, разумеется, не могло бы пройти незамеченным. Это только подтверждает наше предположение, что Чернышевский, зная, с какою настойчивостью полиция ищет поводов к его ликвидации, не хотел доставить ей легкого предлога к этому и уклонялся от таких публичных выступлений, которые способны были облегчить III Отделению его работу, но существом дела не требовались. Что это так, видно также и из передаваемых Николадзе слов студента Пиотровского, юноши революционно настроенного и считавшего себя последователем Чернышевского. О том, что умер Добролюбов, студентам стало известно, когда они сидели в Кронштадте. И вот, узнав о смерти Добролюбова, Пиотровский залился слезами, и когда другой арестованный студент Линев стал утешать его, указывая на то, что остался в живых Чернышевский, тот ответил: «Чернышевский не заменит Добролюбова, особенно теперь. Он слишком осторожен, нам же смелость нужна больше всего. Чернышевский ни разу не пришел на наши сходки, хоть и очень ими интересовался и все время про них расспрашивал. Добролюбов же, будь он здоров, не только пришел бы, но и повлек бы нас за собою бог весть куда». Тем не-

менее он поклонялся Чернышевскому, как никому из тогдашних писателей [1].

Что Чернышевский, оставаясь за кулисами, вдохновлял студентов и давал им советы через знакомых вроде Михаэлиса, Утина, Студенского и т. п., это возможно. Но что в то же время он остерегался показать свою причастность к студенческому движению посторонним и особенно полиции, в этом сомневаться не приходится, тем более, что открытое его вмешательство в дело совершенно не вызывалось тогда необходимостью. Поэтому у нас нет никаких оснований не верить словам Пиотровского о том, что в разгар брожения среди молодежи Чернышевский не появлялся на студенческих сходках [2]. Такого горячего и революционно настроенного юношу, как Пиотровский, видимо, не понимавшего мотивов, диктовавших Чернышевскому его образ действий, и, вероятно, не знавшего о его тайной революционной работе, это могло даже возмущать [3]. Но это — другой вопрос. Факт тот, что III Отделение, приписывая Чернышевскому руководящую роль в студенческих волнениях, сознательно лгало и выдавало свои предположения за установленные факты с целью погубить ненавистного политического врага.

Открыто Чернышевский вмешался в студенческие дела только в следующем 1862 г. в связи с событиями, вызванными высылкой проф. Павлова и провокационным поведением Н. И. Костомарова.

После закрытия петербургского университета группа студентов и профессоров, в том числе и Н. И. Костомаров, задумали осуществить опыт «вольного университета», на что получили разрешение правительства. В зале городской думы с начала 1862 г. открыт был ряд систематических публичных лекций, привлекших и множество женской моло-

[1] Н. Николадзе — «Воспоминания о шестидесятых годах». «Кат. и Ссылка» 1927, № 4/33, стр. 38—40, 49.

[2] Что Чернышевский на студенческих собраниях иногда (по крайней мере, в 1862 году) бывал, видно из рассказа Пантелеева (ч. I, стр. 142).

[3] Приотровский, бывший сотрудником «Современника», вскоре после того покончил самоубийством: он запутался в денежных делах, а Некрасов из-за игрецкого суеверия отказал ему в выдаче аванса, не предвидя, конечно, результатов своего отказа. И вот Утин рассказывал Пантелееву, будто Чернышевский раз выразился так: «Если Пиотровский не дорожил своей жизнью, то мог бы сделать из нее более разумное употребление, чем пустить себе пулю». «Мы, — прибавляет Пантелеев, — эти слова истолковывали в том смысле, что Пиотровский лучше сделал бы, еслиб отдался политической агитации, чем покончить с собой» (Пантелеев, ч. 1, стр. 262). При желании их можно скорее истолковать в смысле покушения на цареубийство, которое обязательно влекло за собою смертную казнь. Повидимому, разговоры террористического характера велись в кружке Чернышев-

дежи, стремившейся к высшему образованию. Но просуществовал этот вольный университет только до марта.

Выше мы рассказывали о вечере 2 марта в зале Руадзе. За пропущенную цензурою речь по поводу тысячелетия России, произнесенную на этом вечере, проф. П. В. Павлов, один из лекторов «вольного университета», был по приказу царя арестован и административно выслан в Ветлугу. Этот акт произвола возмутил студентов, которые потребовали прекращения лекций в виде протеста против расправы с Павловым. Большинство профессоров тоже согласилось с этим предложением. Но против него решительно восстал Н. И. Костомаров и своим вызывающим поведением довел студентов до того, что они его освистали [1].

Сам Н. Костомаров в своей «Автобиографии» (стр. 298 сл.) рассказывает об этом инциденте следующее:

«Некоторые профессора поддались голосу студентов, но я энергически доказывал и тем, и другим, что прекращение лекций не имеет никакого смысла, тем более, что Павлов навлек на себя нерасположение правительства вовсе не за эти лекции, а по поводу тона чтения, не имевшего к лекциям никакого прямого отношения, и что делать демонстрации вообще в нашем положении нелепо. Я успел отклонить некоторых профессоров от прекращения лекций... Я и некоторые другие профессора, принявшие мое мнение, упорно не хотели поддаваться студентам. Тогда студенты-распорядители сильно озлобились против меня, видя, что я становлюсь их главною помехою к произведению демонстраций, до которых у них родилась большая охота со времени студенческих смут, поведших к закрытию университета. Надобно за-

---

ского. Намек на это можно усмотреть в одном письме Добролюбова к Чернышевскому («Материалы для биографии», стр. 624—625 и «Переписка» Чернышевского, М. 1925, стр. 105—106). Летом 1861 года Чернышевский уведомил Добролюбова о настроении в России, которое в тот момент проходило под знаком растущей реакции. В своем ответе, датированном 12 июня, Добролюбов говорит, что если бы было такое дело, которое можно было бы разрешить курциевым способом, т. е. путем героического самопожертвования, то он без колебания «совершил бы Курциев подвиг, даже не думая, чтобы его можно было ставить в заслугу». Но ведь нужно, прибавляет Добролюбов, вовсе не это, требуется другая работа, но последняя ему не под силу «как нравственно, так и главным образом физически». Надо полагать, что он имел ввиду систематическую, длительную нелегальную работу заговорщика, на которую вследствие своей болезни, уже принявшей опасные размеры, он считал себя негодным. Но, конечно, Чернышевский сторонником индивидуального террора не был.

[1] Пантелеев (ч. 1, стр. 210) передает характерные слова этого морального кретина: «Для меня читать лекции это — величайшее наслаждение».

метить, что я, некогда пользовавшийся у студентов большою любовью, стал уже прежде терять многое в глазах их. Меня почему-то считали вначале от'явленным либералом, даже революционером, и это было одною из причин того горячего сочувствия, каким я пользовался у молодежи. Вероятно, к тому мнению обо мне располагало молодежь мое долгое пребывание в ссылке за политическое дело, которого значения они хорошо не знали». Далее Костомаров рассказывает, что еще на пасхе 1861 г. к нему явилась студенческая депутация, просившая об'яснить им, как это он умудряется сочетать «свободные воззрения», излагаемые им в лекциях, с прикладыванием к плащанице и приобщением св. тайн. Возмущенный ханжа ответил им, что если его «возмущали и теперь возмущают темные деяния католической (почему только католической? — *Ю. С.*) инквизиции, преследовавшие безверие (?), то еще более возмущала бы наглость безверия, преследующая, как нравственное преступление, всякое благочестивое чувство».

Как сообщает далее Н. Костомаров, студентам не нравилось и отсутствие всяких «признаков либеральничанья» в его лекциях, носивших, дескать, «строго научный» характер. «Наконец, строгое неучастие мое в недавних их студенческих смутах и много раз заявленное нежелание входить в рассмотрение вопросов, их волновавших, еще более вооружили против меня молодежь». Упорное желание Костомарова демонстративно продолжать чтение лекций, вопреки желанию молодежи, что при создавшихся условиях было явной полицейской провокацией с его стороны, глубоко возмутило не только студентов, но и всех порядочных людей. Дело не могло не завершиться скандалом. Закончив 8 марта свою очередную лекцию, Костомаров, вопреки заявлению одного из распорядителей о прекращении дальнейших лекций в виде протеста против ареста и высылки проф. Павлова, позволил себе подняться на кафедру и сообщить, что другим как угодно, а он, несмотря ни на что, намерен продолжать чтение своих лекций. Раздались свистки, поднялся шум и перебранка в зале. В ответ на свистки студентов Костомаров провозгласил, что свистят «Репетиловы, из которых через десять лет выйдут Расплюевы».

После того, он был вызван к генерал-губернатору, куда вскоре прибыл и шеф жандармов, князь Долгоруков, угрожавший арестовать свиставших студентов и посадить их в крепость. Костомаров, не возражая против репрессий, просил только не припутывать его имени к предполагавшемуся расследованию (стр. 302). Но от своих провокационных действий он не отказался и теперь.

«Я, — спокойно рассказывает он, — собирался продолжать свои публичные лекции и только искал места для чтения, так как Дума,

после случившегося скандала, не соглашалась уступать своего зала. Тут приехал ко мне Чернышевский и стал просить меня не читать лекций и не раздражать молодежь, потому что, как ему известно, молодежь, сильно негодуя против меня, собирается устроить мне в моей аудитории скандал похуже прежнего. Я отвечал, что если ему это известно, то гораздо справедливее было бы обратиться не ко мне, а к тем, которые думают устроить скандал, и уговорить их не делать этого. Чернышевский уехал от меня рассерженный и сказал, что постарается остановить мои лекции просьбою у министра и генерал-губернатора. Я заявил ему, что если правительственные лица, облеченные правом (!), приостановят чтение лекций во избежание беспорядков, то я подчинюсь этому; притворяться же больным, когда я не был болен, не стану, потому что это значило бы, заявивши публике о будущем моем чтении, вдруг испугаться молодежи и волею-неволею примкнуть к их партии и участвовать в программе их действий».

Лекции вскоре были приостановлены распоряжением министра, и Костомаров принужден был выйти в отставку.

Вышеизложенным, на основании собственных слов Н. Костомарова, в достаточной мере обрисовывается фигура этого господина.

В том извлечении из автобиографии Костомарова, которое было напечатано в «Русской Мысли», о посещении Чернышевского и о разговоре с ним передается несколько иначе [1].

«Ко мне приехал Чернышевский и стал умаливать меня не читать, чуть ли не на коленях упрашивал, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня. Я стоял на своем, говоря, что не могу отступаться от своего слова... «Ну, так, по крайней мере, поезжайте к Головнину, и просите, чтобы вам запретили читать». — «Не могу и этого сделать: я сам хлопотал о разрешении лекций». — «Ну, так, я поеду. Дайте мне которое-нибудь из писем, где вам угрожают скандалом». Я дал письмо, в котором мне угрожали двумя стами свистков, и где, между прочим, было сказано: «Смотрите, вас вынесут насильно, читать не будете!». Чернышевский с'ездил сам к Суворову [2] и Головнину и устроил дело так, что мне запретили читать лекции».

Так излагает дело Н. Костомаров. На самом деле Чернышевский вмешался в это дело отнюдь не из заботливости об удобствах злостного

---

[1] «Автобиография Н. И. Костомарова». «Рус. Мысль» 1885, № 6, стр. 40—41.

[2] Кстати, не по поводу ли этого вмешательства Чернышевского в инцидент с лекциями Суворов сочинил, потом передаваемый Н. Шелгуновым, рассказ о том, что он через посредство Чернышевского предупреждал демонстрации? (См. ниже).

штрейкбрехера, которого возмущенные студенты угрожали выбросить из аудитории, а из тревоги за судьбу молодежи, которую профессора-провокаторы втягивали в опасные по тому времени демонстрации. Ибо не один Костомаров решил продолжать чтение лекций, вопреки желанию студентов, но и несколько других профессоров приняли такое же решение. Чтобы предупредить ряд новых скандалов, которые при повторении обязательно вызвали бы вмешательство III Отделения, Чернышевский и взял на себя уладить это дело и убедить упорствующих мужей науки отказаться от своего замысла, который мог кончиться очень печально для молодежи. Для этого он прежде всего обратился к проф. И. Е. Андреевскому, читавшему полицейское право и бывшему в душе настоящим полициантом, что он доказал всею своею профессорскою деятельностью. Так как Андреевский стоял ближе других профессоров к студенческому комитету, ведавшему устройством лекций, то Чернышевский предложил ему быть посредником между публикою и читавшими лекции профессорами для выяснения разногласий о причине прекращения лекций. Но Андреевский отказался от предложенной ему роли, очень хорошо зная, что Чернышевский прав, утверждая, что профессора сами вынесли решение о прекращении лекций, а потом почему-то спохватились и изменили свое решение. Одновременно Чернышевский обратился к Н. И. Костомарову, с которым еще с саратовских времен находился в хороших отношениях, в наивной надежде, что этот черствый сухарь обретет в своей заскорузлой душонке искру порядочности и не захочет из стариковского упрямства и страстной любви к чтению лекций губить молодежь, провоцируя ее на шумные выступления после недавних арестов и высылок студентов из столицы [1].

Вот что рассказывает об этом Пантелеев (цит. соч., стр. 217 сл.): «Чернышевский был осведомлен о настроении молодежи и, вероятно, желая спасти ее от неминуемо прискорбных последствий, вмешался в дело. Он поехал уговаривать Костомарова отказаться от чтения лекций; тот ни за что не хотел этого сделать». Процитировав далее рассказ самого Костомарова (из «Русской Мысли») о том, будто Чернышевский с полученным от Костомарова угрожающим письмом поехал к Суворову и Головнину и устроил так, что чтение лекций Костомарову было запрещено, Пантелеев продолжает: «Не помню, говорил ли Чернышевский о Суворове, но вот что сохранилось в моей памяти из его рассказа: «Я уехал от Костомарова, который наотрез отказался пре-

[1] Что во время этой беседы Чернышевский апелировал к политической порядочности Костомарова и пытался открыть ему глаза на провокационный характер его действий, видно из цитируемого ниже письма Костомарова к Н. Г., найденного у последнего при обыске.

кратить лекции, и отправился к Головнину; тот меня сейчас же принял. Я об'яснил ему, что ввиду настроения молодежи и публики необходимо закрыть лекции Костомарова; Головнин выслушал меня до конца и затем сказал: «Из ваших слов я вижу, как медленно министерские курьеры доставляют по своему назначению мои распоряжения: я еще вчера отдал приказ о закрытии лекций Костомарова»... А затем, когда я вернулся домой, — продолжал Чернышевский, — то нашел письмо от Ник. Ив.; вот оно»... «Костомаров так упрямо стоял на своем и так был раздражен, что мы даже не распрощались, когда я уходил».

Старые отношения были порваны навсегда. Чернышевский мог многое простить, но преступление против святого духа революции — никогда. Костомаров понял это, о чем свидетельствует письмо его к Чернышевскому, написанное, повидимому, сейчас же после об'яснения. Он признает, что слова Чернышевского его встревожили, но, обдумав, он решил, что действовал правильно. Чернышевский обвинял его в «самолюбии, в измене прежним убеждениям». Костомаров отрицает и то, и другое: он руководствовался не мелким самолюбием, а желанием принести пользу обществу, сохранением вольного университета приучить его «к серьезному, живому, свободному слову». Прощаясь навсегда со старым приятелем, Костомаров констатирует, что дороги у них разные, и меланхолически прибавляет, что «поругания и клеветы, право, не хуже ссылки в Саратов или в Ветлугу, чем может наделить III Отделение» [1]. Для Чернышевского, впрочем, III Отделение приуготовило более горькую участь, чем ссылка в Саратов.

Инцидент 8 марта вызвал не только разнообразные толки в обществе, но и горячие нападки на студентов в охранительной печати. Последняя публицистическая статья Чернышевского «Научились ли?» и была посвящена энергической и остроумной защите студентов от этих гнусных инсинуаций.

В № 92 «С.-Петербургских Ведомостей» Краевского от 1 мая 1862 г. появилась статейка некоего «ь» под заглавием «Учиться или не учиться?», в которой доказывалось, что молодежь не хочет учиться, предпочитая заниматься политикой. Так как все были уверены в официозном характере этой статейки, то Чернышевский счел нужным возразить на нее публично в статье «Научились ли?», помещенной в апрельской книжке «Современника». Вместе с тем он предложил автору статей в «Спб. Вед.» выяснить при свидетелях вздорность утверждений анонима о том, что прекращение лекций в свободном университете в Городской думе вызвано было студентами. В. Скарятин, изда-

[1] Письмо это напечатано у Лемке, цит. соч., стр. 194—196.

тель черносотенной «Вести», и подозрительный проф. Лохвицкий, впоследствии адвокат, исключенный из сословия (с него Щедрин писал своего бессмертного Балалайкина), разыскали автора статейки и убедили его принять вызов Чернышевского, предложив себя в качестве свидетелей, в надежде изобличить ненавистных нигилистов [1]. Автором оказался вовсе не крупный чиновник министерства, как все подозревали, а никому неизвестный учитель низшего городского училища, Аркадий Эвальд, задумавший, вероятно, таким путем выдвинуться и сделать карьеру. Когда Чернышевский узнал об этом, он очень смеялся, но приходилось уже довести начатое дело до конца. Диспут состоялся на квартире Эвальда, причем свидетелями со стороны Чернышевского были Елисеев и Антонович, заменивший П. Лаврова, занятого в тот момент по какому-то другому делу. Чернышевский пред'явил ряд писем, из которых явствовало, что профессора сами решили прекратить лекции еще до скандала в Думе. Эвальд принужден был подписать протокол, в котором отказался от взведенного им на студентов обвинения [2].

Не ограничиваясь изобличением отдельного клеветника, Чернышевский в статье «Научились ли?» разоблачал политику правительства, неизбежно вызывающую протесты со стороны молодежи [3]. Это была последняя статья Чернышевского до его ареста.

В своей статейке «Учиться или не учиться?» Эвальд намекал на то, что учащаяся молодежь действовала по подстрекательству каких-то «миньятюрных бонапартиков и кромвельчиков». Это был довольно прозрачный намек на радикалов и специально на Чернышевского. По-

---

[1] «При этом прении со стороны Эвальда, — рассказывает Пантелеев, — был В. Д. Скарятин; он после, кажется, в конце 70-х годов, в «Московских Ведомостях» в своих воспоминаниях наговорил замечательные глупости о Чернышевском, который якобы убеждал его стать на сторону революции. Чернышевский без смеха никогда не мог вспомнить о Скарятине».

[2] Впоследствии этот маленький человек сочинил целый исторический роман, напечатанный им под названием «Воспоминаний» в декабрьской книжке «Исторического Вестника» за 1895 год. Антонович, сохранивший у себя протокол диспута, легко опроверг измышления ничтожного человечка, сочиненные им для своего возвеличения. См. М. Антонович — «Материалы для биографии Чернышевского». «Мин. Годы», 1908 № 5—6, стр. 328 сл.

[3] По поводу этой статьи Николадзе в своих «Воспоминаниях о шестидесятых годах» («Каторга и Ссылка» 1927, № 5, стр. 36) замечает: «Статья отличалась новизною тона в отзывах о правительстве: до тех пор так о нем еще никто не писал в России». — Характерно, что во время студенческих волнений в конце 60 х годов статья «Научились ли?» читалась на студенческих сходках как лучшая защита справедливых требований учащейся молодежи (Плеханов — «Соч.», т. V, стр. 110).

следний в своей отповеди анонимному автору статейки решительно отвергает эту полицейскую инсинуацию. «Любопытно было бы знать, — пишет он, — на каких основаниях автор статьи полагает, что во время, предшествовавшее закрытию здешнего университета, или во время, предшествовавшее прекращению публичных лекций, у студентов были «коноводы» из людей, не принадлежавших к студенческому обществу. Мы положительно говорим, что никаких таких «коноводов» студенты не имели». А относительно намека на каких-то «либералов», внушениям которых, якобы, поддавались студенты, Чернышевский заявляет, во-первых, что лично он ничего общего не имеет с либералами, «которые всегда отвергали всякую солидарность со мною и порицали мои статьи не меньше, чем автор статьи порицает студентов», а, во-вторых, что «студенты никогда не верили нашим «либералам», всегда считали их людьми пустыми, просто пустозвонами» [1].

Министр внутренних дел Валуев, узнав от цензуры о предстоявшем появлении этой статьи в № 4 «Современника», приказал своей рептилии Н. Ф. Павлову, издававшему в Москве на правительственную субсидию журнальчик «Наше время», приготовить отповедь Чернышевскому (она и появилась по казенному заказу в № 107 «Нашего времени» от 22 мая в виде передовицы) [2]. Министр народного просвещения Головнин, которому наши буржуазные историки создали репутацию либерала, докладывал о статье Чернышевского самому царю, и коронованный жандарм, найдя в ней восхваление преступных заблуждений недоучившейся молодежи, приказал министру предписать по цензуре, чтобы впредь не допускать в печати обвинения и оправдания студентов (ясно, что дело было не в обвинении, а в оправдании «бунтовщиков») [3].

Несмотря на очевидные факты, правительство продолжало считать и об'являть Чернышевского главным виновником студенческих волнений. От этого обвинения ему пришлось оправдываться во время процесса в сенате. В прошении на имя царя от 25 сентября 1863 г., в сущности адресованном сенату, Чернышевский, говоря о клеветнических сплетнях на его счет, вызвавших его арест, переходит «к лживым слухам о (его) участии в столкновениях, бывших в С.-Петербургском университете», и пишет: «Когда и в каком духе я вмешался в эти дела,

---

[1] «Соч.», т. IX, стр. 182.

[2] Во время переписки с министром по поводу этого заказа Н. Павлов между прочим писал ему: «Надо бы предоставить «Современнику» свободу умирать своею смертью. Мнение начинает вооружаться против него» (Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 60). Но правительство предпочло не дожидаться столь сомнительного конца.

[3] Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 224—225.

видно по документам; их об'яснение, если нужно оно, докажет: 1) что я познакомился с г.г. студентами, имевшими влияние на товарищей своих, только уже после манифестации в Думе; 2) познакомился с целью быть посредником между ними и князем Щербатовым, благородно начавшим тогда хлопотать о предотвращении дальнейших столкновений; 3) что когда я таким образом познакомился с молодыми людьми, которых прежде считал — как и другие считали — поднимавшими беспорядки, то, к удивлению моему, получил документы, доказывавшие, что беспорядки поднимаются действием опрометчивости лиц, гораздо старших их летами и почтенных по положению в обществе, — не злонамеренностью, а только безрассудною опрометчивостью этих лиц (т. е. профессоров. — *Ю. С.*), — и доказательства были так неоспоримы, что самый яростный из обвинявших в печати злонамеренность студентов увидел себя принужденным подписать и подписал акт, говорящий, что в беспорядках виноваты не студенты, а другие лица; 4) что я находил нужным для предотвращения беспорядков то самое, что находили тогда нужным г. министр народного просвещения и князь Щербатов, бывший попечитель С.-Петербургского округа, и действовал в том же духе» [1]. Несовсем, правда, в том же, но для сената и это было хорошо.

Во всяком случае никакими доказательствами «подстрекательства» учащейся молодежи со стороны Чернышевского или его руководящей роли (да и вообще какой бы то ни было роли) в студенческих волнениях правительство не располагало, а политическая полиция, взводя на него такие обвинения, заведомо лгала и лжесвидетельствовала, к чему, впрочем, ей было не привыкать стать.

---

[1] Сенатское дело о Чернышевском, л.л. 176—190; Лемке, цит. соч., стр. 462—463.

Глава девятая

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

1. Мнение публики

Мы уже упоминали о той популярности и о том влиянии, которым пользовался Чернышевский в разгар своей литературной деятельности. В конце 50-х годов, когда классовая борьба еще не приняла таких резких форм, какие она получила со времени реформы 19 февраля, имя Чернышевского пользовалось известным обаянием даже среди либеральничавших бюрократических кругов. Мы уже знаем о том, что в 1858 г. Чернышевский был редактором предназначенного для офицеров журнала «Военный Сборник». Вероятно, к этому же времени, к 1859—1860 гг., относится и рассказ Головачовой-Панаевой об «ухаживании» за Чернышевским М., под которым явно разумеется Н. Милютин, знаменитый деятель крестьянской реформы, так зло описанный нашим автором в романе «Пролог» под именем Савелова.

«Все литераторы, которые его знали, — говорит Головачова-Панаева (цит. соч., стр. 256), — радовались его повышению и восхищались простотой его обхождения со всеми, когда он достиг значительного поста и попрежнему являлся к Панаеву на литературные собрания, внимательно прислушиваясь к суждению некоторых личностей, выделявшихся в 60-х годах своими серьезными статьями в «Современнике». Особенно М. ухаживал за Ч[ернышевским], всегда усаживался за ужином около него и допытывался его мнений о реформах. Ч. был очень близорук, и часто М., услуживая ему за ужином, подавал ему блюдо... Как только М. достиг власти, то одним из первых его дел было запрещение полковым библиотекам выписывать «Современник»[1]... Вместе с тем М. сильно повредил Ч[ернышевскому], которому так услуживал

---

[1] Несовсем ясно, какое отношение Н. Милютин, служивший по ведомству вн. дел, мог иметь к полковым библиотекам. Не смешала ли его здесь престарелая мемуаристка с Д. Милютиным, работавшим по военному ведомству и занимавшим впоследствии пост военного министра?

прежде, высказав о нем мнение, как о самом вредном человеке по своему образу мыслей».

Та же Головачова-Панаева (стр. 307) рассказывает о том, как назначенный после университетских беспорядков новый либеральничавший министр народного просвещения Головнин написал И. Панаеву записку, в которой выражал желание познакомиться с главным сотрудником «Современника», г. Чернышевским, и приглашал их обоих к себе на квартиру. Эта записка вызвала завистливое негодование многих литераторов из породы «либералов». Чернышевский к «либеральному» министру не пошел, и знакомство не состоялось [1]. Но инцидент этот для завоеванного себе великим писателем положения характерен.

Нечего говорить о популярности Чернышевского в противоположном лагере. Типичным для характеристики этой стороны вопроса является письмо к Чернышевскому М. Е. Салтыкова-Щедрина от 14 апреля 1862 г., вызванное следующим обстоятельством. В 1862 г. Салтыков предполагал издавать в Москве двухнедельный журнал (на который, впрочем, так и не получил разрешения под предлогом пересмотра цензурного устава). Препроводив Чернышевскому проспект журнала, излагавший его программу, Салтыков просил Чернышевского высказать свое мнение о нем и не оставить издателей своими советами. «Глубоко ценя и уважая Вашу частную и общественную деятельность,— писал Салтыков, — мы заранее можем ручаться, что замечания Ваши будут приняты нами с величайшею благодарностью». И дальше Салтыков выражает надежду на то, что, хотя и поглощенный работою по «Современнику» и потому не могущий принять деятельного участия в новом журнале, Чернышевский все же не откажет ему в своем сотрудничестве, «которое для нас особенно важно, как доказательство Вашей симпатии к задуманному делу» [2].

Письмо это показывает, как популярно было тогда имя Чернышевского, и с каким уважением относился к нему даже такой, далекий от политики человек, как Салтыков.

Правда, дело это не выгорело: Чернышевский от сотрудничества в журнале Салтыкова отказался под предлогом переобремененности, а, вероятнее всего, вследствие своего отрицательного отношения к редактору проектируемого издания. Как рассказывает М. Ольминский, «личные отношения между Чернышевским и Салтыковым были очень недружелюбны. Причина следующая. В 1861 г. Салтыков, будучи вице-губернатором в Твери, получил прокламацию «Великорусс» и предста-

[1] См. Лемке — «Из эпохи цензурных реформ», стр. 101.

[2] Письмо М. Е. Салтыкова к Чернышевскому. «Былое» 1906. № 2, стр. 250—251.

вил ее по начальству, — по оплошности (!) вместе с конвертом. Этот конверт, как говорили тогда, и послужил первой уликой против В. Обручева. Против Салтыкова в литературных кругах (понимать надо: радикальных. — *Ю. С.)* возникло негодование, попытки об'ясниться не рассеяли предубеждения Чернышевского против Салтыкова, и это наложило печать на их отношения друг к другу на всю жизнь обоих. Попытки Пантелеева (относящиеся к 80-м годам. — *Ю. С.*) примирить их друг с другом, повидимому, были встречены холодно с обеих сторон» [1].

Дело, разумеется, было не в том, что В. Обручев был раскрыт именно по конверту, представленному не в меру ретивым чиновником (вряд ли это и было так), а в самом факте представления человеком, разыгрывавшим роль радикала, полученной им прокламации по начальству; «оплошность», выразившаяся в представлении вместе с прокламацией и конверта, надписанного рукою отправителя и потому бывшего способным помочь его изловлению, являлась только усугубляющей чертой учиненной Салтыковым политической низости. А ведь сколько он сам смеялся в своих произведениях над русскими людьми, привыкшими бегать в участок на предмет самосечения и доносов!

Однако популярность Чернышевского имела и свои отрицательные стороны: по мере обострения политической борьбы человек, стоявший в центре общественного внимания, естественно становился козлом отпущения; ему приписывались все волнения и потрясения, на него возлагалась ответственность за все, что нарушало царившую тишь да гладь, влияние его раздувалось до фантастических размеров, а это рано или поздно должно было навлечь на его голову громы раздраженной и испугавшейся власти.

В этом отношении чрезвычайно показательным представляется инцидент, произошедший между Чернышевским и Ф. М. Достоевским, о котором поведал нам сам знаменитый романист.

В № 2 журнала «Эпоха» за 1865 год появился фельетон Ф. Достоевского «Крокодил» или «Пассаж в пассаже», где изображается болтливый либеральничающий чиновник, проглоченный крокодилом; этому приключению пострадавший чиновник даже радовался, так как оно мол привлекает к его речам общественное внимание. Публика истолковала этот рассказ как издевательство над сосланным на каторгу Чернышевским. Но Достоевский при встрече с Некрасовым в 1866 или 1867 году решительно отрицал эту версию как «самую пошленькую сплетню» [2].

---

[1] М. Ольминский — Рецензия на I часть воспоминаний Пантелеева в «Мин. Годах» 1908, № 5—6, стр. 531—532.

[2] Однако в «Записках из подполья» Достоевский вступает в полемику с Чернышевским, направленную против взглядов последнего на разум и

О своем знакомстве с Чернышевским Достоевский рассказал в статье «Нечто личное», напечатанной в № 3 «Гражданина» за 1873 год, в серии «Дневник писателя». Эта статья перепечатана в томе X его сочинений. В ней Достоевский пытается опровергнуть «пошлейшую сплетню» о том, что в его шуточном рассказе «Крокодил» или «Пассаж в Пассаже» содержится издевательство над трагической судьбой Чернышевского. Достоевский так горячо уверяет в неосновательности такого толкования его рассказа, что приходится ему поверить, хотя остается фактом, что рассказ написан в духе пошлого издевательства над «либерализмом», под которым Достоевский понимал все противоречившее идеологии православия и царизма, т. е. в том числе и революционный образ мыслей.

Нужно помнить, что Достоевский, революционные убеждения которого особенной прочностью, видимо, никогда не отличались, духовно сломился на каторге и растерял в Сибири последние остатки былого революционного настроения. В Россию он вернулся с разбитой душой, тяжелой болезнью (падучей) и с реакционно-мистическим мировоззрением. К начинавшемуся тогда революционному (и даже либеральному) движению он относился с нескрываемой враждой. Понятен поэтому приводимый дальше его рассказ.

«С Николаем Гавриловичем Чернышевским, — пишет он [1], — я встретился в первый раз в пятьдесят девятом году, в первый же год по возвращении моем из Сибири, не помню где и как. Потом иногда встречались, но очень не часто, разговаривали, но очень мало. Всегда, впрочем, подавали друг другу руку. Герцен [2] мне говорил, что Чернышевский

на просвещение как основу новой морали и нового общественного строя. И в дальнейших своих произведениях, как «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» и т. д., Достоевский восстает против гордыни ума, продолжая традицию впавшего в реакционное изуверство Гоголя и, повидимому, имея ввиду проповедь Чернышевского и его последователей (см. Ветринский — «Н. Г. Чернышевский», стр. 137 и 141). О взаимоотношениях между Чернышевским и Достоевским см. Н. Ф. Бельчиков — «Чернышевский и Достоевский. (Из истории пародии)». «Печать и Революция» 1928, книга V. Бельчиков приходит к выводу, что в «Крокодиле» и в сатирическом отрывке «Щедродаров» Достоевский метил именно в Чернышевского как вождя радикалов-шестидесятников.

[1] Ф. М. Достоевский — «Сочинения», т. X, Спб. 1906, стр. 178—180.

[2] С Герценом Достоевский встретился в Лондоне, куда специально поехал во время своего первого путешествия за границу, в 1862 году. К Герцену Достоевский также относился отрицательно, несмотря на его политическую умеренность. См. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», Спб. 1883, стр. 240.

произвел на него неприятное впечатление, т. е. наружностью, манерою. Мне наружность и манера Чернышевского нравились».

Далее Достоевский рассказывает, как однажды (повидимому, в 1861 или 1862 году) он нашел у дверей своей квартиры прокламацию. Он уверяет, что это была прокламация к «Молодому поколению», хотя с этим утверждением расходится его дальнейшее указание, что в ней «было всего строк десять», тогда как воззвание к «Молодому поколению» было очень велико (как и «Молодая Россия», которую некоторые исследователи предполагают под полученной Достоевским прокламацией). Содержание ее возмутило Достоевского как своей «свирепостью», так и «нелепостью и глупостью». Проволновавшись целый день, Достоевский решил пойти к Чернышевскому.

«Перед вечером, — продолжает он, — мне вдруг вздумалось отправиться к Чернышевскому. Никогда до тех пор ни разу я не бывал у него и не думал бывать, равно как и он у меня... Я застал Николая Гавриловича совсем одного, даже из прислуги никого дома не было, и он отворил мне сам. Он встретил меня чрезвычайно радушно и привел к себе в кабинет.

« — Николай Гаврилович, что это такое? — вынул я прокламацию.

«Он взял ее как совсем незнакомую ему вещь и прочел. Было всего строк десять.

« — Ну, что же? — спросил он с легкой улыбкой.

« — Неужели они так глупы и смешны? Неужели нельзя остановить их и прекратить эту мерзость?

«Он чрезвычайно веско и внушительно отвечал:

« — Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними, и думаете, что я мог участвовать в составлении этой бумажки?

« — Именно не предполагал, — отвечал я, — и даже считаю не нужным вас в том уверять. Но во всяком случае их надо остановить во что бы то ни стало. Ваше слово для них веско, и уж, конечно, они боятся вашего мнения.

« — Я никого из них не знаю.

« — Уверен и в этом. Но вовсе и не нужно их знать и говорить с ними лично. Вам стоит только вслух где-нибудь заявить ваше порицание, и это дойдет до них.

« — Может, и не произведет действия. Да и явления эти, как сторонние (?) факты, неизбежны.

« — И однако всем и всему вредят.

«Тут позвонил другой гость, не помню кто. Я уехал. Долгом считаю заметить, что с Чернышевским я говорил искренно и вполне верил, как верю и теперь, что он не был «солидарен» с этими разбрасывателями.

Мне показалось, что Николаю Гавриловичу не неприятно было мое посещение; через несколько дней он подтвердил это, заехав ко мне сам. Он просидел у меня с час, и, признаюсь, я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестком и необщительном. Мне стало ясно, что он хочет со мной познакомиться и, помню, мне было это приятно. Потом я был у него еще раз, и он у меня тоже. Вскоре... я переселился в Москву и прожил в ней месяцев девять. Начавшееся знакомство таким образом прекратилось. Засим произошел арест Чернышевского и его ссылка. Никогда ничего не мог я узнать о его деле; не знаю и до сих пор».

Мы привели этот во многих отношениях характерный рассказ не потому, чтобы мы придавали какое-нибудь значение умозаключениям Достоевского, сделанным им в результате беседы с Чернышевским, и не потому, чтобы мы считали рассказ этот сколько-нибудь точным и верно передающим слова Чернышевского. Уже одно душевное состояние, в котором находился Достоевский во время этого свидания, должно было помешать ему правильно воспринять и зафиксировать в своей памяти подробности этой беседы, воспроизведенной им двенадцать лет спустя; а насколько он был тогда взволнован, видно из его же рассказа и из того мелкого факта, что он даже не запомнил человека, прервавшего своим приходом его беседу с Чернышевским. С другой стороны, полунормальный Достоевский, весь во власти овладевшего им мистического мракобесия, и не мог правильно воспринимать ответы Чернышевского, которые в его памяти, тенденциозно настроенной, естественно отразились в соответствии с его, Достоевского, взглядами на роль революционного движения и прокламаций. Поэтому некоторые показания Достоевского мы совершенно отводим (например, отречение Чернышевского от солидарности с содержанием прокламаций и от знакомства с их авторами и распространителями, косвенное осуждение их, звучащее в передаваемых Достоевским его словах, удовольствие от визита странного посетителя и тому подобное), другие же толкуем вовсе не так, как их готов был истолковать автор рассматриваемого рассказа.

В самом деле Достоевский сам признает, что до тех пор он у Чернышевского не бывал; знакомство их, видимо, было шапочное. И вот неожиданно он врывается к Чернышевскому и, будучи в весьма взволнованных чувствах, чинит ему форменный допрос с пристрастием, грубо бранит при нем авторов революционных воззваний и позволяет себе даже требовать от него, которого сам считает духовным вождем революции, публичного выступления против революционеров! Согласитесь,

что надо было обладать душевной кротостью и деликатностью Чернышевского, чтобы спокойно выслушивать весь этот бред полоумного реакционера и не выставить его за дверь. Правда, Чернышевский знал прошлое своего посетителя, знал, что он в свое время тоже был сторонником народного освобождения и пострадал за свои убеждения; знал кроме того, что это — больной суб'ект с неуравновешенной психикой. Но вместе с тем перед ним стоял человек, который растоптал ногами все свое прошлое, который стал по другую сторону баррикады и, не смущаясь этим, дерзал охаивать все свободомыслящее, все прогрессивное, все революционное с пылом отступника и с исключительностью религиозного сектанта, который находил «мерзость» и «вред» в революционных выступлениях, в борьбе с царящим бесправием и гнетом, добивался «прекратить», «остановить их во что бы то ни стало», но не находил в себе чувств негодования против царизма, против дикого насилия и произвола власти, против темных сторон тогдашней ужасной российской действительности. Как должен был реагировать Чернышевский на истерические и гнусные выкрики своего назойливого собеседника, что должен был переживать он, видя перед собою одного из тех, кто своим именем, своей деятельностью, своей пропагандой сознательно поддерживал все то, что Чернышевский в интересах трудящихся масс считал долгом разрушить, и грубо клеветал на то, что Чернышевскому представлялось дорогим, что он признавал единственным лучом света в темном царстве самодержавия! И действительно приходится дивиться той выдержке и той мягкости Чернышевского, которые позволили ему с наружным спокойствием отнестись к жалкому, испугавшемуся и вместе с тем злобствовавшему обывателю из «бывших людей».

Как выясняется из недавно опубликованного отрывка воспоминаний Чернышевского [1], мягкое отношение Чернышевского к ворвавшемуся в его дом Достоевскому об'ясняется, с одной стороны, тем, что он видел в своем незванном госте автора «Бедных людей», а с другой — тем, что смотрел на него как на человека ненормального. По словам Чернышевского Достоевский сразу обратился к нему с следующими словами: «Я к вам по важному делу, с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок (!), и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Естественно, что после таких слов Чернышевский убедился в том, что перед ним сидит явно ненормальный человек, спорить

[1] «Мои свидания с Ф. М. Достоевским». Сообщил Н. Бельчиков. Газета «Читатель и писатель» 1928, № 29.

с которым врачами не рекомендуется, и потому, чтобы успокоить больного, ответил просто: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание». Тогда Достоевский начал горячо благодарить своего собеседника за то, что он избавляет Петербург от опасности подвергнуться сожжению. Затем Чернышевский ловко перевел разговор на другой предмет, «как велят поступать в подобных случаях медики», и Достоевский, часа с два проговорив на новую тему (о денежных делах его журнала «Время»), наконец ушел.

Но в этой истории есть и другая сторона. Почему Достоевский, прочитав прокламацию, побежал именно к Чернышевскому? Потому что в реакционных кругах, к которым принадлежал Достоевский, Чернышевского считали влиятельным главою революционеров, который может двигать или останавливать их по своему произволу. Уже одно это обстоятельство должно было настроить Чернышевского на осторожный лад. К визиту Достоевского он должен был естественно отнестись с опаской — не потому, чтобы он мог считать Достоевского сознательным агентом реакции, подосланным к нему с целью выпытывания, а потому, что всякое неосторожное слово, сказанное им Достоевскому, могло (а при душевном состоянии Достоевского даже в извращенной форме) дойти до таких сначала журналистских, а затем и административных кругов, от которых в те времена зависела участь любого русского гражданина, а особенно политически неблагонадежного. Этим, вероятно, помимо других мотивов, и об'яснялось осторожное, сдержанное отношение Чернышевского к развязным выспрашиваниям и непрошенным советам Достоевского, к чему могла присоединиться и жалость к несчастному, ненормальному, умственно опустившемуся и политически павшему человеку, каким был тогда Достоевский. Этим же, возможно, об'яснялся и ответный визит Чернышевского, который хотел из разговора с Достоевским узнать, какие последствия имело нашествие Достоевского на его квартиру и странный разговор, затеянный этим оригинальным посетителем [1]. Во всяком случае инцидент этот показывает, какое значение реакционеры придавали Чернышевскому, какое положение они припи-

[1] По словам самого Чернышевского ответный визит его к Достоевскому об'ясняется желанием раздобыть у него согласие на перепечатку некоторых отрывков из произведений романиста в хрестоматии, задуманной каким-то литератором. И на этот раз Чернышевский отнесся к Достоевскому как к больному человеку. «Слушал, не противоречил, не выражал одобрения» и, просидев ровно столько, «сколько требовала учтивость», простился с ним. Только эти два раза Чернышевский и виделся с Достоевским. Следовательно и в этом пункте рассказ Достоевского неточен.

сывали ему в революционном движении и как сильно они преувеличивали его влияние. Собственно говоря, такая оценка роли Чернышевского предвещала близкую катастрофу, и в этом смысле посещение Достоевского — наряду с другими аналогичными фактами — предрекало Чернышевскому скорую и неизбежную гибель [1].

В приписывании Чернышевскому роли творца всей русской революции сходились все «охранители». Однажды И. М. Сеченов, передавая Л. Пантелееву свой разговор с Б. Чичериным, привел следующие слова последнего: «было время, когда Россия стояла на здоровом и многообещающем пути: это были первые годы царствования Александра II. Но потом началось революционное брожение, и все спуталось, и так идет до сего дня. Всему виновник Чернышевский: это он привил революционный яд к нашей жизни» [2].

По существу такой же смысл имеет и сообщаемый Шелгуновым разговор его в 1867 году в Кадникове с бывшим петербургским генерал-губернатором Суворовым. Критикуя зубодробительные методы, введенные Муравьевым-вешателем после покушения Каракозова на Александра II, опальный сановник заметил: «Я поступал иначе. Мне доносят, что подготовляется движение, я посылаю за Чернышевским, говорю ему: «Пожалуйста, устройте, чтобы этого не было». Он дает мне слово, и я еду к государю и докладываю, что все будет спокойно. Вот как я поступал!»

Вероятнее всего, что это — старческая болтовня, основанная на роли, сыгранной Чернышевским после демонстрации в Думе против Н. И. Костомарова (смотри выше). Но она лишний раз показывает, что Чернышевский рисовался не только обывательскому, но и сановному воображению в виде какого-то грозного и таинственного Старца Горы, держащего в своих руках все нити революционного движения.

---

[1] О свидании с Достоевским В. Шаганов, видимо, со слов Н. Г., рассказывает в своей брошюре так: «В мае 1862 г., в самое время петербургских пожаров, рано поутру в р ы в а е т с я (курсив мой) в квартиру Чернышевского Ф. Достоевский и прямо обращается к нему с следующими словами: «Николай Гаврилович, ради самого господа, прикажите остановить пожары!». Большого труда тогда стоило, говорил Чернышевский, что-нибудь об'яснить Ф. Достоевскому. Он ничему верить не хотел и, кажется, с этим неверием, с отчаянием в душе убежал обратно» (Шаганов, цит. соч., стр. 8). Если это случилось во время петербургских пожаров, то речь действительно могла итти о «Молодой России». Но как же Достоевский говорит, что в ней было всего строк десять?

[2] Л. П а н т е л е е в — «Памяти Н. Г. Чернышевского». «Голос Мин.» 1915, № 1, стр. 201.

2. Мнение правительства

По мере того как волна общественного протеста поднималась все выше, уверенность правительства в существовании центра, из которого исходят директивы участникам движения и во главе которого стоит хитрый, осторожный, а потому неуловимый для внешнего наблюдения Чернышевский, становилась все более твердой. Вместе с тем росло озлобление правящих кругов против Чернышевского, из'ять которого во что бы то ни стало высшие сферы категорически решили.

«1862 год, — пишет Б. Глинский (цит. соч., стр. 151 сл.), — может быть рассматриваем как год чрезвычайно знаменательный для политической жизни России. В этот период мы наблюдаем усиленную мобилизацию общественных сил в их натиске на правительство с целью вырвать у него наибольшую сумму реформ, побудить его ликвидировать старый полицейско-бюрократический строй и вступить на путь созыва народных представителей с задачами учредительного собрания... При этом «отцы» отчасти под влиянием «сынов», отчасти под давлением практического опыта и изучения реальной общественной действительности переходят от программ с характером компромисса к программам более радикальным в смысле их агрессивности и в отношении определенных конституционных требований. Такая эволюция наблюдается в деятельности Герцена и Чернышевского, в особенности у последнего, который к тому времени переходит от теории к практике и становится тайным вождем революционного движения в России, почему на него, хотя и без достаточных к тому формальных и конкретных данных, и оборачивается особенная ненависть правительственной власти, которая заживо его хоронит в Сибири и пресекает ему возможность воздействовать на умы современников... И если мы видим с его (правительства) стороны резкий и решительный ход по адресу Чернышевского, то он скорее и все более исходил не из осведомленности полицейских сил относительно его причастности к организации молодого политического сообщества («Земли и Воли». — *Ю. С.),* а из своего рода сыскного чутья, для оправдания и подтверждения которого потребовались фальсификация документов и создание криминальных апокрифов».

И дальше (стр. 214) он прибавляет: «На Николая Гавриловича Чернышевского и в обществе, и в правительственных кругах смотрели как на властителя тогдашних революционных дум, как на тайную пружину, которая приводит все окружающее в определенное движение, чей дух чувствуется в каждом проявлении тогдашней общественной оппозиции, чей след так или иначе наблюдается в каждом аресте, в каждом неле-

гальном произведении. Его статьи, сдержанные по внешней форме, как будто несколько холодные, но полные разъедающего анализа и фактически обоснованные и построенные с логической несокрушимостью, производили на правительство просто устрашающее впечатление, и сам Александр II в блеске своих освободительных начинаний лично не мог простить публицисту «Современника» его критики реформы по освобождению крестьян. А вместе с тем формально к нему никак не удавалось придраться, и таинственность, окружавшая его личность, приводила в смущение и ставила втупик как его врагов, так и почитателей. В то время как в «Шахматном клубе», тогдашней штаб-квартире конспирации (?), Н. А. Серно-Соловьевич выдавал себя головою, Чернышевский, явно руководивший многими действиями последнего, оставался непроницаем и как будто был непричастен окружающему его политическому движению.

«Но вот арест Ветошникова дает администрации повод к обыску и аресту этого таинственного и опасного человека».

Правительство искало именно п о в о д а, ибо величайшая осторожность и мастерская конспиративность Чернышевского не давали материалов для его прямого обвинения. Сам Николай Гаврилович временами воображал или, вернее, притворялся воображающим, что за отсутствием прямых улик против него правительство не так-то легко решится наложить руку на популярнейшего в России писателя [1]. Рейнгардт (цит. ст., стр. 454) рассказывает, что по поводу сравнительно мягкого приговора, который был вынесен участникам студенческих беспорядков и которым либеральное общество было очень довольно, Н. Серно-Соловьевич устроил вечер, на котором между прочим присутствовали Чернышевский и подлежавшие высылке студенты. На этом вечере велись оживленные разговоры, и кто-то из студентов, кажется, Михаэлис, высказал несколько мыслей довольно радикального характера. По этому поводу Чернышевский с некоторой горечью заметил: «Эх, господа, господа, вы — точно Бурбоны, которые ничему не научились и ничего не забыли... Ни тюрьма, ни ссылка не научают вас!». На

[1] Как видно из письма его к жене из Александровского завода от 18 апреля 1868 года («Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 10), он допускал возможность кратковременного ареста, быть может, заключения в крепость или даже высылки в провинцию, но не думал, что правительство посмеет без юридических доказательств сослать его надолго в каторгу. «Я слишком беззаботно смотрел на это, — говорит он, — хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не расчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя», т. е. заниматься литературной деятельностью.

эти слова кто-то из присутствующих сказал, что, может быть, и Николаю Гавриловичу придется познакомиться с Петропавловскою крепостью или со ссылкой. На это Чернышевский с улыбкою ответил, что его никогда не арестуют и не вышлют, потому что он ведет себя вполне осторожно и вздором не занимается» [1].

Разумеется, правительство не ограничивалось платонической ненавистью к предполагаемому главе революционного движения. Оно исподволь начало собирать против него материалы, готовясь в подходящий момент нанести своему врагу решительный удар. С какого именно момента полиция установила за ним слежку, нам в точности неизвестно, но это, повидимому, происходило еще до начала революционных выступлений. По словам Чернышевского (в показании от 1 июня 1863 года) за ним следили еще до студенческих волнений, и он об этом прекрасно знал. «Мне, — говорит он, — как и всему литературному миру, было известно, что политическая полиция давно имеет надзор за мною» (Лемке, цит. соч., стр. 345). Это Чернышевский говорит по поводу своей поездки в Москву весною 1861 года. Следовательно о слежке за ним было известно задолго до того, т. е., по его словам, она началась еще в 1860 году или в самом начале 1861 года. И действительно в записке Шульца, составленной в 1870 году III Отделением, определенно указано, что надзор за Чернышевским установлен с 1860 года. Если это так, то приходится допустить, что внимание полиции на него было обращено кампанией Каткова в связи с статьею «Антропологический принцип». А когда правительство собиралось об'явить обманную реформу 19 февраля, то оно, зная, какое негодование она вызовет среди демократических элементов, усилило надзор за ними и в частности за предполагаемым их вождем, Н. Г. Чернышевским.

Не забудем, что правительство, по крайней мере в первое время, считало Чернышевского автором «Великорусса». А так как первый номер его вышел в июне 1861 года, то с этого момента надзор за Чернышевским наверно уже был учрежден. Но особенно он усилился с осени 1861 года, после беспорядков в петербургском университете, в которых правительство и реакционная часть общества также обвиняли Чернышевского. Об этом надзоре говорят нам материалы, напечатанные в «Красном Архиве» под заглавием «Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III Отделения (1861—1862)». Эти донесения, опубликованные

[1] Не эти ли слова в извращенном виде вошли в реакционный донос, о котором мы говорим ниже и в котором сказано, будто Чернышевский хвастал, что его никогда не уличат?

А. Шиловым в томе XIV названного издания (стр. 87—122) с своим предисловием и примечаниями, были найдены среди документов так наз. «второго секретного архива» III Отделения [1].

Первое упоминание о Чернышевском содержится в донесении от 24 октября 1861 года. III Отделение, несомненно и раньше имевшее Чернышевского ввиду (достаточно было журнальной и газетной травли, чтобы обратить внимание политической полиции на зловредного проповедника материализма и коммунизма), занялось им вплотную после студенческих волнений, имевших место в сентябре 1861 года. И вот за Чернышевским устанавливается придирчивый и назойливый тайный надзор, его окружают шпиками и внутренними соглядатаями, подкупают его прислугу, швейцара, жену последнего, поступающую к Чернышевским в кухарки с благословления полиции, кучера, бывшего повара, пытаются подкупить разносчиков и курьеров, к нему приходящих, следят за каждым шагом, за всяким появляющимся в его доме человеком, выясняют его знакомства и связи, перехватывают и подпечатывают его письма, воруют его бумаги, словом, пускают в ход весь арсенал средств, применявшихся всемогущей царской полицией, пытаясь собрать уличающий его материал, найти доказательства его революционной деятельности, выяснить его замыслы.

Но Чернышевский знает, что за ним следят. Он скоро, видимо, догадывается, что он окружен и домашними шпионами (между прочим, жену его швейцара, поступившую к нему в кухарки специально для слежки за ним, купили несколькими рублями на кофе, который она очень любила!). Он удваивает свою обычную осторожность. Понимая, что шпионы постараются через подкупленных ими слуг пробраться в его кабинет, он начинает запирать его на ключ при выходе, сжигает лишние бумаги и пр.

Возможно, впрочем, что шпионы, по свойственной их профессии привычке, преувеличивали эту осторожность Чернышевского. Что они придавали какое-то таинственное значение самым обычным явлениям и поступкам, это несомненно. Студентов, являвшихся на журфиксы к жене Чернышевского и музицировавших с нею до глубокой ночи, они выставляют в виде опасных заговорщиков, приходящих к Чернышевскому с революционными целями. Даже саму Ольгу Сократовну, стоявшую чрезвычайно далеко от всякой политики, они обвиняют в преступных действиях и в распространении или прятании прокламаций. Стоит им заметить, что к Чернышевскому пришел какой-то чиновник

[1] Несколько дополнительных агентурных сводок было опубликовано Б. Козьминым в т. XXIX «Красного Архива» в заметке «Н. Г. Чернышевский и III Отделение».

в форме почтово-телеграфного ведомства, и немедленно в их уме возникает подозрение, что этот приход имеет какое-то отношение к готовящемуся протесту плохо оплачиваемых служащих почты и телеграфа. Нечего и пояснять, как их нервировали частые посещения студентов и офицеров, этих главных крамольников того времени.

Были ли у страха действительно глаза велики, искренно ли шпионы составляли свои преувеличенные донесения или же приноровлялись к желаниям начальства, которое, как они знали, подозревало Чернышевского в руководстве всеми проявлениями активного политического протеста, но в результате их донесений получалась сгущенная картина, изображавшая дом Чернышевского в виде центра революционного движения, а его самого в виде зачинщика и направителя всех революционных планов и выступлений. В таком духе дело докладывалось шефу жандармов Долгорукову, пометками которого испещрены шпионские доклады, а он в свою очередь, надо полагать, так же освещал положение перед царем. Но кое-что шпионы, вспомоществуемые доносами агентов, вертевшихся в литераторской среде, в Шахматном клубе и т. п., все-таки подметили, хотя и не могли правильно истолковать.

Так, агенты отмечают, что особенно часто к Чернышевскому ходят Некрасов, Антонович, Елисеев (его сотрудники по «Современнику»), Пекарский, братья Серно-Соловьевичи, Огрызко, Боков, Воронов[1], Н. Обручев, родственник Н. Г. офицер В. Рычков, к политике отношения не имевший, студенты Н. Утин, Спасский и др. Приезд А. В. Захарьина, остановившегося у Чернышевского, привлекает особое внимание агентов. В начале декабря 1861 года отмечается посещение какого-то кавалерийского офицера из Москвы, Костомядзе[2]. Относительно

[1] Повидимому, это тот самый М. Воронов, ученик Чернышевского по Саратову, книгу которого «Болото» мы цитировали в первом томе.

[2] Кто был этот офицер в фуражке с желтым околышем, т. е. кавалерийской? А. Шилов в примечании к этому месту допускает, что это мог быть В. Костомаров, который был освобожден из тюрьмы в Москве в конце ноября. При этом Шилов ссылается на «Политические процессы» под ред. Козьмина, стр. 285—286. Но там имеется только переписка о возможности освобождения предателя; о действительном же его освобождении не сказано ничего. Между тем М. Лемке на основании архивных документов утверждает, что Костомаров тогда освобожден не был. Донесения агентов, следивших за Чернышевским, указывают, что Костомядзе был у него 5, 6 и 7 декабря. Между тем из письма сыщика Путилина видно, что Костомаров 8 декабря все еще не был освобожден. А Лемке прибавляет, что 20 декабря он был прислан в Петербург, а 22 возвращен в Москву и все под жандармским конвоем. И только после того его оставили в Москве под домашним арестом (Лемке, цит. соч., стр. 40).

Н. Серно-Соловьевича указывается, что он иногда засиживался у Н. Г. в кабинете до глубокой ночи (что могло иметь отношение к делам организующейся «Земли и Воли»).

Но в общем все это были догадки и слухи. Определенных материалов против Чернышевского полиция тогда еще не имела, если не допустить, что Костомаров выдал Чернышевского не в начале 1862 года, как сообщает сыщик Путилин в цитируемом ниже докладе, а уже в конце 1861 года. Об этом свидетельствует между прочим записка III Отделения, составленная, повидимому, до ареста Чернышевского на основании агентурных сводок. В ней сказано: «Юридических фактов к обвинению Чернышевского в составлении возмутительных воззваний и в возбуждении враждебных чувств к правительству в III Отделении не имеется» («Красный Архив», том XXIX, стр. 181). Но что III Отделение уже решило расправиться с Чернышевским, это вряд ли может подлежать сомнению. Оно выжидало только удобного повода и собирало материалы, чтобы наверняка погубить обреченного писателя.

В конце июня 1862 года в 3-ей экспедиции III Отделения составлен был список политически неблагонадежных лиц. Чернышевский стоит здесь на первом месте, а целый ряд лиц включен в список только за связь и знакомство с ним. Приводим из этого жандармского документа, красноречивого своей краткостью, следующее извлечение: 1. Черны-

---

Что все это значит? Проще всего предположить, что Костомядзе и В. Костомаров — не одно и то же лицо. Но нам тоже кажется, что это был именно В. Костомаров. Вопреки мнению Лемке, что Костомаров продолжал находиться и числиться под арестом «благодаря путанице в делах комиссии (следственной. — *Ю. С.*) и московской полиции», мы подозреваем, что здесь наоборот имела место весьма тонкая игра полиции, т. е. III Отделения. Если к Чернышевскому в начале декабря являлся действительно В. Костомаров, то он мог сделать это только по приказу III Отделения, для того чтобы запутать Н. Г. или собрать против него какие-либо улики. Ведь в тот момент Костомаров уже вступил на путь предательства и выдал в частности М. Михайлова. Но успел ли он уже в тот момент сообщить, что автором воззвания к крестьянам является Чернышевский? Сомнительно. Но вполне допустимо, что III Отделение подослало Костомарова к Чернышевскому для скомпрометирования последнего. Для такой цели III Отделение могло на время выпустить предателя, если он действительно сидел в тюрьме. Почему было важно послать этого негодяя к Чернышевскому именно в начале декабря? Мы думаем, потому, что через несколько дней должен был состояться приговор Михайлову, и роль Костомарова должна была окончательно выясниться. После этого приходить к Чернышевскому под видом политического страдальца он уже не мог бы.

Повторяем, здесь не все ясно. Некоторый свет бросают на это дело показания Чернышевского от 1 июня 1863 г., где, сообщив о своем прежнем хорошем отношении к Костомарову, он прибавляет, что по возвращении

шевский, литератор. — Подозревается в составлении воззвания «Великорусс», в участии составления прочих воззваний и в постоянном возбуждении враждебных чувств к правительству. 2. Шелгунов, подполковник — в том же и кроме того в дружбе с преступником Михайловым. 3. [Н.] Обручев, полковник — тоже и кроме того в сношениях с Чернышевским. 4 и 5. Два брата Серно-Соловьевичи и Пыпин, профессор — в том же. 6. Захарьин (служащий в пароходном обществе «Кавказ и Меркурий») — в сношениях с Чернышевским. 7. Огрызко, типографщик — в сношениях с Чернышевским и кроме того последние воззвания отпечатаны шрифтом, имеющимся в его типографии. 8. Рычков, артилл. офицер — родственник Чернышевского, подозреваемый в сообщничестве. 9. Боков, доктор (по делу [В.] Обручева) — в сношениях с Чернышевским. 10. Елисеев, литератор — тоже. 11. Студенский, студент — родственник Чернышевского, который употреблял для письма его... 13. Антонович, литератор — приятель Чернышевского, которому (кому? — *Ю. С.*) приписывается составление воззваний... 22, 23 и 24. Утин Николай, Печаткин и Гогоберидзе, студенты — замечены в студенческих беспорядках, сделали демонстрацию на лекции

осенью 1861 года из Саратова в Петербург, когда Костомаров был уже арестован, он перестал делать для него что-либо и даже печатать перевод истории литературы Шерра, сделанный Костомаровым по его совету. Это произошло потому, что факт выдачи Костомаровым Михайлова стал уже известен. Из дальнейших слов Чернышевского можно даже сделать тот вывод, что Костомаров после того видался с ним и убедился в изменении отношения к нему. Вот что говорит Чернышевский: «Но от чего бы ни произошла перемена, г. Костомаров увидел, что ошибся в расчетах на мою помощь, и это очень раздражило его против меня. Я говорю о факте очень известном, утверждая, что он был очень раздражен против меня». В прошении от 25 сентября 1863 года Чернышевский сообщает о попытке Костомарова об'яснить свое предательское поведение в деле Михайлова пытками, которым его якобы подвергали в III Отделении, причем и это показание Чернышевского можно понять в том смысле, что после освобождения Костомарова по делу Михайлова он видался с Н. Г. Вероятно, в обоих показаниях речь идет об одном и том же свидании, которое могло состояться именно в конце 1861 года. Убедившись в том, что Чернышевский разгадал его, и что отныне отношения между ними порваны навсегда, Костомаров и пришел к выводу о том, что в радикальных кругах он скомпрометирован окончательно. С этого момента он вступил на путь дальнейших предательств. Раздражением Костомарова против него в результате этого свидания Чернышевский и об'ясняет тот факт, что е г о Костомаров выдал позже и в частности указал на него как на автора воззвания к крестьянам только в последний момент. Если Костомядзе был на деле В. Костомаровым (а агенты или автор агентурных сводок могли намеренно коверкать его фамилию, чтобы скрыть следы своего слишком хорошего знакомства с этим

[Н. И.] Костомарова, знакомы с Чернышевским и подозреваются в напечатании воззвания в пользу Павлова [1].

Чернышевский был обречен. Это знал и он сам, это знали и окружавшие его, это знала и широкая публика. Задолго до его действительного ареста все предчувствовали, что он кончит плохо. Время от времени неизвестно откуда всплывали слухи, что Чернышевский арестован, затем оказывавшиеся неверными. Так, например, А. Лебедев рассказывает: «Однажды (повидимому, в начале 60-х годов. — *Ю. С.*) истинных и мнимых почитателей Чернышевского очень встревожил слух об его аресте. Дело происходило таким образом. Воскресенский, бывший учитель Н. Г. по семинарии, будучи в то время председателем Саратовской палаты уголовного суда, сообщил архимандриту Никанору об аресте Н. Г. Никанор, будучи в хороших отношениях с Гавриилом Ивановичем, нарочно поехал к нему с целью узнать, насколько справедлив этот слух... Оказалось, известие было ложное» [2]. Такой же слух снова

господином), то возможно, что именно во время декабрьских визитов к Чернышевскому он убедился в перемене прежнего к нему отношения, после чего при свидании с Потаповым в Москве в начале 1862 года, как сообщается в записке Путилина, указал ему на Чернышевского как на человека, причастного к революционным делам, а затем пошел и дальше, признав его автором воззвания к крестьянам и сфабриковав нужные для уличения его документы.

Это, конечно, гипотеза, но довольно правдоподобная.

[1] Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 391 сл. — Этот самый список в заметке Б. Козьмина «Н. Г. Чернышевский и III Отделение» («Красный Архив», том XXIX, страница 185) приводится как «Список лицам, у которых предполагается сделать одновременный строжайший обыск», при чем эта мера мотивируется нарастанием революционного брожения в стране и неудачей полиции в ее попытках отыскать тайные типографии. В записке III Отделения, доложенной царю, предлагалось предварительно вызвать названных в списке лиц к кн. Суворову на предмет внушения и предостережения, но Александр II не согласился с этим предложением, выполнение которого по его мнению только должно было дать «возможность главным коноводам уничтожить и скрыть все бумаги, могущие их уличить». Решено было расправиться без предупреждения.

[2] А. А. Лебедев — «Н. Г. Чернышевский». «Рус. Старина» 1912, № 5, стр. 307. — Он же сообщает, что резкие статьи Н. Г. побуждали его отца писать ему укорительные письма, в ответ на которые сын слал свои оправдания. Верно ли это или нет, мы не знаем. Но, разумеется, отец Чернышевского не мог не понимать, что в тогдашней России человеку с воззрениями Н. Г. грозит печальная участь. Повидимому, старик с первых же литературных шагов своего сына почувствовал, что тот вступил на путь, устланный не розами. «О содержании твоей диссертации не мне судить, — уклончиво писал ему отец 8 июля 1855 года по поводу «Эстетических отношений», — на это есть другие люди, на все новое точащие ножи критики.

распространился во время университетских беспорядков, и Никитенко, верное зеркало начальнических тревог и предначертаний, 22 сентября 1861 года записал в свой дневник: «Произведено несколько арестов. Говорят, взят и великий проповедник социализма и материализма, Чернышевский. Боже мой, из-за чего только эти люди губят себя и других! Уж пусть бы сами делались жертвами своих учений, но к чему увлекать за собой других, а особенно это бедное неразумное юношество! Подвизаясь в «Современнике», этот передовой человек (так называют себя эти господа) взял на свою душу немало греха, совратив многих из „малых сих"» [1].

По словам Стахевича, Сераковский задолго до ареста Чернышевского предупреждал его о грозящей ему опасности на основании своего разговора с директором канцелярии военного министра ген. Кауфманом, который сказал, что Чернышевского надо сослать за его вредное влияние на молодежь. Он же рассказывает, что незадолго до ареста Н. Г. к нему явился ад'ютант Суворова с советом уехать за границу ввиду возможности его ареста. Суворов даже брался выхлопотать ему паспорт. Действовал так Суворов якобы из личного расположения к царю, которого хотел избавить от совершения преступления, каким была бы ссылка человека за пропущенные цензурою статьи. Но Чернышевский отклонил этот совет, сказав: «Не поеду за границу. Будь, что будет» [2].

От Чернышевского эти систематически распространяемые в публике слухи (быть может, полиция нащупывала «почву»?), конечно, не оставались секретом. В «дополнительном показании» от 1 июня 1863 года [3] Чернышевский по этому поводу пишет: «Я слишком давно, слишком много слышал от других опасения, что меня арестуют. Еслиб я считал возможным, что сбудутся эти опасения, то, конечно, не стал бы ждать июля 1862 года, а уехал бы в сентябре 1861 года (курсив мой). Но кто знает меня, тот знает, что я смеялся над опасениями других, будто меня могут арестовать».

Мне она дорога потому, что доставила мне много удовольствия и утешения и как сочинение моего сына» (Е. Ляцкий — «Н. Г. Чернышевский и его диссертация об искусстве». «Голос Минувшего» 1916 год, № 1, страница 30).

[1] Дневник А. Никитенко. 2-е изд., т. II, стр. 34.

[2] С. Г. Стахевич — «Среди политических преступников». Сборник «Н. Г. Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан, стр. 110.

[3] Оно занимает в оригинале 24 страницы размером в писчий лист. См. Сенатское дело о Чернышевском, л.л. 16—27; Лемке, цит. соч., стр. 340 сл.

Повидимому, слухи о возможности ареста Чернышевского особенно усилились во время студенческих волнений. Действительно с этого момента правительство взяло его на прицел. Но тогда удобный момент еще не наступил. Нужно было дождаться благоприятной атмосферы и «приличного» внешнего повода. Эта благоприятная атмосфера создана была петербургскими пожарами 1862 года, а внешний повод дал правительству по своей неосторожности Герцен.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

АРЕСТ И ПРОЦЕСС ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Глава первая

АРЕСТ

1. Петербургские пожары

Мы уже знаем, что к рассматриваемому моменту положение правительства казалось непрочным. Недовольство бывших помещичьих крестьян реформой 19 февраля 1861 года, недоразумения при введении Положения, сопровождавшиеся местными бунтами и жестоким их усмирением, переход в оппозицию дворянского меньшинства, выразившийся в пред'явлении конституционных требований, финансовые затруднения, растущий бюджетный дефицит, недовольство торгового класса новым таможенным тарифом, появление революционных прокламаций, мобилизация оппозиционных сил и т. п. — все это возбуждало тревогу в высших сферах и заставляло их задумываться над вопросом, удастся ли надолго сохранить в незыблемости самодержавный строй. «К началу 1862 года, — пишет в своих воспоминаниях Пантелеев (часть I, стр. 231—232), — общественная атмосфера была до крайности напряжена; малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону. Эту роль и сыграли майские пожары 1862 года в Петербурге» [1].

Первый пожар начался на Лиговке 16 мая. В промежутке между 23 и 28 мая почти ежедневно город вспыхивал с разных концов, но эти небольшие пожары скоро тушили. Наконец 28 мая произошел самый страшный пожар, какого не запомнит Петербург. Около 2 часов ночи по Апраксину переулку в доме Трифонова из дровяного сарая показался дым, и при осмотре в нем оказалась горевшая пакля, кем-то подброшенная. Через три часа загорелось внутри Толкучего рынка, и огонь быстро побежал по деревянным балаганам. Вряд ли прошло около часу,

[1] Подробное описание их см. в журнале «Библиотека для Чтения» 1862, № 6, «Внутреннее Обозрение», стр. 202 сл. — Сильное описание пожара Апраксина рынка дает также очевидец П. Кропоткин — «Воспоминания революционера», М. 1924, стр. 126 сл.

как весь рынок пылал сплошным костром, и ставшее столбом пламя, раздуваемое сильным ветром, обнимало здание министерства внутренних дел. Из ворот, выходивших на Фонтанку, вывозили с рынка на набережную экипажи. Тут же теснились телеги, на которые торговцы выбрасывали свой товар; его валили также в барки, подошедшие к берегу Фонтанки, между тем как дровяные суда уходили по ней от пожарища. Едва ли прошло около получаса, как уже огонь побежал по самому забору; на другой стороне Фонтанки нельзя было стоять от жару; экипажи повалили в воду, и набережная опустела; густой дым валил между тем через Фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, и скоро новый столб черного дыма поднялся из навесов этого переулка. Началась толкотня экипажей, телег, карет, омнибусов, нагруженных товарами; толпа казалась потерянной от страха и злобы. Из каменных корпусов выбрасывали на улицу товары, спешили уложить их на телеги; а белый дымок уже вырывался из-под крыши этого ряда лавок с конца от Апраксина переулка. Вскоре запылал весь ряд до самого Пажеского корпуса, и загорелись товары, выброшенные на улицу. Один из флигелей Государственного Банка занимался, но его успели отстоять. На другой стороне Фонтанки огонь перешел с навесов на высокие дровяные склады, на соседние дома и глубоко прошел через несколько улиц почти до Владимирской. Пожар продолжался всю ночь и только утром другого дня был уже везде остановлен.

Вечером 28 мая и несколько дней спустя Петербург представлял вид города, подвергшегося бомбардировке неприятеля. Некоторые кварталы лежали в развалинах, другие горели; улицы и площади вокруг пожарищ были завалены вынесенным имуществом, мебелью, товарами и пр.; местами под открытым небом разместились погорельцы; экипажи всякого рода, нагруженные товарами и рухлядью, тесно мчались по улицам; перепуганная толпа сновала по тротуарам. Во многих местах города, даже вдалеке от пожарища, жители связывали имущество в узлы, чтобы спасать его по первому крику об огне. Несколько дней спустя под впечатлением разных толков они не спали по ночам и все ждали несчастья.

После того несколько дней сряду вспыхивали пожары в разных местах города, но они быстро тушились пожарной командой и частью самими жителями; значительнейший из этих пожаров был на Песках, где сгорело несколько домов.

В то же время с.-петербургский военный генерал-губернатор учредил комиссию для раскрытия причин пожаров. 31 мая учрежден был особый комитет для расследования о пожарах в Петербурге под председательством ген.-ад. Зиновьева. На комитет возложено было привести

в известность потери от пожаров, а также изыскать наиболее действительные меры к охранению безопасности столицы. Он же заведывал приемом и распределением пожертвований. Для ближайшего наблюдения за принятием мер комитета Петербург разделен был на три временные военные генерал-губернаторства, соответственно разделению на три полицейские отделения.

1 июня состоялось высочайшее повеление о суждении поджигателей по полевым уголовным законам с предоставлением с.-петербургскому военному генерал-губернатору права конфирмировать и приводить в исполнение приговоры военного суда...

Деревянная и соломенная Русь выгорала с незапамятных времен. Не проходило почти ни одного года, чтобы в том или ином углу обширной страны не вспыхивало более или менее крупного пожара. В частности в местах, постигнутых бедствием в мае 1862 года, пожары, хотя и не столь обширные, были нередким явлением. Этот факт констатирует даже консервативно настроенный писатель Барсуков. «Пожар, — говорит он [1], — произошел 28 мая на Щукином и Апраксином дворах, которые акуратно к а ж д ы й г о д поджигаемы были летом, но неудачно. Это повторялось и при Николае; и теперь 28 мая был Духов день: весь апраксинский народ был в Летнем Саду; а ветер был такой страшный, что деревья с корнем выворачивало. Следственно, если мазурики, точившие давно зубы на Апраксин двор, случайно выбрали этот день, не потому, что было ветрено, а потому, что был праздник, тут вот и разгадка страшного пожара».

Но эта естественная разгадка была невыгодна правительству, и потому в обращение пущена была иная версия. Ясно, что в другое, более спокойное время и эти пожары не имели бы политических последствий. Но теперь, чувствуя свое неустойчивое положение, реакция решила использовать столь благоприятный случай, тем более что навстречу ей шли толки, возникшие в темной, встревоженной и озлобленной массе. Незадолго до того имели место студенческие волнения; как раз накануне пожаров вышла прокламация «Молодая Россия». И реакционные круги полностью использовали эти обстоятельства для своих целей.

В крупных пожарах у нас народ всегда склонен видеть злодейский умысел. На этот раз «народный голос» главным образом обвинял в поджогах студентов. По старой традиции обвиняли и поляков. Циркулировали также слухи, что жгут «господа», недовольные освобождением крестьян. Охранительная печать содействовала распространению этих провокационных слухов. В № 143 «Северной Пчелы» П. Усов

[1] Б а р с у к о в — «Жизнь и труды Погодина», книга XIX, стр. 136.

передавал «народные» толки о причинах пожаров. А в № 122 издававшегося в Москве Н. Ф. Павловым «Нашего Времени» прямо говорилось: «не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие заранее обдуманного плана». Не столь прямо намекало на вину учащейся молодежи письмо Беллюстина из Петербурга в № 23 «Современной Летописи», выходившей в Москве [1].

Как рассказывает Н. Николадзе, тоже очевидец этих событий, в народе распространились слухи, что поджигают студенты и поляки; мотивом указывалась месть барчуков за освобождение крестьян. Было несколько случаев зверской расправы с совершенно неповинными студентами, которых толпа хватала на улице и бросала в огонь. «Северная Пчела» (в частности Лесков-Стебницкий) сейчас же подхватила слух о поджигательстве студентов и дала ему возможное распространение. Чтобы рассеять этот слух, несколько студентов, в том числе Николадзе и Самарин, составили группу, активно помогавшую в тушении пожара. Это не помешало тому, что в один прекрасный день сам Николадзе чуть было не был сожжен живьем [2].

Другой современник этих печальных событий, Н. И. Костомаров, пишет: «В конце мая Петербург был встревожен пожаром, истребившим Апраксинский двор и министерство внутренних дел. Носились зловещие слухи об умышленных зажигательствах, предпринимаемых будто бы русскими либералами с целью возбудить волнение в народе и довести его до революционных вспышек. Толковали об открывшихся будто бы намерениях покуситься на сожжение разных общественных построек и заведений, как, например, Гостиного двора, императорской публичной библиотеки и т. п. Рассказывали, что в существовавших тогда воскресных школах самозванные (!) наставники народа толковали, что в настоящее время пожары должны быть полезны, потому что они способствуют к равномерному распределению собственности. В какой степени справедливы были эти подозрения, мне осталось неизвестно (!!), но примеры, которые передает нам история, и которых я отчасти сам был свидетелем во время моего жительства в Саратове, указали мне на возможность появления у нас пожарных эпидемий, когда без видимой причины возникал пожар за пожаром втечение некоторого времени. Петербургские пожары, казалось, принадлежали к таким же эпидемиям,

---

[1] Пантелеев, цит. соч., стр. 233. — Интересно, что Д. И. Иловайский в № 25 той же «Современной Летописи» в «Письме к издателю» отвергал обвинение против студентов и требовал опубликования правительственного расследования о причинах пожаров. «В поджоги с определенными революционными целями мы не верим», писал он.

[2] «Воспоминания» и пр. «Каторга и Ссылка» 1927, № 5, стр. 49.

столь частым в нашей общественной истории с древних времен. В 1862 году они навели на жителей столицы гораздо более страха, чем сколько произошло от них вреда. Подозрение в том, что пожары производятся молодежью, проникнутою крайними революционными мнениями, оправдывалось (!) распущенною перед тем печатною прокламациею, в которой проповедывалась всеобщая (?) дикая резня и истребление всех зажиточных людей» [1].

Мы видим, что даже такой господин, как Н. Костомаров, который в качестве историка должен был бы обладать способностью критического отношения ко всем беспочвенным слухам, готов был повторять любые инсинуации, направленные по адресу молодежи и вообще радикальных элементов. Что же сказать о настоящей, оголтелой реакции, о сознательных охранителях, о правительстве, о политической полиции, на мельницу которых эти дикие слухи лили воду широкой струей! Министр внутренних дел Валуев, несмотря на требования министра народного просвещения Головнина, пытавшегося заступиться за подведомственных ему студентов, категорически отказался выступить против этих слухов (см. «Дневник» Никитенко, изд. 1893 г., т. II, стр. 330).

Напротив, агенты III Отделения, продажные журналисты, полиция, чиновники разных рангов и т. п. элементы усиленно муссировали эти слухи, возбуждая темную массу против учащейся молодежи и революционеров [2]. Сплетня о политическом происхождении пожаров усиленно распространялась и реакционной, и «либеральной» публикой. Особенно отличалось в этом гнусном деле высшее православное духовенство, о чем свидетельствует даже такой верный сын церкви, как Барсуков (цит. соч., стр. 128 сл.). Никитенко заносит в свой дневник 31 мая 1862 г. (стр. 329): «Несомненно, кажется, что пожары — в связи с последними прокламациями», и доказывает это глубокомысленное соображение тем весьма сомнительным фактом, что при этом пожаре не было якобы грабежей. Д. Милютин писал тогда кн. А. И. Барятинскому, что пожары «несомненно причиняются злоумышленниками». В таком же духе писал из-за границы старый реакционер Ф. И. Тютчев. В письме из Висбадена от 3/15 июня 1862 г. [3] он говорил: «Что за горестные известия я только

---

[1] «Автобиография Н. И. Костомарова», стр. 338—339.

[2] Катков в № 25 «Современной Летописи» также отмечает, что отсутствие опровержений упрочивало веру в эти слухи. «Все эти печатные сведения, — говорит он, — не были опровергаемы, и потому принимались всеми за достоверные. В публике окончательно утвердилось мнение, что пожары происходили вследствие поджогов, и что эти поджоги были не простые».

[3] «Из писем Ф. И. Тютчева». «Рус. Архив» 1899, № 8, стр. 594.

что прочел в газетах о том ряде петербургских пожаров, который недавно увенчался пожаром 30 мая [1]. Теперь ясно, что горсть негодяев, ободряемая безнаказанностью, порешила перейти от слов к делу. Мне хочется верить, что правительство последует их примеру, и что справедливая и скорая кара постигнет этих чужеумных извергов, при надобности даже при помощи свинца. Мне кажется невозможным, чтобы все происшедшее не вызвало серьезной реакции в умах. В глубине души я все еще отказываюсь верить в действительность опасности, но чувствую, что в удалении эта уверенность продержится недолго. Во всяком случае в ожидании жгучих тревог чувствую себя во власти смертельного уныния».

Как свидетельствуют все современники, распространению этих слухов способствовало появление в середине мая прокламации «Молодая Россия». После 28 мая в ней усмотрели явное доказательство того, что петербургские пожары были делом организованной группы революционеров и имели политический характер. В № 157 «Северной Пчелы» говорилось, что «в высших классах (курсив мой) почти единогласно пожары связывают с последней прокламацией» (Пантелеев, цит. соч., стр. 236—238).

Нужно, впрочем, заметить, что в охранительном лагере нашлись некоторые уравновешенные люди, понимавшие опасность затеянной полициею игры: ведь народная масса смотрела на студентов как на часть привилегированных сословий, и наусыкивание на студентов легко могло повести к эксцессам, направленным против чиновничества и дворянства. Этим, вероятно, об'ясняется и тот факт, что Катков в статье, напечатанной в № 23 «Современной Летописи», отказывался впредь до представления определенных доказательств «верить не только ожесточенной народной молве о виновниках теперешних поджогов, но и тем подозрениям, которые проглядывают в печати и слышатся от людей, способных к самообладанию, слышатся в сопровождении разных улик и доводов» [2]. Это не помешало, впрочем, Каткову через несколько строк заговорить в весьма двусмысленном тоне о революционерах и в част-

[1] К этому месту сделано (т. е. в 1899 году!!) следующее редакционное примечание. «Поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году Петрашевским с братиею (слышано от И. П. Липранди)». — Липранди — известный сыщик, раздувший дело Петрашевского.

[2] В то же время А. Краевский писал Погодину: «Между поджогами и тайной прессой не может быть никакой солидарности» (Барсуков, цит. соч., стр. 141). Но в большинстве случаев эти господа предпочитали держать свое мнение про себя и открыто не выступать против общего течения. Впрочем, правительство не позволяло публично опровергать выгодной для него клеветы на молодежь и на революционеров.

ности о лондонских эмигрантах, способных де, одни в качестве взбунтовавшихся рабов, поджитавших Капитолий, другие — в качестве обезумевших артистов à la Нерон, поджегший Рим, на всякие отчаянные эксперименты.

Однако в том же номере «Современной Летописи» Катков поместил петербургокую корреспонденцию Беллюстина, в которой с присущими этому «либеральному» попу иезуитскими приемами гнусная легенда о злоумышленных поджогах с политической целью определенно подтверждалась... ссылкою на глас народа. Указав на то, что народ считает виновниками поджогов «учащуюся и ученую молодежь» и ставит пожары в неразрывную связь с вышедшими незадолго до того прокламациями, «возглашениями, об'явлениями, всею этою возмутительною нечистью, которую враги общественного спокойствия щедрою рукою сыпали в народ» [1], православный иезуит с деланой скорбью вопрошает: «Но что, если тут есть своя доля правды? Что, если и в самом деле эта молодежь, увлеченная погибельными возгласами проповедников анархии и всеобщего погрома [2], посредственно или непосредственно принимает в этом участие? О, какую страшную судьбу готовит она себе». И озлобленный поп угрожает молодежи самосудом толпы, напоминая ей о расправе московской черной сотни с студентами в 1861 году. Издеваясь над готовностью революционеров к самопожертвованию и, под видом недоуменных вопросов, бесстыдно приписывая им поджоги, Беллюстин восклицает: «Неужели кто-нибудь в состоянии дойти до такой экзальтации, чтобы, став в ряды Геростратов, ожидать еще себе за то благословений? Или этим путем, путем бедствий народных, думают подвинуть народ к каким-либо преднамеренным целям? Но будь эти цели высоки, как я не знаю что, подобные средства ничего не могут заслуживать, кроме мести, кар и вечных проклятий». И, взвалив таким образом на революционеров ответственность за пожары, бесстыжий поп советует им прислушаться к тем выкрикам, которые раздавались из толпы во время совершения обряда гражданской казни над В. Обручевым: «На костер бы их всех, разбойников», якобы кричали из толпы (если только это не кричали переодетые полицейские).

---

[1] Кстати, считаем нужным отметить, что о прокламациях (т. е. «Великоруссе», «К молодому поколению» и «Молодой России») народная масса вовсе и не знала, так как они вообще вышли в небольшом количестве и распространялись преимущественно среди интеллигенции. Ясно, что версию о прокламациях пустила уже после пожаров полиция.

[2] Эти слова были истолкованы в смысле намека на Чернышевского (см. приводимый ниже анонимный донос, посланный в III Отделение).

Что наши патентованные либералы не отставали и здесь от общего хора злобных охранителей, это само собою разумеется. В июне 1862 года И. С. Тургенев писал П. Анненкову: «Остается желать, чтобы царь — единственный наш оплот в эту минуту — остался тверд и спокоен среди ярых волн, бьющих и справа, и слева. Страшно подумать, до чего может дойти реакция, и нельзя не сознаться, что она будет до некоторой степени оправдана. Государственная безопасность прежде всего» (курсив мой) [1]. Этими словами Тургенев давал заранее правительству благословение на все репрессивные меры, им действительно принятые в связи с пожарами. А Кавелин пошел еще дальше и, оправдывая аресты Н. Серно-Соловьевича, Чернышевского и других, прямо присоединялся к полицейской клевете на революционеров, когда 6 августа писал Герцену: «Что пожары — в связи с прокламациями, в этом нет теперь ни малейшего сомнения» [2]. В этом сомневался даже Катков, и надо было быть патентованным либералом, чтобы перещеголять в данном случае даже редактора «Русского Вестника».

В брошюре «Народное дело», написанной Бакуниным летом 1862 года, он по поводу этой подлой кампании замечает следующее: «Пожары были совершенно случайны: такие пожары — обыкновенное, почти периодическое явление в России. Но возбужденные политические страсти, а главное — подлый страх... придали ныне петербургским пожарам другое значение. Правительство первое дало пример. Оно нашло полезным обвинить в поджоге передовую молодежь и распространить эту клевету между народом, дабы возбудить его против студентов. В прежнее время никто из литераторствующей порядочной публики не смел бы присоединить своего голоса к клеветливому воплю из-ума-вон испуганной власти. Того бы не потерпело общественное мнение, кото-

---

[1] Плеханов — «Соч.», т. XXIV, стр. 75—76.

[2] «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену», стр. 82. К этому месту устыдившийся издатель переписки М. Драгоманов делает следующее справедливое примечание: «Однако ж ни печать катковского направления, ни правительство не дали ни тогда, ни после никакого сколько-нибудь осязательного подтверждения подобных подозрений». Так что же? Это только доказывает, что либералы в своей вражде к революции способны заходить дальше махровых реакционеров. Это сплошь и рядом подтверждает пример и современных нам либералов вроде Милюкова, не перестающего повторять против ненавистных большевиков сплетни, от которых давно отказались и наиболее злостные черносотенцы.

[3] Это сомнение, впрочем, не мешало Каткову и тогда, и после обвинять в поджогах революционеров, в частности Бакунина, и печатать такие статьи, как корреспонденция Беллюстина в № 23 «Современной Летописи».

рое даже при самом Николае умело клеймить продажную литературу и литераторов Третьего Отделения. Теперь им лафа».

Для Кропоткина тоже не подлежит сомнению, что поджог не был делом случайности (вопрос только в том, был ли поджог). Но кто именно поджигал? На это, говорит он, нет ответа до сих пор (цит. соч., стр. 130 сл.). Косвенный ответ на этот вопрос он, впрочем, сам дает. Допуская теоретическую возможность, что мысль поджечь Апраксин рынок могла возникнуть в голове единичных представителей революционного лагеря (?), Кропоткин продолжает: «Но ни тщательное следствие, ни массовые аресты, начавшиеся в России и в Польше немедленно после пожара, не дали ни малейших на это указаний. Если бы что-нибудь в этом роде было найдено, реакционная партия наверное поспешила бы им воспользоваться. С тех пор появилось также в печати много воспоминаний, опубликовано много писем, относящихся к тому времени; но опять-таки в них нет ни малейшего намека в подтверждение такого предположения. Напротив того, когда вспыхнули пожары во многих приволжских городах, а в особенности в Симбирске, и когда туда был послан для следствия сенатор Жданов, он закончил расследование с твердым убеждением, что симбирский пожар был делом реакционной партии. В ней существовала уверенность, что возможно еще убедить Александра II отложить окончательное освобождение крестьян, которое должно было состояться 19 февраля 1863 года. Реакционеры знали слабость характера Александра II и немедленно после пожаров сильно стали агитировать в пользу отсрочки освобождения и пересмотра практического применения закона. В хорошо осведомленных кругах говорили, что Жданов возвращался в Петербург с положительными доказательствами виновности симбирских реакционеров; но он внезапно умер в дороге, а портфель его исчез и никогда не был найден» [1].

---

[1] Русанов в «Социалистах Запада и России» (стр. 276) также указывает на то, что сенатор Жданов, посланный через два года после петербургских пожаров в Поволжье для расследования пожаров, имевших место в Саратове, Симбирске и т. д., установил что они связаны были с происками реакционеров-крепостников, стремившихся терроризировать страну и задержать реформы; он же говорит и о внезапной смерти Жданова и таинственном исчезновении его чемодана с бумагами, содержавшими результаты его расследования. А между тем этот Жданов был матерым палачом, ведшим дело «Казанского заговора»: значит, факты были уже слишком очевидны, если и он пришел к такому выводу. Лемке рассказывает, что и другой сенатор, коллега Жданова, И. И. Шамшин, также был убежден в провокационном характере тогдашних пожаров, вызванных крепостнической партией. Глава каракозовцев, Ишутин, также считал правительство виновником пожаров. Как показывал на допросе привлеченный по делу каракозовцев Корево, Ишутин го-

Факт остается фактом: несмотря на назначение особого комитета для расследования причин петербургских пожаров, несмотря на об'явление военного положения в столице и на приказ судить поджигателей по военным законам, несмотря на заранее принятую презумпцию о том, что пожары были делом рук каких-то злоумышленников, действовавших по политическим мотивам, вся эта громкая затея кончилась пуфом. Ничего подобного комиссии установить не удалось. По рассказу Пантелеева (цит. соч., стр. 242—243), комиссии пришлось иметь дело с массой арестованных по подозрению в поджогах, в том числе немало из молодежи. В известных кругах требовали решений в 24 часа (в Одессе, напр., это и имело место); раздавались требования применить к арестованным пытки. Однако обвинения не подтвердились, и следственная комиссия принуждена была арестованных освободить [1]. А «Journal de St.-Pétersbourg» даже поместил статью, из которой следовало, что не было поджогов не только политических, но и вообще никаких (если не считать пары случаев обычных поджогов в провинции по пьяному делу или из личной мести). А. Пеликан в своих воспоминаниях приводит выписку из обращения кн. Горчакова к русским представителям за границей, в каковом обращении сказано, что следствию не удалось установить злоумышленных поджогов [2]. (Зато следственная комиссия собрала материалы насчет зловредности воскресных школ, которые и были затем закрыты.)

Даже Катков должен был отметить, что статья официоза бьет в лицо всем распространителям слухов о поджогах. «На этих днях, — писал он в № 25 «Современной Летописи»,— в Journal de S.-Pétersbourg появилась статья, предназначенная для Европы, и из этой статьи, имеющей полуофициальный характер, мы усматриваем, что писавший ее ничего того не знает, что в разных газетах сообщалось за достоверное. Три недели прошло со времени пожаров; комиссия, наряженная для следствия и суда, работает неутомимо, и однакож оказывается, что до сих пор ничего неизвестно о характере пожаров. Из вышеупомянутой статьи можно почти заключать, что не только политических, но и никаких поджогов не было... В этой статье, правда, упоминается о

ворил ему, что правительство не церемонится в выборе средств, и намекал на то, что само правительство учинило петербургские пожары («Покушение Караказова». «Кр. Архив», т. XVII, стр. 10).

[1] Как сообщает Пантелеев, главные лжесвидетели в комиссии, разоблаченные одним из ее членов, старым полицианто м Р. З. Столбовским, были простым орудием полиции.

[2] А. А. Пеликан — «Во второй половине XIX века». «Голос Минувшего» 1915, № 2, стр. 141.

возмутительных прокламациях; но, повидимому, писавший не находит никаких данных для того, чтобы приводить их в связь с пожарами». Отмечая, что для Европы пишется одно, а для России другое [1], Катков продолжает: «Нельзя однако не пожалеть, что общественное мнение в России впродолжение столь долгого времени питается неверными известиями, которые оставались без возражения... И в интересе справедливости, и в интересе общества, и в интересе правительства необходима, как мы смеем думать, полная и документальная гласность относительно этих общественных бедствий, так справедливо встревоживших и возмутивших все классы общества». Но скоро Катков понял, что в интересе правительства, и в интересе любезного ему помещичьего «общества» требуется как раз ложь, и в глубине души он, вероятно, повторил слова остроумного прелата, воскликнувшего на Тридентском соборе: «Один только чорт способен спасти католическую церковь, а от нас требуют ангелов!»...

Но значит ли это, что поджогов действительно не было, и что они не носили тогда политического характера? На это мы можем ответить следующее: если и были поджоги, то их во всяком случае совершали не революционеры, а реакционеры, и если в этих поджогах имелся политический момент, то направлен он был не к революционным целям, а к борьбе с революцией и со всяким поступательным движением. Приведенные нами выше сообщения показывают, что уже и в то время кое-кто догадывался об истинных виновниках пожаров, поскольку они были результатом злого умысла. В той панике и слепом озлоблении, которые явились следствием пожаров, заинтересованы были не сторонники прогресса, а охранители, желавшие повернуть вспять колесо истории. Если и были виновники пожаров, то ими могли быть только крайняя реакционная партия и послушная ей полиция. Разумеется, они заинтересованы были не в открытии действительных причин пожаров, а в их сокрытии и в распространении клеветы, возлагавшей ответственность за эти бедствия на революционеров. А так как сила была в руках реакционеров, то, нашумев достаточно, распустив клеветнические слухи и добившись своей цели, они затем похоронили все дело по первому разряду [2].

---

[1] Еще бы, Европе по финансовым соображениям нужно было показать, что у нас все обстоит благополучно, а в России нужно было посеять панику и возбудить в темной массе ненависть к революционерам. Все это ясно и понятно.

[2] «Пожары наводили ужас, который трудно описать. В поджогах трудно сомневаться, но это дело, как и другие страшные события той эпохи, почему-то осталось совершенно покрытым мраком» («Биография, письма и

Впрочем, похоронили не совсем. Кое-какие следы их операций в царских архивах сохранились, а после революции 1917 года были вытащены на свет из полицейских тайников. И вот что замечательно. В ежегодном всеподданнейшем отчете шефа жандармов, представленном царю весною 1863 года, кн. Долгоруков, изложив замыслы русских и польских революционеров и меры, принятые правительством для их парализования, прибавляет: «Исчисленные здесь меры строгости имели успех, — волнение умов видимо успокоилось; бывшие в столице пожары, составляя сами по себе большую вещественную потерю, возбудили в публике, особенно же в пострадавшем наиболее торговом и низшем классе здешнего населения, чувство самосохранения и вместе с тем общее негодование против подозреваемых в поджигательстве беспокойных студентов, поляков и вообще против мятежных голов. Герцен и его пропаганда понесли через это довольно сильный удар, которому потом содействовали еще издатели московского журнала «Русский Вестник», Катков и Леонтьев, первые в России выступившие печатным резким словом против несбыточных пагубных теорий Герцена. Посыпавшиеся на упомянутых издателей злые нападки со стороны либеральных российских журналов доказывают меткость удара, нанесенного пропаганде, и вместе с тем солидарность с оною большей части литературного нашего общества. Таким образом удалось на этот раз рассеять скопившуюся над русской землею революционную тучу, которая грозила разразиться при первом удобном случае» [1]. Из этих слов столь компетентного и осведомленного лица, как начальник политической полиции, можно с полным основанием усмотреть признание, во-первых, в том, что пожары оказались чрезвычайно на руку полиции, что она не стояла в стороне от их возникновения, что они явились ответом на растущую в обществе оппозицию, что целью их было запугать имущие классы и нагнать панику на обывателей, восстановив темную массу против мнимых виновников поджогов — революционеров [2], «мятежных голов», и что кампания реакционной

заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». Спб. 1883, стр. 239—240). Еще бы! Не понимать причины этого «мрака» может только сознательный реакционер.

[1] Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 588—589.

[2] Жертвою этой полицейской клеветы сделался между прочим В. А. Обручев, осужденный на каторгу по делу «Великорусса». Во время совершения над ним обряда гражданской казни 31 мая 1862 года на Мытной площади в Петербурге толпа, окружавшая эшафот, выражала зверское желание, чтобы Обручеву отрубили голову или наказали кнутом или повесили вниз головой

прессы была согласована с работою полиции, причем та и другая стремились дискредитировать революционеров и спасти любой ценой угрожаемый самодержавный режим.

Такой же вывод можно сделать и из всеподданнейшего отчета министра внутренних дел Валуева за 1861—1863 гг., где говорится: «Опустошительные пожары, происходившие в Петербурге в последних числах мая 1862 года, послужили поводом к принятию новых мер для ограждения общественной безопасности и вместе с тем произвели сильное нравственное впечатление не только на жителей столицы, но и на всю Россию. Ясно было, что пожары происходили от поджогов. Не менее явною казалась связь между поджигателями, старавшимися распространить смятение и неудовольствие в народе путем материальных опустошений, и теми другими преступниками, которые усиливались возжечь нравственный пожар правительственного и социального переворота. Несмотря на неудачу или неполный успех полицейских исследований, здравый смысл народа не усомнился в этой связи. Чуткое чувство самосохранения возбудило другие чувства, которым следовало бы пробудиться и ранее майских пожаров. В эту эпоху совершился первый благоприятный переворот в общественном мнении; затихли похвалы, которые, несмотря на возмутительное зрелище университетских беспорядков, упорно приносились недоучившейся и вовлеченной в преступные заблуждения молодежи; в некоторых литературных органах стала заметною перемена направления; наконец в них появились прямые протесты против изменнических действий наших заграничных агитаторов, до тех пор пользовавшихся в России непостижимым кредитом. Все почувствовали, что для спасения общества и государства нужны были энергические правительственные распоряжения, и в то время, сколь бы ни были решительны меры, принятые правительством, они бы все были встречены почти всеобщим сочувствием» [1]. Сказано достаточно ясно.

Так или иначе, для правительства Александра II майские пожары 1862 года были настоящей манной небесной. Мелкий торговец и бедный столичный люд, жалкий скарб которого пожирался жадным огнем, был подавлен. Но реакционная верхушка, почуяв, что дело поворачивается к ее выгоде, могла торжествовать. В этом отношении чрезвычайно показательна следующая сцена, очевидцем которой был Н. Николадзе, принимавший с риском для своей жизни участие в тушении пожара. В разгар бедствия ночью к Толкучему рынку прибыла группа придворных

на позорном столбе. А когда на Обручева надели арестантскую одежду и шапку, спустившуюся ниже глаз, по толпе пробежал дикий взрыв хохота (Пантелеев, цит. соч., стр. 235—236).

[1] Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 224—225.

во главе с царем. «Мы все, — рассказывает Николадзе, — не исключая и обезумевших торговцев, бросились к воротам Государственного банка, на Садовой, перед которыми стояла царская группа. Казалось, она скорее восхищается грандиозным видом пожара и пепелища, чем распоряжается борьбой против бедствия. Все лица были веселые, возбужденные, раскрасневшиеся, и никто из генералов и ад'ютантов с места не трогался для передачи распоряжений. У многих сюртуки были нараспашку, что было уже совсем странно для военных» (цит. ст., стр. 40). Победители торжествовали: они знали, что теперь на их улице будет праздник [1].

Реакция наступила и в правительстве, и в обществе. «Пожар Апраксина рынка, — говорит Кропоткин, — стал поворотным пунктом не только в политике Александра II, но и в истории России того периода... Общественное мнение той части общества, в Петербурге и Москве, которая имела сильное влияние на правительство, сразу сбросило либеральный мундир и восстало не только против крайней партии, но даже против умеренных». И Кропоткин рассказывает характерный эпизод. Несколько дней спустя после пожара он пошел в воскресенье к своему двоюродному брату, флигель-ад'ютанту императора, на квартире которого он часто слышал, как конногвардейские офицеры выражали сочувствие Чернышевскому. Этот двоюродный брат Кропоткина до того времени был ревностным читателем «Современника». Но теперь он принес несколько книжек журнала и, положив их на стол, сказал: «отныне я не хочу больше держать у себя этой зажигательной литературы, довольно!» — и эти слова выражали мнение «всего Петербурга» (цит. соч., стр. 131).

Аналогичный рассказ, относящийся, правда, к несколько более позднему времени, передается в юбилейном сборнике Литературного фонда. В 1862—1863 гг., после приостановки на 8 месяцев «Современника» и «Русского слова», после заключения в крепость Чернышев-

[1] А III Отделение, которое хотело припутать Чернышевского к пожарам, имело развязность утверждать в сводке агентских донесений от 5 июня 1862 г., что радость выражал он и его близкие! «В день пожара, 28 числа, — говорится там, — когда горел Толкучий рынок, к Чернышевскому приходило очень много лиц, в том числе Елисеев, Воронов, Боков, Антонович и два экстерна Константиновского военного училища. Собравшись вместе, они были чрезвычайно веселы и все время смеялись громко, так что возбудили удивление других жильцов дома, слышавших это через открытые окна». И шпион прибавляет, что даже у швейцара (как мы знаем, состоявшего у полиции на жалованье) возникло подозрение и он заметил: «А ведь они должны знать, кто поджигает» («Н. Г. Чернышевский и III Отделение». «Красный Архив», т. XXIX, стр. 177).

ского (который был одним из членов комитета Литературного фонда) и закрытия отделения Литературного фонда, заведывавшего в 1862 году распределением пособий между нуждающимися студентами, «от нового общества отшатнулись все те, кто испугался тогда нигилистического движения, призрак которого наиболее пугливым обывателям стал в то время мерещиться чуть не в каждом общественном начинании» (между прочим, в 1863—1864 гг. отказались от участия в Литературном фонде П. К. Щебальский, П. А. Ефремов и А. Ф. Писемский) [1].

Правительство почувствовало, что отныне у него развязаны руки для самых реакционных мероприятий. Перепуганные собственники не только не протестовали против репрессий, но и призывали их всеми силами души. В том же номере «Библиотеки для Чтения», из которого мы заимствовали приведенный выше рассказ о майских пожарах, дальше приводится перечень мер, немедленно после этого принятых правительством.

3 июля об'явлено о закрытии Сампсониевской и Введенской школ и об учреждении особой комиссии для исследования действий преподавателей и распорядителей этих школ. 6 июня об'явлено, что главным начальникам и начальникам губерний высочайше разрешено руководствоваться, в случае обнаружения злонамеренных поджогов в пределах вверенных им губерний, теми правами относительно производства дел о поджигателях, которые установлены для С.-Петербурга высочайшим повелением 1-го июня.

В тот же день об'явлены распоряжения С.-Петербургского военного генерал-губернатора: а) Шахматный клуб закрыт впредь до усмотрения. б) Закрыты все существовавшие тогда народные читальни. В об'явлении говорится, что эта мера принята вследствие замеченного вредного направления некоторых из учрежденных в последнее время народных читален, которые дают средства не столько для чтения, сколько для распространения между посещающими их лицами сочинений, имеющих целью произвести беспорядки и волнения в народе, а также безосновательных толков.

8 июня в «Русском Инвалиде» об'явлено о закрытии воскресных школ и других училищ, учрежденных при войсках для лиц, не принадлежащих к военному ведомству.

12 июня об'явлено о закрытии воскресных школ и читален по всей империи. 14 июня об'явлено о закрытии учрежденного при обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым особого отделения для вспомоществования учащимся. В тот же

[1] «Юбилейный сборник Литературного фонда». Спб. 1910, стр. 21.

день об'явлено высочайшее повеление: чтение публичных лекций в Петербурге разрешать не иначе, как по взаимному соглашению управляющего министерством народного просвещения с министром внутренних дел, главным начальником III Отделения собственной е. и. в. канцелярии и петербургским военным генерал-губернатором.

По закрытии школ, клубов и читален и по воспрещении публичных лекций решено было приняться вплотную за прессу, противоречившую видам правительства. Мы уже знаем, какую подлую кампанию консервативные и либеральные журналы и газеты вели против «Современника». Неудивительно, что при первых же признаках активных оппозиционных выступлений правительство вспомнило об органе, в котором Чернышевский под носом царской цензуры умудрялся проводить материалистические и коммунистические принципы. Уже во время студенческих волнений, 24 сентября 1861 года, в Главном управлении цензуры обсуждался вопрос о «Современнике», который, по словам Берте, «проповедует революционные идеи». А затем к «Современнику» присоединился и журнал Благосветлова «Русское Слово», в котором Писарев, Зайцев, Соколов и другие также вели революционную пропаганду, хотя не всегда серьезную и глубокую, но чрезвычайно шумливую и задорную. Выразителем взгляда министерства Валуева на оба журнала явился проф. Никитенко, который еще в конце 1861 года представил об этих органах печати докладную записку, в категоричности которой однако он впоследствии несколько «раскаивался» [1].

Указав на материализм и разрушительные стремления этих журналов, ведущие к полной «анархии, политической, нравственной, умственной, эстетической», и на их популярность среди молодежи, Никитенко предложил сделать ответственным редакторам их последнее строгое предостережение, а затем, в случае продолжения в том же духе и вовсе прекратить их [2]. Записка Никитенко обсуждалась в Главном управлении цензуры 11 ноября 1861 года. Министр высказывался за закрытие, но большинством решено было ограничиться предостережением (см. «Дневник» Никитенки, 2-е изд. т. II, стр. 292). В тот момент почва для такого решительного шага, как прекращение издания, не была еще достаточно подготовлена. Но после майских пожаров 1862 года можно было не стесняться. Теперь «Современник» и «Русское Слово» были приостановлены на 8 месяцев (этот несуразный срок явно был установлен для того, чтобы помешать обоим крамоль-

[1] Б. Глинский, цит. соч., стр. 203.

[2] «Записка А. В. Никитенки о направлении журнала "Русское Слово"» датирована 11 ноября 1861 года и напечатана в № 2 «Русского Архива» за 1895 год (стр. 225—228).

ным журналам собрать январскую годичную подписку). Дабы показать свое «беспристрастие», правительство одновременно совершенно закрыло аксаковский «День», но эта кара постигла славянофильский журнал исключительно за резкость тона и несоблюдение цензурных правил, а осенью того же года запрещение было с него снято. Наконец, 17 июля 1862 года опубликованы были суровые правила о надзоре за типографиями, литографиями и пр. (утвержденные царем еще 14 мая), чтобы помешать появлению подпольных прокламаций.

После приостановки «Современника» у Чернышевского возникла мысль отказаться от сотрудничества в нем в надежде спасти этим издание. Об этом свидетельствует письмо его к Некрасову от 19 июня 1862 года. Сообщая о приостановке обоих журналов не за какие-либо конкретные вины, а просто за «нехорошее направление», и пояснив, что «мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер», Чернышевский передает свой разговор с Головниным, которого он посетил для выяснения вопроса о судьбе журнала. Министр заявил Чернышевскому, что о сокращении срока нечего и думать, и что еще неизвестно, будет ли журнал разрешен к выходу и после истечения назначенного срока, и посоветовал «считать издание конченным и ликвидировать это дело». Указав Некрасову, что озлобление реакции делает бесполезным всякие хлопоты, Чернышевский заключает: «В августе будет видно, поможет ли возобновлению журнала то, если я совершенно прекращу всякие отношения к нему, — вероятно, нет, потому что этим увериям не поверили бы. Но время еще терпит, и мы увидим, как и что надобно будет делать для пользы Современника» [1]. Увы, этого времени Чернышевский не дождался.

Клевета исподволь делала свое дело. В прикосновенности к пожарам обвиняли и Герцена, и авторов «Молодой России», и Чернышевского [2]. Но, в отличие от последнего, другие находились вне пределов досягаемости Третьего Отделения, ибо Герцен проживал, говоря катковским стилем, за широкой спиной «английского полисмена», а авторы напугавшей правительство прокламации оставались для него неизвестны. Чернышевский же был под рукой, и если уж революционерам су-

[1] «Переписка» Чернышевского, М. 1925, стр. 49—51.

[2] В показании от 1 июня 1863 года Чернышевский говорит: «Были слухи, называвшие меня возбудителем беспокойств между студентами С.-Петербургского университета осенью 1861 года; возбудителем беспорядка, происшедшего в зале Думы весною 1862 года на одной из публичных лекций (т. е. на лекции Н. Костомарова. — *Ю. С.*); были также слухи, что я напра-

ждено было отвечать за причинение беспокойств начальству, то очевидно, что предполагаемый глава их должен был ответить в первую очередь.

В деле привлечения внимания высшего начальства к Чернышевскому соперничали литературные добровольцы, охранители либералы и шпионы, получавшие плату из Третьего Отделения и работавшие по охоте и призванию. 13 июня следивший за Чернышевским агент доносит: «Вчера в одном магазине сошлись несколько литераторов; в том числе был и Кони [1]. Разговор завязался о современных событиях, и все присутствовавшие с негодованием выражались об адской системе возмутителей — действовать посредством пожаров — и удивлялись слабости распоряжений со стороны правительства. Неужели оно, — прибавил Кони, — не может еще убедиться, что главное зло заключается в Гиероглифове, Чернышевском, Елисееве и компании этих грязных негодяев? Ведь, право, они не заслуживают никакого сожаления не только как литераторы, но как люди просто; с них следовало начать, а они все еще на свободе». Вообще можно заметить, что последние события произвели сильную реакцию в литературном обществе. В какой степени сильна выражаемая большинством литераторов симпатия к правительству, и вследствие каких побуждений она стала выражаться, это — вопрос другой, вопрос, который разрешит время и уяснят обстоятельства» («Красный Архив», т. XIV, стр. 121).

Дело было ясно: «общество» выдавало Чернышевского головой.

2. Угрожающие письма и доносы

Ненависть к Чернышевскому со стороны господствующего класса имела давнее происхождение. В сущности он был встречен ею с первых же своих литературных выступлений. Но особенно усилилась она со

вляю к пропаганде запрещенного характера Главный совет Петербургских воскресных школ; что я возбудил проф. Павлова написать и при публичном чтении дополнить резкими прибавлениями ту статью, за чтение которой проф. Павлов был удален из Петербурга (весною 1862 года); что я даже был участником поджога Толкучего рынка (в конце мая 1862)». См. Лемке, цит. соч., стр. 341.

[1] Речь идет о Федоре Алексеевиче Кони, известном водевилисте. В примечании к этому месту шпионского рапорта А. Шилов указывает на сходство заявлений Кони с анонимными доносами, опубликованными Лемке в «Политических процессах» (собственно, одним доносом, ибо второй документ это — не донос, а ругательное письмо, посланное Чернышевскому каким-то анонимом). Но вряд ли Кони был автором этого и последующих, найденных и опубликованных нами, доносов.

времени его кампании в защиту крестьянских интересов, начиная с 1858 года. Его статья «Труден ли выкуп земли?», в которой он давал низкую оценку наделам, и другие статьи, в которых он осторожно доказывал, что помещики не вправе претендовать на выкуп, возбудили в плантаторских кругах настоящий пароксизм бешенства против смелого борца за народные права. А когда начались активные революционные выступления, появились первые прокламации, вспыхнули студенческие волнения, — озлобление реакционеров против человека, которого они считали тайным зачинщиком и руководителем революции, достигло крайних пределов. Об этом свидетельствует найденное у него при обыске угрожающее письмо какого-то помещика, не подписавшего, впрочем, своей фамилии. Трудно сомневаться в том, что Чернышевский получал много угрожающих писем, но таковые до нас не дошли. Почему он сохранил только это одно, мы не знаем. Может быть, потому, что оно было наиболее обстоятельным, а может быть, и потому, что оно было самым поздним, и он не успел его уничтожить. Письмо это весьма характерно для выяснения основных причин той ненависти, какую питали к Чернышевскому правящие сферы и рядовые представители господствующего класса [1].

Начинается оно словами: «Г-н Чернышевский! О пропаганде вы знаете; вы ей сочувствуете; поговорим о ней. Вы наконец перестали себя нехотя; вы говорите о наших собраниях, протягиваете руку дворянству; но кого вы этим обманете?» [2]. Проповеднику «грязной демократии» и «социализма, признанного наукою несчастным произведением больного ума», дается понять, что его «приветливая улыбка» не скрасит его «медузиной головы». «Неужели, — восклицает аноним, — мы не видим вас с ножом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление вашего журнала нам понятно, да и «Великорусс» — Ваше произведение), которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с маратовским восторгом

[1] Письмо это находится в Деле следственной комиссии о Чернышевском л. л. 83—86; с некоторыми ошибками напечатано у Лемке, цит. соч., стр. 172 сл.

[2] Если бы эти слова были несколько яснее, то они могли бы служить к установлению даты письма. О каком протягивании руки дворянству говорит аноним? Намекает ли он на «Великорусс», который он приписывает Чернышевскому, или же до него дошли слухи о «Письмах без адреса», задержанных цензурою? Если верно первое предположение, то прав Лемке, относящий письмо к концу 1861 г.; если речь идет о «Письмах без адреса», то письмо относится к весне 1862 года, может быть, даже к маю—июню. В таком случае было бы понятно, что Чернышевский не успел уничтожить его до обыска.

принесут в жертву для осуществления своих бредней наши имущества, нас самих, наши семейства?». Назвав Чернышевского лакеем Герцена (и этим кстати обнаружив, что он действительно принадлежит не к столичным, а скорее к провинциальным дворянам, не искушенным в тонкостях фракционных различий) и указав на отсталость «нравственного развития» русского народа, не доросшего до социализма, автор продолжает: «Не вверимся же мы вам, человеку или совершенно непрактичному, или совершенно подлому: вспомните, в какую цену вы оценили наши имения. Кого вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого вы надеетесь? На полудикое сословие мужиков, людей, религия которых заключается в одной еде и гимнастических упражнениях». Благородное дворянское сословие не поддастся запугиваниям революционеров, у которых много кровожадности, но мало сил. Оно сумеет дать отпор всем посягающим на его законные и несомненные права. «Заметьте, — говорит он, — что мы с вами в провинции[1] поступать будем покруче, чем поступают с вами в столице. Нас много, теперь мы настороже, и, поверьте, не станем с вами нежничать». И кончается письмо следующим знаменательным заявлением: «Считаем нелишним заметить вам, г-н Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем вас, Искандера или кого-нибудь из вашего семейства, и, вероятно, вы не успеете еще запастись телохранителями». Это письмо было впоследствии использовано сенатом для обвинительного приговора Чернышевскому!

Само собою разумеется, что, кроме литературных доносов и угрожающих писем, на Чернышевского поступал еще ряд доносов в III Отделение. Кампания тайных доносов, из которых до нас дошла ничтожная часть, но которых наверно было много, служила естественным дополнением к открытому газетному и журнальному походу. До сих пор известен был один такой анонимный донос, не оставшийся, вероятно, без влияния на арест Чернышевского[2]. Приводим некоторые извлечения из этого любопытного исторического документа, датированного 5 июня 1862 года: «Что вы делаете? Пожалейте Россию, пожалейте царя! Вот разговор, слышанный мною вчера в обществе профессоров. Правитель-

[1] Курсив в цитатах мой.

[2] Этот донос был прислан начальнику III Отделения Потапову, был им переслан кн. Голицыну, председателю выс. учр. следственной комиссии, а оттуда перешел в сенат, который не постыдился сослаться на него в своем приговоре Чернышевскому. До 1906 года этот донос был известен только в тех частях, которые были процитированы сенатом в своем решении, но

ство запрещает всякий вздор печатать, а не видит, какие идеи проводит Чернышевский; это — коновод юношей: направление корпусных юношей дано им; это — хитрый социалист; он мне сам сказал (говор. проф.), что «я настолько умен, что меня никогда не уличат» [1]. За пустяки сослали Павлова и много других промахов делаете, а этого вредного агитатора терпите. Неужели не найдете средств спасти нас от такого зловредного человека?.. Передаю вам впечатление, вынесенное из общества людей, десятки лет знающих Чернышевского — бывших его приятелей [2], но теперь, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, все весьма либеральные люди, но настолько благоразумные, что они сознают необходимость существования у нас монархизма, отдалились от него и убеждены, что ежели вы не удалите его, то быть беде — будет кровь; ему нет места в России — везде он опасен, разве в Березове или Гижигинске; не я говорю это, — говорили ученые, дельные люди,— от всей души желающие конституции, но путем закона, Земской думы, но по призыву царя... А крови не минуете и нас всех сгубите: эта шайка бешеных демагогов, отчаянные головы, — эта «Молодая Россия» выказала вам в своем проспекте все зверские ее наклонности; быть может, их перебьют, а сколько невинной крови за них прольется! Тут же слышал, что в Воронеже, в Саратове, в Тамбове, везде есть комитеты из подобных социалистов, и везде они разжигают молодежь. Ник. Утин — правая рука Чернышевского — юношу бы за границу, но навсегда, а Николая Гавриловича — куда хотите, но скорее отнимите у него возможность действовать. Общество в опасности, сорванцы бездомные на все готовы, и вам дремать нельзя; на вас грех падет, коли допустите их до резни, а она будет, чуть задремлете или станете довольствоваться полумерами. Выхода другого нет, как Земская дума; боитесь дворянства — пошумят только; если потребуют конституции, то путем законным, она не страшна для царя, а эта бешеная шайка жаждет крови,

---

затем он был полностью напечатан М. Лемке в «Былом» и в его книге «Политические процессы» (2-е изд., 1923, стр. 178—179) с некоторыми, несущественными впрочем, ошибками. Оригинал его находится в Деле следственной комиссии о Чернышевском, л. 2.

[1] См. выше (стр. 327) рассказ Рейнгардта о заявлении Чернышевского в обществе студентов и профессоров, которое, видимо, и использовано автором доноса для своих целей.

[2] О ком говорит здесь доносчик? Давно знали Чернышевского из профессорских кругов А. Никитенко, К. Кавелин, П. Пекарский, Н. Костомаров. Кроме Пекарского, остальные названные лица враждебно относились к Чернышевскому и могли болтать в таком духе. Слова «бывших его приятелей» легко могут быть отнесены к Кавелину и особенно к Костомарову, который, как мы знаем, болтал насчет крамольности Чернышевского еще в Саратове.

ужасов и пойдет напролом, — не пренебрегайте ею. Избавьте нас от Чернышевского — ради общего спокойствия».

Этот донос лишний раз напоминал правительству о Чернышевском, на которого III Отделение уже давно обратило свое благосклонное внимание. Автор этого доноса неизвестен. В нашей литературе существует одно указание на этого таинственного автора, но оно никем не проверялось и по нашему мнению не соответствует действительности. Мы имеем ввиду указание А. Тверитинова, который в своей книжке «Об об'явлении приговора Н. Г. Чернышевскому» (Спб., 1906, стр. 55) пишет: «Успенский, говоривший мне, что письмо это — от Каткова, вероятно получил эти сведения от Некрасова, с которым Г. И. (т. е. Успенский) был довольно близок, а Некрасов, бывавший часто в Английском клубе и ездивший часто в Чудово с прусским посланником Отто фон Бисмарком на охоту, мог легко узнать эту тайну. Приведение содержания анонимного письма в докладной записке царю (Тверитинов хочет сказать: в сенатском приговоре. — *Ю. С.*) и можно только (?) об'яснить тем, что автор ее был хорошо известен, как авторитетное лицо, составителям записки, а кто же был более авторитетен в царствование Александра II, как не Катков? Зная, как высоко Александр II ценил Каткова, и предполагая, что и идеи, и почерк Каткова ему хорошо известны, составители записки очень разумно заключили, что приведение т а к о г о анонимного письма им повредить во мнении монарха не может».

Такое предположение было, повидимому, распространено в тогдашних писательских кругах, хотя в литературе оно не нашло отражения. По крайней мере, тот же Тверитинов называет и другой источник этого слуха об авторстве Каткова. А именно по его рассказу (стр. 38) ему в таком же духе говорил и П. Ткачев в 1874 году [1].

Но все-таки мы думаем, что это не верно. Не то, чтобы Катков не был способен на донос: он не стеснялся делать такие (и худшие) доносы открыто — правда, попозже. Но и в рассматриваемое время он вполне созрел для такой почтенной работы. Однако Тверитинов ошибается в одном. В 1862—1863 гг., к которым относится донос и сенатский приговор, Катков не пользовался еще таким авторитетом, какой приписывает ему Тверитинов. Этот авторитет пришел несколько позднее.

Но дело, разумеется, не в этом. Принадлежность этого доноса и двух других, о которых мы сейчас скажем, М. Н. Каткову опровергается

[1] Эту же версию повторяет и В. Шаганов, который (цит. брош., стр. 3) говорит, что донос на Чернышевского получен был из Москвы, и прибавляет, что тогда его приписывали Каткову. Указание Шаганова важно в том отношении, что он мог слышать эту версию от самого Н. Г. на каторге.

датами и местом их отправления. Если бы Тверитинов имел возможность ознакомиться с оригиналами этих писем, он сразу убедился бы в ошибочности слуха, приписывавшего их авторство московскому реакционному публицисту. Все три доноса имеют на конвертах штемпель городской почты, опускались в почтовый ящик в Петербурге и получались Потаповым на следующий день. Ясно, что автор их был петербуржец.

Но кто же он был? На этот вопрос мы не можем сейчас ответить. Но мы можем приблизительно указать круг, к которому он принадлежал. Лемке уверенно утверждает, что автор доноса — «столбовой крепостник». Между тем содержание даже первого его доноса не позволяет делать такого вывода. Автор письма явно вращался в либеральных сферах, мнение которых он и передает. Он высказывается за созыв Земской Думы, т. е. Земского Собора, выражает сочувствие конституции, но дарованной царем. Он подчеркивает, что мнение о вредности Чернышевского он слышал от его старых знакомых («все либеральные люди»), которые разошлись с ним, когда для них выяснились его крайние тенденции. Все это показывает, что донос исходил из кругов российского либерализма, некогда выступавшего с радикалами совместно, но затем с ними порвавшего. Всякий, кто знаком, например, с конфликтом, разразившимся в редакции «Современника» в 1860 году и сопровождавшимся уходом оттуда И. С. Тургенева, всякий, кто знает, как относились к радикальным идеям Чернышевского и Добролюбова такие люди, как Дружинин, Тургенев, Кавелин, Боткин, Л. Толстой и т. п., поймет, что глубоко ненавидели революционеров не только махровые реакционеры вроде Ф. Достоевского, Страхова, Фета, Каткова и пр., но и наши «либералы», которые, за ничтожными исключениями вроде Боткина, принадлежали к классу помещиков и знали, чем грозит их интересам пропаганда радикалов.

В последнее время нам удалось разыскать два другие доноса того же автора, непосредственно примыкающие к первому. Мы нашли их в Деле III Отделения о Чернышевском. Адресованы они были тому же Потапову, который на сей раз по каким-то соображениям не счел нужным довести о них до сведения следственной комиссии, а сохранил их у себя. Очевидно, что в эту минуту он имел уже ввиду более верные средства погубить Чернышевского, чем анонимные доносы.

Первое из этих двух неопубликованных писем имеет на почтовом штемпеле дату 14 июня 1862. Оно начинается ссылкой на номер французского реакционного журнала «La Revue des deux Mondes», в котором под внушением богатых русских туристов, шатавшихся по заграницам и имевших связи в тамошних консервативных кругах, помещена

была статья с разоблачением русских революционеров. Вот это интересное письмо добровольного сыщика.

«R. Des Deux Mondes», 15 Janvier 1862, p. 271. «La Russie etc.».

«Читали ли вы, Александр Львович, эту статью? Заметьте: что говорится о «Современнике», — чистая правда. «Летопись Русск. Вест.», статья Беллюстина [1] и вообще вся разумная литература с ужасом отзывается о наших С.-Жюстах. Благонамеренной литературе давайте ход, не тесните: это хуже, но Чернышевского с братьею и с «Современником» уничтожьте. Не по чувству личной вражды — я его не знаю, — а по чувству самосохранения твержу вам: избавьте нас от Чернышевского и его учения. Это враг общества и враг опасный — опаснее Герцена. От домашнего вора не упасешься, так и с ним: он осторожен, хитер и зол. Прислушивайтесь к толкам ученого кружка, все того мнения. Что я говорю, то я вынес из бесед с учеными, где я верчусь иногда.

«Царь боится Земской Думы, а она-то и спасет его. Там будет преобладать дворянство, а оно консервативно, потребует себе льгот, правда, но без царя жить не может, а Дума всех и все займет и поглотит социалистов. Не послушаетесь — и нас, и себя сгубите, на свои силы не надейтесь — враг хитер, смел, он подкапывается невидимо и ловко: ошибся в пожарах и примет иное направление, пойдет тише, но все же пойдет, и горе доверчивым!

«Прислушивайтесь не к болтовне салонной — там иллюзии. Имейте ухо в массах, в чиновничестве, в полках, в среднем круге. Помоги вам господь — это желание всех благомыслящих. Скорее выкуп, а коли нужно, — Думу, и все дворянство за царя — и теперь оно не так страшно, как социалисты, но все же не жалуют его за эмансипацию.

«Для чего даете волю Дену [2] бесноваться в Курске? Не для чего раздражать дворян. Он — честный человек, но заносчив, груб и дерзок. Теперь не время так поступать, и целое сословие неразумно восстановлять против власти, и без того потерявшей многое обаятельное.

«Не велите теснить «День», он вам полезен — пусть себе славянствует — это безвредная для нас мечта.

«Успокойте народ, что-нибудь напечатайте о суде над поджигателями. От вашего молчания басен не оберешься. Помните, наконец, что таинственность в десять раз хуже гласности, особенно откровенности» [3].

---

[1] Речь идет о статье Беллюстина в № 23 «Современной Летописи», о которой мы говорили выше (стр. 343).

[2] Влад. Ив. Ден, тогда курский военный губернатор.

[3] Набраны курсивом слова, подчеркнутые в оригинале красным карандашом (Потапова, вероятно).

В высшей степени замечательно, что непосредственно за этим доносом в дело вшита жандармская справка, гласящая: «Признается необходимым сделать распоряжение о невыдаче без особого разрешения заграничного паспорта литератору Николаю Чернышевскому». Старое запрещение было снова подтверждено. Ясно, что письмо это обсуждалось в жандармских кругах, и было признано, что ввиду враждебного настроения против Чернышевского даже либеральных кругов пришла пора расправиться с ним без церемоний.

В этом доносе довольно ясно выражено классовое сознание нарождавшейся тогда буржуазии, в значительной мере вербовавшейся из дворянских кругов. Автор его — за конституцию, за созыв Земского Собора, долженствующего выявить и сплотить консервативные силы и укрепить монархию, но монархию, реформированную на буржуазный образец. Он — против цензурных преследований «благомыслящей» печати, в частности против закрытия славянофильского «Дня», но требует расправы с социалистами и даже негодует на правительство за проявленную им в этом отношении «слабость». Назвать его «столбовым крепостником» tout court вряд ли возможно. Это — умеренный либерал à la Кавелин, готовый обратиться к услугам полицейского участка для борьбы с ненавистными социалистами, но на досуге не отказывающийся помечтать о «законно» дарованной конституции — опять-таки для обуздания радикалов...

Правительство, убедившись, что в деле расправы с социалистами оно не встретит препятствий со стороны «общественного мнения», воспользовалось первым предлогом, чтобы засадить наконец писателя, опасность которого для существующего порядка давала себя чувствовать.

3. Роковой промах Герцена

Но для ареста Чернышевского требовался хоть какой-нибудь «приличный» внешний повод. Его доставил Герцен, который действительно как будто забыл, что сам он сидит «за спиной английского полисмена» или «английской конституции», и который, желая, видимо, загладить старую несправедливость по отношению к «Современнику», разыграл в полном смысле роль услужливого медведя, хватившего своего протеже булыжником по лбу.

В 1862 году в Лондоне открылась всемирная выставка. Эта выставка, давшая между прочим толчок к основанию Интернационала, сыграла роковую роль в судьбе Чернышевского. В Лондон с'ехалось множество русских, принадлежавших к различным классам общества. Тут были, как рассказывает Герцен, купцы и просто туристы, журналисты

и чиновники, в особенности чиновники III Отделения. Вся эта публика по воскресеньям собиралась на журфиксы к Герцену. В числе этих гостей находился приятель эмигранта Кельсиева, некий П. А. Ветошников, которому Герцен при от'езде его в Россию 27 июня 1862 года передал несколько писем, в том числе и письмо к Н. А. Серно-Соловьевичу. В этом письме, датированном 16 июня 1862 г., находилась следующая приписка, сделанная Герценом: «Мы готовы издавать Совр. здесь с Чернышевским или в Женеве. Печатать об'явление об этом? Как вы думаете?». Вскоре после этого Герцен поместил в № 139 «Колокола» от 15 июля 1862 года следующее об'явление: «От издателей. — Мы предлагаем издателям «Дня», «Современника» и «Русского Слова» и издателям журналов, которые будут запрещены вследствие политического террора в России, продолжать их издания в Лондоне. На первый случай мы готовы печатать, если это будет нужно, на свой собственный счет, без всякого вознаграждения» [1].

По телеграфному доносу шпиона, одного из посетителей Герцена, Ветошников был 6 июля арестован на границе, причем у него найдены были письма Герцена. Для III Отделения вышеупомянутой приписки в письме к Серно-Соловьевичу было достаточно, чтобы на следующий же день, 7 июля, арестовать Чернышевского. Таким образом об'явление в «Колоколе» появилось уже тогда, когда Чернышевский сидел в крепких стенах Алексеевского равелина.

Прежде всего возникает вопрос: были ли у Герцена какие-либо основания для такого предложения? Н. А. Огарева-Тучкова в своих «Воспоминаниях» (стр. 164), рассказывая о приезде Чернышевского в Лондон для об'яснений с Герценом по поводу статьи «Very dangerous!!!», утверждает, будто при этом велись разговоры об издании «Современника» в Лондоне. «Насчет издания «Современника» они столковались в несколько слов: Чернышевский обещал, если нужно будет, высылать рукописи и деньги, нужные на бумагу и печать; корректуру должны были держать Герцен и Огарев». Это сообщение совершенно неправдоподобно. Начать с того, что в 1859 году трудно было предвидеть, что «Современник» постигнет такая печальная участь. Далее, после статьи «Very dangerous» совместное издание журнала Чернышевским и Герценом было совершенно немыслимо, да и вообще никакая совместная работа их ввиду разделявших их глубоких политических разногласий была невозможна. Если же толковать сообщение Тучковой в том смысле, что редакция журнала оставалась за россиянами, а Гер-

[1] Лемке — «Политические процессы», стр. 179—182; Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 217 и 342.

цен и Огарев брали на себя чисто технические функции по его выпуску, то и такое предположение представляется маловероятным, ибо Чернышевский не мог же не понимать, что с переносом печатания «Современника» за границу его пропагандистская роль фактически свелась бы к минимуму, ибо контрабандная доставка толстого журнала в Россию, особенно при тогдашних условиях, была почти невозможна и свелась бы к провозу единичных экземпляров. Наконец, оставаться Чернышевскому в России при издании «Современника» в Лондоне и нелегальном распространении его среди русской публики было бы безумием, а эмигрантом сделаться он не хотел. По всем этим соображениям рассказ Тучковой приходится отвергнуть.

Но не скрывается ли за этим сообщением какой-либо реальный факт, только отнесенный мемуаристкой по ошибке не к тому времени? Например, не велись ли с Герценом переговоры об издании «Современника» за границей после его приостановки в июне 1862 года? На это предположение наводит рассказ Рейнгардта о разговоре, который он имел с Чернышевским в Астрахани. Когда Рейнгардт упомянул о том, что именно Герцен виноват в той неосторожности, которая привела к аресту Чернышевского, последний ответил: «Да, так, но ведь всю кашу заварил Серно-Соловьевич, который, не сказав мне ни слова, задумал вести переговоры с Герценом об издании «Современника» в Лондоне. Понятно, эти переговоры велись не явно, и когда раскрылись, то им придали политический характер, предполагая, что имеется ввиду не предположение об издании журнала, а совершение государственного переворота» (?) [1]. Повидимому, на этом свидетельстве Рейнгардта основывается М. Лемке, когда пишет: «Огарева спутала: этот вопрос... поднимался позже, в 1862 г., но и тогда Чернышевский вел его не лично, а через Н. А. Серно-Соловьевича» [2].

Мы полагаем, что Лемке так же ошибается, как и Тучкова, и что таких предварительных переговоров не было. В самом деле. «Современник» был приостановлен 19 июня ст. ст., т. е. 31 июня н. ст. В лучшем случае Герцен мог узнать об этом через неделю или десять дней, следовательно, не раньше этого до него могло дойти и предложение Н. Серно-Соловьевича об издании журнала за границей (если такое предложение имело бы место). Между тем приписка Герцена на письме Огарева к Н. Серно-Соловьевичу о готовности издавать «Современник» с Чернышевским в Лондоне или в Женеве датирована у Лемке 20—24 июня н. ст., т. е. 8—12 июня ст. ст., значит даже до приоста-

[1] Н. Рейнгардт, цит. соч., стр. 470.
[2] Герцен — «Соч.», т. X, стр. 19.

новки «Современника» и во всяком случае до возможного получения известий об этом в Лондоне [1]; а передано было это письмо Герценом Ветошникову судя по «канве биографии» Герцена, составленной Лемке, 6 июля н. ст., т. е. 24 июня ст. ст. [2] К этому моменту никакого предложения от Н. Серно-Соловьевича в Лондон поступить не могло, и если Лемке верно датирует документы и события, то приходится вместе с ним допустить, что еще 8 июня ст. ст. Герцен «имел сведения о возможности такой кары (или считал ее возможной. — *Ю. С.*) и потому сделал свое предложение» [3].

Итак, очевидно, что первое свое предложение Герцен сделал самостоятельно. Столь же самостоятельно он действовал, печатая об'явление «От издателей» в № 139 «Колокола». Ведь приписка Герцена с обращенным к Н. Серно-Соловьевичу запросом, стоит ли печатать об'явление о готовности издавать за границей «Современник», до адресата не дошла, ибо письмо было забрано у Ветошникова при его аресте. В первый момент Герцен мог об этом не узнать. Однако, не дожидаясь ответа Н. Серно-Соловьевича, он поспешил сдать в печать это об'явление, которое вышло в свет 15 июля н. ст., т. е. 3 июля ст. ст., значит до того, как Ветошников успел даже доехать до русской границы (он был арестован 6 июля ст. ст., через 3 дня после того, как об'явление было уже напечатано). Следовательно, и здесь мнимые переговоры с Серно-Соловьевичем ни при чем.

Об этой печальной истории Герцен сам рассказал в «Апогее и перигее» [4]. 1 июля н. ст. в ресторане Кюна в Лондоне устроен был по подписке обед в ознаменование пятилетия «Колокола». Даже Герцен, не относившийся особенно строго к выбору знакомств, принужден признать, что на этом торжестве «в числе участников были люди слишком посторонние». И вот на этом обеде открыто говорилось о том, что на-днях в Петербург едет приятель Кельсиева Ветошников, и что он готов «с собою кое-что взять». В ближайшее воскресенье 6 июля у Герцена собралось много публики, в том числе агент III Отделения Г. Перетц (впоследствии открыто служивший в этом почтенном учре-

---

[1] Герцен — «Соч.», т. XV, стр. 219—220 и т. XXII, стр. 323.

[2] Герцен — «Соч.», т. XXII, стр. 323.

[3] Лемке — «Политические процессы», стр. 182. — Если не предположить, что и Н. Серно-Соловьевич уже в разгар пожаров, т. е. в конце мая ст. ст., имел сведения о неминуемо предстоящей приостановке «Современника» и срочной эстафетой послал Герцену свое предложение в Лондон, прибывшее туда до 8 июня, когда Герцен сделал свою приписку; но это совершенно невероятно.

[4] «Соч.», т. XIV, стр. 398—399.

ждении). Здесь же на виду у всех Ветошникову переданы были письма и фотографии, в том числе и письмо к Н. Серно-Соловьевичу с предложением издавать «Современник» за границей. «Прощаясь с ним (Ветошниковым),—рассказывает Герцен,—я спокойно отправился спать,—так иногда сильно бывает ослепление, — и уж, конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута, и сколько ночей без сна она принесет мне. Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени... Говорят, что один из гостей телеграфировал тотчас в Петербург. Ветошникова схватили на пароходе; остальное известно». Да, известно...

Вообще смысл герценовского об'явления в «Колоколе» совершенно непонятен. Неужели он хоть на минуту мог допустить, чтобы Чернышевский согласился издавать вместе с ним «Современник» за границей? Вряд ли Герцен об этом действительно думал. Его об'явление, обращенное равно и к коммунистическому «Современнику», и к демократическому «Русскому Слову», и к славянофильскому «Дню», могло означать только выпад против правительственных насилий над прессой; предлагая издавать за границей закрытые правительством органы, независимо от их направления, Герцен хотел по-своему протестовать против ограничения свободы печати. Защиту последней он понимал, впрочем, слишком широко, из'являя готовность печатать на свой счет и реакционный орган Аксакова. Но возможно, что последний он включил в свое предложение для того, чтобы смягчить слишком криминальное значение своего об'явления для издателей радикальных органов, ибо не мог же Герцен не понимать, что его об'явление в «Колоколе» грозит навлечь на них крупные неприятности со стороны полиции. По крайней мере, Тургенев сразу заметил неудобство герценовской выходки и 27 августа писал ему из Бадена: «Но как это Вы напечатали предложение издателям «Соврем.», «Русского Слова» и «Дня» издаваться на Ваш счет в Лондоне!! Ведь это все равно, что кирпичом их по голове... Это было очень необдуманно с Вашей стороны: Некрасов, пожалуй, увидит в этом желание отомстить ему» [1].

4. Арест Чернышевского

Выяснив из разговора с Головниным, что реакция наступила всерьез и надолго, и что расчитывать на досрочное разрешение выхода «Современника» не приходится, Чернышевский, решив воспользоваться

[1] «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену», стр. 149. — Странно, что Тургенев видел опасность для Некрасова, гр. Кушелева и Аксакова, но не замечал опасности, грозившей таким людям, как Чернышевский. Мало ли, что те ч и с л и л и с ь издателями упомянутых органов! Сообщение Н. Ни-

закрытием журнала и отдохнуть от изнурительной журнальной работы, собирался уехать в Саратов, куда уже отправилась его семья. Он ликвидировал некоторые свои дела, распродавал вещи и собирался выехать вслед за семьей. В это время ему пришлось побывать в III Отделении по поводу жалобы на какого-то гвардейского офицера, оскорбившего его жену. Во время беседы Чернышевский спросил управляющего III Отделением Потапова, может ли он беспрепятственно выехать на родину. Потапов имел бесстыдство уверить его, что правительство ровно ничего против него не имеет. Это была наглая ложь, так как Чернышевский уже давно состоял под самым пристальным надзором полиции.

III Отделение твердо решило погубить Чернышевского и собирало против него материалы. Оно дожидалось только благовидного предлога — и такой предлог, наконец, нашелся. 6 июля при задержании Ветошникова у него отобрана была масса писем, особенно Бакунина, к разным проживающим в России лицам, в том числе два письма Герцена и Огарева к Н. Серно-Соловьевичу [1]. При беглом просмотре этой корреспонденции жандармы встретили имя Чернышевского в известной уже нам приписке Герцена. Этого было достаточно, чтобы отдать приказ о немедленном аресте Чернышевского.

С юридической стороны приписка Герцена никаких оснований для ареста Чернышевского, собственно говоря, не давала. Мало ли что Герцен предлагал издавать с Чернышевским «Современник» за границей! Нужно было установить, во-первых, что Чернышевский согласен принять такое предложение, а, во-вторых, что он имеет какое-либо касательство к самому возникновению такого предложения. Правда, в этой приписке упоминались только Чернышевский и «Современник» [2]. Но если одно предложение Герцена признавалось достаточным поводом для ареста лица, которому было адресовано это предложение, то по-

---

коладзе о волнении семьи Чернышевского по поводу об'явления в «Колоколе» («Воспоминания о шестидесятых годах». «Кат. и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 43) основано на недоразумении. К моменту прибытия газеты в Петербург Чернышевский уже сидел в крепости.

[1] Отобранные у Ветошникова письма послужили основанием для начатия дела «о сношениях с лондонскими пропагандистами», по которому были привлечены Н. Серно-Соловьевич, М. Налбандян и др. См. об этом у М. Лемке «Очерки освободительного движения» и во втором томе моей книги «М. А. Бакунин».

[2] Это снова дает основание предполагать, что Герцен серьезно думал только об издании «Современника», «День» же и, может быть, даже «Русское Слово» прибавил только для того, чтобы ослабить компрометирующий «Современник» характер своего предложения. Но жандармы, повидимому, поняли эту хитрость.

чему же, когда через несколько дней в «Колоколе» появилось печатное предложение Герцена издавать за границей «Современник», «Русское Слово» и «День», полиция не арестовала ни гр. Кушелева-Безбородко, издателя «Русского Слова», ни его редактора Благосветлова, ни редактора-издателя «Дня» Аксакова? Совершенно очевидно, что III Отделению не нужны были издатели и редакторы других журналов, ему нужен был только Чернышевский, убрать которого оно твердо решило, и оно оставило в покое и «Русское Слово», и «День». С аналогичными явлениями в деле Чернышевского мы встретимся еще дальше (ср., напр., судьбу Сороко и Плещеева).

Об обстановке ареста Чернышевского мы узнаем от присутствовавшего при обыске М. Антоновича [1]. В рассматриваемое время Чернышевский жил близ Владимирской церкви в доме Есауловой по Большой Московской улице, № 4. Находился он в квартире один с прислугой, так как семья его, жена и два сына, уехали в Саратов. Во время нашествия полиции у Чернышевского сидели М. Антонович и доктор П. И. Боков. Обыск производил полковник Ракеев, известный в то время спец по политическим арестам (тот самый, который в свое время отвозил тело А. С. Пушкина в Михайловское). Когда Ракеев заявил Чернышевскому, что хочет поговорить с ним наедине, тот ответил: «А в таком случае пожалуйте ко мне в кабинет», и бросился из зала, где он сидел с Антоновичем и Боковым, так стремительно, что Ракеев растерялся и не успел за ним последовать [2]. Антонович и Боков видимо струсили и, попрощавшись с Чернышевским, ушли, не дождавшись результатов обыска. Эти наивные люди воображали, что так как Чернышевский — слишком крупная величина и пользуется широкой популярностью в «обществе», то правительство едва ли дерзнет бросить вызов общественному мнению и арестовать его. Но когда через полчаса оба они вышли на улицу, то увидали перед домом Чернышевского казенную карету, в которой увозили арестованных. Опять-таки оба приятеля Чернышевского не сочли нужным дождаться его выхода и пошли гулять по соседним улицам. Когда они через полчаса вернулись, кареты уже не было: Чернышевского увезли.

В то время на квартире Чернышевского проживал двоюродный брат его жены, офицер В. И. Рычков. Последнему Чернышевский перед увозом поручил кланяться Антоновичу и сказать, чтобы он не беспокоился и передал Н. Утину, чтобы и он не беспокоился. Антонович говорит,

[1] М. А. Антонович — «Арест Н. Г. Чернышевского». «Былое» 1906, март, стр. 90—94.

[2] Видимо, он хотел (и успел) уничтожить какие-то компрометирующие документы.

что он не понял смысла этих слов. Мы также можем только догадываться о нем. Ясно, что у Чернышевского с Н. Утиным были какие-то революционные дела (по студенческому ли движению или по «Земле и Воле»). С этой точки зрения слова Чернышевского можно толковать как заявление, что он не будет давать никаких показаний по этим делам; но и без того было ясно, что уж Чернышевский-то в откровенные разговоры с жандармами пускаться не будет, и что от него полиция ничего не узнает. Успокаивать своего молодого последователя на этот счет Чернышевскому не приходилось. Поэтому слова Чернышевского нужно об'яснять иначе. Или у него имелись какие-либо компрометирующие документы, которые он успел сплавить в безопасное место до обыска; или же он успел их уничтожить либо хорошо запрятать, прежде чем Ракеев проник в его кабинет. Действительно, таких документов у Чернышевского полиция не нашла [1].

Кроме множества книг и редакционных рукописей, большею частью впоследствии возвращенных, у Чернышевского были взяты: угрожающее письмо плантатора, которое мы выше цитировали, письмо Огарева к Н. Обручеву с рядом выскобленных мест, в том числе, разумеется, и имени адресата, дневник Добролюбова, переданный потом А. Пыпину, переписка с проф. Андреевским и Н. Костомаровым по студенческим делам, зашифрованный дневник самого Чернышевского, письмо Салтыкова (обо всех этих документах мы выше говорили) и несколько полосок бумаги с написанными на них буквами, весьма похожих на условный шифр. Когда Чернышевский уже сидел в крепости, на его имя были получены и захвачены жандармами несколько писем бывшей сожительницы Добролюбова, Т. К. Гринвальд, далее три письма Л. Мечникова из Италии, письма Ив. Захарьина (Якунина), А. Плещеева и друга Добролюбова, М. И. Шемановского — все литературно-делового содержания. Шемановский, впрочем, признан был почему-то «агентом Чернышевского», и на него обращено было внимание III Отделения.

Из этих бумаг особое внимание следователей привлекли, во-первых, эти картонные полоски, в которых они усмотрели шифр для тайной переписки [2], и, во-вторых, те места дневника Чернышевского в которых говорилось о его революционных убеждениях и о неминуемости

---

[1] На другой день профессор-ориенталист И. И. Березин поручил кому-то предупредить Чернышевского, что ему угрожает арест. Но предупреждение это оказалось запоздалым.

[2] Чтобы не возвращаться больше к этому вопросу, укажем, что Чернышевский в «Дополнительном показании» от 1 июня 1863 г. (Сенатское дело о Чернышевском, л.л. 16—27, и Лемке, цит. соч., стр. 348 сл.) уверял, что эти лоскутки, по его предположению, принадлежали А. И. Студенскому, кото-

его ареста в будущем. Чернышевский приписывал этим местам чисто беллетристический характер, уверяя, что он просто заносил в дневник материалы для будущего романа.

Крайне довольный арестом Чернышевского, начальник III Отделения, Потапов, в 2 часа ночи того же 7 июля писал шефу жандармов Долгорукову: «В городе, благодаря бога, все благополучно. С кн. Суворовым, конечно, не без прений, согласились, и арестования сделаны удачно. Ветошников и [Н.] Серно-Соловьевич очень сконфужены; Чернышевский ожидал (разрядка моя), взят здесь на своей квартире; когда приехали его арестовать, у него были Антонович и доктор Боков, которые ушли в другие двери. Все прямо отправлены в Алексеевский равелин; надеюсь, что в понедельник им уже будут даны вопросы» [1] (далее идет сообщение о других арестах: Хафафова, Налбандяна и пр.) [2] В это время Долгоруков уже знал, что В. Костомаров дал компрометирующие Чернышевского показания. Это видно из его резолюции, положенной на доклад Потапова, где между прочим сказано: «Не полезно ли будет, согласно с прежним мнением князя А. Ф. Голицына, вытребовать Костомарова в Спб. и воспользоваться его указаниями тем способом, который признаете наиболее успешным?» Дальше мы увидим, какой способ почтенная компания признала наиболее подходящим для достижения своей цели. Но пока отметим, что о направленных против Чернышевского показаниях В. Костомарова знал уже в июле 1862 г. и председатель следственной комиссии Голицын.

Арест Чернышевского произвел необычайно сильное впечатление на демократическую интеллигенцию. «Если сказать, — пишет в своих «Воспоминаниях прошлого» Л. Пантелеев, — что арест Чернышевского на всех произвел сильное впечатление, то это значит выразиться слишком слабо. С напряженным вниманием прислушивались к малейшим известиям о ходе его процесса». Революционная молодежь была, конечно, потрясена арестом своего идейного вождя [3]. Реакционеры торжество-

рый интересовался русской грамматикой и занимался «лексикографическими и этимологическими разложениями русских слов на их составные части», а вовсе не служили для шифровки; при этом Чернышевский обнаружил слишком хорошее знание различных шифровальных систем и, вероятно, только укрепил подозрения сыщиков.

[1] По отношению к Чернышевскому это самоуверенное предсказание жандарма не исполнилось: он до 30 октября просидел без допроса.

[2] Дело III Отделения (затем Департамента Полиции) № 230/часть 176, л. л. 2—3; Лемке, стр. 212.

[3] В. Шаганов, цит. брош., стр. 1.

вали, радуясь тому, что опаснейший их враг обезврежен, как они надеялись, навсегда. Но и либералы в душе радовались гибели Чернышевского, глубоко презиравшего их и беспощадно разоблачавшего их истинную природу. Так, один из вождей тогдашнего либерализма и хороший знакомый Чернышевского, Кавелин, в письме к Герцену не скрывал своего истинного чувства: «Известия из России с моей точки зрения не так плохи... Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными... Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видал. И было бы за что погибать! Что пожары — в связи с прокламациями, в этом нет теперь ни малейшего сомнения» [1].

Таков был иудин поцелуй либерала, до сих пор окруженного ореолом сияния в глазах наших «конституционно-демократических» буржуа. Повторяя гнусную полицейскую сплетню о связи петербургских пожаров с революционными прокламациями, эти господа давали моральное оправдание разгулу репрессий, с которыми реакция обрушилась на демократов, и в частности заранее оправдывали расправу с их вождем. Нужно ли удивляться тому, что наш старый знакомец, автор доносов в III Отделение, поспешил выразить свое удовольствие начальнику политической полиции по поводу ареста ненавистного главы революции?

Арест Чернышевского состоялся 7 июля, а уже 14 июля анонимный доносчик адресует Потапову третье письмо. В нем, снова выступая в защиту либералов, протестуя против преследования тверитян, засаженных за их оппозиционное обращение к правительству, требуя облегчений для «благонамеренной» печати, высказываясь даже за уничтожение особого корпуса жандармов, либеральный шпион требует беспощадной расправы с левыми, с простым народом, рекомендуя для острастки черни повесить парочку заведомо невиновных людей и отправить в ссылку Чернышевского. На этот раз автор письма ошибся: жандармы приуготовляли для великого русского писателя участь более горькую.

Вот этот замечательный документ.

«Спасибо вам, Александр Львович, что засадили Чернышевского. Спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигалич, Яренск, что-нибудь в этом роде. Это — опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием. Одна беда, что вы ловите только наружное, упуская направление; не тесните благонамеренную цензуру [2], не гоняйтесь за фразой, за словом. Что сделал «День»? За

[1] «Письма Кавелина и Тургенева к Герцену», стр. 82; ср. Русанов — «Социалисты Запада и России», стр. 276.

[2] Видимо, описка вместо «прессу».

резкую речь не должно преследовать. Не беда, что он расходится с вами во мнениях — это противник благородный, откровенный, — бояться должно врага тайного, действующего из-за кулис, как «Современник», у которого цензура не умела разглядеть социальное направление, а мы все давно видели и плечами пожимали. Вникните в набор статей — не нужно много проницательности, чтобы понять направление — вот где яд для юношества, — а писание Станицкой[1] — такая штука молодых девиц совсем собьет с толку. Вот где положительный вред, а не в славянофильстве «Дня». Аксаков может ошибаться, кто же из нас непогрешим? Но он — благородный патриот, честный человек, из-за угла камня не бросит. Таких людей умное пр[авительство] не теснит. Зачем напрасно мучите тверитян? Неразумно: открытый враг не опасен. Положим, что они увлеклись, — за это подержали в крепости и довольно. Не хотите пожертвовать мерзавцами, боитесь вздернуть парочку, пусть и не совсем виноватых в поджоге, но народ бы успокоился и видел бы энергию пр[авительст]ва. Тысячи невинных страдают от безумцев, а вы с ними церемонитесь. Гуманность — вещь хорошая, но в пр[авительст]ве она иногда не у места — лучше палец отрубить, чем после руку резать. Не стесняйте свободу слова в печати, пусть Аксаковы говорят смело — они Вам же многое откроют. Но зорко проникайте в такие писания, где таится принцип разрушения общественного порядка — смотрите, чтобы в пустых книжонках для народа не проскакивали идеи гибельные. Против нападающего открыто можно защищаться, но когда червь подтачивает в корне, тут не спасешься — он разрушает организм. Уничтожьте официальных жандармов — это произведет эффект, а держите немного, но очень умных, сметливых агентов, и Вы будете лучше и более знать. Не хочу называть, а то бы я Вам указал, что за дрянь у Вас ходит в голубых мундирах. Что могут они сообщить Вам? Самый обыкновенный хитрец проведет любого из них за нос, а между тем эффект дурной. Поучитесь у Наполеона — он все знает и без жандармов. Приглядывают ли у Вас за Н. Утиным? Демагог и решительная голова.

«Успокойте публику, напечатайте что-нибудь, как идет следствие поджигателей — все ждут и ропщут на медленность, на слабость Вашу. Не должно пренебрегать мнением общества.

---

[1] Подчеркнуто красным карандашом в оригинале. — Вероятно, имеется ввиду Н. Станицкий (псевдоним А. Я. Головачовой-Панаевой). Эта описка (Станицкая вместо Станицкий) показывает, что автор письма был близок к литературным кругам и знал, что под мужским псевдонимом скрывается женщина.

«Пошли Вам господь терпения, уменья, успеха и разума. Ум хорошо, но разум лучше.

«Я писал несколько раз А. Адлербергу [1], но он верно бросал мои письма — напрасно. Я не покупной мушар — ничего не ищу. Как человек досужий, много странствующий по России, много вижу и слышу и считаю долгом помогать пр[авительств]ву. Это обязанность каждого, кто желает порядка, тишины и общего спокойствия».

Как видим, разохотившийся автор, уже в первом доносе указавший на Н. Утина, снова напоминает о нем и требует его головы. Утин выдвинулся во время студенческих волнений 1861 г. и был хорошо знаком профессорским кругам. Это снова подтверждает, что именно к этим кругам был близок автор доносов [2].

---

[1] Сын В. Адлерберга, министра имп. двора; впоследствии, с 1872 г., заменил на этом посту своего отца. Но возможно, что здесь описка, вместо В. Адлерберга.

[2] Не был ли это упомянутый выше проф. М. Касторский?

Глава вторая

ПРОЦЕСС ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1. В Алексеевском равелине

Чернышевский был отвезен сразу в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, историческую тюрьму, в которой русские императоры хоронили своих политических врагов [1]. В этой мрачной, сырой и темной тюрьме Чернышевский, числившийся в равелине, как «арестант под № 9», провел в одиночной камере почти два года (678 дней) и отсюда же 20 мая 1864 г. был отправлен в Сибирь на каторгу. В равелин Чернышевский был заключен по *личному* распоряжению царя [2].

Когда Чернышевский был доставлен в равелин, там находился только один узник, поручик Бейдеман, незадолго до того арестованный при переходе границы [3]; но вскоре тюрьма наполнилась рядом лиц, арестованных по делу о сношениях с лондонскими пропагандистами, по которому и надлежало бы собственно привлечь Чернышевского, если бы жандармы не знали слишком хорошо, что по этому пункту им не удастся его засудить. В тот же день, т. е. 7 июля, в равелин доставлены были Н. Серно-Соловьевич и Ветошников, а затем туда заключены были Авдеев, Белозерский, Воронов, Владимиров, Котляревский, Лялин, Налбандян (Налбандов), Ничипоренко, Петровский, маркиз де-Траверсе, Шебаев (несколько человек из этой группы, в том числе Н. Серно-Соловьевич, Ветошников и Налбандян, остались

---

[1] П. Н. *Столпянский* — «Старый Петербург. Петропавловская крепость». Гиз, Петр. 1923, стр. 91. Описание внешней жизни в этой тюрьме дал тогдашний помощник смотрителя равелина И. Борисов («Алексеевский равелин в 1862—1865 гг.». «Русская Старина» 1901, № 12, страница 575 и следующие).

[2] Об этом свидетельствует записка А. Голицына, приведенная в статье М. Н. *Чернышевского* — «Пропавшие письма Н. Г. Чернышевского», «Былое» 1922, № 18, стр. 55.

[3] О нем см. П. *Щеголев* — «Таинственный узник». 1924.

там и после увоза Чернышевского). В том же 1862 году в равелин посажены были Стронин и В. Шевич по делу украинских кружков. В 1863 г. прибавилось много заключенных по делу «Земли и Воли», как то: Андрущенко, Носов, Мосолов, Пушторский, Шатилов, Столпаков, далее поручик Кувязев, Шматович, Вейде и Издебский, а также по делу «Казанского заговора» Иваницкий, Жеманов и Мрочек. Кроме того сидели в равелине Мартьянов, добровольно вернувшийся из Лондона, и Шелгунов по делу о прокламации «К солдатам», почему-то не присоединенный к делу Чернышевского [1]. Многие из этих лиц пересидели Чернышевского в равелине.

Номинально Петропавловская крепость находилась тогда в ведении петербургского ген.-губ. Суворова, но фактически политическими заключенными распоряжалось III Отделение. Комендантом крепости был ген. Сорокин, а смотрителем равелина майор Удом. Режим в равелине в период 1862—1864 гг. был сравнительно мягким, в частности по отношению к Чернышевскому. Правда, несмотря на то, что он был подследственным, а не осужденным арестантом, свидания давались ему очень редко, да и тех он принужден был добиваться такими героическими средствами, как голодовка. Равным образом письма к нему не пропускались [2]. Но зато ему разрешено было иметь письменные принадлежности, получать книги и заниматься литературной работой (такое же разрешение дано было и сидевшему в крепости Д. Писареву). Больше Чернышевскому ничего и не требовалось. Он лихорадочно засел за работу и, несмотря на раздражительное состояние, вызываемое чинимым по отношению к нему беззаконием, проявил необычайную умственную производительность. Он настолько увлекся работой, что даже не пользовался прогулками и не выходил из камеры: гулять он, впрочем, никогда не любил. Вначале он выходил на прогулку, воображая, что в это время обыскивается камера, и что его отказ от прогулки возбудил бы подозрение крепостной администрации, внушив ей мысль, что он что-то прячет у себя в камере. Но когда он убедился, что это предположение несправедливо, он засел в своей келье почти без движения, меняя только сидячее положение на лежачее, и писал без устали [3]. Отчасти Чернышевский работал для доставления средств семье [4], но глав-

---

[1] П. Щеголев — «Чернышевский в равелине». «Звезда» 1924, № 3, стр. 71 сл.

[2] Дело Департамента Полиции № 230/часть 76, л. л. 130—133.

[3] В рассказе И. Ясинского («Роман моей жизни», стр. 112) со слов ген. Новоселова о жизни Чернышевского в крепости много выдуманного.

[4] После ареста Н. Г. «Современник» продолжал выплачивать его жене по 150 рублей в месяц (до самого прекращения журнала в 1866 г.). Но при

ным образом под влиянием потребности в литературном творчестве, сделавшейся его второй натурой. Он переводил, делал компиляции, сочинял беллетристические произведения, писал автобиографию, словом, проявлял в тюрьме, в самых, казалось бы, неблагоприятных психологических условиях, не меньшую умственную энергию, чем на воле, когда он писал не впустую и знал, что каждое его слово дойдет до читателя и окажет свое действие.

Так, Чернышевский перевел XV и XVI томы «Всеобщей истории» Шлоссера, VII и VIII томы «Истории Англии» Маколея, переводил «Историю XIX века» Гервинуса и «Историю Соединенных Штатов» Неймана, «Исповедь» Руссо, — причем составлял «Заметки для биографии Руссо» на 46 листах (последние три работы не были напечатаны), — начало книги Крике «Племена и народы», отрывки из «Записок Сен-Симона» и «Автобиографии Беранже». Далее по книге Кинглека о Крымской войне он составил обширную компиляцию, напечатанную во второй части десятого тома его сочинений. Кроме того, Чернышевский написал в крепости целый ряд беллетристических произведений. Из них наиболее известен роман «Что делать?», в свое время напечатанный. Далее он писал повесть «Алферьев», начало которой напечатано в томе X его сочинений (но имеется и ненапечатанное продолжение) [1]. Наконец, он написал значительную часть другого беллетристического произведения «Повести в повести». Всего было им написано свыше трехсот полулистов; но III Отделение задержало эту работу, и она до сих пор не напечатана [2].

Если даже отбросить черновые листы и учесть только белевые рукописи, то, как указывает Щеголев, окажется, что Чернышевский в равелине написал по беллетристике 68 печатных листов (по 40 000 букв в каждом), научных работ — 12 листов, автобиографии — 10, компиляций — 11, переводов — 100 листов, всего около 205 печатных листов, т. е. свыше 9½ печатных листов в месяц, а, за вычетом компиляций и переводов, по 4 с лишним печатных листа, — и это в течение 22 месяцев тюремного заключения без перерыва! С черновыми редакциями это даст даже по 11½ печатных листов в месяц. Умствен-

ее привычке к широкой жизни этого, разумеется, ей нехватало. Помогали ей и Пыпины (см. В. А. Пыпина — «Любовь в жизни Чернышевского», стр. 47 сл.).

[1] Первоначальное заглавие повести было «Шестаков», вероятно, навеянное действительной фамилией героя повести (Обручев, обруч = шест), затем переделано на «Сырнев» (бочки с сырами тоже обиваются обручами) и, наконец, заменено фамилией «Алферьев».

[2] Дело Департамента Полиции № 230/часть 76, л. 176; сведения о работах его в том же деле, л.л. 134, 155, 157 и пр.

ная производительность действительно поразительная и едва ли небеспримерная.

Интересно отметить, что в равелине Чернышевский читал произведения следующих авторов: Диккенс, Жорж Занд, Стерн, Гоголь, Кольцов, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Фет, Помяловский, Беранже, Гейне, Гораций, Овидий, Флобер, Лесаж, Фрейтаг, Монтень, Дарвин, Фохт, Гексли, Ляйель, Оуэн и пр.

К сожалению, многие из написанных им произведений до сих пор не напечатаны [1].

2. В следственной комиссии

Встревоженное появлением прокламаций и первыми признаками растущего революционного движения правительство Александра II создало «высочайше учрежденную следственную комиссию», первым председателем которой был кн. А. Ф. Голицын [2]. Этот Голицын был старым инквизитором, отличавшимся еще в 30-х годах XIX века по делу Герцена и других, словом, питомцем николаевской жандармской школы. Этого-то матерого сыщика «благодушный» и «либеральный» «царь-реформатор» и поставил во главе комиссии, призванной чинить розыск и выметать на Руси измену. В товарищи ему по удушению крамолы даны были достойные сотрудники. Таковыми были: начальник III Отделения, А. Л. Потапов, представлявший в комиссии этот царский застенок; С. Р. Жданов, представлявший министерство внутренних дел, полицейский по призванию, бессовестный и свирепый сыщик, впоследствии отличившийся по делу «Казанского заговора», где ему удалось воздвигнуть эшафот для пяти человек и отправить на каторгу множество других; второй представитель того же министерства вн. дел, «специалист» по делам печати, Каменский, и третий представитель того же ведомства, «злобное ничтожество», как называет его Лемке, М. Н. Турунов; сенатор М. Ф. Гедда, представитель министерства юстиции, призванный прикрывать ширмою закона произвольные действия комиссии и подыскивать юридические основания для «закапывания» ее

[1] Опубликована часть мелких рассказов, примыкающих к «Повести в повести» (в «Звезде» за 1924 год, в саратовском сборнике о Чернышевском 1925 г., в № 8 «Красной Нови» 1928 г. и др.).

[2] Комиссия эта просуществовала с 1862 по 1871 год и рассмотрела за это время дела около 3 000 лиц, заподозренных в государственных преступлениях. После каракозовского покушения в 1866 году председателем ее одно время был пресловутый Муравьев-Вешатель. Отчет этой Комиссии напечатан В. Я. Богучарским в № 4 «Голоса Минувшего» за 1915 год, стр. 193—221 («Общественное движение 60-х годов под пером его казенных исследователей»).

жертв; П. Н. Слепцов, представитель военного министерства; три представителя полиции, на подбор бандиты и мошенники: от петербургского генерал-губернатора — свитский генерал К. И. Огарев, петербургский обер-полицеймейстер И. В. Анненков и другой свитский генерал А. М. Дренякин, кровавая собака и убийца, стяжавший любовь «благодушного» царя зверским усмирением несчастных крестьян в селе Бездне Казанской губернии.

Этой-то комиссии передано было для расследования дело Чернышевского.

Однако вначале комиссия никакого серьезного материала против Чернышевского не имела. Мы уже указывали на мизерные результаты произведенного у Чернышевского обыска и перечислили взятые у него бумаги. Ни один из этих документов не давал возможности уличить Чернышевского в революционных замыслах и действиях. Письмо Герцена-Огарева скорее даже говорило в его пользу, так как оно было посвящено полемике с Чернышевским, упрекало его в скептицизме и нежелании воспользоваться своим влиянием на молодежь. Особенное внимание обратили следователи на некоторые места из дневника Чернышевского, цитированные нами в первом томе (стр. 114—117). Но и эти места не могли послужить прямой уликой, изобличающей Чернышевского в фактической прикосновенности к революционным предприятиям.

Но III Отделение не хотело выпустить из когтей свою жертву. 1 августа 1862 г. Потапов представил в комиссию записку, составленную по донесениям полицейских агентов, выше нами цитированным. Записка характеризовала литературную деятельность Чернышевского, перечисляла его знакомых, описывала его образ жизни, рассказывала о посещении им в 1859 г. Герцена в Лондоне, но главным образом лгала, путала и инсинуировала без конца, обвиняя Чернышевского в возбуждении революционного брожения среди студентов и в составлении никому неведомых прокламаций. Но и эта записка, хотя и создавала известное моральное настроение против Чернышевского, не могла служить к его обвинению благодаря полословности инсинуаций [1].

Положение комиссии было не из ловких: в сущности она не могла пред'явить Чернышевскому никаких конкретных обвинений. Потому она его долго и не допрашивала. Он терпеливо сидел в крепости, со дня на день ожидая своего освобождения, так как был твердо убежден, что никаких серьезных улик против него правительство не имеет. Он

[1] Она находится в Деле следственной комиссии о Чернышевском, л. л. 48—53; перепечатана у Лемке, цит. соч., стр. 198—202.

усердно работал и переписывался с женою. В письме от 5 октября 1862 г., которое комиссия не сочла возможным передать его жене, а приобщила к делу [1], заключалась следующая ужасная, по мнению сыщиков, фраза: «Наша с тобою жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости и характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» (дальше следует план будущих работ, о которых мы говорили в I томе, стр. 181 сл.). В этих словах Чернышевского комиссия усмотрела необычайное самомнение и преступную гордость. В умственном и моральном отношении члены следственной комиссии как видно, не уступали либералу Кавелину.

Наконец, 30 октября 1862 г. по истечении 4½ месяцев комиссия учинила Чернышевскому первый допрос. Собственно единственный пункт пред'явленного ему обвинения сводился к сношению с лондонскими эмигрантами и их агентами в России, а также к содействию им в достижении их преступных целей, причем обвинение это было сформулировано в нарочито туманных словах. Чернышевский представил раз'яснения по всем пред'явленным ему вопросным пунктам, причем держал себя достойно и даже вызывающе, убежденный, что никаких серьезных улик против него комиссия не имеет. Чернышевский все еще продолжал надеяться на скорое освобождение. Но видя, что комиссия меньше всего думает об этом, несмотря на отсутствие улик, Чернышевский 20 ноября написал 2 письма: одно государю, а другое — петербургскому генерал-губернатору кн. Суворову [2].

В письме к царю Чернышевский, говоря его собственными словами из письма к Суворову, «не употребляет ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства», т. е. дер-

[1] См. Дело следственной комиссии, л.л. 154—155; у Лемке, стр. 219—221. — После слов: «со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей втечение веков, как был Аристотель», идут слова: «А, впрочем, я заговорил о своих мыслях; они — секрет; ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной». Тут, на эти две строки письма упала капля, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы. Была ли то слеза, исторгнутая из глаз этого мужественного человека мыслью о том, что в сущности все это — мечты, которым никогда не придется исполниться, что его литературная карьера закончена, и что никогда ему не удастся осуществить грандиозных замыслов, копошившихся в его мозгу? Кто ответит на этот вопрос?

[2] Напечатаны в статье М. Н. Чернышевский — «Пропавшие письма Н. Г. Чернышевского». «Былое» 1922, № 18, стр. 49—54, и у Лемке, стр. 225—231.

жится достойного тона человека, сознающего, что ему причинена несправедливость, но что он находится во власти виновника этой несправедливости, и добивается признания за ним его права. Характерная деталь: оно подписано не «верноподданный», а просто «подданный», ибо подданство есть факт рождения в определенной стране, не зависящий от воли человека, тогда как верноподданничество есть признак суб'ективного настроения, которого у Чернышевского, конечно, не было, и отсутствие которого здесь демонстративно подчеркивалось. В этом письме Чернышевский, указывая на то, что у комиссии нет против него обвинений, и что единственный пред'явленный ему пункт обвинительного свойства не выдерживает критики и опровергается общеизвестным отношением его к Герцену, просит оказать ему справедливость повелением об освобождении его от ареста. А в письме к Суворову, которого он просил передать его письмо царю, Чернышевский несколько подробнее опровергает направленные против него обвинения, доказывая, что они большею частью основаны на сплетнях его литературных и политических противников. Утверждая категорически, что против него «не существует и н е м о ж е т существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству», Чернышевский продолжает:

«Доказательство тому: я оставался в Петербурге последний год. С лета прошлого года носились слухи, что я ныне-завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день. Если бы я мог чего-нибудь опасаться, разве мне трудно было уехать за границу, с чужим паспортом или без паспорта? Всем известно, что это — дело легкое не только у нас, но и везде. Да мне не было и надобности прибегать к такому средству: г. министр народного просвещения предлагал мне казенное поручение за границу [1], говоря, что устранить запрещение о выдаче паспорта он берет уже на себя [2]. Почему же я не уехал? И почему, при всей мнительности моего характера, я не тревожился слухами о моем аресте? А что я не тревожился ими, известно всему литературному кругу и доказывается состоянием, в каком были найдены мои бумаги при моем аресте: опытный следователь, разбирая их, может убедиться, что они не были пересматриваемы мною, по крайней мере, полтора года» [3].

[1] Это совершенно новый факт, на который исследователи до сих пор не обращали внимания. Какого характера было это казенное поручение, нам неизвестно.

[2] Итак, Чернышевский знал о том, что ему запрещено выдавать заграничный паспорт.

[3] Повидимому, предвидя в будущем такой аргумент со стороны Чернышевского, лживый Потапов и включил в свой цитированный выше (стр. 369) доклад Долгорукову подчеркнутые там нами слова: «Чернышевский ожидал».

Несомненно, Чернышевский писал так подробно Суворову в надежде, что тот при личном докладе Александру II передаст ему наиболее существенные части этого письма. Но жандармы во все времена были сильнее официальных властей. Суворов, якобы всемогущий ген.-губернатор столицы и прямой начальник Петропавловской крепости, которому письма были адресованы, их не получил. Комендант крепости Сорокин направил письма в III Отделение, а шеф жандармов, кн. В. А. Долгоруков, скрыл их от Суворова, но показал их царю. Коронованный иезуит приказал переслать оба письма для ознакомления А. Голицыну, с тем, чтобы он не говорил о них ни Суворову, ни кому-либо другому, а со своим об'яснением вернул их шефу жандармов для доклада царю [1]. Голицын 30 ноября ответил Долгорукову лживой и уклончивой справкой, сущность которой сводилась к тому, что пока против Чернышевского нет обвинений. Но дальше он приоткрывал краешек завесы, которою была скрыта ужасная интрига, направленная к гибели Чернышевского. «При таких обстоятельствах, — писал этот бесчестный инквизитор, — трудно было сблизить и ускорить допросы Чернышевскому. Между тем новое обстоятельство невольным образом отложило их возобновление. Комиссия для большей улики ожидает показаний Костомарова (курсив мой). Рассмотрение и собрание их, совокупно с имеющимися о Чернышевском сведениями, определит степень прикосновенности его в общем деле» [2].

К письму Голицына приложена была записка, в которой говорится, что Чернышевский отправлен в Алексеевский равелин по приказу царя; что «поводом» к его аресту послужило письмо Герцена к Н. Серно-

---

[1] В феврале 1863 года до Суворова все-таки дошли слухи об этих письмах; он запросил о них коменданта, а тот ответил ему, что по обязанности службы переслал их в III Отделение. Так Суворов ничего и не добился. В сентябре 1863 года сенат, от которого эти письма тоже были скрыты, затребовал их от Суворова, так как Чернышевский на них ссылался. Суворов обратился к Потапову, а тот направил его запрос в комиссию Голицына. Комиссия постановила ответить Потапову, что все бумаги по делу Чернышевского ею были в свое время переданы м. юст. Замятнину, и что в комиссии никаких писем Чернышевского не имеется. Ну да, они находились у... Потапова в III Отделении, и царь прекрасно об этом знал! (см. Дело № 28, л. л. 46—47). Так действовали в самодержавной России. «Личный друг царя» и генерал-губернатор столицы, которому письма эти были адресованы через его подчиненного, коменданта крепости, так их никогда и не получил.

[2] М. Н. Чернышевский, цит. ст., стр. 54—55; Лемке, стр. 232—233. Но следующей записки Голицына (у М. Н. Чернышевского стр. 55—57) Лемке не приводит, а она весьма важна.

Соловьевичу. И кончается записка следующими словами: «Независимо обвинений Чернышевского по распространению пропаганды, комиссия, имея ввиду вредное направление статей его, помещенных в журнале «Современник»,... признала нужным: подвергнуть статьи строгому разбору и сделать из них общий вывод, чтобы тем определить литературные тенденции Чернышевского. Разбор этот сделан и принят в соображение при дальнейшем направлении дела; а между тем для улики Чернышевского в злонамеренных его действиях ожидается из Москвы от состоящего под судом отставного корнета Костомарова показание, с указанием фактов как против Чернышевского, так и других лиц» (курсив мой).

Это письмо Голицына и приложенная к нему записка чрезвычайно существенны для характеристики процесса Чернышевского. Во-первых, в них впервые появляется зловещее указание на В. Костомарова как на предателя, могущего доставить новые данные для обвинения Чернышевского. Во-вторых, этими документами комиссия Голицына определенно признала: 1) что для ареста Чернышевского у жандармов не было оснований; 2) что таковых они не могли подыскать и втечение пяти месяцев его заключения; 3) что материалы, взятые у него при обыске, также не давали оснований к его обвинению; 4) что агентурные сведения даже в той тенденциозно перевранной форме, какую придал им Потапов, равным образом ничего серьезного против Чернышевского не давали; и наконец 5) что последняя надежда оставалась на В. Костомарова, который должен был представить данные, способные послужить к обвинению Чернышевского. А, в-третьих, — и это, пожалуй, наиболее пикантная и уличающая часть этих документов, — Голицын определенно заявлял, что если даже и не удастся раздобыть изобличающих Чернышевского материалов (на В. Костомарова, видимо, не вполне полагались, и по-делом!), то с ним все-равно расправятся за «вредное направление статей его», напечатанных с разрешения цензуры, и накажут его за его «литературные тенденции» и влияние. Это была сущая правда, притом единственная правда во всех лживых выкрутасах председателя «высочайше учрежденной» (и высочайше направляемой!) следственной комиссии.

Таким образом ясно, что какая-то записка о литературной деятельности Чернышевского была составлена (по инициативе ли следственной комиссии, как заявляет Голицын, или по инициативе III Отделения, как думаем мы, а может быть, и по инициативе самого царя, внимательно следившего за ходом дела) еще в 1862 году. Лемке в «Политических процессах» перепечатал из жандармских дел о Чер-

нышевском две такие записки: одну, которую он, вслед за Z., автором статьи о Чернышевском в № 189 «Колокола» [1], приписывает литератору Илье Арсеньеву, прикосновенному к III Отделению и потому получившему от юмористического журнала «Искра» прозвище «Арсеньева III» (при этом Лемке ссылается на рассказ Рейнгардта, который он, впрочем, сам признает недостоверным), и другую, более обширную, которую он приписывает В. Костомарову [2]. Первая из этих записок была «по высочайшему повелению» прислана Голицыну Долгоруковым 7 июня 1863 года при отношении за № 2338 «для приобщения к делу о Чернышевском», а это между прочим доказывает, что инициатива расправы с Чернышевским за его легальную литературную деятельность исходила от царя [3]. А комиссия Голицына 12 июня постановила отправить эту записку к министру юстиции Замятнину ввиду того, что дело Чернышевского к тому времени перешло уже в сенат. Тогда же она и была передана Голицыным Замятнину, который и переправил ее в сенат, о чем мы скажем в своем месте.

Та ли это записка, о которой говорит Голицын в вышецитированном письме к Долгорукову? И та, и не та. Сенат в 1863 году имел дело с другой, более короткой редакцией; та же записка, о которой говорит Голицын в 1862 г., была распространеннее, хотя по существу совпадала со второй, сокращенной. Эту первоначальную редакцию записки о литературной деятельности Чернышевского нам удалось найти в дополнении к делу I Экспедиции III Отделения за 1862 год [4]. Ознакомление с этим делом не только убедило нас в том, что в руках следственной комиссии действительно имелась такая записка, но и помогло открыть ее действительного автора.

В этом деле имеется следующая пометка, вероятно, Потапова, которую мы приводим с сохранением орфографии: «30 мая. Записка

[1] Автором этой статьи «Николай Гаврилович Чернышевский» был, вероятно, В. Зайцев. Она перепечатана в «Материалах для истории рев. движения в России в 60-х гг.» Базилевского, Париж, 1905, стр. 106—109.

[2] Первая находится в сенатском деле, т. I, л. л. 59—74; у Лемке, стр. 378—388; а вторая у Лемке, стр. 389—438.

[3] См. Дело № 28 следственной комиссии, лист 36. Это дело, повидимому, осталось неизвестным для М. Лемке.

[4] «К делу I экспедиции 1862, № 230, ч. 26, пап. № 73»: 1) Литературные тенденции Чернышевского; 2) Смысл и значение статей, запрещенных цензурою в 1862 году; 3) Дело I эксп. о публичных лекциях, № 57 1862 года (на внутренней стороне описи пункт 1 озаглавлен иначе: 1. Секретный обзор литературной деятельности Чернышевского. А внизу приписано: «отправлен 10 января (надо понимать: 1863 года. — *Ю. С.*) к г. т. с. Гедерштерну». К отношению Прав. Сената № 1167).

о Чернышевском, составленная из записок Костомарова и Касторского первая переписывается и будет окончена к воскресенью, вторая представляется». А дальше (рукою Долгорукова?) приписано: «Я оставил эту записку у себя. 30 мая».

Итак, авторы записок о литературной деятельности Чернышевского установлены: это, во-первых, предатель В. Костомаров и, во-вторых, профессор М. И. Касторский, о котором мы говорили выше (стр. 193—197 и 205). Илья Арсеньев здесь был ни при чем.

Но вместе с тем приведенные пометки возбуждают ряд сомнений. Прежде всего, когда они сделаны? 30 мая 1862 или 1863 года? Мы склоняемся к последнему предположению (ведь в мае 1862 года Чернышевский не был еще арестован) и думаем, что записки эти были направлены III Отделением Долгорукову, который, просмотрев их, и отправил первую из этих записок 7 июня 1863 года в следственную комиссию (по ошибке вместо сената, для которого она теперь предназначалась). Но, как мы указали, записка, находящаяся в сенатском деле и оттуда заимствованная М. Лемке, не вполне совпадает с текстом, находящимся в упомянутом деле I Экспедиции, хотя не подлежит сомнению, что это — вариант той же записки. А отсюда мы вправе сделать тот вывод, что составленные Касторским и В. Костомаровым записки переделывались в III Отделении, как о том, впрочем, говорит и приведенная выше пометка Потапова.

О содержании этих записок мы будем говорить дальше. Теперь же возвращаемся к Чернышевскому.

После допроса 30 октября 1862 года последовал новый перерыв до 16 марта 1863 года. Чернышевский, не зная, какая гнусная махинация ведется против него в тайниках III Отделения, естественно возмущался медлительностью следственной комиссии, не будучи в состоянии понять, зачем она так тянет дело. Во всяком случае после первого допроса он вправе был думать, что комиссия никакими данными для расправы с ним не располагает. И вот 7 декабря 1862 года он пишет следующее письмо своей жене [1].

«7 декабря 1862 г.

«Милый друг Ляличка.

«Когда Ты уезжала, я говорил тебе по поводу слу[хов], беспрестанно разносившихся о моем арестовании: «Я не полагаю, чтобы меня

[1] Письмо это находится в дополнительном томе делопроизводства следственной комиссии под № 28. До сих пор оно исследователям известно не было. Оно слегка повреждено: оторван верхний угол. Но недостающие несколько букв легко восполнить по смыслу. Мы заключаем эти недостающие буквы в прямые скобки.

арестовали; но если арестуют, знай вперед, что из этого ничего не выйдет, кроме того, что напрасно компрометируют правительство опрометчивым арестом, в котором должны будут извиняться, потому что я не только не запутан ни в какое дело, но и нет возможности запутать меня в какое бы то ни было дело». Эти слова мои верны, и я тебе теперь поясню их результатами, какие вышли наружу, вероятно не для одного Петербурга, но и для европейской публики. Моя история, конечно, уже разгласилась, потому можешь и ты знать ее.

«Почему я полагал, что меня не арестуют? Потому что я знал, что за мною следили и хвалились, что за мною следят очень хорошо. Я имел глупость положиться на эту похвальбу. Мой расчет был: если хорошо будут знать, как я живу, и что я делаю, и чего не делаю, то подозрения против меня уничтожатся, и кто подозревал, те убедятся, что напрасно смешивали меня с людьми, которые запутываются или могут быть запутаны в так называемые «политические преступления». Я сказал, что этот мой расчет на справедливость похвальбы хорошим наблюдением за мною был глуп. Он был глуп потому, что я знал, что у нас ничего не умеют делать, как следует, — какое же право имел я делать свой случай исключением из правила — верить, что за мной следят как следует? Мой арест показал мне, что вместо того, чтобы действительно следить за мною, просто без разбора собирали пустые слухи и верили всяким вздорам, что у нас не редкость. Таким образом неуменье наших агентов политической полиции исполнять свою обязанность разрушило первое из двух положений, из которых одно необходимо должно было быть верным, потому что не было никакой возможности для третьего случая, кроме двух единственно возможных, обнимаемых моим предположением. Таким образом, осуществилось второе из этих предположений: моим арестованием компрометировали правительство. Арестовали — и подумали: «в чем же мы будем обвинять его?». У нас это часто бывает: сперва сделают, а потом подумают, как разделаться с тем, что сделали. Обвинений против меня не оказалось, когда вздумали, что ведь нужно же посмотреть, есть ли обвинение против меня. Что тут было делать?

«Человек арестован, а обвинений против него нет... [здесь оборван угол] это, что называется, казус. Вот над этим казусом думали четыре месяца. Я сидел арестованный, читал, курил, спал, потом: читал, переводил, курил и спал, иногда скучал, а больше даже и не скучал, а покачивал головой и улыбался, а там все думали, думали — пришли, наконец, к заключению: «скверный казус, обвинений нет как нет, да и только». Теперь вот месяц думают над этим выводом, как тут быть, как поправить этот скверный казус, что арестовали человека.

против которого нельзя найти никаких обвинений, — я читаю, перевожу, курю, сплю, а там думают. Сколько ни думай, нельзя ничего другого придумать, как только то, что надобно извиниться перед этим человеком. Это бы, пожалуй, еще и не тяжело сделать, но что, если он не примет извинения, а скажет: «у вас против меня нет обвинений, а у меня против вас есть и очень важное обвинение. Вы компрометировали правительство, и моя обязанность об'яснить правительству, что его интересы требуют, чтобы оно защищало себя от людей, его компрометирующих». Ну, что если я скажу такие слова в ответ на извинение?

«Согласись, что слышать такие слова неприятно тем, к кому они будут относиться. Тебе известно, что всякий старается по возможности отдалить неприятность, — вот поэтому теперь и медлят моим освобождением. Но это не может длиться много времени. Правительство спрашивает по временам: «ну что же, какие обвинения найдены против Черн.?». Нельзя же долго отмалчиваться от правительства, и надобно будет сказать: «Мы против него не нашли обвинений, а у него есть обвинение против нас». Вот теперь я и жду, когда правительство добьется этого ответа, — единственного возможного ответа, — от тех, которые должны отвечать правительству за мой напрасный арест.

«Вот и вся история. По всей вероятности, развязка ее уже очень недалека. До свидания же.

Твой Н. Чернышевский».

Наверху письма надписано:

«Имея привычку действовать прямо, я и пишу прямо. Но если это письмо не будет найдено удобным к отправлению, то я [хотел бы] знать, что оно было найдено неудобным к отправлению, и только всего. Мне казалось, что здоровье моей жены возлагает на меня обязанность изложить ей мое дело. А излагать его иначе нельзя, потому что лгать я не стану».

Вряд ли Чернышевский расчитывал на то, что письмо это будет передано его жене. Оно и направлено было собственно по адресу комиссии, которую Чернышевский хотел таким путем вынудить на тот или иной решительный шаг, т. е. побудить ее или освободить его, или пред'явить ему какие-либо точные обвинения. Что жандармы подшили его письмо к делу, это само собою разумеется. Но зловещим признаком было то, что вслед за копией этого письма Чернышевского в деле III Отделения [1] тут же подшита была небольшая карандашная записка,

[1] Дело Департамента Полиции № 230/ч. 26, л. 56. — Это дело до сих пор также не было известно исследователям.

набросанная рукою Потапова, вероятно, для успокоения шефа жандармов и Александра II, где сказано: «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к жене, удержанного комиссиею. Но он ошибается: извиняться никому не придется».

И Потапов знал, что писал. За кулисами тем временем была подготовлена чудовищная махинация, которая должна была окончательно погубить великого предтечу революционного коммунизма. Александр II был в курсе этого заговора и принимал в нем деятельное участие.

Кровожадный тиран следил за каждым шагом своего узника. Когда Чернышевский, возмущенный медлительностью комиссии, месяцами державшей его без пред'явления обвинений, начал в конце января 1863 года голодовку (кстати, первую в истории русского революционного движения), об этом было немедленно доложено царю [1]. А когда с 6 февраля Чернышевский начал угрожать новой голодовкой, которую на этот раз собирался довести до конца, об этом было снова доложено царю, который не только оставил законные требования Чернышевского без внимания, но и дал приказ применить к нему насильственные меры в случае возобновления голодовки. Об этом свидетельствует приписка, сделанная Потаповым на рапорте коменданта крепости 7 февраля: «Высочайше разрешено оставить без последствий; что касается до намерения Чернышевского снова лишить себя пищи, то комиссия, вероятно, примет по сему предмету надлежащие меры» [2].

Напуганная решимостью Чернышевского уморить себя голодом, следственная комиссия, страшась, что такая крупная жертва ускользнет таким образом из рук «правосудия», начала понемногу сдаваться. Но чтобы скрасить свое отступление, жандармы сделали вид, что не дают Чернышевскому свиданий с женой... из заботы о его здоровье (им, как видно, не был чужд юмор висельников). 12 февраля 1863 года Потапов пишет коменданту, что согласно решения комиссии свидание с женой Чернышевскому в настоящее время дано быть не может по неудовлетворительному состоянию его здоровья, и что «разрешение последует в то время, когда он будет совершенно здоров». Приказано об'явить об

---

[1] Переписка Чернышевского с III Отделением, в которой он требовал указания срока, когда кончится его дело, и которая закончилась об'явлением голодовки, находится в Деле следств. комиссии, л. 247 сл.; у Лемке, стр. 236 сл. — О том, как проходила голодовка Чернышевского, рассказывает И. Борисов (цит. ст., стр. 160).

[2] Дело № 230/часть 76, л. л. 71 и 73. — Это был намек на насильственное кормление или другие репрессии, вроде лишения книг и письменных принадлежностей и т. п.

этом Чернышевскому и доложить о состоянии его здоровья, чтобы сообщить об этом комиссии. На это комендант 13 февраля сообщает Потапову, что Чернышевский совершенно здоров и деятельно занимается переводом истории «Гервениса» (sic!) [1]. 18 февраля комиссия решила дать Чернышевскому свидание с женой в присутствии ее членов, и 23 февраля после 7½ месяцев перерыва Чернышевский увидал наконец свою жену [2].

Перед свиданием его посетили члены комиссии и обещали освободить его через несколько дней. Но это было просто издевательством палачей над беспомощной жертвой, которую они твердо решили из рук не выпускать. И когда Чернышевский 27 февраля попросил второго свидания с женой, ему было в этом уже отказано: 4 марта Чернышевский отправил в комиссию новое письмо с повторением своей просьбы. Не получая ответа, он обратился к коменданту с протестом против издевательства над ним и с намеком на угрозу новой голодовки. 10 марта Чернышевский снова жаловался коменданту на «шалунов» из следственной комиссии, затягивающих его дело, не дающих ему свиданий с женой и задерживающих письма его к жене и ее к нему. Но к этому времени положение уже радикально изменилось. В руках комиссии имелись уже «документы», сфабрикованные в III Отделении и «изобличающие» Чернышевского. И теперь она решила с ним уже не церемониться. 11 марта коменданту предложено было сделать Чернышевскому строгий выговор за употребленные им в записке «неуместные и неприличные» выражения, с предупреждением, что в случае повторения таковых он будет вообще лишен права переписки [3].

В деле Чернышевского начиналась новая глава.

---

[1] Дело № 230/ч. 76, л. л. 76 и 78. — В это время он писал «Что делать?», но временно прервал работу над романом, видимо, потрясенный всей этой борьбой.

[2] Повидимому, вопрос этот в конечном счете разрешался самим царем. По крайней мере, для получения свидания Чернышевского с Пыпиными (А. и Евгенией) понадобилась длиннейшая переписка, которая восходила на «высочайшее» усмотрение, и 12 июня коронованный жандарм разрешил просимое свидание «с соблюдением установленных правил в совершенной точности, без малейшего отступления». И даже для посылки письма заключенному требовалось дозволение царя. Так, когда учитель Щеглов (бывший радикал, а затем автор реакционной «Истории социальных систем») пожелал написать Чернышевскому по делу, то ему 26 февраля 1864 года, т. е. даже после осуждения Чернышевского, было «высочайше разрешено» послать ему письмо в незапечатанном конверте (см. Дело № 230/ч. 76, л. л. 120 и 192—193).

[3] Дело следственной комиссии, л. л. 273, 278, 280, 313а, 319; у Лемке, стр. 241—242 и 299.

3. Предатель В. Костомаров и сыщик Путилин

Здесь на сцену выступает Вс. Костомаров, сыгравший такую роковую роль в судьбе двух крупнейших деятелей начала 60-х годов, М. И. Михайлова и Н. Г. Чернышевского. То, что нам известно о В. Костомарове, не дает возможности определенно решить, был ли это профессиональный провокатор и предатель по призванию, с самого начала поставивший себе целью выдвинуться и построить свое материальное благополучие на служении видам правительства, или же слабый, безвольный, трусливый и самолюбивый суб'ект, временно увлекшийся революцией в надежде преуспеть на этом поприще, а затем, при первом соприкосновении с суровой действительностью, убедившийся в силе старого строя, быстро павший духом и для спасения собственной шкуры не устоявший перед соблазном и решивший выдать все и всех, причем, по мере расширения круга своего предательства, он, в силу известного психологического закона, все более озлоблялся против своих жертв и в сознании, что для него отныне нет возврата, переходил от простой выдачи к сознательному придумыванию несуществовавших фактов, к покорному подтверждению всего, что подсказывалось или внушалось ему III Отделением, и не остановился даже перед рядом подлогов, для того чтобы снискать благоволение своих новых покровителей в голубых мундирах и окончательно погубить своих прежних товарищей, самое существование которых звучало промким укором его больной совести. Во всяком случае то, что мы знаем об этом родоначальнике будущих Азефов, свидетельствует о неустойчивости его психики, о наличии в его духовной организации ряда болезненных черт, отчасти о его душевной ненормальности (душевнобольным считали его и Шелгунов, и Чернышевский). Нервный, истерический, тщеславный суб'ект, с повышенной возбудимостью, быстро переходившей в пониженную чувствительность, этот человек в полной мере обладал тем, что англичане называют moral insanity, аморальностью, выраженной в эгоизме низшего пошиба, и был таким образом заранее предназначен к выполнению всех тех грязных дел, которые увековечили его презренное имя, связав его с участью величайшего русского мыслителя и революционера.

Всеволод Дмитриевич Костомаров, из дворян Ярославской губернии, родился в 1837 году и происходил из семьи разорившихся мелких помещиков. Обладая барскими привычками и испытывая тягу к барской жизни, семья вечно нуждалась и искала денег, неважно какими путями [1].

В круг Чернышевского В. Костомаров вошел через М. Михайлова, к которому в январе или феврале 1861 года явился из Москвы

[1] Лемке, цит. соч., стр. 15.

с рекомендательным письмом поэта А. Плещеева [1]. Письмо было чисто литературного характера и просило об оказании поддержки податею.

Плещееву рекомендовал В. Костомарова беллетрист Ф. Берг. Плещеев, которому Костомаров сначала понравился, показавшись ему скромным, застенчивым молодым человеком, стал протежировать ему, способствуя помещению его стихотворных переводов. Но скоро Плещеев убедился, что Костомаров — беззастенчивый лгун, сочинявший с самым скромным видом совершенно лживые истории вроде своей никогда не имевшей места поездки за границу. К сожалению, прибавляет Плещеев, это обнаружилось уже после от'езда Костомарова из Москвы. Отправляясь в Петербург, Костомаров просил Плещеева дать ему рекомендательное письмо в редакцию «Современника», и тот рекомендовал его М. Михайлову и Чернышевскому как человека, отлично знающего языки и очень способного к компилятивной работе [2].

Как рассказывает Шелгунов («Воспоминания», стр. 32 сл.), Костомаров, служа в уланском полку, занимался переводами иностранных поэтов, в частности Гейне. Но симпатии петербуржцев он завоевал тем, что представился им в качестве решительного революционера, располагающего печатным станком и готового издавать нелегальные произведения. В доказательство он представил набор какого-то революционного стихотворения, полностью подписанного его фамилией.

Нравы были в то время настолько патриархальные, что это хвастовство, по словам Шелгунова, послужило наилучшей рекомендацией. Благодаря тогдашней неопытности Костомаров произвел на своих новых знакомых впечатление подлинного революционера, человека дела, без фраз. «Несмотря на кавалерийский мундир, — говорит Шелгунов, — Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я об'яснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова с оттенком какой-то убитости казалась мне чем-то римским. Сухой и нервный, всегда мрачный и не особенно речистый, он мне напоминал прежних заговорщиков времен Цезаря. Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит

[1] «Когда Михайлов был сослан на каторгу, — пишет Шелгунов («Воспоминания», стр. 32), — Плещеев сильно укорял себя за эту злополучную рекомендацию, но точно что-нибудь можно было предвидеть!».

[2] Письмо А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину. «Сарат. сборник» о Чернышевском, стр. 156.

дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал, что когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат об'явил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову даны были вперед деньги, Чернышевский дал работу в «Современнике» и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли расчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать, — у нас же оказалась готовность писать» [1].

Дальше Шелгунов рассказывает, что М. Михайлов, возвратившись из-за границы в Петербург летом 1861 года с отпечатанной в Лондоне прокламацией «К молодому поколению», застал там Костомарова. Костомаров привез одну форму воззвания «К барским крестьянам», а воззвание «К солдатам» еще не начал набирать. «Как и зимой, он опять плакался на своих братьев и сестер и опять повторял, что брат стращает его доносом. Все это уже наводило на подозрения и во всяком случае должно было заставить остерегаться Костомарова». Во второй половине августа Шелгунов встретился раз с Костомаровым. «Он был более мрачен и молчалив, чем зимою, и никогда еще так ужасно не смотрел вниз» [2].

Некоторое смутное подозрение Костомаров начал теперь возбуждать и в Михайлове. «Костомаров, — рассказывает Михайлов [3], — в последний приезд свой из Москвы, произвел на меня далеко не такое приятное впечатление, как прежде. Я в этот раз убедился, что он любит лгать, и когда он мне рассказывал, что брат грозит ему доносом, не верил ему и потому слушал его довольно хладнокровно (!). Я думаю, что все это — вздор, и никакой брат не думал на него доносить; но если это была даже правда, отчего он не постарался уничтожить улики? Я припоминаю теперь еще одно обстоятельство, которому, впрочем, не хочу придавать важности. Упомяну о нем только потому, что оно

---

[1] Уже эти первые шаги В. Костомарова возбуждают сильное подозрение. На основании их можно предположить, что Костомаров был, пожалуй, не просто предателем, а провокатором. На это подозрение наводят оттиск революционного стихотворения с его подписью и заявление о готовящемся предательстве его брата, сопровождавшееся вымогательством денег. В лучшем случае видно, что он уже тогда готовил предательство и на всякий случай запасался материалами.

[2] Если это происходило во второй половине августа, то мрачность Костомарова вполне понятна. В это время уже сделан был донос его брата,— вернее, его самого под фирмой брата, — в III Отделение, полученный там 15 августа.

[3] М. Михайлов — «Записки», стр. 27.

не раз приходило мне на ум впродолжение следствия надо мной. Ты знаешь, как часто жаловался Костомаров на свою бедность, на то, что литература не дает денег, что журналисты (журналистам? — *Ю. С.*) не платят, и пр. Именно, в последнее свое свидание со мною, он говорил, что если так будет продолжаться, он п о с т у п и т в ж а н д а р м ы (курсив мой). Он прибавил, что сделал бы это во вкусе Конрада Валенрода, и говорил шутя; но слова его чрезвычайно неприятно подействовали на меня».

Казалось бы, что такие разговоры, которые Костомаров повел с первых же дней знакомства с Михайловым и Шелгуновым, должны были бы настроить тех на подозрительный лад, но, с одной стороны, неопытность, а с другой — приманка в виде печатного станка, находившегося в распоряжении Костомарова, усыпляли настороженность его собеседников, и опомнились они уже тогда, когда предательство этого господина стало несомненным фактом.

Предательство Костомарова Шелгунов об'ясняет свойствами его натуры, а отчасти душевной ненормальностью. «Костомаров, — говорит он («Воспоминания», стр. 141—142), — когда я уже потом стал всматриваться в него, особенно после некоторых фактов, показался мне не в «порядке». Откуда его озлобление, мрачное, подавленное, сосредоточенное состояние и выдумки, похожие на бред человека, страдающего галлюцинациями? Он просто сочинял обвинения и выдумывал чистые несообразности, которые всем и сразу были очевидны. И все это он делал с какой-то упрямой, злой настойчивостью, по своему обыкновению опустив глаза вниз, точно он в этом злом упрямстве черпал мужество обвинения и боялся, что оно исчезнет, если он взглянет в глаза. И странное дело, этот обвинитель возбуждал сострадание; в нем чувствовалось что-то ноющее, какая-то внутренняя болеющая точка. Вся мрачная подавленность, которая замечалась и ранее в Костомарове, приняла двойные размеры, и в то же время ни одной искры теплого чувства не выскакивало теперь из его мрачного, холодного и злого взгляда. Костомаров точно весь застыл, закалился и ушел в себя...

«Главными отличительными чертами характера Костомарова, как мне кажется, были трусость и хвастливость. Хвастливость довела его и до либеральных стишков, и до их печатания. Вообще это была натура придавленная, приниженная и пассивная. И вот, когда уж и так урезанная жизнь Костомарова кончилась заключением и солдатчиной, этого оказалось слишком, чтобы он мог вынести без протеста, но протеста в форме жалобы и обвинения других. Это — обыкновенная форма протеста всех (?) слабых людей, привыкших повиноваться чужой воле. Слабый и неумный, Костомаров, потеряв душевное равновесие, потерял и

способность правильно понимать свои поступки. Личное чувство и так уже в нем, должно быть, безмерное, в заключении развилось еще больше; он преувеличил свое несчастье и озлобился. Неоспоримо, что это был человек больной и несчастный» [1].

Если верить Н. Рейнгардту, то приблизительно такого же мнения о В. Костомарове держался и Чернышевский. Но когда именно он стал так смотреть на предателя, — до своего ареста или после, это неясно; мы думаем, что вернее второе. Приводимый ниже разговор происходил после возвращения Чернышевского из Сибири, т. е. в 80-х годах. «Я никогда не доверял Костомарову, — сказал Чернышевский, — и относился к нему крайне подозрительно, советовал и всем нашим быть с ним осторожнее, но как Михайлов, так и Добролюбов находили мои подозрения совершенно неосновательными; однако последствия показали, что я был прав. Он питал ко мне сильное нерасположение, которое усилилось после того, как я отказал ему в деньгах [2]... Но кроме того я вполне уверен, что Костомаров в это время был душевно больной». По сообщению того же Рейнгардта, Чернышевский рассказывал М. Писареву, что во время очных ставок с В. Костомаровым в сенате ему пришлось слышать, как этот лжесвидетель высказывал такие ужасные и такие невероятные обвинения, которые привели его к заключению о психической ненормальности Костомарова, в чем он уверен и до сих пор, причем просил М. Писарева передать об этом всем, с кем будут говорить о нем [3].

[1] Михайлов («Записки», стр. 51—52) рассказывает, что на очной ставке, во время которой Костомаров выдал его и заставил его сделать признание о том, что у него было много экземпляров прокламации «К молодому поколению», Костомаров отошел к окну, опустился на стул и начал плакать, говоря бессвязно: «Ко мне пристают с утра до вечера. Мать моя в горячке»... (это была ложь). Кто здесь перед нами — неуравновешенный суб'ект или хитрый лицемер, оставляющий себе лазейку для дальнейшей провокации и измен? Замечательно, что уже после всех своих предательств Костомаров через своего приятеля, сыщика Путилина, передал Михайлову о своем огорчении по поводу того, что Михайлов на него сердится за его образ действий (Михайлов — «Записки», стр. 56). Предатель, повидимому, хотел выйти на волю с ясным челом, чтобы продолжать свое дело. Как мы знаем, он после того являлся к Чернышевскому, но встретил там такой прием, который показал ему, что роль его разоблачена. Плещеев также рассказывает (цит. соч., стр. 157), что когда он узнал, как Костомаров держал себя на допросах по делу Михайлова, то прекратил с ним всякие отношения (следовательно, о предательском поведении Костомарова стало известно сразу по освобождении его из-под первого ареста, а может быть, и до его освобождения).

[2] Когда Костомаров явился к нему после выдачи М. Михайлова.

[3] Рейнгардт, цит. ст., стр. 473 и 475.

Во всяком случае, если В. Костомаров и был душевнобольным, то приходится признать, что у этого безумца была своя система (впрочем, как известно из психиатрии, безумие не исключает хитрости и целесообразности действий, а, с другой стороны, всякая провокация, вероятно, связана с известными дефектами психики). Первые свои шаги в деле предательства Костомаров сделал еще в 1861 году в связи с делами московских подпольных типографий и М. Михайлова. Толкнуло ли его на этот печальный путь поведение его брата, или же брат его был лишь подставным лицом, действовавшим по указке самого В. Костомарова, испугавшегося ответственности за тайное печатание и решившего спасти свою голову ценою измены товарищам, — трудно сказать с уверенностью, хотя по всем обстоятельствам дела второе предположение представляется более правдоподобным. Во всяком случае факт тот, что донос «брата» В. Костомарова был послан в III Отделение только 15 августа 1861 года, т. е. *после* того, как начались аресты по делу московских типографий (Зайчневский и Аргиропуло были арестованы уже 22 июля, а первые известия о тайном печатании в Москве правительство получило через московского митрополита Филарета от провокатора А. Балашевича-Потоцкого уже в мае того же года).

Итак, 15 августа 1861 года III Отделение получило донос Николая Костомарова, который, сообщая о приготовлениях к тайному печатанию прокламаций при участии его родного брата, прилагал рукописи двух воззваний «К солдатам» и «К барским крестьянам». Немедленно в Москву послан был жандармский подполковник Житков, который повидался с Н. Д. Костомаровым и убедился, что *воззвание «к крестьянам» писано рукой М. Михайлова*. 18 августа Н. Д. Костомаров подал новый донос, в котором, перечислив ряд фамилий революционеров, в том числе и своего брата, определенно указывал, что *воззвание «к крестьянам» писано Михайловым*, обещаясь в подтверждение своего извета представить несколько писем его к В. Костомарову. 26 августа доносчик был отправлен в Петербург, где сообщил все, что знал (а знал он не много), после чего в награду ему была предоставлена служба на Кавказе.

25 августа В. Костомаров был подвергнут аресту по обвинению в содержании тайной типографии и печатании в ней революционных книг и воззваний [1]. Уже через три дня после его ареста ознакомившийся с ним жандарм Житков сообщал о нем в Петербург: «Он —

[1] О деле московских тайных типографий см. М. *Лемке* — «Политические процессы в России 60-х гг.», 2-е изд., Гиз, 1923, стр. 3—54; там же дело М. Михайлова, стр. 55—160; см. также «Политические процессы 60-х гг.», I, под ред. Б. П. Козьмина, Гиз, М. 1923, стр. 137—289.

чрезвычайный трус; он высказывал давно уже мысль, когда еще только арестовали Зайчневского (т. е. 22 июля. — *Ю. С.*), что он серьезно думает сам отправиться в Петербург и во всем сознаться, ибо не видел более надежды на успех предприятия, и личным и добровольным сознанием заслужить прощение». Разочароваться в успехе того или иного революционного предприятия может всякий; но чтобы сделать из такого разочарования немедленный вывод о необходимости сознаться, а значит в интересах своей шкуры погубить других, для этого нужно родиться моральным выродком. Таким выродком и был В. Костомаров.

Выдавать он начал сразу же после своего ареста (если не допустить, что он занялся этим почтенным ремеслом еще до того, подослав своего брата к жандармам). Уже 4 сентября он предложил Шувалову свои услуги, а к концу того же месяца семья его начинает получать пособие из сумм III Отделения. Чтобы делом доказать свою готовность к услугам, низкий негодяй на первый раз выдал властям такого крупного человека, как М. Михайлов. Доставленный в Петербург, он составил здесь 12—13 сентября письмо, написанное якобы еще до его ареста и адресованное на имя мифического лица, Якова Алексеевича Ростовцева (прием, впоследствии повторенный им или, вернее, его вдохновителями из III Отделения в деле Чернышевского). В этом письме он поручал адресату предупредить Михайлова, чтобы тот спрятал или уничтожил имеющиеся у него экземпляры прокламации «К молодому поколению». Жандармам этого только и нужно было. Михайлов был арестован, а затем окончательно изобличен В. Костомаровым на очной ставке, когда вздумал было запираться.

20—21 августа 1861 года Костомаров видался в Петербурге с Михайловым, предложившим ему взять для распространения привезенную из-за границы прокламацию «К молодому поколению», и хотя Костомаров, по его словам, это предложение отклонил, но расстались приятели по дружески. А через какие-нибудь три недели Костомаров уже предал своего «друга».

Но, как кажется, он выдал все, что ему было известно, не сразу. То ли он не верил русскому правительству и боялся, что, несмотря на выдачу Михайлова, его за нелегальное печатание все-таки захотят наказать, и тогда для спасения своей шкуры ему придется вытащить другие дела (почти так и оказалось на деле), то ли, как человек расчетливый, он понимал, что, выложив сразу все, он потеряет цену в глазах полиции, — а продать себя он хотел подороже, — но, повидимому, о причастности Чернышевского и Шелгунова к революционным делам он в первое время не за-

явил. Произошло ли это потому, что правительство в тот момент, т. е. летом 1861 года, еще не решило расправиться с Чернышевским и потому не расспрашивало о нем предателя (а где нет спроса, там нет и предложения), мы не знаем. Но, как мы увидим ниже (если только можно полагаться на свидетельство сыщика Путилина, который сам мог быть не вполне посвящен в дело), Чернышевского В. Костомаров назвал не ранее начала 1862 года или поздней осени 1861 года, т. е. когда правительство уже решило приняться вплотную за идейного вождя крайней партии[1].

Здесь на сцену выдвигается второе лицо, которое совместно с В. Костомаровым способствовало гибели Чернышевского.

Существовал в России сыщик по уголовным делам Путилин. До революции 1917 года среди сыщицкой литературы, наводнявшей наш книжный рынок, имелись и брошюрки об этом Путилине, которого бульварные писаки силились возвеличить и выставить чем-то вроде российского Ната Пинкертона (славная родословная!) [2]. И вот этот Путилин волею судеб и III Отделения сыграл роковую роль в судьбе величайшего русского писателя.

Начальником этого Путилина был петербургский военный генерал-губернатор, князь Суворов-Италийский, внук полководца Суворова. Либеральная легенда возвела его в ранг гуманного, либерального, прогрессивного и пр. деятеля. Но поведение его в деле Чернышевского показывает, что если он лично и был человеком сравнительно мягким и лишенным специфических палаческих черт, то по существу он ничем не отличался от других администраторов александровского времени, завещанных ему николаевским режимом. По крайней мере, документы по делу Чернышевского, как опубликованные Лемке в цитированной работе, так и оставшиеся ему неизвестными, свидетельствуют о том, что Суворов играл активную роль в провокации, планомерно подготовляемой III Отделением для погубления Чернышевского.

---

[1]) Искренно или нет, но сначала жандармы обвиняли М. Михайлова в сочинении воззвания «К барским крестьянам». Об авторстве Чернышевского они в то время, видимо, не догадывались. Или же это была сложная жандармская игра? Факт тот, что Михайлова они о Чернышевском не спрашивали и на воззвание «К барским крестьянам» особенно не напирали. Значит ли это, что III Отделение замышляло уже тогда против Чернышевского отдельное дело, но находилось еще в стадии собирания улик и опасалось преждевременными расспросами спугнуть намеченную жертву?

[2] Впоследствии он служил в «Священной дружине».

Итак, когда в Петербурге появились первые прокламации («Великорусс»), Суворов откомандировал Путилина в распоряжение Потапова для изловления распространителей прокламаций. И действительно Путилину довольно скоро удалось открыть В. Обручева, который, впрочем, сам был виноват в своем провале. Занимаясь своей новой работой по борьбе с крамолой, ловкий сыщик познакомился с В. Костомаровым, арестованным по московскому делу, скоро сошелся с этим многообещающим молодым человеком и убедил его стать на путь открытого предательства, к чему тот был уже вполне подготовлен всем своим характером. Под влиянием уговоров Путилина Костомаров выдал не только М. И. Михайлова, распространителя и соавтора прокламации «К молодому поколению», но и Шелгунова и особенно Чернышевского, для изобличения которого он совместно с Потаповым сочинил ряд документов, приписанных Чернышевскому.

В конце января 1863 года, когда интрига против Чернышевского, задуманная III Отделением, была на полном ходу, Путилин подал в комиссию кн. Голицына доклад, в котором рассказал о своем знакомстве с В. Костомаровым [1].

«В то время (в сентябре 1861 г.), — говорилось в этом докладе, — содержался при III Отделении корнет Костомаров, который и дал весьма важные тогда сведения и указал лиц, распространивших прокламацию «К молодому поколению»... Занимаясь под руководством графа Шувалова по III Отделению до ноября месяца, я коротко познакомился с Костомаровым, и после, когда граф Шувалов оставил должность свою, я отправился вновь в Москву для занятий по поручению министра финансов [2], а там, по просьбе Костомарова, познакомился с семейством его и, видя стеснительное положение их в средствах, помогал им деньгами. Затем в январе или феврале 1862 г., когда означенный Костомаров содержался в г. Москве, в Тверской части, я посещал его и, зная, что он, Костомаров, может дать указания на лиц, участвующих в политическом движении, уговорил его видеться с прибывшим в то время в Москву начальником III Отделения генерал-майором Потаповым, и его превосходительству, как известно мне, он, Костомаров, указал на Чернышевского, Добролюбова и др.».

---

[1] Полностью этот доклад напечатан нами в статье «Вокруг процесса Чернышевского» («Кр. Новь» 1927, № 4).

[2] По делу о подделке кредитных билетов.

После того Путилин виделся с Костомаровым, когда тот уже жил вместе с своим семейством[1]. В разговоре Костомаров выражал неудовольствие на правительственных лиц, которые не скрыли его имени и тем уронили в обществе литераторов и поставили в подозрительное положение к лицам, в тесной связи с коими он находился в деле революционной пропаганды. Тут же он заявил, что располагает важными сведениями, но опасается довериться правительственным лицам, о чем Путилин по прибытии в Петербург доложил Потапову.

Весною 1862 года, когда Суворов поручил Путилину разыскание лиц, распространявших вновь появившиеся прокламации, сыщик, надеясь, что Костомаров может помочь ему в этом деле, вступил с ним в переписку. Костомаров прислал Путилину два воззвания от мнимого революционного комитета и часть шрифта, коими они якобы печатались, и прибавил, что «ему весьма много известно, и что только через него можно сделать весьма важные открытия». Осведомленный об этом Суворов немедленно приказал Путилину свидеться с Костомаровым и узнать, каким путем можно получить эти «важные сведения». Костомаров об'яснил Путилину, что он — член тайного общества, которое «стремится к опровержению (sic!) всего, что только есть священного для каждого русского верноподданного», но ныне, «разойдясь в убеждениях, плане и цели действий сего общества, решается открыть не только лиц этого общества, но их типографии и план действия». Костомаров сочинил умопомрачительный роман о могучем тайном обществе, имеющем разветвления по всей России, располагающем тайными типографиями и пр. Но выдать все это он соглашался только через князя Суворова и на определенных условиях, а именно: «он не должен [быть] в деле этом замешан ни в качестве участника, ни в качестве открыва-

[1] Мы видим, что В. Костомарова то освобождали, то вновь «арестовывали». Когда он действительно был заключен, трудно установить. Надо полагать, что с осени 1861 года, после выдачи Михайлова, он фактически находился на свободе и, если арестовывался, то по надобностям дела. Любопытно, что в обсуждении этого вопроса принимал активное участие и сам Костомаров, который таким образом и решал, освобождать ли его или оставлять под замком. Об этом свидетельствует записка московского обер-полицеймейстера Крейца Потапову от 10 ноября 1861 г.: «Сейчас был у меня Путилин и сказал мне, что Костомаров по тому, что он слышал в комиссии (Собещанского, рассматривавшей дело о московских типографиях. — *Ю. С.*), подлежит к освобождению, и, узнав от меня, что я ожидаю от тебя бумаги, чтобы отправить Костомарова в Спб., Путилин поручил тебе передать, что Костомарова бы лучше не отправлять в Спб., а освободить здесь, что это также и мнение самого Костомарова» (Лемке, стр. 206).

Это показывает, что уже в ноябре 1861 года Костомаров был своим человеком среди жандармов.

теля или свидетеля, и для отклонения подозрения в измене обществу он должен быть разжалован в рядовые на Кавказ... Если же оказанная им услуга будет велика, то назначить его семейству пособие, а ему даровать право выслуги».

Обо всем этом Путилин докладывал шефу жандармов, министру внутренних дел, начальнику III Отделения и Суворову в первую очередь. От последнего он получил приказание отправиться к Костомарову и об'явить ему, что «государь император высочайше соизволил из'явить его светлости согласие на просьбу Костомарова». По об'явлении о сем Костомарову, мать его подала лично просьбу князю Суворову о замене предстоявшего сыну ее наказания разжалованием его в солдаты. Сам же корнет Костомаров, убежденный в выполнении правительственными лицами условия его, пригласил брата своего, прапорщика Алексея Костомарова, помочь ему оказать услугу правительству, на что последний согласился. Итак, к делу провокации привлечены были и другие члены почтенной семейки.

Костомарову обещано было закончить его дело к 20 сентября, но обещание это выполнено не было. Предатель нервничал и продолжал засыпать Путилина фантастическими сведениями и им же сочиненными «документами» [1]. С своей стороны, Путилин, горевший желанием отличиться и по своему глубокому невежеству принимавший на веру все выдумки Костомарова [2], не переставал надоедать высшему начальству, торопя его поскорее решить дело Костомарова.

Только в декабре Суворов об'явил Путилину, что дело о Костомарове решено с изменением против его желания в том, что, он вместо назначения его прямо рядовым на Кавказ, приговорен еще к заключе-

[1] Все документы, на которые ссылается Путилин, находятся в той же папке «К делу № 230/часть 76» (из производства следственной комиссии), в которой находится и доклад Путилина, занимающий листы 132—136. Большинство этих документов перепечатаны у Лемке, цит. соч., стр. 205—218 и 242—273. — Заметим кстати, что у Лемке имеется дурная привычка скрывать в своих работах номера дел, которыми он пользовался; это сильно затрудняет работу других исследователей.

[2] Абсолютное политическое невежество И. Д. Путилина, бывшего позднее, до конца 80-х годов, начальником петербургской сыскной полиции, видно из найденной в его бумагах и опубликованной его сыном, таким же невеждою, как его папаша, рукописи под заглавием «Тайное общество» в № 5 «Исторического Вестника» за 1913 год, стр. 610—615. Здесь с самым серьезным видом повторены все благоглупости, которые Путилину рассказывал В. Костомаров. Даже не очень-то грамотная редакция суворинского журнала принуждена была в примечании признать, что содержание рукописи далеко не соответствует фактам тогдашней действительности.

нию в крепости на 6 месяцев. Об этом и приказано было «известить Костомарова и уверить его, что если он окажет правительству важную услугу, то содержание в крепости может быть отменено»[1]. Тогда Костомаров начал добиваться свидания с самим Суворовым, которое и состоялось в январе 1863 г., когда предатель приехал в Петербург. Что именно сообщил Костомаров «либеральному» князю, в точности неизвестно, но организации страшного тайного общества он не раскрыл, ибо такового не существовало (если не считать «Земли и Воли», о которой предатель не знал). Но возможно, что он сообщил кое-что о Чернышевском.

Из доклада Путилина во многих отношениях замечательного вытекает:

1) что участь Чернышевского была предрешена Потаповым, незадолго до того сменившим гр. Шувалова на посту начальника III Отделения, уже в конце 1861 года (т. е. до фактического ареста Чернышевского и, возможно, еще при жизни Добролюбова, которого тоже хотели запутать в дело, но который, обманув предначертания начальства, скончался в ноябре того же года), и что в начале 1862 года он убедил В. Костомарова дать соответствующие показания, а при надобности проявить и инициативу в смысле фабрикации потребных документов;

2) что гр. Суворов с самого начала принимал участие в этих махинациях, был в курсе всех предприятий Потапова, Путилина и Костомарова и даже докладывал о них царю, являясь посредником между провокатором и «самодержцем»;

3) что Александр II был осведомлен обо всей этой интриге, в известном смысле руководил ею, прекрасно знал, что обвинения против Чернышевского фабрикуются в III Отделении, что Чернышевский будет осужден на основании подлогов, что законных данных для его обвинения нет[2]. Сгорая желанием во что бы то ни стало погубить ненавистного ему писателя,

---

[1] Как видим, почтенные контрагенты — царь и Костомаров — шантажировали друг друга.

[2] О том же свидетельствует и резолюция царя на прошении матери Костомарова от 20 февраля 1863 года, просившей о полном помиловании своего сына: «Будет иметься в виду, когда он исполнит новые свои обещания» (Дело № 230/ч. 176, л. 5). Итак, Александр II знал, что Костомаров должен сфабриковать документы для изобличения Чернышевского, и настоятельно требовал от него выполнения этого подлого дела. Костомаров тогда еще приписывал воззвание к барским крестьянам Михайлову; надо было, чтобы он об'явил автором его Чернышевского. Вот чего добивался Александр II.

«самодержец» унижается до того, что послушно выполняет предписания Костомарова, который указывает правительству род желательного ему «наказания» и, в конце концов, добивается своего [1].

4. За кулисами сыска и провокации

Чернышевского хотели *судить* за подцензурную литературную деятельность и за влияние на широкие демократические круги, но *осудить* его можно было только за какие-либо определенные действия, нарушающие уголовный закон. Таковых действий за Чернышевским правительственные круги не знали: следовательно, их надо было создать, придумать. Этой цели и послужил В. Костомаров.

По тогдашним русским законам Костомарову за несомненно доказанные его действия (устройство тайных типографий, хранение у себя печатного станка и шрифта, размножение и распространение антиправительственных и революционных воззваний и пр.) грозило наказание не ниже нескольких лет каторжных работ с лишением прав состояния и поселение в Сибири навсегда. Сознавая это, он начал выдавать: так, он предал товарищей по московским типографиям и М. Михайлова. Но правительству этого было мало. Чтобы добиться от него дальнейших услуг, оно начало играть с ним как кошка с мышью, то арестуя, то освобождая, то обещая полное помилование, то приговаривая к крепости и к разжалованию в солдаты с отсылкой на Кавказ. Чтобы доказать свою необходимость, Костомаров пустился в самое развязное сочинительство, придумывая несуществующее тайное общество, якобы об'единяющее в своем составе разнородные общественные элементы вплоть до М. Каткова и покрывшее сетью всю страну, давая понять, что

[1] О том, как В. Костомаров дурачил Путилина, а через него отчасти и III Отделение, мифическими росказнями о тайных обществах и т. п., свидетельствуют вышеназванные документы, перепечатанные Лемке на указанных страницах его книги. Мы оставляем всю эту психопатическую галиматью в стороне, так как она совершенно не касается нашей прямой темы. Но одно обстоятельство заслуживает быть здесь отмеченным: многочисленные записки и письма, которые Костомаров посылал Путилину и которые он подписывал то В., то Феофан Отченашенко, то Венцеслав Лютый, то Николай Озерец, то «твоя Фанни» (даже по-французски!), то М. Гаври[лова?] и пр., писаны совершенно *различными почерками*, причем *иногда похожими на почерк Чернышевского*. Это следует запомнить для понимания дальнейшего. При этом отметим, что Н. Скальковский, имевший связи с жандармскими сферами, в своей книге «Наши государственные и общественные деятели» (2-е изд., Спб., 1891, стр. 316) определенно говорит, что у Чернышевского и В. Костомарова «были замечательно сходные почерки».

он — единственный человек, способный раскрыть эту таинственную организацию и парализовать ее вредные действия. Находились дураки вроде Путилина, которые верили этому полубезумному бреду, но верхи полиции вряд ли относились к нелепым выдумкам запутавшегося предателя серьезно. И если они возились с ним и держали его про запас, то только потому, что, как они прекрасно понимали, добиться осуждения Чернышевского можно было только с его помощью. И постепенно в недрах Третьего Отделения, при активном участии председателя следственной комиссии А. Голицына и самого «помазанника» Александра II, созрел план, долженствовавший, при холопской угодливости высшего судилища в империи, царского сената, наверняка погубить ненавистного помещичьей партии писателя.

По тогдашним правилам судопроизводства за отсутствием прямого сознания со стороны подсудимого необходимо было иметь, по меньшей мере, два косвенные («несовершенные») доказательства его вины. Главным козырем в руках жандармов в конце концов оказалась принадлежность Чернышевскому прокламации к барским крестьянам, но характерно, что в первое время выдвигалось не это обвинение, явившееся только впоследствии. Сначала нужно было дать какое-нибудь общее доказательство преступных происков Чернышевского и его стремления к ниспровержению существующего порядка. В качестве такового придумано было письмо Чернышевского к А. Плещееву, якобы хранящееся в Москве и свидетельствующее о его революционных замыслах. Второю уликою должны были послужить мнимые сношения Чернышевского с какими-то раскольниками. Версия о принадлежности Чернышевскому революционных прокламаций появилась п о з ж е [1]. Как мы уже знаем, и В. Костомаров (а также «брат» его, Николай, сомнительный автор первого доноса), а за ним и Третье Отделение приписывали воззвание к барским крестьянам Михайлову [2]. О причастности к этой прок-

[1] На эту сторону вопроса исследователи, в том числе и Лемке (которого, впрочем, трудно назвать исследователем, так как обычно он просто переписывает документы из попавших ему в руки «Дел»), до сих пор не обращали внимания.

[2] Странно только то, что об этой прокламации следователи Михайлова вообще мало допрашивали. Впрочем, довлеет дневи злоба его: в тот момент их интересовала прокламация «К молодому поколению», которой одной было достаточно для того, чтобы отправить Михайлова на каторгу. Воззванием к барским крестьянам жандармерия заинтересовалась только через полтора года, когда на очередь стало осуждение Чернышевского, да и то, как мы сейчас увидим, она не сразу решилась приписать это воззвание ему. Наконец, не забудем, что в отличие от прокламации «К молодому поколению» воззвание к крестьянам напечатано и распространено не было.

ламации Чернышевского Костомаров, повидимому, совершенно не знал, хотя кое-какие сведения о прикосновенности Н. Г. к с е р и и прокламаций (в том числе к солдатам и раскольникам) до него как будто дошли. И вот мы наблюдаем парадоксальное явление: сначала Костомаров о причастности Чернышевского к прокламации ничего не говорит (несомненно потому, что не знает), затем начинает говорить о причастности его к воззваниям к солдатам и раскольникам и только под конец принимается настаивать на принадлежности Чернышевскому воззвания к крестьянам и даже берется представить этому документальные доказательства (им же и сфабрикованные).

Вот факты.

С января 1862 года Костомаров заключает с Потаповым условие содействовать изобличению Чернышевского. Какие именно доказательства преступной деятельности Чернышевского, Добролюбова и проч. представил тогда Потапову Костомаров, Путилин не сообщает. Но что сюда не могло входить составление Чернышевским воззвания к крестьянам (да и вообще каких-либо революционных воззваний), можно заключить из того, что до февраля 1863 года, т. е. втечение целого года сношений Костомарова с III Отделением и втечение полугода со дня ареста Чернышевского, об этом никто и не заикается [1]. Допустить, что мысль приписать Чернышевскому прокламацию к барским крестьянам существовала давно, но не формулировалась в виде определенного обвинения за отсутствием улик или за трудностью их приготовления, тоже не приходится, ибо, как увидим дальше, вся-то улика сводилась к карандашной записке в три строки, на изготовление которой не требовалось целого года. Мы прямо заявляем, что для нас это обстоятельство неясно, и думаем, что выяснить его окончательно не удастся никогда за смертью участников этой интриги. Те документы, которые сохранились в папках официальных дел, дают только возможность установить наличность преступной махинации и подлогов. Но личные беседы Потапова, Голицына, Костомарова, царя и других суб'ектов этой подлой

[1] Можно было бы, пожалуй, об'яснить оговор Чернышевского Костомаровым озлоблением последнего на суровый прием, оказанный ему после выдачи Михайлова. Но это озлобление, несомненно имевшее место, об'ясняет оговор вообще, а не специальное указание на прокламацию к барским крестьянам. Тем более, что плохой прием был оказан Костомарову в декабре 1861 года, начал он «засыпать» Чернышевского в январе или феврале 1862 года, а об'явил его автором воззвания к крестьянам только в феврале 1863 года. С какой стороны ни подойти к вопросу, здесь что-то неясно или, вернее, ясно, что инициатива в деле об'явления Чернышевского автором воззвания к крестьянам принадлежала н е Костомарову.

махинации с глазу на глаз не зафиксированы в письменных документах, а потому мы лишены возможности точно установить, кому именно принадлежит инициатива об'явления Чернышевского автором воззвания к барским крестьянам, как и когда к этой мысли пришло Третье Отделение и т. п.

Одно мы можем установить с достоверностью: эта мысль возникла в самый последний момент, через семь с лишним месяцев после ареста Чернышевского, когда понадобилось наконец пред'явить ему определенное обвинение. Костомаров по своим связям с Михайловым, Шелгуновым, Сороко, Сулиным и др. мог смутно догадываться, что какое-то прикосновение к прокламациям Чернышевский имел, и поделиться своей догадкой с Потаповым. Последний ухватился за это предположение обеими руками; так как автором прокламации «К молодому поколению» признал себя Михайлов, прокламация к солдатам была приписана Шелгунову, то оставалось приписать Чернышевскому воззвание к крестьянам и сфабриковать подтверждающий это обвинение документ. Этим и занялись со второй половины января 1863 года Потапов, Голицын, Суворов и Костомаров, при чем вся эта операция протекала с ведома и благословения Александра II, который был в курсе дела и торопил с его выполнением, не останавливаясь перед мелким шантажированием жалкого предателя.

К середине января переговоры Костомарова с жандармами и с Суворовым через посредство Путилина зашли уже так далеко, что 15 января Суворов сделал царю доклад о положении дела, из которого верховный сыщик мог заключить, что Костомарова удастся использовать для обвинения Чернышевского. Обрадовавшийся царь поспешил немедленно уведомить об этом своего подручного, А. Голицына, и уже на другой день, 16 января, последний сообщил следственной комиссии о словесно переданной ему Суворовым царской воле принять к производству дело о разжалованном в рядовые Костомарове. Комиссия поручила Потапову войти в личные об'яснения с В. Костомаровым, что он, впрочем, делал уже втечение целого года, не дожидаясь столь любезного предложения. Что дело шло об изобличении Чернышевского, понимали все члены комиссии. Впрочем, Голицын знал о готовности Костомарова предать Чернышевского еще до ареста последнего, как видно из цитированной нами выше (стр. 369) резолюции Долгорукова на докладе Потапова от 7 июля 1862 года.

18 января комиссия поручила трем своим членам Жданову, Потапову и Гедда допросить В. Костомарова по поводу его сообщений Путилину, в частности по поводу пакета с важными документами, якобы

находящимися в Москве на хранении у какого-то И. Шиповалова [1]. На допросе Костомаров прежде всего постарался скомпрометировать уже ненужного ему в качестве посредника Путилина, а по существу дела показал: 1) что в записке, редактированной им для Путилина, было изложено лишь то, что «ему (Костомарову) было известно относительно преступных замыслов Михайлова и Шелгунова, а именно, что Михайлов сочинил прокламацию «К молодому поколению» и к барским крестьянам (курсив мой), а Шелгунов — к солдатам»; 2) что типографиею какого-то московского кружка заведует Плещеев (курсив мой), и что доступ в этот кружок Костомаров получил через Аргиропуло, который свел его с одним из членов кружка, именовавшимся И. С. Шиповаловым; 3) что раскольник Ярославской губернии Дорофей был в сношениях с Чернышевским (курсив мой); 4) наконец, Костомаров показал, что когда в Москве распространились слухи о его, Костомарова, предательской роли в деле Михайлова, то он, дабы разубедить в этом кружок, в который был введен студентом Аргиропуло, «пред'явил оному имеющиеся у него два письма Михайлова, одно письмо Чернышевского к Плещееву (курсив мой) и одну записку Шелгунова, с таким присовокуплением, что если бы слух о доносе его был справедлив, то, конечно, помянутые письма не были бы сохранены им у себя». Письма эти якобы переданы были на хранение члену кружка И. С. Шиповалову, адрес которого, равно как действительной фамилии он, Костомаров, не знает [2].

Итак, уже вступив определенно на путь изобличения Чернышевского, Костомаров, разумеется, дававший свои показания по предварительном согласовании их с III Отделением, 18 января 1863 года продолжает приписывать воззвание к барским крестьянам не Чернышевскому, а Михайлову. Относительно же Чернышевского он пока выдвигает два обвинения: одно, определенное, говорящее о его сношениях с каким-то мифическим раскольничьим деятелем Дорофеем, и другое, более туманное, о каком-то письме Чернышевского к Плещееву, намекая только на его преступный (т. е. революционный) характер. Тут же заодно, ввиду предстоящего припутания к делу Плещеева, на последнего

---

[1] Тоже мифическое лицо, каких встречается много в корреспонденции и показаниях Костомарова. В Москве оказался какой-то Шиповалов, но он понятия не имел ни о Костомарове, ни о политике, и умолял оставить его в покое (см. Дело № 230/ч. 175, л. л. 12—14; к Делу № 230/ч. 176, л. л. 141—142; Дело следств. комиссии, л. л. 292—297; у Лемке, стр. 257 сл.).

[2] Показания эти содержатся в журнале следственной комиссии в папке «К делу № 230/ч. 176», л. л. 111—117; у Лемке, стр. 258—263.

мимоходом возводится поклеп в заведывании подпольной типографией. Ясно, что в тот момент, т. е. в середине января 1863 года, для самого Костомарова было еще неясно, в какую форму выльется по воле III Отделения окончательное обвинение против Чернышевского, но на всякий случай им пускаются какие-то туманные намеки. Часть обвинений в общей форме во всяком случае уже намечается: сношения с раскольниками и преступные сношения с «революционером» Плещеевым. В перспективе вырисовывается уже знаменитое «письмо к Плещееву», в тот момент, возможно, еще не сфабрикованное и потому временно сданное на «хранение» несуществующему Шиповалову. Мы имеем таким образом первые контуры гнусной махинации Третьего Отделения против Чернышевского. Но о прокламации к барским крестьянам как его произведении пока еще не говорится.

Александр II с нетерпением ждал показаний Костомарова. Удовлетворяя его любопытству, Голицын 20 января уже доложил об этих показаниях царю и спросил у него разрешения отправить в Москву члена комиссии Огарева для собрания сведений в Москве и в частности для отыскания хранящегося у Шиповалова пакета с письмами [1]. Правда, показания Костомарова не давали еще того, чего ожидал от них «благодушный монарх», но все же это было многообещающим началом, и потому коронованный Держиморда, по докладу Долгорукова, в тот же день приказал дозволить Костомарову посещение церкви, прогулки и свидания не только с матерью, но и с другими лицами, которым это будет «высочайше» разрешено.

После этого наступает некоторая, но весьма существенная перемена декораций. Один документ для изобличения Чернышевского — «письмо к Плещееву» — был уже анонсирован, хотя и в туманной форме, в показании Костомарова от 18 января 1863 года. Но этого было мало. Повидимому, Голицын или кто другой об'яснил Потапову, что по закону требуется не меньше двух улик. Надо было придумывать вторую, и при том настолько существенную, чтобы преступные замыслы Чернышевского были доказаны ею с непререкаемою очевидностью. И вот здесь-то и выплывает впервые версия о принадлежности Чернышевскому воззвания к барским крестьянам. Но как доказать эту принадлежность? Очень просто: сфабриковать собственноручную записку Чернышевского, при-

[1] Письма эти затем преблагополучно отыскались... в чемодане самого Костомарова!!

знающего в ней свое авторство. Несколько смело, но зато верно: от такого доказательства Чернышевскому уже не отвертеться.

К 19 февраля 1863 года этот план был окончательно готов. Об этом свидетельствует записочка Костомарова к Потапову, датированная этим числом, в которой предатель настаивает на неотложном свидании с начальником III Отделения и сообщает, что «бумаги он получил все». Этими бумагами был дневник Чернышевского, отобранный у него при обыске и необходимый фальсификатору для задуманного подлога, о чем свидетельствует пометка Потапова на записке Костомарова: «Прошение матери. Дневник Чернышевского» [1]. Полагая, что с изготовлением «собственноручной» записки Чернышевского достойный сынок ее выполнил свою задачу, почтенная мамаша Костомарова, вместе с ним и с другими своими детьми активно участвовавшая во всей этой махинации, 20 февраля обратилась к царю с просьбой освободить ее сына (он был приговорен к шестимесячному заключению в крепости) и оставить его на военной службе, отправив его на Кавказ, куда бы и она могла за ним последовать. Вот на этом-то прошении Александр II и «начертал»: «будет иметься ввиду, когда он исполнит новые свои обещания». Ни к чему другому, кроме изготовления фальшивых документов для изобличения Чернышевского, эти циничные слова не могли относиться, и они лишний раз устанавливают факт соучастия царя во всех гнусных подлогах, направленных к гибели великого русского мыслителя.

В тот же день, когда Александр II положил эту резолюцию, Голицын доложил ему, что все готово, и что Костомаров, по убеждению ген. Потапова [2], из'явил готовность обнаружить известные ему преступные замыслы и действия Чернышевского и Шелгунова [3] и указать других лиц, коим известны были их замыслы.

[1] К делу № 230/ч. 176, л. 164; у Лемке, стр. 268.

[2] Подчеркиваем эти слова: они отчасти подтверждают наше предположение о том, что мысль приписать Чернышевскому авторство воззвания к крестьянам принадлежит III Отделению, и что именно Потапов убедил Костомарова выдвинуть этот тезис в качестве второго обвинения против Чернышевского. Но как пришел к этой мысли Потапов?

[3] В интересах исторической истины мы считаем нужным подчеркнуть этот пункт, противоречащий нашей гипотезе о том, что мысль о приписании воззвания к крестьянам Чернышевскому принадлежала не Костомарову, а Потапову. Главным доводом в пользу нашей гипотезы мы считаем тот факт, что до февраля 1863 года Костомаров молчал о принадлежности этого воззвания Чернышевскому. Но ведь почти до того же времени, т. е. до января 1863 г., он молчал и о заведомо известной ему принадлежности Шелгунову воззвания к солдатам. Это на первый взгляд говорит против нашего предположения. Правда, о том, что прокламацию к солдатам напи-

Дальше следует настолько характерное и неслыханное по своему цинизму заявление Голицына, что мы считаем необходимым привести его буквально. Оно не оставляет места ни для каких сомнений в том, что преступная махинация, задуманная Третьим Отделением для погубления Чернышевского, проводилась с ведома Александра II, будучи заранее разработана до деталей шайкой фальсификаторов, возглавлявшейся самим царем. Вот что Голицын, не моргнув глазом, спокойно докладывал своему повелителю:

«Чтобы открытия их (преступных замыслов Чернышевского и Шелгунова) не могли быть сочтены за донос со стороны Костомарова и не поставили его в положение доносчика [1], он нашел для себя более удобным написать одному из своих друзей Милюкову [2] письмо, в котором, сообщая ему о постигшем его несчастии и о последовавшем над ним приговоре, выскажет по поводу этого приговора все известные ему обстоятельства в том виде, как они были на самом деле (!). Письмо это Костомаровым уже написано и рассмотрено в комиссии. В нем он под-

---

сал Шелгунов, Костомаров знал наверно; о принадлежности же воззвания к крестьянам Чернышевскому он мог только догадываться. Да и этого нельзя утверждать положительно: ведь еще 18 января 1863 года он показывал в следственной комиссии, что это воззвание написано Михайловым. Таким образом, все-таки выходит, что мысль об авторстве Чернышевского подсказана ему Потаповым. Слова Голицына и можно толковать в том смысле, что в результате убеждений Потапова Костомаров решился свою трусливую догадку о принадлежности воззвания к барским крестьянам Чернышевскому обратить в категорическое утверждение и определенно обвинить его в авторстве этого воззвания, подделав для этого соответствующий документ.

[1] Что Костомаров находил для себя более удобным фигурировать не в качестве доносчика, это несомненно (раньше мы видели, как он после выдачи Михайлова хотел остаться с ним в дружбе, являлся к Чернышевскому, Плещееву и пр.). Но идея фокуса с «нечаянно» найденным у него письмом к приятелю, наверное, принадлежит не ему, а III Отделению или им обоим вместе. Дело в том, что для суда донос не имел такой убедительной силы, как случайно найденное при обыске и предназначавшееся якобы для тайной отправки письмо. Вот почему понадобилась вся эта инсценировка, а вовсе не из заботливости о честном имени предателя.

[2] Речь идет о писателе А. П. Милюкове, с которым Костомаров был знаком. После изложенного выше показания в следственной комиссии Костомаров просил свидания с ним. Но затем III Отделение признало рискованным впутывать в дело действительное лицо, и письмо было адресовано мифическому Соколову, который счастливо для полиции разыскан не был. Достаточно было впутать и одного действительно существовавшего Плещеева, который категорически отрицал возможность посылки ему Чернышевским «письма к Плещееву» (см. ниже). Рискнуть на два таких афронта III Отделение не решилось.

робно об'ясняет обстоятельства, при коих были написаны воззвания Чернышевским к барским крестьянам и Шелгуновым к солдатам (курсив мой), и присовокупляет, что Чернышевским кроме того писано было послание к раскольникам, и что Шелгунов ходил в казармы и об'яснял солдатам написанное для них воззвание. При чем Костомаров не скрывает и своего участия в сих действиях [1]. К улике Чернышевского Костомаров обещает представить хранящуюся у него в Москве собственноручную записку Чернышевского и указывает лицо, бывшее у него в то время, когда приезжал к нему в Москву Чернышевский. Лицо это по об'яснению Костомарова может представить от себя письменное удостоверение сношений Чернышевского с Костомаровым [2] и справедливость своего показания подтвердить присягою. Кроме сего Костомаров надеется получить в Москве бумаги, отданные на сохранение некоему Шиповалову, который до сего времени, за всеми принятыми комиссиею мерами, от выдачи их отказался [3]. Написанное Костомаровым письмо будет отдано им здесь и адресовано будто бы из Тулы в то время, когда он, следуя по назначению на Кавказ, прибудет в этот город [4].

«В таком положении дела, — продолжает Голицын просвещать своего жулика-монарха, — комиссия полагала бы: 1) по получении от Костомарова означенного письма перевести его из каземата на гауптвахту крепости и оставить на оной втечение трех дней, дозволив ему в это время под строгим надзором иметь свидание с лицами, которые пожелают его навестить перед отправлением на Кавказ; 2) по распоряжению инспекторского департамента военного министерства назначить ту часть войск, в которую Костомаров должен быть определен на службу, для того, чтобы до от'езда он мог об'явить, куда следует адресовать к нему переписку, в числе которой, вероятно, будут отправлены и не-

[1] Этот самооговор сделан для придания большей достоверности извету. Костомаров при этом ничем, разумеется, не рисковал.

[2] Судя по этой фразе, предполагалось сфабриковать еще один документ для лжесвидетеля Яковлева (о нем см. ниже), но затем эта мысль была, повидимому, оставлена.

[3] Еще бы, эти бумаги, в том числе особенно важное для заговорщиков «письмо к Плещееву», находились у Костомарова, который, вероятно, сфабриковал это письмо в III Отделении.

[4] Таким образом, это письмо, написанное в III Отделении, вовсе не было взято с собою Костомаровым в Тулу; оно преспокойно лежало в III Отделении, а не было найдено у него при обыске, как развязно писалось в официальных документах.

обходимые для дела письма, оставленные Костомаровым у Шиповалова, если он не успеет получить их в Москве, согласно обещанию Шиповалова, из'ясненному в шифрованном письме на имя брата [1]; 3) отправить Костомарова отсюда в сопровождении жандармского офицера. В Москве оставить его на три дня на гауптвахте, допустить до свидания с ним лиц, желающих его видеть [2], и затем с тем же офицером отправить его до Тулы; 4) из этого города, по поводу написанного Костомаровым означенного письма, будто бы [3] задержанного при отправлении его по адресу, Костомаров должен быть возвращен в С.-Петербург и доставлен в III Отделение; 5) по передаче письма в комиссию и по содержанию его Костомаров будет допрошен; 6) показание его должно служить основанием для допроса Чернышевского, Шелгунова и др. лиц, которые окажутся прикосновенными к делу» (курсив мой). Седьмой пункт касается привоза Шелгунова из Сибири, где он тогда находился.

Далее следовало напоминание о последовавшем до того распоряжении царя выдать Костомарову перед от'ездом 500 рублей и отпускать матери его ежегодно по 1 500 рублей и сообщение о «благородном» заявлении Костомарова, что он этих денег не просил, а повергает свою и семейства своего судьбу на милостивое усмотрение монарха, на что последовала «высочайшая» резолюция: «По этому (чему? грамотою наши цари не отличались. — *Ю. С.*) дам особое приказание г.-а. Долгор[укову]» [4].

Что же сделал «благодушный монарх», «царь-освободитель», «реформатор русского суда» («правда и милость да царствуют в судах»! — кто не помнит этой лицемерной надписи в царских судебных установлениях?), выслушав этот доклад, намечавший целую серию подлогов, подставных лжесвидетелей, мнимых обысков и «случайных» находок заранее заготовленных фальшивок? Как реагировал этот верховный хранитель закона и источник правосудия на циничный план своего холопа, без

---

[1] От имени мифического Шиповалова Костомаров сам написал своему брату шифрованное письмо, которое сам же и расшифровал, и в котором обещалось вернуть ему оставленные на хранение письма, как только он прибудет на место назначения. Таким путем Костомаров, не доверявший правительству, хотел заставить его поскорее выпустить его из крепости и отправить на Кавказ.

[2] Это «либеральное» распоряжение преследовало определенную цель: появление на сцену нового лжесвидетеля Яковлева (см. дальше).

[3] Это «будто бы» в докладе царю заслуживает увековечения. «Благодушный монарх» выслушивал это, не краснея.

[4] «К делу № 230/ч. 176», лл. 161—163, и «Дело № 230/ч. 176», л. 8; у Лемке, стр. 269—271.

зазрения совести предлагавшего ему узаконить ряд мошеннических проделок, направленных к обману общественного мнения и к явно подтасованному обвинению величайшего русского мыслителя? Царь одобрил этот план целиком и полностью. Об этом свидетельствует следующее замечательное секретное письмо кн. Голицына к другому князю, шефу жандармов Долгорукову, от 21 февраля 1863 года, где сказано: «По обстоятельствам производимого в высочайше учрежденной, под моим председательством, следственной комиссии дела, признано необходимым (далее следует пункты 1, 2, 3 и 7 доклада Голицына царю). Предположения сии были всеподданнейше представлены мною на высочайшее государя императора благоусмотрение, и его величество соизволил оные утвердить». О чем и сообщается Долгорукову для зависящих распоряжений [1].

Все это так и было выполнено в точности.

5. Фабрика фальшивок

Кроме записки о литературной деятельности Чернышевского, которую В. Костомаров писал для III Отделения в 1863 году [2], он должен был изготовить три документа: 1) якобы собственноручную записку Чернышевского, подтверждающую, что он был автором воззвания к «барским крестьянам»; 2) письмо его же к А. Плещееву, указывавшее на его активное участие в революционных заговорах; и 3) собственное письмо Костомарова к мифическому приятелю, служащее как бы пространным комментарием к двум другим документам и вообще к его предательским показаниям.

Первые два документа изготовить не представляло особого труда. Здесь речь шла лишь о более или менее искусной подделке почерка. Для сего Костомарову услужливо были доставлены III Отделением рукописи Чернышевского и в том числе его дневник, забранный у него при обыске: последний должен был служить для Костомарова образчиком того, как Чернышевский делает интимные записи. С третьим документом дело обстояло сложнее. Ему нужно было придать правдоподобный

[1] «К делу № 230/ч. 176», л. 186. — У Лемке это письмо полностью не приведено.

[2] Это явствует из письма его к Потапову от 2 января 1863 года, где он сообщает, что хочет поговорить с Потаповым о записке, которую обещал составить для него («К делу № 230/ч. 176», л. 159; у Лемке, стр. 249). Следовательно, записка 1862 года, бывшая в распоряжении следственной комиссии, была составлена Касторским. О содержании этих записок мы скажем ниже.

характер дружеского письма к близкому человеку, перед которым автор письма «изливает душу» и при этом невзначай выдает кого следует, сообщая о нем компрометирующие вещи. До сих пор нам известна была окончательная редакция этого письма, опубликованная у Лемке. Но оказывается, что выработке этой редакции предшествовала довольно сложная работа. Первой редакцией письма Потапов, видимо, остался недоволен (возможно, что он показывал его и председателю следственной комиссии, Голицыну, который был посвящен в секрет всей махинации). Какие переговоры происходили после того между Костомаровым и жандармами, какие указания последние ему делали, мы не знаем, но в результате появилась та редакция письма, которая фигурировала на процессе Чернышевского. Вся закулисная работа, предшествовавшая ее выработке, осталась тайной.

Теперь мы можем хотя бы отчасти проникнуть за эти кулисы и заглянуть в ту лабораторию, в которой изготовлялся снаряд, долженствовавший свалить упрямого медведя, иными путями неуязвимого. В делах III Отделения [1] нам удалось разыскать тот первоначальный проект письма Костомарова к своему несуществовавшему приятелю, который показался жандармам неподходящим для их целей, и который они заставили жалкого предателя переделать на предмет вернейшего достижения желательного для них эффекта.

Первый проект письма был датирован «3 января. Сущевская Сибирка» и адресован Я. А. Ростовцеву, вымышленному лицу. Окончательная редакция, датированная «Тула, 5 марта», адресована столь же мифическому Н. И. Соколову. Зачем Потапову понадобилась эта замена? Очень просто. Дело в том, что к несуществовавшему Ростовцеву Костомаров уже раз прибегал, когда предавал М. Михайлова. Фантазия его была не очень-то изобретательна. Более опытный в таких делах Потапов понимал, что дважды пускать в ход ту же выдумку неудобно, и вот он заставил Костомарова прежде всего найти нового адресата, правда, столь же мифического.

Но главное было не в этом. По соглашению с Потаповым, Голицыным, Суворовым и Александром II Костомаров должен был погубить Чернышевского. Между тем в первом проекте письма содержались одни разговоры в том расхлябанном, истерическом и цинично-распущенном тоне, который свойствен был этому полуненормальному суб'екту. Прямых указаний не было. Были только туманные намеки на кого-то

[1] «К делу № 230/ч. 176», л. л. 166—167. — У Лемке этой первой редакции письма нет. Мы полностью опубликовали ее в статье «Вокруг процесса Н. Г. Чернышевского» («Красная Новь», 1927, № 1, стр. 143—145), к которой и отсылаем интересующихся этим документом.

и на что-то вроде следующих: «Кажется, придется до конца разыгрывать роль ветхозаветного козлища и совсем (понимаете ли, друг мой, совсем) превратиться в очистительную жертву за грехи многих... — И теперь, как тогда, я не жалуюсь на этих многих, сделавших из меня очистительного козла. Оно мне-то, как лицу страдательному, конечно, тяжело; но я знаю, как легко подобная жалоба вызывает со стороны иронически-презрительный возглас: «что-ж им было делать? не самим ли еще нести за него свои головы?». Поэтому, очень хорошо зная, что чужие раны не болят, я никогда не выставляю их на показ». О Чернышевском и его преступных замыслах здесь ничего не говорится [1]. Жандармам нужно было не то. Поэтому Потапов [2] внес в проект ряд нужных изменений, и в окончательной редакции на первой же странице Чернышевский назван en toutes lettres, при чем сделано это в самой грубой, неловкой форме. Но жандармы никогда не церемонились, а в те времена в особенности. Было бы подано горячо, а сенат скушает. И, как мы знаем, сенат, это высшее в царской империи судебное учреждение, показал, что у него хороший желудок, способный переварить даже продукт грубой стряпни Костомарова и Потапова.

Это письмо представляет уникум в шпионской литературе по своему слишком открытому, циничному, ничем не прикрашенному цинизму [3]. «Ну вот, наконец, — начинает Костомаров, — я и дождался возможности говорить с вами на свободе, без разных цензурных стеснений со стороны агентов-хранителей души и тела наших... Начну с Чернышевского» [4]. Впоследствии предатель обещает поговорить с своим адресатом о литературной деятельности Чернышевского (он уже сделал это для III Отделения!), для того, чтобы показать, «откуда подул тот ветер, который... наслал столько жалких жертв в казематы российских крепостей и в те злачные места, куда отсылают «по соглашению министра внутренних дел с шефом жандармов», тогда вы увидите, откуда на святом знамени свободы (!) появился тот скверный девиз, во имя которого действуют наши домороченные агитаторы, пишутся все

[1] Снова отмечаем тот факт, что в редакции, датированной и, быть может, написанной в январе, никакого намека на прикосновенность Чернышевского к прокламациям не встречается. Зато в «тульском» письме от 5 марта прямо говорится о принадлежности ему воззвания к барским крестьянам.

[2] А, может быть, и Голицын, ибо согласно доклада его царю письмо это было на рассмотрении комиссии.

[3] Находится оно в деле следственной комиссии о Чернышевском, л. л. 282—291; у Лемке, стр. 274—292.

[4] Курсив мой.

эти «Великоруссы» и «Молодые России», все эти бесполезные прокламации с красными и голубыми печатями». Характеризуя Чернышевского как человека с необ'ятным самолюбием и со стремлением к разрушению всего существующего, как созданного не им и потому никуда негодного, он в то же время об'являет его трусом, который в отличие от библейского Самсона предпочитает самому не погибать под обломками, а посылать на это опасное дело других, действуя на них застращиванием (известный уже нам мотив охранительной прессы) и науськиванием под видом искусственного скептицизма [1].

Далее предатель, вспомнив, что все это он уже писал в записке о литературной деятельности Чернышевского, и что ему дано теперь другое задание, сразу переходит к воззванию к барским крестьянам. Текст вынесенного ему приговора: «за составление возмутительного воззвания к барским крестьянам» относится де не к нему, а к Чернышевскому, который и является действительным автором этой прокламации. И теперь в нем «говорит горькая боль оскорбленного сердца». Теперь он жалеет о том, что с риском для себя прикрывал Чернышевского и Шелгунова. Он чувствует себя глубоко виноватым «не перед правительстом, — потому что я не связан с ним ничем (!), — но перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чского, принесла и приносит такие горькие, такие отравленные плоды».

Затем Костомаров переходит к описанию впечатления, которое на него произвела первоначальная редакция воззвания к барским крестьянам, проникнутая необычайной кровожадностью (это место мы цитировали выше). Он приводит явно вымышленный рассказ о посещении им квартиры Чернышевского, совместном чтении воззвания, переговорах об его изменении. Сам он уехал из Петербурга, не дождавшись исправленной редакции прокламации. Но Михайлов, познакомившись с студентом Сорокой (тоже один из участников тайного печатания в Москве), повез де его к Чернышевскому, и тот лично передал Сороке и рукопись воззвания, и деньги (200 рублей) для ее напечатания [2]. Был устроен станок, помещенный на квартире Костомарова, приступлено к набору, но последний по непонятным причинам, вернее всего, по тру-

[1] Соответствующее место письма предателя сильно напоминает письмо Огарева к Н. Обручеву, отобранное у Чернышевского при аресте. Очевидно, жандармы доставили Костомарову все нужные документы, в том числе и это письмо.

[2] Это несомненно тоже ложь: рукопись была передана Сороке Михайловым, при чем вряд ли первый знал, что это — произведение Чернышевского.

сости Костомарова, был скоро прекращен (эта часть письма Костомарова скомкана и невразумительна).

Далее предатель переходит к воззванию Шелгунова к солдатам, но мы на этом вопросе здесь не останавливаемся. Затем он возвращается к Чернышевскому и уверяет, что последний составил воззвание и к раскольникам. «Само собою разумеется, — ехидничает предатель, — что мы не забыли подоброжелательствовать и расколу. «Поклон старообрядцам» был составлен тем же «доброжелателем», который составил и манифест [1] крестьянам». Это воззвание было якобы продиктовано Чернышевским Костомарову в номере Знаменской гостиницы и сожжено последним во время опасения доноса со стороны брата Николая [2].

Наконец, в письме содержится еще одно чрезвычайно важное указание: «Во время самого печатания манифеста (курсив мой) к крестьянам Чский посетил меня в Москве, сделал кое-какие поправки в тексте воззвания и, оставшись доволен работою, благословил меня на новые и новые подвиги».

Зачем Костомарову нужно было упоминать о посещении его Чернышевским в Москве в связи с печатанием воззвания? Очень просто.

---

[1] Обращаем внимание на этот термин, который предатель от имени Чернышевского вставил в письмо к Плещееву (см. ниже).

[2] Ввиду страшной лживости ренегата трудно решить, сколько правды имеется в его рассказе о воззвании к раскольникам. Что таковое намечалось, мы знаем от А. Слепцова, но было ли оно действительно написано, и держал ли его в руках Костомаров, мы не знаем. Вот как предатель характеризует этот, якобы виденный им, документ: «Это была страшная дребедень — скучная, сухая, длинная рацея; во время ее писания я с трудом преодолевал сон. Помнится, это было бесконечное разглагольствование во вкусе Ламеннэ: нелепая болтовня об антихристе и его печатех, пересыпанная самой наглой лестью и самыми лживыми обещаниями». Вряд ли это правда: Чернышевский не стал бы писать обычных глупостей о печатях антихриста. А из последних слов Костомарова можно сделать тот вывод, что старообрядцам и сектантам обещалась после революции свобода совести. Впрочем, зная реализм Чернышевского, мы вообще сомневаемся в том, чтобы он когда-либо возлагал особенные надежды на раскол в революционном смысле. Кажется, это даже было одним из пунктов его расхождения с Щаповым, склонным к политической идеализации раскола. Недаром, по рассказу А. Слепцова, составление воззвания к раскольникам первоначально возложено было на Щапова. Об отрицательном отношении Чернышевского к идеализации раскола говорит и следующее сообщение П. Николаева про споры в Александровском заводе: «Я помню, с какой горячностью и даже необычайною ему в отношениях с нами резкостью набросился Н. Г. на одного из товарищей, который высказал мнение о расколе как очень серьезном и подлежащем развитию и известному воздействию общественном элементе» (цит. брош., стр. 49).

Голословный извет насчет авторства Чернышевского, сделанный в письме, необходимо было подтвердить каким-нибудь другим свидетельством. Что же могло быть более доказательным в этом отношении, чем собственноручная записка Чернышевского, относящаяся к печатанию воззвания и написанная им в Москве во время одного из приездов его в этот город? Приведенное указание в письме подготовляет читателя к новой фальшивке, к пресловутой «собственноручной записке» [1]. Таким образом, письмо делает вероятным появление записки, а записка в свою очередь придает достоверность словам письма о том, что автором воззвания был именно Чернышевский. Но такими штуками можно было убедить только таких судей, как царские сенаторы, этих заклейменных Мышкиным продажных тварей, царских холопов и палачей в судейских мундирах.

И действительно, скоро на свет божий появилась и вторая фальшивка. Это была записка на клочке бумаги, якобы отобранная у Костомарова по возвращении из незаконченной поездки на Кавказ. С одной стороны записки видны какие-то стихи, написанные рукой Костомарова, а с другой — почерком, несколько похожим на почерк Чернышевского, написано карандашом следующее: «В. Д. Вместо «срочно-обяз.» (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) набирайте везде «временно-обяз.», как это называется в Положении. Ваш» и далее идет буква, похожая не то на Ч., не то на С. [2].

Что записка эта поддельна, не подлежит сомнению. Но нужно сказать, что аргументы Лемке против ее подлинности не выдерживают критики. Первый из них сводится к следующему: «Чернышевский, вынесший на своих плечах все литературное прохождение крестьянского вопроса, знавший и следивший за ним изо дня в день, конечно, не мог употребить такой основной термин неверно, но это мог и даже должен был сделать поэт-переводчик, бывший как в лесу в крестьянской реформе». По правде, трудно понять, что собственно хотел сказать здесь Лемке. Где употреблен неверный термин, — в записке или в прокламации? Повидимому, Лемке думает, что в записке, а не в воззвании. Это только показывает, что он сам плохо разбирается в терминах крестьянской реформы. Ведь дальше (стр. 320 сл.) он сам перепечатывает воззвание Чернышевского, где употребляется термин «срочно-обязанные». Верен этот термин или нет? Лемке думает, что верен, и издевается над политически безграмотным поэтом-переводчиком, который вздумал в подделанной им записке заменять этот термин другим и этим выдал

[1] А также к приводимому дальше извету Яковлева.

[2] Записка находится в Деле следственной комиссии, л. 304; у Лемке, стр. 296; там же, стр. 297, дано ее факсимиле.

себя. На самом деле Чернышевский мог быть автором этой записки, и исправление, которое в ней указано, совершенно правильно. Дело в том, что сначала бывших крепостных крестьян думали назвать срочно-обязанными, но впоследствии, когда от идеи определенного срока прекращения обязательных отношений отказались, эти слова заменили термином «временно-обязанные», как и сказано в Положении 19 февраля. Отсюда можно было бы сделать только один вывод, а именно, что Чернышевский написал свою прокламацию до выхода в свет Положения (как это допускаем мы). А затем, когда он увидал в Положении новый термин, он поспешил исправить свою ошибку. Спор может итти только о том, сделал ли Чернышевский это письменно или устно. Костомаров утверждал, что, будучи в Москве и не застав его дома, Чернышевский оставил ему эту записку, которую он так кстати сохранял два года в каком-то укромном месте. Это — явная выдумка. Вероятнее одно из следующих допущений: 1) в один из своих приездов в Москву Чернышевский, не говоря Костомарову, что воззвание принадлежит ему (Костомаров этого и не знал до февраля 1863 г.), просил его от имени неизвестного автора внести указанное исправление; Костомаров запомнил этот разговор, а когда представилась надобность, использовал его для сфабрикования по существу правдоподобной, вопреки мнению Лемке, записки; 2) о необходимости внести это исправление говорил Костомарову не Чернышевский, а кто-нибудь другой, напр., Михайлов или Сороко, и опять-таки при случае предатель это использовал. Но возможно, что не было ни того, ни другого, а просто в III Отделении заметили терминологическую ошибку Чернышевского и на основании этого пришли к мысли о подделке, каковую Костомаров и выполнил.

Точно так же неубедителен и второй довод Лемке против подлинности записки: «Вполне и редко для того времени грамотный (орфографически) Чернышевский никоим образом не мог написать н а б и р и т е вместо н а б е р и т е». Не мог, это верно. Но дело в том, что это слово записки с таким же удобством можно прочитать «набирайте» и «набирать», как и прочли, напр., в сенате.

Когда была сфабрикована эта записка? Лемке категорически утверждает, что она подделана п о с л е выезда Костомарова из Петербурга, но д о возвращения из Тулы, когда в руках у него были уже два подлинные письма Чернышевского, полученные из дома. Повидимому, смысл соображений Лемке сводится к тому, что Костомарову надо было доказать существование переписки Чернышевского с ним и этим придать более правдоподобия получению от него и рассматриваемой записки. Это неубедительно. Деловая записка с дружескими письмами вовсе не связана. Мы напротив уверены, что записка, подобно письму к Соко-

лову и «письму к Плещееву», была заготовлена Костомаровым [1] в III Отделении до выезда из Москвы, что содержание всех этих документов, тесно связанных друг с другом, друг друга восполняющих и в общем рисующих картину преступных замыслов Чернышевского в духе и размере, гарантирующих обвинительный приговор подсудимому, обсуждалось совместно с Потаповым и Голицыным в недрах охранки, которая и не доверила бы одному Костомарову составление столь ответственных документов, входящих в общую систему улик.

Что касается третьего документа, знаменитого «письма к Плещееву», то он выплывает позже, примерно в июле 1863 года, когда дело уже перешло в сенат, и когда обнаружилось, что для получения обвинительного приговора ввиду запирательства подсудимого требуется не одно, а два «несовершенных» доказательства. Тогда Потапов представил и этот документ. Но был ли он изготовлен только в это время, как думает Лемке (стр. 441), или же существовал и раньше, но, по свойственной Потапову иезуитской манере не открывать сразу всех своих карт, держался им до поры до времени под спудом, мы сказать не решаемся. Однако, на основании высказанных нами ранее соображений, мы склоняемся к той мысли, что и «письмо к Плещееву» было заготовлено уже в начале года. Более того, есть основание предполагать, что «письмо к Плещееву», если не было сфабриковано, то во всяком случае было задумано даже до «записки» Чернышевского и до письма к Соколову. Ведь в приведенном выше показании Костомарова перед членами следственной комиссии, данном 18 января 1863 года, когда он еще приписывал воззвание к барским крестьянам Михайлову, уже определенно говорится об имеющемся на сохранении у Шиповалова в Москве письме Чернышевского к Плещееву революционного содержания, с помощью которого он, Костомаров, будто бы оправдался в кружке от обвинения в предательстве. И только через месяц после того появляется версия о принадлежности воззвания к барским крестьянам Чернышевскому, а значит и возникает надобность в изготовлении двух других документов, т. е. «собственноручной» записки и откровенного письма к Соколову. На эти даты Лемке, вообще мало останавливающийся на неясных и запутанных сторонах дела Чернышевского, не обратил внимания.

[1] Принято говорить — и мы часто выражаемся так же, — что сочинял и фабриковал эти документы Костомаров. Относительно содержания одного из них мы уже установили, что в составлении его принимал участие и Потапов (возможно и Голицын), и это относительно интимного письма к другу. Тем более это вероятно для таких документов, как записка Чернышевского и письмо к Плещееву, имеющих еще более ясно выраженный характер юридических улик. Содержание этих документов было продуктом коллективного творчества.

6. Выполнение плана

Адский план, выработанный по соглашению между царем, Потаповым и Голицыным, был выполнен в точности. 28 февраля 1863 года Костомаров был сдан в руки жандармского капитана Чулкова, с которым в тот же день выехал в Москву, оставив в III Отделении письмо к Соколову с з а р а н е е проставленной датой «Тула, 5 марта». Московскому коменданту было дано знать, что ввиду болезни Костомарова он «потребует, быть может, отдохновения в Москве», а потому ему нужно предоставить возможность пробыть там несколько дней на гауптвахте [1]. Мы уже знаем, что эта остановка нужна была для свидания Костомарова с новым лжесвидетелем Яковлевым.

1 марта путешественники прибыли в Москву, где ввиду «слабости здоровья» Костомарова остановились на сутки в гостинице «Венеция» [2]. Здесь к ним явился подготовленный братом В. Костомарова, Алексеем, и вызванный специальной запиской московский мещанин Петр Васильевич Яковлев, бывший переписчик В. Костомарова, и в разговоре заявил, что ему известны все отношения Чернышевского к Костомарову. Чулков, для которого это было, конечно, полной «неожиданностью», не растерялся и тут же предложил Яковлеву запротоколировать его слова [3]. В результате получился следующий замечательный документ.

«Летом 1861 года около июля месяца, будучи переписчиком бумаг и разных сочинений у г. Всеволода Костомарова и занимаясь у него постоянно, я очень часто (?) видел у него из Петербурга какого-то знаменитого писателя под именем Николая Гавриловича Чернышевского, и, переписывая бумаги по случаю летнего времени в беседке сада дома г. Костомарова, когда они, ходя между собою под-руку и разговаривая между собою, произносили слова, из которых мне удалось запомнить следующие фразы, произнесенные г. Чернышевским: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла». Г. Чернышевский, называл эту статью своею, упрашивал г. Костомарова о скорейшем ее напечатании. Не только не находя в этих фразах ничего противозаконного, но даже не имея решительно никакой возможности понять точного смысла статьи, о которой у них шел разговор, ибо до моего смысла доходило только несколько отрывоч-

[1] Дело, 230/ч. 176, л. 16; у Лемке. стр. 273.

[2] Матери своей в то же время Костомаров писал: «Я в Москве... по обыкновению весел, з д о р о в (курсив мой) и благополучен» (Дело следственной комиссии, л. 394; у Лемке, стр. 293).

[3] Рапорт Чулкова Потапову, датированный 10 марта 1863 г., находится в Деле следственной комиссии, л.л. 317—318.

ных фраз, я не считал тогда своим долгом довести этого ни до чьего сведения. Но когда уже услыхав впоследствии, что г. Костомаров осужден будто бы за какие-то противу правительства незаконные действия, и чтобы оградить себя от всякой могшей бы впоследствии возникнуть ответственности (!) и считая себя в непременной обязанности и долге всякого честного гражданина, обязанного не скрывать перед правительством лиц, ему вредящих, доводить до сведения этот разговор, неясно слышанный им (?) [1] между гг. Чернышевским и Костомаровым, хотя и теперь не понимая настоящего его значения, но единственно догадываясь, что лицу, повидимому, стоящему в таких близких отношениях, как г. Чернышевский к г. Костомарову, может быть, были известны и преступные, как оказалось, замыслы друга его, г. Костомарова. Московский мещанин Петр Васильев Яковлев» [2].

Лживость этого извета бросается в глаза. Выходит, что Яковлев делает свой донос для изобличения К о с т о м а р о в а, Чернышевского же называет только потому, что тому, быть может, известны и другие преступления Костомарова. На самом деле ясно, что показание это дано специально для компрометации Чернышевского. При чем характерно, что до конца «не понимающий» смысла разговора, происходившего между Чернышевским и Костомаровым, Яковлев прекрасно запомнил к а к р а з слова, коими начинается приписываемое теперь Чернышевскому воззвание к барским крестьянам. Но, спрашивается, зачем бы Чернышевский стал повторять вслух эти слова? Зачем бы он стал ни с того, ни с сего называть эту прокламацию своею? [3]. Все это настолько глупо, настолько пахнет бездарной и тенденциозной выдумкой, что нужна была особая предвзятость для придания этому нелепому доносу серьезного значения. Жалкий пьянчужка, купленный за пальто, подаренное ему Костомаровым, и за 25 рублей, выданных ему «в награду» правительством, не понимал, что́ он делал и на ко́го поднимал руку, но что можно сказать о правительстве, выдвинувшем этого спившегося лжесвидетеля, и о высшем в империи судилище, которое основало свой приговор и на таких свидетельствах!

Снабдив тут же Яковлева деньгами на поездку в Петербург, Чулков одновременно рекомендовал его Потапову как человека, «который очень может быть полезен во многих случаях», и просил принять его «под ми-

[1] Этим словечком жандарм Чулков выдал себя как автора документа.

[2] Дело следственной комиссии, л. 300; Лемке, стр. 293—294.

[3] Кстати, нарочитое подчеркивание этого пункта Яковлевым, т. е. Костомаровым, лишний раз показывает, что он далеко не был убежден в принадлежности воззвания Чернышевскому, а повторял лишь задание III Отделения, тоже, видимо, колебавшегося.

лостивое покровительство» начальника III Отделения. Впрочем, несчастный пропойца невполне оправдал доверие начальства и причинил ему ряд неприятностей. Обрадовавшись случаю выпить на казенный счет и возмнив себя отныне великим государственным деятелем, Яковлев по дороге в Петербург напился на станции Тверь, учинил буйство, был арестован и отправлен в Москву, где местное мещанское общество, давно знавшее этого хулигана, но не имевшее понятия о его новой государственной миссии, засадило его в смирительный дом на четыре месяца. Там его впоследствии и отыскало III Отделение, когда понадобилось его лжесвидетельство в следственной комиссии...

После свидания с Яковлевым, Костомаров оставался в Москве на гауптвахте еще два дня, втечение которых принимал визиты, а 4 марта он с Чулковым двинулись в Тулу. Таков был заранее намеченный в III Отделении маршрут: ведь надо было подогнать прибытие предателя в Тулу к 5 марта, каковым числом было помечено предусмотрительно оставленное в Петербурге письмо к Соколову. В Туле Костомаров снова «захворал» и просил остаться там на три дня. Здесь он сел писать прощальное письмо родным, как вдруг Чулков «неожиданно» заметил у него подозрительное толстое письмо. Он прочитал его и убедился, что оно имеет отношение к делу Чернышевского. Тогда он немедленно переслал свою счастливую находку в Петербург [1]. 7 марта путники собирались двинуться дальше, когда пришла наконец долгожданная телеграмма от Потапова, приказывавшая им немедленно вернуться обратно. В тот же день Потапов уведомил Голицына о сделанной Чулковым у Костомарова «находке» (о которой, как нам известно, Голицын не только давно уже знал, но даже докладывал царю!) и отправил ему письмо к Соколову, заблаговременно у него заготовленное, ибо получить его из Тулы он еще не мог.

10 марта путешественники вернулись из своей увеселительной прогулки. В тот же день Потапов послал Голицыну показание Яковлева [2], якобы присланное ему, а на самом деле привезенное ему Чулковым: таким нехитрым приемом он хотел скрыть от сената происхождение этого документа (как будто бы сенат стал доискиваться правды в деле Чернышевского!). Но историю обмануть ему не удалось, и когда рево-

[1] Так повествуется в жандармских рапортах. На самом деле никакого письма у Костомарова в Туле не было, так как оно находилось в III Отделении. Настолько жандармы уверены были в том, что царский режим вечен, и что их делишки никогда не выйдут на божий свет!

[2] Любопытная подробность: по рассеянности Потапов написал сначала «Костомарова», но затем заметил свою описку и переправил на «Яковлева».

люция вскрыла архивы царизма, вся эта гнусная махинация выплыла наружу.

Но на этом сюрпризы не кончились. По прибытии в III Отделение у Костомарова был произведен «обыск», при чем «неожиданно» у него были отобраны три письма Михайлова, два письма и одна записка Чернышевского, записка Шелгунова и одно письмо Плещеева. Об этом счастливом событии Потапов в тот же день поспешил сообщить Голицыну, а тот — царю. Оба были приятно ошеломлены такою благодатью, которой они, конечно, не ожидали! Древний писатель удивлялся тому, что авгуры при встрече друг с другом способны удерживаться от улыбки. Что бы он сказал при виде Голицына, докладывающего благодушному монарху о «случайных» находках у Костомарова» [1].

Письма Чернышевского к Костомарову были датированы 20 апреля и 2 июля 1861 года, т. е. относились к тому периоду, когда Костомарова считали порядочным человеком. Они носят деловой характер и свидетельствуют о хорошем отношении Чернышевского к Костомарову, которому он старался доставить заработок. Они должны были доказать, что между ними существовали приятельские отношения, и этим подкрепить показания Костомарова о визитах к нему Чернышевского и вообще о наличности между ними доверия и сговора. Такой же характер носили и письма Михайлова от 20 апреля, 20 июля и 5 августа 1861 года, написанные еще более теплым тоном, а также письмо Плещеева от 3 июня того же года. В общем это была переписка симпатизирующих друг другу литераторов, но при обычаях российской жандармерии их можно было использовать чуть ли не для доказательства существования сообщества. В письме Плещеева имелось вдобавок упоминание о каком-то письме его к Чернышевскому без более точного определения [2].

Комиссия торжествовала: отныне она держала гордого узника в руках. Теперь «припертый к стене» Костомаров, до сих пор «скрывавший» преступления Чернышевского, «принужден» будет дать откровенные показания, компрометирующие нераскаянного заговорщика. Фарс был разыгран до конца, и если не совсем ловко, то во всяком случае к благополучному для жандармов окончанию.

---

[1] Если все эти документы не находились у Костомарова еще раньше поездки в Тулу, то они несомненно были переданы ему в Москве во время свиданий с братом. Что касается «собственноручной» записки Чернышевского, то она, подобно письму к Соколову, была заготовлена заранее и, вероятно, тоже лежала в III Отделении.

[2] Все эти документы кроме записки Шелгунова находятся в Деле следственной комиссии, л.л. 305, 306, 307—310, 311а и 311б; у Лемке, стр. 297—298 и 157—160.

Дело вступило в новую фазу. Собственно говоря, *только теперь и началось дело Чернышевского.*

13 марта комиссия сняла с Костомарова первый допрос [1]. Прежде всего он заявил, что ни чина, ни звания, ни адреса Соколова не знает; писал он Соколову вовсе не для того, чтобы свалить вину на Чернышевского и Шелгунова. Если он и ныне не в состоянии представить доказательств тех обвинений, которые он выдвигает против этих лиц в письме, то в этом следует видеть не продолжение прежней политики укрывательства преступников, а лишь «физическую невозможность доказывать такие вещи, которые большей частью происходили с глазу на глаз» между ним и обвиняемыми им людьми. Если же комиссия из сторонних источников (т. е. из сфабрикованных им же и Потаповым фальшивок) найдет подтверждение словам его письма, то он с своей стороны изъявляет полную готовность подтвердить их, хотя бы под присягой.

Охарактеризовав свои отношения к Михайлову, Костомаров перешел к рассказу о мнимой читке на квартире Чернышевского воззвания к барским крестьянам. Находящуюся в деле о московских типографиях рукопись воззвания Костомаров признал не первоначальной редакцией прокламации, а измененной будто бы по его настояниям. Впрочем, свидетелей при передаче ему Михайловым разговора с Чернышевским по поводу изменений в воззвании не было. Переписано было воззвание Михайловым [2]. Сначала Сулин, а затем сам Сороко рассказали ему, как последний был у Чернышевского, и как тот передал Сороке рукопись прокламации и деньги на ее печатание [3]. Сообщая эту жандарм-

[1] Дело след. ком., л.л. 320—324. Он не совсем точно изложен у Лемке, стр. 301—304. Так, фраза Костомарова: «Михайлову не откажут в сочувствии (как человеку) даже люди совершенно противоположного с ним образа мыслей» передана у Лемке так: «Михайлову будут все сочувствовать» (стр. 302). Пропущены два существенные указания Костомарова: 1) что на чтении воззвания присутствовали он, Чернышевский и Михайлов, и 2) что по мнению Чернышевского нужно было еще усилить резкий тон прокламации, но что если иначе нельзя печатать, то он согласен внести изменения: об этом Костомарову передал Михайлов. На стр. 303 пропущено указание Костомарова, что о получении Сорокою воззвания и денег от Чернышевского ему рассказал сначала Сулин, а затем Сороко.

[2] Для оценки правдивости этого показания Костомарова вспомним, что вплоть до февраля 1863 года он считал и об'являл воззвание произведением Михайлова. Все, что он теперь показывал в комиссии, было явно подсказано ему III Отделением.

[3] Это тоже ложь: прокламацию Сороко получил от Михайлова. Чернышевский был слишком осторожен, чтобы непосредственно иметь дело с техническими исполнителями. Но так как прямых доказательств принад-

скую выдумку, Костомаров, впрочем, тут же прибавил: «Относительно доказательств повторяю, что не имею их, да и вообще не считаю возможным представлять какие-нибудь доказательства на то, что говорится в дружеском, частном письме, а не писалось для судебного показания». Но комиссия и не добивалась никаких доказательств. Почтенные контрагенты знали, чего им друг от друга надо.

Далее Костомаров показывал о составлении воззвания к солдатам. По его словам он получил рукопись этого воззвания от Шелгунова из рук в руки при Михайлове [1].

Относительно воззвания к раскольникам Костомаров показал, что оно писалось им под диктовку Чернышевского весною 1861 года в Знаменской гостинице без свидетелей. Костомаров никому его не читал и не показывал; знал ли о нем кто-либо другой, ему неизвестно. Когда приезжал Чернышевский в Москву, он не помнит. Чернышевский бывал у него один, и никого у него не встречал. На вопрос, что он собирался писать о литературной деятельности Чернышевского, предатель, давно уже написавший такую записку для III Отделения, меланхолически отвечал, что ни его здоровье, ни его положение не позволяют ему предпринять такой обширный и щекотливый труд (допрашивавший его Голицын эту записку давно читал). Далее он сослался на записку Чернышевского, отобранную у него сопровождавшим его на Кавказ капитаном Чулковым [2], заметив, что эта записка снимает с него всякое обвинение в составлении воззвания к барским крестьянам (обвинение, которого комиссия и не думала ему пред'являть).

На следующий день комиссия снова допрашивала Костомарова, который заявил, что номер в Знаменской гостинице нанимал Чернышевский [3]. Относительно Яковлева, якобы подслушавшего разговор с Чернышевским, хитрый предатель, чтобы показать, что он с Яковлевым не

лежности воззвания Чернышевскому у III Отделения не было, то оно и придумало и заставило Костомарова подтвердить этот вымышленный факт, чтобы запутать Чернышевского.

[1] Если это правда, тогда раз'ясняются туманные слова Шелгунова в его воспоминаниях относительно того, что одна из двух прокламаций была тут же вручена Костомарову. К воззванию Чернышевского это неприменимо; следовательно, речь идет о воззвании Шелгунова к солдатам.

[2] Где? В Туле? Новая версия. Потапов заявил, что документы эти, в том числе и записка, отобраны у Костомарова в Петербурге, по привозе его из Тулы в III Отделение. Но на такие пустяки комиссия не обращала внимания.

[3] Что стоило комиссии справиться в конторе гостиницы? Но в делах комиссии и III Отделения, относящихся к Чернышевскому, нет и следа такой справки. Ясно, что палачи искали не правды, а гибели Чернышевского.

сговаривался (ведь Потапов подстроил дело так, будто он получил донос Яковлева совершенно независимо от Костомарова), позволил себе роскошь не то что заподозривания факта, а недоумения по его поводу. «Я до сих пор не могу понять, — заявил он, — каким образом Яковлев мог быть свидетелем нашего разговора (с Ч.), происходившего наедине (этим самый ф а к т разговора определенно подтверждается! — *Ю. С.*). Может быть, он слышал наш разговор откуда-нибудь из другой комнаты или вообще из такого места, откуда не мог быть нам виден (тонкое подтверждение якобы неизвестного Костомарову показания Яковлева о том, что он слышал разговор из беседки! — *Ю. С.*): иначе мы, конечно, и не стали бы говорить о таких вещах» [1]. На вопрос, кого он считает жертвами подуськивания Чернышевского, предатель ответил, что прежде всего самого себя, а затем тех юношей, которые, по его мнению, занялись революционной агитацией под влиянием Чернышевского. Наконец относительно карандашной записки Костомаров показал, что Чернышевский как-то заехал к нему, не застал дома и на первом попавшемся клочке бумаги набросал эту записку, оставив ее на столе [2].

И комиссия притворялась, что верит такому вздору! Жандармы, которые настолько были раздражены осторожностью Чернышевского, что зафиксировали свое недовольство в официальных документах, делали вид, что допускают с его стороны такую неосторожность, на какую способен был разве зеленый гимназист, а не человек, которого правительство считало скрытым главою всего революционного движения в России! Написать такую записку, которая разоблачает принадлежность ему революционной прокламации, оставить ее на столе у мало знакомого человека, в незакрытой комнате, куда может взойти кто

[1] Дело след. ком., л. 345. У Лемке это место не приведено.

[2] Комиссия не заинтересовалась естественным вопросом, а Костомаров не считал нужным об'яснить, зачем это он хранил так долго эту записку (и никому ничего о ней не говорил). Но нашелся «ученый», приват-доцент Клочков, взявший на себя реабилитацию предателя и судей Чернышевского и написавший «исследование», долженствующее доказать, что в деле Чернышевского все было чисто и благородно. В своей статье, представляющей уникум в русской литературе, этот господин, приписывая наивному и честному юноше Костомарову благоговейное отношение к Чернышевскому, раз'ясняет глубокую причину странно-бережного отношения, проявленного искренним и правдивым молодым человеком к записке того, кого он, видите ли, считал своим учителем: «При таком (благоговейном) отношении к Чернышевскому неудивительно, что Костомаров берег всякое письмо, всякую записку, полученную им от Чернышевского» (М. В. К л о ч к о в — «Процесс Н. Г. Чернышевского». «Исторический Вестник» 1913, № 9, стр. 912). — На каких только дураков рассчитывал этот «ученый»!?

угодно, да еще подписать эту бумажку, — какой же здравомыслящий человек может поверить такой чепухе? [1]. Если бы мы даже ничего не знали ни о предательстве Костомарова, ни о гнусной махинации, задуманной и осуществленной в III Отделении, мы все равно никогда не поверили бы в подлинность записки, хотя бы она была подделана в двадцать раз лучше, чем это имело место в действительности. А между тем не только жандармы, но и высшее в империи судилище — сенат — сделал вид, что верит подлинности этой записки, и основал на ней свой каторжный приговор ненавистному писателю [2].

Тем временем Чернышевский, ничего не подозревая, посиживал в своей одиночке, возмущаясь медлительностью комиссии, которая, не имея против него никаких обвинений, продолжает содержать его в крепости [3]. 12 марта, когда в руках комиссии были уже «уличающие» его подложные документы, он послал коменданту крепости три записки, в которых просил довести до сведения Суворова, что если его скоро не освободят за отсутствием обвинений против него, то он покончит с собою. Последняя угроза выражена, правда, намеком, но довольно

---

[1] Впрочем, для придания записке большего правдоподобия подпись была намеренно сделана неразборчиво, так что походит и на Ч., и на С. Но эта хитрость шита белыми нитками.

[2] По этому поводу, а также по поводу еще более вздорного и неправдоподобного по содержанию «Письма к Плещееву» А. Тверитинов («О гражданской казни Чернышевского», стр. 56) правильно замечает: «Сам Чернышевский, которого уважаемый сенатом автор письма (первого анонимного доноса; см. выше. — *Ю. С.*) называет хитрым социалистом, а сам сенат удостоверяет, что он, несмотря на строгую предварительную цензуру, сумел расставлять социалистическо-материалистические сети и уловлять в них несчастную молодежь, этот-то хитрец действует как самый глупенький юноша... Приехать в Москву и, не застав своего тайного типографщика дома, оставить такую записку может только человек совершенно нехитрый; наконец, послать с владельцем тайной типографии, т. е. с лицом, которое всегда может ожидать обыска, письмо к заговорщику (Плещееву) из Петербурга в Москву, — письмо совершенно ненужное!». О «письме к Плещееву» см. дальше.

[3] Кстати, эта уверенность Чернышевского в том, что комиссия никогда не в состоянии будет пред'явить ему какого-либо обвинения, также свидетельствует в пользу нашего тезиса, что с В. Костомаровым Чернышевский непосредственно революционных дел не вел, и что, по его убеждению, Костомаров не знал о принадлежности ему воззвания к крестьянам. Иначе Чернышевский, которому предательское поведение Костомарова было известно уже с осени 1861 года, и который за это даже порвал с ним отношения, не был бы так твердо уверен в своей безопасности и не вел бы себя в первое время так вызывающе.

ясным [1]. Комендант переслал эти записки в III Отделение, Потапов 13 марта отправил их в комиссию, а 16 марта последняя вызвала Чернышевского на допрос — второй со времени его ареста.

Теперь Чернышевский мог наконец понять, что враги решили не выпускать его живым из рук. Сначала бандиты из комиссии, чтобы усыпить внимание жертвы, задавали ей вопросы о Герцене, Огареве, Михайлове, Шелгунове и В. Костомарове. Чернышевский повторил свои прежние заявления о политических разногласиях с Герценом, делавших невозможным издание с ним общего журнала. Относительно Шелгунова, Плещеева и В. Костомарова он сказал, что знакомство его с ними ограничивалось чисто литературными делами, об их же, а также Михайлова революционной деятельности ему ничего не известно. К Костомарову он проездом из Петербурга в Саратов заезжал однажды, чтобы отдать ему деньги за стихи, напечатанные в «Современнике» [2]. Далее Чернышевский категорически отверг все изветы Костомарова, заявил, что Сороко не знает вовсе, воззвания к барским крестьянам не писал и Костомарову не передавал, никаких революционных разговоров ни с ним, ни с Михайловым и Шелгуновым не вел, прокламации к раскольникам не составлял и никакого раскольника Дорофея не знает [3]. Тогда инквизиторы пред'явили Чернышевскому записку к Костомарову, но он заявил, что она написана не его почерком, и что он такой записки не писал. А на самой записке он написал: «Эта записка была мне пред'явлена

[1] Чернышевский говорит, что повторять голодовки он не будет, а прибегнет к последнему оставшемуся у него тяжелому средству. См. Дело след. ком., л.л. 349—352; у Лемке, стр. 305—311.

[2] Здесь Чернышевский, повидимому, растерявшись от неожиданности (ибо удара с этой стороны он не ожидал), совершил крупный промах, признав только о д н о посещение им Костомарова. По этому поводу уже известный нам Клочков торжествующе замечает: «О Костомарове Чернышевский сказал, что он его «мало знает» и был у него случайно всего один раз, а из последующих показаний выяснилось, что он был два раза, и наконец из дополнительных раз'яснений видно было, что Чернышевский заезжал к Костомарову еще один, третий раз» (цит. ст., № 9, стр. 919). Допустим. Но почему это может служить свидетельством правдивости показаний Костомарова и подлинности сфабрикованных им и III Отделением документов?

[3] Допрос Чернышевского занимает в Деле след. ком. листы 357—370; у Лемке, стр. 311—314, впрочем, тоже с некоторыми пропусками (напр., относительно Дорофея) и ошибками: так, на стр. 312 у Лемке сказано «распоряжения к потомственному землевладению» вместо «расположения»; ниже сказано «общественных слухах» вместо «общеизвестных». Но самое интересное в этом протоколе то, что показание относительно воззвания к крестьянам написано дрожащим и нервным почерком, тогда как следующее показание о раскольниках — более твердым и уверенным. Успел ли

комиссиею; и я не признаю ее своею. Этот почерк красивее и ровнее моего». И это совершенно верно.

Ввиду упорного запирательства Чернышевского ему 19 марта дана была очная ставка с Костомаровым. Костомаров нагло изобличал Чернышевского, а последний спокойно и презрительно опровергал показания доносчика [1]. Тогда комиссия решила вытребовать из Москвы студента Сороко, имевшего отношение к тайной типографии и упомянутого Костомаровым в своем доносе, а также мещанина Яковлева.

5 апреля Сороко и Яковлев были доставлены в III Отделение, а 8-го подвергнуты допросу. Сороко отверг показания Костомарова и заявил, что Чернышевского вовсе не знает, равно как не знает о составлении им воззвания; по просьбе Костомарова был у Михайлова и получил от него запечатанный пакет для передачи Костомарову; Яковлев же подтвердил свой донос, заявив, что Чернышевского видел у Костомарова трижды: в феврале или марте 1861 г., второй раз — вскоре после этого времени и в третий раз в июле 1861 года, когда тот проезжал через Москву в Саратов и именно в это время произнес инкриминируемые слова, подслушанные Яковлевым из беседки. Какого доверия вообще заслуживали слова этого заведомого для комиссии лжесвидетеля, видно из его заявления, что Костомарова он видел в последний раз в ноябре 1862 года, хотя они виделись 1 марта 1863 года в Москве при жандарме Чулкове, что комиссии было прекрасно известно [2].

10 апреля дана была очная ставка Сороко с Костомаровым, при чем каждый из них стоял на своем [3]. Убедившись в том, что привлечение Сороко к делу способно только подорвать оговор Костомарова, комиссия, рассудку вопреки, постановила отправить Сороко домой, взяв с него подписку о том, что он не будет разглашать своего вызова в Петербург. Еще бы, для затеянной махинации Сороко был неудобным свидетелем.

11 апреля комиссия, продолжая ломать комедию, запросила Костомарова, какие он может представить улики в подтверждение своих по-

---

Чернышевский за несколько минут оправиться и взять себя в руки, или же разница почерков об'ясняется тем, что воззвания к раскольникам он действительно не писал? Разумеется, мы не настаиваем на своем предположении, так как на основании разницы в почерках трудно делать убедительные выводы. Но эта разница бросается в глаза.

[1] Дело след. ком., л. 376; у Лемке, стр. 315—316. — И подумать, что в это время душевного потрясения Чернышевский спокойно заканчивал свой роман «Что делать?», проникнутый такою жизнерадостностью и верою в человека!

[2] Д. С. К., л.л. 405—408 и 409 сл.; у Лемке, стр. 331—332.

[3] Д. С. К., л. 413.

казаний. Костомаров отвечал, что новых улик у него нет, но он просит дать ему еще одну очную ставку с Чернышевским, ибо «может быть, ему удастся подействовать на него силою убеждений». Как видим, предатель не лишен был чувства юмора.

Очная ставка была дана 12 апреля. Невыгодной стороной ее для Чернышевского было то, что здесь ему пришлось признать уже не одно, а два свидания свои с Костомаровым: 1) весною 1861 года (когда якобы была оставлена «собственноручная записка») и 2) в августе 1861 года (когда Чернышевский якобы уговаривал Костомарова печатать воззвание, при чем произнес будто бы слова, подслушанные Яковлевым) [1]. Когда очная ставка закончилась, Чернышевский, обратясь к комиссии, сказал: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю», о чем был тут же составлен протокол (л. 418). Этим словам великий мыслитель остался верен до конца.

В тот же день комиссия пред'явила Чернышевского Яковлеву, но при таких условиях, которые позволили тому положительно утверждать, что именно этого человека он видал у Костомарова. Затем им дана была очная ставка, во время которой Яковлев настаивал на трех визитах Чернышевского к Костомарову: в феврале, марте и июле 1861 года. В первый раз Чернышевский застал Костомарова и разговаривал с ним в его кабинете, но слов их Яковлев не слышал; во второй раз Чернышевский, не застав Костомарова, оставил ему записку (оказывается, что Яковлев успел уже и это узнать!); наконец, в третий раз Яковлев, сидя в беседке, подслушал их разговор о печатании прокламации. На это Чернышевский возразил, что в Москве до августа 1861 года он был не три, а два раза, никакой записки не оставлял, потому что оба раза заставал Костомарова; в остальном показания Яковлева отвергал (л.л. 420—421).

В тот же день комиссия решила отпустить Сороко в имение, откуда он был вытребован, а Яковлева вернуть в московский смирительный дом для отбытия наложенного на него мещанским обществом наказания. Здесь-то и сказалась предвзятость комиссии. Ведь если оговор Костомарова был верен относительно Чернышевского, то он в равной мере компрометировал и Сороко, которого предатель обвинял в том, что он взял у Чернышевского прокламацию для передачи ее Костомарову и получил от Чернышевского деньги на печатание. Между тем Сороко отпустили на все четыре стороны. Ясно, что правительство решило по-

[1] Дело след. ком., л. 417; Лемке (стр. 332) об этом почему-то умалчивает, но зато это небольшое разноречие охотно подхватывает г. Клочков, чтобы на основании его доказать справедливость всех показаний Костомарова! Дух Голицына и Потапова почил на этом приват-доценте.

губить Чернышевского, не очень-то разбираясь в средствах и само не веря в оговор Костомарова [1].

16 апреля 1863 года к Потапову неожиданно явился поэт Некрасов, издатель «Современника», и передал ему датированное 13 апреля письмо от нескольких политических, заключенных в московском смирительном доме (И. Гольц-Миллера, П. Петровского-Ильенко, А. Новикова, Я. Сулина, Л. Ященко). Авторы письма рассказывали и готовы были подтвердить под присягой, что в тюрьме они встретились с мещанином Яковлевым, который сообщил им, что в Москве он виделся с Костомаровым, и что последний подговаривал его дать ложное показание против писателя Чернышевского [2]. Взбешенная этими разоблачениями, комиссия постановила, не дожидаясь 4-месячного срока, выслать Яковлева под надзор полиции в Архангельскую губернию, с чем согласился и Александр II [3]. Это не помешало комиссии по-прежнему доверять показаниям подкупленного пьянчужки, а сенату впоследствии сослаться на них в своем приговоре.

Существует документ, исходящий от самого Яковлева и определенно подтверждающий, что его лжесвидетельство, которое, как мы знаем, не было тайной для комиссии, было внушено ему В. Костомаровым и жандармами. Уже находясь в архангельской ссылке, этот презренный пропойца написал 16 декабря 1863 года из Мезени письмо своему брату А. В. Яковлеву, из которого мы приводим следующие поучительные строки: «Хотя кратко, но опишу тебе случай, бросивший меня в эту гадкую Мезень. 1 марта сего года приехал в Москву Костомаров в сопровождении жандармского офицера и упросил меня защитить его, сколько от меня зависит, т. е. сказать то, что я знаю в отношении его к Чернышевскому, убедив при этом меня, что это послужит к его оправданию. Я, конечно, согласился и тотчас же написал донос в III Отделение и вслед за ним отправился лично в Петербург, но дорогою

---

[1] Первая экспертиза о собственноручной записке произведена была 24 апреля по постановлению следственной комиссии чиновниками губернского правления, уголовной палаты и 2-го деп. гражданской палаты (сенат своих секретарей для этого не дал, оставляя честь фальшивой экспертизы за собой). «Эксперты» комиссии нашли, что почерк записки имеет «некоторое сходство» с почерком Чернышевского (см. Д. С. К., л.л. 424, 432, 451). В сущности это был первый провал, но не комиссию Голицына можно было такими пустяками смутить.

[2] Д. С. К., л.л. 434—435; у Лемке, стр. 333—335. — Л. Я. Ященко, сидевший с Гольц-Миллером и позже бывший присяжным поверенным округа Саратовской судебной палаты, в разговоре с Н. Рейнгардтом подтвердил рассказ об инциденте с Яковлевым (см. цит. ст. Рейнгардта, стр. 464).

[3] Д. С. К., л.л. 439, 446, 448.

чорт дернул напиться и нашуметь на Тверской станции, что мне много и повредило. После чего по моему требованию я был вытребован в Петербург и там, в присутствии Верховного Судилища, уличил в сказанных при мне словах (по крестьянскому вопросу) Николая Гавриловича Чернышевского. Не знаю, послужили ли мои слова в пользу Костомарова, но только я получил в награду 25 руб. [1] и был тотчас же отправлен обратно в Москву. Настоящей причины не понимаю и не постигаю...

«Дальнейшее и подробнейшее об'яснение не может быть описано по причинам от меня независящим» [2]... Но мы-то теперь знаем, что выслали его в Архангельскую губернию за неуместную болтовню перед студентами.

На этом мы можем навсегда расстаться с жалким хулиганом, сыгравшим волею судеб и III Отделения такую гнусную роль в деле Чернышевского...

Допросы Н. Шелгунова 19 и 20 апреля и очная ставка его с Костомаровым не дали ничего нового. Шелгунов отверг все изветы предателя и в частности заявил, что ничего не знает о революционной деятельности Чернышевского [3]. К делу последнего Шелгунов не был приобщен, хотя по здравой логике это следовало сделать, если придавать веру показаниям Костомарова. Против него было возбуждено особое дело. Характерна различная судьба Чернышевского и Шелгунова. Ведь последнему пред'явлено было аналогичное и даже более важное обвинение: не только соучастие в подготовлении прокламации к барским крестьянам, но и составление более опасного воззвания к солдатам и революционная пропаганда среди солдат (показания Костомарова). Более того, о составлении Чернышевским воззвания к крестьянам Костомаров мог только догадываться; по его собственному свидетельству он получил ее не от Чернышевского, а от Сороко через Михайлова, тогда как воззвание к солдатам он получил от автора из рук в руки. Но Шелгунова не считали нужным засудить во что бы то ни стало, в его деле не признано было допустимым прибегать к подлогам (впрочем, может быть, именно потому, что в вынесении ему обвинительного приговора III Отделение не сомневалось), и в конце концов суд — да еще военный суд —

---

[1] За что ж «награда» честному свидетелю?!

[2] Н. К — о в — «Новый документ к делу Н. Г. Чернышевского» (из архива В. А. Гольцева). «Совр.» 1914, № 1. Отдел «Новое о прошлом», стр. 108—109.

[3] Д. С. К., л.л. 441—445; у Лемке, стр. 336—337. — В своих «Воспоминаниях» (стр. 142) Шелгунов, уже не принужденный скрываться от следователей, прямо говорит, что свои обвинения Костомаров сочинял с какой-то упрямой, злой настойчивостью (см. выше).

его оправдал [1]. Ибо для правительства личность Шелгунова была неважна, Чернышевского же надо было удалить, из'ять во что бы то ни стало, как влиятельнейшего публициста и идейного вождя революционной молодежи. Дело ясно.

Итак, комиссия Голицына вкупе с III Отделением худо ли, хорошо ли подготовила материалы для судебной расправы с Чернышевским. В начале мая Александр II утвердил доклад следственной комиссии о передаче дела в сенат с предоставлением последнему решения вопроса об оставлении Чернышевского в заключении или об освобождении его на поруки [2]. Решение сената можно было предвидеть заранее. Чернышевский на свободу вплоть до 1883 года уже не выходил.

На этом мы можем распроститься с этою позорной памяти следственною комиссиею, втечение десяти лет систематически истреблявшей цвет русской молодежи. Расставаясь с нею, скажем лишь, что в своем докладе, подытоживавшем проделанную ею кровавую работу, комиссия коснулась и дела Чернышевского, бесспорно составлявшего жемчужину в ее шпионской короне, и утверждала, что, наряду с Н. Серно-Соловьевичем, Мосоловым, Ничипоренко, Ветошниковым, Н. Утиным и Налбандяном, литератор Чернышевский был агентом (!) Герцена и Огарева, основавших в России общество «Земля и Воля». Далее, говоря о распространении социалистических взглядов среди молодежи, комиссия прибавляет, что «в примечаниях к переводу «Политической экономии» Милля и особливо в романе «Что делать?» Чернышевский проводил крайние демократические и коммунистические идеи, и этим собственно об'ясняется исступленное поклонение его личности и таланту в среде неразвитого юношества». Наконец, доклад упоминает, что «Худяков в начале 1866 года задумал освободить из каторги... Чернышевского для увоза его в Женеву, где предполагалось основать социалистический жур-

---

[1] Замечательно, что военный суд, разбиравший в 1863—1864 гг. дело Шелгунова, уже после осуждения Чернышевского за составление воззвания к барским крестьянам, снова рассматривал вопрос об этой прокламации и чуть было не признал ее автором Шелгунова! А именно суд нашел, что между напечатанной статьей Шелгунова «Русское Слово» и воззванием к барским крестьянам «в главных основаниях есть сходство, хотя и неясное: в воззвании крестьяне прямо призываются к восстанию, а в статье это же самое (!) выражено в форме философской истории, при чем призывается народность к проявлению самостоятельности и нравственной силы»; поэтому суд пришел к заключению, что «Шелгунов некоторым образом навлекает на себя подозрение в составлении воззваний», т. е. в том числе и воззвания к барским крестьянам! (В. Н. П. — «Дело Н. В. Шелгунова». «Голос Мин.», 1915, № 6, стр. 235).

[2] Д. С. К., л.л. 466—468.

нал», и таким образом, сходя со сцены, комиссия в последний раз напоминала правительству об опасности опального писателя и о необходимости иметь за ним бдительный надзор [1].

7. Шемякин суд

16 мая 1863 года министр юстиции Замятнин сообщил высшему судебному месту в империи о повелении царя передать дело Чернышевского в сенат, дело Шелгунова — в военный суд, а В. Костомарова прикомандировать к петербургскому батальону внутренней стражи впредь до минования в нем надобности по упомянутым выше делам. Фактически Костомаров, освобожденный за свои заслуги от всякого наказания, жил на свободе и на службу не являлся.

Теперь в Костомарове надобности больше не представлялось. Мавр сделал свое дело и мог уйти на заслуженный покой. Ведь Костомаров был (и уж несомненно и бесспорно) изобличен в содержании тайной типографии, в печатании и распространении революционных прокламаций, что по тем временам каралось каторгой. Но его даже не отправили на Кавказ рядовым в нарушение состоявшегося о нем постановления сената и государственного совета, утвержденного царем. Он был выпущен на свободу, а впоследствии III Отделение издавало даже на свой счет его сочинения [2].

Правда, Костомаров выполнил не все свои обещания. Он между прочим взялся раскрыть колоссальный заговор, распространившийся якобы на всю Россию, открыть правительству членов, корреспондентов и верховную думу грандиозного тайного общества, будто бы охватившего своими щупальцами всю страну, и т. д. Тем не менее заслуги Костомарова были царем оценены. Не только он, но и семья его пользовалась расположением и помощью начальства. В деле III Отделения № 230/ч. 176, л.л. 67—68, имеется характерная справка от 15 июня 1863 года относительно заслуг Костомарова. Напомнив о том, что Костомаров не выполнил своего обещания насчет раскрытия тайного общества, справка продолжает: «Но Костомаров указал следственной комиссии, что Шелгунов писал воззвание «К воинам» и ходил в казармы с целью скло-

---

[1] Богучарский — «Общественное движение 60-х годов под пером казенных исследователей». «Голос Мин.» 1915, № 4, стр. 201, 207, 208.

[2] Так, в июне 1864 года III Отделение «в видах вознаграждения услуг рядового Костомарова» приняло на свой счет расходы по изданию его «Истории литературы древнего и нового мира» в двух частях в сумме 1 366 руб. 35 к. (см. Дело № 230/ч. 176, л. 81; у Лемке, стр. 498—499). Жандармам не чуждо было чувство благодарности.

нять солдат к восстанию; он показал также, что Чернышевский поручил ему, Костомарову, печатание воззвания «К барским крестьянам» и диктовал ему воззвание к раскольникам. Шелгунов и Чернышевский, хотя и не сознались в этом, но показания Костомарова и улики, им представленные к их обвинению, были достаточным основанием к преданию их суду, а потому он не может не заслуживать внимания правительства (курсив мой), тем более, что, по словам генерал-ад'ютанта князя Суворова, Путилин уже об'явил семейству Костомарова о всемилостивейшем соизволении на производство оному денежного пособия».

Эта справка, повидимому, послужила материалом для доклада шефа жандармов царю. Об этом свидетельствует пометка на документе, гласящая: «Высочайше разрешено дать Костомарову с его семейством единовременно пятьсот руб. сер., истребовав эти деньги из государственного казначейства на известное его величеству употребление. 22 июня»...

Предыдущая глава дела Чернышевского закончилась. Открывалась новая, пожалуй, более возмутительная, ибо развертывалась она под лицемерным покровом суда, правосудия, закона...

Вот состав первого отделения пятого департамента сената, которому предстояло судить Чернышевского: первоприсутствующий М. М. Карниолин-Пинский и сенаторы А. В. Веневитинов, Н. Е. Лукаш, Б. И. Бер, К. Б. Фон-Венцель и гр. Д. А. Толстой, обер-прокурор Я. Я. Чемадуров, обер-секретарь Кузнецов. Список судей Чернышевского должен быть предан бессмертию.

29 мая 1863 года Чернышевский был в первый раз вызван в сенат. Подтвердив все сказанное им в комиссии, Чернышевский просил разрешения подать особое об'явление, свидания с родственниками, освобождения на поруки и допущения его к прочтению и рукоприкладству записки, которая будет составлена сенатом в итоге рассмотрения дела. Сенат удовлетворил все просьбы подсудимого кроме освобождения.

1 июня Чернышевский послал сенату подробнейшее «дополнительное показание», занимающее в подлиннике 24 страницы размером в писчий лист (около двух печатных листов), которое 7 июня было переслано сенату Суворовым. Повидимому, Чернышевский написал это огромное и сложное показание в два дня. Так работать умел только он [1].

[1] Сенатское дело о Чернышевском, л.л. 16—27; у Лемке, стр. 340—375. — Соответствующие части этого показания использованы нами выше.

В своем дополнительном показании Чернышевский опровергал каждое из выдвинутых против него обвинений множеством фактических ссылок и указаний. Относительно Костомарова Чернышевский, ссылаясь на тогдашние законоположения, доказывает, что как лицо, прикосновенное к делу, он не может быть по этому делу свидетелем, допрашиваемым под присягою, «если не сделал своих показаний против меня при самом начале следствия над ним». На этом же основании он отводил и свидетельство Яковлева, своевременно не донесшего властям о подслушанном им разговоре. Оговор его Костомаровым Чернышевский об'яснял озлоблением предателя на резкое изменение своего отношения к нему после выдачи им Михайлова. А в конце подчеркивал, как многознаменательное явление, тот факт, что настоящие обвинения были пред'явлены ему лишь через 8 месяцев после его ареста.

На об'яснения и опровержения Чернышевского сенат не обратил никакого внимания, указанных им фактов и обстоятельств не проверял. Приговор очевидно был предрешен. Но для этого все-таки нужны были формальные юридические основания. Пока в руках сената имелся о д и н документ, способный подтвердить оговор Костомарова: это — знаменитая «собственноручная» записка. Но подсудимый категорически отрицал ее подлинность. И вот сенат 6 июня решил произвести через своих секретарей ее экспертизу[1]. Им не предоставили свободного выбора бумаг, не показали имевшихся в деле многочисленных писаний В. Костомарова (единственного лица, которое, кроме Чернышевского, можно было подозревать в составлении этой записки) и даже из писаний Чернышевского дали им для сличения только одну небольшую записку, отобранную у него при обыске, и запись его показаний 30 октября 1862 года. Из 8 экспертов ш е с т ь (т. е. 75%) нашли, что о б щ и е х а р а к т е р ы п о ч е р к о в записки и несомненно принад-

[1] Почему секретари сената признавались экспертами по графологии, это — секрет дореформенного российского судопроизводства. На самом деле никакими данными для этого они не обладали, а приемы, применявшиеся ими, поражают своей примитивностью и неубедительностью. Клочков в своей названной выше подхалимской статье доказывает, что они вполне годились для выполнения возложенной на них задачи: это были мол не первые встречные, а «чиновники VII и VIII класса, т. е. того же среднего чиновного положения, в каком были в то время профессора некоторых высших учебных заведений и старшие учителя гимназий». С каких это пор класс должности является признаком способностей к экспертизе, остается секретом г. Клочкова (характер его «исследования» в свое время отмечен был С. Сватиковым в статье «Г-н М. В. Клочков и его апология роли сената в деле Чернышевского». «Голос Минувшего» 1914, № 2).

лежащих Чернышевскому бумаг несходны, хотя в отдельных буквах в некоторых словах сходство замечается; и только двое признали, что записка писана Чернышевским, сознательно изменявшим при этом почерк, но и эти двое должны были признать несходство почерков. Что же сделал сенат? Сложив все буквы, сходство которых в почерке записки и в почерке Чернышевского признали отдельные эксперты, хотя каждый из них указывал особые буквы [1], сенат сделал смелый вывод, будто секретари установили сходство 12 букв из 25, коими писана записка (хотя и таких схожих букв получилось меньшинство). А дальше сенаторы еще смелее признали, что «и в отдельных буквах сей записки, и в общем характере почерка есть совершенное сходство», т. е. фактически отвергли экспертизу подавляющего большинства ими же приглашенных секретарей и произвели свою собственную, совершенно произвольную и ни на чем не основанную, экспертизу. В результате они отклонили ходатайство Чернышевского об освобождении на поруки. Ясно было, что обвинительный приговор у них уже готов.

И готов он был потому, что Чернышевского меньше всего судили за государственное преступление в узком юридическом смысле этого слова. Его судили за его влияние, за его литературную деятельность, за его опасность для господствующих классов и для выгодного им политического режима. В этом отношении в высшей степени характерен и показателен следующий факт.

Выше мы уже сообщали о работе двух третьеотделенских литераторов, проф. М. Касторского и предателя В. Костомарова, составивших записки о литературной деятельности Чернышевского. Одна из них, М. Касторского, была, повидимому, составлена еще в 1862 году (см. выше, стр. 381—383). Как мы знаем, эта записка была по приказу царя прислана 7 июня 1863 года Долгоруковым Голицыну «для приобщения к делу о Чернышевском», а тот отослал ее министру юстиции Замятнину. Этот же «блюститель законов» 2 июля переслал записку в сенат с указанием, что посылает ее «к совокупному рассмотрению с делом»!

Записка Касторского (будем называть ее так, хотя в III Отделении она подвергалась, повидимому, какой-то обработке) указывает, что две теории носят в себе элементы разрушения: это — материалистическая философия («материальный фатализм») и социализм, неминуемо переходящий в коммунизм. Об'единение их в одну систему со-

[1] Так что здесь надо было вычитать, а не складывать.

здает учение, которое содержит «зерно будущих общественно-правительственных переворотов в Европе», при чем автор записки тут же поясняет, что «сторонники их — не заговорщики, а проповедники революций». Именно эти теории и проводил в своих статьях в «Современнике» Чернышевский. Рассматривая главные работы Чернышевского — «Антропологический принцип», «Капитал и труд», примечания к Миллю, «Июльская монархия» — и метко характеризуя употребляемый им «гипотетический метод» [1], автор записки приходит к тому выводу, что эта литературная пропаганда оказала революционизирующее действие на молодежь, которая пожелала осуществить проповедуемые им идеи и для этого прибегла к тайному печатанию. «В подметных прокламациях,— говорит автор записки, — высказываются те же самые политико-экономические учения, которые развивал Чернышевский, с тою лишь разницею, что в прокламациях они не прикрыты ученою диалектикою, а являются в безыскусственной форме и осязательной нелепости... Словом сказать, прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его — подробный к ним комментарий».

Скоро последовала и вторая записка, повидимому, составленная В. Костомаровым в начале 1863 года по поручению Потапова.

Рейнгардт (цит. ст., стр. 463—464) со слов подполковника А. З. Зарубина, старшего ад'ютанта корпуса жандармов, рассказывает, что в III Отделении Костомаров «потребовал «Современник» за несколько лет и стал писать комментарии к статьям Чернышевского, находя в одних материализм и атеизм, в других социализм и коммунизм, при чем Костомаров... весьма подробно указывал, какие именно идеи Чернышевского могут разрушить современный общественный и государственный строй, и таким образом из его комментариев... ясно следовало, что своими статьями Чернышевский подготовлял меры к разрушению государственного порядка в России. Избранные Костомаровым статьи пред'являлись Чернышевскому [2], при чем спрашивали последнего, что́ он хотел ими высказать, на что он отвечал, что им высказано в означенных статьях именно все то, что он хотел сказать, а другого ничего не имел (?). В течение трех месяцев... статьи Чернышевского с комментариями Костомарова тщательно переписывались и представля-

[1] Это место из записки мы привели в первом томе, стр. 525 — 526.

[2] Это неверно. Напротив сенат прятал от Чернышевского эти записки. Сенат постановил не вносить ни записку Касторского, ни потаповскую «Записку из частных сведений» (см. выше, стр. 377) в свое определение так как последнее должно было быть предоставлено для прочтения Чернышевскому. См. Сенатское дело, л.л. 79, 80 (оборот.) и 82.

лись государю (курсив мой), который наконец положил резолюцию: «судить Чернышевского по всей строгости законов», вследствие чего его судили и, осудив, применили, вероятно по аналогии, 283 ст. XV тома Св. Зак.

«— Читаешь Чернышевского, — говорил добродушно З[аруби]н,— кажется, статья как статья, ничего в ней особенного нет, написана просто, умно, а начнешь читать комментарии Костомарова, то волос дыбом подымается. Не знаешь только, чему удивляться, уму ли Чернышевского, одурачившего цензуру, или простоте последней, не доглядевшей, что следует...

«Таким образом, — заключает Рейнгардт, — рассказ подполковника З[аруби]на, по своему положению старшего ад'ютанта штаба корпуса жандармов, значит, близко стоявшего к политическим делам, вполне подтвердил справедливость мнения Гейнса относительно того, что Чернышевский был осужден за свою литературную деятельность»

То, о чем в свое время шушукались, о чем догадывались, теперь, с открытием царских архивов, перестало быть секретом. Подтвердились худшие предположения: Чернышевский был осужден за свою подцензурную литературную деятельность; все же остальное — обвинение в составлении воззвания к крестьянам, письмо к Плещееву и т. д. — было искусственно притянуто за волосы, чтобы создать видимость какого-либо фактического оправдания этого юридического убийства.

4 июля Долгоруков послал Замятнину вторую записку «Разбор литературной деятельности Чернышевского», принадлежавшую перу В. Костомарова, предлагая ему на досуге ознакомиться с нею и присовокупляя, что она, «может быть, была бы прочтена не без пользы некоторыми гг. сенаторами». Она и была прочтена ими не без пользы для инсценировщиков дела Чернышевского.

Записка эта, размером около трех печатных листов, написана не без таланта и убедительности. Начало ее совпадает с запиской Касторского (вплоть до повторения тех же терминов, например, «материалистический фатализм»), что подтверждает предположение о произведенной в недрах III Отделения переработке и сводке обеих записок [1]. Но если первая записка останавливалась преимущественно на общих соображениях, то вторая более детально рассматривает тактические выводы, вытекающие из основных теоретических положений Чернышевского. И, знакомясь с этим продуктом сыскного творчества, при-

[1] Хотя возможно, что Костомаров, писавший свою записку позднее, мог просто использовать записку Касторского.

ходится сказать, что враги подчас бывают более проницательны, чем друзья, и что автор записки лучше схватил главные черты революционной системы Чернышевского, чем многие критики из революционного лагеря, пытавшиеся навязать нашему писателю оппортунистические взгляды, которых в действительности у него вовсе не было.

Костомаров гораздо лучше эсера М. Антонова понял революционную сущность философских взглядов Чернышевского, когда по поводу статьи «Антропологический принцип», направленной «против Юркевича и других философов-идеалистов», замечает, что в ней пропагандировался и защищался материализм, «доведенный... до полного отрицания нравственности, религии и закона», т. е. буржуазно-помещичьей морали и закона. И он по существу совершенно прав, когда говорит, что радикальные писатели во главе с Чернышевским, «относясь ко всем явлениям нашей жизни критически и... стараясь доказать несостоятельность всех отживших, всех существующих и всех вновь заводимых порядков, показали нам картину нового социального быта, идеал которого они видят в коммунизме». Верно, что Чернышевский критиковал не только самодержавие николаевского типа («отжившее») и существующее, но и насаждаемый эпохой «великих реформ» буржуазный порядок («вновь заводимый»), противопоставляя тому и другому коммунистический идеал. Сравнивая деятельность Чернышевского с работой энциклопедистов, незаметно-де подготовивших великую французскую революцию, автор записки попутно указывает на сходство некоторых его идей с мыслями Гельвеция и Дидро. Сопоставляя статьи об июльской монархии с воззванием к барским крестьянам, «К молодому поколению» и «Молодой Россией», автор записки говорит, что «ученые исследования» Чернышевского стремятся к «подготовке общей революции посредством внушения народу тех идей, на основании которых должно совершиться желаемое пересоздание общества», и при этом правильно отмечает, что Чернышевский высказывался против частичных бунтов лишь потому, что они «при неподготовке всей нации представляют только вредную растрату сил».

Дальше он переходит к раскрытию смысла той критики, которой Чернышевский подверг буржуазную политическую экономию, и правильно указывает, что «выражение «теория трудящихся» употребляется Чернышевским для прикрытия слов «теория коммунизма». При этом он остроумно отмечает, что за перевод Милля Чернышевский взялся потому, что тот «цензурнее других излагает коммунистические теории», а то, чего не договаривает или чему не сочувствует половинчатый Милль, досказывается и доводится до конца самим переводчиком и комментатором в его примечаниях. Переходя далее к знаменитому

«плану» Чернышевского, полицейский публицист понимает его гораздо лучше и оценивает его гораздо правильнее, чем писавшие о нем впоследствии прогрессивные литераторы и даже Плеханов: «он надеется,— говорит автор записки, — осуществить его... очевидно путем насильственного переворота» [1]. И вся записка посвящена детальному доказательству той же мысли, какая высказана и в записке Касторского, а именно, что «большая часть произведений... подметной литературы есть не что иное, как развитие, дополнение и пояснение идей, замаскированных или недоговоренных в привилегированных статьях нигилистских литературных органов», в частности и в особенности произведениях Чернышевского.

Вот что царь приказывал своим холопам рассмотреть совместно с делом Чернышевского! Сенаторы и без специального «высочайшего» указания понимали, что Чернышевского необходимо «закатать» за его легальную литературную деятельность, популяризовавшую в России принципы материализма и коммунизма. Но для этого все же требовались и некоторые юридические основания, хотя бы по существу ложные, но формально убедительные. Между тем, кроме бездоказательного костомаровского оговора, вдобавок категорически отвергаемого и основательно опровергаемого подсудимым, и еще более подозрительного доноса пропойцы Яковлева, имелась одна только «собственноручная записка», которую даже назначенные сенатом эксперты большинством трех четвертей признали не принадлежащей Чернышевскому (что, впрочем, не помешало бессовестным сенаторам приписать ее именно ему). По тогдашним законам такая косвенная улика признавалась «несовершенным доказательством». Отсюда возникла необходимость, по крайней мере, еще в одном таком же «несовершенном доказательстве». Наличие двух таких улик, по тогдашнему порядку, уже развязывало судьям руки и давало им возможность вынести обвинительный приговор. Появился поэтому спрос еще на один «аутентичный» документ. А где есть спрос, там является и предложение. Оно явилось и на сей раз, при чем чудотворцем, пришедшим на помощь российской Фемиде, снова оказался уже известный нам мастер по подлогам В. Костомаров.

Итак, 18 июля Замятнин сообщил обер-прокурору, что 12 июля III Отделение [2] прислало Голицыну, а последний направил к нему очень

---

[1] Об этом плане см. т. I, стр. 586 сл.

[2] Лемке (стр. 441 — 442) говорит, что письмо это прислал Голицыну Потапов, по обыкновению не указывая номера дела, на котором он основывает свое утверждение. Между тем в деле № 28, л. 39, имеется письмо не Потапова, а самого шефа жандармов Долгорукова с приложением этого документа.

важное письмо Чернышевского к какому-то «Алексею Николаевичу (вероятно, Плещееву)», полученное от В. Костомарова. Это был протертый и изорванный листок почтовой бумаги следующего содержания:

«Добрый друг Алексей Николаевич. Может быть, Вы и справедливы, упрекая меня за слишком большую доверчивость, оказанную людям, едва мне знакомым; я и сам очень хорошо знаю, что, несмотря на все принятые мною предосторожности, рискую очень многим, но кто виноват? Вы знаете, что времени терять нельзя: теперь или никогда. Тут раздумывать много было бы преступлением, слабостью, ничем не оправдываемой, и ошибкой, никогда не поправимой. Вы вот около уже полугода водите нас со своим станком и довели до такой минуты, далее которой откладывать мы не можем, если хотим, чтобы дело наше было выиграно. В то время как Вы откладываете со дня на день, нам подвернулись под руку люди, хотя сами по себе и весьма, как видно, пустенькие, но все-таки энергичные и более года занимавшиеся тайным печатанием, стало быть, вести свое дело умеющие. Мы не могли не воспользоваться таким удобным случаем напечатать свой манифест, тем более что в случае неуспеха самая большая доля ответственности падает на них самих. Тем не менее Вы все-таки примите свои меры к прекращению всех слухов, которые могут повредить нам, потому что я уже не от Вас одних слышу, что Сулин (или как там его) хвастает знакомством со мной и рассказывает, будто я отдал ему для тайного напечатания свое сочинение (?). Старайтесь заглушить эти слухи; это будет Вам тем более легко, что, как я слышал, и Сул., и Сор. не пользуются в Москве репутацией людей положительных и дельных.

«Что касается до К., то на него, кажется, можно положиться, хотя, конечно, и с ним нельзя чересчур откровенничать не следует (так в подлиннике. — *Ю. С.*), не испытав предварительно верности его на деле. Впрочем, он мне кажется человеком дельным и полезным, и я во всяком случае весьма благодарен Вам за знакомство с ним.

«Я ничего не пишу Вам о литературных делах, хотя накопилось довольно много новостей для Вас небезынтересных. По обыкновению спешу, или, лучше сказать, спешит К., с которым я отправляю это письмо.

«Вы все попрежнему продолжаете сомневаться в добром исходе нашего дела; так не годится. Больше энергии, больше веры в успех. Дремать грешно в такое удобное время, когда все проснулось. Оттого у Вас ничего и не выходит. Нет, мы не теряем времени в бесплодном раздумьи. Посмотрите-ка, каких чудес наделал Л. с своими офицерами

или 23 в Понизовьи. Ваша работа легче, а подвигается медленнее; отчего? Энергии мало, мало силы воли.

«Совсем некогда. Жму Вашу руку.

«Ваш Черныш.

«Скоро буду писать через К.» [1].

Более бесцеремонную и глупую подделку трудно себе представить. Здесь все недостоверно: и общее содержание письма, и отдельные его детали, и выбор адресата, и выбор передатчика, и самый факт написания Чернышевским такого письма не только А. Плещееву, но и кому бы то ни было.

Как попало это письмо в руки III Отделения? В делах III Отделения, следственной комиссии и сената, относящихся к Чернышевскому и нам (равно как и М. Лемке) известных, никакого указания на тот путь, каким оно попало к жандармам, нет. Отсюда Лемке умозаключает, что его принес Костомаров, непосредственно вручивший его Потапову. Когда? Лемке думает, что это имело место после месячного пребывания Костомарова на свободе, незадолго до 12 июля 1863 года. Выше (стр. 404, 405, 406, 417) мы уже указывали, что по нашему мнению «письмо к Плещееву» было заготовлено одновременно с другими уличающими Чернышевского документами, если даже не раньше их. Во всяком случае можно признать установленным фактом, что версия о существовании какого-то революционного письма Чернышевского к Плещееву сложилась до того, как заговорщики начали приписывать Чернышевскому составление прокламации к барским крестьянам, т. е. до того, как почувствовалась надобность в сочинении письма к Соколову и «собственноручной записки». Вспомним, что 18 января, т. е. за месяц до того, как Костомаров об'явил Чернышевского автором воззвания, он уже дал в следственной комиссии показание, что А. Плещеев заведует типографией какого-то московского кружка, и что у него, Костомарова, где-то имеется письмо Чернышевского революционного содержания к Плещееву, временно находящееся на сохранении у некоего И. С. Шиповалова [2]. Поэтому мы думаем, что

[1] У Лемке (стр. 442—443) письмо приведено с некоторыми несущественными неточностями. — Слово «некогда» в предпоследней строке написано в оригинале через «ять».

[2] В высшей степени характерно для той небрежности, с какой дело Чернышевского велось даже в сенате, что, несмотря на это показание Костомарова и на тщетные попытки жандармов отыскать мифического Шиповалова для отобрания у него этого письма (и других документов), никто из сенаторов, когда это письмо очутилось наконец в их руках, не счел нужным поинтересоваться вопросом, каким же путем Костомаров нашел

письмо это было сфабриковано тогда же, но Третье Отделение по каким-то соображениям (может быть, потому, что оно опасалось представить сенату, все-таки «суду», сразу много фальшивок) удержало его у себя и пред'явило его только тогда, когда в нем почувствовалась безусловная необходимость.

В конце концов это — вопрос второстепенный. Гораздо важнее вопрос о подлинности письма. Совершенно независимо от экспертизы почерков письмо это представляется по всему своему тону и содержанию документом внутренне недостоверным. Такого письма Чернышевский никогда не мог написать ни Плещееву, ни кому-либо другому.

Некогда привлекавшийся по делу петрашевцев, а в рассматриваемый момент мирнейший из мирнейших жителей Москвы, симпатичный поэт Плещеев не имел в 1861 году никакого отношения к революционным делам. Интимных отношений между Чернышевским и Плещеевым не было. Личной переписки они почти не вели. Известно только одно письмо Плещеева к Чернышевскому, да и то чисто деловое, по делам журнала. Переписывался Плещеев преимущественно с Добролюбовым, который аккуратно отвечал на письма. По настроению они тоже были неблизки, хотя Плещеев глубоко уважал Чернышевского. Об этом свидетельствует и посвящение ему переведенной Плещеевым поэмы Гейне «Вильям Ратклифф», напечатанной в № 11 «Современника» за 1859 год. Политикой Плещеев в то время уже не занимался, хотя сохранил старые прогрессивные стремления. То обстоятельство, что Плещеев с такой решительностью ручается за непричастность Чернышевского к революционным делам (см. выше, стр. 243), также доказывает, что близко к Н. Г. он не стоял, политических бесед с ним не имел и в его политические дела не посвящался [1].

С каким уважением старый фурьерист относился к более молодому проповеднику революционного коммунизма, видно из переписки Плещеева с Добролюбовым [2]. По поводу упомянутой выше гейневской

этого Шиповалова и получил от него письмо? Более того, сенат вполне удовлетворился новой версией Костомарова, будто он нашел это письмо за подкладкой своего чемодана, несмотря на то, что она резко противоречила первому его показанию. О других документах, якобы тоже хранившихся у таинственного Шиповалова, т. е. о письмах Михайлова и записке Шелгунова, теперь уже не было и речи: для погубления Чернышевского признан был достаточным и имевшийся материал.

[1] А. Скафтымов — «Чернышевский и Плещеев». Сарат. сборник, стр. 163.

[2] «Письма А. Н. Плещеева к Н. А. Добролюбову». «Русская Мысль» 1913, № 1.

поэмы Плещеев в письме к Добролюбову от 25 августа 1859 года говорит: «Я перевел... стихами целую трагедию Гейне «Вильям Ратклифф»... Пьеса эта в романтическом роде, но в ней есть кое-что современное... затронут мимоходом один из насущных вопросов дня. Гейне писал ее под влиянием тех теорий, которые в литературе нашей нашли себе только одного поборника, Н. Г. Чернышевского. И потому мне очень бы хотелось посвятить ему мой перевод. Не знаю, будет ли ему это приятно. Я этим посвящением хотел бы также заявить мое к нему глубокое уважение. Если увидите его, спросите, позволяет ли он мне это сделать, и передайте ему мой искренний поклон».

На этом письме рукою Чернышевского сделана была (повидимому, в 80-х годах) следующая пометка: «Д—в забыл спросить... Я увидел это посвящение только (дальше не разобрано; должно быть: «в печати». — *Ю. С.*). Что за нелепая мысль явилась у Плещеева удостоить меня этой чести! Разумеется, не сердился на глупость, но если бы знал о намерении П—ва сделать ее, то попросил бы не делать, т. к.[1] Ратклифф казался мне дурацким произведением» (курсив мой)[2].

По поводу статьи Чернышевского «Капитал и труд», напечатанной в № 11 «Современника» за 1860 год, Плещеев, для которого, как, впрочем, и для большинства русской публики, мысли этой статьи были чем-то совершенно новым, 12 февраля 1861 года пишет: «Что за удивительная статья Николая Гавриловича! Просто все пальчики облизать можно. Ежели кто и по прочтении этой статьи будет стоять за экономистов, проповедующих laissez faire, laissez passer, так уж значит у того голова одинакового устройства с помещицей Коробочкой. А сообщаемая вами новость о Милле (т. е. о предстоящем печатании перевода Милля с примечаниями Чернышевского.— *Ю. С.*) меня очень радует. Для меня особенно это будет кладом, потому что я в политической экономии — игнорант. Комментарии будут, разумеется, интереснее самой книги»[3].

---

[1] В «Русской Мысли» (стр. 132—133) напечатано: «т. е.», но по смыслу здесь скорее должно быть «т. к.» (так как).

[2] Кажется, ясно? Однако это не помешало г. Клочкову сделать отсюда тот вывод, что Чернышевский в это время относился враждебно к Плещееву, и усмотреть в этом доказательство того, что «письмо к Плещееву», за которое Чернышевского осудили на каторгу, было подлинным!

[3] Ibid., стр. 140—141. — В том же письме сообщается, что возвращающийся из Сибири петрашевец Спешнев желает познакомиться с Чернышевским и собирается посетить его. Спешнев в свое время сам был одним из немногих сторонников революционного коммунизма в России. Состоя-

Все это, разумеется, подтверждает хорошее отношение Плещеева к Чернышевскому, но решительно противоречит возможности между ними переписки в духе сфабрикованного В. Костомаровым письма. Никакими революционными делами Плещеев в рассматриваемое время не занимался [1], и во всяком случае никаких общих революционных дел с Чернышевским у него быть не могло. Но если бы таковые и были, Чернышевский все равно не стал бы никогда *писать* об этом, да еще так глупо, так неконспиративно, называя имена (Сулин, Сороко, Л., К.), выдавая себя и других, декларируя черным по белому, что у Плещеева есть тайная типография, что у Костомарова с компанией есть другая, что он передал им для напечатания свое произведение и т. д. И это стал бы делать человек, который с первых строк письма хвастает принятыми им мерами предосторожности?! Да и зачем было писать это письмо? Ведь по собственным показаниям Костомарова Чернышевский дважды после того приезжал в Москву (в феврале и марте), когда Костомаров уже приступил к набору воззвания, т. е. вскоре после мнимого визита Костомарова к Чернышевскому, визита, во время которого он якобы сообщил Н. Г. о ходящих в Москве слухах и этим вызвал письмо его к Плещееву. Стал ли бы Чернышевский, тот Чернышевский, осторожность которого настолько бесила жандармов, что они не раз — и в том же письме — негодовали по поводу его конспиративности, писать Плещееву столь компрометирующее всех и его самого письмо, когда знал, что на-днях лично побывает в Москве и сможет обо всем переговорить с Плещеевым и с другими, если понадобится, с глазу на глаз? Здесь жандармы явно не свели концов с концами.

Но письмо не только хронологически и материально недостоверно, — оно недостоверно и с моральной стороны. Мы не повторим того, что сказали выше о невероятной болтливости письма, без всякой нужды называющего массу имен и перечисляющего ряд фактов, компрометирующих не только мнимого автора, но и адресата и упоминаемых в письме лиц и по тому времени угрожавших этим людям каторгой. Но кто поверит, чтобы высоко нравственный, глубоко деликатный и

лось ли это знакомство представителей двух поколений русских коммунистов, нам, к сожалению, неизвестно.

[1] Костомаров приписал Плещееву заведывание подпольной типографией для того, чтобы придать вид вероятия нелепому письму, задуманному им вместе с Потаповым для погубления Чернышевского. Но что сам сенат не верил этому нелепому оговору, видно из того, что Плещеев арестован не был, к делу Чернышевского или какому-либо другому не привлекался и никаким преследованиям не подвергался.

чуткий Чернышевский мог употребить такую фразу, какую содержит письмо, по поводу большого риска, которому подвергаются люди, печатающие прокламации, и сравнительной безопасности главного виновника, автора воззвания, в данном случае самого Чернышевского? Чернышевский, удерживавший молодежь от необдуманных шагов и неосторожных действий, пользовавшийся всяким случаем, чтобы указать им на трудности, ожидающие революционеров, и на угрожающие им опасности, стал бы выражать, да еще перед таким столь же моральным человеком, как Плещеев, неприличную радость по поводу того, что в случае провала главный риск падет на юношей, работающих в типографии, тогда как он, руководитель и вдохновитель, останется в стороне! Одного этого места письма достаточно для того, чтобы приписать авторство его не Чернышевскому, а таким негодяям, как жандармы, третьеотделенцы и предатели вроде Костомарова. Это в их голове могла зародиться такая гнусная мысль, это их морали соответствовали такие чувства, наконец, это их слова повторяются в рассматриваемом месте письма. Вставляя эту фразу в письмо к Плещееву, Костомаров плагиировал самого себя и повторял то, что уже писал в записке о литературной деятельности Чернышевского и в письме к Соколову, где в еще более грубой форме (ибо там он говорил от себя, там ему не приходилось надевать маску) выражал ту мысль, что Чернышевский, посылая на гибель неопытных юношей, сам расчитывает остаться в стороне, уцелеть и затем в случае успеха занять главенствующее положение. Этого мог не заметить только такой моральный кретин, как г. Клочков, проливающий слезы умиления перед невинно оклеветанным, благородным и правдивым юношей В. Костомаровым и пытающийся признанием подлинности этого письма лягнуть за гробом великого мыслителя и революционера.

Действительный автор письма выдал себя этой фразой, но не только этой. Внимательное изучение дела показывает, что все письмо составлено из отдельных фраз и положений, содержащихся в предательских показаниях Костомарова, и из мыслей, пользовавшихся распространением в третьеотделенских кругах и выражавшихся в официальных документах, относящихся к Чернышевскому. В этом мы без труда убедимся, анализируя этот документ фраза за фразой.

Пропуская уже отмеченное выше выражение досады жандармов на конспиративность и осторожность Чернышевского, столь расходящееся с дальнейшим содержанием неосторожного и неконспиративного письма, перейдем прямо к тому, что там говорится о В. Костомарове [1].

[1] Правда, Костомаров там назван только буквой К. (характерно, что другие названы почти полностью, чтобы не могли отпираться), но Голи-

Он хвалится как человек дельный и полезный, Плещееву выражается благодарность за доставление знакомства с ним, хотя осторожно прибавляется, что особенно откровенничать с ним пока не следует впредь до испытания его верности на деле [1]. Зачем все это понадобилось? Ясно, зачем: чтобы, во-первых, подтвердить факт революционных сношений с Костомаровым, доверие к нему Чернышевского, а значит подтвердить и прежние, и будущие показания Костомарова, а, во-вторых, внушить мысль о наличии революционных конспираций между Чернышевским и Плещеевым, из которых Костомарову известна только часть. Упрек Плещееву в медлительности и нерешительности опять-таки имеет двоякий смысл: выставить Чернышевского в виде ярого, энергичного деятеля, подстрекающего колеблющихся, и как бы между прочим сообщить о неизбежности передачи воззвания в типографию Костомарова, т. е. признать принадлежность воззвания Чернышевскому как общеизвестный, не вызывающий сомнений и вопросов факт. Но и здесь предатель не удержался и выдал себя головой, назвав воззвание к барским крестьянам «манифестом». Такого широковещательного термина не употребляют, говоря о воззвании, ни Михайлов, ни Шелгунов; его в ренегатской злобе и с потугами на иронию употреблял только Костомаров в своем письме к Соколову, как мы выше отметили (см. стр. 414).

По словам автора письма к Плещееву, оно вызвано сообщением Плещеева о распространившихся якобы в Москве весною 1861 года слухах, будто Сулин хвастал знакомством с Чернышевским и передачею ему последним своего воззвания к крестьянам для напечатания в подпольной типографии. Начать с того, что если бы такие слухи действительно распространились в Москве весною 1861 года, то это дошло бы до сведения III Отделения, и обвинение в авторстве воззвания к крестьянам было бы пред'явлено Чернышевскому гораздо раньше февраля 1863 года. Далее никогда ничего подобного Плещеев Чернышевскому не сообщал, — и это Плещеев категорически заявлял не только во время суда над Чернышевским, когда его показание можно было бы истолковать как же-

цын, препровождая 16 июля 1863 года это письмо Замятнину, счел долгом пояснить, что начальные буквы Сул., Сор. и К. «по всей вероятности должны означать фамилии Сулина, Сороко и Костомарова» (Дело № 28, л. 45). Ну, еще бы!

[1] Напускающий на себя наивность г. Клочков по этому поводу замечает: «Если бы письмо было подделано Костомаровым, то странно было бы, что он так часто занимается самим собой и о себе дает характеристику»! (цит. ст., «Ист. Вестник» 1913, № 10, стр. 184). Ох, боимся, что г. Клочков не так глуп, как притворяется.

лание обелить и вызволить подсудимого, но и после смерти Чернышевского, когда в таком обелении не представлялось уже никакой необходимости[1]. Наконец, о таких слухах действительно говорилось, но не Плещеевым и не весною 1861 года, а В. Костомаровым 31 июля и особенно 14 октября 1863 года, не до письма к Плещееву, а после него. А именно в показании, данном сенату 31 июля 1863 г.[2], Костомаров заявил: «До меня стали доходить слухи, что Сулин получил от Чернышевского его сочинение для напечатания». Приблизительно то же он заявил на очной ставке с Чернышевским 14 октября 1863 года, добавив, что об этих слухах он узнал и от Плещеева[3]. Вот кто таким образом был автором версии о московских слухах, а следовательно и письма к Плещееву![4].

Для окончательного изобличения злокозненности Чернышевского и обширности его революционных замыслов в конце письма прибавлена непонятная фраза о чудесах, наделанных каким-то Л. с своими офицерами и 23 в Понизовьи. Кроме истории в селе Бездне никаких громких революционных событий в то время не было, да и к крестьянскому пассивному «бунту» в Бездне эта фраза никак не могла относиться.

[1] См. Письмо А. Н. Плещеева к А. Н. Пыпину от октября 1889 года в Саратовском сборнике, стр. 155 сл., при чем Плещеев так до конца и остался при убеждении в полной непричастности Чернышевского к революционным делам.

[2] Сенатское дело, л. 115; у Лемке (стр. 444—445) это важное место почему-то пропущено.

[3] Сенатское дело, л.л. 209—210; у Лемке, стр. 473.

[4] Что могло натолкнуть Костомарова и его вдохновителей из Третьего Отделения на мысль о сочинении письма к Плещееву? Косвенный ответ на этот вопрос дает следующее. В письме Чернышевского к Костомарову от 2 июля 1861 года имеется непонятная для нас фраза: «О Вашей благотворительности в пользу дворовых пишу к Алексею Николаевичу» (т. е. Плещееву). С другой стороны, в письме Плещеева к тому же Костомарову от 3 июня 1861 года сказано: «Я писал к Чернышевскому — если он ответит через Вас, то дайте знать». Эти письма, якобы найденные у Костомарова 10 марта 1863 года, наверное были Костомаровым представлены Потапову гораздо раньше. Но если даже они очутились в руках Потапова только в марте, то ведь письмо к Плещееву выплыло только в июле. Возможно, что обсудив содержание этих писем, почтенная компания пришла к выводу, что их можно использовать для учинения нового подлога. Правда, в письме Плещеева не говорится о посылке письма к Чернышевскому через Костомарова, и относится оно к июню, а не к весне 1861 г., но такие мелочи для жандармов не имели значения. Станет ли сенат разбираться в хронологических несуразностях, раз дело идет о таком «преступнике», как Чернышевский! Мы не утверждаем, что наша гипотеза бесспорна, но она представляется нам довольно правдоподобной.

Не расшифровал ее и сенат, да и не старался ее расшифровать. Но за него и за III Отделение попытался в наши дни сделать это уже известный нам приват-доцент Клочков.

«Л., — изрекает он (цит. ст., стр. 184), — по моей догадке Лавров, 23 — шифр, который нужно еще раскрыть». При этом для оправдания своей догадки относительно Лаврова г. Клочков ссылается на Пантелеева (кн. I, стр. 328) и из рассказа Лаврова о том, что он был у Казанского собора, делает вывод, что «Лавров вел пропаганду в среде офицеров и имел успех». Далее следует ссылка на «Юбилейный сборник литературного фонда» (Спб. 1910, стр. 73) для доказательства той мысли, что между Чернышевским и Лавровым за последние два года до ареста первого установились «очень дружеские отношения» (следует новая ссылка на Пантелеева, т. I, стр. 167, где передаются слова Чернышевского, сказанные в 1889 г., об его уважении к Лаврову) [1]. Но, рассуждает далее г. Клочков, Костомаров не знал ни Лаврова, ни его успешной революционной работы среди офицеров (которой, как мы знаем, вовсе и не было). А «при таких обстоятельствах (т. е. при незнакомстве с Лавровым. — *Ю. С.*) Костомаров не мог подделать письма, потому что не мог написать в нем того, о чем он не имел никаких сведений (!). К тому же эта фраза могла иметь место лишь в письме того, кто был близок к революционным центрам; таким именно был Чернышевский, а не Костомаров». По здравой человеческой логике выходит как будто наоборот: такую бессмысленную фразу, которую и в то время никто не мог расшифровать, и которая до сих пор остается совершенно непонятной, мог сочинить именно человек, не стоявший близко к революционным центрам, но желавший во что бы то ни стало напустить туману и придать продукту своего творчества видимость чего-то опасного и сугубо конспиративного. Наконец, г. Клочков сознательно упускает из виду другую сторону вопроса. Допустим, что Костомаров не знал ничего о Лаврове, но сочинял-то он свои документы вместе с Потаповым, а III Отделение, как известно, давно подозревало Лаврова в революционном влиянии на офицеров и следило за ним. Таким образом, вопреки г. Клочкову, эта фраза не опровергает, а подтверждает авторство Костомарова, который, разумеется, «работал» не один, а вместе с Потаповым [2].

---

[1] См. выше, стр. 235 — 237.

[2] Даже ошибка в слове «некогда», написанном в письме через букву «ять», используется г. Клочковым для приписания письма Чернышевскому, который, видите ли, сильно торопился и потому сделал такую ошибку (ibid., стр. 185). Но почему же ее не мог сделать по торопливости или просто по малограмотству Костомаров?

Сам Плещеев, которому якобы адресовано было это письмо, так и умер, не поняв его смысла (раз'яснений г. Клочкова он, к сожалению, не дождался). В цитированном выше письме к Пыпину (стр. 157—158) Плещеев рассказывает, что на его вопрос, откуда взялось письмо, якобы посланное ему Чернышевским, сенаторы ему не ответили. В подложности письма он убедился с первого взгляда. «Подделка под руку Ник. Гавр. и самая грубая бросилась в глаза, в особенности во второй половине письма (оно было на 4 страницах). Тон его также совсем не походил на тон Ник. Гавр., никогда не употреблявшего тех выражений, которые там встречались. Не говорю уже о том, что содержание письма было совсем для меня непонятно. Меня упрекали в нем за недостаток энергии и в образец мне ставились какие-то люди, «действовавшие на Волге» и пр., словом, говорилось о таких вещах, о которых я никогда не слыхал от Ник. Гавр.».

Словом, дело ясно. И только царский сенат мог основываться на таком заведомо подделыном документе для вынесения обвинительного приговора. Нужно прибавить, что кроме г. Клочкова в русской литературе никто никогда не отстаивал подлинности письма к Плещееву [1].

24 июля Чернышевский был вызван в сенат, и первоприсутствующий Карниолин-Пинский, показывая письмо Чернышевскому, торжественно произнес: «Oculis, non manibus!» (смотрите, но не троньте) [2]. Чернышевский, конечно, отверг принадлежность и этого письма ему [3]. Ввиду этого сенат постановил произвести экспертизу и этого письма, которая и была выполнена 30 июля восемью секретарями сената.

Как мы помним, при экспертизе «собственноручной записки» официальные «эксперты» из секретарей различных ведомств в большинстве обманули надежды начальства, отвергнув принадлежность ее подсудимому. На этот раз эксперты, вспомнив, что они — люди слу-

---

[1] В одном г. Клочков прав: в свое время относительно этого документа распространено было много легенд. Циркулировавший в либеральных кругах рассказ о том, будто на «письме к Плещееву» были водяные знаки 1864 года, тогда как на нем поставлена дата 1863, неверен, ибо, во-первых, на письме никакой даты нет, а, во-вторых, письмо было пред'явлено сенату 18 июля 1863 г., следовательно, бумага не могла быть изготовлена в 1864 г. (этот рассказ приводится Ив. Захарьиным-Якуниным в № 10321 «Нового Времени» от 23 ноября 1904 г.; ср. Лемке, стр. 443). Но легенда, которую пытался упрочить относительно этого документа г. Клочков, по своей чудовищности далеко оставляет за собою все другие.

[2] Лично сообщено Чернышевским А. Н. Пыпину.

[3] Сен. Дело, I, л.л. 90—95. — Кстати, цитируемых М. Лемке (стр. 444) слов Н. Г. о том, что «если в вовсе неискусной подписи нужно читать «Чернышевский», то письмо — явно поддельно», там нет.

жилые и все под богом ходят, вели себя более благоразумно: все восемь секретарей, а за ними, конечно, и сенаторы — единогласно признали письмо принадлежащим Чернышевскому [1]. Надо полагать, что за этот промежуток времени секретарям, этим просвещенным «чиновникам VII и VIII классов», сделано было соответствующее внушение, и теперь разногласия уже не получилось, и предписания начальства были ими выполнены в точности, как впоследствии их старался выполнить «ученый исследователь», приват-доцент Клочков, который имел бесстыдство заявить: «Общий характер (!) письма, стиль (?), вид, формат и бумага совершенно (!?) соответствуют (?!?) письмам Чернышевского» (цит. ст., стр. 183). Насчет формата и бумаги спорить не станем: надо полагать, что Третье Отделение было умнее г. Клочкова и постаралось подобрать подходящую бумагу для подлога. Ну, а что касается стиля и общего характера письма, то они, как мы показали выше, имеют весьма мало общего с стилем и общим характером писаний Чернышевского, и только такой бесстыдный невежда, чтобы не сказать хуже, как г. Клочков, способен утверждать противоположное.

В высшей степени характерно, как оценивает эту «улику» такой далеко не революционно настроенный, но в отличие от г. Клочкова добросовестный человек, как философ В. С. Соловьев.

«Ввиду решительного заявления подсудимого, — говорит он, — что он такого письма никогда не писал, и что почерк пред'явленного ему документа — не его, хотя в начале старательно подделан под его руку, были спрошены в качестве э к с п е р т о в... сенатские секретари! Каким образом эта должность и ступень служебной иерархии является вдруг в виде особой профессии, — это есть тайна нашей дореформенной юстиции. Между моими хорошими знакомыми есть несколько лиц, бывших сенатскими секретарями (один из них еще до судебного преобразования), но они решительно отрицают какую-нибудь свою прикосновенность к искусству распознавания почерков и различения поддельного сходства от действительного тождества. Секретари могли говорить только о явном сходстве почерков, которое необходимо существует и в подделке... [2].

---

[1] Сенат. Дело, л.л. 112—113.

[2] Далее В. Соловьев замечает: «При этом некоторые из них, вероятно более внимательно рассматривавшие письмо по отдельным буквам, заявили, что только некоторые буквы схожи с способом писания их в признанном письме Чернышевского, другие же не похожи. Такая экспертиза была сочтена достаточною для признания подлинности письма и для осуждения Чернышевского». Здесь В. Соловьев ошибается: разногласие между «экспертами» имело место по поводу «собственноручной записки», а не по по-

«А между тем, помимо такого странного решения вопроса о почерках, принадлежность Чернышевскому этого письма опровергается и по существу — и неправдоподобным содержанием письма, и выбором адресата, и выбором посредника. Поэт тихой грусти А. Н. Плещеев был в жизни совершенным младенцем. В ранней молодости он как-то участвовал в деле Петрашевского... После этого Плещеев никакою политикою не занимался. И ему-то Чернышевский, очень мало с ним знакомый, написал будто бы письмо о каком-то их общем революционном предприятии и отправил этот документ с юным литератором, с которым также вовсе не был близок, и который вместо адресата доставил письмо в III Отделение. Очевидно, над изобретением правдоподобных улик не очень трудились: не считали нужным церемониться. Что улика была заведомо ложная, явствует из следующего соображения. Ведь при предположении подлинности письма оно было уликою против Плещеева столько же, сколько против Чернышевского. Между тем Плещеев никакой ответственности не подвергся. Ясно, что ни в III Отделении, ни в сенате подлинности этого письма не верили» [1].

31 июля подвергнут был сенатскому допросу Костомаров [2]. В противоречие с прежними своими показаниями он теперь заявил, что уже во время первого чтения Чернышевским своего воззвания в присутствии Михайлова он остался недоволен его содержанием и категорически отказался принять его к печатанию. Но затем, когда в Москве до него дошли слухи о разговорах Сулина и Сороки, он немедленно поехал в Петербург предупредить об этом Чернышевского, которому повез письмо от Плещеева. В ответ на это письмо Чернышевский и написал свое письмо к Плещееву, которое сам вручил Костомарову для передачи по адресу. Но Костомаров затерял его дорогою, о чем и сообщил Чернышевскому. «А после, когда я нашел его за подкладкой своего саквояжа (это через два-то года! — *Ю. С.*), оно было и измочено, и изорвано, одним словом, в таком виде, что отдать его Плещееву мне было уже совестно, да оно уже и не имело бы смысла». Совестливый юноша предпочел передать письмо Третьему Отделению, хотя и в «подмоченном» виде.

Но для сената все это нагромождение явных нелепостей и очевидной лжи звучало несомненной истиной, не требующей никакой проверки. Не дожидаясь даже допроса главного свидетеля, чтобы не

воду «письма к Плещееву». Но по отношению к этой записке недоумение В. Соловьева остается в полной силе.

[1] «Письма В. С. Соловьева», стр. 277—278.

[2] С. Д., л.л. 114—116; у Лемке, стр. 444—445.

сказать соучастника, — Плещеева, сенат поспешил признать письмо подлинным и даже включил его в составляемую по делу Чернышевского записку. Ознакомившись с нею 13 августа, Чернышевский 20 августа потребовал производства научной экспертизы письма и просил предоставить ему возможность сличить его с бумагами, писанными почерком Костомарова и его собственным, явно намекая на подделку этого письма Костомаровым. Сенат, разумеется, поспешил признать «таковое домогательство Чернышевского незаконным» и в просьбе его отказал [1]...

Общественная совесть давно требовала научной экспертизы документов, послуживших формальным основанием для вынесения обвинительного приговора Чернышевскому. Но такая экспертиза сделалась возможной только с того времени, как революция вскрыла тайники царских архивов, и когда наряду с бумагами Чернышевского сделались доступны документы, написанные В. Костомаровым, т. е. тем лицом, которое и сам Чернышевский, и общее убеждение считало действительным автором этих подлогов. По нашей инициативе Центрархив произвел наконец эту работу, имеющую столь важное историческое значение. Полностью эта экспертиза, выполненная т. В. И. Герканом, была опубликована в томе XXV «Красного Архива» с нашими примечаниями и комментариями. Здесь же мы приводим основные выводы, к которым пришла экспертиза, действительно заслуживающая названия об'ективной, полной и научной.

Главное отличие ее от той якобы экспертизы, какая была в свое время произведена сенатом, заключается в том, что она, во-первых, не ограничилась сравнением спорных документов с произвольно выбранными записями Чернышевского, а, во-вторых, в том, что она привлекла к исследованию и документы, писанные В. Костомаровым, т. е. тем лицом, которому также можно было приписать авторство спорных документов. Таким образом в основу экспертизы положены были подлинные рукописи Чернышевского и В. Костомарова в делах: 1) Производство следственной комиссии о Н. Г. Чернышевском за № 13; 2) Дело Сената о Чернышевском; 3) Производство следственной комиссии за № 28; 4) Производство той же комиссии по об'явлению В. Костомарова об известных ему злоумышленных действиях разных лиц за № 29. Анализу подвергнуто было достаточное количество разнообразных документов, писанных обоими лицами, которых можно было подозревать в авторстве «собственноручной записки» Чернышевского и «письма к Плещееву», и потому получилась возможность притти к

[1] Сен. Дело, л.л. 135 и 137—141; у Лемке, стр. 447—448.

точному и обоснованному выводу. Насколько осторожно и об'ективно производилась экспертиза, видно из того, что из множества принадлежащих Чернышевскому бумаг, написанных самыми разнообразными почерками в зависимости от формы записи, качества бумаги, пера, чернил, душевного настроения и пр., для сравнения взят был в первую очередь однородный материал, т. е. записки и письма, ближе всего походящие по характеру и условиям на спорные документы, а именно единственная в деле записка Чернышевского карандашом и два письма его к В. Костомарову.

Автор экспертизы подошел к своей задаче с величайшей тщательностью, вниманием и опытностью. Он устанавливает обычные признаки почерка Чернышевского (средний наклон почерка, снижение или возвышение букв в слогах и словах, неодинаковый размер отдельных букв в зависимости от их места, начертание некоторых особых букв), при чем он отмечает, например, что начальные кавычки Чернышевский всегда ставит внизу, точка над і находится у него или прямо над буквой, или немного впереди, знак вопросительный имеет длинную отводную косую линию вверх, запятые — длинные с загибом влево, часто с маленькой приводной черточкой или в связи с концом слова и пр. Далее эксперт устанавливает особые приметы почерка Чернышевского, определяет направление осей элементов букв, выясняет форму основной линии, словом, подвергает анализируемый почерк действительно научному и об'ективному исследованию.

Переходя к анализу спорных документов, экспертиза прежде всего устанавливает в результате микроскопического исследования и троекратного фотографического увеличения, что они написаны свободным движением руки и не обнаруживают заметных переломов штрихов и шероховатостей контуров букв, обычных признаков неопытной подделки. В этом отношении Чернышевский, значит, ошибался: Костомаров оказался мастером своего дела, но, как увидим, это не помешало ему оставить достаточное количество убедительных следов совершенного им подлога.

Рассмотрев «собственноручную записку», эксперт устанавливает, что наклон почерка в ней составляет 50—70°, в то время как в почерке Чернышевского этот наклон равен 40—50°. Затем он доказывает, что почти ни одна буква и ни один знак записки не соответствуют почерку Чернышевского. Отсюда он делает вполне убедительный и обоснованный вывод: «Такая масса отклонений от характера почерка Ч. в маленькой записке карандашом, а в особенности в е р х н и е н а ч а л ь н ы е к а в ы ч к и (курсив мой), где Ч. всегда ставит начальные кавычки внизу, являются ахиллесовой пятой автора этой записки, подделывав-

шего почерк Ч. Во всяком случае не может быть сомнения, что Ч. не писал этой записки».

К таким же выводам эксперт приходит после столь же внимательного анализа «письма к Плещееву». Бумага имеет ту же окраску, как и подлинное письмо Чернышевского к Костомарову от 2 июля 1861 г., но узор водяных знаков не тот [1]. Под микроскопом цифра 3 в слове 23 («23 в Понизовьи») оказывается исправленной в нижнем изгибе дополнительной чертой. Наклон почерка 60°. Начертание отдельных букв не похоже на почерк Чернышевского, повышения и снижения оси направления имеют противоположный манере Чернышевского характер; прописное С имеет либо точку, либо спираль вначале, тогда как Чернышевский пишет его или без всякой головки, или с легким приводным штрихом; точки над і поставлены немного позади буквы, тогда как Чернышевский ставит их впереди или прямо над буквой; запятые — короткие и прямые, а Чернышевский пишет обычно длинные запятые с изгибом и пр. (мы указываем только ничтожную часть отмеченных экспертизой несходств). Наконец, подпись совершенно не соответствует подлинной подписи Чернышевского: она повышается после «н», тогда как у Чернышевского она всегда понижается. Таким образом точно установлено, что и этого письма Чернышевский не писал.

Но дело радикально меняется, когда спорные документы сличаются с почерком и манерой В. Костомарова. Что Костомаров изучал почерк Чернышевского и тренировался в его подделке для придания подложным документам общего внешнего сходства с почерком Н. Г., это бесспорно. Но, несмотря на всю свою ловкость и наметанность руки, фальсификатор невольно допустил целый ряд оплошностей, выдающих его головой.

Мы не станем следить за всеми подробностями анализа, которому эксперт последовательно и неумолимо подвергает почерк Костомарова, и укажем лишь на несколько примеров. В письме Костомарова с подписью «Кнохеншмидт» имеется восемь «В» с концом ниже строчки, как в «письме к Плещееву». Буква «а» у Костомарова и в спорных документах похожа на «о», часто на «и», «н», тогда как у Чернышевского буква «а» всегда выписывается тщательно. Чернышевский загибает отводные черты в конце слова вправо, Костомаров же влево, как это имеет место и в «письме к Плещееву». Буква «ф» в письмах и показаниях Костомарова пишется так же, как в «письме к Плещееву», тогда как у Чернышевского она пишется совершенно иначе. То же устанавливается относительно букв б, я, ч, ъ, в, С, запятых, вопросительного знака

[1] Жандармы подобрали подходящую по цвету бумагу, но насчет водяных знаков не позаботились (к огорчению приват-доцента Клочкова). Таким образом в легенде насчет водяных знаков имеется здоровое зерно.

и т. д. Наконец, начальные кавычки, которые Чернышевский ставит внизу, Костомаров и автор «собственноручной записки» ставят наверху, что составляет у литераторов довольно редкую привычку.

Эксперт приводит еще одно существенное соображение. В деле № 28 на листах 41—42 имеется копия «письма к Плещееву», написанная без сомнения самим Костомаровым. Почерк этой копии совершенно тождествен с почерком письма, подписанного «В. Кост.» и с почерком показаний Костомарова. И вот замечательно, что в этой копии встречаются группы букв и даже целые слова, совершенно совпадающие с начертанием этих букв и слов в «письме к Плещееву». И эксперт заключает: «Очевидно, К. писал копию инкриминируемого письма вскоре после фабрикации спорного письма, когда он еще не успел освободиться от тренировки в подражании почерку Ч.».

Результаты тщательного анализа приводят эксперта к выводу, что сравнительный приметоописательный графический анализ признаков почерков Чернышевского и В. Костомарова и признаков почерка спорных записки и письма позволяют констатировать следующий факт: означенные спорные документы состоят из смеси неискусно подделанных типов почерка Чернышевского с явными признаками почерка В. Костомарова. Насколько Костомаров мастерски умел изменять свой почерк и придумывать новые почерка, настолько же он был неосмотрителен в подражании чужому почерку. «Для опытного графолога, — замечает т. Геркан, — достаточно высоких начальных кавычек и буквы «ф», чтобы считать спорные письма поддельными».

Таким образом графологическая экспертиза полностью подтверждает нашу аргументацию относительно внутренней недостоверности «письма к Плещееву», равно как относительно неправдоподобности оставления Чернышевским «собственноручной записки» на квартире В. Костомарова. Бесстыдный сенат закрывал глаза на внутреннюю невероятность этих документов и сознательно отказал Чернышевскому в его законном требовании научной их экспертизы при условии сличения их почерков с почерком не только его, но и В. Костомарова. Это сделано только теперь, но от запоздалости произведенной ныне экспертизы доказательность и бесспорность ее нисколько не уменьшаются. Напротив только теперь она могла состояться при условии полной об'ективности, ибо люди, на судьбе которых ее результаты могли бы отразиться, давно уже сошли в могилу...

25 сентября Чернышевский подал два прошения — формально на имя царя, а по существу — сенату [1]. В первом он просил, чтобы «пове-

[1] Сен. Дело, л. 175 и л.л. 176—190; у Лемке, стр. 448—467.

лено было рассмотреть политическое значение фактов, совершившихся по (его) процессу», ибо «процесс (его) веден так, что решение его в том или другом смысле имеет для правительства важность, далеко превышающую решение того, какова будет (его) личная судьба». Этим Чернышевский, если и не надеялся в последний момент удержать правительство от явно неправосудного приговора, вынесенного по политическим соображениям, то во всяком случае недвусмысленно подчеркивал политическую тенденциозность и юридическую необоснованность затеянного против него дела. Это, можно сказать, писалось для потомства. Во втором документе он, обозревая свое дело с самого начала, подвергал уничтожающей критике все выдвинутые против него обвинения, а представленные против него документы определенно называл подлогами.

Протестуя против того, что в дело против него включено упомянутое выше (стр. 355—356) угрожающее анонимное письмо провинциального крепостника, Чернышевский, цитируя слова анонима: «Вспомните, в какую цену вы оценили наши имения», правильно характеризует процесс против него как а к т к л а с с о в о й м е с т и. «Они, — говорит он, — показывают истинный источник бывших обо мне слухов как о человеке злонамеренном: сословное раздражение той части дворян-землевладельцев, которая была недовольна освобождением крепостных крестьян» [1].

И тут же Чернышевский устанавливает второй важный факт: это письмо «послужило одним из источников для письма г. В. Костомарова к г. Соколову [2]. Там и здесь подозрения на меня выводятся из того, что я — социалист». Чернышевский напоминает о литературном походе на него журналистской братии, «но, — прибавляет он, — я не ждал, чтобы политический термин моих противников был введен в следственное дело против меня с юридическим смыслом» [3]. Более того: в дело введено и

[1] Это понимали и люди, стоявшие далеко от политики, как семья Пыпиных. 12 апреля 1864 года Евг. Н. Пыпина писала матери: «Против Николи существует такое же озлобление в петербургских аристократических кругах, как и в саратовских... Со всеми передовыми людьми всех стран повторялась его история. У нас на Руси, кажется, он первый возбудил всю российскую знать и дворянство» (В. А. П ы п и н а — «Любовь в жизни Чернышевского», стр. 65).

[2] Итак, Чернышевский по ознакомлении с фальшивками убедился, что В. Костомарову для фабрикуемых им подлогов услужливо представлялись документы из дела. Так оно и было в действительности.

[3] Дальше Чернышевский пускается в разбор слова «социалист», потогдашним временам весьма опасного, и старается доказать, что к нему этот термин неприменим, так как он — «не охотник защищать старые теории против новых» и работал над теорией классической экономии. Здесь он несомненно играл словами, понимая под «социалистами» представите-

письмо его к жене от 5 октября 1862 года, излагающее план его будущих работ. «Письмо это, — снова подчеркивает Чернышевский, — дало тему, также вошедшую в письмо г. В. Костомарова к Соколову, и несколько строк, в которых я тут называю себя Аристотелем, много раз повторяются потом в деле как уличение меня собственными моими устами в непомерности самолюбия и наведение тем на мысль, что человек с подобным самолюбием не может не быть врагом общественного порядка». А гордость и ирония, ехидно подчеркивает Чернышевский, — не предмет XV тома свода законов, до них нет дела уголовному следствию.

Чернышевский подчеркивает, что уличающие его документы были доставлены в следственную комиссию лишь через 8 месяцев после его ареста. Рядом соображений он доказывает, что письмо к Соколову было написано Костомаровым не в Туле и даже не в Москве, а в Петербурге, откуда автор его и увез письмо с собою (Чернышевский не догадывался, что даже и эту комедию жандармы сочли излишней, и что письмо преспокойно лежало в III Отделении). Чернышевский правильно указывает, что адресат письма Соколов есть мифическая личность, а самое письмо — обдуманное сочинение на определенную тему, основанное на доставленных Костомарову документах процесса. «Сличение этой работы с письмом Герцена обо мне, найденным у меня [1], с ироническою частью моего письма к жене обнаруживает, что «письмо к Соколову» есть литературная работа, половина которой основана на этих документах, что они были под глазами у составителя «письма к Соколову» во время его работы». Все содержание письма — сплошная выдумка. Карандашная записка — подлог; Яковлев — лжесвидетель.

Отмечая противоречия в разновременных показаниях Костомарова, Чернышевский указывает на одно обстоятельство, до сих пор не привлекавшее внимания исследователей. А именно, по его словам, Костомаров очень давно (надо понимать: осенью 1861 года, по окончании дела Михайлова. — *Ю. С.*) распускал слухи, которые были «оставлены без внимания по убеждению других (т. е. самого Чернышевского. — *Ю. С.*) в неудобстве пользоваться его готовностью делать политически-

---

лей утопических школ. Смысл его слов сводится к тому, что утописты, целиком отвергавшие положения классической политической экономии, стоят на устарелой позиции и отжили свое время; он же, Чернышевский, стоит на научной точке зрения и (чего он благоразумно в прошении сенату не добавил) обосновывает свои коммунистические взгляды на основных положениях классической школы. Это, впрочем, делали и многие утописты.

[1] Имеется ввиду письмо Огарева-Герцена к Н. Обручеву (см. выше).

уголовные показания». Но теперь, когда все дело против него строится на показаниях этого господина и на письме его к Соколову, Чернышевский считает нужным привести один из фактов, известных не ему одному. «Есть, — говорит он, — другая более ранняя редакция того же произведения (т. е. письма к Соколову. — *Ю. С.*); список ее был у меня под глазами очень задолго до моего ареста, и я не имею средств знать, уничтожен ли подлинный список, писанный рукой г. Костомарова. В этой редакции дело излагается столь же вымышленным образом, но в духе не том и с другими фактами (тоже неверными). В этом произведении я играю гораздо меньшую роль, чем III Отделение собственной канцелярии его величества: г. Костомаров утверждал там, что его подвергали жестоким истязаниям и ими принудили делать показания (дух произведения был тот самый, какой вылился из души г. Костомарова)».

Итак, оказывается, что, очутившись на воле после выдачи Михайлова, Костомаров пытался реабилитировать себя в глазах радикальной публики и с этой целью составил какой-то документ, где об'яснял свое предательское поведение пытками, которым его подвергали в III Отделении. Вероятно, такое об'яснение он пытался представить и самому Чернышевскому во время визита к нему в декабре 1861 года. Но его оправданиям не придали веры, и в частности Чернышевский в резкой форме прервал с ним сношения, что крайне озлобило низкого ренегата, вскоре после того и сделавшего Потапову свои «разоблачения» насчет Чернышевского и других. Напоминая об этом инциденте и подчеркивая, что Костомаров в то время обвинял III Отделение в применении пыток, Чернышевский вряд ли надеялся подействовать на жандармов, но хотел подорвать в глазах сената веру в показания Костомарова. Однако и эта цель не была им достигнута. Надо полагать, что и жандармы, и сенаторы правильно оценивали моральную личность Костомарова и достоверность его показаний, но им прежде всего нужно было засудить Чернышевского, а для этого они использовали тот материал, какой только и имелся в их распоряжении, хотя бы он и выходил из грязных рук заведомого предателя, лжеца и фальсификатора, тем более, что и их собственные руки были не чище.

Наконец, касаясь «письма к Плещееву», Чернышевский напоминает, что до появления этого письма в прежних своих показаниях Костомаров заявлял об отсутствии у него других улик против подсудимого; следовательно, письмо это явилось у него уже после того. Далее Чернышевский напоминает старое показание Костомарова о том, что Плещеев и не догадывался о прикосновенности его к тайному печатанию и сам не имел к нему никакого касательства; в письме же говорится нечто

совершенно противоположное. И Чернышевский категорически об'являет это письмо подлогом.

На основании всего вышесказанного, Чернышевский просил об освобождении его от суда и следствия с предоставлением ему права возбудить преследование против лиц, которые своими неправильными действиями причинили ему ущерб.

В помеченном той же датой 25 сентября рукоприкладстве Чернышевский делает краткое резюме своего дела, указывает на допущенное по отношению к нему нарушение законов, отмечает противоречия в выставленных против него обвинениях и требует как своего освобождения, так и наказания лиц, виновных в незаконных действиях против него.

Но, разумеется, Чернышевский не был так наивен, чтобы ожидать каких-либо конкретных результатов от своих протестов и заявлений. Конечно, он не знал, какое активное участие в интригах против него принимают члены правительства во главе с министром юстиции, шефом жандармов и самим царем, но ясно видел, что не только жандармы, но и сенаторы нарушают по отношению к нему все законные формы и даже законы логики, и прекрасно понимал, что ввиду этого предвзятого к нему отношения его ждет самый жестокий приговор. Но он считал долгом бороться до конца и разоблачить злодеяния власти перед потомством, которое, как он твердо был в этом убежден, будет на его стороне и вынесет беспощадный вердикт его палачам.

Сенат, разумеется, никакого внимания на доводы и требования Чернышевского не обратил. Приговор был у него уже готов. Для проформы надлежало еще допросить Плещеева, этого грозного и опасного революционного заговорщика, письмо к которому окончательно обличало Чернышевского в революционных происках.

30 сентября Плещеев явился в сенат. Здесь этого революционного деятеля, заведывавшего подпольной типографией в Москве, бывшего в курсе всех революционных событий того времени, в том числе и таких, о которых не ведал, равно как не ведает и сейчас, никто («23 в Понизовьи» и пр.), к удивлению не только не арестовали и не посадили в крепость, но даже ограничились просто тем, что взяли с него подписку явиться на допрос 2 октября и преспокойно отпустили в гостиницу.

На допросе 2 октября Плещеев категорически отверг все изветы Костомарова. Что же касается мнимого письма к нему Чернышевского, то он заявил, что почерк первой страницы действительно похож на почерк Чернышевского, но дальше как-то сбивается, особенно в конце.

Никогда Чернышевский и не мог написать ему такого письма, и смысл его остается для него тайной [1]. Очная ставка с Костомаровым также ничего не раз'яснила: Плещеев даже не понимал беспомощного бормотания растерявшегося предателя [2]. Во время очной ставки с Плещеевым в сенате Костомаров «с необыкновенной наглостью и злобой» утверждал в глаза, будто Плещеев рекомендовал его Чернышевскому, как человека способного и пригодного для политической агитации, что Плещеев, конечно, категорически отрицал, ибо это было наглейшей ложью [3]. После этого сенат признал возможным отпустить Плещеева в Москву, взяв с него для близиру подписку об явке по первому вызову, какового, впрочем, никогда не последовало. А между тем, раз сенат придавал веру показаниям Костомарова и признавал письмо подлинным (а он сделал и то, и другое), то он обязательно должен был привлечь Плещеева к делу как человека, состоявшего с Чернышевским в революционных сношениях, имевшего в своем распоряжении тайную типографию, знавшего о тайном печатании прокламаций и пр. Но именно логики-то в деле Чернышевского никакой и не было, а был голый и циничный произвол. «Письмо к Плещееву» нужно было сенату исключительно для погубления Чернышевского; сам же Плещеев сенаторов нисколько не интересовал [4].

14 октября Чернышевскому дана была еще одна очная ставка с Костомаровым, который в деталях снова путался и сбивался [5]. Но мнение сената было уже составлено, и никакого внимания на противоречия предателя и на возражения подсудимого он не обратил.

28—31 октября происходило слушание сенатской записки, на котором присутствовал и Чернышевский. Весь ноябрь составлялось сенатское определение, над которым трудилось, вероятно, и III Отделение. 2 декабря сенаторы подписали наконец свое определение, но через месяц министр юстиции вернул его с указанием необходимых по его мнению поправок. 7 февраля 1864 года сенат послал министру свое определение в новой, желательной редакции [6].

---

[1] Сен. Дело, л.л. 197—200; у Лемке, стр. 472—473.

[2] Сен. Дело, л. 212.

[3] Письмо Плещеева к Пыпину, loc. cit., стр. 157.

[4] Плещеев ошибается, полагая, что это письмо было единственной уликой против Чернышевского. Но он прав в том отношении, что оно сыграло в деле решительную роль, ибо без него одна карандашная записка еще не создавала полного комплекса формальных улик против подсудимого.

[5] Сен. Дело, л.л. 209—210.

[6] Определение это находится на л.л. 244—286 Сен. Дела; у Лемке, стр. 474—486.

Это «определение» представляет нечто неслыханное в литературе судейских решений. Начинается оно с характеристики направления журнала «Современник», в котором развивались преимущественно материалистические и социалистические идеи, «стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и закона» (явное заимствование из записки Касторского, которую царем приказано было рассмотреть совместно с делом). Далее цитируется анонимный донос на Чернышевского, полученный Потаповым (первый, ибо остальные он сохранил у себя), и рассказывается история ареста Чернышевского, при чем снова цитируется угрожающее анонимное письмо провинциального помещика и то место дневника Чернышевского, где он говорит об ожидающей его участи и о невозможности связать чью-либо судьбу с своею, а также письмо его от 5 октября 1862 года из крепости, в котором он говорит жене о том, что их имена принадлежат истории, и набрасывает план своих будущих работ. Затем определение переходит к извету Костомарова, к сфабрикованным им документам: письму к Соколову, карандашной записке и письму к Плещееву, а также к воззванию к барским крестьянам и показаниям Яковлева. Все эти оговоры признаются верными, фальшивки — подлинными, возражения против них замалчиваются. Напротив доставленное Некрасовым письмо Гольц-Миллера и других, поднимающее вопрос о лжесвидетельстве Яковлева, сенатом отвергается по тем соображениям, что это письмо, «имеющее само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным [1], представляет и ту несообразность, что извет (!) на Яковлева не представлен начальству смирительного дома, которое по горячим следам имело бы возможность раскрыть истину [2], а сообщено владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловредные идеи». В этом-то и было все дело! И после ссылки на зловредные идеи нас уже не удивит развязная ложь сената насчет того, что «сам Чернышевский против улик сих никакого опровержения не представил». Это сказано после его подробнейших раз'яснений, в которых не только пункт за пунктом опровергались выдвинутые против него обвинения, но и определенно назывался автор всех фигурировавших в его деле подлогов!

[1] После слов «приговоренных к легчайшему наказанию» логически надо было сказать «сообщника, которому грозит более тяжелое наказание», но сенат на это не решился, ибо это значило бы показать, что приговор Чернышевскому, и при том приговор тяжкий, был предрешен. Сенаторы предпочли пожертвовать логикой и грамматикой.

[2] Явная ложь: начальство смирительного дома не стало бы расследовать дела, находящегося в производстве сената, да и вообще не обладало следственными функциями.

На основании всего вышеизложенного сенат пришел к «полному нравственному убеждению», что воззвание к крестьянам составлено Чернышевским, и что он принимал меры к его распространению посредством напечатания. Что касается приготовления к возмущению, то письмо к Плещееву «обращает нравственное убеждение в виновности Чернышевского в юридическое тому доказательство». Из этого письма между прочим явствует, что Чернышевскому, кроме подготовления к печатанию воззвания к крестьянам, «были известны другие злоумышленники, возмущавшие общественное спокойствие распространением своих воззваний (Л. и 23 в Понизовьи)», при чем раз'яснить последние слова сочиненного Костомаровым письма сенат не счел нужным.

«Таким образом, — заключают сенаторы, — действия Чернышевского заключают в себе все условия преступления, предусмотренного в св. зак. уг., кн. I, т. XV, в главе о государственных преступлениях, в ст. 283, т. е. участие в злоумышлении противу правительства. Но принимая во внимание, что таковые злоумышления Чернышевского открыты правительством заблаговременно при начале оных, и ни смятений, ни каких-либо других вредных от того последствий не произошло, Чернышевский на точном основании последующей 284 ст. должен быть подвергнут наказанию по 3-й или 4-й степени 21 ст. Обращаясь затем к определению степени предлежащего Чернышевскому наказания, сенат находит, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала «Современник», своею литературною деятельностью имел большое влияние на молодых людей [1], в коих со всею злою волею посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему сенат признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т. е. по 3-й степени в мере близкой к высшей, по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся».

На этом основании сенат постановил: отставного титулярного советника Николая Чернышевского 35 лет лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет и затем поселить в Сибири навсегда. Но, чтобы доказать свое беспристрастие, сенат вместе с тем признавал Чернышевского невиновным в противозаконных

[1] В черновике определения (л. 243) сначала было сказано «общество», а затем переправлено на «молодых людей».

сношениях с изгнанником Герценом и в прикосновенности к его революционным замыслам. Из сената по тогдашнему порядку дело перешло в Государственный Совет, который полностью присоединился к сенатскому определению [1]. После того оно было представлено царю, который 7 апреля это определение утвердил с сокращением срока каторжных работ на половину (после разбойничьего приговора сената можно было и погуманничать!). 4 мая приговор был об'явлен Чернышевскому при открытых дверях.

Приговор этот был чудовищным даже с точки зрения тогдашних российских законов. Сенат осудил Чернышевского не только без наличия убедительных доказательств его вины (если не считать виною его литературную деятельность, о чем скажем ниже), но и не по тем статьям закона, по которым ему следовало избрать наказание даже в том случае, если бы вина его была доказана.

Апологет неправосудного сенатского приговора М. В. Клочков говорит по этому поводу: «Так как в процессе Чернышевского ввиду полного отрицания им своей вины не могло быть совершенного доказательства (т. е. собственного признания или документа, подлинность которого признана обвиняемым. — *Ю. С.*), то, очевидно, суду следовало изыскать несколько несовершенных доказательств, которые согласно ст. 308 в их совокупности могли бы быть приравнены совершенному доказательству и исключали «возможность недоумевать о вине подсудимого» (вторая статья, стр. 178). Поэтому Чернышевскому и пред'явлено было 3 обвинения, из которых по первому сенат дозволил себе роскошь оправдать его (сношения с Герценом), для того, чтобы, после этого лицемерного жеста, тем вернее обвинить его по двум остальным (сочинение воззвания и приготовление к возмущению).

Но на чем основывал сенат свой приговор? Во-первых, на оговорах Костомарова и Яковлева. Однако, показания таких свидетелей не могли иметь решающего значения. Один из них, Костомаров, явный и даже главный соучастник того преступления, которое вменялось в вину Чернышевскому, втечение двух лет молчал о нем, а затем, заговорив о нем, высказал столько личного озлобления, настолько противоречил

[1] В деле № 28, л. 54, имеется следующая выписка из Спб. сенатских ведомостей от 8 мая 1864 г., № 37: «Государственный Совет в департаменте гражданских и духовных дел, по рассмотрению определения Правительствующего Сената, 5-го департамента, об отставном титулярном советнике Николае Чернышевском (35 лет), признав его по уликам и обстоятельствам дела виновным в сочинении возмутительного воззвания, передаче оного для тайного напечатания с целью распространения и в принятии мер к ниспровержению существующего в России порядка управления» и т. д. Подписал председательствующий в Гос. Совете князь Павел Гагарин.

себе самому, настолько явно путал и сочинял, что должен был возбудить к себе подозрение даже со стороны холопского сената, который, напр., не принял во внимание его поклепа на Плещеева и даже не привлек последнего к делу (не говоря уже о военном суде, который, имея перед собою такой же оговор Костомарова против Шелгунова, подсудимого оправдал). Другой, Яковлев, по всем свойствам своей натуры был еще более недостоверным свидетелем и своим поведением даже вызвал по отношению к себе репрессии в виде административной ссылки, не говоря уже о том, что его явно неосновательное показание было радикально опорочено его же сознанием перед заключенными московского смирительного дома. Правда, сенат по нелепым формальным мотивам отверг их заявление, но что он считал его серьезным, видно из того, что он отказался допрашивать по этому поводу самого Яковлева, предусмотрительно убранного подальше от суда, в Архангельскую губернию. Этим сенат в сущности отклонил показание Яковлева, но это не помешало бесстыдным сенаторам опираться на него в приговоре.

Во-вторых, сенат якобы основывался на документах. Но из этих документов письмо к Соколову опровергалось не только своим характером литературного сочинения на заданную тему по имевшимся в деле документам, как бесспорно доказал Чернышевский, но и вымышленностью адресата, который в действительности не существовал и не мог быть разыскан. Что касается «собственноручной» записки Чернышевского, то даже шесть из восьми назначенных сенатом экспертов отвергли ее принадлежность Чернышевскому, и этим она по существу изымалась из числа доказательств его вины. Наконец, письмо к Плещееву, очевидно, возбуждало сомнения и в самом сенате, судя по тому, что он не привлек к ответственности Плещеева, который компрометировался этим письмом не меньше, а пожалуй, даже больше, чем Чернышевский, ибо помимо всего прочего ему приписывалось там обладание подпольным станком. Явно, что и документальная сторона в процессе сильно хромала.

И это при том условии, если предположить, что сенат ничего не знал, о том, к а к получены и созданы были эти документы. А предполагать это никак невозможно. Вся обстановка их постепенного появления на свет божий, все эти «случайные» открытия и находки должны были невольно возбуждать сомнения и подозрения даже не у таких тертых калачей, как сенаторы, понаторевшие во всяких судейских кляузах. Уже одно то обстоятельство, что сенат не добивался раз'яснения этого кардинального вопроса, что он преднамеренно оставлял в тени расследование происхождения этих документов, в частности письма к Пле-

щееву, относительно которого ему не было даже сообщено, откуда оно взялось и как очутилось в руках III Отделения, — уже одно это обстоятельство показывает, что сенат отлично знал о происхождении этих документов и понимал, что касаться этого вопроса значит сразу подорвать столь хитро и вместе с тем столь грубо возведенное здание улик, этих «несовершенных» в буквальном смысле слова доказательств. Наконец, сам подсудимый упорно и убедительно доказывал подложность этих документов, от расследования которой сенат столь же упорно и неубедительно отказывался.

Таким образом на основании э т и х улик сенат не вправе был выносить обвинительный приговор Чернышевскому (особенно о д н о м у Чернышевскому). Но этого мало. Сенат совершил второе беззаконие, применив к Чернышевскому н е т е статьи, какие следовало, даже если бы вина его была доказана неопровержимо.

Рейнгардт в своей цитированной статье (стр. 458) говорит: «Некоторые мои знакомые юристы при разговоре о деле Чернышевского находили, что к нему применена не та статья, которую следовало применить, судя по резолюции Государственного Совета, который, как сказано, применил 283 ст. улож. о наказ. 1857 года, а к нему вполне справедливо было бы применить 2 ч. 273 ст. того же устава, карающей виновного заключением в крепости». Но так говорят сочувствующий Чернышевскому человек и какие-то юристы, возможно, тоже из числа находивших приговор сената вообще неправосудным. Послушаем же человека, который один из русских литераторов имел печальное мужество открыто признать приговор над Чернышевским справедливым, а действия сената законными. Мы имеем ввиду г. Клочкова. Так, вот, даже этот апологет сената признает, что сенат должен был применить к Чернышевскому другую статью.

«Если, — говорит он, — иметь ввиду составление прокламации (да и «письмо к Плещееву». — *Ю. С.*), то сенат мог остановиться на ст. 285 и 286; тогда обвиняемому грозило бы заключение в крепости от двух до четырех лет [1] с лишением некоторых особенных прав и преимуществ. Но сенат пошел дальше» (вторая статья, стр. 186). Еще бы! ему нужно было похоронить Чернышевского навсегда. Вот почему он под-

[1] Д. Писарев в том же 1864 году за составление прокламации был приговорен тем же сенатом и почти в том же составе к 2 г. 8 м. заключения в крепости; притом Писарев п р и з н а л свое авторство, Чернышевский же его отрицал. Каторгу получил по этому делу (Писарева) владелец подпольной типографии Баллод. Следовательно, по делу Чернышевского логически нужно было его приговорить к крепости, а Костомарова к каторге. Но ведь дело шло о Чернышевском!

вел «преступление» Чернышевского под такие статьи, которые, как это вынужден с всяческими выкрутасами признать и г. Клочков, «к ним в сущности не относятся» (стр. 187). Сенат подвел «деяния» Чернышевского под статьи 283 и 284, причем назначил ему почти максимальный срок каторги, полагавшийся по ст. 284 (15 лет). Между тем эти статьи предусматривают вооруженное восстание, говорят о хранении и раздаче оружия, о составлении заговора для совершения государственного переворота и т. п., так что, даже признав Чернышевского виновным в инкриминируемых ему деяниях, его никак нельзя было подвести под эти статьи.

Одним словом, в истории мировой юстиции трудно найти процесс более позорный, чем процесс Чернышевского. Начавшись с гнусных доносов, открытых и тайных, он продолжался рядом бессовестных подлогов и интриг при участии высших правительственных лиц вплоть до царя и закончился нарушением всех законных форм и предписаний со стороны высшего судебного места в империи.

И после всего этого нашелся глупец или подхалим, упомянутый приват-доцент М. В. Клочков, который в своей статье «Процесс Н. Г. Чернышевского», напечатанной в суворинском «Историческом Вестнике», посмел утверждать, что в деле Чернышевского все было чисто и правильно, посмел оспаривать, что в этом деле властями был совершен ряд наглейших беззаконий и подлогов! Утверждение, что царю была известна вся преступная махинация III Отделения (наличность каковой он притом отрицает), г. Клочков называл «легендой» и пытался опровергнуть ее ссылкой на ее «внутреннюю недостоверность». Помилуйте, стал ли бы «либеральный» государь, «царь-освободитель», насадитель «правды и милости в судах», заниматься такими грязными делами, как систематическая фабрикация подлогов для уничтожения политического врага, когда он мог расправиться с ним просто в административном порядке? «Невероятно, — писал этот из молодых да ранний «ученый», — чтобы министр юстиции Замятнин, а тем более Александр II, в то именно время, когда создавались судебные уставы 1864 года, и насаждалась законность в суде (!), сознательно и преднамеренно допустили вопиющее правонарушение, тем более, что в этом не было никакой нужды, так как власть имела полную возможность избавиться от неприятного ей журналиста административным порядком».

На несчастье г. Клочкова и ему подобных глупцов или подхалимов «благодушный» царь и его достойные слуги были настолько уверены в своей безнаказанности и в вечности своего режима, что даже не потрудились уничтожить изобличающие их документы и сохранили их

для потомства в толстых папках «дел» и «производств», дабы грядущие поколения увидели воочию, до чего может доходить нравственное падение командующих классов и их добровольных адвокатов и апологетов.

8. После приговора

Неожиданно жестокий приговор, вынесенный Чернышевскому, произвел самое тяжелое впечатление на демократическую интеллигенцию, у которой насильно был отнят любимый вождь. Радикальные круги общества почувствовали себя сразу осиротелыми. Русская литература, которая вслед за Добролюбовым теряла такого человека, как Чернышевский, впала в маразм и втечение долгих лет влачила жалкое существование. Широкие перспективы, которые открывала перед нею писательская деятельность Чернышевского, потускнели, поднимавшиеся им исторические вопросы сошли на-нет, и уже тогда началась в ней проповедь малых дел — вплоть до нового под'ема 70-х годов.

Некрасов был глубоко подавлен трагической участью Чернышевского, перед которым он преклонялся. Памятником этого настроения нашего народного поэта является его известное стихотворение «Пророк» (из Барбье), озаглавленное так для цензуры, а в действительности оригинальное и носившее первоначальное заглавие «Н. Г. Чернышевский» [1]. Приводим это замечательное стихотворение, задуманное или первоначально записанное, вероятно, не позже 1863 года, т. е. до вынесения обвинительного приговора.

Не говори: «Забыл он осторожность.
Он будет сам своей судьбы виной».
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских,

[1] Лемке (цит. соч., стр. 165) привел это стихотворение с четвертой строфой, отсутствовавшей в прежних собраниях сочинений Некрасова, с автографа, подаренного автором П. А. Ефремову. Впоследствии К. Чуковский нашел другой автограф этого стихотворения. Сначала на нем была надпись: «Из Байрона». Затем слово «Байрона» зачеркнуто, и карандашом надписано: «Ларры» (испанский сатирик; цензурности ради тогда многие поэты приписывали свои стихотворения иностранцам). Сбоку рукою Некрасова написано «В избе лесника на 125 версте М[оск.] Ж[ел.] Д[ороги], ночь 8 августа 1874» (Ветринский — «Н. Г. Чернышевский», стр. 203). Есть ли это дата составления или записи стихотворения? Судя по последней строфе, стихотворение было написано еще до осуждения Чернышевского, а в таком случае, как указывает Ветринский, дата найденного К. Чуковским автографа говорит лишь о новой записи стихотворения.

Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.
Так мыслит он, и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...
Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте.
Его послал бог гнева и печали
Рабам земли напомнить о Христе.

У Некрасова есть и другое стихотворение, в котором фигурирует Чернышевский. Это — стихотворение «Притча», приводимое В. Евгеньевым в его книге о Некрасове. Здесь выведен в идеализированном виде Александр II, неудача реформ которого об'ясняется давлением на него аристократической придворной среды. Это стихотворение, хотя и датированное 20 июля 1870 года, носит отпечаток тех мыслей, которые развивал Чернышевский в «Письмах без адреса» 1862 года. Чернышевский же, вероятно, и выведен в этом стихотворении под видом «маститого старца», который пытался открыть царю истину и был за то предан казни.

Но смело нарушил жестокий закон
Один гражданин именитый:
Служил бескорыстно отечеству он
И был уже старец маститый.
Измлада он жизни умел не жалеть,
Не знал за собой укоризны
И детям внушал, что честней умереть,
Чем видеть бесславье отчизны.
По мужеству воин, по жизни монах
И сеятель правды суровой[1].

Как должна была чувствовать себя революционная молодежь и демократические элементы, у которых был отнят духовный вождь, об этом нечего долго распространяться. Негодование против правительства и жалость к его жертве были всеобщими. Иногда это горячее сочувствие к Чернышевскому принимало наивные, но тем более трогательные формы. В деле о Чернышевском имеются два документа такого рода, которые, пожалуй, громче всяких речей и воззваний говорят о том глубоком впечатлении, какое трагическая судьба великого писателя произвела на передовых людей того времени.

[1] В. Евгеньев — «Николай Алексеевич Некрасов», М. 1914, стр. 234—237. В. Евгеньев не решается настаивать, что здесь выведен именно Чернышевский, хотя находит это «более или менее вероятным предположением». Но ясно, что ни о ком другом здесь речь итти не может.

Первый документ — это письмо молодой девушки к царю, относящееся к концу апреля 1864 года, когда уже стало известно, что сенат приговорил Чернышевского к каторжным работам.

«Всепросветлейший, державнейший Государь Император!

«Александр Николаевич.

«Простите мою дерзость, что я осмеливаюсь писать к вам и просить вас. Вся моя просьба заключается в следующем: окажите правосудие Николаю Львовичу Чернышевскому, содержимому в крепости и обвиняемому в участии в восстании [1], прикажите освободить его. Он, поручаюсь вам в том своею головой, совершенно невинен: подобный ему высоконравственный человек не откажется от своих действий. Да и главное в том, что в его виновности нет ни одного прямого доказательства, а он между тем все-таки приговорен к каторге на семь лет. Если уж необходимо кого-нибудь сослать, сошлите лучше меня, а оставьте человека, который своим умом может принести огромную пользу обществу. Государь! Будьте отцом ваших подданных, осчастливьте одну из них и потом, если нужно, отнимите у ней жизнь. Но, так как я не дорожу жизнью, и лишение ее не будет для меня особенным наказанием, то предлагаю вам посадить меня в такую конурку, где бы я едва могла пошевельнуться, морите меня голодом, лишите меня, наконец, моего единственного утешения — книг, делайте со мною все, что хотите, только спасите, спасите Чернышевского! Вы уже сделали так много добра своему народу, окажите же ваше милосердие девушке, которой не знакомо ни счастье, ни веселье. Чтобы не утомить вас лишними словами, спешу окончить свою просьбу и, возлагая надежду на вашу доброту, остаюсь верноподданная ваша

«Любовь Коведяева,

«гимназистка 2-го класса С.-Петербургской Васильевской женской гимназии.

«P. S. — Простите, ваше величество, что я, по незнанию предписанных форм, выражаю свою просьбу в форме частного письма».

На это письмо, нарушающее все принятые формы, последовала 26 апреля резолюция коронованного жандарма: «Просьба эта не заслуживает внимания, но желаю знать, в каких она была отношениях с Чернышевским». Получив такую царскую резолюцию, III Отделение принялось за работу и в тот же день составило справку следующего со-

[1] Повидимому, в демократических кругах сразу заметили, что к Чернышевскому применена статья, говорящая о вооруженном восстании. Разговоры на эту тему, повидимому, дошли и до автора письма.

держания: «Девица Любовь К о в е д я е в а живет вместе с отцом и двумя братьями по 10-й линии Васильевского острова, в доме № 39. Отец ее, Егор Николаевич К о в е д я е в, надворный советник, служит в с.-петербургской таможне, человек лет 50, вдов и не имеет состояния. Дочери Любови 17-й год; она недурна собою, брюнетка, высокого роста; дома она очень много читает. Братья ее — гимназисты вновь открытой на Васильевском острове 7-й гимназии: старшему 16 лет, а младшему 14 лет. У Коведяева большое знакомство; между лицами, его посещающими, замечено весьма много молодежи. Девица Коведяева не имела личных отношений к Чернышевскому, она даже не знает его имени, называя в письме своем Николаем Львовичем, тогда как Чернышевский Н и к о л а й Г а в р и л о в и ч; девице Коведяевой ныне всего 17-й год, а [так как] Чернышевский уже почти 2 года содержится в крепости, то ей в то время, когда он был на свободе, было только 15 лет. Вероятно, она начиталась его произведений и в особенности романа «Что делать?» и, проникнутая убеждениями окружающей ее среды, решилась на свой необдуманный поступок» [1].

Справка эта была доложена царю 29 апреля, но какие последствия имел этот инцидент для самой просительницы и для ее отца, из дела не видно.

Мы знаем, как реагировали на беззаконие, совершенное над Чернышевским, политические деятели, ученые, литераторы, студенты и пр. Но ничего более показательного и волнующего, чем это детское письмо наивного подростка, взывающего к каменному сердцу лицемерного злодея, мы не знаем.

Другой документ — это письмо взрослой женщины к Чернышевскому, написанное около того же времени, а именно 30 апреля, когда в публике уже распространились слухи о приговоре, вынесенном, по выражению Герцена, «дикими невеждами сената и седыми злодеями государственного совета» великому мыслителю и гражданину. Незадолго до того напечатанный в «Современнике» роман «Что делать?», в котором отстаивались права женщины на свободу чувства и деятельности, возбудил особенно горячие симпатии к его автору среди молодежи, и в частности женской.

---

[1] Дело № 230/ч. 176, л.л. 204 и 205. — Семья Коведяевых вообще была революционной. Любовь впоследствии вышла за известного писателя-народника В. В. (Воронцова), автора «Судеб капитализма в России». Она и оба ее брата впоследствии привлекались — Любовь и Дмитрий к делу Нечаева, а Егор — к делу И. Г. Розанова (мнимый заговор эмигрантов для освобождения Чернышевского). См. «Деятели рев. движения в России», изд. О-ва политкаторжан, М. 1928, т. I, ч. II, стр. 70—71 и 174.

Вот что писала неизвестная почитательница Чернышевскому, томившемуся в каменном мешке Алексеевского равелина:

«Благословение вам, честнейший, благороднейший Николай Гаврилович, благословение от женщины, за всех мужчин и женщин, от женщины — матери семейства, от женщины, никогда вас не видавшей, но хорошо вас знающей, потому что вас знают и сочувствуют вам, благоговеют перед вами все люди мыслящие и честные.

«Где бы вы ни были, вас всюду сопровождать будет глубокое и задумчивое сочувствие лучших людей, потому что ваши убеждения, правила и судьба — их убеждения, их правила, их судьба».

Для передачи этого письма по назначению составительница его прибегла к князю Суворову, который пользовался репутацией порядочного человека, и действительная роль которого в деле Чернышевского была тогда неизвестна.

Вот что она писала лукавому царедворцу:

«Ваша Светлость!

«Во имя всего святого обращаюсь к теплой, симпатической душе вашей с просьбой о передаче прилагаемой здесь записки Чернышевскому. В этой записке ничего лишнего и компрометирующего вас нет. Но, если бы вы по каким-нибудь соображениям затруднились передать ее Чернышевскому, будьте так добры, не поставьте себе в труд испросить разрешения государя. Ведь он добр (!) и, конечно, не откажет в капле утешения истомленной двухлетним заключением душе чистого страдальца, ожидающей еще больше продолжительных мучений впоследствии.

«Ваша светлость! Вы — русский по прямоте действий, вы — рыцарь по благородству. Явите рыцарское уважение к женщине, об'явите в газетах, будет ли передано это письмо Чернышевскому. Меня занимает судьба моей записки к Чернышевскому, потому что он — честный человек и несчастный.

«Вам понятно, почему письмо остается без подписи.

«30 апреля 1864 года».

Истинно-русский «рыцарь» поспешил представить оба письма в III Отделение, которое немедленно приступило к выяснению личности автора крамольных писем. В составлении их заподозрена была жена учителя технологического училища Меригоровская. Между прочим она обратила на себя внимание шпионов тем, что 5 мая при приводе Чернышевского в сенат для выслушания приговора старалась увидеть его. Она находилась там вместе с мужем и двумя молодыми людьми. Кроме того там находились в это время бывший студент Ефимов и какой-то чинов-

ник военного министерства. В результате сам Меригоровский был уволен со службы, а за женою его установлено наблюдение [1].

Выходившая в России печать принуждена была хранить молчание; впрочем, органов, способных протестовать против расправы с Чернышевским, тогда почти и не было. Протест раздался из-за границы.

Герцен встретил возмутительный приговор над Чернышевским проклятием его палачам всех рангов и степеней и заклеймил позором продажную либеральную и консервативную печать, которая своими доносами и травлей накликала варварские гонения правительства на прогрессистов и революционеров.

Статья его «Н. Г. Чернышевский» появилась в № 186 «Колокола» от 15 июня 1864 года. Приводим из нее следующие строки.

«Чернышевский осужден на семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет проклятьем это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику, которая накликала это гонение, раздула его из личностей. Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России — к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бранить эту шайку разбойников и негодяев, которая управляет нами!.. И это-то царствование мы приветствовали лет десять тому назад!.. Чернышевский был выставлен вами к позорному столбу на четверть часа [2], а вы, а Россия на сколько лет останетесь привязанными к нему? Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, месть!» [3].

Помимо общего негодования против реакционной политики правительства, давшего тогда всей государственной машине полный ход назад,

---

[1] Дело № 230/ч. 176, л.л. 207—215. — Этот Меригоровский был уже давно на примете у полиции: в списке подозрительных, составленном в конце июня 1862 года в III Отделении и начинающемся с Чернышевского, под № 35 назван учитель Меригоровский, «виновник беспорядков в Технологическом Институте». В «Деятелях рев. движения», изд. О-ва политкаторжан, т. I, ч. II, стр. 252, он почему-то называется Моригеровским.

[2] Примечание Герцена к этому месту: «Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного столба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмование тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста». — С тех пор прошло свыше полувека, а русские художники до сих пор не воспользовались идеей Герцена. Может быть, теперь найдется художник, который осуществит эту идею? Давно пора!

[3] Герцен — «Соч.», т. XVII, стр. 260—261. — Статья появилась и по-французски в № 46 «La Cloche».

у Герцена были специальные мотивы, заставившие его так горячо реагировать на жестокий приговор над Чернышевским. Не забудем, что Герцен был косвенным виновником ареста Чернышевского благодаря своему письму к Н. Серно-Соловьевичу и неосторожному поведению с Ветошниковым. Но главная причина заключалась в том, что Герцена должна была грызть мысль о своем прежнем несправедливом отношении к Чернышевскому, особенно о бестактных статьях «Very dangerous!!!» и «Лишние люди и желчевики», подавших сигнал к травле Чернышевского в русской печати. Он сулил «свистунам» Станислава на шею, а они получили каторгу и могилу. Воспоминание об этой бестактной выходке и должно было мучительно сверлить мозг Герцена; оно внушило ему эти сильные и горячие строки, которыми он отчасти искупил свой грубый промах.

Но и на противоположном полюсе российской общественности осуждение Чернышевского встретило недоумение и растерянность, ибо все чувствовали, что Чернышевский пострадал за свою легальную литературную деятельность. А каторжный приговор за разрешенные цензурой статьи — это была вещь слишком сильная даже для тогдашних охранителей. Несмотря на то, что в русской печати по делу Чернышевского не было напечатано ничего кроме краткого сообщения в № 37 «Сенатских Ведомостей» от 8 мая 1864 года, приведенного нами выше, в публику все-таки проникали кое-какие слухи, убеждавшие ее в неправосудности сенатского решения [1].

Даже такие элементы общества, которые меньше всего сочувствовали социальным и политическим взглядам Чернышевского были поражены суровым сенатским приговором. Бывший профессор Чернышевского, умеренный консерватор Никитенко, злорадствовавший после его ареста не меньше либерала Кавелина, даже эта казенная цензорская душа, узнавши о приговоре, постигшем Чернышевского, записала в своем дневнике: «Из рук вон все это печально!». Таких господ, как Никитенко, возмущала собственно не суровость приговора, а его необоснованность, бросавшая тень на любезное их сердцу правительство; особенно их шокировало упоминание в приговоре журнальных статей Чер-

[1] Сенатское определение несколько позже попало в публику через «Колокол»: оно было напечатано в № 193 от 1 января 1865 года. Еще до того, в № 189 «Колокола» от 15 сентября 1864 года, была помещена статья о Чернышевском, подписанная Z; из нее видно, что слухи о процессе проникали в публику, которая с основными чертами дела была знакома, и для которой действия Потапова, Голицына, В. Костомарова, Яковлева не были секретом. В общем публика имела довольно правильное представление о беззакониях, чинимых по отношению к Чернышевскому, и о подлогах, предпринимавшихся для его осуждения.

нышевского, в свое время разрешенных цензурою. Никитенко расспрашивал сенатора Любощинского, доказано ли юридически преступление Чернышевского. Сенатор отвечал, «что ему известных юридических доказательств нет, но что моральное убеждение прямо против Чернышевского. Как же однако осудили его? В Государственном Совете некоторые из членов не находили достаточных улик и доказательств для приговора его к тому, к чему он приговорен. Тогда кн. Долгорукий показал им какие-то бумаги из III Отделения, и члены вдруг перестали противоречить. Но что это за бумаги, это тайна [1]. Зачем же делать из них тайну, если в них заключаются точные доказательства вины Чернышевского? Жаль!.. В приговоре, читанном публично во вторник, говорят, упомянут даже ряд статей в «Современнике»: но тогда виновата цензура... Вообще тут что-то неясно... Некоторые сильно негодуют на государя за Чернышевского. Как было осуждать его, когда не было на то достаточных юридических данных? Так говорят почти все» [2].

С таким же негодованием встретил юридическое убийство Чернышевского консервативно настроенный историк С. Соловьев. Об этом рассказывает его сын В. С. Соловьев, впоследствии известный философ-идеалист, в своих воспоминаниях [3]. В один летний вечер Н. Кетчер и Е. Корш приехали к старику Соловьеву на дачу под Москвой. Кетчер «был мрачен и совсем не хохотал. Оказалось, что он с Коршем приехали передать отцу только что полученное из Петербурга известие о состоявшемся приговоре особого сенатского суда, по которому известный писатель Чернышевский, обвиненный в политическом преступлении, был осужден на каторжные работы в Сибири. Оба гостя имели удрученный вид, а отец, взволнованный, с покрасневшим лицом, говорил каким-то напряженным, негодующим шопотом, время от времени переходившим в крик».

Указав на то, что Кетчер и Корш держались в этот момент консервативных воззрений, причем Корш даже всячески «изощрялся в более или менее язвительных насмешках над новейшими идеями и «последними словами» радикальной мудрости», что сам С. Соловьев, «как человек с самыми положительными верованиями в области религии и как убежденный «государственник», конечно, был еще дальше от господствующего направления 60-х годов», В. Соловьев об'ясняет, «почему

---

[1] Если этот факт верен, то надо полагать, что речь идет о записках Касторского и Вс. Костомарова относительно литературной деятельности Чернышевского.

[2] Дневник Никитенко, т. III, стр. 454—455 (запись от 21 мая 1864 г.).

[3] «Письма Влад. Серг. Соловьева, том I, Спб. 1908. Приложение: «Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский», стр. 271—282.

печальная судьба Чернышевского, самой значительной головы в этом враждебном и во всяком случае чуждом и несочувственном им лагере, так поразила и возмутила этих людей».

Далее приводятся известные слова С. Соловьева. «Что же это такое? — говорил он. — Берут из общества одного из самых видных людей, писателя, который 10 лет проповедывал на всю Россию известные взгляды с разрешения цензуры, имел огромное влияние, вел за собою чуть ли не все молодое поколение, — такого человека в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрьму, держат больше года, — никому ничего не известно, судят каким-то секретным судом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России доверия и уважения иметь не может, и который само правительство об'явило никуда негодным, — и вот наконец общество извещается, что этот Чернышевский, которого оно знает только как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступление, — а о каком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном факте нет и помину».

Впоследствии В. Соловьеву неоднократно приходилось разговаривать о Чернышевском со своим отцом, который всегда подтверждал свою уверенность в том, что никакого политического преступления Чернышевский не совершал, а был сослан за то, что его писательская (подцензурная) деятельность найдена была опасною для существующего порядка. И он прибавляет: «От этих разговоров с отцом у меня осталось ясное представление о Чернышевском как о человеке, граждански убитом не за какое-нибудь политическое преступление, а лишь за свои мысли и убеждения... Впоследствии, мне случилось ближе познакомиться (по некоторым документам) с делом Чернышевского, и мое прежнее впечатление не только подтвердилось, но стало несомненною и непоколебимою уверенностью».

И, напомнив инцидент с подлогом «письма к Плещееву» (это место мы привели выше), В. Соловьев решительно заключает: «Назвать его (дело Чернышевского) «судебною ошибкою» было бы совсем не точно, так как для судебной ошибки необходимо, чтобы были две вещи: во-первых, суд, и, во-вторых, ошибка, т. е. невольное заблуждение. Но в деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено из'ять человека из среды живых, — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов».

Разошедшийся с Чернышевским и враждебно относившийся к нему Н. И. Костомаров также признает, что «Чернышевского осудили как государственного преступника главным образом потому, что считали его

крайне зловредным по его направлению. Об этом говорили мне близко знающие это дело лица: кн. Суворов, бывший тогда генерал-губернатором петербургским, и Авраам Сергеевич Норов, член государственного совета и председатель археологической комиссии, человек очень религиозный и потому (!) ненавидевший Чернышевского, но тем не менее сознававшийся, что, по совести нельзя было обвинить его в факте прокламаций» [1].

Даже такие люди, как поэт гр. Алексей Толстой, убежденный консерватор и аристократ до мозга костей и вдобавок придворный, были смущены злодейством, совершенным над Чернышевским. Зимой 1864—1865 года Толстой был приглашен на царскую охоту. Случайно он поставлен был рядом с Александром II, и между ними завязалась беседа. Когда царь спросил его, что слышно нового в литературе, Толстой смело ответил ему: «Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского». Александр II не дал Толстому даже окончить его фразы. «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском», — проговорил он недовольным и строгим голосом и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их окончена [2]. Коронованный фальсификатор хорошо знал, что всякое слово в защиту неправильно осужденного Чернышевского является пощечиной ему лично. И до тех пор, пока этот желчный тиран был жив, Чернышевский не мог выйти из тюрьмы.

Убеждение в том, что Чернышевский был наказан за свою литературную деятельность, укоренилось в самых широких кругах русского общества, даже реакционных. В суворинском «Новом Времени» об этом мог говорить такой господин, как Н. Скальковский. Он должен был, напр., признать, что «действительные отношения Чернышевского к петербургскому революционному движению 1861—1862 года остались невыясненными» [3]. И, как подчеркивает Юдин, Скальковский (судя по статье в «Новом Времени» 1904 г., № 10303) также держался того мнения, что Чернышевский «пострадал скорее за свою подцензурную деятельность в печати, признанную опасной для существующего порядка» [4].

Двух мнений (если не считать упомянутой выше статьи г. Клочкова) по этому вопросу в русской литературе не было. Да и как могло быть иначе, когда сенатское определение имело бесстыдство не только

---

[1] «Автобиография Н. И. Костомарова», стр. 334.

[2] «Новое Время» 1904 г., № 10321.

[3] «Наши государственные и общественные деятели», стр. 314.

[4] Юдин — «Н. Г. Чернышевский в Саратове». «Истор. Вестник» 1905, № 12, стр. 887.

ссылаться на статьи Чернышевского в «Современнике» для обоснования своего приговора, но и мотивировало избрание для него самой высокой степени наказания его «зловредной» литературной деятельностью? Опубликованные с тех пор документы только подтвердили этот факт. А то обстоятельство, что заправилы всего дела должны были прибегнуть к самым бесстыдным подлогам, доказывает, что они сами не были уверены в совершении Чернышевским каких-либо преступных с точки зрения закона действий, но, считая его крайне опасным для существующего порядка ввиду влияния, приобретенного им своей литературной работой, признали необходимым убрать его со сцены в момент, когда власть их временно заколебалась [1].

---

[1] Сам Чернышевский не сомневался в том, что суд над ним был простой комедией, и что приговор продиктован был сенату свыше. 9 декабря 1863 года Евг. Н. Пыпина писала родным в Саратов, что за два дня до того они видели Н. Г. «Он, как всегда, был покоен и весел; говорил, что ему странно, что у господ сенаторов не хватает решимости подписать постановление, что ведь, вероятно, не они выдумали его, следовательно, рассуждать им нечего. Вообще он видит в своем деле преднамеренность и вследствие этого считает его выходящим решительно из ряда всяких политических дел» (В. А. Пыпина — «Любовь в жизни Чернышевского», стр. 63).

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

СТРАСТНОЙ ПУТЬ

Глава первая

НА КАТОРГЕ

1. Обряд гражданской казни

В тот же день, в который приговор был об'явлен Чернышевскому в окончательной форме, с.-петербургский генерал-губернатор князь Суворов обратился к шефу жандармов князю Долгорукову с запиской, в которой предлагал: 1) отправить Чернышевского не этапным порядком, а на почтовых с двумя жандармами — «по особо уважительным причинам, известным вашему сиятельству»; 2) не налагать на него оков и наручней; 3) не выставлять его к позорному столбу, так как сенат не приговорил его к политической смерти.

На это 5 мая последовал ответ Долгорукова, указывавший, что арестанты привилегированных сословий имеют право ехать на почтовых, если у них имеются средства, что они освобождаются от наложения оков, но что обряд гражданской казни с преломлением шпаги над головой и с выставлением к позорному столбу должен быть исполняем над всеми без исключения лицами, присужденными к каторжным работам [1]. Отказать себе в таком удовольствии, как выставление Чернышевского к позорному столбу, жандармы не хотели.

Этот возмутительный обряд гражданской казни состоялся 19 мая 1864 года [2].

---

[1] М. Чернышевский — «К делу Н. Г. Чернышевского». «Былое» 1906, № 5, стр. 131—138.

[2] Существует несколько описаний этой печальной церемонии: 1) рассказ гвардейского офицера Вл. Конст. Гейнса, радикала, впоследствии эмигрировавшего в Америку, принявшего там имя Вильяма Фрея и придумавшего какую-то «позитивную религию человечества»; этот рассказ, взятый из дневника Гейнса, приводится в цитированной статье Н. Рейнгардта (стр. 460 сл.), при чем Рейнгардт не указывает, откуда он этот рассказ заимствовал; 2) рассказ В. Кокосова, тогда студента, а впоследствии врача Карийской каторги, приведенный в его книге «Рассказы о карийской каторге», Спб. 1907, стр. 293 сл.; 3) рассказ Алексея Тверитинова, бывшего тогда воспитанником корпуса инженеров путей сообщения

В № 108 «Ведомостей С.-Петербургской Городской Полиции» от 17 мая появилось сообщение, что 19 мая в 8 часов утра на Мытнинской (Конной) площади в Рождественской части назначено публичное об'явление приговора Н. Г. Чернышевскому [1]. По рассказу В. Кокосова, он с приятелями в 4 часа утра уже двинулись к месту казни. Как рано они ни явились на площадь, но уже застали там человек до 70-ти. Ожидать пришлось долго; с разных сторон подходили новые зрители, в большинстве одиночками, но иногда и группами, человек по пяти и по десяти. Под'езжали и на лошадях, останавливаясь на значительном расстоянии от эшафота, слезали с экипажей и подходили пешком. Подходили и под'езжали больше мужчины; дамы и девушки встречались реже.

Подобно другим, и Гейнс с раннего утра отправился на площадь, где предстояло шельмование идейного вождя революционной молодежи.

«Крестьянин, идущий впереди меня, — рассказывает он, — спросил лавочника: «где будут раскладывать?», и, как ни странно покажется это, я вздрогнул от этого слова. Я не видывал прежде этой процедуры, и такое резкое выражение человека из народа невольно навело меня на мысль, что она должна быть очень тяжелого свойства. Я шел следом за этим крестьянином, и по мере приближения к толпе все более

(в брошюре «Об об'явлении приговора Н. Г. Чернышевскому» и пр., Спб. 1906, стр. 4 сл.); 4) рассказ бывшего кантониста, пригретого Чернышевским, В. Никитина (в его «Воспоминаниях», напечатанных в «Русской Старине» 1906, № 10, стр. 85 сл.); 5) рассказ врача А. М. Венского, переданный в статье В. Короленко — «Из воспоминаний о Чернышевском» (в «Русском Богатстве» 1905, № 6, стр. 99 сл.); 6) рассказ М. П. Сажина, первоначально напечатанный в № 12 «Русского Богатства» за 1909 год и перепечатанный в его «Воспоминаниях», М. 1925, стр. 16 сл.; 7) рассказ Бобровского (А. Суворина) в его книге «Всякие», сожженной по приговору суда в 60-х годах (стр. 186 сл.); в этой книге Суворин, тогда еще либеральничавший, выводит Чернышевского в симпатичном виде под фамилией Самарского, а В. Костомарова — в отрицательном виде под именем Теломарова.

Все эти рассказы, расходясь в деталях, в общем дают одинаковую картину грустного обряда. Мы кладем в основание нашего изложения рассказ Гейнса, дополняя его сообщениями других авторов.

[1] Перепечатано в «Материалах» Базилевского, loc. cit., стр. 123. — Разнесся слух, — пишет В. Никитин (цит. ст., стр. 85), — будто бы его хотят отбить у полиции, среди города, когда его повезут, так же, как возили раньше таких же, как он, на позорной колеснице на площадь. Оттого втечение ночи, как мне передавали, несколько раз меняли маршрут провозки его на площадь, чтобы сбить с толку намеревавшихся заступиться за него, располагавшего, как говорили, большим влиянием, в особенности на учившуюся молодежь». Подобные опасения у полиции, вероятно, были, судя по тому, с какими предосторожностями Чернышевского потом увозили из Петербурга (см. ниже).

и более росло мое волнение. Наконец я на площади. Высокий черный столб с цепями, эстрада, окруженная солдатами, жандармы и городовые, поставленные друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистанции от столба. Множество людей, хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед хорошо одетые женщины, — все показывало, что происходит нечто чрезвычайное.

«Какая-то старуха предложила мне скамейку. «Надо сиротам хлеб заработать», — говорила она мне. Если бы она взяла с меня не 10 коп., а 50, то и тогда я с удовольствием взял бы скамью, п. что публики набралось слишком много, и мне уже приходилось стоять в третьем ряду.

«Три четверти часа мне пришлось стоять на скамейке, дожидаясь приезда Чернышевского. Но для меня это время прошло быстро. Я жадно вглядывался во всякую подробность. Хозяйка моей скамейки, стоя вместе со мной, рассказывала мне, как новичку, что будут делать с преступником. Показала саблю (шпагу? — *Ю. С.*), заранее подпиленную и стоящую внизу эстрады. Заметила между прочим, что в прежние разы столб был гораздо ближе к народу, чем теперь, но все-таки будет слышно, что прочтет арестанту Григорьев (помощник надзирателя)...

«Ряд грустных мыслей был прерван каким-то глухим шумом толпы. «Едут», — сказала старуха. «Смирно!», — раздалась команда, и вслед затем карета, окруженная жандармами с саблями наголо, под'ехала к солдатам. Карета остановилась шагах в 50 от меня, я не хотел сойти с своей скамьи, но видел, что в этом месте толпа ринулась к карете, раздались крики «назад!»; жандармы начали теснить народ, вслед затем три человека пошли быстро по линии солдат к эстраде: это был Чернышевский и два палача [1]. Раздались сдержанные крики передним: «уберите зонтики», и все замерло. На эстраду взошел какой-то полицейский. Скомандовали солдатам «на караул». Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора [2]. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто его не мог слышать [3]. Сам же Чер-

[1] «Он казался выше среднего роста, — пишет В. Кокосов (стр. 296), — с довольно широкими плечами и широкой грудью, с бледным, сухощавым лицом, белым широким лбом и длинными густыми волосами, закинутыми назад, с клинообразной бородой и очками на носу. Особенность его лица, бросавшаяся в глаза и запечатлевшаяся в памяти, — ширина лобной части лица по сравнению с нижней лицевой частью, так что лицо казалось суженным книзу».

[2] По рассказу А. Тверитинова, на эшафоте встретили его два палача: один из них снял с него фуражку и надел ему на шею черную деревянную доску с белою надписью «государственный преступник».

[3] По словам Никитина, чиновник читал плохо, а в одном месте поперхнулся и едва выговорил «сацалических идей». Чернышевский улыбнулся.

нышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им. Он, повидимому, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону раза три. Наконец, чтение кончилось. Палачи опустили его на колени. Сломали над головой саблю, и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь, палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши руку в руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание. Старуха, сошедшая со скамьи, беспрерывно задавала мне разные вопросы вроде таких: «В своем ли он платье или нет? Как он приехал, в карете ли или в телеге?». Я беспрерывно душил свои слезы, чтобы можно было отвечать кое-как старухе. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, схвативших друг друга за руки, и только усилиями конных жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда (это я знаю наверное, хотя не видал сам) были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали».

Первый букет бросила М. П. Михаэлис, сестра жены Н. В. Шелгунова. То ли потому, что он слишком волновался, то ли потому, что он занимал плохое место, но здесь Гейнс не все видел. Как рассказывает Тверитинов, «по окончании чтения палач положил Чернышевскому на голову его фуражку; затем его поставили на колени, и палач переломил над головой его надломленную (надпиленную. — *Ю. С.*) шпагу. Наконец, подвели его к позорному столбу, продели его руки в висящие на столбе петли их цепей, и в таком положении Николай Гаврилович простоял минуту или две [1]. В этот момент... барышня бросает на эшафот букет... Еще было несколько покушений бросить цветы,.. но все неудачны: цветы перехватывали на лету временные представители народа, т. е. переодетые полицейские. Кто-то закричал,

[1] По рассказу Сажина, Чернышевский простоял у столба около четверти часа. Кокосов же говорит, что «вся процедура «шельмования» тянулась с момента появления Чернышевского на эшафоте до увоза его обратно не более 15—20 минут: все совершалось торопливо и как бы опасливо». Далее по рассказу Сажина процедура ломания шпаги происходила после стояния у позорного столба, а не до нее: «Палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского поставил на колени, затем взял шпагу, переломил ее над головой Николая Гавриловича и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота».

вероятно, Якушкин: „до свидания!"». Никитин также свидетельствует о том, что букетов было много, и что первый из них был брошен в тот момент, когда Чернышевский стоял у позорного столба. Когда в его сторону полетел букет, Ч. «с улыбкою кивнул в ту сторону, откуда он прилетел. Войско подвинулось ближе к эшафоту, а букеты и венки со всех сторон градом полетели на эшафот. Чернышевский улыбался, а полицейские тщетно пытались ловить руки бросавших цветы, ибо публика оттесняла их. Я увидел множество валявшихся в грязи букетов и венков... До Невского валялись те же венки и букеты». О том же свидетельствует и рапорт шпика, имеющийся в деле о Чернышевском [1].

Теперь мы можем продолжить рассказ Гейнса: «Карета повернула назад и по обыкновению всех поездок с арестантами пошла шагом. Этим воспользовались многие желающие видеть его вблизи; кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь сигнал для того, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал один молодой офицер; снявши фуражку, он крикнул: «прощай, Чернышевский»; этот крик был немедленно поддержан другими и потом сменился еще более колким словом «до свидания» [2]. Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. Этот же крик был услышан толпою, находящейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричащим. Положение полиции было затруднительное, но на этот раз она поступила весьма благоразумно и против своего обыкновения не арестовала публику, а решилась попросту удалиться. Было скомандовано «рысью!», и вся эта процессия с шумом и трохотом начала удаляться от толпы. Впрочем, та куча, которая была возле, еще некоторое время бежала, возле еще продолжались крики и махание платками и фуражками. Лавочники (ехали мимо рынка) с изумлением смотрели на необыкновенное для них событие. Чернышевский ранее других понял, что эта кучка горячих голов, раз только отделится от толпы, будет немедленно арестована. Поклонившись еще раз, с самою веселою улыбкою (видно было, что уезжал в хорошем настроении духа) он погрозил пальцем. Толпа начала мало-по-малу расходиться, но некоторые, нанявши извозчиков, поехали следом за каретой. Говорят, что все были потом арестованы. Я повернул в другую сторону».

Если верить рассказу д-ра Венского [3], передаваемому В. Короленко, то манифестации были не только сочувственные, но и враждебные Чер-

[1] № 230/ч. 26, л. 223.

[2] По мнению Твеитинова, первым крикнул Якушкин (известный писатель-этнограф).

[3] Это был приятель П. Д. Боборыкина, который вывел его в одном из своих романов.

нышевскому. По словам д-ра Венского интеллигентной публики собралось человек 400. Позади этой публики стоял простой народ, фабричные и вообще рабочие. «Помню, — говорит А. М. Венский, — что рабочие расположились за забором не то фабрики, не то строющегося дома, и головы их высовывались из-за забора. Во время чтения чиновником длинного акта, листов в 10, публика за забором выражала неодобрение виновнику и его злокозненным умыслам. Неодобрение касалось также его соумышленников и выражалось громко. Публика, стоявшая ближе к эшафоту, позади жандармов, только оборачивалась на роптавших».

И Короленко прибавляет: «Это было 40 лет назад. Народ, только что освобожденный от крепостной зависимости, считал, вероятно, Чернышевского представителем «господ», недовольных освобождением. Как бы то ни было, история старушки, в святой простоте принесшей вязанку хвороста на костер Гусса, повторилась и на этот раз... Нет сомнения, что теперь (в 1905 году. — *Ю. С.*) отношение даже и «зазаборной публики» к акту подобного рода было бы много сложнее».

О, да! А теперь победивший пролетариат признает в Чернышевском своего предтечу и поставил бы не просто к позорному столбу, а к стенке виновников его гибели. Но в те печальные времена такое прискорбное недоразумение, как то, о котором повествует д-р Венский, было, конечно, возможно. Это показала дикая сцена, имевшая место во время аналогичного обряда над В. Обручевым за два года до того. Странно только, что ни один из других очевидцев не упоминает об этой враждебной демонстрации рабочих, присутствовавших при печальном зрелище. Поэтому мы, не отвергая самого факта, полагаем, что враждебные выходки были настолько незначительны, что большинство их и не заметило. В этом нас убеждает и то обстоятельство, что полицейский отчет, который мы приводим дальше, также не упоминает об этих выходках, а уж агент III Отделения не преминул бы их отметить, если бы они действительно приняли характер громкого явления.

В Деле Департамента полиции о Чернышевском [1] мы нашли характерную справку, составленную в III Отделении на основании донесений шпиков, не знаем, казенных или добровольных, которая заслуживает того, чтобы быть здесь приведенной. Вот эта справка, датированная тем же днем, 19 мая 1863 года:

«Сегодня, в 9 часов утра, на Мытнинской площади, произведено публичное об'явление приговора государственному преступнику Чернышевскому. Вероятно, по случаю дурной погоды с утра Черны-

[1] № 230/ч. 26, л. 232 сл.

шевский привезен был на лобное место не в 8 часов, как об'явлено было в газетах, а в ¾ 9-го часа. Кроме того преступник привезен был, в нарушение 541 ст. 2 кн. XV тома Свод. Зак. Уголовн., не в арестантской одежде и без священника, что в отношении подобной личности, как Чернышевский, особенно осуждается. Многие уверяют, и, к сожалению, это едва ли не справедливо, что такая небрежность была не случайною. Представляемая при сем прежняя записка по поводу исполнения сентенции некоторым образом подкрепляет это предположение, особенно, если принять в соображение, что главным распорядителем при приведении в исполнение наказания был чиновник со стороны генерал-губернатора: это — генерал-майор Чебыкин. Вновь утверждают, что для Чернышевского по подписке собрано несколько тысяч, и что в числе главных подписчиков есть имя князя Суворова. Самое исполнение казни совершилось без особенных приключений, и только во время чтения приговора известная нам девица Михаэлис бросила преступнику через толпу очень хорошенький небольшой букет цветов, который однако не долетел по назначению, упал к ногам одного полицейского офицера и им поднят, а девица Михаэлис, тут же замеченная, взята и отправлена к обер-полицеймейстеру [1]. Там, говорят, она прямо об'явила, что она сделала это по любви к Чернышевскому. Во время чтения приговора Чернышевский стоял более нежели равнодушно, беспрестанно поглядывал по сторонам, как бы ища кого-то, и часто плевал, что и дало повод также известному нам литератору Пыпину выразиться громко, что Чернышевский плюет на все. Публики было 2—3 тысячи, из них простого народа считают не более ⅓; остальные все чиновного сословия. Замечено много дам стриженых (нигилисток); все они были в черных платьях и черных же башлыках и старались пробиться как можно ближе к эшафоту. Было также несколько мужчин в черных башлыках, и один из них, назвавшийся при арестовании его здешним мещанином Герасимовым, выступя из толпы, старался пробраться ближе к эшафоту, а когда полициею ему велено было итти назад, то он ответил, что [он] такой же гражданин и, следовательно, имеет право быть впереди. Приехавший вместе с девицею Михаэлис бывший учитель Технологического института, тоже хорошо нам известный, Меригоровский, обошел всю публику, осмотрел всех внимательно и затем возвратился в свой кружок, составленный из поименованных выше личностей. Павел Якушкин просил дозволить ему проститься с Чернышевским, а мещанин Свириденко, находящийся приказчиком в книжном магазине Кожачни-

[1] Впоследствии она была выслана за это из Петербурга.

кова, приглашал народ снять шапки. Бывшие там же литераторы Курочкин и Степанов оставались спокойными зрителями [1]. Из офицеров большинство были армейские стрелки и академисты; из воспитанников видели: училища Правоведения — 3 и Строительного училища — 7. Эти последние были без погон, и при них находился какой-то путейский офицер, штабс-капитан, небольшого росту, рыжий. Других воспитанников было очень немного; зато студенты Медицинской академии присутствовали во множестве. Некоторые рассказывают, что при обратном следовании кареты с преступником под нее были брошены из толпы четыре букета; насколько это последнее верно, сказать нельзя; но должно заметить, что в распоряжениях по настоящему случаю порядок был не строгий».

В этом донесении бросается в глаза вражда Третьего Отделения к военному генерал-губернатору кн. Суворову, который прямо обвиняется здесь в потворстве Чернышевскому. Во-первых, Чернышевский был привезен на Мытнинскую площадь в собственном платье (предшественники его по этому печальному обряду, В. Обручев и М. Михайлов, были в свое время доставлены на эшафот в арестантской одежде) и без священника [2], а во-вторых, Суворов якобы принял участие в подписке в пользу Чернышевского (нам о такой подписке вообще ничего не известно). Демонстрации, имевшие место при обряде гражданской казни, составитель справки об'ясняет отсутствием «строгости» и именно тем обстоятельством, что главное распоряжение на площади принадлежало представителю военного генерал-губернатора. Вероятно, в таком духе доложено было и царю, но Суворову это не повредило, и он удержался на своем посту до выстрела Каракозова, т. е. до апреля 1866 года.

Единственное существенное разногласие отдельных рассказов касается количества публики, собравшейся на печальный обряд. Твери-

---

[1] Среди присутствовавших Сажин кроме писателя-этнографа П. Якушкина и А. Н. Меригоровского, сотрудника «Русского Слова», а затем «Дела», называет еще писателя С. Максимова, автора известных книг «Год на Севере», «Сибирь и каторга» и пр.

[2] Насколько жандармы интересовались даже мелочами, касающимися их жертв, видно из того, что в деле имеется и другой доклад по тому же вопросу, а именно, рапорт жандармского полковника Дурново шефу жандармов от того же 19 мая (дело № 230/ч. 26, л. 244). Дурново также приводит цифру 2—2½ тысячи человек, присутствовавших при гражданской казни. Священника, по его словам, при церемонии не было потому, что Чернышевский не из'явил на то своего согласия; арестантская же одежда, в которую нужно было переодеть Чернышевского после казни, была, по словам ген.-майора Чебыкина, забыта и не привезена на Мытнинскую площадь.

тинов говорит, что «толпа эта по сравнению, например, с той толпой, которая провожала Некрасова на кладбище, была очень маленькая — человек триста, не более, из коих у большинства были полицейские физиономии». То же говорит и рапорт одного агента, уверяющего, что количество публики было незначительно (впрочем, без более точного определения) [1]. По словам Кокосова, собралось не менее 500 человек. Рапорт обер-полицеймейстера кн. Суворову говорит, что зрителей было «довольно значительное число», также не указывая точной цифры [2]. По рассказу д-ра Венского, интеллигентной публики было человек 400, не считая простого народа, стоявшего в задних рядах. Между тем В. Никитин, ссылаясь на какие-то полицейские донесения, говорит, что собралось «до 5 000 старых, пожилых, молодых, красиво, прилично и бедно одетых мущин и женщин, при чем все, как бы удрученные одним горем, выглядели грустными». И надо полагать, что приводимая им цифра хотя и преувеличена, но больше отвечает действительности, чем вышеприведенные указания. Об этом мы судим по тому, что две официальные оценки (третьеотделенской сводки и полковника Дурново) говорят — одна о 2—3 тысячах, из которых около тысячи «простого народа», а другая о 2—2½ тысячах присутствующих. По тому времени эта цифра была не так уже мала и свидетельствовала о том интересе, который проявила радикальная публика к судьбе своего признанного вождя.

Описанный обряд гражданской казни произвел на очевидцев его самое потрясающее впечатление. Это видно из воспоминаний Гейнса и Тверитинова, хотя последний говорит, что впечатление было не угнетающим, а возбуждающим [3]. А какие чувства возбудила эта сцена в сердцах революционно настроенных людей, видно из статьи Z. (вероятно, В. Зайцева), напечатанной в № 189 «Колокола» [4]. «Четверть часа у позорного столба никого не устрашит, никого не победит: она только зовет людей и будит в них энергию, но уже не четверть-часовую, а неусыпную, на долгие годы борьбы. Наша скорбь о Черны-

[1] Дело № 230/ч. 26, л. 223.

[2] Лемке, цит. соч., стр. 495.

[3] Впоследствии, в 1874 г., А. Тверитинов перевел на французский язык «Письма без адреса», напечатанные в льежской интернационалистической газете «Le Mirabeau», непропущенную цензурою статью Чернышевского о социализме и коммунизме (из «Очерков по Миллю»), напечатанную в брюссельском еженедельнике «L'Economie Sociale», и выпущенный в Бельгии отдельно перевод первого тома «Примечаний к Миллю». В 1875 году он же издал в Италии французский перевод романа «Что делать?». Вышел, кажется, и итальянский перевод, сделанный Гэдом и его женой.

[4] «Материалы» Базилевского, loc cit., стр. 108—109.

шевском выше минутной торжествующей насмешки его врагов! Пусть нет у русского юношества его лучшего учителя; но его учение не могло пропасть даром! Мы горды дорогим правом звать себя е г о учениками, воспитанниками е г о школы; мы горды этим, потому что чувствуем, что можем служить народу хотя сотою долею его служения, и наше служение не будет бесплодно — им руководят та искренняя любовь и то истинное уважение, которым он учил и с которыми он относился к народу и молодому поколению, платившему ему горячим возвратом тех же чувств.

«Много же понесли вы утраты, братья-юноши! Безвременная смерть, в удушливой среде, сразила вашего неусыпного борца против т е м н о г о ц а р с т в а! Вслед за другими славными братьями у вас вырвали и доблестного учителя!

«Сомкнись же, русская молодежь, сомкнись в тесный дружный строй! Не разрывай своих рядов и работай. Я повторяю его словами: „Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, перенесите из него в настоящее все, что можно перенести"» [1].

Упомянем еще, что в популярном некогда романе Кущевского «Николай Негорев или благополучный россиянин» под именем Оверина выведен Чернышевский; и что там же описана гражданская казнь Чернышевского [2].

Как реагировал на это зверство Герцен, мы видели выше.

2. В пути

Теперь Чернышевскому приходилось готовиться в дальнюю дорогу. Легкомысленная жена его, к которой только и неслись его мысли, «рыскала» в это время по провинции, повидимому, мало интересуясь участью мужа (родные даже думали, что на нее напало помешательство). К счастью, в Петербурге жила часть семьи Пыпиных, которая заботилась об узнике и снаряжала его в дорогу. Был приобретен легкий, удобный, всем снабженный тарантас, который ждал у ворот крепости, и около которого дежурил Сергей Н. Пыпин, чтобы устроить в нем Николая Гавриловича. Но жандармы, верные своей системе до

[1] В книге Ветринского (цит. соч., стр. 119) приведено стихотворение П. М. Ковалевского «Преступник», посвященное гражданской казни Чернышевского.

[2] Московское издание 1917 года, стр. 412—413.

конца, скрыли момент отправки Чернышевского, так что воспользоваться заготовленным тарантасом ему не удалось [1].

Свидания с Чернышевским перед высылкой его просили родственники его А. Н. Пыпин, Сергей Н. Пыпин, Евгения Н. Пыпина, Полина Н. Пыпина и И. Г. Терсинский, кроме того А. Н. Пыпин просил кн. Суворова разрешить свидание с Чернышевским Н. А. Некрасову [2], М. А. Антоновичу, Г. З. Елисееву и д-ру П. И. Бокову. Суворов всем этим лицам свидание разрешил, но в предписании коменданту крепости от 19 мая прибавил, что родственнице Чернышевского Михаэлис свидания с ним не следует давать (она вовсе и не была его родственницей) [3].

Во время прощального свидания Чернышевский, по словам М. Антоновича, был бледен, но в выражении его лица не видно было ни упадка духа, ни изнурения, ни грусти, ни печали. Антоновичу Чернышевский заявил, что он на каторге будет много писать и постарается присылать свои статьи в «Современник», и если их нельзя будет печатать за его подписью, то советовал придумать какой-нибудь псевдоним, а если и это не удастся, то предполагалось найти подставное лицо (некоего Л. И. Розанова, товарища Антоновича по духовной академии). Об этом, впрочем, Чернышевский собирался переговорить лично с Некрасовым, но Антонович осторожно дал ему понять, что Некрасов на свидание к нему не придет. Это сообщение удивило Чернышевского, которому А. Пыпин сообщил о желании Некрасова повидаться с ним перед от'ездом.

Ольга Сократовна 18 мая прискакала в Петербург, но 20 утром снова ускакала, так что при отправке мужа ее в городе не было.

---

[1] В. А. Пыпина — «Любовь в жизни Чернышевского», стр. 67.

[2] М. Антонович в статье «Арест Н. Г. Чернышевского» («Былое» 1906, март, стр. 93) рассказывает, что когда он и Г. З. Елисеев собирались хлопотать о свидании с Чернышевским накануне его отправки в Сибирь, то Некрасов стал горячо отговаривать их от этого намерения на том основании, что «это свидание очень понизит их курс в глазах III Отделения». Заботился ли при этом Некрасов об интересах «Современника», в котором оба писателя играли крупную роль, трудно сказать; но, вероятно, это было так. Слабый человек был Н. Некрасов, хотя часто сам казнил себя за эту слабость. Свидание названных лиц с Чернышевским все же состоялось. — О том, что Некрасов отговаривал Антоновича и Елисеева от свидания с Чернышевским, М. Антонович подтверждает и в статье «Редакция «Современника» в 1866 году» («Голос Мин.» 1915, № 2, стр. 202).

[3] За брошенный ею на эшафот букет цветов М. Михаэлис была выслана из Петербурга в имение своих родителей в деревне Подол Шлиссельбургского уезда и оставалась под полицейским надзором до конца 1865 года.

Чернышевский был отправлен из Петербурга в 10 часов вечера 20 мая 1864 года. Об этом событии рапортом коменданта крепости доложено было царю, который ревниво следил за каждым шагом своего пленника. На рапорте имеется пометка: «государь император изволил читать. 21 мая» [1].

Но коронованный палач был неспокоен. Александр II все время боялся побега Чернышевского и того усиления революционного движения, которое явилось бы результатом активного присоединения к нему человека с таким умом и таким авторитетом. Этою навязчивою мыслью царя и его слуг предрешена была вся дальнейшая судьба Чернышевского в ссылке. Уже с первых шагов своих жандармы показали, что боятся побега Чернышевского. Не довольствуясь обычным способом препровождения ссыльных, правительство отправило вслед за Чернышевским жандармского поручика Малышкина, который ехал от него на расстоянии двух часов времени, для того, чтобы в случае надобности оказать содействие везшим Чернышевского жандармам. И так шло до Ярославля (ibid., л. 224). Дальше правительство нападения на конвой, повидимому, не опасалось ввиду пустынности местности.

С дороги Чернышевский писал родным, что он здоров, весел и спокоен. Так оно и было. Но он все торопился поскорее доехать до места назначения. Верст за 300 от Тобольска он купил тарантас, чтобы заменить им казенную телегу, в которой его везли до тех пор. В Тобольск Чернышевский прибыл 5 июня в 6 часов вечера. В тобольской тюрьме ему пришлось пробыть около недели [2]. Здесь в это время было много политических ссыльных, главным образом поляков; из русских был С. Г. Стахевич, который виделся там с Чернышевским, хотя его по особому предписанию приказано было поместить отдельно от других в одной из камер секретного коридора. Правительство старалось изолировать Чернышевского и в пути [3].

---

[1] Дело Деп. Пол. № 230/ч. 26, л.л. 242—243. — Характерно, что сочинений Жорж Занд Чернышевскому взять с собою не разрешили.

[2] Рассказ С. А. Казаринова (в статье «Побег Бакунина из Сибири». «Истор. Вестник» 1907, № 12) о том, что с разрешения губернатора Деспот-Зеновича в честь Чернышевского был устроен в городе вечер, и что на этом вечере с него сняли кандалы, из которых потом местные дамы наделали себе колец и браслетов, представляет, повидимому, сплошную выдумку. После расправы правительства с местными чиновниками за послабления М. Михайлову в 1862 г. вряд ли они стали бы повторять ту же историю с Чернышевским. Наконец, насколько мы знаем, до Иркутска он следовал без кандалов.

[3] Л. Пантелеев («Из воспоминаний прошлого», книга вторая. Спб. 1908, стр. 123) со слов тобольского губернатора А. И. Деспот-Зеновича сообщает,

3. В каторжной тюрьме

В Иркутск Чернышевский прибыл 2 июля без оков, а 9-го отправлен в каторжные работы на Иркутский солеваренный завод закованным. Однако, согласно донесения иркутского жандармского штабс-капитана Арсеньева, Чернышевский вследствие предложения иркутского губернатора отправлен был 23 июля в Нерчинские рудники без оков [1].

Кокосов (цит. соч., стр. 301—302) передает рассказ одного из мелких служащих местной администрации Пахарукова, что, несмотря на неприятности, постигшие сибирских чиновников за поблажки М. Михайлову, горный начальник, приняв Чернышевского от жандармов, пригласил его тут же в присутствии сесть на стул и обещал избавить от оков (тогда еще были патриархальные времена). Чернышевский от расковки отказался, но просил дать ему отдельную камеру: всякий заключенный, преданный умственной работе, знает, каким благом является возможность уединиться от сутолоки общих камер. Просьба его была удовлетворена — быть может, еще и потому, что шла навстречу стремлению центральной администрации изолировать Чернышевского [2].

Сначала Чернышевского поселили в казачьем поселке Кадая, недалеко от границы Монголии, в небольшом домике, холодном и плохо проконапаченном, где он зимою сильно страдал от ревматизма. Но по усвоенной им с самого начала манере не поддаваться никаким лишениям и во всяком случае не подавать о них вида никому, ни близким, ни особенно врагам, Чернышевский в своих письмах к родным скрывал свои страдания, расхваливая свою жизнь, окружающую обстановку и пр. [3]. Летом 1866 года сюда к нему приезжала на свида-

---

что, когда Чернышевского привезли в Тобольск, то местный архиерей обратился к Деспот-Зеновичу за разрешением свидания с Чернышевским. «Я много слышал, — говорил архиерей, — что Чернышевский — ужасный безбожник, и хочу попытаться обратить его на путь веры». Не без труда удалось отговорить его от этой странной фантазии. — См. рассказ станционного смотрителя у В. Кокосова — «Рассказы о карийской каторге», стр. 298—391. — По всей вероятности, это одна из многочисленных легенд о Чернышевском, но она для него характерна.

[1] Дело № 230/ч. 26, л.л. 263 и 265.

[2] Здесь Чернышевский встретился с М. Михайловым, но, как мы рассказывали выше, встреча их была холодной. Михайлов был тогда очень болен и вскоре умер.

[3] Первое из напечатанных в книге «Чернышевский в Сибири» писем его датировано 19 апреля 1865 года, Кадая. Были и более ранние письма, но они не сохранились. Писем за первый период каторги вообще было очень мало; повидимому, вначале Чернышевскому позволяли писать только раз в три месяца; с лета 1871 года новый ген.-губ. Синельников разрешил

ние жена с 8-летним сыном Михаилом. По тем временам, при отсутствии железных дорог, такое путешествие было нелегким делом. Оно еще осложнилось придирками администрации, опасавшейся побега Чернышевского. Сопровождавший Ольгу Сократовну доктор Павлинов был задержан в Иркутске, а вместо него в провожатые ей дан был грубый жандармский офицер, с которым она 23 августа и прибыла в Кадаю. Свидания с женой в присутствии этого жандарма были так тяжелы для Чернышевского, что при всей любви к жене он уговорил ее через 4 дня уехать обратно. Больше ее к нему уже не пускали.

Вскоре после ее от'езда Чернышевского перевели на Александровский завод, в 30 верстах от Кадаи. Перевод этот, состоявшийся в конце сентября 1866 года, официально об'яснялся тем, что помещение понадобилось для солдат и было обращено поэтому в казарму. Повлияло ли на перевод Чернышевского каракозовское дело, во время рассмотрения которого обнаружилось, во-первых, влияние сочинений Чернышевского на подсудимых, а, во-вторых, их замысел освободить его из тюрьмы, трудно судить. Во всяком случае рассказ Рейнгардта о допросах Н. Г. местным исправником относительно романа «Что делать?» в связи с каракозовским делом мы подвергаем большому сомнению, несмотря на то, что внешне он производит впечатление сообщения, записанного со слов самого Н. Г. (цит. ст., стр. 466—467).

В свое время действительно ходил слух (нашедший отражение и в «Колоколе»), будто на основании конца романа «Что делать?» и совпадения дат предсказанного там Чернышевским восстания и покушения Каракозова (какового совпадения на самом деле не было), следователи решили, что Чернышевский причастен к этому делу, а Муравьев даже собирался якобы вытребовать его из Сибири, чему воспротивился Александр II. И этот слух представляется сомнительным. Но чтобы допрашивать Чернышевского поручили местному исправнику, как говорит Рейнгардт, прямо уже невероятно. Особенное же подозрение вызывает его сообщение, что Чернышевского в виде репрессии перевели из Александровского завода в Кадаю, тогда как в действительности дело обстояло наоборот.

Так или иначе Чернышевский был переведен на Александровский завод. Здесь он нашел довольно обширную группу политических ссыльных, из которых большинство были поляки, пострадавшие за участие в восстании.

ему писать каждый месяц (см. письмо от 16 августа 1871 года). Как сообщает Н. Русанов («Чернышевский в Сибири». «Рус. Богатство», 1910, № 3, стр. 174), первые письма его были уничтожены родными во время паники после покушения Каракозова на Александра II.

Как рассказывает П. Николаев [1], в тюрьме, где помещался Чернышевский на Александровском заводе (носила эта тюрьма название «полиция»), находились тогда: 6 каракозовцев (Н. П. Странден, Д. А. Юрасов, П. Д. Ермолов, М. Н. Загибалов, П. Ф. Николаев, В. Н. Шаганов). Н. А. Ишутина привезли через год и скоро увезли оттуда. Далее там находились П. Д. Баллод (по делу тайной типографии; судился с Д. И. Писаревым), С. Г. Стахевич, М. Д. Муравский, Степанов и капитан Жуков (по делу первой «Земли и Воли»), Васильев и Волков (по делу о распространении прокламаций в Петербурге), поручик Михайлов (по делу «Казанского заговора»), полковник Красовский (по делу пропаганды среди военных), поручик Крушевский (за сочувствие каракозовцам) и Маслов (за оскорбление величества). Позже прибыли: поручик Кувязев (за распространение прокламаций), фельд'егерь Климов (за сочувствие Каракозову) и три солдата (за оскорбление величества), а также несколько поляков, среди них прикованный к тачке «вечник» Арцимович. «Такова, — прибавляет Николаев, — была довольно смешанная компания, составлявшая постоянную аудиторию Н. Г. Чернышевского».

Одно время Чернышевский, Красовский и Маслов, по отбытии трети каторжного срока (так наз. «испытуемый срок») были выпущены в «вольную команду», но после побега Красовского, закончившегося его смертью, «вольная команда» была отменена, и Чернышевского снова посадили в тюрьму, но в другую, называвшуюся «конторой» [2]. Население ее состояло преимущественно из участников польского восстания, простолюдинов, рабочих и крестьян, среди которых много было жмудинов полукрестьян-полупанков. Но даже эта компания, настроенная католически и враждебно к интеллигенции, относилась к Чернышевскому с любовью и уважением [3].

Ужаснее всего было то, что одновременно с возвращением в тюрьму ему запрещено было писать сначала чаще одного раза в год, а затем — в полгода. Этот бесчеловечный приказ исходил из Петер-

[1] П. Ф. Николаев — «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге». М. 1906, стр. 4 сл.

[2] В вольной команде Чернышевский пробыл месяца два. Но репрессия эта была вызвана, повидимому, не побегом Красовского, а показаниями И. Розанова (см. ниже).

[3] Впрочем, для этих поляков, националистов, католиков и в лучшем случае буржуазных демократов, Чернышевский, вдобавок еще русский, был чужой. «От приведенных на Кару политических (поляков), — рассказывает Кокосов (цит. соч., ст. 309), — я узнал очень немногое: отзывы их были общие, неопределенные, и я вынес убеждение, что Чернышевский для них был посторонний, безразличный для них сосед по тюрьме».

бурга. Вероятно, помимо мелкого пакостничества, на которое так падки были жандармы и их «венценосный» глава, здесь действовал все тот же страх перед возможным побегом опасного писателя.

После каракозовского покушения, когда открылось, что каракозовцы собирались освободить Чернышевского, чтобы поставить его во главе революционной пропаганды, надзор за ним был усилен. Распоряжение об этом из Петербурга последовало в конце мая (см. Дело № 230, часть 26, листы 267—271). Но оказалось, что местная администрация по собственному почину уже приняла в этом отношении надлежащие меры. Приводим характерный рапорт начальника иркутского жандармского управления, полковника Дувинга, от 28 мая 1866 года на имя управляющего III Отделением.

«По докладу моему генерал-губернатору Восточной Сибири тотчас по получении телеграммы от Вашего превосходительства 26 числа насчет усугубления надзора за Чернышевским, я имел честь донести телеграммой Вашему превосходительству того же числа.

«Генерал-губернатор по получении известия о покушении на жизнь государя императора командировал тотчас же своего ад'ютанта Мерказина в Нерчинский завод осмотреть и подтвердить, чтобы преступники содержались более благонадежнее (sic!); в настоящее время вернулся Мерказин и донес генерал-губернатору, что он нашел, что Чернышевский имел свободный ход через комнаты соседнего преступника, и поэтому приказал заделать дверь, чтобы ход к Чернышевскому был бы только через караульню, и подтвердил за всеми, так и за ним смотреть строже; а теперь вновь генерал-губернатор распорядился еще подтвердить коменданту.

«Для более бдительного надзора генерал-губернатор предполагает на все лето командировать состоящего при нем генерала Ольденбурга в Сретенск, которому предлагает осматривать посты и наблюдать за исполнением исправности караулов. В полковых штабах за Байкалом, как слышно, предполагается усилить 25 казаками наличных людей и быть всегда готовой артиллерии, в случае особенной надобности со стороны политических преступников».

Даже артиллерии!!!

Мысль о возможном побеге Чернышевского не давала жандармам покоя. Замысел освободить Чернышевского они приписывали как русским, так и польским революционерам. Так, ген.-губ. Восточной Сибири М. Корсаков (тот самый, при котором в 1861 году бежал за границу Бакунин) в письме к шефу жандармов Шувалову от 18 октября 1868 г., сообщая о намерении Ольги Сократовны приехать на свидание к мужу, просит не разрешать ей этого ввиду «известного

вам желания (?) польской эмиграции освободить этого преступника», а ее приезд может де «послужить содействием к осуществлению» этого замысла. И 20 ноября Мезенцов приказал петербургскому обер-полицеймейстеру не разрешать Чернышевской выезд из Петербурга без особого разрешения, о чем у нее отобрана была подписка, а кстати забран и паспорт. При этом за нею была установлена слежка.

Камера, в которой помещался Чернышевский, делилась перегородкой на две части; в большей из них вдоль всей стены были устроены низкие нары вроде помоста, на которых стояли кровать и небольшой столик. На этом помосте Чернышевский обыкновенно и сидел, там же и работал. Хотя у двери его постоянно дежурил казак, но вход к нему для ссыльных из других камер был свободный.

По рассказу В. Шаганова (цит. бр., стр. 31), «скверна эта тюрьма для Чернышевского была тем, что при ней был крайне маленький двор и, конечно, по такому количеству народа довольно зловонный, а более гулять было негде, как только на этом дворике. Чернышевского не посылали на работы, куда иногда посылали нас и поляков летом, — вероятно, существовало предписание не посылать Чернышевского. Но эти преимущества (?) только лишали его более чистого воздуха и возможности движения, прогулки. Когда Чернышевский — с год, должно быть, — жил в заводе на квартире, то он любил гулять часто и подолгу забирался на высокие горы, окружающие завод, купался и поэтому был свежее и здоровее. В тюрьме же, в лишенном достаточного количества света помещении, ему было довольно холодно, и он привык постоянно носить длинное пальто на мерлушечьем меху, которое надевал прямо на сорочку, и сидел всегда в легкой баранковой шапке, потому что зимой у него со всех сторон дуло. Да и в самом деле как было не дуть между четырьмя крест-на-крест дверями, между которыми ему устроили помещение?».

Образ жизни Чернышевского в тюрьме описан П. Николаевым (цит. бр., стр. 18—19). «Вставал он около 12 или часу, пил чай, вскоре обедал, опять пил чай и все это время читал; в сумерки, а иногда и перед обедом прохаживался по дворику и во время прогулки, если никого не было, распевал какие-то греческие гекзаметры. Пел он их очень диким голосом и чрезвычайно смущался, если кто-нибудь из нас заставал его за этим занятием... После прогулки он садился писать или шел в нашу комнату, просиживал до 11—12 часов и уходил опять к себе и писал до свету, когда ложился в постель. Так прожил Николай Гаврилович не только те пять лет, когда я знал его, но и все время своей ссылки, почти всю свою жизнь. Ни один посторонний наблюдатель, видя такое ровное и тихое существование, не

мог бы угадать всей глубины любви к людям, всей той душевной чистоты и нежности, всей той бури кипучих страстей, какие таились в этой сдержанной, повидимому, хладнокровной и покойной, но в сущности кипучей мыслями и чувствами, полной нравственной энергии натуре».

На первый взгляд казалось, что Чернышевский менее всех других чувствует тяжесть ссылки. Но вряд ли это на самом деле было так. Насильственно вырванный из привычной обстановки, лишенный семьи, которую он горячо любил, а главное — потерявши возможность продолжать свою просветительную деятельность и борьбу за свободу родного народа, он, должно быть, глубоко страдал. Тем более, что он не мог не понимать, что долголетняя ссылка угрожает ему умственной смертью. Но он принадлежал к тем людям, которые предпочитают страдать в одиночку и не любят вызывать в других чувства соболезнования и сожаления. Эта непреклонная гордость Прометея осталась в нем до конца жизни. Уже в Саратове, по возвращении из ссылки, когда Чернышевский, встретившись с супругами Короленко, поцеловал у жены писателя руку, а она ответила поцелуем в лоб, он отстранился со словами: «Нет, не надо! Сожаление... не надо этого!» [1].

Ни с кем из своих товарищей по заключению Чернышевский особенно не сближался, хотя жил со всеми мирно и пользовался громадным авторитетом. Он устранялся от обычных тюремных историй, споров и недоразумений, избегал вести полемику по политическим вопросам и вообще старался жить замкнутой духовной жизнью, не разменяваться на мелочи и сохранить свои умственные силы и высокие идейные интересы [2]. Окружающие преклонялись перед ним, и даже ссыльные поляки, по большей части люди простого происхождения и грубоватые, глубоко уважали Чернышевского, стараясь обставить его как можно лучше и не мешать его работе.

Молодые каторжане, благоговевшие перед своим великим учителем, с нетерпением ждали его появления в тюрьме, так как до того они с ним знакомы не были. Каково было первое впечатление при встрече молодежи со своим идейным вождем, мы узнаем из рассказа Николаева (цит. бр., стр. 6—8).

«И вот он вошел. Мы видели его карточки, знали его наружность, слыхали очень много рассказов — и все-таки были разочарованы... Увидели самое обыкновенное лицо, бледное, с тонкими чертами, с полуслепыми серыми глазами, в золотых очках, с жиденькой белоку-

[1] Короленко — «Отошедшие». Спб. 1908, стр. 76.

[2] Ср. «Воспоминания о Чернышевском» («Рус. Богатство» 1904, № 11, стр. 53) Вл. Короленко.

рой бородкой, с длинными, несколько спутанными волосами. Часто по нашим погостам попадаются дьячки с такою наружностью; как теперь, вижу его — в своем неизменном халатике на белом барашке, с которым он расставался только в сильные жары; в мягких валенках, в маленькой черной барашковой шапке, которую редко снимал даже тогда, когда писал или обедал; с своим визгливым голосом, с нервной пошатывающейся походкой, с неуклюжими размахивающими руками Николай Гаврилович отнюдь не походил на героя.

«Мы были разочарованы и успокоены. Как только он вошел, так и легко стало. Если бы мы могли тогда вслух выразить наше впечатление, то наверное оно вылилось бы в восклицание: «да какой же он простой!». Простой — именно это и было настоящее слово» [1].

И дальше Николаев прибавляет: «Н. Г. обладал замечательным умением говорить с простыми людьми, находя надлежащие, идущие прямо к сердцу и уму таких людей, слова».

Естественно, что молодежь обращалась к своему более пожилому и знающему товарищу за раз'яснениями по различным интересовавшим ее вопросам, и учитель со свойственной ему прозрачностью и глубиной мысли терпеливо разрешал недоумения своих последователей. Своей манерой логических рассуждений он производил на слушателей впечатление профессора.

Но не только в умственном отношении Чернышевский влиял на окружавших его молодых товарищей. Глядя на его достойное поведение, ровность и выдержку, на презрительное отношение ко всем страданиям, которым заключенных подвергала злоба врагов, на любовь его к простым людям, преданность народным интересам, высокие нравственные запросы, молодые каторжане сами невольно подтягивались, испытывая на себе моральное влияние этого выдающегося человека, умевшего с таким достоинством нести свой тяжелый крест. В этом отношении чрезвычайно характерна выдержка из письма М. Д. Муравского [2], приводимая Е. Брешковской: «Там (на каторге) я видел Николая Гавриловича Чернышевского, слышал его, говорил с ним, разыгрывал вместе с другими пьесы его сочинения, и, только глядя на спокойную и ясную твердость его характера, я понял, до какой большой высоты способна подняться душа человека» [3].

Не менее характерен рассказ нечаевца П. Г. Успенского, передаваемый В. Кокосовым (цит. соч., стр. 305—308).

---

[1] Эту же черту отмечает в Чернышевском и Шаганов (цит. бр., стр. 10).

[2] Впоследствии по процессу 193-х снова угодившего на каторгу и там погибшего («дед», «отец Митрофан»).

[3] Е. Брешковская — «Из моих воспоминаний». Спб. 1906, стр. 30.

— Что это за человек, Чернышевский, что это за человек, если бы вы знали! Свое заключение он переносил молча, с какою-то застенчивостью и стыдливостью... Наверное тосковал от безделья и тупого тюремного житья и Чернышевский, пожалуй, и больше нас всех, вместе взятых, но у него всегда выходило на людях как-то так, что он был неизменно покоен, ровен в обращении, деликатен до застенчивости, а подчас так весел, что поднимал своей веселостью общее настроение. Я не всегда мог скрыть свою душевную муку и часто ходил по тюремному двору, не видя, пожалуй, под ногами дороги, по которой ходил машинально. Он раз подошел ко мне, с неизменными очками на носу, с волосами, закинутыми назад; поразителен у него был широкий, могучий лоб, от ширины которого лицо его казалось суженным к подбородку, с клинообразной бородкой.

— Гуляете?

— Плохо гуляется, Николай Гаврилович; гулять плохо, не гулять еще хуже...

— Помните пословицу, Петр Гаврилович, «терпи, казак, атаманом будешь»? Не сейчас, конечно, а в будущем, далеком будущем; не мы, так дети наши или внуки... Атаманами будут не всегда генералы с регалиями, а явятся атаманы великого ума, убеждения, непреклонного желания в другую сторону, поверх всей настоящей жизни. Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьей крыс пугал в подземельи: человек был, не кисель с размазней... Раскольников ли не душили, не преследовали! А они себе растут и растут вширь и вглубь... Верят и действуют, вот в чем суть их жизни, верят и не опускаются... Натурально, за такими сила и будущее, а откуда они? Из простого, неграмотного народа, — в с я с и л а в н а р о д е (курсив мой)... Мы с вами малюсенькие, нам и посидеть не грешно; посидим, посидим и выпустят, — дело верное!

О причинах своей ссылки он говорить не любил. «Вероятно, они там знают, за что сослали, а я не знаю», — говаривал он. Баллоду на вопрос, помнит ли он содержание об'явленного ему приговора, он ответил: «Читали что-то, а что именно, решительно не помню». Тактику конспирации он продолжал и в тюрьме. Никто из товарищей ничего не узнал от него ни об отношениях его к различным революционным группам и деятелям, ни о составленном им воззвании к крестьянам, ни о его планах и делах. Им оставалось только догадываться, при чем зачастую не весьма удачно, как мы видели это на примере Стахевича.

Чернышевский нес свой крест гордо и спокойно. Никогда товарищи не видали его унывающим или печальным, и он не любил также,

когда другие хныкали и жаловались на свою судьбу. Его можно было бы счесть даже человеком холодным. Но этот суровый и холодный мыслитель обладал нежным и чутким сердцем. Короленко со слов поляка Рыхлинского, жившего вместе с Чернышевским в тюрьме, рассказывает, что только один раз товарищи Чернышевского видели, как он заплакал. Заключенные сидели на дворе, когда принесли письма и журналы; Чернышевский надел очки, развернул книгу, перелистал ее, но вдруг уронил ее, прослезился и быстро ушел к себе в камеру. Это было, вероятно, стихотворение Некрасова в честь Муравьева-Вешателя, напечатанное в апрельской книжке «Современника» за 1866 год.

О Добролюбове Чернышевский вообще не мог вспоминать без слез. Читая товарищам по заключению дневник Левицкого, в котором он старался изобразить Добролюбова, Чернышевский вдруг прослезился и убежал к себе, желая остаться наедине со своим горем. Николаев, из воспоминаний которого мы заимствовали этот факт, рассказывает еще, что в другой раз Чернышевский заплакал, когда узнал в Вилюйске о попытке Лопатина освободить его: он жалел о безрезультатно гибнувших из-за него молодых силах.

4. Умственная работа на каторге

На каторге Чернышевский оставался в сущности столь же одиноким, как и на воле. Здесь играли роль и свойства его характера, и среда, в которую он попал и которая в умственном отношении стояла намного ниже его. Но он надеялся выйти скоро на свободу, а там ему мерещилась и общая жизнь с семьей, в особенности с горячо любимой женой, которой принадлежали все его мысли и в далекой каторжной тюрьме, и возможность возобновления литературной деятельности, без которой жизнь не имела для него никакой цены. Эти надежды, с одной стороны, и способность к неутомимой умственной работе, с другой, скрашивали для него унылые и монотонные тюремные дни, придавали ему бодрости и помогали терпеливо сносить выпавшие на его долю испытания.

Но делать ту работу, которая была ему по душе, Чернышевский в тюрьме не мог. Прежде всего нехватало пособий. По словам Николаева, он часто с горечью жаловался на то, что по недостатку материалов он не в состоянии взяться за то, что ему хочется. Книг было совсем мало. Особенно привлекали его исторические исследования. У него были любимые темы, о которых он часто говорил и на которые хотел бы писать. Это были эпохи возрождения, реформации

и первых времен христианства. К ним нужно еще прибавить, как любимую тему Н. Г., изучение начатков конституционализма на континенте Европы [1]. Но для таких работ требовались серьезные книги и пособия; в тогдашней же тюрьме их не могло быть. Пробовал он, видимо, снова подзаняться политической экономией. Об этом можно судить по многочисленным примечаниям и исправлениям, которые он внес в имевшийся у него экземпляр изданного А. Пыпиным сделанного Н. Г. перевода «Основ политической экономии» Милля (разумеется, книга вышла без имени опального автора) [2]. Но и эту работу пришлось забросить за отсутствием стимула.

Стимула же не было потому, что отсутствовала широкая аудитория, к которой Чернышевский привык, в которой он пробуждал новые мысли и которая претворяла эти мысли в дело. Здесь, на каторге, он мог бы писать только для узкого круга людей, подобно ему также вырванных из жизни; но ведь этим людям он мог поверять свои мысли в устной беседе, что он и делал, хотя не мог не сознавать, что все это — люди более или менее конченые, и что во всяком случае им еще очень долго не придется вернуться к живой действительности. Но обойтись без писания, без изложения обуревавших его мыслей на бумаге этот прирожденный литератор не мог. Он писал, много писал, но написанным мало дорожил, ибо оно не могло выйти за пределы тюремной ограды, за проклятые «пали» сибирских острогов, отгородившие его от жизни.

И вот Чернышевский занялся вплотную беллетристикой, этим стариковским делом, как он говаривал [3]. С одной стороны, ничем другим в тюрьме и нельзя было заниматься, а с другой — в глубине на-

---

[1] П. Николаев, цит. бр., стр. 47—48.

[2] В. Кокосов (цит. соч., стр. 302 сл.) рассказывает, что когда в начале 1875 года Ишутин и П. Успенский были перевезены из Александровского завода на Кару, то Успенский показал ему книгу Милля с надписью: «П. Г. Успенскому от Чернышевского». Перелистывая книгу, он заметил, что она была без переплета, на полях исписана карандашом, в некоторых местах чернилами, с зачеркнутыми словами текста, с надписями над ними во всю печатную строчку, — эти надписи попадались положительно по всей книге... Через недолгое время книга была отобрана тюремной администрацией. Успенский очень волновался по этому поводу и говорил, что дорожит этой книгой «после жены и ребенка больше всего на свете». Интересно было бы выяснить, сохранился ли этот экземпляр.

[3] Мы не ссылаемся в дальнейшем на статью Э. Пекарского — «Беллетристика Чернышевского» («Рус. Богатство» 1900, № 10) ввиду того, что вся статья, за исключением первых 1½ страниц, представляет перепечатку из четвертой главы рукописи В. Шаганова, впоследствии изданной тем же Пекарским (стр. 11—21 и 23—25 брошюры).

туры Чернышевского, как мы выше указывали, заложено было стремление к художественному творчеству. По словам наблюдавшего его в тюрьме П. Николаева, речь Чернышевского представляла «блестящий фейерверк идей и образов. Художественная жилка несомненно существовала у автора «Что делать?»... Он почти никогда не аргументировал для доказательства тех положений, которые хотел высказать, а иллюстрировал их» [1].

Беллетристические произведения Чернышевского, написанные им на каторге и отчасти продолжавшиеся в Вилюйске, преследовали двоякую задачу: дать репертуар для спектаклей, устраивавшихся политическими заключенными в тюрьме, и подвести известные итоги прежней общественной деятельности самого автора и близких к нему людей. Таким образом, наряду с несколькими пьесками аллегорического характера, частью вошедшими во вторую часть 10-го тома его сочинений, в тюрьме Чернышевским написана была большая трилогия отчасти автобиографического характера, состоявшая из трех романов: «Пролог пролога», «Дневник Левицкого» и «Пролог» [2]. Задуманы и начаты они были Чернышевским еще в Кадае, но окончены лишь в 1868 году в Александровском заводе. Из них «Пролог пролога» был напечатан в 70-х годах за границей, а в X томе полного собрания сочинений напечатаны «Пролог пролога» [3] и «Дневник Левицкого» (по-

[1] Впрочем, тот же Николаев прибавляет (стр. 38): «У него не было чувства художественной меры, архитектура его больших произведений была невозможная и, что еще хуже для художника, у него не было знания реальной жизни во всей ее широте. Круг его изучений был громадный, но в него не входило изучение живых людей разных типов, разных общественных наслоений, разных слоев».

[2] Такие заглавия и такой порядок отдельных частей трилогии указывает В. Шаганов (цит. бр., стр. 4), при чем первую часть он называет «Пролог к прологу». Николаев же (цит. бр., стр. 41 сл.) говорит, что трилогия состояла из «Введения к прологу пролога», «Пролога пролога», и «Рассказов из Белого Дома» (а не зала). Из этой трилогии, по его словам, была написана и уцелела только 2-я часть — «Пролог пролога». 1-я часть «Введение к прологу пролога» не была написана, а только рассказана сокамерникам, а 3-ю часть — «Рассказы из Белого Дома» или «Академия Нинoны» — Чернышевский начинал несколько раз, писал для нее отдельные части и в конце концов в Вилюйске сжег это. Судя по изложению 1-й части Николаевым, она совпадает с повестью «Старое время» (о ней ниже). Мы принимаем деление Шаганова, производящее впечатление большей точности, хотя нужно заметить, что изложение «Пролога пролога», даваемое Николаевым (стр. 42—43), больше совпадает с печатным текстом, чем изложение Шаганова (стр. 19—20).

[3] В обоих случаях под заглавием «Пролог». 3-я часть, которая, по словам В. Шаганова, собственно и носила это заглавие, повидимому, пропала.

следний, очевидно, в незаконченном виде). В Александровском заводе Чернышевский начал еще один роман, который он продолжал в Вилюйске и сжег там в ожидании обыска. Этот роман должен был составить продолжение вышеупомянутой трилогии; озаглавлен он был «Рассказы из Белого Зала».

«Пролог Пролога» был написан прямо набело, как и «Что делать?». «Так вообще писал Чернышевский свои произведения, как серьезные публицистические, так и беллетристические; фраза за фразой, страница за страницей, без помарок, ровным и четким почерком, текли непрерывно, как река по ровному руслу» (Николаев, стр. 38).

Но он не только писал свои произведения прямо набело, но и отличался способностью импровизировать их без записи.

Свои произведения Чернышевский читал товарищам по заключению, собиравшимся тоскливыми зимними вечерами в общей камере. При этом он иногда не мог удержаться от своей любимой привычки помистифицировать публику. Он приходил с толстой тетрадью, садился и начинал читать свои повести. Чтение это продолжалось иногда 2—3 вечера подряд. Один из таких рассказов представлял целую повесть с очень сложным действием и с множеством отступлений научного свойства. Читал Чернышевский неторопливо, но спокойно и плавно. Каково же было удивление слушателей, когда один из них, заглянув через плечо Чернышевского, увидел, что он самым серьезным образом смотрит в чистую тетрадь и переворачивает незаполненные страницы!

Для развлечения от подавляющей тюремной скуки заключенные начали устраивать спектакли: раз поставили даже оперу «Лиза, любящая всех» несколько рискованного содержания, приведшую в восторг нетребовательную публику, при чем Чернышевский хохотал громче всех. Для этой-то тюремной сцены Николай Гаврилович и написал несколько пьесок. Новых черт для характеристики умственной физиономии Чернышевского они не дают. Ненависть к реакции, презрение к либералам, скептическое и насмешливое отношение ко всем без исключения — таковы главные свойства этих мелких вещиц, не имеющих особенного литературного значения[1].

Первою из этих пьес была аллегорическая сценка. Отставной офицер, изображающий самодержавие, держит взаперти свою жену (Россию), всячески ее тиранит и оскорбляет. Являются два либерала-литератора (по передаче Николаева, поэт и юрист). Узнав о тиран-

[1] Содержание их мы приводим по В. Шаганову (стр. 11 сл.) и по десятому тому сочинений.

стве мужа, они решаются освободить жену от его насилий. Но когда они приступают к об'яснению с офицером, то от свирепого натиска с его стороны теряют всякую храбрость и даже забираются под стол. Офицер, уже поднявший арапник, меняет гнев на милость и приказывает подать водки (конституцию), за что один из либералов даже сочиняет в его честь хвалебную оду. Напившись, офицер снова собирается побить жену. Явившийся на зов его слуга (народ) указывает либералам на арапник, приглашая их пустить его в ход против тирана, но те не отваживаются на такой решительный шаг. Тогда слуга сам берет арапник и выгоняет их всех, офицера вместе с либералами.

Этой пьесы в «Собрании сочинений» Чернышевского нет [1].

Вторая пьеска «Мастерица варит кашу» напечатана в первой части десятого тома сочинений Чернышевского (стр. 256—300). Здесь царизм выведен в виде деспотической барыни Карелиной, незаконно владеющей имением своей горничной, буржуазия — в лице ее управляющего Городищева, угнетенные классы, народ — в лице горничной Нади, а революционная интеллигенция, возбуждающая народ к протесту, — в лице Клементьева. Пьеса, полная политических намеков, заканчивается торжеством Нади над своей барыней, которая просит у победительницы пенсии.

Третья пьеска «Другим нельзя», драма без развязки, также напечатана (там же, стр. 137—196), но без конца — не знаем, потому ли, что конец рукописи пропал, или потому, что издатели не решились его опубликовать. Здесь снова затрагивается тема, отчасти уже использованная в «Что делать?» и, очевидно, сильно интересовавшая Чернышевского (возможно, в результате его собственного семейного опыта). Сущность пьески заключается в том, что одна женщина одинаково сильно любит двух мужчин, и после целого ряда приключений дело заканчивается браком втроем. Заглавием автор как будто хотел показать, что это — случай исключительный, но по всему видно, что здесь Чернышевский в свойственной ему парадоксальной форме просто высказывается против чувства ревности, которое он считал недостойным мыслящего человека.

Содержание пьесы заключается в следующем. Молодой человек собирается жениться на симпатичной девушке. Об'явленный женихом, он уезжает, чтобы ликвидировать свои дела, а затем поселиться с женой и ее отцом в их городе. Но, уехав, он как в воду проваливается;

[1] По сообщению Шаганова, М. Д. Муравский взял списки всех комедий Чернышевского, но где они, неизвестно.

о нем ни слуху, ни духу. Воспользовавшись этим, ее отец, под влиянием знакомого кляузника, собирается выдать ее за нелюбимого ею богатого помещика. С этой целью он сочиняет от имени пропавшего жениха письмо, в котором тот отказывается от невесты. Но тут на сцене появляется старый друг бывшего жениха и девушки, который, чтобы спасти ее от насильственного брака с помещиком, увозит ее и женится на ней. Проходит четыре года спокойной совместной жизни, но героиня все еще в глубине души любит первого жениха.

На этом печатный текст пьесы обрывается. Но у нее был конец, который Шаганов излагает так. Вдруг является настоящий жених. Он, оказывается, долго лежал больной на станции, где-то в глухой деревушке, писал множество писем, не получая ответа, и вдруг неожиданно появляется. Старая любовь вспыхивает в героине; она любит первого жениха сильнее мужа. Муж любит их обоих. В результате он великодушно уступает первому свою жену, и они втроем поселяются вместе.

По мнению Чернышевского, поясняет Шаганов, любовь и все связанные с нею страдания для мыслящего человека — пустяки; всякий, кто уважает в себе нравственную, а не животную сторону, не должен лезть на стену, а относиться к этому вопросу философски и в нужных случаях устраняться, особенно если у него есть какие-либо общественные интересы [1].

Но главными произведениями Чернышевского за рассматриваемый период были не эти комедийные безделушки, а цикл политических романов, которые должны были составить упомянутую трилогию. Вне этого цикла Шаганов (стр. 15—18) излагает содержание рассказа без названия («Старина»?). Повесть эта — явно автобиографического характера и изображает женитьбу Чернышевского [2]. Она непосредст-

[1] Что Чернышевский связывал эту пьесу с своими личными переживаниями, видно из письма его к жене от 12 января 1871 года, пересланного с оказией, т. е. помимо начальства. Вместе с этим письмом он прислал и несколько своих беллетристических произведений в надежде, что часть из них будет напечатана. И характерно, что специально он упоминает только об этой пьеске: «Из того, что посылаю, расскажу тебе о «драме без развязки», — так назвал я два с половиною действия четырехактной драмы, которая в полном своем составе называется «Другим нельзя». Остальные полтора действия пришлю после. Они так безнравственны, что и подумать страшно: муж учит жену всему дурному: «Другим нельзя, а тебе, Леночка, можно, потому что ты — милая девица» («Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 25). Прислал ли он Ольге Сократовне и последние полтора действия, неизвестно.

[2] Это якобы самостоятельное произведение, рисующее учительский период жизни Чернышевского в Саратове, его женитьбу, и должно было

венно примыкает к трилогии: «Пролог пролога», «Дневник Левицкого» и «Пролог» (задуманной Чернышевским еще в Кадае в 1865 г., но законченной лишь в 1868 году в Александровском заводе). Видимо, план их в процессе писания сильно изменялся, ибо Шаганов (стр. 19—20) излагает их содержание далеко не в том виде, какой известен нам из печатного текста [1].

По Николаеву (стр. 45), третью часть трилогии составляли «Рассказы из Белого Дома» или «Академия Нинины» (якобы не написанная). По словам Шаганова, это было самостоятельное произведение — последний из задуманных Чернышевским романов, начатый только в 1869—1870 гг. на Александровском заводе. Действие этого романа открывается с 1862—1863 годов. С воцарением полной реакции в России одно богатое русское семейство Илатонцевых, у которых жил в качестве гувернера Левицкий, удаляется за границу и поселяется в Сицилии около Катании, наняв дворец какого-то аристократа. Из этой резиденции означенное семейство совершает ряд поездок в столицы и университетские города Европы, для того чтобы перезнакомиться с выдающимися учеными и политическими деятелями разных партий с целью сближать их между собою и по возможности помогать их делу. Семейство поджидает людей из России, но, предвидя возможность интернациональных выступлений, старается сближаться и с европейскими деятелями. Роман начинался и должен был продолжаться рядом рассказов о лицах и событиях, в которых заключается главный интерес новейшей Европы. Здесь должны были появиться Гарибальди, Флу-

---

составить первую часть трилогии «Введение к Прологу пролога», если верить изложению Николаева (стр. 45). Напротив, по изложению Шаганова, основное содержание этой повести повторяется в первой части «Пролога пролога» (стр. 19).

[1] «Вообще следует заметить, — пишет Николаев (стр. 44), — что «Пролог к прологу» появился в печати далеко не в том виде, как он выходил у автора в процессе его творчества; он гораздо короче, многие ярко нарисованные фигуры отсутствуют, да и вся картина общественной жизни того любопытного времени вышла куда бледнее, чем в первой редакции. Чернышевский был публицист чистейшей воды и потому при переделке написанного сразу только портил свое произведение, если и не художественное, то всегда интересное. Так, кажется случилось и с его «Рассказами из Белого Зала», которые он, говорят, восстановлял или, лучше сказать, сызнова писал в Саратове под заглавием «Вечера у княгини Белозерской-Белосельской». Оторванные от основной темы выработки основ новой «Утопии», эти рассказы, по словам лиц, читавших их, производят просто комическое впечатление». Повесть «Вечера у княгини Старобельской» напечатана во второй части десятого тома сочинений Чернышевского, стр. 241—321.

ранс и русские деятели. По зимним вечерам в одном из зал дворца собиралась публика, велись беседы на различные темы, читались доклады и пр. Ряд этих рассказов потому и назывался «Рассказами из Белого Зала». И Шаганов замечает: «Поистине великий должен был выйти роман — евангелие и библия современного человека. И этот роман остался неоконченным, вероятно, потому, что он погибал два раза: раз — большая часть при от'езде Чернышевского на Вилюй и в другой раз — на Вилюе. После его второго истребления Чернышевский и не упоминал о его продолжении. Какая энергия не остановится перед перспективой писать и писать, чтобы все это неминуемо погибало и погибало?» [1].

И Шаганов (стр. 24) прибавляет: «Если между этим романом и концом романа «Пролог» вставите (для хронологии) роман «Что делать?», то вот это и будет цикл социальных романов, написанных Чернышевским. Николай Гаврилович говорил в Александровском заводе, что его еще часто прельщала мысль написать нечто вроде романа о том, как группа русских удаляется на один из необитаемых островов Тихого океана (кажется из архипелага Руруту, — прибавляет Шаганов) с целью испробовать условия совершенно новой социальной жизни и возрастить такое поколение, которое бы уже твердой ногой встало в этой новой жизни. Напоследок он предполагал это ввести, как отдельный эпизод, в Рассказы из Белого Зала» [2].

К сожалению, кроме «Пролога» из этой трилогии до нас не дошло ничего. Мало есть надежды, чтобы пропавшие части рукописи когда-либо отыскались.

---

[1] По словам П. Николаева (стр. 28), скептицизм, овладевший Чернышевским в Сибири, сказался в развязке этого романа. «Скептическое настроение, очевидно, более и более росло и углублялось у Н. Г., и в особенно рельефной форме оно вылилось в третьей части его романа «Рассказы из Белого Зала». Там вожди и деятели всемирного переворота окончательно разочаровываются в его возможности и уезжают на Маркизские острова основать там в поучение человечеству новую утопию». Вспомним, что с такою именно целью уехал на Маркизские острова Бахметев, послуживший в числе прочих прототипом для фигуры Рахметова в «Что делать?» (см. выше).

[2] Николаев же (стр. 47) определенно называет этот эпизод последней частью третьей части трилогии. «Дело кончается тем, что компания, разбитая и разочарованная в попытках общественной деятельности, решается устроить, по крайней мере, свое личное счастье и для этого уезжает куда-то на Маркизские острова, где и основывает свою коммуну на новых началах, выработанных Академией Нинoны». Ср. предыдущее примечание.

5. Неоправдавшаяся мечта

Приговор в окончательной форме был об'явлен Чернышевскому 5 мая 1864 года. С этого дня и должен был исчисляться срок отбывания им наказания. Сам Чернышевский считал это время с момента прибытия на место, т. е. с 10 августа 1864 года. И по закону, и по обычаю каторга полностью не отбывалась. 10 месяцев считалось за год, при чем по отбытии сроков «испытуемости» и «исправляемости» каторжане выпускались в «вольную команду», где они отбывали последние годы каторги, а затем перечислялись в поселенцы на 10 лет, а в случае применения к ним какого-либо манифеста даже на 4 года, после чего приписывались к какому-либо местному крестьянскому или мещанскому обществу, опять-таки на 10 лет (или на 4 года), по истечении какового срока получали право вернуться в Россию.

Таков был нормальный порядок. Чернышевский думал, что он будет применен и к нему. По его расчету срок его каторги кончался в августе 1870 года. На самом деле согласно манифеста 28 октября 1866 года и высочайшего повеления 17 мая 1867 года о даровании милости политическим преступникам, осужденным до 1 января 1866 года, он подлежал освобождению от каторжных работ уже в 1868 году, что впоследствии принуждена была признать и сама администрация. Повидимому, какие-то слухи об этом манифесте дошли и до Чернышевского, как видно из письма его к жене от 18 апреля 1868 года, где он говорит: «К следующей весне я буду жить уже ближе к России: зимою или в начале весны можно мне будет переехать на ту сторону Байкала... Вероятно, можно будет жить в самом Иркутске или даже в Красноярске». А когда эта надежда не оправдалась, он все же не сомневался в том, что и без манифеста ему полагается выйти на волю летом 1870 года, и 7 июля 1869 года он пишет жене: «В следующем июле придет мне время переместиться отсюда поближе к России (по правилам, по которым считаются сроки, один год из семи выбрасывается)». И он выражает надежду на совместную жизнь с семьей.

Вместе с тем он расчитывает на возможность возвращения к литературной работе. Понимая, что в области публицистики ему выступать скоро не придется, Чернышевский возлагает большие надежды на свои беллетристические произведения, написанные им в заключении. «Здесь, — говорит он в письме от 18 апреля 1868 г., — от нечего делать выучился я писать занимательно для массы: мои сочинения будут иметь денежный успех». Этот материальный успех интересовал его со стороны благополучия своей горячо любимой жены. Он страдал при

мысли о том, что она принуждена прибегать к помощи посторонних людей, и с нетерпением ждал того момента, когда сумеет по-прежнему содержать ее своим трудом. В твердой уверенности, что написанные им беллетристические произведения будут иметь успех в публике, он обратился весною 1870 года через Пыпина с письмом к издателю «Вестника Европы» М. С. Стасюлевичу с предложением помещать в названном журнале отрывки из «Академии Лазурных Гор». Он был настолько уверен в том, что Стасюлевич примет его предложение, что даже просил его выдать его жене некоторый аванс под будущие присылки. Но он не знал своего адресата, бледно-розового либерала, враждебно относившегося ко всякому радикализму, особенно же к социализму и его представителям, в том числе и к Чернышевскому. Работавший в его журнале Пыпин лучше его знал и даже не счел нужным передать ему письмо Чернышевского [1].

Но вот приходит и проходит 10 августа 1870 года, — день, который и Чернышевский, и местная администрация каторги считали по закону предельным сроком его пребывания в тюрьме. Местное начальство заблаговременно запросило Иркутск, т. е. канцелярию генерал-губернатора Восточной Сибири, но ответа оттуда не приходило. Ясно было, что к Н. Г. высшая власть решила не применять обычных способов исчисления каторжного срока. Но что в июле 1871 года, когда истекал полностью весь назначенный ему судом и царем срок, он выйдет, наконец, из тюрьмы, в этом не сомневался ни он, ни его непосредственное начальство. Чернышевский еще не догадывался, какую подлость собирается учинить по отношению к нему царское правительство, но он начал уже тревожиться. Об этом свидетельствует письмо его к жене от 12 января 1871 года, пересланное с оказией, т. е. тайком от администрации. Отметив наводящее на подозрение поведение центрального правительства, Чернышевский в то же время довольно уверенно выражает еще надежду на выход из тюрьмы летом этого года, но на всякий случай просит жену навести справки у сведущих людей в Петербурге и разузнать там, в чем дело. И как бы предчувствуя, что испытания его далеко еще не кончились, как бы начиная догадываться об ужасной истине, он ставит перед собою вопрос о том, что привело его к гибели, и гордо заявляет, что он ни о чем не жалеет.

«Что касается лично до меня, — пишет он, — я сам не умею разобрать, согласился ли б я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул тебя на целые девять лет в огорчения и ли-

[1] Напечатано в I вып. «Чернышевский в Сибири», стр. 18—20.

шения. За тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других, об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».

Дальше Чернышевский высказывает уверенность, что торжество Германии, воевавшей тогда с Францией, рано или поздно приведет к столкновению России с Западной Европой, в котором наша страна будет разбита. Но это поражение царизма поведет к революции. «Бедный русский народ, тяжело придется ему в этом столкновении. Но результат будет полезен для него. И тогда... понадобится ему правда. Я уже не молод, мой друг; но помни: наша жизнь с тобою еще впереди... И тогда мы с тобою увидим, жалеть ли нам о том, что вот столько лет пришлось мне от нечего делать все учиться, все думать. Мы увидим: это пригодилось для нашей родины» [1].

Т. обр. Чернышевский не только считал революцию в России близкой и мысленно обдумывал ее шансы и условия в одиночестве тюремной камеры, но и готовился сыграть в ней видную роль. Увы, надежда эта была разбита самым жестоким образом. Война с Германией и разгром царизма пришли, но только через полвека с лишним...

Но вот прошло и 10 июля, и 10 августа, и тон писем Чернышевского становится все менее уверенным. В последнем письме из Александровского завода, датированном 14 ноября 1871 года, он уже выражается уклончиво: «вероятно, не будут же держать меня здесь долго; по всей вероятности, через несколько времени буду писать тебе откуда-нибудь поближе». Но действительность оказалась хуже, чем это мог подозревать Чернышевский в минуты величайшего пессимизма.

Правительство со страхом видело, что момент выхода Чернышевского на свободу неуклонно приближается. Для него не было секретом огромное влияние опального писателя на революционные круги, и оно опасалось, чтобы революционеры не устроили ему побега и не поставили его во главе движения, которое от присоединения такого авторитета чрезвычайно усилилось бы. Процесс каракозовцев показал правительству, что революционная молодежь мечтает об организации побега Чернышевского и собирается поставить его во главе журнала, который стал бы руководящим органом революции.

Мы уже знаем, с каким благоговением организационный глава каракозовцев Ишутин относился к Чернышевскому. Точно так же относился к нему и идейный вождь этой группы, Худяков. Вот что Ху-

[1] «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 23—24.

дяков показывал на следствии: «В голове моей было предположение, что для распространения демократических понятий прежде всего нужно дать возможность Чернышевскому бежать за границу в Женеву для издания какого-нибудь демократического журнала [1]. Предполагалось, что г. Странден, если достанет денег, поедет в Сибирь, и, сошедшись с сибиряками, именно Наумовым и Шашковым, нашел бы случай уже на месте дать ему возможность бежать. Предполагалось, что под видом торговца можно будет проникнуть в рудники и оттуда, действуя подкупом или смотря по местным условиям как иначе, дать ему возможность бежать или Амуром через Америку, или обратно через Сибирь и Россию с крестьянскими обозами... Ножин обещал достать денег и для побега Чернышевского, а также и письмо к кому-то из амурских купцов».

Другой видный каракозовец Ермолов показал, что вопрос об освобождении Чернышевского обсуждался на более тесных собраниях заговорщиков. В планах спасения Чернышевского участвовал и А. К. Маликов, впоследствии основатель секты «богочеловеков», привлекавшийся к процессу 193 [2]. Несколько человек в своих показаниях приписывали инициативную роль в плане освобождения Чернышевского Г. Елисееву, но Елисеев перед комиссией это упорно отрицал [3].

Дело не ограничилось одними разговорами. Начато было подготовление к осуществлению задуманного плана. Весной 1866 года Н. Странден, проживавший в Москве, собирался принять участие в освобождении из ссылки Чернышевского и поехать для этого в Сибирь. Уже шли приготовления, доставались деньги и все необходимое для побега [4]. Странден запасся даже ядом. Ишутин достал Страндену два фальшивых паспорта, а Худяков дал рекомендательные письма в Иркутск и Кузнецк. В Петербурге также имелись люди, подготовлявшие побег Чернышевского.

---

[1] Худяков признавался в намерении освободить не только Чернышевского, но и Н. Серно-Соловьевича.

[2] Маликов, б. судебный следователь Холмского уезда, Бибиков, мировой посредник Орловской губ., Оболенский, Никольский и Никифоров обвинены в замыслах к освобождению Чернышевского и Серно-Соловьевича. Отделались внушением. См. «Современник о каракозовском процессе (Письма М. И. Семевского)». «Былое» 1925, № 6/34, стр. 47; ср. Богучарского-Базилевского—«Государ. преступления», т. I, стр. 151.

[3] «Покушение Каракозова 4 апреля 1866 г.» с пред. А. Шилова. «Красный Архив», том XVII, стр. 110—111, 117, 131, 135; см. также «Покушение Каракозова», изд. Центрархива, т. I, М. 1928, passim.

[4] П. Николаев сообщает, что на организацию побега ассигновано было 5 000 руб. (см. Ветринский, цит. соч., стр. 179).

В «Об'яснительной записке» по делу каракозовцев, опубликованной на стр. 290—296 цитируемой книжки «Былого», сказано, что у членов общества «Организация» существовало предположение освободить Чернышевского и Н. Серно-Соловьевича, при чем для освобождения первого избран был Странден, которого снабдили ядами и наркотическими веществами, «чтобы отравлять и усыплять стражей». Освобожденный Чернышевский «должен был остаться в Москве и стать во главе революционного общества или бежать за границу и издавать там журнал, соответствующий целям сего общества». В доставлении Страндену нужных для его цели ядов участвовали Максимилиан Осипович Маркс и Болеслав Данилович Трусов. А в «Обвинительном акте» по делу Н. А. Ишутина (там же, стр. 296—298) говорится, что он «был один из главных деятелей в предположении об освобождении государственного преступника Чернышевского» [1].

В приговоре верховного суда по делу каракозовцев сказано, что одною из целей тайного общества было «освобождение из каторжных работ государственного преступника Чернышевского для руководства предполагавшеюся революциею (курсив мой) и для издания журнала, так как роман этого преступника «Что делать?» имел на многих из подсудимых самое гибельное влияние, возбудив в них нелепые противообщественные идеи». И дальше отмечается, что к выполнению этого замысла сделаны были приготовления, а Странден собирался поехать в Сибирь за Чернышевским [2].

Непосредственным результатом этого явилось усиление надзора за Чернышевским. А затем показания И. Г. Розанова повели к переводу Чернышевского из вольной команды обратно в тюрьму.

29 апреля 1868 года перехвачены были в Череповце два письма с приглашением выписывать заграничное издание сочинений Чернышевского через местного мещанина Ивана Глебовича Розанова, находившегося в тот момент за границей. 22 июня Розанов был задержан в Вержболове, при чем у него найден был фальшивый кредитный билет,

[1] Д. В. Стасов — «Каракозовский процесс». «Былое» 1906, № 4, стр. 282. — Ср. «Сведения о сообщниках Каракозова», напечатанные в № 166 «Северной Почты» от 2 августа 1866 г. (перепечатано у Базилевского-Богучарского «Государственные преступления в России», т. I, Спб., 1906, стр. 140).— Какое важное значение каракозовцы придавали этому делу, видно из откровенных показаний Корево о том, что Странден просил его, если все члены кружка погибнут, позаботиться о похищении Чернышевского из Сибири и доставлении ему возможности бежать в Женеву, чтобы издавать там журнал; подробности об этом Странден советовал узнать от Худякова («Кр. Архив», т. XVII, стр. 102).

[2] «Государственные преступления», т. I, стр. 146.

по его словам полученный им в виде сдачи где-то в Берлине. Испугавшийся Розанов, принадлежавший, видимо, к породе легкомысленных хвастунишек и вертевшийся в Женеве около эмигранта Элпидина, тоже хвастуна и болтуна, был доставлен в III Отделение, где и сочинил целый роман. По его словам, заграничные эмигранты составили следующий план освобождения Чернышевского, про которого Элпидин якобы выразился так: «наш учитель, талант, который бы один разбудил и расшевелил всех». Сначала, как ему рассказывал Элпидин, думали захватить какого-нибудь русского посла, странствующего вельможу или министра, чтобы обменить его на Чернышевского; но затем этот план был оставлен, так как правительство «откажется от этих простых холуев», ибо Чернышевского оно дороже ценит. Ввиду этого решено было «поймать птицу из царской крови да и засадить в клетку». А заполучив кого-либо из членов династии, предполагалось прежде всего потребовать освобождения Чернышевского, а затем и проведения серьезных реформ. При этом Розанов, ссылаясь на эмигранта Жеманова, добавил, что в Женеву прибыл какой-то немец из Сибири, привезший словесные инструкции и письмо от Чернышевского.

III Отделение немедленно запросило коменданта нерчинских заводов полк. Кноблоха, который, не отвергая вполне возможности сношений Чернышевского с преступниками из числа иностранных подданных, с некоторыми из коих он содержался, вместе с тем признавал предположение о передаче им письма мало правдоподобным, так как после освобождения от каторжных работ каждый выпускаемый из тюрьмы осматривается довольно строго, а в случае подозрения подвергается осмотру еще и по дороге. Вся жизнь Чернышевского отличается крайнею осторожностью. Во время проживания на частной квартире против дома коменданта, он почти никуда не отлучался, никого не принимат и, видимо, чуждался как политических, так и государственных преступников (тогда эти категории различались, при чем поляки относились к первой, а русские ко второй). «Подобное поведение, — поясняет Кноблох, — как можно думать, вызывается у Чернышевского надеждой, что высочайше дарованные 28 октября 1866 года милости будут распространены и на государственных преступников, вследствие чего срок нахождения ему в работах должен окончиться в самом непродолжительном времени. При мысли о переходе на поселение Чернышевский неоднократно обнаруживал непритворную радость». Вследствие этого он, по мнению Кноблоха, вряд ли будет рисковать участием в новом преступлении.

Вся идиотская болтовня Розанова передавалась царю как нечто серьезное. По его приказу дело было передано в знаменитую следствен-

ную комиссию, состоявшую в тот момент под председательством г.-ад. Ланского. Но и эта комиссия, обыкновенно делавшая из мухи слона, уже в августе признала возможным Розанова освободить, отдав его под строгий надзор полиции [1]. А начальник III Отделения Мезенцов пришел к выводу, что Розанов «вывел всю эту мистификацию» с целью добиться скорейшего освобождения. Тем не менее на судьбе Чернышевского, и не подозревавшего обо всей этой глупой истории, она отразилась плачевным образом. 13 июля 1868 года граф Шувалов послал иркутскому военному генерал-губернатору шифрованную телеграмму: «Цель эмиграции — освободить Чернышевского. Прошу принять всевозможные меры относительно его» [2]. В результате Чернышевский немедленно был снова переведен в тюрьму и при том на девять месяцев лишен права переписки, решительно не понимая, чем вызваны эти новые репрессии [3].

Но его ждало еще нечто худшее. Чем больше выяснялось для правительства влияние Чернышевского на революционные круги, тем сильнее оно старалось завинтить над ним крышку гроба. В этом отношении очень плохим признаком было то, что письмо, которое он 5 июля 1870 года послал жене из Александровского завода и в котором выражал надежду на скорый выход из тюрьмы и на совместную жизнь с семьей, не было переслано жене Чернышевского, а было задержано в III Отделении и подшито к делу, откуда его впоследствии извлек сын Чернышевского, опубликовавший его в 1924 году [4]. Жандармы знали, что закон — на стороне Чернышевского. И вот они задумали неслыханное дело. В настоящее время, когда нам удалось найти документы, относящиеся к пребыванию Чернышевского в Сибири, представляется возможным осветить ту закулисную работу, которая предшествовала переводу его после каторги в Вилюйск для нового и еще более тяжкого тюремного заключения. Мы привыкли к азиатскому произволу царского правительства, но в вопросе о ссылке Чернышевского оно преисполнило меру даже своего беззакония. И хотя и с запозданием нужно заклеймить банду бездушных злодеев, погубивших одного из величайших людей, выдвинутых русской историей. Здесь правительство совершило

[1] Впоследствии он привлекался по нечаевскому делу, но был оправдан.

[2] Герцен — «Соч.», т. XX, стр. 277—288.

[3] В письме к жене от 12 января 1871 года он выражает недоумение по поводу постигшей его неприятности («Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 21—22). О действительной ее причине он никогда и не узнал. А теперь мы, сопоставляя дату телеграммы Шувалова, вызванной показаниями Розанова, и дату обратного перевода Чернышевского в тюрьму, указанную в его письме (14—15 июля), видим, в чем было дело.

[4] М. Н. Чернышевский — «Чернышевский в Вилюйске». «Былое» 1924, № 25; Дело Деп. Полиции № 230/ч. 26, л. 306.

в т о р о е, пожалуй, еще более гнусное, ю р и д и ч е с к о е у б и й с т в о Ч е р н ы ш е в с к о г о, растоптав ногами собственное решение на его счет.

6. Новое беззаконие

III Отделение хорошо знало, что на основании манифеста 28 октября 1866 года Чернышевский подлежит скорому освобождению из тюрьмы. Это видно по неиспользованному до сих пор историками Делу 1-й экспедиции III Отделения № 280 «об облегчении участи политических преступников по случаю рождения е. и. выс., в. к. Николая Александровича». Оно начато 21 ноября 1867 года обращением Шувалова к ген.-губ. Восточной Сибири Корсакову с предложением представить список политических. И в высшей степени характерно, что в списке ссыльно-каторжных относительно Чернышевского указано, что на основании манифеста 28 октября 1866 года срок сокращен ему на четверть, и что он «будет освобожден от работ в 1869 году», при чем карандашом приписано: «или в начале 1870». На памятной записке, составленной, видимо, для Шувалова, тоже указано, что Чернышевский кончает свой срок в 1870 году [1].

Итак, даже для жандармов не подлежало сомнению, что Чернышевский должен был выйти на свободу не позже начала 1870 года. Но этого-то не хотели ни жандармы, ни их лицемерный повелитель. И вот в т о т с а м ы й д е н ь, в который состоялось «высочайшее повеление» о распространении манифеста и на всех политических преступников, т. е. 25 мая 1868 года, граф Шувалов, очевидно после беседы с самим царем по поводу неудобства применения этого повеления к некоторым особенно опасным «преступникам», в первую голову, разумеется, к Чернышевскому, обратился к генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову, с следующим письмом за № 1385:

«Государь император, утвердив представленные его величеству предположения об облегчении участи политических преступников, сосланных за участие в польском мятеже, изволил всемилостивейше даруемые милости распространить на всех вообще политических преступников, осужденных до 1 генваря 1866 года, и при этом высочайше повелено, чтобы необходимым условием дарования милости было не одно хорошее поведение ссыльных, но и удостоверение местного начальства о достаточной степени их благонадежности.

«Высочайшее повеление, состоявшееся относительно облегчения участи преступников, которое его величеству благоугодно было высо-

[1] Дело № 280, л.л. 125 об., 73—74.

чайше повелеть об'явить 25 числа сего месяца, сообщено будет в-му пр-ву для должного исполнения г. министром внутр-х дел; я же с своей стороны считаю долгом покорнейше просить вас, м. г., сообщить мне ваше воззрение на Чернышевского и Огрызко, также на Николая Васильева и Николая Волкова, и меня уведомить, следует ли, ввиду указанного условия дарования милости, распространить оную на этих четырех преступников, и какими в таком случае мерами полагали бы вы возможным обеспечить надзор за ними. При этом обязываюсь сообщить в-му пр-ву, что лица сии во всяком случае не должны быть освобождаемы от каторжной работы прежде соглашения вашего со мною по этому предмету» [1].

Таково было первое из новых беззаконий, совершенных правительственными лицами по отношению к Чернышевскому. Вопрос о неприменении к нему манифеста 1866 года этим предрешался, но вместе с тем предрешалось и нарушение законных сроков его освобождения вообще, ибо последнее ставилось в зависимость не от точной буквы закона и обычной практики, а от соглашения двух заинтересованных административных лиц.

Хорошо понявши намек шефа жандармов и уразумев, что он выражает затаенные мысли самого «благодушного монарха», сибирский сатрап 28 октября 1868 года отвечал Шувалову большим письмом, в котором, признавая, что «государственные преступники Чернышевский, Васильев и Волков и политические Огрызко и Дворжачек» по отзывам местных властей ведут себя хорошо и заслуживают применения к ним манифеста, тем не менее продолжал: «С своей стороны я нахожу, что ввиду важности преступлений, совершенных вышепоименованными арестантами, настоящее хорошее поведение их, при ограничении личной свободы тюремным заключением, не может служить порукою за их нравственное исправление, поэтому, в случае обращения этих лиц на поселение, нельзя поручиться, что они не совершат побега или какого-либо другого преступления, так как надзор за преступниками, проживающими на свободе, чрезвычайно затруднителен и, при нахождении в среде коренного населения массы ссыльных русского и польского происхождения, вполне надежно обеспечен быть не может. Посему я не считаю удобным обращать преступников Чернышевского, Васильева, Волкова и Огрызко на поселение, а полагаю, вместе с другими государственными преступниками, оставить на содержании в тюрьмах, и, не употребляя в работы, облегчить им по возможности настоящее их по-

[1] Дело III Отделения № 280 «об облегчении участи политических преступников по случаю рождения его императорского высочества великого князя Николая Александровича», л.л. 92—93.

ложение, продолжая в то же время иметь за ними неослабное наблюдение» [1].

На этом письме Корсакова, впервые определенно ставящем вопрос о нарушении закона, поскольку он говорит в пользу Чернышевского, имеется зловещая пометка Шувалова: «об'яснимся в понедельник в 11 часов». В чем точно состояло об'яснение, неизвестно, но 21 декабря Шувалов уведомляет о своем согласии Корсакова и м. в. д. Тимашева (то же дело, л.л. 168—170).

Между тем срок освобождения Чернышевского, даже без применения манифеста, неуклонно приближался. 11 мая 1870 года временное управление при ген.-губ. Восточной Сибири для надзора за политическими ссыльными отправило в III Отделение рапорт, при котором приложено было письмо Чернышевского к жене от 5 апреля, где он сообщал, что он в начале августа, а может быть, и раньше кончает срок каторги. Смущенный этим Мезенцов, заменявший отсутствовавшего Шувалова, 20 мая запрашивает Корсакова, как быть [2]. С своей стороны не менее смущенный Корсаков, знавший, что закон — на стороне Чернышевского, сообщая 12 августа 1870 года, что срок его каторги истекает в августе (он уже истек в момент, когда Корсаков писал свое письмо), запрашивал шефа жандармов, как с ним поступить, ибо, согласно письма шефа жандармов за № 1385, относительно судьбы Чернышевского «следует предварительно войти в соглашение», и прибавляет: «Если будет свободен, отвечать за целость нельзя» [3].

Таково было в т о р о е б е з з а к о н и е. Существовали определенные нормы для исчисления каторжного срока, перевода каторжан из одного разряда в другой и выпуска их на поселение. Поэтому шеф жандармов не вправе был давать предписаний, а генерал-губернатор возбуждать вопросов о применении к Чернышевскому у с т а н о в л е н н ы х н о р м.

И вот в недрах III Отделения закипела работа. Надобно было устроить так, чтобы и видимость соблюдения закона была сохранена, и опасный враг не был выпущен на свободу. Как увидим, жандармам не удалось в данном случае соблюсти декорум, и им пришлось пойти на явное нарушение своего же закона.

Прежде всего ст. сов. Шульц, начальник 3-й экспедиции III Отделения, составил записку о революционной роли Чернышевского, повидимому, для доклада шефа жандармов царю. Вот что говорилось в этой записке.

[1] То же дело, л. л. 163—166.

[2] Дело № 280, л. л. 270—271 и 277—278.

[3] Дело Деп. Полиции № 230/ч. 26, л. 303.

«Усиленное брожение, возникшее в русском обществе после Крымской войны, было вызвано и поддерживаемо преимущественно (!) журналистикой, которая, пользуясь последовавшим тогда облегчением и снисхождением цензуры, проводила в массу читающей публики начала революционные и коммунистические. Между журналами, действовавшими в этом направлении, первое место занимал «Современник». Издаваемый Некрасовым и покойным Панаевым, он находился в руках небольшой партии молодежи, во главе которой стоял писатель талантливый, но до крайности увлеченный учением социалистов — Чернышевский. Вся его литературная деятельность была посвящена раз'яснению и защите этого учения. Так, во время полемики, возбужденной вопросом об освобождении крестьян с землею, он горячо отстаивал общинное землевладение, прямо высказывая, что оно должно быть переходною ступенью к общему пользованию, общему труду и разделу произведений. Впоследствии, приступив к переводу политической экономии Милля, он присоединил к ней свои примечания, в которых развивал идеи социальные и коммунистические. Такое направление, имевшее сильное и вредное влияние на молодежь, не могло не обратить на Чернышевского внимания III Отделения собственной его императорского величества канцелярии, и с 1860 года он был подвергнут бдительному секретному надзору [1]. Постоянно окруженный молодыми людьми из университета и академий, он в этом кругу высказывался еще резче и решительнее, чем в печати, и рано заслужил между своими друзьями и знакомыми прозвание русского Сен-Жюста. Когда в сентябре 1861 года вспыхнула студенческая история, то он с первого дня принял в ней живое и зловредное участие. Есть даже повод думать, что он вызвал (!) эту историю. Во время сходки студентов пред квартирою попечителя, генерала Филипсона, он вмешался в толпу молодежи и подстрекал ее к явному неповиновению. Он составил и распространял в публике возмутительное воззвание и дерзкий адрес государю императору, в котором оправдывал своеволие студентов и обвинял в беспорядках начальство.

«В ноябре того же года, на похоронах Добролюбова, Чернышевский произнес речь, в которой прямо высказывал мысль, что виновником смерти молодого писателя было правительство, стесняющее свободу печати.

[1] Курсив мой. До сих пор думали, что слежка за Чернышевским началась после студенческих волнений 1861 года. Слова Шульца показывают, что полиция начала следить за Чернышевским гораздо раньше и притом именно в связи с его литературной деятельностью.

«Чернышевский постоянно находился в близких отношениях с людьми самыми неблагонадежными, как, например, Савицкий, впоследствии присоединившийся к повстанцам, [В.] Обручев, Серно-Соловьевичи, Шелгунов, Лавров и другие. Он участвовал (?) в распространении разных возмутительных листков, в чем ему деятельно помогали брат жены его, студент Студенский и Николай Утин. Есть даже основание предполагать, что воззвание к войску, «Что нужно народу» и адрес о помиловании Михайлова написаны им. Чернышевский был одним из учредителей Шахматного клуба и, хотя по наружности держался в стороне, но едва ли не был наиболе влиятельным членом этого общества, закрытого в 1862 году вследствие его неблагонадежного характера. Кроме того Чернышевский издавна находился в сношениях с лондонскими эмигрантами; III Отделение давно уже подозревало эти сношения, но только в 1862 году получило неоспоримые тому доказательства. Квартира его служила некоторое время сборным пунктом разных подозрительных личностей, которые большею частью являлись к нему по ночам, иногда переодетыми. Даже арест и предание его суду не имели на образ его мыслей влияния: в крепости он продолжал перевод политической экономии Милля с примечаниями и написал известный роман «Что делать?», напечатанный в «Современнике», в котором в общедоступной форме излагал самые крайние коммунистические убеждения» [1].

Опровергать всю бесстыдную ложь, навороченную в этом третьеотделенском произведении, не стоит труда. Все, что здесь говорится о революционной деятельности Чернышевского (за исключением речи на могиле Добролюбова), сочинено на основании шпионских донесений, цитированных выше, развязным охранником, который даже прокламацию Огарева—Н. Обручева «Что нужно народу» приписывает Николаю Гавриловичу. Но характерно в этой записке косвенное признание, что Чернышевский сослан за свою подцензурную литературную деятельность и даже за написанный в крепости роман «Что делать?».

Из той же третьей экспедиции, вероятно, тоже в качестве материала для доклада царю, доставлена была следующая справка, долженствовавшая доказать огромное влияние Чернышевского на молодежь.

«Произведенные зимою дознания обнаружили относительно Чернышевского и его влияния на часть нашей молодежи следующие факты:

[1] Дело № 230/ч. 26, л.л. 308 сл.

«1. Один из арестованных [1] (Кунтушев) показал, что в Петербурге и в других городах делались постоянные сборы денег с целью доставить Чернышевскому средства к побегу из Сибири. Сам Кунтушев был послан в Рязань, где он должен был ожидать другое лицо, которое имело передать ему 2 000 рублей. С этими деньгами он обещался добраться до Чернышевского и ему вручить [2].

«2. Несколько арестованных принимали деятельное участие в тайном сбыте сочинений Чернышевского, печатаемых в Женеве Элпидиным.

«3. При большинстве произведенных обысков найдены фотографические портреты Чернышевского разных величин.

«4. В захваченной переписке арестованных лиц ясно видно влияние учений Чернышевского и поклонение ему, доходящее до знания наизусть именно тех мест его сочинений, в коих сосредоточена суть его учений» [3].

В этом докладе шеф жандармов по существу признает, что после манифеста 1866 года, сократившего срок каторги Чернышевского на четверть, и после высочайшего повеления от 25 мая 1868 года о даровании милости политическим преступникам, осужденным до 1 января 1866 года, «Чернышевский по 1 пункту сего повеления мог быть освобожден от работ с обращением на поселение». Признание чрезвычайно важное, ибо оно показывало, что уже в момент доклада содержание Чернышевского в тюрьме было вопиющим беззаконием (о чем сам Чернышевский тогда и не подозревал). Далее Шувалов сообщает, что, опасаясь побега Чернышевского, он предупредил ген. Корсакова «не освобождать сего преступника до нашего соглашения», т. е. в административном порядке отменил «высочайший» манифест и «высочайшее» повеление! Снова заявив о том, что «закон требует отправить (Чернышевского) на поселение», Шувалов излагает опасения Корсакова, присоединяется к ним и старается обрисовать всю опасность нераскаявшегося Чернышевского для существующего порядка. Повторив все третьеотделенские сплетни насчет Чернышевского, Шувалов особенно подчеркивает, что «после ссылки Чернышевского каждый раз, когда правительство обнаруживало государственные преступления или вредные политические кружки, было заметно, что источником тех и других служили аги-

[1] По делу о группе бывших каракозовцев в 1869 году.

[2] Даже начальник III Отделения тут делает сбоку карандашом пометку: «Подтверждается ли это показаниями других?» — В «Деятелях рев. движения в России» (цит. соч., стр. 196) говорится, что В. И. Кунтушев вместе с Н. Н. Катиным-Ярцевым ездил в начале 1868 г. в Сибирь для освобождения Чернышевского, но, не получив денег, вернулся обратно.

[3] Дело № 230/ч. 26, л. 312.

таторская деятельность Чернышевского и идеи, развитые в его сочинениях», и пугает Александра II возможными последствиями от побега Чернышевского за границу. «За границей же, нет сомнения, он воспользуется той известностью, которую ему придали, с одной стороны, его сочинения, а с другой — преследования его правительством, и он вскоре же сделается там центром нигилизма и вождем тех опасных попыток, к которым у нас, к сожалению, склонны вредные личности из молодежи».

По изложенным соображениям Шувалов находил освобождение Чернышевского из тюрьмы неудобным. «Но имея ввиду, что обращение Чернышевского на поселение в настоящее время предоставляется ему законом, и что продолжение содержания его в тюрьме было бы отягчением наказания, которое ему положено судом», Шувалов просил разрешения царя внести этот вопрос на обсуждение комитета министров, т. е. предлагал ему явно нарушить закон!

Доклад Шувалова царю состоялся 4 сентября 1870 года [1]. Шеф жандармов знал, с кем разговаривал. Александр II ничуть не оскорбился тем, что его слуга предлагает ему нарушить закон. Напротив, он вполне согласился с доводами Шувалова и «высочайше повелел исполнить согласно с соображением». Дело таким образом поступило в комитет министров. В каком духе оно там обсуждалось, показывает «Выписка из журнала комитета министров 15 сентября 1870 года», сообщенная главному начальнику III Отделения 26 сентября за № 1023.

Комитет министров нашел, что «отзыв генерал-губернатора Восточной Сибири о невозможности отвечать за побег государственного преступника Чернышевского в случае обращения его, в общем порядке, из разряда каторжных в разряд поселенцев, с освобождением от тюремного заключения, заслуживает особого внимания правительства как ввиду важности совершенного Чернышевским целого ряда государственных преступлений, так и в особенности вследствие нравственных его качеств и того влияния, коим он пользовался в кругу молодежи, а отчасти и ныне пользуется, по удостоверению шефа жандармов. Необходимость полного, не допускающего ни малейших опасений, охранения молодежи от увлечений, легко могущих зародиться с появлением в их среде или за границею такого преступника, как Чернышевский, по мнению комитета столь настоятельна, что не следует останавливаться перед необходимыми для сего материальными жертвами, как о том заявил в заседании министр финансов».

Но с другой стороны, комитет министров принужден был признать, что «в настоящее время состояние Чернышевского в

[1] Дело № 230/ч. 26, л. 313 сл. — Доклад этот полностью напечатан в упомянутой статье М. Н. Чернышевского.

разряде ссыльно-каторжных прекращается и в силу оказанной уже ему его величеством милости, и по закону, указывающему обращение его на поселение в отдаленных местах Сибири без заключения в тюрьме (курсив мой). А потому комитет пришел к выводу о необходимости, «продолжив временно (!) заключение Чернышевского в тюрьме в месте настоящего его пребывания, немедленно приступить к изысканию всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закону, в разряд ссыльно-поселенцев в такой местности и при таких условиях, которые бы устраняли всякие опасения насчет его побега и тем самым сделали бы невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению».

Шефу жандармов поручено было снестись по этому поводу с генерал-губернатором Восточной Сибири.

25 сентября 1870 года Александр II согласился с этим постановлением [1].

Итак, Комитет министров, на словах расшаркавшись перед законностью («закон! о, я немею перед законом!») и признав, что по закону Чернышевский не может быть долее содержим в заключении, тем не менее разрешает «временно» все-таки оставить его в тюрьме, как бы полагая, что временное попирание закона ногами не есть его нарушение. А «благодушный» царь, свирепо карав ший за малейшее нарушение закона своих подданных, санкционирует беззаконие комитета министров краткой, но многозначительной резолюцией: «исполнить».

В конце концов комитет министров (на словах, по крайней мере) полагал «по закону» обратить Чернышевского на поселение. Но теперь уже можно было предвидеть дальнейший ход этого возмутительного дела.

30 сентября Шувалов переслал Корсакову эту выписку из журнала комитета министров и просил его указать подходящее место и обстановку для ссылки (заметьте: для ссылки!) Чернышевского. Корсаков находился тогда в Петербурге. 28 октября он предложил Шувалову: 1) причислить Чернышевского на поселение в Вилюйский округ Якутской области и поселить его в самом Вилюйске, препроводив туда под строгим караулом; 2) поместить его в здании [2], в котором

[1] Дело № 230/ч. 26, л. л. 325—327. Курсив мой. — Полностью этот и другие относящиеся сюда документы напечатаны в моей статье «Вокруг ссылки Чернышевского» («Каторга и Ссылка» 1927, №№ 4 и 5).

[2] Курсив мой. Итак, поселение, т. е. выход из тюрьмы, неожиданно превращается в содержание в тюрьме, т. е. в свою противоположность. Декорума жандармам не удалось соблюсти.

жили Огрызко и Дворжачек; 3) предложить Якутскому губернатору иметь через местного исправника неослабный секретный надзор за Чернышевским и кроме того назначить из якутских казаков двух благонадежных человек для постоянного бдительного надзора за Чернышевским, положив им сверх получаемого ими служебного довольствия добавочных по 100 руб. в год каждому, затем независимо вышесказанного выдавать этим казакам некоторую награду по третям года, в случае исправного ими исполнения своих обязанностей. «Изложенные меры, не нарушая закона (!) в отношении Чернышевского, дают надежду полагать, что при точном исполнении их побег для него будет невозможен или, по крайней мере, крайне затруднителен» [1].

Итак, инициатором заточения Чернышевского в Вилюйске и при том в заключении, которое ввиду отдаленности этого места, худшего климата и полной изолированности узника оказалось для него горшим сидения в Нерчинской каторжной тюрьме, был не кто иной, как М. Корсаков, по иронии истории родственник или свойственник М. Бакунина!

Мин. вн. дел Тимашев и мин. финансов Рейтерн (который тоже имел голос в этом вопросе, так как он был сопряжен с добавочным расходом из казны) согласились с предложением ген.-губ. Восточной Сибири. Дело снова передано было в комитет министров для окончательного решения. Там оно обсуждалось на двух заседаниях 22 декабря 1870 г. и 5 января 1871 г. Комитет одобрил предложение Корсакова, а 1 января 1871 г. положение Комитета было царем утверждено [2].

Теперь участь Чернышевского была решена [3]. Вместо полагавшегося ему по закону выхода на поселение Чернышевскому продолжили бессрочно тюремное заключение в особенно исключительных условиях [4].

---

[1] Дело № 230/ч. 26, л.л. 331—336.

[2] Дело № 230/ч. 26, л. 341.

[3] Корсаков мог торжествовать. 19 декабря 1870 года он представил в III Отделение список политических ссыльно-каторжных; здесь против имени Чернышевского (и трех других, упомянутых выше) сказано уже: «По особому распоряжению шефа жандармов действию высочайшего повеления не подлежит» (Дело № 280, л. 338 сл.).

[4] Как бы для того, чтобы подтвердить опасения правительства, в III Отделении получена была шифрованная телеграмма от иркутского жандарма Дувинга, датированная 6 февраля 1871 г. и сообщающая об аресте поч. гр. Николая Любавина, у которого найдено 8 сербских паспортов и который подозревается в желании устроить побег Чернышевскому. То обстоятельство, что на этом донесении сбоку сделана пометка: «Не Лопатин ли?», показывает, что у III Отделения были уже тогда источники внутреннего осведомления (Дело № 230/ч. 26, л. 346). Об этом деле мы скажем ниже в главе о планах устройства побега Чернышевского.

Глава вторая

НА ДАЛЬНЕМ СЕВЕРЕ

1. Прибытие в Вилюйск

В ноябре 1871 года получено было распоряжение о выпуске из тюрьмы каракозовцев. Этим исключительное отношение правительства к Чернышевскому особенно резко подчеркивалось. Ведь он был осужден в 1864 году на 7 лет и при том без всяких юридических оснований; каракозовцы же судились в 1866 году и были приговорены на более длительные сроки, при чем на их процессе было доказано существование революционной организации, один из членов которой даже покушался на царя. При нормальных условиях Чернышевский очевидно должен был выйти на поселение раньше их. Однако произошло нечто совершенно обратное. «Мы уезжали, — пишет Николаев, — Чернышевский оставался. Тут-то он и проявил такое величие и благородство души, о которых мне и теперь трудно вспомнить без слез» (цит. бр., стр. 51).

Другой каракозовец, В. Шаганов, также выходивший на поселение, рассказывает: «Когда нам, товарищам Чернышевского по заключению, об'явили в ноябре 1871 года высочайший указ об освобождении нас из каторжных работ прежде сроков и назначили день от'езда, то мы пришли все проститься к Николаю Гавриловичу. Тогда на прощание он высказал нам нечто вроде своего политического завещания, надеясь, что нас поселят где-нибудь в Иркутской губернии и затем через короткое время переведут и ближе к границам России или даже возвратят в самую Россию, и мы опять будем возвращены к действительной жизни. О себе он думал, что его, вероятно, увезут в Туруханск или даже в менее отдаленные места Енисейской губернии, но на лучшее для себя он не расчитывал» [1].

Чернышевский и в тот момент еще не подозревал, какую участь приуготовило ему правительство. О ссылке в гиблый Вилюйск и о за-

[1] Цит. бр., стр. 27. — «Политическое завещание» Чернышевского, т. е. изложение его политических взглядов в передаче Шаганова, мы привели выше (т. I, стр. 449, и т. II, стр. 159—160).

ключении там в тюрьме вопреки прямому смыслу закона даже он, считавший царизм способным на все подлости и низости, не мог и думать...

Тем временем пущенная в ход машина продолжала действовать. 11 ноября новый ген.-губ. Восточной Сибири Синельников телеграфирует шефу жандармов: «Чернышевского перевожу Вилюйск». Сообщая, что двух казаков он назначит сам, он просит разрешения прикомандировать к Чернышевскому жандармского унтер-офицера, на что 15 ноября следует щедрый ответ: «разрешаю откомандировать двух или трех жандармов». Тогда же Дувинг сообщает Шувалову предложение Синельникова, чтобы по крайней мере один из жандармов находился постоянно при Чернышевском (т. е. вводит новое отягощение для несчастного страдальца). На следующий же день, 12 ноября, Шувалов телеграфирует о своем согласии, разрешает отправить с Чернышевским трех жандармов, в том числе одного офицера, и прибавляет: «Будьте осторожны».

9 декабря жандармы с офицером Зейфортом выехали из Иркутска в Нерчинск за своей жертвой. Зейфорту была дана на сей предмет особая инструкция, при чем он должен был с дороги доносить обо всем почтой и телеграфом для доклада шефу жандармов, т. е. царю, который из Петербурга внимательно и злобно следил за своим врагом [1].

18 декабря Зейфорт прибыл с Чернышевским в Иркутск и сейчас же со свежими двумя жандармами выехал в Вилюйск [2]. Легко представить себе, что́ делалось в это время у Чернышевского на душе. Но, верный усвоенной им тактике гордого и презрительного молчания, он в письме к жене, написанном из Иркутска во время кратковременной

---

[1] Тогда-то Синельниковым и была выработана та «Инструкция для наблюдения за государственным преступником Чернышевским», которая напечатана в «Минувших Годах», 1908, март, стр. 2—5. Она имеется и в цитируемом нами Деле III Отделении № 230/ч. 26, л. 358 сл. Самым замечательным пунктом ее является первый, который гласит: «Важность преступлений, совершенных Чернышевским, и значение, которым пользуется он в среде сочувствующих ему поклонников, вызывают со стороны правительства особые меры для устранения Чернышевскому возможности побега и отклонения его вредного влияния на общество. В этих видах для поселения Чернышевского по случаю окончания определенного ему срока каторжных работ назначается отдаленное и уединенное место Якутской области, именно г. Вилюйск, в котором Чернышевский должен помещаться в том здании, где и раньше его помещались важные преступники». По крайней мере, откровенно.

[2] В Вилюйске Чернышевский рассказывал Шаганову, что, услыхав в Александровском заводе о приезде к нему жандармского офицера из Иркутска и предполагая, что тот приехал производить у него обыск, он уничтожил свои рукописи, о чем, особенно об уничтожении «Рассказов из Белого Зала», он, очевидно, очень сожалел (цит. бр., стр. 36).

там остановки, говорит только об «удобствах» пути («Чернышевский в Сибири», вып. I, Спб., 1912, стр. 31) [1].

11 января 1872 года Чернышевский был доставлен в Вилюйск и сдан местному исправнику «под квитанцию». Зейфорт прожил в Вилюйске две недели и ежедневно посещал Чернышевского, который «все время находился в раздражительном состоянии» (я думаю!).

Ген.-губернатором Восточной Сибири дано было 12 ноября 1871 г. следующее предписание Якутскому губернатору о надзоре за Чернышевским:

«Ввиду назначения моего государственному преступнику Николаю Чернышевскому, за окончанием им срока каторжных работ, местом поселения (!) города Вилюйска, покорнейше прошу ваше превосходительство сделать распоряжение о причислении его к одному из ближайших к этому городу селений и о помещении Чернышевского, по прибытии в город, в то здание, в коем помещался Огрызко, последнего в настоящее время разрешаю перевести под надзор полиции в город Якутск [2].

«Принимая это во внимание, для устранения возможности побега и продолжения преступной деятельности Чернышевского ему должны быть воспрещены всякие отлучки из города, а чтобы не затруднить для него приобретение средств к существованию, я признаю справедливым назначить ему на содержание сумму сообразно с существующими ценами на предметы продовольствия [3].

«Для постоянного наблюдения за Чернышевским я приказал командировать исправного и благонадежного жандармского унтер-офицера, которому будет дана инструкция, и копия с оной будет сообщена вашему превосходительству, а Вас, милостивый государь, прошу назначить из Якутского полка двух вполне благонадежных урядников и производить им, кроме положенного содержания, добавочного по 100 руб. каждому в год, относя этот расход на суммы по содержанию политических ссыльных.

«Возлагая на ваше превосходительство иметь надзор над Чернышевским в отношении предупреждения его побега, прошу предписать исправнику иметь за Чернышевским самое бдительное и постоянное наблюдение за предупреждением побега Чернышевского и за точным

---

[1] В это время жена Чернышевского еще ничего не знала об участи, его постигшей. В цитируемом Деле III Отделения, л. 375, имеется копия ее письма к мужу от 24 января 1872 г., в котором она выражает надежду на скорое свидание его с семьей.

[2] Курсив мой. Оригинальное «поселение» в тюремном здании!

[3] На содержание Чернышевского назначено было по 17 р. 12 к. в месяц.

исполнением инструкции как жандармскими унтер-офицерами, так и урядниками, а в случаях отсутствия исправника возлагать это на его помощника, внушив им всю важность возлагаемой на них обязанности и опасения правительства».[1]

2. Тюрьма в тюрьме

Вилюйск это — маленький городишка, лежащий в 710 верстах на северо-запад от Якутска в нездоровой, болотистой местности. В те времена это была просто плохая деревня, насчитывавшая не более 400 жителей, по преимуществу полудиких якутов, стоявших на самой низкой ступени развития. Почта приходила туда из Якутска раз в два месяца. Январская книжка журнала получалась только в мае. Зима, продолжающаяся там около полугода, отличается суровыми холодами. Отсутствовали самые необходимые для культурного человека предметы. Даже мало-мальски сносной пищи, как-то: овощей, мяса, молока, Чернышевский в первое время не мог там доставать; если же потом это и находилось, то плохого качества, несвежее и нечистое. Медицинской помощи не было никакой, и когда у него развились болезни, в частности зоб, Чернышевский принужден был лечить себя сам. Но ужаснее всего было полное одиночество, на которое его обрекли мстительные враги. В городе не было ни одного политического ссыльного. Местное же русское общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов, с которыми у Чернышевского, конечно, не могло быть ничего общего.

В этой обстановке великий мыслитель принужден был проводить долгие годы. Вилюйск сам по себе был большой тюрьмой. Но правительству и этого показалось мало, и оно умудрилось и в этом гиблом месте создать для своего узника тюрьму в тюрьме, засадив его в острог, незадолго до того выстроенный за городом. «Острог этот, — пишет Шаганов (цит. бр., стр. 35—36), — начали строить в 1866 году, предполагая отправить туда нас, каракозовцев... Постройка острога и казармы около него, говорят, стоила 20 тысяч... Перед самым прибытием нашим в Александровский завод оттуда увезли в этот острог Огрызко (директор департамента министерства финансов) и Дворжачка (доктора), где они и пробыли до конца 1871 года».

В тюрьме имелось несколько комнат или, лучше сказать, камер, одну из которых и отвели для Чернышевского. Шаганов так описывает ее. В камеру Н. Г. вела дверь, обитая клеенкой, как и в прочих

[1] Дело № 230/ч. 26, л. 386.

камерах. На правой руке стояла деревянная кровать, налево в углу у двери — маленький столик и поперек всей комнаты — большой стол, сажени две длины. Тут у него лежали все книги, табак и прочие мелочи. Прямо против двери — два окна с решетками, очень высокие; но свету в комнате было сравнительно мало, ибо окна глядели прямо в частокол, и из них не виднелось даже и кусочка неба. Сама камера была очень сыра, так что Н. Г. еще в конце апреля не мог сидеть без валенок; иначе сейчас же начиналась ломота в ногах.

В Вилюйске для Чернышевского началась самая тяжелая пора его подневольного существования. Ужасна была сама жизнь в этом гиблом и заброшенном уголке. Но еще страшнее было разочарование, крушение всех надежд, связанных с окончанием каторжного срока, необходимость отказа от встречи с семьей, от общения с людьми, от литературной работы, вне которой для Чернышевского не существовало ничего. Тяжелее же всего давило душу сознание совершенной над ним несправедливости и полного бессилия перед произволом властей. Внешне Чернышевский проявлял безучастие к обрушившейся на него и ничем незаслуженной новой каре, как об этом свидетельствуют опубликованные Ляцким его письма к родным. Но в глубине души он должен был глубоко страдать, хотя гордость не позволяла ему выказывать слабость перед бессовестными врагами.

Однако даже этот человек с железной волей не всегда в силах был справляться с своими натянутыми нервами. Особенно в первое время, когда неожиданно постигшее его несчастие было еще слишком свежо и чувствительно. Выше мы уже видели заявление Зейфорта о раздражительном состоянии Чернышевского в первые дни вилюйской жизни. Навязчивый надзор, которому его подвергли приставленные к нему охранители, в скорости вывели этого спокойного и сдержанного человека из себя. И был момент, когда Чернышевский находился, повидимому, на грани душевного равновесия, и когда враги могли торжествовать при мысли, что смущавший их покой неукротимый революционер действительно навсегда выведен из строя.

Бесстрастное «Дело» III Отделения сохранило для нас следы этой тяжелой драмы, пережитой в первые годы вилюйского умирания нашим дорогим учителем. Содержащиеся в «Деле» два официальные документа красноречиво говорят об этой трагедии, при чем сами казенные авторы их не могут скрыть невольного жуткого чувства при виде наступающего моментами потрясения великого ума, ими же доведенного до исступления.

Первым из этих документов является донесение временно и. д. начальника иркутского губернского жандармского управления Зейфорта

(того самого, который отвозил Чернышевского в Вилюйск) на имя шефа жандармов от 1 сентября 1872 года. Оно напечатано полностью в статье М. Н. Чернышевского. Зейфорт, со слов приставленного к Чернышевскому жандармского унтер-офицера Ижевского сообщает, что с некоторого времени узник при разговоре с своим сторожем «выражает какие-то непонятные слова и в это время весь сам трясется, как будто бы подвергнувшись полному умопомешательству». Он начал протестовать против того, что дом, в котором он был помещен, запирался на замок в ночное время, и требовал, чтобы жандарм показал ему письменное приказание, на основании которого совершается эта процедура (незаконность которой была для него ясна). А под утро 15 июля Чернышевский стал даже ломать железными щипцами замок от выходной двери, по словам жандарма, «произнося при этом, что не приехал ли сюда государь или министр или генерал-губернатор, что урядники осмеливаются запирать дверь во время ночи» [1].

С своей стороны об этом событии счел нужным довести до сведения ген.-губ. Восточной Сибири и. д. якутского губернатора де-Витте, рапорт которого от 4 августа 1872 года был переслан генерал-губернатором в III Отделение. Де-Витте между прочим сообщал, будто Чернышевский требует от унтер-офицера, чтобы тот становился перед ним во фронт, и прибавляет, что после упомянутого инцидента он отдал распоряжение, чтобы жандармский унтер-офицер сопровождал Чернышевского незаметным образом на прогулках и при отлучках из дома, дабы не раздражать его и не придавать ему вида арестанта [2].

Разумеется, надо было обладать жандармской психологией, чтобы усмотреть признак умопомешательства в совершенно законном требовании пред'явить те предписания, на основании которых человека, получившего по закону право выхода из тюрьмы, продолжают держать в заключении, приставив к нему стражу. С другой стороны, явной выдумкой звучат слова охранников о том, будто Чернышевский требовал от жандарма, чтобы тот становился перед ним во фронт и т. п. Но даже если мы внесем соответствующие поправки в казенные донесения, остается несомненным, что наглым беззаконием правительства, придирчивым надзором и приставаниями стражи Чернышевский был одно время доведен до крайне напряженного душевного состояния, с которым он, впрочем, видимо скоро совладал.

Что одною из причин раздражения Чернышевского был назойливый надзор приставленных к нему «телохранителей», видно и из донесения

[1] Дело № 230/ч. 26, л.л. 392—394.
[2] Дело № 230/ч. 26, л.л. 397—398.

Дувинга на имя шефа жандармов от 18 октября 1872 года, в котором он сообщает, что приставленные к Чернышевскому жандарм и казачьи урядники не давали никакого повода для раздражения узника кроме (!) того, что при проезде через Вилюйск политических ссыльных Николаева и Шаганова Ижевский препятствовал их свиданию с Чернышевским, с какового времени последний и стал к нему враждебно относиться. Теперь же Чернышевский «живет спокойно, и здоровье его в удовлетворительном состоянии». Надо полагать, что последнее сообщение огорчило Шувалова и вызвало гримасу неудовольствия на лице Александра II.

Это свидание Чернышевского с прежними товарищами по каторге состоялось в конце апреля 1872 года. Шаганов и Николаев присланы были в один из вилюйских улусов, но ввиду начавшейся распутицы исправник предложил им остаться в городе на две недели. Узнав, что Чернышевский, которого они оставили в Александровском заводе, привезен сюда раньше их, они расположились недалеко от острога, чтобы повидать Н. Г. Но в первый день тот не выходил; на второй же день он вышел на прогулку и встретился с товарищами. Чернышевский был страшно огорчен тем, что друзья тоже попали в этот гиблый край [1].

Чернышевский побывал у друзей на квартире в этот и в следующий день, а затем пригласил их к себе в острог. Возмущенный этим «стерва»-жандарм побежал к исправнику и так напугал его строгой ответственностью, что тот потребовал от новичков отказа от посещений Н. Г. в тюрьме. Узнав об этом, Чернышевский вспылил, пошел к исправнику, и у них произошло бурное об'яснение, в результате которого отношения между ними навсегда испортились, а Николаев и Шаганов на другой же день были отправлены верхом на место назначения, несмотря на распутицу. Это происшествие, показавшее Чернышевскому, что, вопреки лицемерным разговорам и наперекор закону, власти считают его состоящим на тюремном положении, несомненно сыграло решающую роль в описанном выше столкновении, побудившем жандармов заговорить о душевном расстройстве Н. Г. Между прочим, с этого времени Чернышевский совершенно перестал разговаривать с гнусным жандармом.

В начале февраля 1874 года Шаганов снова попал в Вилюйск. Теперь исправник уже был другой, а стеснения, чинившиеся Чернышевскому, уменьшились. Новый жандарм оказался порядочным человеком, насколько таковым может быть жандарм, и сам пришел к Шаганову от имени Чернышевского пригласить его к нему. На этот раз Шаганов свободно проводил с Н. Г. целые дни. По словам Шаганова, Чернышев-

[1] То же сообщает и Николаев (цит. бр., стр. 51).

ского в это время еще занимала мысль написать историю в рассказах для детей. Часть ее он уже написал, но уничтожил еще до приезда жандарма Купенкова (см. ниже). Предполагалось составить ее в виде ряда исторических картин, образно нарисованных. Чернышевский рассказал ему также, что в 1872 году Вилюйск посетил ад'ютант Синельникова, кн. Голицын, которого он просил узнать у Синельникова, не разрешат ли ему списаться с знакомыми в Петербурге, чтобы ему присылали книги для переводов, и эти переводы он мог бы отсылать в Петербург. Голицын категорически заявил, что это желание Чернышевского не будет удовлетворено [1].

«Это, — говорит Шаганов, — были мои последние свидания с ним. Видимо, и тогда ему уже крайне тяжело жилось; видимо, он с каждым днем терял надежду на что-нибудь лучшее, а также и надежду на возможность какой-либо литературной работы» [2].

3. Вилюйское умирание [3]

Чернышевский, который все надеялся, что по окончании каторги ему разрешен будет свободный раз'езд по Сибири, и что ему удастся перебраться поближе к России, увидел теперь, что последняя надежда его разбита, и что крышка гроба плотно над ним заколочена. Здесь, говоря словами известного стихотворения Ольхина на смерть Мезенцова, «угасал в далекой Якутской тайге яркий светоч науки опальной». Лишенный научных пособий, а главное лишенный всякой надежды увидеть написанное им в печати, постоянно опасаясь обысков и принужденный поэтому сжигать свои рукописи, этот человек, который мог столько сделать для русской науки, постепенно погибал в умственном отношении. Выбиваясь из сил, чтобы поддержать в себе идейные интересы, он принужден был тратить свою энергию на мелочную борьбу с стеснявшими его сторожами и на занятие со своими тюремщиками. Какая ужасная ирония судьбы: Чернышевский, который более, чем кто-либо другой, призван был поучать всю Россию, принужден был обучать грамоте приставленных к нему жандармских унтер-офицеров, карауливших его как цепные псы и отравлявших ему существование!

В первое время Чернышевский, как мы видели, под свежим впечатлением от совершенного по отношению к нему беззакония готов был

[1] О приезде Голицына в Вилюйск, посланного туда в связи с попыткой Лопатина, см. ниже (стр. 542).

[2] Шаганов, цит. соч., стр. 38—41.

[3] О жизни Чернышевского в Вилюйске имеется немало воспоминаний. Сводку их дает статья Е. С. Коц — «Чернышевский в Вилюйске» (сборник «В Якутской неволе», М. 1927).

протестовать против назойливого надзора и против попытки жандармов превратить для него поселение в Вилюйске в тюрьму более суровую, чем каторжная тюрьма Александровского завода. Но постепенно острота обиды в нем притупилась, безнадежность положения стала яснее и он начал приспособляться к ужасной перспективе вечного прозябания в вилюйском захолустье. С своей стороны и жандармы, убедившись в его безобидности и невозможности вырваться из этой ямы, перестали раздражать его неотвязчивым приставанием, и мало по малу выработался известный modus vivendi, представлявший своеобразную смесь одиночного тюремного заключения с относительной свободой передвижения в узких пределах поселка и редких встреч узника с немногочисленными представителями внешнего мира [1].

«Мой день обыкновено проходит так, — писал Чернышевский жене 17 марта 1876 года: — встаю я очень поздно, часу в двенадцатом. Уже готов самовар. Часа в три обедаю; после обеда опять пью чай. Часов в девять опять пью чай. В час или позднее ужинаю и опять пью чай» [2]. Остальное время он читал и писал или гулял по окраинам города либо в прилегающем лесу. И так изо дня в день, в продолжение унылых двенадцати лет.

Чернышевский с ужасом чувствовал, что он начинает отставать в умственном отношении. В письме к жене от 19 июля 1873 года он с горечью сознается, что за истекшие десять лет он не мог не отстать от движения науки, но пробует утешиться надеждою, что отсталость его, может быть, не так уже велика, чтобы считаться безнадежной. Сознавая, что у его родных нет средств на то, чтобы приобретать для него новые книги в достаточном количестве и держать его в курсе достижений науки, он просит высылать ему хотя бы старые книги, указывая преимущественно исторические, как Нибура—«История Рима», Грота—«История Греции», Геродота, Фукидида, Тита Ливия, Цицерона, Цезаря, Тацита (возможно, что эти книги нужны были ему в связи с задуманной им философией истории и популярной историей для детей в картинах). Родные и в особенности А. Пыпин старались делать для него все возможное, но книг он все-таки получал мало и при том много

[1] В «Былом» 1918, № 1, стр. 224, Б. Н-ский в заметке «Новое о прошлом» излагает статью Ф. Харитонова — «Из записной книжки. О переписке Н. Г. Чернышевского» (хабаровская «Воля Народа», 1917, № 16). Харитонов, б. политический ссыльный, жил в Якутской области. Под Олекминском он встретился с А. М. Захаренко, дочерью врача Аргунова. Она и рассказала ему, как Чернышевский вел контрабандную переписку с другими политическими ссыльными и с Россией. Рассказ мало правдоподобен.

[2] «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 5.

таких, которые для него были неинтересны, а иногда его и прямо раздражали. Из журналов он получал «Вестник Европы», «Знание», «Отечественные Записки», «Неделю». Но все это его не удовлетворяло да и не могло удовлетворять после его журнальных триумфов прошлого времени, после той руководящей роли, какую он играл в недавнюю эпоху русского общественного развития.

И постепенно им овладевает глубокая тоска, в сердце его прокрадывается чувство безнадежности. От скуки он «изобретает» всю прямолинейную тригонометрию и даже часть сферической (письмо от 11 апреля 1874 года). От нечего делать забавляется «зоологическими приключениями», играет с забравшейся к нему на двор летучей белкой или наблюдает сражение дворовой собаки с горностаем у самых его ворот (письмо от 18 августа 1874 года). Он добродушно подшучивает над самим собою и над своею судьбою, не жалуется на свою жизнь, напротив находит все прекрасным, хвастает своим здоровьем, которого не было (между прочим он нажил в Сибири зоб), утешает жену, поучает сыновей. Но сквозь все эти добродушные шутки и похвалы своему житью-бытью нет-нет да и прорвется вопль измученной души, послышится безысходная тоска и отчаяние при мысли, что в этой отупляющей обстановке придется прожить долгие годы, лучшие годы жизни, что из нее не удастся вырваться, а если и удастся, то уже тогда, когда сил не будет, когда исчезнет свежесть ума, когда, словом, жизнь утратит свою прелесть и интерес.

При таких условиях научная и даже популяризаторская работа была немыслима. Но, с одной стороны, будучи не в состоянии существовать, не давая исхода потребности в творчестве, а, с другой, надеясь притти на помощь семье, принужденной прибегать к посторонней помощи, Чернышевский с лихорадочной энергией принялся за работу по беллетристике. Помня успех своего романа «Что делать?», а вместе с тем стремясь поделиться с широкой публикой обуревавшими его мыслями и полагая, что это лучше всего можно сделать в художественной форме, наконец, не теряя надежды, что под видом беллетриста он скорее всего сможет печататься, Чернышевский продолжает в Вилюйске начатые им на каторге работы и задумывает ряд новых беллетристических произведений. Полковнику Купенкову, производившему у него обыск, Чернышевский заявил, что время он проводит в чтении и письме, излагая на бумаге сюжеты своих литературных трудов, и когда они таким путем укрепляются в его памяти, то уничтожает их. Сначала он написал до 15 романов, а теперь пишет очерки из всеобщей истории человечества (между прочим Купенков забрал у него несколько листов этой работы, повидимому, не пошедшей дальше неоконченного введения

или уничтоженной). А 14 августа 1877 года он писал Пыпину: «Я хоть постоянно работаю с утра до ночи, не чувствую усталости. Мое здоровье понемножку ослабевает (жене он об этом не писал. — *Ю. С.*). Но медленно. И работа не имеет ровно никакого вредного действия на него. Я — бык, слабосильный от природы и уже старый, но и работаю как бык: мне все равно, сколько времени работать без отдыха. И когда бы можно было печатать, что я пишу, тебе можно было бы отдыхать. Я пишу все романы и романы. Десятки их написаны мною. Пишу и рву. Беречь рукописи не нужно: остается в памяти все, что раз было написано [1]. И как я услышу от тебя, что могу печатать [2], буду посылать листов по двадцати печатного счета в месяц. Но когда это будет?» [3]. Увы, это время так и не наступило.

Чернышевский рвал свои рукописи, конечно, потому, что не хотел, чтобы они попали в руки ненавистных и презренных жандармов. Но, к несчастью, они таким путем погибли и для человечества, так как впоследствии он не хотел да и не мог уже их восстановить.

В удручающей обстановке Вилюйска, в полном одиночестве и оторванности от России великий мыслитель постепенно и незаметно погибал. Это было даже не прозябание, а медленное умирание.

«Люди, окружавшие Николая Гавриловича, — пишет Н. Русанов, — я говорю о представителях местной власти, — конечно, не могли не видеть, как угасал и старелся этот гордый человек, стоически выносивший все физические и нравственные страдания. Но никто из них, по рутине ли или по боязни навлечь на себя гнев начальства, не дал ни малейшего понятия правящим сферам о том, как тяжело было на самом деле нездоровье Чернышевского. А, впрочем, что вышло бы из этого? И поневоле спрашиваешь себя: да не входило ли уже в заранее обдуманный план именно «сфер», именно тех, кто распоряжался историческими судьбами России, сделать все от них зависящее, чтобы Чернышевский по возможности рано был вычеркнут из списка живых?» [4].

Совершенно очевидно, что на риторический вопрос Русанова можно дать только положительный ответ: да, именно эта цель входила в виды правящих сфер. И своей цели им в значительной мере удалось добиться. Не подлежит сомнению, что жизнь в Вилюйске, если это медленное уга-

---

[1] Увы, Чернышевский ошибся. Попытка восстановить часть этих романов по возвращении в Россию не удалась.

[2] Повидимому, он все еще продолжал надеяться на Стасюлевича, не зная истинной физиономии этого господина.

[3] «Чернышевский в Сибири», вып. II, стр. 199.

[4] Н. Русанов — «Чернышевский в Сибири». «Русск. Богатство» 1910, № 3, стр. 199.

сание можно назвать жизнью, сократила дни Чернышевского. И во всяком случае не подлежит сомнению, что если она не убила Чернышевского физически, то в значительной мере убила его духовно.

«Почти у всех нас, интересовавшихся нашим великим учителем, — говорит Русанов в той же статье (стр. 175), — было неверное представление о том, каким остался Чернышевский в ссылке и по возвращении из нее. Со скорбью, с искренней душевной болью мы считали нужным констатировать тот, по нашему мнению, несомненный, факт, что Чернышевский вернулся из-за Уральского хребта лишь тенью прежнего Чернышевского. Между тем его сибирские письма рисуют нам его человеком, оставшимся на высоте своей обычной силы и самостоятельности мысли и страдавшим лишь от того, что его колоссальный логический аппарат часто работал впустую, вне применения к живым общественным вопросам, что порвалась великая электрическая цепь, шедшая от него к его читателям и ученикам, и что он не мог реагировать непосредственно, как писатель и деятель, на явления действительности».

Да, верно, что Чернышевский и в ссылке остался тем, чем был до нее, что он сохранил там все свои прежние убеждения, и что в его письмах сибирского периода наблюдаются тот же великий, ясный, логический ум и та же великая, чуткая, любвеобильная душа. И Плеханов совершенно прав, когда по поводу этих писем (точнее, по поводу первых только двух выпусков книги «Чернышевский в Сибири») говорит: «Письма Чернышевского из Сибири показывают, что его очень трудно было идеализировать в надлежащей степени. И чем больше русская читающая публика будет знакомиться с этими письмами, тем больше станет расти ее уважение к этому изумительно благородному и непоколебимо твердому человеку» [1]. По выдержкам, приведенным нами на протяжении настоящей работы из сибирских писем Чернышевского, читатель мог убедиться в том, что Чернышевский до конца остался верен своим основным философским и политическим взглядам, что он ни на минуту не переставал быть последовательным материалистом, коммунистом и революционером. Все это верно, но в то же время верно и то, что там, в этой убивающей обстановке полярной стужи, бесконечной северной ночи и полного одиночества, в душе Чернышевского что-то сломилось, надорвался какой-то нерв, и что вилюйская ссылка выпила соки его жизни, вернув его России духовно почти мертвым человеком.

Это очень хорошо замечали его молодые друзья, раньше бывшие с ним вместе на каторге, а затем повидавшие его в Вилюйске и по мере возможности сносившиеся с ним или наводившие о нем справки. На

[1] Плеханов — «Сочинения», т. VI, стр. 371.

письмо о вилюйской жизни Чернышевского Шаганов получил от своего товарища следующий ответ: «Чего от себя скрывать горькую истину? Ведь уж пропал человек, пропал безнадежно! Да и какой человек! Насто пусть хоть и не жалко, хоть и мы тоже пропали, — ну, а он?.. Положим, он — не такой гений, каким мы все, под влиянием его личного блеска (он ведь именно лично блестящ), считали его, но он страшно, поразительно талантлив. Это — Лассаль по-своему, по-русски, даже лучше его, потому что яснее и без тех путаниц, какие у Лассаля были... И этому светочу мысли — Вилюй до смерти!.. Именно до смерти — в этом нельзя ошибаться!» [1].

Физически Чернышевский пережил вилюйскую ссылку, но духовно он вышел из нее искалеченным, с надорванными силами и душевным надломом. В отдельности все в нем как будто сохранилось: и ум, и энергия, и революционное настроение; а в целом чего-то уже нехватало, что-то исчезло бесследно, и это ч т о - т о было как раз то, что в свое время сделало из него идейного вождя революционного поколения 60-х годов. Это была печальная истина. Яркий светоч науки опальной почти угас в далекой вилюйской тайге. Он не потух окончательно, он продолжал тлеть и светиться до конца, но это уже был не тот огонь, который некогда с такой силой пламенел и зажигал чуткие сердца. Самодержавный коршун основательно исклевал печень скованного Прометея русской мысли...

В последнее время его окарауливал жандарм Щепин, впоследствии проживавший в селении Тунка, где врач Михалевич записал воспоминания его и его жены о Чернышевском, опубликованные В. Короленко. Из этих воспоминаний заслуживает внимания сообщение жены Щепина: «За одну ночь, бывало, сколько перемен бывает с ним. То он поет, то танцует, то хохочет вслух, громко, то говорит сам с собою, то плачет навзрыд! Горько плачет, громко эдак. Особенно плачет, бывало, после получения писем от семьи... После таких ночей так расстроится, что не выходит из своей комнаты, печален, ни с кем не говорит ни слова, запрется и сидит безвыходно» [2].

Вл. Бернштам, ездивший на политическую защиту в Якутск, также имел возможность беседовать с Алкдр. Ларион. Могилевой, жившей в 1883 году в Вилюйске (с рождества по август) и бывшей тогда женой жандармского унтер-офицера Г. С. Щепина. С ее слов он передает ряд подробностей из жизни Чернышевского, относящихся к последнему времени его пребывания в Вилюйске. В Вилюйске жандармы и казаки — вся

[1] В. Ш а г а н о в, цит. бр., стр. 32.

[2] В. К о р о л е н к о — «Из воспоминаний о Н. Г. Чернышевском». «Рус. Богатство» 1905, № 6, стр. 96.

команда — менялись каждый год. Команда состояла из 7 казаков, двух урядников и одного жандарма. Жандарм был старшим над тюрьмой. Исправник и его помощник не имели никакой власти над Чернышевским. Тюрьма была расположена на самом берегу реки за городом, верстах в двух. Ходить из тюрьмы Чернышевский мог сколько угодно и ходил с утра до ночи всегда один. За ним следом никто не ходил. Только на ночь запирали ворота, и был ночной караул. «Ему очень верили: ведь он сидел там 12 лет».

Овощей у него не было никаких. Картофеля Чернышевский не покупал из-за дороговизны (3 рубля пуд). Книг у него было много. Уезжая, он оставил Якутской общественной библиотеке 5 больших ящиков с книгами. Самовар сам себе ставил. Готовил в печи-голландке.

Летом из-за комаров нельзя было высидеть в доме. Чернышевский, завернув голову полотенцем, уходил в лес на целый день собирать грибы.

Иногда читал целую ночь напролет или что-то писал, при чем все, что писал, жег. Зимою он тоже выходил, хотя много тогда читал и писал.

«Чернышевский не позволял мыть у себя пол, боялся сырости, — пол был очень грязный. Потому и не принял преосвященного, когда тот хотел его навестить. А только была у нас мысль, что он нарочно для такого случая не позволял мыть пол. Губернатора Чернышевский тоже не принял, когда тот приехал и хотел его навестить. Чернышевский был на него недоволен, что он задерживал его корреспонденцию» [1].

Этому «идиллическому периоду» вилюйской жизни Чернышевского, лишенному острых конфликтов, предшествовал своего рода период героический. Мы имеем ввиду попытки его освобождения, которые, к сожалению, не удались и привели лишь к упрочению в правящих сферах убеждения в его крайней опасности и этим невольно затянули действие «сухой гильотины», какою была для него ссылка в Вилюйск.

4. Попытки освобождения

Русские революционеры не могли примириться с той мыслью, что Чернышевский окончательно погиб для дела русской свободы. Многие из них неоднократно задумывались над мыслью об освобождении Чернышевского, который, переехав за границу, мог бы стать во главе революционного движения в качестве его идейного руководителя. Стоит

[1] Владимир Бернштам — «В гиблых местах». «Мир Божий» 1906, № 5, стр. 239—242.

только вспомнить изложенные нами выше проекты каракозовцев. Администрация предвидела возможность такого исхода и в «Инструкции для наблюдения за государственным преступником Чернышевским», отмечая «значение, которым пользуется он в среде сочувствующих ему поклонников», указывала ряд особых мер «для отстранения Чернышевскому возможности побега и отклонения его вредного влияния на общество».

Первою из известных активных попыток освободить Чернышевского является попытка Германа Лопатина, относящаяся еще к тому времени, когда Чернышевский сидел в тюрьме Александровского завода. В 1870 году Лопатин находился в Лондоне, где сблизился с Марксом и принялся за перевод первого тома «Капитала», столь неудачно начатый было Бакуниным. Но в конце 1870 года он внезапно бросил эту работу и уехал в Россию.

«В голове Германа Александровича, — говорит Н. Русанов-Кудрин [1], — созрел отвлекший его от научной работы дерзкий, но чрезвычайно умно задуманный план — вернуться в Россию и освободить Чернышевского, который, как ему казалось, только и мог стать авторитетным руководителем русского, сильно обмелевшего к тому времени, революционного движения. Лопатин был уже близко у своей цели, пробираясь под видом члена географического общества все дальше и дальше на восток и возбуждая у сибирских обывателей даже предположение, что это — важный ревизор, путешествующий инкогнито, как вдруг телеграмма, посланная Третьему Отделению из Швейцарии пронюхавшим план Лопатина шпионом, помешала блестящему предприятию, а самого Германа Александровича привела к тюрьме».

Добравшись до Иркутска и собрав там первые сведения, Лопатин в начале февраля был арестован с паспортом поч. гр. Н. Любавина [2]. В своем письме к ген.-губ. Восточной Сибири Синельникову от 15 февраля 1873 года (уже после своего вторичного задержания) Лопатин сам сознается в своем намерении освободить Чернышевского в надежде, что, придав своему замыслу индивидуальный характер, он этим предотвратит усиление репрессий по отношению к Н. Г. И вот что он там говорит:

«Во время пребывания моего в Лондоне я сошелся там с некиим Карлом Марксом, одним из замечательнейших писателей по части политической экономии и одним из наиболее разносторонне образованных людей в целой Европе. Лет пять тому назад этот человек вздумал

[1] Статья Н. Кудрина о Г. А. Лопатине в «Галлерее Шлиссельбургских узников», ч. I, Спб. 1907, стр. 195.

[2] Н. Любавин был в это время студентом в Германии. Будучи в хороших отношениях с Лопатиным, он, повидимому, предоставил ему свой паспорт для поездки в Россию.

выучиться русскому языку; а выучившись русскому языку, он случайно натолкнулся на примечания Чернышевского к известному трактату Милля и на некоторые другие статьи того же автора. Прочитав эти статьи, Маркс почувствовал глубокое уважение к Чернышевскому. (Дальше идет хвалебный отзыв Маркса о Чернышевском, приведенный нами в первом томе (стр. 603—604) [1]... Я и прежде относился с большим уважением к трудам Чернышевского по политической экономии... Понятно, что такой отзыв со стороны столь компетентного судьи мог только увеличить мое уважение к этому писателю. Когда же я сопоставил этот отзыв о Чернышевском как писателе с теми отзывами о высоком благородстве и самоотверженности его личного характера, которые мне случалось слышать прежде от людей, близко знавших этого человека и никогда не могших говорить о нем без глубокого душевного волнения, то у меня явилось жгучее желание попытаться возвратить миру этого великого публициста и гражданина, которым, по словам того же Маркса, должна бы гордиться Россия». Все это привело Лопатина к мысли о необходимости сделать попытку к освобождению Чернышевского [2].

Два питерские приятеля Лопатина предложили ему нужную сумму денег, а при проезде его через Петербург три другие приятеля Лопатина, узнав о его замысле, снабдили его добавочными средствами, так что в общем у него собралось 1 085 рублей, — сумма нельзя

[1] Эти слова наводят на мысль, что Маркс не был чужд замыслу Лопатина об освобождении Чернышевского. Во всяком случае, из слов Лопатина ясно, что идейным родоначальником этого замысла был именно Маркс. И это несмотря на то, что и сам Лопатин, и Э. Бернштейн подчеркивают, что о плане Лопатина Маркс не знал. «Прощаясь с Марксом и Энгельсом, — пишет Бернштейн («Карл Маркс и русские революционеры», «Мин. Годы», 1908, ноябрь, стр. 2), — Лопатин не сообщил им о своем намерении освободить Чернышевского, так как оба они вообще неодобрительно смотрели на его экскурсии на родину и на связанные с ними опасности». При своей оценке Чернышевского Маркс не стал бы отговаривать Лопатина от его плана, если бы только тот был мало-мальски реален.

[2] Не забудем, что в то время среди русских за границей боролись две тенденции: одна анархическая во главе с Бакуниным и другая марксистская, представленная учениками Чернышевского. Лопатин сочувствовал второй и помогал Марксу бороться с влиянием Бакунина. Но так как у этой группы (Н. Утин, А. Серно-Соловьевич и пр.) не было такого вождя, как Бакунин, то естественно могла возникнуть мысль, что если бы во главе ее стал такой человек, как Чернышевский, то влияние Бакунина было бы быстро парализовано. Что Маркс мог только сочувствовать такому проекту, в этом не может быть сомнения. Возможно, что в разговорах с Лопатиным он и высказывал такую мысль, не облекая ее в форму конкретного плана, а Лопатин уже сам сделал из нее надлежащие выводы.

сказать чтобы особенно крупная для такого дела. «Уезжая из Лондона, — продолжает Лопатин, — я даже не сказал, куда я еду, никому кроме этих пяти человек, с которыми я списался ранее и от которых я взял деньги, да еще Элпидину в Женеве, которому мое намерение было известно ранее вследствие некоторых случайных обстоятельств... Я не сказал о своей затее даже Марксу, несмотря на всю мою близость с ним и на всю мою любовь и уважение к этому человеку, так как я был уверен, что он сочтет ее сумашествием и будет отговаривать меня от нее, а я не люблю отступать от раз задуманного мною дела».

Лопатин, по его словам, не знал даже, где в тот момент находился Чернышевский. Целый месяц он прожил в Иркутске, раньше чем собрал нужные сведения. Это долговременное проживание в Иркутске в связи с некоторыми другими промахами и независящими от его воли обстоятельствами, о которых он, впрочем, не распространяется, обратили на него внимание местной администрации. Но окончательно погубила дело нескромность Элпидина, проболтавшегося о замысле Лопатина одному вертевшемуся около него шпиону. Повидимому, именно из Третьего Отделения и дано было знать иркутским властям о проживании там Лопатина, который и был арестован, не успев приступить к осуществлению своего плана.

3 июня 1871 года Лопатин сделал неудачную попытку побега, а 7 августа ему удалось бежать. Впрочем, на свободе он пробыл недолго, и 6 сентября был снова задержан в Томске. Находясь в иркутской тюрьме, он и написал цитируемое письмо Синельникову, в котором между прочим говорил: «Быть может, узнав, что не существует никакого общества, имеющего целью освобождение Чернышевского, зная также, что я, вследствие всего случившегося со мною, поставлен в совершенную невозможность повторить еще раз свою попытку, и, наконец, приняв в соображение, что едва ли вероятно, чтобы нашелся еще другой такой сумасброд, который после всех неудач, потерпенных его предшественниками, решился бы пуститься вновь на такое рискованное и безнадежное дело, вы, может быть, найдете возможным дать более воли своей природной сострадательности и великодушию (столь законным в этом случае) и облегчить хотя до некоторой степени суровую строгость обстановки, окружающей этого глубоко несчастного человека, которому самое правительство, самые политические враги его не могут отказать в уважении» [1].

Замечательно, что очевидно под влиянием этого письма Синельников в письме к шефу жандармов от 27 февраля 1873 года не только

[1] «Герман Александрович Лопатин». Петр., Гиз, 1922, стр. 63 сл.

ходатайствовал перед III Отделением о смягчении участи Лопатина, но и просил облегчить несколько участь Чернышевского, переведя его на жительство в Якутск под особый надзор полиции. Просьба была доложена царю, который на ходатайство о Лопатине ответил отказом, повелев предать его суду, а относительно Чернышевского не дал никакого ответа. Жестокий тиран очевидно давно решил уже про себя, что, пока он жив, Чернышевский не выйдет из вилюйского острога.

Лопатин оказался счастливее: 10 июля 1873 года он бежал из Иркутска и уехал за границу.

Попытка Лопатина, предпринятая на-ура и совершенно неподготовленная, не могла привести ни к каким положительным результатам. Но что она имела отрицательные для Чернышевского последствия, это не подлежит сомнению. Страхи жандармов, и без того опасавшихся побега Чернышевского, еще возросли. После побега Лопатина из Иркутска председатель совета главного управления Вост. Сибири ген.-майор Дитмар командировал в Якутскую область и в Вилюйск штабс-ротмистра кн. Голицына как для проверки надзора за находящимися там политическими ссыльными, так и для секретного дознания, не имеет ли побег Лопатина действительной целью освобождение Чернышевского, и не находится ли он в связи с местными ссыльными. Вместе с тем якутскому губернатору предложено было принять меры к устранению всякой возможности побега Чернышевского и установить «неукоснительный надзор» за государственными преступниками.

Насколько жандармы тщательно следили за Чернышевским, показывает следующий факт. Достаточно было Н. Г. упомянуть в письме к жене от 28 сентября 1873 г., что у него хватит присланных денег и на следующий год (см. «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 63), чтобы III Отделение всполошилось. И специальная пометка шефа жандармов («Дело» № 230/ч. 26, лист 418) обращает на это особое внимание. Мысль о побеге Чернышевского давила жандармов как кошмар.

Об этом свидетельствует следующий инцидент, который можно было бы назвать в высокой степени комичным, если бы он не имел неприятных последствий для Чернышевского.

В декабре 1873 года Синельников получил анонимный донос, принять который всерьез мог только человек, совершенно невежественный в политических делах (а ведь это была одна из шишек в тогдашней администрации). В этом доносе сообщалось, что Утин и Бакунин, получив от Интернационала 12 тысяч рублей, взялись устроить побег Чернышевского, для чего уже приехали в Вилюйск, где находится и Лопатин. План заговорщиков сводился якобы к тому, чтобы поджечь

город с четырех концов и, пользуясь суматохой, вывезти Чернышевского, который будто бы выразил согласие на такой план. Себя автор письма выдавал за раскаявшегося революционера, предающего своих сообщников в надежде на милость правительства.

Бакунину было тогда 60 лет. Он с трудом передвигался, страдал одышкой и пр. Надо было быть слишком легковерным, чтобы поверить, что Бакунин тронется из Локарно на дальний северо-восток Сибири, да еще с такой рискованной задачей, для выполнения которой требовались молодые, свежие силы. Но еще смешнее было допустить, что у Бакунина может найтись какое-либо общее дело с Н. Утиным, с которым он (заведомо для всего мира, кроме высших российских сановников) был давно уже на ножах. Тем не менее Синельников всему этому вздору поверил и начал «действовать». Возможно, впрочем, что он просто хотел дать своим клевретам возможность на этом деле «подработать».

Итак, получив этот донос, Синельников 10 декабря отправил в III Отделение шифрованную телеграмму, в которой предлагал послать в Вилюйск полковника Купенкова «с ад'ютантом, жандармами и всеми средствами для успеха дела», прося ассигновать на это пять тысяч. Однако III Отделение поспешило вылить на голову ретивого администратора ушат холодной воды. 11 декабря оно ответило Синельникову, что письмо анонима, столь его взволновавшее, «вряд ли основательно», и рекомендовало ему денег не тратить, а лишь усугубить надзор за Чернышевским [1].

В начале января 1874 года из Цюриха поступает новый донос на ту же тему.

Для успокоения встревоженного администратора Шувалов сообщил, что Бакунин и Утин находятся в Европе.

Но Синельников, не дожидаясь утешения из Петербурга, захотел проявить энергию и ретивость. Он все же послал жандармского полковника Купенкова в Вилюйск для изловления бежавшего Лопатина (а может быть, в случае удачи, также Бакунина с Утиным). Об этом неожиданном нашествии на ничего не знавшего узника Купенков подробно сообщает в рапорте на имя Синельникова от 30 января 1874 года (напечатанном в упомянутой статье М. Н. Чернышевского) [2].

---

[1] Дело № 230/ч. 26, л.л. 425—427.

[2] Дело № 230/ч. 26, л.л. 443—444. — К рапорту были приложены: а) акт обыска в помещении Чернышевского; б) 12 листов его рукописей; в) тетрадь переписанных рукописей и г) два письма Чернышевского, адресованные Терсинскому (родственник его, служивший в синоде, через которого он писал своей жене).

Между прочим по дороге Купенков нагнал панику на местных чиновников и распорядился о задержании всех проезжих, возбуждающих то или иное подозрение, — распоряжение, сыгравшее впоследствии роковую роль в деле Мышкина.

Купенков произвел в комнате Чернышевского строгий обыск и забрал у него несколько рукописей и писем к родным. Но ничего «преступного» не нашел.

Из акта обыска, датированного 30 декабря 1873 г., видно, что комната Чернышевского имела в длину и ширину по 3½ сажени, в вышину 4 аршина, выходила двумя забранными решеткой окнами во двор, огороженный палями, т. е. это была настоящая тюрьма. Температура была в комнате 14° Р. при 38° мороза. У Чернышевского найдены были 380 руб., каковые отобраны и переданы на хранение исправнику; отобрано также 12 рукописей (отрывков), взятых якобы по неразборчивости и краткости времени. Обыск происходил с 10 часов утра до 4 часов вечера. Среди отобранных рукописей имеется несколько вариантов «Очерков содержания всеобщей истории человечества», начало рассказов А. М. Левицкого (рассказ первый) и часть поэмы «Гимн деве неба» (напечатанной в 1885 году в «Русской Мысли»).

Таким образом анонимное письмо, весьма похожее на шутку, имело для Чернышевского печальные последствия. Написал ли его злобствующий обыватель, желавший нагадить ссыльному, или, что более вероятно, кто-нибудь из ссыльных же, вздумавший поиздеваться над «начальством», — все равно, результатом было нашествие на квартиру Чернышевского, захват нескольких его рукописей и усугубление надзора за ним, вскоре приведшее к провалу попытки Мышкина.

Около того же времени родные Чернышевского, не имевшие представления о той жандармской вакханалии, которая разыгрывалась вокруг заживо погребенного, начали хлопоты о переводе его в более здоровое и близкое место. В «Деле» имеется просьба жены Чернышевского на имя царя и докладная записка ее шефу жандармов от 12 февраля 1874 года (они напечатаны в вып. I книги «Чернышевский в Сибири», стр. 185). По рассказу сына Н. Г., граф Шувалов в разговоре подал ему некоторую надежду. На самом деле Шувалов сделал на поданной ему записке пометку: «доложить при случае», а на прошении царю (вероятно, после доклада) другую пометку: «оставить» (надо полагать, без последствий).

В тот момент правительство меньше всего помышляло об освобождении Чернышевского или об облегчении его участи. Напротив,

если оно иногда и вспоминало о нем, то лишь для того, чтобы отягчить его существование и усугубить лежащий на нем надзор. 25 сентября 1874 года Потапов обратился к новому ген.-губернатору Восточной Сибири, барону П. А. Фредериксу, с конфиденциальным письмом, в котором требовал новых мер строгости по отношению к Чернышевскому. Потапов сообщал о получении им достоверных сведений, что сочувствующие Чернышевскому эмигранты составили подробный план попытки к его освобождению, при чем намерены прибыть в Сибирь предстоящею зимою и предполагают воспользоваться бланками разных правительственных учреждений и даже подписями начальствующих лиц, преимущественно в Якутской области [1]. Ввиду этого Потапов предлагал Фредериксу отдать распоряжение об усилении надзора за Чернышевским, обратить особое внимание на лиц, отправляющихся под каким-либо предлогом в Якутскую область, а также «поручить следить за служащими в Якутской области чинами на тот конец, дабы, в случае малейшего возбуждения с их стороны подозрения в правильности отправления ими служебных обязанностей, приняты были против них надлежащие меры и произведено строжайшее расследование совершенных ими упущений» [2].

Результатом этого письма было принятие ряда мер по надзору за проезжавшими через Якутскую область лицами (а проезжало их в те времена очень мало), и к моменту прибытия туда И. Мышкина почва для его заарестования была таким образом вполне подготовлена.

После провала своей типографии, печатавшей в Москве нелегальные революционные книги, Мышкин в 1874 году выехал за границу. Возникла ли у него мысль об увозе Чернышевского из Вилюйска в результате заграничных встреч [3] или самостоятельно, нам не известно.

---

[1] Это показывает, что о плане Мышкина в революционных кругах уже болтали, а через предателей эта болтовня дошла и до жандармов.

[2] Дело № 230/ч. 26, л. 454.

[3] Если Мышкин не знал о попытке Лопатина в России, то он мог узнать о ней, равно как о положении Чернышевского, за границей. Во втором томе лавровского журнала «Вперед» была напечатана без подписи автора корреспонденция Лопатина «Из Иркутска» (перепечатана в цитированном сборнике «Г. А. Лопатин», стр. 91 сл.). Здесь говорится о жизни Чернышевского в Сибири, о совершенных по отношению к нему беззакониях, сообщается намеком о попытке Лопатина и высмеиваются «бесконечные разговоры, слышавшиеся непрерывно во всевозможных либеральных кружках, относительно необходимости устроить освобождение Чернышевского насильственным образом, разговоры, ни разу не переходившие за пределы обыкновенной ли-

Хорошо знавшая Мышкина Е. Брешковская, судившаяся вместе с ним по процессу 193-х, говорит по поводу этой попытки: «Его самого спасла встреча с крупной умственной силой (П. Войнаральским.—*Ю. С.*), выведшая его на настоящий путь. И мысль Мышкина естественно направилась на поиски такой еще более крупной умственной силы, которая могла бы оказывать подобное же воздействие уже не на единицы, не на десятки, а на сотни и тысячи, на весь тот запас молодых сил, которыми уже тогда была так богата Россия. И само собою понятно, что, ища и оглядываясь кругом, он не мог не остановиться на фигуре Николая Гавриловича Чернышевского, огромным силуэтом выделявшейся на фоне подцензурной России и отчетливо вставшей тогда в представлении русской молодежи, воспитавшейся на гениальных произведениях этого мощного ума, этой великой души. Мышкин отдался весь идее увидеть Чернышевского в среде русских революционеров и поставил себе ближайшей целью вырвать его из когтей Александра II» [1].

Вернувшись для этой цели в Россию, Мышкин со свойственной ему энергией взялся за дело. Сойдясь с писарем иркутского жандармского управления Непейцыным, Мышкин получил от него — неизвестно, хитростью или за деньги — печатные бланки, снимок печати управления, копии подписей капитана Соколова и поручика Бурлея и ряд сведений о порядке содержания Чернышевского в Вилюйске и надзоре за ним. Вооруженный этими сведениями и документами, Мышкин в костюме жандармского офицера 12 июля 1875 года явился в Вилюйске к исправнику Жиркову, представившись под именем поручика корпуса жандармов Мещеринова. Пред'явив отношение иркутского жандармского управления на имя исправника от 4 июня за № 419 и телеграмму от того же числа за № 317, а также предписание охранявшему Чернышевского унтер-офицеру Аггею Фомину от того же 4 июня за № 418 об оказании содействия Мещеринову к сопровождению

беральной болтовни», а между тем причинявшие Чернышевскому большой вред.

В № 3 «Вперед», тоже вышедшем в 1874 году, была напечатана другая корреспонденция Лопатина «Не-наши», в конце которой снова упоминалось о Чернышевском. Здесь, между прочим, сообщалось, что правительство назначает в Вилюйск для надзора за Н. Г. жандармов, знающих Лопатина в лицо, и дается понять, что Г. А. Лопатин от своей попытки уже отказался.

Эти статьи могли оказать известное действие на Мышкина, который был человеком не слов, а дела, и побудить его предпринять свою попытку.

[1] Е. Брешковская — «Ипполит Мышкин и Архангельский кружок». М. 1906, стр. 19.

содержавшегося в вилюйском тюремном замке [1] государственного преступника Чернышевского, переведенного в Благовещенск, он потребовал передачи ему заключенного.

Неоднократно высказывалось мнение, что попытка Мышкина не удалась потому, что он по неопытности надел аксельбант на левое плечо вместо правого. Как выясняется из цитируемого донесения, Мышкин действительно допустил эту оплошность, которую исправник сразу заметил. Но и без этого промаха попытка его все равно обречена была на провал ввиду тех строгостей, какие применялись к Чернышевскому на основании существоваших распоряжений высшей власти [2]. На Мышкина обращено было внимание еще по дороге в Вилюйск. Как раз накануне его приезда исправник получил два письма: одно от письмоводителя Сунтарской инородной управы от 8 июля и другое — от помощника исправника Поротова, обращавших его внимание на странного путешественника. Получив эти сведения и имея распоряжение губернатора от 24 декабря 1874 года за № 4 и от июня месяца 1875 года за № 16 не допускать к Чернышевскому никого без его, губернатора, разрешения, исправник не только не выдал Чернышевского, но и не допустил Мещеринова видеться с ним или производить у него обыск, как хотел того Мещеринов, а напротив усилил караул в остроге, как наружный, так и внутренний.

Тогда Мышкин об'явил, что он поедет в Якутск, чтобы взять там соответствующее разрешение у губернатора. Но так как он уже навлек на себя подозрение исправника, то последний назначил для присмотра за ним двух «благонадежных» казаков Бубякина и Маршинцева. Мышкин понял, что фактически он уже взят под стражу и едет с конвоем, и решил отделаться от своих непрошенных спутников. На 280-й версте от Якутска Мещеринов неожиданно произвел 4 выстрела из револьвера в сопровождавших его казаков, при чем Бубякина опасно ранил, а сам кинулся в лес, куда в погоню за ним бросился казак Маршинцев.

Немедленно была организована облава, и в ночь на 20-е июля Мышкин был задержан. Еще до того Якутский губернатор признал

---

[1] Это характерное выражение употреблено в донесении ген.-губ. Вост. Сибири Фредерикса на имя начальника III Отделения. Вот как сама высшая администрация квалифицировала положение Чернышевского в Вилюйске.

[2] Реакционный журналист П. П. Суворов в своих «Записках о прошлом», М. 1898, ч. I, стр. 187—188, рассказывает в совершенно извращенном виде попытку освобождения Чернышевского, приписывая все дела Мышкина Лопатину. — О причинах неудачи Мышкина см. еще в статье М. Александрова — «Арест И. Н. Мышкина». «Былое», 1906, № 10, стр. 259—260.

необходимым командировать в Вилюйск, впредь до особого распоряжения, шесть человек рядовых при одном унтер-офицере с ружьями и патронами из Якутской местной команды для усиления надзора за Чернышевским, ввиду того, что местные казаки были весьма плохо вооружены старой конструкции «ружьями, из которых без опасения трудно стрелять».

Мышкин, первоначально назвавший себя священническим сыном М. П. Титовым, «сознался, что имел желание освободить Чернышевского, и при этом выразился, что сочувствовать Чернышевскому он считает обязанностью всякого порядочного человека, при чем соучастников своих не назвал никого и вообще кроме главной своей цели в остальном упорно запирается» [1].

Еще до прибытия этих донесений в III Отделение последнее из телеграммы узнало о покушении Мышкина, которое естественно вызвало в правящих сферах большой переполох. 15 августа Ясиновским была послана первая телеграмма о попытке Мышкина; она была доложена царю 17 августа (тогда телеграммы шли медленнее, чем теперь). 16 августа была отправлена телеграмма Фредериксом, излагавшим в ней рапорт Якутского губернатора. Она была доложена царю вместе с первой. Сначала Мезенцов заподозрил было, что под именем Мещеринова скрывается отставной поручик Николай Грибоедов, и что при нем должна была находиться вдова подпоручика Зинаида Апсеитова (вероятно, результат откровенных показаний, данных некоторыми из арестованных по делу о пропаганде). Но в сентябре личность Мышкина была уже выяснена.

Мысль об освобождении Чернышевского приходила тогда в голову еще одному из видных революционных деятелей того времени, а именно Д. Клеменцу. По словам Л. Дейча, одна из нелегальных поездок Д. Клеменца была предпринята им в Сибирь с целью освободить томившегося в Вилюйске Чернышевского. Дейч полагает, что при умелости и ловкости Клеменца ему удалось бы выполнить задуманное предприятие, но, к несчастью, когда у него все уже было подготовлено, он узнал о неудачной попытке Мышкина, после чего, скрепя сердце, ему

[1] Рапорт начальника иркутского жандармского управления шефу жандармов от 18 августа 1875 года, в Деле № 230/ч. 26, л. 483 сл. — Донесение ген.-губернатора Фредерикса там же, л. 496 сл. — Полностью оба эти документа напечатаны мною в статье «Вокруг ссылки Н. Г. Чернышевского». «Каторга и Ссылка» 1927, № 5/34, стр. 176—180. — Вкратце обстоятельства эти изложены в обвинительном акте по делу 193-х («Государственные преступления» под ред. Богучарского, т. III, Спб. 1906, стр. 194—195). — Донесение Фредерикса было доложено царю в Ливадии 26 сентября 1875 года. Что по этому поводу сказал «благодушный монарх», из дела не видно...

пришлось отказаться от своего плана [1]. Вместе с Клеменцом поехал в Иркутск отставной артилл. подпоручик Н. А. Грибоедов. Целью их было подновление сведений, доставленных за пару лет до того в Петербург Лопатиным, и приобретение некоторых подписей новых чиновников, успевших сменить прежних [2]. Какие-то смутные сведения об этой затее дошли до полиции; и этим об'ясняется, что когда III Отделение узнало о попытке Мышкина, то решило, что в ней участвовал Грибоедов. На самом деле Клеменц и Грибоедов о Мышкине не знали.

Сам Чернышевский и не подозревал о предприятии Мышкина. Рейнгардт (цит. ст., стр. 472—473) рассказывает, что по возвращении в Россию Чернышевский в разговоре с ним по поводу этой попытки заметил: «Я ничего не знал и не слыхал об этом ранее. Однажды жандарм, который следил за мной, заявил мне, чтобы я оставался дома, не выходил никуда, так как едет жандармский офицер освободить меня; на это я ему выразил сомнение, сказав, что не может быть, тут что-то не то. На мои слова жандарм ответил, что он также думает, что должно быть что-то не то, но во всяком случае попросил не выходить из дома. Когда наступил вечер, то жандарм пришел ко мне и об'явил, что жандармский офицер оказался не настоящим, и его уже арестовали».

Попытка Мышкина имела только тот результат, что надзор за узником был еще усилен. Впрочем, мы несовсем правы. Был еще другой результат: вилюйский исправник Жирков получил орден Станислава 2-й степени за «находчивость», проявленную им в этой истории. 17 июля 1876 года царь утвердил предложение об этом пожаловании «вне правил, за особую распорядительность». Переписка по этому важному вопросу занимает около 30 листов цитируемого «Дела» (л. л. 533—561).

Сам Чернышевский, относясь с глубоким уважением к инициаторам попыток его освобождения и горько скорбя об их гибели, относился отрицательно к этим попыткам. По словам Рейнгардта (цит. ст., стр. 474), он находил, что все это были напрасные затеи. «Я лгать и притворяться не умею, — говорил он известному артисту Модесту Ивановичу Писареву, посетившему его в Астрахани в 1884 году, — а потому сразу бы попался и сказал бы всю правду. Это самое я высказывал многим, которым хотелось освободить меня, даже одному жан-

[1] Лев Дейч — «Один из последних семидесятников». «Голос Минувшего» 1914, № 6, стр. 91.

[2] NN — «Н. Г. Чернышевский в Вилюйске». «Мин. Годы» 1908, № 3, стр. 21.

дармскому офицеру, ухаживавшему за Ольгой Сократовной и предлагавшему за ее благосклонность мою свободу, от чего я отказался» [1].

Более того, считая побег из Вилюйска невозможным и понимая, что все подобные попытки способны только ухудшить его положение [2], Чернышевский пытался парализовать неблагоприятные для него последствия этих попыток, давая понять кому надлежит, что он бежать не собирается. Так, в письме к жене от 30 декабря 1873 года, которое шло через руки администрации и следовательно было ею прочтено, он говорил: «Кстати, по поводу делания предположений о будущем. В Европе и в России и во всякой на свете стране есть очень много бестолковых людей. От беспокойных людей могут выходить всяческие глупые слухи. Могли какие-нибудь слухи быть и обо мне; могли тревожить тебя. Не тревожься. Мое здоровье хорошо. Но я не могу переносить ничего физически трудного. Одна ночь, проведенная в сырости, убила бы меня. Следовательно, я не могу желать ничего физически трудного и ни на что подобное не мог бы согласиться. И даю тебе, мой друг, честное слово: не уеду отсюда никаким другим способом, как тот, которым приехал сюда. Не могу. Мое здоровье не позволяет. Потому и не может быть у меня сомнения в том, что единственный способ уехать отсюда, возможный для меня: ехать с теми удобствами, с какими я ехал сюда. Иначе не имею физической силы. И даю тебе честное слово: не соглашусь ехать иначе» [3].

То же самое он повторяет и в письме от 25 января 1875 года. Ссылаясь на первое письмо, он снова говорит о слухах, способных возбудить у его жены опасения за его жизнь или безопасность. Ни жена его, ни кто-либо из знающих его людей не могли де сомневаться в его рассудительности. «Но, чтобы написать уверение, излишнее лично для тебя, — продолжает он, давая понять, для кого собственно он

---

[1] Впрочем, содержание разговора с М. Писаревым похоже на выдумку.— По сообщению В. Кокосова (цит. соч., стр. 313), Чернышевский сказал одному из сопровождавших его в Сибирь лиц: «Как это я побегу?.. Да меня тотчас же бы и поймали; ни бегать, ни лгать я не умею».

[2] В. Кокосов (стр. 317) приводит следующие слова полковника Винникова: «А знаете ли, попытка Мышкина к его увозу, от которой, как говорят, он отказался наотрез, на много лет затормозила его возвращение в Россию». Отчасти это было верно.

[3] «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 87. — Александр Лебедев («Н. Г. Чернышевский в 1886—1889 годах». «Ист. Вестник» 1910, № 4, стр. 194) со слов саратовского старожила Хованского, посетившего Чернышевского в Астрахани, передает следующие слова Н. Г. относительно попытки Мышкина и др.: «Они не знали, что я и ездить в е р х о м не умею».

писал, — я выбрал форму письма к тебе, потому что нашел эту форму наиболее достоверной в глазах всякого постороннего нам с тобой рассудительного человека». И вот для этих посторонних людей, т. е. для чинов III Отделения, Чернышевский повторяет свое заявление: «Даю тебе честное слово, что не поеду отсюда иначе, как обыкновенным, ни от кого никак не скрываемым, спокойным способом, с соблюдением всех форм и правил» (там же, стр. 133—134).

Если первое письмо было, вероятно, вызвано дошедшими до него слухами о попытках Лопатина, то второе письмо имело отношение не к попытке Мышкина, как могло бы показаться на первый взгляд, ибо эта попытка произошла только через полгода, а к проекту поездки жены Чернышевского для лечения в Италию, при чем возникло опасение, что полиция не выдаст ей заграничного паспорта.

В рапорте упомянутого выше полковника Купенкова, совершившего в конце 1873 года налет на помещение Чернышевского, сообщается следующее: «Встретив меня в разорванном халате и в грязном белье, Чернышевский спросил, чем он обязан моему посещению (жандарм хотел сказать: «чему он обязан моим посещением». — *Ю. С.*), и что привез я ему — облегчение или отягощение его положения. Ответив, что и то, и другое будет зависеть от него, я после непродолжительного разговора указал, что те, которые считают себя его друзьями, вредят ему, делая попытки к освобождению его из Сибири и подобным образом действий не только отнимают у правительства возможность облегчить его положение, но напротив вынуждают его принимать более строгие меры к содержанию. На это Чернышевский ответил: «Я их друзьями не считаю [1] и никогда никого об этом не просил и узнал только из газет, читая процесс Нечаева (?). Согласитесь, что вы никогда не забудете фамилий Пушкина, Гоголя и Лермонтова; так современная молодежь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу, потому что я также — передовой человек в русской литературе. Если те идеи, которые я проводил десять лет тому назад, признаны преступными, то за них я потерпел довольно, подчиняясь суду, и не знаю за что, после истечения срока каторги, отягчают мою участь содержанием здесь и воспрещением печатать мои сочинения. Это — единственный источник моей семьи, которую я обязан поддерживать своим трудом. Другого труда, кроме литератур-

[1] Разумеется, полагаться на передачу слов Чернышевского жандармом не приходится. Как бы Чернышевский ни относился к попыткам его освобождения, он никогда не стал бы отзываться отрицательно о революционерах, рискующих вдобавок своей головой для его спасения, перед ненавистным жандармом, приехавшим для сыска над политическими ссыльными.

ного, я не знаю, стало быть, этим запрещением мне наносится денежный убыток, по крайней мере, в десять тысяч рублей в год, и я вместо того, чтобы помогать семье, должен брать от нее последние средства для своего содержания». Я отвечал, что в числе многосложных обязанностей, лежащих на администрации, предупреждение преступлений составляет почти первую заботу, и если он согласился с решением суда, что идеи, которые он распространял в печати, преступны и вредны для общественного спокойствия, то из этого само собою следует, что правительство не может допустить его дальнейшей литературной деятельности [1]. Что же касается до особых мер, принятых к пресечению его побега из Сибири, то из процесса Нечаева (?) ему должно быть известно, вследствие каких причин эти меры приняты и кем они вызваны.

«Далее в разговоре на последнюю тему Чернышевский высказал, что если бы ему предложили бежать, то он не согласится на это из простого благоразумия, ибо скрываться не умеет и не желает замерзнуть или утонуть в окрестностях Вилюйска; но, разумеется, если бы ему предстояла возможность уехать из места ссылки с теми же удобствами, с какими он был доставлен, то он не прочь воспользоваться услугой. «Я боюсь холода и физических усилий, и натура моя не может переносить их; человеку и с ненадорванными силами подобный дальний путь тяжел, а для меня и после дороги с удобствами потребовалось более недели на отдых, в продолжение которой я не вставал с постели. Да я еще надеюсь, что меня правительство возвратит из ссылки само, оно еще будет во мне нуждаться» [2].

«Заявление мое о намерении произвести обыск в его помещении Чернышевский принял совершенно спокойно. После обыска Чернышевский сказал, что охотно напечатал бы в газетах своим доброжелателям не делать к освобождению его никаких попыток, и, если я верю его честному слову, то он дает его в том, что помимо распоряжения начальства из Вилюйска не уедет».

Этого распоряжения Чернышевскому пришлось дожидаться еще десять лет.

---

[1] Мы не останавливаемся здесь на жандармской логике, по которой человеку можно запрещать «дальнейшую» литературную деятельность ввиду того, что прошлая не понравилась суду. Но характерно, что и этот ограниченный жандарм своими словами подтверждает (в который уже раз), что Чернышевского осудили за его литературную деятельность. Купенков повторял общее мнение, точно соответствовавшее действительности.

[2] Последние слова совершенно непонятны. Мы думаем, что Купенков, не поняв какого-то заявления Чернышевского, переврал его.

5. Последние годы вилюйской жизни

Мы уже говорили о том, что после попытки Мышкина надзор за Чернышевским был еще усилен. В остроге появился военный караул и, как рассказывает Шаганов, Чернышевского с полгода не выпускали за ворота. Потом стали выпускать, но когда он отправлялся куда-либо по городу, за ним следовал издали казак или жандарм, глядел куда он заходил, и ждал его выхода. За перепиской его стали следить еще более строго, чем прежде [1], и т. д.

Теперь над Чернышевским опустилась беспросветная ночь. Исчезли надежды на его освобождение как легальным, так и нелегальным путем. Еще восемь лет суждено было промучиться ему в далекой глуши, «в полном одиночестве ума и сердца», восемь долгих лет в окружении полярной ночи, истощивших его духовные силы.

«В последние годы о Чернышевском говорилось все меньше и меньше,— пишет Короленко.— Его «Что делать?» читалось и комментировалось, но лучшие его произведения, вся его яркая, кипучая и благородная деятельность постепенно забывалась по мере того, как истрепывались и становились библиографической редкостью книжки «Современника». Носились слухи, что «умственные способности его угасли, и даже что он — помешанный» [2].

Вместе с тем и «Дело» III Отделения о Чернышевском становится бессодержательным и бледным. Теперь там сообщается главным образом о посылаемых им рукописях и письмах, из которых некоторые передаются жандармами по назначению, а другие задерживаются. Героический период ссылки Чернышевского, если так можно выразиться закончился.

Но революционеры о нем не забыли, хотя, поглощенные текущей злобой дня, вспоминали уже о нем как о чем-то давно прошедшем и отошедшем в историю.

Так, в предисловии к «Письмам без адреса», напечатанным в № 2 лавровского журнала «Вперед» (1874 г.), между прочим говорилось (стр. 250—251):

«В ряду имен личностей, пробудивших русскую мысль и направлявших поколения русской молодежи последнего периода к настоящим общественным задачам, самое свежее и едва ли не самое теплое вос-

---

[1] Характерно, что письмо его от 9 ноября 1875 года было получено родными не в его конверте, а в казенном, при чем адрес был написан писарской рукой (см. «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 187).

[2] В. Короленко — «Воспоминания о Чернышевском». «Рус. Богатство» 1904, № 11, стр. 49—50.

поминание оставило имя Николая Гавриловича Чернышевского. Как мыслитель и как публицист, как человек и как общественный деятель он врезал могучий и неизгладимый след в историю русской мысли. Он вызвал целую школу людей, вдохновленных его искренним чувством вражды ко всему лицемерному, любви к русскому народу, поставленных на настоящий путь его светлою, могучею мыслью. Многие из них изменили, другие утомились, отстали, но то, что есть еще живого, то, что имеет будущность в деятельности людей, бывших хотя временно под его влиянием, принадлежит именно этому влиянию. Его уважало всё мыслящее в России, всё искренно желавшее блага России, уважало даже тогда, когда расходилось с ним в приемах литературного дела. Его горячо любили все его близко знавшие. Ему верила русская молодежь, которая добывала себе опытом право верить весьма немногим. Его ненавидели лицемеры литературы, пошляки прессы, лакеи русского правительства, враги русского народа. Но он не был только публицистом, стоявшим в первом ряду русских литературных деятелей, а по влиянию на русскую мысль не имевшим себе равного между современниками. Николай Гаврилович Чернышевский был заметным уяснителем сложных задач социологии в эпоху между главными произведениями Прудона и основными трудами Маркса, когда в Европе была заметною лишь деятельность Лассаля, гораздо более замечательная в агитационном, чем в теоретическом отношении.

«Как влиятельный публицист, как любимец молодежи, как искренний деятель на пользу русского народа, как один из передовых мыслителей Европы по социологии в данную эпоху, как одно из самых светлых имен России, — Николай Гаврилович Чернышевский должен был вызвать вражду правительства и его преследование. Он их и вызвал. Как всякая личность, борющаяся в России за народ и за правду противу лицемерной, себялюбивой, но могучей власти, он должен был погибнуть. Он и погиб. Для того, чтобы погубить его, не остановились перед подлогом, перед нарушением всех элементарных начал справедливости, но когда же русское правительство останавливалось перед столь мелочными для него вещами? С тех пор все тяжелее ложится на мученика за правду, на мученика за народ русский преследование власти, враждебной правде, враждебной русскому народу. Все в более и более далекую глушь ссылают того, кто совершил преступление, неизгладимое в глазах русского правительства, преступление быть любимым и уважаемым, когда оно не заслужило ни любви, ни уважения. Все зорче надзор за жертвою высочайшего произвола, высочайшей ненависти. Но люди, подобные Николаю Гавриловичу Чернышевскому, не сгибаются под давлением палачей. Не согнулся и он. И не согнется».

Знаменитая демонстрация 6 декабря 1876 года на Казанской площади в Петербурге, устроенная агитировавшими среди рабочих землевольцами, также показала, что революционеры живо помнят великого проповедника коммунизма. Плеханов в своей речи, произнесенной во время демонстрации, говоря о преследовании царским правительством лучших русских людей, указал на пример Чернышевского и охарактеризовал его значение для русской революции.

В № 1 «Начала», органа русских революционеров, за март 1878 года, помещена была корреспонденция из Сибири, где говорилось: «Н. Г. Чернышевский находится с конца 1872 г. на поселении в Вилюйске Якутской области. Он живет там в остроге; впрочем, его выпускают гулять свободно, без конвойных. В остроге же для наблюдения за ним живут: жандарм, казачий урядник, два простых казака и, со времени попытки Мышкина освободить его, семь человек солдат. В 1876 г. Чернышевского хотели было (?) перевести в Черниговскую волость, верстах в 140 от Иркутска по Московскому тракту, но оставили в Вилюйске, тоже благодаря этой попытке к освобождению. Чернышевский положительно не хочет бежать, чувствуя себя не в силах преодолеть все трудности пути, так что всякая попытка, ухудшая его положение, не может достигнуть цели [1]. Однако, несмотря на его физическую слабость, все рассказы о том, что он будто бы чуть не помешался, рассказы, ходившие с таким упорством в Петербурге, лишены всякого основания. Вот как он проводит время: днем, особенно зимою, он читает (у него масса книг, и он часто получает новые) или спит, а ночью пишет и большею частью написанное бросает в огонь, летом он по целым дням бродит по тайге, окружающей Вилюйск. Общества подходящего для него в этом городе, конечно, нет, и он с сожалением вспоминает про то время, когда он был еще в каторге, в Александровском заводе. В бытность свою там он написал роман из времен и на тему «российского пробуждения» 60-х годов, под заглавием «Старина». В деньгах Чернышевский, повидимому, не нуждается» [2].

---

[1] Отсюда видно, что, согласно желанию Чернышевского, революционные круги были поставлены в известность относительно его категорического отказа уйти из ссылки нелегальным путем. Однако, сообщение В. Короленко (цит. ст., стр. 49) о том, что после побега Мышкина «Чернышевский обратился с положительной и категорической просьбой не делать впредь подобных попыток, и эта просьба была напечатана в 70-х годах в заграничных изданиях», возбуждает сомнения. Мы не знаем, о каком издании здесь говорится.

[2] Перепечатано у Базилевского (Богучарского) в «Революционной журналистике 70-х годов».

Революционно настроенная часть русского общества не забывала о Чернышевском. Ни одна вечеринка не обходилась не только тогда, но и в гораздо более позднее время без известной студенческой песни, в которой говорилось:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За героев его,
За его идеал!

На этой почве происходили и курьезы. Так 15 марта 1881 года врач Ставропольской земской больницы Витевский послал в Вилюйск на имя Чернышевского следующую телеграмму: «Твои сочинения исполнены мира и любви. Ты этого совсем не желай [1]. Твой неизвестный ученик Витевский». Телеграмму, конечно, задержали, и началась целая переписка. Оказалось, что В. Д. Витевский состоит под надзором полиции, как привлекавшийся по делу А. Соловьева (покушавшегося 4 апреля 1879 года на Александра II). Чем кончилась для него история с телеграммой, из дела не видно... [2]

Желая изгладить из общественного сознания самую память о Чернышевском, правительство упорно не разрешало перепечатки даже его старых сочинений, пропущенных в свое время цензурой. Но время от времени такие попытки делались. Так в 1865 году П. Лавров представил в цензурный комитет перевод «Политической экономии Милля», сделанный Чернышевским, и несколько его оригинальных статей, прося разрешения напечатать их с именем Чернышевского; но получил отказ [3]. Прошло 12 лет, и попытка была повторена.

22 октября 1877 года Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым за подписью председателя сен. Репинского и секретаря о-ва Э. Ватсон подало в III Отделение просьбу о разрешении издать некоторые сочинения Чернышевского в интересах помощи его семье [4]. При этом авторы ходатайства приводили любопытные моти-

[1] Тут телеграф что-то переврал.

[2] Дело № 230/ч. 26, л. 613а сл.

[3] «Материалы для биографии П. Л. Лаврова» под ред. П. Витязева, вып. I. Петр. 1921, стр. 87.

[4] В вып. II книги «Чернышевский в Сибири» (стр. 219 сл.) приводится записка А. Пыпина на имя Репинского. В ней, между прочим, говорилось: «К тяжким испытаниям семейства и самого Чернышевского присоединились еще и другие, — злоупотребление его имени здешними агитаторами и воровское печатание его сочинений за границей... Безобразная казанская история (т. е. знаменитая революционная демонстрация на Казанской площади в декабре 1876 г., в Петербурге, где Плеханов произнес речь о значении Чернышевского! — *Ю. С.*) переполнила меру негодования в несчастной семье

вы: 1) за границею чуждые Чернышевскому люди издают его сочинения с преступными целями (мотив, впоследствии подробно развитый в записке А. Пыпина от 1881 г.) и 2) сын Чернышевского пошел добровольцем в действующую армию «в надежде искупить своею кровью смягчение участи отца» (тогда шла война с Турцией).

Шефу жандармов, разумеется, очень понравилось упоминание о бессовестных эмигрантах, издающих, по выражению А. Пыпина, воровским образом сочинения Чернышевского, и он даже сбоку отметил это место словами: «это очень важно». Но тем не менее Мезенцов, ссылаясь на высочайшее распоряжение 1871 года о недопущении печатания сочинений государственных преступников, изданное по случаю попытки издать легально некоторые старые произведения Герцена, в ходатайстве Литературного фонда отказал [1].

Говоря о «воровском» издании сочинений Чернышевского эмигрантами, преследующими при этом «преступные цели», Пыпин, несомненно составлявший записку для Репинского, имел ввиду как издание полного собрания сочинений Чернышевского, предпринятое в конце 60-х годов Н. Николадзе, Элпидиным и пр. и продолжавшееся в 70-х годах чайковцами, так и незадолго до того осуществленное П. Лавровым издание романа «Пролог». Рукопись этого романа была доставлена в июле 1870 года Пыпину каким-то священником, приехавшим из Восточной Сибири, после чего провалялась у него семь лет и валялась бы еще дольше, если бы по счастливой случайности в руках Лаврова не очутилась другая копия романа, снятая в Александровском заводе М. Муравским: последний передал рукопись Г. И. Успенскому, а тот отдал ее Лопатину, который и доставил ее Лаврову. Пыпин же вообразил, что копия была сделана с имевшейся у него рукописи одним из лиц, которым он давал ее читать. А так как вдобавок он опасался, что опубликование ее редакцией «Вперед» навлечет на Чернышевского новые репрессии, то он вступил с Лавровым в весьма неприличную переписку, привлекши к участию в ней и одинаково настроенного противника революции М. Драгоманова [2]. Ругательства Пыпина Лаврова не убедили, и роман вышел в свет летом 1877 года, почти за 30 лет до его опубликования в России.

Чернышевского» и т. д. в том же духе. Если бы Чернышевский знал, какими способами его родные и в частности А. Пыпин «защищают» его интересы, он бы не погладил их за это по головке.

[1] Дело № 230/ч. 26, л. 562 сл.

[2] Эта переписка, не делающая чести родным Чернышевского, напечатана в извлечениях во втором выпуске книги «Чернышевский в Сибири», стр. XXXV—XXXVII.

Но даже загнанный в дикую глушь и запертый за семью замками, Чернышевский продолжал внушать страх правящим кругам. В 1877 году ссыльный В. Кошкарев передал Чернышевскому поклон от товарища по ссылке М. Оссовского; в результате губернатор нарядил целое следствие, и злополучного Кошкарева таскали по распросам четыре года [1]. 22 апреля 1878 года якутский губернатор Черняев обращает внимание на то, что Чернышевский посылает своим родным самостоятельные работы (в том числе воспоминания о своих предках), а в письмах излагает философские рассуждения, обещая и впредь поступать таким же образом, и запрашивает у III Отделения, как с этим быть. В результате тогдашний шеф жандармов, ген. Мезенцов, извещенный о недоумениях якутского губернатора генерал-губернатором Вост. Сибири, ответил на его запрос распоряжением от 18 июля 1878 года [2], в котором предлагал «предупредить Чернышевского, что на основании установленных правил он имеет право в письмах своих к родным лишь извещать их о своем положении в приличных формах и выражениях, не касаясь вовсе посторонних обстоятельств» [3].

Затем наступает долгий перерыв. В «Деле» III Отделения о Чернышевском за это время имеется лишь характерная записка А. Пыпина, о которой мы говорим ниже. Идет обыденная канцелярская переписка о присылаемых Чернышевским письмах к жене. И вдруг тишь да гладь прерывается инцидентом, показывающим, с какою враждою и настороженностью правительство относилось к Чернышевскому еще в конце 1881 года, почти через двадцать лет после из'ятия его из рядов живущих.

14 августа 1881 года якутский губернатор Черняев имел неосторожность переслать в Департамент Полиции, сменивший к тому времени якобы упраздненное «Третье Отделение собственной его императорского величества канцелярии», просмотренное им письмо «государственного преступника» Чернышевского без надписи «секретно». Бывший тогда директором Департамента пресловутый Вячеслав Плеве не мог, разумеется, оставить без внимания столь важное упущение. 20 октября он разразился по адресу провинившегося губернатора следующим репримандом [4].

---

[1] NN — «Н. Г. Чернышевский в Вилюйске». «Мин. годы» 1908, № 3, стр. 13.

[2] Дело № 230/ч. 26, л. 576 и 586.

[3] «Внимание» Мезенцова привело к тому, что Чернышевский на девять месяцев прекратил всякую переписку с родными. Повидимому, только путем таких героических средств он мог протестовать против насилий со стороны администрации.

[4] Дело № 230/ч. 26, л.л. 644—645.

«При отношении от 14 прошедшего августа за № 2 934 без надписи «секретно» препровождено Вашим превосходительством в Департамент государственной полиции письмо Чернышевского.

«Принимая во внимание, что пересылка корреспонденции столь важного государственного преступника ни в коем случае не должна быть подвергаема оглашению, я считаю долгом покорнейше просить Вас, милостивый государь, сделать распоряжение, чтобы письма Чернышевского отправлялись впредь не иначе, как при препроводительных бумагах с надписью «секретно» [1].

Распоряжение Мезенцева, переданное 27 ноября якутским губернатором вилюйскому исправнику для сообщения Чернышевскому, а также недопущение свидания его с частным врачом Капелло вывели Н. Г. из себя. Под влиянием раздражения он решил прекратить сношения с местной администрацией, коей, видимо, приписывал эти стеснения, и обратиться непосредственно к верхам. Вернув присланные ему из Якутска лекарства, он написал какое-то письмо шефу жандармов (тогда им был Дрентельн), в котором, повидимому, высказывал подозрение, что его собираются отравить. Было ли это душевным припадком или имелись какие-либо основания для такого подозрения, мы не знаем. Губернатор 23 декабря поручил об'яснить Чернышевскому, что слухи о намерении отравить его ни на чем не основаны, что по этому поводу будет произведено расследование, и что впредь писать к шефу жандармов он должен через губернатора и при том в «выражениях, подобающих высокопоставленной особы» (sic). По оплошности бумага эта была пред'явлена Чернышевскому в оригинале, при чем он сделал на ней резкую надпись по адресу якутских чиновников, не знающих де законов, и указывал, что ни разрешать, ни запрещать писать ему к шефу жандармов губернатор не вправе. В результате исправник получил выговор за сообщение Чернышевскому официальной секретной бумаги, а Чернышевский за неприличные выражения был лишен права выхода из ворот тюремного замка втечение трех дней [2].

Еще более характерно, что когда в Харькове революционерами, переодевшимися в жандармскую форму, была сделана попытка освобо-

---

[1] Таков последний документ, имеющийся в цитируемом «Деле III Отделения и Департамента полиции о Н. Г. Чернышевском». Следующий том этого «Дела» от конца 1881 года по середину 1883 года, когда Чернышевскому дано было, наконец, разрешение переехать в Астрахань, до сих пор нам в Центрархиве разыскать не удалось (если только он существует).

[2] NN, цит. ст., стр. 13—15. — Кстати, этот инцидент снова показывает, что администрация считала Чернышевского состоящим на тюремном положении вопреки закону.

дить из тюрьмы Фомина, содержавшегося там за участие в неудачном отбитии Войнорального от конвоя, то якутский губернатор осенью 1878 года счел нужным сообщить об этом вилюйскому исправнику, рекомендуя ему особую бдительность и стеснение свиданий Чернышевского с посторонними лицами.

Впрочем, эти страхи были уже просто отголоском прежних опасений. К рассматриваемому времени Чернышевский был старым, измученным, больным человеком, к побегу неспособным, и сами власти, надо полагать, считали побег его маловероятным, чтобы не сказать — немыслимым. Вообще отношение их к Н. Г. за последние годы его пребывания в Вилюйске как бы смягчается. Деятельность его отошла в прошлое, у политической полиции в связи с развитием террора появились новые заботы, и Чернышевский, повидимому, перестал уже представляться столь опасным, как прежде. Его даже перестали запирать на ночь (что, как мы знаем, было вопиющем беззаконием), не стесняли его прогулок и даже оказывали некоторые любезности вроде выдачи кредита из казны в размере 100 рублей из 6% годовых. А во время ремонта вилюйского острога комната Чернышевского была оклеена обоями [1]. Однако надзор за ним был по-прежнему строг до самого последнего момента, и еще в феврале 1883 года казак Пермяков не был допущен на смену вследствие непредставления собственноручного письма губернатора [2].

6. Ходатайства родных о смягчении участи Чернышевского

С того момента, как сенат вынес свой неправосудный приговор, Чернышевский прекратил свои препирательства с врагами на юридической почве. Прекрасно сознавая, что в осуждении его правительство руководствовалось соображениями не юридическими, а политическими, он считал не только бесплодным, но и унизительным для своего достоинства революционера отстаивать перед ним буквы закона, тем более, что, как он неоднократно доказывал это в своих статьях, к действиям самодержавных правительств критерий законности абсолютно

[1] NN, цит. ст., стр. 18—19 (статья эта составлена по архивному делу якутского областного управления «о государственном преступнике Николае Чернышевском»).

[2] Еще в конце 1882 года имел место такой случай. Командированный для надзора за Чернышевским казачий пятидесятник Бродников, тип вроде чеховского унтер-офицера Пришибеева, начал посылать безграмотные и бессмысленные доносы на Чернышевского, обвиняя его в подготовлении побега и т. п. Но так как своими доносами он задел и местного исправника, то в конце концов с места своего слетел.

неприменим, так как самое их существование есть непрекращающееся нарушение понятия законности. В письме к Пыпину от 8 марта 1875 года он прекрасно выясняет свою точку зрения по этому предмету. «Я, — говорит он, — никогда ни с кем не входил ни в какие рассуждения о соблюдении законов по отношению к вопросам, которые принадлежат — не в одной России, везде: и в Англии, и в Соединенных штатах, и в Швейцарии — не юридической области, а области надобностей правительственной жизни. Habeas Corpus отменяется и в Англии, когда то считается нужным» [1].

Но и от демократического фетишизма Чернышевский был свободен. Он всегда доказывал, что когда это требуется интересами господствующих классов, то и в конституционных и демократических странах все законы нарушаются самым беззастенчивым образом. Будучи сам сторонником революционной диктатуры и собираясь при случае применить к врагам коммунизма самые суровые меры репрессии, он понимал, что подходить с критерием формальной законности к действиям власти, напуганной приближением революции, не приходится.

Выпавшие на его долю испытания он нес гордо. Презирая своих врагов, он никогда не обращался к ним ни с какими просьбами или запросами. «Я, — говорит он в том же письме, — вообще никого ни о чем не спрашиваю». Правительство много дало бы за то, чтобы добиться от Чернышевского проявления слабости, а тем более раскаяния или отречения от своих взглядов. Одного такого слова с его стороны было бы достаточно, чтобы получить «прощение» [2]. Но в глубине души Чернышевский смотрел на себя как на судью, а не на как подсудимого, и уже он-то прощать врагам народа не собирался.

Но, разумеется, не так смотрели на дело его родные. Во-первых, все они без исключения были обывателями и к политике не имели никакого отношения, революцией не интересовались и о психологии революционера не имели ни малейшего представления. Во-вторых, они хорошо знали, что Чернышевский был осужден без соблюдения юридических форм, но к этим формам они относились далеко не так, как

[1] «Чернышевский в Сибири», вып. I, стр. 144—145.

[2] Это чутьем понимали и обыватели, причем на этой почве создавались самые курьезные легенды. Так Юдин в цит. статье («Ист. Вестник» 1905, № 12, стр. 888) приводит одну из таких легенд: «Рассказывали и мне нечто подобное, будто после его осуждения, перед ссылкой в Сибирь, император Александр II призывал Чернышевского к себе и предлагал ему отказаться от своих теорий и убеждений, тогда де он будет прощен, его не станут преследовать и даже дадут ему соответствующую должность. Но Чернышевский был непреклонен. «Я пишу и говорю сознательно и твердо убежден в своих идеях», — ответил он».

сам Н. Г. Поэтому они считали для себя допустимым возбуждать вопрос о смягчении его участи и прибегать для этого к «монаршему милосердию», разумеется, без ведома самого Чернышевского.

Начало 1874 года ознаменовалось браком Марии Александровны, дочери царя, с принцем Эдинбургским. В связи с этим среди родных Чернышевского и возникло предположение об обращении к царю. Прошло уже десять лет с момента осуждения Н. Г., и казалось, что за это время даже жестокое сердце николаевского сынка успело насытиться местью. Замечательно, что жена Н. Г., которую сыновья уговаривали подать прошение царю, проявила в этом случае больше гражданского чувства и смысла, чем ее советчики. Эта легкомысленная и аполитичная женщина, инстинктивно сознавая, что ореол мужа невольно осеняет и ее, «жену Чернышевского», писала 12 февраля 1874 года сыновьям: «Для вас обоих я сделаю то, что вы хотите. Но знайте, что это будет сделано против моего и, наверное, против желания вашего отца». Этой же датой помечено прошение Ольги Сократовны на имя Александра II, которого она, впрочем, не решалась просить о полном помиловании ее мужа, а только о переводе его из Вилюйска в более здоровую местность. Но даже эта скромная просьба оставлена была царем без ответа, несмотря на кисло-сладкие полуобещания графа Шувалова, тогдашнего шефа жандармов [1].

Возможно, что эта рафинированная жестокость, сопровождаемая грубостью (отсутствием ответа), об'яснялась тою моральною пощечиною, которую Чернышевский в это время отвесил «благодушному» монарху и его лакеям. Вероятно, в связи с прошением Ольги Сократовны правительство сделало попытку «прощупать» самого Чернышевского в надежде вырвать у него какое-либо компрометирующее заявление, но жестоко ошиблось в расчете на его слабость. В. Кокосов со слов полковника Винникова, бывшего тогда ад'ютантом ген.-губ. Восточной Сибири Синельникова, рассказывает, что в 1874 году из Петербурга получена была бумага приблизительно такого содержания: если Чернышевский подаст прошение о помиловании, то он сможет надеяться на освобождение из Вилюйска, а со-временем и на возвращение в Россию. Поэтому Синельников послал в Вилюйск своего ад'ютанта Винникова, относившегося с уважением к писательской деятельности Чернышевского, с тем, чтобы он привез оттуда положительный документальный ответ в ту или другую сторону. Для отвода глаз на Винникова возложены были некоторые ревизорские обязанности.

[1] Прошение О. С. Чернышевский напечатано на стр. 183—184 первого выпуска книги «Чернышевский в Сибири».

Повидавшись с Чернышевским в беседке, устроенной Н. Г. на берегу озера, Винников сначала спросил, нет ли у него претензий, на что Чернышевский по усвоенной им в обращении с начальством манере ответил, что он всем доволен и претензий не имеет. Затем Винников приступил к главному делу. «Я, — рассказывает он, — попросил его сесть, сел и сам рядом, проговорив, что мне нужно еще поговорить с ним по одному важному обстоятельству. Он сел просто, непринужденно, без всякого видимого интереса на сухощавом, бледно-желтоватом лице, поглаживая рукой свою клинообразную бородку, глядя на меня через очки невозмутимо спокойно... Я приступил прямо к делу: «Николай Гаврилович, я послан в Вилюйск с специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам... Вот не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или в другую сторону». И я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке может быть с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая на ноги, сказал: «Благодарю. Но видите ли, в чем же я должен просить помилования? Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь»... По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном. «Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?» — «Положительно отказываюсь!» — и он смотрел на меня просто и спокойно». А затем по просьбе Винникова он расписался на бумаге: «Читал, от подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский». И когда незадачливый посланец уезжал из Вилюйска, то ему, по собственным словам, сделалось стыдно за себя, «а, может быть, что и другое» (надо понимать, что он понял гнусность царизма, хотя на службе ему остался) [1].

Если этот факт верен, то неудивительно, что жандармы, получив такой афронт от неукротимого узника, даже не ответили на прошение его жены.

Однако родные Чернышевского не прекращали своих хлопот.

В 1875 году Пыпин, получив письмо Чернышевского от 28 марта, в котором Н. Г., скрывавший свое действительное положение от жены, сообщил своему двоюродному брату правду (силы его истощаются, у него образовался зоб, медицинской помощи в Вилюйске нет никакой и т. п.), решил возобновить хлопоты. Он обратился к гр. Шувалову с просьбой

[1] В. Кокосов — «Рассказы о карийской каторге», стр. 310—317. — Насколько этот рассказ соответствует действительности, трудно сказать. В официальных делах о Чернышевском, которые нам известны, на этот факт не встречается никакого указания. А это невольно возбуждает сомнения.

исходатайствовать у царя разрешение на перевод больного Чернышевского в место с более благоприятным климатом, где он имел бы возможность пользоваться медицинской помощью. Эта просьба также осталась без ответа [1].

К осени 1877 года относится новая попытка Пыпина. На этот раз он хотел добиться разрешения напечатать некоторые сочинения Чернышевского с целью облегчить тяжелое материальное положение его семьи. Для этого он обратился к тогдашнему председателю Литературного фонда, сенатору Г. К. Репинскому [2] с докладной запиской и письмом, напечатанными в приложении к выпуску II сибирских писем Чернышевского (стр. 219—221). На сей раз Пыпин взял уже неприличный тон. Здесь уже содержатся те постыдные выпады против эмигрантов и омерзительные выходки против активных революционеров, участников Казанской демонстрации, которые шли навстречу улюлюканью полицейской прессы, и которыми Пыпин надеялся, видимо, снискать благоволение начальства. Но расчеты эти не оправдались [3].

На несколько лет хлопоты о смягчении участи Чернышевского, которого ревниво сторожил коронованный коршун, прекратились. Но они возобновились с выступлением партии «Народной Воли», которой удалось своими террористическими приемами борьбы вызвать временное колебание в рядах правительства. После взрыва Зимнего дворца Халтуриным 5 февраля 1880 года на пост руководителя внутренней политики призван был Лорис-Меликов, который для изолирования революционеров повел лицемерную политику видимых уступок, направленную к отколу либералов от террористов. С появлением лорисовской «диктатуры сердца» и с уничтожением III Отделения (фактически просто переименованного в Департамент Полиции), снова возникли надежды на смягчение участи Чернышевского, «преступление» которого за давностью, казалось, подернулось дымкой забвения, и который к этому времени превратился в хилого старика. Лорис-Меликов сам посоветовал родным Чернышевского подать царю прошение и обещал лично

---

[1] Письмо Н. Г. напечатано на стр. 154—159, а просьба Пыпина на стр. 186—187 первого выпуска книги «Чернышевский в Сибири».

[2] Этот Репинский некогда учился в пензенской семинарии вместе с отцом Чернышевского. Когда Сперанский, бывший пензенским губернатором, получил назначение генерал-губернатором в Сибирь, он решил взять с собой одного из лучших воспитанников семинарии. Ему указали на Репинского и Г. И. Чернышевского. Так как второй не отважился на столь дальнее путешествие, то поехал первый. С этого началась его карьера, доставившая ему впоследствии место сенатора.

[3] Об этой записке Пыпина и о неудачном ходатайстве Литературного фонда мы говорили выше (стр. 556—557).

содействовать благополучному концу. Прошение было подано 6 октября 1880 года сыновьями Чернышевского, которые, впрочем, благоразумно ходатайствовали не о полном помиловании их отца, а только о переводе его в более близкую местность. Но и это прошение осталось без результатов [1].

По поводу этой попытки Н. Русанов, повидимому со слов М. Н. Чернышевского, сообщает интересные детали. Старший сын Чернышевского 6 декабря 1880 года обратился к А. А. Скальковскому, брату известного дельца и нововременского сотрудника Н. Скальковского, управлявшему тогда канцелярией министра внутренних дел, с просьбой направить на имя царя прошение сыновей Чернышевского о помиловании их отца или о смягчении его участи. Письмо было передано Лорис-Меликовым по назначению. Но Александр II ответил своему слуге: «Напрасно ты просишь о Чернышевском; ты не знаешь его: он — человек опасный, иначе бы нигилисты не старались так освободить его» [2].

Тем временем о Чернышевском заговорила и осмелевшая печать. Первая сломила лед молчания газета «Страна», редактор которой Л. Полонский поместил в № 7 от 15 января 1881 года передовую статью, требовавшую помилования великого писателя. «Далеко в Восточной Сибири, — писала газета, — в Якутской области есть город, призрак города — Вилюйск. Он известен тем, что в нем — географически далеко от умственных центров страны, но нравственно им близко — скрывается пример несправедливости, жертва реакции. Там живет, т. е. едва прозябает, отчужденный от семьи, от товарищей в русской литературе, лишенный почти всех условий человеческого существования, Н. Г. Чернышевский». Охарактеризовав литературное значение Чернышевского и указав на те условия, при которых он был вырван из жизни, автор статьи, обращаясь к «милосердию» главы государства, требует прощения, т. е. амнистии, для опального писателя: «Дайте еще один, весьма крупный залог, что в самом деле вы желаете умиротворения». Напоминая о том, что «ведь возвращали же виновников восстания 1825 года» (вернул их тот же Александр II), он задает вопрос: «неужели только потому, что они были аристократы?». Заявив, что «поистине нужна воля жестокости, чтобы ответить на наш призыв отрицательно», автор статьи в заключение выражает пожелание, чтобы Чернышевский был

---

[1] Прошение сыновей напечатано на стр. 235—237 третьего выпуска «Чернышевский в Сибири».

[2] Н. Русанов — «Чернышевский в Сибири». «Русск. Богатство» 1910, № 4, стр. 120.

не просто возвращен в Россию, но чтобы ему разрешено было поселиться в Петербурге.

Эта статья, за которую газета получила предостережение, вызвала сочувственные отклики в прессе. Статья была в выдержках перепечатана другими либеральными газетами. В воздухе, казалось, повеяло конституционным духом. В это именно время Пыпин счел нужным и возможным обратиться к Лорис-Меликову с большой запиской в пользу Чернышевского. Но при тогдашних обстоятельствах, при общем под'еме в стране, при растерянности правительства, тон записки Пыпина представляется особенно странным и возмутительным.

Умеренное направление самого Пыпина может отчасти об'яснить общий тон его записки, но ни в коем случае не оправдать его. Каких бы он лично ни держался политических взглядов, он не имел права в записке, трактующей о Чернышевском, брать такой грубо-ругательный и клеветнический тон по отношению к революционерам, какой он позволил себе взять. Конечно, сам он руководствовался самыми лучшими намерениями. Он хотел помочь своему горячо любимому родственнику и его семье, которую он за все время ссылки Н. Г. благородно поддерживал, он даже, быть может, искренно верил в то, что Чернышевский ничего общего не имеет с революционным социализмом (хотя для этого нужно было обладать особенным недостатком понимания), и все-таки вся его записка является характерным образчиком либерального приспособления к подлости, о котором с такой злобой говорит Щедрин (сам, впрочем, тоже не бывший в практической жизни идеалом гражданской добродетели). Можно не сомневаться в том, что если бы Чернышевский знал, что позволил себе писать Пыпин в документе, в котором его имя использовалось для забрасывания грязью борющихся революцинеров, он не только самым решительным образом протестовал бы против такого обращения с его именем, но и порвал бы все отношения с автором этой скандальной записки.

И для чего все это делалось? Для того, чтобы получить в лучшем случае право на выпуск некоторых, отобранных цензурою, «безвредных» статей Чернышевского и при том без его имени (как и случилось через 25 лет после того). Даже с точки зрения тех «положительных» людей, над которыми всегда так издевался Чернышевский, овчинка не стоила выделки.

С самого начала Пыпин заявляет, что он ближе всякого другого знал действительные мысли Чернышевского, тогда как другие говорили о Чернышевском «с полным незнанием его характера и деятельности». Но это более чем сомнительно. Достаточно прочитать то, что Пыпин говорит о «либеральной (!) репутации» Чернышевского, о романе «Что

делать?», о его «катедер-социализме» [1] и согласии с Миллем и т. д., чтобы убедиться в том, что Пыпин не только не понимал Чернышевского, но даже не читал его сочинений, о которых говорит с таким апломбом. Некоторые же взгляды Чернышевского Пыпин просто перевирает и довольно бесцеремонно, напр., когда позволяет себе утверждать, будто Чернышевский «с великой отрадой», с энтузиазмом приветствовал Положение 19 февраля. Понятно, возводя такой поклеп на Чернышевского, он подлаживался к царскому правительству в надежде помочь своему родственнику. Но здесь имелась и другая сторона: маленький умеренный либерал высказывал свой собственный взгляд на крестьянскую реформу, а также взгляд своего патрона М. Стасюлевича.

Сплошной клеветой и на Чернышевского, и на революционеров является последняя часть записки Пыпина. Величайшая слава Чернышевского заключается в том, что он был учителем революционеров 60-х и 70-х годов. Пыпин, воображающий, что он лучше знал «действительные мысли» Чернышевского, чем революционная молодежь, старается отделить Николая Гавриловича от его последователей, изображает революционеров в виде каких-то самозванцев и авантюристов, злоупотреблявших именем Чернышевского и глупо или нахально эксплоатировавших его (все эти ругательства принадлежат раз'яренному питомцу Стасюлевича). Все революционеры на его взгляд — или несчастные глупцы, или червонные валеты (в число последних попадает и Лавров, посмевший напечатать роман Чернышевского «Пролог»). С пеной на устах говорит Пыпин об эмигрантах, дерзнувших опубликовать за границей вышедшие из обращения сочинения Чернышевского, на которые революционная молодежь пред'являла значительный спрос. Его обвинения имели бы хоть какой-нибудь смысл, если бы в России можно было тогда печатать эти сочинения, но в том-то и дело, что это было невозможно. А потому применять к заграничным изданиям этих сочинений такие любезные эпитеты, как «кража», «обкрадывание», «воровской» и т. п., которыми кишит записка Пыпина, было по меньшей мере никчемной низостью.

Вообще в этой части записки Пыпин ничем не отличается от охранителей типа Каткова, стилем которых он и пользуется для характе-

[1] В. Шаганов (цит. бр., стр. 7) замечает: «Газета «Страна» в одной из своих статей за 1881 г. причислила Чернышевского к катедер-социалистам... Надо было не читать ни строчки из Чернышевского, чтобы причислить его к этой фракции ученых экономистов». Замечание правильное; но ведь такую же попытку сделал А. Пыпин в своей «Записке». Дело тут, повидимому, в точке зрения самих авторов подобных сногсшибательных «открытий». Возможно, что именно Пыпин и вдохновлял «Страну».

ристики тогдашних революционных фракций. Достаточно его заявления «о бесшабашном болтуне, нечистом на руку» Бакунине и об «ошалевшем философе Лаврове», сбивших с пути «немало русской молодежи», о «грубом материализме» революционеров, с которым де Чернышевский не имеет ничего общего, чтобы убедиться, как близко стоял российский либерализм к реакционерам, и как одинаково враждебно они относились к действительной борьбе за народное освобождение.

Такова отрицательная сторона записки Пыпина. Но у нее есть и положительная сторона. Она совершенно справедливо указывает, что причина вражды к Чернышевскому господствующего класса об'ясняется его позицией в вопросе об освобождении крестьян (впрочем, этому верному указанию резко противоречат слова самого Пыпина о мнимом сочувствии Чернышевского Положению 19 февраля). Столь же справедливо указание Пыпина, что в сущности Чернышевский пострадал за свою литературную деятельность, протекавшую под бдительным оком царской цензуры. И наконец верно утверждение Пыпина, что в деле Чернышевского были совершены возмутительные правонарушения, и что он осужден на основании ложных обвинений предателя и изготовленных им поддельных документов. Правда, Пыпин пришел к своим выводам не на основании знакомства с подлинным делопроизводством, которое в то время хранилось за семью печатями в полицейских тайниках, а больше на основании разговоров, ходивших в писательских кругах, но его показание является в этом смысле тем более ценным, ибо свидетельствует о том, что уже и тогда публика знала, что Чернышевский осужден юридически неправильно.

Впрочем, свое суждение о юридической неправильности приговора, вынесенного Чернышевскому, Пыпин основывает и на своих беседах с самим Николаем Гавриловичем. В этом отношении его записка дает новые материалы по делу Чернышевского, сообщая мнение самого подсудимого о выдвинутых против него уликах. С этой стороны особенный интерес представляют рассказы Чернышевского о показаниях Яковлева, а также о пресловутом «письме к Плещееву»: здесь приводятся и известные слова сенатора Карниолина-Пинского, сказанные им при пред'явлении этой подделки Чернышевскому: «Oculis, non manibus» (смотрите, но не трогайте).

К числу новых фактов относится также сообщение Пыпина о письме его к петербургскому генерал-губернатору кн. Суворову. Посланное в начале 1864 года, накануне вынесения приговора Чернышевскому, оно предупреждало Суворова относительно «сомнительных сторон дела» и просило его обратить на эти неправильности внимание «самых высших властей», т. е. царя. Письмо, конечно, осталось без последствий. И не-

удивительно: ведь царь принимал личное участие во всех преступных махинациях, направленных к «изобличению» Чернышевского, погубить которого решено было во что бы то ни стало — по той простой причине, что «самые высшие власти», от которых наивный либерал ждал правды, гораздо лучше его понимали «действительные мысли» Чернышевского.

Интересно далее сообщение Пыпина о занятиях Чернышевского высшей математикой, которую он изучал для отдыха и развлечения. Здесь тоже замечается черта сходства с Марксом, которого наш учитель напоминал многими другими сторонами своей духовной физиономии.

От Пыпина же мы узнаем, что газеты, которые он в первое время посылал Чернышевскому в Вилюйск, последнему не выдавались. Так старательно попечительное начальство хотело отрезать узника от остального мира [1].

Но и записка Пыпина не привела ни к каким результатам. Александр II еще не насытился местью. Что именно он являлся главной помехой к возвращению Чернышевского, публика знала. Об этом можно судить по письму М. Н. Чернышевского к матери от 30 января 1881 года. Здесь, оспаривая мнение Ольги Сократовны относительно раздражения Лорис-Меликова против «Страны» за ее статью в пользу Н. Г., сын его пишет: «Напрасно вы, милая мамаша, так огорчились статьею Полонского... Дело вовсе не стало хуже, как вы думаете [2]. Не дать предостережения нельзя было, вот и все. Но что Лорис-Меликов «рассвирепел», как вы думаете, то это далеко от истины. Он и не думал свирепеть. Если бы все зависело от него, то папаша давно бы был уже свободен,

---

[1] Записка Пыпина с комментариями и примечаниями опубликована нами в томе XXII «Красного Архива».

[2] Жена Чернышевского боялась шума вокруг его имени, полагая, что это может только задержать его возвращение. Поэтому она даже отказывалась принимать журналистов, желавших писать о ее муже. В письме к сыну от 24 января 1881 года она, говоря о том, что правительство напрасно боится Чернышевского и возобновления им революционной деятельности, продолжает: «Да, наконец, я-то на что? Неужели я допущу сделать что-нибудь дурное? Мы столько с ним выстрадали за эти двадцать лет, что нам нужен только покой и покой... Не нужны нам ни люди, ни богатство, ни слава, ничего, ничего нам с ним не нужно. Воротили бы только его на родину, и мы с ним зажили бы вот в этой самой хатке (которую я построила собственно только для себя) тихо и невозмутимо. Я, пожалуй, и дала бы сама за него слово, что он не только не будет ничего писать, но даже видеться (кроме родных) не будет ни с кем. Пусть возьмут с меня слово» («Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. 237—238). Не знаем, взяли ли с нее слово, но впоследствии она старалась проводить по отношению к вернувшемуся Чернышевскому именно эту политику.

но тут дело все в высочайшей воле» (курсив мой). Это было совершенно справедливо.

Агитация в пользу освобождения Чернышевского встретила некоторый отклик и за границей. Мы не говорим о социалистической прессе, в которой время от времени попадались статьи, сочувственные Чернышевскому. Но даже в буржуазных кругах иногда заговаривали о тяжелой участи человека, который за свою литературную деятельность понес такую ужасную кару.

В сентябре 1881 года в Вене состоялся международный конгресс писателей, созванных интернациональной литературной ассоциацией, которая была учреждена в июне 1878 года с целью защиты и пропаганды интернациональной литературной собственности. Публика была по существу буржуазная и консервативная, в значительной мере с налетом бульварщины. Из русских литераторов на этом конгрессе присутствовало трое: В. А. Крылов, С. А. Венгеров и Евг. де-Роберти.

«Нам, — рассказывает Крылов [1], — вспоминался талантливый писатель, многие годы проживавший в Восточной Сибири, Чернышевский. Молодой государь, император Александр III, только что вступил на престол; мы много слышали о его сердечной доброте (!). Думалось, отчего бы конгрессу не сделать такого доброго дела, не попросить милости у государя за своего собрата-литератора, чтобы вернуть его из Сибири, дать дожить век в лучших условиях жизни? Де-Роберти сообщил эту мысль Луи Ратисбону. Французский писатель, пользуясь дебатами о сношениях с русскими литераторами, рассказал собранию о процессе Чернышевского, хотя и с грубыми, для красного словца, ошибками, и предложил послать государю от имени собравшихся в Вене литераторов прошение о помиловании сосланного писателя».

И тут разыгралась позорная сцена. Участвовавшие на конгрессе порнографы вроде Бело, с одной стороны, польские литераторы, неизвестно чем руководившиеся, с другой, подняли страшный гвалт и стали протестовать против этого, казалось бы, столь естественного предложения. Раздавались крики о том, что конгресс должен заниматься не политическими вопросами, а литературными; говорили о том, что проектируемое ходатайство не поможет Чернышевскому, а повредит ему; а поляк Шимановский просил не обсуждать этого вопроса ввиду того, что на собрании присутствуют русские, которым после этого нельзя будет вернуться на родину. Тщетно де-Роберти от имени своих коллег заявил, что они вполне сочувствуют предложению Ратис-

[1] В. А. Крылов — «Эпизод на литературном конгрессе в Вене (отрывок из воспоминаний)». «Исторический Вестник» 1900, февраль, стр. 704—717.

бона и не опасаются никаких печальных для себя последствий в случае его принятия. Шум не прекращался, а так как приближалось время увеселительной поездки на пароходе по Дунаю, то предложение было замято, и заседание закрыто [1].

7. Давление революции

1 марта 1881 года «высочайшая воля», упорно гноившая Чернышевского в Сибири, была устранена бомбой народовольца И. Гриневицкого. Только со смертью «благодушного» тирана, питавшего к Чернышевскому непримиримую личную ненависть, открылась возможность вызволить его из гиблого Вилюйска. Этому помог страх нового царя перед террористами, страх, который и здесь оказался началом премудрости.

После казни Александра II, наряду с официальной политической полицией, создалась с благословения нового монарха неофициальная тайная полиция в лице Священной Дружины [2]. Состоявшая из причудливого смешения придворной аристократии с общественными отбросами и всяческими проходимцами (обычный состав боевых реакционных организаций), Священная Дружина поставила одной из своих задач борьбу с террором и в частности обеспечение коронации Александра III от неприятных сюрпризов в виде бомбы или фугасной мины. Для достижения этой цели она решила вступить в переговоры с уцелевшими остатками Исполнительного Комитета партии «Народной Воли» через посредство своих постоянных или случайных агентов. Так как Александр III был в курсе начинаний Священной Дружины, то эти перего-

[1] Для характеристики г. Крылова следует указать, что резкие статьи венских газет против жестокостей русского правительства он признает «злословием про русских и Россию». — В цитированной брошюре А. Тверитинова (стр. 92) имеется неточный рассказ об этом конгрессе. Там, между прочим, говорится, что в «Московских Ведомостях» была по этому поводу помещена резкая заметка против русских писателей, которые позволили на конгрессе в Вене «оскорблять Россию». Из русских на конгрессе присутствовал П. Боборыкин. Испугавшись заметки в «Моск. Вед.», он поместил в «Русских Ведомостях» заявление, что он, правда, присутствовал на этом конгрессе, но, когда стали «оскорблять Россию», он оставил зал заседания. Наш отечественный Бобо был на это вполне способен, но дело в том, что Крылов не называет его среди присутствовавших на конгрессе русских делегатов.

[2] О ней см. в книге В. Богучарского «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х гг. XIX века» (стр. 268 сл.), в дневнике генерала В. Н. Смельского («Голос Минувшего» 1916 г. № 1—6), в статьях Д. Заславского — «Взволнованные лоботрясы» («Былое» 1924, №№ 25—26).

воры можно до известной степени рассматривать как переговоры правительства с революционным Исполнительным Комитетом.

Первым из этих агентов был таинственный доктор Э. И. Нивински, который связался с Священной Дружиной в марте 1882 года через ее главу, графа П. П. Шувалова. Летом того же года этот господин явился в Женеве к М. Драгоманову (который вместе с другим агентом той же Дружины, А. И. Мальшинским, издавал в Швейцарии «либеральную» газету «Вольное Слово») и представился ему в качестве представителя влиятельной группы земцев, якобы образующих конституционалистическую «Земскую Лигу» и уполномочивших его вести с «Народной Волей» переговоры о прекращении террора взамен известных либеральных уступок со стороны правительства. Драгоманов, не имевший к «Народной Воле» никакого отношения, направил Нивинского в Париж к Лаврову. Там Нивинский вступил в переговоры с Лавровым и М. Н. Полонской [1] по поводу тех требований, которые партия через мифическую «Земскую Лигу» пред'являет правительству и в случае выполнения которых она берется гарантировать неприменение ею террористических средств борьбы. Впредь до выяснения положения Александр III, спрятавшийся в Гатчинском дворце, не отваживался назвать день «священного коронования».

Переговоры эти велись в июле-августе 1882 года [2]. Партия «Народной Воли» была в тот момент совершенно разгромлена, никаких серьезных террористических актов она все равно выполнять не могла, и потому она в переговорах с «Земской Лигой» проявила крайнюю умеренность. В доказательство доброй воли правительства и влиятельности либеральных земцев народовольцы потребовали, во-первых, освобождения Чернышевского, и, во-вторых, взноса определенной суммы в пользу партии. Ни к чему конкретному переговоры эти, разумеется, не привели, но Священная Дружина отчасти добилась своей цели, выяснив себе слабость партии и отсутствие у нее денежных средств [3].

---

[1] Псевдоним М. Н. Оловенниковой, по мужу Ошаниной, одного из немногих уцелевших к тому времени членов Исполнительного Комитета.

[2] Вел ли эти переговоры с Лавровым действительно доктор Нивинский, и кто он был такой, мы здесь решать не беремся. Д. Заславский в упомянутой статье («Былое», № 26, стр. 266 сл.) доказал, что в это же время с Лавровым по поручению Священной Дружины вел переговоры агент ее Н. Клименко, мелкий киевский помещик. Был ли этот Клименко тем же д-ром Нивинским или это другое лицо, выяснить трудно. Но для нашей цели это и несущественно. Между прочим, характерно, что этот авантюрист в разговорах с Лавровым выдавал себя за старого знакомого Чернышевского.

[3] В № 9 «Былого» за 1907 год, стр. 208—214, напечатаны «Документы и материалы к истории переговоров Исполнительного Комитета с Священной

Однако проникнуть внутрь Исполнительного Комитета и выведать какие-либо секреты партии агенту не удалось. Ввиду этого Священная Дружина сделала еще одну попытку вступить в переговоры с Исполнительным Комитетом. Для этого она избрала грузинского либерального публициста Н. Николадзе, о котором нам не раз приходилось говорить выше в связи с его воспоминаниями о Чернышевском [1].

Хлопоча в Петербурге о разрешении перенести туда издание своей газеты «Обзор», издававшейся им прежде в Тифлисе, Николадзе натолкнулся на своего старого знакомого по Кавказу К. Бороздина, который в это время был агентом Священной Дружины. Последний предложил ему встретиться с гр. И. И. Воронцовым-Дашковым, некогда ад'ютантом кавказского наместника Барятинского, а в рассматриваемый момент занимавшим пост министра двора и вместе с тем стоявшим во главе Добровольной Охраны (отдел Священной Дружины). Воронцов-Дашков хотел использовать Николадзе для переговоров с Исполнительным Комитетом. Однако, боясь скомпрометировать свое имя, Николадзе от этого уклонился.

Но Н. К. Михайловский и С. Н. Кривенко, тогдашние лидеры легального народничества, к которым Николадзе обратился за советом, высказались за эти переговоры в расчете, что, быть может, кое-что удастся у начальства выторговать. В таком же смысле высказался и М. Антонович, который, услыхав, что Николадзе боится начинать переговоры с Воронцовым-Дашковым, чтобы не попасть в грязную историю, воскликнул: «Как можно помнить о своей репутации, когда является надежда спасти Чернышевского?». Мысль об освобождении Чернышевского как плате за переговоры с террористами, по словам Николадзе, принадлежала лично ему (как мы видели, эта идея носилась тогда в воздухе, и еще Л. Полонский выразил ее в своей статье). Это условие было им заранее поставлено Священной Дружине через К. Бороздина и, по словам последнего, принято Воронцовым-Дашковым

Дружиной». Документы писаны рукою П. Лаврова. Они относятся ко времени переговоров Лаврова с д-ром Нивинским, агентом Священной Дружины (а не с Николадзе, происходивших в другое время). Первое из прелиминарных условий, какое заграничные члены Исполнительного Комитета пред'явили через Лаврова «Земской Лиге» (псевдоним «Священной Дружины»), заключалось в исходатайствовании ею амнистии для Чернышевского или облегчения участи политических каторжан в Сибири.

[1] Подробно о своем участии в этих переговорах Николадзе сам рассказал в своей статье «Освобождение Н. Г. Чернышевского», напечатанной в «Былом» 1906, № 9. Коррективом к его рассказу служат «Неизданные записки Л. Тихомирова», помещенные в т. XXIX «Красного архива».

как награда Николадзе за его труды [1]. Но, опасаясь, как бы это обещание не осталось затем неисполненным, Николадзе просил Н. К. Михайловского, бывшего в курсе переговоров, убедить членов Исполнительного Комитета включить освобождение Чернышевского в число тех требований, которые партия «Народной Воли» поставит правительству [2].

Во время второго свидания с Воронцовым-Дашковым Николадзе заявил, что в качестве единственного вознаграждения за свои хлопоты по делу переговоров между правительством и народовольцами, каковы бы ни были их конечные результаты, он требует освобождения Н. Г. Чернышевского. Воронцов-Дашков ответил, что он на это согласен и считает себя вправе обещать Николадзе выполнения этого условия.

Около половины декабря 1882 года Л. Тихомиров, с которым Николадзе предварительно свиделся в Женеве, приехал в Париж и

---

[1] Записка К. А. Бороздина опубликована в № 10 «Былого» за 1907 год («Священная Дружина и Народная Воля»). — Здесь со многими неточностями рассказывается о переговорах Николадзе с Л. Тихомировым.

[2] В цитированной статье «Документы и материалы к истории переговоров Исполнительного Комитета с Священной Дружиной» («Былое», 1907, № 9, стр. 212—214) приводится отрывок из воспоминаний Н. К. Михайловского в № 54 «Революционной России». Узнав от Николадзе, что Добровольная Охрана (И. И. Воронцов-Дашков и П. П. Шувалов) склонна завязать переговоры с революционерами, Михайловский с'ездил в Харьков, где повидался с В. Н. Фигнер, остававшейся тогда единственным из находившихся на свободе в России членов Исполнительного Комитета. Считаясь с фактическим бессилием партии и опасаясь обмана, они решили, «в виде задатка и в удостоверение добрых намерений правительства», потребовать от него исполнения к 19 февраля 1883 года двух вещей: освобождения Чернышевского и расследования насилий, совершенных администрацией на карийской каторге после побега оттуда восьми политических (Мышкина и др.). «Справедливость требует сказать, — прибавляет Михайловский, — что оба требования были исполнены, но не 19 февраля, а гораздо позже». — В. Н. Фигнер в своей книге «Запечатленный Труд», М. 1921, ч. I, стр. 278 сл., рассказывает об этом несколько иначе. По ее словам, она сразу увидела в предложении Воронцова-Дашкова полицейскую ловушку и высказалась против переговоров. Но под влиянием убеждений Михайловского она согласилась с ним на том, что переговоры с Николадзе должны вестись не в России, а за границей, и что в Париж послана будет Салова, чтобы изложить Тихомирову и Ошаниной точку зрения Фигнер. Салова должна была также заявить, что русские деятели партии не будут считать себя связанными исходом переговоров и при благоприятных условиях не откажутся от террористических выступлений (Тихомиров оспаривает эту оговорку как противоречащую самому факту переговоров). В числе поручений, данных Саловой, было и такое: в случае, если дело дойдет до пред'явления правительству требований, выполнение которых должно было доказать искренность его предложений (т. е. в обмен на прекращение тер-

привез от имени с'езда русской социал-революционной партии (т. е. от имени совещания немногочисленных заграничных членов Исполнительного Комитета) заявление, что если правительство предоставит партии свободу социалистической пропаганды, хотя бы в размере тогдашней Германии (при «исключительном законе»), даст амнистию и некоторое облегчение общественной деятельности для интеллигенции (в печати, земстве и т. д.), то революционная партия обязуется прекратить террор и упразднить себя как партию противоправительственную; если же правительство сверх того пожелает приступить к проведению социальных реформ, улучшающих экономическое положение народа, то партия искренно пойдет за правительством и всеми средствами будет помогать осуществлению этих реформаторских начинаний [1]. Что же касается обязательства не производить никаких покушений до и во время коронации, то оно обусловливалось выполнением двух требований: 1) чтобы царь послал доверенное лицо для расследования вопиющих несправедливостей, причиненных политическим каторжанам на Каре, и 2) чтобы был освобожден и возвращен на родину писатель Н. Г. Чернышевский [2]. Переговоры эти были однако внезапно прерваны по совету, полученному Николадзе из Петербурга.

рора до коронации — дарование при коронации полной политической амнистии, свободы печати и мирной пропаганды социализма), выставить условием освобождение не Г. Исаева (члена Исп. Ком., освободить которого якобы предполагал Воронцов-Дашков), а Нечаева. Замечательно, что о Чернышевском В. Фигнер не говорит, а между тем в переговорах речь шла именно о нем. Об'ясняется ли это неправильной информацией, которую ей представил Михайловский, или ошибкой самого Михайловского, или ее запамятованием, мы не знаем. Неточность этого места мемуаров Фигнер отмечает и Л. Тихомиров (цит. ст., стр. 154—155).

[1] Тихомиров (цит. ст., стр. 156 сл.) категорически отвергает рассказ Николадзе, утверждая: а) что в Женеве они не видались; б) что в переговорах «остановились лишь в о б щ и х ч е р т а х на следующих пунктах: 1) общая политическая амнистия; 2) свобода печати, мирной социалистической пропаганды, свобода обществ; 3) расширение земского и городского самоуправления». И дальше Тихомиров прибавляет: «Относительно человека, которого требовалось освободить немедленно (в виде залога. — *Ю. С.*) я предоставил ему выбор по усмотрению, и он хотел требовать Чернышевского» (цит. ст., стр. 162).

[2] Л. Василевский (Плохоцкий) в статье «Еще к вопросу о переговорах Исполнительного Комитета «Народной Воли» с Добровольной Охраной» («Былое» 1907, № 8, стр. 125) рассказывает по слухам, что в числе обещаний, данных «Священной Дружиной» революционерам, если коронация пройдет спокойно, было: 1) освободить Чернышевского, 2) повлиять на то, чтобы в предстоявшем процессе 17-ти не было смертных приговоров, 3) выдать «Народной Воле» миллион рублей. Всё это, — вероятно, сказки, ходившие среди эмигрантов.

Тихомиров об'ясняет этот внезапный перерыв переговоров предательством Дегаева, завербованного в конце 1882 года в агенты Департамента Полиции. Дегаев выдал Судейкину все тайны партии «Народной Воли» и раскрыл ее действительную слабость. С этого момента правительство, у которого открылись глаза, сочло дальнейшие переговоры излишними. Но к моменту возвращения Николадзе в Петербург гр. Д. Толстой успел одержать победу над Воронцовым-Дашковым (т. е. официальная полиция над добровольной), и влияние Священной Дружины на политические дела прекратилось. Однако П. Шувалов заявил Николадзе, что обещание освободить Чернышевского остается все же в силе, хотя осуществление его придется отложить до коронации. Тут же он сообщил, что царь послал на Кару для расследования флигель-ад'ютанта барона Нольде (Норда). Из его слов Николадзе сделал следующий вывод: «Давался аванс — расследование карайских неурядиц [1]; освобождение же Н. Г. Чернышевского приберегалось в награду за хорошее поведение партии во время коронации».

Николадзе продолжал встречаться с Шуваловым для переговоров об оформлении дела насчет освобождения Чернышевского. Между прочим он представил ему биографические сведения о Чернышевском и проект докладной записки, составленный А. Н. Пыпиным. «Последняя была написана А. Н. Пыпиным очень сильно и сжато, но в полемическом тоне против приговора Сената. В ней доказывалось — как дважды два четыре — что Чернышевский пострадал невинно». Через несколько дней гр. Шувалов привез записку обратно, уверяя Николадзе, что представление ее неминуемо погубит дело. Взамен он предложил каллиграфически переписанное на великолепной бумаге всеподданнейшее прошение от имени сыновей Н. Г. Чернышевского, в котором говорилось, что как бы велики ни были преступления их отца, он их искупил двадцатилетними страданиями, безропотно перенесенными с беспримерным смирением, а в заключение просилось о помиловании страдальца и о возвращении его на родину, где семья его могла бы окружить заботами последние дни уже окончательно разбитой его жизни. Эту бумагу Николадзе, скрепя сердце, отвез А. Н. Пыпину, а сыновья Чернышевского согласились ее подписать [2].

---

[1] Норд на Каре убеждал политических каторжан подавать прошения о помиловании; некоторых, к сожалению, ему удалось совратить.

[2] Дальше мы приводим прошение сыновей Чернышевского, поданное 9 мая 1883 года, т. е. через несколько месяцев после разговора Николадзе с Шуваловым. По содержанию оно весьма напоминает текст, приписываемый Николадзе Шувалову, так что возможно, что это и есть прошение, сочиненное Шуваловым.

Прошло около двух недель, как вдруг гр. Шувалов явился к Николадзе и торжественно вручил ему на бумаге со своим фамильным гербом собственноручную подписку в том, что он, флигель-ад'ютант его императорского величества, граф такой-то, с высочайшего соизволения [1] дал Николадзе обязательство добиться освобождения из Сибири и возвращения на родину государственного преступника Н. Г. Чернышевского. Ввиду недоумения, выраженного Николадзе, Шувалов об'яснил, почему он настаивает на отобрании от него такой подписки. «Я вижу, — говорил он, — Чернышевского страшно трудно вырвать из их рук. Только отобрание вами у меня этой подписки дает мне и гр. Воронцову-Дашкову возможность настаивать во дворце и перед графом Д. А. Толстым об (sic) исполнении обещания, данного вам. Но вы обязаны говорить, если вас спросят, будто это вы вынудили меня дать вам такую подписку, и будто я долго отказывался выдать ее».

«Приходилось, значит, становиться и шантажистом», — прибавляет Николадзе, не замечая, что шантажировал-то не он, а шантажировали его, точнее революционеров.

В конце марта Шувалов доставил Николадзе проект той статьи коронационного манифеста, которая распространяла помилование на случаи, подходящие к положению Чернышевского. Николадзе отвез проект А. Н. Пыпину с просьбою посоветоваться с компетентными людьми, насколько содержание этой статьи гарантирует освобождение Чернышевского. Пыпин скоро вернул этот проект с указанием, что дело не в его выражениях, а в том, как они будут применены к Чернышевскому. Это соображение Николадзе передал Шувалову, который заверил его, что если коронация сойдет благополучно, то Чернышевский непременно будет возвращен на родину.

Коронация сошла «благополучно». Но только в ноябре Николадзе прочитал в газетах, что Чернышевский переведен «на жительство», однако не на родину, т. е. не в Саратов, как было обещано, а в Астрахань, при чем права состояния ему не были возвращены. «И на том спасибо», — прибавляет он по правилу российского обывателя, не привыкшего ждать ничего хорошего от самодержавного правительства [2].

---

[1] Это доказывает, что переговоры с Исполнительным Комитетом партии «Народной Воли» велись с ведома Александра III (как мы выше и указывали). Это же утверждает и Тихомиров (цит. ст., стр. 158).

[2] Вл. Дебагорий-Мокриевич в статье «К вопросу о переговорах Исполнительного Комитета Народной Воли с Добровольной Охраной» («Былое» 1907, № 4, стр. 60) передает следующий разговор свой с М. П. Драго-

Так обстояло дело с закулисной стороной освобождения Чернышевского. Но одновременно с хлопотами перед неофициальной полицией шли хлопоты и перед официальной. В начале 1883 года М. Н. Чернышевский получил возможность несколько раз беседовать по делу своего отца с руководителем тогдашней политической полиции полковником Г. П. Судейкиным (известным насадителем провокации, впоследствии убитым с помощью провокатора же Дегаева). В разговоре выяснилось, что Судейкин считал немаловажным препятствием к освобождению Чернышевского прежние попытки организации его побега. На это сын Чернышевского возразил, что эти попытки предпринимались без ведома Н. Г., который сам не согласился бы на побег, в доказательство чего М. Н. сослался на известные нам письма его отца из Вилюйска. На Судейкина эти слова произвели «большое впечатление» [1]. Он попросил на несколько дней эти письма, а затем, возвращая их, обещал со своей стороны оказать содействие к освобождению Чернышевского. Повидимому, официальная полиция хотела в глазах общественного мнения оставить за собою честь освобождения опального писателя.

Принципиально вопрос о возвращении Чернышевского в Россию был, повидимому, решен еще до коронации, но открыто об'явить об этом полиция не хотела, чтобы связать руки революционерам и гарантировать коронационные торжества от неприятных сюрпризов. По крайней мере, когда старший сын Чернышевского посетил Судейкина незадолго до коронации, тот сообщил ему, что освобождение его отца вероятно, и даже предложил ему на выбор два пункта — Архангельск и Астрахань, где предполагалось поселить Чернышевского (Саратов категорически исключался). М. Н. Чернышевский выбрал Астрахань.

Однако хотя 15 мая 1883 года коронация прошла благополучно, коронационный манифест Чернышевского не коснулся. Приходилось

мановым: «Драгоманов рассказал, что спустя некоторое время (после переговоров Николадзе. — *Ю. С.*) ему пришлось встретиться с одним из главарей этого придворного течения, высокопоставленным лицом,.. приезжавшим за границу. Из беседы с ним Драгоманов узнал, что освобождение Чернышевского из Сибири было устроено ими уже после того, как они потеряли влияние при дворе; что с этим им пришлось обратиться к кому-то из великих князей, который будто ответил, что в факте освобождения Чернышевского он не усматривает ничего политического, а лишь простой гуманный поступок, и дал свое согласие ходатайствовать, после чего и был освобожден Чернышевский».

[1] Возможно, что хитрый сыщик просто дурачил своего собеседника. Ведь означенные письма Чернышевского в свое время проходили через жандармов и были им известны.

снова хлопотать. М. Н. Чернышевский отправился к м. в. д. Д. А. Толстому с прошением на имя царя, но Толстой заявил ему, что прошение не нужно, так как он уже докладывал государю, и можно надеяться на перевод Чернышевского в Астрахань. Доклад Толстого царю состоялся 6 июня 1883 года.

Так рассказывается в книге «Чернышевский в Сибири» [1]. По официальным документам дело представляется несколько иначе.

В середине февраля 1883 года в Департаменте Полиции, заменившем III Отделение, составлена была записка, нечто вроде проекта всеподданнейшего доклада. Эта записка излагала в обычном жандармском духе историю процесса Чернышевского и утверждала, что он был в толпе студентов у квартиры попечителя Филипсона, подстрекая их к сопротивлению; что он составил воззвание к дворовым (sic) людям («Великоросс») и хотел напечатать его (?) в Москве через Костомарова; и что своим поведением, знакомствами и сочинениями явно доказывал, что принимает меры к ниспровержению существующего порядка. Но здесь же прямо признается, что Чернышевский на основании выс. повеления от 25 мая 1868 года подлежал освобождению от каторжных работ с обращением на поселение, но что общий порядок не был применен к нему вследствие обнаружившегося на процессе Ишутина (каракозовцев) замысла революционеров освободить его из Сибири.

В свое время, говорит полицейский документ, преступные деяния Чернышевского могли представляться опасными. «Но с тех пор прошло уже 20 лет. Осужденный отбыл свое наказание и отбыл, не воспользовавшись не по своей вине вторичным облегчением, которое ниспослало ему монаршее милосердие в 1868 году. Чернышевский выдержал продолжительное испытание с истинно христианским смирением и, можно сказать, с достоинством, оставаясь все время на высоте своего хотя и заслуженного, но тем не менее несчастного положения. Он ни разу сам непосредственно не подал ни малейшего повода к стеснению его участи. Если последняя и была по временам в известной степени ограничиваема, то отнюдь не по причинам, исходящим от самого Чернышевского, а напротив по поводу посторонних, непрошенных им попыток к его освобождению, — попыток, скорее вредивших ему, чем приносивших пользу. Сам лично Чернышевский даже возмущался этими попытками. Так известно, что в письме к жене он отзывался с искренним негодованием о подобных услугах, оказываемых ему анар-

[1] Вып. III, стр. XXXIII—XXXIV; ср. вып. I, стр. 189.

хистами, и прямо высказывал, что «если ему суждено когда-нибудь оставить Вилюйск, то он уедет из него не иначе, как тем же способом, каким в него приехал». Вообще, как удостоверяют местные генерал-губернаторы, Чернышевский безропотно и с покорностью нес и несет до сих пор кару, возложенную на него законом.

«Достигнув ныне уже преклонных лет (55 лет) и имея двух взрослых сыновей и больную жену, Чернышевский, надо надеяться, не в состоянии уже превратиться в ожесточенного преступника, каких, к прискорбию, привыкло видеть наше отечество в последние годы. Самое преступление его, в особенности по сравнению с ужасающими злодеяниями современных политических преступников, не представляется уже столь опасным, каким по справедливости могло почитаться 20 лет назад. Сверх того семейное положение Чернышевского может само по себе уже служить лучшим ручательством его будущей благонадежности. Известно, что старший сын его, Александр, по окончании курса в здешнем университете пожелал в 1877 году отправиться волонтером в Действующую Армию на Дунай, чтобы кровью искупить смягчение участи отца, но, поступив рядовым в Невский пехотный полк (13-го корпуса 1-й дивизии), заболел тифом и остался в госпитале в Фратешти. Подобный благородный порыв, завися, конечно, главным образом от добрых качеств самого Александра Чернышевского, не может однако ж не свидетельствовать и о благотворном влиянии на юношу со стороны его родителей.

«При таких условиях монаршая милость Чернышевскому не будет, надо ожидать, омрачена неблагодарностью. Возвратить к жизни и к тихому семейному счастью когда-то заблудившегося отца семейства есть подвиг, который не может не вызвать чувств самой глубокой признательности и благоговения перед тем, кто его совершит. Неблагодарность в этом случае была бы противна природе человеческой. С другой стороны высокая милость монарха отразится благотворно и на остальной части общества: помимо человеколюбивой меры по отношению к Чернышевскому, как к отцу семейства, освобождение его может повлечь за собой новые труды его в области литературы и науки, что при известном развитии его и знаниях и при несомненно ожидаемом благонамеренном направлении его не может остаться без полезных последствий в будущем (!).

«Предоставление Чернышевскому права поселиться в доме, принадлежащем ему в г. Саратове, было бы, кажется, мерой вполне целесообразной».

На этом замечательном документе имеется ряд пометок, среди которых обращает на себя внимание пометка В. К. Плеве, бывшего

тогда директором Департамента Полиции. «Г. министр приказал иметь ввиду при обсуждении вопроса о смягчении участи государственных преступников, в том случае, если вопрос этот будет поднят при предстоящем торжестве священного коронования» [1].

Итак, сам Департамент Полиции находил возможным перевести Чернышевского в Саратов, на что царь не согласился. С другой стороны, ясно, что Чернышевского решено было пока придержать в Вилюйске в качестве залога на предмет обеспечения коронации от террористических сюрпризов.

В цитированном месте книги «Чернышевский в Сибири» говорится, что М. Н. Чернышевский подал прошение о смягчении участи отца после коронации, т. е. после 15 мая 1883 года, и что оно было доложено царю 6 июня. И то, и другое неверно. Прошение это было подано не одним М. Н., а обоими братьями, Михаилом и Александром Чернышевскими, и не после коронации, а до нее, именно 9 мая [2]. Доложено оно было Д. Толстым царю не 6 июня, а 27 мая, во время коронационных торжеств, в Москве, и тогда же Александр III в принципе согласился на перевод Н. Г. Чернышевского в Астрахань.

Вот прошение сыновей Чернышевского.

«Ваше императорское величество,
державнейший монарх!

«Вот уже более двадцати лет, как отец наш, Николай Гаврилович Чернышевский, несет тяжелую постигшую его кару. Два года одиночного заключения в крепости, годы работ в рудниках и долгие, долгие годы в самой суровой, пустынной местности, вдали от семьи, вдали от всего, что хотя сколько-нибудь могло бы успокоить его болезненную старость. И с каждым днем силы его падают все более и более, и кара его не облегчается, но становится тяжелее и тяжелее. О государь, не нам, детям, судить своего отца, но есть ли вина без искупления?..

«Припадая к стопам вашим, державнейший монарх, мы молим Вас о смягчении тяжелой участи нашего отца, о возвращении его на родину.

---

[1] Дело Департамента Полиции № 3892 «О государственном преступнике Николае Гавриловиче Чернышевском» (АОР., переменный фонд № 3057), л. л. 2—6.—Дальше мы будем цитировать это дело просто как дело № 3892.

[2] По поводу этого прошения см. выше рассказ Н. Николадзе.

«Одно милосердное, державное слово из уст ваших, о государь... «Просите и дастся вам», — сказано в Писании, и как с молитвою мы у ног ваших, державнейший монарх!..

«Вашего императорского величества

верноподданные Александр Чернышевский

Михаил Чернышевский.

9-го мая 1883 года.

Место жительства:

С. Петербург, Вас. Остр., Ср. Просп., д. 19, кв. 21».

На этом прошении Д. Толстым записана резолюция: «Государь император из'явил предварительное соизволение на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань, с тем чтобы по пути следования его не делалось ему каких-либо оваций, повелеть изволил сообщить о том министру юстиции для окончательного доклада его величеству. 27 мая в Кремле» [1].

О царской резолюции Д. Толстой 7 июня сообщил министру юстиции Д. Н. Набокову, который должен был сделать царю окончательный доклад. Этот доклад состоялся 6 июля, при чем Александр III, уже до того отклонивший перевод Чернышевского в Саратов, снова проявил чисто романовскую злобу и мстительность, приказав не восстанавливать Чернышевского в правах, а признать его, взамен лишения всех прав состояния, по ст. 43 Уложения о Наказаниях, лишенным всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, но без восстановления прав по имуществу, о чем Набоков 10 июля уведомил министра внутренних дел для зависящих с его стороны распоряжений относительно перемещения Чернышевского из Вилюйска в Астрахань и учреждения за ним надзора полиции, одновременно предложив Сенату по I Департаменту принять меры к исполнению высочайшего повеления [2].

Этим сибирская ссылка Чернышевского была закончена.

За семь лет подцензурной литературной работы он заплатил 21 годом заключения в крепости, на каторге и в Вилюйской тюрьме — по 3 года за год! Даже царское «правосудие» могло считать себя удовлетворенным такой пропорцией.

---

[1] Д. П. № 3892, л. 1.

[2] Дело № 3892, л.л. 7 и 8.

8. Возвращение в Россию

Теперь полицейская машина заработала. 14 июля 1883 года тов мин. вн. д. ген. Оржевский отправил шифрованную телеграмму генерал-губернатору в Иркутск, в которой, сообщая о «высочайшей воле» относительно Чернышевского, просил немедленно доставить Н. Г. в сопровождении двух жандармов из Вилюйска в Иркутск и засим в Астрахань, «приняв, согласно последовавшему по сему предмету высочайшему указанию, возможные меры к недопущению огласки проезда Чернышевского, ввиду устранения возможности нежелательных выражений сочувствия и каких-либо беспорядков».

18 июля Департамент Полиции уведомил астраханского губернатора о состоявшемся решении и просил его принять зависящие меры к недопущению огласки прибытия Чернышевского в Астрахань и вообще к предупреждению возможности нежелательных выражений сочувствия к нему и каких-либо беспорядков. Как видим жандармы хорошо знали, что их жертва пользуется широкими симпатиями публики, и что, несмотря на все усилия, память о нем не удалось изгладить из общественного сознания.

18 июля ген.-губ. Восточной Сибири Анучин сообщил Оржевскому, что он посылает за Чернышевским двух жандармов и полагает отправить его до Оренбурга без предупреждения о проезде попутных властей, прося дать Чернышевскому от Оренбурга новый конвой с освобождением иркутских жандармов. Ввиду этого Департамент Полиции 25 июля, сообщив оренбургскому губернатору о предстоящем проезде Чернышевского, предложил ему отправить его дальше с местными жандармами по железной дороге и почтовому тракту, минуя водные пути и приняв все меры к недопущению огласки его проезда во избежание и т. д. (следует трафаретная формула о нежелательности выражения сочувствия и беспорядков). Наконец 23 августа директор Департамента Полиции В. Плеве обратился с письмом к астраханскому губернатору М. П. Азанчевскому, в котором, признавая, что Чернышевский подлежит обыкновенному надзору полиции без применения к нему правил Положения 12 марта 1882 года о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей, вместе с тем «ввиду особой важности самой личности Чернышевского, его популярности среди злоумышленников, которыми неоднократно делались попытки к его освобождению, а также возможности появления в Астрахани по приезде Чернышевского лиц неблагонамеренных, для которых личность его может послужить средством к осуществлению их преступных целей», просил, кроме общего надзора за Черны-

шевским, войти в соглашение с местным начальником жандармского управления о необходимых средствах и способах самого бдительного негласного наблюдения за всеми сношениями и вообще образом жизни Чернышевского «в предупреждение возможных беспорядков». О том же Плеве написал и местному жандарму, майору Головину [1].

Таким образом жандармы приготовились встретить опасного врага во всеоружии. Тем временем их жертва ничего о перемене своей участи не знала. В конце августа в Вилюйск явились иркутские жандармы и, не об'являя ему о состоявшемся относительно него решении (о котором они, быть может, и сами, впрочем, не знали), предложили ему ехать в Иркутск. Чернышевский обрадовался и этому и предложил немедленно ехать, но жандармы просили дать им отдохнуть. Выехали на следующий день. Сначала ехали на лошадях (один перегон пришлось даже сделать на собаках), а затем сели в крытую лодку (шитик), на которой и доехали до Якутска. Здесь путников принял губернатор Черняев, тот самый, с которым Чернышевский прежде воевал. Но теперь этот царский холоп проявил такую «предупредительность» и «заботливость», что Чернышевский простил ему прежние низости и на прощанье даже с ним расцеловался [2]. Однако и Черняев ничего не сказал ему о сенатском указе.

В Иркутск Чернышевский прибыл 28 сентября, в три часа ночи, как передает со слов начальника местного жандармского управления

---

[1] Дело № 3 892, л.л. 9—19.

[2] «Чернышевский в Сибири», вып. III, стр. XXXVI. — В. Бернштам (цит. ст., стр. 243—244) приводит рассказ жены охранявшего тогда Чернышевского жандарма Щепина. По ее словам, муж ее допустил прибывших из Иркутска жандармов в тюрьму только по паролю. «Когда приехали жандармы, они прошли пешком к тюрьме вместе с исправником и его помощником. Увидав идущих, муж немедля запер тюрьму и поставил караул. Караул не допустил жандармов и исправника к тюрьме. Когда сказали пароль, то допустил... Вошли в комнату мужа, подали бумагу от иркутского жандармского полковника об освобождении (?). Кроме нее было запечатанное письмо на имя Чернышевского. Муж думал, что лично от государя, сам Чернышевский так (!) и говорил, что высочайшее повеление. Как только ему подали письмо, Чернышевский начал плакать. То захохочет, то снова заплачет. И начал он просить, чтобы его сейчас же везли. Муж стал уговаривать его уложиться, приготовиться к дороге и дать жандармам отдохнуть. Он согласился. Чернышевский пошел со всеми попрощаться... Его повезли на санях по земле... В Якутске Чернышевскому был приготовлен губернаторский шитик, закрытая такая лодка. Губернатор приготовил Чернышевскому обед, но он отказался принять». В этом рассказе много неточностей, но он, должно быть, верно передает тогдашнее настроение Чернышевского.

Келера Л. Пантелеев [1]. Утром Келер зашел к нему. Чернышевский сидел облокотясь о стол, с опущенной головой, одетый по дорожному, с явными признаками усталости. Келер поздоровался с ним, назвав его по имени и отчеству. Чернышевский, подняв голову, слегка кивнул и принял прежнее положение. «Поздравляю вас, Николай Гаврилович, с монаршей милостью», — сказал жандарм. Слова эти произвели на измученного человека, ожидавшего, вероятно, от жандарма новых пакостей, магическое действие. Он быстро встал, подошел к Келеру и, протянув обе руки, произнес: «Полковник, не ослышался ли я? Вы, кажется, поздравили меня с монаршей милостью? Ради бога, скажите, какая это милость». Когда Чернышевский услышал в ответ, что ему назначен для постоянного жительства один из городов Европейской России (насчет Астрахани жандарм, понимавший цену этой «милости», предпочел на первое время умолчать), радости Н. Г. не было границ, и он заплакал. Теперь, говорил он, он может увидеть свою жену и детей.

Затем они пошли наверх в приготовленную для Чернышевского комнату, но так как он отказался от отдыха, то занялись чаепитием. «За чаем... Келер спросил Н. Г., не показался ли ему путь из Вилюйска тяжелым и трудным, на что Н. Г. ответил, что напротив он ехал очень хорошо и всем доволен. После сопровождавшие его жандармы говорили Келеру, что Чернышевский во время пути по Лене несколько раз принимался плясать и петь. Вероятно, от осеннего холода, да еще на воде, Н. Г. старался согреться разными ритмическими упражнениями, что и подало повод жандармам думать, что он принимался плясать» (ну, а петь?).

Здесь же Чернышевский узнал, что он назначен в Астрахань. Чернышевский просил снабдить его проходным тарантасом, чтобы не перекладываться на каждой станции, и выдать ему 25 рублей на водку ямщикам, чтобы скорее везли; ему отпущено было 100 рублей [2]. Когда Келер, вернувшись от генерал-губернатора, вошел к Чернышевскому в комнату, он увидел следующую картину: Н. Г. лежал на кровати на

[1] Л. Пантелеев — «Из воспоминаний прошлого», ч. II, стр. 205 сл.

[2] Одним из первых шагов Чернышевского по прибытии в Астрахань была подача «докладной записки по поводу путевых издержек, понесенных казной при перемещении Чернышевского из Сибири в Астрахань», в которой он выражал желание возместить как выданные ему наличными сто рублей, так и стоимость тарантаса. Одолжаться у врагов Чернышевский не хотел. Правда, правительство, насильно забросившее его в Сибирь, обязано было вернуть его на свой счет. Но ему по его мнению оказана была любезность, а пользоваться ею от агентов власти он считал ниже своего достоинства. См. Дело Деп. Пол. № 3892, л. 46.

голых досках, положив под голову мешок с дорожными вещами; все же постельные принадлежности были брошены на пол. Чернышевский не спал; заметив, что Келер собирается позвать прислугу, чтобы привести комнату в порядок, он просил никого не беспокоить и сам быстро все как следует уложил на кровать.

Чернышевский обедал со всей семьей Келера. Хитрый жандарм сумел представить назойливый надзор, которым он окружил Н. Г., как знак уважения к знаменитому писателю. Чернышевский, очутившийся после долгих лет в культурной обстановке и обрадованный возвращением в Россию, видимо пришел в нервное возбуждение и разговорился [1]. Он не умолкал даже во время обеда, а после того рассказывал детям Келера сказки из «Тысячи и одной ночи» и делал им из бумаги игрушки. Но время шло к полуночи; запряженный тарантас стоял во дворе, и Келер, видимо получивший приказ выпроводить Чернышевского в тот же день, предложил Н. Г. отправляться в путь.

Чернышевский ехал очень быстро. Через пять дней он был уже в Красноярске, т. е. проехал 1 000 верст.

В то мрачное время реакции подлым жандармам нечего было делать, и они могли позволить себе роскошь следить за каждым шагом передвигавшегося под конвоем якобы «освобожденного» Чернышевского. Чтобы дать представление о том, с какой придирчивостью жандармы следили за своим пленником, достаточно указать на то, что, напр., 7 октября Плеве приказал сразу послать четыре телеграммы: 1) оренбургскому губернатору, чтобы Чернышевского отправить до Сызрани в особом купе второго класса и чтобы сверх конвоя командировать для сопровождения его по железной дороге еще жандарма с Оренбургской станции «в предупреждение каких-либо случайностей и возможности сношений с посторонними лицами»; 2) жандармскому капитану Эшенбаху в Сызрань, прося его отправить Чернышевского далее на почтовых с таким расчетом, чтобы в Саратов они прибыли вечером; 3) уведомить о проезде Чернышевского начальника саратовского жандармского управления, которому разрешить дать Н. Г. свидание с его ближайшими родственниками в жандармском управлении; 4) начальнику астраханского жандармского управления с запросом, какие он думает принять меры для надзора за Чернышевским, и с сообщением ему ука-

[1] В разговоре с Келером Н. Г. обнаружил якобы явные симпатии к «Голосу» и «Вестнику Европы», а из новейших беллетристов с большой похвалой отзывался о Максиме Белинском (И. Ясинском). — Не забудем, однако, что весь этот рассказ передается со слов жандарма, который ни об'ективно, ни суб'ективно не может быть признан надежным свидетелем (хотя о симпатиях к Ясинскому говорят и другие источники).

заний Плеве о принятии особых мер надзора за ним и воспрепятствования его побегу.

Как видим, жандармы настолько высоко ставили Чернышевского, настолько боялись его авторитета среди революционеров, что и теперь продолжали опасаться его побега (надо понимать, за границу).

19 октября Чернышевский выехал из Оренбурга и 23-го в 6 часов вечера прибыл в Саратов, где в жандармском управлении имел свидание с женой и с двоюродной сестрой Варварой Николаевной Пыпиной. Той же ночью он был отправлен дальше. В Астрахань он прибыл 27 октября — «под надзор полиции», как сообщал астраханский губернатор в тот же день Департаменту Полиции [1].

В жизни многострадального Чернышевского начиналась новая и последняя полоса, в некоторых отношениях не менее тяжелая и скорбная, чем предыдущие.

---

[1] Дело № 3 892, л. 37. Здесь же приложена ведомость о «государственном преступнике Чернышевском», в которой сказано, что надзору полиции он подвергнут без срока, занятий не имеет, казенного пособия не получает, имеет жену и детей, из коих первая — при нем, а вторые — в Петербурге.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

НА ЗАКАТЕ

Глава первая

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В АСТРАХАНИ

1. Организация надзора

Итак, продолжительные страдания Чернышевского на каторге и в ссылке, хлопоты родных, давление общественного мнения, требования революционеров — все это увенчалось тем, что Чернышевский из одного гиблого угла был переведен в другой такой же, из холодной снежной вилюйской пустыни — в знойную песчаную астраханскую пустыню, где ему суждено было провести около шести унылых лет.

Но это была уже тень прежнего Чернышевского. Идейный вождь передовой демократии 60-х годов вернулся из Сибири разбитым стариком, отставшим от интересов русского общества и чувствовавшим себя чужим в новой политической обстановке. Короленко удачно сравнивает Чернышевского по возвращении из Сибири с польским паном, заснувшим в XVIII веке в каком-то погребе и вышедшим из своего убежища в старопольском костюме, с карабеллой у пояса и страшной седой бородой на улицы русской уже Варшавы, с вывесками на двух языках и с городовыми на каждом углу. Если бы даже Чернышевский остался таким, каким был в начале 60-х годов, то и тогда он должен был бы чувствовать себя в значительной степени чужим в русской обстановке середины 80-х годов; но беда в том, что благодаря тяжелым условиям каторги и ссылки Чернышевский при всех своих трагических усилиях не мог удержаться даже на прежней высоте. Ужаснее всего было то, что Чернышевский вернулся в разгар политической реакции, почти не уступавшей реакции николаевской эпохи. Он чувствовал это. Но на этот раз реакция казалась еще более прочной, просвет был еще ничтожнее, чем в его время.

Тем не менее жандармы не оставляли его в покое. Лев с выпавшими зубами и притупившимися когтями все еще был для них страшен. И вот

Чернышевского окружают назойливым полицейским надзором, следят за каждым его шагом, движением, за каждым его помыслом [1].

В результате переговоров между Плеве, астраханским губернатором и начальником астраханского губернского жандармского управления полк. Головиным разрешено было отпускать ежегодно по 1 500 рублей на сыскную часть для осуществления секретного надзора за Чернышевским. 4 ноября 1883 года Плеве предписал губернатору согласовать деятельность чинов общей и государственной полиции для осуществления этого надзора. Губернатор постановил иметь трех агентов — одного из полицейских чиновников, а двух из непривилегированного сословия, т. е. попросту говоря, филеров, при чем первого рекомендовалось поместить если не в одном доме с Чернышевским, то по возможности в соседстве с его квартирой, дабы он мог следить за его образом жизни, поступками, занятиями и знакомствами, а также за посещающими его лицами, на обязанности же «непривилегированных» шпиков лежало наблюдение за Чернышевским во время навигации на пароходных пристанях, а также выяснение вопроса, нет ли в городе сочувствующих ему лиц. Жандармы боялись его побега, в частности бегства морем, на что Департамент Полиции обращал особенное внимание губернатора. Посему между прочим предписано было по приезде его в Астрахань снять с него фотографические карточки, коими снабдить полицейских чинов и жандармов, а часть прислать в Департамент.

Сообразно с этими указаниями и был организован надзор за Чернышевским. Найдена была пара незадачливых агентов, и началась бессмысленная слежка. Агенты доносили о каждой перемене Чернышевским квартиры, о каждом выходе его на улицу, о каждом сказанном им слове, перетолковывая его вкривь и вкось. Дневники этих наблюдений и сопровождающие их резолюции жандармского подполковника возбуждают и смех, и негодование. Стоило Чернышевскому выпить в питейном заведении рюмку водки (это, впрочем, сомнительно) или взять извозчика, проводить знакомую барышню или перебросится парой слов с буфетчиком, как об этом немедленно составлялась бумага. Жена Чернышев-

[1] См. Дело Департамента Полиции № 904 «Об установлении наблюдения за государственным преступником Чернышевским» (с 23 августа 1883 по январь 1887 г.), хранящееся в Центрархиве, и «Дело о государственном преступнике Н. Г. Чернышевском» из архива астраханского губернского жандармского управления, изложенное в статье К. Виноградова — «Н. Г. Чернышевский в Астрахани» («Голос Минувшего» 1917, № 7—8, стр. 193—197). Дело это теперь также находится в Центрархиве. См. еще статью «Чернышевский после Сибири (по данным архива Деп. Полиции» в № 4/26 «Былого» за 1917 г., стр. 246—252, и статью Н. Чернышевской-Быстровой — «Чернышевский после сибирской ссылки» в № 8 «Красной Нови» за 1928 гол.

ского при встрече с дочерью домохозяина говорит что-то насчет парохода «Волжский Цесаревич» — и немедленно следует жандармская резолюция: «наблюдать за пароходом Цесаревичем». В общем и целом — сплошная юмористика.

При таких условиях присылка 12 января 1884 года на имя Чернышевского телеграммы: «Пьем за здоровье лучшего друга студентов. Московские студенты» — была уже целым событием, всколыхнувшим стоячее болото астраханской полицейщины. Об этом ужасном происшествии жандармский полковник счел долгом 13 января сообщить в Департамент Полиции, получивший это извещение 18 января. Встревоженный Плеве на следующий же день запросил московского обер-полицеймейстера, кто был распорядителем студенческого обеда 12 января, и кому принадлежала мысль о посылке телеграммы Чернышевскому. Чем закончилась вся эта переписка, мы из дела не видим.

Разумеется, все встречи Чернышевского с посторонними людьми тщательно отмечались и расследовались. Но Чернышевский встречался главным образом с обывателями, быть может и прогрессивно настроенными и ему сочувствовавшими, но стоявшими далеко от политики. 9 января 1885 года агентами была составлена своего рода сводка лиц, с которыми Н. Г. вел в Астрахани знакомство и среди которых находились: Б. Е. Сукиязов, С. Аветов, Рахманов, Хатчиков и его приказчик Мартеросов, Абкаров, Мелькумовы, врач С. М. Попов — как видим, преимущественно армяне, повидимому из числа местной интеллигенции [1].

Само собой разумеется, что появление приезжих, посещавших Чернышевского, вызывало усиленную работу шпионских глаз, ушей и перьев. Так, специально отмечены приезды А. Пыпина, пробывшего у Чернышевских с 8-го по 11 мая 1884 года, и А. В. Захарьина (приехал 26 августа). Последний, до того, повидимому, не попадавший в сферу полицейского наблюдения, возбудил переполох в жандармском царстве. Получив уведомление от астраханского жандарма о приезде А. В. Захарьина, Плеве немедленно сделал по своему ведомству запрос о новом таинственном злоумышленнике, попутно сделав многознаменательное распоряжение: «Захарьина на карточку».

В первое время, когда жандармы еще опасались возможности возобновления Чернышевским революционной деятельности и неотступно следили за каждым его шагом, вся его корреспонденция была под строжайшим надзором и тщательно проверялась. Заметки о содержании корреспонденции и посылок (преимущественно с рукописями перево-

[1] Фамилии эти в статье К. Виноградова большею частью искажены. Мы их исправили по оригиналу.

дов) составлялись самим Чернышевским, видимо, по требованию жандармов. Таким образом последние всегда знали, что́ и кому Чернышевский пишет или посылает. Но, не удовлетворяясь этим, они подхватывали всякие слухи не только о том, что он делает, но и том, что он собирается сделать. Так, в апреле 1884 года Головин донес в Департамент Полиции, что 29 марта Чернышевский отправил в редакцию «Вестника Европы» для передачи А. Пыпину сделанный им перевод и н а м е р е н послать Пыпину письмо с просьбой отправить в редакцию наиболее распространенных газет следующее извещение: «Мы слышали, что Н. Г. Чернышевский приготовляет к изданию собрание своих сочинений» [1].

Получив это донесение, Плеве 27 апреля обратился к начальнику Главного управления по делам печати Феоктистову и, сообщив ему о намерении Чернышевского, просил его не допустить появления в печати такого извещения. В свою очередь Феоктистов 1 мая обратился к московскому генерал-губернатору с просьбой принять меры к тому, чтобы в случае, если в Москве приступлено будет к печатанию сочинений Чернышевского, об этом немедленно было ему сообщено, на что князь Долгоруков 7 мая уведомил, что им сделано соответствующее распоряжение. 2 мая Феоктистов просил также петербургского градоначальника, в случае приступа к печатанию сочинений Чернышевского в Петербурге, сообщить о том Главному управлению по делам печати. Наконец, в тот же день он дал знать Временному присутствию по внутренней цензуре в Одессе о том, что новое издание сочинений Чернышевского не должно быть дозволено к печати. Словом, приняты были все меры к тому, чтобы воздвигнуть вокруг Чернышевского непроходимые рогатки [2].

За Чернышевским следили не только астраханские жандармы и Департамент Полиции, но и чины собственной охраны императора. Так, в марте 1884 года из Гатчины от начальника секретной части в царской охране получена была бумага с приказанием собрать сведения и уведомить, не ездил ли куда из Астрахани государственный преступник Чернышевский. Головин поспешил ответить, что Чернышевский из города никуда не отлучался. Повидимому, и коронованный тромбонист

[1] Если это было верно, то возможно, что таким путем Чернышевский хотел сдвинуть с мертвой точки вопрос об издании своих сочинений, которое правительством не разрешалось.

[2] См. Дело Деп. Пол. № 904, л. 26, и специально заведенное по этому поводу Дело III Отд. Канцелярии Главного Управления по делам печати № 55 «О недозволении к печати предполагаемого к изданию собрания сочинений Чернышевского», л.л. 1—5.

интересовался Чернышевским по примеру своего в бомбе почившего родителя.

Как ни старались шпики разных мастей, но создать призрак грозного революционного заговора из мирной жизни Чернышевского в Астрахани им не удалось [1]. Чернышевский жил настоящим отшельником, занимался по преимуществу переводами, редко выходил из дому и мало с кем встречался. Разумеется, местные жандармы хотели показать свое усердие и немножко подработать на незаурядном поднадзорном, но в центре скоро убедились в том, что изводить зря казенные деньги и бумагу на нелепое и бесцельное наблюдение за Чернышевским не имеет смысла. 11 апреля 1885 года новый директор Департамента Полиции П. Н. Дурново сообщил астраханскому губернатору, что 1 500 рублей на надзор за Чернышевским больше отпускаться не будет, и что впредь в деле расходов на наблюдение за ним нужно согласоваться с имеющимися в распоряжении губернатора средствами на сыскную часть. Впрочем, до конца 1885 года на это явно никчемное дело было отпущено 500, а затем еще 600 рублей.

Как только у местных жандармов отняли денежки, они и сами поспешили признать, что никакого специального надзора за Н. Г. не требуется. На запрос губернатора, вызванный отказом Дурново от дальнейших ассигнований, начальник астраханского жандармского управления ответил, что надобности в специальном наблюдении за Чернышевским не представляется, и что надзор за ним необходим такой же, как и за другими поднадзорными, находящимися в Астрахани. А 24 января 1887 года Департамент Полиции уведомил астраханского губернатора, что в продолжении особого наблюдения за Чернышевским через специальных агентов надобности не встречается, и что средств на это больше отпускаться не будет [2]. С этого момента Чернышевский был подчинен общему порядку надзора за политическими ссыльными.

2. Жизнь в Астрахани

Хотя Чернышевский и хвастал своим здоровьем и в письмах из Сибири старался уверить жену, что он совершенно здоров, но на самом деле, как мы знаем, это было не так. Каторга и ссылка не прошли для

[1] Рейнгардт (цит. ст., стр. 475—476) со слов А. Пыпина рассказывает о неудачной попытке какого-то добровольного доносчика запутать Н. Г.; об этом же случае рассказывает и Н. Чернышевская-Быстрова (цит. ст., стр. 188—189). Она же сообщает о том, что летом 1885 г. у Н. Г. вследствие доноса произведен был обыск; но в официальных делах никакого указания на этот обыск не имеется.

[2] Дело Д. П. № 904, л.л. 39 и 52.

него бесследно; он нажил там зоб, застарелый ревматизм и катар желудка, а может быть, и другие болезни, оставшиеся для нас неизвестными. Из Вилюйска он вернулся уже другим человеком.

«Двадцать лет ссылки, — пишет Юдин, — сильно надломили здоровье Н. Г. Уехал он туда в 1864 г. цветущим мужчиной (36 лет), а возвратился в Астрахань уже стариком с тяжелыми недугами, нажитыми в дебрях северной тайги. Резкая перемена климата — с далекого севера на жаркий юг — и перемена пищи еще более способствовали развитию катарального состояния его желудка» [1].

Возвращение заживо погребенного писателя из Сибири естественно наделало шума. Этим событием заинтересовалась и заграничная публика. Корреспондент лондонской газеты «Daily News» пробрался в Астрахань к Чернышевскому вскоре после его перевода туда и напечатал рассказ о посещении им Н. Г. в номере названной газеты от 23 декабря 1883 года под заглавием «A russian political prisoner» (Русский политический ссыльный) [2]. Увы, корреспонденты русских газет не могли позволить себе такой роскоши.

«Я, — пишет английский журналист, — представлял его себе человеком, преждевременно состарившимся, с лицом, волосами и фигурой, носящими явные черты девятнадцатилетней ссылки. Но вместо расхлябанного ссыльного, неоднократно изображенного в нигилистической литературе, предо мной стоял прямой, широкоплечий, крепко сложенный и подвижной человек, с виду на десять лет моложе своего 55-летнего возраста. Но по мере смены впечатлений первоначальное мое изумление стало рассеиваться...

«Мы сели у столика... Я мог тогда взглянуть Чернышевскому прямо в лицо. Ничего похожего на бледные утонченные черты прежних фотографий. Юношеская одухотворенность выражения, давняя мечта петербургской курсистки, исчезла. Остались, правда, добродушные выразительные черты лица: синие глаза блещут умом, высокий лоб, на который справа небрежно падают темные пряди, и небольшая борода, придающая симметрию нижней части лица. Но здоров и крепок Чернышевский не может быть. Он держит себя необыкновенно беспокойно, некоторые его движения поражали меня как конвульсивные, наполовину непроиз-

---

[1] П. Юдин — «Н. Г. Чернышевский в Саратове». «Ист. Вестник» 1905, № 12, стр. 889—890.

[2] Полностью этот рассказ приведен у Ветринского («Н. Г. Чернышевский», стр. 186—192); в извлечении он был помещен в № 2804 «Нового времени» от 17 декабря 1883 г. Выдержки из этой корреспонденции помещены также в № 2 «Вестника Народной Воли» 1884 г., в отделе «Хроника революционной борьбы» (стр. 173—175).

вольные. Он сильно близорук, и взгляд его сквозь очки неспокойный и неуверенный. Руки его дрожали. Иногда он почти вскакивал со стула, чтобы взять ту или иную вещь из соседней комнаты, и возвращался с тою же поражающей стремительностью. Время от времени он посмеивался, коротким сухим смехом. Мне было достаточно ясно, что он страдает хроническим нервным расстройством... [1].

«Чернышевский обрадовался англичанину, знакомому с его сочинениями, и сразу согласился сообщить мне, что́ ему самому известно о причинах его ссылки. Его работы по искусству и философии были, конечно, в стороне [2]. Он улыбнулся, когда я заговорил о «Что делать?», и отрицательно покачал головой, когда я сказал, что, по мнению некоторых писателей на Западе, его роман главным образом и возбудил против него правительство. «Это ошибка, — возразил он. — Судьба моя нимало не зависела от того, что я говорил, писал или думал со времени моего заключения, а «Что делать?» было написано мною в Петропавловской крепости в Петербурге». Чернышевский далее об'яснил, что настоящею причиною его заключения и ссылки был ряд статей политического и экономического содержания, напечатанных в журнале Некрасова «Современник», в числе их был разбор сочинения по политической экономии Джона-Стюарта Милля» (курсив мой).

Пропускаем идиллический рассказ интервьюера (якобы со слов Чернышевского), что «агенты правительства всегда обращались с ним со всем тем уважением, какого только всякий может желать, обращались не как с каторжником, а совершенно так, как с военнопленным». Вообще интервьюер старался, видимо, несколько причесать Чернышевского и представить его английской буржуазной публике в приемлемом для нее виде.

«О русских авторах он упоминал мало, но в разговоре о них в минуту доверчивости уверял меня, что собственные его выводы вовсе не столь крайни (?), как иногда представляют себе за границей.

«Один французский экономист [3], — заметил я, цитируя отдельное мнение, — говорит, что многие из ваших соотечественников видят в вас одного из гигантов новейшей мысли — русского Фурье или Карла

[1] Курсив мой. С этим совпадают и свидетельства других лиц, наблюдавших Н. Г. после Сибири.

[2] Как мы знаем, они вовсе не были «в стороне». Одною из причин расправы с Чернышевским были его философские воззрения, проникнутые духом материализма.

[3] Вероятно, английский журналист имеет здесь ввиду Б. Малона.

Маркса. Чернышевский улыбнулся. «В то время, — сказал он, — я был, если позволено сравнивать малого с великим, не более как русский Кобден или Брайт или вроде того [1]. Сверх того я не всегда выражал свои собственные мысли. На мне лежало много черного литературного труда».

И журналист прибавляет: «В нем нет и тени злопамятства в отношении к правительству, и я сам слышал выражение его признательности за акт милости, который перенес его из Азии в Европу... Из ссылки Чернышевский является ныне не упорным агитатором или демагогом, даже не пропагандистом, а человеком, здоровье которого разбито, нервы расшатаны, и он желает только, если еще есть у него какие-нибудь желания, — провести остаток своих дней в покое» [2].

В июне 1886 года Чернышевского навестил в Астрахани Н. Рейнгард, не видавший его с 1861 года. «Двери, — рассказывает он, — отпер сам Николай Гаврилович, который на мой взгляд нисколько не изменился с тех пор, как я его видел в последний раз (т. е. с 1861 года. — *Ю. С.*); исключение составляла борода, которой он прежде не носил. На его лице не было ни одной морщины, а на голове ни одного седого волоса». Когда Рейнгардт указал ему, что он ничуть не изменился за 25 лет, Чернышевский ответил: «Да что мне делается! Веду жизнь правильную, ничем не болею, разве иногда лихорадка навестит».

В Астрахани Рейнгардт пробыл 4 дня и ежедневно видался с Чернышевским. Разговоры их касались самых разнообразных предметов, но больше относились к воспоминаниям о лицах литературного мира. Когда заговорили о Шелгунове, то Чернышевский с глубоким чувством произнес: «честнейший и благороднейший человек — Николай Васильевич, такие люди редки. Прекрасно держал себя в моем деле»...

«Из всех моих бесед с Николаем Гавриловичем, — говорит Рейнгардт, — я вынес заключение, что он внимательно следил за русской литературой, не пропуская самых ничтожных явлений. Несколько свысока он относился к некоторым писателям, а к другим с легким презрением. Сильно недолюбливал он покойного Г. И. Успенского, отзываясь

---

[1] Эти слова Н. Г. маловероятны. Вернее всего, это придумал журналист для английской публики. А, может быть, Н. Г. просто пошутил по свойственной ему манере.

[2] А. Лебедев со слов Хованского, видевшего Н. Г., правда, через 3 года, уверяет, что английский корреспондент описал наружность Чернышевского неверно, так как был у него вечером, в сумерках, и они сидели без огня («Н. Г. Чернышевский в 1886—1889 гг.». «Ист. Вестник» 1910, № 4, стр. 192). Мы думаем, что не только наружность...

о нём с недоброй насмешкой, и называл его «Миклухой-Маклаем», путешествующим и открывающим постоянно какие-то неведомые страны и каких-то диких людей [1].

«— Ну, что это за писатель из народного быта, — говорил Николай Гаврилович, — вот наш Успенский [2] — так не ему чета».

Главный недостаток русских писателей, вызывавший его осуждение, заключался по его мнению в отсутствии образования, в особенности политического. Поэтому он высоко ценил Щедрина, который отличался по его словам обширным образованием. «Да, этот человек широкого политического развития, не то, что другие», — говорил Николай Гаврилович.

Дальнейшее сообщение Рейнгардта представляет большой интерес [3]. По его словам, Чернышевский, занимаясь переводом «Всеобщей Истории» Вебера, которую он находил «дрянью», и, жалея, что взялся за ее перевод, доставлявший ему средства к существованию, не оставлял своей старой мысли об издании энциклопедии. По окончании перевода Вебера он предполагал приступить к составлению энциклопедии, но уже не один, а при участии известных ученых как русских, так и иностранных, с которыми собирался вступить по этому поводу в переписку. Переехав в 1888 году в родной Саратов, он познакомился там с энциклопедическим словарем Брокгауза на немецком языке [4] и «увидел, что в этом лексиконе находится все (?), что полагал он включить в свой труд, мечтая о создании всеобщей энциклопедии знания и жизни, а потому решился перевести этот лексикон на русский язык по окончании перевода Вебера, для чего начал понемногу формировать сотрудников. Перевод Брокгауза был бы по его мнению самым ценным вкладом в русскую научную литературу, и он с увлечением говорил о будущем труде, высказывая при этом, что на это дело он смотрит как «на цель, ради которой ему еще нужно жить». Но смерть не дала возможности осуществить мысль, которая всю жизнь занимала его с юности до гробовой доски» [5].

---

[1] Ср. ниже отзыв Н. Г. о Г. Успенском в воспоминаниях Вл. Короленко о жизни Чернышевского в Саратове.

[2] Т. е. Н. И. Успенский, писавший в «Современнике» (ему была посвящена статья Чернышевского «Не начало ли перемены?»: см. выше).

[3] Само собою разумеется, что рассказ Рейнгардта о насмешках Н. Г. над В. Короленко за его отказ от присяги Александру III мы категорически отвергаем. Вероятно, Рейнгардт просто не понял Н. Г., который, должно быть, хотел сказать, что перед врагом не следует раскрывать свои карты.

[4] Неужели же он не знал его раньше? Здесь что-то неясно.

[5] Об этом говорят и А. Токарский (см. ниже), и Н. Чернышевская-Быстрова (цит. ст., стр. 186).

С уверенностью можно утверждать, что если бы Чернышевскому и довелось приняться за эту работу, то он не ограничился бы простым переводом словаря Брокгауза, общий дух и тон которого далеко не соответствовали его мировоззрению, а подверг бы его радикальной переработке приблизительно в таком виде, в каком он в свое время переделал основания политической экономии Д. С. Милля.

Когда артист М. И. Писарев, навестивший Чернышевского в 1884 году, сообщил ему, что до сих пор в печати его имя не произносится, а называют его автором «Что делать?», Чернышевский с улыбкой заметил: «Удивительна судьба русского писателя — именоваться автором самого плохого (своего) произведения». По словам Н. Г., роман «Что делать?» не может считаться выдающимся произведением еще и потому, что он, Чернышевский, вовсе не обладает беллетристическим талантом. Выдающимся же, серьезным своим трудом он считал свои комментарии к политической экономии Милля [1].

Саратовский старожил Хованский посетил Чернышевского в Астрахани дважды, в 1886 и 1887 годах. По словам Хованского, Чернышевский жил более чем скромно. Сначала жена постаралась обставить его комнату всеми удобствами. Но Николай Гаврилович многое поломал, многое пожег; золотые шишечки у железной кровати он уничтожил. Он не терпел ни малейшей роскоши. В новом доме кабинет Чернышевского занимал угловую комнату. Здесь ничего не было кроме маленького стола, кровати и комода. Да еще у кровати стоял кругленький столик. Вообще обстановка была совершенно студенческая.

«Я, — рассказывал Хованский, — провел у него три вечера подряд. И все эти вечера он неустанно говорил, говорил... Современный мир, современные интересы — все это было чуждо Николаю Гавриловичу... Едва ли он читал получаемые им журналы, едва ли заглядывал он в газеты (!) [2].

«Зашла речь о евреях. Он указал на честность их расчетов с рабочими, вообще на бóльшую их культурность перед русскими кулаками [3]. Тут же Николай Гаврилович развил старую теорию о фе-

[1] Рейнгардт, цит. ст., стр. 468—475. — По словам Скорикова, автора цитируемых ниже воспоминаний, Чернышевский не любил говорить о своих старых произведениях. «Да, было... писал», — обыкновенно отвечал он, если кто его спрашивал об этом (стр. 431). Но, может быть, так он отвечал гг. Скориковым?

[2] Как увидим ниже, это совершенно неверно.

[3] Этот неожиданно выскакивающий в рассказе разговор об евреях, повидимому, об'ясняется тем, что собеседник Чернышевского развивал перед ним антисемитические теории. Да и последняя шутка Н. Г. при проводах гостя не говорит в пользу Хованского.

деративном устройстве России, поляков, армян, финляндцев и пр. (курсив мой). Не помню только, разделял ли он эту теорию или лишь знакомил меня с нею (!). Провожая меня, с лампой в руке, он все еще продолжал говорить, и вдруг, оборвав свою речь, заметил с обычным смешком: «Вот, если все, что здесь говорилось, Вы пойдете и сообщите кому следует, это будет патриотизм, ха-ха, патриотический поступок».

Жил Чернышевский довольно одиноко, так как, по словам Хованского, интеллигенция Астрахани боялась бывать у него и сочиняла всякие страхи о небезопасности хождения к нему. Верно ли это сообщение или нет, мы не знаем, но нам известно, что Чернышевский сам не искал знакомств среди обывателей, а Ольга Сократовна ограждала его от частых посещений, боясь за его безопасность.

Однажды Чернышевский пошел провожать Хованского, и тот по этому поводу говорит: «На улице, в своем плохоньком летнем костюме и поношенном картузе, таким он мне показался жалким стариком... Жена потом говорила, что всякий, не знающий его, принимает Н. Г., вероятно, просто за старичка-мастерового. Когда извозчик под'ехал, и мы садились на него, Николай Гаврилович снял свой картуз и долго стоял с непокрытой головой, в какой-то приниженной позе... Впечатление мы увезли самое безотрадное, жалкое. Казалось, мы посетили человека, лишь недавно выпущенного из подвала, в котором он находился замурованным много, много лет» [1].

Одно время Чернышевский жил в доме С. Н. Карамышева. Сын его, инженер А. С. Карамышев, бывший тогда ребенком, впоследствии вспоминал про Чернышевского. По его рассказу «Н. Г-ча очень любила кухня, так как и туда заглядывал он. Иногда сюда собиралось много посторонней прислуги из других квартир и жадно внимали словам Н. Г.». Эту любовь к Чернышевскому простых людей отмечают и другие мемуаристы, в частности те, которые писали о его сибирской жизни.

Любовь к памяти Некрасова и Добролюбова Чернышевский высказывал в каждом удобном случае, даже как бы стараясь и других заставить их любить [2]. С особенной любовью занимался Н. Г. собиранием материалов для биографии Добролюбова. Бывший переписчик

[1] А. Лебедев, цит. ст., стр. 192—194.

[2] В этом отношении характерно большое письмо Н. Г. к жене из Вилюйска от 2 апреля 1882 года. В нем он неоднократно повторяет, что близок был только с Добролюбовым и Некрасовым, при чем первого любил как сына. См. «Неизданное письмо Н. Г. Чернышевского» в № 3/25 «Былого» за 1917 г., стр. 3 сл.

Н. Г., М. П. Краснов, сообщает несколько деталей, показывающих, что Чернышевский и в это время (1888 г.) оставался верен своим старым взглядам. Он, например, приводил общее кружку «Современника» мнение Некрасова о том, что так называемая реформа 19 февраля 1861 года была разорительной для крестьянства. Он сохранил также прежнее отрицательное отношение к Герцену. «Н. Г. называл Герцена не более как либералом; теперь бы, пожалуй, он назвал его кадетом. По мнению Н. Г., правящие круги всегда могли воротить Герцена из-за границы, ибо последний был безвреден; он был человек их круга» [1].

Весною 1889 года в Астрахани повидался с Чернышевским Л. Пантелеев. Хотя в это время Пантелеев уже далеко отошел от революции, но все-таки его воспоминания о Чернышевском, как человека интеллигентного, знавшего Н. Г. еще в начале 60-х годов и в свое время участвовавшего в революционном движении, представляются по сравнению с другими мемуарами более надежными и достоверными.

Когда Пантелеев извинился, что пришел не в приемные часы, Н. Г. ответил: «Ничего, ничего. Это Ольга Сократовна нашла нужным назначить часы, а мне все равно» [2]. По словам Пантелеева Чернышевский никогда не выглядел богатырем, всегда держался несколько сутуловато, имел впалую грудь. И все-таки сравнительно он меньше изменился, чем ожидал Пантелеев, не видавший его 27 лет. На голове не было заметно седых волос, они явно проступали лишь в бороде, голос

[1] Воспоминания Краснова были помещены в газете «Страна» в 1906 году. См. Ветринский, цит. соч., стр. 192—195. — Подобно прочим обывателям, писавшим воспоминания о Чернышевском, Краснов сообщает и разные пустяки вроде того, что Н. Г. однажды неизвестно по какому поводу рассказал ему, что, будучи приглашен на «заседание революционного кружка» (?!), где «хотели заставить его говорить», Н. Г. незаметно скрылся из собрания «за полною бесполезностью дебатов». Удивительно, как мещане, не понимая или искажая некоторые заявления Чернышевского, стараются убедить себя и других, что он был кое в чем якобы похож на них. Ниже мы увидим яркий пример такого обывательского недомыслия в лице г. Скорикова.

[2] В эти последние годы жена окончательно подчинила его своей опеке, впрочем, при его рассеянности и непрактичности эта опека имела отчасти свои хорошие стороны. Посещавший его с 1887 года Скориков рассказывает (стр. 482), что в обращении О. С. с Н. Г. и в его отношении к ней «проглядывала безусловная, почти детская покорность его всем требованиям О. С. На первый взгляд получалось такое впечатление, что Чернышевский в глазах О. С. представлял собою рабочую машину, необходимую для поддержки их существования... Ни один шаг в домашней жизни Н. Г. не делал без ведома О. С. Без ее ведома Н. Г. не оставлял работы, не выходил гулять, не садился за стол, не брал ложки в руки... Ей приходилось следить

остался почти прежний, зато на лбу и лице оказалось немало морщин и впадин. В общем физически он производил впечатление растения, которое довольно долго простояло под колпаком: совсем оно не засохло, а только несколько позавяло. Пантелеев утверждает (и мы можем ему в этом поверить), что циркулирующие портреты Н. Г., как от раннего времени, так и позднейшие, — почти всегда весьма плохие копии; особенно невозможны так называемые увеличения. Но даже оригинальный кабинет-портрет, сделанный в Астрахани, крайне неудовлетворителен, так как сильно заретушеван.

Чернышевский произвел на Пантелеева впечатление издерганного человека. Что составляло новое, говорит он, так это заметная нервность. Прежде Н. Г. говорил без особенного оживления, при чем в фигуре его не замечалось движения; теперь же он не только говорил скорее прежнего, без учащенных «ну-с», «да-с», но и поминутно приходил в движение всем корпусом, часто вставал и прохаживался по комнате. Он также больше прежнего курил, при чем и тут сказывалась повышенная нервность: он то с живостью затягивался, то ломал папироску, стряхивая пепел, то забывал о ней, и она гасла. «С первого же дня я заметил, — продолжает Пантелеев, — что Н. Г. говорит без остановки и часто делает большие отступления в сторону, но всегда возвращается к начатой теме. Однако он легко давал себя перебивать и спокойно выслушивал возражения или какую-нибудь вставку. Слушая Н. Г., казалось, что за шесть лет, истекших со времени выезда из Вилюйска, он как бы все еще недостаточно вознаградил себя за двадцатилетнее одиночество».

Дальше Пантелеев излагает мнения Чернышевского относительно некоторых явлений тогдашней литературной и политической жизни.

Чернышевский полагал, что в 60-х годах беллетристика была лучше, чем в 80-х (и это, конечно, верно). По его мнению хорошо писал В. Короленко; лучшим же беллетристом из восьмидесятников он признавал Максима Белинского (И. Ясинского). Г. Успенского он ставил ниже Н. Успенского, Л. Толстому последнего периода он, разумеется, не мог сочувствовать и даже утверждал, что графский титул Толстого играл немалую роль в увлечении общества его писаниями [1].

за ним как за ребенком, и если бы не ее зоркий глаз, то он остался бы без еды и без питья, что нередко и случалось, когда О. С. не было дома... Такую безусловную покорность требованиям О. С. следует об'яснить, мне кажется, высоко развитым гуманным чувством Н. Г., из ряда выходящей добротой его и отрешенностью от всех жизненных мелочей».

[1] Из приводимого ниже рассказа В. Короленко видно, что это несовсем так.

Далее Чернышевский обвинял литературу 80-х годов в недостатке популярности, в нежелании приспособить форму изложения к массам. В частности он упрекал В. Модестова за недоступный широким кругам перевод Спинозы. «Надо писать так, — говорил он, — чтобы все могли понимать. Ведь великие идеи, как и высшая красота, сами по себе крайне просты и всякому доступны, если понятно выражены».

Что касается отзывов Чернышевского о тогдашнем политическом положении, то для правильной оценки сообщений Пантелеева не следует забывать, что к рассматриваемому моменту последний сильно изменился и поправел. Поэтому, с одной стороны, он мог сам невольно приписывать Чернышевскому свое собственное настроение, а с другой — чуткий Чернышевский, заметив, что собеседник настроен с ним не по одному ключу, мог сдерживать выражения своей мысли. Наконец, возможно, что некоторая усталость у Н. Г. сказывалась. Отчасти при его положении и при общей политической атмосфере того периода это было даже неизбежно.

Итак, вот что рассказывает Пантелеев.

«В суждениях Н. Г. о тогдашних делах, пожалуй, можно было усмотреть если не примиренность, то крайне благодушную незлобивость; иногда даже у него провертывались фразы, что нынешние времена и сравнивать нельзя с 60-ми годами, не в пример лучше (судя по дальнейшему, Чернышевский имел ввиду произошедшее за это время развитие производительных сил в России. — *Ю. С.*)... Этот тон, отсутствие каких-нибудь жалоб многих посещавших Н. Г. приводили к несколько скорому и наивному заключению, что Чернышевский стал совсем не тот, чем был прежде (курсив мой). Так буквально говорила мне, например, М. М. Манасеина, видевшая Н. Г., кажется, года через два после того, как он поселился в Астрахани. При этом надо иметь ввиду, что еще до ссылки даже люди, хорошо знавшие Н. Г., пользовавшиеся его доверием, не всегда могли отличить, когда он шутил, когда говорил серьезно. Иногда, может быть, это был с его стороны своеобразный прием, чтобы легче было определить действительное отношение собеседника к предмету разговора».

О том, что Чернышевский остался по-прежнему политически непримиримым, свидетельствует целый ряд сообщений Пантелеева. По поводу позорного поступка Салтыкова, который в 1861 г., получив в Твери прокламацию «Великорусс», представил ее с конвертом по начальству (см. выше), Пантелеев рассказывает, что злополучный вице-губернатор, узнав, какую бурю негодования возбудил его поступок в литературных кругах Петербурга, сейчас же приехал туда, но был

крайне сурово принят Н. Г. и близкими к нему; посредничество А. А. Головачова и А. И. Европеуса нисколько не смягчило Н. Г. Чтобы несколько реабилитировать себя, М. Е. вышел тогда в отставку [1]. Чернышевский, видимо, до самой смерти не мог простить Салтыкову его гражданского «подвига». Во время свидания с Пантелеевым в 1889 г., т. е. через 28 лет, Чернышевский, узнав о том, что Пантелеев незадолго до смерти Салтыкова часто бывал у него, задал ему ехидный вопрос: «Что же, вы это делали по христианскому состраданию или уж по особенному уважению к нему?». И Пантелеев прибавляет: «По тону, как были сказаны эти слова, я понял, что старая история не забыта Н. Г., как она не была забыта и Салтыковым» [2].

Тогдашняя проповедь «малых дел» и характерное для того мрачного периода жалкое либеральное крохоборство не могли вызывать со стороны непримиримого революционера Чернышевского ничего кроме презрения и ненависти. Передавая через Пантелеева поклон Пыпину, Чернышевский прямо заявил ему, что «они там занимаются глупостями». Он по-прежнему относился с ненавистью к режиму угнетения и презирал либеральные иллюзии [3]. Советуя Пантелееву не завещать ничего ни Литературному фонду, ни на школы, Чернышевский заметил: «Потому что ваш фонд выдает пособия шпионам, в ваших школах учат богу молиться, царю повиноваться» [4].

«Последние слова, — прибавляет Пантелеев, — были произнесены с особенным ударением, Н. Г. даже встал и несколько раз прошелся по комнате, как бы желая успокоиться. Я думаю, что в этих словах сказался настоящий Чернышевский, каким он был в тайниках своей души».

---

[1] Насколько последний факт точен, мы не знаем.

[2] Когда Пантелеев перед от'ездом из Петербурга предложил Салтыкову сделать собственноручную надпись на своем портрете для передачи Чернышевскому, Салтыков ничего не ответил. Повидимому, он основательно опасался, чтобы Чернышевский не вернул ему портрета «за ненадобностью». вроде того, как лет через 25 после того поступил Г. Плеханов с портретом Шаляпина.

[3] К герою тогдашней журналистики и его «Всероссийской Пенкоснимательнице» он относился с ненавистью и презрением, как это видно из письма его к Пыпину от 1888 г., где он между прочим говорил: «Какое нам дело до пошлостей Суворина или хотя бы тех трактирщиков, половыми у которых служит Суворин и компания?» (В. Ильинский — «К вопросу о философских и социологических воззрениях Н. Г. Чернышевского». «Вестник Коммун. Академии», № 20, стр. 203). Трактирщик в применении к Александру III — довольно меткий эпитет.

[4] У Пантелеева эти слова (богу и царю) заменены многоточиями, но они ясны по смыслу.

В этих и подобных замечаниях сказывался старый Чернышевский, в них прорывалось его подлинное настроение, скрытое от посторонних глаз [1]. Чувства были те же, но не было энергии молодости и еще меньше осталось надежд. В русском обществе 80-х годов Чернышевский не видел никаких сил, способных возобновить борьбу за освобождение народа. Тем более, что семья, страха ради полицейска, сочла нужным окружить его строжайшим карантином и не допускать к нему никого без разрешения жены. Таким образом близкие основательнейшим образом отрезали Чернышевского от молодых сил, если бы они и нашлись, и в сущности продолжили для него до самой смерти режим Вилюйского острога.

Во всей литературе о Чернышевском существует единственное свидетельство, стремящееся представить Н. Г. после ссылки в виде «раскаявшегося» революционера. Это — рассказ некоего Н. Ф. Скорикова, который с осени 1887 года был учителем в Астрахани. Для помещения своей беззубой клеветы на Чернышевского, которая рисует этого жалкого господина с самой дурной стороны, он избрал такое подходящее для подобных нечистот свалочное место, как журнал А. Суворина [2].

Вот как Н. Скориков описывает первую встречу с Чернышевским.

Проверив «благонадежность» нового посетителя, О. С. позвала из соседней комнаты мужа [3]. На наивного Скорикова его подшучивание над членами «местного Пиквикского клуба» произвело впечатление «чудачества и веселого иронического настроения».

«Это чудачество, — замечает Скориков, — как я убедился потом, составляло отличительную черту в характере Н. Г. Постороннего на-

---

[1] Старый Чернышевский сказывается и в других разговорах его с Пантелеевым весной 1889 года. Относительно польского вопроса Н. Г. прямо заявил, что по его глубокому убеждению «русский народ решительно ничего не потеряет, если отпадет не только Царство Польское, но даже и Западный Край». Когда речь зашла о том, что среди английских лэндлордов начинает пробиваться идея передачи земли народу, старый материалист ехидно заметил: «Тут дело очень простое: с одной стороны, земля не дает более полутора процентов, а получить расчитывают не менее 2½%, с другой — и это самое главное — чувствуют кулак за спиной» (Пантелеев — «Из воспоминаний», ч. II, стр. 191—197).

[2] Н. Ф. Скориков — «Н. Г. Чернышевский в Астрахани». «Ист. Вестник» 1905, № 5, стр. 479 сл.

[3] Кстати, Скориков указывает, что самый верный портрет Чернышевского этого периода — работы Климашевской в Астрахани, напечатанный, между прочим, в «Истории русской словесности» Полевого. О. С. говорила только, что Н. Г. вышел на нем с недовольным выражением лица, так как она чуть не силой заставила его сняться.

блюдателя всегда озадачивала его манера находить во всем сначала смешные стороны, и неудивительно, что многие говорили, будто за этой особенностью у Чернышевского, как за щитом, скрывалось его действительное отношение к явлениям окружающей жизни. И действительно Н. Г. на многие вопросы почти никогда сразу не высказывался, а большею частью отшучивался, хотя всегда так ясно и остроумно, что слушатели сами могли сделать надлежащие выводы».

Однако Скориков этого сделать не мог. Этот маленький, пустенький обыватель понимал Чернышевского по-своему, прилагал к нему свой аршин и творил его по своему образцу и подобию. Мудрено ли, что вместо фигуры Чернышевского в рассказе нашего провинциала получился какой-то Скориков II?

Как-то зашел разговор о студенческих беспорядках в связи с введением нового университетского устава. «Я, — рассказывает Скориков, — пожелал знать мнение об этом Н. Г. К моему удивлению, он с чрезвычайной горячностью разразился нападками на студентов. Все эти и подобные им беспорядки вызываются слишком наивными, а потому плохо расчитанными побуждениями. Проявлять подобные протесты — безумство. Что вы скажете о шалуне-мальчишке, который в бессильной злобе на оскорбившего его великана бежит за ним и старается укусить его за икры? Ведь великан каждую минуту может обернуться и поднять шалуна за волосы на воздух. Беспорядки, подобные только что случившимся, способны лишь ухудшить положение протестующей стороны. И прискорбно, конечно, что в этих безумных порывах молодежь всегда забывает то дело, ради которого она идет в университет»...

Эти слова Чернышевского, если они просто не выдуманы ad usum Delphini, сиречь Суворина, в органе которого напечатаны цитируемые воспоминания, должны были бы дать понять г. Скорикову, что Чернышевский отшучивается и не желает откровенно разговаривать с любопытствующим обывателем на скользкие темы. Однако он этого не понял и имел бестактность еще заострить разговор постановкой следующего вопроса: «Как же поступать, если легальные пути ни к чему не ведут? Тогда не правы ли те, кто, не удовлетворяясь легальным образом действий, создает тайные общества и прибегает к подпольной пропаганде?».

На сей вопрос, предложенный ему человеком, которому Чернышевский, видимо, не доверял и которого не брал всерьез, он, если верить подозрительному мемуаристу, дал следующий ответ: «История

показывает, что общества с тайным, в большинстве с преступным [1] образом действий, никогда не достигали положительных целей. Все, что делается в темноте, — либо пошло, либо пусто... Серьезные, умные люди в тайных обществах не состоят (!). Тайные кружки и общества — это пустые, бессодержательные скопища недоучек, способных лишь тормозить ход государственной жизни... История показывает, что цивилизация двигается не тайными обществами, — нет! Ими возбуждались только местные восстания и бунты, не приводящие ни к каким положительным результатам».

Хотя сам автор этих строк признается, что Чернышевский «попеременно переходил из серьезного тона в шутливый и под конец громко расхохотался», тем не менее Скориков так и не понял, что Н. Г. над ним подшучивает, — может быть добродушно, а может быть и раздраженно, если принять во внимание содержание вопросов, которые этот молодой человек задавал старому поднадзорному писателю, имевшему основание предполагать, что за каждым шагом его следят, и что полиция подсылает к нему шпионов. Поэтому можно только удивляться наивности г. Скорикова, который дальше пишет: «Пусть судит сам читатель, какое впечатление мог произвести этот разговор на восторженного и пылкого юношу»... Он пытается даже уверить читателя, что убеждения его изменились под влиянием этой беседы с Чернышевским, но мы сильно сомневаемся, чтобы у него в молодости были какие-либо демократические убеждения, ибо от общения с таким человеком, как Чернышевский, они могли бы только укрепиться и углубиться.

Дальше он уверяет, что написал нескольким своим приятелям (которых, впрочем, благоразумно не называет) о своем разговоре с Чернышевским, в том числе и какому-то Н., «ярому революционеру по взглядам». Этого Н., возмущенного «отречением» Чернышевского от взглядов, высказывавшихся в его старых сочинениях, г. Скориков якобы даже сводил познакомиться с Чернышевским, с которым тот и вступил в горячий спор. Что говорил этот таинственный «революционер» Н. Чернышевскому, неизвестно, но г. Скориков сообщает, что Чернышевский был явно раздражен болтовнею этого Н. и на его разглагольствования отвечал: «Ничего подобного я никогда не писал и не высказывал». Н. тоже ушел от Чернышевского крайне недоволь-

[1] Уже одно это словечко показывает, что его произнес не Чернышевский, а сочинил г. Скориков для вполне определенных политических целей и в частности для того, чтобы угодить редакции того реакционного журнала, в котором он напечатал свою статью. Это в сильнейшей степени подрывает веру в точность его рассказа.

ный и на улице заявил своему приятелю: «Нет, я положительно не могу согласиться со взглядами Н. Г. на нелегальный образ действий». Впрочем, в чем г. Н. проявил свой взгляд на «нелегальный образ действий», история в лице г. Скорикова умалчивает.

Мы бы не стали приводить этого вздорного рассказа г. Скорикова, если бы он не был единственным в литературе. Дело совершенно ясно. Двое юнцов, в общем обывательски настроенных и готовых при случае щегольнуть напускным радикализмом, имели бестактность разыграть страшных революционеров перед Чернышевским. Тот, разумеется, сразу раскусил этих господ и взял с ними такой тон, какого они заслуживали. А может быть, внимая их разглагольствованиям о «нелегальном образе действий», он просто счел их за соглядатаев и «отшил» их в присущей ему форме иронической насмешки. Скориков же принял эти шутливые замечания всерьез и затем, к своему сраму, счел нужным поведать о них потомству на страницах суворинского журнала, систематически фальсифицировавшего историю в интересах царизма.

Естественно, что статейка г. Скорикова, пытавшаяся представить Чернышевского в совершенно новом и неправдоподобном освещении, вызвала толки в прессе. Блудливое суворинское «Новое Время» отнеслось с полным доверием к воспоминаниям Скорикова, но другие газеты отнеслись к ним с сомнением, при чем одни, как «Биржевые Ведомости» (в заметке А. Измайлова «Перелицованный Чернышевский и г. Скориков» в приложении к «Биржевым Ведомостям»: «Новая иллюстрация» 1905, № 20), признали их результатом недоразумения, а другие, как «Наша Жизнь» (статья «Клевета на Чернышевского» и заметка д-ра Шепетовского в № 101 от 25 мая 1905 г.), об'явили их плодом досужей фантазии автора и клеветою на Чернышевского.

Злополучному мемуаристу пришлось об'ясняться в новой статье [1].

Во-первых, он расшифровал таинственного «революционера» Н., оставшегося «недовольным» политической умеренностью Чернышевского. Это оказался тоже учитель А. Я. Назаров, который, впрочем, не счел нужным откликнуться для подтверждения извета своего приятеля. А далее с разными ужимками г. Скориков вынужден был признать, что Чернышевский просто издевался над ним (если только говорил ему то, что впоследствии приписал ему этот провинциальный болтун).

«Высказывая свои взгляды, — пишет он, — Чернышевский показал мне только один угол здания, громадные размеры которого были скры-

[1] Скориков — «По поводу воспоминаний о Н. Г. Чернышевском». «Ист. Вестник» 1905, № 7, стр. 125 сл.

ты от моего взора (?). Но он тем самым спас меня от дальнейших увлечений (!), сразу подметив во мне своим опытным взглядом пылкую увлекающуюся натуру, едва ли способную к непрерывной упорной работе». Это и есть признание в том, что Чернышевский сразу понял своего собеседника и не счел нужным серьезно с ним разговаривать.

На этом мы можем расстаться с маленьким клеветником, захотевшим оставить рядом со следами львиной поступи Чернышевского отпечаток своих ослиных копыт.

3. Литературная работа

Мы знаем, что еще на каторге Чернышевский мечтал о возвращении к писательству, без которого он не мыслил себе жизни. Теперь, избавившись от вилюйской ссылки, он мог думать, что близится осуществление этой мечты, не оставлявшей его в продолжение двадцати лет. По возвращении из Сибири он расчитывал широко развернуть свою литературную работу. С одной стороны, он хотел писать для заработка, чтобы содержать больную жену и возместить родным и друзьям понесенные для него расходы, а с другой — он надеялся проводить в публику свои взгляды. В журналах он собирался писать по вопросам философским и историческим, а собственно для заработка он думал заняться беллетристикой и даже издательством. В частности он собирался выпустить новое издание Милля со своими примечаниями [1].

Некоторую часть своих планов Чернышевский выполнил. Помимо названных в дальнейшем работ он за астраханский период своей жизни написал ряд других произведений. Из них следует назвать его «Литературные воспоминания», составленные по просьбе А. Пыпина и посвященные Некрасову, Добролюбову и Тургеневу, а также Н. И. Костомарову и Ф. М. Достоевскому. Часть этих воспоминаний использовал впоследствии Пыпин для своей книги о Некрасове, но использовал по-своему, т. е. очень плохо. Отчасти ими воспользовался Е. Ляцкий для своих статей о Чернышевском. Но оба эти писателя по духу стоят слишком далеко от Чернышевского, и можно пожелать, чтобы эта интересная работа нашего автора поскорее увидела свет в полном виде [2].

Чернышевским написаны были еще воспоминания о поэтах и беллетристах 50-х годов. Но, как сообщает Н. Чернышевская-Быстрова, он

[1] Н. Чернышевская-Быстрова — «Из литературных отношений Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву-Мясницкому». «Саратовский сборник» о Чернышевском, 1926, стр. 143 сл. Новые сведения дает ее же статья в «Красной Нови» 1928, № 8.

[2] Извлечения из воспоминаний о Некрасове напечатаны в томе X сочинений Чернышевского.

уничтожил их, чувствуя, что они не понравятся Пыпину «вероятно, за излишне-полемический тон», как она выражается, т. е. за правильный, революционный тон, как скажем мы. Так как Н. Г. писал эти воспоминания для Пыпина, желая помочь ему в его историко-литературных работах (этим он хотя бы отчасти уплачивал долг признательности за помощь, которую Пыпин во время ссылки Н. Г. оказывал его семье), и так как он, видимо, слишком хорошо знал умеренные тенденции своего двоюродного брата, посильно старавшегося в своих работах затушевать действительный характер литературных конфликтов, им описываемых, то факт признания Чернышевским этих воспоминаний неподходящими для Пыпина только показывает, что они были написаны в свойственном нашему автору резко-правдивом духе, и тем более жаль, что они были им уничтожены и не сохранены для потомства, которое отнеслось бы к ним не так, как А. Пыпин.

Следует еще отметить, что в Астрахани Чернышевский начал подготовлять издание полного собрания своих сочинений. Один из его поклонников, А. В. Михайлов, прислал ему комплект «Современника». Получив в свои руки такой материал, Н. Г. приступил к просмотру своих статей, которые он собирался даже снабдить примечаниями. К сожалению, работа эта осталась незаконченной, но сохранились ее следы в виде списка статей Чернышевского, составленного им самим и позже использованного его сыном при издании сочинений Н. Г. [1].

Но скоро ему пришлось убедиться в беспочвенности своих надежд и расчетов. Не то, чтобы он не чувствовал в себе достаточно сил для интенсивной и разносторонней научной работы. Напротив, ему казалось, что умственные его способности свежи по-прежнему, и что он по-старому владеет интересующими его темами. Пыпину, который вскоре по приезде Чернышевского в Астрахань, письменно запрашивал его, как он себя чувствует, он ответил: «очень хорошо; на любой станции по дороге я мог бы приняться за работу по самому серьезному научному вопросу» [2]. И возможно, что если бы у него нашлась подходящая трибуна и сочувственная аудитория, то, при сохранившейся у него огромной работоспособности, он бы сумел еще развернуться и создать крупные произведения. Но на пути к этому стояла тогдашняя политическая

[1] К неосуществившимся планам Н. Г. относятся также «Труды по истории русской журналистики» 60-х гг., «История некоторых отделов литературы 1840—1865 гг.», материалы для биографии Некрасова, книга о Добролюбове, предисловие к сочинениям Марко Вовчка и дополнения к мемуарам Головачовой-Панаевой (письмо его к последней с обещанием подготовить выход ее воспоминаний отдельной книгой напечатано в № 5 «Красной Нивы» за 1928 год).

[2] Пантелеев, часть II, стр. 199.

обстановка, сковывавшая его по рукам и ногам и обрекшая этого бывшего властителя дум почти исключительно на чисто механическую работу переводчика.

Как лицо, состоявшее под надзором полиции, он не имел права заниматься литературной деятельностью. Разумеется, этот запрет мог быть обойден (и нередко обходился), но лишь при желании издателей и редакторов пойти на риск. Но впечатление от закрытия «Отечественных Записок» в 1884 году, пострадавших отчасти за помещение статей революционных деятелей, было еще слишком свежо. Вдобавок после них ни одного радикального журнала в России не осталось, а то, что выходило, было сплошь бесцветным, обывательским и в лучшем случае, умеренно-либеральным вроде «Вестника Европы» М. Стасюлевича, все это относилось с враждой к революции и социализму, все это отрекалось от героических заветов 60-х годов. В этой атмосфере умеренности и акуратности Чернышевский был чужим, пришельцем из другого мира. Хотя Пыпин был близким человеком в редакции «Вестника Европы», но он, видимо, считал безнадежным всякие хлопоты в смысле привлечения Чернышевского к сотрудничеству в этом журнале, ибо слишком хорошо знал своего патрона Стасюлевича [1]. Все, что Пыпин мог или хотел сделать для своего родственника, это было предоставление ему через М. Антоновича и Л. Пантелеева некоторых переводов. Так, Чернышевский перевел «Сравнительное языкознание» Шрадера, «Энергию в природе» Карпентера и «Основные начала» Спенсера. Но эта грошевая и безыдейная работа, разумеется, не могла его удовлетворить.

Старый приятель его А. В. Захарьин взялся в октябре 1884 года хлопотать в правительственных сферах, так как Чернышевский хотел выяснить условия, на каких допущена будет его литературная деятельность. В Департаменте Полиции Захарьину предложили подать докладную записку м. в. д. Дурново. Составил ее Пыпин в присущем ему «приспособительном» духе. Указав на то, что начальник главного управления по делам печати Феоктистов разрешил напечатать «Гимн деве неба» с исключением имени автора, записка просила министра войти в безвыходное положение Чернышевского и его семейства и «разрешить ему заняться литературным трудом,.. при чем труды Чернышевского по его собственному желанию представляемы были бы каждый раз на предварительное рассмотрение Главного управления по делам печати и появлялись бы в свет под каким будет угодно цензуре именем или даже и

[1] По словам Н. Чернышевской-Быстровой, «Вестник Европы» поместил небольшую компилятивно-переводную статейку Чернышевского «Столетие газеты Таймс», а затем отказался от его сотрудничества. А ведь Пыпин был в этом журнале чуть ли не редактором!

вовсе неподписанными». В заключение податель записки, т. е. Захарьин, сообщал, что в Астрахани Чернышевский живет весьма уединенно, «не имеет и не желает иметь никаких знакомств» [1].

Правительство поставило Чернышевскому условием — предварительную цензуру и псевдоним. При этом было выдвинуто требование, чтобы появление его статей не было встречено излишней болтовней или овациями, и чтобы псевдоним не был разоблачен. Но главное затруднение встретилось не со стороны царской полиции, а со стороны добровольной полиции либеральных издателей. «Наиболее солидный журнал того времени «Вестник Европы», возглавляемый Стасюлевичем, отнесся более чем сдержанно к печатанию даже переводных статей Чернышевского», другими словами отказался от сотрудничества опального писателя, которого господа буржуазные либералы не переставали никогда ненавидеть (и правильно делали) [2]. И старому мыслителю с горечью пришлось убедиться, что политическая обстановка, в которой он очутился, разрушила его надежды. «Чернышевскому стало ясно, — пишет Чернышевская-Быстрова, — его подлинное положение в литературном мире: печать, наложенная на его имя, сыграла свою роль за 19 лет ссылки. Никто не встречал его с распростертыми об'ятиями, никто не приглашал его, и он понял, что все его огромные литературные замыслы, бывшие его единственной поддержкой в Вилюйской тюрьме, должны растаять в мертвой тишине». Но не в «печати», наложенной на его имя, было дело, а в том, что тот класс, во имя которого работал и страдал Чернышевский, был тогда подавлен и лишен голоса, а на литературной арене верховодили ненавистные ему буржуазные либеральчики à la Стасюлевич и т. п., приспособлявшиеся к подлости и сами создававшие эту подлость, эту мерзость запустения, какую в то время представляла бедная русская мысль. В этой среде, в этой атмосфере Чернышевскому нечего было делать, кроме как заниматься переводами для заработка [3].

---

[1] Чернышевская-Быстрова, цит. ст. в «Сборнике», стр. 143—145. — Записка Захарьина была подана 22 ноября 1884 года директору Деп. Полиции П. Н. Дурново; но министр внутр. дел не признал возможным дать официальное разрешение на занятие Чернышевского литературной деятельностью (см. Дело Деп. Пол. № 904, л.л. 35—36).

[2] Отношения с «Русской Мыслью» завязались только четыре года спустя.

[3] Чернышевский, повидимому, скоро понял, что его мечты о широкой литературной деятельности были беспочвенны. Уже в 1884 году он писал Пыпину: «Видишь ли, мой милый, у меня были кое-какие мысли о том, как и что я буду писать. Весной я еще держался за них. Но пора уж было увидеть то, что следовало понимать и прошлой зимой: эти мысли неосуществимы. Не нравилось бросать их. Теперь бросил». Как должно было подей-

И к счастью он нашел хоть такую хлебную работу, а не то ему пришлось бы на старости лет обращаться к общественной благотворительности, т. е. к помощи тех самых господ, которые боялись или, лучше сказать, не хотели печатать даже его переводных работ (вроде того же Стасюлевича). Известный московский издатель-меценат К. Т. Солдатенков согласился выпустить перевод 16-томной «Всеобщей истории» Вебера, что обеспечило Николаю Гавриловичу безбедное существование до самой смерти [1].

Но это была уже не работа прежнего Чернышевского, будившая общество, раскрывавшая перед ним широкие горизонты и указывавшая ему великие исторические пути. Это была работа больше для хлеба и для удовлетворения снедавшей его жажды умственной деятельности. Он перевел 11 томов «Всеобщей истории» Вебера втечение 4—5 лет, составил и издал у Солдатенкова первый том «Материалов для биографии Добролюбова», таким образом выполнив хотя бы отчасти свою постоянную мечту. Написал 5 приложений к переводу веберовской истории (начиная с 6-го тома). В 1888 году он поместил в «Русской Мысли» статью о теории Дарвина «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» за подписью С т а р ы й Т р а н с ф о р м и с т. Кроме указанных работ Чернышевский написал еще (кажется, впрочем, уже в Саратове) повесть «Вечера у княгини Старобельской», предназначавшуюся для «Русской Мысли» 1889 года, но почему-то не пропущенную цензурой [2]. В 1885 году он поместил в «Русских Ведомостях» две статьи «Характер знания», а в июльской книжке «Русской Мысли» стихотворную поэму из карфагенской жизни «Гимн деве неба», не блещущую, правда, особенными поэтическими достоинствами. Но все это было не то. Оставаясь верен своей старой заветной мысли, он мечтал о переводе броктаузов-

ствовать на Чернышевского крушение этих надежд, нетрудно себе представить. Недаром жена его в письме от 10 марта 1884 года жаловалась на то, что он «хандрит», «а иногда и плачет» (В. Ильинский, цит. ст., стр. 202).

[1] Юдин (цит. ст., стр. 890) сообщает, что в Астрахани «отпускаемых ему Литературным фондом средств было вполне достаточно при его скромных требованиях и при тамошней дешевизне жизни». Мы не знаем, получал ли Чернышевский помощь от Литературного фонда; но если это и имело место, то могло быть лишь в начале его пребывания в Астрахани. Сообщение Юдина, что Чернышевский получал помощь от Литературного фонда и в Саратове (стр. 892), кажется нам маловероятным.

[2] Н. Чернышевская-Быстрова в своей второй статье (стр. 184—185) цитирует письмо Н. Г. к К. Т. Солдатенкову от 26 декабря 1888 г., в котором он сообщает, что под именем П. С. Вязовского вывел в этом произведении самого себя. «Разумеется, — добавляет он, — я для забавности рассказа несколько преувеличиваю мои смешные и уродливые качества». Как мы знаем, он делал это и в других своих беллетристических произведениях.

ского Conversation's-lexicon'a со своими дополнениями и был крайне огорчен, когда узнал, что Брокгауз сам предпринимает это издание на русском языке [1]. В общем же он, чувствуя свою оторванность от жизни, сознательно брался за более или менее отвлеченные темы. «Я в настоящее время, — сообщал он Гольцеву в сентябре 1887 г., — не хочу писать статей менее безжизненных».

Мысль о том, что он отстал и уже не интересен, заставляла его глубоко страдать. В этом отношении характерен следующий инцидент. Вскоре по возвращении Н. Г. из Сибири Пантелеев дал ему для перевода книжку Карпентера «Энергия в природе». Чернышевский перевел ее в два месяца и написал к ней предисловие в печатный лист нецензурного содержания. По совещанию с Пыпиным и Антоновичем решено было выбросить последние две страницы книги, по поводу которых и было собственно написано предисловие, дабы перевод мог выйти в свет. Но Чернышевского это обстоятельство больно задело, так как он заподозрил здесь влияние не царской, а дружеской цензуры. При свидании с Пантелеевым в 1889 году Чернышевский во время разговора заметил, что ввиду близящегося окончания перевода истории Вебера, он, вероятно, скоро обратится к нему за переводной работой и при этом прибавил: «Только, надо иметь некоторое доверие к моей пригодности. Конечно, со стороны формы я писал плохо, я — не Добролюбов, который и в этом отношении был мастер; но право же еще могу работать». Когда же Пантелеев, понявший этот намек, об'яснил ему, что вина за непоявление в печати первых же строк, написанных Чернышевским по возвращении из ссылки, ложится на цензуру, а не на друзей, Н. Г. заметил: «А я думал, что, может быть, нашли мое предисловие совсем глупым». И Пантелеев прибавляет: «Мысль, что его считают только тенью прежнего Чернышевского, несомненно лежала на душе Н. Г.» [2].

Был момент, когда Чернышевскому показалось, что старая мечта его осуществляется, и что ему, быть может, удастся заполучить в свои руки журнал, в котором он сумеет проводить свои заветные идеи. Он возлагал надежды на «Русскую Мысль», с которой завязал сношения по случаю помещения в ней его стихотворной поэмы «Гимн деве неба» за подписью Андреев. Доставил в редакцию «Русской Мысли» это стихотворение А. Захарьин [3].

---

[1] Впрочем, и после этого он не совсем отказался от своего плана и писал жене, что думает написать небольшую популярную энциклопедию. Впрочем, выполнить свое намерение он не успел.

[2] Пантелеев, ч. II, стр. 198—199.

[3] Фактический руководитель этого путаного, в общем умеренно либерального журнала, В. Гольцев находил, что это стихотворение «не отли-

Гольцев написал Чернышевскому от имени редакции, предлагая ему сотрудничество в «Русской Мысли». 27 сентября 1887 года Чернышевский писал ему: «До сих пор мне было недосуг писать что-нибудь для журналов. Теперь я начал писать. Предметом первой моей работы я взял вопрос о том, как велико было влияние пап на ход событий в период, обыкновенно называемый временем великого могущества их». Чернышевский признавал, что предмет задуманных им двух статей слишком сух для журнала. «Но, — продолжает он, — я в настоящее время не хочу писать статей менее безжизненных. Если вы найдете, что статья о Григории VII не пригодна для журнала по своей сухости, я не буду иметь никаких возражений против этого мнения. Я сам... расположен думать так». Ссылаясь на свой этюд о расах, помещенный в виде предисловия к переводу VII тома «Всеобщей истории» Вебера, где доказывается невозможность уловить различия в умственной и нравственной организации белой, черной и желтой рас, Чернышевский говорит, что статьи подобного рода, идущие вразрез с установившимися в науке взглядами, хотя и представляющими продукт невежества, для журнала неподходящи, так как «они сами должны казаться огромному большинству специалистов и публики продуктами наглого невежества» [1].

«Мне уже почти шестьдесят лет, — пишет Чернышевский, — и не очень много лет остается мне жить». Ему хотелось бы для переработки господствующих понятий об истории человечества обратиться к европейским читателям (старая его мечта). «Но, — продолжает он, — на каком же языке, кроме русского, могу я писать? Я легко пишу и на немецком, французском и английском языках. Но на каждом из них с десятком грамматических лексикографических ошибок в каждой строке».

Редакция «Русской Мысли» ответила согласием на помещение статьи, но работа приняла такие размеры, что Чернышевский отказался от напечатания ее в журнале (участь этой работы неизвестна), а прислал другую статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь». В письме к Гольцеву от 23 июня 1888 года Чернышевский говорит, что он с довольно ранней юности знал теорию Ламарка и был

чается художественными достоинствами, но что-то сильное в нем чувствуется» (см. В. Гольцев — «Из воспоминаний и переписки. I.—Н. Г. Чернышевский». «Рус. Мысль» 1903, № 1, стр. 126 сл.). А. Тверитинов (цит. брош., стр. 95) рассказывает, что один из редакторов «Русской Мысли», состоявший в переписке с Чернышевским, повидимому, тот же Гольцев, следующим образом раз'яснял ему смысл этого стихотворения (неясно, со слов ли самого Чернышевского или нет): «Нужно понимать иносказательно. Оно значит: если сражение проиграно, то унывать все-таки не следует».

[1] По моему он намекает здесь на трусость редакций, которые не дерзнут пойти против установившихся трафаретных взглядов.

трансформистом. Но к теории Дарвина он относился враждебно. «Люди моих лет, — писал он, — бывшие трансформистами задолго до начала шума о дарвинизме, составляют маленькую долю публики. Старики не могут требовать, чтобы младшие поколения разделяли их чувства. А журнал обязан принимать в соображение мысли большинства образованных людей. Удобна ли в этом отношении моя статья, мне неизвестно... Поэтому я не буду нимало в претензии на «Русскую Мысль», если она найдет, что моя статья непригодна для нее».

Гольцев ответил, что статья будет напечатана, но с небольшой оговоркою от редакции. На это Чернышевский ответил письмом от 19 августа 1888 года, где говорил: «Она (статья) — лишь первая в ряду предположенных мною статей о тождестве условий материального благосостояния с требованиями разума и совести... Я посмотрю, повредит ли журналу моя первая статья. Будьте уверены, что я умею судить об этом» [1].

Статья Старого трансформиста появилась в сентябрьской книжке «Русской Мысли» за 1888 год. «Многим она понравилась, многих вооружила против себя, — говорит Гольцев (стр. 129). Граф Л. Н. Толстой отозвался о ней, в разговоре со мною, с большим сочувствием и похвалою. В «Русском Богатстве» (редакции Л. Е. Оболенского) была напечатана статья, подписанная Натуралист, против статьи Старого трансформиста... По мнению автора в ней воскрес дилетантизм шестидесятых годов. «Даже стиль Старого трансформиста, — говорит он, — образный, якобы исторический, прием построения рассказа, заменяющего отсутствующие доказательства, живо напомнил нам 60-е годы, но в то время люди, сильное и увлекательное слово которых имело плодотворное значение, не позволяли себе внедряться в чужую им область естествознания». Достается от критика и редакции «Русской Мысли» за напечатание статьи Старого трансформиста» [2].

Эта статья, в которой Чернышевский в качестве старого ламаркиста признает себя сторонником эволюционной теории, но решительно высказывается против дарвиновской борьбы за существование [3],

[1] Есть еще неопубликованное целиком письмо к Гольцеву от 31 августа 1888 года, где Чернышевский говорит о своем характере («дальше следуют подробности, о которых покуда говорить неудобно»). Имелись еще письма Чернышевского у издателя «Русской Мысли» В. М. Лаврова, который познакомился с ним в Астрахани; но где они, мы не знаем.

[2] В №№ 1 и 2 «Русской Мысли» за 1889 год напечатаны были еще Чернышевским «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова».

[3] Против теории борьбы за существование, как главного фактора изменчивости форм, Чернышевский высказывался еще в письмах из Сибири

произвела тяжелое впечатление на поклонников Чернышевского и окончательно убедила их в том, что старый Чернышевский погиб безвозвратно или, вернее, что старая манера Чернышевского решительно не отвечает духу времени [1]. А между тем, говоря откровенно, эта статья не должна была бы возбуждать в поклонниках Чернышевского такого тяжелого чувства. Она полна остроумных и метких замечаний. Так, например, Чернышевский показывает, что своей теорией Мальтус хотел оправдать политическую системуториев, что Кювье был в естествознании представителем того направления мысли, которому желал дать господство в умственной жизни Наполеон и которое получило владычество над нею при реставрации, что Ламарк был представителем идей медленной и постепенной эволюции, не соответствовавших духу того времени, т. е. эпохи революционных потрясений и переворотов. Правда, мнение Чернышевского о том, что дарвинизм — это теория, достойная Торквемады, слишком сильно грешит социологическим суб'ективизмом, но как раз тогдашние поклонники Чернышевского сами не свободны были от такого суб'ективизма [2].

(напр., от 1 и 24 ноября 1873 года). Пантелееву он говорил в 1889 году: «После Ламарка, что для французов Дарвин? И как можно понять, что весь жизненный строй должен держаться на борьбе?». Чернышевский в сущности протестовал здесь против игнорирования дарвинизмом противоположных факторов — сотрудничества, взаимопомощи, солидарности (видовой в биологии, классовой в социологии).

[1] «Его статья о Дарвине, — пишет Плеханов («Соч.», т. V, стр. 122), — положительно слаба, слаба до крайности, до того, что производит самое тяжелое впечатление. Читая ее, чувствуешь, что имеешь дело с писателем, уже окончательно разбитым и надломленным... Прежний Чернышевский был убит приговором сената».

[2] «Спор между учениками Ламарка и учениками Дарвина еще далеко не окончен, — говорит Н. Русанов («Чернышевский в Сибири». «Рус. Бог.» 1909, № 5, стр. 179 сл.), — и в самом предпочтении ламаркианства дарвинизму нет в сущности еще ничего чудовищного и наивного». И дальше он прибавляет: «Критика Чернышевского била в значительной степени прямо в точку, когда сближала один из главнейших элементов дарвинизма, а именно учение о борьбе за существование, с реакционным социологическим мировоззрением Мальтуса, которое Николай Гаврилович выводил из общественных условий Англии и вообще Западной Европы в момент составления „Трактата о принципе размножения населения"». Между прочим Русанов (стр. 180—181), ссылаясь на П. Кропоткина, приводит цитату из письма Дарвина к германскому натуралисту Морицу Вагнеру от октября 1876 года, в котором Дарвин признает своей величайшей ошибкой то, что он не придал достаточного веса прямому действию среды, т. е. пищи, климата и пр., независимо от естественного отбора, другими словами в сущности признавал ряд взглядов ламаркизма.

В высшей степени замечательно, что в письме к Лаврову от 12 ноября 1875 г. Энгельс делает насчет дарвинизма ряд замечаний, по существу аналогичных с возражениями Чернышевского. «Я, — пишет Энгельс, — признаю в учении Дарвина теорию развития, но способ доказательства (борьба за существование, естественный отбор) Дарвина принимаю лишь как первое, временное, несовершенное выражение недавно открытого факта... Взаимодействие тел природы — как мертвой, так и живой — включает в себя и гармонию, и коллизию, и борьбу, и кооперацию. Если поэтому так называемый естествоиспытатель позволяет себе резюмировать все разнообразное богатство исторического развития в односторонней и сухой (курсив мой) формуле «борьба за существование», в формуле, которая даже в области природы может быть принята лишь cum grano salis, то такое отношение само себя осуждает».

И дальше Энгельс продолжает: «Все учение Дарвина о борьбе за существование есть просто перенесение из общества в область живой природы учения Гоббса о bellum omnium contra omnes (войне всех против всех) и буржуазно-экономического учения о конкуренции рядом с теорией народонаселения Мальтуса. Проделав этот кунштюк (безусловную правильность которого я оспариваю... в особенности по отношению к теории Мальтуса), опять переносят эти же самые теории из органической природы в историю и затем утверждают, что доказана их верность как вечных законов человеческого общества. Наивность этой процедуры бросается в глаза». В заключение Энгельс снова подчеркивает значение солидарности, особенно в человеческом обществе, и возражает против утверждения Лаврова, будто борьба всех против всех была первой фазой человеческого развития. «По моему мнению, — пишет Энгельс, — общественный инстинкт был одним из важнейших рычагов развития человека из обезьяны» [1].

Таким образом возражения Чернышевского против специфических черт дарвинизма ни в какой мере не говорят об упадке его умственных сил, тем более что спор этот окончательно не выяснен и до сих пор.

4. Конец жизни в Астрахани

Водворение в Астрахани естественно не могло удовлетворить Чернышевского. В сущности это было продолжением вилюйской ссылки, хотя и в несколько смягченной форме. Не говоря уже о климате, вредно

[1] «Письма Ф. Энгельса к П. Лаврову». «Летописи марксизма» 1928, V, стр. 34—36.

влиявшем на здоровье Н. Г., он страдал от отсутствия библиотек и научных пособий, которые нужны были ему для задуманных работ [1]. Родные Чернышевского также хотели, чтобы он жил в Саратове. Особенно этого хотела его жена, которая, несмотря на преклонный возраст, сохранила прежнюю живость и склонность к рассеянной, подвижной жизни. Потребность в перемене обстановки ощущалась ею тем сильнее, что за годы разлуки она отвыкла от мужа, и совместная жизнь с ним ее тяготила. На этой почве ее истеричность еще больше развилась, что также должно было причинять спокойному и уравновешенному Чернышевскому лишние страдания [2].

Скоро по переселении Н. Г. в Астрахань родные его возобновили хлопоты о разрешении ему выехать оттуда. 5 ноября 1885 года сын его, М. Н. Чернышевский, обратился с новым прошением к Александру III, в котором ходатайствовал о дозволении его отцу жить повсеместно в России, не исключая и Петербурга, и заниматься литературным трудом (т. е. подписывать свои работы собственным именем и издавать свои сочинения). Для обоснования этой «слишком смелой» просьбы М. Н. Чернышевский подробно излагает историю своего отца и дает характеристику его личности вполне в духе уже известной нам записки А. Пыпина, при активном сотрудничестве которого без сомнения составлялось и это всеподданнейшее прошение. Поставив себе целью смягчить жестокое сердце тирана и рассеять укоренившиеся в высших правительственных сферах взгляды на Чернышевского как на опасного революционера и коммуниста, сын его рисует Н. Г. в виде умеренного реформиста, солидарного с программою правительства и лишь по недоразумению зачисленного в революционные социалисты. В Лондон он мол ездил с «единственной целью» убедить Герцена придать своим писаниям по крестьянскому вопросу менее памфлетный характер и таким образом сделать их более приемлемыми для правительства. Социалистом Чернышевского об'явили де только за то, что он отстаивал «исконное наше народное общинное начало», в действительности же он был мирным кафедер-социалистом и ничего общего не имел с грубым материализмом русских социалистов. Попытки освобождения Чернышевского характеризуются как «постыдное легкомыслие авантюристов». Русские социа-

[1] Пантелеев (ч. II, стр. 201) рассказывает, что по поводу хлопот губернатора Рязанского о переводе Чернышевского в Саратов Н. Г. заметил: «Для меня решительно все равно, что Саратов, что Астрахань, но О[льге] С[ократовне], конечно, было бы приятнее жить в Саратове. Мне лично хотелось бы перебраться в университетский город, чтобы под рукою была большая библиотека, другого мне ничего не надо».

[2] В. А. Пыпина — «Любовь в жизни Чернышевского», стр. 109 сл.

листы, среди которых имелись «и несчастные или преступные фанатики, и совершенно испорченные дурные люди», нагло эксплоатировали и имя, и собственность Чернышевского, приступив к «воровскому» изданию его сочинений за границей и по своим соображениям припутывая к своим увлечениям или интригам его имя, чтобы прикрыть им свое ничтожество (в этой части прошения буквально списываются из записки Пыпина 1881 года целые страницы, в том числе и о «нечистом на руку» Бакунине и «ошалевшем философе» Лаврове).

Изобразив «в истинном виде» своего отца и «не позволив себе ни единой неправды в этом изложении», ходатай, к стыду носивший славное имя Чернышевского, переходит к доказательству того, что со стороны Чернышевского правительству не грозит никакой опасности. Молва об опасности его для существующего режима вообще неосновательна, особенно же теперь при его преклонном возрасте, она не имеет под собою никаких оснований. «Способен ли мой отец, будучи умным человеком, имея почти старческий возраст (ему под 60 лет), пострадав более двадцати лет в ссылке, пуститься в приключения, которые считает, конечно, ниже своего достоинства?» — пишет этот жалкий обыватель, меньше всего заботящийся в данном случае о достоинстве своего великого отца. А на опасения, что Чернышевский может устно распространять «зловредные идеи» среди молодежи, проситель возражает указанием на то, что «у правительства есть столько средств для контроля за каждым шагом и словом моего отца, что малейшая опасность во всякое время может быть отстранена в вящшее назидание и проповеднику, и слушателю» (!).

И М. Н. Чернышевский заключает свое прошение следующими словами: «Надломленная и, можно сказать, разбитая жизнь моего отца — порукою того, что ничего подобного не произойдет. Вся мечта его теперь, чтобы дали ему покойно заняться чисто научными предметами. Для этого ему необходима возможность пользоваться книжными средствами императорской публичной библиотеки и необходим обмен мыслей с некоторыми (очень немногими) действительно учеными людьми. Ему необходим и уход за моим братом, дабы он сколько-нибудь окреп нервами и на груди отца нашел утешение и покой, которых они так томительно долго были лишены [1]... Ценою своей жизни, ценой жизни своей семьи я отвечаю за моего отца» [2].

---

[1] Старший сын Н. Г., Александр, заболел тогда психическим расстройством.

[2] Дело № 3892, л.л. 51—73. Полностью это прошение опубликовано нами в статье «К истории «освобождения Н. Г. Чернышевского» (в сборнике «Н. Г Чернышевский», изд. О-ва политкаторжан, стр. 167—179).

Но все эти унижения и самооплевания, к которым сам Чернышевский не имел, разумеется, никакого отношения и которые совершались за его спиной [1], оказались напрасными. Прошение это было 26 ноября переслано «по принадлежности» министру внутренних дел и было доложено гр. Д. Толстому, который в декабре приказал ходатайство отклонить. В тот момент такая просьба была еще преждевременной, ибо только через два года Департамент Полиции, как мы знаем, пришел к убеждению, что с Чернышевского можно снять специальный надзор, подчинив его обыкновенному. А в 1885 году правительство считало его еще для себя опасным.

Но вот прошло еще несколько лет. Революционное движение в стране казалось окончательно замершим, о Чернышевском полиция начала забывать, местная администрация в лице губернатора Вяземского сама готова была хлопотать за разрешение Чернышевскому выезда из Астрахани, и М. Н. Чернышевский счел момент удобным для возобновления своего ходатайства. На этот раз он обратился уже не к царю, а к министру внутренних дел. 28 марта 1889 года он подал гр. Толстому прошение, в котором указывал, что астраханский климат втечение пяти лет успел оказать пагубное влияние на здоровье Н. Г. Чернышевского и особенно его жены. За эти пять лет Н. Г. Чернышевский «вполне выказал свой теперешний (и уже давнишний) спокойный образ мыслей, не могущий уже более тревожить правительство». В настоящее время ему уже 61-й год. «Все его мысли и желания направлены лишь к тому, чтобы иметь возможность спокойно зарабатывать на старости лет как себе, так и для больной моей матушки кусок хлеба литературным трудом — единственным трудом, на какой он способен. Из области литературы отец мой, давно далекий от всяких современных интересов, занят исключительно вопросами отвлеченными и желал бы посвятить свои силы изучениям историческим, философским и историко-литературным. Но для такого труда необходимы серьезные пособия и исторические материалы. Таких пособий Астрахань иметь, конечно, не может». Напоминая о том, что его просьба о разрешении отцу его переехать в Петербург была отклонена, М. Н. Чернышевский, не решаясь снова просить о переводе отца в одну из столиц, на этот раз ходатайствовал лишь о переводе его в родной его город Саратов.

11 апреля 1889 года министр приказал запросить астраханского губернатора «об образе жизни, поведении и политической благонадеж-

[1] Сам М. Н. Чернышевский подтверждает, что прошения подавались им без ведома отца, и что Н. Г. никого ни о чем не просил (Мих. Чернышевский — «Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского». «Былое» 1907, № 8, стр. 129).

ности» Н. Г. Чернышевского [1]. Запрос был сделан 3 мая. 19 мая губернатор ответил, что «Чернышевский ведет себя безукоризненно, занимаясь переводом Всеобщей истории Вебера, доведенным им почти до конца. Что же касается до политической благонадежности Чернышевского, то я нахожу его совершенно безопасным в политическом отношении ввиду очевидного падения или притупления его умственных способностей» [2]. Было ли таково действительно мнение губернатора, или же он решил покривить душой в интересах благой цели, не знаем. Но какую убийственную характеристику он этим невольно выдал царизму, для которого были неопасны лишь люди с притупившейся психикой!

Как бы там ни было, но на этот раз ходатайство — вероятно, ввиду приведенного отзыва местной администрации — увенчалось успехом. 3 июня 1889 года вице-директор Департамента Полиции признал просьбу о переводе Чернышевского в Саратов заслуживающей удовлетворения, и 24 июня Н. Г. получил, наконец, возможность покинуть постылую Астрахань и переехать на родину, где его ждал близкий конец [3].

---

[1] Дело Деп. Полиции № 3 892, л.л. 50—78.

[2] Дело № 3 892, л. 80.

[3] «Это помилование (перевод в Саратов. — *Ю. С.*), — пишет Скориков (цит. ст. стр. 494), — как слышал я, несказанно обрадовало и взволновало Н. Г., и многие здесь этой радостью и волнением об'ясняли причину последовавшей вскоре смерти его».

Глава вторая

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В САРАТОВЕ

1. Жизнь в Саратове

Сначала в Саратов уехала Ольга Сократовна, чтобы подготовить квартиру. В саратовском доме Чернышевских жил тогда прис. пов. Токарский, которого Н. Г. ни за что не соглашался выселить. Поэтому Ольга Сократовна наняла квартиру в лучшей части города на Соборной улице в доме чиновника Никольского, расположенном в глубине двора.

«О. С., — говорит Юдин (цит. ст., стр. 891), — должно быть нарочно сняла такое помещение в татарском вкусе, чтобы никто из проходящих мимо не мог видеть Н. Г-ча. Она, говорят, ревниво оберегала покой мужа и, елико возможно, старалась не допускать к нему посторонних». Последнее распоряжение, впрочем, по словам А. А. Токарского, было сделано самим Н. Г-чем для того, чтобы избежать лишних расспросов и бесполезных разговоров. После возвращения его из ссылки, во время пребывания его в Астрахани, да и в Саратове также, к нему с докучливыми вопросами и сообщениями иногда приезжали такие посетители, которых он никогда не видал и даже не слышал об их существовании. Некоторые из них считали за какую-то великую обязанность проездом по Волге остановиться в Саратове и явиться к Н. Г., чтобы «отвесить ему поклон». Многие надоедали ему письмами, развивая в них свои идеи, от которых был далек Чернышевский. Вел он жизнь замкнутую, хотя в обществе своих близких знакомых отличался редким одушевлением и говорливостью.

«Бывало, — рассказывает г. Токарский, — зайдешь к нему вечерком, как смеркнется, когда работать при дневном свете уже нельзя, и огонь зажигать рано. Сядет он на диване в уголок, и польются нескончаемые речи. Говорил он много, говорил обо всем, вспоминал свою трудовую, печальную жизнь, рассказывал о своей ссылки, о Сибири, но не жаловался на свою судьбу, не обвинял никого. А то начнет развивать философские воззрения или социальные теории. Заслушиваешься и не хо-

чется уходить. Обыкновенно наши беседы прерывала Ольга Сократовна».

В Саратов Чернышевский приехал 28 июня 1889 года.

По словам Токарского [1], близко познакомившегося с Чернышевским в Саратове, астраханские сведения об одичалости и нелюдимости Н. Г. происходили от невнимательности и недостатка наблюдательности лиц, их сообщавших. Всегда простой и искренний, Н. Г. не мог выражать особенного удовольствия при постоянном отвлечении от дела, не мог на одни и те же вопросы, может быть и сердечные, но по своей однотонности сделавшиеся шаблонными, давать подробных раз'яснений и тоже отвечал шаблонными фразами.

Что Н. Г. не одичал и не отстранялся от людей, в этом Токарский убедился с первых дней его приезда в Саратов. Но позже, когда у Чернышевского уже составился известный круг знакомств, и выяснилось, что имеется еще порядочное количество лиц, которых он желал бы видеть, и значительно большее количество лиц, которые желали бы его видеть, и когда стало ясно, что наплыв этих лиц будет отнимать очень много времени от работы, у него возник вопрос о регулировании этого дела. Николай Гаврилович сделался центром общественного внимания, но формы для выражения этого внимания выработано не было, и результатом отсутствия этой формы получилось отягощение и мучительство для Н. Г. и неудовлетворенность для лиц, думавших одним личным появлением выразить ему сочувствие [2]. В боязни повторения астраханской сумятицы и нужно, по словам Токарского, главным образом видеть строгость правил саратовского режима жизни Н. Г.

Но, судя по рассказу А. Лебедева (цит. ст., стр. 197), эти строгие правила были введены сразу же по приезде Чернышевского в Саратов. Не об'яснялась ли эта строгость отчасти тем, что, по сообщению того же Лебедева, переезд в Саратов нарушил ход работ Н. Г., а вместе с тем и равновесие в его бюджете, введя его в долги и этим принудив усиленно работать, чтобы наверстать потерянное? Как бы то ни было, но первое время, с месяц или более, он никого не принимал. На двери его квартиры была вывешена бумажка с надписью: «Николай Гаврилович

[1] Ал. А. Токарский — «Н. Г. Чернышевский (по личным воспоминаниям)». «Русская Мысль» 1909, февраль.

[2] А. Лебедев рассказывает, что однажды при встрече с Чернышевским в городском саду Хованский между прочим заявил ему, что некоторые лица, его восторженные поклонники, желали бы быть ему представленными. Но Николай Гаврилович решительно отклонил это предложение, присовокупив, что особенно сторонится восторженных.

извиняется и просит не беспокоить его первое время посещениями, так как он очень занят».

В существовании карантина, ограждавшего доступ к Чернышевскому, должен был убедиться и Вл. Короленко, побывавший у Н. Г. 17 августа 1889 г. «Что касается трудности доступа, то я это испытал на себе, хотя и имел полное основание расчитывать, что буду принят». Сам Чернышевский приглашал к себе Короленко, «и что еще важнее в данном отношении, — прибавляет последний, — такое же приглашение получил я от Ольги Сократовны». Характерно, что когда Короленко собирался в 1887 году посетить Чернышевского в Астрахани, последний отклонил это предложение со словами: «Мы с В. Г. как два гнилых яблока: положи вместе, хуже загниют», намекая, по мнению Короленко, на то, что у них обоих репутация в глазах начальства неважная. «Но в последние годы, — прибавляет Короленко, — этот строгий режим сам Н. Г. значительно ослабил, но Ольга Сократовна продолжала держаться его до конца» [1].

В Саратове, по словам А. Лебедева, Чернышевский уже не производил такого впечатления приниженного, как в Астрахани. Он, видимо, с годами оправился. Но настроение его осталось по-прежнему подавленным. В. А. Пыпина со слов стариков Пыпиных рассказывает, что Н. Г. часто приходил к ним, садился в кресло, задумывался и молчал. И такое было у него при этом скорбное, изможденное лицо, что сердце надрывалось, глядя на него, и трудно было смотреть на него без слез. «Сколько раз, — говорила Ек. Ник. Пыпина, — бывало сижу рядом, и рвется с губ горячих вопрос: «как жил он т а м? Что с ним т а м было? — и не смела спросить» [2].

Впрочем, Чернышевский не любил разговоров о перенесенных им страданиях, особенно когда они носили характер праздного любопытства. Бывший у него одно время секретарем К. Федоров, впоследствии написавший о нем книжку, рассказывает, что как-то в Астрахани местные великосветские дамы пожелали познакомиться с Чернышевским и упросили губернатора Вяземского пригласить его к себе. Здесь между прочим произошла следующая беседа относительно жизни Чернышевского на каторге.

— А что, Николай Гаврилович,— спрашивали сердобольные дамы,— тяжело вам было? Воздух в тюрьме дурной?

---

[1] В. К о р о л е н к о — «Воспоминания о Чернышевском». «Рус. Богатство» 1904, № 11, стр. 59—60. — Возможно, что «строгого режима» Чернышевский держался, пока надеялся еще перебраться в столицу, а затем, убедившись в беспочвенности этой надежды, перестал остерегаться.

[2] В. А. П ы п и н а — «Любовь в жизни Чернышевского», стр. 113.

— Нет, ничего. Воздух как воздух, если в комнате нет скученности.

— Ну, а пища? Вероятно, ужасно скверная?

— Да я прежде часто ел черный хлеб. Семья моя жила хорошо, а мне некогда было и пообедать всякий день, как следует.

— Но, наконец, ваше помещение? Простору нет в каземате?

— Да видите ли, у меня и прежде был маленький кабинет, в который бывало, кроме наборщиков и Некрасова, по целым неделям никто не заглядывал.

— А принудительные работы?

— Да принудительной работы гораздо больше в журналистике, чем на каторге.

Так ничего и не вышло из этого разговора, как и из других подобных разговоров. Чернышевский не хотел допустить сожаления по отношению к себе, а особенно праздного сожаления любопытствующих обывателей. А из рассказа В. Короленко видно, что Чернышевский не любил проявления жалости даже со стороны симпатичных ему людей, напр., со стороны жены того же Короленко [1].

Вообще же Чернышевский за последние годы любил поговорить с людьми [2]. Это отмечалось уже приведенными выше наблюдателями его астраханской жизни: то же подтверждают и свидетельства, относящиеся к саратовскому периоду. Рассказчик Н. Г., по словам Токарского, был превосходный. Говорил он всегда просто, ясно, при чем в близоруких серых глазах его искрилась ирония, легкая улыбка играла в углах губ, а в зубах торчала папироска. Рассказывал Н. Г. всегда сидя. У себя дома он любил забиться в угол турецкого дивана; диктовал же при работе всегда на ходу, довольно быстро шагая из угла в угол. Память же Н. Г. имел удивительную. Иногда он шутя цитировал целые страницы из какого-нибудь писателя и при этом безразлично — публициста, беллетриста или этнографа. Исторические даты, химические формулы, лингвистические формы — все это с одинаковым удобством умещалось в его голове.

---

[1] Скориков (цит. ст., стр. 491) пишет: «Н. Г. был непримиримый враг позы. Он никогда никому не намекал о перенесенных им страданиях, и если только кто спрашивал его об этом, он или утверждал, что никаких особенных страданий он не испытывал, или переменял тему разговора».

[2] Замечательно, что эта склонность к разговорам проявилась у Н. Г. после отнятия у него возможности писать. Уже на каторге он любил поговорить с товарищами. Одна потребность заменила другую. Впрочем, А. Пыпин утверждает, что Чернышевский всегда любил поговорить, (В. А. Пыпина, цит. соч., стр. 116).

Токарский из знакомства с Чернышевским вынес такое впечатление, что Н. Г. по своему душевному строю принадлежал к числу людей скрытных. Но тут же он прибавляет, что Чернышевский был скрытен не по природе, а благодаря сложившимся условиям жизни. Это он выводит из того, что Н. Г. «бронировал себя» и довольно искусно. Так, напр., о нем составилось мнение, что он рассеян, не обращает внимания на окружающее, не может ориентироваться в местности и вообще внешним миром не интересуется. И сам Н. Г. поддерживал эту легенду. А между тем наблюдательность у Н. Г. была очень развита. Человек, точно помнящий минуту, когда он должен уходить, и никогда ее не забывающий, не может быть причислен к рассеянным; да и вообще за все время знакомства Токарский, по его словам, никогда не видал, чтобы Н. Г. совершил какое-нибудь действие по рассеянности. «Рассеянность» и «невнимательность» нужны были Н. Г., и он поддерживал легенду.

К «бронированию» же Токарский относит и всегдашнюю манеру Н. Г-ча говорить полусерьезно, полушутя. «Мне всегда казалось, — пишет он (стр. 57), — что это не только способ изучить собеседника, определить, насколько этот собеседник понимает и улавливает основную мысль разговора, но способ самому, не вдаваясь в противоречие, изменить направление разговора».

В свой внутренний мир Н. Г. никого не пускал и в совершенном одиночестве переживал свои страдания. Только из отдельных, иногда прорывавшихся фраз можно было понять всю тяжесть пережитых им мук и волнений. Никогда он не произносил ни слов осуждения, ни слов, вызывающих сожаление. Гордо в самом себе затаил он обиду [1].

Царившая в обществе реакция душила его. К тяжело сложившейся личной жизни присоединилась скорбь по поводу разгрома революции и торжества самодержавия. Все это, видимо, убивало Чернышевского. Внешне он мог временами бодриться, но внутри него сидел червь, незаметно подтачивавший его духовные силы. И опытные наблюдатели хорошо это видели. Именно такое впечатление вынес из встречи с ним В. Короленко.

[1] Тогдашний издатель «Саратовского Листка» И. П. Горизонтов оставил рассказ о своей встрече с Чернышевским. Приводим из него следующее место: «Между прочим я спросил его, почему он не сотрудничает в журналах. „Каких? — отозвался Н. Г. — Я журнал понимаю так, чтобы он от а и до зет был одного вкуса, цвета и направления. Тогда и только тогда он будет иметь воспитующее значение и производить должное впечатление. А наши теперешние журналы, что они?.. Винегрет. Этак я не могу. Я вот лучше буду писать у вас о саратовской старине"» (Ветринский, цит. соч., стр. 197—198).

По словам Короленко, Чернышевский в Саратове не был похож на портрет, снятый с него за год до того в Астрахани. «Теперь я по первому взгляду не узнал бы Чернышевского, — пишет он. — Последний его портрет, находящийся в обращении, изображает мужественного человека с крупными чертами лица, очень мало напоминающими литератора. Густые длинные волосы по-русски, как у Гоголя, обрамляют это лицо и свешиваются на лоб. Выражение серьезное, и в нем совсем не заметно оттенка добродушного смеха и отчасти стариковского чудачества, которое оживляло лицо вышедшего к нам человека.

«Голос, который мы слышали еще из-за перегородки, был старческий, слегка приглушенный, но фигура сначала показалась мне совсем молодой. Эту иллюзию производили в особенности его каштановые волосы, длинные, кудрявые внизу, без малейших признаков седины.

«Но когда я взглянул ему в лицо, у меня как-то сжалось сердце: таким это лицо показалось мне исстрадавшимся и изможденным из-под этой прекрасной молодой шевелюры. В сущности он был похож на портрет, только черты его, мужественные на карточке, были в действительности мельче, миниатюрнее, — по ним прошло много морщин, и цвет этого лица был почти землистый. Это желтая лихорадка, захваченная в Астрахани, уже делала свое быстрое, губительное дело... Из холодов Якутска Чернышевский приехал в знойную Астрахань здоровым... Из Астрахани он приехал в Саратов уже таким, каким мы его увидали, с землистым цветом лица, с жестоким недугом в крови, который вел его уже к могиле».

Правда, его разговор обнаруживал прежний ум, прежнюю диалектику, прежнее остроумие; но материал, над которым он работал теперь, уже не поддавался его приемам. «Он остался по-прежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям» [1] (Ко-

[1] Характерные детали в этом смысле сообщает А. Токарский (цит. ст., стр. 55). Стимулом, движущим жизнь и отдельного человека, и всего человечества, Чернышевский продолжал считать разумный эгоизм. Себя самого он называл эгоистом; эгоистом же называл и Н. А. Добролюбова. А когда Токарский прибавил по отношению к Добролюбову эпитет «доброжелательный», то Н. Г. отверг его поправку и довольно долго доказывал, что из когда-либо предложенных основ деятельности выдерживает критику разума только эгоистическая основа. Экономистов (каких, Токарский не поясняет: вряд ли это относилось к классикам; Н. Г. вероятно имел ввиду «вульгарных» экономистов) читать не стоит. «В науке и жизни всегда бывает, что люди увлекаются и занимаются тем, что наиболее разработано и что поэтому бросается в глаза. Все силы мысли политико-экономистов направлены на изучение законов накопления богатств. Это — старый и ложный путь. Надо брать с другого конца... Изменению современного строя может содействовать только распределение. Но кто этим занимается в на-

роленко считает последнее большим недостатком!). Тогдашнее состояние литературы, слюняво-народническое и политически-бесхребетное, могло его только раздражать. Упадок русской общественной мысли в ее легальных проявлениях способен был лишь вызвать в нем презрение. В частности он относился отрицательно к властителю тогдашних дум Н. К. Михайловскому, который самому Короленко представлялся глашатаем нового слова. По словам Короленко, Чернышевский признавал за Михайловским ум, но совершенно отвергал его социологические параллели (которые, кстати сказать, Короленко страницей раньше признает шагом вперед сравнительно с воззрениями Чернышевского!) [1].

Недовольство его вызывала и тогдашняя беллетристика. По поводу Гл. Успенского он как-то заметил: «Ну вот вам рассказ: живет мужик, в нужде да в работе, как конь ломовой. Вдруг господа помогают или там... урожай. Разбогател на время, отдыхает. Полезли в голову мысли во время отдыха, стал пьянствовать, бить бабу, чуть не погиб. Вывод очевиден: не нужно мужику жить богаче и иметь отдых, чтобы не избаловался».

Особенно же возмущала его, бойца по темпераменту и революционера по убеждению, растлевающая нео-христианская проповедь Льва Толстого. Когда зашла речь о последних произведениях Л. Толстого, Чернышевский вынул платок и высморкался.

— Что хорошо?— спросил он к великому удивлению Короленко.— Хорошо я сморкаюсь? Так себе, неправда-ли? Если бы у вас кто спросил, хорошо ли Чернышевский сморкается, вы бы ответили: без всяких манер, да и где же какому-то бурсаку иметь хорошие манеры? А что если бы я вдруг представил неопровержимые доказательства, что я не бурсак, а герцог и получил самое настоящее герцогское воспитание? Вот тогда бы вы тотчас же подумали: А-а, нет-с, это он не плохо высмор-

---

стоящее время? Только утописты. Но у всех у них такие куцые, короткие шаблоны. Для ясного представления будущего мало одной фантазии, нужно знание. Фантазия, даже самая сильная, будет все равно опираться на живые факты или представление о них. Факты у нас все старого порядка, а представления о новом порядке никакого нет, потому что знания в этом направлении нет и не было». — Впрочем, не забудем, что мы имеем здесь не подлинные слова Чернышевского, а их передачу, за точность которой поручиться трудно.

[1] Столь же отрицательно относился он к философским писаниям Н. Кареева, — эклектика с уклоном в сторону идеализма и суб'ективизма, — как видно из письма его к А. Пыпину от 7 декабря 1886 года: «не охотник я до русских философов вроде Кареева, книга которого была у меня: читать ее невозможно» (В. Ильинский, цит. ст., стр. 205).

кался, это и есть настоящая, самая редкостная герцогская манера... Правда ведь, а?

— Пожалуй.

— Ну, вот то же и с Толстым. Если бы другой написал сказку об Иване-дураке, ни в одной редакции, пожалуй, и не напечатали бы. А вот подпишут граф Толстой, все и ахают. Ах, Толстой, великий романист! Не может быть, чтоб была глупость. Это только необычно и гениально! По графски сморкаться!..

(Таким образом, успех проповеди Л. Толстого Чернышевский об'яснял не только его графским происхождением, но и установившейся за ним славой великого писателя.)

В. Короленко рассказывает, что на вопрос его брата, почему Чернышевский не берется снова за публицистику, Н. Г. ответил: «Публицистика! Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой? Вот у вас теперь на очереди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу о них? Во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании» [1].

Но дело, разумеется, было не в этом. Токарский (цит. ст., стр. 50—51), близко его наблюдавший, категорически отвергает мнение, будто Чернышевский не интересовался современной жизнью и плохо знал ее. «Он, человек, никогда не видавший живого земства и живых земцев, знал о земстве, говорю без преувеличения, решительно все, что можно было почерпнуть из печатного материала. Больше всего его интересовали так называемые новые учреждения: земство, суды и организации крестьянства... Он очень любил разговаривать с постоянными жителями деревни и просил приводить или присылать ему таких почаще. Для них делалось исключение из обычного режима, и они могли являться к нему во всякое время». Чернышевский жадно искал симпто-

[1] Короленко, цит. ст., стр. 63—65. — В письме от 19 августа 1888 года к Пыпину Чернышевский говорил, что он «холоден к русской литературе и всяким текущим делам». Но эту холодность он сам об'яснял своей вынужденной изолированностью и оторванностью от умственных центров. «Иное дело, — писал он, — было бы, если бы я жил в литературном мире; я разделял бы чувства честных литераторов; но я житель того самого острова, на котором некогда благодушествовал Робинзон Крузо со своим Пятницей. Я не лишен нежных приятностей дружбы; но все здешние (т. е. астраханские. — *Ю. С.*) друзья мои — Пятницы, благодаря тому мое душевное спокойствие не возмущается никакими литературными пошлостями, делами ли хуже пошлостей» (В. Ильинский, цит. ст., стр. 203). Трагедия Чернышевского и была в том, что правительством для него создана была обстановка уединенного посреди океана пустынного острова. Холодным-то он не был, но проявлять своих чувств не мог, а потому и старался заглушить их.

мов нарастания революционных тенденций в деревне. И когда раз зашел разговор о стачках сельскохозяйственных рабочих, значения которых его собеседник не понимал, Чернышевский заметил: «Да, это дело гораздо больше, чем оно нам с вами кажется». И потому Токарский, вероятно имея ввиду как раз вышеприведенный рассказ В. Короленко (которого, он, впрочем, не называет), говорит, что в подобных об'яснениях (вроде об'яснения отказа от публицистической работы незнакомством с земством, гласным судом и пр.) просто проявлялась известная манера Чернышевского нащупать своего собеседника и выяснить его взгляды на вопрос. «Он пробует собеседника, — говорит Токарский (цит. ст., стр. 59). — Он знает о земстве достаточно, знает и о новых судах; но он знает гораздо больше. Он знает, что вопрос идет об общей реакции во всех отраслях управления, во всей жизни страны. И ему-то, знатоку всех европейских реакций, нечего сейчас сказать. Он пробует. Собеседник удовлетворяется, и он умолкает. И еще умолкает потому, что у него нет точки опоры. Куда он в самом деле поместит статью?».

В этом была трагедия последних лет Чернышевского: негде было высказать свои взгляды по общественным и политическим вопросам. Кругом сплошная пошлость, торжество мракобесия, упадок революционного духа. А сам Чернышевский еще хотел бороться, как об этом свидетельствует знавший его Токарский [1]. Но современная ему журналистика представляла поле, усеянное мертвыми костями. Глазу буквально не на чем было отдохнуть. Бесцветные «Вестник Европы» и «Русская Мысль» были единственными журналами, правда пустыми и политически неопределенными, но, по крайней мере, не приобщившимися к катковскому хору торжествующих свиней, господствовавшему в тогдашней журналистике. И вот у Чернышевского возникает мысль («главная его мечта», по словам Токарского) переехать на жительство в Москву и взять в свои руки «Русскую Мысль». «Для осуществления этой цели, — говорит Токарский, — он вошел в сношения с Гольцевым и получил от него несколько писем, из которых видно, что дело это могло устроиться».

Разумеется, Чернышевский ошибался. В «Русской Мысли» Гольцева он мог быть только случайным гостем, время от времени помещающим там статью о дарвинизме или подобном отвлеченном вопросе.

---

[1] «Высоко образованный, не только ничего не утративший, но многое приобревший со времени своей ссылки, полный энергии и сил при величайшей трудоспособности, он готовился вступить в ряды бойцов» (цит. ст., стр. 58).

Не правительственная цензура была для него страшна [1], а в тысячу раз более убийственная цензура «либеральных» редакторов и издателей, от которых его отделяла непроходимая пропасть. И последнюю мечту его ожидала участь всех прежних. Токарский передает следующие слова Чернышевского, в первой части мало вероятные, но во второй характеризующие тогдашнее настроение Н. Г.: «Я вам говорил как-то, что предполагал эмигрировать (?) и взять в руки издание «Колокола», и что я не знаю, хорошо ли я сделал, что отказался. Теперь я знаю. Я сделал хорошо, я здесь в России создам журнал. Я создам его». «И тут только, — прибавляет Токарский, — я понял страшную, невыносимую муку этого человека, ту муку, которую он выносил от того, что был оторван от возможности влиять на жизнь своим словом и убеждением... Хотя слабые надежды, но надежда принять участие в работе на пользу общую и надежда быть не заурядным работником, а передовым борцом, поддерживали силы Н. Г.». И счастье, если это было так...

А пока приходилось заниматься механической переводной работой. Несмотря на преклонный возраст, болезни и пережитые испытания, Чернышевский проявлял огромную трудоспособность. День его, по свидетельству К. Федорова, обыкновенно проходил так: в 7 часов утра он был уже на ногах, пил чай и в это же время или читал корректуры, или просматривал подлинник перевода истории Вебера; затем с 8 часов до 1 часу дня он диктовал своему секретарю. В час дня обедал, при чем, страдая застарелым катаром желудка, ел очень мало, питаясь исключительно молоком и легкой кашицей. После обеда, который продолжался минут 30—40, Чернышевский читал газеты и журналы, а затем с 3 до 6 часов вечера работа возобновлялась, при чем иногда затягивалась далеко за полночь.

«Работая над переводом Вебера, материалами для биографии Добролюбова и своими воспоминаниями, — говорит Токарский, — Н. Г. в то же время обдумывал новые обширные работы. Ему хотелось создать русский энциклопедический словарь по типу Брокгауза, но без такого балласта, которым загроможден последний. Ему представлялось, что очень скоро он в состоянии будет написать две книги для детей: политическую экономию и историю. Он хотел их назвать книгами для детей, но мечтал, собственно говоря, создать книгу для народа» [2].

---

[1] Как рассказывает Токарский, иногда у Чернышевского в разговоре вырывались фразы, что во второй раз труднее начинать литературную работу, чем в первый, что за всяким словом будет следить цензура. «Ну, да не такая была прежде цензура, а удавалось обходить», — прибавлял он успокоительно.

[2] Как мы видим, это — продолжение сибирских мечтаний.

Все эти мечты не осуществились. Великому мыслителю, который в свое время был руководителем общественного мнения, так и суждено было закончить свой век в качестве литературной клячи и чернорабочего. Приговор сената из'ял его из литературы навсегда. Прошлое тяготело над ним до конца.

К этому прошлому он относился добродушно, но отчасти насмешливо [1]. Однажды в обществе знакомых, когда зашла речь о революционной деятельности Чернышевского, последний рассказал следующую легенду-аллегорию, частью напечатанную в X томе его сочинений [2].

Как-то во время кавказской войны один прорицатель, осужденный Шамилем на казнь за неблагоприятное предсказание, вселившее уныние в среду мюридов, перед казнью рассказал свой вещий сон: есть где-то на свете дом, а в этом доме много лет сидит над манускриптами и книгами ученый человек. Этот ученый должен вскоре изобрести такие снаряды, от действия которых разрушится не только Кавказ и Турция, но и вся Европа. А случится это тогда, когда бараны станут кричать козлами. Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды настаивали на казни. Где же это видно, чтобы бараны кричали козлами? Ясно, что пророк подкуплен русскими для того, чтобы вселить напрасное уныние в ряды правоверных. Пророка казнили, но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну по казненному, один баран вырвался из рук мясника и, вскочив на крышу сакли, заблеял трижды по козлиному. Испуганный Шамиль призвал самого верного из своих ад'ютантов и поручил ему отыскать таинственного ученого и убить его, прежде чем он успеет окончить свою разрушительную работу. Посланник Шамиля после долгих мытарств нашел этого ученого в Петербурге. Тот сидел против топившегося камина и о чем-то думал. Когда черкес об'явил ему, что должен его убить, ученый попросил у него небольшой отсрочки, чтобы покончить со своими делами.

— Ты хочешь привести в исполнение то, что у тебя здесь написано и начерчено? — спросил его мюрид.

— Нет, — ответил ученый, — я хочу все это сжечь в камине, чтобы никто не вздумал исполнить то, над чем я так долго трудился, полагая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибался...

---

[1] Не забудем, впрочем, о его манере «бронироваться» перед посторонними людьми путем насмешки и иронии, зачастую деланных и маскировавших его действительное настроение.

[2] «Кормило кормчему» и «Знамение на кровле» (Соч., т. X, ч. 1. стр. 220—231 и 232—237).

— Вы были этот ученый? — спросила Чернышевского одна из слушательниц.

— Нет, я — тот баран, который хотел кричать козлом, — ответил он с добродушной насмешкой.

Короленко полагает, что в данном случае Чернышевский подшучивал над своими попытками практической деятельности, которые не шли к нему как кабинетному мыслителю и теоретику. Ту же мысль, как рассказывает Короленко, Чернышевский высказал ему совершенно открыто (в 1889 году). «Ах, Владимир Галактионович, — говорил Чернышевский, когда речь зашла о Сибири. — Знаете ли: попал я в Акатуе (?) в среду сосланных за революционные дела... Кого только там не было!.. Поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы... и всё — народ хороший, но всё — зеленая молодежь. Одному мне под 50 (явная ошибка: должно бы быть под сорок. — *Ю. С.*). Оглянулся я на себя и говорю: ах ты, старый дурак, старый дурак, куда тебя занесло! Ну, и стыдно стало»...

Но в этих нападках на прошлое, в этом самообличении, подчас довольно резком, в этом подтрунивании над самим собой не слышалось ни разочарования, ни раскаяния в прошлых «заблуждениях». Наоборот, после таких выходок, как рассказывает Короленко, Чернышевский встряхивал своими густыми волосами и улыбаясь прибавлял: «А ведь, все-таки, сказать правду, не все же только худое было... Было кое-что и хорошее. Пожалуй, не мало было хорошего, да, не мало».

Чернышевский не раскаивался ни в чем, но еще больше, чем прежде, не верил в близость революционного переворота. Его скептицизм только мог укрепиться в нем в душную эпоху реакции 80-х годов, когда вся жизнь общества ушла в хищническое грюндерство и первоначальное накопление. Однако Н. Русанов рассказывает со слов одного знакомого, что Чернышевский и в этом «первоначальном накоплении» усматривал залог предстоящих общественных потрясений.

«Что-ж, — говорил он с добродушным лукавством, — теперь время трезвое. Будем учиться и мы смотреть на дела глазами трезвых людей. По ихнему то и хорошо обществу, что им выгодно. Натурально. Будем же теперь глядеть на купца. Когда купец не только тарифов, но и прав потребует и не с благодарностью за прошлое, а грозя будущим, тогда наступит конец старым порядкам... А пока будем учиться и смотреть».

Приблизительно такой же взгляд Чернышевский высказывал в беседах с Пантелеевым незадолго до своей смерти. Николай Гаврилович выдвигал следующий общий принцип: все наши злоключения происходят от того, что мы — народ бедный. «А бедный

человек лишь об одном думает, как бы ему совсем не пропасть, дожить хоть до завтрашнего дня. Потому у него и нет никаких сколько-нибудь широких потребностей».

«Только с развитием народного богатства, — резюмирует Пантелеев рассуждения Чернышевского, — могут сказаться настойчивые желания лучших общественных отношений» [1].

Так в удушающей обстановке политической реакции догорала безрадостная жизнь Чернышевского.

2. Болезнь и смерть

В августе 1889 года М. Н. Чернышевский с женой посетили отца, который поразил их своей необыкновенной бодростью и моложавостью: в густых волосах на голове не было ни одного седого волоса, они были, да и то в умеренном количестве, лишь в бороде. Его смело можно было считать лет на 10 моложе, особенно, когда он вел обыкновенную беседу. Старость и усталость чувствовались лишь тогда, когда разговор принимал интимный характер.

Но это здоровье было только кажущимся. Организм Чернышевского был уже подорван тюрьмой, ссылкой и жизнью в Астрахани.

Еще в августе с ним случился серьезный приступ лихорадки. Причину этой болезни Николай Гаврилович об'яснял желудочными недомоганиями, бывшими следствием его скверного питания в Сибири. По-видимому, этот приступ был началом серьезной болезни, сведшей его в могилу. В половине сентября приступ повторился, на этот раз в еще более сильной форме. Лечился Чернышевский домашними средствами. Развитию болезни, по словам сына, способствовали «и семейные неприятности и огорчения», о которых он, впрочем, не распространяется [2].

11 октября, по словам сына, Н. Г. простудился. Несмотря на болезнь, он продолжал усиленно работать (так, напр., 12 октября он перевел 18 печатных страниц Вебера; это и молодому здоровому человеку впору!). 14-го он начал уже бредить.

По словам А. Лебедева [3], Чернышевский простудился в пятницу 13 октября, когда ездил на вокзал железной дороги отправлять свои

[1] Пантелеев, часть II, стр. 188. — Выше мы показали, что Чернышевский и в расцвет своей литературной деятельности высказывался в том смысле, что политический прогресс России явится результатом ее экономического развития.

[2] Мих. Чернышевский — «Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского». «Былое», 1907, № 8, стр. 128—151.

[3] Александр Лебедев — «К биографии Н. Г. Чернышевского». «Ист. Вестник» 1910, № 3, стр. 991—992.

письма. Приглашенный врач определил болотную лихорадку — распространенную в Саратове болезнь. Когда Чернышевскому сделалось хуже, пригласили двух других врачей. «Если эти доктора не могли оказать помощи Николаю Гавриловичу, то это, думается, об'ясняется главным образом общей ослабленностью организма больного писателя, который не мог вынести слишком резкой разницы сибирского и астраханского климатов».

17 октября с больным неожиданно сделался удар, и Чернышевский лишился языка; скоро после того он скончался на 62 году от роду.

«Накануне рокового дня, — пишет Юдин (цит. ст., стр. 893—894), — после усиленной работы, у Чернышевского открылась инфлюэнца в легкой форме... Ночью же с ним сделался припадок, и в 12 час 37 мин. с 16 на 17 октября писателя не стало; он скончался от кровоизлияния в мозговую область, не приходя в сознание».

Сын Чернышевского рассказывает, что в 3 часа утра 16 октября он произнес последние слова: «Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о боге», — о какой книге говорил он, осталось неизвестно. В 4 часа утра началась агония, продолжавшаяся около суток. Ночью он скончался.

«Отец лежал в гробу, окруженном со всех сторон роскошными венками, — рассказывает М. Н. Чернышевский. — Лицо его было глубоко спокойно; следы страдания и скорби исчезли и, несмотря на четвертый уже день (похороны были задержаны до моего приезда, т. е. до 20 октября), он производил впечатление спокойно уснувшего, сладко отдыхающего человека. Да только тут и нашел он отдых, которого не знал всю свою жизнь и не хотел знать, да, может быть, и действительно не чувствовал потребности в отдыхе, поддерживаемый кипучею работою нервов» [1].

Церкви естественно очень хотелось залучить напоследок в свое «лоно» такую знаменитую заблудшую овцу. По свойственной их касте манере, попы жадно подстерегали последний момент своей жертвы в надежде, что на нее найдет минута слабости и доставит им громкое торжество. В этом отношении им, повидимому, помогала жена Чернышевского, уже тогда впавшая в ханжество [2]. Известный нам архие-

---

[1] С мертвого написаны были портреты артиллерийским офицером К. и художником Поповым. Последний имелся у сына Чернышевского; куда девался первый, неизвестно. На стр. 133 статьи М. Н. Чернышевского в № 8 «Былого» за 1907 год помещен фотографический снимок с покойного в гробу.

[2] Несомненно ее имеет в виду И. Палимпсестов, когда в цит. статье (стр. 562) пишет: «Одно из близких к покойному существ, горячо молив-

рей Никанор в проповеди по поводу пушкинского 50-летнего юбилея, рассказал со слов протоиерея Петропавловского собора, В. П. Полисадова, что единомышленники Чернышевского, заключенные с ним в крепости, перед ссылкою все до одного искренно исповедались и причащались кроме самого Чернышевского, который рассуждал о вере с духовником, но исповедаться и причаститься отказался по той суетной причине: «Что де скажут о Чернышевском?». «Впрочем, — прибавил тогда Никанор, — последняя песня самого Чернышевского еще не спета, еще впереди; веруем, что за молитвы его богобоязненного родителя умрет и он христианином». «Надежда, — поясняет он, — оправдалась наполовину: умер он, повидимому, действительно христианином, но св. причастия не сподобился».

«За день или два до смерти, — беззастенчиво лжет развязный архиерей, — он заявил желание исповедаться и приобщиться святых тайн. Но бывшие тут врачи соврали, уверив его и жену его, Ольгу Сократовну, что серьезной опасности не предвидится, и что он скоро оправится от болезни. В роковую ночь врачи позваны были к больному экстренно. Осмотрев его, они об'явили, что теперь, пожалуй, пора послать и за священником. Послано было, и по более близкому месту жительства, и потому, что иеромонах Крестовой церкви состоит духовником Ольги Сократовны, за этим иеромонахом. Пока посланный добрался в крепость архиерейского дома и до духовника, в 1 час ночи, пока иеромонах (немедленно же) прибыл к болевшему, Н. Г. уже отходил: призванный иеромонах напутствовал его только прочтением молитв «при разлучении души от тела»[1]. Отпевание совершено в местной приходской Сергиевской церкви, при которой некогда служил и родитель его. Повидимому, родные покойного намеревались устроить похороны поскромнее, потому что приглашен был только приходский священник; впрочем, был и хор архиерейских певчих... По моему, бог не удостоил его предсмертного очищения за многие и тяжкие грехи ума и слова. Что посеешь, то и пожнешь... Мне сообщают из Саратова, что «супруга Чернышевского, Ольга Сократовна Ч., заказывала сорокоуст в женском монастыре; что-то

шееся за него в божиих церквах, постоянно просило его бросить прежние идеи и слышало ответ: „меня ничто не сломило, и это — моя пища"».

[1] Это значит, что, воспользовавшись забытьем Чернышевского, жена его пригласила священника для «напутствия» лежавшего без сознания больного, который сам, если бы был в сознании, несомненно не допустил бы этого безобразия. Вся эта история живо напоминает сцену смерти старого якобинца, так гениально описанную Герценом в очерке «Доктор, умирающий и мертвые» («Соч.», т. XXI, стр. 475—476).

пожертвовала». Если бы она была уверена, что муж ее все это отрицает, как отрицал прежде, как она решилась бы поминать его заупокойной молитвой?» [1]. Никанор лгал: Чернышевский умер таким же, каким он жил, и за ханжество своей жены не отвечал.

Когда в некоторых газетах появились краткие сообщения о его кончине, интеллигентная Россия заволновалась [2]. А вместе с нею заволновался и Департамент Полиции. Неожиданная смерть непримиримого врага самодержавия, с одной стороны, наполняла радостью сердца охранителей, но, с другой, смущала их мыслью о возможных демонстрациях и проявлениях крамольного духа. И вот жандармские и полицейские сферы зашевелились. Во главе Департамента Полиции стоял тогда пресловутый П. Н. Дурново (впоследствии министр вн. дел после 17 октября 1905 года). Узнав о смерти Чернышевского и получив первые тревожные известия о вызванном ею впечатлении, Дурново начал действовать и первым делом постановил завести особое дело о событиях, связанных с смертью великого писателя. Так возникло «Дело № 479 Деп. Полиции о похоронах Чернышевского», которое мы здесь и используем [3].

Время тогда было самое глухое. Правительство Александра III ликвидировало последние остатки реформ, вырванных в свое время у царизма общественным оживлением 60-х годов. Реакция была в полном разгаре. Революционное движение замерло, и полиция спокойно добивала жалкие остатки некогда мощной партии «Народной Воли». Новое рабочее движение еще не родилось. В стране царила тишь да гладь, и в лучшем случае раздавалась проповедь малых дел. Однако, как ни была задавлена тогда русская интеллигенция, но такое из ряда вон выходящее событие, как смерть любимейшего писателя революционной молодежи, автора романа «Что делать?» и «Примечаний к Миллю», вождя шестидесятников, с именем которого связано было воспоминание об одной из лучших эпох русской истории, не могло пройти бесследно, не могло не всколыхнуть демократически настроенные элементы общества и в особенности наиболее чуткую молодежь. И действительно, несмотря на удушливый гнет торжествующей реакции, эта

[1] «Беседа пр. Никанора». «Странник» 1890, май, стр. 62—64.

[2] И за границей смерть Чернышевского опечалила тех, кто о нем знал. Так, Энгельс 10-го июня 1891 года писал Н—ону: «Мы слышали здесь с большим огорчением о смерти Н. Г. Ч. Но, может быть, для него это было лучше» («Письма Маркса и Энгельса к Н—ону». «Мин. Годы» 1908, № 2, стр. 224). Запоздалость этого отклика об'ясняется тем, что после 1889 года это было первое письмо Энгельса к Н—ону.

[3] «Дело № 479 1889 года. Департамент Полиции. 3 Делопроизводство. О похоронах Чернышевского». Хранится в Центрархиве.

молодежь, услыхав о смерти Чернышевского, зашевелилась и захотела выразить одушевлявшие ее чувства. В Москве, в Петербурге, в Варшаве и Одессе студенчество, бывшее тогда передовым отрядом демократии, начало собираться, обсуждать случившееся событие, намечать делегатов в Саратов для участия в похоронах любимого писателя, посылать телеграммы семье покойного и венки на его гроб. Пришла в движение и жандармерия.

19 октября Дурново получил шифрованную телеграмму от московского обер-полицеймейстера г.-м. Юрковского, приведшую его в беспокойство. Телеграмма гласила: «Сегодня студентами университета, Петровской Академии и Технического училища отслужена панихида по Чернышевском; предположено послать в Саратов депутацию с венками». Дурново немедленно решает «выяснить, кто из студентов поедет в Саратов». 20 октября он посылает московскому обер-полицеймейстеру запрос: «Благоволите уведомить, кто из студентов поедут (в) Саратов депутатами», и в тот же день шлет запрос Гусеву: «Телеграфируйте, как обошлись похороны Чернышевского» (в этот день и постановлено завести дело о похоронах) [1].

Но, несмотря на усердие жандармов, революционная и прогрессивная Россия спешила засвидетельствовать свою любовь к великому покойнику и свою скорбь по поводу его кончины. По тем временам это можно было выразить преимущественно посылкой венков и телеграмм, и это было сделано в размерах, по тому времени необычайных. Как сообщает М. Н. Чернышевский, всех венков было более сорока. На большинстве из них были ленты с надписями. Приводим некоторые из них.

Автору «Что делать» от русских женщин.

Великому незабвенному учителю и борцу за правду, Н. Г. Чернышевскому. Русские женщины (из Петербурга).

Мыслителю и гражданину.

Памяти великого писателя от интеллигенции. (Оба последние от местных политических ссыльных.)

От молодежи незабвенному и дорогому (от местных ссыльных).

Страдальцу от студентов Казанского университета. (Оба эти венка погребены вместе с гробом.)

Дорогому учителю, страдальцу за идею, от студентов Петербургского университета.

---

[1] От московских студентов, как увидим ниже, депутат действительно был послан вместе с роскошным венком, но кто именно это был, неизвестно. Может быть, он откликнется, если жив.

Апостолу правды Н. Г. Ч. от высших учебных заведений г. Харькова.

От русской учащейся молодежи дорогому учителю и Wielkemu obroncy ucisnionych mlodziez polska. Оба венка были соединены лентой с надписью: «Studiosi Warsovienses».

Были венки от учительниц, земских служащих, железнодорожных служащих, от саратовских «Дневника» и «Листка», от харьковской интеллигенции, одесских почитателей, нижегородских почитателей, от московского студенчества, от студентов Петровской Академии, Горного Института, Лесного Института, от русских студентов Дерптского университета и ветеринарного института, Новороссийского университета, студентов-технологов и пр. Кроме того много венков было прислано уже после похорон. Некоторые венки были без всяких надписей, просто с черными лентами (вероятно, страха ради полицейска, ибо в те времена выражать симпатии к Чернышевскому было небезопасно).

С разных концов России получены были телеграммы и письма с выражением соболезнования о горькой утрате [1]. Многие телеграммы остались неотосланными и впоследствии были возвращены отправителям [2].

В письме на имя редактора «Саратовского Дневника» за подписью «Русские и польские студенты университета и ветеринарного института» между прочим говорилось: «Николай Гаврилович не умер; как в душе своих родных, так и в наших лучших воспоминаниях, в наших задушевнейших думах он живет и долго еще будет жить, и мертвый он будет будить в нас лучшие стремления и напоминать нам о лучших целях и стремлениях, и мертвый он по-старому заставляет нас забывать о всех недоразумениях, возникавших и возникающих между представителями двух народностей». При этом письме и был приложен упомянутый выше двойной венок.

Студенты Петровской Академии писали: «Мы не жили в эту великую эпоху русской жизни, которой он является самым ярким и живым выразителем, но и для нас он был великим учителем и мужественным гражданином, а теперь, сошедши со сцены, оставил русскую молодежь еще более осиротелой в самое тяжелое для нее время».

---

[1] Телеграммы напечатаны на стр. 136—138 цит. статьи М. Н. Чернышевского.

[2] С другой стороны, и многие телеграммы, посланные саратовскими литераторами в столичные газеты, хотя и были приняты на станции, но затем были отправителям возвращены. Правительство избегало «огласки», но это ему не удалось.

«До отпевания, — рассказывает П. Юдин («Н. Г. Чернышевский в Саратове», «Ист. Вестник» 1905 г., № 12, стр. 894), — по настоянию О. С. (жены Чернышевского) два раза в день служили в доме панихиды... Были присланы венки от редакций некоторых журналов, от общества московских и петербургских литераторов, Саратовской губернской земской управы и между прочим от студентов, кажется, варшавских университета и ветеринарного института с характерной надписью: «Автору «Что делать?», вызвавшею некоторое недоразумение [1]. Ольга Сократовна почему-то нашла неудобной эту надпись и велела срезать у венка ленты [2]. После этого один венок среди других с лентами казался «куцым». Чтобы не возбуждать подозрения, знакомые Н. Г. настояли срезать ленты и у всех прочих венков. Это незначительное обстоятельство повело к тому, что часть публики, незнакомая с делом, распустила по городу слух, будто ленты были срезаны по распоряжению прокурора окружного суда, Сахарова... На случай могущей быть манифестации среди молящихся (как в доме на панихидах, так и в церкви на отпевании) были командированы переодетые агенты сыскного отделения».

Несколько иначе освещает инцидент с надписями следующая выдержка из письма М. Н. Пыпина родным в Петербург: «На первой вечерней панихиде обращал на себя всеобщее внимание Мосолов, политический ссыльный шестидесятых годов, ученик Н. Г. (по Саратовской гимназии. — *Ю. С.*). Уже седой старик, он горько плакал все время панихиды [3]... Особый депутат от студентов московских... произнес перед Ольгою Сократовною (на квартире ее) речь соболезнования и привез великолепный и громадный фарфоровый венок. С их надписями вышла история — у полиции уже был список надписей (на панихиде заметили переодетых, а на дворе и у ворот стояли прямо в форме), и

---

[1] На самом деле венок с такой надписью был «от русских женщин». Анонимным же был и другой венок, вызвавший недоразумения: «Сеятелю великих идей от кружка почитателей».

[2] Донесение начальника саратовского губернского жандармского управления в Департамент Полиции от 21 октября также говорит, что «ленты эти по желанию вдовы покойного (курсив мой) были сняты». См. Дело Деп. Полиц. № 479 1889 года, л. 10. — Впоследствии тот же жандармский генерал Гусев сообщал, что по собранным им сведениям венок с надписью «Творцу (прежде говорилось: автору. — *Ю. С.*) романа „Что делать?"» был прислан состоявшей в Саратове под надзором полиции А. П. Харьковцевой, а венок с надписью «Сеятелю великих истин» (опять вместо «идей») — родными покойного (Дело № 479, л. 32, донесение от 29 ноября).

[3] Юрий Мосолов был в июне 1866 года осужден на поселение по делу московского отдела «Земли и Воли».

она (кто? полиция или Ольга Сократовна. — *Ю. С.*) заявила, чтобы сняли ленты с надписями «Автору „Что делать“» и «Сеятелю великих идей»; однако их оставили до Миши (т. е. до приезда сына. — *Ю. С.*). Венок с надписью «Страдальцу» принесен уже при Мише, и он сказал тем, кто его принес: «К прискорбию моему должен заявить, что этот венок должен остаться здесь» (т. е. не может быть оставлен на катафалке)... Когда у могилы тело покрыли коленкором и собрались уже привинчивать крышку, внезапно появились те два металлические венка с надписями «Страдальцу» и «Мир праху твоему, страдалец» [1], были возложены на грудь, и тотчас же наложили крышку и закрепили ее».

«21 октября [2], — пишет Юдин, — в девять часов утра гроб... был перенесен на руках из квартиры в Сергиевскую церковь. Народу собралось столь много, что, как говорится, «негде было яблочку упасть»... Горожане до самого кладбища несли гроб на руках». До самого же кладбища процессию провожали пешие и конные полицейские, правда, в небольшом числе. «Полиция, — говорит М. Пыпин, — вела себя, положим, не очень нахально, но все же в достаточной мере нагло и подло; шныряли переодетые; у нашей церкви поставили городовых конных и пеших; околодочные в форме и без формы шныряли и в церкви, и около нее... Некоторые умники находили их поведение деликатным; что же назвали бы они неделикатным?». Гроб несли и женщины. Провожающие составили хор, который пел лучше церковного. Таких торжественных похорон «Саратов не видел, да никогда и не увидит». Местная же цензовая интеллигенция проявила удивительное безучастие. Заслуживает быть отмеченным, что доктор Боков на похороны не приехал. Зато особенно теплое отношение проявила молодежь.

«При выносе из церкви произошла некоторая особенность, — пишет М. Н. Пыпин. — Мы выходили из церковного притвора на паперть, когда среди пения и плача Ольга Сократовна, не спускавшая глаз с лица Николая Гавриловича, воскликнула рыдающим голосом: «Голубчик, он слышит, он плачет; Миша, смотри — слеза!». Миша оглянулся и подавленным от слез голосом сказал: «да, да». Оглянулся и я и действительно заметил, что во внутреннем углу левого глаза проступила капля прозрачной жидкости».

---

[1] Венок с надписью «Страдальцу» был от студентов Казанского университета; он действительно был погребен вместе с телом.

О венке с надписью «Мир» и т. д. М. Чернышевский не упоминает. По по его словам второй погребенный с телом венок был от местных ссыльных и имел надпись «От молодежи незабвенному и дорогому». Кто из них ошибается, не знаем.

[2] По словам Юдина, похороны состоялись 21 октября. Между тем приводимая ниже телеграмма местного жандарма говорит о 20 октября.

Далее М. Н. Пыпин приводит несколько деталей, показывающих, что в некоторых группах простого народа имелось смутное понимание значения Чернышевского. Так, какой-то старичок кричал на улице: «За что замучили человека? За то, что правду говорил. А сами где?». И ужасно бранил начальство. А при прохождении погребальной процессии мимо какой-то кучки стоявших на углу чуек, не то мастеровых, не то приказчиков из лавки, на вопрос какого-то мужичка, кого хоронят, раздался ответ: «Чернышевского», при чем, по словам М. Пыпина, этот простой ответ был произнесен таким тоном, что видно было, что отвечавший парень сознает, кого хоронят, и относится к нему с полным сочувствием. Впрочем, преувеличивать эти отдельные эпизоды не приходится. Масса, к сожалению, тогда еще спала глубоким сном и не знала, что она потеряла в лице покойного одного из лучших своих друзей и защитников.

После похорон все венки были увезены с кладбища во избежание расхищения их. «Но, — пишет М. Н. Чернышевский, — крайне дорожа надписями на лентах и боясь, чтобы эти ленты как-нибудь не затерялись, я отвязал их от венков [1] и, уезжая из Саратова, взял их с собою в Петербург. Слышал потом, что некоторые лица, приславшие венки, были недовольны этим (?) и осуждали меня, но я сделал это исключительно в видах более бережного их сохранения».

Родные покойного и в первую голову его жена, с одной стороны, и общая политическая атмосфера того времени, с другой, позаботились о том, чтобы беспокойный покойник был убран без лишнего шума [2]. А каково было тогда настроение на верхах, да и повсюду, видно из следующего мелкого, но знаменательного факта. Когда погребальное шествие намеревалось остановиться у здания Саратовской гимназии, в которой в начале 50-х годов преподавал Чернышевский, чтобы отслужить там литию, директор гимназии выслал сказать священнику,

[1] Неясно, к о г д а были сняты ленты с венков — до похорон или после. Имеются свидетельства, что это произошло д о похорон. У М. Н. Чернышевского выходит, что они были сняты им после похорон. Но если это так, то чем же были недовольны лица, приславшие венки? Здесь что-то недоговорено.

[2] В этом отношении характерно донесение саратовского жандарма Гусева от 29 ноября, сообщающее о том, что в 9-й, 20-й и 40-й дни по кончине Чернышевского отслужены были панихиды, которые носили «вполне семейный характер»; лица, состоявшие в Саратове под негласным надзором полиции, присутствовали лишь на панихиде в 9-й день, на прочих же панихидах, кроме вдовы Чернышевского и родных, не было почти никого (Д. № 479, л. 32). — Это доказывает, что родные Черныш. были религиозными людьми, и подтверждает сообщения о том, что О. С. впоследствии замаливала «грехи» своего мужа, которого она решительно была недостойна.

что он этого не желает, и процессия, не останавливаясь, прошла мимо.

Так или иначе, 20 октября Дурново имел удовольствие получить от Гусева шифрованную телеграмму: «Похороны Чернышевского прошли вполне спокойно. Доношу почтою».

Со своей стороны, тогдашний саратовский губернатор Косич, в свое время пользовавшийся репутацией «либерала», счел нужным уведомить о том же, приписывая, разумеется, отсутствие какого-либо нарушения тишины и порядка во время похорон столь опасного человека своему административному усердию и распорядительности.

По словам Юдина (цит. ст., стр. 895—896), Н. Г. Чернышевский был похоронен в одном склепе с отцом и матерью. Могила находится по правую сторону Воскресенской церкви, огороженная навесом из разноцветных стекол, увешанным по стенам венками [1]. На задней внутренней стороне приделан под стеклом фотографический портрет писателя, снятый во время пребывания его в Астрахани. На передней наружной стороне вверху прибита металлическая доска с начертанной на ней надписью:

Николай Гаврилович
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
р. 12 июля 1828 г.
† 17 октября 1889 г.

Внутри ограды на белом надгробном памятнике в виде пирамиды, осененной позолоченным крестом, имеются еще надписи — одна из них спереди:

НИКОЛАЙ
ГАВРИЛО-
ВИЧ ЧЕР-
НЫШЕВСКИЙ.
1828 июля 11,
1889 октяб-
ря 17 д.

Гробницу Чернышевского окружают могилы семейства Пыпиных.

«За последнее время (т. е. в начале XX века. — *Ю. С.*), — продолжает Юдин, — могила Чернышевского посещается довольно часто саратовскими интеллигентами (преимущественно учащимися), особенно летом. Одна близкая к Н. Г. особа (повидимому, речь идет о жене. —

[1] Летом 1891 года на средства, собранные почитателями Чернышевского, на его могиле была поставлена железная часовня, сделанная по рисунку художника Ф. Г. Беренштама, и тогда все венки со всеми лентами были развешены в этой часовне. К сожалению, серебряный венок, присланный от высших учебных заведений Харькова, был украден оттуда каким-то вором (М. Н. Чернышевский, цит. ст., стр. 150).

Ю. С.) почти ежедневно служит по нем панихиды — да простятся ему все прегрешения, вольные и невольные, хотя едва ли перед кем-нибудь и чем-либо согрешил он во время своей многострадальной жизни».

Будем надеяться, что со-временем могила основоположника русского коммунизма сделается местом красного паломничества [1].

3. Отклики на смерть Чернышевского

Этих откликов было не очень-то много. «Несколько скудных некрологов, две-три заметки — и все», — правильно отмечает В. Короленко (цит. ст., стр. 51). Александр III плотно уселся своим широким задом на Россию, и «бедная русская мысль» замерла под этим тяжким грузом. На выраженное Тумановым в разговоре с Н. Михайловским недоумение, почему в газетах нет ничего о смерти Чернышевского, тот ответил: «Были две строчки в какой-то газете, и, вероятно, больше не будет. Даже простой панихиды, нужно думать, не разрешат» [2]. Достаточно сказать, что даже тот журнал, в котором за последнее время сотрудничал Чернышевский, лишен был возможности откликнуться на смерть своего славного сотрудника. «Некролога Николая Гавриловича нам не пришлось напечатать», — кратко и меланхолически замечает Гольцев в цитированной статье. Имя Чернышевского попрежнему было запретным и еще много лет после того оставалось таковым.

Долго о Чернышевском вовсе нельзя было упоминать, — говорит Антонович, — его называли в печати то «автором очерков гоголевского периода», то «автором полемических красот», то «переводчиком и комментатором Милля» или «автором примечаний к Миллю» и т. п., словом так, как в свое время он принужден был писать о Белинском. Если имя его называлось, то лишь в охранительной печати, в сопровождении ругательств. Только по случаю его смерти имя его на короткое время появилось в печати, при чем, разумеется, нельзя было правильно осветить его значение и изложить его идеи (которые, прибавим мы, для большинства тогдашних писателей оставались вдобавок непонятными). И даже когда удалось добиться права на издание некоторых из наиболее «безобидных» его произведений, их пришлось опубликовать без имени автора [3].

---

[1] В настоящее время в Саратове Чернышевскому воздвигнут памятник, установленный на постаменте бывшего памятника Александра II. Это — исторический символ.

[2] Туманов — «Н. Г. Чернышевский и кавказцы». «Совр.» 1913, № 5, стр. 261.

[3] М. Антонович — «Материалы для биографии Николая Гавриловича Чернышевского». «Минувшие Годы» 1908, № 5—6, стр. 329.

Все же такое громкое событие, как смерть Чернышевского, на короткое время сломило лед молчания, создавшийся вокруг его имени. В нескольких органах печати появились сообщения о его кончине, а кое-где и некрологи, пытавшиеся изредка дать оценку его деятельности. Но что это было за жалкое зрелище! Это были или наглые реакционные выкрики по адресу великого покойника, или, что, быть может, еще хуже, бесцветные обывательские заметки, ровно ничего не говорившие уму и сердцу, при том не столько рисовавшие, сколько искажавшие действительную фигуру Чернышевского. Ни одной статьи, которая хотя бы намеками характеризовала историческое значение деятельности умершего писателя, тогда не появилось [1]. И произошло это в большей степени потому, что тогдашние русские писатели, далеко отошедшие от революции, не понимали идей Чернышевского, чем вследствие цензурного намордника, плотно надетого на русскую печать.

Для заметок поповски-реакционного содержания, вызванных смертью Чернышевского, характерен некролог, напечатанный в № 17 журнальчика «Благовест» от 1 декабря 1889 года. Вот что там говорилось (стр. 11).

«Скончался, читатели, в городе Саратове тот русский талантливый и даже ученый человек, который, подобно другим, выдающимся по своим способностям и дарованиям, был испорчен тою пропагандою, которая разгуливала в России в пятидесятых и шестидесятых годах. Не станем перечислять немногочисленных литературных трудов покойного, потому что между ними есть немало совершенно научного содержания; упомянем только, что его роман «Что делать» развратил не одну молодую голову. Попирание брачных и семейных начал проводилось покойным ныне Чернышевским так тонко путем его романа, что, за уничтожением семьи, оставался один только шаг к уничтожению всякого общественного и государственного порядка. Будучи сыном почтенного протоиерея и достигнув даже профессорской кафедры, Чернышевский не оправдал ожиданий ни церкви, в лоне которой он родился и получил первоначальное образование и даже питание, ни того государства, которого он должен был быть верноподданным. Революционные идеи — вот что довело Чернышевского до преждевременного прекращения всякой карьеры и до ссылки в Сибирь, как государственного преступника. Правительство впоследствии поселило Чернышевского в городе Астрахани, а потом возвра-

[1] Если не считать статей в зарубежной печати, напр., статей Г. Плеханова в «Социал-демократе» 1890 г., впоследствии составивших книгу о Чернышевском.

тило его в родной ему Саратов. Русский талантливый человек был, повторяем, испорчен врагами России и служил во вред ей. Твердость правительства была вынуждена устранить такого вредного человека от деятельности и удалить его от места этой вредной деятельности. Теперь, когда Чернышевский уже не существует на белом свете, уместно предложить всем его почитателям очень-очень грустный и щекотливый вопрос: много ли вас осталось в России столь испорченных русских людей, идущих по фальшивой дороге, и не пора ли вам уразуметь ту историческую истину, что желающий пользы России должен быть прежде всего православно-русским и верноподданным патриотом?»...

Из крупных консервативных газет «Московские Ведомости» обошли смерть Чернышевского полным молчанием, а «С.-Петербургские Ведомости» и «Новое Время» отозвались: первые — статьей, а второе — некрологом в № 4 900 от 19 октября и фельетоном Н. Скальковского (без подписи) в № 4 902 от 21 октября.

Фельетон Скальковского, впоследствии перепечатанный в его (тоже анонимной) книге «Наши государственные и общественные деятели» и в соответствующих местах цитированный нами, был написан в общем прилично и об'ективно, насколько это доступно для консервативно настроенного обывателя. Он изображал Чернышевского в виде социалиста и демократа, готового по нужде отнестись положительно и к чисто конституционным требованиям, как показывают де его «Письма без адреса». В последнем абзаце фельетона говорилось: «Отбрасывая его политическую деятельность, одни критические труды Чернышевского могли бы упрочить за ним в русской литературе имя. По складу своего критического ума из него вышел бы замечательный ученый, если бы публицистические успехи не увлекли его на скользкий путь пропаганды среди общества незрелого, политически совсем не воспитанного, склонного к увлечениям самым безрассудным». Но в чем именно состояли эти «увлечения», об этом автор фельетона предпочитает умолчать.

Более откровенной, хотя опять-таки сравнительно сдержанной для консервативного органа, была статья «Тень прошлого», помещенная в № 290 «С.-Петербургских Ведомостей» от 22 октября в виде второй передовой. Признавая, что Чернышевский уже и раньше заслуживал смягчения своей участи, автор статьи говорит, что покойный по своей натуре вовсе не принадлежал к типу практических революционеров, а представлял собою просто «сеятеля» революционной доктрины, профессия которого заключалась в писании книг, а не в делании революций. «В своем роде это был катедер-нигилист, хло-

потавший гораздо больше о теоретических интересах нигилистической доктрины, нежели об ее жизнеспособности». Если он на много лет в глазах общества и правительства превратился в представителя воинствующего нигилизма, то это об'ясняется тем, что он целою головою был выше окружавшей его плеяды нигилистов. Дав далее характеристику его идей как помеси фурьеризма с социализмом, амальгамы французского революционаризма с успевшим уже наметиться грубым эмпиризмом немецкого социализма, и заявив, что его последователи довели его идеи до крайности, автор статьи продолжает:

«Теоретически никогда русская мысль не заходила так далеко в отрицании. Какой-то бес отрицания, бес сомнения летал над грешною русскою землею. Не было ни оставленных храмов, ни поверженных кумиров, к которым так или иначе чувствуется род немого сожаления и немой благодарности. Была одна только дикая свистопляска, налетевшая как шквал, унесшая всё до основания и не оставившая в закромах общественной мысли ни одного зерна для обсеменения нивы будущих поколений. В этом отношении Чернышевский сыграл роль почти историческую. Он возвел чаадаевское отрицание до последних пределов возможности, до какого-то исступления и фактической нетерпимости. И он успел в этом, порвав органическую нить общественного развития и болезненно искривив рост русского самосознания».

И дальше, выражая уверенность, что русское революционное движение закончилось навсегда (эта уверенность и была главною причиною сравнительно беззлобного тона консервативной прессы относительно Чернышевского), автор статьи предлагал над могилою бывшего вождя этой угасшей мимолетной вспышки теоретического радикализма признать банкротство обоих крайних флангов — правого и левого — и правильность средней линии, политики золотой середины.

Это было, по крайней мере, ясно и откровенно и по-своему лучше, чем те беззубые заметки и статейки, которые появились в некоторых «прогрессивных» органах печати и образцом которых может служить статья Розова в «Русском Богатстве» старой редакции [1].

Там говорится (стр. 190): «Телеграф принес известие о кончине в Саратове Н. Г. Чернышевского. Покойный представлял собою крупную литературную величину, и его имя связано с периодом процветания одного из влиятельнейших в свое время органов печати Каковы бы ни были взгляды покойного, будущий историк не вправе будет игнорировать этого представителя нашей литературы». Дальше

[1] П. Розов — «Николай Гаврилович Чернышевский». «Русское Богатство» 1889, книга 11, стр. 191—196.

идет краткий биографический очерк и перечень работ Чернышевского. Излагается цитированная нами выше статья корреспондента «Daily News», дается пара цитат из воспоминаний Головачовой-Панаевой — и все!

Образцом либерального блудословия, которое всегда было столь ненавистно для живого Чернышевского, были статья, напечатанная в № 288 «Русских Ведомостей» от 18 октября «Н. Г. Чернышевский (некролог)» [1], и коротенькая заметка о нем, появившаяся в «Вестнике Европы» в отделе «Из общественной хроники» и принадлежавшая, вероятно, К. К. Арсеньеву [2].

Автор анонимной статьи в «Русских Ведомостях» просит у торжествующей реакции прощения и забвения для Чернышевского, вместо того чтобы проклясть ее за злодейское систематическое убиение великого покойника. «Это имя, — пишет он, — было в свое время одним из известнейших и популярнейших в нашей литературе, хотя вряд-ли можно найти другое лицо, вокруг которого скоплялось бы больше вражды и ненависти. Но перед открытым гробом, перед незасыпанной могилой должны смолкнуть враждебные чувства, если только их раньше уже не смягчила тяжелая судьба покойного». Дальше следует краткий и бесцветный биографический очерк, в котором преднамеренно обходится вопрос о социалистических убеждениях Чернышевского и о беззакониях, совершенных по отношению к нему правительством. Более того, либеральный автор некролога начинает что-то плести насчет «заблуждений» и «ошибок» покойного, за которое он в свое время понес кару, но которые были милостиво прощены ему правительством (при этом говорится явная ложь на ту тему, что правительство якобы дало Чернышевскому возможность снова заняться литературной деятельностью, тогда как в действительности, как мы знаем, имело место совершенно обратное).

Вот что сказано в конце этого некролога, который по общему тону мало чем отличается от статьи реакционных «С.-Петербургских Ведомостей», а по количеству либеральной «лжи во спасение» даже превосходит ее: «Каковы бы ни были заблуждения и ошибки Н. Г., он искупил уже их тяжелою ссылкой, как это и признано правительством, милостиво облегчившим его судьбу за последние годы и давшим ему возможность вернуться к литературной работе. Первые годы его оживленной деятельности и та эпоха общественных волнений, когда

[1] В том же номере «Русских Ведомостей» были напечатаны 2 телеграммы из Саратова о болезни и смерти Чернышевского.

[2] «Вестник Европы» 1889, ноябрь: «Из общественной хроники», стр. 467—468.

Н. Г. был подвергнут наказанию, — все это уже далеко от нас, все это — историческое прошлое, к которому мы можем относиться спокойно и бесстрастно. Теперь, перед могилою Н. Г. Чернышевского, нельзя не вспомнить его как выдающегося экономиста и как публициста, выступившего в 50-х годах защитником важных общественных интересов, которые были выдвинуты тогда начинавшимися преобразованиями, как писателя, влиятельно поддерживавшего энергию общественной мысли».

Присоединяясь таким образом к уверенности передовика казенного официоза о том, что революционная эпоха в России закончена и отошла в прошлое, к каковому можно отнестись «бесстрастно», либеральная газета приписывает инициативу общественного прогресса правительственному почину, который мол и выдвинул «важные общественные интересы», защищавшиеся Чернышевским. Что это были интересы трудящихся, которые покойный писатель отстаивал и против правительственных «преобразований», и против интересов господствующих классов, об этом по либеральной манере благоразумно умалчивается.

Такой же характер носит и заметка в «Вестнике Европы», в который Чернышевский при жизни никак не мог проникнуть (даже в качестве беллетриста).

«Смерть многое изменяет, на многое позволяет или заставляет смотреть иначе, чем прежде, — елейно начинает обозреватель. — Еще недавно имя Н. Г. Чернышевского появлялось почти исключительно в журналах или книгах известного пошиба, и появлялось только для того, чтобы к нему могли быть приложены эпитеты известного свойства. Кончина Чернышевского — 17 октября, в Саратове, куда он, в конце июня нынешнего года, переехал на жительство из Астрахани,— положила конец молчанию, продолжавшемуся целую четверть века. Газеты различных направлений посвятили покойному писателю более или менее обширные некрологи, в которых вовсе не звучала прежняя нота — или звучала не одна, и при том смягченная и дополненная другими. В одном из таких некрологов встречаются, например, рядом с признанием выдающихся способностей Чернышевского, следующие слова, особенно интересные на страницах консервативной газеты: «Пора радикализма теоретического ума прошла давным-давно. Это была вспышка, взрыв и только. Тупой индифферентизм, буржуазное безучастие ко всяким живым вопросам, народным, государственным, политическим — вот что характеризует наше время. И под эгидою этого индифферентизма медленно и верно делают свою работу мещерский обскурантизм и дикая проповедь невежества... Быть может,

над могилой передового бойца нигилизма русская мысль, наконец, придет к сознанию, что скачок вперед так же безразультатен, как и скачок назад, и что настоящая формула прогресса лежит как раз по средине» («С.-Петербургские Ведомости», № 290). Ради верной характеристики нашего времени — т. е. господствующих его течений — можно извинить некоторую ошибку, в которую впадает газета, называя Чернышевского передовым борцом нигилизма. Нигилизм предполагает отсутствие положительных идеалов, исключительно-разрушительное направление. Ни то, ни другое не было свойственно Чернышевскому. Широко образованный, разносторонний, он не мог замкнуться в одно безусловное отрицание. Он строил теории в области искусства, в области критики, в области истории и философии, в области политической экономии — одним словом, везде, куда ни проникала его неустанная умственная работа. Она продолжалась недолго, менее десяти лет — а между тем чего только она не успела коснуться, где не оставила следа! О многих сторонах деятельности Чернышевского говорить еще рано; но и теперь возможно и полезно было бы изучить, например, его литературно-критическую доктрину, выразившуюся в «Эстетических отношениях искусства к действительности» и в целом ряде статей, до сих пор не утративших своего значения. Чернышевский стоит, как критик, на рубеже между Белинским и Добролюбовым; знакомство с его литературными взглядами необходимо для правильного понимания целой эпохи, закончившейся лишь недавно. Но для того необходимо было бы прежде всего издать литературно-критические статьи Чернышевского, рассеянные в старых и трудно доступных в настоящее время журнальных книжках. Все такие статьи были печатаемы в то время под цензурою, и потому едва ли могут встретиться препятствия к их изданию теперь, когда они отошли уже в область истории нашей критики».

Пожалуй, наиболее приличной из всех этих заметок, вызванных смертью Чернышевского, была статья, появившаяся... в суворинском журнале [1]. Автор ее, А. Фаресов, бывший революционер, участник «хождения в народ», привлекавшийся по «Большому процессу» (193-х), хотя после своей легализации и павший до сотрудничества в суворинских органах, нашел в своем сердце несколько искренних нот, когда заговорил о писателе, своими произведениями некогда пробудившем его к человеческой жизни. Вот что писал Фаресов.

«Явившись в литературу во всеоружии современного ему знания, отличаясь тонкой диалектикой, полемически-живым языком и тою ло-

[1] А. И. Фаресов — «Николай Гаврилович Чернышевский (некролог)». «Исторический Вестник» 1889, декабрь, стр. 644—651.

гичностью, которую по словам «Нового Времени» можно было только встретить «в корифеях революционного движения во Франции конца прошлого столетия», Чернышевский приобрел сильное влияние на тогдашнее молодое поколение. Редактируемый им «Современник» сделался любимым журналом молодежи, увлекавшейся его радикальным и непривычным для русского общества направлением. Как литературный критик, Чернышевский выразил свои художественные идеалы в упомянутой нами диссертации, изданной впоследствии отдельной книжкой г. Пыпиным, а также в статьях «Очерки гоголевского периода русской литературы», «Лессинг и его деятельность» и т. п. Этими работами он содействовал тому направлению русской критики, которая ценит в художественных произведениях не только изящество и форму, «единство идеи и образа», но главным образом содержание и просвещенное миросозерцание авторов: «умение воспроизвести драгоценную действительность и ко благу человека об'яснить ее». Важно не только к а к, но и ч т о изображено художником и д л я ч е г о.

«Как публицист и журналист, он написал по крестьянскому вопросу статьи «О поземельной собственности», «О главных условиях сельского быта», «Устройство быта помещичьих крестьян», «Экономическая деятельность и законодательство», «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» и т. д. Во всех этих статьях, равно как в исторических: «Рассказы из истории Англии», «Кавеньяк», «Борьба партий во Франции», «Тюрго», «Июльская монархия», «О причинах падения Рима» и «Письма без адреса», изданные за границей в 1874 г., но написанные в 1862 г., — Чернышевский в вопросах экономических проводил корпоративные [кооперативные?] принципы, отстаивая сельскую общину и освобождение крестьян с землею, а в политических — демократические, не чуждаясь, впрочем, и конституционализма («Письма без адреса»). В статье: «Антропологический принцип в философии» он популяризировал рационализм Бюхнера, Молешота, Фейербаха и др.

«Как ученый, Чернышевский известен своими трудами по политической экономии. В этой области он написал статью: «Капитал и труд»; перевел «Политическую экономию» Д. С. Милля, снабдив ее своими обширными примечаниями. Хотя в этих трудах он является сторонником демократического социализма, представителем которого в то время был Луи Блан, а позднее — Лассаль, но это касается только их общих практических взглядов, тогда как теоретические и научные основы труда Чернышевского настолько отличаются проницательностью и ясностью понимания экономических процессов, что даже Карл Маркс, не удостоивавший никого из ученых лестного от-

зыва, для Чернышевского делает исключение в своем труде «Das Kapital». Точно также Чернышевскому принадлежит перевод с примечаниями «Истории XVIII века» Шлоссера и редакция перевода первых томов «Всемирной истории» того же автора.

«Как беллетрист, Чернышевский не обладал для этого необходимым талантом и творчеством, но во время своего заключения в Петропавловской крепости воспользовался формой романа для проведения в общество своих идей и написал известное произведение под заглавием «Что делать?». В этом романе в значительной степени отразились: в артельных мастерских Веры Павловны — идеи английского филантропа Роберта Оуэна; а в ее фантастических сновидениях — учение Шарля Фурье о фаланстериях. За границей напечатан еще другой роман Чернышевского: «Пролог к прологу», в котором изображены некоторые лица административных сфер, довольно известные Петербургу».

Дальше шел краткий рассказ об аресте и ссылке Н. Г. Чернышевского.

Так жалко откликнулась на смерть великого писателя журналистская братия. Иначе реагировала на это событие учащаяся молодежь, не успевшая еще «поумнеть» и «остепениться», превратиться в чиновников и благополучных обывателей. В ее душе не замерли еще отголоски недавно столь сильной революционной борьбы, и она живо почувствовала всю тяжесть постигшей ее утраты.

Молодежь того времени, обыкновенно начинавшая свое политическое воспитание с сочинений Чернышевского и особенно с его романа «Что делать?», никогда не забывала о своем любимом писателе. В самые мрачные времена реакции это славное имя сияло для нее путеводной звездочкой. И характерно, что не только во время Казанской демонстрации 1876 года, когда память о Чернышевском была еще довольно жива, но и во время Добролюбовской демонстрации, происходившей десять лет спустя, в самое глухое время торжества победоносцевской политики, молодежь вспомнила о Чернышевском и громко проявляла свою любовь к опальному мыслителю [1].

Неудивительно, что известие о смерти Чернышевского всколыхнуло молодежь и дало повод к демонстрациям, охватившим почти все

[1] М. Брагинский в статье «Добролюбовская демонстрация 17 ноября 1886 года в С.-Петербурге» («Былое» 1907, № 5, стр. 308) рассказывает, что с Волкова кладбища толпа демонстрантов, конвоируемая полицией, направилась по Лиговскому каналу (ныне Лиговская улица) к Невскому проспекту под громкие звуки революционных песен, сменявшихся провозглашением многолетия жившим еще в то время П. Лаврову и Н. Г. Чернышевскому.

университетские города и принявшим по тому времени довольно широкие размеры [1].

Как мы видели, Москва первая откликнулась на известие о смерти Чернышевского. Не ограничиваясь сбором денег на венок и посылкой депутации, московское студенчество решило устроить демонстрацию. По обстоятельствам дела и по старой российской традиции эта демонстрация задумана была в виде панихиды по покойном (способ этот имел то преимущество, что давал возможность сравнительно незаметно собираться и до некоторой степени обезоруживал полицию). И действительно 19 октября полиция была застигнута врасплох, и учащейся молодежи удалось не только отслужить панихиду по Чернышевском в церкви Дмитрия Солунского, но и устроить маленькую демонстрацию в университете и отчасти на улице. Насколько велика была толпа, собравшаяся у церкви, видно из того, что обер-полицеймейстер счел за благо не препятствовать панихиде (по словам его донесения, собралось более тысячи человек).

Попытка студентов, ободренных первой удачей, повторить демонстрацию 20 октября не увенчалась успехом, так как предупрежденная полиция была уже настороже и мобилизовала все свои силы. Собиравшиеся скопища рассеивались, и на сей раз губернатор мог уже донести министру об одержанной им над крамольниками победе.

Но опростоволосившаяся в первый день администрация белокаменной, прозевавшая демонстрацию 19 октября, хотела сорвать на ком-нибудь свою злобу. Козлом отпущения избрана была многострадальная русская печать, и в частности газета либеральных профессоров «Русские Ведомости». Последняя при всей своей умеренности и аккуратности была все же бельмом на глазу столичной администрации, ибо выходила без предварительной цензуры и, следовательно, при случае могла разоблачить кое-какие делишки местных властей. И вот московская полиция, пытаясь связать студенческую демонстрацию с появлением в газете сообщения о смерти Чернышевского и некролога о нем (мы уже знаем, что это был за некролог!) обратилась в Департамент Полиции с предложением лишить либеральную газету ее привилегии и подчинить ее предварительной цензуре. Но на такую радикальную меру, ровно ничем не вызываемую, не решился пойти и сам П. Н. Дурново, поспешивший вылить на разгоряченную голову московского обер-полицианта ушат холодной воды, указав, что пока он не видит для такой меры оснований [2].

[1] См. нашу статью «Вокруг смерти Чернышевского» в томе XXVI «Красного Архива», где приведены относящиеся к этому движению документы.

[2] Дело № 479, л.л. 8—9, 11, 12—14.

Хотя и с некоторым запозданием, но новая столица не отстала от «порфироносной вдовы». 21 октября в высших учебных заведениях началась агитация, а 22-го в церкви Владимирской божьей матери собрались воспитанники В.-М. Академии (всегда стоявшей во главе движения), Технологического и Лесного Институтов и университета, Горного Института, высших женских курсов и пр., чтобы отслужить панихиду по Чернышевском. Надо полагать, что после московской истории питерское духовенство было уже предупреждено своей старшей сестрой-полицией. По крайней мере, священник, увидав студентов и услыхав имя покойника (Николай), поспешил скрыться. Вышло даже лучше: вместо лицемерной колдовской комедии «служителя христова» студенты сами пропели гражданскую панихиду по Чернышевском.

Обо всей этой печальной для полиции истории сообщает адресованный на имя самого Дурново доклад или донос, не знаем как назвать, за подписью Л. Антонов. Кто такой был этот Антонов, мы в точности не знаем. Но, вероятно, это был тайный агент, действовавший среди студентов, что видно по его словам, что студенты собирались у него на квартире. Во всяком случае донесение его взволновало Дурново, и тот поспешил доложить о происшествии министру внутренних дел, сообщить имена всех названных Антоновым лиц градоначальнику, дабы тот обратил на них свое благосклонное внимание как на людей, «подстрекающих товарищей к демонстрациям», и наконец собрать сведения о лицах, им на донесении подчеркнутых. Эти сведения и были ему доставлены охранкою в особом списке [1].

В доносе Антонова обращает на себя внимание то место, где он говорит о «неопределенных личностях, которых по наружному виду можно было бы причислить или к бывшим слушателям учебных заведений, или к полуинтеллигентным рабочим». Это нужно понимать в том смысле, что эти лица были в статском платье. Замечательно, что доносчик угадал верно (если только он гадал). В демонстрации действительно участвовали и некоторые рабочие, члены начавших тогда организовываться рабочих кружков. Об этом рассказывает участник демонстрации В. С. Голубев, названный в доносе Антонова. Голубев вел тогда пропаганду среди рабочих Балтийского завода и за Невской заставой.

---

[1] Дело № 479, л.л. 15—16, 17—18, 20. — Антонов назвал следующих лиц: К. Кравкова, А. Билинского-Билинкиса, М. Тимофеева, В. Бартенева, И. Теннера, В. Голубева, Аничкова, А. Гауэра, И. Кургеганова, Д. Головачова, С. Гиршовича, М. Унковского, Жибера, К. Афанасьева и И. Боровикова.

«Панихиду по Чернышевском устраивали студенты разных учебных заведений, — пишет Голубев [1]. — Время однако было настолько глухое, что руководители студенческих кружков сомневались, соберется ли достаточно студентов на эту панихиду. Уверенность была только за Военно-Медицинскую Академию, в которой все старосты (институт старост был только в Академии) оповестили о панихиде по своим курсам и поручились, что придет во Владимирский собор, где устраивалась панихида, вся Академия [2]. Медики действительно оправдали свое обещание. Поднят был вопрос и об участии на панихиде рабочих. Но из опасения повредить рабочим на этот счет решение было уклончивое и скорее отрицательное. Мне однако казалось, что рабочих постепенно нужно приобщать к общему движению. Поэтому я и на этот раз сообщил своим знакомым рабочим о панихиде по Чернышевском.

Панихида состоялась во Владимирском соборе, но вышла она уж чересчур скромна, без всякой демонстрации: не было ни речей, ни шествия, ни венков — ничего. Церковь была переполнена студентами в форме. Священник долго колебался, да так и не решился служить панихиду. Студенты постояли, постояли и затем с пением «святый боже» и «вечная память» в самой церкви стали выходить на паперть и на площадь. На площади кроме одного околоточного полиции совсем не было. Она была спрятана. Студенты, потолкавшись на площади, постепенно разошлись по домам...

«Между прочим среди студентов в церкви было и несколько моих знакомых рабочих. Они были одеты в обычный штатский костюм, что среди массы форменного студенчества обращало на себя невольное внимание. И вот молодежь приняла их за сыщиков, а по адресу одного из рабочих был даже пущен эпитет «гороховое пальто». Об этом с чувством обиды рабочие мне сами потом рассказывали. Настолько в то время было необычно участие рабочих в демонстрациях вместе с учащейся молодежью, что последняя как-то не могла себе даже представить, чтобы на панихиде по Чернышевском люди, по лицам и одежде похожие на рабочих, были действительно рабочие».

На посланный ему Департаментом Полиции запрос петербургский градоначальник или, точнее, начальник Петербургского охранного от-

[1] В. Голубев — «Страничка из истории рабочего движения» («Былое» 1906, № 12, стр. 110).

[2] Е. В. Гешин в статье «Шелгуновская демонстрация» («Минувшие Годы» 1908, ноябрь, стр. 32) сообщает, что за участие в панихиде по Чернышевском эти курсовые старосты были из Академии уволены.

деления[1] ответил 31 октября подробным отношением, в котором сообщал, что среди участников сборища 22 октября во Владимирской церкви замечено было 102 лица.

Ответ охранки интересен в том отношении, что он дополняет сведения, сообщенные Антоновым, и перечисляет ряд таких участников демонстрации, как известные писатели и общественные деятели: Г. Успенский, Н. Михайловский, С. Кривенко, А. Иванчин-Писарев, М. Цебрикова, и как Я. Юделевский и Н. Истомина, вскоре привлеченные к делу народовольческой группы (Фойницкого и др.) [2].

Некоторые из названных в этих документах лиц принимали тогда деятельное участие в студенческом и революционном движении. По словам В. Б., автора воспоминаний о том времени [3], в центральных студенческих кружках участвовали студенты университета М. Тимофеев, В. Голубев, И. Теннер; технолог Цывинский; медик Галковский; лесник Великолюд (я привожу только имена, указанные в жандармских донесениях, относящихся к делу о похоронах Чернышевского). Некоторые из них, как автор воспоминаний, Цывинский, Голубев, участвовали и в пропаганде среди рабочих (вместе с М. Брусневым и Л. Красиным). Из упомянутых выше В. Бартенев был впоследствии сослан в Восточную Сибирь. Цывинский уцелел и позже, оставив политику, инженерствовал, чуть ли не строил Амурскую дорогу.

Отозвалась и далекая Одесса, где свирепствовал в качестве градоначальника пресловутый контр-адмирал Зеленый, известный тем, что не стеснялся в публичных местах и, как рассказывали, даже в присутствии «высочайших» особ прибегать к крепким выражениям с упоминанием родителей. Можно представить себе, как должен был такой тип реагировать на столь дерзостное покушение, как попытка местных студентов устроить демонстрацию в память Чернышевского. А если прибавить сюда то обстоятельство, что в таком городе, как

---

[1] Градоначальником был тогда знаменитый Грессер, а начальником охранки — тоже известный жандарм Секержинский.

[2] Дело № 479, л.л. 29—30. — В этом донесении названы еще следующие лица: Л. А. Лурье, М. А. Клечинский, И. К. Климов, М. И. Иванов, Г. А. Галковский, В. Н. Переверзев, О. А. Греков, В. Ф. Цывинский, Д. И. Озон, Н. Трубецкой, И. А. Квятковский, Н. Н. Будаевский, А. А. Герасимов, С. И. Тагер, М. Г. Милованов, В. В. Мурзаков, С. М. Великолюд, Л. Л. Бенда, В. К. Фаддеев, К. М. Вершинина, А. П. Рождественская, Е. Я. Еркович-Ерченко и М. А. Соколовская. Некоторые из них еще живы, как напр., В. Н. Переверзев, находящийся в Москве.

[3] В. Б. — «Воспоминания петербуржца о второй половине 80-х годов». «Минувшие Годы» 1908, октябрь, стр. 183. — Эти воспоминания принадлежат участнику описываемых событий, В. Бартеневу.

Одесса, процент инородцев и в частности евреев естественно был довольно велик, а Зеленый славился как злостный антисемит, то получится настоящий «истинно-русский» букет, который нашел, разумеется, самое слабое отражение в цитируемой официальной переписке, но который несомненно дал себя почувствовать в об'яснениях бравого контр-адмирала с студентами.

В первом же своем донесении Зеленый берет антисемитскую ноту, подчеркивая, что среди отмеченных полицией студентов находилось — о, ужас! — восемь евреев из 22 (причем включает в число евреев, кажется, пару караимов, например № 3 и 16 в приложенном к его донесению списке). Дурново превращает эту треть евреев уже в большинство («преимущественно евреев»). В высших сферах ко всяким проявлениям антисемитизма уже тогда относились благосклонно: в этом отношении никакой администратор не рисковал переборщить.

Узнав, повидимому, от шпионов в студенческой среде, что 21 октября молодежь собирается отслужить в 4 часа панихиду по Чернышевском, Зеленый к назначенному времени отправился к собору, где застал кучку студентов, которых приказал тут же переписать. Собравшимся было об'явлено, что священник предупрежден о недозволении служить панихиду. В это время к собору подошла толпа студентов в числе около 150 человек, потребовавших, чтобы и их также записали. Получив отказ, они направились к университету, где повторили то же требование перед инспектором студентов, а затем разошлись. При своем донесении Зеленый приложил вырезку из газеты «Одесский Вестник», в которой сообщалось, что студенты Новороссийского университета послали в Саратов венок для возложения на гроб Чернышевского.

В списке студентов, переписанных полицией до прихода главной толпы студентов, значились следующие лица: И. Радинский, М. Леви, С. Фаерштейн, Ш. Безредзь, М. Фиалковский, Н. Ляшевский, Г. Разградский, А. Архангельский, Д. Танов, П. Беляев, Н. Беляев, В. Ворт, В. Потапов, В. Яковлев, А. Казас, Х. Мунблит, В. Коган, О. Гельфонт, И. Сахновский, С. Ржевуцкий, М. Лященко [1].

[1] В казенном списке имеются ошибки: так, Казаса звали Азарий, а не Азирий, Мунблит, а не Мумблит, Ржевуцкий, а не Ржеутский. Как нам удалось установить, почти все названные в списке были уволены из университета, некоторые без права обратного поступления. Из них Фаерштейн и Мунблит были с.-д., Ворт, Потапов (брат известного позже эсера Потапова-Рудина), Гельфонт и Ржевуцкий — народовольцы. В. Е. Коган заведует сейчас научным сектором Госиздата, а Е. Г. Мунблит работает в Наркомздраве (подотдел борьбы с туберкулезом).

В одесской истории интересна и другая сторона. Зеленый и местный жандарм ген. Цугаловский за отсутствием работы вознамерились создать из неосуществившейся панихиды по Чернышевском целое дело о государственном преступлении. Г-ну Дурново пришлось и на этих ретивых слуг самодержавия пустить холодный душ. Похвалив их за антисемитскую выходку, он вместе с тем дал им понять, что раздувать этот пустяк в страшное политическое дело все же не стоит. И почтенная компания забила отбой: Цугаловский поспешил уведомить Департамент Полиции, что Зеленый сообщил о начатии жандармского дознания «по ошибке». При этом он невольно выдал секрет неожиданного либерализма своего патрона Дурново: не стоит вызывать «усложнений»; пусть лучше царит всеобщая уверенность, что в богохранимом российском царстве все обстоит благополучно [1]. Ведь привлекать пришлось бы не маленькую группу крамольников, а сотни людей, по всей же России чуть ли не тысячи. Благоразумнее взять на примету вожаков и подстрекателей, а при случае расправиться с ними тихо, честно, благородно.

Так и было поступлено. По одесским делам вскоре расправились с М. Н. Дилетицкой («Маня»), стоявшей тогда во главе одесского народовольческого кружка [2]. Выслан был и ряд студентов, названных в приведенном выше списке.

Кроме названных городов, в Дерпте также была отслужена панихида студентами, но число участников было невелико (20 человек), и она, видимо, не обратила на себя внимания администрации. Была отслужена панихида и харьковскими студентами, но и здесь дело, повидимому, обошлось без демонстрации и тоже не вызвало проявлений административной ретивости.

Так закончилось дело о похоронах Чернышевского и связанных с ним выступлениях. Правда, выступления были более чем скромными, но ведь время-то тогда было самое подлое. Удивляться можно не тому, что демонстрации оказались столь робкими, а тому, что они вообще имели место. Но они все же состоялись и охватили по тому времени довольно широкие круги интеллигенции, а отчасти, как мы видели, захватили и кучку передовых рабочих. Во всяком случае они показали, что под сковавшим русскую жизнь льдом реакции продолжает тлеть огонек протеста, и что при всех усилиях правительству не удалось окончательно задавить революционное движение. Наиболее грозным для реакции признаком было пусть слабое, но все же состоявшееся

[1] Дело № 479, л.л. 21—28, 31.

[2] Она же, как выяснили жандармы, послала в Саратов телеграмму о возложении венка на гроб Чернышевского.

участие рабочих в общественном выступлении. В свое время полиция не обратила внимание на это обстоятельство. Она, подобно тогдашней в большинстве народнически настроенной интеллигенции, не учитывала возможности широкого развития рабочего движения в стране. Но события вскоре показали, что на смену разбитой партии «Народной Воли» идет новая, более грозная сила. Через несколько лет после похорон Чернышевского начались рабочие забастовки, а затем на сцену выступил мститель, который в конце концов заставил царизм ответить за все совершенные им преступления, из коих одним из самых тяжких было физическое и моральное убийство самого талантливого и оригинального русского мыслителя, впервые водрузившего в России знамя революционного коммунизма.

4. Заключение

Со смертью Чернышевского вражда к нему со стороны господствующего класса и гонение на его имя не прекратились. Вскоре после кончины отца М. Н. Чернышевский начал хлопотать об издании хотя бы некоторых его сочинений. 7 декабря 1889 года он подал прошение о разрешении ему издать литературно-критические статьи покойного отца по приложенному списку, в который, правду сказать, были включены и некоторые статьи, несовсем-то подходящие под эту «невинную» рубрику. Но зоркий глаз цензурных сыщиков быстро заметил эту хитрость, и в представленном М. Н. Чернышевским списке несколько работ Н. Г. («Русский человек на rendez-vous», «Русский реформатор», «Национальная бестактность», «Народная бестолковость», «Эстетические отношения») отмечены красным карандашом и знаком NB, а некоторые другие («Сочинения Грановского», «В из'явление признательности», и «Заметки о журналах») — черным крестиком. Начальство сразу усмотрело крамолу, но рука старого цензора разбежалась и заодно с «подозрительными» статьями политического характера наложила вето и на такие произведения Н. Г., которые, как, например, «Эстетические отношения», были в действительности работами чисто литературного свойства.

Однако 13 декабря начальник Главного Управления по делам печати Е. М. Феоктистов сообщил П. Н. Дурново, что по его мнению некоторые статьи Чернышевского можно было бы разрешить к печати. 15 декабря Дурново ответил согласием на то, чтобы некоторые статьи, подходящие под цензурные условия, были напечатаны, но не ранее осени 1890 года и под псевдонимом. Казалось бы, что первая брешь в глухой стене была пробита. Но в конце концов на просьбу

М. Н. Чернышевского неожиданно последовал отказ, и 29 декабря он получил уведомление, что ходатайство его «в настоящее время признано не подлежащим удовлетворению» [1].

Но неутомимый М. Н. Чернышевский, проявивший, нужно сказать, в этом деле большую выдержку, не пал духом. Менее чем через год он возобновил свое ходатайство и 11 октября 1890 года подал новое прошение, приложив к нему список 36 статей и книг покойного отца. 13 октября Феоктистов запросил Департамент Полиции по поводу этого ходатайства, и после некоторого размышления Дурново 5 ноября ответил, что он согласен на издание указанных работ Н. Г. Чернышевского, но без имени автора, которое все еще оставалось ненавистным для полиции. 10 ноября М. Н. Чернышевский был уведомлен о состоявшемся решении. Первый шаг был наконец сделан [2].

Но настойчивый ходатай хотел во что бы то ни стало добиться права издавать сочинения Н. Г. Чернышевского с его именем. И через год он принялся за новые хлопоты. 1 ноября 1891 года он возбудил новое ходатайство. К сожалению, решив, что путем приспособления к подлости он вернее добьется своей цели, он — уже после смерти отца! — позволил себе снова прибегнуть к недопустимым приемам по адресу революционеров («разбойники», «наглость» и прочая уже известная нам пыпинская словесность). Но напрасно. На просьбу издать сочинения Чернышевского с его именем снова последовал отказ [3]. Департамент Полиции оказался не менее упорным, чем проситель.

Пришлось подчиниться, и в 1892—1894 годах появились наконец 4 тома статей Н. Г. Чернышевского без имени автора. В 1892 году появились «Очерки гоголевского периода», в 1893 году два сборника его статей «Критические статьи» (сюда вошли очерки, посвященные Пушкину, Гоголю, Тургеневу, Островскому, Л. Толстому) и «Эстетика и поэзия» (в последний вошел Лессинг), в 1894 году «Заметки о современной литературе» — все без имени автора, и только по имени издателя М. Н. Чернышевского непосвященная публика могла догадываться о том, кто является автором этих книг.

Но те из работ Чернышевского, которые сделали его идейным вождем левой демократии и любимцем передовой молодежи, т. е. его статьи по экономическим и политическим вопросам, а также его беллетристические произведения, как «Что делать?» и «Пролог», по-прež-

[1] № 34. Дело III Отделения Главного Управления по делам печати «О рукописях, поступающих в Главн. Упр. по д. п. для разрешения к напечатанию» (начато 9 января 1889 г., закончено 3 марта 1901 г.), л.л. 66—70.

[2] То же дело, л.л. 81—85.

[3] Там же, л.л. 86—87.

нему оставались под спудом. Прошло еще несколько лет, и сын Чернышевского, поставивший задачей своей жизни собрать и издать сочинения своего великого отца, возобновил свои попытки. 8 декабря 1900 года М. Н. Чернышевский возбудил (в который уже раз) ходатайство о разрешении ему издать сочинения отца с его портретом и именем, прибавив к прежде изданным и другие, как то: «Примечания к Миллю», роман «Что делать?» и статьи политико-экономического характера (увы, снова допустив в прошении ряд безобразных выпадов à la Пыпин). Новый начальник Главного Управления по делам печати, кн. Н. В. Шаховской, 7 февраля 1901 года запросил нового директора Департамента Полиции, С. Э. Зволянского, относительно ходатайства М. Н. Чернышевского. Но хотя руководители обоих почтенных учреждений переменились, дух их остался прежний, и 17 февраля Зволянский сообщил, что считает такое издание сочинений Н. Г. Чернышевского «преждевременным» [1]. Итак, под конец своего существования царское самодержавие дошло до того, что считало невозможным и для себя небезопасным переиздание статей, за полвека до того пропущенных его же собственной цензурой!

Проходит еще около четырех лет, и неутомимый М. Н. Чернышевский снова начинает атаку на цензурные твердыни. Но все его настойчивые хлопоты остались бы по-прежнему бесплодными, если бы за это время крот революции не успел основательно подрыть почву под ногами царизма. По всей стране широко разлилось рабочее движение, зашевелилась буржуазная оппозиция, умножились акты политического террора, и у Департамента Полиции явились заботы, куда как более настоятельные, чем борьба с изданием сочинений Чернышевского. Последние к этому моменту утратили злободневное значение, тем более что Чернышевский в свое время принужден был касаться жгучих вопросов современности отдаленными намеками, теперь же не только нелегальная литература, достигшая довольно широкого распространения, но даже выходившие в России газеты, журналы и брошюры открыто обсуждали такие вопросы, о которых в 60-е годы нельзя было и заикаться. Дальнейшее запрещение сочинений Чернышевского становилось слишком нелепым анахронизмом. Напор надвигавшейся революции сделал то, чего не мог добиться М. Н. Чернышевский своими просьбами, и вырвал у самодержавия разрешение на издание произведений основоположника русского социализма.

21 сентября 1904 года М. Н. Чернышевский обратился к министру внутренних дел с просьбою разрешить ему издать сочинения

[1] Там же, л.л. 92—96.

своего отца, приложив при этом копию своего «всеподданнейшего» прошения по тому же предмету. Для обоснования своего ходатайства М. Н. Чернышевский ссылался на свое всеподданнейшее прошение от 5 ноября 1885 года относительно разрешения отцу его повсеместного жительства в России (нами выше изложенное). 12 октября барон Будберг препроводил министру внутренних дел на заключение просьбу об издании сочинений Н. Г. Чернышевского, поданную на имя царя сыном писателя. 9 ноября новый начальник Главного Управления по делам печати, Н. Зверев, по установившемуся порядку запросил мнения Департамента Полиции, который естественно в последней инстанции решал подобные вопросы. Почти два месяца высокое шпионское учреждение размышляло и наконец 20 декабря ответило, что для издания сочинений Н. Г. Чернышевского не встречается препятствий. 24 декабря 1904 года Зверев сообщил об этом петербургскому цензурному комитету и уведомил о полученном разрешении М. Н. Чернышевского [1].

Добившись наконец разрешения, М. Н. Чернышевский приступил к работе, за которую русское общество должно сказать ему спасибо и которая в значительной степени загладила воспоминание о бестактностях, допущенных им в своих ходатайствах, вероятно под давлением других лиц, более его искушенных в политических вопросах. Прежде всего он выпустил отдельным изданием роман «Что делать?», быстро разошедшийся в количестве 10 000 экземпляров, а затем приступил к выпуску «Полного собрания сочинений» Н. Г. Чернышевского, вышедшего в 1906 году в 10 томах (последний том двойной). Отдельно выпущены были: 1) Статьи по крестьянскому вопросу; 2) Заметки о современной литературе 1856—1862 гг.; 3) роман «Пролог»; 4) «Пролог» и «Что делать?» в одном томе; 5) «Основания политической экономии Д. С. Милля. Перевод и примечания Н. Г. Чернышевского». Кроме того в 1909 году М. Н. Чернышевский выпустил библиографический указатель статей и книг о Н. Г. Чернышевском, а в 1911 году — второе его издание [2]. Им же было подготовлено и 3-е издание этого указателя, доведенное до 1922 года, но, к стыду нашему, до сих пор не изданное [3].

[1] № 41. III Отд. Канцелярии Главного Управления по делам печати «О разрешении издания сочинений Н. Г. Чернышевского», л.л. 5, 8, 12—15.

[2] «О Чернышевском». Библиография 1854—1910 гг. Составил М. Н. Чернышевский, изд. 2-е, СПБ. 1911.

[3] См. заметку «Памяти М. Н. Чернышевского» в № 25 «Былого» за 1924 год, стр. 278—279 (М. Н. Чернышевский скончался 3 мая 1924 года, на 67-м году от рождения, не дождавшись выхода подготовленных им к печати дополнительных томов к собранию сочинений своего отца). М. Н. Чернышевский проделал огромную работу по разбору рукописей и

Принадлежавший семье Чернышевских в Саратове небольшой дом был в 1918 году передан М. Н. Чернышевским в народное достояние, и там был основан музей имени Н. Г. Чернышевского, которым М. Н. при своей жизни и заведывал и в котором он собрал богатый печатный и рукописный материал, относящийся к личности и творчеству Н. Г., а также к эпохе 60-х годов вообще. В 1920 году музей Чернышевского был принят на иждивение советских органов. К сожалению, благодаря его местопребыванию, музей и собранные в нем материалы остаются недоступными для большинства исследователей, кроме местных, пока еще недостаточно его использовавших.

До сих пор у нас нет действительно полного собрания сочинений основоположника русского коммунизма, сыгравшего такую роль в истории нашего революционного движения. Что буржуазные издатели этим делом мало интересовались (ведь не нашел же сын Чернышевского издателя для собрания сочинений своего отца и должен был, несмотря на отсутствие средств, выпустить его сам), это совершенно естественно. Но теперь, когда власть находится в руках рабочего класса, победу которого Чернышевский возвещал и призывал еще в середине прошлого века, когда в руках пролетариата находятся все издательские средства, издание полного собрания сочинений великого социалистического писателя, точнее сказать — опубликование его неизданных произведений и переписки, представляется делом неотложной необходимости [1].

Столь же необходимо популяризировать имя Н. Г. Чернышевского среди широких трудящихся масс. К моменту его смерти рабочий класс, которому Чернышевский отдал все свои силы и самую жизнь, за ничтожными исключениями спал еще глубоким сном и в массе не только не понимал значения сошедшего со сцены великого человека, но даже не подозревал о его существовании. Теперь, когда трудящиеся добились своего экономического и политического освобождения, за которое мужественно боролся слишком рано пришедший в свет славный коммунист, настала пора воздать Чернышевскому должное, выяснить его место в истории социалистических идей и социальной науки. Русский пролета-

писем своего отца, по расшифровке его дневника и собиранию материалов о нем, часть которых он опубликовал (в соответствующих местах мы цитировали его работы). В этом отношении заслуга его велика.

[1] Первый том «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского выпущен в феврале 1928 года Госиздатом (он содержит «Автобиографию» и «Дневник» Н. Г.). Обещано еще два тома, в которые должны войти его письма. Кроме того, Н. Чернышевская-Быстрова сообщает, что ею подготовлены к печати «Неизданные статьи Н. Г. Чернышевского 1885—1889 гг.». Но и после того мы не будем иметь действительно полного собрания его сочинений.

риат должен знать великого мыслителя, одного из немногих, которые во мраке окружавшей их ночи имели мужество возвысить свой голос в защиту интересов трудящихся и, не поддержанные сочувственным эхо, принуждены были кончить свои печальные дни «в горьком одиночестве ума и сердца».

В пантеоне борцов за освобождение трудящихся и за создание достойного людей общественного строя Н. Г. Чернышевскому принадлежит почетнейшее место.

Конец второго и последнего тома.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К I и II ТОМАМ

Составлен *Р. М. Брейнин*

Абкаров, II 593.
Аввакум, протопоп, II 500.
Авдеев, Михаил Васильевич, I 206, 335, II 18, 373.
Азенариус, Рихард, I 229.
Азетов, С., II 593.
Агатокл Сиракузский, I 595.
Адам, I 603.
Адлерберг, Александр Владимирович, II 46, 372.
Адлерберг, Владимир Федорович, II 372.
Адоратский, Владимир Викторович, I 582.
Азанчевский, М. П., II 583.
Акимовы, I 113.
Аксаков, Иван Сергеевич, I 485—487, II 73, 74, 89, 189, 206, 227, 365, 367, 371.
Аксаков, Константин Сергеевич, II 73.
Аксаков, Сергей Тимофеевич, II 73.
Александр Македонский, I 473.
Александр I, император, I 442.
Александр II, император, I 148, 153, 175, 202, 208, 443, 467, II 43, 52—54, 56, 62, 70—72, 76, 77, 83, 90, 95, 132, 133, 234, 237, 260, 267, 302, 314, 324, 326, 332, 345, 349, 350, 356, 358, 360, 373, 376, 378, 380, 331, 386, 387, 398—411, 418, 420, 421, 429, 431—433, 437, 459, 463, 466, 468, 469, 471, 476, 488, 492, 494, 496, 514—518, 520, 522—524, 526, 530, 531, 537, 542, 544, 546, 548, 549, 556, 561, 562, 564, 565, 568, 569, 571, 595, 646.
Александр III, император, II 570, 572, 575—577, 579—582, 595, 599, 605, 620, 622, 639, 646.
Александров, М. (см. Ольминский), II 547.
Альбертини, Николай Викентьевич, I 250, II 167, 175, 176, 177, 178, 180, 306.
Альтфатер, II 221.
Анвити, I 472.
Андреевич, Евг., см. Соловьев, Е. А.
Андреевский, Иван Ефимович, II 301, 368.
Андрущенко, Иван, II 374.
Аничков, В. М., I 207, II 237, 238, 656.
Аничков, С., II 131.
Анна Иоанновна, императрица, II 159.
Анненков, И. В., II 228, 377.
Анненков, Павел Васильевич, I 141, II 18, 28, 29, 33, 35, 39, 42, 228, 344.
Аненский, Николай Федорович, I 150, 153, 154, 180, 261, 423, 438, II 75, 76, 115, 116.
Антонелли, Джакомо, I 480, II 168.
Антонов, Л., II 656, 658.
Антонов, М., I 259, 265, 398, 423, 424, 438, 484, 592, II 438.
Антонович, Максим Алексеевич, I 110, 165, 196, 251, 256, II 37, 138, 147, 148, 151, 152, 154, 190, 214, 227, 230, 234—236, 313, 329, 331, 350, 367, 369, 491, 573, 612, 615, 646.
Анучин, Дмитрий Григорьевич, II 583.
Апраксин, генерал, II 91.
Апсеитова, Зинаида, II 448.
Апухтин, Алексей Николаевич, II 228.

Аргиропуло, Перикл Эммануилович, II 275, 278, 393, 404.
Аргунов, II 533.
Ариосто, I 160.
Аристов, Николай Яковлевич, II 149.
Аристов, Павел, II 229.
Аристотель, I 181, 223, 233, 252, 312, 314, 321; II 378, 457.
Арсеньев, Илья Александрович, II 382, 383.
Арсеньев, Константин Константинович, II 229, 493, 650.
Архангельский, А., II 659.
Арцымович, Виктор Антонович, II 94, 495.
Аскоченский, Виктор Ипатьевич, I 247, 254, II 41, 182.
Аттила, I 19.
Афанасьев, Александр Степанович, I 164.
Афанасьев, К., II 656.
Ахшарумов, Дмитрий Дмитриевич, I 35.
Ашенбреннер, М. Ю., II 221.

Бабст, Иван Кондратьевич, I 382, 395, 442, 482, 489, 490, 539, II 180.
Бабеф, Франсуа-Эмиль (Гракх), I 416, 612, II 185.
Бажанов, Василий Борисович, II 52.
Базар-Сент, Аман, I 607, 608.
Базилевский, см. Богучарский, В. Я.
Байрон, Джордж-Гордон, I 158, 194, 338, II 467.
Бакалов, Г., II 215, 216.
Бакст, Владимир Игнатьевич, II 66, 268.
Бакунин, Михаил Александрович, I 54, 69, 79, 145, 186, 187, 218, 220, 262, 266, 446, 487, 603, II 13, 27, 33, 34, 39, 60, 67, 68, 92, 127, 157, 214, 269—271, 279, 344, 366, 492, 496, 524, 539, 540, 542, 543, 568.
Бакунины (Бакунина М. А. братья), II 94.
Балабанов, М., II 300.
Балашевич-Потоцкий, А., II 393.
Баллод, Петр Давидович, II 244, 256, 257, 277, 281, 465, 495, 500.
Барант, Гильом-Проспер, I 41.
Барбье, Анри-Огюст, I 338, II 467.
Барро, Камилл-Гиацинт-Одилон, I 70.
Барсуков, Николай Платонович, I 486, 487, II 20, 39, 41, 42, 89, 90, 103, 197, 205, 206, 224, 339, 341, 342.
Бартенев, Виктор, II 656, 658.
Барышев-Мясницкий, Иван Ильич, II 610.
Барятинский, Александр Иванович, князь, II 341, 573.
Бастиа, Фредерик, I 390, 501, II 180.
Батуринский, В. П., II 48, 57.
Бауэр, Бруно, I 220, 268, 270.
Бахметьев, Павел Алекс., I 12, II 49, 122, 125—127, 132, 508.
Бебель, Август, I 563.
Безобразов, Владимир Павлович, I 111, II 165.
Безобразовы, II 94.
Безредзь, Ш., II 659.
Бейдеман, поручик, II 373.
Бекетов, А. Н., II 224.
Бекетов, В. Н., II 31.
Беккер, Генрих, I 41.
Беклемишев, Александр Петрович, I 35.
Бекман, II 268.
Белинский, Виссарион Григорьевич, I 6, 22, 36, 38—40, 51, 52, 54, 60, 83, 93, 133, 140, 153, 160, 162, 164, 167, 170, 174, 178, 179, 186, 187, 194, 196, 218, 266, 268, 298, 313, 317, 330—332, 335, 338, 344—347, 363, 364, 374, II 14, 20—25, 28, 29, 33, 39, 42, 46, 60, 61, 153, 159, 206, 207, 214, 215, 221, 646, 652.
Белинский, Максим (И. Ясинский), II 213, 374, 586, 603.
Беллами, Эдвард, II 142.
Беллизар, I 16.
Беллюстин, II 340, 343, 344, 360.
Бело, Адольф, II 570.
Белов, В., II 229.
Белов, Евгений Александрович, I 97, 101, 102, 105, 106.
Белозерский, II 257, 373.
Бельтов, см. Плеханов, Г. В.
Бельчиков, Н. Ф., II 179, 319, 322.

Беляев, Н., II 659.
Беляев, П., II 659.
Бенда, Л. Л., II 658.
Бенни, Артур, II 201.
Бентам, Иеремия, I 245, 276, 397, 441, 442, 468, 476, 539.
Бер, Борис Иванович, II 433.
Беранже, Пьер-Жан, I 338, II 202, 375, 376.
Берви, Василий Васильевич (Флеровский), I 603, II 212, 224, 225.
Берг, Федор Николаевич, II 389.
Бережин, И. И., II 368.
Беренс, II 238.
Бернар, Клод, II 123.
Бернштам, Владимир, II 537, 538, 584.
Бернштам, Ф. Г., II 645.
Бернштейн, Э., II 540.
Берте, II 352.
Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич, II 178, 180.
Бибиков, Петр Алексеевич, I 196, II 224, 229, 512.
Билинский-Билинкис, А., II 656.
Бирюков, Павел Иванович, II 19.
фон Бисмарк, Отто, II 358.
Благовещенский, Николай Михайлович, II 19, 242.
Благосветлов, Григорий Евлампиевич, I 9, 34, II 56, 189, 227, 228, 268, 269, 352, 367.
Блан, Луи, I 34, 41—44, 47, 64—66, 69—73, 76, 82, 187, 200, 270, 353, 408, 416, 417, 425, 454, 472, 478, 498, 586—588, 591, 595, 617, II 142, 653.
Бланки, Адольф, I 42.
Бланки, Луи-Огюст, I 72, 75, 361, 364, 478, 602.
Блудова, А. Д., I 486.
Блюм, Роберт, I 78, 79, 85.
Боборыкин, Петр Дмитриевич, II 203, 204, 485, 571.
Бобровский, А., см. Суворин, А.
Богданов, II 221.
Богучарский, Василий Яковлевич, I 497, II 48, 58, 69, 182, 216, 246, 262, 270, 376, 382, 432, 482, 489, 512, 513, 548, 555, 571.
Бокли, Генри-Томас, I 181, 253, 379, 380, 425, II 179.
Боков, Петр Иванович, II 122, 123, 234, 237, 246, 248, 249, 269, 271, 329, 331, 350, 367, 369, 491, 643.
Борисов, И., II 373, 386.
Боровиков, И., II 656.
Бороздин, К., II 573.
Ботев, Христо, II 215, 216.
Боткин, Василий Петрович, I 168, 360, 597, II 17, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 40, 137, 138, 207, 208, 359.
Брагинский, М., II 654.
Брайт, Джон, II 598.
Брешковская, Екатерина, II 499, 546.
Бродников, II 560.
Бродский, Н. Л., II 135.
Брокгауз, II 599, 600, 615, 633.
Бруснев, М., II 658.
Брут, I 282, 283.
Брей, Дж., I 500.
Буашо, I 76.
Бубякин, II 547.
Будаевский, Н. Н., II 658.
Буддей, I 7.
Булгарин, Фаддей Бенедиктович, I 188, II 11, 46, 201.
Булич, Николай Никитич, I 99, II 268.
Бунаков, Николай Федорович, II 268.
Бунге, Николай Христианович, II 165, 180.
Бурбоны, II 326.
Бурлей, II 546.
Буслаев, Федор Иванович, I 250, II 168.
Бутурлин, Дмитрий Петрович, I 86.
Бухбиндер, Н. А., II 141.
Бэкон, Франциск, I 252.
Бюре, I 501.
Бюхнер, Людвиг, I 201, 242, 247, 254, 260, II 653.
Бюше, Филипп-Жозеф, I 498, 586.

Вагнер, Мориц, II 618.
Валенрод, Конрад, II 391.
Валуев, Петр Александрович, II 94, 226, 314, 341, 349, 352.
Варенцов, Виктор Гаврилович, I 105.
Василевский, Л. (Плохоцкий), II 575.

Васильев, Николай, II 495, 517.
Васильев, Сократ, I 114.
Васильева, Ольга Сократовна, см. Чернышевская, О. С.
Васильчиков, Александр Илларионович, I 359, 449, 450.
Ватсон, Эрнест Карлович, II 556.
Введенский, Иринарх Иванович, I 22, 24, 32—34, 36—38, 43, 86, 87, 96, 114, 132, 137.
Вебер, Георг, I 381, II 599, 614—616, 623, 633, 636.
Вейде, II 374.
Вейнберг, Петр Исаевич, II 93.
Великолюд, С. М., II 658.
Вельяшев, II 228.
Венгеров, Семен Афанасьевич, I 170, II 570.
Веневитинов, Алексей Владимирович, II 433.
Венский, А. М., II 482, 485, 486, 489.
фон Венцель, К. Б., II 433.
Вернадский, Иван Васильевич, I 197, 410, 501, 524, II 165, 189, 228.
Веррес, Гай, I 189.
Вершинина, К. М., II 658.
Веселовский, Алексей Николаевич, I 214.
Ветошников, Павел Александрович, II 326, 362, 364—366, 369, 373, 431, 473.
Ветринский, Василий Евграфович (Чешихин), I 7, 78, 100, 103, 104, 125, 176, 260, II 51, 52, 60, 200, 217, 224, 244, 248, 252, 256, 319, 467, 512, 596, 602, 628.
Видаль, I 501, 601, 603.
Видиль, барон, II 57.
Вико, Джованни-Батисто, I 181.
Виктория, королева, II 130.
Виллих, Август, I 603.
Вильгельм, король прусский, I 491.
Виндишгрец, Альфред, князь, I 79.
Винников, II 550, 562, 563.
Виноградов, К., II 592, 593.
Вирхов, Рудольф, I 232, II 269.
Виташевский, Н. А., I 272.
Витевский, В. Д., II 556.
Витмер, А. Н., II 122.
де Витте, II 527, 530.
Витязев, П., II 222, 228, 236, 556.
Владимиров, II 373.
Вовчок, Марко, I 486, II 611.
Водовозов, Василий Васильевич, II 19.
Вознесенский, I 105.
Войноральский, Порфирий, II 560.
Волгин, студент, II 228.
Волгин (Чернышевский Н. Г.), I 12, 122, 125, 127, 447, 478, II 53, 84, 85, 129—131, 143, 144, 146, 148.
Волков, Николай, II 495, 517.
Воловский, Луи-Франсуа, Мишель-Раймонд, I 561.
Волокитин, Семен, II 227, 228.
Волынский, А., I 184, 185, 256, 260, 329, 344, II 181.
Вольтер, Франсуа-Мари, I 43, 51, 158, 203, 213, 279, 412.
Вольфсон, С. Я., I 232.
Воронов, И., I 102, 106.
Воронов, Михаил Алексеевич, I 98, II 15, 227, 329, 350, 373.
Воронцов, Василий Павлович, II 115, 470.
Воронцов-Дашков, Илларион Иванович, граф, II 573—577.
Ворт, В., II 659.
Воскресенский, I 103, II 332.
Врублевский, I 105.
Вульф, I 172.
Вырубов, Григорий Николаевич, II 62, 65.
Вяземский, II 620, 626.

Гагарин, Павел Петрович, князь, I 154, 213, II 463.
Гакстгаузен, Август, барон, I 387, 409, 459, 524, II 88, 99, 101, 105.
Галахов, Алексей Дмитриевич, II 238.
Галковский, Г. А., II 658.
Ган, И. А., I 105.
Ганнибал, I 289.
Гарибальди, Джузеппе, I 149, 433, 469, 470, II 158, 168, 507.
Гарни, Ю., I 603.
Гассенди, Пьер, I 252.
Гауэр, А., II 656.
Ге, Николай, II 49.

Гегель, Георг-Вильгельм, Фридрих; I 16, 22, 40, 42, 47, 51—55, 57, 65, 84, 142, 218—222, 225, 228, 230, 233, 237, 240, 261, 263, 266, 270—272, 313, 319, 345, 346, 360, 371, 397, 497.
Гедда, М. Ф., II 376, 403.
Гедерштерн, II 382.
Гейденрейх (Крук), II 240
Гейне, Генрих, I 30, 31, 94. 19, 220, II 376, 442, 443.
Гейнс, Владимир Констант ович, II 221, 437, 481—485, 489.
Гекер, Фридрих, I 66, 270.
Гексли, Томас-Генри, II 376.
Гельвеций, Клод-Адриан, I 42, 43, 95, 212—214, 216, 218, 237, 239, 244, 245, 279, 281, 283, 284, 288—290, 293, 304, 305, 311—313, 348, 359, 412, II 438.
Гельфонт, О., II 659.
Герасимов, II 487.
Герасимов, А. А., II 658.
Гербель, II 228.
Гервинус, Георг, I 379, II 375.
Герен, Арнольд - Герман - Людвиг, I 16.
Геркан, В. И., II 452, 455.
Геродот, II 533.
Геростратт, II 343.
Герцен, Александр Александрович (Юниор), II 271.
Герцен, Александр Иванович, I 6, 18, 22, 29, 42, 51, 69, 88, 94, 116, 118, 145, 148, 152, 154, 157, 158, 174, 186, 199, 206, 207, 214, 218, 219, 247, 257, 259, 345, 346, 355, 361, 438, 446, 478, 497, 580, 582, 596, 603, II 12, 13, 17, 27, 32, 39—68, 70, 73, 74, 77, 79, 89, 90, 92, 93, 95, 98, 103, 104, 108, 109, 114, 115, 118, 125—128, 137, 153, 157, 161—167, 169, 174—176, 177, 184—189, 192, 196—198, 201—205, 214, 215, 225, 228, 232, 239, 241, 246, 251, 255, 259, 262—271, 275, 277—279, 286, 288, 297, 314, 319, 325, 332, 334, 344, 348, 349, 353, 356, 360—367, 369, 370, 376, 377, 379, 380, 426, 431, 457, 463, 470, 472, 473, 490, 515, 557, 602, 620.
Герцен, Елизавета Александровна, II 49, 67.
Гете, Иоганн-Вольфганг, I 23, 61, 203, 279, 309, 314, 322, 337, 338.
Гешин, Е. В., II 657.
Гизо, Франсуа-Пьер, I 20, 41, 44—46, 84, 181, 353, 380, 381, 399, 414, 435, II 177, 180, 196.
Гиероглифов, II 228, 354.
Гильдебрандт, Бруно, I 271.
Гинзбург, Ф., I 604.
Гиршович, С., II 656.
Гиулей, I 480.
Глинский, Б., II 89, 180, 250, 251, 325, 352.
Гоббс, Томас, I 397, II 619.
Гогенлоэ, Александр-Леопольд, I 491.
Гогоберидзе, Виссарион Леванович, II 214.
Гогоберидзе, Давид Виссарионович, II 213.
Гогоберидзе, Николай Виссарионович, II 213.
Гогоберидзе, II 331.
Гоголь, Николай Васильевич, I 6, 23, 30, 36, 40, 47, 64, 83, 158, 171, 186, 194, 196, 298, 332, 337, 344—346, II 22, 23, 25, 46, 163, 319, 376, 551, 629, 662.
Гогоцкий, Сильвестр Сильвестрович, I 251.
Годвин, Вильям, I 202, 203, 498—500.
Голицын, Д. А., I 213.
Голицын, А. Ф., князь, II 120, 257, 277, 303, 356, 369, 373, 376, 380—382, 401—403, 405—408, 410—412, 417, 418, 420, 421, 423, 428, 429, 431, 435, 439, 445, 473.
Голицын, князь, адъютант Синельникова, II 532, 542.
Головачов, Алексей Адрианович, II 605.
Головачова-Панаева, Авдотья Яковлевна, I 176, 182, 183, 389, II 23—32, 36, 134, 151, 152, 204, 229, 316, 317, 371, 611, 650.
Головачов, Д., II 94, 656.

Головин-Орловский, Константин Федорович, I 141, 142, 296—299, 303, 334, II 134.
Головин, майор, II 584, 592, 594.
Головнин, Александр Васильевич, I 208, II 225, 226, 228, 302, 310—312, 314, 317, 341, 353, 365.
Голубев, В. С., II 656—658.
Голубева, Евгения Егоровна, см. Чернышевская, Е. Е.
Гольбах, Поль-Генрих-Дитрих, I 42, 43, 212—218, 223—225, 234, 237, 243, 279, 281, 283, 284, 293, 304.
Гольц-Миллер, Иван Иванович, II 275, 279, 429, 461.
Гольцев, Виктор Александрович, I 498, II 430, 616, 617, 632, 646.
Гомер, II 87.
Гончаров, Иван Александрович, I 170, 298, II 18.
Гончаров, Николай Александрович, I 97.
Гораций, II 376.
Горизонтов, И. П., I 103, II 628.
Горлов, Иван Яковлевич, I 41, 366, 501, II 19.
Горохов, В. А., I 603.
Горохов, Николай, см. Лесков, Н.
Горчаков, князь, II 346.
Госткевич, II 215.
Готорн, Н., I 186, II 34.
Грановский, Тимофей Николаевич, I 159, 164, 380, 381, II 46, 73, 153, 661.
Греков, О. А., II 658.
Грессер, II 658.
Греф, I 9.
Грефе, I 20, 93.
Греч, Николай Иванович, I 188, II 11, 46.
Грибоедов, Александр Сергеевич, I 33.
Грибоедов, Николай А., II 548, 549.
Григорий, Митрополит Галицкий, I 484.
Григорович, Дмитрий Васильевич, I 35, 165, 341, 345, II 13—15, 19—22.
Григорьев, Аполлон Андреевич, II 20, 198.
Григорьев, II 483.
Гримм, I 84.
Гринвальд, Тереза, II 229, 368.
Гриневицкий, И., II 571.
Громека, Степан Степанович, I 250, 430, II 59, 165, 166, 169, 175, 180, 182, 186.
Грот, Джордж, II 533.
Грубер, Иоган-Готфрид, I 41, 213.
Грюн, Карл, I 243.
Гулевич, Михаил Семенович, II 268.
Гумбольдт, Карл-Вильгельм, I 84.
Гурнэ, Жан-Клод, I 511.
Гусев, II 640, 644, 645.
Гус, Ян, II 486.
Гутьяр, Н. М., II 33.
Гэд, Жюль, I 459, 561, II 489.
Гюго, Виктор, I 16, 337, II 64.

Давидов, Иван Иванович, I 139, 142.
Д'Аламбер, Жан, I 200, 213, 258, 412.
Даниельсон, Н. (Николай—он), I 604, II 115, 154, 639.
Данилевский, Николай Яковлевич, I 36.
Данте, Алигиери, I 160.
Дантон, Жорж, I 470.
Дарвин, Чарльз, I 225, 242, 396, II 376, 614, 617—619.
Дашкова, Екатерина Романовна, княгиня, I 213.
Дворжачек, II 517, 524, 528.
Дебагорий-Мокриевич, Владимир Карпович, II 577.
Деборин, Абрам Моисеевич, I 212, 214, 215, 281.
Дебу, Константин Матвеевич, I 35, 86.
Дебу, Ипполит Матвеевич, I 35, 64, 86.
Дегаев, II 576, 578.
Дейч, Лев Григорьевич, II 548, 549.
Декарт, Рене, I 214, 233, 244.
Делянов, Иван Давыдович, граф, I 142.
Демокрит, I 226, 236.
Ден, Владимир Иванович, II 360.
Денисюк, Н., I 3, 205.
Депап, II 220.
Державин, Гавриил Романович, I 83, 160.
Дерикер, В. В., I 34.
Деспот-Зенович, Александр И., II 492, 493.

Джиованолли, II 142.
Дидро, Дени, I 42, 43, 51, 159, 163, 200, 213—216, 222, 223, 234, 279—281, 283, 284, 293, 309—311, II 154, 438.
Диккенс, Чарльз, I 7, 23, 32, 158, 203, 344, II 376.
Дилетицкая, М. Н., II 660.
Дитмар, II 542.
Дмитриев, II 197.
Добровольский, II 237.
Добролюбов, Николай Александрович, I 11, 40, 93, 103, 125, 126, 133, 148, 155, 157, 162, 167—169, 173, 174, 176—180, 183, 194—196, 255, 294, 298, 299, 313, 334, 338, 343, 347, 374, 448, 497, 604, II 9, 11—14, 16—18, 22, 27—36, 38, 39, 43, 44, 46—48, 51, 52, 54—56, 60, 61, 64, 69, 120, 122, 127, 131, 132, 141, 144, 145, 148, 151—154, 166, 176, 187, 188, 195, 198, 199, 202—204, 206—208, 212—217, 221, 223, 229—232, 234, 237—239, 242, 260, 262, 267, 269, 272, 277, 286, 288, 299, 303, 306, 308, 359, 368, 396, 402, 442, 443, 467, 519, 520, 601, 610, 611, 614, 615, 617, 629, 633, 652, 654.
Добросмысцев, II 211.
Долгоруков, Василий Андреевич, князь, II 94, 299, 309, 329, 348, 369, 379, 380, 382, 383, 386, 398, 403, 405, 409, 410, 435, 437, 439, 459, 474, 481.
Долгоруков, Петр Владимирович, князь, II 84.
Домбровский, Ярослав Викторович, II 240.
Дорофей, II 404, 426.
Достоевский, Михаил Михайлович, I 86, II 224.
Достоевский, Федор Михайлович, I 35, 36, 86, 126, 170, 189, II 33, 40, 67, 179, 198, 224, 318—324, 348, 359, 610.
Драгоманов, Михаил Петрович, I 487, II 103, 344, 557, 572, 577, 578.
Дрентельн, II 559.
Дренякин, А. М., II 377.
Дружинин, Александр Васильевич, I 165, 167, 170, II 15—23, 73, 162, 207, 224, 359.
Дубельт, Леонтий Васильевич, I 86.
Дувинг, II 524, 526, 531.
Дудышкин, Степан Семенович, I 246, 250, 261, 335, II 138, 175, 179, 180, 197, 207, 222.
Дурасов, I 99.
Дурново, Иван Николаевич, II 612.
Дурново, Петр Николаевич, II 488, 489, 595, 613, 639, 640, 645, 655, 656, 660, 661.
Дуров, С. Ф., I 35.
Духовников, Ф., I 5, 7, 8, 10, 97, 99, 105, 108, 109, II 122.
Дюбуа-Реймон, Эмиль, I 228, 232, 260,
Дюбуа, II 178, 179.
Дюмон-Дюрвиль, Жюль, I 6.

Евгеньев-Максимов, Владислав Евгеньевич, I 140, 167, 168, 173, 178, II 17, 21, 216, 468.
Европеус, Александр Иванович, I 86, II 94, 605.
Еджубов, II 214.
Екатерина II, императрица, I 213, 214, 281.
Елена Павловна, великая княгиня, II 243, 257.
Елизаров, М. Т., II 219.
Елисеев, Григорий Захарович, I 165, II 13, 93, 214, 226, 228, 234, 249, 268, 269, 313, 329, 331, 350, 354, 491, 512.
Ергунов, Н. К., II 67.
Еркович-Ерченко, Е. Я., II 658.
Ермин, II 471.
Ермолов, П. А., II, 495, 512.
Есаулова, II 367.
Ефимов, II 471.
Ефремов, П. А., II 351, 467.

Жданов, Семен Романович, II 345, 376, 403.
Жеманов, Семен Яковлевич, II 374, 514.
Жемчужников, Алексей Михайлович, I 3.
Жибер, II 656.
Жирарден-де, Эмиль, I 82.

Жирков, II 546, 549.
Житков, II 393.
Жорж-Занд, см. Занд, Жорж.
Жоффруа Сент-Илер, Этьен, I 242.
Жук, Александр Антонович, II 243, 250, 268.
Жуков, Илья Григорьевич II 495.
Жуковский, Василий Андреевич, I 12, 17, 335, 338.
Жуковский, Николай Иванович, II 269.
Жуковский, Юлий Галактионович, I 196, 581.
Журавский, Дмитрий Петрович, II 79.

Забелин, Иван Егорович, I 164, II 153.
Завадский, I 105.
Загибалов, М. Н., II 495.
Зайцев, Варфоломей Александрович, I 155, 196, 334, II 138, 189, 352, 382, 489.
Зайчневский, Петр Григорьевич, II 243, 244, 275, 277—280, 393, 394.
Залесский, И. А., I 101.
Замятнин, Дмитрий Николаевич, II 380, 382, 432, 435, 437, 439, 446, 459, 466.
Занд, Жорж, I 7, 23, 43, 47, 94, 120, 203, 344, II 376, 492.
Зарубин, А. З., II 436, 437.
Заславский, Д., II 571, 572.
Захаренко, А. М., II 533.
Захарьин, А. В., II 229, 246, 248, 250, 262, 329, 331, 593, 612, 613, 615.
Захарьин-Якунин, Иван Николаевич, II 368, 449.
Зверздовский (Топор), II 240.
Зволянский, С. Э., II 663.
Зейфорт, II 526, 527, 529, 530.
Зеленой, А. С., I 125.
Зеленый, контр-адмирал, II 658, 660.
Зерников, Адам, I 7.
Зиновьев, генерал, II 338.
Золя, Эмиль, II 141.
Зыков, С. П., II 238, 240, 250.

Иаков, архиерей, I 5, 15.
Иваницкий, II 374.
Иванов, Иван Иванович, I 251, 257—259, 344.
Иванов, М. И., II 658.
Иванов-Разумник, I 259, II 103, 116.
Иванчин-Писарев, Александр Иванович, II 658.
Иванюков, И., II 74.
Игнатьев, Алексей Павлович, II 74, 302.
Ижевский, II 530, 531.
Издебский, Станислав, II 374.
Измайлов, Александр Ефимович, II 123, 609.
Иловайский, Дмитрий Иванович, II 340.
Ильинский, В., I 175, 232, II 605, 614, 631.
Ильинский, Г., I 21.
Индиана, I 333.
Иоанникий, епископ, I 101, 102.
Иорданский, Н., I 146, II 94.
Исаев, Г., II 575.
Исарлов, Яков, П., II 213.
Истомина, Н., II 658.
Ишутин, Николай Андреевич, II 216, 217, 345, 495, 502, 511 — 513, 579.

Кабэ, Этьен, I 35, 42, 43, 61, 478, 588.
Кавелин, Константин Дмитриевич, I 96, 152, 157, 164, 433, 444, II 12, 26, 41, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 61, 72, 73, 78, 95, 103, 208, 258, 264, 303, 344, 357, 359, 361, 365, 370, 378, 473.
Кавеньяк, I 70, 73, 187, 383, 398, 401, 419, 421, 461, 470, II 653.
Кавур, Камилло, граф, I 149, 437, 466, 482, II 168, 169, 176, 177, 180, 181, 186.
Казаринов, С. А., II 492.
Казас, А., II 659.
Калачов, Николай Васильевич, I 381, 581, II 105.
Калиновский, Д. И., II 198.
Каменский, II 376.
Камерони, Э., II 220.
Кант, Иммануил, 42, 225, 228—231, 397, 424.
Капелло, II 559.
Капнист, П. И., II 141, 208.
Каракозов, Дмитрий Владимирович, I 103, 104, 153, II 132, 216, 217, 324, 346, 488, 494, 495, 512.

Каракозов, священник, I 15.
Кар, Лукреций, I 226.
Карамзин, Николай Михайлович, I 6, 160.
Карамышев, А. С., II 601.
Карамышев, С. М., II 601.
Карелкин, Н. П., I 25.
Карл X, король французский, I 416.
Карниолин-Пинский, Матвей Михайлович, II 433, 449, 568.
Карпентер, II 612, 615.
Карпов, Василий Николаевич, I 251.
Касторский, Михаил Иванович, I 525, II 193, 205, 372, 383, 410, 435—437, 439, 461, 474.
Катин-Ярцев, Н. М., II 521.
Катков, Михаил Никифорович, I 190, 201, 246, 251, 253, 254, 260, II 25, 32, 37, 39, 42, 45, 73, 137, 138, 141, 161—175, 179, 181, 183, 185, 188, 189, 191, 195, 197, 198, 200, 205, 207, 226, 327, 342—344, 346—348, 358, 359, 400, 567.
Каутский, Карл, I 287, 302, 303, 305, 306, 560, 617.
Качоровский, К., II 99, 113.
Кашкин, I 35.
Кзенцель, I 220.
Кзятковский, И. А., II 658.
Кедровский, Н. В., II 211.
Кейслер, Иван Августович, I 450.
Келер, II 585, 586.
Кельсиев, Василий Иванович, II 127, 362, 364.
Кене, Франсуа, I 394.
Кери, см. Кэри.
Кетчер, Николай Христофорович, II 197, 474.
Кинглэк, Александр-Вильям, I 420, 457, II 375.
Кинкель, Иоанн, I 116.
Кинэ, Эдгар, I 43.
Кирсанов, А., I 294, 295, 297, 591.
Клеменц, Д., II 548, 549.
Клечинский, М. А., II 658.
Клиентова, А. Г., I 94, 95, 113.
Клиентов, I 94, 95.
Климашевская, II 606.
Клименко, Н., II 572.
Климов, Иван Сергеевич, II 495.
Климов, И. К., II 658.
Клочков, М. В., II 237, 424, 426, 428, 434, 443, 445, 446, 448—450, 454, 463, 465, 466, 476.
Кноблох, II 514.
Княжнин, Яков Борисович, I 135.
Кобден, Ричард, I 490, II 598.
Кобылина, Е. Н., I 113.
К—ов, Н., II 430.
Ковалевская, Софья Васильевна, I 147.
Ковалевский, Егор Петрович, I 142, II 17.
Коведяев, Дмитрий Егорович, II 470.
Коведяев, Егор Егорович, II 470.
Коведяев, Егор Николаевич, II 471.
Коведяева, Любовь Егоровна, II 469, 470.
Ковалевский, П. М., II 490.
Коган, В. Е., II 659.
Кожачников, Дмитрий Ефремович, II 488.
Кожевников, В., I 102.
Кожевников, М. Л., I 102.
Козельский, Яков Павлович, I 213.
Козлянинов, II 186.
Козьмин, Б. П., II 139, 275, 290, 329, 393.
Кокосов, В., II 481—484, 489, 493, 495, 499, 502, 550, 562, 563.
Колбасин, Елисей Яковлевич, I 166, 167, 172, II 17, 35, 37.
Колесов, II 221.
Кольб, Георг, I 489.
Кольцов, Алексей Васильевич, I 171, 172, 344, II 376.
Кони, Федор Алексеевич, II 354.
Консидеран, Виктор, I 42, 63, 76, 498, 500, 501, 567, 595, 607, 608, II 129.
Константин Николаевич, великий князь, I 124, 208.
Конт, Огюст, I 42, 43, 225, 230, 231.
Коперник, Николай, I 84.
Корево, II 345, 513.
Корейша, Иван Яковлевич, I 247, 248.
Корнель, Пьер, I 311.
Корнилов, Александр Алексеевич, I 145, II 44, 72—74, 77—79, 83, 90, 91, 94.

Короленко, Авдотья Семеновна, II 498, 627.
Короленко, Владимир Галактионович, II 482, 485, 486, 498, 501, 537, 553, 555, 591, 599, 603, 626—632, 635.
Корсаков, Михаил Семенович, II 496, 516—518, 521—524, 527.
Корш, Евгений Федорович, II 73, 197, 474.
Корш, Федор Евгеньевич, I 137.
Косица, см. Страхов, Н.
Косич, II 645.
Косидьер, Марк, I 71, 72.
Костомаров, Алексей Дмитриевич, II 398, 418, 421.
Костомаров, Всеволод Дмитриевич, I 132, 190, 254, 505, II 131, 188, 205, 226, 237, 257, 275, 282, 284, 287—290, 292, 293, 306, 329—331, 369, 380—383, 388—430, 432—441, 444—448, 451—460, 463—465, 473, 474, 482, 579.
Костомаров, Николай Дмитриевич, II 390, 393, 401, 409, 414.
Костомаров, Николай Иванович, I 50, 101, 105—109, 111, 112, 115, 116, 119, 121, 164, 175, 485, 486, II 124, 136, 212, 224, 238, 307—313, 324, 332, 340, 341, 353, 357, 368, 475, 476, 610.
Костомарова, Надежда Николаевна, II 398, 399, 405, 506.
Костомяндзе, II 329, 330, 331.
Котляревская, Любовь Николаевна, см. Терсинская, Л. Н. I 6, 23, 27.
Котляревский, Александр Александрович, I 132, II 373.
Котляревский, Нестор Александрович, I 212, 225, 258, 259, 299, 300, 328.
Кохановская, II 206.
Коц, Е. С., II 532.
Коцебу, I 189.
Кошанский, I 98.
Кошелев, Александр Иванович, II 73, 74, 90.
Кошкарев, В., II 558.
Крабб (Крэбб), I 313.
Кравков, К. II 656.
Краевский, Андрей Александрович, I 137, 165, 166, 246, II 161, 175, 176, 182, 187, 188, 191, 222, 228, 312, 342.
Красин, Леонид Борисович, II 658.
Краснов, М. П., II 602.
Красноперов, М., II 212.
Красовский, Александр Александрович, II 212, 213.
Красовский, Андрей Афанасьевич, II 495.
Краузольд, I 37.
Крестовский, II 228.
Кривенко, С. Н., II 573, 658.
Крике, II 375.
Кроль, II 227.
Кромвель, Оливер, I 404.
Кропоткин, Петр Алексеевич, князь, II 135, 337, 345, 350, 618.
Крупская, Надежда Константиновна, I 606, 607.
Крушевский, II 496.
Крылов, Виктор Александрович, II 570, 571.
Крылов, Иван Андреевич, I 188.
Кувязев, II 374, 495.
Кудлич, I 400.
Кудрин, Н. Е., см. Русанов, Н. Е.
Кудрявцев, Петр Николаевич, I 251.
Кузен, Виктор, I 231, 233.
Кузнецов, II 433.
Кулиш, Пантелеймон Александрович, II 224.
Кульчицкий, Л., II 249, 250, 279, 281.
Кунтушев, В. И., II 521.
Купенков, II 532, 534, 543, 544, 551, 552.
Купер, Джемс-Фенимор, I 326.
Куропаткин, Алексей Николаевич, II 221.
Курочкин, Василий Степанович, II 195, 196, 202, 212, 227, 228, 268, 269, 488.
Курочкин, Николай Степанович, II 196, 228, 268, 269.
Куреганов, И., II 656.
Курций, Марк, I 283, 288.
Куторга, Михаил Семенович, I 20.
Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович, граф, II 189, 228, 365, 367.

Кущевский, Иван Афанасьевич, II 15, 142, 490.
Кэри, Генри-Чарльз, I 186, 474, II 164, 165, 180.
Кювье, Жорж, I 396, II 618.

Лавров, В. М., II 617.
Лавров, Петр Лаврович (Миртов), I 185, 198, 201, 211, 233, 236, 237, 250, 251, 260, 269, 425, II 19, 222, 224—226, 228, 235—237, 268, 306, 313, 448, 520, 556, 557, 567, 568, 572, 573, 619, 621, 654.
Лайбов (Добролюбов, Н. А.), II 22.
Лакомте, М. А., I 105.
Ламанский, Владимир Иванович, I 132, 137, 486.
Ламанский, Евгений Иванович, I 35, 388, II 223, 225.
Ламарк, Жан, I 59, 60, 242, 608, 609 II 616, 618.
Ламеннэ, Фелисите-Роберт, I 36, II 414.
Ламеттри, Жюльен-Офрэ, I 42, 213, 215, 281, 283.
Ланге, Фридрих-Альберт, I 221, 242.
Ланской, Сергей Степанович, граф, II 515.
Лапиде, Корнелиус, I 6, 7.
Лапкин, I 103.
Лаплас, Пьер-Симон, I 59, 60, 235.
Ларра, Мариано-Хозе, II 467.
Лассаль, Фердинанд, I 429, 437, 458, 481, 492, 554, 586, 588, 589, 592, 603, II 220, 537, 554, 653.
Латур, Теодор, граф, I 78.
Лафарг, Поль, I 561.
Лафит, I 415.
Лебедев, Александр, I 4, 5, 9, 124, 182, II 124, 550, 598, 601, 625, 626, 636.
Лебедев, А. А., I 102, 118, 122, 332.
Леви, М., II 659.
Левицкий, М., I 10—12, II 501.
Левкипп, I 226, 236.
Ледрю-Роллэн, Александр-Огюст, I 6, 41, 66, 70—72, 75, 76.
Лейбниц, Готфрид-Вильгельм, I 43.
Лейкина, В., I 28.
Лемке, Михаил Константинович, I 117, 190, 192, 200, 202, 505, 526, 590, II 15, 47—49, 58, 61, 103, 115, 121, 125, 126, 136, 141, 152, 201, 207, 226, 228, 232, 237, 239, 246, 247, 249, 258, 259, 263—266, 268, 269, 272, 277, 279, 281, 283, 284, 303, 312, 315, 317, 329, 330, 333, 345, 354, 355, 357, 359, 362—364, 366, 368, 369, 376, 378, 380—383, 386—388, 393, 395, 398, 400, 401, 404, 406, 409—412, 415—419, 421, 422, 424, 426, 430, 432, 433, 439, 441, 447, 449, 451, 452, 455, 460, 489.
Ленин, Н. (В. Ульянов), I 228, 229, 261, 465, 477, 487, 578, 582, 583, 605—607, II 30, 54, 59, 85, 86, 104, 106, 118, 119, 205, 259, 298.
Ленц, Генрих-Фридрих-Эмиль, I 49, 50.
Леонтьев, Константин Николаевич, I 247, II 189, 348.
Леопольдов, А. Ф., I 22, 105.
Лермонтов, Михаил Юрьевич, I 23, 30, 47, 83, 158, 170—172, 203, 345, II 376, 551.
Леру, Пьер, I 34, 41—43, 57, 61.
Лесаж, II 376.
Лесков, Николай Семенович (Стебницкий), II 136, 201, 277, 340.
Лессинг, Готгольд-Эфраим, I 160—163, 194, 203, 204, 309, 310, 313, 314, 337, 370, 374, 394, 466, 474, 488, II 154, 653, 662.
Либкнехт, Вильгельм, I 271, II 220.
Лилиенфельд, I 85.
Лимановский, Болеслав, II 240.
Линев, Александр Логинович, II 306.
Липранди, Иван Петрович, I 87, II 342.
Литтон, Чарльз, I 132.
Лихновский, Феликс, I 78.
Лобанов, Василий Васильевич, II 268.
Лободовская, Надежда Егоровна, I 25—27, 48, 113, II 125.
Лобадовский, Василий Петрович, I 24—31, 47, 49, 50, 76, 85, 91, 132, II 125.
Локк, Джон, I 214, 216, 225, 230, 244, 252, 279, 397

Ломоносов, Михаил Васильевич, I 160.
Ломтев, Е. И., I 105.
Лонгфелло, Генри-Вадсворт, I 338.
Лопатин, Герман Александрович, I 603—605, II 501, 524, 532, 539, 540, 542, 545, 547, 549, 551, 557.
Лордкипанидзе, Кирилл Бежанович, князь, II 214.
Лорис-Меликов, Михаил Тариелович, II 564—566, 569.
Лохвицкий, Александр Владимирович, II 225, 313.
Лугинин, Владимир Федорович, I 123, II 229, 246, 248, 250.
Луи Блан, см. Блан Луи.
Луи Наполеон, см. Наполеон III.
Луи Филипп, I 416.
Лукаш, Н. Е., II 433.
Лукреция, I 289, 290, 305.
Луначарский, Анатолий Васильевич, I 607.
Луппол, И. К., I 159, 214, 215, 280, 310, 311.
Лури, I 42.
Лурье, Л. А., II 658.
Львов, А., I 495.
Любавин, Николай, II 524, 539.
Любимов, Николай Алексеевич, I 190.
Людовик XIV, I 41.
Людовик XV, I 323.
Людовик XVI, I 414.
Ляйэль, Чарльз, I 59, 60, II 376.
Лялин, II 373.
Ляцкий, Евгений Александрович, I 3, 10, 16, 25—27, 31, 33, 37, 38, 44, 50, 52, 54, 55, 63, 67, 88, 94, 96, 99, 100, 105, 113, 132, 135, 138, 143, 165, 174, 178, 272, 490, II 24, 28, 34, 38, 153, 333, 529, 610.
Ляшевский, Н., II 659.
Лященко, М., II 659.

Майковы, Аполлон, I 35.
Майков, Аполлон Николаевич, I 164.
Майков, Валерьян, I 35, 93, 140, II 18.
Маколей, Томас-Бабингтон, I 185, II 177, 180, 189, 196, 375.
Максимов, С., II 488.
Малерб, Франсуа, I 335.
Маликов, А. К., II 512.
Малон, Бенуа, II 220, 597.
Малышенко, Г. Л., I 3.
Малышкин, II 492.
Мальтус, Томас-Роберт, I 41, 231, 391, 396, 498, 499, 501, 503, 504, 529, 534, 548, 555, 559, 560, 575, II 618, 619.
Мальцевы, II 94.
Мальшинский, А. И., II 572.
Манасеина, М. М., II 602.
Мария Александровна, императрица, II 52.
Мария Александровна, великая княжна, II 562.
Маркович, II 38, 39.
Маркс, Адольф Федорович, I 215.
Маркс, Карл, I 43, 55, 70, 76, 166, 193, 212, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 229, 237, 243, 245, 258, 261, 264, 274, 279, 281, 346, 349—353, 358, 359, 362, 363, 371, 381, 384, 387, 391, 393, 398, 399, 405, 412, 413, 417, 420, 421, 424, 426, 427, 458—462, 467, 477, 478, 480—482, 487, 496, 497, 499—503, 505, 507—510, 512, 513, 523, 525, 527, 529—531, 536—538, 541—544, 551, 553—557, 561, 566, 578, 581, 582, 587, 591, 592, 595, 596, 598, 601, 603, 605, 607, 610, 616—618, II 97, 104, 109, 111, 112, 115, 154, 215, 220, 539, 540, 554, 569, 598, 639, 653.
Маркс, Максимилиан Осипович, II 513.
Марра, I 73.
Мартиросов, II 593.
Мартьянов, Петр Алексеевич, II 374.
Маршинцев, II 547.
Маслов, Петр Павлович, I 567, 576, 579.
Маслов, полит. каторжанин, II 495.
Мах, Эрнест, I 229.
Махмуд, II 174.
Маццини, Джузеппе, I 446, 447, 482, II 64, 168.
Мегмет-Али, I 174.
Мезенцов, II 497, 515, 518, 532, 548, 557—559.

Мей, Лев Александрович, I 137.
Мейер, А. А., I 97, 100, 101, 111, 208.
Мейер, Дмитрий Иванович, I 133.
Мельгунов, Николай Александрович, II 197.
Мелькумовы, II 593.
Мельников-Печерский, Павел Иванович, I 341, II 402—405.
Мелянгович, I 105, 108.
Меринг, Франц, I 265.
Мерказин, II 496.
Меригоровская, II 471, 472.
Меригоровский, А. Н., II 471, 472, 487, 488.
Меттерних, Клеменс, I 399, 483.
Мечников, Лев Ильич, II 368.
Мещеринов, II 546, 547.
Мещерский, Владимир Петрович, князь, II 8.
Миаковский, М. Л., II 287.
Милль, Джон-Стюарт, I 63, 71, 191, 198, 200, 225, 237, 271, 276, 348, 374, 378, 383, 391, 405, 413, 477, 496—498, 504—507, 509—511, 513—515, 524, 527, 528, 532, 534, 539, 540—544, 546, 548, 552—555, 558—560, 562—565, 567, 568, 571, 574—576, 585, 595, 598, 600, 603, 604, 615, 616, II 68, 101, 103, 180, 190, 215, 220, 224, 257, 431, 436, 438, 443, 489, 502, 519, 520, 556, 567, 597, 600, 610, 639, 646, 653, 663, 664.
Милованов, М. Г., II 658.
Милот, аббат, I 6.
Мильтон, Джон, I 397.
Милюков, Александр Петрович, I 32—35, 37, II 407.
Милюков, Павел Николаевич, II 344.
Милютин, Владимир Алексеевич, I 35, 41.
Милютин, Дмитрий Александрович, граф, I 207, II 316, 341.
Милютин, Николай Алексеевич, I 447, II 12, 316.
Минаев, Дмитрий Иванович, I 97.
Минаев, Д. Д., II 197.
Михайлов, поручик, II 495.
Михайлов, А. В., II 611.
Михайлов, Михаил Илларионович, I 24, 25, 30—34, 38, 134, 133, 162, 206, 273, II 18, 62, 93, 132, 155, 201, 202, 226, 231, 232, 234, 241, 242, 249, 253, 263—265, 273, 282, 283, 286—290, 292, 330, 331, 388—397, 399, 404, 407, 411, 413, 416, 417, 421—423, 426, 427, 430, 434, 442, 446, 451, 457, 488, 492, 493, 520.
Михайловский, Николай Константинович, I 105, 196, 343, 581, II 573—575, 643, 646, 658.
Михалевский, II 269.
Михаэлис, Евгений Петрович, II 303, 307, 326.
Михаэлис, Мария Петровна, II 484, 487, 491.
Михелет (Мишле), Карл Людвиг, I 41, 42.
М. К. II 193, 195, 197, 205.
Могилева, Александра Ларионовна, см. Щепина, А. Л.
Модестов, В., II 604.
Молешотт, Яков, I 201, 242, 254, 260, II 653.
Молинари, Густав, I 185, 186, 390, 501, 504, II 165.
Молоствов, I 99.
Монтень, Мишель, II 376.
Монтескье, Шарль, I 397, 412, 581.
Мордвинов, Н. А., I 105, 111.
Мордвины, I 35.
Мордовцев, Даниил Лукич, I 105, 106, 111, II 15, 124.
Морелли, аббат, I 43.
Мосолов, Юрий, II 268, 374, 431, 642.
Мрочек, Александр, II 374.
Мунблит, Х., II 659.
Муравский, М. Д., II 495, 499, 505, 557.
Муравьев-Виленский, Михаил Николаевич, I 139, 447, II 7, 94, 130, 132, 133, 324, 376, 501.
Муравьев, С., I 511.
Мурзаков, В. В., II 658.
Мусин-Пушкин, Михаил Николаевич, I 20, 137, 142.
Муханов, Павел Александрович, II 46.
Мышкин, Ипполит, II 415, 544—551, 553, 555, 674.

Набоков Д. Н. II 584.
Надеждин, Николай Иванович, I 218, 344, 345.
Назаров, А. Н., II 608, 609.
Назарьян, Ст., II 214.
Назимов, Владимир Иванович, II 74, 77.
Налбандов, см. Налбандян.
Налбандян, Михаил Лазаревич, II 214, 366, 369, 373, 431.
Наполеон I, I 149, 194, 386, 396—398, 401, 419, 429, 460, 462, 473, II 159, 371.
Наполеон III, I 74, 76, 91, 369, 419, 421, 422, 435, 445, 455, 467, 468, 480, II 159.
Н. Д. Н., I 37.
Наумов, II 512.
Неведенский, С., I 190, II 42, 45.
Неволин, Константин Алексеевич, I 20, 22.
Нейман, II, 375.
Неклюдов, II 225.
Некрасов, Николай Алексеевич, I 109, 110, 125, 126, 140, 155, 164—180, 313, 334, 337, 343, 389, II 13, 17, 19—21, 24, 28—31, 33, 34, 47, 50, 56, 74, 92, 115, 153, 168, 190, 196, 197, 204, 208, 223, 228, 229, 231, 240, 242, 260, 272, 286, 307, 318, 329, 353, 365, 368, 376, 429, 461, 467, 468, 489, 491, 501, 519, 597, 601, 602, 610, 611, 627.
Непейцын, II 546.
Нерон, II 323.
Нестор, I 47.
Нечаев, Сергей Геннадиевич, I 603, II 125, 470, 551, 552, 575.
Нибур, Бартгольд-Георг, I 16, II 533.
Нивинский, Э. И., II 572, 573.
Нидергубер, II 65.
Никанор, архиепископ, I 8, 9, 100, 111, 255, II 8, 9, 332, 638, 639.
Никитенко, Александр Васильевич, I 20, 61, 62, 93, 113, 132, 135, 137, 127, 138, II 232, 332, 321, 352, 357, 473, 474.
Никитин, Иван Саввич, I 194, 334.
Никитин, В., II 482, 483, 489.
Никифоров, II 518.
Николадзе, Николай Яковлевич, II 157, 160, 195, 196, 201—203, 213—215, 233, 237, 240, 241, 277, 279, 306, 307, 313, 340, 349, 350, 365, 557, 573—577, 581.
Николаев, Петр Федорович, I 269—271, 425, 478, II 97, 134, 158, 217, 239, 414, 495, 497—499, 501—505, 507, 508, 512, 525, 531.
Николаевский, В., II 216, 277.
Николай I, император, I 4, 18, 85, 146—148, 154, II 52, 53, 68, 175, 339, 345, 562.
Николай Александрович, наследник-цесаревич, II 13.
Николай Александрович, великий князь, II 516, 517.
Николай—он, см. Даниельсон.
Никольский, Александр Маркелович, II 217, 512.
Никольский, В. А., I 121.
Никольский, домовладелец, II 624.
Никонов, С. А., II 219.
Ничипоренко, Андрей Иванович, II 229, 269, 373, 431.
Новиков, Александр, II 429.
Новицкий, Орест Маркович, I 251.
Новицкий, Н. Д., II 237.
Новоселов, II 372.
Ножин, Николай Дмитриевич, II 512.
Нольде (Норд), барон, II 576.
Норов, Авраам Сергеевич, I 142, II 476.
Носов, II 374.
Ньютон, Исаак, I 59, 235, 241.

Оболенский, Леонид Егорович, II 217, 512, 617.
Обручев, Владимир Александрович, II 123, 124, 127, 132, 155, 201, 234, 237, 246, 248—250, 258—266, 287, 318, 331, 343, 348, 349, 396, 486, 488, 520.
Обручев, Николай Николаевич, I 207, 208, II 57, 114, 124, 234, 237, 238, 246, 251, 252, 260—263, 265, 268—270, 272, 283, 284, 288, 329, 331, 368, 413, 457, 520.
Обручева, М. А., II 143.

Овидий, II 376.
Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич, I 173, 177, 178, II 69, 116.
Огарев, Константин Ильич, II 377.
Огарев, Николай Платонович, I 186, 341, 346 II 26, 47, 48, 57, 60, 65—68, 89, 95, 114, 125, 167, 176, 196, 214, 251, 262, 271, 362, 363, 366, 368, 377, 413, 426, 431, 457, 520.
Огарева-Тучкова, Наталья Александровна, II 49, 66, 125, 126, 362, 363.
Огрызко, Иосафат, II 241, 349, 331, 517, 524, 527, 528.
Одинцов, II 211.
Озеров, Владислав Александрович, I 135.
Озон, Д. И., II 658.
О'Кэри, I 584.
Оловенникова, М. Н. (Ошанина, Полонская), II 572, 574.
Ольденбург, II 496.
Ольденбургский, принц, II 260.
Ольминский, М. (см. М. Александров), II 317, 318.
Ольхин, II 532.
Омулевский, см. Федоров.
Ордынский, Б., I 312.
Оржевский, II 583.
Орлов, Алексей Федорович, граф, I 86.
Орловы-Давыдовы, II 94.
Осипанов, II 219.
Основьяненко (Квитка, Г. Ф.), I 486.
Оссовский, М., II 558.
Островский, Александр Николаевич, I 164, 165, 335, 339, 340, II 18, 20, 21, 662.
Оуэн, Роберт, I 35, 61, 239, 245, 363, 364, 399, 438, 497, 498, 500, 588, 610, 618, II 78, 79, 184, 185, 376, 654.

Павел I, император, I 214.
Павлинов, Николай Михайлович, II 494.
Павлов, Михаил Григорьевич, I 218.
Павлов, Николай Филиппович, II 56, 196, 200, 314, 340.
Павлов, Платон Васильевич, II 202, 203, 305, 307—309, 352, 357.
Падлевский, Сигизмунд, II 240.
Пажитнов, К., I 238, 581, 593, II 105, 116.
Палимпсестов, Иван Устинович, I 5, 6, 10, 11, 58, 59, 100, 118, 120, II 639.
Палимпсестов, Федор, I 5.
Палкин, Николай, см. Николай I.
Пальм, Александр Иванович, I 35, 36.
Пальмерстон, Генри-Джон-Темпль, I 480, I 130, 169.
Панаев, Валериан Александрович, I 169, II 103.
Панаев, Иван Иванович, I 35, 137, 141, 164, 165, 169, II 22, 25, 28, 29, 32, 35, 36, 48, 228, 229, 233, 260, 316, 317, 519.
Панин, Виктор Никитич, граф, II 299.
Панафидина, II 54.
Пантелеев, Лонгин Федорович, I 388, II 82, 122, 155, 157, 203, 211, 212, 214, 220, 223, 224, 226, 229, 233, 234, 236, 237, 241—244, 248, 250, 252, 265, 266, 268, 269, 271, 272, 274, 279, 280, 286, 287, 302, 304, 307, 308, 311, 313, 318, 324, 337, 340, 342, 345, 349, 369, 448, 492, 585, 602—606, 611, 612, 615, 618, 620, 635, 636.
Паскаль, Блэз, I 57.
Патрикеева, I 113.
Пекарский, Петр Петрович, I 132, 137 139, 145, II 152, 329, 357.
Пекарский, Э., II 502.
Пеккер, Константин, I 501, 567, 601.
Пеликан, А. А., II 346.
Пеньков, I 208.
Переверзев, Валерьян Федорович, II 37.
Переверзев, Владимир Николаевич, I 658.
Перетц, Григорий Григорьевич, II 364.
Пермяков, II 560.
Перозио, II 223.
Перцов, Э. П., II 90.
Пестель, Павел Иванович, II 213.
Петр I, Великий, император, I 45, 156, 160, 172, 175, 333, II 71.
Петрашевский, Михаил Васильевич (Буташевич, П.), I 28, 35, 42, 43, 86—88, 214, II 342, 451.

Петров, Антон, II 91, 160, 356.
Петровский, II 373.
Петровский-Ильенко, П., II 429.
Печаткин, II 331.
Печерский-Мельников, см. Мельников-Печерский.
Печкин, А. М., I 34.
Пий IX, I 34.
Пиксанов, Н. К., I 125, 168.
Пиотровский, Игнатий Антонович, II 214, 306, 307.
Пирогов, Николай Иванович, II 186, 197.
Писарев, Дмитрий Иванович, I 147, 155, 196, 299, 332, 334, II 37, 68, 138, 182, 188, 189, 206, 208, 214—216, 228, 352, 374, 465, 495.
Писарев, Модест Иванович, II 352, 374, 392, 549, 550, 600.
Писемский, Алексей Феофилактович, I 170, 194, 331, II 197, 199, 228, 351.
Платон, I 56, 84, 314, 329, 330, 618.
Плеве, Вячеслав Константинович, II 558, 581, 583, 584, 586, 587, 592, 593.
Плетнев, Петр Александрович, I 19, 20, 137—140, 162.
Плеханов, Георгий Валентинович, I 39, 143, 170, 201, 203, 207, 212, 214, 215, 218, 221, 222, 225—227, 230, 236, 237, 239, 240, 242, 243, 245, 259, 263—265, 268, 269, 281, 284, 239, 293, 296, 297, 301, 304—306, 312, 313, 316, 317, 319, 321, 323, 325, 328, 330, 332, 336, 345, 347—349, 351—363, 369, 374—376, 378, 381, 385, 393, 396, 397, 399, 400, 402, 405, 409—411, 424—427, 437—442, 446, 447, 451, 453, 454, 458, 496, 497, 507, 509—511, 521, 554, 560, 572, 587—590, 592—594, 597—599, 600, 609—615, 618, II 79, 83, 85, 86, 88, 103, 110, 113—115, 149, 150, 259, 313, 344, 537, 555, 556, 605, 618, 647.
Плещеев, Алексей Николаевич, I 22, 86, 341, II 211, 237, 243, 367, 368, 389, 392, 401, 404, 405, 407, 410, 414, 417, 421, 425, 426, 437, 440—447, 449, 451, 454, 455, 458—462, 464, 465, 475, 568.
Плиний, I 398.
Плюшар, Адольф Александрович, I 6.
Победоносцев, Константин Петрович, II 224, 225.
Погодин, Михаил Петрович, I 32, 33, 145, 185, 485, 487, II, 20, 72, 73, 90, 197, 204, 205, 223, 224, 339, 342.
Погосский, Александр Фомич, II 268.
Покровский, Михаил Николаевич, II 150, 258, 259, 262, 293, 294, 297, 298.
Полевой, Николай Алексеевич, I 140, II 606.
Полисадов, В. П., II 638.
Полонская, М. Н., см. Оловенникова, М. Н.
Полонский, Л., II 565, 569, 573.
Полонский, Яков Петрович, II 36.
Помяловский, Николай Герасимович, I 133, 165, 298, II 9, 227, 229, 242, 376.
Попов, II 639.
Попов, С. М., II 593.
Поротов, II 547.
Порошин, Виктор Степанович, I 214.
Поснисков, Александр Сергеевич, I 522, 524, II 99.
Потапов, Александр Львович, II 28, 257, 260, 303, 305, 332, 356, 359, 360, 366, 369, 370, 376, 377, 379—381, 383, 386, 387, 396, 397, 399, 402, 403, 405—407, 410—412, 417—420, 424, 426, 428, 429, 436, 439, 444, 447, 448, 458, 473, 545.
Потапов, В., II 659.
Потапов-Рудин, II 659.
Потебня, Андрей Афанасьевич, II 269.
Потехин, Николай Антипович, II 229.
Поэрио, Шарль, I 430, 431, II 183.
Пржецлавский, О. А., II 121, 141.
Прогрессистов, П., II 188.
Протасов, I 15.
Прудон, Пьер-Жозеф, I 33—35, 41—43, 61, 63, 65, 69, 82, 187, 231, 237, 266, 267, 269, 270, 413, 478, 497, 498, 512, 515, 595, 601, 603, II 64, 142, 554.
Прутков, Козьма, I 566.
Пугачев, Емельян, II 39.
Путилин, II 398.

Путилин, Иван Дмитриевич, II 329, 332, 388, 392, 395—398, 400—404, 433.
Путятин, Евфимий Васильевич, граф, II 302.
Пушкин, Александр Сергеевич, I 6, 12, 17, 29, 30, 110, 158, 160, 164, 170—173, 188, 194, 203, 313, 330, 332, 335, 338, II 23, 54, 163, 551, 662.
Пушторский, Петр, II 374.
Пфордтен, Людвиг, I 437.
Пыпин, Александр Николаевич, I 6, 7, 12, 16—20, 23, 30, 39, 42, 99, 102, 103, 107, 113, 127, 132, 137, 138, 141, 143, 169, 173—175, 179, 180, 182, 202, 232, 272, 359, 389, 490, II 14—16, 21, 23, 56, 121, 139, 152, 153, 208, 211, 212, 239, 243, 331, 368, 375, 387, 389, 447, 449, 460, 487, 491, 502, 510, 533, 535, 556—558, 561, 563, 564, 566—569, 576, 577, 593—595, 605, 610—613, 615, 620, 627, 631, 653, 663.
Пыпин, Михаил Николаевич, II 642—644.
Пыпин, Николай, II 491, 626.
Пыпин, Сергей Николаевич, II 229, 490, 491.
Пыпина, Варвара Александровна, I 114, 123, 124, II 123, 125, 375, 456, 477, 491, 620, 626, 627.
Пыпина, Варвара Николаевна, II 587.
Пыпина, Евгения Николаевна, II 125, 387, 456, 477, 491, 626.
Пыпина, Екатерина Николаевна, II 125.
Пыпина, Полина Николаевна, II 491.
Пыпина-Нейман, Е. Н., I 27.
Пыпины, II 121.

Рабле, Франсуа, I 158.
Радинский, И., II 659.
Радищев, Александр Николаевич, I 213.
Радлов, Эрнест Леопольд, I 214.
Раев, Ал. Федорович, I 15, 16, 24, 26, 67, 86, 137.
Разградский, Е., II 659.
Разин, Степан, I 13.
Ракеев, II 367, 368.
Раскольников, Федор Федорович, II 246, 263, 275, 290.
Распайль, Франсуа-Венсан, I 73, 76.
Ратисбон, Луи, II 570.
Ратье, I 76.
Рау, Карл-Генрих, I 501.
Раумер, Георг-Вильгельм, I 16, 17.
Рафаэль, I 279.
Рахманов, II 593.
Редкин, Петр Георгиевич, I 164.
Рейнгардт, Н. В., II 229, 230, 233, 263, 264, 357, 363, 382, 392, 429, 436, 437, 481, 494, 549, 598—600.
Рейтерн, Михаил Христофорович, граф, II 524.
Репинский, Г. К., II 556, 557, 564.
Рехневский, С. С., II 238.
Решетников, Федор Михайлович, I 165, 298, II 242.
Ржевский, Владимир Константинович, II 165, 200.
Ржевуцкий, С., II 659.
Рикардо, Давид, I 41, 495, 498, 499, 501, 503, 504, 534, 541, 542, 552—554.
Рихтер, А. А., II 248.
де-Роберти, Евгений Валентинович, II 62, 570.
Робеспьер, Максимиллиан, I 461, 473, 474, 477, 478, II 29.
Родбертус, Иоганн-Карлус, I 496.
Рождественская, А. П., II 658.
Розанов, А. И., I 6, 10.
Розанов, Иван Глебович, II 470, 495, 513—515.
Розанов, П. И., II 491.
Розенгейм, М. П., II 186, 197.
Розов, П., II 649.
Роланд-Гольст, Генриетта, I 325.
Романовы, II 247, 255.
Ростовцев, Яков Иванович, II 94.
Ростовцев, Яков Алексеевич, II 394.
Ростовцев, Я. А., II 411.
Ростопчина, Е. П., графиня, I 334.
Рошер, Вильгельм, I 355, 395, 401, 501, 504, 522, 523.
Руадзе, II 190, 199, 201, 227, 308.
Рубинштейн, Антон Григорьевич, II 202.
Русанов, Николай Сергеевич, I 199, 229, 231, 243, 246, 260, 270, 274, 277, 335, 389, 390, 393, 394, 424, 426, 478,

522, 591, II 103, 154, 235, 268, 345, 370, 494, 535, 536, 539, 565, 618, 635.
Руссо, генерал, I 429.
Руссо, Жан-Жак, I 43, 202, 203, 397, 412, II 159, 375.
Рылеев, Константин Федорович, I 110, 148.
Рымаренко, II 268, 269.
Рычков, В. И., II 228, 329, 331, 367.
Рыхлинский, II 501.
Рюмин, Владимир Николаевич, I 34, 37.
Рязанов, Давид Борисович, I 214, 227, 355, 400.

Саблин (старший), II 278.
Савицкий, Иван Федорович, I 124.
Сажин, Михаил Петрович, II 211, 217, 221, 222, 482, 485, 488.
Сакулин, П. Н., I 294.
Салова, II 574.
Салтыков, Михаил Евграфович (Щедрин), I 165, 189, 192, 194, 336, 338, 341, II 5, 138—140, 243, 257, 313, 317, 318, 368, 566, 599, 604, 605.
Самарин, А., I 147, II 73, 90, 340.
Сахаров, II 642.
Сахновский, И., II 659.
Сватиков, С., II 300, 434.
Свириденко, II 487.
Свифт, Ионафан, I 158.
Северцев, Н. А., I 132.
Семевский, Михаил Иванович, I 111.
Семенов-Тяньшаньский, Петр Петрович, I 35.
Сементковский, Ростислав Иванович, I 214, 309, 310, II 137.
Сенар, I 73.
Сен-Жюст, Луи, I 474, II 360, 519.
Сенковский, Осип-Юлиан Иванович, I 195, II 11, 46.
Сен-Симон, Луи, I 42, 61, 63, 230, 270, 399, 408, 425, 493, 588, 595, 607, 609, 610, 618, II 375.
Сераковский, Сигизмунд Игнатьевич, I 132, 137, 139, II 8, 127, 129, 131, 132, 148, 234, 237—241, 332.
Сергиевский, Николай Александрович, I 103.
Серно-Соловьевич, Александр Александрович, II 51, 54, 63—65, 132, 155, 229, 234, 249, 250, 268—270, 272, 329, 331, 520, 540.
Серно-Соловьевич, Николай Александрович, II 39, 63, 91, 93, 95, 132, 155, 196, 223, 227—229, 234, 249, 250, 253, 257, 262, 264—273, 288, 326, 329—331, 344, 362—366, 369, 373, 380, 431, 473, 512, 513, 520.
Сеченов, Иван Михайлович, II 122—124, 225, 324.
Синельников, II 493, 526, 530, 532, 538, 539, 541—543, 562.
Сисмонди, Жан-Шарль, Леонард, I 495, 496, 498, 548, 564, 576, 601.
Скабичевский, Александр Михайлович, I 173, 196.
Скальковский, Аполлон Александрович, II 565.
Скальковский, Н., I 196, 200, 201, 203, II 400, 476, 565, 648.
Скарятин, В. Д., II 189, 200, 312, 313.
Скафтымов, А., II 120—125, 135, 442.
Скориков, Н. Ф., II 600, 602, 606—609, 623, 627.
Славинский, I 75, 79, 85.
Слепцов, Александр Александрович, II 50, 152, 234, 241, 246, 250, 258, 266—274, 279, 281, 283—285, 287, 414.
Слепцов, Василий Алексеевич, I 111, 165.
Слепцов, П. Н., II 377.
Слонимский, Леонид Зиновьевич, I 582.
Случевский, Константин Константинович, II 39, 40.
Смельский, В. Н., II 571.
Смирнов, А. В., I 34, 131.
Смит, Адам, II 41, 43, 395, 404, 498—501, 503, 506, 515, 518, 530—532, 534, 543, 549, 650.
Сова, Антоний, II 239.
Соколов, жандармский капитан, II 546.
Соколов, Николай Васильевич, I 155, II 138, 189, 224, 352.
Соколов, Н. И., II 407, 411, 416, 417, 420—422, 441, 445, 456—458, 461, 464.

Соколов, Николай Николаевич, II 224.
Соколовская, М. А., II 658.
Соколовский, II 72.
Сократ, I 304.
Солдатенков, Козьма Терентьевич, II 43, 55, 614.
Соловьев, семинарист, II 211.
Соловьев, статистик, II 79.
Соловьев, Александр Константинович, землеволец, II 556.
Соловьев, Владимир Сергеевич, I 325, II 450, 451, 474, 475.
Соловьев, Евгений Андреевич (Андриевич), I 141, 147, 155, 156.
Соловьев, Сергей Михайлович, I 145, 164, II 197, 474, 475.
Сорокин, В., II 202.
Сорокин, генерал, II 374, 380.
Сороко, Иосиф Каетанович, II 283, 289, 293, 367, 403, 413, 416, 422, 426—428, 430, 440, 444, 446.
Спасович, Владимир Данилович, II 303.
Спасский, II 329.
Спенсер, Герберт, I 225, II 612.
Сперанский, Михаил Михайлович, I 429, II 92, 564.
Спешнев, Николай Александрович, I 35, II 39, 443.
Спиноза, Барух, I 59, 214, 223, 225, 235, II 604.
Срезневский, Измаил Иванович, I 20, 21, 34, 108, 132, 134.
Станевич, II 237.
Станкевич, Николай Владимирович, I, 218, 596, II 153.
Станицкий, Н., см. Головачова-Панаева, А. Я.
Стасов, Владимир Васильевич, I 196.
Стасов, Дмитрий Васильевич, II 513.
Стасюлевич, Михаил Матвеевич, II 303, 510, 535, 567, 612—614.
Стахевич, Сергей Григорьевич, I 78, 272, 273, 448, 449, 478, 595, II 48, 50—52, 127, 243, 247, 248, 250, 256, 257, 333, 492, 495, 500.
Стеклов, Юрий Михайлович, I 393, 424, 426, 588, 618.
Степанов, Дмитрий Тимофеевич, литератор, II 495.
Степанов, Николай, II 228, 229, 237, 488, 495.
Степняк (Кравчинский, Сергей), II 220.
Стерн, Лауренс, I 158, II 376.
Стефани, С. О., I 105.
Столпаков, Алексей, II 374.
Столпянский, П. Н., II 373.
Стопакевич, Е., II 201, 278.
Странден, Н. П., II 495, 512, 513.
Страхов, Николай Николаевич, I 188, 251, II 137, 139, 188, 198, 222, 359.
Строганов, Сергей Григорьевич, граф, II 299.
Стронин, А. И., II 374.
Струве, Густав, I 66, 270.
Струве, Петр Бернгардович, I 487.
Струговщиков, Александр Николаевич, I 137.
Студенский, А. И., II 233, 234, 304, 306, 307, 331, 368, 520.
Ступина, I 7.
Суворин, Алексей Сергеевич, II 15, 482, 605—607.
Суворов, Александр Аркадьевич, князь, II 15, 206, 257, 302, 310, 311, 324, 333, 369, 374, 378—380, 395—399, 403, 411, 425, 433, 471, 476, 481, 487, 488, 491, 568.
Суворов, Александр Васильевич, князь, I 473, II 395.
Суворов, П. П., II 547.
Судейкин, Г. П., II 576, 578.
Судзиловский, Н., II 216.
Суинборн, I 337.
Сукиязов, Б. Е., II 593.
Сулин, Я., II 403, 422, 429, 440, 444, 446, 447.
Сумароков, Александр Петрович, I 135, 337.
Сухозанет, Николай Онуфриевич, I 208.
Сухомлинов, Михаил Иванович, I 137.
Сытин, II 75.
Сэ, I 504.
Сю, Эжен, I 23, 203, 331.

Тагер, С. И., II, 658.
Тамерлан, I 19.
Танов, Д., II 659.
Тарквиний, I 289.

Тассо, Торквато, I 160.
Таузенау, Карл, II 65.
Тацит, II 533.
Тверитинов, Алексей, II 148, 220, 358, 359, 425, 481, 483, 485, 488, 489, 571, 616.
Теккерей, Вильям, I 32, 203, 314.
Тенгоборский, Людвиг Валерьянович, I 524, II 88.
Теннер, И., II 656, 658.
Терсинская, Любовь Николаевна (см. Котляревская, Л. Н.), I 48, 87.
Терсинский, И. Г., I 6, 27, 48, 85, 87, 137, 491, 543.
Тиблен, Николай, II 223, 228, 230, 306.
Тимашев, Александр Егорович, II 32, 46, 185, 518, 524.
Тимофеев, М., II 656, 658.
Тит Ливий, II 533.
Титов, М. П., II 548.
Тихомиров, Лев Александрович, II 573—576.
Тихон о. (инспектор), I 15.
Ткачев, П., II 358.
Токарский, Ардальон Ардальонович, I 228, 273, II 624, 625, 627—629, 631—633.
Токвиль, Алексис, I 43, 435, 436, 462, II 176, 177, 180, 189, 196.
Толбин, Василий, II 228.
Толстой, Алексей Константинович, граф, II 476.
Толстой, Дмитрий Андреевич, граф, I 103, 104, II 433, 576, 577, 579, 581, 582, 662.
Толстой, Лев Николаевич, граф, I 165, 171, 194, 298, 333, 335, 341—343, II 17—21, 23, 24, 195, 197, 359, 603, 617, 630, 631, 662.
Томпсон, В., I 500, 553.
Торквемада, Томас, I 396, II 618.
Торнтон, I 558.
де-Траверсе, Николай Александрович, маркиз, II 373.
Трубецкой, Николай Платонович, князь, II 246, 658.
Трифонов, II 337.
Трусов, Болеслав Данилович, II 513.
Туган-Барановский, Михаил Иванович, I 444, 563, 588, 590, II 155.
Туманов, Сергей, II 213—215, 646.
Тургенев, Иван Сергеевич, I 141, 152, 157, 164, 165, 168—172, 177, 196, 197, 298, 335, 338, 345, II 9, 11—45, 52, 57, 60, 61, 90, 93, 95, 103, 137—139, 141, 152, 163, 164, 174, 194—197, 207, 208, 221, 258, 344, 359, 365, 370, 610, 662.
Турунов, Михаил Николаевич, II 376.
Турчанинов, I 103, II 43, 122, 152, 153.
Тусанов, Н., I 424.
Туссенель, I 36.
Тучков, Павел Алексеевич, II 299.
Тучкова-Огарева, см. Огарева-Тучкова, Н. А.
Тьер, Адольф, I 414, 435.
Тьерри, Огюстен, I 20, 41, 107, 353.
Тюрго, Роберт-Жак, I 365, 394, 458, 466, 511, 534, 538, 539, 554, II 653.
Тютчев, Н. С., II 277.
Тютчев, Федор Иванович, II 341, 376.

Удальцов, Иван Дмитриевич, I 562.
Удино, Никола-Шарль, герцог, I 75.
Удом, майор, II 374.
Ульянов, Александр Ильич, II 219.
Унковский, Алексей Михайлович, II 73, 94.
Унковский, М., II 656.
Уркарт, I 538.
Усов, Павел Степанович, II 200, 201, 339.
Успенский, Глеб Иванович, II 358, 557, 598, 599, 603, 630, 658.
Успенский, Николай Васильевич, I 165, 338, 358, II 87, 138, 200, 599, 603.
Успенский, Петр Гаврилович, II 499, 500, 502.
Устрялов, Николай Герасимович, I 20, 135, 142, II 19.
Утин, Борис Исаакович, II 303.
Утин, Евгений Исаакович, II 227, 228, 274.
Утин, Николай Исаакович, II 195, 225, 234, 262, 268, 269, 279—281, 305—307, 329, 331, 357, 367, 368, 371, 372, 431, 520, 540, 542, 543.
Ушаков, Ф. В., I 213.

Фаддеев, В. К., II 658.
Файерштейн, С., II 659.
Фаресов, А. П., II 652.
Фауст, I 333.
Федоров, Иннокентий Васильевич, II 142.
Федоров, К. М., I 3, II 626, 633.
Федот, священник, I 3.
Фейербах, Людвиг, I 40, 42, 43, 47, 51, 52, 54—60, 63, 80, 82, 84, 94, 95, 97, 107, 136, 186, 199, 201, 212—216, 218—228, 235, 236, 238—240, 243, 244, 247, 252, 254, 256, 260, 265, 268—270, 276—281, 283, 288, 292, 293, 301, 306, 308, 309, 315, 316, 320, 327, 329, 348—353, 362, 363, 390, 399, 412, 427, II 126, 129, 211, 653.
Феоктистов, Е. М., II 594, 661.
Фердинанд II, I 430.
Фет, Афанасий Афанасьевич (Шеншин), I 164, 172, II 17, 40, 90, 137, 138, 208, 359, 376.
Фиалковский, М., II 659.
Фигнер, Вера Николаевна, II 574, 575.
Филиппов, Павел Николаевич, I 88.
Филиппов, Тертий Иванович, II 19, 269.
Филиппсон, генерал, II 299, 301, 303, 304, 519, 579.
Фильдинг, Генри, I 158.
Фихте, Иоганн, I 225, 278, 397.
Фишер, Куно, I 135, 137, 220, 221, 223.
Флеровский, В. В., см. Берви.
Флобер, Густав, II 376.
Флокон, I 73.
Флуранс, II 507, 508.
Фойницкий, II 658.
Фомин, Аггей, II 546, 560.
Фонвизин, Денис Иванович, I 93.
Фохт, Карл, I 242, 254, II 376.
Франц I, I 399.
Францоз, Карл-Эмиль, II 142.
Фредерикс, П. А., барон, II 545, 547, 548.
Фрей, Вильямс, см. Гейнс, В. К.
Фрейтаг, Густав, I 20, II 376.
Фукидид, II 533.
Фурье, Шарль, I 28, 33, 35, 36, 42, 48, 53, 61—65, 94, 205, 244, 270, 438, 478, 498, 500, 508, 521, 563, 566, 567, 571—573, 586, 588, 589, 591, 595, 607, 610, 617, 618, II 77, 140—142, 597, 654.
Халтурин, Степан, II 564.
Ханыков, Александр Владимирович, I 24, 28—32, 36, 43, 53, 55, 61, 62, 86, II 105.
Харитонов, Ф., II 533.
Харьковцева, А. П., II 642.
Хатчиков, II 593.
Хафафов, II 369.
Хлебников, II 216.
Хованский, Н., II 550, 598, 600, 601, 625.
Хоментовская, А. И., II 251—256.
Хомяков, II 57.
Хорошевский, В. Ю., II 234.
Худяков, Иван Александрович, II 216, 217, 431, 512, 513.
Цебрикова, М., II 658.
Цезарь Юлий, I 65, 189, II 389, 533.
Церетели, Георгий, Е., II 213, 214.
Цитович, Петр Павлович, I 205, II 66, 135, 141.
Цицерон, I 7, 65, 189, II 533.
Цугаловский, II 660.
Цывинский, В. Ф., II 658.

Чарушин, Н. А., II 133, 217.
Чебыкин, генерал-майор, II 487, 488.
Чемадуров, Я. Я., II 433.
Черкасский, Владимир Александрович, князь, I 147, II 73.
Черкезов, Варлаам Николаевич, I 399, II 216, 277, 278.
Черкесов, Александр, II 229.
Чернов, Виктор Михайлович, I 409.
Чернов, С., I 4, 97, 99, 100—102, 106, 261, II 85.
Черновы, II 221.
Чернокнижников, см. Дружинин.
Чернышевская, Евгения Егоровна, I 4, 15—17, 96, 114, 115, 121, 122, II 645.
Чернышевская, М., I 113.
Чернышевская, Марианна, I 113.

Чернышевская, Ольга Сократовна, I 109, 113—127, 131, 133, 134, 137, 182, 201, 202, 490, II 121—124, 213, 233, 238, 240, 241, 272, 304, 326, 328, 367, 374, 375, 378, 383—386, 457, 490, 491, 494, 496, 502, 506, 509—511, 515, 518, 526, 527, 533—535, 542, 544, 550, 558, 562, 563, 569, 580, 585, 587, 592, 595, 600—603, 606, 610, 614, 620, 622, 624, 626, 637—639, 642—645.
Чернышевская, Пелагея, I 4.
Чернышевская, Чернышевского М. Н. жена, II 636.
Чернышевская-Быстрова, Нина Михайловна, II 125, 592, 595, 599, 610, 612—614, 665.
Чернышевский, Александр Николаевич, I 165, 489, 490, II 367, 534, 562, 565, 576, 580—582, 585, 587, 621.
Чернышевский, Гаврила Иванович, I 3—8, 10, 14—16, 19, 38, 39, 50, 95, 96, 107, 114, 121, 134—136, II 332, 645.
Чернышевский, Михаил Николаевич, I 6, 21, 60, 86, 102, 124, 126, 127, 183, 272, II 121, 367, 373, 378, 380, 481, 494, 502, 515, 522, 534, 544, 557, 562, 565, 569, 576, 578—582, 585, 587, 620—622, 636, 637, 640, 641, 643—645, 661—665.
Черняев, II 558—560, 584, 585.
Чингиз-хан, I 19.
Чичерин, Борис Николаевич, I 161, 192, 193, 366, 367, 402, 441, 461, 462, II 6, 99, 103, 177, 188, 197, 216, 258, 324.
Чомерс, I 548.
Чуковский, К., I 178, II 467.
Чулков, II 418, 420, 423, 427, 429.
Чумиков, I 36.

Шабо, Франсуа, I 85.
Шаганов, В. Н., I 449, II 129, 159, 160, 239, 240, 249, 324, 358, 369, 495, 497, 499, 502—506, 508, 525, 526, 528, 531, 532, 537, 553, 567.
Шаляпин, Федор Иванович, II 605.
Шамиль, II 634.
Шамшин, Иван Иванович, II 345.
Шапошников, Г. Г., I 100.
Шапошников, С. Г., I 100.
Шассен, Луи, II 220.
Шатилов, Николай, II 268, 374.
Шаховский, В. Н., князь, II 663.
Шашков, II 512.
Шебаев, Иван Иванович, купец, II 373.
Шевалье, Мишель, I 501, 504.
Шевич, В., II 374.
Шевченко, Тарас Григорьевич, I 486.
Шевырев, Степан Петрович, I 485.
Шекспир, Вильям, I 30, 309, 365.
Шелгунов, Николай Васильевич, I 30, 132, 133, 137, 139, 140, 143, 145, 146, 149, 152, 153, 155, 157, 183, 187, 271, II 93, 155, 234, 236, 241, 269, 273, 282—286, 288—290, 299, 303, 306, 310, 324, 331, 374, 388—391, 394, 403, 404, 406—409, 413, 414, 421—423, 426, 430, 431—433, 442, 446, 464, 485, 520, 598.
Шелгунова, Людмила Петровна, I 30, 133, 134.
Шеллинг, Фридрих-Вильгельм, I 16, 218, 228, 262, 397.
Шемановский, М. И., II 368.
Шеншин, А. А., см. Фет, А. А.
Шенье, Анри, II 29.
Шепетовский, II 609.
Шефстбери, Антон-Ашли-Купер, I 280.
Шиллер, Иоганн-Христофор-Фридрих, I 12, 17, 23, 309, 314, 336, 337.
Шилов, Алексей Алексеевич, I 132, II 216, 286, 289, 328, 329, 354, 512.
Шипов, А., I 585.
Шиповалов, И. С., II 404, 405, 408, 409, 417, 441, 442.
Шишкин, И. И., I 132.
Шишкины, II 152.
Шлоссер, Фридрих-Христофор, I 17, 23, 41, 105, 182, II 375, 654.
Шматович, II 374.
Шмицдорф, I 16.
Шопенгауэр, Артур, I 185, 255, II 194.
Шпильгаген, Фридрих, II 141.
Шрадер, II 612.
Шрейк, I 6.
Штейн, Лоренц, I 574.
Штирнер, Макс, I 43.

Штраус, Давид-Фридрих, I 51, 97, 220, 268, 270.
Штюрмер, полковник, I 208.
Шувалов, Иван Иванович, I 213.
Шувалов, Петр Андреевич, граф, I 106, II 94, 185, 249, 260, 394, 396, 496, 515—518, 521—523, 526, 541, 543, 544.
Шувалов, Петр Павлович, граф, II 562, 563, 572, 574, 576, 577.
Шульц, II 327, 518, 519.
Шульце-Делич, Герман, I 592.

Щапов, Афанасий Прокофьевич, II 9, 91, 149, 150, 228, 229, 268, 283, 284, 414.
Щебальский, П. К., II 351.
Щеглов, Д., II 141, 142, 387.
Щеголев, Павел Елисеевич, II 373—375.
Щедрин, см. Салтыков, М. Е.
Щепин, Г. С., жандарм, II 537, 584.
Щепина, Александра Ларионовна, II 537, 584.
Щербатов, князь, II 315.
Щербина, Николай Федорович, I 333, 334, II 135.

Эвальд, Аркадий, II 235, 236, 313.
Эдельсон, Евгений, II 20.
Эдинбургский, принц, II 562.
Эзоп, II 274.
Эккариус, I 507.
Эккартсгаузен, Карл, I 14.
Элизар, Жюль (Бакунин, М. А.), I 261.
Элпидин, Михаил Константинович, II 67, 68, 514, 521, 541, 557.
Энгельгардт, Александр Николаевич, II 93, 224, 235, 236, 268, 306.
Энгельс, Фридрих, I 43, 55, 212, 215, 218—222, 226—229, 245, 258, 264, 265, 268—271, 276, 346, 349, 351, 353, 358, 359, 362, 363, 371, 373, 375, 376, 394, 399, 402, 405, 421, 424, 426, 427, 458, 460, 462, 481, 497, 500, 503, 512, 543, 582, 592, 595, 596, 603, 605, 616, II 109, 111, 115, 154, 540, 619, 639.
Эпикур, I 287.
Эртель, Александр Иванович, I 272, 273.
Эрш, Иоганн-Самуэль, I 41, 213.
Эспинас, Адольф, I 435.
Эшенбах, II 586.

Юделевский, Я. М., II 658.
Юдин, П., I 9, 15, 100, 104, 105, 106, 121, II 221, 476, 561, 596, 614, 624, 639, 642, 643, 645.
Южаков, Сергей Николаевич, II 279.
Юм, Давид, I 225, 231.
Юрасов, Д. А., II 216, 495.
Юркевич, Панфил Данилович, I 200, 201, 242, 243, 246—255, 257, 260, 302, II 167, 438.
Юрковский, генерал-майор, II 640.

Яковлев, А. В., II 429.
Яковлев, В., студент, II 659.
Яковлев, Владимир Алексеевич, писатель, I 34.
Яковлев, Петр Васильевич, II 408, 409, 415, 418—420, 423, 424, 427—429, 434, 439, 457, 461, 463, 464, 473.
Якушкин, Павел Иванович, II 485, 487, 488.
Ясиновский, II 548.
Ясинский, И., см. Белинский, Максим.
Ястржемский, I 36.
Ященко, Леонид Нестерович, II 429.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Часть четвертая.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ТОГО ВРЕМЕНИ.

Глава первая. *Абсолютизм — вот враг.* 5

Глава вторая. *Чернышевский и дворянско-буржуазный либерализм.*

1. Разоблачение либеральных иллюзий 10
2. Характер конфликта 12
3. Первые раздоры 18
4. И. С. Тургенев и радикальная молодежь 21
5. Либералы и радикалы 25
6. Разрыв Тургенева с «Современником» 30
7. «Отцы и дети» 36
8. Герцен как инициатор либерального похода на революционную демократию 43
9. После объяснения 60

Глава третья. *Чернышевский и крестьянский вопрос.*

1. Против крепостного права 70
2. Кампания в пользу крестьянства 72
3. Реформа или революция 83
4. Вопрос о судьбах общинного землевладения 96

Глава четвертая. *Чернышевский и революционная молодежь.*

1. О роли интеллигенции 117
2. «Новые люди» и роман «Что делать?» 120

Глава пятая. *Преодоление пессимизма.* 143

Глава шестая. *Кампания против Чернышевского в прессе.*

1. Поход Каткова в «Русском вестнике» 161
2. Либеральное злопыхательство «Отечественных записок» 174

Стр.

Часть пятая.

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ.

Глава первая. *О влиянии Чернышевского.* 211
Глава вторая. *Открытая деятельность Чернышевского* 223
Глава третья. *Знакомства и связи* 233
Глава четвертая. *«Великорусс»* 246
Глава пятая. *«Общество „Земля и Воля“»* 267
Глава шестая. *«Молодая Россия»* 275
Глава седьмая. *Серия прокламаций* 282
Глава восьмая. *Студенческие волнения* 299
Глава девятая. *Общественное мнение и Чернышевский* 315
1. Мнение публики 316
2. Мнение правительства 325

Часть шестая.

АРЕСТ И ПРОЦЕСС ЧЕРНЫШЕВСКОГО.

Глава первая. *Арест.*

1. Петербургские пожары 337
2. Угрожающие письма и доносы 354
3. Роковой промах Герцена 361
4. Арест Чернышевского 365

Глава вторая. *Процесс Чернышевского.*

1. В Алексеевском равелине 373
2. В следственной комиссии 376
3. Предатель В. Костомаров и сыщик Путилин 388
4. За кулисами сыска и провокации 400
5. Фабрика фальшивок 410
6. Выполнение плана 418
7. Шемякин суд 432
8. После приговора 467

Часть седьмая.

СТРАСТНОЙ ПУТЬ.

Глава первая. *На каторге.*

1. Обряд гражданской казни 481
2. В пути 490
3. В каторжной тюрьме 493

Стр.

4. Умственная работа на каторге 501
5. Неоправдавшаяся мечта 509
6. Новое беззаконие 516

Глава вторая. *На дальнем севере.*

1. Прибытие в Вилюйск 525
2. Тюрьма в тюрьме 528
3. Вилюйское умирание 532
4. Попытки освобождения 538
5. Последние годы вилюйской жизни 553
6. Ходатайства родных о смягчении участи Чернышевского 560
7. Давление революции 571
8. Возвращение в Россию 583

Часть восьмая.

НА ЗАКАТЕ.

Глава первая. *Чернышевский в Астрахани.*

1. Организация надзора 591
2. Жизнь в Астрахани 595
3. Литературная работа 610
4. Конец жизни в Астрахани 619

Глава вторая. *Чернышевский в Саратове.*

1. Жизнь в Саратове 624
2. Болезнь и смерть 636
3. Отклики на смерть Чернышевского 646
4. Заключение 661

Именной указатель к I и II томам 667

БИБЛИОТЕКА